

ДИОН

ЛЕЙХТВАНГЕР



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1970

Ф ИОН ЕЙХТВАНГЕР

АЖЕ-НЕРОН
ИСПАНСКАЯ БАЛЛАДА

Переводы с немецкого

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1970

И (Нем)
Ф36

FALSCH E NERO
1936
DIE JUDIN VON TOLEDO
1955

Примечания
С. ОШЕРОВА и Г. ПОЛОНСКОЙ

Художник
И. Ф О М И Н А

ЖЕ-НЕРОН

Р О М А Н

Перевод
И. Горкиной и Р. Розенталя

Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.

Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но ЭТО было уже в веках, бывших прежде нас.

Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.

Екклезиаст, I, 9—11

Книга первая

ВОЗВЫШЕНИЕ

1. ДВА ПОЛИТИКА

В этот день — шестого марта — прохожие долго провожали глазами носилки сенатора Варрона, направлявшегося во дворец губернатора Сирии, императорской римской провинции. Два дня тому назад, когда новому губернатору Цейонию были торжественно вручены знаки его достоинства — топоры и связки прутьев, все заметили, что сенатор Варрон, самый могущественный человек в провинции, не присутствовал на церемонии. И теперь, когда он отправился с запоздалым визитом к губернатору, вся Антиохия толковала о том, как уживется Варрон с новым сановником.

Весна была ясная, довольно прохладная, с гор дул свежий ветер. Носилки повернули на длинную нарядную улицу — главную улицу города. Сенатор Варрон с легкой улыбкой на полных губах отметил опытным глазом, что перед многими правительственными зданиями и богатыми лавками усердствующие чиновники и горожане уже выставили бюсты нового губернатора. Он оглядывал эти бюсты из своих быстро проплывавших носилок. На судорожно вывернутых плечах сидела маленькая, сухая, костлявая голова. Сколько же лет прошло с тех пор, как он в последний раз видел эту голову во плоти? Двенадцать, нет, тринадцать. Тогда он полон был снисходительного презрения к этой физиономии. Тогда у него, Варрона, было место под солнцем. Император Нерон баловал его, а этот Цейоний, который не сумел стать другом императора, несмотря на свой высокий род и пыш-

ный титул, не пользовался влиянием и пребывал в постоянном страхе, как бы каприз императора не отшвырнул его прочь. Теперь гениальный Нерон гниет в земле. Его место на Палатине занял император Тит, узколобые чиновники и военные правят империей, а плюгавенький, всеми презираемый Цейоний лихо шагает по пути карьеры, предначертанной ему с рождения. Теперь Цейоний — губернатор, наместник императора, он правит богатой и мощной провинцией Сирией, где сам Варрон живет на положении частного лица. Частного лица, ибо его давно уже исключили из сенатских списков, и если люди вокруг него кричат: «Да здравствует сенатор Варрон, сиятельный муж!» — так это простая вежливость.

Тем не менее, разглядывая бюсты нового губернатора, Варрон и теперь испытывал то же легкое снисходительное пренебрежение, какое он чувствовал к своему ровеснику Цейонию еще в детстве. Луций Цейоний происходил из богатого древнего рода и не лишен был способностей. Но старая глупая история запятнала честь его рода. Один из Цейониев, прадед Луция, семьдесят один год тому назад в битве против некоего Арминия одним из первых бросил оружие, и у Луция с юности было такое чувство, точно именно на нем лежит долг смыть это пятно со своего родового имени. Худосочный, бескровный мальчик уже в десять — двенадцать лет силился придать своему лицу и осанке важность и достоинство и, несмотря на хилость, с судорожной заносчивостью пыжился перед товарищами. Но это вымученное молодечество лишь навлекало на него особенно злорадные насмешки. Какое это прозвище они дали ему в школе? Сенатор Варрон сдвинул брови, напрягая память, но слово никак не приходило на ум.

Не так уж просто будет встретиться с милейшим Цейонием после долгих лет, да еще в столь изменившейся обстановке. Отношения Варрона с правительством провинции Сирии были чрезвычайно сложны. В губернаторском дворце римлянина Варрона издавна считали опаснейшим противником нынешнего римского режима в Сирии. Как еще все сложится при Цейонии, который, разумеется, не забыл прежнего жалостливого и вместе с тем враждебного презрения Варрона.

— Да здравствует сенатор Варрон, сиятельный муж! — раздавалось со всех сторон. Варрон велел по-

шире раздвинуть занавески носилок и выпрямился, чтобы его мясистое загорелое лицо, с высоким лбом, крупным орлиным носом и полными губами, было лучше видно толпе. Он упивался всеобщим поклонением. Он чувствовал себя выше императорского наместника. Добиться признания здесь, в Антиохии, — это побольше, чем стать любимцем в Риме на Палатине. В нынешнем Риме, в Риме Флавиев, Тита, нужны деньги и знатность рода, ничего больше. Здесь, в Антиохии, с ее недоверчивым и возбудимым народом, в котором смешались греки, сирийцы, евреи, — надо было постоянно утверждать себя делами, личными качествами, снова и снова завоевывать доверие непостоянной толпы. Этот Восток был опасен, именно поэтому любил его Варрон. Он добился своего — завоевал признание в Сирии. Теперь он может противостоять наместнику императора как сила весьма реальная, хотя и не опирающаяся на договоры и привилегии.

Вот и дворец губернатора. В вестибюле между знаками консульского достоинства и связками прутьев — символами власти нового правителя — уже выставлены были ларцы с восковыми изображениями его предков; одно из них, изображение прадеда, осрамившего род, было прикрыто. Губернатор Цейоний, по-видимому, не посмел отплатить Варрону за то, что тот не присутствовал на церемонии вступления в должность. Он сам вышел в переполненный людьми зал. На глазах у всех обнял он и облобызал Варрона; маленький, тщедушный человечек выглядел немного смешно, когда повис на шее представительного сенатора; все слышали, как губернатор тонким скрипучим голосом сказал, что рад видеть товарища своей юности столь цветущим. Затем с приветливым видом пригласил Варрона к себе в кабинет.

Они уселись друг против друга. Губернатор Цейоний, щуплый, маленький, держался очень прямо в широком восточном кресле, занимая лишь половину сиденья, скреб ногтями одной руки ладонь другой и вежливо-испытующе смотрел на Варрона.

«В этой вшивой Антиохии, — думал он, — старину Варрона, по-видимому, еще считают важной особой. Но что он такое? Бывший человек. Отщепенец. В Риме о нем и думать забыли. Когда называют его имя, римляне

смутно припоминают: «А, Варрон, это не тот ли, которого император Веспасиан после какого-то скандала вычеркнул из сенатских списков? Он, говорят, нажил много денег в Сирии». Деньги-то он нажил и, по имеющимся данным, пользуется влиянием у власть имущих по ту сторону границы. Но велика ли честь? Какое падение для римлянина, который некогда сидел в сенате, — слоняться по игрушечным дворам этих туземных вождей, этих жрецов и шейхов, с их жалкими царскими титулами. Ну, да мы уж и там о нем порадеем! Мой предшественник был рохля, иначе этот авантюрист Варрон не уселся бы здесь передо мною так нагло».

А Варрон сидел на диване, поджав ноги на восточный лад, в ленивой позе, с добродушным, чуть ли не сердечным выражением лица. Он отлично понимал мысли собеседника. Он знал, что тот смотрит на него свысока и вместе с тем боится его. Это доставляло ему злобное удовлетворение. Да, здесь он обосновался и умудряется даже, вопреки воле нынешних властителей, Флавиев, продолжать политику сближения с Востоком, начатую императором Нероном. Его отстранили. Веспасиан под каким-то позорным, смешным предлогом исключил его из сенатских списков. Но они ничего этим не добились. Варрон продолжал свою старую политику сближения, — правда, сидя не в Риме, а здесь, в своих сирийских поместьях. Новым хозяевам, с их жесткими римскими милитаристическими методами правления, не удалось справиться с ним. Мелкие царьки, правители городов и духовные владыки государств, расположенных между Римской империей и Парфянской державой, смотрят как на представителя Рима не на губернатора Антиохии, а на него, Варрона. Он унаследовал их почтение и любовь, которыми прежде пользовался на Востоке низложенный император Нерон. Власть, завоеванная Варроном, была властью невидимой, но прочной и устойчивой. Правители римской провинции Сирии охотно отделались бы от Варрона, но, хоть он и был для них бельмом на глазу, они нуждались в его помощи и посредничестве, иначе Риму пришлось бы вести нескончаемые мелкие войны с пограничными государствами.

Варрон улыбался про себя, глядя, как неестественно прямо сидит Цейоний в одеянии с пурпурной каймой — знаком сенаторского достоинства. Новым подданным

этот римский наместник покажется, может быть, властным и могущественным; но Варрон читает неуверенность на этом бледном лице, покрытом красными лихорадочными пятнами. Он видит, с каким трудом дается Цейонию его выдержка, видит, что губернатор в свои пятьдесят без малого лет уже старик, изнуренный вечными потугами держаться прямо, искупить позор несчастного прадеда. Варрон испытывал веселое сострадание при виде этого лица. «Бедный Цейоний, — думал он, — бедный мой школьный товарищ! Ты мне не по душе, и со мной тебе не так легко будет справиться». Цейоний же думал: «Что ему, этому Варрону! Живет в свое удовольствие на этом гнилом Востоке, а наш брат из кожи лезет вон, чтобы не дать империи развалиться».

Эти мысли, мелькавшие у обоих, не мешали Варрону вести непринужденный разговор. Он рад, многословно распространялся Варрон, за Цейония, которому достался столь доходный пост, это почет и удача. Жаль только, что его назначили как раз в эту адски трудную провинцию. Сирия способна отнять все силы даже у очень крепкого человека.

— В сущности, — закончил он и улыбнулся легкой фамильярной улыбкой, точно похлопал по плечу своего собеседника, — в сущности, я рад, что я — частное лицо, а вы губернатор.

«Он, значит, не забыл, — подумал Цейоний с удовлетворением, — он помнит, что его выкинули из сената».

— Я слышал, — сказал он весело, — что вы и здесь даром времени не теряли.

— Ну, конечно, — добродушно откликнулся Варрон. — Не так уж мы стары, чтобы сидеть сложа руки. Если не заниматься хоть немного культурполитикой, то куда же девать свой досуг? Да и ни для кого не тайна, что мое сердце принадлежит Востоку. — И он прибавил задумчиво, почти озабоченно: — Вы, Цейоний, римлянин с ног до головы, вам будет очень неуютно на этом запутанном, сложном Востоке. Если не срастись с ним сердцем... — Он пожал плечами, не докончив фразы.

Сидя прямо и неподвижно, Цейоний опять поскреб ногтями одной руки ладонь другой. Красные пятна на бледных костлявых щеках разгорелись, он искоса посмотрел на Варрона, заговорил сухим, скрипучим голосом.

— Сделать границы непроницаемыми, — сказал он, — утвердить дух Рима вплоть до самого Евфрата, и не допускать, чтобы хоть что-нибудь чужое проникало со стога берега. Иметь перед собой такую ясную задачу, — ведь это лучшее средство срастись сердцем со всем здешним, с людьми и вещами. — И, стараясь смягчить резкость тона, он прибавил словно бы между прочим: — Мне очень жаль, мой Варрон, что в деле романизации нашего Востока придется отказаться от вашей помощи.

— Как так? — удивился Варрон. — Разве для человека, за которым не стоит армия, я мало сделал в этой области?

— Бесспорно, — вежливо согласился губернатор. — Вы немало способствовали насаждению в этой провинции греко-римского духа. Но и восточного вы притащили сюда, к сожалению, столько, сколько никто из римлян до вас.

— Это верно, — с удовлетворением подтвердил Варрон.

— Видите ли, дорогой мой, — продолжал Цейоний, — этого-то мы и опасаемся, этого-то мы и не любим. И конечно, — прибавил он не без злости, — вам не избежать разлада с собственной совестью, попроси я у вас совета в некоторых случаях. В самом деле, можно ли при наших вечных распрях с Востоком ждать хорошего, подлинно римского совета от того, кто является не только римским гражданином, но одновременно подданным парфянского царя и гражданином Эдессы?

«Он хорошо подготовился, — отметил про себя Варрон, — он хорошо изучил материалы обо мне. Это все тот же старый добрый враг. Пожалуй, он именно потому и стремился получить Сирию, а не какую-нибудь другую провинцию, что здесь сию я».

Заканчивая последнюю фразу, Цейоний вытянулся еще больше. Варрон окинул его взглядом. «Я легко с ним справлюсь, — с радостью подумал он. — Он был и всегда будет ничтожеством. Правда, вот такие ничтожества и позволяют себе иногда, в своем наигранном молодечестве, увлечься и внезапно предпринять насильственные действия, чреватые неожиданными последствиями». И тут ему вдруг пришло на ум прозвище, которое он напрасно старался вспомнить все время. «Дергунчик!» Конечно, Дергунчик! Вот как они прозвали в школе Цейо-

ния. Так назывались деревянные куклы с подвижными руками и ногами — обычная забава на Сатурналии; дернув за рычажок, можно было, потехи ради, заставить эти скрюченные фигурки распрямиться, а затем снова скорчиться. И прозвали так Цейония именно в насмешку над его потугами казаться выше, чем он был на самом деле.

Варрон развеселился, вспомнив прозвище Цейония. Он переменял тему разговора. Стал подробно расспрашивать губернатора о его частной жизни, настроении. Как оказалось, Цейоний опасался, что ему не так уж легко будет вжиться в этот чуждый всякого порядка мир восточного города. Предмесье Антиохии Дафне, где были расположены виллы большинства аристократов и богачей, местность, известная всему миру своей бесстыдной роскошью, была не особенно приятным соседством для римского чиновника, исповедовавшего взгляды стоиков.

Собственно говоря, первый визит бывшего сенатора губернатору Сирии уже достаточно затянулся. Однако Цейоний задержал Варрона и снова заговорил о политических делах.

— Скажите, мой Варрон, — спросил он, — неужели вы и теперь, когда в правительственном дворце сидит не чужак, а я, будете чинить затруднения по поводу налога, предназначенного на инспектирование эдесских войск?

Дело было в том, что расходы по содержанию римского гарнизона в городе Эдессе, столице одноименного формально независимого государства по ту сторону Евфрата, согласно договору должна была покрывать сама Эдесса. Но римский губернатор взимал сверх того в Сирии специальный налог для проведения ежегодной проверки состояния войск по ту сторону границы. Налоговое управление Антиохии стояло на той точке зрения, что Варрон, как гражданин римской провинции Сирии, обязан платить этот «инспекционный налог»; Варрон же считал, что он уже платит деньги на содержание войска как гражданин Эдессы и что это было бы двойным обложением. Важны были не шесть тысяч сестерциев, которые не имели значения ни для Варрона, ни для правительственной казны, — важен был принцип. Правителей в Антиохии злило, что этот знатный господин, кото-

рый был в опале у Рима и все же не потерял римского гражданства, оборачивался, по своему произволу, то римским подданным, то подданным одного из месопотамских княжеств. Поэтому из-за налога между правителями Сирии и Варроном шел длительный, вежливый и ожесточенный спор.

И вот сейчас Варрон снова приводит старые доводы, уже известные губернатору по документам: такое двойное обложение не только юридически недопустимо, оно и политически опасно, оно подчеркнуло бы двусмысленность пребывания в Эдессе римского гарнизона, его враждебность городу.

Губернатор терпеливо выслушал пространное рассуждение.

— Все это прекрасно, — сказал он наконец, потоварищески убеждая собеседника. — Но теперь, когда в этом доме сидит друг, я бы на вашем месте все же серьезно поразмыслил, не отказаться ли от месопотамского и парфянского подданства. Быть может, у вас появились бы тогда шансы восстановить свое прежнее положение в Риме.

Варрон напряженно слушал. То, что этот человек сразу же, при первой встрече, обнаружил такую настойчивость, что-нибудь да значило.

— Что вы хотите сказать? — спросил он прямо. — Значит ли это, что там намерены включить меня в сенатские списки?

Губернатор сообразил, что несколько преждевременно пошел навстречу Варрону, и поспешил отступить, приняв официально-сухой тон.

— Я, во всяком случае, — ответил он, — упомянул об этом на Палатине, и у меня создалось впечатление, что это не было встречено неблагосклонно. Впрочем, твердых обещаний, — поторопился он прибавить, — я, конечно, дать не могу. Но я предлагаю серьезно взвесить мои слова.

Варрон с трудом скрыл свое ликование. Они, значит, убедились, эти Флавии, эти ненавистные выскочки, что без него им на Востоке не обойтись. Они хотят снова включить его в сенатский список. Очень любезно с их стороны. Но на этот неуклюжий маневр такой человек, как Варрон, не попадется. Если они заполучат его в Рим, то через три месяца снова выставят из сената, но на этот

раз будут умнее и разделаются с ним окончательно. Сенатор в Риме! Что за дешевая приманка! И ради этого он должен отказаться от всего, чего с таким трудом здесь достиг, — от стремления слить воедино Восток и Запад, — и должен содействовать бескрылой политике новых хозяев, которые хотят перенести центр тяжести империи на Запад и воздвигнуть стену между ним и Востоком? «Благодарю покорно, господа. Я предпочитаю оставаться «двоюродным братом» царя Эдесского. Я буду лучше «другом Великого царя Парфянского», чем «сиятельным господином» в Риме».

Он выразил губернатору благодарность за хлопоты в Риме по его делу.

— Я надеюсь, — промолвил Цейоний уже более теплым тоном, — что на этом пути мы быстро сговоримся.

— Я также надеюсь, — сказал Варрон, но теперь он говорил так сухо, что слова его прозвучали как отказ.

Тогда Цейоний счел уместным коснуться и другой стороны вопроса.

— Нам просто необходимо, — заявил он, — положить конец этому спору. Подумайте, Варрон, как неприятно было бы, если бы мне пришлось в один прекрасный день принять против вас меры.

— Да, мой Цейоний, — ответил Варрон, прикрывая сугубо вежливым тоном насмешку над такой пустой угрозой, — это было бы неприятно для нас обоих. Ибо при том значении, какое приписывают в месопотамских государствах — справедливо или несправедливо — моей скромной особе, эти меры вряд ли удалось бы провести без дорогостоящей военной экспедиции. А что бы вы выиграли? Престиж. Но, насколько я знаю тех господ, что сейчас сидят на Палатине, они не особенно склонны тратить деньги ради престижа.

Он встал, вплотную подошел к губернатору, фамильярно положил ему руку на плечо.

— Не прикажете ли рассматривать ваши слова как ультиматум? — спросил он с такой вызывающей улыбкой, что собеседник ясно почувствовал, какое слово мысленно произнес при этом Варрон: «Дергунчик!» Ибо раз Цейоний так настойчиво домогался его возвращения в Рим, Варрон мог разрешить себе видеть в нем уже не представителя Рима и определенной идеи, а всего лишь Дергунчика, школьного товарища.

Со временем выяснится, что это была ошибка и что Варрон не мог себе такого позволить. Но пока губернатор Цейоний удовлетворялся тем, что незаметным движением освободился от столь интимного прикосновения и вежливо возразил: его слова надо рассматривать лишь как дружеское предложение, отнюдь не как ультиматум. Обменявшись еще несколькими ни к чему не обязывающими любезностями, они наконец распрощались.

Варрон вышел из здания правительства легкими, твердыми шагами, отослал носилки и слуг, пошел пешком домой по прекрасным улицам Антиохии. В последние годы он порой уже ощущал себя человеком не первой молодости; но в эту минуту он чувствовал себя по-юношески бодрым. Его враги, Флавии, оказали бывшему сенатору большую услугу, посадив ему на шею этого Цейония. Он радовался, что нынешний трезвый, милитаристский, узкий в своем патриотизме Рим, столь ему ненавистный, сейчас предстал перед ним именно в лице Цейония. Это будет веселая борьба, думал он. Добрый, старый Дергунчик! И он заранее чувствовал себя победителем.

2. ГОРОД ЭДЕССА

Белый и пышный, расположился на холмах город Эдесса, столица одноименного княжества, самое северное из крупных поселений Месопотамии. Издали Эдесса, с ее храмами и колоннадами, с ее цирками, театрами, банями, гимнастическими школами, казалась греческим городом. Но внутри, в самом городе, очень редко попадались греческие надписи, редко слышна была греческая речь. Население ее являло собой пеструю смесь сирийцев, вавилонян, армян, евреев, персов, арабов, а греко-римского в ней только и было что дома.

К югу от Эдессы тянулась степь. Но самый город, богатый водой и цветущий, лежал на реке, именуемой Скирт, что значит «Попрыгунья», и благодаря ветрам с гор, отделявших Междуречье от Армении, воздух Эдессы был свеж и чист.

Эдесса лежала на перекрестке многих дорог. Это был богатый город. Через него проходила индийская и аравийская торговля пряностями и благовониями, равно и большая часть торговли жемчугом и ценными шелковы-

ми тканями. Эдесса славилась своими прекрасными постройками. Издалека приезжали иностранцы, чтобы посмотреть на древний храм Тараты с почерневшими бронзовыми изображениями богини и ее своеобразными приапическими символами, на храм Митры, на университет, но прежде всего на Лабиринт, громадный, высеченный в скале грот на левом берегу реки Скирта, с сотнями узких, извилистых, бесконечно разветвленных ходов, галерей, пещер и лестниц.

Основание города Эдессы теряется в седой древности. Сначала он назывался Осроэна — город львов. Здесь господствовали хетты, ассирийцы, вавилоняне, армяне, македоняне. Напоследок, триста лет тому назад, вторглись арабы, которые держались до сих пор. Теперь Эдесса, как одно из маленьких буферных государств между Римской империей и Парфянским царством, была под постоянной угрозой. Но вместе с тем город извлекал большую выгоду из своего нейтралитета; он с прибылью продавал его во время непрерывных войн между обеими великими державами — то одной, то другой из них.

Арабские князья Эдессы, всегда оставаясь в душе арабами, по мере сил поощряли арамейскую культуру, которая на этой части земли считалась самой высокой. Эдесский университет, бесспорно, пользовался лучшей репутацией во всем Междуречье и порой мог соперничать даже с высшей школой в Антиохии.

Город хранил в своих стенах много святынь и почитал многих богов. Во главе их стояла богиня Тарата, которая называлась также богиня Сирия, ей был посвящен городской пруд с красными рыбами. Наряду с ней почитался бог Лабир, имевший облик то ли быка, то ли секиры, божество Лабиринта, и другие старинные боги Ассирии, бог-лев в высях, великий Ваал и Набу. Далее, иранский бог Митра, арабские звездные боги — Ауму, Азис и Дузарис, а также греческие и римские божества. Ягве, бог евреев, тоже имел немало последователей в Эдессе, даже рожденный им сын по имени Христос, что значит «помазанник», уже нашел здесь приверженцев.

Десятки тысяч людей, белых и смуглых, жили в прекрасном городе, арабские князья и их советники, греческие и сирийские купцы и землевладельцы, иранские астрологи, еврейские ремесленники и ученые, офицеры и

солдаты римского гарнизона. Почти всегда через город тянулись караваны бедуинов. Среди всех этих народностей еще кишела пестрая смешанная толпа бесчисленных рабов. И все они — белые, черные, коричневые, с их скотом, верблюдами, овцами, козами и собаками, — жили, дышали, двигались в тесной близости друг с другом, говорили на разных языках, на разные лады почитали разных богов, вместе ели, пили, спали, совершали сделки, заключали браки, ссорились и мирились; ни один не мог бы жить без другого, каждый был, в сущности, рад, что рядом живет другой, и все гордились своим городом Эдессой, лучшим, прекраснейшим в мире.

Повелителем Эдессы был царь Маллук, пятый носитель этого имени; канцлером — Шарбиль, верховный жрец Тараты; комендантом римского гарнизона — полковник Фронтон. Но подлинным властителем Эдессы был сенатор Варрон.

3. ГОРШЕЧНИК ТЕРЕНЦИЙ

Среди многих предприятий, основанных Варроном в Эдессе, была керамическая фабрика, которую он устроил для одного из своих клиентов, горшечника Теренция, на Красной улице. То, что этот Теренций все еще назывался клиентом Варрона, объяснялось, конечно, лишь привязчивостью Теренция; он давно уже был человеком независимым и не нуждался ни в чьей защите. Он даже достиг уже звания старшины горшечного цеха Эдессы.

Надо сказать, что фабрика его отнюдь не была самой большой в городе и сам он не отличался особенным знанием дела. Работой в мастерских ведала скорее его жена, а коммерческой стороной дела — киликийский раб по имени Кнопс. Сам Теренций редко появлялся на фабрике, зато его часто можно было встретить на улице или в трактире. Как старшине горшечного цеха ему приходилось повсюду бывать и разговаривать со многими людьми. По делам своего ремесла он являлся для переговоров то в магистрат, то к советникам царя Маллука, то ему приходилось представлять цех на какой-нибудь городской церемонии, то устраивать какое-либо цеховое празднество.

Это был человек лет сорока с небольшим, с рыжеватыми волосами и блекло-розовой кожей, широколицый, с толстой нижней губой, близорукими серыми глазами, несколько грузный, но в общем представительный, настоящий римлянин с виду. Горшечный цех гордился своим старшиной. Не только потому, что старшина был уроженцем Рима, но главным образом потому, что у него была такая важная и значительная осанка и что он, как человек, не лишенный некоторых умственных интересов, отличался красноречием. По-латыни он говорил, как подобало истому римлянину, свободно владел греческим и арамейским, хотя ему не легко давался трудный звук *th*, играющий большую роль в обоих языках. Некоторые, правда, находили, что Теренций любит разглагольствовать, и в самом деле, однажды дав волю безудержному потоку своей речи, он останавливался с трудом. Но впечатление он производил — это было бесспорно. Он умел, приосанившись, непринужденно беседовать с высокими особами, а порой даже принимать столь высокомерное и недовольное выражение, что приводил в смущение собеседников. Кроме того, он умел быть представительным. Если горшечный цех выделялся на празднествах ремесленников и в особенности на большом мартовском празднике, то это была его заслуга. В немалой мере помогало Теренцию и полученное им образование. Он знал наизусть длинные отрывки из греческих и римских классиков, щеголял цитатами, интересовался театром, и ежегодные игры горшечников, руководство которыми лежало на нем, привлекали много народу. Все, кто в Эдессе имел отношение к горшечному ремеслу, гордились этим представительным старшиной. Даже ученики, хотя на их долю доставалось немало колотушек в мастерских Теренция, предпочитали его более мягкосердечным хозяевам.

Впечатление, которое он производил, усиливалось еще тем, что в его судьбе было что-то невыясненное, какая-то тайна. В Эдессу он явился одиннадцать лет тому назад, ободранный, жалкий, обросший рыжеватой бородой. Никто бы тогда, глядя на него, не удивился, если бы он, как гласит греческая поговорка о ремесленниках, «утирал нос локтем». Никто не угадал бы в тогдашнем Теренции будущего старосту горшечного цеха. Люди, знавшие Рим, рассказывали, что мастерские Теренция

пользовались там хорошей репутацией, что у него покупал даже императорский двор! Это звучало так, как будто у Теренция были какие-то таинственные личные связи с двором Нерона.

Сам Теренций и его близкие, жена Гайя и раб Кнопс, хранили молчание о его римском прошлом. Разве только в минуты приподнятого настроения, после какой-нибудь блестящей речи или удачного цехового празднества, Теренций намекал на то, каким ничтожным кажется ему такой успех, если вспомнить о временах, когда он был вхож в императорскую резиденцию. Но чего-нибудь более определенного, чем этот туманный намек, из него вытануть не удавалось.

На самом же деле с горшечником Теренцием в Риме произошло следующее.

Его отец был рабом в семье Варрона. Старый Варрон отпустил на волю этого смышленного человека и устроил ему горшечную мастерскую. Но Теренций-сын не проявлял особой любви к горшечному ремеслу, он интересовался более высокими материями — театром и политикой. Когда он говорил о государственных делах или об искусстве, друзья превозносили его ум и проницательность и считали, что он достоин большего, нежели участь горшечного мастера. Таким образом, Теренций еще при жизни отца мало интересовался делами мастерской, а после его смерти и вовсе забросил ее. Мастерская быстро захирела. Так как состояние Теренция улетучилось, то друзья утратили былое почтение к нему, и мало осталось охотников расхваливать, а тем более снабжать его деньгами за удовольствие послушать изящные речи и длинные цитаты. Не удивительно, что у Теренция, который в двадцать два года выглядел сытым, крепким и ничем особенно не выдающимся человеком, в тридцать лет было рыхлое, недовольное, едва ли не одухотворенное горечью лицо.

И тут обнаружилось нечто поразительное. Как известно, у императора Нерона долго было худое лицо, что особенно подчеркивалось обрамлявшей его рыжеватой бородой; но с годами Нерон разжирел, и в двадцать восемь лет, когда он сбрил бороду, все заметили, как изменилось это оголившееся лицо, — оно стало рыхлым, почти всегда выражало пресыщение и недовольство. И вот однажды, когда Теренций вместе с другими кли-

ентами, по заведенному обычаю, пришел с утренним визитом к сенатору, Варрон с изумлением отметил, что мрачный горшечник как две капли воды похож на разжиревшего, брюзгливого императора. Совершенно так же Нерон сдвигал брови над близорукими глазами, совершенно так же выпячивал толстую нижнюю губу. Сенатора Варрона осенила счастливая мысль. Приходилось придумывать все новые и новые развлечения для привередливого Нерона; сенатор приказал горшечнику явиться на Палатин. Он задумал показать его императору.

Теренций подвергся большому риску. Если бы император оказался не в духе, его двойник мог бы дорого заплатить за эту удивительную игру природы.

Однако эксперимент удался. Правда, опасаясь, как бы другие не заметили, что облик императора существует в мире дважды, Нерон приказал Теренцию изменить прическу и оставаться на Палатине, скрываясь от посторонних глаз, до тех пор, пока у него не отрастет борода. Но в общем императора позабавило это редкое сходство. Он даже вызвал горшечника во второй раз, а затем еще и еще. На Палатине ему снова сбрили бороду, парикмахер Нерона привел в порядок его прическу, и император забавлялся, заставляя Теренция подражать своей походке, жестам, интонациям. Он поправлял его, если что-нибудь казалось ему неверным. Несколько раз приказывал привести свою любимую обезьяну, чтобы и она участвовала в игре, и когда горшечник и обезьяна повторяли его движения, зал оглашался смехом императора.

Теренция эти встречи с Нероном глубоко взволновали. Теперь он часто улыбался хитрой, блаженной улыбкой. Он всегда знал, что злая прихоть судьбы, не дававшей ему, вопреки его дарованиям, высоко подняться, не может длиться вечно. Он часто думал о сне, который приснился его матери, когда она носила Теренция в своем чреве. Ей снилось, что она взбирается на высокую гору. Это был трудный путь, она чувствовала приближение болей и хотела лечь. Но какой-то голос приказал ей: «Подымайся выше». Она повиновалась, но вскоре, обессилев, опять захотела прилечь, тут снова прозвучал голос, и только у самой вершины ей позволено было родить сына. Прорицатель толковал этот сон так, что дитя, которое она носила под сердцем, поды-

мется очень высоко. Вот почему ему дали претенциозное имя М^аксим.

На Палатине ему строго-настрого, под угрозой смерти, наказали молчать о встречах с императором. Несмотря на это, раб Кнопс, видимо, о чем-то догадывался или даже что-то знал; его, должно быть, удивляли не только таинственные и продолжительные отлучки хозяина, но и заказы, которые Палатин внезапно стал делать маленькой, захудалой фабричке. А от решительной и умной жены Теренция Гайи совершенно невозможно было сохранить все это в тайне. По ее настоянию он посвятил ее в то, что произошло с ним на Палатине. Но даже с нею он говорил об этом редко, неохотно, загадочно и никогда не открывал ей всего до конца. Ни разу не сказал ей и лишь самому себе изредка признавался, что вызовы в резиденцию императора были ему приятны. Напротив, когда она горько жаловалась на оскорбление его человеческого достоинства этой сволочью, которая сидит там, наверху, он как бы подтверждал ее слова мрачным молчанием. На самом же деле игра на Палатине все более становилась для него потребностью. Сходство с императором делало его счастливым, в глубине души он все более срастался со своей ролью.

Но вдруг все кругом переменялось. В тот злосчастный день, когда гвардия взбунтовалась, император впал в тяжелую прострацию, и приближенные, желая его развлечь, позвали на Палатин горшечника Теренция. Парикмахер побрил его и причесал на обычный манер, но император внезапно решил оставить дворец и переселиться в Сервилиевы сады. О горшечнике Теренции, который ждал в одном из помещений для прислуги, не вспомнила ни одна душа; его оставили в опустевшем дворце. Поздно ночью испуганный человек, о котором никто не позаботился, крадучись, покинул резиденцию императора и решил пробраться домой. Улицы опустели, никто не смел выйти из дому, опасаясь попасть в беду. Вдруг вблизи раздался звон оружия. Теренций спрятался в тень, но слишком поздно, он был схвачен вооруженными людьми, отрядом стоявших на стороне сената войск, которые подстерегали бежавшего Нерона. Со слезами уверял он, что он не император Нерон, а горшечник Теренций. Но солдаты не верили; разгневанные трусливым поведением человека, которому они столько

времени оказывали почести как божеству, они издевались над ним и едва не убили его. Лишь с трудом он упросил их отвести его домой. Там Гайя удостоверилась, что всхлипывающий, полумертвый человек — ее муж.

Гайе эти аудиенции на Палатине всегда внушали страх. Теперь, опасаясь, что сенат начнет преследовать любимцев Нерона, она убедила смертельно напуганного Теренция немедленно бежать. На рассвете они прокрались к дому Варрона, своего покровителя. Сенатор, сказав им, еще ночью бежал из города на Восток. Они в страхе последовали за ним, догнали его, и все вместе перебрались через восточную границу.

Ныне все это было далеко позади. Теренций и Гайя жили спокойно, не без достатка, в этом белом и пестром городе Эдессе. Гайя гордилась тем, что она тогда так энергично схватила своего Теренция и увезла из опасного Рима. Она, конечно, чувствовала себя неуютно среди варваров. Бурнусы и грязно-белые платья этого обезьяньего народа, часто попадавшиеся темно-коричневые лица не нравились ей, еда казалась невкусной. Гайя считала сирийцев и греков обманщиками, арабов и евреев — вонючими и суеверными, персов — сумасшедшими. Никогда она не научится странному говору этих варваров, быстрой тарабарщине сирийцев, нёбному и гортанному лепету арабов, никогда не привыкнет ко всему этому варварскому миру, к цветнокожим, к священным рыбам, к алтарю Тараты и ее непристойным символам, к обезьянам и верблюдам, к жуткой степи, которая без конца и края тянется на юг.

Теренций же, напротив, быстро и хорошо сжился с Востоком. О делах он заботился еще меньше, чем в Риме, делами занимались Гайя и раб Кнопс. Сам он расхаживал по городу с таинственным и значительным видом, устраивал празднества своего цеха, рассуждал о политике. Здесь не обращали внимания на нечеткое произношение звука *th*, здесь у Теренция всегда были благодарные, внимательные слушатели. Правда, в присутствии Гайи он бранил проклятый Восток, но когда она видела, как важно он шествовал по холмистым улицам Эдессы, как его со всех сторон приветствовали, ей казалось, что, несмотря на свой высокомерный, недовольный вид, он чувствует себя, точно рыба в священном пруду

богини Тараты; и его благоденствие заставляло ее забывать, как ей самой тяжело, скучно и неприятно здесь, на Востоке.

Однако за ворчливостью Теренция крылось больше подлинной горечи, чем она предполагала. Теренций чувствовал, что стареет, а его выдающиеся дарования все еще не оценены по заслугам. Что за радость — играть роль великого человека здесь, среди варваров, перед несколькими заскорузлыми, необразованными ремесленниками? Ах, пора его цветения была там, в Риме! С жгучей тоской думал он о часах, проведенных на Палатине. Особенно один случай рисовался ему, и чем дальше, тем чаще. Однажды император Нерон потехи ради послал горшечника Теренция прочесть вместо себя послание сенату. И вот горшечник Теренций стоит перед отцами сенаторами в императорской пурпурной мантии и читает послание цезаря безмолвствующим людям, застывшим в смирении и покорности. Теперь, в Эдессе, это выступление перед сенатом казалось ему вершиной всей его жизни. Он забыл, как жалко трепетал от страха, по крайней мере в начале своей речи, забыл, как у него подгибались колени, сосало под ложечкой, в животе поднялись колики. Он помнил только, что во время речи уверенность его росла и крепла. Он видел перед собой благоговейные лица сенаторов, — все приняли его за подлинного Нерона. Да так оно и было: он действительно был тогда Нероном.

Трудно ему было хранить в тайне это огромное событие его жизни, но он превозмог себя, он не доверил его даже Гайе. Не только потому, что такая болтливость грозила смертью, но прежде всего потому, что он боялся, как бы эта великая минута не утратила своего блеска, не потускнела, расскажи он о ней такому прозаическому человеку, как его жена. Гайя, конечно, увидела бы во всем этом только наглую шутку, которую император позволил себе по отношению к сенату, и опасность для самого Теренция, жалкого орудия этой шутки. Она увидела бы в нем лишь подражавшую Нерону обезьяну и никогда не поняла бы, что в тот час, перед сенатом, он был подлинным Нероном. Поэтому он не поддался искушению, ничего не рассказал Гайе, стойчески хранил молчание.

Молчал он и в Эдессе. Но порой тоска по утраченному счастью становилась невыносимой. Тогда он уединялся и вновь разыгрывал свое выступление перед сенатом. Он очень любил Лабиринт — громадный грот, высеченный в скале на берегу Скирта, с бесчисленными извилистыми ходами, с хаосом лестниц, галерей, пещер. Три тысячи таких пещер, по слухам, насчитывал Лабиринт, и в самой последней, самой недоступной жил в древние времена безобразный сын бога-быка Лабира, тоже наполовину бог, наполовину бык, питавшийся мальчиками и девочками, которых он насильно отбирал у народа. Впоследствии эти громадные подземелья служили гробницей для древних царей, и еще теперь жили там их тени. Тайна и ужас окружали Лабиринт, и тот, кто неосторожно, не зная сложной системы ходов, осмеливался проникнуть слишком глубоко, рисковал не найти дороги обратно и погибнуть. Теренций любил это место, он спускался вниз все глубже, — величием и тайной веяло из этой глубины, — и постепенно он научился разбираться в хаосе переходов лучше, чем другие. Здесь, где бродили тени древних великих царей, он осмеливался снова быть Нероном — держал речь перед невидимым сенатом, и когда его слова глухо отдавались в пустоте, он чувствовал близость богов.

Однажды играющие дети отважились углубиться в пещеру дальше обычного. Изнутри, из глубины, они услышали звуки глухого голоса и в ужасе побежали обратно. С любопытством и страхом ждали они у входа. Но когда увидели вышедшего из пещеры горшечника Теренция, напряженное, боязливое ожидание разрядилось смехом, они стали передразнивать его, подражать его величавой осанке, его важной походке, бежали за ним, потешались, стараясь говорить глубоким басом. В тот день Теренций, охваченный стыдом и отвращением, так сильно почувствовал пустоту и безнадежность своей теперешней жизни, что ему захотелось снова бежать в пещеру и там умереть.

После этого происшествия он решил навсегда забыть Палатин. С удвоенным усердием учил наизусть классиков, с ожесточенной энергией занимался делами цеха и добился того, что воспоминание о Риме возвращалось к нему все реже.

4. ДЕРГУНЧИК ВЫПРЯМЛЯЕТСЯ

В конце апреля, во время обычной инспекционной поездки, губернатор Цейоний объявил, что отправится в Эдессу и произведет смотр римскому гарнизону, который городу пришлось принять в свои стены по «договору о дружбе», заключенному с римским императором.

За короткий период пребывания на посту губернатора Цейоний укрепился в своих взглядах на Восток. С этим Востоком, говорили ему, нельзя справиться, если держаться традиционной жесткой римской линии; эта страна, податливая, скользкая, как угорь, увертывается от всякого грубого прикосновения. Недаром настоящие римляне — Помпей, Красс и многие другие — сломали себе зубы на этом мягком Востоке. Но если для того времени римские методы были слишком прямолинейны, то теперь, имея в тылу замиренную провинцию Сирию и семь легионов, можно позволить себе показать римский кулак проклятой восточной сволочи.

— Любопытно знать, Цейоний, — сказал ему, скептически улыбаясь, император Тит во время прощальной аудиенции на Палатине, — как вы теперь справитесь с нашим милым Востоком?

Цейоний выпрямился.

— Клянусь Юпитером, ваше величество, Цейоний справится.

Город Эдесса встретил императорского наместника корректно и с почетом. Царь Маллук прислал подарки: ковры, жемчуга, отборных рабов и рабынь. Маленький, неестественно прямой Цейоний принимал приветствия от властей. На своем жестком греческом языке произносил он скрипучим голосом предписываемые этикетом вежливые ответы.

Баррон, снова удалившийся вскоре после визита к губернатору в свои владения под Эдессой, с удовольствием предвкушал новую встречу со старым другом-врагом; но ни на официальных приемах, ни во время смотра войск не представилось случая для новой беседы. Лишь на третий день, после пиршества, данного Цейонием в честь виднейших граждан Эдессы, поздно вечером они улучили часок для разговора наедине.

Они сидели во флигеле дворца, предоставленного в

распоряжение губернатора царем Маллуком,— в маленькой, по-арабски обставленной комнате, с прекрасными коврами, статуями диковинных звездных богов, с орнаментами и надписями на чужеземных языках. Тяжелый запах благовонных курений наполнял комнату. Для Варрона эта обстановка была вполне естественной рамкой, но маленький, напряженно вытянувшийся губернатор, с его подчеркнуто римской внешностью, производил здесь странное, почти смешное впечатление, ему было явно не по себе. Варрон, как бы утешая его, сказал, что к Антиохии любому трудно привыкнуть, но только вначале, мало-помалу начинаешь любить Восток. Он перечислил преимущества Востока, своего Востока: легкость жизни, пышность ее. Он вспомнил о резком выпаде губернатора против Дафне — застроенного виллами пригорода Антиохии.

— Согласен, — защищал он свой город, — наша Дафне беззащитна. Но разве не великолепно именно это царственное бесстыдство, с которым люди здесь не таят своих природных влечений и даже гордятся ими?

Цейоний ничего не ответил. Он явно страдал от тяжелых благовоний, наполнявших комнату, и распорядился раздвинуть ковры, впустить свежий воздух. Теперь Варрон слегка поживался от холода, Цейоний же почувствовал себя бодрее.

— Было бы все же неплохо для вас, мой Варрон, — сказал он наконец, прервав молчание, — оторваться от вашей Дафне и хотя бы на короткое время вернуться в Рим.

— Я обстоятельно и серьезно обдумываю ваше предложение, — улыбаясь, ответил Варрон. — Кстати сказать, подобные ответы, — прибавил он весело, — здесь, на Востоке, вам придется слышать часто.

Красные пятна на лице губернатора обозначились резче, шутка Варрона, по-видимому, его рассердила. Он вытянулся, заметно было, что он внутренне напрягся, словно для прыжка, и сухо сказал:

— Вы знаете, Варрон, что завтра я возвращаюсь в Антиохию. Был бы вам обязан, если бы вы уладили вопрос об уплате налога, пока я еще здесь, в Эдессе.

— То есть сегодня вечером? — с улыбкой спросил Варрон.

— Да, — деловым тоном сказал губернатор.

Варрон, сидевший на восточный манер, принял еще более ленивую позу.

— Этот вопрос, — сказал он добродушно, — обсуждается на все лады уже столько лет! Да и не такое уж значение имеют эти спорные шесть тысяч для казны императорской провинции Сирии.

— Тем не менее я был бы вам обязан, — твердо настаивал Цейоний, — если бы вы теперь же приняли решение.

Варрон покачал своей массивной головой, несколько раз смерил Цейония испытующим взглядом удлиненных карих глаз. Кто это сидит перед ним? Дергунчик, его школьный товарищ? Или римский губернатор, представитель теперешнего националистического режима, враг Востока? Непринужденным тоном он ответил:

— Под угрозой разгневать вас, моего доброжелателя и друга, я вынужден, однако, отказаться от немедленного решения. На этом Востоке, — прибавил он успокоительно и шутливо, — я стал наполовину восточным человеком, то есть медлителем до мозга костей.

Но Цейоний с тем же деревянным упрямством настаивал:

— И все же мне приходится просить вас ответить по-римски ясно, без проволочек. Я велел еще раз доложить мне это дело, сам изучил документы. Все, что можно сказать по этому поводу, сказано десятки раз. Я заявил моим подчиненным, что не вернусь в Антиохию без вашего окончательного ответа.

Варрон слегка побледнел. Это уже говорил не Дергунчик, это говорил новый Рим. Оба все еще сидели. Цейоний, маленький, неподвижный, выпрямился в низком арабском кресле.

— А что бы вы сделали, мой Цейоний, — спросил Варрон, все еще дружески, почти с улыбкой, — если бы я сказал «нет»?

Губернатор поджал губы, затем, по-военному отрывисто, но негромко, ответил:

— Мне пришлось бы тогда привлечь вас к суду.

На какую-то долю секунды чувство безмерного удивления заглушило досаду Варрона. Но он тотчас взял себя в руки и приказал себе не терять головы, мыслить

логически. «Вот оно что, — подумал он. — Значит, все же не Рим говорит здесь, а Дергунчик. Случилось именно то, чего я опасался в первую встречу с Цейонием в Антиохии. Дергунчик, это ничтожество, позволил себе увлечься и сделал глупость. Он зашел дальше, чем сам того хотел. Теперь ему уже трудно отступить. Он и в самом деле вызовет меня в суд, а если я не явлюсь, пошлет за мной солдат. Это было бы безумием, но Дергунчик это сделает. Так люди втягиваются в самые несуразные авантюры. Но я не последую за ним по этому пути. Я не потеряю головы. Рассудок повелевает уступить. Я уступаю. На этот раз».

— Если уж вам, моему другу и доброжелателю, — покорно, но с оттенком иронии произнес Варрон, — это кажется важным, то я пошлю вам эти шесть тысяч. Прикажите, пожалуйста, приготовить расписку.

Поговорили еще несколько минут о посторонних вещах, затем пожелали друг другу спокойной ночи и расстались.

«За эти шесть тысяч ты заплатишь проценты, Дергунчик, или кто бы ты там ни был», — решил про себя Варрон, пока его несли домой по холмистым улицам Эдессы.

5. ВАРРОН ОБДУМЫВАЕТ ПЛАН

Назавтра, рано утром, он отправил губернатору шесть тысяч сестерциев. С нетерпением ждал он возвращения посланного. Цейоний и в самом деле взял шесть тысяч сестерциев, посланный принес расписку. Варрон жадно, с непонятым удовлетворением осматривал документ. Громко, со злобщей усмешкой прочел он текст: «Л. Цейоний, губернатор императорской провинции Сирии, подтверждает, что получил от Л. Теренция Варрона шесть тысяч сестерциев инспекционного налога». Затем еще в постели, очень возбужденный, Варрон продиктовал секретарю письмо, в котором приносил жалобу римскому сенату на несправедливое двойное обложение. Раньше чем высохла подпись, он послал этот протест в Рим со специальным нарочным.

Покончив с этим делом, он велел впустить толпу клиентов, которые ждали разрешения присутствовать при его вставании. Он размахивал перед ними распиской

Цейония, давал ее прочесть то одному, то другому, сам прочитал ее вслух.

— Новый губернатор, — смеялся он, — это, доложу я вам, фигура! Он послал бы за мной солдат, если бы я не заплатил.

Варрон испытующе всматривался в лица своих людей: как кто будет реагировать. Люди стояли смущенные, не зная, чего от них ждут. Некоторые неестественно, принужденно смеялись, другие выказывали возмущение, — все были в растерянности. Варрон ходил между ними, похлопывал по плечу то одного, то другого, говорил, глядя в упор на каждого:

— Новый губернатор — с ним шутки плохи.

И он вглядывался в лица клиентов.

Он уже собирался отпустить их, как вдруг его взгляд упал на человека, которого он до сих пор не замечал. Человек этот стоял с замкнутым выражением лица, высокомерно вскинув брови над близорукими серыми глазами, слегка скривив рот, скорее удивленно, чем возмущенно. Опять, как в то утро, четырнадцать лет тому назад, Варрона изумило горделиво-недовольное лицо с блекло-розовой кожей и рыжеватыми волосами. Да, именно так выглядел император Нерон, его император, когда замыкался в себе. Именно так он воспринял бы известие об этом оскорблении, если бы был жив, если бы Варрон мог ему рассказать. Вот с таким же капризным и вызывающим выражением он выпячивал толстую нижнюю губу: делайте, что хотите, — меня ведь это не касается...

Варрон вспомнил, как Нерон забавлялся обезьяньим искусством этого человека, как заставлял прыгать его вместе со своей обезьяной. И Варрон усмехнулся про себя. Но еще прежде, чем внутренняя усмешка отразилась на его лице, он стер ее, и на какую-то долю секунды его живое лицо окаменело, точно маска.

В это мгновение ему привиделось многое.

Затем он снова повернулся к своим клиентам. Незаметно втянул в беседу человека с близорукими серыми глазами. Выказал к нему интерес. Усиленный интерес. Наконец, развернул перед этим маленьким горшечным мастером, жившим его милостями, все чары своего обаяния, которые он обычно пускал в ход лишь перед восточными царями, жрецами да еще разве перед женщинами.

Он хитро выведал у него все самое сокровенное. Он так растормошил польщенного Теренция, что тот заговорил с ним, как с равным, стал излагать ему свои взгляды на жизнь, политику, искусство. Сердце Теренция принадлежало театру. Он заговорил об актере Иоанне с Патмоса, который давно уже ушел со сцены и тихо жил в Эдессе как частное лицо. Теренций в Антиохии много лет назад видел Иоанна в роли Эдипа. Его, Теренция, откровенно заявил он, разочаровало столь прославленное искусство этого человека. Теренций сам занимался литературой и театром, как, быть может, известно его покровителю, сенатору; он помнит наизусть целые страницы из классиков, он много думал об Эдипе и, например, о том, как нужно произносить большую речь Эдипа, начинающуюся словами: «Что здесь свершилось, было справедливо, в противном ты меня не убедишь». Он разболтался вовсю, но вдруг спохватился, испугавшись своей смелости — он боялся, что сенатор засмеется или, хуже того, улыбнется. Однако ничего подобного не случилось. Варрон слушал его с совершенно серьезным видом, затем пригласил в ближайшие дни пообедать с ним и подробно изложить ему свои идеи, и прежде всего свое мнение о правильной декламации упомянутых стихов из Эдипа.

Теренций, почти удрученный таким счастьем, испытывал в то же время некоторое беспокойство. Его не удивляло, что им интересуются, он был образованным человеком, с самостоятельным кругозором, с значительными идеями. Но когда с ним разговаривала особа такого сана, как сенатор, его поневоле охватывали почтительность, преданность, легкий страх. Ведь, в конце концов, еще его отец был рабом в семье Варрона. И когда Варрон пригласил Теренция в ближайшие дни пообедать с ним и подробнее изложить ему свои взгляды, к его восторгу примешивалась захватывающая дух боязнь, почти как в те времена, когда император Нерон требовал его к себе.

Варрон, отпустив своих клиентов, еще раз достал расписку в получении шести тысяч сестерциев налога, взял ее в руки и, держа на некотором отдалении от глаз — он становился дальнотзорким, — стал ее изучать буква за буквой. На обратной стороне листка он провел

черту и, разделив таким образом лист на две графы, написал очень мелко: «Прибыль», «Убыток», — и в графу «Прибыль» занес: «Некая идея». Затем он открыл в стене тщательно замаскированную дверцу и из тайника достал ларец. Ларец был небольшой, но очень ценный, работы Мирона, с изображением подвигов аргонавтов. Варрон повсюду возил этот ларец с собой. Он отпер его, достал бумаги, находившиеся в нем, нежно погладили их. Здесь было весьма доверительное письмо к нему Нерона и стихи, посвященные ему императором, здесь было письмо ныне умершего царя Парфянского, Вологеза, в котором повелитель парфян благодарил Варрона и выражал свое восхищение той мудростью, с которой Варрон способствовал окончанию войны между Римом и парфянами. Здесь же была доверительная записка, набросанная фельдмаршалом Корбулоном, который вел эту войну на стороне римлян и, несмотря на победу, кончил плачевно. И многое другое было в ларце. К этим документам, очень для него дорогим, Варрон, улыбаясь, присоединил расписку Дергунчика; затем запер ларец и снова его спрятал.

Теренций между тем вернулся в свой дом на Красной улице. Он старался скрыть от Гайи и раба Кнопса и свой восторг, и свою подавленность, а потому довольствовался тем, что рассказал им обоим с хорошо разыгранным гордым безразличием, как был поражен Варрон его политической и литературной осведомленностью; сенатор даже пригласил его пообедать с ним, желая подробнее поговорить на эти темы. Гайя, суровая, сухая и прозаичная, как всегда, сказала, что следует быть осторожным: как бы Теренций тут не попал впросак. Она слышала, что между Варроном и губернатором возникла ссора, и такому маленькому человеку, как ее Теренций, надо держаться от всего этого как можно дальше. Теренций с досадой слушал, как собственная жена называет его маленьким человеком.

Конечно, она оказалась неправа. Обед у Варрона прошел очень приятно. Сенатор с интересом слушал политические рассуждения своего клиента, попросил прочесть монолог ослепившего себя Эдипа, как тонкий ценитель похвалил чтеца, и Теренций расстался с ним, весьма удовлетворенный.

6. ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ ТЕРЕНЦИЯ

Между тем в городе Эдессе все упорнее распространялись слухи о том, что из дворца римского правителя в Антиохии повеял новый, злой ветер. То, что Варрона, этого виднейшего гражданина Эдесского государства, вынудили платить двойные налоги, возбуждало опасения и досаду. К чему сведется торговля Эдессы с провинцией Сирией, если такое двойное обложение станет правилом? Граждане Эдессы рассказывали друг другу, будто новый губернатор намерен усилить римские гарнизоны в Эдессе, Самосате, Каррах, Пальмире и таким образом еще более ограничить суверенитет маленьких государств Месопотамии, с которыми и без того не очень-то церемонились.

При таких обстоятельствах вольноотпущенникам и другим агентам Варрона не приходилось особенно утруждать себя, чтобы натолкнуть население Междуречья на горькие сопоставления между нынешним властителем, императором Титом, с его чиновниками, и добрым, все еще оплакиваемым Нероном. Как этот блаженной памяти император благоволил к Востоку! Как он способствовал всякого рода мероприятиями и льготами культурным и торговым сношениям между Месопотамией и Сирией! Это был настоящий цезарь, и его любили уже за ту пышность, которая окружала его самого, его министров, генералов, губернаторов. Роскошью игр, тем, что он собственной особой перед всем народом выступал на сцене, — всем этим он завоевал огромные симпатии здесь, в Междуречье. Все, даже население Парфянского царства, пришли в восхищение, когда он пообещал, что в один прекрасный день покажет свое искусство и Востоку. В нем поистине видели второго Александра, пришедшего не для того, чтобы поработить Восток, а для того, чтобы слить Восток с Западом. Новые же властители, Флави, с самого начала не скрывали, что жители Востока были для них варварами, годными лишь на то, чтобы всеми способами наживаться за их счет. То, что им теперь послали в Сирию этого отвратительного Цейония, опять-таки доказывает злую волю римского правительства. Снова оживало сожаление об исчезнувшем императоре.

— Да, если бы жив был Нерон! — мечтательно взды-

хали горожане, собираясь на закате солнца у колодцев, а вечером в харчевнях.

Пока эти слухи и толки распространялись между Евфратом и Тигром, сенатор Варрон вторично пригласил Теренция на обед. На этот раз они были одни. Варрон был молчалив, погружен в свои мысли, чем-то озабочен. Он обращался с Теренцием очень почтительно, словно с вышестоящим, прерывал беседу длинными, гнетущими паузами. Хотя Теренций понимал толк в торжественности и чувствовал себя польщенным, все же он не мог избавиться от ощущения подавленности.

После обеда, за вином, Варрон сказал внезапно с осторожной, хитро-конфиденциальной улыбкой:

— Я вижу, вы все еще предпочитаете вашу смесь всякому другому вину.

Он велел приготовить ту смесь, которую изобрел император Нерон: эта смесь и ее название принадлежали к тому немногому, что оставалось от времен императора и на что не посягнули преемники после свержения цезаря; напиток и его название были известны каждому, в том числе, конечно, и Теренцию. Он широко раскрыл глаза, он ничего не понимал. Странные слова могущественного сенатора и смиренно-дружеский тон, каким они были произнесены, привели его в смятение, граничащее с одурью. Но Варрон продолжал тем же преданным тоном:

— Быть может, я разрешаю себе слишком большую вольность, но я должен наконец высказать то, что уже не одну неделю меня и подавляет и воодушевляет и что наконец стало для меня очевидным: я знаю, кто тогда, после мнимой смерти императора Нерона, бежал ко мне, под мою защиту.

Понять скрытый смысл столь неожиданных слов было под силу лишь человеку быстрого, острого ума, а таким человеком горшечник Теренций не был. Но они задели самое глубокое, самое затаенное в его душе: жгучее честолюбие, тоску по минувшим дням его величия на Палатине. Речи Варрона мгновенно воскресили в душе Теренция насильственно подавляемые воспоминания о его величественном выступлении перед сенатом, сразу вспыхнула безумная надежда, что эти блистательные времена могут вернуться. Поэтому он понял темные слова сенатора гораздо быстрее, чем тот ожидал; он принял их всеми фибрами души, испил до последней

капли их отрадный смысл. Кто-то разгадал его, кто-то понял: нет сомнения, тот, в ком было так много от плоти и крови Нерона, и есть подлинный Нерон.

Еще переполненный до краев безмерным блаженством этой минуты, он уже чувствовал, однако, как в нем просыпается вся врожденная хитрость, подсказывавшая, что лучше притвориться и лишь в последнюю минуту открыть свое подлинное «я». Поэтому он продолжал прикидываться дурачком, сказал, что не понимает, куда клонит его великий покровитель, и зашел так далеко, что Варрон испугался, как бы не сорвалась его затаенная. Сенатор сделал еще последнюю попытку. Он смиренно просит извинения, сказал он, за то, что нарушил дистанцию между собой и своим гостем. Может быть, император думает, что рано еще предстать перед римлянами во всем своем блеске? Может быть, он хочет навсегда отвернуться от мира, в наказание за то, что мир посмел не признать его? Он, Варрон, просит прощения, если слишком смело приподнял завесу над тайной.

Но теперь испугался Теренций: если упустить момент, то этот единственный случай навсегда от него ускользнет. Он мгновенно перестал прикидываться, улыбнулся мальчишески, добродушно, хитро, как иногда — он видел — улыбался император Нерон. Он подошел походкой Нерона к сенатору, жестом Нерона похлопал его по плечу и сказал неповторимым, небрежно-высокомерным тоном Нерона:

— Почему бы, мой Варрон, мне тебя не простить?

Варрон, надо сказать, знал, что подлинный Нерон никогда не поступил бы так в подобной ситуации. Он скорее привел бы какую-нибудь греческую цитату, сопровождая ее отрицательным, как бы зачеркивающим слова собеседника жестом. Но внешне этот человек был так похож на императора, умерший Нерон, его голос, его интонация, его походка вдруг с такой силой ожили в этой комнате, что Варрон испугался, ему стало не по себе: быть может, его идея слишком уж хороша и слишком велики могут быть ее последствия? Он взял себя в руки и сказал, словно подводя отрезвляющий итог:

— Да, дорогой Теренций, вот оно, значит, как.

И остаток вечера он снова был важным вельможей и разговаривал с Теренцием, как со своим клиентом, — снисходительно, деловито.

Но горшечник Теренций увидел то, что увидел, и услышал то, что услышал. Он так был уверен в своей удаче, что внезапная перемена в обращении со стороны Варрона не могла ослабить охватившего его чувства счастья.

7. ВАРРОН РЕШАЕТСЯ СЫГРАТЬ ШУТКУ

Сенатор Варрон зашел в своей затее достаточно далеко; он понял, что пора серьезно взвесить, следует ли приводить ее в исполнение. Прежде всего надо было хорошенько продумать, какие шансы на успех у его Нерона.

Шансы у него были. Народ никогда не верил, что Нерон действительно погиб. Не может быть, рассуждали в народе, император Нерон слишком умен, чтобы ему не удалось ускользнуть от противников. В особенности на Востоке твердо верили, что Нерон скрывается и в один прекрасный день снова явится во всей своей славе. Если теперь, в этой благоприятной обстановке, появится человек с внешностью Нерона, а за ним будет стоять Варрон, который так хорошо знает душу покойного императора, — если этот человек появится на независимой территории, где он будет трудно достигаем для Рима, то такой Нерон, безусловно, сможет продержаться долго и наделать немало хлопот губернатору пограничной провинции, а может быть, даже и Палатину.

Уже светало, а Варрон все еще размышлял. Он лежал в постели, потягивался, улыбался, закрывал глаза.

Если Нерон появится по ту сторону Евфрата, что сможет предпринять против него Дергунчик? Конечно, Нерон будет достаточно осторожен, он постарается возможно реже показываться в пределах Сирии. Он только посеет беспокойство в этой провинции, затем вовремя вернется на независимую территорию, где встретит тайную, а может быть, и открытую поддержку. Что может предпринять против него Антиохия? Послать войска на чужую территорию? Даже Дергунчик еще семь раз подумает, прежде чем на это решится. В свое время ожесточенно торговались за каждого римского и парфянского солдата, имеющего право показаться на территории этих буферных государств. От Евфрата до Тигра не-

далеко. Если Рим пошлет войска через Евфрат, то они рискуют встретить войска, идущие с той стороны Тигра.

Баррон встал. Босиком подошел к стене с потайным ящиком, достал ларец, вынул из него тот самый документ. Бархатным голосом прочел в сотый раз: «Л. Цейоний, губернатор императорской провинции Сирии, подтверждает, что получил от Л. Теренция Варрона шесть тысяч сестерциев инспекционного налога». Он погладил документ, улыбнулся, положил его обратно, спрятал ларец, лег снова в постель.

Позволить ли себе эту шутку? Шутка-то хорошая, глубокая, многообещающая, но до крайности опасная. И не шутка вовсе. Разве дело в этой расписке? Или в Дергунчике? Дело даже не в нем, Варроне. Дело в Востоке, в этом великолепном, необузданном, мудром, хаотическом Востоке, который не должен попасть под сапог грубых, узколобых фельдфебелей с Палатина.

Баррону вспомнились те времена, когда он приехал впервые в Сирию молодым офицером армии фельдмаршала Корбулона. Он тогда постоянно находился в ближайшем окружении знаменитого полководца. Корбулон в общем был ограниченным человеком, он не обладал ни верным инстинктом, ни острым разумом; но он был глубоко убежден в своих дарованиях, он умел приказывать, — как никто другой, владел искусством быть всегда уверенно-властным. Варрон многому у него научился. В остальном он быстро раскусил этого Корбулона. Понял, что завоевать его легче всего можно, безгранично восхищаясь его особой. И он его завоевал. Вскоре дело дошло до того, что он, желторотый новичок, внушал знаменитому опытному полководцу свои идеи и фактически делал политику в Сирии. Тогда-то родилась его страсть к Востоку, его жажда властвовать в этой стране. Для него было огромным наслаждением вести дела с этими восточными царями, жрецами, коммерсантами на их лад, со множеством цветистых околичностей, перекрывать их хитрые увертки еще более хитрыми и в конце концов достигать своей цели. В сущности, современ Корбулона в этих краях всегда властвовал он, Варрон.

Баррон вытянулся в своей постели, потом свернулся калачиком. Он вспомнил, как одиннадцать лет тому назад Флавии попытались избавиться от него. Под тем

предлогом, что однажды в публичном доме под названием «Павлин» — в том, что за Большим цирком, — он по пьяной прихоти нарядил шлюху в пурпур и высокие сенаторские башмаки, император Веспасиан объявил его недостойным принадлежать к числу сенаторов. Этот неуклюже-насмешливый предлог придумал, потехи ради, всегда склонный к тяжеловесным шуткам мужиковатый Веспасиан. Надо сказать, что Флавиям, покойному Веспасиану и его сыну Титу, во всяком случае, пришлось заплатить за эту шутку. Они убедились, эти господа, что изобретательный человек, сидя в Эдессе, порой может насолить им больше, чем живя в самом Риме. А теперь они послали сюда этого дурака Дергунчика, чтобы он разрушил все хитросплетения его, Варрона, восточной политики. Ну, что ж! Дергунчик за это тоже поплатится. Когда его Нерон будет признан в Месопотамии, Дергунчик увидит, что было бы, пожалуй, умнее не вымогать у старого Варрона эти шесть тысяч. Он убедится, что Восток «римской дисциплиной» и «нажимом» не возьмешь и что лучше следовать за старым Варроном по пути соглашения.

В какие, однако, дебри он забирается? Разве дело в Дергунчике? Не по Дергунчику, а по всему этому новому, наглому и тупому, Риму он хочет ударить, вызвав призрак старого Нерона, памяти которого не выносит этот Рим.

Перед Варроном вдруг всплыло лицо Теренция. О нем Варрон, как это ни странно, все это время не думал. Ему вспомнилось, как этот субъект подошел к нему, преобразившись, походкой Нерона и сказал ему со спокойно-высокомерной интонацией Нерона:

— Почему бы мне, мой Варрон, не простить тебя?

И вдруг его снова охватило ощущение жути, как в ту минуту, когда в обличье этого жалкого простолюдина в комнате внезапно появился Нерон. Потом ему пришло в голову, что Нерон, конечно, и сам позабавился бы шуткой, которую он хочет сыграть с его врагом Титом, подсунув миру нового Нерона. И страх Варрона рассеялся.

Он потянулся последний раз, довольный собой. Приказал позвать секретаря, распорядился договориться о свидании с царем Маллуком и верховным жрецом Шарбилем.

8. ВОСТОЧНЫЙ ЦАРЬ

Царь Маллук принял Варрона и верховного жреца Шарбиля в своем просторном, убранном по-арабски покое, где он охотнее всего держал совет. Стены были увешаны коврами, журчал фонтан, все сидели на низких диванах. Подвижному Варрону, как и юркому старому жрецу Шарбилю, нелегко было сохранять полную достоинства, спокойную позу. Но они знали, что царь Маллук больше всего любил, по обычаю своего народа, сидеть на полу, поджав ноги, прислушиваясь к медлительному лепету фонтана, делая все более длительные глубокомысленные паузы между вопросами и ответами. Уже в третий раз слуга откинул ковер, выкликая время, а к сути разговора все еще не подошли.

— Жалко, — сказал верховный жрец Шарбиль, — что Парфянское царство ослаблено дворцовыми распрями. Пока часть войск Великого царя Артабана связана войной с претендентом на престол, Рим не раз даст нам почувствовать, что за нами уже не стоит великая держава, на которую мы могли бы опереться.

Варрон внимательно посмотрел на царя Маллука. Этот красивый человек с мягкими карими глазами, горбатым мясистым носом и тщательно завитой и заплетенной бородой сидел неподвижно, как изваяние, высокий, немного располневший, и нельзя было понять, слышал ли он вообще слова жреца. Не грезит ли он, как это часто с ним бывает? Уже три столетия эти арабские князья владычествовали над городом Эдессой, они были знакомы с греко-римской и парфянской культурой, но сердце царя Маллука — это знали все — осталось арабским. Он не любил заниматься государственными делами, немного любил свою армию, больше — своих жен, еще больше — своих коней, но просторы пустыни он предпочитал всему. Иногда он выезжал верхом на коне, с немногочисленной свитой, на юг, в пустыню. В глубине души он оставался сыном тех кочевавших верхом племен, у которых считалось зазорным сеять хлеб или сажать деревья, строить себе хижины и вообще жить оседло, под кровлей; ибо тот, кто ставит себя в зависимость от таких удобств, должен, чтобы не лишиться их, терпеть над собой господина, а следовательно, утратить свободу. Но свобода есть высшее достояние араба, и так

как свобода — только в одиночестве, то родина свободного араба — пустыня.

Стало быть, кто может знать, не думал ли царь Маллук, который так неподвижно сидел с тускло поблескивавшей в волосах царской диадемой, — не думал ли царь Маллук о своей пустыне или о своих женах и конях, вместо того чтобы думать о делах политических, которыми старались его заинтересовать Варрон и верховный жрец Шарбиль? Но оказалось, что он хорошо слышал сказанное. После приличествующей паузы он открыл свой краснотубый рот, алевший сквозь искусно заплетенную черную бороду, и сказал красивым глубоким голосом:

— Это бог Дузарис посылает стрелы раздора в сторону Востока. Вот почему рознь царит в доме парфян, и вот почему царевич Пакор не хочет подчиниться и не признает своего царя Артабана.

Довольный тем, что Маллук слушает, Варрон рискнул продвинуться дальше.

— Быть может, — сказал он, — кое-кто жалеет, что и западные звезды не стоят под знаком раздора. Иные, пожалуй, сочли бы полезным, если бы и в Римской империи восстал некто и сказал, что он не признает притязаний человека по имени Тит, сидящего теперь на Палатине.

Ничто не шевельнулось на смуглом лице под царской диадемой. Верховный жрец Шарбиль, напротив, быстро повернул к Варрону свою древнюю птичью голову с высохшим хитрым лицом. Но и он промолчал. Несмотря на это молчание, Варрон прекрасно читал мысли обоих. Оба ненавидят Рим, оба были бы рады, если бы на пути императора встали затруднения. Маллук, араб, страстный друг свободы, несмотря на маску равнодушия, тяжело страдал от зависимости, в которую все больше ставит его Рим. Шарбиль, хитрый, насмешливый сирец, жрец древнего культурного народа, презирает молодых варваров Запада, которые стремятся наложить на его страну свою наглую, грубую лапу. Поэтому Варрон может себе позволить продвинуться еще на шаг вперед: предложение его для обоих будет, несомненно, как дождь для истомленной засухой степи.

— Может статься, — сказал он, — что есть уже некто; имеющий подобные притязания. Может статься,

звезды уже определили, чтобы тот, кто имеет эти притязания, вскоре объявился.

Выжидательно посмотрел он на Шарбиля, в уверенности, что умный жрец хорошо его поймет, даже если он ничего больше не прибавит к сказанному. Шарбиль, сириец, арамеец всей душой, надо думать, страстно тоскует по Нерону, который с таким уважением покровительствовал древней сирийской культуре, старейшей в мире. К тому же Шарбиль алчен, и дерзкие посягательства римлян на сокровища его храма разывают ему сердце.

Но Шарбиль, по-видимому, не был склонен отвечать. Остроконечная жреческая шапка как будто срослась с желтым, сухим, как пергамент, морщинистым лбом, черная, крашенная, треугольная борода как-то безжизненно свисала вокруг сухих губ, открывавших позолоченные зубы. Он моргнул несколько раз морщинистыми веками. Наконец после мучительного молчания он покачал головой, вытянул вперед шею и проскрипел высоким, злым старческим голосом:

— А если человек, который собирается заявить свои притязания, обманщик?

Прежде чем Варрон мог ответить, царь Маллук приказал — слуга в это мгновение в четвертый раз выкликнул время — принести вино и сладости; он считал, очевидно, неприличным все время беседовать только о политике. Пока гости церемонно прикладывались к вину и лакомствам, он заговорил об охоте. Покончив с этой темой, он так же внезапно возобновил политическую беседу.

— Может ли сказать мне Варрон, мой двоюродный брат и господин, — спросил он, — какие будут последствия, если человек, имеющий притязания, не обманщик?

— На этот счет, — сказал сенатор, — ваш преданный слуга Варрон может столь же точно, сколь и смиренно, дать ответ вашему величеству. Тогда бы все эдикты, изданные Римом после мнимой смерти императора Нерона, потеряли свою силу и были бы действительны только те договоры, которые существовали до того, как император Нерон скрылся и исчез.

Тут восточный царь и восточный первосвященник молча уставились на римлянина таким долгим и при-

стальным взглядом, что Варрону, хотя и привычному к обычаям Востока, стало не по себе.

— Маленький господин, которого Рим послал в Антиохию, — сказал наконец Шарбиль пронзительным старческим голосом, — упрям, как горный козел. Он, по всей вероятности, не потерпит соперника палатинского владыки, будь то подлинный император или обманщик.

Больше он не сказал ни слова, и царю Маллуку тоже нечего было добавить. Но Варрон знал, что этим людям незачем разъяснять, сколько выгод извлечет Эдесса из выступления римского претендента, кем бы он ни был, если только он сумеет хоть некоторое время продержаться. От такого претендента в награду за признание можно потребовать всякого рода привилегий; от Рима можно потребовать еще более высокой платы за непризнание его. Так как эти заманчивые возможности были совершенно очевидны, было излишне о них толковать.

Снова заговорили о борьбе за престол в Парфянском царстве. Из двух претендентов наиболее сильный и одаренный — Артабан. Он преодолел все препятствия и утвердился на западе Парфянского царства, там, где оно граничит с Месопотамией. Было бы безумием поддерживать другого, далекого Пакора, хотя, быть может, он — более законный наследник и обладает бóльшим «ореолом».

Очень важно для Эдессы, кого из двух парфянских претендентов признает римское правительство. Срок торговых договоров Рима с Парфянским царством истекает, и губернатору Антиохии придется в ближайшем будущем решить, с кем вести переговоры об их возобновлении, с Пакором или с Артабаном. Для Эдессы будет неприятно, если Рим признает Пакора, а не Артабана, могущественного и любимого восточного соседа Эдессы. Об этих вопросах говорили в осторожных, цветистых выражениях, пока слуга не возвестил наступления пятого часа. Тогда царь Маллук подал знак, что он считает аудиенцию законченной.

Прежде чем Варрон ушел, верховный жрец Шарбиль резюмировал свое мнение, которое, по-видимому, было и мнением царя:

— Если Рим признает нашего Артабана, у нас не

будет причин усомниться в законности Тита. Если же Рим станет на сторону Пакора против нашего Артабана, то для Эдессы было бы большой радостью, если бы неожиданно вынырнул император Нерон.

Он высказался в такой для Востока непривычной форме — кратко, ясно и точно — только потому, что был очень стар и времени у него оставалось немного.

9. БЕСПРИСТРАСТНЫЙ СОВЕТ

Тотчас же после этой беседы Варрон покинул город Эдессу. Теренция он больше к себе не приглашал.

Варрон вернулся в Антиохию. Он повез с собой лаптец с документами, которые были ему дороги. Но если по ту сторону Евфрата он показывал всему свету расписку об уплате налога, то в Антиохии он как будто совершенно забыл об унижении, которому подверг его Дергунчик. Он не занимался ни делами, ни политикой, а с головой окунулся в распутную жизнь большого и необузданного города. Проводил время в элегантном предместье Дафне, где в роскошных виллах жили самые дорогие шлюхи Азии, в том самом уголке, по которому обыватели городов всего мира тосковали в своих нечистых снах.

Дочь Варрона, белолицая строгая Марция, стыдилась своего отца, которого любила и которым восхищалась.

В редкие свои встречи с Цейонием сенатор прикидывался безобидным человеком, старым школьным товарищем, сожалевшим, что его друг одержим идеей — не щадя сил, исполнять свои обременительные обязанности, между тем как он сам наслаждается жизнью, пока еще не наступила старость. Казалось, он простил Цейонию историю со взысканием налога. Варрон сам рассказал ему, что послал жалобу в Рим. И сделал он это потому, непринужденно объяснил Варрон, что иначе утратил бы весь свой авторитет у восточных людей; но на этом он и успокоился. Борьба за шесть тысяч сестерциев недостойна человека, у которого за спиной пятьдесят один год, который многое упустил и у которого еще есть кое-что впереди.

Цейоний не очень доверял такой наивности. Он и сам

порой раскаивался, что зашел так далеко; но он говорил себе, что если не теперь, то позже все равно пришлось бы показать этому погрязшему в восточном болоте Варрону, что такое римский губернатор. И все-таки, думая о старом знакомом, Цейоний не мог подавить в себе смутного беспокойства. Ему доносили, что Варрон, несмотря на свою развратную жизнь, находит время заключать крупные сделки и, пользуясь конъюнктурой, выгодно сбывает большие участки своих сирийских земель. Цейоний невольно втайне восхищался Варроном, который так щедро расточал свою силу в бессмысленно-пустых наслаждениях и в то же время так осмотрительно вел свои запутанные дела. Этот человек был опасен.

Ему казалось разумным задобрить Варрона. Такого неустойчивого человека нужно брать и кнутом и пряником. И Цейоний решил загладить свою строгость в истории с налогом и выказать сенатору особое доверие. Он пригласил к себе Варрона.

Варрон явился. Цейоний превозмог себя. Растолковал собеседнику причины своего поведения в деле с налогом. Если бы речь шла только о них двоих, о нем и Варроне, пояснил Цейоний, — и видно было, как тяжело ему вновь об этом говорить, — он, разумеется, уступил бы. Но дело касалось престижа Рима, перед которым престиж отдельного лица отходит на задний план.

— Это вы должны понять, мой Варрон, — сказал он. — Хотя вы и «друг царя Парфянского», — кисло пошутил он в заключение.

Варрон и не собирался этого понимать. Он дружелюбно, выжидательно смотрел на Цейония. Так как тот сидел очень близко, дальнзоркий Варрон немного отодвинул тяжелое кресло, желая отчетливей видеть его лицо. Втайне он надеялся, что Цейоний сделает ему предложение, скажет, что передумал и хочет вернуть ему шесть тысяч сестерциев. Варрон хорошо знал, как фантастична его затея, и если бы Цейоний протянул ему руку, он взял бы ее и отказался от своего замысла. Он ждал. Но Цейоний считал, что дальше идти незачем. По существу, то, что он сказал, было извинением, и если генерал-губернатор, поставленный Римской империей, извиняется перед сомнительным авантюристом Варро-

ном, то этого достаточно. Он тоже ждал. Еще секунду и еще одну. Но Варрон молчал, и он сам молчал, и потому в эти секунды решилась судьба обоих — и не только их одних.

Цейоний с педантичностью бюрократа решил все-таки довести до конца намеченную линию поведения — дать Варрону «доказательство доверия», которым он хотел его завоевать.

— Вы, мой Варрон, — начал он, — предложили мне как добрый друг свой компетентный совет в делах Востока. Могу ли я теперь воспользоваться вашим предложением?

Варрон, приятно удивленный, ответил:

— Всем сердцем к вашим услугам.

— Договор с парфянами, — начал губернатор излагать занимавшее его дело, — истекает. С кем из двух претендентов вести переговоры? Кого признать? Пакора или Артабана? В наших интересах, очевидно, действовать так, чтобы распри между претендентами на престол возможно дольше ослабляли парфян. Но оттягивать возобновление договора больше нельзя. В чью пользу принять решение? — И он снова сделал попытку перейти на легкий тон, прибавив с принужденной шутливостью: — Кто тот великий царь, чьим «другом» являетесь вы, Варрон?

Варрон в глубине души возликовал. Именно в этом деле ему хотелось держать Цейония в руках. Для того-то он и приехал в Антиохию, чтобы Цейоний обратился к нему с этим вопросом, и если бы Цейоний медлил еще хоть неделю, то Варрону волей-неволей пришлось бы самому начать разговор о политике. Обстоятельства складывались как нельзя лучше.

Он поспешно взвесил еще раз все «за» и «против». Если бы Цейоний высказался за Артабана, то по ту сторону Евфрата — в этом его эдесские друзья были правы — никто не был бы заинтересован в поддержке человека, который назвался бы Нероном. И тогда горшечник снова стал бы горшечником, а Цейоний по-прежнему остался бы императорским генерал-губернатором, под чьим началом находятся семь легионов и важнейшая провинция империи; никогда более он не превратится в Дергунчика. Таким образом, Варрону необходимо было побудить губернатора признать Пакора,

а не Артабана. Не раз он тщательно излагал самому себе доводы, с помощью которых он приведет Цейония к этому выбору. Но теперь он принял смелое решение отказаться от всей этой заботливо построенной аргументации. За две секунды ожидания и молчания он понял своего старого товарища детства, Цейония, лучше, чем когда бы то ни было. Он понял, как сильно ненавидит его Цейоний, понял, как глубоко он не доверяет ему. Цейоний сделает как раз противоположное тому, что посоветует Варрон. Варрон посоветует ему признать Артабана и отвергнуть Пакора.

Так он и сделал.

До сих пор Цейоний колебался, принять ли ему решение в пользу Артабана или Пакора. Многие говорили в пользу одного, многие — в пользу другого.

Он видел массивное лицо Варрона, его полный, чувственный рот, огромный дерзкий лоб, наглую позу. Он ненавидел этого человека, и — он готов был поклясться Юпитером — человек этот ненавидел его. Пакор? Артабан? Этот человек советовал выбрать Артабана. Этот человек заявил, что его «друг» — Артабан. Цейоний примет решение в пользу Пакора.

10. НАДО ЗАПАСТИСЬ ТЕРПЕНИЕМ

Горшечника Теренция так и подмывало рассказать Гайе о беседе с Варроном, доказать ей, назвавшей его маленьким человеком, что другие отнюдь не считают его маленьким. Но он знал, что было бы рискованно слишком рано обнаружить свое торжество. И Теренций, поборов себя, продолжал вести прежний образ жизни, занимаясь только делами цеха.

Но Гайя видела своего Теренция насквозь. Хотя он и расхаживал по городу с достойным и озабоченным видом, прикидываясь, будто всецело занят будничными делами, но по едва уловимым признакам она замечала, что он поглощен чем-то другим, и очень важным. Что-то произошло. Наблюдая, как он задумывается, когда полагает, что его никто не видит, как порой мечтательно и блаженно вздыхает, как он мчится во сне, как его лицо то расцветает, то мрачнеет, она вспоминала пору, когда его вызывали на Палатин.

Впрочем, это возбужденное состояние Теренция продолжалось недолго. Правда, в Эдессе и в других местах Междуречья все чаще вспоминали о счастливых временах императора Нерона. Вздыхали и кряхтели, жалуясь на чрезмерные тяготы, которые взваливает на обитателей Месопотамии новый губернатор, и все чаще многозначительно шушукались о том, что дальше так продолжаться не может, что всему этому скоро придет конец, что император Нерон еще жив и вскоре снова появится во всей своей славе и вновь дарует народам Междуречья хлеб и свободу. Теренций жадно впитывал эти слухи, но они нисколько не смягчали муки ожидания. Проходили недели и месяцы, а Варрон не подавал признаков жизни.

Сенатор же полагал попросту, что Теренция надо «выдержать». После того как этот человек клюнул на приманку, следовало дать ему потрепыхаться, чтобы он не слишком зазнался. И Варрон пребывал вдали, в Антиохии, — важным господином, далеким, как небо, от горшечника Теренция, недоступным для него. Сенатор Варрон не подавал вестей горшечнику Теренцию.

Это было нелегкое время для Теренция. Часто он сомневался, не приснилось ли ему все, на самом ли деле великий сенатор Варрон однажды заговорил с ним, как равный с равным, чуть ли не смиренно, как с подлинным императором Нероном. Ему до смерти хотелось обсудить это происшествие с Гайей. Но что она скажет? Что все это ему померещилось или, в лучшем случае, что Варрон затевает с ним новую жестокую и унижительную игру. А именно этого Теренций не хотел слышать, ибо он не мог бы жить больше, будь это так.

Вот почему он, как умел, старался скрыть свое замешательство от ясных, пытливых глаз жены. Все с большей и большей жадностью искал признаков того, что не один только Варрон признал в нем цезаря Нерона. Но этих признаков не находилось, и с каждым днем ему было все труднее оставаться старшиной цеха Теренцием — представительным, обремененным делами, самоуверенным, каким он казался еще несколько недель тому назад.

Одну только внешнюю уступку сделал он своим мечтам. Император Нерон иногда, чтобы лучше видеть, подносил смарагд к своим близоруким глазам, обычно

к левому. Теренций купил себе смарагд. Было нелегко скрыть от Гайи, что он взял из кассы сумму, необходимую для его покупки, и это, действительно, не вполне удалось ему. Самый смарагд он, разумеется, никому не показывал. Уединяясь, он устраивал настоящие репетиции, подносил камень то к левому, то к правому глазу, радовался его зеленому блеску.

Когда и это уже не помогало, он бежал со своими сомнениями в Лабиринт. Там, во мраке потаенной пещеры, он прислушивался к самому себе, пока его внутренний голос, его «демон» не заговорит и не уверит его, что он — Нерон и что весь мир признает его.

Но покамест мир его не признавал, а Варрон продолжал молчать. Наконец Теренций потерял терпение и написал ему в Антиохию письмо — письмо клиента своему патрону. Теренций сообщал о делах своей керамической фабрики, своего цеха, о мелких событиях в городе Эдессе. Но к концу — это был единственный намек на их беседу, который позволил себе Теренций, — он вплел туманную фразу: если будет угодно богам, то ему, возможно, уже не придется докучать своему покровителю подобными мелочами, потому что боги вернут ему его прежний образ, о чем он иногда мечтает. Он перечел письмо и нашел его неглупым. Теперь Варрону придется высказаться. Если он намерен продолжать начатую игру, он даст ответ на таинственную фразу; а если не намерен — он примет ее за одну из тех многозначительных цветистых фраз, какие любят на Востоке, и не придаст ей значения. И тогда Теренцию снова придется погрузиться в будни эдесской жизни. Но это невозможно. Варрон поймет, ответит.

Нестерпимо медленно тянулись дни. Много писем приходило из Антиохии, некоторые предназначались Теренцию, но от Варрона письма не было. Теренций определил для себя крайний срок: сначала шесть дней, затем десять, затем двадцать. Снова и снова говорил он себе, что надо запастись терпением. Он цитировал, чтобы не прийти в отчаяние, стихи классиков о терпении. Он читал их перед Кнопсом, своим рабом, чье присутствие не так стесняло его, как присутствие жены. Однажды он сказал Кнопсу, что в скором времени предстоит персмена — такие вещи он говорил ему нередко, — и, гневно, страстно цепляясь за свою надежду, с мрач-

ным лицом, прищутив близорукие глаза, произнес, скорее для самого себя, чем для Кнопса, начало гомеровского стиха: «Будет некогда день...» И так как Кнопс смотрел на него с изумлением, он не мог удержаться, вынул из складок плаща смарагд, еще пристальнее взглянул на Кнопса и многозначительно повторил: «Будет некогда день...»

Раб Кнопс отступил перед искрящимся зеленым огнем, но он был умен и не спросил ничего; однако с любопытством отметил странный жест своего господина и его слова и долго о них раздумывал.

Имя «Кнопс» означало «дикий зверь», а также «дичкарь». Кнопс любил, чтобы это слово выговаривали как следует, с долгим греческим «о». Кнопс был строен, выглядел значительно моложе своих лет. Он попал в семью Теренция малым ребенком, неисправный должник отдал его отцу Теренция в уплату долга. Кнопс родился в Киликии и чувствовал себя, как рыба в воде, на своем Востоке. Это был хитрый, лживый человек с быстрыми глазами. Он завидовал Теренцию, для которого был лишь покорным младшим товарищем детских игр, и в то же время восхищался им. Восхищался его повелительной, властной повадкой, его слепой верой в себя, но вместе с тем ненавидел его за эти западные качества. Он, Кнопс, управлял всем предприятием на Красной улице, и если фабрика Теренция в Эдессе стала быстро преуспевать, то этим ее владелец обязан был Кнопсу. Вероятно, он сумел, несмотря на бдительное око Гайи, отложить кругленькую сумму для себя, но его работу нельзя было оплатить деньгами. Собственно говоря, по обычаю, Теренцию давно следовало отпустить его на волю; многие удивлялись, почему Кнопс, раз его хозяин не давал ему заслуженной свободы, давно не взял ее сам. Например, в момент гибели Нерона, когда Теренцию пришлось бежать, ловкий, умный Кнопс легко мог бы уйти, не опасаясь преследования со стороны своего господина, ибо тот имел все основания не подавать признаков жизни. Если Кнопс и тогда и позднее оставался у него, то причиной тому была какая-то суеверная надежда, что его господин поднимется высоко и тогда преданность Кнопса оплатится с лихвой.

И вот, когда Теренций тихо, с гневной уверенностью

продекламировал стих Гомера: «Будет некогда день», раб отнюдь не счел эти слова пустой болтовней. Напротив, он тотчас же поставил их в связь со слухами, что император Нерон жив. О предстоящей перемене Теренций толковал ему уже в Риме, в пору своих таинственных отлучек; к этому он присовокупил, однако, обещание, что, как только перемена произойдет, он даст Кнопсу волю. Рассчитывая на эту перемену, Кнопс терпеливо ждал, и теперь его сердце согревалось надеждой, что наконец этот день и в самом деле наступит и тогда исполнится его заветная мечта: он поселится где-нибудь на Востоке, откроет собственное дело, обведет вокруг пальца своих друзей и будет распускать о них злые сплетни и наглые остроты.

Вечером этого дня Кнопс пошел к одному из этих друзей, к самому близкому — горшечному мастеру Горриону. У него он обычно проводил большую часть своего досуга. Горрион был коренной житель Востока, тучный, с круглой головой и маленькими хитрыми глазками. Он много болтал, усиленно жестикулируя, как и Кнопс. Но, в отличие от Кнопса, он не вкладывал свою энергию в работу, а заполнял день тем, что жадно ловил всякие слухи, подолгу просиживал с деловым видом у своих многочисленных знакомых, бранился и сплетничал. Хитрый, легионерный, он принимал близко к сердцу разные политические перемены, происходившие в его городе. Любую перемену он встречал с неизменным восторгом — тем быстрее наступало разочарование, и он с тоской вспоминал, как хорошо было раньше.

Отцы и праотцы Горриона с незапамятных времен жили в этой стране, они были свидетелями смены вавилонских, ассирийских, греческих, римских, персидских, арабских правителей. Новых владык они принимали, как солнце, или как град, или как наводнение. Вздыхали и терпели. Цепляясь за свою землю, ели, пили, рожали детей, почитали богиню Тарату и ее рыб и работали столько, сколько было необходимо, чтобы прожить и дать завоевателю то, что ему удавалось выжать из них побоями и пытками. Чужеземные князья и правители исчезали, а род Горриона оставался и додержался до тех дней, когда появился Горрион, — чтобы браниться и терпеть, как бранились и терпели предки.

С этим-то Горрионом Кнопс искренне подружился:

ему отчасти льстило, что Горион, свободный человек, так охотно с ним разговаривает, а с другой стороны, он был уверен, что стоит выше Гориона по знанию дела, пониманию жизни и уму. С видом знатока разглядывал Кнопс двенадцатилетнюю дочь Гориона, маленькую Иалту: он заставил Гориона обещать, что тот отдаст ему Иалту в жены, когда наступит великая перемена и Кнопс уже не будет рабом. Сегодня, убежденный, что день этот близок, он вслух смаковал все подробности воображаемой первой ночи с маленькой Иалтой. Но Горион, отец Иалты, лукаво и как бы угрожающе поднял палец и лишний раз напомнил Кнопсу, рабу из Киликии, старую поговорку: «Кариец, киликиец, каппадокиец — все хороши: от таких трех «к» воротит с души». На это Кнопс, оскорбленный в своем патриотизме, с необычным для него жаром ответил, что, по вкусу это Гориону или не по вкусу, он, Кнопс, будет спать с его Иалтой. Этого Горион стерпеть не мог и сказал, посмеиваясь:

— Посмотрите-ка на этого Кнопса из Киликии, на это «к», от которого с души воротит!

В довершение обиды он произнес имя «Кнопс» с кратким «о». Но Кнопс, веря в звезду своего господина, еще более рассвирепел и ответил, что будет спать не только с дочерью Гориона — Иалтой, но и с богиней Гориона — Таратой. Это последнее неслыханное оскорбление, которое раб нанес его любимому божеству, до того вывело из себя Гориона, что он плеснул в лицо Кнопсу полный кубок вина: убыток, впрочем, был невелик, так как вино уже порядком прокисло.

Горион ждал, что Кнопс ответит потоком отборнейших ругательств, но ничего подобного не случилось. Напротив, раб спокойно вытер лицо и тихо сказал:

— Берегись, Горион. Может случиться, что «к», от которого с души воротит, в один прекрасный день окажется другом могущественного господина.

Он произнес эти слова так серьезно и спокойно, что горшечник Горион онемел.

И когда Кнопс в этот вечер несколько раз повторил, что, быть может, перемена наступит скоро, Горион уже выслушивал эти слова, не как пустую похвальбу, а долго еще перебирал и взвешивал их в уме.

11. ИНОГДА ОКОЛЬНЫЙ ПУТЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ КРАТЧАЙШИМ

Если Варрон заставил Теренция «трепыхаться», то и самому ему пришлось набраться терпения. Продолжая свою бурную жизнь в предместье Дафне, он с растущим напряжением ждал, когда наконец Цейоний выскажется за Пакора. Но Цейоний медлил с окончательным выбором.

Тогда Варрон решил его пришпорить. Он везде и всюду распространялся о том, как важно для Рима урегулировать сношения с парфянами и признать Артабана: он знал, что речи эти будут переданы Цейонию. Помимо этого, Варрон часто доставал из заветного ларца расписку об уплате инспекционного налога и показывал ее всем и каждому в Антиохии, отпуская хлесткие остроты по поводу произвола и мании величия губернатора.

Но больше всего он старался, чтобы из Дафне, города вилл, повсюду разошлось новое имя Цейония, веселое прозвище его старого школьного товарища: «Дергунчик». Это прозвище понравилось насмешливым сирийцам, оно вскоре приобрело непристойный, необычный смысл, распространилось с быстротой ветра по всему Востоку, и имя «Цейоний» было вытеснено кличкой «Дергунчик». Когда правительство неуклюжим приказом запретило употребление этого прозвища, народное остроумие заменило его прозрачными синонимами, — и во всех харчевнях на всех улицах пели куплеты, вся соль которых заключалась в паузах: их явно можно было заполнить лишь словом «Дергунчик». Повсюду десятками тысяч продавались деревянные куклы с подвижными руками и ногами, скорченные фигурки, которые с помощью маленького рычажка можно было заставить распрямиться во весь рост, а затем снова скрючиться. Эти куклы находили огромный сбыт. Варрон не побоялся на одном из своих празднеств раздать гостям такие куклы. Ему нужно было, чтобы Цейоний во что бы то ни стало высказался за Пакора.

Губернатор был взбешен до предела: его школьное прозвище, давно забытое в Риме, воскресло на Востоке, жалило и терзало его, как в детстве. Он глубоко страдал еще и оттого, что своим эдиктом сам усугубил зло.

Приближенные не советовали ему издавать это распоряжение, убеждали его, что коварный, остроумный Восток найдет тысячи путей обойти запрет. Он не хотел этому верить. И вот чего он достиг: по его собственной вине поражение стало еще горше.

Когда он встретился с Варроном, его первым побуждением было оправдаться по поводу эдикта, объяснить, что он действовал не из пустого тщеславия. Если бы люди, сказал он, хотели задеть нелепым прозвищем только его лично, он не обратил бы внимания — пусть себе тешатся. Но эта наглая, крамольная восточная сволочь ухватила за оскорбительное словечко, чтобы поиздеваться над всей империей. Дело тут в престиже Рима, вот почему ему приходится воевать с этой сворой, не отступая ни перед чем.

Варрон выслушал его вежливо, с участием. Надо признаться, что ему такие меры кажутся безнадежными: ими Цейоний здесь, на Востоке, ничего не добьется. Население Антиохии давало прозвища всем своим правителям, актерам, возницам беговых колесниц и атлетам, оно считало это своей привилегией, и до сих пор на эту привилегию никто не посягал. Лучше пусть собаки лают, чем кусаются. Да будет ему позволено дать совет Цейонию: тут надо соответствующим обращением с народом добиться того, чтобы прозвище постепенно утратило свой злой смысл и приобрело ласковый оттенок. Варрон несколько отступил, чтобы лучше рассмотреть собеседника своими дальнзоркими глазами, и, смакуя слово, выговорил его со вкусом, два-три раза, пока оно не стало таять у него на языке: «Дергунчик», «Дергунчик».

Цейоний сидел хмурый, поглаживал кончиками пальцев одной руки ладонь другой; на секунду он устремил свой жесткий взгляд на Варрона. Он, конечно, знал, что прозвище пустил в ход не кто иной, как Варрон. Глупо было с его стороны объясняться с этим человеком, который сознательно, с умыслом сыграл с ним эту плоскую шутку. Варрон видел, что происходило в душе Цейония. Он торжествовал: Дергунчик откажет в признании Артабану. Цейоний сам накличет на себя свой рок — воскресит старого Нерона.

Варрон сделал смелую вылазку. Озабоченно спросил, не принял ли уже Цейоний решение, кого из двух пар-

фянских претендентов он признает. Настойчиво повторил свой совет сделать выбор в пользу Артабана.

Ведь он уже однажды дал случай Варрону, холодно ответил Цейоний, высказать свое мнение. Он зрело обдумал доводы друга. Он ценит осведомленность Варрона в этом вопросе, но существуют и другие эксперты, весьма надежные, которые придерживаются противоположного мнения. Он не сомневается в доброй воле Варрона, но может статься, что в нем, против его воли, говорит не римлянин, а «друг Великого царя» — царя Артабана, прибавил он с легкой насмешкой. Решение, которое ему, Цейонию, приходится принять, чревато важными последствиями, и действует он не единолично, а несет ответственность перед императором, с важностью закончил он.

Варрон притворился удивленным, удрученным. С торжеством покинул он дворец.

Через три дня губернатор официально объявил, что ведет переговоры о возобновлении договоров с Пакором, Великим царем парфян.

12. ТЕРЕНЦИЙ ПЕРЕВОПЛОЩАЕТСЯ ВТОРИЧНО

Срок, который назначил себе Теренций, прежде чем отказаться от всякой надежды, миновал. Но горшечник не отказался от надежды. Прошла неделя, еще неделя. Наконец весть от Варрона была получена.

Это было длинное письмо. Боязливо, с напряженным вниманием пробежал его Теренций. Варрон писал не сам, он поручил секретарю составить ответ. Тот подробно, трезво обсуждал каждую из деловых подробностей, затронутых Теренцием, и у Теренция упало сердце. Но в самом конце была приписка — уже рукой самого Варрона. Он надеется, гласила приписка, что по воле благосклонных богов вскоре совершится перевоплощение, о котором пишет Теренций.

Чувство блаженства и гордости охватило Теренция. Но он научился терпению, научился владеть собой. На этот раз он уже ни перед кем не выдавал себя, — даже в присутствии раба Кнопса. Но с письмом Варрона не расставался, всегда носил его при себе. Иногда, остав-

шись в одиночестве, он доставал письмо и прочитывал последнюю фразу еще и еще раз, много раз. Иногда он бежал со своим счастьем в тишину Лабиринта. Там, в одной из потаенных мрачных пещер, никем не видимый — разве только летучими мышами, — он выпрямлялся во весь рост, простирал вперед руки, улыбался глупо, блаженно и подражал — как это он сделал перед сенатором Варроном — походке, жестам и голосу императора.

По всем землям Римской империи были в свое время, по указу сената, собраны и все до последнего уничтожены статуи и бюсты презренного, умершего позорной смертью императора Нерона. Но за пределами империи, главным образом в Междуречье, сохранилось множество этих бюстов и статуй. Сенатор Варрон, живя в Эдессе, приобретал их в большом количестве. Они стояли и лежали в одном из его имений вблизи города, в большом сарае и на запущенном дворе, под охраной подростка-раба, полудиота, ни на что другое не годного. Многие изваяния были повреждены.

В один прекрасный день Теренций очутился в этом имении Варрона. Он зашел сюда как случайный прохожий, как праздношатающийся. Подросток-сторож без опаски впустил представительного римлянина, державшегося так уверенно. Теренций расхаживал между каменными глыбами, в которых запечатлелись обличье и натура Нерона. Здесь в сотнях поз лежал, сидел и стоял покойный император. Все то же широкое лицо с близорукими глазами и толстой выпяченной губой; то с высокомерно-скупающим видом возвышалось оно над представительным, несколько тучным телом полулежавшего императора; то величественно поднималось над доспехами, украшенными головой Медузы; на некоторых статуях оно было обрамлено завитой бородой. Иногда скульпторы вставляли глаза, серые блестящие глаза из самоцветов или менее дорогих камней. Некоторые бюсты были раскрашены, художник изображал блекло-розовую кожу императора, его рыжеватые волосы и очень красные губы. Теренций расхаживал между бюстами и статуями. Он оглядывал их все, перед многими останавливался, вбирал их в себя, упивался ими, напивался их живыми воспоминаниями, чувствовал себя настолько связанным с ними, что в конце концов

уже сам не знал, кто воплощен был в этих изображениях — он или тот, другой. Особенно долго он стоял перед одним восковым бюстом. Он достал свой смарагд. Да, это он, Нерон-Теренций, это его лицо, такое, каким оно было четырнадцать лет тому назад. Теренций стоял перед бюстом, вбирал в себя его облик до мельчайших подробностей, пристально вглядывался в него близорукими глазами. Сдвинув брови и наморщив лоб, он поднял голову и несколько склонил ее набок, выпятил нижнюю губу, вскинул подбородок и сжал рот с недовольным, нетерпеливым, надменным выражением. Так он стоял долго.

Малолетний сторож между тем притаился в уголке двора. Оттуда он боязливо, с любопытством следил за чужим господином и его странным поведением. Когда Теренций остановился перед восковым бюстом, лицо подростка вдруг исказилось, он с еще большим страхом оторвался от бюста, пошел дальше немного заплетающимся шагом, едва очнувшись после долгого погружения в себя, — мальчик вдруг подбежал к нему и пал перед ним ниц, прижавшись к земле лбом, как это обычно делали восточные люди перед своими богами или перед Великим царем.

Теренций торопливо удалился, испуганный, но в глубине души счастливый. Вот, значит, до чего дошло! Даже бессловесные, духовно убогие уже постигают, кто он и к чему призван небесами. Чувство огромного восторга захватывало дыхание, распирало грудь. Как пьяный, шел он вперед по незнакомой местности, все дальше и дальше, до той черты, где она переходила в степь. Он остановился на маленьком возвышении. Высоко поднял плечи, ленивым, надменным жестом Нерона уронил руки и почти насмешливо произнес слова греческого трагика: «Теперь остановись, земля. Когда ты несла на себе более великого смертного?»

Сейчас ему неведомо было смотреть на будничное лицо Гайи или Кнопса. Он спустился в Лабиринт. Прислушался к своему демону. И голос громко возвестил ему: «Приветствую тебя, цезарь. Выше. Все выше. К звездам, цезарь».

13. ПЕРЕОДЕТЫЙ ГОСУДАРЬ

Тем временем в Эдессе все чаще говорили о Нероне: как хорошо было под его властью, и не спасся ли он в самом деле, не явится ли он в близком будущем. Когда же стало известно, что Дергунчик признал Великим царем парфян не Артабана, а Пакора, тоска по умершему императору, недовольство Титом и его наместником усилились. Признанный Римом Пакор повелевал далеко на востоке Парфянского царства, а области, пограничные с Эдессой, повиновались Артабану. Если между Римом и Артабаном начнутся военные действия, то развернутся они раньше всего в округе Эдессы. Обитатели города не хотели войны. Мало разве того, что Рим неумеренными налогами и поборами сокращал доходы? Для кого добывались с таким трудом масло, вино, злаки? Для иноземцев, для наглого западного завоевателя, для Рима. Ах, был бы здесь добрый император Нерон! При жизни Нерона с Римом легко было договариваться, с Римом велась торговля, и обе стороны извлекали из этого выгоду — и Рим и Эдесса. При Нероне оставались в чести старые боги Востока: Тарата, всадник Митра, арабские звездные божества. Почему теперь Юпитер Капитолийский и богиня Рома получили больший вес, чем Митра и богиня Сирия — Тарата? Что это за бог, который требует от измученных людей все больше труда, все больше налогов? Рыбы богини Тараты не так алчны, как орел Юпитера. Солдаты римского гарнизона чувствовали на себе сумрачные взгляды горожан. «Рабы Дергунчика» — обзывали их в насмешку за спиной. И если ночью кто-нибудь из них шел один по улицам Эдессы, ему становилось не по себе. Забавные раздвижные деревянные куклы громадных размеров сжигались на площадях под улюлюканье толпы. И все громче говорилось, что недолго уж править Дергунчику, что император Нерон жив, он в Эдессе, он скоро явится и сокрушит Дергунчика.

Теперь многие жалели об отсутствии сенатора Варрона: от него можно было бы услышать умное слово о Риме, о политическом положении. Но Варрон, ко всеобщей досаде, оставался в Антиохии, был недоступен, погрузился в веселую жизнь города вилл — Дафне. Надо было обладать уж очень тонким слухом, чтобы за вся-

кого рода толками, возникшими в эту пору в Месопотамии, расслышать голос сенатора Варрона.

Если Варрон оставался невидимым, то всюду давал о себе знать другой римлянин, окруженный какой-то тайной. В храм богини Тараты через гонца, который отказался отвечать на расспросы, была доставлена очень крупная сумма как дар императора Нерона в благодарность за спасение от большой опасности. А весьма чувствительному к женской красоте царю Маллуку таинственный гонец передал в качестве почетного дара того же невидимого Нерона двух прекрасных девственниц-рабынь. Монарх и верховный жрец колебались, принять ли эти дары. Но так как сумма была очень велика, а девушки очень красивы, то дары в конце концов были приняты.

Царь Маллук и первосвященник Шарбиль, говоря о политике, употребляли даже с глазу на глаз только цветистые, осторожные выражения. В таких иносказательных выражениях они обсуждали и появление без вести пропавшего императора.

— Хорошо бы знать, — сказал царь, — что думает в глубине души об этом императоре некий римлянин и прочна ли почва, на которую опираются его мысли.

— Некий римлянин, — ответил верховный жрец, — тратит силы своего сердца и своих чресел в веселых домах западного города.

— Боги даровали ему острый взгляд, — возразил царь, — и, конечно, он может даже из веселого дома на Западе обозревать наш Восток.

— Возможно, — ответил верховный жрец. — Но если послать к нему гонца, то гонца могут схватить или заставить проболтаться. Молчалива только земля.

— Эдесса стара, — решил царь, — и переживет еще многие царства, а терпение — вещь хорошая.

— Я сам стар, — недовольно пробормотал сквозь позолоченные зубы верховный жрец, — и я не из камня и земли, как Эдесса.

Была ли фантазия населения возбуждена таинственными дарами императора Нерона или какими-нибудь другими знаками, но слухи о том, что Нерон не умер, становились все более настойчивыми, и все определеннее указывалось, что император пребывает в Эдессе.

Горшечник Теренций жадно ловил эти слухи, но не

обнаруживал своего нетерпения. Теперь, когда он полон был веры, ему нетрудно было потерпеть. Безошибочный инстинкт подсказывал ему, что лучше держаться пока в тени и дать созреть событиям, самому в них не вмешиваться.

Но и без его участия многое делалось, чтобы подготовить его возвышение. Все теснее становился круг, внутри которого следовало искать императора, он все яснее смыкался вокруг Красной улицы. Все громче раздавались голоса, что горшечник Теренций не тот, за кого он себя выдает.

Знакомые Теренция при встрече с ним приветствовали его с некоторой робостью. Посторонние люди показывали его друг другу на улицах, за его спиной начинали шептаться, и если ему случалось неожиданно взглянуть на встречного прохожего, он подмечал в его лице смущение и благоговение. Он с радостью в этом убеждался, но по-прежнему продолжал вести себя так, как будто ничего не замечает, и непринужденно стоял в центре того ореола, который вокруг него ткался. Если кто-нибудь делал попытку выведать у него его тайну, он удивленно вскидывал брови и молча смотрел на собеседника прищуренными близорукими глазами.

И раб Кнопс купался в лучах тайного благоговения и робости, которыми был окружен его господин. Его друг если и подшучивал теперь над ним, то очень смирно, и если его губы произносили имя Кнопса с коротким «о», привычным для эдесского диалекта, вместо желаемого долгого, он спешил поправиться. Кнопс радовался, что наконец и в самом деле забрезжил день, которого он так долго ждал, на который сделал самую крупную ставку — свою жизнь. Он был умен и поэтому предвидел, какая будет взята тактика: будут утверждать, что Нерон во время последней таинственной встречи с горшечником Теренцием в Палатинском дворце незаметно обменялся с ним ролями. Но именно потому, что Кнопс это понял, он сумел принять перед хозяином ту мину, которую тот желал видеть. Он не изменил своего поведения. Хитрый Кнопс держался с затаившимся императором, как и до сих пор — фамильярно, преданно, покорно, дерзко, как незаменимый управляющий фабрикой, но, пожалуй, он стал на волос более покорен и на волос менее дерзок.

Впрочем, такое поведение Кнопса постепенно изменило и поведение самого Теренция, вопреки его намерениям, против его воли. Он старался и теперь скрывать то особенное, что было в его судьбе, но так, чтобы все видели: он сам не хочет это особенное обнаруживать. Он уже был не горшечник Теренций, а таинственная личность, которой угодно играть роль горшечника Теренция.

Все окружающие принимали участие в этой игре горшечника Теренция, лишь один человек не делал этого: Гайя. Она решила поставить мужа на место, пробрав его за смехотворную манию величия.

Еще несколько недель тому назад для ее Теренция было удовольствием долго и обстоятельно мыться в одной из общественных бань. Там он обычно встречался с приятелями и в солидных речах излагал им свои политические и литературные взгляды. В последнее время он отказался от этой привычки и предпочитал мыться в тесной, неудобной ванной комнате своего дома на Красной улице, без посторонней помощи. Там, наедине, погружаясь в приятную теплую воду, он предавался своим мечтам, ораторствовал, пел, декламировал, а затем, голый или в купальном халате, упражнялся, стараясь приобрести величавую осанку, которая ему понадобится в будущем. В таком виде — в купальном халате, со смарагдом у глаза, с гордо выпяченным подбородком и нижней губой — застала его однажды Гайя в наполненной паром комнате, куда она вошла с твердым решением выполнить свое намерение. Она стояла перед ним резкая, очень земная, оба они целиком заполняли тесную комнату. Она выложила ему без обиняков, какая ведется игра: сказала, что люди, которые ведут эту игру, поступают так отнюдь не ради золотистых волос и серых глаз Теренция, а ради своих темных и опасных целей; что ему придется снова и весьма недостойным образом работать на других; что эти другие, без всякого сомнения, предадут его, если дело провалится. А может ли дело не провалиться, если горшечник из Эдессы пойдет против Римской империи?

Теренций отвернулся, купальный халат, который был на нем, упал на пол. Голый, спиной к Гайе, сидел он на краю ванны, свесив ноги в воду. Молчал. Гайя увещевала мужа. Напоминала ему о той жуткой ночи, ко-

гда его готовность впутаться в чужие дела чуть не стоила ему жизни. Напомнила ему, в каком плачевном виде, обливаясь потом, вернулся он домой из своей последней отлучки в Палатинский дворец. Он не проронил ни слова. Так как она не умолкала, он, посвистывая, начал одеваться.

14. ДВА АКТЕРА

В убогой комнатке полуразрушенного дома, в южном предместье Эдессы, сидел над рукописью Иоанн с Патмоса, тот самый, чье исполнение роли Эдипа вызывало протест горшечника Теренция. Была глубокая ночь, вся улица давно погрузилась во мрак, только в комнате Иоанна горела, мигая, лампа.

Иоанн еще днем бегло просмотрел весь манускрипт. Принес этот манускрипт сын Иоанна, подросток Алексай, которому сунул его один из единоверцев-христиан. Это был греческий перевод трагедии, наделавшей несколько лет тому назад много шуму; автором ее был, как говорили, великий поэт-философ Сенека, и посвящена она была несказанно печальной, вызывавшей всеобщее сострадание судьбе Октавии, первой жены Нерона, сосланной и убитой тираном. Иоанн в свое время читал эту вещь в латинском оригинале, и она сильно его взволновала. Давно уже, со времен присоединения к христианам, он почитал за грех брать в руки светские книги. Но когда мальчик принес ему сегодня греческий вариант трагедии, он не мог удержаться от искушения заглянуть в него. Он хотел только пробежать манускрипт, не читая, и в самом деле, сделав над собой усилие, вскоре отложил его в сторону. Но затем, вечером, стараясь снова настроиться на благочестивый лад, он раскрыл одну из пророческих Сивиллиных книг, которые он и его братья по вере считали божественными. Но Сивиллина книга во многих местах таинственно намекала на Нерона, антихриста, царство которого предназначено было послужить преддверием к светопреставлению и Страшному суду, и эти мрачные прорицания не только не отвлекли мыслей Иоанна от «Октавии», а напротив — вернули их к ней. Поэтому он снова достал «Октавию», хотя это и было предосудительно, и вот, несмотря на глубокую

ночь, он все еще против воли читал прекрасные, сильные стихи.

Кто не знал всех перипетий судьбы Иоанна, тот меньше всего ожидал бы встретить знаменитого актера в такой обстановке — в городе Эдессе, в этой убогой комнате. Дело было в том, что великий художник Иоанн не мог довольствоваться одним лишь искусством. Он видел много горя и страданий в городах Малой Азии, и не меньше искусства волновал его вопрос: где и в чем источник страдания и как изгнать его из мира? Он был еврей по рождению, но ответ еврейских ученых на этот вопрос так же мало удовлетворял его, как ответ греческих философов и учителей-стоиков. Он все сильнее сочувствовал вероучению возникшей как раз в ту пору секты — так называемых христиан. Их учение о блаженстве бедности и отречении от земной жизни во имя жизни потусторонней, их туманные пророчества о предстоящей гибели мира, о загробной жизни и о Страшном суде, мрачный жар их Сивиллиных и апокалиптических книг — все это сладостно волновало его и в то же время пугало. Он начинал верить, проверял себя, сомневался, верил сильнее, отрицал, снова верил. После долгой борьбы он отказался от почестей и богатства, которые давало ему искусство, и несколько последних лет прожил в Эдессе, на краю цивилизованного мира, в добровольной бедности и смирении.

Новая вера требовала от него еще большей жертвы — отречения от своего искусства. Греческие драмы показывали человека в его борьбе с божеством и роком, они прославляли эту борьбу, их герои кичились: «Нет ничего могущественнее человека». Можно ли было, приняв благую весть смирения, в то же время служить этим надменным греческим поэтам? Иоанн вынужден был, стиснув зубы, признать, что это невозможно, что правы были его единоверцы, при всей своей терпимости осуждавшие его профессию. И вот он отказался не только от блеска и денег, которые приносил ему театр, но и от самого искусства. Но драмы греков, в особенности драмы Софокла, слишком глубоко проникли ему в кровь, чтобы он мог совершенно с ними расстаться. Самые любимые из своих книг он взял с собой в свое убожество. И они стояли тут, эти драгоценные свитки, в роскошных футлярах, странно выделяясь на фоне это-

го жилья. И как ни корил себя Иоанн, он снова и снова доставал их, радовал свой глаз, свое ухо, свое сердце великолепием стихов.

В эту ночь он сидел в своей бедной комнате, слопившись над манускриптом «Октавии». Чадающий масляный светильник, треща, выхватывал из тени то одну, то другую часть его лица. Он перестал следить за своей внешностью, но крупное, изрытое морщинами лицо, с тяжелым лбом, мрачными глазами, крупным носом, взлохмаченной курчавой бородой, отпущенной в эти годы отрешенности от всего мирского, обратило бы на себя внимание среди тысяч других лиц. С горящими глазами читал он при скудном свете лампы.

И вдруг случилось нечто. Вдруг бог послал Иоанну мысль, которая заставила его вскочить, бросив манускрипт. Большими шагами бегал он по жалкой комнате. То, что мальчик принес к нему в дом это произведение, то, что пророчества Сивиллы заставили его снова вернуться к чтению «Октавии», — все это было знамением свыше. Никогда еще не читал он такого исступленного обвинения против Нерона, как «Октавия». Не случайно книга эта попала в его дом как раз теперь, когда люди уверовали, что этот антихрист Нерон, этот дикий нечистый зверь еще не умер, что он вскоре снова явится и зальет мир кровью и мерзостью. Богу угодно, чтобы он, Иоанн, свидетельствовал против Нерона. Сыграть или прочесть перед публикой это произведение — в этом нет ни суетности, ни греха, это будет угодным в глазах господ делом.

Он бегал взад и вперед по мрачной, убогой комнате. Его сын Алексей проснулся и заспанными испуганными глазами уставился на отца. Отец шевелил губами. Он дал стихам «Октавии» вновь родиться в его душе, он позволил им в тихой, робкой попытке слететь с его уст. Звук и смысл слов сливались как бы сами собой. Стихи несли его на своих волнах — то мудрые, мерные, рассудительные слова Сенеки, то дикие, жестокие, безмерно гордые речи Нерона, то полные ужаса — Поппен, гневные Агриппины, сострадательные — хора. Его стремление свидетельствовать в пользу своего бога, его ненависть к тирану Нерону, его необоримая жажда наконец-то, наконец-то снова опьяниться своим искусством — все это слилось воедино, вылилось в стихи. Да, «Окта-

вию» он без угрызений совести осмелится прочесть публично. Так угодно богу.

Он объявил, что будет декламировать в эдесском Одеоне «Октавию» Сенеки в греческом переводе.

Узнав об этом, весь город пришел в волнение. Великий актер Иоанн, не выступавший долгие годы, будет читать здесь, в Эдессе, и притом столь сенсационную вещь, как «Октавия».

Красивое здание Одеона было переполнено взбудораженной толпой, когда Иоанн вышел на подиум. Здесь были офицеры римского гарнизона и все эдесские друзья римлян. Но лояльные сторонники императора Тита с беспокойством и неодобрением заметили, что среди слушателей было много всем известных врагов Флавиев — клиенты Варрона, с его управляющим Ленеом во главе, и даже некий Теренций и множество его друзей из цеха горшечников.

Иоанн сбрил бороду и оделся по-праздничному, как это предписывал обычай. Странное впечатление производило это оливкового цвета лицо с могучим лбом и темными миндалевидными глазами над белой одеждой, спадавшей волнистыми складками. Он читал наизусть. Своим мрачным, глубоким, гибким голосом произносил он страстные, гневные стихи трагедии «Октавия», обличающие злодеяния императора Нерона. Голос его делался то мягким до неуловимости, то твердым, как алмаз, он передавал малейшие оттенки ненависти, сострадания, гордости, жестокости, страха. Люди с левого берега Евфрата, не привыкшие к большому искусству, были благодарной аудиторией. Иоанн с Патмоса привел в восторг даже врагов «Октавии». Безмолвен был громадный зал во время чтения. Лишь изредка можно было услышать чье-нибудь сдавленное, напряженное дыхание, люди возбужденно смотрели в рот говорившему или самозабвенно опускали голову на грудь. Когда он кончил — для большинства слишком скоро, — они вышли из забытья, глубоко вздохнули. Грянула буря рукоплесканий.

— Привет тебе, Иоанн с Патмоса, прекрасный, великий художник! — неслоь со всех скамей.

Но неожиданно этот хор прорезали другие возгласы, все громче, все явственнее. Те, кто с ликованием приветствовал актера, встревожились. Сначала им по-

казалось, что они ослышались. Но мало-помалу они поняли, что не ошиблись; да, в самом деле, среди этих лояльных, преданных Риму и императору Титу политиков, военных, землевладельцев и купцов Эдессы, несколько сот, а потом и более тысячи человек осмелились внести сюда голос улицы, восклицая:

— Привет тебе, всеблагой, величайший император Нерон!

Впоследствии никто не мог сказать, как дело дошло до этой демонстрации, которая, без сомнения, была неприятна большей части публики. Вероятно, все обстояло так: толпа была взволнована искусством великого актера, чувства людей искали выхода, стремились вылиться наружу, людям захотелось кричать. И так как возгласы в честь артиста постепенно стихали, а возгласы: «Привет тебе, всеблагой, величайший император Нерон!» — становились все неистовее, то все больше людей поддавалось порыву, присоединялось к общему хору.

Никто уже не смотрел на подиум. Все смотрели, — одни восторженно, широко раскрыв рот, другие с удивлением, третьи — колеблясь в растерянности, некоторые со страхом и несудовольствием, — на того человека, к которому явно относились эти возгласы, на человека, просто одетого, скромно занимавшего одно из самых незаметных мест. И все люди в большом здании вдруг увидели яснее, чем могла бы разъяснить самая лучшая речь, что здесь, среди них, сидел некто с лицом и осанкой императора Нерона. Ибо тот, кто здесь сидел, и в самом деле был уже не горшечник Теренций, а человек, который, совершенствуясь в своем горестном уединении, впитал в себя дух исчезнувшего императора, без остатка перевоплотился в Нерона. Спокойно сидел он здесь, с рассеянной, почти детской улыбкой, несколько пресыщенный, но в гордой, царственной позе. Все оглушительней, все неистовее звучали клики приветствия императору. Он медленно встал со своего места, словно его это не касалось, словно весь этот шум никакого отношения к нему не имел. Но перед ним — как бы самопроизвольно — образовалось пустое пространство, он прошел между двумя рядами благоговейно расступившихся людей, с высоко поднятой головой, гордо и безучастно улыбаясь. Многим из присутствовавших здесь римских офицеров не раз приходилось слышать эти клики и кри-

чать самим, приветствуя подлинного императора, случилось собственными глазами видеть подлинного Нерона. Их точно громом поразили вид этого человека, казалось, еще минута, и они воздадут ему установленные обычаем почести.

Позади Теренция — на некотором расстоянии — шло несколько его друзей. Он повернул к ним голову: хотел, видно, что-то сказать им. Во всем большом здании стало необычайно тихо. Но Теренций, как будто он ранее не слышал приветствий, а теперь не замечал тишины, непринужденно бросил через плечо своим друзьям, все еще с едва заметной усмешкой:

— В сущности, Нерону следовало бы, потехи ради, самому прочесть для публики эту «Октавию». — И тихо, точно вскользь, прибавил: — Какой артист снова явился бы миру!

Ведь весь свет знал, что для императора Нерона важнее было слыть великим актером, чем великим правителем, что император Нерон умер со словами: «Какой артист погибает!» Когда теперь этот человек, с походкой императора, повернул голову жестом императора и сказал: «Какой артист снова явился бы миру!» — да еще голосом Нерона, по всей толпе в три тысячи человек пробежал трепет, и даже те, кто затеял демонстрацию, на одну минуту поверили, что император Нерон собственной особой покидает театр.

15. СОЛДАТ — И К ТОМУ ЖЕ ХРАБРЫЙ

Полковник Фронтон, комендант римского гарнизона в Эдессе, будучи человеком осторожным, не пошел в Одеон на чтение «Октавии», ссылаясь на недомоганье. Его офицеры тотчас же после спектакля сообщили ему об овации Нерону-Теренцию, с любопытством ожидая, что он скажет по этому поводу, какие отдаст распоряжения. Но Фронтон разочаровал их. Он задал им несколько вопросов, вежливо поблагодарил и отпустил.

Оставшись один, он сел за письменный стол, стал размышлять. Неподвижно сидел он, легко опершись головой на руку, статный сорокавосемилетний человек, с широким лбом под коротко стриженными, отливающими сталью волосами. Как быть? Не дожидаясь при-

каза из Антиохии, решительно выступить против этого «Нерона» и сыграть роль своего рода спасителя отечества? Перейти на сторону Нерона и стать маленьким цезарем? Будь, например, на его месте какой-нибудь Варрон, какие бы тут разыгрались дела! Фронтон не менее ясно, чем Варрон, видит открывающиеся возможности. Но так как он не Варрон, а Фронтон, то события не разыграются. Он ограничится тем, что пошлет этим идиотам в Антиохию доклад по всей форме, запросит, как ему действовать, будет выжидать.

Выжидать. Это, к сожалению, стало девизом его жизни. Полковник Фронтон считался одним из самых одаренных офицеров армии. Те отрывки из «Учебника военного искусства», которые он опубликовал, приобрели известность среди специалистов. Но, несмотря на то, что он участвовал в Парфянской и Иудейской войнах, ему никогда не привелось претворить свою теорию в жизнь. Если представлялась интересная тактическая или стратегическая задача, тут как тут оказывались всякие глупцы, brave посредственные офицеры. Его же, Фронтон, держали в отдалении, то ли по злой воле военного командования, то ли по прихоти коварного случая. «Кабинетным полководцем» прозвали его товарищи. Для Флавиев, которые сами были всего лишь brave посредственными офицерами, его теории были слишком смелы и современны. Цезари послали его не на Запад или на Север, где для деятельности военного хватало дел, а спланировали сюда, на окраину, в эту восточную глушь.

Не то чтобы восточная жизнь пришлась не по душе Фронтому. Он приехал в эти края еще в ранней молодости. Запутанность, глубина, необузданность Востока, где невозможно что-либо предвидеть, древняя культура страны с самого начала пленили Фронтон. Он был страстным поборником нероновской политики, его воодушевляла идея органического слияния Востока с Римской империей. Но когда Нерон погиб, а новые властители резко повернули курс римской политики, он не решился встать на путь, которого требовали от него его политические убеждения, и расстаться со службой. Фронтон любил Восток, он убежден был, что только нероновская политика могла действительно усилить и возвеличить Рим, а трезвая, бескрылая политика новых владык, их

ориентация на Запад претила ему. Но, с другой стороны, за ним был большой служебный стаж, и у него не хватило духу отказаться от прав, которые стаж этот давал, от всей своей карьеры, от перспективы получить хороший участок земли и большую пенсию, прослужив еще восемнадцать лет. Таким образом, он похоронил мечты о яркой жизни, о слиянии Востока с Западом, глубоко замуровал в себе свои идеи, подчинился новым правителям.

А они не любили его и не особенно щедро отблагодарили. Он домогался места командующего гарнизоном в Самосате — доходный пост в приятном, крупном городе с высокой культурой. Но туда послали неуча капитана Требония, а его назначили в Эдессу, в этот полудикий город на окраине, конечно, под почетным предлогом, что здесь нужны недюжинные дипломатические способности. Это было верно. Но верно было и то, что служебный путь здесь был усеян шипами, что пост Фронтон был сопряжен с большой ответственностью, с неблагодарной работой и не сулил успеха. От Эдессы вверх путей не было.

Фронтон, очень умный человек, глубоко запрятал жгучую обиду на Флавиев, оставивших его прокисать здесь. Но сегодня, в уединении своего кабинета, услышав, что «Нерон» снова всплыл на поверхность, он, несмотря на весь свой ум и умение держать себя, несмотря на то, что он смирился со своим положением, искусал себе до крови губы и втихомолку скрежетал зубами.

Нет, теперь уж нет смысла чего-либо домогаться. Появление этого «Нерона» уже не принесет ему никакой пользы. Все давно решено. Когда пришли к власти новые правители, у него была свобода выбора, но он принес тогда Веспасиану присягу и, следовательно, раз навсегда выбрал благоразумие, примирение, право на пенсию. Выбор правильный. Лишь очень редко Фронтоном овладевает сожаление и почти никогда — раскаяние. Но сегодня, после нелепых событий в Одеоне, его грызет раскаяние. Быть может, все же Варрон оказался умнее? Он сразу порвал с новыми хозяевами, не побоялся впасть в немилость у Палатина и с тех пор ведет свою собственную политику.

Хотя у Фронтон нет ни малейшего доказательства, он уверен, что за этим Нероном-Теренцием тоже скры-

вается Варрон. С того момента, как он впервые услышал о появлении погибшего цезаря, он почувствовал за ним Варрона. Он знает сенатора с юных лет. Они вместе прибыли на Восток, вместе опьянялись тем новым и великим, что дала им эта страна. Теперь они во враждебных лагерях. Он, Фронтон, представляет в Эдессе трезвую милитаристскую политику Флавиев, Варрон тысячами тайных путей продолжает смелую, запретную политику Нерона. Фронтон завидует Варрону и восхищается его дерзостью, его страстностью, его энергией, хотя рассудком его не оправдывает. В официальных отношениях с Варроном он обнаруживает сдержанность, с какой офицеру Флавиев и подобает относиться к такому двусмысленному человеку. Но при всяком удобном случае дает Варрону почувствовать, что по-прежнему питает к нему глубочайший интерес. Кроме того, он не может отказать себе в том, чтобы по-своему — сдержанно, благовоспитанно, но очень явно — не ухаживать за дочерью Варрона, строгой белолицей Марцией. Он не знает, да и не хочет знать, в какой мере его интерес к Марции существует сам по себе и какой служит только предлогом быть поближе к Варрону. Для него ясно, что в этом краю Варрон — человек, самый близкий ему, Фронтому. Он одержимый, этот Варрон, и добром не кончит. Если его смелый замысел удастся, то для Фронтона это будет осуждением, вечным упреком, ядом, который отравит ему старость. Тем не менее в глубине души он относится к Варрону дружелюбно. Он ждет результатов политики Варрона, ждет неизбежной плачевной развязки с жгучим нетерпением, к которому, неизвестно почему, примешиваются тоска и страх.

Быть может, появление «Нерона» будет способствовать этой развязке? Фронтон мог бы тоже способствовать ей, ускорить ее или замедлить. Было бы соблазнительно показать это тому или другому — Дергунчику или Варрону. Но нет, он ничего не предпримет против Варрона. Варрон — славный человек, он любит Варрона. Он предоставит судьбе доказать, что ведь в конечном счете прав был он, Фронтон, и неправ сенатор.

Итак, он воздержится от выступления против «Нерона».

Но не рискованно ли бездействовать? Не упрекнули ли его за это в Антиохии или Риме? Нет. Наказуемого

деяния горшечник Теренций не совершил. Его ли вина, что другим померещилось, будто они видят покойного императора? Кроме того, Теренций, как и его патрон, не только римский подданный, но и гражданин Эдессы. Надо иметь точные, неопровержимые улики, прежде чем принимать против него меры. Со злой усмешкой Фронтон вспоминает «первый наказ» Флавиев, их напутствие уезжающим офицерам: в сомнительном случае лучше воздержаться, чем сделать ложный шаг.

Следовательно, он воздержится. Пошлет рапорт в Антиохию и затребует оттуда указаний. Интересно, какие инструкции дадут ему эти идиоты. Он-то знает, как справиться с этим «Нероном» и теми, кто за ним скрывается. Насилия ни при каких обстоятельствах в ход пускать нельзя. Поскольку население Эдессы убеждено в том, что Нерон жив, следовало бы попробовать потихоньку, осторожно подкопать корни этого убеждения и вырвать их, иначе они будут прорастать снова и снова. Но после того, как в Антиохии не раз игнорировали его осторожные советы, у него нет охоты наставлять Дергунчика на путь истинный. Он, напротив, ограничится рапортом и не без злорадства будет наблюдать, как умный, хитрый Варрон обводит вокруг пальца неуклюжего Цейония с его деревянными военными методами.

На этом Фронтон обрывает свои размышления. Он зовет секретаря, начинает диктовать донесение в Антиохию.

В эту минуту ему приносят срочное письмо от верховного жреца Шарбиля. Шарбиль настоятельно просит о немедленном свидании.

Фронтон, взволнованный, отправляется в дом жреца. Старец в цветистых словах заговаривает с ним о неприятном положении, в которое ставит город Эдессу странное событие в Одеоне. Город теперь подобен мулу, который в тумане и облаках ищет пути на горной тропе: один неверный шаг — и мул погиб. Если предположить, что этот человек действительно император Нерон, — как осмелится город отказать в подобающем почтении столь высокому гостю? Но если этот человек — дурак или мошенник, не следует ли царю Маллуку немедленно заключить его под стражу, как обычного преступника?

Фронтон слушал вежливо и терпеливо. Его умные глаза под широким лбом, обрамленным седеющими во-

лосами, смотрят на позолоченные зубы Шарбиля. Фронтон привык к методам Востока, он уже многие годы с интересом тонкого ценителя наблюдает все ухищрения, увертки и уловки царя Маллука и верховного жреца; он уверен, что Варрон уговорился с ними и что овация в Одеоне была устроена не без их тайного содействия. Поэтому он выжидает, куда клонит старец. И в таких же запутанных выражениях, как Шарбиль, говорит, что ему, рядовому римскому офицеру, не подобает высказывать мнение и тем более давать совет в таком щекотливом положении.

— Мой друг слишком скромен, — сказал Шарбиль. — Что-нибудь предпринять надо. Медлить — хорошо, но если медлить слишком долго, вещи портятся, как перезрелые плоды. Царь Маллук боится, что если он ничего не предпримет, то вызовет таким бездействием неудовольствие своего могущественного союзника, губернатора Антиохии. Поэтому он намерен удостовериться, кто же этот человек, которого столь многие принимают за императора. Конечно, это будет сделано весьма осторожно. Он поставит перед его домом вооруженных людей; впоследствии, когда положение прояснится, этих вооруженных людей можно будет рассматривать в зависимости от обстоятельств — как почетную стражу или тюремный караул. Другими словами, царь Маллук намерен покамест взять этого человека под своего рода почетный арест. Но он не хочет делать этого без согласия Фронтонна, дабы никто не мог впоследствии, в Антиохии или Риме, истолковать этот шаг как оскорбление величества, если этот человек действительно окажется императором Нероном.

Фронтон изумлен. Предложение Шарбиля звучит совершенно искренне, необычайно честно и корректно. Не ошибся ли Фронтон? Неужели за этим Теренцием не скрывается ни Варрон, ни царь Маллук? Неужели все это — попросту шутка дурака или безумца, одержимого манией величия? Но против такого предположения говорит то, что события назревали медленно, в них чувствовались планомерность, целеустремленность. Фронтон, как он ни был хитер, не мог понять, что же на самом деле задумал верховный жрец. Как всегда, поведение Маллука избавляло его от всякой ответственности: Фронтон похвалил мудрость и верность союзникам, про-

явленные царем Эдессы. Потом, задумчиво покачивая головой, он отправился домой диктовать донесение.

Но не успел он продиктовать еще нескольких строк, как пришло новое спешное письмо от верховного жреца. В его словах чувствовались большое смущение и озабоченность; Шарбиль сообщал, что люди, которым было приказано удостовериться, что за человек Теренций, уже не нашли его, он скрылся в храм богини Тараты, намереваясь воспользоваться правом убежища, даруемым святилищем богини.

Фронтон свистнул сквозь зубы. Храм Тараты был всеми признанным убежищем. Эдесские власти не могли вторгнуться в убежище, это было невозможно и для римлян — иначе они восстановили бы против себя весь Восток. Теперь ему стало ясно, почему Шарбиль так срочно вызвал его к себе. Верховный жрец хотел помешать Фронтому арестовать этого человека, он своевременно укрыл его в убежище богини, оберегая от римлян. Но все это жрец сделал так, чтобы из Рима не могли предъявить ему никаких претензий. Разговор с Фронтомом создавал ему алиби. Царь Маллук выказал намерение задержать этого человека, хотя это и не было его обязанностью, и представить его в распоряжение римского губернатора. Но раз Теренций, или кто бы он ни был, бежал, раз он скрылся под защиту богини Тараты, то и Шарбиль, и его господин, царь Маллук, в этом неповинны.

Фронтон улыбнулся, еще раз подивившись восточной хитрости. Теперь в Месопотамии начнется изрядная кутерьма. Дергунчику придется здорово подергаться, подумал он на хорошем латинском языке.

То же самое на хорошем арамейском языке незадолго до этого подумал верховный жрец Шарбиль.

16. ГОСТЬ БОГИНИ ТАРАТЫ

И вот Теренций очутился в храме Тараты, в самом сердце его, в cellule, где помещались древнее изображение богини, ее алтарь и ее непристойные символы. Со дня орации в театре он испытывал страх, ему не раз приходило в голову скрыться в Лабиринте до тех пор, пока не появится Варрон и все не станет ясно. Но ко-

гда к нему явился некто в одежде торговца, намеренно плохо маскировавшей жреца Тараты, и предложил ему немедленно отправиться в убежище богини, Теренций последовал за ним без колебаний, слепо, со вздохом облегчения, чувствуя, что он теперь в хороших, могущественных руках.

Он ожидал, что верховный жрец встретит его как гостя богини, заверит в том, что она принимает его под защиту, окажет ему достойный прием. Но ничего подобного не случилось. Его оставили одного в тесной, неудобной каморке, в полной неизвестности. Шарбиль точно так же, как и Варрон, считал полезным затянуть дело, чтобы сделать Теренция возможно более покладистым.

Пришла ночь, для Теренция — ночь отнюдь не из приятных.

Храм Тараты был велик. Провести ночь в переднем дворе было не так тяжело. Там была какая-то своя жизнь — маленький пруд с рыбами богини и множество белых голубей, посвященных ей. В самом храме тоже было бы еще терпимо, хотя легко представить себе более уютное помещение, чем этот колоссальный зал с его древними, исчерна-зелеными, суживающимися кверху колоннами. Но Теренций не знал, простирается ли право убежища на весь храм или же только на целлу с ее алтарем и кумиром богини. А здесь, в целле, куда сквозь узкое отверстие проникал лишь скудный свет луны и звезд, было тесно и жутко, и Теренцию все мерещились какие-то страшные лица. Он улегся на верхней ступени жертвенника, в страхе стараясь все время прикасаться одной рукой к самому алтарю; ему неясно помнилось, будто тот, кто ищет убежища у богини, должен держаться рукой за ее алтарь или за ее изображение. По обе стороны алтаря тянулись в неверном свете месяца символы богини, колоссальные каменные изображения фаллуса. У изголовья Теренция, в нише над алтарем, поднималась древняя диковинная статуя Тараты цвета темной бронзы. На богине был венец с зубцами и башнями, как на стене, остро торчали ее голые груди, нижняя часть тела переходила в рыбий хвост. В одной руке она держала веретено, в другой — бубен. Ее узкое, древнее и все же молодое лицо с закрытыми глазами улыбалось гостю нежно, двусмысленно и зловеще.

Среди ночи Теренций стал зябнуть. Чувство безопасности, которое он ощутил при появлении посланца Тараты, покинуло его. Долго ли еще будут испытывать его этим недостойным ожиданием? Почему первосвященник не является, наконец, приветствовать его? Куда девался Варрон? Почему его оставляют в полной неизвестности и одиночестве, если хотят, чтобы он был императором? И в безопасности ли он здесь вообще? А что, если его завлекли в ловушку? Страх его рос, им овладевал гнев на тех, кто соблазнил его этой авантюрой, заманил сюда, и ему очень хотелось, чтобы, по крайней мере, Гайя или раб Кнопс были с ним.

Он пытался найти опору в своей вере в себя. Вновь принял обличье Нерона, стал императором — в одиночестве вознесся над всеми и всем. Так подобает цезарю. Он недосыгаем, он — повелитель мира. Снаружи доносилось воркованье священных белых голубей, которых что-то потревожило, в проем проникал мерцающий лунный свет, и богиня улыбалась ему с высоты таинственной и злой улыбкой. Позор для всего Запада, что ему, императору, пришлось искать защиты у этой двусмысленной богини, под сенью ее непристойных символов. Но он тотчас же раскаялся в своих мыслях, которые Тарата могла истолковать как святотатство, — ведь он теперь в ее руках.

Как он ненавидел этого актера Иоанна с Патмоса! Именно тот довел его до такого положения своим нелепым чтением «Октавии», не говоря уже о том, что сам Теренций, если бы только захотел, был бы куда более великим артистом, чем этот грязный христианин. А в «Эдипе» у Иоанна все, с начала и до конца, фальшиво и бескрыло! Сам Иоанн, если он действительно что-нибудь понимает в искусстве, понял бы, что под оболочкой Теренция скрывается нечто большее. Толпа, с ее здоровым инстинктом, тотчас же это заметила. Только снобы, несколько наемников Тита и подкупленные им креатуры не хотят этого понимать. И из-за них он должен здесь скрываться.

Но теперь уже недолго терпеть, скоро он сможет раздавить их всех, всех своих противников. Он перебирал в уме имена сторонников Тита в Эдессе и их вожakov. Конечно, сюда же он отнес тех, кого он лично, по тем или иным мотивам, не любил, с кем у него бывали

столкновения, — конкурентов, товарищей по цеху, подозреваемых в том, что они недостаточно почитают его. В конце концов получилась довольно внушительная шеренга. Он спрашивал себя, отнести ли сюда и Гайю с ее дерзкими сомнениями. Но не додумал эту мысль до конца и ни на что не решился, а вместо этого начал со всеми подробностями рисовать себе, как со вкусом, не спеша, будет мстить тем, кого считает своими явными врагами.

Его все сильнее знобило. Он поднялся, начал ходить взад и вперед, не сходя с верхней ступени, вдоль алтаря, — так, чтобы можно было тотчас же коснуться его, если бы сюда ворвались солдаты Фронтоня. Слабый, сладковатый и противный запах поднимался из желоба под алтарем, по которому стекала кровь жертвенных животных. Эту ночь он запомнит надолго. Ночь, когда он пришел с Палатина, после того как туда вторглись солдаты сената, и нынешняя ночь — это два самых ужасных перевала в его жизни.

Но придет же ей конец, этой ночи. Наступит день — «Будет некогда день...». Теперь уже нет сомнений, что сон, приснившийся его матери, истолкован правильно. Он уже проделал большую часть подъема, самым крутым и трудным было начало пути; а как только наступит день, как только он избавится от этого проклятого мерцающего света, все поймут, кто он. Он стоял, недовольно выпятив нижнюю губу, в позе императора. Достал смарагд, поднес его к глазу и принялся критически, дерзко рассматривать изображение Тараты. Оно ему не по душе, весь ее храм ему не по душе. Он будет строить иначе, когда придет время. Он возведет грандиозные, монументальные здания. Вместо его колоссальной статуи, которой они в Риме отбили голову, он воздвигнет новую, еще более колоссальную. Свое изображение, громадных размеров, он высечет в горе, как это делали старые властелины. А Лабиринт, свой Лабиринт, он сделает гробницей, своим мавзолеем, восьмым чудом света.

Но богиня смотрела на него сверху вниз с кроткой и злой улыбкой, и ему стало страшно своего собственного величия.

А тут он еще почувствовал потребность опорожнить мочевой пузырь. Сделать это здесь же, в cellule, он не смел. Как знать, быть может, это будет сочтено за

оскорбление богини и он лишится права убежища, осквернив храм? Но потребность мучила его все сильнее. Наконец он протиснулся за алтарь. Здесь он справил свою надобность, но вместе с чувством освобождения его охватил невыразимый страх.

К утру, совершенно измученный, он плотнее закутался в свой плащ и вытянулся — с твердым решением заснуть — на верхней ступени, тесно прижавшись к алтарю. Он еще раз потянул носом — не остался ли запах мочи, — стал читать про себя, чтобы заснуть, текст «Эдипа» и наконец действительно заснул.

Когда он проснулся, все тело у него затекло, но озноба он уже не испытывал. В святилище он увидел людей — и испугался. Но оказалось, что это не римляне, а молодые жрецы Тараты, приносившие ей утреннюю жертву, козленка. Забившись в угол, он боязливо следил за ними — не обнаружат ли они следы содеянного им. Но они правили обряд, не обращая на него внимания. Закончив жертвоприношение, они облили алтарь струями воды, чтобы очистить его, и теперь всякая опасность для Теренция миновала.

Время шло. В целле появлялись и другие жрецы. Они с любопытством смотрели на человека, который искал убежища у алтаря богини. Никто не сказал ему ни слова. Теренций снова принял то равнодушное выражение, которое он усвоил в последнее время.

Он с облегчением вздохнул, когда наконец пришел верховный жрец Шарбиль. Ведь наверняка тот принес ему какое-нибудь решение — плохое или хорошее.

Шарбиль решил, что молодчик уже достаточно обмяк. Он явился в полном параде приветствовать гостя своей богини; золотая жреческая митра с острым концом венчала его дряхлую птичью голову. Согнув руки в локте и протянув их ладонями вверх, он почтительно приветствовал того, кто прибег к защите Тараты. Так же почтительно Теренций ответил на приветствие.

Затем верховный жрец заверил пришельца, что тот находится здесь под охраной божества. Теренций не подал виду, каким облегчением для него были эти слова, он поблагодарил вежливо, равнодушно. Шарбиль после целого потока цветистых слов спросил:

— Смею ли просить тебя, гость богини Тараты, назвать свое имя ее жрецу?

К удовольствию Теренция, он говорил по-арамейски. Чужой язык послужил для него предлогом ответить медленно, уклончиво.

— Богине мое имя известно, — сказал он.

— Не ты ли цезарь Нерон, о господин? — спросил напрямик первосвященник.

Это было невежливо и, пожалуй, недипломатично. Но первосвященник Шарбиль был очень стар, у него было мало времени впереди, кроме того, он был любопытен. Однако Теренций остерегся дать неразумный ответ.

— Я тот, — сказал он, — кем меня сделали боги.

В глубине души он был крайне доволен тем, что не ему пришлось выдавать себя за Нерона, а другие сделали его Нероном. Шарбиль же подумал: «Это умный человек. Он заслуживает быть Нероном».

17. ДЕРГУНЧИК И ВОСТОК

Когда губернатору Цейонию доложили, что в Месопотамии многие считают некоего горшечника Теренция умершим императором Нероном, он, удивленный таким вздором, покачал головой и рассмеялся. Как можно попасться на такой неуклюжий обман? На этом примере можно убедиться, — в который раз! — какие варвары живут по ту сторону Евфрата.

Когда затем полковник Фронтон сообщил, что горшечник Теренций бежал в храм Тараты, откуда римляне не могут его получить без нарушения договоров и без серьезного для себя риска, его все еще скорее забавляла, чем беспокоила эта история. Ему казалось странным, что его советники отнеслись серьезно к этому комическому инциденту. Вежливо, слегка иронически и весьма высокомерно написал он царю Маллуку, требуя, чтобы правительство оказало всяческое содействие его наместнику Фронту — в соответствии с договорами — при аресте римского подданного Теренция Максима. Он слышал, что вышеназванный Теренций прибегнул к покровительству богини Тараты. Если бы на его территории человек, преследуемый властями Эдессы, искал убежища в римском храме, то Цейоний постарался бы взять молодца измором или выкурить его; он не сомне-

вается в успехе. Он был бы обязан эдесским правителям, если бы они возможно скорее урегулировали это дело.

Большинство советников царя Маллука были арабы, они почитали арабские звездные божества Ауму, Азиса и Дузариса, а не сирийскую богиню Тарату. Тем не менее, читая письмо губернатора, они насупились, обиженные непочтительным тоном, в котором римлянин говорил о любимой богине сирийцев.

Маллук и Шарбиль сидели в тихом, увешанном коврами рабочем покое. Слова их перемежались длинными паузами. Слышен был плеск фонтана.

— Этот господин на Западе, — сказал своим глубоким, спокойным голосом царь, — по-видимому, не очень-то боится твоей богини Тараты, жрец Шарбиль?

— На Западе, — возразил Шарбиль, — возникло и погибло множество царств, а богиня Тарата три тысячи лет простирает руку над своим прудом, и ее рыбы плавают так же, как и три тысячи лет тому назад.

— Ты, значит, не собираешься брать измором того человека в храме? — спросил царь, и в его равнодушном голосе слышалась легкая насмешка над римлянином.

— Да минует меня даже мысль о том, — с благородным негодованием ответил жрец, — чтобы нанести такое оскорбление богине. Она достаточно богата, чтобы прокормить бежавшего к ее алтарю.

На Востоке люди не торопятся. Прошло две недели, прежде чем царь Маллук ответил на письмо римского губернатора. В своем послании он в длинных поэтических фразах распространялся о величии Римской империи и о величии богини Тараты. О, царь Маллук пламенно желает услужить своим римским друзьям, но тверда, как горные скалы, его верность клятве, а ведь милостью неба он, приняв царский венец, поклялся чтить всех богов страны. Поэтому ему осталось лишь передать письмо губернатора верховному жрецу Тараты, ответ которого он прилагает. Шарбиль, со своей стороны, разъяснил: глубоко, как море, благоговение эдесской страны перед богиней Таратой. Как ни стремится он, Шарбиль, служить своим могущественным друзьям на Западе, для него совершенно невозможно посягнуть на гостя богини, нашедшего убежище в ее храме. Такое осквернение святыни она покарала бы страшной карой —

огнем и водой, молнией, мечом и мором, она покарала бы не только Эдессу, но и всю Сирию. Этого не приходится разъяснять столь мудрому человеку, как римский наместник.

Прочитав цветистые письма царя и верховного жреца варваров, Цейоний с неудовольствием швырнул их на стол. Если этим восточным людям понадобилось две недели, чтобы сочинить свои послания, то ему для ответа не понадобится и часа. Он в повелительном тоне предложил Шарбилю, господину над храмом Тараты, немедленно прибыть в Антиохию, чтобы ликвидировать конфликт.

— Эти римляне, — сказал жрец Шарбиль, беседуя с царем Маллуком в покое с фонтаном, — плохо знают природу живого существа. Зачем лисе отправляться в пещеру льва и к тому же еще немедленно?

Через две недели он написал в Антиохию, что, как ни лестно для недостойного Шарбиля приглашение западного господина, он, к сожалению, не может его принять. Сейчас как раз та пора, когда священные рыбы в пруде богини Тараты мечут икру. Для верховного жреца нет никакой возможности покинуть священный участок богини в столь важный момент, не разгневав ее и не накликав несчастья на всю страну.

До сих пор Цейоний смеялся над дешевым провинциальным фарсом, который разыгрывал там этот мелкий римский мошенник, этот вольноотпущенный горшечник. Теперь его привело в ярость это насмешливое и упорное сопротивление эдесских князьков.

«Действовать решительно, — мысленно сказал он, скрежеща зубами, когда получил отказ Шарбиля. — Послать солдат в Эдессу, шесть тысяч, восемь тысяч. Тогда поглядим, что будет с этой богиней Таратой, с ее рыбами и прочей дрянью».

Тем не менее Цейоний многому уже научился за время пребывания на Востоке и поэтому быстро справился с припадком гнева. Придется оккупировать Месопотамию и вести войну с Артабаном: поимка этого ничтожного Теренция не стоит такого риска. Против змеиной изворотливости и цветистого лукавства восточных негодяев можно действовать только окольными дипломатическими путями. Он начал понимать, что выступление Теренция, пожалуй, нечто большее, чем трюк мошен-

ника; за ним, возможно, стоят более могущественные силы, какие-нибудь парфянские сановники. Пожалуй, Варрон не был неправ, советуя признать Артабана. Жалко, что Цейоний был с ним слишком резок. Как ни трудно выносить повадки этого человека, он теперь охотно посоветовался бы с ним. Он обрадовался, когда сенатор наконец снова появился в губернаторском дворце: Варрон давно уже не давал о себе знать, по-видимому, обиженный тем, что, вопреки его совету, признан был Пакор.

— Хорошенькие дела творятся в вашей Эдессе, — весело сказал губернатор легким, светским тоном. — Вы осведомлены, мой Варрон?

— Да, — ответил Варрон, — мой управляющий Лейней прислал мне обстоятельный доклад.

— Вот он, ваш Восток, — с деланным добродушием проворчал Цейоний.

— Я же сразу сказал вам, — примирительно, но уже вполне серьезным тоном заметил Варрон, — что следовало стать на сторону Артабана.

— Вы и в самом деле думаете, — спросил губернатор, но уже не в прежнем легком тоне, и сидел он неестественно прямо, — что между претендентом Артабаном и этим мошенником существует какая-нибудь связь?

— Само собой разумеется. — Варрон пожал плечами. — Правители Эдессы не могут мирно ужиться с вами после тяжелого удара, который вы нанесли им, признав Пакора. Без попустительства эдесских властей история с Лже-Нероном не могла бы пойти так далеко.

— Какой интерес эдесским властям, — опять спросил Цейоний, — помогать этому мелкому мошеннику?

— Эдесские власти, — спокойно объяснил ему Варрон, — заинтересованы в претенденте Теренции в такой же мере, в какой вы заинтересованы в претенденте Пакоре. Хотят поставить вас в затруднительное положение. По-видимому, это им удалось.

Цейоний намеревался спокойно выслушать Варрона, попросить у него совета, как римлянин у римлянина, и на сей раз обдумать беспристрастно этот совет и, по возможности, последовать ему. Но он ничего не мог с собой поделать — все более острое раздражение поднималось в нем при виде собеседника, который сидел

против него в такой удобной позе, с видом превосходства, скрестив ноги, высказывая вещи, которые, к сожалению, были настолько же верны, насколько неприятны. «Конечно, следовало стать на сторону Артабана, — думал Цейоний. — Ведь на этом проклятом Востоке надо всегда идти самыми извилистыми, самыми кривыми путями. Прямой, порядочный человек вроде меня не может здесь ничего добиться — вокруг тебя дремучий лес, и если ты расчистишь себе дорогу верным римским мечом, то вдруг опять оказываешься перед непроходимой чащей, а позади тебя уже вырос новый лес. Ясно, что тут Варрон, этот негодяй, этот стареющий бездельник, скорее добьется успеха. Кроме того, у него было достаточно времени, чтобы акклиматизироваться».

— Впрочем, — сказал Варрон, — царю Маллуку и первосвященнику Шарбилю в самом деле нелегко было бы предпринять что-нибудь против человека в храме Тараты, даже если бы на то была их добрая воля. Все население по ту сторону Евфрата убеждено, что человек этот — император Нерон.

— Так доносят и мне, — недовольно признался Цейоний. — Но я не могу себе этого представить. Да, эти восточные люди суеверны. Несмотря на кажущуюся хитрость и изворотливость, они неописуемо тупы, их можно убедить в самых нелепых вещах. Они питаются баснями и сказками. Ничего удивительного, что народ с такими свойствами, несмотря на свою многочисленность, легко дает себя обуздать разумному меньшинству, вроде нас, римлян. Но, — с возмущением сказал он, — такую чепуху, как известие о том, что Нерон жив, они ведь проглотить не могут. Большинство людей в Эдессе умеет читать и писать. Неужели вы думаете, что их можно провести таким грубым трюком?

Варрон задумчиво покачал массивной головой.

— Этот Теренций, — кстати, он мой клиент, — сочинил очень правдоподобную историю. Тогда якобы вместо императора был убит мой Теренций, о котором известно было, что он весьма схож с Нероном, а человек, который впоследствии выдавал себя за Теренция, есть якобы подлинный Нерон. Все это звучит не так уж нелепо. Я хочу сказать, здесь, на Востоке, в пяти тысячах километров от Рима.

Но Цейоний не мог успокоиться.

— Свихнулись эти люди, что ли? Клянусь Геркулесом, я не понимаю, какой интерес был тогда горшечнику Теренцию назваться перед войсками сената императором и дать себя убить вместо него?

— Здесь, на Востоке, — дружески объяснил ему Варрон, — еще не усвоили того, что римская верность больше не существует. Ведь вы сами только что сказали, Цейоний, что здесь мы окружены варварами. Эти варвары совершенно серьезно верят, что римлянин, если придется, умрет за своего императора.

Цейоний подавил чувство недовольства, преодолел соблазн «дернуться» и резко поставить Варрона на место.

— Ваши афоризмы хороши, мой Варрон, — признал он и даже заставил себя улыбнуться. — Но скажите мне прямо, по-латыни: есть ли какие-нибудь шансы на успех у этого шарлатана? Могу ли я рассчитывать, что все это рухнет само собой, или мне следует вмешаться в это дело?

Варрон серьезно взглянул на губернатора, медленно провел кончиком языка по губам, от одного уголка рта к другому.

— Есть ли шансы у моего Теренция? — повторил он задумчиво. — Видите ли, дорогой Цейоний, — сказал он поучительно, — людям в Эдессе живется плохо, им приходится платить большие налоги, они могут лишь выиграть от переворота. Если явится человек, который обещает упразднить налоги, по ту сторону Евфрата он везде встретит доверие. А если к тому же за ним стоят и ловкие люди, оказывающие ему содействие, он может продержаться долго.

— Значит, вы полагаете, — спросил Цейоний, — что за этим мошенником стоит Артабан?

Варрон выразительно пожал плечами.

— Не знаю, — ответил он и спокойно посмотрел губернатору прямо в лицо.

У Цейония в первый раз за все время мелькнуло подозрение, нет ли между тем наглесом Теренцием и этим Варроном какой-то связи, ему стали ясны некоторые темные и осторожные намеки его подчиненных. Но он тотчас же прогнал эту догадку. Ведь ему было известно, он сам видел, что Варрон все это время жил здесь, в Антиохии, с головой окунувшись в распутную жизнь

Дафне. Он никак не мог отсюда руководить таким сложным предприятием. И, наконец, Варрон — римлянин. До чего же у него самого разыгралась фантазия на этом сумасшедшем Востоке! Нет, нельзя давать неприязни к Варрону увлечь себя слишком далеко.

— Дело не так просто, мой Цейоний, — тихо сказал Варрон. — Нельзя недооценивать силу слухов, силу легенды. Легенда по своей природе котируется выше, чем правда. А пропаганда способна пустить в обращение любую легенду. Так что же говорить о такой трогательной истории, как рассказ о верности и самопожертвовании горшечника Теренция, отдавшего жизнь за своего императора. Вспомните, мой Цейоний, — прибавил он серьезно, — как я с самого начала вас предостерегал. И я повторяю: вы не знаете Востока, вам многому еще придется здесь удивляться.

Цейоний больше не мог спокойно сидеть в своем кресле. Он встал, начал ходить по комнате. История с самозванцем все больше его тревожила. Варрон — римлянин. Когда дело идет о коренных интересах Рима, он не откажет в помощи.

— Вы, мой Варрон, — сказал он, — были близким другом Нерона, вы так же близко знаете горшечника Теренция, вашего клиента. Вы именно тот человек, который призван внести ясность в это неприятное дело. Если вы отправитесь в Эдессу, собственными глазами поглядите на этого молодца и затем во всеуслышание объясните, в чем там дело, — то, клянусь Геркулесом, этому фарсу будет положен конец.

Варрон в глубине души обрадовался. Вот, значит, до чего дошел Дергунчик, он уж даже обращается с просьбой. Вслух он сказал:

— Это не так просто. Здесь, на Востоке, чем дело яснее, тем хитрей и изворотливей надо действовать, чтобы люди убедились и поверили...

Цейоний сказал нетерпеливо:

— Ну и что же, действуйте хитростью, изворотливостью! Я даю вам все полномочия.

— Очень любезно с вашей стороны, — возразил Варрон. — Но вам все кажется проще, чем оно есть. Не примите это, мой Цейоний, за нежелание пойти вам навстречу. Если бы вы ко мне обратились еще тогда, когда это дело не вылупилось из яйца, я мог бы вам поручить-

ся, что в два счета приведу все в порядок. Но вашим поведением вы все до чрезвычайности усложнили. Даже и независимо от этого именно мне неудобно вмешаться теперь, когда эдесские власти уже заняли определенную позицию. Вспомните, что вы сами недавно говорили мне о конфликтах совести, угрожающих человеку, который одновременно является римским гражданином, подданным парфянского царя и гражданином Эдессы.

«Не надо было его просить, — подумал Цейоний. — Он упивается тем, что я его прошу».

Но он не вскипел, он пересилил себя, продолжал просительным тоном:

— Не кичитесь своей правотой. Я согласен, что совет ваш был справедлив и что надо было последовать ему. Но не будьте злопамятны. Ведь мы оба — римляне, Варрон. Мы находимся здесь, чтобы защищать империю по эту сторону Евфрата.

— Послушайте, Цейоний, — сказал Варрон напрямик. — Я предлагаю вам сделку. Вы признаете, что неправильно потребовали с меня инспекционный налог, вы вернете мне шесть тысяч сестерциев. А я ликвидирую историю с этим мнимым Нероном, хотя вы ее порядочно запутали. Что вы на это скажете?

Он сидел в своем кресле в удобной позе, говорил дружелюбно, спокойно, но внутренне был напряжен до крайности. Варрон был страстный игрок, он вложил всю душу в игру, которую затеял. Но он не утратил чувства реальности и не скрывал от себя, что за этим тщедушным человечком стоит Рим, вся империя, с ее налаженной организацией, с ее веками накопленным искусством государственного управления, с ее армией, и что он, Варрон, который всему этому может противопоставить лишь своего никудышного Теренция, погибнет, если серьезно ввяжется в борьбу. Он достиг того, чего хотел, — он проучил Цейония. В глубине души он хотел, чтобы Цейоний дал ему возможность отступления. Если Цейоний вернет ему шесть тысяч сестерциев, он действительно ликвидирует все это дело и вернет Теренция в небытие, из которого извлек его.

Губернатор, шагавший по комнате, услышав предложение Варрона, резко остановился. Тихо и с горечью сказал он сквозь зубы:

— Вы вымогатель.

— Вы любите крепкие слова, Цейоний, — ответил все еще дружелюбно Варрон. — Неужели, по-вашему, я послал бы вам тогда, в Эдессе, эти шесть тысяч, если бы вы — скажем так — не оказали на меня давление? Теперь давление оказывают на вас, Цейоний.

Слова Варрона звучали так, как будто речь шла исключительно о личном конфликте между ним и Цейонием. И все же именно в ту минуту, когда Варрон произносил эти слова, у губернатора возникла смутная мысль, что здесь лицом к лицу стоят совершенно другие силы и дело не в нем и не в его школьном товарище. Ему представилось, что политика умершего Нерона была продолжением старого как мир процесса, который не может оборваться по слову губернатора, или даже императора, или армии. Он начал понимать, что здесь действительно многое переплетается незаметно, неуловимо, что признание Пакора, востребование шести тысяч сестерциев, появление Лже-Нерона, а может быть, и еще многое другое, о чем ему не было известно, — что все эти на первый взгляд не зависящие друг от друга вещи глубоко и неразрывно спаялись, что он и Варрон, когда они оба стоят лицом к лицу, на первый взгляд вольные принять то или иное решение, сами быются в этой сети, движимые неведомыми им силами.

Он казался сейчас странно беспомощным — чиновник, который неожиданно поставлен перед неразрешимо трудной задачей и не находит в прошлом подходящего прецедента. Как ему поступить — ему, привыкшему держаться испытанных образцов и точных инструкций?

— Но я не могу отменять приказы, — сказал он, пожимая плечами, — которые я же издал как официальное лицо. От этого пострадает престиж империи.

И как только он нашел это словечко — «престиж империи», он почувствовал себя уверенней. Это уже было нечто, за что можно ухватиться.

— Престиж империи, — задумчиво повторил Варрон, — не кажется ли вам, что престиж империи больше пострадает от истории с Лже-Нероном, чем от возврата шести тысяч? Здесь, на Востоке, трудно предвидеть, чей престиж в конечном счете поднимет та или другая мера.

К сожалению, Варрон был прав. Поэтому Цейоний не стал отвечать на его возражения и лишь констатировал:

— Значит, вы не хотите мне помочь?

— Хочу, — ответил Варрон, — если вы поможете мне.

Он это сказал без злобы. Он не радовался тому, что заставил Дергунчика так явно обнаружить свое бессилие. Напротив, опасные стороны его затеи вырисовывались перед ним все отчетливей, все грознее, и могущественная Римская империя, как исполин, вставала за маленьким Цейонием. Он сделал последнюю попытку и принялся спокойно уговаривать сумрачного Цейония:

— Подумайте еще раз, мой Цейоний. Не говорите сразу «нет». Прошу вас, подумайте.

На какую-то долю секунды Цейоний заколебался: не будет ли в самом деле умнее согласиться на предложение Варрона? Он предвидел, что без помощи этого человека Лже-Нерон наделает ему много хлопот и осложнений. Но перед глазами его встал прикрытый ларец с восковым изображением опозорившего свой род прадеда. Всякий другой имел бы право пойти на уступку, он, Цейоний, — нет. Это ожесточило его, но озлобился он не на самого себя, а на Варрона. Чувство угрюмого смирения сменилось безмерной яростью против человека, который расселся тут в непринужденной и дерзкой позе и еще словно находит удовольствие в этой необузданной, отвратительной восточной неразберихе. Цейоний выпрямился, стал римлянином, наместником императора.

— Я, конечно, не могу вас заставить, — ответил он самым сухим, ржавым, чиновничьим тоном, на какой был способен. И тут же резким, срывающимся голосом закричал: — Я представляю тут особу цезаря! Я не заключаю сделок с его подданными!

Варрон не радовался гневу губернатора, как только что не радовался его беспомощности. Как бы подводя итог разговору, он сказал — и в его голосе прозвучало скорее самоотречение, чем ирония:

— К сожалению, вы были правы, Цейоний, в тот раз, когда мы впервые здесь встретились. Мы и в самом деле не можем сотрудничать. — И ушел.

Вечером того же дня Цейоний понял, какую тяжкую ошибку он совершил. Он припоминал слова Варрона, его лицо, его позу, его интонации, и вдруг ему стало до боли ясно, что за самозванцем Нероном стоит

не кто иной, как этот его старинный недруг. Он, Цейоний, опять поступил неправильно: следовало либо пойти на условия Варрона, либо применить по отношению к нему силу.

Он тотчас же отдал приказ взять Варрона под стражу. Но тот был уже на пути в Эдессу.

18. ОТ ИГРЫ ВАРРОНА РАСХОДЯТСЯ КРУГИ

Свою дочь Марцию Варрон повез с собой. Белолицая, строгая Марция любила отца, но в Эдессу она ехала неохотно. В Антиохии еще слегка чувствовался Рим, Эдесса же была Востоком, и только. Однако отец приказал — и она повиновалась.

За Варроном следовал большой обоз. За последнее время сенатор, насколько это было возможно, распродал свои владения на территории римской Сирии и все, что мог, переправил за границу. Теперь он увозил с собой остатки своей движимости. Сам он, Марция и немногочисленная свита с большой поспешностью ехали верхами впереди. Вскоре они прибыли в Апамею, последний город на рубеже римских владений. Переехали через Евфрат по мосту, взобрались на низкий холм, по гребню которого проходила граница, и остановились на этом холме, уже за пределами римской территории.

Здесь, наверху, на границе, Варрон дождался своего обоза. Он остановил коня, когда обоз переезжал через мост. У ног его извивалась желтая река; медленно проходил огромный поезд — люди, животные, повозки с кладью.

Итак, этот маленький холм, задумчиво сказал себе Варрон, есть одна из вершин его жизни. Он многое оставил на римской территории — виллы, поместья, людей, коней, вещи, деньги. Ценностей на добрых пятнадцать миллионов сестерциев, в две с половиной тысячи раз больше, чем сумма пресловутого налога. И не только это оставалось на другом берегу. Он оставил там весь западный мир, все римское, что было в нем, оставил римскую цивилизацию и греческое образование. Но Варрон ни о чем не жалел. Его обращение к Цейонию, его вторичное, настойчивое предложение — это была последняя уступка разуму. То, что Цейоний не уступил, было

указанием судьбы. Теперь Варрон перешел мост, теперь он с головой бросается в игру.

На этом маленьком холме, возле Апамеи, он задержался, глядя, как его люди и вещи покидают римские владения. Мимо него проносили ларец с документами. Он остановил носильщика, достал расписку. На оборотной стороне, в графе «убыток», вписал: «Пятнадцать миллионов сестерциев и целая цивилизация».

Короткий путь до Эдессы он проехал в отличном расположении духа, обуреваемый жаждой действий. Куда бы он ни приезжал, повсюду сбегались люди, бурно его приветствуя. То обстоятельство, что в храме Тараты скрывался человек, которого большинство считало императором Нероном, повергло всю область в нетерпеливое и смутное ожидание грядущих великих событий. Когда Варрон вступил в Эдессу, его встретили, как долгожданного владыку. На улицах густыми толпами стояли люди, и все они — сирийцы, персы, арабы, евреи, греки — с ликованием его приветствовали, как будто сам император Нерон прибыл в любимый город Эдессу.

Варрон хорошо знал восточное непостоянство и не переоценивал значения этого приема. Он знал, что впереди еще длинный, трудный путь. Прежде всего надо было привлечь на свою сторону царя Маллука и Шарбиля. Он знал их обоих; они хитры и упрямы и, несомненно, возьмут немалую цену за помощь. Он был убежден, что царь и верховный жрец так же нетерпеливо ждут этой встречи, как и он. Тем не менее царь Маллук только спустя три дня пригласил его во дворец.

Началась одна из тех медлительных, бесконечных бесед, которые любил царь и которые так действовали на нервы людям Запада. Однотонно журчал фонтан, и уже дважды слуга откидывал висевший у входа ковер и выкликал время, а собеседники все еще не подошли к тому, что занимало их мысли.

Наконец Варрон начал:

— Когда в последний раз я удостоился чести предстать пред лицом повелителя Эдессы, мы говорили о некоем человеке и его великих притязаниях. Тогда ты, верховный жрец Шарбиль, сказал: «Если Рим выскажется за Пакора против нашего Артабана, то для Эдессы будет большой радостью, если император Нерон окажется жив». И вот Рим высказался за Пакора. — Оба

собеседника молчали; тогда он прибавил: — В Антиохии сложилось впечатление, что и вы тем временем зашли очень далеко. — Он хотел намекнуть обоим, что они уже связаны.

Но царь Маллук тихо повернул к человеку Запада свое смуглое лицо с выпуклыми глазами.

— Значит, — возразил он, — в Антиохии не глубоко проникли в смысл наших слов. Путешествие из Эдессы в Антиохию занимает целый день даже у хорошего гонца, едущего по хорошей дороге. Может случиться, что за то время, пока весть дойдет из Эдессы в Антиохию, положение изменится.

Шарбиль дал более точное истолкование словам царя:

— Мы и не думали сделать решительный шаг. Кто знает богов Востока, тот должен понять, что верховный жрец богини Тараты не может покинуть ее пруда в то время, когда священные рыбы мечут икру. — И, полный праведного гнева, он объяснил: — Богине Тарате безразлично, кто именно ищет убежища в ее храме. Она простирает над ним свою руку, будь это горшечник Теренций или император Нерон. Мы не спрашивали, кто этот человек, мы этого не знаем. Именно ты, Варрон, — ведь ты был близким другом императора Нерона, — можешь нам это сказать.

— Вы в самом деле желаете знать, — продолжал спрашивать Варрон, — кто этот человек?

— Мы хотим, — отозвался Шарбиль, — знать, что ты, о Варрон, думаешь об этом человеке.

Варрон сказал:

— Если вам угодно, я знаю один признак. Между мной и цезарем Нероном есть тайны, которых никто не может знать, кроме императора и меня. Если они известны этому человеку, значит, он император. Хотите испытать его?

Верховный жрец взглянул на царя и предоставил ему отвечать.

— Многое может доказать слово, — сказал царь, — но оно не может убедить окончательно. Окончательно убедить может только дело.

Варрон, разумеется, тотчас понял, куда клонили эти люди. Не предполагаемого Нерона, а его самого они хотели связать навсегда чем-то большим, чем слово. Но он

с деланной наивностью притворился, будто не понимает царя, и изобразил на лице своем вопрос. Нетерпеливый Шарбиль тотчас же пояснил:

— Нужно, чтобы ты, Варрон, доказал свою веру в этого человека не только на словах.

Варрон был готов к тому, что от него потребуют многого; и все-таки теперь, когда ему предстояло выслушать их требования, он устранился и попробовал отдалить неприятную минуту.

Варрон знает, возразил он обидчиво, что восточный человек требует от западного множество доказательств, прежде чем ему поверить. Но Варрон как будто доказал, что он по заслугам носит почетный титул «двоюродного брата эдесского царя».

Ни Маллук, ни Шарбиль не ответили. Наступило бесконечное молчание. Варрон раскаивался в том, что сам обрек себя на ожидание, ибо эти восточные люди умели ждать лучше, дольше, спокойнее, и молчание удручало его больше, чем их.

— Если я признаю этого человека императором Нероном, — едва владея собой, сказал он наконец, — то Тит и его губернатор конфискуют все мои имения на римской территории. Разве это недостаточное доказательство?

Шарбиль ответил с легкой усмешкой:

— Пожалуй, имения твои конфискуют. Но тебя и так не любят в Антиохии, и, может быть, даже без этого нового Нерона там нашли бы предлог сократить твои богатства. Чтобы убедить нас, тебе нужно найти более веские доказательства своей веры.

Но вот наконец заговорил царь. Своим глубоким, спокойным голосом он сказал:

— Да, тебе придется подтвердить свою веру более вескими доказательствами.

Варрон побледнел; он все время чувствовал, куда они клонят, потому-то он и медлил и находил все новые отговорки.

— Какие же еще более веские доказательства? — спросил он растерянно.

Слуга откинул ковер, выкликнул час. Царь велел принести сладости, начал вежливо расспрашивать Варрона о его жизни в Антиохии, о путешествии. Мучительно одностонно журчала вода.

Наконец Шарбиль сказал:

— Ты мог бы, например, доказать свою веру, отдав свою дочь Марцию в жены Нерону.

Когда эти слова излетели из ограды золоченых зубов жреца, сердце Варрона затрепетало. То, что измыслили эти двое, было венцом восточной хитрости и показывало, как хорошо они его знали. Они ударили по самому чувствительному месту. Он всей душой был привязан к своей красивой, белолицей, строгой дочери Марции. Все, что было в нем римского, воплотилось в этом его ребенке. Даже в те мгновения, когда Марция его презирала, она любила его и восхищалась им. Замкнувшись в своем римском высокомерии, Марция избегала общения с людьми Востока. Стало быть, это и есть то, чего требовали эти двое, это и есть «доказательство»! Ибо если этот Нерон — мошенник, то царь и жрец вынужденным браком его дочери не только связали бы Варрона вернее, чем всяким другим залогом, особенно имущественным, но к тому же унизили бы его гордую Марцию, римлянку, принудив ее лечь в постель с мошенником и рабом.

Подчинится ли Марция, если он сделает ей подобное предложение? А если подчинится, не вырвет ли она из своего сердца всю любовь, которую питает к отцу?

Он понял, что его шутка обходится дорого.

Он еще раз обдумал возможность отказаться от всей затеи. Что, если он вернется в Антиохию и скажет Цейонию: «Я видел этого парня. Это в самом деле дурак и обманщик, как мы и полагали с самого начала, и если хотите, мой Цейоний, я публично об этом заявлю». Цейоний примет его с распростертыми объятиями, на Палатине будут ему благодарны. Дергунчик поймет, кто такой Варрон, и поостережется вторично требовать инспекционный налог или что-нибудь в этом роде.

Но разве дело в Дергунчике или в нем самом? Речь идет об идее Нерона, о его деле, продолжающем дело Великого Александра, речь идет о Востоке, о слиянии его с Грецией и Римом. Может ли он бросить то, что едва лишь начал?

Он поклонился царю Маллуку и жрецу и сказал:

— Если император Нерон удостоит своим выбором дочь Варрона, никто не будет радоваться более, чем Варрон.

19. РОМАНТИКА И ПРАВО НА ПЕНСИЮ

Следующий, кого сенатор хотел прощупать относительно своего Нерона, был комендант римского гарнизона полковник Фронтон. Варрон мог рассчитывать на успех своего начинания лишь в том случае, если бы ему удалось заручиться нейтралитетом Фронтона, в тайном благожелательстве которого он, впрочем, не сомневался. Он ценил Фронтона. Он считал его самым способным офицером и самым лучшим политиком в Месопотамии и чувствовал, что их связывают воспитание и образ мыслей. Поэтому он тщательно подготовил случайную встречу с ним.

Дважды в неделю представители высшего общества Эдессы встречались на вилле фабриканта ковров Ниттайп, чтобы развлечься модной игрой в мяч. Варрон знал, что и полковник Фронтон часто там бывает. Он обрадовался, когда увидел его уже при втором посещении Ниттайи. Варрон был неплохой игрок, Фронтон — очень хороший. В зале, где гости переодевались для игры — играли в коротких туниках, — он спросил полковника, не угодно ли ему сыграть с ним один на один. Фронтон согласился с видимым удовольствием.

— Легким мячом или тяжелым? — спросил он.

— Самым тяжелым, — предложил Варрон.

— Как вам угодно, — с улыбкой ответил Фронтон.

Они решили сыграть обычные одиннадцать конов. После каждого кона они устраивали довольно продолжительный перерыв, во время которого каппадокийские рабы обтирали их; затем игроки бросали жребий — кому подавать.

— Человек из храма Тараты, — начал во время первого перерыва Варрон с непринужденной искренностью, — заставит нас обоих поломать голову.

Они сидели на каменной скамье, под лучами солнца, каппадокийские рабы, без сомнения, не понимавшие полатыни, осушали их пот и умащали тело. У ног их лежал тяжелый мяч.

— Меня не заставит, — возразил хорошо настроенный Фронтон, толкая мяч ногой то в одну, то в другую сторону, между собой и Варроном, — мне ломать голову не придется. Я получаю указания из Антиохии,

и мне незачем задумываться. Таково преимущество солдата.

Варрон так же весело ответил:

— Преимущество, за которое иногда приходится дорого платить. Предположим, что наш досточтимый царь Маллук станет на сторону бежавшего в храм человека и извлечет его из убежища. Тогда вам придется сделать попытку захватить его. Трудно поверить, чтобы наш Маллук спокойно на это смотрел.

— Вы полагаете? — спросил Фронтон; он сидел, полужакрыв глаза, все еще механически толкая мяч то в одну, то в другую сторону. — А не кажется ли вам, что достаточно будет одного энергичного слова Рима, чтобы образумить Маллука?

— Я полагаю, — сказал Варрон, — что если наш Маллук, человек спокойного нрава, действительно решится признать этого типа из храма, то он предварительно удостоверится, какие силы за ним стоят. Быть может, за ним скрываются некие силы.

— Парфянские? — спросил Фронтон.

Варрон пожал плечами.

— Те или иные, — сдержанно ответил он.

Они сыграли второй кон. В следующем перерыве Фронтон сказал:

— Не могу себе представить, чтобы человек в здравом уме и твердой памяти мог стать на сторону этого горшечника, хотя бы его и поддерживали некие силы. Может ли в самом деле кто-нибудь, если он не свихнулся, предположить, что имеются хотя бы малейшие шансы помочь горшечнику Теренцию устоять против Рима на долгий срок? Разве такая попытка, на какие бы силы она ни опиралась, не будет простым сумасбродством?

Он посмотрел на Варрона искоса, с дружеской озабоченностью, умным и понимающим взглядом. Они сидели рядом на солнце, с мячами у ног, наслаждаясь отдыхом после напряжения игры, глубоко дыша под руками каппадокийцев, словно месивших тесто. Красивый сферистерий — двор для игры, искусно разделенный на площадки рядами статуй, изображавших тренирующихся юношей, — был залит солнцем. Доносились глухие удары падающих мечей и тихие возгласы игроков.

— Где кончается осторожность, — задумчиво возразил Варрон, — и где начинается трусость? Где кончается

храбрость и где начинается сумасбродство? Это интересная тема, она заслуживает того, чтобы два таких человека, как мы с вами, занялись ею. Вы разрешали мне иногда, Фронтон, заглядывать в ваши мысли. Я знаю поэтому, что вы мечтаете о мудрой, приятной старости за письменным столом, о солидном участке земли и высокой пенсии; однако я знаю и то, что вы понимаете прелесть непредвиденного, красочного, авантюрного или как вам угодно будет это назвать. Поэтому вы поймете, что, наперекор всему, и царь Маллук, и пресловутые «силы» могут вопреки логике поддаться подобному искушению и признать в «человеке из храма» императора Нерона. Разрешите мне, мой Фронтон, мысленно стать на ваше место и в качестве Фронтон порассуждать, как разумнее всего было бы в таком случае поступить командующему римским гарнизоном.

— Слушаю вас, — откликнулся, улыбаясь, Фронтон; нога его в белой с желтым сандалиии по-прежнему играла мячом.

Варрон стал перечислять возможности.

— Вы могли бы, во-первых, действовать как честный солдат и, отказавшись от собственного мнения, попросту попытаться силой взять Теренция. Но чем бы это кончилось? Царь Маллук, признав «Нерона», не потерпел бы насилия над ним, и вам, при всех ваших военных талантах, не удалось бы с вашими пятью сотнями выстоять против его десяти тысяч. Вы героически погибли бы, — образец доблести, пример для школьной хрестоматии. Дергунчик, со своей стороны, не счел бы возможным оставить безнаказанной гибель гарнизона в Эдессе и вынужден был бы «действовать решительно». Парфянский царь Артабан опять-таки не мог бы равнодушно взирать на римские войска, переходящие через Евфрат, и, возможно, ему удалось бы под лозунгом великой оборонительной войны избавиться от своего соперника Пакора и объединить парфян. Результатом, следовательно, была бы новая война с парфянами.

— Допускаю, — ответил Фронтон. — Но все эти соображения касаются министров в Риме или наместника в Антиохии. А я солдат, мой Варрон. И как солдату мне в данном случае осталось бы, как вы выразились, лишь героически погибнуть. Но пока давайте играть дальше.

Он встряхнул кубок с костяшками, опрокинул его.

— Подача ваша, Варрон, — сказал он.

— На этот раз вы здорово меня обработали, — признался Фронтон по окончании седьмого кона.

Варрон улыбнулся и поблагодарил его. Фронтон выиграл пять конов. Он — всего два.

— Разрешите мне теперь, — сказал он, отдышавшись, — вообразить себя на месте царя Маллука. Эдесса, несомненно, ничуть не меньше, чем Рим, заинтересована в том, чтобы избежать вооруженного столкновения. Поэтому царь Маллук постарался бы, вероятно, предоставить командующему гарнизоном все возможности, ничуть не нарушая дисциплины и соблюдая строгую корректность, в то же время ни во что не вмешиваться.

— Крепче, крепче, — подбодрял Фронтон каппадокийца, который массировал его, и, повернувшись к Варрону, спросил: — Это все предположения?

— Само собой, — поспешно заверил Варрон своего партнера. — Я лишь теоретически задаюсь вопросом, как следовало бы поступить командующему римским гарнизоном в том случае, если бы царь Маллук или кто-нибудь другой совершил последнюю попытку возродить на Востоке политику Нерона. Нужно ли ему ценою жизни заранее обречь эту попытку на неудачу, исполнить свой «долг», героически погибнуть и втянуть империю в войну; либо, — Варрон чуть улыбнулся, — правильнее держаться «наказа», без сомнения хорошо усвоенного Фронтоном, офицером армии Флавиев — «в случае сомнения лучше воздержаться, чем сделать ложный шаг», — и, повинувшись наказу, уберечь империю от войны с парфянами.

Фронтон дружелюбно смотрел на разгорячившегося Варрона.

— Как близко к сердцу вы принимаете этот теоретический вопрос, — сказал он.

— Неужели это странно вам, великому теоретику? — ответил Варрон. — По-моему, это очень интересная проблема. Кто достойнее: тот ли, кто в таких условиях готов героически погибнуть в ущерб уделу, или тот, кто не героически, но корректно, не слишком сопротивляясь, подчинится мягкому нажиму и останется нейтральным?

Фронтон легким дружеским жестом положил руку на плечо Варрону.

— Право же, мой Варрон, напрасно вы так тревожитесь из-за этих теоретических вопросов, — сказал он тепло. — Но так как, по вашим словам, вы уже однажды заглянули мне в душу, то разрешите мне выболтать вам еще кое-что. Я всегда стремился вести жизнь красочную, интересную и все же на пятьдесят один процент сохранять уверенность в завтрашнем дне и право на пенсию. Право на пенсию у меня есть. Если бы боги сверх того даровали мне нечто красочное, непредвиденное, «авантюрное», не поставив под угрозу пятьдесят один процент, я принял бы такой дар, как неожиданную милость.

Варрон с усилием скрывал волнение.

— Довольно, — приказал он рабу, и тот быстро, слышно отошел. Варрон пожал руку Фронтому.

— Благодарю вас за доверие, мой Фронтон, — сказал он сердечно. — Этот разговор мы вот уже двенадцать лет ведем мысленно. Я рад, что мысли наконец вылились в слова.

Фронтон отнял руку. С любезной улыбкой, предостерегающе поднял палец.

— Не забудьте, мой Варрон, все это — только предположение.

Он бросил кости.

— Опять ваша подача. Но берегитесь, этот кон я все же у вас выиграю.

20. ВАРРОН ИСПЫТЫВАЕТ СВОЮ КУКЛУ

Теренций жил в доме верховного жреца, с тех пор как Шарбиль убедил его, что покровительство богини распространяется на весь священный участок храма. В его распоряжении были два прекрасных покоя — лучше, чем подобало бы горшечнику Теренцию, но хуже, чем приличествовало бы императору Нерону. Здесь, стало быть, обитал тот самый человек, на которого постепенно устремлялись взоры всего Междуречья. Теренций старался по-прежнему сохранять равнодушный и в то же время значительный и таинственный вид. Нельзя сказать, чтобы это было легко, ибо он постоянно чувствовал на себе чужой глаз, хотя и оставался большей частью в одиночестве.

Иногда к нему приходил Кнопс и докладывал обо всем, что творится за пределами храмового участка. Ловкий Кнопс делал это очень искусно. Он не давал Теренцию почувствовать, что понимает, какую большую услугу он оказывает ему, излагал все новости в тоне легкой болтовни — так, точно был заранее уверен, что все это давно известно его господину.

От Кнопса Теренций узнал и о приезде Варрона. Он полагал, что сенатор тотчас же посетит его. Но Варрон и на этот раз считал, что молодчика надо как следует выдержать, сделать его мягче воска, чтобы он не занесся и не выскользнул из рук. Он не забыл замешательства, в которое его повергло внезапное удивительное преображение Теренция в Нерона; да и разумная осторожность, выказанная горшечником в эти долгие недели ожидания, призывала к бдительности. И Варрон снова заставил его «потрепыхаться», чем в самом деле добился того, что Теренций потерял спокойствие и уверенность.

Но когда Варрон наконец пришел к нему, он застал спокойного, невозмутимого человека. Сенатор держал себя с Теренцием не как патрон с клиентом, но и не как подданный с императором. Он, впрочем, подозревал, что в доме Шарбия самые стены имеют уши, и поэтому остерегался проронить неосторожное слово.

— Богиня Тарата, — начал Варрон, оглядывая покой, — неплохо принимает своих гостей. У нас в «Золотом доме» было больше комфорта, но и здесь можно хорошо себя чувствовать даже человеку, привыкшему к удобствам.

— Не дано богами человеку, — процитировал в ответ Теренций одного греческого трагика, — лучшего пути показать свое достоинство, чем путь терпения.

Варрон улыбкой выразил свое одобрение скользкому, как угорь, горшечнику и его искусству давать ответы, которые можно толковать как угодно.

— Терпение? — откликнулся он. — Теперь уже очень многие верят тому, на что однажды был сделан намек в моем доме, а именно, что вы не горшечник Теренций, а некто другой.

Теренций прямо посмотрел ему в глаза.

— Возможно, что я уже стал другим, — ответил он спокойно и многозначительно.

— Вы, следовательно, были раньше горшечником Теренцием? — уточнил Варрон.

— В течение некоторого времени мне угодно было быть горшечником Теренцием, — ответила эта «тварь».

Варрон с легкой иронией произнес:

— Вы неплохо освоились с этим положением.

— Есть повелители, — возразил Теренций, — которым нравится быть актерами. А разве не верно, что не так важно на самом деле быть кем-либо, как важно, чтобы другие этому верили? Не так ли, мой Варрон? — И впервые он назвал его по имени, как равный равного, не прибавляя титула.

Варрон же улыбнулся про себя: «Недолго тебе фамильярничать, мой Теренций». Вслух он сказал:

— Многие теперь думают, что император Нерон жив и находится в Эдессе. Кое-кто, конечно, оспаривает это, кое-кто смеется над этим. Вот, скажем, наш Иоанн с Патмоса, актер, настоящий профессионал, — с чем вы, вероятно, согласитесь, — полагает, что, играй он Нерона в трагедии «Октавия» так, как некоторые играют его в городе Эдессе, ему никто не поверил бы.

При этих словах Варрона горшечник Теренций не мог сдержаться, и лицо его еле заметно дернулось. Будет день, и он покажет этому Иоанну, кто из них — лучший Нерон, а пока, спасаясь от Варрона, он пустился в метафизические рассуждения.

— Божество, — сказал он, — создает живые существа мириадами, но иногда ему угодно сотворить человеческое лицо — единственное и неповторимое.

— А вы не заблуждаетесь? — возразил Варрон. — Не слишком ли дерзко такое утверждение? Если существует, допустим, человек с неповторимым лицом императора Нерона, то, по-вашему, не существует средства безошибочно узнать: может быть, все-таки человек этот — не подлинный император Нерон?

И, видя, что Теренций теряет спокойствие, он продолжал:

— Неужели же нет такого средства?

— Возможно, что есть, — нерешительно ответила «тварь».

— Во всяком случае, эдесские власти, — сказал Варрон, — полагают, что такое средство существует. Если некто претендует на то, что он является цезарем Неро-

ном, то, значит, — считают эдесские власти, — ему должны быть известны тайны, в которые, кроме самого цезаря и сенатора Варрона, никто не посвящен.

Теренций молчал, беспокойство его росло.

— Вам такой взгляд представляется ошибочным? — насмешливо подбодрил его Варрон.

— Мне кажется, что такой взгляд правилен.

— Ну вот, видите, — весело сказал Варрон. — Что это мы все стоим? — И он пригласил Теренция сесть, так как они все время торжественно стояли друг против друга. Они сели.

— Вы помните, например, — благодушно приступил к неприятному экзамену Варрон, — как однажды в мае месяце, что-то около восьмьсот восемнадцатого года от основания Города, император Нерон посетил публичный дом «Павлин», что за Большим цирком? Императора сопровождали друзья, среди которых находился и сенатор Варрон.

Блекло-розовое лицо Теренция чуть покраснело. Какая низость со стороны Варрона упомянуть именно об этом эпизоде. Дело в том, что во время визита, о котором шла речь, пострадала некая знатная дама по имени Луция, разыгрался скандал, и император вдруг решил, что ему не пристало быть участником такого приключения. Последовали разъяснения, будто тот субъект, которого некоторым угодно было принять за императора, был случайный уличный прохожий, компания просто подцепила его на улице и потащила с собой в притон. Прохожий этот был опознан в лице горшечника Теренция. Его вызвали к претору и приговорили к денежному штрафу, который каким-то неизвестным был возмещен ему с лихвой. На суде Теренций узнал о таких подробностях этого дела, которые вряд ли кому-нибудь еще могли быть известны. Используя знакомство Теренция с этими деталями как подтверждение его тождества с императором, Варрон оказывал Теренцию в известном смысле большую услугу. Но Теренций видел в этом не великодушие, а только иронию. Он вспоминал об этом эпизоде редко и всегда с неприятным чувством. Он с удовольствием воображал себя в сенате, читающим императорское послание, но никак не на суде, когда он стоял перед претором, ничтожный вольноотпущенник, вынужденный взять на себя грязные поступки,

от которых не слишком щепетильный император по какому-то внезапному капризу пожелал отречься.

— Да, я помню этот эпизод в «Павлине», — ответил он неохотно.

— А помните вы, — продолжал Варрон все в том же ровном тоне, — что сказал император Нерон, когда эта дама, Луция, стояла голая на окне, а Элий собирался сбросить ее вниз?

Об этом Теренций не знал, об этом на суде не упоминалось. Возможно и в самом деле, что знали это только несколько друзей, в обществе которых император Нерон забавлялся тогда в «Павлине», если только они еще живы и об этой истории помнят. И Теренций почувствовал тем большее смущение, что, как оказалось, Варрон предложил ему этот вопрос вовсе не из коварства, это была честная проверка.

Как бы там ни было, но отвечать надо было. Он подтянулся, принял позу Нерона, проникся — так ему казалось — духом императора, взял смарагд, стал Нероном и ответил голосом Нерона:

— «Оставь, мой Элий. За окно можно выбросить фельдмаршала или царя, но не голую даму». — Так или примерно так должен был ответить тогда император Нерон.

Варрон улыбнулся. Он впервые увидел в руках у Теренция смарагд. Смарагд Нерона был как будто меньше, но тщательнее и искуснее отшлифован. Кроме того, подлинный Нерон никогда не пытался бы блистать остроумием в публичном доме. Наоборот, когда Элий хотел выбросить из окна Луцию, он, изрядно пьяный, как большинство тех, кто был с ним, зевая, заплетающимся языком довольно бессмысленно сказал:

— Пожалуйста, мой Элий, делай все, что хочешь. Угощайся, дружище.

Варрона забавляло и тешило, что Теренций никак не мог представить себе Нерона в будничном виде. Он полагал, что император в любой ситуации, даже в публичном доме, должен вести себя по-императорски и говорить только о фельдмаршалах и монархах.

Теренций, пока говорил, чувствовал себя еще более или менее уверенно. Но, едва договорив последние слова, он невольно опустил смарагд, который подносил к глазам жестом Нерона, снова стал горшечником Терен-

цием и, устремив на Варрона напряженно прищуренный, внимательный взгляд, старался по лицу сенатора понять, удалось ли ему отгадать ответ Нерона. Но Варрон лишь улыбнулся. Он так никогда и не открыл «твари», попал ли ответ в цель и насколько велик был промах. Он поднялся и сказал, и это был скорее приказ, чем просьба:

— Если император Нерон думает снова взять власть, то пусть он делает это сейчас же.

Когда Варрон ушел, Теренций вздохнул полной грудью. Не думая о том, следят за ним или нет, он принял позу Нерона, вынул смарагд, походкой Нерона прошелся несколько раз по комнате, голосом Нерона говорил сам с собой, пьяный от счастья.

Книга вторая

ВЕРШИНА

1. О ВЛАСТИ

После аудиенции у Маллука Варрону стало ясно, что, покуда он не склонит Марцию на брак с «тварью», ему нечего и помышлять о серьезной поддержке царя. Со дня на день, вот уже целую неделю, откладывал он неприятный разговор. Наконец решился и приступил к делу.

Белолицая, тонкая, строгая, сидела перед ним Марция. Он завел разговор о том, о другом, ходил вокруг да около. Потом взял себя в руки.

— Здесь появился человек, — начал он, — которого все Междуречье считает императором Нероном. Ты, по всей вероятности, слышала о нем. Он просит твоей руки.

Марция не спускала глаз с его губ. Она поняла не сразу. И вдруг — поняла. Поняла, что отец спокойно, точно речь идет о приглашении на ужин, предлагает ей спуститься на последнюю ступень унижения. Страх и отвращение охватили ее с такой силой, что на мгновение остановилось сердце. Но она не упала. Она сидела прямо, только побледнела и ухватилась крепче за ручки кресла. Варрон давно умолк, а она все еще не проронила ни звука. Она все еще не спускала глаз с его губ, точно ждала, что с них сорвутся еще какие-то слова. Варрон смотрел на нее, с трудом скрывая гнетущее напряжение.

— Этот человек действительно император Нерон? — спросила она непривычно сухим голосом.

— Ты знаешь его под именем горшечника Терпция, — ответил не без усилия Варрон.

Марция сжала губы, рот ее стал тонким, как лезвие ножа.

— Если я не ошибаюсь, — сказала она, — это один из твоих вольноотпущенников. Не его ли отец был тот раб, который в Риме чинил у нас водопровод и отхожие места?

Она думала: «Почему они не сделали меня весталкой, ведь этого так хотела мать? Я жила бы теперь тихо и величаво в этом чудесном доме на Священной дороге. На играх я сидела бы на почетном месте в императорской ложе. На празднестве девятого июня я поднималась бы на Капитолий рядом с императором, чтимая всем народом. И этот человек, мой отец, не захотел этого. Он приберег меня, чтобы продать, чтобы лучше обстряпать свои грязные, темные дела».

Варрон думал: «Ее мать никогда меня не любила, потому что я женился на ней по расчету и всегда был равнодушен к ней. Мне наперекор хотела она сделать девочку весталкой и начинила ей голову всякой дребеденью. Надо было думать о Марции раньше, когда она была ребенком. Но мне вечно не хватало времени. Девушке с такими понятиями, должно быть, очень тяжело лечь в постель с этой «тварью». Как у нее остекленели глаза! То, что она переживает сейчас, нелепо, но это реальность, с которой приходится считаться».

Вслух он сказал:

— Я знаю, ты считаешь мое предложение безнравственным, недостойным римлянина. Но в Сирии нельзя жить так, как в Риме. Ты скажешь: «Тогда незачем жить в Сирии». Но, во-первых, я вынужден жить здесь, а во-вторых, я сделал бы это все равно, даже если бы ворота Рима были для меня открыты. Уверю тебя, моя Марция, стоит поступиться частицей своего «достоинства», чтобы получить взамен то, что дает человеку Восток. Я попросту не мог бы жить нигде, кроме как на Востоке. Мне скучно на Западе. И, говоря честно, мне не хочется отказываться от влияния и власти, которые я — так уж сложилось — могу иметь только на Востоке.

Марция сидела против него, неподвижная, тонкая. «Как ему хочется одурачить меня, — подумала она с ненавистью. — Это он-то хочет быть честным! Он соби-

рается продать меня этому подонку и прикрывает свои низкие замыслы громкими пышными фразами».

— Ты предлагаешь мне стать женой горшечника Теренция? — повторила она язвительно, с холодной деловитостью.

Враждебное спокойствие дочери злило Варрона больше, чем сделали бы это слезы, мольбы, взрывы отчаяния.

«Прекрасно, — думал он. — Парень этот из низов. Но я с ее матерью знал очень мало радости, хотя она и была сенаторской дочкой. Была бы довольна, что избавится от своей проклятой девственности. Когда она ляжет в постель с мужчиной и он хоть мало-мальски покажет себя на деле, не все ли равно ей будет, чей он сын».

Вслух он сказал:

— Мы, Нерон и я, всадили в эту Месопотамию изрядный кусок Рима — солдат, деньги, время, нервы, жизнь. Я не желаю бросить все это только потому, что медные лбы на Палатине не видят дальше военных границ империи, не видят тех хозяйственных и культурных возможностей, которые открываются по эту сторону Евфрата. У них нет фантазии, потому они и утверждают, что слияние Рима с Востоком невозможно. А ведь стоит только открыть глаза, и уже сегодня можно убедиться, какие прямо-таки великолепные люди и города рождаются от этого слияния. Я, во всяком случае, не отступаю от своего Востока. Я всадил в него деньги и время, и я имею право требовать жертв и от других.

Марция все эти годы надеялась, что отец ее будет реабилитирован, они вернутся в Рим и снова смогут вести величественно-достойную жизнь. Всего несколько дней назад, когда Варрон вынужден был покинуть римскую территорию с поспешностью, напоминавшей бегство, надежда эта рухнула. Марции пришлось отказаться от своей мечты, довольствоваться куда более скромной перспективой. Полковник Фронтон, с присущей ему сдержанностью, дал ей понять, как он почитает ее. По рангу и положению он был для дочери сенатора слишком незначителен. Но его элегантность, его широкий, умный лоб, низко остриженные, седеющие, стального оттенка волосы делали его привлекательным, и, кроме того, он был римлянин, римлянин по воспитанию и культуре, человек среди этих восточных полулюдей. Она ре-

шила побудить его сделать предложение, решила выйти за него замуж. Она вела бы с ним серенькую, но, по крайней мере, пристойную жизнь. И вот отец даже этого не хочет ей оставить, а предлагает ей взамен такую чудовищную низость. Всю ее строгость, ее возвышенные чувства, ее целомудрие он хочет швырнуть к ногам этого подонка, этого раба, сына чистильщика выгребных ям. Она молчала. Белое лицо ее было точно маска отвращения.

— Как бы там ни было,— продолжал Варрон, пожав плечами,— для меня этот человек — подлинный Нерон. Он должен им быть. Я по многим причинам не могу отступать. Но он Нерон лишь постольку, поскольку я в него верю. А свою веру в него я должен доказать.

— И для доказательства понадобилась я,— язвительно и неестественно спокойно закончила его мысль Марция. — Я должна расплачиваться за твою политику.

Варрон подумал: многие действительно не могут от этого оправиться. «Когда я в первый раз лег с этой, — как ее звали? — ей было четырнадцать лет, этой девочке из Фракии, — она до того была потрясена, что так на всю жизнь и осталась как будто не в себе. А я ведь, в сущности, был с ней нежен. Четыре тысячи я заплатил за нее, а она после первой ночи только на то и годилась, что посуду мыть. Разве я циничен? Ведь я люблю Марцию. Она очень чувствительна, нужно быть с ней терпеливым. Думаю, что лучше всего говорить правду. Она поймет меня. Это будет самое простое и надежное — сказать ей все, как есть».

Он сказал:

— Люди не хотят, чтобы у власти стоял одаренный человек. Они не терпят одаренных. Их устраивает только бездарность. Они довели Нерона до гибели потому, что он был одарен, у меня по той же причине отняли власть. А теперь, когда я снова добился власти, они хотят снова отнять ее у меня. Но я не отдам власти. Второй раз я этого не допущу. Я рискну всем: тобою, собою, всем на свете.

Варрон рассчитал правильно. Марция очнулась от своего враждебного оцепенения. Она уловила искреннюю нотку, звучавшую в его словах. В ее чувстве к отцу всегда переплетались восхищение и неприязнь; она снова поддалась его обаянию.

Он сидел самым предосудительным образом, скрестив ноги по-восточному, точно желал небрежностью позы ослабить пафос своих слов.

— Рим — ведь по-гречески это значит сила, это значит власть. А что такое власть? Прилежный чиновник Тит, который велит именовать себя императором, вообразил, будто обладает властью потому, что в его распоряжении гигантская военная и административная машина. Я ему не завидую. Что у него есть? Палка фельдфебеля? Фасции — пучок прутьев и топор? Разве это власть?

Он обращался уже не к дочери, он говорил для самого себя. Можно было проследить, как мысли зарождались в нем, становились словами. Он говорил тихо, но вдохновенно, ясные, твердые, логичные латинские фразы текли с его уст, как греческие стихи.

--- Власть, — мечтательно говорил он, — это нечто более хитроумное. Власть — это идея, которая, вылетев из головы, становится деянием, побеждает тупую действительность. Подавляющее большинство людей мирится со свершившимися фактами. Они говорят: раз это так, — значит, так и должно быть. В этом и состоит великая косность, великий порок людей. Я не таков. Почему все должно быть так, как оно есть? Нерон умер? Факт этот глупый, бессмысленный, он нарушает разумный порядок. Он противоречит моему восприятию мира. Я этого факта не признаю. Я восстаю против этой нелепой действительности, объявляю ей войну. Я воскрешаю Нерона. Восток — это одно, говорят они, а Рим — это другое, у них нет общего пути, и поэтому нужно отказаться либо от Востока, либо от Рима. Я не отказываюсь ни от того, ни от другого. Мне это даже не приходит в голову. Я не подчиняюсь такой плоской логике. Не подчиняться глупой, бездушной действительности, не довольствоваться ею, рисковать собою в борьбе с этой действительностью и с роком — вот это по-римски. Сделать ставку не на то, что есть, а на то, что должно быть, и при этом выиграть — вот единственная форма власти, которой стоит добиваться.

Марция не спускала глаз с его губ, легкий румянец покрыл ее щеки. Она забыла, что всего несколько минут тому назад считала его громкие слова лишь мишурой, которой он прикрывает свои мелкие интересы.

Он умолк, поднял голову, очнулся от задумчивости. Посмотрел на дочь. Подошел к ней, едва касаясь, положил ей, сидевшей перед ним, руку на плечо.

— Верь мне, моя Марция, я знаю, что значит предложить такой женщине, как ты, лечь в постель с этой тварью.

Он сказал «тварь», он употребил это двусмысленное, полное пренебрежения слово, и Марция поняла, что он намеренно предоставляет ей толковать это слово, как она хочет: то ли это творение богов, то ли — его, Варрона. И вместе с ним она гордилась тем, что такой двойной смысл возможен.

— Но я вместе с тем знаю, — продолжал он, — что ты поймешь, почему я предлагаю тебе это.

Марция посмотрела на отца, у нее были такие же глаза, как у него, — карие, удлинённые, одновременно холодные и страстные. Она была достаточно умна, чтобы понять: опасная игра, развернувшаяся вокруг Лже-Нерона, может длиться недолго и кончиться плохо. Но страсть отца отчасти передалась ей, в смелых мечтах она уже видела себя на Палатине; уже не рабу, а императору предстояло ей отдаться, и ей уже стоило усилий и сожаления оторваться от дерзких грез и вернуться к трезвой рассудительности.

— Рим, — возразила она, — стал великим потому, что он всегда ясно сознавал то, что есть.

Но Варрон не согласился с этим.

— Это верно только наполовину, — сказал он горячо. — Познавать и вместе с тем не признавать то, что есть, — вот что сделало Рим великим! Рим — это были десять тысяч человек, а мир — пятьдесят миллионов. Такова была действительность. Но Рим не признал этой действительности. Рим захотел, чтобы мир стал римским, и мир стал римским.

Марция поднялась.

— Можно мне идти, отец? — спросила она.

Варрон вплотную подошел к ней, взял ее светлую голову в мясистые руки, мягко отогнул назад и сам откинул голову, чтобы лучше видеть лицо Марции.

— Если ты захочешь, Марция, ты вступишь на Палатин, — пообещал он ей.

Марция взглянула на отца. В глазах у нее было много понимания и мало веры. Все существо ее восставало

против игры, которую он навязывал ей. Однако она видела уже не только отвратительную сторону этой игры, но и ее величие. И не лучше ли любая судьба, чем прозябание в каком-нибудь провинциальном городе на Востоке?

Баррон безошибочно угадывал все, что в ней происходило. Он по-прежнему держал в руках ее голову. Так стояли они несколько минут, глядя друг другу в глаза, отлично зная друг друга, и Марция с болью ощутила в эту секунду, как смешались в ее чувствах к отцу любовь, ненависть, очарованность, презрение и восхищение.

Баррон после этого разговора почувствовал себя совершенно разбитым, как после тяжелой физической работы. Он знал, что теперь он на верном пути. Но он знал и то, что еще немало труда придется потратить, прежде чем он окончательно сломит Марцию.

На той же неделе он говорил с ней еще трижды.

И наконец он смог сообщить Шарбилю: на основании неопровержимых доказательств он убедился, что гость богини Тараты действительно есть мнимо умерший император Нерон. Он просит царя Маллука и верховного жреца в ближайшее новолуние почтить своим присутствием бракосочетание его дочери Марции с императором.

2. РИМСКАЯ ВЕРНОСТЬ

Ближайшим следствием этого сообщения был визит верховного жреца Шарбиля к полковнику Фронтому.

Доверительно сообщил он римскому командиру: вполне надежные свидетели показывают, что человек, укрывавшийся в храме Тараты, действительно есть мнимо умерший император Нерон. Фронтон вежливо и уклончиво ответил, что признание или непризнание императора — вопрос, подлежащий ведению царей и верховных жрецов, губернаторов и сенаторов, но никак не мелкого и недостойного офицера. Шарбиль, однако, заверил Фронтон, что он отнюдь не хочет докучать ему назойливыми советами. Лишь по дружбе, из лояльности он хотел бы обратить внимание Фронтон на то, что царь Маллук, следуя голосу совести, считает себя обязанным хранить верность тому, кого упомянутые свиде-

тели признают императором Нероном, ибо он императору Нерону в этой верности присягал.

Полковник Фронтон поднял на Шарбиля умные глаза. Царь Маллук, ответил он медленно и веско, связан присягой и договором и с ныне правящим в Риме императором Титом. Подумав, Шарбель возразил: он понимает, что человек, долго и по праву носивший корону, остается в глазах многих осиянным ореолом царского величия. Но не теряет ли силу позднейшая, ошибочно данная присяга перед присягой более ранней? Как бы там ни было, прибавил он задумчиво, стезя, по которой шествуют его царь Маллук и его друг Фронтон, очень узка.

Фронтон ничего не сказал. Он знал обычаи Востока. Правда, он не чувствовал себя таким мастером в искусстве достойного, изматывающего нервы молчания, как царь Маллук, но он с удовольствием установил, что, по крайней мере, старого Шарбиля он в этом искусстве превосходит. Любопытный и нетерпеливый старик уже через десять минут сдался и сказал:

— Так как мой западный друг столь хорошо умеет молчать, то буду говорить я. А хочу я сказать вот что: царь Маллук — друг Тита, обладающего в глазах многих ореолом царского величия. Царь Маллук не нападет на Тита, пока тот не нападет на него. Конечно, если кто-либо посягнет на императора Нерона, то он тем самым посягнет и на царя Маллука, а против обидчика царь Маллук вынужден будет защищаться.

Фронтон улыбнулся про себя. Вот она, значит, та мягкая, но сильная рука, о которой говорил Варрон. Это была искусная рука, он давно ждал ее прикосновения, оно не было ему неприятно. В цветистых, как полагалось, выражениях он ответил, что твердо надеется на мудрость царя Маллука, которая позволит им обоим беспрепятственно пройти по упомянутой узкой стезе.

На следующий день царь Маллук торжественно вывел императора Нерона из храма Тараты и проводил его в свой дворец. Совершив это, он разослал трех гонцов: одного — в Рим, в сенат, другого — в Антиохию, к губернатору, третьего — к парфянскому царю Артабану, в Селевкию, с сообщением, что великий император Нерон по счастливому соизволению богов жив. Император, в качестве его, царя Маллука, гостя, пребывает в городе

Эдессе. Вскоре он предпримет путешествие в Рим, чтобы снова взять в руки управление империей.

В день, когда происходило переселение гостя Тараты в царский дворец, полковник Фронтон не дал отпуска ни одному из своих офицеров и солдат. Гарнизону строго было приказано избегать трений с народом и ни под каким предлогом не приближаться к человеку по имени Теренций. На этот день и на два последующих назначены были усиленные учения, офицеры и солдаты не имели свободной минуты.

Полковника Фронтон не любили, но очень уважали. Он был римским аристократом, его отряд — пять рот Четырнадцатого легиона — состоял почти исключительно из неотесанных далматинцев: он был «господином», а далматинцы — «людьми». Служба была тяжелой, но они шли на это. Прослужившие тридцать лет получали участок земли и горсть денег, тяжело заработанную землю, тяжело заработанные деньги, но хорошую землю и хорошие деньги. Цепь, на которой Рим держал своих солдат, состояла из дисциплины — на одном конце и права на пенсию — на другом. Кто не соблюдал дисциплины, тот не получал земли и денег. Это знали солдаты.

И люди Фронтон безупречно соблюдали дисциплину. Но, разумеется, и среди них не обошлось без споров о новом императоре. Солдатская традиция требовала сохранять верность тому императору, на которого больше, чем на других, можно было рассчитывать, что он удовлетворит справедливые притязания солдата на обеспеченную старость. Так истолковывала вся армия клятву в «римской верности», которую она давала сенату и народу Рима, так толковали ее и солдаты Фронтон. С другой стороны, вступление на престол нового императора всегда сулило большие выгоды. Новый император обычно покупал повиновение солдат щедрыми наградами. В смысле обеспечения старости императоры из рода Флавиев не обманули надежд, но при вступлении на престол они проявили изрядную скаредность. Император Нерон славился щедростью. Если гость царя Маллука докажет своей щедростью, что он действительно император Нерон, а в дальнейшем представит достаточно верные гарантии касательно пенсии, то солдаты готовы на многое смотреть сквозь пальцы. И они выжидали, а выжидая, не нарушали дисциплины.

Конечно, нашлись и мечтатели. Так, например, к полковнику Фронтоу явился некий молодой офицер по имени Тестим. Вытянувшись по-военному в струнку, он решительно, но вместе с тем скромно заявил полковнику: он готов, если полковник разрешит, положить конец скандальной истории с этим мошенником Теренцием. Он, Тестим, довел свое умение драться коротким сирийским мечом до необычайной виртуозности. Он может послезавтра, когда раб Теренций, как объявлено, отправится в храм Аполлона, заколоть его на пороге храма.

Лейтенант Тестим всего несколько недель как прибыл в гарнизон. Он еще не обзавелся знакомством; как обычно, должен был пройти какой-то срок, пока однополчане и знать города Эдессы прощупают вновь прибывшего и допустят его в свой круг. Фронтоу этот юнец с первого мгновения был неприятен. Оказывается, первое впечатление не обмануло его: мальчишка был из тех примитивных патриотов — людей действия, которые всегда были опасны для существования государства и общества. Мысль о том, что покушение на Теренция явится лучшим выходом из положения, могла прийти в голову именно такому примитивному патриоту. Сутрапением Теренция рухнула бы вся эта бунтарская затея, весь план Варрона, провалилась бы самая попытка возврата к прежней восточной политике. Радикальное решение вопроса, что и говорить! Но дело заключалось не только в том, что жаль было с самого начала свести на нет возможность возобновления прежней политики, — за предлагаемое Тестимом радикальное решение вопроса пришлось бы слишком дорого заплатить. Ибо вряд ли население Эдессы отнеслось бы спокойно к смерти своего Нерона, несомненно, оно отомстило бы за эту смерть, перебив весь римский гарнизон до единого человека. Последствия такого шага невозможно было предвидеть. Карательная экспедиция против Эдессы, возможность новой Парфянской войны — все это в случае покушения на Теренция становилось слишком близкой угрозой.

Самое простое для Фронтоня было бы приказать патриоту Тестиму — чтобы он и думать забыл о своем замысле. Но если Цейоний узнает о запрещении, не посее ли это в нем недоверие к Фронтоу? Нет, надо, видимо, постараться как-то умнее обезвредить лейтенанта и его идею.

И Фронтон прежде всего спросил патриота Тестима, отдает ли Тестим себе отчет в том, что его гибель при этом покушении неминуема. Да, Тестим отдавал себе в этом отчет. Фронтон спросил его далее, понимает ли он, что ему придется погибнуть безымянно, не прославив ни своего имени, ни рода, ибо ни при каких обстоятельствах римская армия не смеет запятнать себя подобным убийством из-за угла: это повлекло бы за собой опасные последствия. Но непоколебимый патриот Тестим учел также и это обстоятельство. Он полагает, что сладостно и почетно умереть за отечество, даже безымянно.

Таким образом, полковнику Фронтому не оставалось иного средства оградить цивилизацию от опасностей новой Парфянской войны, как отбросить сентиментальности и пойти на хитрость, хотя именно этого он хотел избежать, задавая лейтенанту обескураживающие вопросы. Сухо пояснил он патриоту Тестиму, что снимает с себя всякую ответственность; с другой стороны, лейтенант получает полную свободу действий, — при том условии, разумеется, что никто не узнает о его намерениях и что труп его не будет опознан. Тестим ответил по уставу: «Слушаюсь!» — и удалился, поблагодарив полковника за разрешение умереть столь славной и достойной смертью.

В тот же день сенатор Варрон получил письмо без подписи, в котором сообщалось, что послезавтра на пороге храма Аполлона на императора Нерона будет совершено покушение.

Таким образом, умение владеть коротким сирийским мечом не помогло патриоту Тестиму. Он и замахнуться не успел по-настоящему, как был схвачен, повален наземь и растоптан беснующейся толпой. Сверх того, счастливая звезда определила, чтобы цезарь Нерон получил каким-то непонятным образом царапину. Его бурно приветствовали, и после покушения в Эдессе уже не осталось ни одного человека, который не был бы глубоко убежден, что Теренций — действительно Нерон; кто, в самом деле, был бы заинтересован в его устранении, если бы это было не так?..

В крепости, где находились римские солдаты, все, разумеется, знали, что неизвестный, покушавшийся на Теренция, был этот дурак, патриот Тестим; большинство, кроме того, не сомневалось, что и власти города Эдессы

об этом осведомлены. Ожидали, что царь Маллук вышлет войско либо, еще вероятнее, натравит на римский гарнизон разъяренную эдесскую чернь. В казарме царили страх, ярость, ожесточение, отчаяние. Офицеры и солдаты не сомневались, что придется умереть позорной смертью, раньше чем подоспеет помощь из римской Сирии и задолго до получения пенсии.

Но ни войска царя Маллука, ни чернь так и не показались вблизи казарм. Вместо них в казармы явился гонец в белой ливрее императорского дома. Гонец доставил в казармы большую сумму денег и послание. В послании значилось, что деньги эти император Нерон, снова принимая власть, предназначает для награждения своих войск в Эдессе. Его величество отнюдь не собирается возлагать ответственность за проступок какого-то безумца на весь гарнизон. Солдаты облегченно вздохнули, возликовали. Фронтон узнал умную тактику своего друга Варрона. Но по-прежнему действовал только строго лояльно. Заявил, что он не может раздать деньги, не запросив предварительно указаний из Антиохии.

Великодушие императора Нерона произвело на едва оправившийся от страха гарнизон особенно сильное впечатление. Кто истинный император, которому они обязаны хранить верность, — строгий, мелочно-расчетливый Тит в Риме или милостивый и щедрый на деньги повелитель, который к тому же находится здесь, в Эдессе? Поставить вопрос — значит ответить на него.

На следующий день у казармы появился офицер — посланец Нерона. Стража после краткого колебания впустила его. Офицер обратился к солдатам с речью, роздал деньги. Вошел Фронтон, с виду очень рассерженный. Приказал арестовать стражу, впустившую офицера. Солдаты медлили. Фронтон сам задержал стражу. Посланец Нерона призвал войска следовать за ним, скомандовал:

— Стройся! Равняйся! Шагом марш!

Большинство солдат построились, пошли за офицером. Фронтон стал у ворот с обнаженным клинком, преграждая им путь. Солдаты бережно оттеснили его в сторону. Те, кто проходил близко, слышали якобы, как он предостерегающе, с отеческой тревогой говорил:

— Дети, дети!

Полковник Фронтон послал об этом, как и обо всем

прочем, рапорт в Антиохию. Он долго и с любовью отшлифовывал свои донесения, чтобы они вышли пластичными, сжатыми, четкими, с легким налетом иронии, но безусловно корректными. Приводя веские основания, он разъяснял, почему он действовал так, а не иначе. Деловито разбирал вопрос о том, как ему следовало поступить, когда взбунтовались солдаты: броситься ли на меч или сохранить жизнь для отечества. Описывал, как сильно было искушение вмешаться, умереть смертью героя и скольких усилий стоило ему устоять против этого искушения, действуя согласно «Наказу» Флавиев: в случае сомнений лучше воздержаться, чем совершить неправильный шаг.

3. СОМНЕНИЯ И ШАНСЫ ФРОНТОНА

События, которые привели к бескровному обезвреживанию римских войск, совершились очень быстро. Все было уже кончено, когда полковник Фронтон получил наконец ключ к полному пониманию событий: ему стало известно об обручении Марции с рабом Теренцием. Он ясно увидел все, до последнего звена. Понял, что Маллук и Шарбиль решились поддержать дело императора лишь после того, как связали Варрона этой железной цепью с Нероном и с собой.

Варрону стоило, вероятно, немалых усилий пойти на это унижение, так же как Марции — подчиниться отцу. Фронтон задумался. То, что Варрон в этой игре поставил на кон не только свое положение и состояние, но и дочь, и самого себя, показывало, насколько он верит в удачу. Неужели его Нерон и в самом деле может чего-нибудь добиться? Фронтон вспомнил слова, сказанные ему недавно Варроном в сферистерии, на вилле фабриканта ковров Ниттайи. Вопреки всей его рассудительности, в нем проснулась давно похороненная надежда: а вдруг выступление этого Нерона откроет ему возможность претворить в жизнь свою военную доктрину?

Если первая мысль его была о последствиях, которые может иметь предстоящий брак Марции для дела его жизни, для его карьеры, то вторая его мысль была о самой Марции.

Полковник Фронтон любил анализировать. Он был холодно-расчетлив и занят лишь своей особой. Его пер-

вая цель состояла в том, чтобы, отслужив срок, на склоне дней, живя беспечно и спокойно работая, закончить «Учебник военного искусства». Второе желание его было — проверить на практике изложенные в этом «Учебнике» теории. И, отводя им только третье место, за гранью творчества, он разрешал себе личные чувства.

Среди этих чувств, утех стола и постели, смены впечатлений, которую давали интересные путешествия, радостей, связанных с искусством и литературой, он выше всего ставил свою склонность к Марции. Он был избалован женщинами, восточные женщины нравились ему. Но в отношения с ними он не вкладывал души. Он с удовольствием брал их, но взамен не давал им себя. С Марцией дело обстояло иначе. Если бы он не боялся высоких слов, он согласился бы, что любит ее. Он говорил себе: в Марции его привлекает, вероятно, то, что она совершенно непохожа на женщин Востока. На многие сотни километров вокруг она была единственной подлинной римлянкой; правда, если бы он увидел ее в Риме или в другом месте — в римском окружении, чары ее, вероятно, быстро рассеялись бы. Но эти рассудочные оговорки не помогали Фронту. Ее присутствие его волновало. Не менее, чем стратегические проблемы, его занимали те маленькие, изысканные, весьма личного характера знаки внимания, которые он мог бы оказать Марции. Он знал Марцию и решил действовать без поспешности. Он был терпелив по природе и еще больше привык к терпению на Востоке. К тому же он был уверен, что она — римлянка с ног до головы, судьбой отца вынуждаемая жить среди восточных людей, — когда-нибудь достанется ему. Но как это произойдет, было ему неясно. Он очень боялся женитьбы, мысль о том, чтобы навсегда связать себя с другим человеком, была ему неприятна. Однако, если бы иного средства получить ее не представилось, он готов был решиться даже на брак.

Оттого что отец укладывал теперь Марцию в постель к этому Теренцию, положение резко менялось. В пользу ли Фронта? Несомненно, строгая чистота Марции, черты весталки в ней во многом и привлекали Фронта, и мысль, что другой насладится ее девственностью, мучила его. Но разве лишение это не вознаграждалось тем, что для Фронта отпадала опасность брака?

И разве не повышал его шансы у Марции брак с этим Нероном? Фронтон был высокомерен, он знал, что и Марция высокомерна. Он был «господином», а этот Теренций в лучшем случае принадлежал к категории «людей». И если бы даже произошло невероятное и Марция день-другой или ночь-другую принимала бы этого молодца за императора, то все же не было сомнений, что в конце концов из поединка с каким-то Теренцием победителем выйдет Фронтон.

Между тем положение полковника в Эдессе становилось все более своеобразным. К Нерону перешла еще часть гарнизона. Фронтон остался в огромной казарме с двадцатью солдатами. Так во главе двух десятков солдат, с достоинством, не лишенным комизма, представлял он в центре мятежной Месопотамии Римскую империю Флавиев. Он продолжал вести прежний образ жизни, показывался при дворе, гулял, выезжал верхом, охотился в окрестностях города. Он, как и эдесские власти, поддерживал видимость мира и добрососедских отношений между Римом и Эдессой. Но ситуация была в высшей степени неприятной, он чувствовал свою полную изолированность и тосковал по дружеской беседе.

Он очень обрадовался, когда опять «случайно» встретился с Варроном у фабриканта ковров Ниттайи.

— Вы не находите, Фронтон, что события, которые разыгрываются здесь, очень интересны? — начал Варрон.

— Интересны? Возможно, — откликнулся Фронтон. — Может быть, это и очень почетно — представлять сейчас в вашей Эдессе власть Флавиев, но приятного в этом мало. Мои двадцать солдат — очень храбрый народ, истые римляне — это видно из того, что они остались последними, — но и они осаждают меня просьбами, чтобы я сделал попытку пробиться с ними к римской границе.

Варрон сидел в непринужденной позе на скамье, где они отдыхали от игры; он задумчиво водил носком бело-желтой сандалиии вдоль черты, которой была обведена площадка для игр.

— Я у вас в долгу, Фронтон, — сказал он. — Если вы настаиваете — вы получите свое, и ваше отступление будет величественным и блестящим. Мы подготовим на вашем пути почти неодолимые препятствия. Пока вы доберетесь до границы, из ваших двадцати солдат падут

три, пять или восемь — сколько вы пожелаете, а сами вы будете легко ранены. Ваше героическое отступление по вражеской территории не уступит знаменитому «отступлению десяти тысяч». Вы вступите в Антиохию, как второй Ксенофонт, вас встретят почестями, и вы сможете потом написать чрезвычайно интересные и увлекательные воспоминания.

— Не сомневаюсь, — ответил Фронтон, — что вы сумели бы все это великолепно обставить. Не сомневаюсь и в том, что я в полной невредимости прибыл бы в Антиохию и спас бы себя и свое право на пенсию. Но разве я оставался бы здесь, если бы меня ничто не интересовало, кроме все того же пятидесяти одного процента уверенности?

— Значит ли это, что вы хотите остаться с нами? — спросил Варрон, и ему с трудом удалось скрыть свою радость. И так как Фронтон молчал, он прибавил чуть иронически, но с искренней озабоченностью:

— Если вы тоскуете по «авантюрному», то мы здесь с удовольствием утолим вашу тоску. Однако, как бы мне ни хотелось удержать вас, я все же должен вас предостеречь. Трудно предвидеть исход событий, которые здесь развернутся. Во всяком случае, многое рухнет и многое будет унесено бурным потоком. Не могу вам поручиться, что поток этот не унесет и ваше право на пенсию. Боюсь, что, если вы затянете свое пребывание здесь, Дергунчик все же наострит уши, и тогда плакал ваш пятьдесят один процент.

Фронтон тронула такая откровенность и чистосердечность сенатора.

— Вы напрасно недооцениваете мое литературное дарование, — ответил он весело. — Я считаю хорошим стилистом, а для того, чтобы оправдать занятую мной позицию, совершенно достаточно искусной литературной обработки моих рапортов. До сих пор Дергунчик вычитывал из моих донесений лишь то, что отвечало моим желаниям, и сочувственно относился к моим аргументам. Больше того: он официально приказал мне не бросаться на меч, как это сделал его предок, а превозмочь себя и стойко держаться на моем трагикомическом посту.

Варрон схватил руку Фронтон, пожал ее.

— Нелегко мне было, — сказал он, и в голосе его прозвучало то обаяние, которое пленило уже стольких

людей, — посоветовать вам вернуться в Антиохию. Для меня ваше решение остаться ценней любой победы. Я рад приобрести в вашем лице друга. Мои шансы на успех невелики. Но, если бы невероятное случилось, — а порой оно случается, — я надеюсь доказать вам, что я друг неплохой.

В этот вечер Варрон достал из ларца расписку на шесть тысяч сестерциев и на оборотной стороне, в графе «Прибыль», записал: «Один друг».

4. ТЕРЕНЦИЙ ОСВАИВАЕТСЯ

Варрон не в силах был сам сообщить «твари», которая после его разговора с Марцией стала ему особенно противна, о счастье, которое он, отец, волей-неволей сам уготовил ему. Но кое-кто уже знал о предполагаемой свадьбе, поэтому Варрон предоставил случаю решить, как и от кого Теренций об этом узнает.

О, конечно, не кто другой, как Кнопс, принес Теренцию весть о предстоящем возвышении.

Произошло это так. Теренций хотя и жил пока во дворце царя Маллука, но жил там безымянно, ибо Маллук и слышать не хотел о том, чтобы открыто признать его, пока брак Теренция с дочерью Варрона не станет фактом. Сам же Теренций мудро остерегался выказывать нетерпение. До сих пор Кнопс, хитро подмигивая, поддерживал игру с двойным переодеванием. Он делал вид, что принимает своего господина, — по-видимому, так хотелось пока Теренцию, — не за человека, называющего себя Нероном, а за прежнего мастера горшечного цеха, который хотя и был Нероном, но не желал пока сбросить маску Теренция. Теперь же, по мнению Кнопса, наступил момент, когда из этих двух личин внешней не следовало больше замечать.

— Я в большом затруднении, — начал он на свой смиренно-наглый лад, — как мне к вам обращаться, патрон. Жители Эдессы утверждают, что горшечника Теренция, хозяина раба Кнопса, уже не существует. И больше того, говорят, будто великому императору Нерону угодно было на время прикрыться личиной Теренция, как Зевс иногда принимает образ быка. Между нами, я, ваш покорный раб, давно уж понял, по тому,

как мало вы смыслили в том, что касалось вашей керамической фабрики: вы, должно быть, император Нерон. Но долго ли вашему величеству угодно будет изображать горшечника, этого мне никто не мог сказать; и только с той минуты, как я узнал о вашем решении взять в жены дочь сенатора Варрона, я смею думать, что вы и в самом деле сочли за благо сбросить с себя чужую личину.

Теренцию стоило больших усилий скрыть, насколько его взволновало это неожиданное откровение. Бурное, взбаламученное море чувств высоко подбросило его на своих волнах и тут же низвергло вниз. Упоение собственным величием наполнило его блаженством. Но в то же время он негодовал на Варрона, который не удостоил его даже словом о том, что сенатор намерен дальше делать с ним. Зато он почувствовал, как тесно связан с Кнопсом, который оказался глашатаем самой судьбы, принесшим великую весть. И он рад был, что всегда верил этому человеку.

Кнопс между тем продолжал говорить. Говорил он о себе. Как двусмысленно его собственное положение! Пока существовал горшечник Теренций, он, Кнопс, был просто его рабом. Теперь же, когда Теренций перестал быть Теренцием и принимает свой прежний облик императора, — кем будет он сам? Он как бы повисает в воздухе. Несомненно, он уже не раб: если Теренций не существует, значит, у него, Кнопса, нет господина. Кто же он в действительности? Он смеет думать, что известные слова о предстоящей перемене, которая и для него будет счастливой, слова, оброненные на фабрике на Красной улице, сказаны были не горшечником Теренцием, а его величеством императором Нероном.

Теренций в пол-уха слушал бойкую болтовню Кнопса. Ясное дело, он заслуживает воли, хотя бы только за сегодняшнюю весть. Правда, Кнопс должен остаться при нем, он не отпустит от себя Кнопса. Это принесло бы несчастье. Кнопс нужен ему. Как бы вскользь он величественно бросил:

— Разумеется, ты получишь волю с того дня, как я женюсь на Марции.

Но он не очень следил за собой и сказал это не голосом императора Нерона, а напыщенным тоном горшечника Теренция.

Когда Кнопс ушел, Теренций весь отдался наполнявшему его восторгу. Он рисовал себе картины торжественного бракосочетания его с одной из знатнейших дам Рима, с Марцией Теренцией. Рисовал себе церемонию на главной площади Эдессы, где находились алтарь Тараты, бронзовое изображение богини и ее символы — каменные изображения фаллуса. Варрон, великий Варрон, сенатор, чьей вещью он, Теренций, был, которому он принадлежал, как собака или корова, этот Варрон отдавал ему свою дочь, — больше того, он обязывал его переспать с ней. Он рисовал себе, как он проведет ночь с дочерью Варрона. И тут его радость чуть заметно омрачилась. Нерон — это «Муж», «Нерон» означает «Муж». Он же, Теренций, никогда не чувствовал себя в постели с женщиной сильным, превратности его судьбы, напряжение, которого требовали от него праздные мечты о величии, сравнительно рано подточили его мужскую силу. Он пытался возбудить себя картинами, в которых рисовал себе дочь Варрона нагой, в полной его власти. Но его волновало лишь то, что Марция — знатная римлянка, ничего больше. Думая о брачной ночи, он испытывал неуверенность. Он надеялся только, что чувство собственного величия в решающую минуту вдохнет в него силу.

Хотя весть была и очень радостна, но он не потерял головы. По-прежнему не обнаруживал никакого нетерпения. Жил отшельником. Работал. Осторожно извлекал из книг и из разговоров с людьми, с которыми ему приходилось общаться, бесчисленные подробности прежней жизни Нерона, упражнениями старался довести свой почерк, в особенности подпись, до полного сходства с нероновской. К нему приставили одного греческого и одного латинского секретаря, одного греческого и одного латинского чтеца. С ними он заучивал наизусть тех классиков, которых любил Нерон, старался в их присутствии декламировать стихи Нерона в манере Нерона. Это занимало все его время.

Он был осторожен и строго воздерживался от всяких официальных выступлений. Но в организации свадебной церемонии он с удовольствием принял бы участие: тут, как и во всех вопросах представительства, он чувствовал себя специалистом. Однако когда он намекнул об этом окружающим и предложил маршрут свадебного

шествия, люди смутились. Оказалось, что весь порядок церемонии уже разработан и утвержден. Он испуганно отступил. Рад был уж и тому, что портные, явившиеся к нему для изготовления парадных одеяний, приняли во внимание его робкие советы.

Посетителей он допускал к себе редко. Но когда Гайя потребовала свидания с ним, он велел впустить ее.

Он лежал на софе, с ног до головы — Нерон, и слушал чтеца.

— Что тебе нужно, добрая женщина? — милостиво спросил он, явно развеселившись.

— Отошли этого человека, — потребовала Гайя.

Она стояла перед ним, большая, решительная, глубоко дыша, слегка приоткрыв рот с красивыми крупными зубами. Нерон обратился к чтецу:

— Продолжай, милейший!

Чтец поднял свиток, снова начал читать.

— Отошли этого человека, — настаивала Гайя.

— Ах, наша Гайя все еще здесь? — сказал веселым и в то же время досадливым тоном Нерон. — Скажи же наконец, что тебе нужно, милая?

— Послушай меня, образумься, — настойчиво умоляла его Гайя. — Ты погубишь всех нас, и прежде всего самого себя. Ослеп ты, что ли? Перестань, бога ради, ломать эту комедию на посмеище варварам.

Чтец отошел в уголок; со страхом, с любопытством смотрел он на женщину, которая говорила с Нероном, потрясенная, видимо, до глубины души, отчаиваясь, борясь, заклиная.

— Я и перестал ломать комедию, — зевая, сказал Нерон. — А вот ты, милая, никак не можешь перестать. Пьеса окончена, актерам пора снять маски. Но играла ты хорошо, держалась молодцом. Ты имеешь право на ренту и получишь ее. Полторы тысячи в месяц. Запиши это, милейший, — приказал он чтецу.

— Слушай, Теренций, — заклинала его Гайя, — опомнись. Подумай, что ты с собой делаешь? На этот раз ты так дешево не отделаешься, как в ту ночь, когда ты прибежал с Палатина. Мало ты тогда трясся, что ли? Тебе опять хочется того же? Но ведь ты больше не вынесешь такого! Дважды боги не простят такой дерзости.

Она подошла к нему почти вплотную, дотронулась до него руками, стала тормозить его.

— Пойдем домой, Теренций. Там мы подумаем, как быть дальше.

Слова женщины помимо его воли встревожили его. Он оборонялся, досадовал на нее, досадовал на себя, зачем он велел впустить ее, ему хотелось ее ударить. Но он остался императором. Спокойно отстранил он ее, поднес к глазу смарагд, с интересом стал ее рассматривать, словно перед ним был какой-то редкий зверь.

— Она помешалась на своей роли, — решил он. — Мне рассказывали, как иногда актеры тоже вот так сходят с ума, слишком вжившись в роль Эдипа или Аякса. Можешь идти, моя славная, — кротко обратился он к женщине. — Будь покойна. Тебя не оставят.

И он похлопал ее по плечу. Гайя при его прикосновении начала дрожать, громко зарыдала, не сказала больше ни слова, удалилась.

На следующий день Варрон посетил наконец «тварь». Теренций слегка оробел, но виду, конечно, не подал. Сначала все шло хорошо. Варрон держался как истинный придворный перед лицом его величества. Смиренно поблагодарил императора за то, что тот удостоил его дочь Марцию великой чести, возвысив ее до себя; тут же изложил императору программу свадебных торжеств, почтительно испросил его согласия на эту церемонию, к обсуждению которой он Теренция не допустил.

Незаметно, намеками давал он ему указания, как держать себя, чтобы как можно более походить на подлинного императора. Он стремился давать советы ненавязчиво, как бы мимоходом, но не мог удержаться, чтобы не вложить в них легкую иронию и презрение. И Теренций был уязвлен, даже сквозь свою маску. Варрон сказал ему:

— К сожалению своему, я вижу, что ваше величество прибегает теперь к смарагду гораздо чаще, чем раньше. Ваша близорукость, стало быть, с годами усилилась, тогда как обычно она с возрастом ослабевает. Правда, близорукость имеет свои преимущества: яснее видишь вблизи мелкие предметы. Вопрос лишь в том, — добавил он задумчиво, — не следует ли предпочесть дальнорукость, свойственную нам, простым смертным...

Надменный Варрон не мог предположить, что его бывший раб способен будет уловить в этих словах издевку. Но презрение проникает и сквозь панцирь черс-

пахи. На Теренции же не только не было панциря, но, напротив, у него была очень чувствительная кожа. Он опустил руку со смарагдом, доставлявшим ему так много удовольствия и нередко выводившим его из затруднений, сердито и беспомощно сдвинул брови и на протяжении всего разговора ни разу более не поднес любимого смарагда к глазам.

5. БРАКОСОЧЕТАНИЕ НЕРОНА

Решившись выйти замуж за этого червяка, как Марция мысленно называла Теренция, она заковала себя в двойную броню, чтобы ни перед кем не обнаружить страха, сомнений, отвращения и тайного вожделения.

Как хотелось ей поговорить с полковником Фронтоном! С тех пор как ей пришлось, следуя за отцом, бежать из Антиохии, отказаться от своей мечты, решиться на поощрение Фронтонна, ее мысли часто возвращались к элегантному офицеру, римлянину с головы до пят, который с такой естественно присущей ему сдержанностью выказывал ей свое поклонение. Ночью, лежа в постели, она представляла себе, как бы это было, если бы она принесла этому человеку свое столь долго оберегаемое тело — огромный дар. Она лежала бы с закрытыми глазами, сопротивляясь и смиряя себя, холодная и пылающая, страстная и строгая. Но именно потому, что она так много думала о Фронтоне, именно потому, что страсть ее была направлена на него, она теперь не могла заставить себя поговорить с ним откровенно, как с другом, о том ужасе, который предстоял ей; теперь Фронтон был и меньше и больше, чем друг.

Так, ни с кем не делясь, носила она в себе свои вожделения и страхи. Мать внушила ей брезгливое отвращение ко всему плотскому. Марция была предназначена оберегать священный огонь Весты, готовилась к жизни в чистом, строгом доме весталок на Священной дороге. Она должна была высоко, подобно орлу, парить над низменными людьми и низменными страстями. Варрон помешал этому. Мать ненавидела его за это вдвойне и в дочери взрастила отвращение к разнузданной жизни отца. Мать предсказывала, а Марция верила, что подобная жизнь отца до добра не доведет, и когда Варрона

с позором вычеркнули из сенатских списков, Марция решила еще строже держаться прямого пути, предначертанного ей матерью; теперь, как ей казалось, она одна была обязана оберегать честь своего великого прославленного рода.

И вот судьба, вопреки всему, толкнула ее на путь отца. Перед ней открылась участь, двусмысленная, как участь отца: она должна была стать женой человека, который был одновременно и императором и рабом. И больше всего приводило ее в смятение то, что она не чувствовала отвращения к этой участи. Наоборот: точно так же, как разнузданность отца вызывала в ней не только ненависть, но и зависть и восхищение, будущее, открывшееся перед Марцией, несмотря на всю свою гнусность, влекло ее к себе неудержимо и таинственно.

Обычай страны не разрешал, чтобы жених и невеста виделись до свадьбы. Марция старалась вызвать в памяти лицо и фигуру Теренция, которого она, несомненно, иногда встречала; ей это не удавалось. Но она навсегда запомнила массивное, своевольное лицо императора Нерона, — в годы своего детства, когда император был еще жив, ей часто приходилось видеть его. Подолгу стояла она перед статуями императора, которым теперь вновь воздавались почести, и представляла себе, как этот каменный император оживает, обвивает ее рукой, как он сбрасывает тогу, как они тело к телу лежат в постели, как он прижимается бедрами к ее бедрам, — и ее охватывал ужас, от которого останавливалось сердце, и желание, опалявшее ее, как огонь.

Но это не был император Нерон, это был горшечник Теренций, раб, существо низменное, нечистой крови, это был отброс, и с ним предстояло ей соединиться. Она была в полном смятении.

Но она умела владеть собой, и внешне — раз решившись на это — она была невестой императора, и только. Усердно выполняла она многочисленные обряды, налагаемые римской традицией на обрученных.

В канун свадьбы, как только начало темнеть, она терпеливо дала облачить себя в желто-красное огнецветное одеяние невесты; свою девическую одежду вместе с игрушками она посвятила, как предписывал обычай, домашним богам.

Она плохо спала эту ночь. Мечты о Фронтоне пере-

мешивались с боязливými, жадными грезами, прежде посещавшими ее перед статуями императора. Желание ощутить близость человека, называвшего себя Нероном, выростало в страсть, от которой горело все тело.

Но когда ранним утром он явился за ней, окруженный пышностью и великолепием, в пурпуре, с колесницами и огромной свитой, она была разочарована. Он сиял, он был императором в речах и движениях. Однако чары, державшие ее в оцепенении перед статуями императора, не приходили. Она не чувствовала ни благоговения перед носителем высшей власти, ни превосходства над рабом, ни вожделения к мужчине. Никаких чувств не было. Была пустота. Человек, подавший ей руку, был никто — не император и не раб, оболочка без содержания. Никто. Первый встречный. Драгоценнейшую минуту своей жизни она разделит не с любимым, не с ненавистным — с пустым местом.

Сверкая великолепием, поехали они по улицам города к главной площади Эдессы. Десятки тысяч людей, стоявшие на площади, затаили дыхание, когда император и Марция появились перед алтарем Тараты. На Марции было традиционное одеяние невесты: длинная белая туника, перехваченная шерстяным поясом с искусно завязанным геркулесовым узлом, который должен был развязать жених; поверх туники — накидка, тоже традиционного, желто-красно-огненного цвета. Желто-красно-огненными были и высокая обувь, и фата. На волосах Марции, разделенных, как предписывал обычай, на шесть локонов, покоилась тяжелая, величественная зубчатая корона, под которой ее тонкое лицо казалось еще более нежным и строгим.

Священнослужители, заколовшие жертвенное животное и осмотревшие его внутренности, доложили, что божеству этот брак угоден. Брачный контракт был подписан. Невеста произнесла формулу:

— Так как ты именуешься Клавдий Нерон, то пусть я именуюсь Клавдия.

Теренций ответил:

— Я, Клавдий Нерон, даю согласие, чтобы ты именовалась Клавдия.

Предводительница шествия вложила правую руку жениха в правую руку невесты. Пока приносились в жертву плоды полей, оба, окутав головы покрывалами,

сидели в креслах, над которыми, соединяя их, была распростерта шкура жертвенной овцы, заколотой сего дня на рассвете. Затем они обошли, читая молитвы, алтарь, оставив его по правую руку от себя; впереди шел мальчик и бросал фимиам в огонь алтаря.

После пиршества, происходившего в доме Варрона, свадебная процессия направилась во дворец царя Маллука, где жил жених. Кругом народ кричал:

— Талассий! Талассий!

С древнейших времен никто по-настоящему не понимал, что это значит, и теперь тоже никто не знал этого, но как тогда, так и теперь каждый подразумевал под этим словом что-то весьма определенное, непристойное. Свита жениха бросала народу орехи, а так как женихом был император, то орехи были золоченые. Впереди Марции шел мальчик с факелом из ветки боярышника. Когда шествие приблизилось к дому жениха, толпа бросилась к факелу и разломилась на бесчисленное количество кусков; люди дрались за каждую лучинку, ибо тому, кто обладал частичкой факела невесты, боги дали долгую жизнь, — какое же долголетие сулил факел невесты императора!

Провожатые подняли Марцию и перенесли через порог. В покое было приготовлено широкое брачное ложе. Сбоку от него присел высеченный из камня шуточный приапический бог Мутун Тутунс, покровитель новобрачных. Марцию посадили ему на колени, так что могучий фаллус касался ее.

И вот она сидит на этом непристойном камне. Свадебная свита наконец-то удалилась, она — наедине с этим человеком. Что теперь будет? Весь день он держал себя ровно, спокойно, не без достоинства, никак не вызывая тех чувств, которые должна была бы рождать близость высочайшей особы, но никак не давая повода также к насмешкам или презрению. Вот он стоит перед нею, «Муж-Нерон», ее Нерон, ее муж. Он и в самом деле походил на те статуи. Неужели камень сейчас действительно превратится в плоть и совершит то, о чем она мечтала?

Для горшечника Теренция это был великий, но очень утомительный день. Сенатор Варрон своевременно передал ему записку с перечнем всего того, что ему, Теренцию, полагалось в течение этого дня проделать. Терен-

ций, понаторевший в заучивании наизусть классиков, с легкостью усвоил содержание записки и действительно держал себя в высшей степени по-императорски. Но насладиться своим величием он, изнуренный непрерывными усилиями, был уже, разумеется, не в состоянии. И вот он сидит здесь, наедине с этой бледной, надменной сенаторской дочкой, которая имеет право требовать и ждет от него, чтобы он за нее взялся.

Конечно, великая честь, что она и все остальные ждут от него этого. Да и вправду сказать, хотя он предпочел бы что-нибудь подороднее, пожирнее — сегодня утром его невеста показалась ему лакомым кусочком, прямо-таки красивой. Однако сейчас, после бесконечных церемоний, он чертовски устал, право, он совершенно измучен и охотнее всего лег бы один. К тому же в записке Варрона изложены были все возможные правила поведения, но на день и ни одного — на ночь. С чего начать? Развязать искусно запутанный геркулов узел, которым был завязан ее пояс, или сперва самому раздеться?

Ну, ладно. Вперед. Кто взобрался на такую высоту, тот сумеет справиться с девчонкой. Чтобы распалить себя, он старался вызвать в воображении самые сладострастные образы. Но возбуждения не было. Марция сидела неподвижно. Он стал рассматривать свои руки. Он очень следил за ними, они были белы и хорошо пахли. Прошло немало времени в полном молчании. Что-то нужно было сделать.

— Да, моя Марция, — сказал он и подошел к ней. Но не походкой Нерона. Зачем? Теперь нужно беречь силы для другого. Осторожно снял он с нее огнецветную мантию. Он не бросил драгоценную ткань на пол, а аккуратно, по-хозяйски развесил ее на стуле. Затем нерешительно снял с головы Марции венец и попытался с легким вздохом развязать запутанный узел на поясе. Марция, не шевелясь, позволяла делать с собой все, что он хотел. Касаясь нечаянно ее лба или руки, он чувствовал, что она холодна как лед.

На ней оставалась одна туника. Он подумал, что до сих пор вел себя не слишком победопно, и решил показать себя мужчиной. Он стал возиться с завязками на ее тунике и, так как они не поддавались, рванул и разорвал тунику донизу. Марция осталась нагая: холод-

ная, тонкая, белая, с остроконечными грудями. Он схватил ее, она была нетяжела, без усилия понес на кровать. Она лежала, сдавленно дыша.

— Погаси свет, — попросила она.

Он разделся, лег рядом. Он чувствовал, что она по-прежнему холодна, это злило его. Он грубо обхватил ее. Она задрожала, тихо вздохнула. «Если женщина так холодна, ей нечего ждать, что мужчина расплится». Он надеялся, что, если как следует разозлиться, дело пойдет легче. И он разозлился, потому что она молчала, потому что она не помогала ему. Крепче сжал ее.

— Скажи: «Рыжебородый Малыш», — потребовал он; так называла императора Акте, его первая подруга, и так называл его народ. Теренцию говорили, что император любил, когда его так называли.

Она молчала. Он больно стиснул ее. Она коротко вскрикнула.

«Нежная она, эта куколка», — подумал он с раздражением, обхватил ее плотнее, ущипнул.

— Нет, — сказала она, — нет.

Он сразу, точно ждал этого слова, отпустил ее.

«Если она не хочет, — подумал он обиженно, — Нерон не станет навязываться».

Он отвернулся от нее, довольный собой. Весь день он держал себя как истинный император, он заслужил покой и сон. Он поудобней пристроил подушку, спросил себя, пожелать ли Марции спокойной ночи или сделать вид, что он обижен. Добродушно, — в сущности, он и был добродушным человеком, — пробормотал он «спокойной ночи», произнеся эти слова по-гречески: так, казалось ему, будет благородней, и, кроме того, в словах этих не было «тэты». Очень скоро он уснул. Спустя несколько минут раздался легкий храп.

Марция лежала застывшая, опустошенная, разочарованная. Ее возмущало, что человек этот осмелился так грубо наброситься на нее, и еще больше — что он отвернулся. Высокомерно говорила она себе, что именно сила ее превосходства указала рабу его место. Она должна гордиться, что помешала этому животному сделать с ней то, что он хотел. Но гордость эта быстро испарилась. Она обоняла его запах, слышала его дыхание.

— Рыжебородый Малыш, — произнесла она тихо, сердясь на себя, что не сразу повиновалась ему.

Она надавливала на места, где он ущипнул ее. Было больно. Завтра здесь будут синяки, это все, что ей останется от брачной ночи. Разочарование, то возбуждая, то леденя ее, доставляло ей почти физическую боль.

Он лежал, спал, слегка похрапывал.

Всю ночь она так и не согрелась. Чуть только забрезжило утро, встала. Босая, узким девичьим шагом прошла она через комнату. Она увидела подвенечную мантию, аккуратно развешенную на стуле. «И вот этот утверждает, что он — Нерон!» — подумала она.

6. ХИТРОСТЬ

Получив донесение Фронтонa о событиях в Эдессе, Цейоний был взбешен, но едва ли не более того испуган. Такой жгучей была, значит, ненависть Варрона к нему, что собственную любимую дочь он отдал в жены рабу и мошеннику, лишь бы нанести вред ему, Цейонию. Он теперь ясно видел то, что всегда подозревал: противником Рима был не внешний враг, не какой-нибудь Пакор или Артабан; подлинный враг Рима гнезвился внутри империи и звался Луций Теренций Варрон. Это Варрон виноват в том, что Восток все продолжает бурлить. Значит, его глубокая неприязнь к Варрону диктовалась здоровым инстинктом.

Снова и глубже прежнего понял он: то, что происходило между ним и Варроном, было серьезнее, чем личный конфликт. Он, Цейоний, — это новый Рим, Рим, полный сознания своей ответственности, трезвый, расчетливый, благоразумный; Варрон же — воплощение необузданного прошлого. Страстный, может быть, гениальный, он отличался той безудержностью, той безответственностью, которые во времена Нерона исключали возможность разумного управления государством и вели империю на край гибели.

Он читал ясные, корректные рапорты полковника Фронтонa. Слепой гнев вскипал в нем. «Выступить, — думал он в бешенстве. — Десять тысяч человек двинуть через Евфрат. Выловить Варрона, этого лицемера, этого предателя. Попрошайку, царя Маллука, низложить,

приструнить верховного жреца Шарбиля. Варрону отрубить голову, а негодяя-раба распять на кресте!» Он чуть ли не сожалел, что Фронтон сохраняет такое благоразумие. Возможно, он даже предпочел бы, чтобы гарнизон в Эдессе был вырезан до последнего солдата, тогда у него был бы предлог вмешаться.

Советникам стоило больших усилий удержать его от опрометчивых шагов. Ему пришлось согласиться, что военная экспедиция в Эдессу невозможна. Такая экспедиция лишь дала бы Артабану желанный повод под лозунгом оборонительной войны против Рима положить конец внутренней распри в Парфянском царстве, перейти Тигр и двинуться на римлян. Палатин ставил себе в величайшую заслугу то, что он восстановил мир и поддерживал его. Император Тит любил называть себя миротворцем. Губернатор, который не только не сумел избежать войны с парфянами, но даже сам спровоцировал ее, несомненно, навлек бы на себя немилость. Нет, Цейоний вынужден был ограничиться тем, что направил Эдессе несколько бесполезных нот. Вынужден был сложить руки наблюдать, как Варрон дальше плетет сеть своих интриг и издевается над ним. Он задыхался от ярости, красные пятна на щеках горели ярче. В губернаторском дворце в Антиохии все ходили, словно пришибленные.

Ежедневно собирался военный совет. Губернатор просил, заклинал, ругал своих советников. Так дальше продолжаться не может. Советники ломали себе головы. Надо было найти выход. Советники, сидевшие во дворце правительства Сирии, были матерые дипломаты. Они нашли выход.

Разумеется, сам Рим не может предпринять никакой военной экспедиции. А если сослаться на старые договоры и предложить одному из вассальных государств провести полицейскую акцию для поимки преступников? Обратиться, например, к соседу Эдессы, царю Коммагены Филиппу, и настойчиво попросить его, не стесняясь средствами, поймать и выдать Варрона и Теренция? Если Коммагена выступит — а способы принудить Филиппа имеются, — то это будет достаточной маскировкой. Парфянам можно представить в качестве виновника царя Филиппа: ему, мол, поручили провести полицейскую меру, а он по недоразумению превысил свои полномочия.

Цейоний, жадно ловивший каждую возможность действовать, вздохнул с облегчением. В тот же день он отправил послание царю Филиппу Коммагенскому.

7. РАССУДОК И СТРАСТЬ

Когда Варрон узнал об этом, им овладела усталость, подавленность. Его мучило сознание, что он, пятидесятилетний стареющий человек, в угоду своим страстям позволил себе увлечься этой нелепой, дорогостоящей забавой. Конечно, это больше, чем простая забава, — дело идет об идее Александра, о слиянии Азии с Европой. Но ведь он, Варрон, уверовал в эту идею исключительно потому, что она послужила для него предлогом дать волю своей страсти к игре, своему алчному стремлению к власти и наслаждениям.

Долго сидел он так, чувствуя себя старым, изношенным. Не сразу вернулись к нему ясность мысли и энергия. Да, план, сочиненный в Антиохии, — не посылать собственных войск, а действовать через Коммагену, — придуман ловко. Парфянский царь Артабан еще выступил бы, пожалуй, против римлян, но с туземными сирийскими войсками он драться не будет. Если дело дойдет до вооруженного конфликта между Коммагеной и Эдессой, то ему, Варрону, вместе с его Нероном, неоткуда ждать помощи — они погибли.

Все зависит от того, дойдет ли дело до вооруженного конфликта. Следовательно, все зависит от царя Филиппа Коммагенского. Исполнит ли он, должен ли он исполнить требование Цейония?

Варрон представил себя на месте Филиппа. Филиппу было лет за тридцать. Отпрыск греческих и персидских царей, получивший превосходное образование, он был под этими небесами самым ревностным поборником развития наук и искусств. Нерон любил коммагенских властителей и предпочитал их всем другим. Нынешние наместники Рима изводили их придирами. Еще старый неотесанный Веспасиан терпеть не мог утонченно-культурного эстета — царя Филиппа, а Тит находил его «насквозь восточным». Филипп был слишком умен, чтобы защищаться; наоборот, на каждую новую придиру

ку он отвечал новыми изъяснениями вежливости. Но в душе Филипп — в этом Варрон не сомневался — ненавидел неотесанных, грубых солдат, какими римляне проявляли себя по отношению к нему. Несомненно, сердце его принадлежало человеку, которого звали Нерон, кто бы ни был этот человек. Но Коммагена находится по ту сторону Евфрата, на римском берегу: в Самосате, столице Коммагены, стоит сильный римский гарнизон, и если царь Филипп проявит строптивость, римляне не задумаются напасть на него и занять его страну. Ему придется, очевидно, волей-неволей выполнить желание Цейония просто потому, что другого выхода нет.

Друзья молодого царя говорили о нем, что он соединяет в себе все хорошие качества персов, греков и сирийцев: персидскую религиозность, греческую образованность, сирийскую ловкость. Враги обвиняли его в том, что он соединяет в себе все дурные качества этих народов: расплывчатость персов, мягкотелость греков, коварство сирийцев. Варрон всего два раза лично сталкивался с молодым царем. Они явно симпатизировали друг другу. Теперь судьба его была в руках Филиппа. Варрон решил отправиться в Самосату, столицу Коммагены.

В тот же день он снарядился в путь.

Для царя Филиппа это была радостная и в то же время неприятная неожиданность. Варрон, несомненно, слышал о требовании Антиохии выдать его, почему же он сам отдает себя в руки Филиппа? Что он задумал? Но оба были слишком хорошо воспитаны, и потому, возлежа за столом, ни Варрон, ни царь не обнаружили того, что их занимало. Они вели оживленную беседу об искусстве и литературе, хотя втайне Филипп и спрашивал себя, не следует ли при всей его симпатии к Варрону попросту поставить у дверей стражу и завтра же отправить Варрона в Антиохию.

После трапезы Варрон заговорил без околичностей:

— Вы не находите, царь Филипп, что с моей стороны было очень любезно избавить вас от необходимости похода и самому отдаться вам в руки?

Царь Филипп не сдерживал более своего волнения. Он встал. Высокий, хрупкий, с безвольным подбородком, он прошелся несколько раз взад и вперед неловким, неровным шагом, затем остановился перед Варроном, ста-

рательно всмотрелся большими близорукими глазами в его лицо и сказал:

— Я, конечно, удивлен, мой Варрон. Мне незачем говорить вам, как неприятно мне поручение губернатора. Но такому знатоку Востока, как вы, скорее чем кому бы то ни было понятно, что я вынужден его выполнить.

— Разумеется, вы должны его выполнить, — признал Варрон, — мы, мой Нерон и я, имеем мало шансов продержаться. Даже в том случае, если Артабан предоставит в наше распоряжение двадцать — тридцать тысяч солдат, — а это еще тоже под вопросом, — победителем в конце концов в меру человеческого предвидения останется Рим. Рассудок, стало быть, повелевает, чтобы вы, царь Филипп, выполнили поручение губернатора. Помимо всего прочего, это даст вам множество выгод. Эдесса будет наказана, территория ее разделена, и, возможно, если вы с успехом проведете карательную экспедицию, вам отойдет значительная часть земель.

Долговязый, тощий царь Филипп беспомощно смотрел вниз, на спокойно говорившего Варрона. Все обстояло именно так, как говорил Варрон. Он сам не мог бы лучше изложить причины, побуждавшие его против воли подчиниться требованию Рима. Он был смущен и разочарован. Втайне он надеялся, что Варрон укрепит в нем не готовность подчиниться Риму, а, наоборот, его внутренний протест против этого.

Но Варрон еще не кончил. Вкрадчиво, после продолжительного молчания, он начал снова:

— Конечно, в Эдессе, во всей Месопотамии и при дворе Великого царя Артабана все будут удивлены, что царь Филипп выдал императора Нерона и меня римскому узурпатору. Скажут: если уж маленькая Эдесса не побоялась вступить за Нерона, то более сильной Коммагене, конечно, следовало бы рискнуть. Возможно, что Артабан только того и ждет, чтобы еще какое-нибудь месопотамское государство признало Нерона, и тогда он тоже примкнет к нему. Но какое дело, в конце концов, царю Коммагены до нескольких миллионов негодующих сирийских патриотов, если он может присоединить к своему царству изрядный кусок Эдессы?

Царь Филипп, как ни странно, не без удовольствия слушал, как Варрон издевается над его несамостоятельностью и нерешительностью. Филипп любил блеск и

богатство, у него была страсть к строительству, его манила перспектива построить на сокровища, которые даст ему военная добыча в Эдессе, дворцы, бани, театры, новый город. А с другой стороны, был огромный соблазн: воспользоваться случаем и взбунтоваться против этих заносчивых, неотесанных, кичливых насильников с Запада, которые по каждому поводу так грубо и глупо давали ему почувствовать свою силу. Нелегко было выступить против дружественной Эдессы. Нелегко было именно ему, сирийскому царю, выдать палачу человека, на которого возлагало надежды все сирийское Междуречье.

Варрон продолжал:

— Полагаю, царь Филипп, я доказал вам, что отдаю должное мотивам, которые руководят вами, и что не буду на вас в обиде, если вы подчинитесь голосу рассудка. Но поскольку уже решено, что вы — смею надеяться, скрепя сердце — выдадите меня Дергунчику, и поскольку я нисколько не сержусь на вас за это, то позвольте мне предложить вам рискованный вопрос.

— Пожалуйста, спрашивайте, — сказал царь Филипп.

Длинный и тонкий, он сидел под большой статуей Минервы, которая, по тогдашней моде, тоже была длинной и тонкой.

— Вы, стало быть, подчинитесь Риму, — сказал Варрон, — и Рим вас за это вознаградит и расширит вашу территорию. Но пройдет немного времени, и Рим снова предъявит вам какое-нибудь требование, которое опять-таки будет вам не очень по сердцу. Из тех же соображений, что и теперь, вы опять уступите, и тогда Рим в третий раз выставит требования, еще большие, и, наконец, придет день, когда вам станет невоготу, и в этот последний раз вы волей-неволей откажетесь. Иначе вы вынуждены будете отдать столько, что уж больше нечего будет отдавать. Другими словами, не кажется ли вам, царь Филипп, что в один прекрасный день Рим, несмотря на ваше добродетельное поведение, найдет предлог захватить Коммагену?

Лицо Филиппа, крупное лицо интеллектуала, было бледно, рот слегка приоткрыт. Филипп серьезно смотрел в глаза Варрону, умный, печальный, усталый поздний отпрыск великих царей. Он молчал, но все его существо выражало мрачное, горькое «да».

Варрон наслаждался его молчанием. Затем он сказал:

— Благодарю вас за ответ. Эдесса меньше Коммагены. Царь Маллук не слишком культурен, а Шарбиль — поп, начиненный фанатическими предрассудками. Но в их сирийских головах достаточно здравого понимания действительности, и когда губернатор Сирии предложил им выдать нас, они, я полагаю, не хуже нас с вами понимали, чего требует разум. Я не знаю, что в конце концов побудило их отклонить требование Рима. Может быть, следующий довод: если мы всегда будем уступать, то можно гарантировать на сто процентов, что Рим в конечном счете проглотит нас. Если же мы теперь, пользуясь этим великолепным, соблазнительным предложением, дадим отпор Риму, тогда против нас только девяносто процентов вероятности. Лучше десять шансов теперь, чем впоследствии ни одного. Вы, конечно, молоды, царь Филипп. Если бы вашу страну и аннексировали, то вам бы оставили ваш царский титул и часть доходов. Вы поселились бы в Риме, заняли бы место в сенате, при дворе вашем были бы поэты, артисты, женщины. Вы избавились бы от многих неприятностей, с которыми связано управление страной, и Рим так далек от Самосаты, что проклятья восточных богов и людей доносились бы до вас, лишь как отдаленный шум моря. Жить в Риме как высокопоставленное частное лицо — в этом много привлекательного. Никто не знает этого лучше меня. Вам, вероятно, неизвестно, что до недавних пор у меня были все возможности вести в Риме ту жизнь, которую я вам только что нарисовал. Вы удивлены, что я все же объявил себя сторонником моего Нерона. До конца я и сам этого не понимаю. Мы, люди старшего поколения, не так высоко ценим разум, как вы, молодые. А может быть, мы понимаем его иначе, так что порой и самая блестящая жизнь теряет в наших глазах ценность, если нам приходится отказаться от некоторых абстрактных идей.

Царь Филипп все так же неподвижно сидел под статуей Минервы. Его бледное, крупное лицо казалось туповатым, — так внимательно он слушал.

— Прошу вас, продолжайте, Варрон, — попросил он, когда сенатор умолк.

— Я кончил, — ответил Варрон. — Пожалуй, только

еще вот что. Разве это не глупая ирония судьбы, что победа нашего Нерона зависит от того, продержимся ли мы первые несколько недель, не нападет ли на нас в эти первые недели Рим! Если нашему императору удастся удержать власть четыре, даже три недели, пока, как я говорил, царь Артабан признает его, то притязания Нерона обеспечены на долгие годы. Если он хоть раз добьется серьезного успеха, если, к примеру сказать, на его сторону встанет Артабан, если хоть раз Восток ясно увидит: Нерон жив, Нерон здесь, Нерон царствует, — то одно его имя, одно его существование будет уже означать постоянную угрозу для Рима, даже если Нерон временами и будет лишен возможности опираться на сильное войско. В этих случаях он спокойно сможет на несколько месяцев укрыться в степи, а затем, как только положение улучшится, снова появиться на горизонте. У Рима большая армия, но у Рима все-таки не хватит солдат, чтобы обшарить в погоне за Нероном весь Восток. Риму пришлось бы начать новую войну с парфянами, но при существующем положении вещей он ни за что не сделает этого. Одна Эдесса — этого мало. Но если и Коммагена поддержит Нерона, — значит, он прочно сидит в седле и может скакать куда угодно.

Царь Филипп не спускал глаз с его губ. Да, этот человек принял для себя решение, то соблазнительное решение, на которое Филиппу не хватает мужества. Этот Варрон, прекрасно сознавая, что именно сдерживает и парализует его самого, глубже заглянул в свое «я», чем он, Филипп, и в тех тайниках, где уже не правит разум, почерпнул силы, чтобы разум этот победить. Царь Филипп завидовал Варрону и восхищался им. В конечном счете не умнее ли действительно сохранить порядочность? В этом Варрон прав: если он, Филипп, неизменно будет выказывать римлянам покорность, то, несомненно, мнимому суверенитету Коммагены скоро придет конец, если же он воспротивится, то у него будет хотя бы один шанс — пусть слабый — конец этот предотвратить.

— Я поговорю с капитаном Требонием, милый Варрон, — сказал Филипп почти весело, так как решение было принято. — И прошу вас, не будьте на меня в обиде, — добавил он, давая понять, что аудиенция окончена, и улыбнулся открыто, широко, — если я на некоторое время поставлю у ваших дверей стражу.

8. ЕЩЕ ОДИН РИМСКИЙ ОФИЦЕР

Капитан Требоний начал службу рекрутом. Теперь он был офицером — носителем орла Четырнадцатого легиона. Среди солдат Востока он был самым популярным. И друзья и недруги его знали о подвигах, совершенных им во время Армянской и Иудейской войн. На службе в высшей степени суровый и грубый, этот плотный человек, с круглой головой на могучей шее и каштановой шевелюрой, держал себя вне службы с солдатами запросто, вместе с ними пьянствовал и шатался по притонам. Его крепкие остроты пользовались широкой славой. Он был любимцем армии, и население восхищалось им и встречало его бурным ликованием везде, где бы он ни появлялся.

В губернаторском дворце в Антиохии и в высших военных сферах Рима его популярность, конечно, была известна. Император Веспасиан, ценивший народный юмор, хотел даровать Требонию благородное звание, но так как некоторые знатные господа, которым Требоний казался уж очень вульгарным, выражали свои сомнения на сей счет, Веспасиан воздержался от этого. Низкого происхождения и не возведенный в ранг всадника, капитан не мог получить чина выше того, какой имел. Как бы ни потешался он над аристократишками, сколь бы часто ни подчеркивал, насколько любовь армии ему дороже нашивок полковника или генерала, его уязвляло все-таки, что высокие господа не допускают его в свой круг.

Он был честолобив и имел много отличий. За героические подвиги он получил пурпурный флажок и почетное запястье, он завоевал для себя и своего коня Победителя нагрудную перевязь первой степени. Но у него не было Стенного венца — золотой короны, которая полагалась тому, кто первый поднимется на стену осажденного города. Капитан Требоний считал, что он заслужил это отличие дважды. Он лишь презрительно пожимал плечами или смеялся громким, жирным смехом, говоря о подлых спекулянтах, которые отказали ему в заслуженной награде и сунули ее другим. И все же заноза эта засела глубоко.

По должности и положению полковник Фронтон в Эдессе и капитан Требоний в Самосате были равны. Но

антиохийские власти прекрасно знали, почему они поставили во главе пятисот солдат в Эдессе изысканного аристократа Фронтона, а гарнизоны четырех городов Коммагены в количестве двух тысяч солдат подчинили капитану Требонию. В Эдессе нужно было обладать дипломатическими способностями, задачи римского командира были там чрезвычайно деликатны. Назначением же Требония в Самосату достигались две цели: во-первых, унижали нелюбимого царя Филиппа тем, что в качестве представителя Рима посылали в его столицу плебея, во-вторых, любимому капитану Требонию, о котором знали, что он звезд с неба не хватает, предоставлялось теплое местечко, где дела управления не требовали от него никаких усилий, так как там все делалось, можно сказать, само собой. Однако в результате военные власти лишь больше озлобили обоих офицеров; ибо точно так же, как Фронтон стремился в большой культурный город Самосату, честолюбивому Требонию хотелось занять деликатный, ответственный пост в Эдессе.

Требоний возмещал нанесенный его честолюбию ущерб тем, что бессовестно эксплуатировал население Коммагены. Он открыто показывал, что считает не Филиппа, а себя властителем Коммагены. Умножал свои богатства всюду, где только мог. С вульгарным, зверским лицом, жирный, лоснящийся, увешанный сотней знаков отличия, в форме из самой дорогой ткани, бряцающая оружием, сверкавшим до такой степени, какая только допускалась, спесиво шагала он по красивым улицам Самосаты. Содержал княжеский двор, большие конюшни, неистово охотился за женщинами и дичью по всей стране.

В сущности, царь Филипп был доволен тем, что римляне из всех своих многочисленных офицеров послали к нему именно этого. Правда, отпрыску персидских и греческих богов и царей противно было прикосновение этого человека. Тем не менее, когда тот жирными пальцами фамильярно дергал его за полу или обнимал волосатой рукой, он не позволял себе отпрянуть назад. Он видел Требония насквозь: это был игрок, искатель приключений, раб собственных низменных страстей, да еще ущемленный в своем честолюбии. Легко было во-

образить себе случай, когда такой человек мог пригодиться.

И вот такой случай представился. Тотчас же после разговора с Варроном царь велел позвать капитана к себе.

Требоний явился. Он был в прекрасном расположении духа. Широкий, тяжелый, сидел он среди изящной мебели.

— Итак, царь Филипп, — начал он своим гулким, пустым голосом, — сын моей матери радуется предстоящей прогулке в Эдессу. О, теперь вы увидите наконец, каков на деле старый Требоний! В гареме царя Маллука вы найдете красивейших женщин, какие только есть между Коринфом и Сузами. О, там мы позабавимся на старости лет! Вам — две, мне — одну. Но, молодой царь, лицо у вас почему-то, как скисшее молоко. Говорю вам, мы с этим Нероном, а заодно и царем Маллуком и его Шарбилем разделаемся в два счета. А Варрон уже у нас в руках.

Он рассмеялся своим жирным смешком.

Филипп ничем не обнаружил, как резали ему ухо плоские, фамильярные шутки этого человека и далматинский диалект, на котором они произносились.

— Мне, конечно, делает честь, — ответил он спокойно, на чистом, бесцветном латинском языке, изысканность которого всегда вызывала у Требония досаду, — что Рим именно мне доверил это дело. Но в этом почетном кубке есть несколько капель горечи. И первая из них: я не испытываю ни малейшего удовольствия от мысли, что мне придется выступить против моего друга Маллука.

Требоний широко усмехнулся.

— Я вас понимаю, молодой царь, — ответил он. — Вы опасаетесь, вероятно, что затем придет ваш черед и мы проглотим и вас вместе с вашим царством. Напрасно. Если вы будете молодцом, то капитан Требоний замолвит за вас словечко. А к Требонию прислушиваются даже на Палатине.

— Благодарю вас за доброе слово, — улыбнулся Филипп. — Теперь капля вторая, — продолжал он. — У меня возникли сомнения юридического порядка. По договору с Римом я обязан оказывать помощь императору и его наместникам в проведении полицейских мер по отноше-

нию к его подданным, находящимся на моей территории. Но с каких пор Эдесса входит в мои владения?

— И вы мучитесь из-за таких тонкостей, молодой царь? — ответил капитан. — Я не юрист. Но не сомневаюсь, что наши юристы найдут зацепку, чтобы вытащить вас из лужи. Мы, к примеру сказать, попросту подарим вам часть Эдессы. И она станет вашей территорией. Я похлопочу на этот счет.

Он дернул царя за полу, рассмеялся, бляхи и цепи, навешанные на его груди и руках, зазвенели.

Филипп поднялся; длинный и тонкий, стоял он под статуей Минервы.

— А теперь третья капля — самая горькая, — сказал он своим бесстрастным голосом. — Император Нерон — последний отпрыск рода Юлия Цезаря, я — последний отпрыск рода Александра. Возможно, что вы такие резоны сочтете сентиментальными. Что, если этот человек из Эдессы окажется действительно императором Нероном? Мне представляется особенно неприятным, если внук Александра отправит на крест внука Цезаря. А разве вы, в конце концов, уверены, что человек этот не Нерон? Видите ли, сенатор Варрон прибыл сюда специально, дабы подтвердить, что это действительно Нерон. Только для этой цели он добровольно явился ко мне.

«Да, вести он себя умеет, этот мальчик! — думал Требоний. — Как ловко он ввернул в разговор, кто он такой. Легко, конечно, держать себя по-царски, когда с самой юности другой муштры не знаешь. Ему бы командовать: «Выпад вправо, копье слева над головой», — хорошенький вид он бы имел». Вслух Требоний сказал:

— Уверен ли я? В чем можно быть уверенным в этом поганом мире? Но если Тит, верховный главнокомандующий римской армии, приказывает не считать этого человека в Эдессе Нероном, значит, он не Нерон.

Царь Филипп, мечтательно разглядывая свои длинные пальцы, размышлял вслух:

— Я допускаю, что этот верховный главнокомандующий — хороший солдат, а Нерон, как говорят, не был хорошим солдатом. Но Нерон не был и скаредой, а эти новые — хорошие солдаты, но щедростью не отличаются. Армия, как известно, любила Нерона. Когда легионы увидят Нерона, они, возможно, предпочтут драться за

него, а не против него. Сам я был ребенком, когда видел Нерона. Но еще и сейчас, стоит мне увидеть его статую, как у меня от благоговения начинают дрожать колени. У меня такое чувство, словно я навлеку проклятья богов на себя и свою страну, ежели подниму руку на великого императора Нерона, друга Востока.

Капитан Требоний внимательно слушал, ни разу не растянув широкого рта в улыбку. Он ответил уклончиво, как Фронтон Шарбилю:

— Взвешивать эти соображения приличествует царю, а не капитану.

— Меня удивляет, — вежливо ответил царь Филипп, — что мой Требоний ссылается на свой чин. В других случаях капитан Требоний и думал и действовал совсем не как капитан, а как один из властителей Коммагены. И, между прочим, разве это не яркое доказательство неблагодарности некоторых лиц, что мой Требоний не получил более высокого чина, чем чин капитана? Хороший солдат может претендовать на хорошее вознаграждение. Это — его право. Возможно, что было бы действительно более по-солдатски, в высшем смысле этого слова, драться за Нерона, за того, кто умел быть благодарным и щедрым, а не за некоторых других.

Требонию стало не по себе. Куда клонит этот человек? Как понять, что всегда такой податливый Филипп вдруг обнаглел и заупрямился? Филипп был человек без подбородка, слабак, но — лиса. И Варрон тоже лиса. Очевидно, у хитрецов этих есть свои соображения, если они решили не выполнять приказа Цейония. Над этим стоило призадуматься. Выполнение приказа не очень-то почетно для Филиппа, но зато принесло бы ему большую выгоду. Может быть, Нерон предлагает ему большую? Или Филипп заручился обещаниями парфян?

Требоний не любил неясностей. Грубо, напрямик спросил он:

— Что все это означает, молодой царь? Значит ли это, что вы отказываетесь подчиниться приказу Рима?

Филипп улыбнулся. Длинноногий, неловкий, подошел он к Требонию.

— Да что вы, Требоний? Может ли царь Филипп не подчиниться? Конечно, я подчинюсь. Варрон уже в наших руках. А через две недели, если Маллук до тех пор не выдаст самозванца, мы пошлем в Эдессу войска.

— То-то же, — проквашал Требоний, но с трудом скрыл свое замешательство; он не понимал, подшутил над ним царь, или... Что же ему, собственно, нужно делать? Радоваться ли, что все идет гладко, или сожалеть об этом?

Его недоумению суждено было еще усилиться. Когда он стал прощаться, обнаглевший молодой царь снова завел свои двусмысленные речи:

— Итак, в нашем распоряжении еще целых две недели. Две недели — срок немалый. Поразмыслите за эти две недели: не Нерон ли все-таки этот человек в Эдессе, тот самый Нерон, который умеет благодарить и под чьей властью такой офицер, как Требоний, вряд ли оставался бы в чине капитана.

9. ВОЙНА НА ВОСТОКЕ

Эти слова не прошли мимо ушей Требония. Он стал размышлять.

Перед ним открывалось несколько соблазнительных возможностей. Он мог бы, например, написать о двусмысленных речах царя Филиппа в Антиохию, где против царя Коммагены собирали порочащий материал на тот случай, если решено будет аннексировать его страну. Требонию было бы вменено в заслугу, если бы он умножил этот материал.

Но что за польза ему от этого? Привилегий благородного сословия нынешнее римское правительство ему все равно не даст, а то, что оно может дать, у него и без того есть.

Если же он станет на сторону этого Нерона, — он, любимец армии, капитан Требоний! — то за такую поддержку можно потребовать любую цену — этот хитрый туземный царь совершенно прав. Его возведут в сан сенатора, сделают генералом, а может быть и главнокомандующим. А если дело провалится, если Нерон продержаться не сможет, для него всегда останется выход; заблаговременно, вместе со своими людьми, перебраться через Тигр и скрыться у парфян. Те, конечно, во всякое время найдут применение знаменитому военачальнику, да еще если он приведет с собой несколько тысяч хорошо вымуштрованных римских солдат.

Обычно, когда речь заходила о полковнике Фронтопе, Требоний только пожимал плечами. Но поведение Фронтон, который все это время сидел один в большой Эдесской крепости, интриговало его. Требоний находил такое поведение странным, не солдатским. Теперь он задался вопросом, не учуял ли и Фронтон возможностей сделать карьеру при этом Нероне.

Требоний нетерпеливо сопел. Как поступить? Служба в армии Тита стала скучной. При этих мелочных, расчетливых правителях нечего и думать о горячей веселой войне. Другое дело — служба у Нерона. Там предстояли бои — бальзам для сердца старого солдата. Рискованно, что и говорить, переметнуться на сторону этого Нерона. Но жизнь, полная риска, — разве не в этом призвание солдата? Он всегда усмехался про себя, когда вколачивал в головы рекрутам многочисленные предписания об обеспечении безопасности, которые в «Наказе» Флавиев занимали особенно большое место.

Впервые услышав о появлении этого Нерона, он отпустил несколько сочных шуточек. Но, видимо, он потропился — теперь все выглядело иначе. Варрон, Филипп и он, Требоний, — трое лис. Почему бы трем лисицам, поскольку дело идет о такой жирной добыче, как вышние посты при новом Нероне, не расправиться со старой, дряхлой, потерявшей зубы волчицей — Римом? А какая будет потеха, когда потом заявится к ним этот благородный полковник Фронтон! Поздно, дорогой полковник. Нельзя одной задницей сидеть и у Нерона и у Тита.

Не через две недели, а уже на третий день капитан Требоний явился к царю Филиппу. Губернатор Цейоний прислал ему точные инструкции. Инструкция поясняла: при всех условиях следует поддерживать фиктивную версию, будто царь Коммагенский уполномочен только на полицейские меры. Рим не хочет давать парфянам повода для каких-либо обвинений: если дело дойдет до конфликта, он, губернатор Цейоний, хочет иметь возможность доказать, что царь Филипп превысил полномочия и действовал самовольно. Стало быть, Требонию надлежит побудить царя Филиппа обрушиться самым беспощадным образом на Эдессу, но при этом устроить все так, чтобы, в случае надобности, всю ответственность можно было свалить на царя. Длинное послание, в котором Цейоний излагал свой коварный план, Требоний

принес с собой. Он не показал его царю, но несколько раз вытаскивал, читал про себя, усмехался, приводил из него отдельные фразы, давая возможность царю Филиппу ясно уловить двусмысленность письма. Царь никогда не считал, что политика римлян отличается высокой нравственностью, но он обрадовался вероломству Цейония: оно служило лишним оправданием задуманного дела.

Поговорили о том, о сем. Неожиданно капитан Требоний подошел, тяжело ступая, к царю Филиппу, дернул его за полу и чистосердечно проквашал, заглядывая ему прямо в глаза:

— А теперь, молодой царь, давайте поговорим начистоту, как мужчина с мужчиной. Скажите мне по секрету: этот человек в Эдессе — действительно великий, щедрый, милостивый император Нерон? Так это или не так?

Царь Филипп, не шелохнувшись, стерпел неприятную близость дышавшего ему прямо в лицо капитана, открыто взглянул карими глазами в его серо-голубые глаза и сказал с веселым спокойствием:

— Мое чутье и свидетельство Варрона говорят за то, что это так.

Требоний отступил на шаг и, как в свое время Фронтон, заявил с достоинством:

— Я всего лишь простой капитан. В таком темном деле царь и сенатор разбираются, несомненно, лучше, чем скромный офицер. — Но тут же перешел на фамильярный тон, стал широко улыбаться, наконец, шумно расхохотался, хлопнул себя по ляжкам, заорал: — Вот это потеха так потеха! С нашим Нероном мы так прижмем этого Дергунчика — просто любо-дорого.

Он снова перешел на официальный тон.

— Итак, молодой царь, приказание генерал-губернатора будет, разумеется, выполнено и мной и вами. Карательная экспедиция в Эдессу состоится. Надеюсь, что боевые силы будут достаточно внушительны. Со своей стороны, предоставляю вам для моральной поддержки триста человек солдат. Остальное — дело ваше. Ответственность несете вы.

Он сощурил светлые, почти лишенные ресниц глаза.

Между тем Варрон содержался под почетным арестом, а царю Маллуку было отправлено послание,

в котором Филипп Коммагенский вежливо, но недвусмысленно требовал выдачи человека, называвшего себя Нероном. В серьезных выражениях советовал он другу своему и брату Маллуку подчиниться, пока не поздно, справедливому требованию римского губернатора. Кончалось письмо ультиматумом: если в течение двух недель не последует выдача этого человека, Филипп вынужден будет, к своему сожалению, поддержать, согласно договору с римским императором, требование губернатора посылкой войск в Эдессу.

Копия этого письма отправлена была в Антиохию. В приписке значилось, что сенатор Варрон находится уже в руках царя Коммагенского. Последний надеется заполучить в скором времени и второго преступника. Как только это произойдет, он тотчас же доставит обоих губернатору, согласно его, губернатора, желанию.

Само письмо царь Филипп, чтобы придать ему больший вес, отправил в Эдессу со своим двоюродным братом, молодым принцем Селевком. Принц этот имел с царем Маллуком и верховным жрецом Шарбилем продолжительную беседу, в которой устно комментировал содержание письма. Беседа велась так, как подобает беседовать восточным князьям, — под плеск фонтана, достойно и доверительно. Принц рассказывал, как почетен арест, под которым царь Филипп содержит сенатора Варрона. Какие интересные беседы царь Филипп ежедневно ведет с Варроном. Как мало римлян примет участие в предполагаемой экспедиции против Эдессы — всего только триста человек. Принц не скрывал своих опасений насчет туземных войск: жители Коммагены, приученные к тому, что большую часть военных тягот берут на себя римляне, вряд ли будут с большим воодушевлением драться против Эдессы и против императора Нерона. Сам принц придерживался взгляда, что если эти войска, перейдя Евфрат, встретят, скажем, у девятого столба, где отходит дорога на Батны, сильного и боеспособного неприятеля, — они скорее всего повернут назад и предоставят трем сотням римлян самим заканчивать битву. Между прочим, сказал принц, сам капитан Требоний не очень твердо уверен в том, что человек, который выдает себя за императора, — мошенник; и если император докажет императорскими наградами, что он действительно цезарь Нерон, то вряд ли Требоний оста-

нется глух к такого рода доказательствам. Царь Коммагены приветствует своего противника и друга, царя Эдесского, и вызывает его, если тот действительно не желает подчиниться требованию римского губернатора, на честный бой.

Несколько дней спустя у девятого столба на дороге из Самосаты в Эдессу, там, где отходит дорога на Батны, встретились персидские купцы с купцами арабскими. Как персидские, так и арабские купцы поразительно хорошо разбирались в военных вопросах. Они долго обсуждали, что было бы, если бы на этом участке разыгралось сражение между войском коммагенским и войском эдесским. Они подробно рассматривали, что может случиться на той или другой стадии сражения, и пришли к выводу, что битва окончилась бы поражением Коммагены.

Эти понимающие дело купцы оказались хорошими пророками. Когда спустя три недели произошло сражение, которого они опасались, оно действительно окончилось поражением коммагенцев.

Триста римлян, участвовавших в этом сражении, сначала вообще не могли понять, что, собственно, происходит. Капитан Требоний был того мнения, что солдат при всех обстоятельствах должен уметь с достоинством умереть за своего начальника, и считал поэтому правильным ни о чем больше солдат не осведомлять. Таким образом, римские солдаты никак не могли постигнуть, почему их коммагенские собратья делают столь странные маневры; римляне никогда не видывали таких несуразных битв и потеряли около сотни человек, прежде чем остальные поняли, в чем тут дело, и сдались в плен.

С бурным ликованием вошла победоносная армия Эдессы в Самосату. Разоружила тамошний римский гарнизон, освободила Варрона, посадила вместо него под почетный арест царя Филиппа.

Убито было в сражении у девятого столба римских солдат девяносто семь, коммагенских — шестнадцать, эдесских — двенадцать.

Эта победа, которую одержал Нерон при первом столкновении с врагом, толковалась во всей пограничной области как счастливый знак. Римские гарнизоны в Каррах, Батнах, даже в Пальмире дали себя разоружить, не оказав сопротивления, либо перешли к Нерону.

Многие юридически свободные, а на деле зависимые от Рима города примкнули теперь к восставшему из мертвых Нерону и посылали римскому сенату поздравления с чудесным спасением великого императора.

10. НАГРАДА ЗА ТЕРПЕНИЕ

Полковник Фронтон очень скоро и с удовольствием убедился, что надежды, которые он возлагал на замужество Марции, оправдали себя. От прежних знакомых горшечника Теренция до него дошли кое-какие вполне определенные слухи; они дали ему право почти с уверенностью предполагать, что в одном отношении, важном как для Марции, так и для него, Фронтона, — Теренций, безусловно, не «Нерон». Если Фронтон не будет торопить событий, если он выждет подходящей минуты, то, надо думать, такое терпение будет вознаграждено.

Он бывал у Марции так часто, как только можно было, однако ни разу не проявил навязчивости, держа себя чрезвычайно благовоспитанно, по-римски, и лишь маленькими изысканными знаками внимания обнаруживал свои чувства, никогда не обмолвившись о них ни словом.

Марцию снедало разочарование, испытанное в брачную ночь. Она избегала объяснения, которого искал отец; остатки ее веры в отца угасали. Было безумием надеяться, что такой человек, как раб Теренций, может вступить на Палатин. Неспособный оправдать имя Нерона, он в такой же мере не в состоянии наполнить смыслом императорский титул, который на него навесили. Она не узнает могущества и славы, как не узнала любви. Ее предали, ей суждено всю жизнь прозябать на этом Востоке.

Все настойчивее, все тесней кружились ее мысли и грезы вокруг единственного римлянина, находившегося вблизи, — вокруг Фронтона. То, что Фронтон оставался верен данной Титу присяге и вместе с тем не уезжал из Эдессы, наполняло ее гордостью; она полагала, что он делает это ради нее, и чувствовала в нем родственную душу. Сходство характеров и судьбы связывало их. Он тоже жил в одиночестве, в огромной, пустой цитадели,

как и она была одинока среди просторных владений Варрона. То, что этот изящный офицер, с красивыми седыми, отливающими сталью волосами, один среди пятиллионного враждебного населения представляет римскую армию, казалось ей скорее возвышенным, чем смешным.

Она боролась с собой, не знала, довериться ли Фронту. Он видел, что она борется, наблюдал, ни о чем не спрашивал, ждал. Наконец ей стало невмочь.

— Как вы терпите, Фронтон, — вырвалось у нее, — эту фальшь вокруг — в вещах и в людях, этот наглый пустой блеск? Вы, единственный среди нас, кто сохранил достоинство и не предался окончательно этому разнузданному Востоку. Почему вы не возвращаетесь в Антиохию или в Рим, чтобы после всей этой бессмыслицы и гнусности вдохнуть чистого воздуха?

Фронтон посмотрел на нее. Увидел стройное, тонкое тело, нервно дрожавшее под одеянием императрицы. Увидел удлиненные, горячие карие глаза, глаза Варрона, блестящие на белом лице. Ее строгий римский нрав, черты весталки в ней, и то, что она была дочерью такого отца, и ее необычайная судьба — все это пленяло его. Он желал ее. Но поможет ему терпение, только терпение. Надо дожидаться подходящей минуты. «Выждать, — думал он, — пока она заговорит о своем Нероне. А пока — держать себя в руках. Только когда она начнет рассказывать о Нероне, можно пойти дальше. Тогда можно будет пойти очень далеко».

— Я не нахожу, Марция, что здесь все сплошь мишура, — ответил он. — Идея, за которую борется ваш отец, еще недавно, каких-нибудь четырнадцать лет тому назад, была весьма реальной, несколько не утопичной. Правда, теперь не в почете гуманистическая цивилизация и мировое гражданство, теперь на Палатине исповедуют узкий национализм, отвратительное ханжество, обожествляют голую военную силу; но этот ограниченный национализм не становится приемлемее оттого, что его провозглашают на Палатине, а наша идея мирового гражданства несколько не обесценивается оттого, что только в Самосате можно быть ее открытым сторонником. Я не знаю, удастся ли вашему отцу тем опасным путем, который он избрал для этого, осуществить свою идею. Откровенно говоря, я не верю в это. Но если вы

ставите ему в вину неразборчивость в средствах, которыми он пользуется для осуществления своей идеи, то тут вы несправедливы, моя Марция. Когда-нибудь его идея восторжествует, это безусловно; но так же безусловно и то, что людям, которые будут содействовать этому торжеству, придется пользоваться такими же гнусными и грязными средствами, какими теперь пользуется ваш отец.

Спокойствие, с которым Фронтон говорил это, благородство, с которым он брал под защиту ее отца, хорошая, чистая латынь уроженца Рима, умное, мужественное лицо и седая, отливающая сталью голова — все это действовало на Марцию благотворно. Она почувствовала, как крепнет связь между нею и этим человеком. Она не сомневалась, что он остался в Эдессе только ради нее. Но ей хотелось услышать это из его уст.

— То, что вы говорите, благородно и великодушно. Но это не ответ на мой вопрос. Почему вы остаетесь здесь? Почему вы не уезжаете в Рим?

Фронтон знал, что именно хотелось бы ей услышать. Он знал, что нравится ей, и она очень нравилась ему. «Главное, не сказать теперь слишком много, — думал он. — Не слишком много, но и не слишком мало. Впрочем, я даже не солгу, если скажу, что остался в Эдессе ради нее. В данную минуту это, безусловно, верно».

— Почему я не отправляюсь в Рим? — повторил он ее вопрос, искусно разыгрывая нерешительность. — Отвечу вам честно, Марция. Судьба захотела, чтобы ваш отец и я находились во враждебных лагерях. Но я уважаю вашего отца, и я ему друг. Возможно, что я смогу ему помочь, если дело его потерпит крах. — Тепло, но сдержанно он продолжал: — Вероятно, я смогу помочь и вам. Я ни для себя, ни для вас не вижу смысла в том, чтобы найти мученический конец здесь, в Междуречье. Я подготовил себе возможность, в случае нужды, вернуться на римскую территорию. Вы поедете тогда со мной, моя Марция? Теперь вы знаете, почему я до сих пор здесь, — закончил он, чуть улыбнувшись; слова его прозвучали почти как извинение.

Он напряженно ждал. «Теперь наконец она должна заговорить о своем Нероне, о том, как она несчастна. Если она это сделает, уже сегодня ночью я буду спать с ней».

Марция сказала:

— Для меня большое утешение, что вы остаетесь здесь, мой Фронтон. Быть может, признание мое и унижительно, но постоянно чувствовать себя одной среди гсворящих животных — это невыносимо. Не думайте обо мне плохо, но я не в силах больше молчать. Вы не можете себе представить, что это значит — жить с человеком такого низкого происхождения. Этот Нерон... — И она стала рассказывать об его «тэте» и о том, как он развесил на стуле ее брачное покрывало...

Когда она очнулась от первых объятий, она с удивлением услышала, что этот благородный, благопристойный Фронтон, этот римлянин, теперь, когда он овладел ею, стал говорить обо всем, что касалось любви и пола, с крайним цинизмом, не боясь самых вульгарных выражений. И еще более удивило ее, что она, предназначенная в весталки, не очень сердилась на него за это.

Он же думал: «Умно было с моей стороны запастись терпением. Мужественно и порядочно, что я не пренебрег своим чувством и остался здесь. Удивительный мир этот Восток. Мужество и порядочность здесь еще вознаграждаются».

11. ИСКУШЕНИЕ ФРОНТОНА

Умиротворенная любовью Фронтонa, Марция перестала негодовать на судьбу. Она дружелюбно разговаривала с отцом, вместе с ним обсуждала шансы на успех его дела, их общего дела. Какая-то стыдливость мешала ей произносить в его присутствии имя Фронтонa, а когда отец упоминал о нем, она молчала. Улеглась и ненависть ее к Теренцию. Он стал ей чужим, безразличным, ей теперь нетрудно было, когда он обращался к ней, отвечать ему дружелюбно, спокойно и вежливо.

Был даже такой день, когда она посочувствовала ему. Он пожелал показать ей свои любимые места в Эдессе, прежде всего Лабиринт, и предложил пойти с ним туда. Они спустились в сопровождении нескольких факельщиков. Он повел ее в очень отдаленную пещеру, людям велел подождать у входа, так что свет факелов лишь слабо проникал туда. Они остались одни в мрачном подземелье, где метались вспугнутые летучие мыши, в полумраке она видела лишь неясные очертания его

лица, но голос Нерона говорил ей о плане перестроить этот Лабиринт в гробницу для них обоих. Мрачное величие этой идеи произвело на нее впечатление. В первый раз она почувствовала, что ее муж не вовсе чужд имени, которое он носил теперь.

С этого дня он не вызывал в ней неприязни. Если раньше ее оскорбляло, что он не приближался к ней как муж, то теперь она была ему за это благодарна. Но больше всего она была ему благодарна за то, что он послужил поводом для ее сближения с Фронтоном.

Фронтон, со своей стороны, любил Марцию и считал себя счастливым, но счастье это не заполняло его целиком. Он питал пристрастие к политике и военному делу, был азартным наблюдателем удивительных, захватывающих и шутовских поступков разных людей, и битва у девятого столба дороги из Самосаты в Эдессу крайне интересовала его как специалиста. Хотя Марция, встревоженная опасностью, которой он без нужды подвергал себя, пыталась удержать его, он все же отправился в Самосату.

Варрон, разумеется, слышал об отношениях между его дочерью и Фронтоном, он был доволен, что Марция нашла себе настоящего друга. Его вдвойне радовало, что это был его друг — Фронтон. Варрон с искренней сердечностью приветствовал Фронтон в Самосате.

— Вас не удивляет, Фронтон, — подошел он к интересовавшей их обоим теме, — та быстрота, с которой наш Нерон возвращает себе прежнюю власть? Небеса явно покровительствуют ему. Он на лету завоевывает сердца.

— Это верно, — согласился Фронтон. — И меня очень интересует: как долго это будет длиться? Сколько времени достаточно казаться императором, чтобы быть им?

— Целый век, — убежденно ответил Варрон. — Когда речь идет о власти — где кончается видимость и начинается сущность? Совершенно безразлично, откуда властитель черпает свет, излучаемый им и ослепляющий массы. Вовсе не всегда хорошо, если свет этот исходит от него самого. Иногда лучше, если его можно извне осветить с нужной стороны. А это Нерон понимает сейчас не хуже, чем двадцать лет назад.

— Вы хотите сказать, — пояснил Фронтон, — что он понятлив и, следовательно, пригоден вам?

— Он всегда был понятлив, — двусмысленно ответил Варрон.

Фронтон признал:

— Во всяком случае, те, кто стоит за ним, отличаются смелостью и ловкостью. Они заслуживают удачи, которая пока не изменяет им.

Варрон от души обрадовался похвальному слову из уст столь сведущего офицера. Он подошел к Фронту, протянул ему руку и сказал не без сердечности:

— Почему же вы не переходите на сторону этого Нерона?

Отправляясь в Самосату, Фронтон надеялся, что ему предложат перейти на сторону Нерона. Его подмывало даже напроситься на такое предложение, он ожидал его с веселым и слегка боязливым любопытством, твердо решившись отклонить его. Теперь же, услышав слова Варрона, он был поражен ими, словно чем-то неожиданным. Его решения как не бывало, он, всегда такой рассудительный и уверенный в себе человек, заколебался, упал в смятение.

Вот перед ним то, к чему он всю жизнь стремился: материал, дающий возможность проверить его теории на практике. Ему нужны были римские солдаты и противник, ему нужна была война или, по меньшей мере, одно сражение. Здесь все это было. Сенатор — умный, смелый, обаятельный, его друг и отец его подруги — предлагал ему все это. Правда, он предлагал ему не римских солдат, а лишь «вспомогательные войска», как их пренебрежительно называли в армии, — части, отряды варваров, лишь слегка разбавленные римскими подразделениями. Но поработать и с этим материалом было большим искушением.

Полковника Фронтон можно было обвинить в чем угодно, только не в трусости. Но он был римский солдат, и некоторые принципы римского солдата вошли в его плоть и кровь. Он был надменен, как все римские офицеры. Он любил Восток, но варвар оставался для него варваром, и он считал недостойным вести варваров против римлян, хотя бы даже политика, которую защищали эти варвары, была полезна для империи, в то время как политика самих римлян была вредна для нее. Как римский солдат, он усвоил также, что неоправданного риска следует избегать. Солдат в походе, если даже не пред-

видится нападения, разбивает укрепленный лагерь и укрывается за валом. Солдату нужна уверенность в завтрашнем дне; право на пенсию, на обеспеченную старость необходимо ему, как воздух.

И вот полковник Фронтон стоит, охваченный колебаниями, борется с самим собой. Перед ним невероятный соблазн — организовать армию, преобразовать ее, заново сформировать, повести в бой; больше ему в жизни такая возможность, конечно, не представится. Но, чтобы получить эту армию, надо пожертвовать уверенностью в завтрашнем дне, гарантией, созданной трудом всей жизни. Вперед влекло его страстное желание наконец-то проверить свои теории, оправдать их перед всем миром, назад отбрасывал неподвластный разуму инстинкт, стремление сохранить завоеванные права.

Варрон видел, какая буря поднялась в душе его собеседника. То, что Фронтон так боролся с собой, придавало еще большую ценность его дружбе. Сенатор настойчиво уговаривал его:

— Вы отлично знаете наши шансы и степень нашего риска. Мы располагаем сейчас армией в тридцать пять тысяч человек, из них пять тысяч римлян. Материал этот вам хорошо знаком. Он не из лучших, в него входят контингенты из вашего Четырнадцатого и из Пятого, но плохим его тоже не назовешь. Три тысячи кавалеристов нашего Филиппа — это отборные войска. Возьмите на себя верховное командование этой армией, Фронтон. У Веспасиана, когда он начал войну с Вителлием, шапсов было не больше. А имя Веспасиана не имело ведь такой притягательной силы, как имя Нерона.

Фронтон уклонился от прямого ответа.

— Чего вы хотите от меня? — возразил он. — Я — «кабинетный» офицер, я далеко не популярен.

— Разумеется, вы слишком умны, — ответил Варрон, — чтобы быть популярным. Но с меня достаточно, если будет популярен мой император. Полководец мне нужен не популярный, а понимающий свое дело. Возьмите на себя командование, мой Фронтон. Мы оба любим наш Восток. Вы — не меньше меня. Пойдемте вместе, полковник Фронтон. Скажите: да.

С лица Варрона на Фронтон смотрели глаза Марции. Если он откажется, Варрону не останется ничего иного, как предложить командование Требонию, любим-

цу армии. Неужели же самому отдать в руки человека, которого он не выносит, столь горячо желанный пост? Искушение терзало его. Еще мгновение — и он протянул бы руку Варрону и сказал бы: да, да, да. Но точно путами связали его глубоко укоренившийся страх потерять обеспечение, солдатское обостренное чутье к опасности. Он скрылся за своим валом.

— Благодарю вас, мой Варрон, — ответил он. — Не считите это за пустые слова, если я скажу вам, что в вашем доверии я усматриваю столь ценное для меня признание и что мне очень тяжело отказаться от вашего предложения. Но, видите ли, я прежде всего солдат. Мне нужен пятьдесят один процент уверенности в завтрашнем дне. Я люблю и уважаю вас, ваша политика и ваше мужество увлекают меня. Но я не пожертвую ради вас моей уверенностью. Большого, чем доброжелательный нейтралитет, я обещать вам не могу.

— Очень жаль, Фронтон, — сказал Варрон угасшим голосом, — что вы не присоединяетесь к нам.

— Да, жаль, — ответил Фронтон.

Они сидели в расслабленных позах в одном из прекрасных покоев царского дворца Самосаты, утомленные, и глядели прямо перед собой.

— Вы нанесете визит царю Филиппу? — спросил спустя несколько минут Варрон, с огромным усилием меняя тему разговора.

— При всем желании не могу этого сделать, — ответил Фронтон. — Я римский офицер, и к мятежнику могу относиться только как к врагу. Я явился сюда, чтобы договориться с капитаном Требонием. О нашей с вами встрече никто не должен знать. Я не имел права вас видеть, мой Варрон.

— Боюсь, — печально сказал Варрон, — что, несмотря на всю вашу находчивость, вам придется, поскольку вы к нам не примкнули, вскоре вернуться в Антиохию.

— И не подумаю, — ответил он. — Моя приверженность вашему делу будет подсказывать мне все новые и новые доводы в пользу моего пребывания в Эдессе. Пока сохранится хотя бы искорка надежды на торжество вашего дела, я вас не покину. Я вам друг, Варрон. Верьте мне, прошу вас.

— Спасибо, — откликнулся Варрон.

Оба перевидали на своем веку много людей и много

судеб и привыкли не верить словам — ни чужим, ни даже своим собственным, но на этот раз и Варрон и Фронтон чувствовали искренность собеседника.

— Кому же мне поручить командование, если вы отказываетесь принять его? — размышлял вслух Варрон.

— Требонию, разумеется, — сделав над собой усилие, посоветовал Фронтон. — Малый этот мне, пожалуй, еще противнее, чем вам. Кроме того, он меня терпеть не может. И, конечно, получив власть, постарается насолить мне. Но при создавшемся положении он — наиболее подходящая кандидатура. Как офицер, как политик и как друг я советую вам взять Требония.

12. РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ ОБРЕТАЮТ ДРУГ ДРУГА

Несколько дней спустя после этого разговора Нерон с большой пышностью переехал из Эдессы в Самосату. Он освободил царя Филиппа из-под почетного ареста, обнял его, назвал братом. Затем, после длительной беседы с Варроном, приказал первым вызвать к себе для аудиенции Требония.

Популярный капитан провел несколько неприятных дней. Появление Фронтон в Самосате было совершенно некстати. Что нужно было здесь этому изнеженному жеребцу? Он, Требоний, своими руками сотворил императора Нерона, а теперь этот Фронтон, — потому только, что он по рождению принадлежит ко второму привилегированному сословию и носит чин полковника, — выхватит у него из-под носа жирный кусок? За эти несколько дней ожидание перемен и новых бурных событий сделало сухую гарнизонную службу окончательно невыносимой для Требония. В нем вновь проснулась юношеская необузданная жажда больших, опасных приключений. Он мечтал пронести орлов Нерона далеко на Восток, а может быть, и на Запад, если прикажет Нерон, этот Александр наыворот. Но в чине младшего офицера он в это дело не полезет, он хочет, чтобы его поставили на подобающую высоту, хочет быть первым, вождем. И он знает, что все это не бред, что единственный соперник, который может быть опасен, — это Фронтон. Правда, его несколько успокоил визит Фронтон; тот, видимо, считал себя офицером Тита, и только. Но

это может быть уловкой. Ведь Требоний тоже еще не высказался ясно. Как только Фронтон ушел от него, он на минуту подумал — сейчас же открыто перейти на сторону Нерона и без дальних проволочек взять да арестовать этого белоручку, этого полковника, как врага императора, как лазутчика, подосланного узурпатором Титом. Но в следующую минуту снова побеждает дисциплина, невольная почтительность капитана к образованному, уверенному в своем праве на власть начальнику; Требоний не отваживается действовать против Фронтонa так грубо и прямолинейно.

То, что Нерон приказал вызвать к себе Требония первым, польстило, после пережитых сомнений и тревог, его самолюбию. Он понял: ему готовы предоставить то, на что он вправе претендовать. На смену неуверенности мгновенно пришли высокомерие и наглость. Прекрасно, он готов поладить с человеком из Эдессы. Но он знает себе цену и даст понять этому Нерону, что он, знаменитый капитан Требоний, — великий воин, а тот, несмотря на весь свой пурпур, всего лишь раб Теренций.

Он явился во всем блеске своих многочисленных наград, шумный и великолепный. Нерон сидел в кресле, когда Требоний со звоном и бряцанием вошел в покой. Кресло было самое обыкновенное, а Нерон, несмотря на очень широкую пурпурную кайму — знак высшей власти, — одет был с подчеркнутой скромностью, и все-таки это был он — спокойный, надменный, слегка скупающий, и произвел он на вошедшего с такой помпой Требония весьма величественное впечатление. Хотя кресло было ничем не примечательное, но он не сидел в нем, он восседал, словно на троне, и Требоний был глубоко поражен видом и осанкой этого человека. Императорские почести, которые воздал ему Требоний, не были пустым жестом. Выросший в казарме и в лагерях, капитан был поражен уверенностью, с какой носил сидящий в кресле человек атрибуты власти, — и, солдат до мозга костей, он автоматически повиновался этой власти. При всем том он, конечно, сознавал, что человек этот не подлинный Нерон, но как раз то, что он им не был и все же так величаво сидел в этом кресле, импонировало ему. Восседавший, словно на троне, человек вызывал в нем солдатскую готовность повиноваться, восхищение и ка-

кое-то чувство воровского сговора; сообщничества, добровольного подчинения разбойника своему главарю.

Восседавший на троне тотчас же учуял, что явился истинный друг и почитатель. Горшечник Теренций, будучи маленьким человеком, всегда тянулся к вышестоящим, но свободно чувствовал себя только с равными. И он мгновенно почувствовал к капитану Требонию симпатию, влечение ничтожества к ничтожеству. Этот Нерон, этот император, которого чернь всюду встречала ликованием, ощутил что-то родственное в любимце армии, в популярном капитане Требонии. Он был благодарен Варрону за то, что тот остановил выбор именно на этом человеке, предназначив его на пост главного командующего.

Требоний решил было держать себя с Теренцием запанибрата, дать ему понять, что, соглашаясь поддержать его, он оказывает ему благодеяние. Но человек, сидевший напротив него и время от времени свысока и со скужающим видом взглядывавший на него сквозь свой смарагд, — человек этот не был горшечник Теренций. И когда этот человек объявил ему, что производит его в генералы и вручает ему высшее командование над своими войсками, Требоний почувствовал себя вознесенным на такую высоту, так незаслуженно облагодетельствованным, точно подлинный Нерон, во всемогуществе своей власти, вверяет ему свои легионы. Глубокой, блаженной преданностью наполняло его сознание, что он призван завоевать для этого человека власть и положить эту власть к его ногам. Фигура властелина, сидевшего в кресле и свысока, с немного скужающим видом оглядывавшего его сквозь смарагд, так незабываемо запечатлелась в душе Требония, как самые яркие образы и переживания его юности.

Минуты, когда он приводил своих солдат к присяге этому Нерону и отдал приказ заменить изображения Тита на знаменах и под орлами изображениями Нерона, стали самыми возвышенными в его жизни. Хотя ему как верховному командующему не было в том нужды, но он дал обет богам: не щадя жизни первым взобраться на стену первого города, который он будет брать, и водрузить боевое знамя с изображением Нерона, сняв себе за это награду — Стенной венец.

13. БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Стража у входа в Библиотечный зал, служивший Нерону залом совещаний, торжественно взяла на караул и пропустила Кнопса. Кнопс, бывший раб, ныне — государственный секретарь, увидел, к своему огорчению, что он явился первым. Это проклятое усердие вьелось ему в плоть и кровь со времен его рабства. Остальные — знатные господа — не торопились.

Юркий, подвижной, он не мог усидеть на месте. Он стал осматривать шкафы, где хранились книги и свитки, ощупывал ценное дерево, металл статуй. Машинально оценивал и то и другое. Досада постепенно улетучивалась. Он чувствовал себя здесь, во дворце Филиппа, как дома. Разве у него нет всех оснований быть довольным?

О, он высоко взлетел, раб Кнопс. Он расточал самому себе похвалы за то, что так упорно верил в возвышение Теренция и не уходил от хозяина. Он и впредь его не покинет. Он искренне любит своего Нерона, хотя бы уже за то, что Нерон дал ему возможность развернуться. И еще: он считает Теренция глупым, и любовь его подогревается чувством собственного превосходства.

Он, Кнопс, — голова, и притом мытая в семи водах. Человек менее хитрый, знай он так много, как Кнопс, отправился бы в Антиохию и дал бы показания против Нерона-Теренция. За это губернатор Цейоний признал бы его свободным и назначил в награду солидную сумму. Человек, менее хитрый, сказал бы себе, что лучше быть скромным вольноотпущенником под властью Тита, чем государственным секретарем при Нероне. В глубине души Кнопс убежден, что безрассудно смелая авантюра, в которую пустился мастер горшечного цеха Теренций, дерзнувший объявить себя римским императором, не может хорошо кончиться. Но так как Кнопс — голова, он метит еще этажом выше. Тот же внутренний голос, который удерживал его около Теренция даже в те времена, когда дела обстояли очень плачевно, говорит ему, что его Нерон поднимется гораздо выше и что из него можно будет выжать еще гораздо больше. Поэтому Кнопс не выходит из игры и настолько увлечен ею, что порой даже начинает сомневаться, кто же все-таки его хозяин — Нерон или Теренций. Но в сокровенных глубинах своего сознания Кнопс всегда начеку, он все

время принохивается. У него отличный нюх. Он сразу учует приближение конца и сумеет заблаговременно унести ноги.

Он расхаживает по красивому залу, вынимает из шкафов то свиток, то книгу, у него хорошо на душе. Он думает о своем приятеле Горионе, ухмыляется добродушно и с сознанием превосходства. Этому-то он показал себя! Поговорку о трех «к» он опроверг основательно. Но он по-прежнему расположен к Гориону. За высокую мзду он переписал на его имя фабрику на Красной улице и предоставил ему еще и другие источники дохода. Малютке Иалте исполнилось четырнадцать лет, она в расцвете своей юности. Возможно, он на ней и в самом деле женится, как обещал Гориону. Он так высоко стоит теперь, что может себе это позволить. Во всяком случае, если он как-нибудь улучит свободный часок, он переспит с девчонкой. Старик Горион и за это должен быть ему благодарен.

Эти приятные размышления прервал приход капитана Требония. На Требонии было одеяние с пурпурной полосой и красные башмаки сенатора с черным ремнем и высокой подметкой. Он явно чувствовал себя еще пеловко в новом облачении. Кнопс называл его про себя вороной в павлиньих перьях. Требоний чувствовал, что Кнопс в глубине души относится к нему с пренебрежением. Этот нахал с первой минуты одновременно и отталкивал и привлекал его. Он решил установить с Кнопсом приятельские отношения, так как тот, видимо, имел влияние на императора, но при этом быть постоянно начеку.

Сверкая великолепием одежд, Требоний широко расселся в кресле, Кнопс, худой и юркий, бегал взад и вперед. Третьего дня вечером они вместе здорово кутнули и наблудили в кабачке «Большой журавль». Они прекрасно спелись там. В ожидании прихода остальных Кнопс расписывал, как они с Требонием, взяв Антиохию, перевернут вверх дном аристократическое предместье Дафне. Требоний с удовольствием представлял себе, какие забавные штуки они будут откалывать, измываясь над Цейонием и его пленными приверженцами; Кнопс умелым штрихом довершал картины, нарисованные разнужданным воображением капитана.

— Вы действительно голова, мой Кнопс, — признавал

Требоний и раскатисто смеялся своим громким жирным смехом. Однако он коротко произносил звук «о», и это отравило Кнопсу все удовольствие от комплимента.

В эту минуту вошли царь Филипп и Варрон, и раздражение Кнопса быстро исчезло, — он почувствовал себя заодно с Требонием и против вошедших. За несколько дней эти четыре человека, составлявшие ближайшее окружение Нерона, успели разделиться на две партии. С одной стороны, знатные господа — сенатор Варрон и царь Филипп: они были представителями той либеральной, космополитически настроенной аристократии, которая всегда была сторонницей Нерона. Требоний же и Кнопс мнили себя представителями народа, тех миллионов, которые и прежде и теперь рукоплескали императору за то, что, при всем своем блеске и императорском величии, он не гнушался ими; за то, что он столь великолепен и бесстыден в своем комедиантстве и своей преступности, что он столь широк и трогателен, что он не брезгал спускаться к толпе и показывать ей свое искусство; за то, что он столь беспощадно посылал на казнь тысячи людей, но предпочитал казнить родовитых и знатных, а не простой народ; за то, наконец, что он был последний из дома великого Юлия Цезаря.

Царь Филипп и Варрон были одеты просто и скромно, их платье отвечало благородству Библиотечного зала. Сам Кнопс также одет был не броско. Ему было досадно, что Требоний вырядился, как настоящий выскочка, но, несмотря на легкую неприязнь, он именно поэтому чувствовал себя в союзе с ним.

Вошел Теренций. Несколько развинченной походкой скучающего Нерона он подошел к ожидавшим, на ходу без церемоний обнял каждого, открыл заседание, предложил приступить, без долгих проволочек, к делу. Он быстро и великолепно научился всюду быть первым, с корректной пресыщенностью человека, с юности привыкшего всюду первенствовать. Но Варрон и Кнопс очень хорошо знали, что их Нерон жаждет поклонения, как иссохшее поле дождя. Варрона позабавило, как Нерон пригласил его доложить о положении дел, — дружески вежливо, но с легкой ноткой властности в голосе. Однако нельзя было не признать — Теренций нашел правильный тон.

Варрон начал свой доклад. Пока все идет хорошо.

Кассы полны. Большие доходы приносят императорские владения, месопотамские царьки не скупаются. Торговля, правда, страдает, — римские таможенные чиновники строят всякие каверзы. Кое-кто из крупных купцов подумывает уже вернуть транспорты со своими товарами.

Нерон слушал вежливо, но почти безучастно: именно так, по его сведениям, выслушивал доклады своих министров Нерон. Подперев голову рукой, он сказал небрежно:

— Благодарю вас, мой Варрон. Какой же генеральной линии вы рекомендуете нам держаться в нашей политике на ближайшие недели?

Варрон ответил:

— До тех пор пока Великий царь Артабан не окажет нам помощи людьми и деньгами, мне кажется, что правильно будет избегать всяких провокаций, как во внешней, так и во внутренней политике. Пока мы не подадим повода, Цейоний не осмелится пойти против нас. Поэтому я настоятельно рекомендовал бы, чтобы наша армия ограничилась удержанием уже завоеванных городов и не предпринимала, в опьянении достигнутыми успехами, новых походов. Что касается нашей внутренней политики, то я рекомендую не сеять более беспокойства среди населения. С тех пор как император Нерон вновь взял власть в свои руки, имели место некоторые эксцессы. Противников императора истязали, убивали, расхищали их имущество. Пусть прошлое остается прошлым, но в будущем не следует по произволу расправляться с врагами императора, их надо предавать суду. Нерон всегда был милостив и справедлив, он останется таким и впредь.

Последние слова Варрона относились, очевидно, главным образом к Кнопсу. В упоении первыми победами Кнопс люто разделался с личными врагами и конкурентами — одних подверг пыткам, других казнил и у очень многих конфисковал имущество. Как человек неглупый, он и сам понимал, что слишком далеко зашел, и решил впредь действовать умеренней. Но он не желал, чтобы умеренность эту ему диктовал Варрон, и ответил сенатору довольно резко. Сперва он пустился в принципиальные рассуждения о власти, ее захвате и утверждении. Вернейшее средство удержать власть — это натравить благонамеренную часть населения на злона-

меренные элементы. Сторонников императора следует поддерживать всеми средствами, а врагов — беспощадно истреблять.

— Да, — заявил он, — я раздавил много врагов и горжусь этим, несмотря на возражения сиятельного сенатора Варрона. В случае надобности я бы и впредь не отказывался от террора. Показывая народу императорскую власть во всем ее могуществе, мы отвлекаем народ от тех низменных хозяйственных интересов, о которых упоминал сиятельный сенатор.

На лице царя Филиппа появилась гримаса страдания, точно слова Кнопса причиняли ему физическую боль. Он сказал:

— Здесь, на Востоке, у императора мало недругов, и они так слабы, что нет надобности запугивать их террором. Мне кажется, что лучшим способом укрепить власть императора Нерона в этой части света будет дальнейшее развитие и распространение его идеи, идеи слияния Востока и Запада.

Говоря, царь Филипп ни разу не взглянул на Кнопса. Высоко подняв брови, он смотрел в пространство с невероятной надменностью.

Требоний, которого очень обидели слова Варрона о необходимости держаться новой линии в военной политике, взглянул на царя Филиппа наглыми, почти лишенными ресниц глазами.

— Я присоединяюсь к мнению государственного секретаря, — проквашал он. — Я считаю, что выжидать — это далеко не лучший способ укрепления императорской власти. Власть — значит наступление. Власть — это значит брать города, убивать, грабить. Фасции — пук прутьев и секира — вот что такое власть. Ворваться в римскую Сирию, захватить Антиохию. Если мы не будем медлить, если двинемся вперед, если завтра же начнем поход — тогда, может быть, нам это и удастся. И вы увидите, милостивые государи, как быстро добрый старый царь Артабан забудет свои колебания и окажет нам поддержку.

Он говорил тем голосом, который — это показал опыт — производил впечатление на его солдат. Бляхи и цепочки на нем звенели, лицо излучало силу и самоуверенность. Физиономия и поза Кнопса выражали восторженное одобрение, даже Нерон слушал Требония с яв-

ным удовольствием. Но эти элегантные господа — Варрон и царь Филипп — сидели с совершенно безучастным видом, Варрон рылся в бумагах, Филипп разглядывал свои длинные пальцы. Наступило тягостное молчание.

Нерон понял, что должен вмешаться. Самая суть дела его мало занимала. Вся эта правительственная суэта не интересовала его, ему важно было только представлять. Верный инстинкт подсказал ему, как в данном случае следует поступить. Он должен был сказать что-нибудь значительное, не становясь, однако, ни на ту, ни на другую сторону. И вот, невзирая на присутствие Варрона, он медленно поднес к глазу смарагд и оглядел всех четырех своих советников одного за другим.

— Вы все правы, дорогие и верные друзья, — разрешил он наконец тягостную паузу и процитировал Еврипида: — «Вовремя проявить силу и вовремя — справедливость, — вот в чем достоинство властителя...»

Правда, еще не кончив цитаты, он уже пожалел о том, что именно эти строки пришли ему на память, — в них четыре раза встречалась «тэта». Но зато слова эти служили хорошим отправным пунктом для дальнейшей его речи.

— Вы, мой Требоний, — продолжал Нерон, — и вы, мой Кнопс, в нужную минуту проявили силу. Если же сенатор Варрон и царь Филипп, со своей стороны, утверждают, что теперь своевременно будет проявить милосердие и справедливость, то и они правы. Я благодарю вас всех.

Так, вероятно, поступил бы и подлинный Нерон. Тот, однажды высказавшись за ту или иную линию в политике, предоставлял своим советникам управляться самим и довольствовался тем, что натравливал их друг на друга и не давал затухнуть их вражде. У него всегда все были правы. Так же точно поступал теперь и Теренций, причем делал это с импонирующей естественностью.

Варрон, поддерживаемый царем Филиппом, детально изложил свой план дальнейших действий. Император, советовал он, пусть пока останется гостем царя Филиппа в своей теперешней резиденции — Самосате. Требоний ни под каким видом не должен поддаваться соблазну похода против римской Сирии — его задача состоит в организации армии и удержании нынешних границ. Он

же, Варрон, находясь в Эдессе, постарается возможно скорее довести до конца переговоры с Артабаном. Кнопсу он предлагает, в контакте с ним и с верховным жрецом Шарбилем, взять на себя управление финансами.

Кнопс и Требоний с досадой увидели неприкрытое стремление благородных господ оттеснить их. Нерон придал лицу обычное, скучающее выражение; он, видимо, не все слышал, что говорилось.

— Очень хорошо, мой Варрон. Великолечно. Прикажете прислать мне бумаги на подпись. На нашем сегодняшнем заседании, — сказал он в заключение, — мы сильно продвинулись вперед. Мы выработали генеральную линию. — Он оживился. — Никогда не теряйте, дорогие и преданные друзья, этой линии из виду. Мы стараемся, поскольку возможно будет, проявлять одновременно и силу и справедливость. Если же это не удастся, будем проявлять попеременно то справедливость, то силу. Я надеюсь, что не возникнет разногласий, в какой момент нужно будет проявить одно или другое. Если, однако, они возникнут, то боги помогут мне решить, что в тот или другой момент является правильным.

С этими словами он отпустил своих советников. Всех четырех смутило и встревожило искусство, с которым этот Нерон признал всех и правыми и неправыми.

14. КАК ФАБРИКУЮТСЯ ИМПЕРАТОРЫ

Умный парфянский царь Артабан медлил признать Нерона. Искусно пользовался он в своих письмах цветистыми восточными выражениями, чтобы избежать какого бы то ни было однозначного ответа. Агенты Маллука и Варрона сидели в прихожих парфянских министров. Но самое большее, на что согласился Артабан, была посылка каравана с почетными подарками, коврами и пряностями. Назначение каравана было определено весьма двусмысленно: в дар человеку, именующему себя императором Нероном. Это можно было толковать и как признание и как непризнание. А для дела Нерона было крайне важно, чтобы царь решился окончательно. Если он не выступит немедленно в пользу Нерона, держаться дольше не будет возможности ни в военном, ни в финансовом отношении. Правда, весь Восток с облегчением

вздохнул, увидев снова орлов императора, но подняться, взлететь эти орлы смогут только в том случае, если Артабан будет их кормить.

Агенты Варрона, подгоняемые им, работали лихорадочно. И тем не менее парфянские министры были по-прежнему неповоротливы, обстоятельны, до отчаяния медлительны.

Наконец через два месяца Варрон получил вразумительный ответ. «Царь царей, — сообщал ему великий канцлер и маршал Артабана, — готов дать своему другу, Римскому императору, тридцать тысяч человек вспомогательных войск, в том числе шесть тысяч тяжеловооруженных всадников из своего отборного войска. Он предоставляет ему также заем в двести миллионов сестерциев. Но лишь при том условии, если император Нерон будет признан населением не только Междуречья, но и римской Сирии. Если достаточное число укрепленных городов на территории Римской империи, на том берегу Евфрата, перейдет на сторону Нерона и он будет крепко держать их в руках, Артабан пошлет ему деньги и войска».

Когда Варрон в первый раз пробежал письмо, в котором сообщалось об этих условиях царя, он просиял: они показались ему умеренными, разумными. Но чем больше о них думал, тем труднее представлялось ему их осуществление. Можно было, конечно, как предлагал безрассудно смелый Требоний, вторгнуться в римскую Сирию и взять несколько пограничных городов. Но это было бы безумием. В ответ на такую провокацию Цейоний, с одобрения Палатина, может с полным основанием продвинуться за Евфрат с двумя или даже тремя легионами и разбить наголову Нерона, не рискуя вызвать войну с Парфянским царством. Ведь если римляне будут спровоцированы и выступят не как нападающие, а как защитники своей страны, Артабан не в состоянии будет объединить своих парфян для войны против них. Нет, это не так просто, как представляет себе какой-нибудь Требоний. Надо, чтобы римские города сами собой, добровольно перешли к Нерону. И таков, очевидно, смысл условия, поставленного хитрым Артабаном.

И вот несколько пограничных римских городов подверглись обработке с помощью денег. Они были хорошо подготовлены, но медлили и медлили. Не находилось

удобного предлога отпасть от правительства Антиохии, а Цейоний был достаточно осторожен, чтобы такого предлога не дать. Варрон искал, искал до изнурения. Как подтолкнуть эти города? Как заставить их сделать решительный шаг, взбунтоваться против римского губернатора? Варрон сумел преподнести своему Нерону всю страну между Евфратом и Тигром и Коммагену в придачу. Неужели всему этому великолепному предприятию суждено рухнуть из-за ничтожной до смешного задачи? Неужели нет средств побудить к переходу несколько пограничных римских городов? Он искал, проводил бессонные ночи, мучился. Проходило драгоценное время. Он не находил выхода.

Явился Кнопс. Его юркие глаза скользнули по немного измятому лицу сенатора. Наслаждался ли Кнопс его беспомощностью? Во всяком случае, он не дал этого заметить.

— Условия парфян кажутся умеренными, но они жестки, — сказал он деловитым тоном.

— Правильно, мой мальчик, — насмешливо отозвался Варрон.

— Надо подумать, — констатировал Кнопс.

— Ну, что ж, подумайте.

— Я уже сделал это, — ответил Кнопс. — У меня есть идея.

— Я слушаю, — вежливо и устало сказал Варрон и улыбнулся скептически, безнадежно.

Эта скептическая улыбка недолго оставалась на его губах. То, что измыслил этот сумасброд Кнопс, было подло и дерзко, но при всей своей фантастичности логично и обещало успех. Эти простолюдины обладают плодотворной фантазией, отметил про себя Варрон, с отвращением и удивлением слушая болтовню Кнопса.

План Кнопса был таков: чтобы побудить окраинное население римской Сирии отложиться от правительства Цейония и перейти на сторону законного императора Нерона, нужен был только внешний, каждому понятный повод, ибо внутренне население было к этому готово. Следовательно, дело сводится к тому, чтобы сделать для всех ясным и очевидным один из реально существующих поводов, а это не так уж трудно. Разве, например, бог, называвший себя Христом, не имел на сирийской границе многочисленных последователей, так называемых

христиан, которые фанатически ненавидели законного императора Нерона? Разве эти христиане из одной лишь преступной ненависти и фанатизма не подожгли шестнадцать лет тому назад город Рим? По всей вероятности, они и теперь носятся с такими же дерзкими планами, поддерживаемые правительством Цейлония, которое стремится расправиться с верным Нерону населением Сирии. Тот, кто знает настроения этих христиан, кто имеет представление о злобной жажде мести, обуревающей узурпатора Тита и его чиновников, может легко понять, куда направлены преступные устремления этих христиан и тех, кто их подстрекает. Например, весьма вероятно, что эти фанатики могут преступно открыть или как-нибудь повредить один из шлюзов на реке Евфрат или на одном из его каналов с целью затопить и разрушить какой-нибудь из окраинных римско-сирийских городов, тайно уже склоняющихся на сторону Нерона. Можно почти с полной уверенностью утверждать, что в том случае, если такое преступление действительно будет совершено, все пограничное население, как один человек, восстанет против правительства Антиохии. Разве это не так? И Нерон мог бы тогда, опираясь на туземное население, по крайней мере, несколько месяцев держаться в перешедших на его сторону окраинных городах. Условия Артабана были бы выполнены, и мы получили бы обещанные войска и обещанные деньги.

Варрон неподвижно устался на Кнопса, который непринужденно болтал, будто речь шла о подготовке увеселительной прогулки. Этот тип прав. То, что он изложил, было действительно идеей, находкой! Да, план этот в его ошеломляющей простоте был столь же великолепен, сколь и гнусен. Он сулил успех. Он должен был вызвать в народе требуемые сопоставления. Варрону не нужно было это долго растолковывать.

До сих пор еще не удалось установить истинных виновников поджога Рима шестнадцать лет тому назад. Варрон, имея на то веские данные, предполагал, что это сделали перекупщики земельных участков. Враждебная Нерону республиканская аристократическая партия утверждала, что устроил поджог сам Нерон исключительно из страсти чинить зло и из желания насладиться грандиозным зрелищем. Мнение народа разделилось.

Многие считали виновником пожара Нерона; но даже у них размах самого преступления вызвал скорее восторг, чем ненависть. Большинство населения думало, однако, что Рим действительно подожгли христиане, которых Нерон впоследствии привлек к суду, потому что нужно же было на кого-нибудь свалить вину. Если теперь благодаря преступным образом вызванному наводнению погибнет один из римско-сирийских городов, массы, — тут Кнопс прав, — сразу свяжут это с Нероном. Будут говорить, что тут явно не обошлось без Нерона; вера, что Нерон жив, Нерон здесь, превратится в убеждение. Без труда можно будет внушить черни, которой чужда всякая логика, что фанатики-христиане, подстрекаемые чиновниками Тита, так же преступно, как в свое время подожгли Рим, устроили теперь наводнение. Конечно, допустить, чтобы Цейоний из одной ненависти к сирийцам пошел на разрушение города на своей же территории, было совершенно нелепо. Но именно благодаря своей нелепости версия имела шансы завоевать массы, которые будут рукоплескать Нерону, когда он вторично обвинит христиан в преступлении и раздавит их.

«Гнусный план, — признавал про себя Варрон, — но обдуман он с хорошим расчетом; этот малый знает душу черни. Какая плодотворная фантазия у этих простолудинов!» — подумал он еще раз. А вслух сказал:

— Не чересчур ли это грубо состряпано, милейший Кнопс?

— Конечно, грубо, мой Варрон, — ответил Кнопс.

Варрон слегка вздрогнул — даже этот позволяет себе в разговоре с ним фамильярное обращение «мой Варрон».

Кнопс между тем продолжал:

— Но в том-то и вся суть, что мы чересчур грубо это преподнесем. Чем грубее ложь, тем скорее в нее поверят, — заключил он убежденно.

Варрон втайне согласился с ним.

— А где, мой Кнопс, — спросил он, и это «мой Кнопс» наполнило Кнопса огромной гордостью, — можно было бы успешнее всего устроить такое наводнение?

— Где вам угодно, — с готовностью ответил Кнопс. — Повсюду есть каналы, шлюзы и плотины, повсюду есть друзья Нерона, чиновники Тита, христиане, части Че-

тырнадцатого легиона, повсюду сирийские святыни, гибель которых особенно ожесточит население, повсюду колеса и рычаги, регулирующие воды Евфрата и его каналов, повсюду энтузиазм, повсюду неумение здраво мыслить, и повсюду есть руки, которые как угодно повернут колеса и рычаги плотин. Возьмите Бирту или Апамею, Европос или Дагусу. Каждый из этих городов, если часть его погибнет от вызванного злоумышленниками наводнения, возмутится против преступников. И кто бы после такого наводнения ни появился, кто бы, — разумеется, вовремя, — ни возник на горизонте, — любой будет встречен как спаситель. А если этот спаситель будет называть себя императором Нероном... — Он не закончил, удовольствовался лишь сдержанной, самоуверенной, хитрой улыбочкой.

Остальным советникам императора план Кнопса, как и Варрону, сразу же понравился. Предстоящее наводнение на Евфрате заливало сердце Требония волнами радости. У царя Филиппа, правда, когда он услышал об этом плане, лицо омрачилось. А царь Маллук вдруг решил, что он слишком долго занимался государственными делами и может себе позволить одно из своих обычных путешествий в глубь пустыни; без шума, незаметно понесся он верхом, в сопровождении многочисленной свиты, туда, где ждало его уединение. Больше всего колебался верховный жрец Шарбиля. Он питал достаточно обоснованное подозрение, что пресловутые христиане изберут для своих преступных целей один из храмов богини Тараты; они даже, по-видимому, наметили себе древнюю святыню города Апамеи. Совесть Шарбиля восставала. Храм Тараты в Апамее воздвигнут был у древнейшего пруда с рыбами богини, у большой, давно отделившейся от Евфрата заводи. Поэтому он расположен был в глубокой ложбине, и любое наводнение затопило бы его окончательно. Можно ли оставить на произвол судьбы такой ценный храм, не оградив его от опасности? Но Шарбиля сказал себе: если заглянуть вдаль, то богине все это может пойти только на пользу, ибо при Нероне ее будут почитать совсем иначе, чем при Тите. Шарбиля был, кроме того, любопытен и очень стар, и никогда в жизни ему не случалось увидеть еще такое зрелище, как затопление храма Тараты. К тому же, — и это, пожалуй, было главным, — ему на-

шептывал некий голос, который он старался не допустить даже до сознания: если прославленная святыня в Апаmee будет надолго выведена из строя, то увеличится поток паломников к его храму в Эдессе. Издавна уже верховному жрецу Шарбилю приписывали дар пророчества. И вот теперь он принялся по движению священных рыб и по внутренностям жертвенных животных предсказывать суровые, мрачные времена, говорить о каких-то темных высоких водах, которые нанесут его богине глубокое оскорбление...

Тем временем Требоний и Кнопс рьяно взялись за выполнение плана. Требоний готовил его техническую сторону, Кнопс — психологическую: голос народа! Требоний, едва ли не так же, как и сам Кнопс, был горд тем, что в момент, когда эти благородные господа зашли в туник и не находили выхода, именно Кнопс предложил свою спасительную идею. День и ночь мечтал капитан о том, как он первым поднимется на стены города, поглощаемого водами Евфрата, и добудет себе Стеной венец — отличие, которого ему как раз не хватает.

Императору лишь туманно намекали на то, что популярность его вскоре очень сильно поднимется, что в ближайшем будущем предстоит счастливый поворот событий. Достаточно будет устроить так, чтобы он вовремя показался в утопающем городе. Если он ни о чем не будет знать, тем более впечатляющим будет его гнев против виновных в столь низком злодеянии.

15. ВЕЛИКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Территория города Апамеи расположена была по обоим берегам реки Евфрата. На правом берегу по пологому склону холма поднималась Селевкия, более новая часть города, увенчанная цитаделью. На левом, низменном берегу разместился старый город. Здесь был тот самый пруд с рыбами Тараты, который сыграл роль в колебаниях Шарбиля; это была старица с солоноватой водой, над которой и стояло древнее, чтимое святилище богини. Старый и новый город соединялись мостом. Население старого города состояло исключительно из сирийцев; в новом городе, Селевкии, большинство насе-

ления было тоже сирийское; безопасность города охранял сильный римский гарнизон.

Выше Апамеи от Евфрата отходил Канал Горбата, снабжавший водой всю округу. Уровень реки и канала исстари регулировался плотинами и шлюзами, построенными, по преданию, легендарной царицей Семирамидой; теперь они назывались Плотинами Горбата и слыли техническим чудом. Опытные сторожа обслуживали хитрый и вместе с тем очень простой механизм этих плотин. Никто не помнил, чтобы здесь когда-либо случались более или менее серьезные повреждения.

Тем сильнее был ужас жителей старого города Апамеи, когда однажды в апрельскую ночь Евфрат внезапно вломился в их улицы и жилища и затопил все мгновенным мощным разливом. Раньше, чем можно было поверить в это, вся территория старого города превратилась в одно желтое, тихо плещущее озеро. Отделенный с незапамятных времен от реки водоем с рыбами Тараты соединился с нею вновь, священные рыбы уплыли, вся нижняя часть храма исчезла под клокочущими водами. По озеру, которое было раньше старым городом, плыли между наспех снаряженными лодками домашняя утварь, скот, течением уже уносило первые трупы. Над тихо плещущей водой раздавались душераздирающие вопли застигнутых врасплох людей, рев и мычание скота. Нагие и полуодетые люди плыли на надутых мехах по улицам, по которым еще вчера двигались носилки, повозки, всадники.

Никто не постигал, как могла так внезапно разразиться катастрофа. Лишь через несколько часов где-то на берегу ниже по Евфрату нашли одного из сторожей Плотины Горбата, связанного и с кляпом во рту. Когда полумертвого от мук и ужаса человека развязали, он рассказал: один из его помощников вместе с кучкой неизвестных внезапно напал на него; его повалили, связали и бросили в реку; что было дальше, он не знает, это чудо и неслыханная милость богов, что его живым прибило к берегу и что он спасся. Имя помощника, напавшего на него, а затем, очевидно, в безумии или по злему умыслу обрушившего воды Евфрата на Апамею, — Симлай. Он христианин.

С той же быстротой, с какой несколько часов назад воды Евфрата разлились по низменному старому городу,

разислалась по расположенной на холме Селевкии весть, что потоп этот — деяние преступных рук. Уже и христианин Симлай признался, что его нанял для этой цели писарь Аристон, служащий римской администрации. Население города охватила бешеная злоба. Еще до полудня стало определенно известно, что христиане, эти отбросы человечества, подкупленные преступным правительством узурпатора Тита, взялись разрушить святыню богини Сирии и ее прекрасный город, так как сирийцы замыслили отказать в повиновении Титу и вернуться к своему законному императору Нерону.

О том, что христиане — бунтари, знал весь свет. Они не признавали собственности и семьи, от них можно было ждать любого злодеяния. Жители Апамеи обрушились на них, вывалились в их дома, убивали, громили их убогий скарб.

Римские солдаты явно сочувствовали населению. Всеми силами старались они помочь тем, кому угрожала опасность. Перевозили людей на лодках и плотах на правый, высокий берег, спасали, что можно было спасти, из сил выбивались, чтобы восстановить мост, сорванный в первые минуты наводнения. Солдаты, которым пришлось остаться в крепости — она охраняла правый берег реки, — стояли на сторожевых башнях и бастионах и с любопытством глазели на потоп. Вчера еще их крепость стояла на берегу реки, сегодня она оказалась на берегу широкого озера. Станным было это желтоватое озеро под голубым небом с белыми набухшими весенними облаками. Причудливо торчали из воды верхушки домов. На крышах в важной и комической позе застыли на одной ноге цапли, между желтыми водами и светлым небом носились с криком стаи водяных птиц. По озеру, в котором утонул город Апамея, хлопотливо сновало между крышами все больше и больше лодок и надутых мехов, переполненных спасающимися, грабящими, отчаявшимися и всяким сбродом. Необычайное зрелище представлял собою храм Тараты. Крыша была сорвана, и солдаты могли заглянуть в целлу. Непристойные символы богини, высокие каменные изображения фаллуса почти покрыты были водой, торчали только самые их верхушки. Вода поднялась уже выше голых грудей гигантского бронзового уродливого изваяния богини, стоявшего в полунише, над алтарем; над водой остава-

лась только голова с короной да одна рука, держащая веретено. Тут же плавали куски дерева и всякая священная утварь. Призрачно и грозно высилась над водой голова богини, и когда кто-то из солдат сострил насчет ее рыбьего хвоста, который мог бы ей теперь пригодиться, никто не посмел рассмеяться.

Но кто это плывет сюда, вон оттуда, с севера, на больших лодках? Римское оружие, римские доспехи — это свои! Наконец-то! Да, это они, ребята из других рот Четырнадцатого легиона, тех, что стояли в Эдессе и Самосате. А вот и сам общий любимец, великий капитан Требоний со своими людьми. Тысячу раз солдаты из гарнизона Апаimei спрашивали себя с любопытством, с надеждой, со страхом: явится ли он? Скоро ли он явится? Отважится ли? И что делать, если он явится? Вступить с ним в бой? Или открыть ему ворота?

И вот он здесь. Он явился вместе с великим потопом. Как быстро они проплыли это огромное расстояние! Его саперы сразу же присоединяются к саперам из гарнизона, вместе с ними принимаются за восстановление моста. Понтоны всплывают, появляются веревки, летят в реку меха, в воде протягиваются канаты, они натягиваются, волокут, поднимают. Тут же, смеясь, жестикулируя, стоит Требоний, приказывает, ругается, кричит, подгоняет. Мост — единственный подступ к цитадели.

Как будто все готово. Мост стал длиннее, он изгибается, плывет, шатается, но держится. И вот выезжает вперед толстый, молодцеватый и наглый капитан Требоний, любимец армии, герой; он хочет первым перейти по мосту, массивный, тяжелый, обвешанный оружием, верхом на коне Победителе.

Он скачет без всякого прикрытия впереди всех. Никаких предосторожностей. Небрежно висит сбоку его щит. Из орудий можно было бы без труда разнести в куски его и весь его отряд. Беззащитный капитан пошел бы, конечно, ко дну. Теперь уж и орудий не надо, теперь достаточно стрел, а скоро уж и дротиков довольно будет, чтобы расправиться с ним. Спокойно скачет он по гремящим бревнам над желтыми водами, на его панцире, на сбруе его коня сверкают под светлым весенним небом знаки отличия.

Вот они уж на этом конце моста, перед большими крепостными воротами, преграждающими путь. Что

делать? Есть еще минута — последняя, — еще можно принять решение. Забросать «врага», как предписывает устав, камнями, этими огромными глыбами, которые всегда под рукой? Вылить на него кипящую смолу или масло, которые всегда наготове? Начальник, беспомощный, нерешительный, вместо того чтобы отдать четкий приказ, оглядывается на солдат. Те бурно требуют: открыть ворота, впустить великого капитана!

Но это не входит в планы Требония. Он не желает просто пройти в ворота. Он хочет завоевать город, подняться на его стены. Стоящие на бастионе люди широко раскрывают глаза. Требоний приказывает своим солдатам поднять щиты над головами и сдвинуть их, построить «черепаху». Это адски трудно на шатающемся мосту, это настоящий фокус, мои милые. А теперь — клянусь преисподней и Геркулесом, он вскакивает — кто бы поверил! — на щиты крайнего звена, такой тяжелый, в таком тяжелом снаряжении. Кряхтя, неуклюже, широко расставляя ноги, шагает он по громяющим щитам. Ему подают лестницу. Он приставляет ее к стене. Начинает взбираться.

Наверху солдаты в полной растерянности окружают молодого начальника. Несколько человек берутся за тяжелую каменную глыбу, собираются сбросить ее. Но, взглянув на товарищей, которые машут руками, что-то кричат, рукоплещут великому капитану, они не решаются. Это и впрямь захватывающее зрелище — восхождение капитана на стену. Ступенька за ступенькой. Все шатается — мост, солдаты со своими щитами, вся «черепаху», шатается лестница, — но капитан не падает, он сохраняет равновесие. Смеясь, кряхтя, взбирается он на стену. Бросает боевой клич Четырнадцатого легиона:

— Марс и Четырнадцатый!

Он карабкается выше.

Кладет руку на край стены. Переваливается через парапет. Он здесь!

— Вот и мы, ребята, — говорит он на славном, родном далматинском диалекте, и раскатисто гремит его знаменитый жирный смех. Ни один человек не подумал о том, что эта эффектная выходка была совершенно ненужной: при нынешнем положении вещей Требоний мог войти в крепость через главные ворота, ничем не рискуя. Ведь солдаты встретили его не только не враждебно,

но с ликованием, с таким же ликованием и весь город приветствовал посланца цезаря Нерона, великого солдата и генерала Требония, который так поспешно спустился по реке, чтобы спасти Апамею от дальнейших бедствий. Не дожидаясь приказа, гарнизон сорвал с легионных значков изображения Тита и заменил их изображениями Нерона (их привезли с собой однополчане). Командант крепости поздравил Требония с тем, что он, уже и раньше завоевавший все права, теперь, совершив у всех на глазах такой подвиг, наверняка получит Степной венец. Это была великая минута. В сердцах у всех Требоний навсегда запечатлелся таким, каким он был в тот день: словно восставшим из разлившихся вод, взбирающимся по щитам и приставным лестницам на стену апамейской цитадели, живым воплощением солдатского лозунга: «Живи, рискуя!»

Через три часа в Апамею прибыл государственный секретарь Кнопс. На рыночной площади, не затронутой наводнением Селевкии он произнес речь.

— Время преступлений миновало, — возвестил Кнопс. — Настала великая перемена. Император Нерон сумеет охранить своих верноподданных от злодеев, творимых наемниками узурпатора Тита.

16. ПЕВЕЦ ВЕЛИКОГО ПОТОПА

Под вечер прибыл сам император, встреченный восторженными и бурными криками войск и населения. Наскоро приведя себя в порядок, он вместе с Варроном, Требонием и Кнопсом поднялся на башню цитадели. Башня имела восемь суживающихся кверху ярусов, каждый ярус обведен был каменной стеной. С верхней площадки император окинул взглядом погружающуюся в воду старую часть города. Советники растолковали ему, сколь велик нанесенный ущерб и сколь чудовищно содеянное здесь преступление, указали местонахождение наиболее важных зданий, доложили, какие спасательные меры приняты.

Через некоторое время император отпустил свою свиту. Советники собрались на площадке предпоследнего яруса. Император пожелал остаться один на вершине башни. Он надеется, пояснил он, что вид утопающего

города вдохновит его и он, может быть, дополнит свой роман в стихах «Четыре века» песней о великом потопе, потопе, от которого спасся один только Девкалион.

Так одиноко стоял он на вершине башни. На площадках остальных семи ярусов теснились его придворные и солдаты; у подножия башни толпился со страхом и любопытством народ, с лодок и плотов, плывших по мутным водам, поглотившим старый город, многие тысячи глаз благоговейно и неотрывно смотрели на вершину башни, где стоял он. А он упивался страшным и возвышающим душу зрелищем погруженного в воду города.

Никто не осведомил его, как в действительности произошло это наводнение; но его внутренний голос, его «демон» безошибочно говорил ему, что эти могучие воды выпущены на свободу не случайно, а в его честь. Высоко вздымалась его грудь. Тот день в сенате, который до сих пор был вершиной его жизни, отошел в тень перед сегодняшним, еще более великим днем... Ради него гибнет этот город, а чернь вокруг, теснясь у его ног, робко, благоговейно приветствует его, как спасителя и избавителя. Сверх ожидания, исполнился сон его матери, исполнились его собственные сны.

Он начал декламировать стихи из эпопеи о великом потопе. Он хорошо заучил эти стихи Нерона, они стали его собственными. В лицо гибнущей Аламеи он произносит, он поет их, строки о Медном веке, который по велению Зевса погружается в воды. Он бросает стихи в светлую даль, в вечереющее сумрачное небо, он читает под крики водяных птиц, ударяя в такт по струнам воображаемой кифары.

Народ у подножия башни, на плотях и лодках, не отрывает от него глаз. Народы Востока всегда надеялись, что император покажет свое искусство не только римлянам, коринфянам, афинянам, но и им. И вот час этот настал. Их император стоит во всем своем величии над утопающим городом, он — певец, спаситель, он внемлет голосу своего гения и являет им свой светлый лик. Зачарованные, полные благоговения, обращают они к нему свои взоры.

Он же, овеваемый вечерним ветром, глядя на широко разлившиеся воды, декламирует и поет под аккомпанемент воображаемой кифары. Пока знакомые стихи Нерона слетают с его губ, он предается мечтам. Он вос-

становит этот гибнущий город во всей его красе и назовет его Нерониадой. Разве в свое время он не отстроил Рим со сказочной быстротой и с необычайным великолепием? Всю эту страну он покроет чудесными зданиями и произведениями искусства. Он последует, как рисовалось ему в ту ночь в храме Тараты, примеру древних восточных царей и прикажет высечь на скалах Эдессы свое изображение, чтобы его, Нерона, лик был навеки запечатлен на утесах гор. Мечтая, он, однако, не мог удержаться, чтобы по старой привычке не подсчитать самым подробным образом, во что примерно должно обойтись такое колоссальное изображение, высеченное в скале. В глубине души он пожалел, что рядом не было Кнопса, который немедленно бы составил ему точный расчет. Против воли вспомнил он о дорогой статуе Митры, которую ковровый фабрикант Ниттайи отказался взять из мастерской, так как стоимость изделия превысила предварительную смету.

Но по лицу Нерона нельзя было заметить, что в голове его роятся такие недостойные мысли. Наоборот, он продолжал петь и декламировать под вечернеюющим небом, один на высокой башне, — вдохновляющее зрелище для народных толп. И дух снизошел на него, и он стал благословенным Девкалионом, который один остался в живых в дни Великого потопа, призванный богами творить людей из камня и вновь заселить опустевший мир.

На площадке, под ним, Варрон сказал царю Филиппу:

— Я видел подлинного Нерона, как он стоял на башне Мecenата, упиваясь зрелищем пылающего Рима.

Царь Филипп сказал:

— Он удивительно правдоподобен. Мне самому иногда кажется, что это он и есть.

Варрон сказал:

— Подлинный Нерон, впрочем, поднялся на башню Мecenата вовсе не из эстетических побуждений, а чтобы представить себе размеры пожара и соответственно этому правильно организовать спасательные меры. Подлинный Нерон никогда и не помышлял о поджоге Рима. Удивительное дело: из-за того, что по неведению верят, будто подлинный Нерон поджег Рим, нужно в честь этого Лже-Нерона потопить город Аламею! Иначе мир не признает подлинным нашего Лже-Нерона.

— Да, — согласился царь Филипп, — вот какие извилистые, невероятные пути должен избирать разумный, стремящийся к добру человек, если он желает торжества разума. Идеи гуманности можно внести в этот мир явно лишь самыми глупыми и низкими методами.

И почти физическою болью отозвались в обоих отвращение и досада, которые вызывала в них мысль о суетности человеческой природы и о хрупкости человеческого разума.

Человек на вершине башни продрог. К тому же поездка была утомительной. Уже долго стоит он здесь и смотрит на желтую пучину, глаза у него разболелись. Уже давно он не Девкалион, и ему даже трудно сохранить жесты Нерона: в глубине души он стал горшечником Теренцием. Он слегка дрожит, убоявшись вдруг собственного величия. Глядя на погружающуюся во тьму Апапею, он думает:

«Какие огромные богатства гибнут здесь — десять миллионов, двадцать миллионов! Сколько хлеба, и сыра, и вина можно было бы купить на эти деньги, сколько глины и бронзы для статуй! И все это ради меня! Мой отец прав был, что назвал меня этим гордым и смешным именем — Мáксим. Но если бы он предвидел все это, он, наверное, испугался бы и дал мне другое имя. Ибо хорошо это кончиться не может».

17. НЕДЕЛЯ НОЖЕЙ И КИНЖАЛОВ

Страшное преступление, которое совершили христиане, подстрекаемые императором Титом, вызвало волну возмущения по всей Сирии. Гарнизон за гарнизоном срывал со своих боевых значков изображения Тита и заменял их изображением Нерона. Большая часть Четырнадцатого легиона и многие части Пятого, Шестого, Двенадцатого перешли на сторону Нерона. Туземное население кипело злобой на Тита, Дергунчика и всю преступную шайку. Правительство с трудом подавляло беспорядки, вспыхивавшие в разных городах и даже в некоторых кварталах Антиохии. Пока нечего было и думать о выступлении против расположенных по берегу Евфрата крепостей, которые перешли к Теренцию, — тем более что и армия была ненадежна,

Варрон с полным правом мог сообщить Великому царю Артабану, что Нерон прочно держит в своих руках почти четвертую часть императорской провинции Сирий, с крупными городами и фортами. Согласно данному обещанию, Артабан послал войско и деньги другу своему, императору Нерону.

Кнопс гордился, что идея, породившая этот грандиозный успех, созрела в его голове. Он полагал, что имеет право на то, чтобы и в других вопросах следовали его советам, а не советам благородных господ, Варрона и Филиппа. На ближайшем заседании кабинета он внес предложение: чтобы закрепить достигнутые успехи, императору следовало бы прервать на время политику милосердия и на неделю предоставить ему и Требонию право творить скорый и суровый суд.

— Необходимо позволить тем приверженцам императора, верность которых вне всяких сомнений, без долгих проволочек покончить с его злейшими врагами, — заявил он в заключение. — Я предлагаю поручить мне и генералу Требонию организовать для этой цели своего рода добровольную полицию. Подготовительные меры уже проведены, мы добыли вполне надежные списки. С помощью таких полицейских отрядов мы хотели бы, если император соизволит дать свое согласие, одним махом уничтожить опаснейших из его врагов.

Варрон и царь Филипп недовольно смотрели в пространство.

— Почему, — шепнул царь Филипп Варрону, — этот человек говорит «одним махом», а не «одним ударом»?

— Потому что безошибочный инстинкт подсказывает ему всегда самое безобразное и самое вульгарное слово.

Требоний между тем бурно поддержал предложение Кнопса. Император улыбнулся милостиво и рассеянно, ему нравилось мрачное, лихое и грозное выражение: «Неделя ножей и кинжалов». Кроме того, он был благодарен Кнопсу за гордые переживания той ночи — на башне Апамеи.

— Неделя ножей и кинжалов, — мечтательно сказал он, глядя в пространство.

Варрон и царь Филипп молчали, не было никакой надежды преодолеть упрямство этого сброда. Кто призывает на помощь чернь, должен делать ей уступки.

Император подписал документы, которые Кнопс и

Требоний представили ему. Кнопс — в Эдессе, Требоний — в Самосате, собрав небольшие отряды людей, именуемых «Мстители Нерона», обрушились на своих врагов. Они легко могли любого, кто был им не по душе, заклеить как врага императора, как приверженца Тита или Христа, бога этой отверженной бунтарской секты. Во всех городах на Евфрате, в Коммагене и в Эдессе «Мстители Нерона» врываются по ночам в жилища неугодных им людей, убивали, громили, бросали в тюрьмы, истязали, насиловали, забирали добычу и вводили в рабство.

Христиан Междуречья Кнопс не позволял убивать в большом числе. Он приберегал их для агитационных целей. Он хотел устроить на глазах всего света громкий, эффектный процесс против них. На суде он намерен был доказать, что узурпатор Тит и его чиновники заключили против добрых, честных сирийцев заговор, непревзойденный по своей подлости, чтобы отомстить им за верность законному их господину, цезарю Нерону.

Высокомерная прихоть ввела Кнопса в искушение: он решил прибегнуть для процесса Иоанна с Патмоса. Актера он терпеть не мог. Не нужно было презрительных высказываний Иоанна о Теренции, чтобы восстановить против него Кнопса. Кнопса раздражало все в Иоанне — его натура, его голос, его лицо, его христианство. Он хотел заполучить его в руки, играть им, измываться над ним. Он дал задание одному из отрядов «Мстителей Нерона» во что бы то ни стало доставить к нему этого человека целым и невредимым.

Ночью посланцы Кнопса ворвались в жилище Иоанна. С самим жилищем и его содержимым они могли делать что угодно, только Иоанна им было велено доставить живым. Они стащили его и сына его Алексая с постелей и молча, деловито, мастерски принялись громить все, что было в доме.

Иоанн следил за ними с каким-то надменным интересом. Они взялись за его книги и рукописи. Это его грех, что он не мог расстаться с мирскими, с суетными вещами, что он сердцем предался языческим классикам, вместо того чтобы служить лишь слову божью, и если он вынужден теперь беспомощно наблюдать, как эти животные уничтожают книги, то это заслуженная кара. Сжав губы, смотрел он, как они рвут в клочья драго-

ценные свитки и пергаменты. Сейчас в их ручищи попали свитки с драмами Софокла — любимейшие из всей его библиотеки. Хороший пергамент не поддается, его нельзя изорвать так, как им хочется. Они топчут его, справляют над ним нужду. До этой минуты Иоанн стоял спокойно, но теперь, когда приходится молча смотреть, как они позорят эти свитки, эти творения, полные высокой, звучащей сквозь века мысли, — он не может сдерживать тяжкого стоны. Юный Алексай, несмотря на смирение и покорность воле божьей, которым учил его отец, был не в силах сдерживаться, услышав его стон. Он бросился на разбойников и варваров и молча, ожесточенно стал бить их слабыми кулаками. «Мстители Нерона», довольные, что, по крайней мере, с этим можно не церемониться, убили его. И вот он лежит распростертый среди изорванных книг. Иоанн закричал, завыл, страшно, дико. Но они помнили приказ Кнопса и не панесли Иоанну ни одного удара. Они даже не велели ему замолчать, не заткнули ему кляпом рта, — только крепко держали его, чтобы он не мешал им, и потешались над бессильными стонами человека, глядевшего, как они молча и усердно заканчивают свое дело. Затем, согласно приказу, они доставили Кнопсу Иоанна целым и невредимым.

Так прошла «Неделя ножей и кинжалов» в Эдессе. Царь Маллук все еще путешествовал вдали от своей столицы. Глубоко дыша, он наслаждался в пустыне свободой, которой лишали его в Эдессе эти люди с Запада. С незнакомыми спутниками, сам никому не знакомый, он раскидывал лагерь под яркими высокими звездами и, сидя у водоема, наслаждаясь покоем, рассказывал случайным спутникам запутанную глубокомысленную сказку о человеке, который был горшечником, потом, благодаря счастливому положению звездных богов Ауму, Азиса и Дузариса, стал на время повелителем мира.

18. СМИРЕНИЕ И ГОРДОСТЬ

Преступники-христиане предстали наконец перед пре-
тором; это была довольно значительная кучка людей,
в большей своей части маленьких, невзрачных, про-
стых. Их специально обрабатывали для процесса, истя-

зали, всячески запугивали. Они и в самом деле дрожали. Но только телом. Душой они уповали на своего бога. Их священники и старейшины убедили их, что бог, обрская их на мученичество, явил им особую милость. Многим действительно удалось сохранить стойкость и в смиренном уповании на бога неизменно отрицать свою вину. Были, конечно, и такие, которые кричали и молили о пощаде, готовые признаться во всем, что от них требовали. Впрочем, в этом не было надобности. Многие губернаторские чиновники, во главе с писарем Аристом, и другие лица, застигнутые на месте преступления, со мздой в суме, давно дали требуемые показания, заранее зная, что им будет оказано снисхождение. Таким образом были раскрыты все разветвления заговора.

Кнопс с удовольствием предвкушал свое выступление на суде. Секта христиан, вместо могучего существа избравшая богом несчастного, распятого, издавна представлялась ему смехотворной, он всей душой презирал ее. Рожденный рабом, он испытывал огромное благоговение перед силой, могуществом, и ему казалось идиотизмом прославлять и обожествлять угнетенного бедняка. Присущая Кнопсу от природы злая, язвительная ирония всегда приносила ему большой успех, особенно когда он избирал своей мишенью христиан. Кнопс отлично знал душу черни. Он был убежден, что совсем нетрудно изобразить христиан как лицемерно-кроткую, а по существу преступную братию, которая с удовольствием потопила бы весь мир. Больше всего Кнопса радовало, что он разделяется с Иоанном. Но прежде чем раздавить его, он хочет позабавиться: прежде чем прикончить его, он хорошенько поиграет с ним, как кошка с мышью.

Он позаботился о том, чтобы допрос Иоанна происходил в его присутствии. В этот день ворота судебного зала были широко раскрыты и площадь перед ним черна была от народа: всем хотелось услышать, как знаменитый актер будет держать ответ перед претором и Кнопсом за содеянное страшное преступление.

Но говорить начал Кнопс. Он обратился к Иоанну с присущей ему ехидной вежливостью:

— Так, мой Иоанн, а теперь скажите мне, зачем, в сущности, вы и ваши люди устроили наводнение и потопили храм Тараты?

— О том же я хотел бы спросить у вас, Кнопс, — с мрачным удовольствием ответил Иоанн. — Зачем, в самом деле, мне или любому из нас нужна была бы эта неслыханная глупость, если она на пользу только тебе и тебе подобным, да еще твоему так называемому цезарю Нерону?

— Ну, дорогой мой Иоанн, — кротко, чуть ли не весело возразил Кнопс, — на это могло быть очень много причин. Вы могли, например, сделать это, чтобы лишить богиню Тарату ее храма, изгнать ее из страны и тем самым оставить сирийский народ без покровительницы. Вы могли также предположить, что такое разрушение, такой преступный акт ненависти послужит сигналом для всех вредных элементов в стране и они, как те воды, которым вы дали волю, ринутся на законного императора Нерона. Возможно также, что вы это сделали просто из ненависти к цивилизации, ко всему высокому и прекрасному, к собственности, порядку и семье, из ненависти ко всем богам, кроме вашего распятого.

Слова Кнопса произвели впечатление. Иоанн намеревался говорить на суде как можно меньше. Но он видел, что его единовверцы, обвиненные вместе с ним, ждут его ответа, видел, что толпа слушателей не сводит с него глаз. Он должен был ответить.

— В нас нет нетерпимости к чужим взглядам, — начал он спокойно и с достоинством, словно поучая противника и слушателей, — даже если мы не считаем их истинными. Придет пора, и бог наш без нашего участия искоренит ложные вероучения. Мы также не противники цивилизации. Но мы ненавидим роскошь, обжорство, неумеренность. По нашему мнению, цивилизация — это мера, цивилизация — это стремление жить сообразно божественным законам. Мы никого не хотим лишать его бога. Пусть каждый сохранит своего бога, а нам оставит нашего.

— Скажи на милость, — ответил с коварной любезностью Кнопс, — вы, значит, вовсе не враги собственности. Однако некий Иоанн отказался от собственности, роздал ее, выбросил вон.

— Этого я тебе объяснять не стану, Кнопс, — презрительно сказал Иоанн. — Этого твоему рабскому уму не понять.

Кнопс не потерял спокойствия.

— А я-то думал, — сказал он с благодушным удивлением, — что вы стоите за бедных и угнетенных.

— Так оно и есть, — ответил Иоанн. — Но есть и среди бедняков и рабов такие, которых мы презираем. Это те бедняки, которые хотят разбогатеть, и те рабы, которые алчут власти. Наш бог и учитель имел в виду как раз такую гадину, как ты, когда учил нас: «И раб да останется рабом».

И он взглянул на Кнопса так презрительно, что тому, при всей его наглости, стоило большого труда не опустить глаз.

Но Кнопс не опустил взгляда, а, наоборот, после секундной заминки ответил вежливо-ехидным, кротким голосом, который, однако, всем был слышен:

— Я бы на твоём месте, Иоанн, не подчеркивал с такой надменностью, что небо, разделив мир на верх и низ, на господ и рабов, тем самым являет свою волю и отмечает избранных. Ибо если внешнее благополучие является знаком благоволения небес, то ты, Иоанн, к числу избранных наверняка не принадлежишь. Где сын твой Алексей, Иоанн? И в каком виде ты сам стоишь здесь?

Жгучий яд и глубочайшее торжество были в этом вопросе, произнесенном тихим голосом.

Слушатели стояли, затаив дыхание. Иоанн был полон муки. Наклонив огромную голову с оливковым лицом, заросшим всклокоченной бородой, он резко обернулся к Кнопсу, сверкнул на него мрачными миндалевидными глазами, широкая грудь его вздымалась и опускалась. Но он сдержал себя.

— Бедняга, — сказал он. — Таковы твои триумфы. Да, ты убил его, моего сына, невинного. И этим ты надеешься доказать, что мы открыли шлюзы? Бедняга! Однажды загорелся Рим. И некий Нерон тоже не нашел ничего лучшего, как обвинить в поджоге моих братьев. И единственным доказательством их виновности было то, что Нерон велел казнить их. Где он теперь, этот Нерон? Он погиб самой жалкой смертью.

Иоанн, идя на суд, решил молчать. Но сейчас он распалился и поддался порыву. Не думая о логической последовательности мыслей, беспорядочно бросал он в лицо этим судьям, этому Кнопсу, этой толпе слушателей все, что рождалось у него в голове и в сердце.

— Берегитесь, — обратился он к судьям, — вы все,

пришедшие сюда судить нас именем того, кто есть лишь жалкое подобье Нерона, который, по крайней мере, был подлинным императором. Не судите да не судимы будете. Ибо предстоит еще Страшный суд. Мир, — обратился он снова к Кнопсу, — где судьи — такие существа, как ты и твой господин, ничтожное подобье великого зверя, такой мир должен погибнуть. Он придет скоро, очень скоро, последний суд, Страшный суд! Тогда предстанут перед судьями те, кто действительно открыл шлюзы жестоким водам, а те, кто теперь унижен и угнетен, будут свидетельствовать против них. Ты же, Кнопс, и тебе подобные будете стоять, жалкие и трепещущие в наготе своей, в какой вы родились. Бедные, бедные, гонимые и осужденные, будете вы стоять, ты, и твой Теренций, и твой Требоний.

Он говорил, не повышая голоса. Он не бранился, но презрительное, смешанное с брезгливостью сострадание так живо слышалось в его гибком, хорошо поставленном голосе, так ярко проступало на его изборожденном морщинами лице, что все — судьи, обвиняемые, слушатели — устремили на Кнопса взгляды, полные физически ощутимого ужаса и отвращения.

Кнопс, представший во всем своем ничтожестве и наготе, не мог сдержаться: вся его важность, все его взятое напрокат великолепие слетело с него. Побагровев, срывающимся голосом он стал орать и сквернословить, как в кабаке:

— Собака, падаль, попрошайка, ублюдок! Ты думаешь, испугались мы твоего жалкого бога, этого распятого? Скоро ты явишься перед ним, разбойник, лгун, перед ним и перед его Страшным судом. Ты думаешь, наверно, что тебя ждет райское блаженство? Скоро, очень скоро ты увидишь твой рай, узнаешь, чем он пахнет и каков он на вкус! Его нетрудно будет измерить: не так уж он будет велик. Один локоть в ширину и три локтя в длину, ровно столько, сколько займет твоя проклятая туша на свалке, где ты будешь смердеть на всю округу.

Он долго еще ругался, не в силах остановиться.

Толпа почтительно расступилась перед ним, когда он покинул судилище, никто не произнес слова осуждения вслед ему, наоборот, некоторые громко приветствовали его;

— Да здравствует Кнопс, наш добрый и великий судья!

И все же он в бессильной ярости чувствовал, что уход его из суда отнюдь нельзя назвать победоносным.

19. СОПЕРНИКИ

Само собой разумеется, Иоанн вместе с остальными обвиняемыми был приговорен к смерти.

Ожесточенный своей неудачей, Кнопс размышлял, как бы превратить казнь в последнее унижение ненавистного Иоанна. Кнопс был «голова» и быстро нашел то, что нужно. На цирковых играх, которыми Кнопс собирался ознаменовать победу императора над его врагами, Иоанн, в соответствии со своей профессией, даст последнее, великое представление. Будет представлен потоп, которым Зевс уничтожил поколение Медного века. Осужденные христиане, по плану Кнопса, будут изображать обреченное на смерть поколение, арена медленно наполнится водой, а христиане самым настоящим образом захлебнутся и потонут, во главе с Иоанном, привязанным к скале, беззащитным, — так, чтобы все видели, как он корчится и захлебывается.

К сожалению, план этот встретил возражения. На заседании, где под председательством императора обсуждалась участь осужденных, господа аристократы, Варрон и царь Филипп, решительно воспротивились надругательству над актером. Они заявили, что казнить подобным образом столь великого артиста, как Иоанн, значит посеять недовольство среди населения.

— Я нахожу это предложение столь же неудачным, сколь и безвкусным, — кратко сформулировал свое мнение Варрон. — Иоанн уже на процессе произвел впечатление на массы. Если же мы предадим его такой грубой казни, то народ и после смерти Иоанна будет с любовью оплакивать его, а нас считать варварами.

Царь Филипп, с присущим ему спокойствием, обратился непосредственно к Кнопсу и наставительно сказал ему:

— Вы не услугу оказываете, а только вредите императору такой неприкрытой ненавистью к Иоанну.

Кнопс, когда речь заходила об Иоанне, терял свою рассудительность. Гневный, оскорбленный, он заявил, что нельзя всякими гуманистическими бреднями сводить на нет успех, достигнутый в Апамее. Требоний бурно поддержал его. Варрон холодно заметил, что «Неделя ножей и кинжалов» кончилась, а сейчас полезно было бы показать, что снова наступила пора милосердия и справедливости. Кнопс резко возразил, что в данном случае сила и справедливость совпадают: пощадить артиста — значит проявить не милосердие, а слабость и пристрастность. Многословно, бесконечно повторяясь, приводил он все те же доводы. Все смотрели на Нерона.

Тот был в нерешительности. Непавидя Иоанна, он готов был примкнуть к Кнопсу и Требонию. С другой стороны, он не был глух к возвышенному, и возражения аристократов произвели на него впечатление. Подобно Варрону и Филиппу, он считал варварством так позорно казнить великого артиста; он соглашался с ними, что артист не должен быть судим по законам, обязательным для рядовых людей. Ему хотелось и натешиться над ненавистным Иоанном, и вместе с тем показать Варрону и Филиппу, да и самому себе, что он — из тех, кто даже во враге уважает служителя искусства.

Но был ли действительно Иоанн великим актером? Вот в чем суть. Сомнение это можно было использовать как довод против аристократов. И он начал хулить искусство Иоанна, доказывать, как бездарно исполняет Иоанн большой монолог Эдипа, который начинается словами:

Что было здесь, то было справедливо,
И никогда меня в противном ты не убедишь.

Подробно разбирал он и другие роли Иоанна, показывал его неспособность возвыситься до истинного пафоса. Но там, где дело касалось искусства, с царем Филиппом были шутки плохи. Он видел в Иоанне величайшего актера Востока, а возможно, и всего мира. Он стал спорить с императором, твердо отстаивая свое мнение. Совет грозил превратиться, к досаде Кнопса и Требония, в диспут по эстетике.

Но тут Варрон, отлично знавший своего Теренция, взглянул на дело с новой точки зрения. Если император, сказал он, велит так позорно утопить Иоанна, то Цейо-

ний и обитатели Палатина скажут, несомненно, что он это сделал исключительно из зависти и актерской ревности. Теренций, правда, тотчас же запальчиво ответил, что обитатели Палатина — варвары и мнение их его совершенно не интересует; тем не менее видно было, как задели его слова Варрона, и Кнопс встревожился. Вся эта затея с Иоанном оказалась неудачной: и императору, и всем остальным она, конечно, поневоле напомнила о попытке подлинного Нерона уничтожить родную мать, подстроив с этой целью мнимое кораблекрушение. Нет, с этим проклятым Иоанном Кнопсу положительно не везет. Но прежде всего нужно отвести удар Варрона. И чтобы положить конец спору, Кнопс извлек наиболее ядовитое оружие: он напомнил, что Иоанн обвиняется в оскорблении величества.

Сам-то он, сказал о себе Кнопс, скромно вступая в спор о мастерстве Иоанна, мало что смыслит в искусстве. Все же он осмеливается утверждать, что Иоанн не обладает истинным призванием к искусству. Ведь этот проклятый богами человек издевается — и, по-видимому, искренне — над императором. Он говорит, что горшечник Теренций одинаково бездарен и как актер, и как император. Его Нерон жалок.

Иоанн был неправ. В ту же минуту подтвердилось, что Нерон Теренция отнюдь не жалок, что он подлиннен до мозга костей. Теренцию удалось сделать рукой отстраняющий жест, милостиво-добродушно, очень свысока улыбнуться и даже, как будто его забавлял этот чудак Иоанн, покачать головой. Затем он спокойно попросил своих советников немного потерпеть. Он хочет вынести решение о судьбе Иоанна лишь после того, как боги, его внутренний голос, его «демон», заговорит с ним и боги подадут ему совет.

Варрон и Филипп были, однако, уверены, что стрела Кнопса попала в цель и что совет богов совпадет с его предложением.

20. ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА

Иоанн между тем сидел в камере отдельно от остальных осужденных, полный горя и отчаяния.

Он вспоминал свое поведение на суде и горько упрекал себя. Все это не было угодно богу: и то, как он

держал себя перед претором, и то, как он расправился с этим жалким Кнопсом. Он, Иоанн, не уподобился тем пророкам, которые, проникшись духом своего бога, гневно избличали людей и призывали к покаянию. Нет, он «играл», он играл пророка, он был актером, может быть, актером во имя божие, но, в сущности, ничем не лучше этого горшечника... Тот играет императора, он точно так же играл пророка. В чем разница? Оба комедианты. Каждый «играет», каждый кого-то изображает, вместо того чтобы попросту быть тем, чем сотворил его господь, — ничтожеством, которому приличествует смирение, а не гордыня.

Суета сует. Царство антихриста. Антихрист принял крайне опасный облик, облик актера, спекулирующего на глупости мира. Что за век наступил! Раб играет императора, плохой актер — плохого актера, а мир верит этому комедианту, копирующему другого комедианта, рукоплещет ему, открывает в его честь шлюзы, и страшные воды поглощают храмы, города, самое человечество. Какой мерзостный триумвират: этот горшечник, копирующий, как обезьяна, императора, по правую руку от него — жирный, страдающий манией величия фельдфебель, по левую — маленький, продувной, снедаемый тщеславием мошенник, черпающий всю свою силу в убеждении, что люди еще глупее, чем думает самый закоренелый скептик! И самое безобразное: перед этим трехглавым адским псом мир в экстазе склоняется в прах.

Почему бог создал мир таким жалким? Может быть, из желания позабавиться, как этот сенатор Варрон забавляется своим Лже-Нероном? Но тогда мы — печальные, беззащитные игрушки. Частичка этого балагана — я, Иоанн, и Алексей, мой сын. О Алексей, юный, нежный, робкий и все-таки сильный Алексей! Он растоптан, он брошен на свалку, как падаль, и кровь его выпущена из жил, как прокисшее пиво из бочонка. Что есть человек?

Иоанн сидел, согнувшись, в своей камере, раздираемый муками Иова и сомнениями Когелега, но он не гордился этим, он не рядился в яркий плащ, перешитый из отрепьев их одежд. Иоанн не казался себе лучше других оттого, что он больше страдает и глубже сознает свою муку. Чем ты отличаешься от других? У тебя нет ничего

такого, что возвышало бы тебя, ничего, чем бы ты обладал один, будь то твои страдания, или твои сомнения, или твоё тщеславие, или даже твоё лицо, как доказывает пример этого проклятого императора и его обезьяны, горшечника Теренция.

Мы, как муравьи или как пчелы, неотличимы друг от друга, мы обречены трудиться, не зная, для чего. Они — пчелы или муравьи — с усердием тащат всякую всячину, крохи отбросов или же мед из цветов, и не знают, для чего; над ними властвует таинственный закон. Закон этот гонит их повсюду, играет ими, заставляет каждого вечно нести свое бремя. Каждое из этих существ само по себе ничто, оно лишь жалкая частица целого, обреченная на гибель, если отделить ее от ей подобных, обреченная на труд, смысл которого ей недоступен, если она остается в пределах целого. «Иди к муравью, ленивец», — говорит Проповедник. Для чего? Если ты будешь как муравей, что пользы от того? Добро увядает и гибнет. Зло живет вечно. Нерон бессмертен.

Иоанн углубился в думы. Он спросил своего бога: — Почему мир отдан в жертву язычникам и глупцам?

И он испугался, ибо ему было откровение. Он услышал голос господина своего. Таинствен был ответ бога.

— Творение, — сказал он ему, — стареет, молодость его миновала. Я решил обновить его. Близится смена времен.

Иоанн погрузился в тайну этого ответа. Его посещали страшные сны, видения конца состарившегося мира и видения смены времен. О, тропы его века стали узкими, печальными и трудными! Но самое страшное, пожалуй, — это был переход из его века в грядущий, ибо переход этот и был Страшным судом.

Он все глубже погружался в эти жуткие видения Страшного суда и до нестерпимой боли наслаждался их ужасом. Никто, говорил он себе, не мог бы вольно дышать и секунды, знай он, что его ждет. Только домашний скот и дикие звери могут ликовать, ибо их минует суд. Если даже мне будет даровано райское блаженство, что мне в нем, коль скоро я обречен пройти через терзания этого несказанно мучительного Страшного суда? Несчастное поколение все мы, отверженное поколение, над которым царствует антихрист и его обезьяна.

В сны эти ворвалось нечто весьма реальное — долговязый, тощий, закутанный в серое человек.

— Вставайте, Иоанн с Патмоса, — сказал закутанный, — ступайте за мной.

— Вы посланы, чтобы прикончить меня? — спросил Иоанн. — Почему же вы так вежливы? — И вдруг, в яростной злобе, он закричал: — Расправляйся скорее! Бей, не тяни!

— Я не палач, — сказал долговязый человек и задумчиво, с некоторым смущением посмотрел на свои длинные пальцы. — Я хочу вывести вас отсюда, Иоанн: все готово — лошади, бумаги, а также люди, которые доставят вас в надежное место.

Иоанн взглянул на долговязого человека с двойственным чувством. Что это, шутка? А если он говорит правду, если он действительно явился спасти ему жизнь, что делать тогда — соглашаться или воспротивиться? Что бы ни ожидало его на том свете, самые страшные муки лучше суетности и ничтожества этого мира. Мрачный, порывистый, всегда алчущий новых сильных переживаний, Иоанн, несмотря на чудовишный страх перед судом там, наверху, ждал его с жгучим любопытством. И разве сам бог и судьба не призывали его кончить земное существование и предстать перед высшим судом? Иоанн хотел ответить искусителю отказом, хотел с насмешкой указать ему на дверь.

Но внезапно его осенила новая мысль. Разве случайно сейчас же вслед за страшными и великолепными видениями минувшей ночи бог послал ему этого странного, с ног до головы закутанного незнакомца? Не было ли это, наоборот, знамение? Да, это знамение. Это божья воля, приказывающая ему жить, дабы запечатлеть неповторимые видения этой ночи и, странствуя по свету, возвещать о них. Разве не крылось в каждом пророке нечто от актера? Иоанна бог сотворил актером, в котором есть нечто от пророка. Наступил час, когда пророк должен заговорить устами актера. Иоанн познал свое призвание.

Он поднялся с нар, подошел к незнакомцу.

— Вы похожи на аристократа, — сказал он. — Кто

вы? Кто вас послал? Кто заинтересован в том, чтобы с риском для жизни вырвать меня из рук этого сброда?

— Зачем вам знать это? — спросил незнакомец, и в его длинном бледном лице что-то дрогнуло. — Мало вам того, что есть некто, кто хочет спасти вас? Разве вы не можете представить себе, что даже в этом одичавшем, озверелом мире существует несколько человек, которые не могут примириться с тем, чтобы скотина, подобная Кнопсу, в угоду черни прикончила на арене Иоанна с Патмоса? — И тихим голосом, так просто, что это сразу же убедило актера в искренности пришельца, он сказал: — Я с этим примириться не могу.

Иоанн снова присел на нары.

— Это в самом деле необычайно, — сказал он изумленно, обращаясь скорее к себе, чем к незнакомцу. — Я всегда думал, что таких, слепо одержимых искусством, как я, больше нет. Вам следует знать, дорогой мой, — продолжал он, — что страсть к искусству — не повод для гордости. Верьте мне, я знаю это по собственному опыту. Это — дьявольски порочное, греховное и тщеславное свойство, надо стараться избавиться от него. Это болезнь. Кто страдает ею, тот заклеимен. — Он умолк. Затем продолжал уже доверчиво: — Вы ставите меня перед неприятным выбором, незнакомец. Быть может, бог призывает меня на свой суд, и я согрешу, если попытаюсь уклониться. Но, быть может, это и вправду угодно пред лицом господа, — чтобы я остался жив и боролся против этого зверя, против антихриста. Мне были разные видения, и, быть может, стоит описать их и рассказать о них миру, дабы они не сошли со мной в могилу. Кто может знать? На всякий случай вы, незнакомец, будьте осмотрительны и не восхищайтесь мною только потому, что я — артист. Может быть, ваше поклонение мне ничуть не лучше поклонения той черни, которая ползает на брюхе перед горшечником, перед обезьяной Нерона, который устроил это ничтожное наводнение в ничтожном городе, чтобы иметь случай прочесть дилетантские стихи подлинного Нерона.

Незнакомец облегченно вздохнул.

— Простите меня, что я недостаточно внимательно слежу за вашими словами, — сказал он. — Я понял лишь, что вы решили жить, и от радости я больше ни о чем не могу думать. Вы сняли с меня большое бремя. — Он по-

медлил. Затем продолжал: — Разрешите мне кое о чем попросить вас. То, что я для вас делаю, не вполне безопасно. То, о чем я прошу, значит для меня очень много, для вас же это не составит труда.

— Говорите, — сказал Иоанн. Губы его искривила надменная, горькая усмешка. Человек этот действует, значит, не из любви к искусству, а предлагает ему спасение ради какой-то личной выгоды; недаром его безвольный подбородок с первого мгновения не понравился Иоанну.

Но Иоанн ошибся.

— Вам придется, — робко и почтительно сказал незнакомец, — ради собственной безопасности прожить некоторое время вдали от людей. Кто знает, когда мы сможем снова услышать самый вдохновенный голос, когда-либо звучавший на греческой сцене! Не будет ли это нескромно с моей стороны, если я попрошу вас прочесть большой монолог из «Эдипа»?

Улыбка исчезла с лица Иоанна, ее сменило выражение мучительного разлада, страшной боли.

— Так любите вы мой голос? — сказал он, потрясенный. — Вы — безнадежный глупец.

— Называйте меня глупцом, дураком, чем хотите, — упрямо настаивал царь Филипп, — только прочтите стихи!

И Иоанн совершил величайший в своей жизни грех, поддался искушению самой суетной из своих суетных страстей. Он прочитал не стихи из «Эдипа», — он облек в слова видения минувшей ночи, видения своего горя и сомнений, своего уничтожения и покаяния и тем обесценил в глазах бога свое горе, смерть сына и собственное страдание.

Потом он скрылся в ночь, в пустыню для новой борьбы.

22. ИТОГ

Кнопис вышел из себя, узнав о бегстве Иоанна. Он подозревал, что кто-нибудь из двоих — Варрон или царь Филипп — замешан в этом деле, но к ним подступиться не смел. Тем сладострастней мстил он за бегство Иоанна остальным христианам. Для осуществления задуманного им зрелища — наводнения — он использовал луч-

ших техников и самые хитрые механические приспособления. Зрители игр, устроенных в честь торжества правого дела Нерона над преступными замыслами узурпатора Тита, были довольны; с любопытством, с каким дети радостно и возбужденно наблюдают, как топят щенят, смотрела толпа на тонущих христиан. Представление затянулось до глубокой ночи. Чтобы осветить арену, часть преступников вывалили в смолу, облепили паклей и зажгли, превратив их в живые факелы. Этот последний оригинальный трюк ошеломил зрителей чуть ли не сильнее, чем самый спектакль, живые факелы произвели впечатление не только на Междуречье, но и на всю Римскую империю и жили в памяти человечества гораздо дольше, чем значительно более серьезные и чреватые последствиями события, происшедшие при настоящем и при поддельном Нероне.

Восемьсот человек, погибших на этом представлении, — не такое уж большое число. Но в общем итоге во имя идеи Варрона, во имя его борьбы за шесть тысяч сестерциев налога или, если угодно, во имя его идеи слияния Востока и Запада погибли уже многие тысячи человеческих жизней, и неисчислимые бедствия обрушились на Сирию и Междуречье. И раньше, чем игре Варрона пришел конец, еще очень многим людям суждено было погибнуть и многим несчастьям обрушиться на эти страны.

Книга третья

ПОД ГОРУ

1. РАЗУМ И ВОЕННОЕ СЧАСТЬЕ

Губернатор Цейоний читал и выслушивал донесения о происшедшем на границе у Евфрата, и удивление его было так велико, что почти заглушало гнев. Мыслимо ли? Неужели Минерва, богиня разума, совершенно покинула этот мир, предоставила его самому себе? Неужели возможно, чтобы такой нелепый фарс, как наводнение в Апамее, заставил взбунтоваться целую провинцию? Неужели нашлись люди, способные поверить, что Цейоний затопил святилище богини Сирии ради того, чтобы отомстить двум-трем жалким туземцам? Нашлись головы, которые можно было одурачить небылицей о том, что это «сигнал»? Сообщения с границы говорили: да, именно так. Донесения из Месопотамии убеждали его: метод Варрона — правильный метод. Чем решительнее делаешь ставку на человеческую глупость, тем больше шансов выиграть.

Это открытие глубоко поразило его, тем глубже, что он понял: средств для действенной борьбы с этим мощенничеством у него нет. Послать войска в Месопотамию нельзя, не рискуя вызвать войну с парфянами. А вступить в переговоры с Артабаном о выдаче Лже-Нерона опять-таки нельзя, так как Артабан им не признан. Договариваться можно лишь с Пакором, но Пакор недостаточно силен, чтобы разбить Нерона. Это был заколдованный круг, из которого не было выхода.

Робко проходил теперь Цейоний мимо задержанного тканью ларца с восковым изображением того предка,

который так позорно дал одолеть себя варварам. Губернатор стал осмотрителен. Лишь изредка проглядывал в нем прежний Дергунчик. Его приближенным уже не приходилось жаловаться, что он действует слишком опрометчиво, подчиняясь порыву. Напротив, если прежде он принимал слишком поспешные решения, то теперь его лишь с трудом можно было побудить на какой-нибудь шаг, он не осмеливался пальцем пошевелить, не заручившись предварительно согласием Палатина. Его курьеры отправлялись за море, мчались в Рим. Но Рим давал расплывчатые директивы, означавшие не решение, а отсрочку решения. Пусть Цейоний ограничится обороной, пока самозванец тревожит лишь границы Сирии и не угрожает столице. Частным образом ему сообщали, что император все больше впадает в апатию и что решений, подписей от него добиться очень трудно. При таких обстоятельствах нельзя рисковать серьезным конфликтом с парфянами, а тем более войной.

Эта политика была разумна, но и недостойна. Он, Цейоний, командующий армией из семи корпусов, вынужден сидеть сложа руки и наблюдать, как глупцы и обманщики во главе полчищ варваров нападают на его города, грабят их, срывают орлы и знамена римского императора, растаптывают их, заменяют боевыми значками проклятого мошенника. Порой Цейоний почти задыхался от гнева, так велика была разница между тем, что ему приходилось делать, и тем, что он порывался предпринять, и случалось, он не мог вынести этой двойственности, в нем просыпался прежний Дергунчик. Однажды он вскочил среди ночи и вызвал своего секретаря. Маленький, тощий, в ночном белье, стоял он, судорожно распрямив плечи, закинув сухую, костлявую голову, с лихорадочными пятнами на бледном лице; тонким, скрипучим голосом диктовал секретарю приказы: Пятому, Шестому, Десятому легионам выступить, сосредоточиться в Лариссе, перейти Евфрат у Суры. Но раньше еще, чем эти приказы были заготовлены, разум победил, и Цейоний отменил их.

Скрежеща зубами, он убеждался, что Минерва — строгая богиня, что она требует от своих почитателей терпения и терпения. Разум не в почете. Массы венчают успехом неразумного, а разумного осмеивают, как труса. А ведь немного надо мужества, чтобы дать себе

волю; но терпеливо выносить насмешки и оскорбления, выжидать, пока придет время пожать наконец позднюю жатву, — для этого нужна храбрость, нужна железная выдержка. Ему приходится теперь учиться самообладанию, проходить нелегкую школу мудрости. Ибо вряд ли Лже-Нерона легко будет устранить. Он все прочнее водворяется на границах Сирии. Одна за другой переходят к нему маленькие крепости на Евфрате.

Офицеры Цейония роптали. Непрерывные стычки на границах раздражали их до бешенства. Им казалось, что смешно сложа руки смотреть, как горсть бандитов беспрепятственно ведет свою игру, посягая на мировую державу. Многие открыто говорили, что если так будет продолжаться, то они предпочтут перейти на сторону претендента — Нерона, кто бы он ни был.

Видя, что Цейоний явно не осмеливается перейти Евфрат, нероновский фельдмаршал Требоний становился все более наглым. В конце концов он стал даже готовиться к нападению на крепость Суру, господствующую над средним течением Евфрата, стянул войска на правом берегу, к северу от Суры, возвел укрепления на левом берегу, подвел тараны и катапульты, приступил к регулярной осаде крепости.

Генерал Ауфидий, командир южного участка, может быть, и хотел бы, повинаясь досадным указаниям из Антиохии, ограничиться обороной. Но если наглый противник наступает тебе на ноги, можно ли не ответить? Можно ли спокойно смотреть, как вокруг срывают холмы, строят укрепления и валы, подвозят осадные машины и материалы для постройки плавучего моста, если чувствуешь себя достаточно крепким для того, чтобы хорошей атакой положить конец всему этому мороку? Не обязан ли добросовестный офицер своевременно помешать приготовлениям к осаде, пока можно еще дать отпор врагу относительно небольшими силами? Если генерал Ауфидий так и поступит, как это следует квалифицировать: как наступление или только как оборону?

Генерал Ауфидий назвал это обороной, неожиданно перешел с многочисленными силами Евфрат, уничтожил укрепления и машины Требония, продвинулся до реки Белих. Здесь стояли, на другом берегу, парфянские тяжелооруженные конники, отборное войско, не меньше

половины полка. Так же, как римляне, и по тем же причинам парфяне получили приказ ограничиться оборонной. Они поэтому не нападали; но они были рядом — мощная железная стена.

Полковника Фронтон мучило любопытство профессионала, ему хотелось взглянуть на приготовления Требония к осаде. Пользуясь странным нейтралитетом, который все еще соблюдала Эдесса по отношению к его особе, и при посредничестве Варрона он получил пропуск.

Как раз в то утро, когда Ауфидий предпринял атаку, Фронтон, любознательный путешественник, верхом объезжал окрестности Суры. На одном из возвышений к западу от Белиха он присоединился к маленькому отряду войск Требония. Это была рота из эдесского гарнизона под командованием некоего лейтенанта Луция. Отряд был отброшен сюда атакой Ауфидия.

Полковник Фронтон придержал коня, остановился на маленькой возвышенности, наблюдал, смотрел. Долину под ним окутывала пыль, — атака Ауфидия, действия его войск и войск неприятеля превратили всю местность в сплошное пыльное облако, в котором двигались бесформенные людские массы. Но у Фронтон был зоркий глаз, и он отчетливо видел все. Он видел, что атака Ауфидия создала положение, описанное им в «Учебнике военного искусства» — то тактическое положение, которое давало возможность армии Б, в данном случае Требонию, отрезать противника А, в данном случае Ауфидия, от его базы, в данном случае — от крепости Суры. При удаче крепость, лишенная своих лучших сил, приводилась таким маневром в состояние, когда ее легко можно было взять штурмом. Бездарный Требоний, разумеется, не проштудировал «Учебника», не понял этой великолепной возможности и не использовал ее.

У Фронтон забилося сердце. Тут был случай на ярком примере доказать правильность одной из смелых новейших теорий его «Учебника», — противники называли их безрассудными. Войска Ауфидия оставались на этом берегу Белиха. Дальше они не двинутся. На парфян они не нападут. Они достигли своей цели, разрушили укрепления и машины, они вернутся в Суру, довольные успехами и добычей, в полном порядке.

Теперь надо их атаковать, несмотря на ничтожные, до смешного ничтожные силы, надо обрушиться на них с тыла и одновременно напасть основной массой с обоих флангов. Это та возможность, о которой он тосковал всю жизнь, второй раз такой не представится. В его распоряжении еще десять, еще пять минут. Ибо через десять, может быть, даже через пять минут Ауфидий даст сигнал «медленно отступать», и тогда будет поздно.

Фронтон сидел на коне, не шевелясь, со спокойным лицом, хотя каждый нерв его дрожал от напряжения. «Спокойствие, Фронтон, — приказал он себе. — Не будь безумцем, Фронтон. Тебе минуло сорок восемь, и ты всю свою жизнь не изменял разуму. Не изменяй ему и на этот раз. Не изменяй ему только пять или десять минут. Тогда искушение минет. Не рискуй хорошей жизнью, которая у тебя впереди, приятной старостью. Не бросай на ветер всего, что с трудом добыто, вырвано у судьбы за эти сорок восемь лет».

Было без семнадцати минут одиннадцать, когда Фронтон говорил себе эти слова. Без пятнадцати одиннадцать он обратился к молодому офицеру, который командовал отрядом:

— У вас хорошее зрение, лейтенант Луций? Можете вы разглядеть в этой пыли, что происходит?

Полковника Фронтон не любили, но чрезвычайно уважали, и лицо молодого офицера, когда к нему обратился великий военный теоретик, запылало румянцем.

— У меня хорошее зрение, полковник Фронтон, — ответил он.

— Видите вы вот это? А это? А это? — И он с молниеносной быстротой, но вместе с тем с величайшей точностью очертил ситуацию. Фронтон напал на неглупого человека, лейтенант Луций понял его. Он понял; как неповторима эта возможность, он смотрел в рот полковнику, возбужденный, счастливый.

— Согласны вы доверить мне ваших людей, лейтенант Луций? — спросил его наконец полковник, и в тоне его вопроса была столь повелительная сила внушения, что Луций без колебания ответил по уставу:

— Слушаюсь.

— Скачите к генералу Требонию, — снова приказал Фронтон, — обрисуйте ему положение. Предложите ему обрушиться всеми силами, которыми он располагает, на

оба фланга. Если вы сумеете ему объяснить, что здесь происходит, то мы — вы и я — изменим положение империи на много лет.

Лейтенант слушал внимательно, готовый повиноваться.

— Слушаюсь, полковник Фронтон, — ответил он. — Марс и Нерон! — выкрикнул он пароль этого дня и галопом умчался прочь.

Все шло так, как излагал Фронтон в своем «Учебнике». Было и в самом деле более чем смело с такими незначительными силами броситься с тыла на неприятеля. Но, как сказано было в «Учебнике», сил этих оказалось достаточно, чтобы задержать неприятеля на десять минут, от которых зависело все. Луций был умен и энергичен, Требоний — офицер с большим опытом, быстрый на решения. Он в один миг поборол ненависть и недоверие к Фронтону и успел вовремя отдать необходимые приказания.

Потери нероновских войск в этом решающем сражении были ничтожны. Серьезные потери понес только тот небольшой отряд, с которым полковник Фронтон предпринял тыловую атаку. Сам Фронтон до последней минуты оставался невредим. Лишь в тот момент, когда победа нероновских войск была уже решена, его поразила стрела.

Он упал, застонал, попытался переменить положение, его вырвало кровью. Врачи пожимали плечами. Переносить его уже не имело смысла.

Вокруг него ползали муравьи. Напрягая зрение, он пытался следить за их суетой. Он завидовал муравьям. Ненавидел их. У него не было сил даже раздавить их. Они будут ползать, Нерон-Теренций будет сидеть на своем престоле, Дергунчик будет злиться и дергаться, вытягиваясь во весь рост. Он, Фронтон, не будет ни ползать, ни сидеть, ни злиться. Он только вытянется — и умрет.

Он победил. Найденное им решение особенно интересной задачи было проверено и доказано, метод навсегда сохранит название «тактики Фронтонна». И что же? Чем он заплатил за эту «победу»? Мечта о спокойной, мудрой старости развеяна, его «Учебник» никогда не будет закончен, тысяча или, на худой конец, двести — триста приятных ночей с Марцней отменяются, как

и многое другое. Но Нерону удастся продержаться несколько дольше, а в военных академиях будут говорить о «тактике Фронтон».

Он был глупцом. Сорок восемь лет! Он мог прожить еще тридцать. Проклятый Восток! Какое ему дело до Нерона и Суры? Ему не следовало заражаться бессмысленной энергией деятельных глупцов, окружавших его. Он усмехнулся безнадежно-насмешливо. Флавиин, значит, правильно утверждали в своем «Наказе»: в случае сомнения лучше воздержаться, чем сделать ложный шаг.

Его снова вырвало, он заметался, застонал. Последние слова, которые удалось уловить вернувшемуся лейтенанту Луцию в предсмертном лепете стонавшего, плевавшего кровью Фронтон, были:

— Подлинный или нет. Все гниль и дерьмо...

Когда Варрон узнал о победе под Сурой и о смерти Фронтон, его бросило в жар и холод. Значит, и Фронтон, холодный, расчетливый Фронтон, перешел на его сторону. Перешел на его сторону и умер. Это была издевка судьбы — подарить ему друга и вместе с ним важную пограничную крепость Суру, но в тот же миг отнять этого друга, единственного, который понимал его.

Он думал о том, как много прошло времени, прежде чем разговор, который он мысленно вел с Фронтоном многие годы, вылился в слова, произнесенные вслух. Он думал о том, как сдержанно, намеками выказывал ему свою дружбу Фронтон, как много понадобилось времени — это время длилось до самой смерти Фронтон, — пока его дружба претворилась в деяние. Ясно, до мельчайших подробностей, видел он перед собой человека с седыми, отливающими сталью волосами, видел, как он машинально передвигал мяч ногой, обутой в светло-желтую сандалию, в сферистерии фабриканта ковров Ниттайи, как он задумчиво прислушивался к словам Варрона, улыбался ему. Так живо чувствовал Варрон присутствие друга, что он, дальнзоркий, невольно откинулся назад, чтобы лучше видеть Фронтон. И с ним произошло то, что бывало с ним очень редко: он почувствовал раскаяние. Он раскаивался, что не наслаждался этой дружбой. Ему было жалко каждого упущенного часа, который он мог бы провести с убитым.

Не он один потерял друга. Что будет с Марцией теперь, когда Фронтон не стало?

Раньше, чем он собрался к дочери, к нему явилась испуганная служанка. С императрицей творится что-то неладное. Девушка не знала, что делать. Она не смела доверить то, что видела и слышала, никому, кроме самого Варрона. Дело в том, что с Марцией, когда она узнала о смерти полковника Фронтон, приключился припадок, она долго истерически смеялась, пронзительно вскрикивала. Когда припадок кончился, она заперлась, и вот уже несколько часов она сидит, ничего не ест, не отвечает на вопросы. Но служанка слышала, как она разговаривает сама с собой.

— Что же, — спросил Варрон, когда девушка загнулась, — что же она говорит?

— Вот в этом-то и дело, — колеблясь, ответила девушка. — Я не смею никого впускать в соседнюю комнату. Она говорит такие странные вещи.

— Что же? — нетерпеливо настаивал Варрон.

Девушка отвернулась.

— Это... это непристойно, я не все понимаю, и трудно даже представить себе, чтобы императрица говорила такие непристойности.

Варрон сам пошел узнать, в чем дело. И действительно, сквозь запертую дверь доносились слова, непристойные слова. Циничные, грубые ласкательные имена. Это были имена, которыми покойный называл Марцию в часы любви. Марция обменивалась словами ласки со своим умершим другом, покойный говорил с ней, как он привык, и она отвечала по-своему.

Отцу не удалось проникнуть к Марции. В конце концов пришлось взломать дверь. Марция была в оцепенении, она потеряла рассудок, и, когда отец попытался приблизиться к ней, она начала истерически кричать.

Теперь Варрон остался один.

Он страдал. Но если бы боги позволили ему снова обрести друга и дочь ценою отказа от Суры, он удержал бы Суру и отказался бы от дочери и друга. С тех пор как обратный путь был для него отрезан, он очертя голову ринулся в борьбу. Он проиграл свои деньги и имущество, достоинство, имя, принадлежность к западной цивилизации, свою дочь и своего друга и готов

был, если придется, пожертвовать еще больше: ногу, руку, глаза, жизнь.

Вернувшись с похорон Фронтон, он достал из ларца с документами расписку о взносе шести тысяч сестерциев. В графу «Убыток» он записал: «Марция сошла с ума, Фронтон погиб», в графу «Прибыль»: «Завоевана Сура».

2. НЕВЕРУЮЩАЯ

После завоевания Суры оба берега Евфрата и все Междуречье, от армянской границы вплоть до арабской, по всей форме признали римским императором Варронова Нерона.

Среди всеобщего ликования оставалось мало сомневающих. Но была женщина, которую и самая блестящая победа не могла заставить поверить, что боги будут долго еще покровительствовать мнимому императору. То была женщина, с которой жил Нерон, пока ему угодно было оставаться в шкуре горшечника Теренция: Гайя.

Гайя со времени последней своей встречи с Теренцием, точно забитое животное, жила в полном уединении, растерянная, впадшая в отчаяние. Всеобщее торжество, мнимая милость богов выгнали ее из норы, в которую она забилась, ибо она была уверена, что это кажущееся счастье — начало катастрофы.

Она явилась в дом сенатора Варрона. Ему не было неприятно ее посещение. Теперь, когда господство его Нерона было закреплено, по крайней мере, на несколько месяцев, у него оставалось достаточно досуга, чтобы заняться внутренним положением, теми опасностями, которые крылись в природе его «твари». Угар победы мог завлечь «тварь» в такую бездну глупости, что она возмутилась бы против своего «творца», — такая возможность не была исключена. На этот случай не мешало обезопасить себя, подготовить пути, которыми в случае надобности можно было бы связать «тварь». Поэтому Варрон принял Гайю.

Женщина производила впечатление обезумевшей, одичавшей.

— Что вам нужно от моего Теренция? — набросилась она на сенатора. — Мало вам того, что вы тогда

в Риме совсем вскружили ему голову? Зачем вы снова его морочите?

Варрон спокойно выслушал ее.

— О ком ты, собственно, говоришь, добрая женщина? — спросил он. — Об императоре Нероне? Ты что, не знаешь, что по закону тебя следовало бы за такие слова подвергнуть бичеванию и казнить?

— Убейте меня, — крикнула Гайя, — пусть глаза мои не видят, что вы тут натворили!

Сенатор был удивлен.

— Ты не веришь, — спросил он, — что он — император Нерон?

Гайя взглянула на него с ненавистью, прохрипела:

— Со мной вы эту чушь оставьте. Меня вы не одурачите!

— Послушай-ка, милая Гайя, — серьезно и настойчиво сказал сенатор. — Ведь тебя и твоего Теренция я знаю с давних пор, и я лучше, чем кто-нибудь другой, знал и цезаря Нерона. И вот, — он подчеркивал каждое слово, — Теренцию известны такие вещи, которых, кроме императора Нерона и меня, никто знать не мог.

— Значит, все-таки кто-то третий знал о них, — упрямо ответила Гайя. — А Теренций подслушал их и подхватил. Да не говорите же вы со мной, как с какой-нибудь идиоткой! Ведь быть того не может, чтобы такой человек, как вы, дал обвести себя вокруг пальца.

— А разве не может быть, — терпеливо продолжал уговаривать ее Варрон, — что человек, который вернулся тогда из Палатинского дворца, был в самом деле император?

— Этому вы и сами не верите, — резко ответила Гайя. — Ведь он спал со мной и до того и после того, и это был тот же самый человек. Точно как Теренций поворачивал меня на бок, когда кое-чего от меня хотел, — это бывало довольно редко, — и точно так щипал меня за правую грудь. Откуда мог знать император Нерон, как это проделывал мой Теренций? Объясните мне это, пожалуйста. И чтобы я больше не давала ему белья с зелеными пятнами, сказал он мне в ночь смерти Нерона. Трудно поверить, чтобы император в последнюю ночь на Палатине именно об этом разговаривал с ним. А как он грубо бранился за то, что я положила слишком мало чеснока в жаркое из козьей ноги, и что, мол,

это уже в четвертый раз за месяц, — настоящий Нерон не мог бы так ругаться, да и знать об этом не мог.

— Это не лишено некоторого смысла, — признал Варрон после хорошо разыгранного размышления. — Об этом и в самом деле надо подумать. Покамест оставайся у меня в доме. Мне еще не раз понадобится говорить с тобой об этом.

Гайя сказала:

— Обещайте мне, что с ним не случится ничего плохого, когда все кончится. Однажды вы оказали ему покровительство. Этого я не забуду. Если вы дадите мне такое обещание, я останусь у вас в доме и буду делать все, что вы найдете нужным.

Варрон обещал. Он был доволен, что может приютить у себя эту женщину как свидетельницу, которая пригодится ему, если «тварь» в один прекрасный день взбунтуется.

3. ВЫХОДЦЫ ИЗ НИЗОВ

Был еще один человек, которого, как ни странно, именно в тот момент, когда всеобщее ликование достигло наивысшего предела, стали одолевать сомнения насчет судьбы Нерона. Это был Кнопс. Он знал жизнь и нюхом улавливал, когда вещи и люди начинали загнивать. Тот же инстинкт, который так долго заставлял его верить в счастливую звезду хозяина, теперь говорил, что вершина достигнута, что Теренций созрел и перезрел и попахивает гнилью.

То, что горшечник Теренций вот уже несколько месяцев был для целого края императором Нероном и страх перед ним все ширился, проникая всюду вплоть до резиденции Тита, само по себе было достаточно фантастично и противоречило здравому смыслу. Он, Кнопс, вправе похвалить себя, что вовремя счел это невозможное возможным и сделал на это ставку всей своей жизни. Но теперь повозка взобралась на гору, а когда она перевалит через вершину, не покатится ли она слишком быстро под гору, не перевернется ли? Умному человеку надлежит своевременно высадиться и с добычей укрыться в безопасном убежище. Он вспоминал о тех, кто в старину, доверившись своему счастью, зазнался и был настигнут жестокой карой, — о Ниобе, о Поликрате.

Но беда была в том, что Кнопс отведал сладость власти, власть была приятна на вкус, трудно было от нее отказаться. Он уже учуял опасность, но у него не хватало сил отступить. Ведь может он позволить себе подождать еще немного, совсем немного. Он поставил себе срок. Как только Нерон завоюет Антиохию, столицу Сирии, Кнопс тотчас же даст ходу.

Пока надо было понадежней спрятать возможно большую долю захваченной добычи. Через третьих лиц он перевел деньги и ценные вещи в безопасное место. Затем он закончил дело с девчонкой Иалтой. Все произошло так, как он и предвидел. Он взял Иалту к себе, стал спать с ней. Она понравилась ему. Она не жеманила. Ей, очевидно, было приятно то, что он делал с ней, и она этого не скрывала. Она стонала, учащенно дышала, вскрикивала. Утонченной ее нельзя было называть, — Иалта была даже, пожалуй, грубовата, но она нравилась ему. Ему захотелось показать свое великодушие. Отец Иалты, его друг Горион, не осмелился и пикнуть, когда Кнопс стал с видом знатока распространяться о прелестях Иалты, он лишь смущенно улыбнулся. А Кнопс благосклонно похлопал его по плечу и покровительственно сказал:

— Ну, старик, теперь ты увидишь, что за человек Кнопс. Я женюсь на твоей Иалте.

Горшечника Гориона охватил блаженный испуг. Конечно, ему было досадно, что Кнопс сдержал слово и действительно переспал с его дочерью. Но за эту досаду он был с избытком вознагражден выгодами и почестями, которые принесла ему связь Кнопса с Иалтой. А узнав, что Кнопс к тому же еще женится на этой вшивой девчонке, горшечник Горион почувствовал себя на седьмом небе.

В глубине души Кнопс гордился скромностью, которую он проявил, обручившись с Иалтой, и надеялся, что такая неприхотливость зачтется ему богами. Не следовало пренебрегать и тем, что связь с простолюдинкой подогреет симпатию к нему черни, среди которой он уже и без того был популярен благодаря своему проворному, острому языку.

Один только человек не одобрил этого обручения. Капитан Требоний, хотя и ценил хитроумие Кнопса, хотя и был заодно с ним, в особенности когда вспоми-

нал о знатных господах, но в глубине души всегда завидовал ему и его проворному остроумию. Требоний ничего не боялся: иногда, в пьяном виде, он осмеливался даже приводить пословицу: о «трех «к», от которых с души воротит». Намерение Кнопса жениться на безродной, вшивой девчонке тщеславный Требоний, который чванился своими отличиями и титулами, воспринимал как упрек самому себе и как позор для всего двора Нерона. Он решил высказать свое мнение Кнопсу.

Они сидели в своем любимом кабачке «Большой журавль». Низкая комната пропахла дешевым салом, чесноком и едким дымом очага. За грубыми столами густо сидели мелкие торговцы, ремесленники, рабы, а полуголый хозяин с деловым видом бегал от одного к другому. Кнопс был одет просто, но Требоний даже здесь носил одежду хоть и поскромнее, чем обычно, но все же украшенную пурпуром и всякими металлическими побрякушками. Кнопс пил, пил и Требоний.

Не понимает он, злобно сказал Требоний, как человек, подобный Кнопсу, может опуститься так низко. Не далека та пора, когда они вступят в Рим и смогут выбрать любую сенаторскую дочку. Тут найдется не один лакомый кусок. Когда к белому и нежному женскому мясцу, которое столетиями школили и холили для тебя, будут еще приложены деньги и знатное имя, то в постели все это будет совсем по-особому горячить кровь, это вознаградит за все тяготы жизни. Совершенно ни к чему губить такие заманчивые возможности, как это собирается сделать Кнопс. А может быть, Кнопс просто хочет сам себя некоторым образом кастрировать, подобно сирийским жрецам? Короче, если он хочет говорить как мужчина с женщиной, то пусть знает: его помолвка для всех друзей — большое огорчение и даже обида.

Кнопс бросил на Требония быстрый злой взгляд.

Если женщина в постели способна на все, чего хочет от нее даже такой бывалый парень, как он, ответил Кнопс, то ей не нужны деньги и знатное имя, — он и без того со своим делом справится. Он не знает, кто из них более требователен в известном смысле — он, Кнопс, или его друг Требоний. Но одного он не терпит: когда вмешиваются в его отношения с женщинами. Если ему что по вкусу, он не станет считаться со вкусами других.

Он женится, на ком захочет. Если, впрочем, ему придет охота спутаться с аристократкой, то он сделает это, невзирая на брак с простолюдинкой.

Кнопс пил, Требоний пил, и они смотрели друг на друга пристально, с вызовом, как враги, как друзья, как сообщники.

Но постепенно взгляды их утрачивали злобное выражение. Слишком многое их соединяло: происхождение, общность их судьбы с судьбой Нерона. Требоний пил, Кнопс пил. Требоний еще немного поворчал, но вскоре умолк. Они обнимали друг друга, горланили песни, спали с одними и теми же женщинами, держали себя друг с другом по-приятельски и смертельно друг друга ненавидели.

4. КАКОЙ ВЕЛИКИЙ АРТИСТ...

«Какой великий артист во мне погибает!» — будто бы сказал, умирая, Нерон. «Какой великий артист живет во мне!» — говорил Нерон-Теренций своим приближенным, делая вид, что находит полное счастье в обладании своим императорским титулом и своим талантом. Но, несмотря на все свои успехи, он не был вполне счастлив. Лишь выступая перед толпой, держа речь, Теренций обретал уверенность в себе, чувствовал себя «императором до мозга костей», как он уверял себя словами одного классика. Но перед отдельными лицами — перед Марцией, перед Варроном, перед царем Филиппом, его все еще одолевало чувство собственной неполноценности. Он рад был, что умер, по крайней мере, Фронтон; ибо в присутствии Фронтонна его временами подавляло сознание чудовищности его собственных притязаний.

Больше всего пугала его одна встреча, рано или поздно предстоявшая ему, — встреча с могучим союзником Артабаном, Великим царем парфян. Он, разумеется, говорил всем и самому себе, что всей душой радуется этой встрече и глубоко сожалеет, что Артабан, втянутый в данное время в трудную борьбу со своим соперником Пакором и удерживаемый на далеких восточных рубежах своей страны, все откладывает эту встречу. Но на самом деле для Нерона-Теренция эта отсрочка была облегчением. В глубине души этот человек, чувствительный ко всякому внешнему блеску, испытывал страх

перед «ореолом», перед врожденным величием царя царей, перед светом, который он излучал, и символом которого был огонь, всюду носимый впереди него. Теренций-Нерон боялся, как бы в блеске этом не обнаружилось его собственное темное, низкое происхождение, как бы это сияние не обнаружило миру его натуру.

Однажды он отвел в сторону своего опаснейшего друга Варрона. Он схватил его за одежду, как это делал обычно Требоний, и таинственно, вполголоса, сказал ему:

— Знаете ли, Варрон, странный был со мной случай. Я сошел недавно в Лабиринт, чтобы обдумать, как построить там свою гробницу. Мне захотелось остаться одному, и я отослал факельщиков. Было темно, и тут-то оно и произошло.

Он приблизил свою голову к голове Варрона, еще более понизил голос, придал ему еще больше таинственности.

— Пещера, — шепнул он, — осветилась. Свет исходил от моей головы, это был мой «ореол», в пещере стало совершенно светло.

Он не смел взглянуть на Варрона. Что делать, если Варрон улыбнется? Теренцию останется только убить его или самого себя. Однако Варрон не улыбался. В душе Варрон содрогнулся.

Цезарь Нерон был сыт и счастлив. Внешнее счастье уже давно стало для него привычным и уж немного прискучило ему; но пресыщенность сделала его еще более похожим на Нерона. Однако теперь, когда Варрон без улыбки выслушал его рассказ о случае в пещере, чувство счастья проникло в самые скрытые тайники его души.

Да, Нерон грелся в лучах милости богов. Аполлон оделил его талантом щедрее, чем остальных смертных. Марс даровал ему победу в сражении и друга — Требония, Минерва ниспослала ему ум и друга — Варрона, Гермес одарил хитростью и другом — Кнопсом.

Порой, правда, донесения его советников были не особенно благоприятны. Они, например, рассказывали ему, что некоторые речи Иоанна с Патмоса проникали в народ из пустыни, куда скрылся этот проклятый, и восстанавливали массы против императора. Толпа

тосковала по Иоанну, называла его без всякой иронии «святым актером», ибо император, святой и актер — это были три высшие формы, в которых толпа представляла себе своих любимцев. Поэтому странные пророчества Иоанна об антихристе и звере, который явится или уже явился, чтобы поглотить мир, возбуждали народ и сеяли смятение. Но Нерон смеялся в ответ, он смеялся над Иоанном с Патмоса, произносившим эти речи, и над его богом Христом.

Он смеялся и над тем, что все в большем количестве появлялись списки трагедии «Октавия», в которой злодеяния Нерона изображены были в столь патетических стихах и которая послужила поводом для первой оvation, устроенной Теренцию. Все эти хулители не могли причинить ему вреда. С тех пор как Варрон не посмел улыбнуться, Нерон сам уверовал в свой «ореол». Когда Кнопис приказал предать публичному сожжению экземпляры «Октавии», которыми ему удалось завладеть, и некоторые другие пасквили, Нерон нашел, что слишком много чести оказано жалким потугам его недругов, и, уверенный в своем «ореоле», разрешил себе истинно императорскую шутку.

Он торжественно пригласил своих друзей и придворных на рецитацию и сам прочел им эту враждебную стряпню — «Октавию».

Он не собирался искажать «Октавию» карикатурным исполнением. Это было бы слишком дешево. Но он задумал приправить свою декламацию легкой, чуть заметной иронией, из «Октавии» в его передаче должно было струиться высокое духовное веселье.

В этом тоне он и начал рецитацию. Но в нем сидел слишком хороший актер, и он не мог долго выдерживать этот тон. Против воли он вложил в стихи «Октавии» все свое подвижное, изменчивое, как у Протея, существо. И как прежде Теренций перевоплотился в надменно-пресыщенного Нерона, так теперь сияющий, кроткий повелитель Нерон-Теренций перевоплотился в героя «Октавии» — Нерона мрачного и преступного, насильника, страдающего от своих злых страстей. И, читая песни хора, Нерон-Теренций, обличитель собственных злодеяний, серьезно, гневно и убежденно предсказывал себе горестный конец.

С изумлением и легким испугом слушала его бле-

стящая аудитория. Не было и в помине той возвышенной веселости, которой ждал Нерон. Хотя Требоний из всех сил старался как можно чаще хохотать своим знаменитым жирным смехом, хотя Кнопс пытался поднять настроение острыми словечками, веселье, которое силась выказать публика, носило какой-то судорожный характер, и на маленькое блестящее собрание легла мрачная тень подавленности.

Нерон чувствовал, что не достиг желанного эффекта. Тем развязнее и надменнее держал он себя по окончании рецитации. Говорил о том, что в этом году приступит к работе над новым произведением, гораздо более обширным, чем его поэма о «Четырех веках». Он намерен изобразить всю римскую историю в двухстах больших песнях. Кнопс, пытаясь разогреть публику, позволил себе маленькую шутку.

— Когда римский народ, — сказал он, — получит двести песен его величества, ему придется столько читать, что у него уже не хватит времени для труда, для завоевания остального мира, и римская история кончится именно вследствие того, что она воспета императором.

Но смеяться никто не решался, ибо сам Нерон не смеялся. Он не метал грома и молний, он даже не обнаружил признаков гнева, он просто пропустил мимо ушей слова Кнопса, но Кнопс почувствовал, что сделал ошибку. Насколько опасна была эта ошибка, ему суждено было узнать лишь гораздо позже, ибо у Теренция — и это следовало знать Кнопсу — была хорошая память, и он точно вел свой счет.

Нерон отпустил гостей. Остался один в пышном зале. Слуги, не зная, что император еще здесь, пришли тушить огни. Они с испугом разбежались, увидев его мрачное лицо. Но он позвал их и велел делать свое дело. Они погасили светильники.

И вот цезарь Нерон сидит один, в полной темноте, на подмостках — в белом одеянии актера, с венком на голове, страдальчески и гневно выпятив нижнюю губу. Он чувствует себя непонятым и очень одиноким. Какой ему толк в обладании «ореолом», какой ему толк в том, что от него исходит сияние и из головы его, точно рога, растут лучи? Глупый мир хоть и признал его великим императором, но не понял, что он был чем-то еще большим — великим артистом.

5. КЛАВДИЯ АКТЕ

В эту пору распространилась весть, что Клавдия Акте, подруга Нерона, после долгого отсутствия собирается посетить свою сирийскую родину. Это известие наполнило ожиданием Сирию и Междуречье, ибо Клавдия Акте была одной из популярнейших в империи личностей.

Она родилась в рабстве, детство у нее было тяжелое. Ее хозяин намерен был сделать из нее акробатку, ей пришлось пройти через суровую школу — ругань, побои, голод. Когда ей минуло девять лет, красивую гибкую девочку купил императорский двор. Нерон, сам еще юноша, увидел Акте, когда ей было пятнадцать лет, и страсть, с первого мгновения связавшая обоих, устояла перед всеми бурями его жизни и царствования.

Акте была несколько выше среднего роста, нежного и в то же время крепкого сложения. У нее была матово-белая, прозрачная кожа. Под чистым лбом — густые черные разлетающиеся брови и зеленовато-карие глаза, светлые и любопытные, с острым взглядом. Большой, благородного рисунка рот изгибался над своевольным подбородком. Нерон воспел Акте в изящных стихах, и некоторые из них стали популярными, в особенности два стихотворения, где он славил Акте за то, что в ней сочетаются дитя и женщина, целомудрие и страсть.

Порой в кругу друзей Нерона она демонстрировала искусство, которому ее учили в детстве. Это было нечто среднее между акробатикой, пантомимой и танцем. На лице ее лежала обычно какая-то тень печали — след сурового детства, но когда она танцевала теперь, не чувствуя над собой угрозы, свободно отдаваясь движениям, печаль эта исчезала. Тогда она снова становилась ребенком, которым ей запрещалось быть в ранней юности, и детская наивность ее искусства заставляла забывать об утонченной, с таким трудом и страданиями приобретенной технике. Особенно известна была одна из ее маленьких пантомим, пустячок, детская игра. Она изображала ребенка, запускающего нечто вроде юлы на маленьком шнурке, радующегося своей ловкости и еще больше — своей неловкости. Она вращала юлу на шнурке, высоко подбрасывала ее, ловила, серьезная, нежная,

глубоко погруженная в игру, сердито смеясь неудаче, счастливая удачей. Играя, она не то приговаривала, не то напевала своим тонким голоском: «Кружись, моя юла, — рада ли ты, когда я кружу тебя, — рада ли ты, когда кружишься, — ведь я так рада». Все население обширной империи напевало эти глупые детские стихи, даже люди, не знавшие ни слова по-гречески. Стихи Гомера — и те не были так широко известны.

Акте была любимицей города Рима, любимицей империи. Видя императора рядом с очаровательной, серьезной, веселой девушкой, которую он, по-видимому, любил так же сильно, как и она его, толпа, ликуя, приветствовала его и не хотела верить мерзостям, о которых рассказывали враги Нерона. Акте первая стала называть его старинным родовым именем «Рыжебородый», прибавив ласковое «Малыш». Массы подхватили это имя. Акте, молодая, воздушно-легкая, шла через кровь и грязь, которыми господство над миром наполнило Палатин, и мрачные события царствования казались невероятными рядом с сиянием, которое она излучала.

При этом она ничуть не старалась выставлять себя безупречной. Она не скрывала, что была любопытна, и проявляла откровенный интерес к сплетням — не только к тем, которые занимали Рим, но и к долетавшим из Александрии и Антиохии. Она была порой зла на язык и ради красного словца могла уничтожить человека. Когда она сидела на играх в императорской ложе, она увлекалась не меньше, чем простой народ, и, вопреки приличиям, громко кричала вместе с народом, с жадным любопытством высовывалась из ложи, чтобы лучше видеть, как умирают люди и животные. И народ ликовал, ибо она, Клавдия Акте, была как сам народ. Она была и капризна, как чернь, и не скрывала своих капризов. Случалось, что в цирке, когда кругом все бурно требовало помилования гладиатору или борцу, Акте, со своим чистым лбом и детской улыбкой на устах, вытягивала руку, повернув книзу большой палец, неся смерть побежденному.

Она отлично вела денежные счета, эта юная девушка, и гордилась этим. Ее поставщикам опасно было попадаться в просчетах. Она занималась строительством с большим размахом, владела поместьями, великолепными виллами в ПUTEОЛАХ, в ВЕЛЕТРАХ, содержала двор.

Но Акте откладывала гораздо больше денег, чем тратила. Воспользовавшись доброй минутой, она убедила Нерона переписать на ее имя доходнейшие из императорских кирпичных заводов и, где просьбами, где нажимом, достигла того, что большая часть общественных зданий возводилась из материалов, поставляемых ее заводами, и, конечно, уж не по самым дешевым ценам.

Но Рим и мир все прощали Клавдии Акте. Все хорошее, что делалось Нероном, исходило от нее, все злое, что совершалось в его царствование, творилось против ее воли. Она мила и весела, пел Нерон, она умное, пленительное дитя богини Ромы. И такой видел ее мир.

Акте была отважна и настойчива в своей страсти. Когда Нерон, преследуемый сенатом, погиб, она потребовала у новых властителей выдачи его тела. Чтобы достигнуть своей цели, она не побоялась вызвать чуть ли не восстание, хотя это грозило ей смертельной опасностью. Отказать ей не посмели. В тот момент, когда кругом, по приказу сената, уничтожались бюсты Нерона, гермы с его головой и другие изображения, она с великолепной смелостью публично сложила в своем поместье на Аппиевой дороге погребальный костер для своего царственного возлюбленного. Костер в семь ярусов, как и подобало императору; с верхнего яруса она пустила ввысь орла, который унес бессмертного усопшего к его предкам-богам. А урну с прахом она похоронила в своем парке и воздвигла над ней мавзолей.

Полгода она соблюдала траур. Затем возобновила свою прежнюю жизнь, спокойная, веселая, точно дитя. Ее друзья находили, что искусство ее стало еще более легким, воздушным. Публично она никогда не выступала, но знатоки заявляли, что и теперь еще, в тридцать два года, через тринадцать лет после смерти Нерона, она была первой в искусстве пантомимы. Народ все еще радостно приветствовал ее всюду, где она ни появлялась, и императоры из дома Флавиев не смели лишить ее привилегий, отличий, почестей.

И вот Клавдия Акте прибыла в Сирию, чтобы снова повидать родину, которой она не видела со времени своего сурового детства.

6. ЦЕЙОНИЙ ПЕРЕД ЛИЦОМ НЕПРЕДВИДЕННОГО

Для губернатора Цейония ее посещение было нескромности. Клавдию Акте он уже в Риме ощущал как нечто стеснительное, некое враждебное начало, существо, совершенно противоположное его собственной натуре. Простота, с которой она всегда достигала всего, чего хотела, ее благословенная легкость казались ему насмешкой неба над его собственным суровым трудом. С тех пор как распространилась весть о ее прибытии, на улицах Антиохии снова стали распевать глупую песенку о юле, которая уже и в Риме злила Цейония. Ее пели все — его рабы и чиновники, уличные мальчишки, римляне, сирийцы, греки. Для Цейония она звучала насмешкой. Он сам был юлой, которую кружили, а эта глупая, дерзкая песенка требовала, чтобы он еще радовался этому.

Он охотно не обратил бы внимания на приезд Клавдии Акте. Но это было невозможно. С Палатина ему дали понять, что надо использовать пребывание Акте в Антиохии, чтобы склонить ее выступить главной свидетельницей против самозванца Теренция. Как этого добиться? Не исключено, что женщина, любившая подлинного Нерона, поможет раскрытию обмана. Но кто поймет душу девушки, сочинившей нелепую песенку о юле?

Акте тотчас же откликнулась на приглашение Цейония. Принятая с почетом, стояла она в его рабочем кабинете, оглядывая быстрыми любопытными глазами комнату, обставленную с несколько пресной пышностью, смеялась своим знаменитым непринужденным, веселым смехом. Цейоний вежливо задал ей вопросы, какие полагались в таких случаях: давно ли она не видела родины, понравилась ли ей теперь Антиохия, долго ли она собирается оставаться здесь. Она дружелюбно отвечала ему, улыбалась, поглядывала на него и под конец сказала с еще более широкой улыбкой:

— А теперь, Цейоний, спросите же меня о том, что вас все время угнетает с той минуты, как вы услышали о моем приезде.

Губернатор, несколько озадаченный ее беспечным тоном, но вместе с тем испытывая облегчение, сначала

сделал вид, что не понимает, о чем речь. Затем признался, что обеспокоен мыслью о ее дальнейших намерениях — собирается ли она переехать через границу и встретиться с так называемым Нероном, — ведь приглашение она, по всей вероятности, получила.

— Конечно, — сказала Акте, с серьезным видом кивнув головой. — Представьте себе, мой Цейоний, — продолжала она, — я и сама еще не знаю, приму ли приглашение. Любопытно мне, надо признаться, взглянуть на этого человека, и я почти уверена, что встречу с ним.

Но легкий, беспечный тон, каким были сказаны эти слова, подействовал на Цейония хуже, чем если бы она решительно заявила о своем намерении стать на сторону противника: в этом случае можно было бы угрожать, — пожалуй, даже наложить запрет. Но приказывать такому воздушному и неуловимому существу было бы смешно.

— Я не советую вам ехать в Междуречье, моя Акте, — сказал он наконец довольно холодно. — Уже самый факт, что вы посетите самозванца, будет истолкован нашими противниками как доказательство вашей веры в то, что Нерон, быть может, жив; скажут, что вы считаете этого человека Нероном. Не будет ли нежелательным по отношению к императору Титу, если вы дадите повод к такому предположению? Ведь никто не знает лучше вас, что Нерон умер.

Против воли он напряженно выпрямился, этот сухой, пожилой офицер, и Акте поняла, почему его прозвали Дергунчиком. Она встала, оперлась о тахту в восточном вкусе, на которой только что сидела. Но когда неподвижно сидевший Цейоний хотел подняться — было неприлично сидеть в присутствии дамы, — она легко и энергично нажала на его плечо, заставив его снова опуститься в кресло, посмотрела маленькому, измятому человечку в лицо, на котором все сильнее выступали чашоточные пятна, и сказала, улыбаясь:

— Вы забываете, мой Цейоний, что я любопытна. Если пять миллионов людей думают, что этот человек — Нерон, неужели подруга Нерона не имеет права взглянуть на него?

— Нет, — проскрипел Цейоний. — Не думаю, — прибавил он вежливее, — перед богами, перед императо-

ром, перед сенатом и римским народом она, я считаю, не имеет этого права.

Он сидел прямо, поглаживая пальцами одной руки ладонь другой.

Акте опустилась на тахту и подобрала ноги, не усаживаясь, — она не любила сидеть, — а скорее полулежа.

— Императора и сената я никогда не боялась. Народ вряд ли имеет что-нибудь против того, чтобы я взглянула на так называемого Нерона, — пожалуй, даже желает этого, а боги уж наверняка ничего не имеют против. Остается, значит, в крайнем случае спросить: как посмотрит на такое посещение губернатор Цейоний? И что вы, в самом деле, предпримете, мой Цейоний, если я решусь на это?

— Я и сам еще точно не знаю, — деревянным голосом сказал губернатор. — Возможно, что я этому воспрепятствую.

— Силой? — с любопытством спросила Акте, широко улыбаясь.

— Если бы я решил помешать вам, то, в случае надобности, действовал бы даже силой.

Акте расхохоталась от всей души (этот ее смех был знаком всему Риму).

— Вы — храбрый человек, — сказала она. — Но разрешите мне продолжить этот разговор в другой раз. Сейчас я должна на два часа прилечь. Императрица Пoppея брала с собой, отправляясь в путь, целое стадо ослиц, чтобы по ночам мыть лицо их молоком. С меня довольно двух часов послеобеденного сна. Но уж это непременно. Как-никак, а мне уже тридцать два. Итак, до скорого свидания, Цейоний.

Вечером того же дня губернатор нанес ей ответный визит. Молодая, уверенная в себе, сидела она против изнуренного, подавленного человека. Если бы он петушился, как утром, она бы просто посмеялась над ним. Но очарование, исходившее от Акте, коснулось даже его, он понемногу постигал ее сущность. Он решил до конца довериться этой женщине и, вместо того чтобы допрашивать ее и понапрасну угрожать ей применением силы, откровенно поведать ей угнетающую его тяжелую заботу.

Осторожно, чтобы не задеть ее и не оскорбить память усопшего императора, он разъяснил ей, что поли-

тика Нерона была великолепна, но неразумна. Стремиться включить запутанный, капризный Восток в стройную, размеренную систему империи было утопией. Рим не мог взять от Востока и переварить больше того, что уже проглотил. Пусть даже политика Флавиев на Востоке неправильна, — есть ли в настоящий момент хоть малейшие шансы претворить в жизнь идеи Нерона? Если политика энергичной экспансии на Восток провалилась уже при первой попытке, тогда, когда ее направляли из центра империи и подчиняли ей весь государственный аппарат, можно ли довести ее до конца теперь, действуя отсюда, с периферии, и располагая лишь ничтожной долей прежних средств? Нет, это было бы безнадежно даже в том случае, если бы за этим проектом стоял не жалкий раб, а подлинно великий человек. Из этого могли бы родиться лишь неисчислимые бедствия.

— Я взываю к вашему разуму, моя Акте, — сказал губернатор с непривычной живостью, — к вашему всем известному здравому смыслу. На опьянении можно строить ослепительную политику, но лишь на короткое время. Нерон, без сомнения, был более блестящим, если хотите, более крупным человеком, чем грубый и расчетливый старик Веспасиан. Но Нерон оставил сорок миллиардов долгу, а у Веспасиана оказалось семнадцать миллиардов накоплений. Теперь, когда, после долгих и тяжелых усилий, Восток удалось до некоторой степени успокоить, попытка вернуться сызнова к политике Нерона может повредить противникам Нерона разве что на несколько месяцев, так как в итоге тот, кто проводит в наши дни нероновскую политику, неизбежно проиграет. — И угрюмо, погрузившись в себя, он признался: — Я сам в одном ничтожном деле поддался личной страсти, вместо того чтобы уступить разуму, и боюсь, что это маленькое отклонение от прямой линии — одна из причин бессмысленной месопотамской затеи. Позвольте мне предостеречь вас, Акте, и позвольте надеяться, что вы исполните мою просьбу. Наша эпоха склонна к опьянению. В опьянении большой соблазн. Но одно из двух: либо привести к гибели римскую цивилизацию, либо вернуться к разуму окончательно и всем, а опьянению отвести уголок в частной жизни и в искусстве. В политике ему места нет.

Акте слушала безмолвно и серьезно. Может быть, человек этот и прав. Но ей-то какое дело? Разве она собирается заниматься политикой? Она попросту хочет видеть этого удивительного Нерона, увидев его, она решит, что делать. Разве она не имеет права на личную жизнь? Политика, здравый смысл — отлично, превосходно. Но если время от времени не позволить себе минуты опьянения, то весь этот здравый смысл гроша ломаного не стоит. Когда под конец задаешься вопросом, что же, в конце концов, было стоящего в твоей жизни, то оказывается, что именно немногие часы опьянения. Но нет смысла втолковывать такую истину этому нищему, обиженному судьбой человеку, — он никогда ее не поймет.

Она любила Нерона. Нерон потерпел крах. Многие говорят, что содеянное им, вся его жизнь — безумие, и мнение этих благоразумных жестоко подтверждено событиями. Но разве не это самое безумие, не романтика императорского могущества, богоподобия, власти — разве не они создавали ореол, привлекавший к нему сердца? Разум можно уважать, но любить можно лишь другое — вот это сияние, «опьянение», как выразился жалкий Цейоний. Ради этого опьянения она и любила Нерона. Ради этого опьянения она и сейчас еще любит его. Правильна или ошибочна его политика, вся его жизнь, он был, без сомнения, великий человек, достойный любви. Все в нем было достойно любви — его богоподобие, тщеславие, жестокость, блеск, улыбка, его капризные, чувственные губы, его серые глаза, то слегка скучающие, то бурно-восторженные, его гладкая белая кожа. Как она любила его за нетерпеливую жадность, которая заставляла его внезапно прерывать пир или заседание сената, потому что ему внезапно, сейчас, сию же минуту хотелось ее. А неумеренность его планов, их размах, дерзкое презрение к трудностям, неразумность его проектов — как она любила его за все это!

Акте не была ханжой и после смерти Нерона не разыгрывала из себя весталки. Среди мужчин, принадлежавших к кругу ее близких друзей, был один поэт по имени Италик. Он писал стихи, жесткие, чистые, величественные, точно высеченные из мрамора. Его любовь к Акте была ровнее, постояннее, разумнее, чем любовь Нерона. У него было много похвальных качеств — ум,

образование, поэтический талант, даже юмор. С ним было хорошо за столом и в постели, и она не без удовольствия сознавала, что этот опытный, обычно такой спокойный человек, один из первых поэтов эпохи, а быть может, и первый, любил ее до беспамятства. Вероятно, многим непонятно было, почему она не отвечала на эту любовь более горячо. А это было так просто: живой поэт не мог победить мертвого Нерона. Когда она думала о глазах Нерона, о том, как они заволакивались дымкой гнева или желания, о том, как жестоко ее стискивали его белые руки, о голосе, который от металлических раскатов опускался до детски нежного шепота; когда она приходила в его мавзолей и старалась вызвать перед глазами образ Нерона, хотя Нерон уже тринадцать лет назад стал прахом, тогда всякий другой рядом с ним становился ничтожной тенью. И теперь, хотя она чувствовала почти сострадание к бедняге Цейонию, этому убогому адвокату разума, ее вдруг властно захватило воспоминание о покойном — именно после протеста Цейония против опьянения. Желание видеть человека, которого столь многие принимали за Нерона, выросло в неодолимое искушение, оно было гораздо сильнее, чем простое любопытство. Если в нем будет хоть что-нибудь от Нерона, хотя бы частица той неопишуемой смеси величия, безумия, императорского блеска и мальчишества, — как она будет счастлива!

— Может быть, это Нерон, — сказала она. Она говорила как бы про себя, мечтательно, с той чуть заметной, самодовольной, непонятной улыбкой, с которой она некогда обрекала на смерть борца или гладиатора, взиравшего на нее с мольбой о пощаде.

— Не бойтесь, мой Цейоний, — продолжала она, улыбаясь шире при виде того, как ее собеседник испугался и побледнел перед столь откровенным проявлением безрассудства и злой воли. — Я никому не буду «мстить», ни Титу, ни кому-либо из сенаторов, насмерть затравивших моего друга и императора; и я знаю, что Нерон умер, я видела его труп и черную дыру на шее, через которую ушла его кровь, его жизнь. Я сожгла прах Нерона, и урна с пеплом стоит в моем парке на Аппиевой дороге. Но, может быть, я полюблю того, кто

называет себя теперь Нероном, — и тогда он будет Нерон.

Она произносила эту бессмыслицу ясным, спокойным голосом. Она смотрела на Цейония ясным, ничуть не помутившимся взглядом. Но Цейония охватил страх и трепет перед этим миром, где повсюду царило безумие и где не было места разуму. Под его началом было семь римских легионов, но он с ужасом понял, что совершенно бессилен. Что могли сделать его солдаты против улыбки, против сумасбродных капризов этой женщины? На недели, на месяцы отдана была судьба его провинции в руки этой потаскухи, этого ребенка.

Он ничего не мог сделать против нее. Она была — как река Евфрат — равнодушна и полна неожиданностей; никто не мог предвидеть, что она принесет, — благословение или проклятие. Бессмысленно было возмущаться ею. Оставалось сложить руки и ждать, что она предпримет.

И он в самом деле не почувствовал гнева против Акте, узнав через несколько дней о ее отъезде в Междуречье.

7. КРУЖИСЬ, ЮЛА!

Они стояли друг против друга — Акте и Варрон. Они не виделись почти тринадцать лет. Он смотрел на ее нежное, привлекательное лицо; чувствовалось, что она стала опытнее и чуть-чуть смиреннее. В былые времена Акте часто ревновала возлюбленного к Варрону, его интимнейшему другу, отнимавшему у нее немалую долю чувств и времени возлюбленного. Но сейчас, когда она увидела знакомые черты — крепкое мясистое лицо, умные глаза, хорошей лепки лоб, — она поняла, как много общего их соединяло. Никто не знал императора лучше их, никто не любил его сильнее, чем Варрон и она. С такой силой пронзило ее воспоминание о Нероне, таким осязательно близким стал вдруг его образ, что она побледнела. Она испугалась и того, что Варрон так постарел. На самом деле он был удивительно моложав для своих пятидесяти лет, но она хранила в памяти его прежний образ, и ей сразу бросились в глаза новые морщины, которых другие не замечали.

— Вот мы и свиделись, мой Варрон, — сказала она, и на ее живом лице, отражавшем малейшие изгибы чувства, можно было прочесть радость, удивление, самоотречение.

Варрон же думал: «Почему я не любил ее? У меня был зоркий, опытный глаз. Разве я не видел, как она красива? Только повинуясь разуму, я запрещал себе любить ее. Люблю ли я ее теперь? Еще несколько месяцев тому назад я отказался бы ради нее от всей этой нелепой игры, стал бы домогаться ее, завоевал бы ее и жил с ней год, два, а может быть, и пять. Теперь эта дурацкая игра отняла у меня все силы. Я опустошен, изможден, я — старик».

Но на его лице, в его словах нельзя было уловить и следа этих мыслей.

— Дайте-ка на вас посмотреть, — сказал он. — Зубы у вас, право же, выросли и стали умнее. — Они с Нероном часто подтрунивали над мелкими, ровными зубами Акте, и Варрон полусуто уверял, что такие зубки придают ей глуповатый вид.

— Подросли ли мои зубы, я не знаю, — сказала Акте. — Но умнее я действительно стала. Это уж наверняка. А вы, мой Варрон?

Она попыталась улыбнуться, но это ей не удалось. Ее волновало воспоминание о том времени, когда они втроем — Нерон, Варрон, она — подтрунивали друг над другом и ссорились, часто в шутку, порой — всерьез.

Она рассердилась на собственную сентиментальность.

— Расскажите, — сказала она живо, — что вы такое тут затеяли? Чего ради вы устроили эту историю с Нероном? Чего вы ждете от нее? Растолкуйте мне все это хорошенько. Вы ведь знаете, что я ужасно любопытна.

Она полулежала на тахте, закинув за голову обнаженную руку, голубая ткань ее одежды падала широкими складками. Лоб был открыт, черные, тонкие, не очень густые волосы, вопреки моде, локонами спускались на затылок.

Варрон стал рассказывать. Он не скрыл, что непосредственным поводом ко всей этой истории была его антипатия к Цейонию. Он говорил легко, ровно. И все же в его словах сквозила та страсть, которую он вкладывал в свое предприятие, и та вера в идею, которая крылась за всем. Он говорил о принесенных жертвах, о

своей дочери Марции, о своем друге Фронте, о деньгах, времени, нервах, жизни, вложенных им в дело, и о том, что он ни в чем не раскаивается.

Акте вдумчиво слушала.

— Мотивов много, — сказала она. — Но, к сожалению, все это мотивы, подсказанные страстью.

— К сожалению? — отозвался Варрон. — Вы думаете, к сожалению? — И они дружески и в то же время испытующе взглянули друг на друга, стараясь разгадать, в какой мере они связаны прошлым и разделены настоящим.

— В Антиохии мне убедительно доказали, — сказала Акте, — что предприятие ваше глупо и безнадежно. Люди, растолковавшие мне это, — серенькие, неприятные люди, но разум на их стороне.

— Разум. — Варрон пожал плечами, и на лице его появилось выражение того победного легкомыслия, которым он всегда завоевывал людей. — «Кружись, юла», — смеясь напомнил он Акте. — Что такое разум? Всякий считает разумным то, что служит к утверждению его собственной сущности, а то, что противоречит ей, он отрицает. Я создал этого Нерона, потому что без Нерона, без его дела жизнь для меня теряет свою прелесть. Вы любили Нерона по-своему, по-женски, Акте, и любите его по сию пору; вы похоронили его и чтите его память. Я люблю его на свой лад: я продолжаю его дело. Разве это не разумно?

— Ах, Варрон, — сказала Акте, — я часто вас ненавидела. Но я знаю, как вы любили Рыжебородого Малыша и как он любил вас.

— Я люблю его по-прежнему, Акте, — сказал Варрон.

Они посмотрели друг на друга понимающим, радостным, серьезным взглядом.

8. БЕЗУМИЕ

Варрон с радостным изумлением убедился, что приезд Акте вызвал счастливую перемену в его дочери. Марция, которая после смерти Фронта почти помешалась и точно съезжилась, замкнувшись в непроницаемую оболочку, вдруг пришла к нему и заговорила о Клавдии Акте. К удивлению Варрона, она не отступала от этой

темы. Ей хотелось побольше услышать об Акте, узнать о ней тысячу подробностей. Наконец она выразила мнение, что такой гостье, как Акте, нельзя не устроить почетной встречи, и так как поездка по вновь завоеванным городам еще на некоторое время задержит императора вдали от его резиденций, Эдессы и Самосаты, то ей следовало бы самой принять важную и желанную гостью. Удивленный Варрон колебался, возражал, не понимая, что заставляет Марцию тянуться к Акте. Но Марция настаивала, пришлось ей уступить.

Дело было в том, что Марция видела в Акте и ее судьбе отражение собственной участи. У этой Клавдии Акте умер подлинный Нерон, и вот она приехала сюда, на Восток, смирившись, готовая довольствоваться Лже-Нероном. Но и у нее, Марции, умер подлинный Нерон, ибо император и Фронтон слились для нее воедино, так что вместе с Фронтоном ушел от нее и Нерон. У них обоих, у Акте и у Марции, осталась только оболочка Нерона.

Акте, со своей стороны, было интересно увидеть Марцию. В Риме и Антиохии много толковали о Марции, аристократке, которой выпала на долю странная судьба — стать женой раба, разыгрывавшего роль императора. Даже слухи об импотенции этого человека проникли за море — как и слухи о связи Марции с полковником Фронтоном. Акте с любопытством ждала встречи с Марцией.

С обеими женами подлинного Нерона она сумела поладить — сначала с Октавией, потом с Поппеей. То великолепное бесстыдство, с которым Акте держалась, все время оставаясь с Нероном, безрассудно уверенная в своем Нероне, дружелюбно принимая каждый его брак — и пережив обоих его жен, — очень помогло ей завоевать симпатии толпы. Толпа любила Акте за смелость ее страсти и за презрение к знакам внешнего достоинства, радовалась спокойствию, с которым она предпочла быть и оставаться подругой Нерона, хотя стоило ей захотеть — и она могла бы стать римской императрицей. И вот теперь Акте явилась взглянуть на супруга нового Нерона, решив установить с ней такие же хорошие отношения, как с женами подлинного Нерона.

Акте повела себя непринужденно. В несколько судорожной любезности и величавой осанке Марции она

сразу почувствовала всю ее опустошенность; ее оцепенелое помрачение. С первого взгляда Акте поняла, что нелегко будет снискать дружбу Марции; но трудность задачи привлекала ее, и она стала выказывать Марции еще большую сердечность. Весело и доверчиво расспрашивала ее об интимных вещах, как женщина женщину, но без навязчивости, постепенно разрушая ее броню. Марция, правда, смотрела на Акте свысока, как на рабыню по рождению. Но разве муж ее не стал из раба императором, и если в самом императоре сидел раб, то почему бы ее подруге не быть рабыней? К тому же она видела в Акте естественную союзницу; ибо не приходится ли Акте, как и самой Марции, отречься от подлинного Нерона ради этого несчастного горшечника? Беседы с Акте действовали на Марцию благотворно. Вскоре они сблизились друг с другом, вскоре Акте могла уже заговорить о Нероне, о Неронах, принадлежавших им обоим, с чуть заметной, грациозной и легкой иронией, так что неясно было, говорит ли она об императоре Нероне или о самозванце.

До сих пор Марция откровенно говорила о своем Нероне только с самой собой и с Фронтонем. Но осторожные, легкие шутки Акте все больше лишали ее брони, и она уже не боялась говорить о своем позоре с подругой — сперва сдержанно, потом все откровеннее. Тихо, горько, доверчиво смеялась она над удивительной судьбой, которую послали ей боги. Понизив голос, со странной улыбкой на гордых губах, искривленных мукой, она говорила Акте о свойствах Нерона — свойствах подлинного Нерона, о которых она знала от других, и о свойствах Нерона-Теренция, в которых она убедилась на личном опыте.

Акте внимательно и участливо слушала. Она не старалась отличить правду от вымысла. Но, слушая речи подруги, она особенно ярко вспоминала о настоящем Нероне, своем друге и императоре, и, как ни странно, его облик благодаря речам этой полупомешанной понемногу менялся. Она спрашивала себя, не влились ли незаметно в образ ее возлюбленного, который она хранила в душе, черты других мужчин, как в образ Нерона, созданный этой безумной? Не перенесла ли она, не переносит ли сейчас на своего умершего возлюбленного все то, что казалось ей прекрасным и достойным любви в

других мужчинах, и не оставалась ли она слепа к таким его качествам, которые в других отталкивали ее? Не то чтобы она теперь меньше любила своего мертвого Нерона, но она лучше, яснее судила о нем.

Марция, со своей стороны, говоря с Акте об императоре, все больше думала о Фронте. Все сильнее к воспоминанию об умершем Нероне и об умершем Фронте примешивалось представление о живом Теренции, она уже не в состоянии была отделять один от другого эти три образа. Доверчиво, таинственно и сладострастно рассказывала она удивленной Акте о том, что Нерон любил употреблять в постели непристойные слова. Она говорила «Нерон», — а думала: «Фронтон». То, что Нерон, невольник по рождению, в минуты упоения имел право говорить непристойности и даже не мог не говорить их, делало Фронтон еще милее для нее. То, что Нерон-Теренций был императором, делало императором Фронтон, живой и мертвый сливались воедино.

В душе Марции, как и в душе Акте, вырастал образ достойного любви мужчины, обе они украшали его лучшими чертами многих мужчин, и обе называли этот образ «Нероном».

И образ этот позволял им обеим — окоченевшей, безумной Марции и умной, трезвой Акте — глубоко проникать чувством в чувства подруги. Марция, как бы угадав все, что пережила и передумала подруга, говорила:

— Это и в самом деле неправда, что Нерон умер. Он жив. Если вы хотите его по-настоящему почувствовать, то не надо слишком глубоко заглядывать в сердце нашего здешнего Нерона. Но я знаю место, где вы можете найти подлинного Нерона, то есть, я хочу сказать, его тень, его «идею».

И Акте сразу поняла, что Марция употребила слово «идея», которое она выговаривала с таинственной и лукавой улыбкой, в платоновском смысле, что она подразумевала неразрушимый идеальный образ Нерона, который они обе носили в душе.

— Где же, моя Марция, — спросила она, глубоко тронутая странными словами подруги, — где же я найду его, этого подлинного Нерона?

Марция с многозначительным и загадочным видом, приложив палец к губам, шепнула ей:

— В Лабиринте, дорогая. Он скрывается в Лабии-

ринте. Если вы очень упорно о нем думаете, если вы всей душой призываете его, то он приходит на ваш зов, он с вами, он называет вас теми ужасными, непристойными и милыми сердцу именами, которыми он любил называть нас, когда еще пребывал среди нас во плоти. Хотите ли, дорогая сестра, спуститься как-нибудь со мною в Лабиринт, чтобы увидеть и услышать его? — спросила она настойчиво, жадно.

И Акте, увлеченная этой навязчивой идеей подружки, ответила, также понизив голос:

— Да, дорогая, ведите меня туда.

9. ДВОЕ РАЗОЧАРОВАННЫХ

Государственный секретарь Кнопс в своей Эдессе и генерал Требоний в своей Самосате с приятным нетерпением ждали приезда Акте. Оба они умели обращаться с женщинами, оба были уверены в своей мужской силе, и оба на опыте убедились в своей неотразимости. Спать с женщиной, чары которой были прославлены по всему миру, казалось им обоим целью, достойной того, чтобы потрудиться.

Кнопс, который чувствовал себя в Эдессе наместником императора, первый нанес ей визит. Он сразу попытался пустить в ход наглое, циничное остроумие, которое не раз помогало ему, еще в пору рабства, завоевывать женщин. Но Акте сохраняла холодно-любезный тон. Она разглядывала этого хоряка — Кнопса — с любопытством, но явно без всякой теплоты. Кнопс, раздраженный ее сдержанностью, стал выставлять напоказ свои заслуги. Постарался блеснуть перед нею своими политическими талантами. Цинично намекнул, что именно в его голове родилась идея потопления Апамен, — замысел, который решил победу Нерона. Но упоминание об этом событии, казалось, лишь опечалило Акте. В свое время Нерон мало горевал о том, что его называли виновником пожара, несмотря на непричастность его к этому событию. Ее же этот глупый, изобретенный врагами Нерона навет очень огорчал; ей неприятно было, что потопление Апамен, измышленное этим второразрядным плутом, снова воскресило этот слух. Она кивнула Кнопсу, все такая же безучастная, любезная:

— Нужна изрядная порция дерзости, — сказала она задумчиво, — чтобы разнуздать такую стихию. Кто строит все свои расчеты на глупости черни, тот бьет наверняка, тому минутный успех обеспечен. Мне только любопытно знать, как долго толпа позволит дурачить себя, и удастся ли вам сыграть на этом до конца. А теперь позвольте поблагодарить вас за интересную беседу, — сказала она в заключение. — Настал час, который я посвящаю отдыху. — И она вежливо и решительно попрощалась с ним. Кнопс очутился за дверью, уязвленный в своем мужском тщеславии, и его мало утешала мысль, что, по существу, Акте не что иное, как претенциозная стареющая восточная женщина.

Требоний не поленился приехать из Самосаты в Эдессу, чтобы приветствовать Клавдию Акте. Конечно, он вошел, звеня и гремя своими знаками отличия; он было взял еще более победный тон, чем Кнопс. Он петушился, громко и недвусмысленно восхищался красотой Акте, смеялся своим знаменитым жирным смехом, угощал собеседницу своими лучшими остротами. Акте с интересом наблюдала это шумное явление: ничего подобного она еще не видала. Она пощупала знаки отличия, заставила Требония рассказать историю о Стенном венце, весело провела с ним полчаса. Считая себя уже у цели, он вдруг с довольным видом обхватил ее за плечи крепкой, покрытой рыжеватым пухом рукой.

— Ну, малютка, а ведь неплохо было бы нам...

Она отшатнулась, даже не возмущаясь, но с таким безмерным удивлением, что он, в свою очередь, отчаялся в успехе.

Вечером, сидя в своем кабачке, Кнопс и Требоний делились впечатлениями от встречи с Акте. Впечатления эти, однако, успели сильно измениться в их глазах. Теперь оба они находили, что Акте делала им авансы; но для такой несколько уже потрепанной дамы она слишком претенциозна, и претензии ее отнюдь не соответствуют ожидаемому удовольствию. У них, занятых людей, попросту не хватит времени для этакой жеманной козы.

Они говорили, напрягая голос. Люди, сидевшие вокруг, почтительно прислушивались к речам и деловито разносили их слова по городу.

10. ВОСКРЕСШИЙ ИЗ МЕРТВЫХ

Теренций, узнав, что Клавдия Акте приехала в Месопотамию повидаться с ним, отнюдь не ускорил объезда вновь завоеванных городов. Он боялся этого «нового» свидания с Акте. Правда, желание Акте посетить его свидетельствовало о ее доброй воле. Тем не менее он ожидал этой «новой» встречи с тем же чувством, с каким в свое время ждал брачной ночи с Марцией. Акте знала Нерона лучше, чем кто-либо на свете. Нерон означает — «Муж», «Мужественный», и Акте было известно, что Нерон носил это имя с честью.

Но, утешал он себя, разве он не Нерон? Разве он не стал Нероном «до мозга костей», так, что все побуждения Теренция неизбежно становились побуждениями Нерона? Если на мужскую силу Теренция Акте не действует, то в худшем случае это только доказывает, что Нерон потерял к ней влечение. Этот вывод вернул ему бодрость.

Он счел уместным не самому отправиться в Эдессу, а пригласить Акте к себе в Самосату. Акте была изумлена. Разве подлинный Нерон поступил бы так? Вероятно, нет. Но трудно было заранее предвидеть его поступки. Нельзя было с уверенностью сказать, что он сделал бы это, а того не сделал бы. Одно мгновение она колебалась — ехать ли ей в Самосату. Она рассказала Марции о приглашении императора, не скрывая своих сомнений. Марция сказала ей доверчиво:

— Не поехать ли мне с вами, дорогая сестра?

Так как Акте промолчала, она не упорствовала. Но лишь настойчиво попросила:

— Возвращайтесь поскорее. Я покажу вам Лабиринт.

О Лабиринте она не заговаривала с той первой встречи.

Итак, Акте одна уехала в Самосату. Она ждала встречи с императором в мучительно-счастливом напряжении, которого не испытывала уже долгие годы. В то утро, когда ее предупредили, что император посетит ее, она принялась ходить по всем комнатам, нарядившись как бы для подлинного Нерона, взбудораженная ожиданием. В сотый раз старалась она представить себе, что сделал бы настоящий Нерон, если бы снова свиделся

с ней при таких обстоятельствах, после столь долгой разлуки. Он рассмеялся бы тихо, добродушно, по-мальчишески, он подошел бы к ней близко, близко, потянул бы носом, обнюхивая ее, приблизил бы серые близоручие глаза к самому ее лицу, пристально взглянул бы на нее и только затем обхватил бы ее милыми мясистыми руками, рассмеялся, засиял, бросил несколько торопливых греческих слов. Затем замолчал бы, сопя, учащенно дыша, взял бы ее руки, крепко пожал и сказал бы на простом латинском языке:

— Здравствуй, Акте. Здравствуй, маленькая Акте.

Да, так именно он сказал бы, хотя ростом он и был не больше ее самой.

Клики перед домом, слова команды и звон оружия. Шаги вверх по лестнице. Знакомые шаги. Дверь распахнулась, портьера отброшена. Входит незнакомец.

Нет, не незнакомец: в комнату входит Нерон. Это его лицо, его широкий лоб, его рыжеватые волосы, его серые прищуренные близоручие глаза, его толстая, по-детски оттопыренная нижняя губа. Он идет к ней, он смеется добродушно, по-мальчишески, он подходит близко, близко, пристально смотрит на нее, хватая ее белыми мясистыми руками, сияет. И вот звучит голос Нерона, он бросает несколько торопливых греческих слов. Его ли это голос? И как странно он произносит «тэту».

Нет, только не придирайтесь, не хулить, не сомневаться. Она хочет, чтобы это был его голос. Это его голос. И вот этот голос произносит на простом латинском языке:

— Здравствуй, Акте, здравствуй, милая Акте.

Красивое удлиненное лицо Акте побелело, как будто она превратилась в одну из своих статуй. Безвольно, почти бессильно принимала эта обычно так хорошо владеющая собой женщина юношески бурные ласки незнакомца. Возможно ли это? Она видела на шее Нерона рану, через которую вытекла его кровь, его жизнь, — она помогала обмыть его труп, она поцеловала его, она присутствовала при возложении тела на костер и сожжении, его пепел торжественно хранился в мавзолее ее парка в Риме. И вот этот человек здесь, его близоручие глаза, его дерзкие, детские, чувственные, царственные губы. Все было толще, массивнее, пышнее, — ведь он стал на тринадцать лет старше, — но это было его лицо,

его облик. Могли ли боги вторично создать тот же образ? Она, конечно, знала о шутке, которую сыграл тогда Нерон с горшечником Теренцием, и в обострившем все ее чувства напряжении она замечала не только неправильное произношение «тэты», но и все малейшие оплошности. И все же она испытывала страх, счастливый и отчаянный. Комната была полна Нероном, ее возлюбленным, так именно ее руки касались Нерона, так проникало в нее дыхание Нерона. Но если это так, то принадлежит ли ей умерший? Испуг и блаженство привели ее в такое смятение, что она почти лишилась чувств.

Она приказала себе проснуться. Она сказала себе, что тело, лицо, маска могут повториться. Но если она хорошенько присмотрится, то заметит, что движения, походка этого человека — иные, что всей своей сущностью он не похож на погибшего. Но она не хочет этого слышать, — по крайней мере, до поры. Она тихо высвободилась из объятий незнакомца. Нежным голосом, еще теплым от возбуждения, спросила:

— Где же ты был все это время? Почему ты не позвал меня?

Теренций подготовился к подобным вопросам и составил ответы в стиле Нерона. Но, актер до глубины души, он сосредоточил в приветствии все, что в нем было нероновского, и в первую минуту выложился так, что теперь был совершенно пуст. Правда, он достаточно владел техникой, чтобы в ответах не сбиться с тона, но воодушевление ушло. Акте пришла в себя, Акте увидела перед собой смешного маленького комедианта. Она смотрела на него с таким же чувством, как на свою любимую птичку, из которой велела сделать чучело и которая стояла в ее комнате, жалкая и немая. Очарование было нарушено, она стыдилась великой, блаженной и полной отчаяния минуты, пережитой ею. И все же она была благодарна Теренцию за эту минуту и не дала ему заметить своего неслыханного разочарования.

В общем, эта первая встреча прошла так, что даже для тонкого наблюдателя могла бы сойти за свидание между подлинным Нероном и его подругой. Но Акте была рада, что его посещение было недолгим. После встречи она почувствовала себя усталой и легла отдохнуть, как всегда. Она приучила себя даже после волне-

ний спать свои два часа; спала она и сегодня. Но через ее сны прошел какой-то дикий, искаженный образ Нерона, и проснулась она более утомленной, чем легла.

В этот день Акте впервые почувствовала себя старой.

Она снова ощущала руки Нерона на своих плечах, кожа ее содрогалась от его дыхания, ее слух, ее сердце полны были голосом Нерона. Чьим голосом? Истинного или поддельного Нерона? Не все ли равно, какое имя носит этот человек? Не довольно ли того, что он существует? Разве это не было неожиданной, невообразимо великой милостью богов? Она готова была принять этого человека — кто бы он ни был — за Нерона, все видя, все слыша. И если порой она сердцем отшатывалась от него, потому что он был грубее, чем тот, кто жил в ее памяти, если ее ум высмеивал ее за то, что она поддавалась его игре, — лоно ее тосковало по нем.

Вечером того дня, когда произошла их встреча, Нерон дал в честь Акте пир. Некоторое время он не чувствовал подъема, но потом на минуту его вдруг снова осенило вдохновение великого актера. Осчастливленная этой минутой, она ждала, что он, подлинный Нерон, неожиданно грубым окриком вышлет гостей и жадно на нее набросится. Но он разочаровал ее. Пробыв на пиру положенное по этикету время, он церемонно попрощался и удалился.

То же самое произошло на следующий и на третий день. Тогда она сама сказала ему с естественным бесстыдством любящей женщины:

— Когда же ты переспешь со мной, Рыжебородый Малыш?

Он ждал этого вопроса и заранее подготовил ответ. Он сказал, смеясь:

— Желание вырвать у богов слишком много счастья преступно. Я дал обет, что буду воздержан и лишь тогда лягу с тобой, когда завоюю Антиохию.

Она с болью почувствовала, до какой степени он чужой, до какой степени не похож на Нерона.

Она решила отправиться в Эдессу, а оттуда, не задерживаясь, в Антиохию и Рим. Но, как это ни странно, ей оказалось трудно расстаться с этим человеком. Она осталась — на день, и еще на день, и еще на неделю,

11. ЛАБИРИНТ

Нерон, как ни был он примитивен и поглощен собой, тонко улавливал чувства окружающих, поскольку они касались его. Он понял, как обстояло дело с Акте и как она смотрит на него. Его прельщала мысль утвердиться именно в ее глазах. От него не укрылось, что Акте, на первый взгляд такую расчетливую и трезвую, он сильнее всего волновал тогда, когда погружался перед ней в свои романтические фантазии. Однажды он предложил ей посетить вместе с ним то место в Междуречье, которое ему дороже всего, — эдесский Лабиринт.

Акте была глубоко удивлена. Когда Марция говорила с ней о Лабиринте, она не думала, что это связано с ее новым Нероном, и сочла слова Марции за бред полупомешанной; тем не менее они наполнили ее любопытством и страхом. Когда же Нерон упомянул о Лабиринте, ее опять охватило волнение, и самое слово «Лабиринт», так гордо и таинственно звучавшее в устах Нерона, показалось ей загадочным и страшным.

В сопровождении Нерона Акте вернулась в Эдессу. Она не хотела утаить от Марции, что Нерон предложил ей спуститься в Лабиринт, но Марция, по-видимому, ничуть не сочла для себя обидным, что не она, а император будет сопровождать Акте. Нерон же ничего не имел против того, чтобы Марция пошла вместе с ними.

Таким образом, они втроем покинули город, перешли через реку Скирт и отправились в Лабиринт. Они были просто одеты и шли без свиты; Нерон не хотел, чтобы народ видел, как они спускаются в Лабиринт. С одним только факельщиком они проникли в огромную, погруженную во мрак пещеру с ее перепутанными ходами. Нерон прекрасно ориентировался здесь. Он шел впереди, не обращая внимания на факельщика, довольно быстро, так что Марция и Акте с трудом поспевали за ним по извилистым, неровным тропам. Наконец Нерон приказал факельщику остановиться и ждать их возвращения.

— Не бойтесь, — сказал он женщинам, велел Марции взять его за руку, подать другую руку Акте и пошел дальше по темному коридору.

Акте была смела, она не раз доказывала это, и все-таки ей было не по себе, когда она с трудом, неуверен-

но шла в темноте с этими двумя полубезумными людьми по тесным, низким, пахнувшим плесенью ходам, то и дело наклоняясь, чтобы не удариться головой. Она ничего не видела, но время от времени слышала короткий противный писк.

— Это летучие мыши, — сказал Нерон. — Я приручил некоторых из них; у них интересные лица. Не бойтесь, моя Акте, они не цепляются за волосы. Это нелепое суеверие. Мир, к сожалению, полон нелепых суеверий. — Он вздохнул, слегка рассмеялся. — Вот, — сказал он с удовлетворением, — теперь мы пришли на мое любимое место. Тут несколько ступенек вниз, почти как лестница.

Марция и Акте, ошупью и с трудом передвигаясь, пошли на его голос. От затхлого воздуха и почти осязаемого мрака у Акте все сильнее спирало дыхание.

— Вот мы и пришли, — донесся из темноты голос Нерона. — Садитесь, прошу вас, — сказал он вежливо, будто принимая гостей в своем дворце. Марция выпустила руку Акте. Акте хотелось остаться возле нее, чувствовать ее близость, теплоту тела, но она больше не могла найти Марции и не решалась окликнуть ее в присутствии Нерона. Она присела на корточки.

— Вы видите меня, моя Акте? — спросил немного погодя Нерон; судя по голосу, он был где-то слева, наискось, довольно далеко; пещера, куда он привел их, была, вероятно, просторна.

— Нет, — с удивлением откликнулась Акте, — как я могу вас видеть? Ведь здесь темно.

— Темно? — переспросил Нерон. — Ну так я буду вам светить, — гордо возвестил он. — Теперь-то вы видите меня? — продолжал он со злым торжеством и легкой угрозой в голосе.

Так как Акте молчала, Марция ответила за нее:

— Конечно, она тебя видит.

— Пусть скажет сама, — настаивал Нерон.

— Да, конечно, я вижу, — смущенно сказала Акте.

— Вы видите, как я подымаю руку? — спросил Нерон.

— Вижу, — ответила Акте.

— Вы расположены шутить, — рассмеялся Нерон. — Я вовсе не поднимал руки. Но это место вообще настраивает на веселый лад. Здесь очень уютно, не правда ли?

Да, здесь я чувствую себя привольно и именно здесь хочу остаться навеки. Это то место, которое словно создано для меня. Здесь реют тени великих древних царей Востока, здесь их погребли, здесь они хотели быть погребенными, и когда у меня появляется желание быть среди равных, я иду сюда и беседую с древними царями и богами.

Акте не ответила. Ее подавленность росла. Это был явно помешанный человек, и в своем безумии он мог на нее наброситься, принести ее в жертву какому-нибудь богу, своему гению или кому-нибудь еще, Лабиру, например, быкоглавому божеству Лабиринта. И все-таки в его голосе, даже в его словах была притягательная сила. Ибо так мог говорить и подлинный Нерон.

Немного погодя снова раздался голос Нерона.

— Теперь мы вернемся обратно, — сказал он, и Акте с облегчением вздохнула. Но он прибавил весело: — На обратном пути я не буду вести вас за руку. Я предпочитаю светить вам.

Акте испугалась. Она поднялась и стала ощупью пробираться вдоль неровных стен. Голос Нерона доносился уже издалека и с высоты; Нерон, видимо, уже вышел из нижнего зала пещеры. Весело болтая, он довольно быстро двигался вперед; его голос затихал вдалеке. Но теперь, по крайней мере, возле Акте была Марция.

— Мы будем здесь вместе, — сказала Марция ободряюще. — Разве здесь не хорошо?

— Да, да, — поспешно подтвердила Акте и судорожно схватила руку Марции. Она смутно вспоминала рассказы о людях, которые заблудились в Лабиринте, не могли найти дороги назад и умерли ужасной голодной смертью. Она крепче сжала руку Марции. Но вскоре Марции потребовались обе руки, чтобы ощупывать стены; и через несколько секунд Акте потеряла спутницу. Она звала ее, Марция отвечала, но и ее голос скоро затих.

Акте осталась одна в Лабиринте. Ощупью шла она то вперед, то назад. Попала в длинный, довольно ровный ход. Вспомнила совершенно точно, что прошла здесь сейчас же после того, как Нерон-Теренций велел факельщику остановиться. Подбадривала себя: вот уж скоро блеснет свет факела. Но нигде не было ни проблеска, и голоса Нерона и Марции совершенно замолкли.

Нет смысла идти дальше. Память обманула ее, Акте окончательно заблудилась. Остается только ждать, пока за ней придут.

Она присела на корточки в темноте. Надо запастись терпением. Ей придется прождать час, а может быть, и два и три. Быть может, Рыжебородый Малыш хочет отомстить ей за то, что он перед ней спасовал. Акте знала мир и людей, она знала, что сильнее всего ненавидишь того, перед кем ты спасовал. Говорят, что в Лабиринте три тысячи пещер. Зачем она согласилась на эту безумную затею — спуститься сюда с двумя сумасшедшими? Ведь обычно она так рассудительна. Зачем она вообще сюда приехала? Разумеется, был какой-то смысл в том, что она сюда приехала, но теперь она этого смысла уже не видит. Она так же запуталась в самой себе, как в этом проклятом Лабиринте.

Немного логики. Прошу тебя, Акте. Не впадать в панику. Зачем понадобилось бы этому человеку оставить тебя здесь, во мраке? И если бы ему пришла в голову такая сумасшедшая мысль, разве Варрон и другие не вправили бы ему мозги? Ведь было бы весьма вредно для дела Нерона, если бы Акте, приехавшая для свидания с ним, внезапно исчезла.

Вдруг она с испугом схватилась за волосы. Не запуталась ли в них летучая мышь? Глупости. В последней, самой темной пещере живет божество Лабиринта, быкоглавый Лабир. Он заставлял эдесский народ посылать в Лабиринт юношей, он питался их кровью. Давно ли она сидит здесь?

— Рыжебородый Малыш, — крикнула она внезапно, и в ее голосе звучал великий страх, — где ты? Помоги же мне.

— Вы все еще здесь, Акте? — спросил он вежливо и удивленно. Он говорил в темноте так легко, как будто бы держал перед глазами смарагд и сквозь него рассматривал Акте. — Почему же вы не идете за мною? Но, может быть, вы и правы: нимб, излучаемый императором, слишком хорош, чтобы просто освещать дорогу. Я пошлю вам факельщика.

Явился факел, явился свет, и наконец они выбрались из Лабиринта. Акте недолго помнила страх, испытанный ею там, и охотнее вспоминала об увлекательной стороне этого переживания. Нерон в Лабиринте, Нерон, который

сначала растрогал и напугал ее, а потом явился в роли избавителя, — это был подлинный Нерон. Подлинный Нерон чувствовал себя в Лабиринте не хуже, чем в своем мавзолее, в парке Акте, в Риме. И Акте теперь уже не сомневалась, что была права, отправившись в Междуречье.

12. ПРАХ НЕРОНА

Она жила почти месяц в Эдессе. Друзья Нерона находили, что она превосходно поступила, приехав сюда, но если она какой-нибудь решительной демонстрацией не подтвердит подлинности Нерона, то ее приезд принесет больше вреда, чем выгоды. Они находили, что для Акте существует только один способ дать показания в пользу Нерона.

Естественно было, что они возложили на Варрона задачу склонить Акте к тому, чтобы она прибегла к задуманному средству.

— Я с радостью вижу, очаровательная Акте, — сказал он, — что вы проводите много времени с нашим Нероном. Поняли ли вы наконец, как я дошел до нелепого плана снова пробудить к жизни Нерона?

Акте слушала его с выражением внимательного ребенка, она задумчиво и одобрительно кивнула в ответ на его слова.

— Если наш Нерон, — продолжал сенатор, — минутами умеет даже вас, моя Акте, перенести в прошлое, то не сумеет ли он перенести в это прошлое и Рим, который несравненно грубее вас?

— Времена, — выразила опасение Акте, — стали суше, трезвее. Теперь нужны сильнодействующие средства, чтобы вызвать подъем. Быть может, в том, что у нас, когда мы глядим на этого Нерона, двоится в глазах, повинен не он, а мы сами. Тогда наше предприятие бессмысленно, безнадежно.

Она сказала — «наше предприятие», это было для Варрона высшим триумфом.

— Помните ли вы еще, Акте, — спросил он, и это была скорее просьба, чем вопрос, — как вся жизнь озярлась верой в Нерона? Помните ли вы, как подавлен, оглушен был мир, когда умер Нерон? Не казалось ли, что мир сразу стал голым, бледным, бескрасочным?

Люди на Палатине хотели украсть у меня, у вас нашего Нерона. Разве не чудесно было бы показать им, что они бессильны? Они разбили вдребезги его статуи, соскребли его имя со всех надписей, даже на исполинскую статую его в Риме вместо головы Нерона насадили мужицкую рассудительную голову старого Веспасиана. Разве не чудесно было бы доказать им, что все это было ни к чему? Надо признать, в немногие годы они достигли многого. В немногие годы они стерли с лица земли все фантастическое, окрыленное, чрезмерное, все, ради чего стоит прожить жизнь. Но теперь, вместе с Нероном, все это снова вернулось. Неужели это не увлекает вас, Акте? Боги помогли нам преодолеть первую, самую трудную часть пути. Идемте с нами, Акте. Мы завоюем Антиохию, Александрию, Коринф, Палатин.

— Вы грезите, — сказала Акте, но в тоне ее не было протеста. Она сама гредила вместе с ним, она говорила приглушенным голосом, точно в полусне. — Хорошо бы, — продолжала она тем же мечтательным тоном, — снова жить с Нероном на Палатине. Но не бывать этому. Нельзя поддаваться чарам, как вы, Варрон. Когда чары спадают... — Она умолкла, погруженная в свои мысли.

— Когда чары спадают?.. — спросил Варрон, глядя на нее, захваченный пророческой печалью, исходившей от нее.

— Когда чары спадают... — повторила она, все еще не заканчивая фразы.

— Что же, что же тогда? — торопил Варрон, не в силах отвести от нее глаз.

— Тогда... вместо юной красавицы видишь перед собой старуху, — закончила Акте своим ясным голосом, спокойно улыбаясь.

И с присущей ей логикой она твердо и трезво разъяснила ему, каким ей представляется его Нерон.

— Вы сделали правильный выбор, — сказала она. — Ваш Нерон способен многих ввести в обман. Ему удалось обмануть даже меня. Вы знаете, как любит меня Италик. Он, поэт и мужчина, обычно такой разумный, порой становится смешон — так по-детски ведет он себя, чтобы показать свою любовь ко мне; я не была бы женщиной, если бы это мне не нравилось. Но я должна вам признаться: ваш Нерон, когда я впервые увидела его, за

полминуты достиг большего, чем мой Италик — усилиями нескольких лет. Однако — и в этом слабая сторона вашего расчета — ваш Нерон может обмануть только на одну минуту, да и то надо добровольно поддаться этому обману. Он насквозь искусствен, это шутка богов, которые потехи ради создали нечто вроде восковой фигуры, способной говорить и двигаться. И все же он остается тенью, он лишен настоящей человеческой души. Он даже не может спать с женщиной, он не «Нерон», не мужчина, он лишен производительной силы. Живым по-настоящему он становится только в своем Лабиринте. Он призрак, такими я представляю себе мертвых в Анде, он — ничто. Ведь это мука — видеть перед собою мужественный, царственный, величавый образ, такой родной, точно сбылась сказка, а внутри — пустота, ничто. Я пугаюсь самой себя, своих собственных движений, походки, голоса, когда вижу этого призрачного Нерона.

Варрон понимал ее, и, прежде чем высказать свою просьбу, он уже знал, что Акте откажет ему.

— Когда я вижу ваше живое лицо, Акте, — все же начал он снова, — я не могу поверить, что вы так трезвы, как прикидываетесь сейчас. Если я позволил себе увлечься, поддайтесь увлечению и вы. Не будьте слишком благоразумны. Оставайтесь в нашей ладье, Акте. Разве не чудесно мчаться в ней? И если вы будете с нами, эта ладья не разобьется.

— Скажу вам откровенно, Варрон, — возразила Акте. — Вы знаете, что я любила Нерона. Так сильно, что всякий другой бледнеет рядом с его тенью. Ваш Нерон был первый, кто снова зажег все то, что погасло во мне со смертью Рыжебородого Малыша. Я не выношу вашего Нерона. Я схожу с ума оттого, что мне снова и снова приходится видеть этот призрак во плоти, из которого, едва только к нему прикоснешься, тотчас же улетучивается дух. Я не вытерплю этого. Я не люблю опьянения: вы ошибаетесь. Я ничуть не люблю опьянения, которого надо достигать такими средствами. Я здесь не останусь.

И, видя его глубокое разочарование, она продолжала, изменив тон, в одно и то же время расчетливо, шутливо и серьезно:

— Я не хочу оставлять вас на произвол судьбы, Варрон. Мне хочется помочь вам. Вы знаете, я богатая

женщина, я люблю богатство, а если я предприму что-нибудь для вашего Нерона, то предвижу лишь единственный практический результат: Тит конфискует мои прекрасные земли и мои кирпичные заводы в Италии. И все же, если я могу оказать услугу вашему делу, если я могу сделать нечто во имя Нерона, скажите мне, что я должна сделать. Я готова.

Вот теперь было бы кстати заговорить о той просьбе, с которой хотели обратиться к ней сторонники Нерона. Ведь она сама дала ему к этому повод. Но тот самый Варрон, который без малейших колебаний посылал на смерть тысячи людей, который принес в жертву своей игре родную дочь, который с сожалением, но без раскаяния смотрел, как умирает его друг Фронтон, который часто рисковал собственной жизнью ради менее значительных целей, — этот Варрон не мог сказать в лицо Клавдии Акте, чего он от нее хочет. Он зажегся от соприкосновения с ней. Он теперь сам не понимал, как мог он, пока был еще молод, — из одного лишь благоразумия, только чтобы не портить отношений с императором, — запретить себе видеть ее красоту, ее неповторимое своеобразие, насладиться им. А теперь этот постаревший человек увидел — и пожалел о прошлом. Он, который так долго принимал свою жизнь такой, как она есть, который не хотел бы отказаться ни от чего из того, что было им сделано, и не хотел бы сделать ничего из того, от чего он отказался, — теперь, за короткий промежуток, вторично чувствовал сожаление. Он раскаивался, что в свое время — как бы ни посмотрел на это Нерон — не постарался изо всех сил завоевать эту женщину, Клавдию Акте. Он почувствовал огромное искушение забыть на время свое смешное и великолепное предприятие, стать прежним Варроном и отдаться радости встречи с изумительным существом, которое по воле судьбы оказалось на его пути.

И поэтому, вместо того чтобы воспользоваться случаем и изложить ей просьбу, он сказал без всякой связи с предыдущим:

— А вы помните еще, моя Акте, как мы пускали пестрых китайских рыбок в новый пруд Золотого дома?

И он почувствовал себя молодым, как в свои лучшие времена, легкомысленным и глубоким, злым и уверенным в своем очаровании, готовым дорогой ценой запла-

тить за радость, ибо он хорошо знал, что жизнью можно вполне насладиться лишь тогда, когда перестанешь считать. Он чувствовал глубокую близость с Клавдией Акте, близость, которой он никогда раньше не ощущал. В сущности, казалось ему, их в комнате трое: умерший подлинный Нерон был с ними в своем лучшем образе, не мешая им, и между ними тремя протянулись нити глубокой, более чем дружеской близости.

Но Акте не стала ему подыгрывать. Она, напротив, повторила, резко и с намеренной сухостью, положив конец его фантазиям:

— Скажите же, что я могу сделать для вашего Нерона?

Тогда Варрон овладел собой и сообщил ей, в чем именно он и его друзья видели единственную важную услугу, которую Акте могла бы оказать их делу.

Они рассуждали так: если Нерон жив, то в урне, которую Акте хранила в мавзолее своего парка в Риме, был прах какого-то неизвестного. Если Акте убеждена, что Нерон жив, то хранить эту урну смешно. Если Акте хочет показать миру, что она верит в воскресение Нерона, надо, чтобы она разрушила памятник и рассеяла прах по ветру. Пока Варрон излагал ей свою просьбу в намеренно сухих словах, прозрачная кожа на лице Акте побелела, казалось, она светится. Но голос Акте был чист и спокоен, как всегда, когда она в тон Варрону сухо подытожила:

— Вы требуете, чтобы я рассеяла по ветру все, что еще осталось от истинного Нерона, чтобы доказать мою веру в вашего Лже-Нерона?

— Да, — деловым тоном сказал Варрон. Но, еще прежде, чем это «да» отзвучало, он устыдился того, что предлагал, и с обычно не свойственной ему неуклюжестью прибавил: — Речь идет о деле Нерона, это, поверьте, стоит горсти пепла.

Зеленовато-карие глаза Акте долго смотрели на сенатора, друга Нерона, ее плечи чуть-чуть опустились, ее изогнутые губы задрожали.

— То, что вы говорите, — возразила она с чуть заметной насмешкой, — конечно, очень разумно. Но, пожалуй, лучше бы вам этого не говорить.

Наступило неловкое молчание, сразу ощутилось все то, что разделяло Акте и Варрона.

Акте оцепенела от гнева, все ее существо восставало против предложения Варрона. Тщетно убеждала она себя со своим обычным здравомыслием: если Варрон хочет продолжать дело Нерона и править миром в его духе, может ли его остановить какая-то урна? Ведь для него и в самом деле там нет ничего, кроме горсти пепла. Но в глубине души она знала, что это его не оправдывает и что он не прав перед ней и перед Нероном. Пусть его соображения правильны для него, — они неправильны для Акте. У нее другая логика. То, что она тогда, без колебаний, с риском для жизни, спасла мертвое тело Нерона от поношения и похоронила его с императорскими почестями, — это был величайший, разумнейший поступок всей ее жизни. Что значит — действовать разумно? Действовать разумно — значит действовать так, как свойственно природе данного человека. Благоговение, — может быть, пустое слово для Варрона, но не для нее. Для нее развеять по ветру прах Нерона — это значит попусту пролить собственную кровь. Гречанка, отдавшая жизнь за то, чтобы похоронить тело брата, не была просто театральным образом, она жила не только милостью поэта. Акте никогда не позволит, даже знай она, что от этого зависит изгнание Флавиев из Рима, разрушить гробницу в ее парке, гробницу, где жил усопший Нерон. Останки ее возлюбленного, ее императора, были лучшим ее достоянием, без них она не могла бы жить.

— С прахом я не расстанусь, — сказала она тихо, твердо, зло. — Это невозможно.

Варрон отступил. Он понял, что никакая сила на земле не сломит сопротивления Акте. Он простился, ушел.

Акте между тем поспешно готовилась к отъезду. Если прежде она каждой частицей своего тела ждала близости с Нероном-Теренцием, то теперь она уже не могла дышать одним воздухом с ним. Одно воспоминание о его коже, о его запахе вызывало у нее тошноту.

13. «ТВАРЬ» ВОССТАЕТ ПРОТИВ ТВОРЦА

Намерение Клавдии Акте вернуться в Антиохию и Рим ошеломило друзей Нерона. Требоний и Кнопс настаивали на том, чтобы устранить ее, уничтожить раньше, чем она вернется в Рим и распространит там сказку,

будто бы Нерон вовсе не Нерон. Даже самим себе они не признавались, что рады были найти предлог отомстить женщине за ущемленное мужское самолюбие.

Теренций благосклонно выслушивал предложения своих приближенных. Его злило, что Акте одним своим появлением покорила массы Месопотамии, он ревниво завидовал ее популярности. Он хорошо знал, что были моменты, когда она принимала его за Нерона. Возможно, говорил он себе, он и мог бы завоевать ее, если бы не спасовал как мужчина. Он не прощал ей того, что его мужская и актерская сила оказалась мала, он не забывал, что она не хотела увидеть его «ореол», блеск царского величия, исходивший от него в Лабиринте. Приятно было бы стереть эту шлюху с лица земли, а если того же требуют государственные интересы, то это — удачное совпадение. Легче всего было бы, конечно, убить Акте из-за угла. Но это казалось ему слишком грубым и простым. Его месть должна быть изощренней, изящнее. Он вспомнил об искусно подстроенном кораблекрушении, с помощью которого Нерон пытался убрать с пути свою мать. Теренций мечтал устроить «несчастный случай», в результате которого Акте была бы изувечена: пусть лицо ее останется навсегда обезображенным, пусть ее походка утратит всю свою прелесть. Конечно, все это надо организовать так утонченно-искусно, чтобы даже Акте не заподозрила ничего, кроме злого случая.

Акте тем временем закончила приготовления к отъезду. Но, так как у нее было деликатное сердце, она не хотела покинуть Эдессу, не простившись с человеком, который после долгих лет засухи снова вызвал в ней расцвет большого чувства. Она посетила Нерона.

Нерон в этот час возился со своими дрессированными летучими мышами, для которых был устроен специальный грот. Прощальный визит Акте был для него неприятной неожиданностью. Если бы она пыталась уехать тайком, украдкой, это более соответствовало бы его планам. Он уже принял на этот случай меры, и она не ушла бы живой из его владений. То, что теперь она стояла перед ним, такая спокойная, веселая, не укладывалось в его представления о мире, смущало его, и он еще сильнее ненавидел ее за то, что живая Акте не совпадала с тем образом, который он создал себе.

Он заставил ее некоторое время ждать, затем принял ее, но не во дворце, а в гроте, в полумраке. Призраками реяли летучие мыши или висели, уцепившись за потолок, за выступы. Это были животные разных пород: они свисали отовсюду, уродливые, с человеческими руками, огромными ушами, отталкивающими собачьими или обезьяньими мордами, мохнатыми тельцами разнообразнейших цветов. Нерон предполагал, что эта жуткая обстановка смутит Акте. Но Акте была скорее удивлена. Поэтому Теренцию не удалось во время этой прощальной аудиенции быть Нероном. Он, правда, многословно, полуиронически выражал свою печаль по поводу того, что Акте так быстро покидает его, припомнил цитаты из классиков, не хуже, чем это сделал бы подлинный Нерон. Но в общем Теренций сам чувствовал, что он не в ударе. Акте же находила его убогим, она не понимала, как мог этот человек пробудить в ней такие сильные чувства.

Она собиралась уходить, когда Нерон наконец почувствовал, что на него снизошло вдохновение и ему достанет сил овладеть собой. Да, на него снизошел дух подлинного Нерона. Он ощутил себя императором, который прощается с человеком, некогда ему близким, близким еще и теперь. Но он, император, хочет, чтобы их разлучила смерть, о чем другой еще не подозревает. Темно и таинственно заговорил он о своих летучих мышках. Говорил о том, как души убитых Одиссеем женихов, подобно летучим мышам, следуют в подземный мир за вожатым мертвых Гермесом. Прочитировал Гомера:

...Как мыши летучие в недре глубокой пещеры,
Цепью к стенам прикрепленные, — если одна, оторвавшись,
Свалится наземь с утеса, — визжат, в беспорядке порхая;
Так, завизжав, полетели за Эрмием тени...

Глубокомысленно и таинственно шутил: кто, мол, из умерших общих знакомых скрывается теперь в этих уродливых животных, — вот в этом или в том? Он смотрел на Акте близорукими глазами, злым и в то же время печальным, нежным взглядом, точно навсегда с ней прощаясь. Он играл Нерона, знающего, что его мать Агриппина, что его жена Октавия готовятся в путь, из которого им не суждено вернуться. Он любил эту Агрипп-

пину, эту Октавию, он любил и Акте, потому что она была для него уже мертва, потому что он наслаждался беседой с умершей, которая думает, что она еще жива. Он мог быть особенно нежен с нею, зная то, чего не знала она, исполненный злого чувства превосходства. Он был особенно нежен с Акте.

Акте испугалась. Сначала этот человек, игравший с прирученными летучими мышами и кормивший их с ладони, показался ей смешным. Теперь он был ей страшен. О, она знала этого Нерона. Знала его ужасающую, бездонную жестокость. Знала страсть Нерона к такого рода злобной игре. Да, теперь она понимала, каким образом этот человек мог так глубоко взволновать ее. Она видела маленькую, презрительную, милую и злую складку в уголках его губ. В Теренции, игравшем со своими летучими мышами, она узнала Нерона, игравшего с мертвецами, которых он посылал в подземный мир. Она узнала Нерона и поняла, что приговорена. На нее дохнуло холодным дыханием подземного царства, и она удалилась с ужасом в душе.

Ни Нерон, ни Требоний, ни Кнопс ни слова не сказали Варрону или царю Филиппу о своих замыслах относительно Акте. Нерон хорошо понимал, что Варрон и царь Филипп сделают все, чтобы помешать выполнению его плана. И все-таки против воли Нерона они об этом узнали, и очень скоро после ухода Акте от императора Варрон настойчиво попросил у него аудиенции.

— Я слышал, — сказал Варрон, — что, к сожалению, Клавдия Акте хочет нас покинуть.

— Да, мой Варрон, — любезно сказал император, — нам не удалось ее удержать — ни вам, ни мне.

— Раз нельзя ее удержать, — сказал Варрон, — надо по возможности облегчить такой очаровательной и любезной даме путешествие в Рим.

— Да, — отозвался Нерон, — это надо сделать.

— Я хочу предоставить в ее распоряжение один из моих дорожных экипажей, — сказал Варрон как бы мимоходом, — и почетную стражу в сто человек.

— К сожалению, вы опоздали, мой Варрон, — сказал император, — я сам предоставил ей дорожный экипаж и охрану.

Сенатор чуть-чуть побледнел.

— Я буду крайне обязан вашему величеству, — сказал он, — если мне будет дарована привилегия оказать Клавдии Акте эту маленькую услугу. Я у нее в долгу с прежних времен, и, кроме того, ведь ваше величество, — прибавил он с лукавой фамильярностью, — всю неделю принимали нашу Акте в интимнейшей обстановке.

Намек разозлил Теренция, но он не показал своей досады.

— Нет, мой Варрон, — улыбнулся он и даже потрепал Варрона по плечу, на что до сих пор никогда не отваживался, — ничего не выйдет. В оставшийся короткий срок мы хотим оказать нашей Акте эту последнюю услугу.

Слова его, несмотря на любезный тон, прозвучали так угрожающе, что Варрон, боясь раздражить его, не решился уклониться от прикосновения этого человека, как оно ни было ему противно.

— Не настаивайте на этом, — сказал он тоном убедительной просьбы. — Это может плохо кончиться, — прибавил он, — если Акте не будут сопровождать до границы безусловно надежные люди. Дорога в последнее время не совсем безопасна.

— А моих людей вы не считаете надежными, Варрон? — спросил император.

— Я считаю моих людей более надежными, — возразил Варрон.

— Вы очень смелы, мой друг, — сказал Нерон, делая вид, что на его царственное лицо набегает тень мрачного облака. — Неужели вы думаете, что такие доводы сделают меня благосклоннее к вашей просьбе?

Варрон сдержался.

— Подумайте о том, — еще раз попросил он, — какое впечатление это произвело бы — если бы с нашей Акте приключился в пути несчастный случай, к какой клевете это подало бы повод. Весь мир скажет, что Акте узнала в нашем Нероне не его величество императора, а некоего горшечника Теренция. Это было бы неслыханным торжеством для Цейония и людей на Палатине. С нашей Акте ничего приключиться не должно, — заклинал он императора.

— Вот потому-то я и даю ей для охраны моих людей, — с дружеской улыбкой сказал Нерон.

Но теперь Варрон потерял самообладание. Он подошел близко к Нерону и сказал ему прямо в лицо:

— Плохо это кончится, если Акте поедет с твоими людьми, плохо и для тебя, — этому не бывать.

Он говорил тихо, но таким решительным, даже яростным тоном, что Теренций испугался. И все же он не хотел замечать, что вновь стал для Варрона Теренцем, а не Нероном. Он ответил:

— Как ты этому помешаешь?

— Я не допущу, — сказал Варрон, — чтобы Акте попала в руки твоей сволочи, — скорее предпочту, чтобы она всем рассказала, кто ты такой. И некая Гайя скажет, кто ты такой, да и сам Варрон это скажет.

Теренций побледнел. Но он продолжал оставаться Нероном и сохранил свой легкий тон, тон императора, который поддразнивает своего друга.

— Варрон очень волнуется, — улыбнулся он, — из-за этой малютки. Я еще никогда не видел его в таком волнении. Кто мог бы подумать, что наш Варрон способен еще так влюбиться. Я прощаю влюбленному его выходку. Но твою просьбу я, как ни жаль, на этот раз исполнить не могу, — закончил он не то насмешливо, не то с сожалением. — Не ты, а я дам охрану Акте.

Теренций ожидал, что Варрон раскричится, разбушует, он ожидал взрыва. К этому он был готов: в один прекрасный день все равно надо было выдержать этот бой. Он этого и боялся и хотел. Он всей душой ненавидел Акте и всей душой ненавидел Варрона и знал, что эта ненависть даст ему силу одержать верх в споре с Варроном, остаться Нероном.

Но Варрон не вспылil. Варрон не впал в бешенство. Напротив, с его лица исчезли последние следы гнева. Он несколько отступил, чтобы ему, дальнозоркому, лучше разглядеть собеседника, его губы сложились в невероятно высокомерную, добродушно-презрительную усмешку, и, не повышая голоса, но уверенный в действии своих слов и в немедленном повиновении, он бросил:

— Куш, Теренций.

И ушел.

Теренций смотрел вслед Варрону, весь оцепенев, неподвижный, бледный, с искаженным лицом. Затем, очень скоро, он решительно вычеркнул из сознания эти

чудовищные слова. Этого не было. Этого он не слышал. Если бы это было, если бы он это слышал, его месть была бы невообразимо страшна, он публично подверг бы невиданным пыткам Варрона, Акте, Гайю и потом казнил бы их. Но он не мог этого сделать. Пока еще — не мог. А следовательно, он не слышал слов Варрона, их не было.

Клавдия Акте поехала с охраной, которую предоставил ей Варрон, и благополучно вернулась в Антиохию, в Рим.

14. ОРЕОЛ

Отъезд Акте, казалось, не задел императора. Нерон становился все неуязвимее под броней веры в свой божественный ореол, в свое царское величие.

Он окружил себя великолепием, как это сделал бы настоящий Нерон. Деньги были. Их доставляли завоеванные сирийские города. Имущество общин и отдельных лиц, объявленных сторонниками Тита и противниками Нерона, подвергалось конфискации. Артабан, царь Филипп, другие цари, верховные жрецы, шейхи Междуречья и Аравии давали деньги в большом количестве. Нерон мог предаться своей страсти к монументальному строительству. Он восстановил потопленную Апамею, великолепно отстроил ее, назвал Нерониадой. Выстроил там стадион, театр, храм своему гению; и богине Тарате он отстроил новый пышный храм.

Вместе с тем он приступил к осуществлению своей заветной мечты. Скала, которая высилась над Эдессой, по его замыслу, должна была превратиться в гигантский барельеф, который, по образцу восточных памятников, сохранит для вечности черты императора. Обожествленных императоров обыкновенно изображали уносящимися в небеса на орле. Нерон дал скульптору более смелое задание. Он хотел унести́сь верхом на летучей мыши и требовал реалистического изображения: не приукрашивать его собственных черт; уродливую, жуткую морду и обезьяньи когти оседланного им животного передать во всем их безобразии; все увеличить до исполинских размеров.

Советники императора покачивали головой, находя этот символ слишком смелым. Правда, большая часть

населения верила, что летучая мышь приносит счастье, но многие связывали с ней понятие о подземном царстве, о смерти.

Нерон смеялся над этими опасениями. Что — смерть, что — подземный мир? Предрассудок, бессмыслица. Разве он не был, говоря словами известного классика, «императором до самого мозга костей»? То, что он думал, то, что он чувствовал, — это были императорские, божественные идеи, и если его «демон» приказывал ему избрать мотив с летучей мышью, то перед этим его внутренним голосом все возражения были только смешны.

Он был дерзок до безрассудства, как Нерон в годы своего расцвета. Следуя примеру Великого царя парфянского, он приказал — на что не отваживался до сих пор ни один римский император, — чтоб впереди него несли огонь, как символ царского сияния. Затем он велел отчеканить золотую монету, на которой его лицо было изображено двойной линией, — смелый намек на то, что он дважды Нерон, умерший и воскресший, как бог Озирис. С трудом министры уговорили императора отсрочить пуск этой монеты в обращение, они боялись, что двойной Нерон, изображенный на ней, даст насмешливым сирийцам повод к злым шуткам. Но сам Нерон любил эту монету с двойным профилем и часто ею любовался.

Как прежний Нерон публично выступал в греческих городах, так и новый выступал в театрах Самосаты, Лариссы, Эдессы и сиял от удовольствия, когда судья присуждал ему венок. Толпа ликовала, толпа была счастлива видеть своего императора на сцене, а он, окрыленный ее энтузиазмом и чувством своего величия, превосходил самого себя.

Теперь он сам искал общества своего опаснейшего друга-врага, Варрона. Варрон не улыбнулся, когда он доверил ему тайну пещеры. Варрон был покорен им. Варрон знал, что он, Нерон, обладает «ореолом». Нерон заигрывал с ним, искал новых и новых подтверждений того, что этот человек в него верит. Он старался вызвать в нем раздражение, кольнуть его, чтобы уловить в его словах, в его поведении что-нибудь, напоминавшее о мятеже, какой-нибудь намек на прошлое.

Но Варрон оставался смиренным, оставался царедворцем, который счастлив тем, что его величество до-

пускает его перед свои светлые очи. Слова: «Куш, Теренций», — не были произнесены. Нерон нередко нуждался в наставлениях, в подсказках, как надо вести себя в тех или иных случаях. Варрон неприметно давал ему советы. Нерон следовал им везде — только не в присутствии Варрона.

Нерон становился все более дерзким в своих намерениях.

Однажды сенатор нашел его погруженным в созерцание золотой монеты с двойным профилем.

— Скажите откровенно, — вызывающе спросил Нерон, — вы не находите этот рисунок слишком нескромным?

— Это гордый, смелый символ, — возразил с неприимчивым видом Варрон, переводя взгляд с оригинала на двоящееся золотое изображение.

Но Нерон-Теренций ответил мечтательно, самодовольно:

— Да, мой Варрон, надо спуститься к летучим мышам, чтобы отважиться на такую мудрую смелость.

15. БОГ НА ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ

Как бы ни укрепилось на вид господство Нерона, внутреннее сопротивление в стране нарастало. В подвластных Нерону областях жилось нехорошо. Внешне царил порядок, но он достигался произволом и лишениями.

На главных площадях городов поставлены были бронзовые и каменные доски, где пышно, широковещательно перечислялись привилегии, предоставленные Нероном вновь покоренным областям и городам. Но пока это были лишь пустые формулы. Пока присутствие нового императора было сопряжено для маленьких властителей Междуречья с тяготами, гораздо более чувствительными, чем прежние налоги. Князья старались взвалить эти тяготы на плечи арендаторов и предпринимателей. Те, в свою очередь, на крестьян и ремесленников, которые опять-таки нажимали на рабов; таким образом, все ощущали это новое бремя.

И торговля шла плохо. Рим чинил всякие затруднения на сирийской границе. Караваны, возившие китайские шелка, арабские пряности, жемчуг Красного моря,

товары Индии в Римскую империю в обмен на римские изделия, искали других путей. Главные источники дохода Месопотамии иссякали.

Все ждали, что вместе с Нероном придет благоденствие, изобилие, ждали, что, когда страна избавится от римских пошлин и налогов, каждому будет пирог вместо хлеба, вино вместо воды. Но никаких пирогов не было, напротив, даже хлеба стало не хватать, а в вино приходилось подливать все больше воды. Конечно, тот, кто имел дело с Нероном и его приближенными, тот жил, у того прибавлялось денег и спеси. Таких было немало: его чиновники и поставщики, его солдаты и полиция, те, кто строил для него и его приближенных замки, дома и дороги, те, кто шил мундиры для его армии и ковал для него оружие. Их было немало, не меньше, чем один на десять. Но пирог и жаркое, которые они ели, которые ел каждый десятый, были вырваны изо рта у других, у девяти из десятка.

Ропот недовольных не умолкал. Мрачные пророчества Иоанна с Патмоса, святого актера, который по-прежнему был неуловим в своей пустыне, все более тревожили массы. Теперь уже никто не хотел верить, что Апамею затопили действительно христиане. Отъезд Клавдии Акте, любимицы народа, также возбуждал сомнения в подлинности Нерона. Люди, ограбленные Кнопсом и Требонием или как-нибудь иначе притесняемые и униженные, ненавидели и сеяли ненависть. У убитых были друзья и сторонники, которые не забывали и не молчали.

К тому же начались нескончаемые трения между офицерами и чиновниками Требония и туземными сановниками и военными. С давних пор римские офицеры смотрели сверху вниз на своих восточных товарищей, восточные солдаты были для них лишь «вспомогательными войсками»; римляне и теперь со снисходительным пренебрежением относились к туземным генералам. Филиппи и Маллук возмущались манией величия Нерона, произволом и наглостью его приближенных. Ведь в конечном счете именно они дали власть римскому императору и помогали ему держаться на поверхности. Они с гневом убеждались, что обманщики, дураки и разбойники, которых они вынуждены были призвать на помощь для охраны своего суверенитета и своих старых владений,

берут над ними верх. Поддерживая Нерона перед внешним миром, они внутри вели медленную, подспудную, изматывающую, подлинно восточную войну против Нерона. Варрон старался по мере сил сгладить противоречия; но это плохо удавалось ему, вражда между восточными и западными офицерами и чиновниками переплскивалась через край.

Нерон-Теренций не хотел замечать всех этих трудностей. Он опьянялся звучанием слов «империя», «власть», «армия», «народ», «Восток»; но, по существу, вопросы политики и хозяйства были ему безразличны и интересовали его лишь постольку, поскольку служили предлогом для звонкой риторики. Императорская власть, роль вождя означали для него блеск, стечение народа, парады, возведение построек, празднества, «ореол» и прежде всего — речи, речи. Когда же дело касалось политических и экономических вопросов, он снисходительно кивал головой и укрывался за броней своего «царского величия» в убеждении, что если бы действительно угрожали значительные трудности, то внутренний голос подсказал бы ему правильный путь.

Серьезно он относился только к одному: к охране своего императорского величия. Он возобновил и усилил законы об оскорблении величества, упраздненные Флавиями. Его сенат вынужден был судить за этого рода преступления с такой строгостью, как бывало лишь во времена Тиберия и Каллигулы. Были изданы суровые указы. Никто, кроме императора, не смел пользоваться смаградом, чтобы лучше видеть. Запрещено было браниться и рыгать перед изображением императора. Малейшая провинность, даже нечаянная, каралась. Сословие доносчиков процветало.

За оскорбление величества в конце концов был осужден и фабрикант ковров Ниттайи. Он давал много денег на развитие спорта, устроил на своей вилле тот красивый двор для игр, где в свое время встречались иногда Варрон и полковник Фронтон, покровительствовал искусству. Но однажды он не к месту проявил бережливость: из-за превышения первоначальной сметы отказался взять из мастерской на Красной улице заказанную им статую Митры. Теперь против него было выдвинуто обвинение: он, якобы, перед тем как справиться нужду, не снимал с пальца перстня, в который была вде-

лана гемма с изображением головы Нерона. Сенат при- судил его к ссылке. Император удовольствовался тем, что конфисковал его имущество. Нерон и Кнопс посмеи- вались. Теперь торговец коврами Ниттайи уже не смо- жет притеснять честных горшечников, если те перерас- ходуют скудную сумму, которой скряга предполагал от- делаться.

Распространение слухов о мужском бессилии Нерона император также толковал как оскорбление величества. Так как эти слухи нельзя было заглушить запретами, он пытался действовать другими путями. На глазах у всех к нему в спальню приводили по его приказанию жен- щин — знатных и простолюдинок; а затем через несколь- ко дней эти женщины исчезали. Всюду шепотом, на ухо рассказывали, что боги, завидуя счастьем Нерона, не по- зволяли ему наслаждаться утехами любви и умерщвля- ли каждую женщину, к которой он прикасался. Когда небо вернуло ему власть, император надеялся, что это проклятие будет с него снято, но теперь оказалось, что оно все еще в силе. Поэтому император решил оконча- тельно отказаться от женщин. По той же причине — не желая, чтобы это проклятие поразило его подругу, Клав- дию Акте, — он расстался с ней и, несмотря на свою лю- бовь, отослал из пределов своей империи. Были люди, которые этому верили.

Нерон чувствовал себя в безопасности, счастливым, и ему казалось, что власть его упрочена на вечные време- на. Он принимал парады, солдаты с ликованием встре- чали его. На Евфрате поднялся, точно из-под земли, его город Нерониада, в столицах подвластных ему областей повсюду вырастали белые и золотые здания. Его окру- жал «ореол», впереди него несли огонь. Не было никого, кто бы усомнился в том, что в Лабиринте становилось светло, когда он туда спускался; он отправлялся в свой искусственный грот, кормил своих летучих мышей, в ко- торых жили души людей, посланных им в подземное царство, вел с ними разговоры. Он созерцал, сытый и счастливый, свой двоящийся профиль на золотой мо- нете. Он все больше проникался своим призрачным ве- личием.

А на реке Скирт, над городом Эдессой, с каждым днем все отчетливей выступало на скале изображение: Нерон верхом на летучей мыши. Зеваки толпились во-

круг и глазели на рабочих и на гигантский рельеф. Императору это изображение казалось прекраснее, чем статуя всадника Митры. Народу оно, быть может, внушало страх, а быть может, казалось смешным. Этого никто не знал: ибо никто не осмеливался говорить, стоя перед изображением императора, — из страха перед шпионами Кнопса и Требония.

Работа подвигалась вперед. Уже можно было назначить день, когда барельеф будет открыт и освящен: 21 мая.

16. РАДИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Кнопс теперь часто встречался со своим тестем, горшечником Горионом: у него он выведывал, что думают массы о Нероне. Грубая фамильярность Гориона, все возраставшая, уже сама по себе была для Кнопса мерилом, по которому он мог судить о недовольстве императором в народе.

Вскоре дело дойдет до того, что тесть его осмелится даже вспомнить бесстыдную пословицу о трех «к», от которых воротит с души; мысленно Горион, должно быть, уже давно повторяет ее.

Нет, Кнопс не закрывал глаза на ежедневно возраставшие трудности. Не было ли его решение ждать, пока Нерон завоюет Антиохию, слишком смелым? Не умнее ли было бы заранее, уже сейчас, соскочить с колесницы Нерона?

Но была одна вещь, которая удерживала его. Его девочка, его жена, его маленькая упругая аппетитная Иалта, была беременна. То, что у него будет законный, свободнорожденный, богатый сын — хитрый, сильный Клавдий Кнопс, перед которым будут открыты все пути, наполняло его сумасшедшей радостью. Он грубо ласкал Иалту, мать этого будущего Клавдия Кнопса, окружал ее лейб-медиками, банщицами, прислужницами, отчаянно бранился, если она требовала огурцов или других солений и отказывалась есть сладкие полезные пироги из миндаля и полбы, которые должны были сделать его сына приятным в глазах людских. Нет, он не смеет удирать. Его долг перед маленьким Кнопсом — проявить выдержку. Он должен сделать последнее отчаянное усилие и оградить своего сыночка золотой стеной от

опасностей жизни. Из конфискованного имущества торговца коврами Ниттайи он урвал немалую долю, но тут предстоял улов еще пожирнее. Был некто Гиркан, откупщик, скряга, который почему-то не торопился пожертвовать, как от него ожидали, крупную сумму на храм, посвященный гению Нерона. Разве это не доказательство, что деньги богача Гиркана лежали не в той мошне, в какой следовало! Ему, Кнопсу, предстояло передать их в более достойные руки, в маленькие любимые ручонки его будущего сына Клавдия Кнопса.

Нет, пока это не сделано, он не имеет права покидать Нерона. Но если оставаться при Нероне, то надо срочно принимать меры против мятежных настроений, которые растут с угрожающей быстротой. Все остальные беспомощны, у них нет фантазии. Они и не видят размеров приближающейся опасности, и не находят средств против нее. От него зависит найти настоящее средство. Один за другим рождались у него в голове проекты — много разнообразных проектов. В конце концов он остановился на одном, который сулил и спасение для Нерона, и желанный улов для Клавдия Кнопса.

Он рассматривал свой проект со всех сторон. Проект был хороший, смелый, радикальный. Конечно, Кнопсу становилось не по себе, когда он вспоминал о Варроне и царе Филиппе. У них, конечно, будут тысячи всяких придирок. С Варроном у него и без того постоянные трения. С тем большим энтузиазмом встретит его план Требоний. Жаль, конечно, что ему волей-неволей придется посвятить в дело Требония: Кнопс ревновал к нему Нерона, привязанного к капитану, завидовал популярности, которой тот пользовался; кроме того, он страдал от своего раболепства, и уверенные повадки Требония вызывали в нем зависть. Но он сомневался, сможет ли без помощи Требония привлечь на свою сторону Теренция, а главное — ему нужен был для осуществления замысла твердый, опытный в военном деле человек, способный приказывать, поддерживать дисциплину и не пугаться при виде льющейся крови.

С Требонием нетрудно было сговориться: он давно уже мечтал о повторении «недели мечей и кинжалов». Они вдвоем отправились к Нерону.

Кнопс начал свою речь с того, что, по сути дела, народ и теперь еще любит Нерона так же, как в первые

дни после его появления. Если существует видимость недовольства, то в этом виновата маленькая горстка завистников и хулителей. Это люди, которые после возвышения Нерона были оттерты в сторону, или же те, кто сначала с энтузиазмом его встретил, но затем был обманут в своей безмерной алчности. Таких подстрекателей не очень много, но у них посты, влияние, голос, деньги. Если их устранить, воздух сразу очистится. После неудачного опыта с процессом христиан рекомендуется на этот раз действовать быстро и покончить с противниками и хулителями без канительного судебного разбирательства, сразу, в одну заранее назначенную ночь. Юридическая допустимость такого сокращенного судопроизводства не подлежит сомнению. Император — верховный судья и потому вправе, однажды убедившись в справедливости обвинения, без всяких проволочек осудить обвиняемых и приказать их казнить. Если ему будет угодно, он может задним числом изложить свои мотивы сенату. Действуя энергично, вскрывая без промедления нарыв, можно добиться того, что недовольство в стране за одну ночь будет в корне пресечено. А ужас этой ночи благотворно повлияет на тех недовольных, которые уцелеют, заставит призадуматься всех, кому придет охота распространять глупые, клеветнические измышления о режиме.

Кнопс излагал свой проект ясно, без запинки. При этом он переводил с Нерона на Требония дружески-лукавый взгляд своих блестящих, быстрых карих глаз. Проект, очевидно, забавлял его самого, и он ожидал, что и другим проект доставит удовольствие. Так бывало еще в те времена, когда они с Теренцием работали на Красной улице: он развивал планы, как надуть компаньона; обычно эти планы осуществлялись весьма удачно.

Все трое смотрели друг на друга — Теренций, Требоний и Кнопс. И еще прежде, чем Кнопс закончил свою речь, всем трем было ясно, что проект превосходен, что он достоин инициатора наводнения в Апамее. Молча сидели они, даже шумный Требоний затих, он только чуть-чуть подмигивал Теренцию, и все трое с глубоким удовлетворением думали одно и то же: «Утопить в крови всю эту сволочь». А Нерон формулировал эту мысль еще точнее: «Передавить всех, передавить, как мух».

Вслух он сказал:

— Благодарю тебя, мой Кнопс. Я передам твой совет богам; посмотрим, что скажет мне мой внутренний голос.

Однако оба, и Кнопс и Требоний, знали, что этот внутренний голос уже сказал свое слово и оно в точности совпадает с тем, что произнес их собственный внутренний голос; мысленно каждый из них уже составлял свой список.

17. ТРИ РУКИ

И в самом деле, в ту же ночь голос богов говорил Нерону, а на следующий день они опять собрались втроем, чтобы обдумать план уже в деталях. С тех пор как они взяли власть, немало их врагов успело перемереть. Но ведь им троим было вместе сто тридцать четыре года, немало неприятного повстречалось им на пути, у них была хорошая память, за сто тридцать четыре года они нажили много врагов. Можно было еще собрать богатую жатву.

К тем, кого они сильнее всего ненавидели, они, разумеется, не могли и не смели подступиться. Хорошо, например, было бы взять Иоанна с Патмоса за глотку, из которой излетали в мир наглые пророчества. Чудесно было бы сдавить пальцами тонкую гордую шею Клавдии Акте, этой шлюхе, этой проклятой, и замечательно было бы посмотреть, как хрипит Варрон, высокомерный аристократ, такой вежливый и умеющий так глубоко, от всей души их презирать. Да и осанистого Маллука было бы приятно хватить по башке; интересно бы поглядеть также на этого чистоплюя, этого потомка древних царей Филиппа: сохранятся ли у него утонченные манеры и тогда, когда он будет хрипеть, протягивая ноги? Но боги завистливы, самого лучшего они не дают человеку.

Все же боги дали им многое. Все трое сидели за красивым столом, выточенным из дерева ценной породы, перед каждым лежали стиль и навощенные дощечки, а перед Кнопсом, кроме того, были чернила и пергамент. Они записывали, стирали написанное, размышляли. Время от времени один из них небрежно произносил какое-нибудь имя, другие улыбались, — они уже наметили

у себя то же имя; Кнопс заносил его на пергамент в окончательный список. Иногда кто-нибудь из троих возражал, тогда имя на пергамент не вписывалось — до окончательного решения. Но возражения были редки, список Кнопса заполнялся. Они не торопились, эти трое, имена называли медленно, после долгих пауз; когда то или иное имя вносилось в окончательный список, Нерон произносил подходящую цитату из какого-нибудь классика, чаще всего из Софокла или Еврипида.

Самые глубокие, истинные мотивы — личные, по которым имена и вносились в список, — упоминались редко; охотнее приводились какие-нибудь политические доводы. Требоний, например, предложил лейтенанта Луция. Он терпеть не мог молодого офицера, обнаружившего такую расторопность и решимость в битве при Суре; терпеть не мог за то, что тот был очень элегантен, происходил из старинного рода, и за то, что он оплакивал Фронтон, и за то, что женщины строили ему глазки. Ах, если бы жив был сам Фронтон, — с каким бы удовольствием Требоний донес на него и предложил включить в список! Как жаль, что надменный Фронтон уже умер, этот хвастун, который, умирая, все еще притязал на звание победителя в битве при Суре, между тем как выиграл бой он, Требоний; и вот Требонию, как ни жаль, приходится довольствоваться Луцием. Обвинения, которые он выдвигал против Луция, — ведь о настоящих причинах ему пришлось умолчать, — звучали не особенно убедительно. Луций, говорил он, распространяет злостные слухи, болтает, будто Нерон — друг черни и преследует ненавистью всякого аристократа. Кнопс не видел ни одной веской причины, по которой следовало бы расправиться с молодым блестящим офицером, который пользовался всеобщей любовью, ему было не по себе. Но если он не выдаст Требонию Луция, то Требоний начнет подкапываться под Кнопса и его кандидатов. Поэтому он внес Луция в список, а Нерон процитировал: «Смерть положит конец всякой борьбе».

И у Кнопса, когда пришел черед, все прошло гладко с откупщиком Гирканом. Разумеется, он ни слова не сказал о том, что, по его мнению, деньгам Гиркана будет лучше в руках его будущего малютки Клавдия Кнопса, чем в сундуках нынешнего владельца; он лишь упомянул об отказе откупщика пожертвовать крупную сумму

на храм, посвященный гению императора, и о том, что Гиркан вообще саботирует финансовые мероприятия правительства. Но этого было совершенно достаточно. Нерон и Требоний довольно безучастно кивнули, и Нерон процитировал Софокла: «Боги ненавидят дерзкое высокомерие». И вот имя Гиркана уже стоит в списке, написанное быстрым, аккуратным почерком Кнопса, и сердце Кнопса исполнено радости.

Они писали на своих навоощенных дощечках медленно, вдумчиво, словно играя в сложную игру, и когда какое-нибудь имя вносилось в окончательный список, на пергамент, — они тщательно стирали его с дощечек, чтобы освободить место для нового. Писала мясистая, белая, пахнувшая благовонными маслами и водами рука Нерона, писала узкая, костлявая, с тупыми ногтями рука Кнопса, писала огромная, покрытая рыжеватым пушком, красная лапа Требония. Они вписали много имен, большей частью арамейских, но также и римских, греческих, арабских, парфянских, еврейских, имена мужчин и женщин, очень молодых и очень старых. В список уже занесено было около трехсот имен.

Это было долгое заседание, приятное, но утомительное. Приходилось усердно шарить во всех уголках памяти, чтобы никого не забыть. Пока легко можно добраться до любого, а потом будет труднее. Поэтому они, не жалея сил, ломали себе голову, искали, рылись, вынюхивали, находили. Наконец произнесено было последнее имя. С удовольствием слушая, как перо скрипит по пергаменту, Нерон мечтательно процитировал: «Не родиться — вот наилучшая участь». А про себя он думал: «Передавить всех, как мух, передавить».

— Готово? — спросил Кнопс.

— Готово, — откликнулся Требоний.

— Готово, — подтвердил Нерон.

Во всех трех голосах прозвучало легкое сожаление. Кнопс начал считать.

— Триста семнадцать, — заявил он.

Нерон поднялся, чтобы закрыть заседание.

— Триста семнадцать ложных друзей, — сумрачно сказал он, печально посмотрел на Кнопса и Требония и со вздохом взял список.

Когда Кнопс и Требоний ушли, он стал изучать список. Это были четыре пергаментных свитка. Перга-

мент — не особенно благородный, а имена были разбросаны в беспорядке, некоторые всажены туда, где еще оставалось место, — вверху, внизу, на полях, но все были написаны разборчиво. Нерон вспомнил о той мучительной ночи в храме Тараты, когда он старался скоротать тяжелые минуты, намечая своих недругов, которых должно будет уничтожить. С нежностью он погладил пергамент, посмотрел на него удовлетворенным и мечтательным взглядом, улыбнулся полными губами. Затем тщательно, почерком Нерона, поставил на отдельных свитках номера — первый, второй, третий, четвертый — и на каждом надписал: «Проскрипционный список». Потом взял список номер один, искал свободное местечко и очень тщательно вывел: «Читал, взвесил, проскрибировал». Но ему показалось, что это неподходящее слово, и на следующих списках он написал: «Читал, взвесил, приговорил». Подписал каждый из четырех списков: «Нерон Клавдий Цезарь Август». Скатал все четыре пергамента — один в другой — и сунул за пазуху.

В этот день он обедал наедине с Варроном. После обеда Варрон заговорил о политических и экономических трудностях. Он выработал подробный план преодоления этих трудностей. В первую очередь предложил повесить жалованье чиновникам и ввести мораторий для экспортеров. Император слушал с большим, чем обычно, вниманием, он, казалось, был в хорошем настроении.

— Вы очень прилежны, мой Варрон, — сказал он, — и вы, конечно, самый умный из моих государственных деятелей. Но в конечном счете успех в политике достигается не умом, а интуицией, и последнее, самое ясное понимание боги даруют только своим избранныкам, носителям царственного «ореола».

Варрон с глубоким церемонным поклоном принял к сведению изречение императора.

— И все-таки, — возразил он сухо и вежливо, — я считаю нужным прежде всего повесить жалованье чиновникам и назначить мораторий для экспортеров.

— Да, да, — ответил со скучающим видом Нерон. — Вы, конечно, очень умно все это придумали. Но верьте мне, мой Варрон, в решительную минуту приносят пользу только воля и дела того, от кого исходит ореол вели-

чия. Быть может, — заключил он туманно и глубокомысленно, — советники придут в ужас от беспощадности и прямолинейности его воли и дел, но в конечном счете весь народ поймет их величие, люди воспримут их как судьбу, ниспосланную богами, да это и в самом деле так.

Баррон почтительно слушал.

— Я, следовательно, могу, — спросил он с деловым видом, вместо всякого возражения, — представить на подпись документы о моратории и повышении жалованья чиновникам?

Нерон не рассердился на своего собеседника за то, что тот так дерзко пропустил мимо ушей его изречения.

«Дай только время, мой милый, — думал он. — Кое-кому уже не понадобится твой мораторий и твое повышение жалованья». И он с удовольствием ощутил через ткань одежды прикосновение драгоценного свитка.

Позднее он отправился в искусственный грот, к своим летучим мышам. Велел прикрепить факел к стене, отослав факельщика, остался один со своими животными. Они слетались к нему, потревоженные, с легким птичьим писком, в ожидании кормежки. Но он лишь вытаскивал свой свиток и прочел отвратительным мохнатым тварям заголовок: «Проскрипционный список номер один» — и затем перечень имен. Кнопс записывал имена в той последовательности, в какой они назывались, и их случайные сочетания при медленном чтении вслух иногда производили странный звуковой эффект. Это нравилось Нерону. Он повторял отдельные имена, играл ими, смаковал их, произносил их полным голосом. Со вкусом продекламировал свои любимые гомеровские стихи: «Словно летучие мыши, когда одна, оторвавшись, свалится наземь с утеса, порхают вокруг в беспорядке, так в Аид полетели тени». Он посулил своим животным: «Вы получите пополнение, друзья». И все время у него кружились в голове слова: «Передавить всех, как мух, передавить». И порой — почти одновременно: «Благо государства — отщепенцы — гнусные заговорщики — верховный повелитель правосудия». При звуке этих последних слов — «верховный повелитель правосудия» — он особенно воспламенился и уже слышал эти слова, произносимые перед своим сенатом в большой речи, доказывающей необходимость кровавой ночи.

18. ИМПЕРАТОР И ЕГО ДРУГ

Кнопс также не переставал обдумывать список. Он уже видел мысленно ночь расправы и, при всей своей глубокой удовлетворенности, чувствовал себя немного смущенным из-за того, что плохо переносил вид крови. Но ему было приятно представлять себе, какие изумленные лица будут у этих людей, когда их внезапно разбудят и стащат с постели.

От мыслей о списке Кнопс никак не мог отделаться. Он лежал возле своей Иалты, с удовольствием чувствуя рядом ее округлившийся живот. Конечно, он вспомнит еще несколько имен, которые не мешало бы занести в список, — но теперь уже поздно. Жаль, что нельзя вписать туда Варрона и Филиппа. На бедрах Иалты написал он: «Варрон», написал: «Филипп». И рассмеялся, когда она сердито запретила ему щекотать ее.

На другое утро он спозаранку отправился во дворец Нерона. Император был еще в постели, но тотчас же принял его. По-видимому, он был в хорошем настроении. Когда вошел Кнопс, он блаженно потягивался.

— Тебе пришла в голову превосходная идея насчет списка, — сказал Нерон и, достав драгоценную бумагу из-под изголовья, стал разворачивать листы. — Триста семнадцать, — размышлял он вслух, сдвигая брови над близорукими глазами. — Мало и много. — Он стал просматривать список.

Но в эту минуту, когда он лежа читал список, Нерон вдруг перестал быть Нероном. Его лицо невольно стало вновь лицом расчетливого хозяина; таким оно бывало, когда Теренций проверял на Красной улице счета, в которых Кнопс подытоживал долг заказчика или сумму взносов поставщику. Да, на какую-то долю секунды Нерон внезапно превратился в горшечника Теренция, который проверяет, не надул ли его раб.

Он почувствовал, что утратил «божественный ореол», и испугался. Быстро, искоса взглянул на Кнопса — не заметил ли тот? Кнопс стоял, как всегда, почтительно-благоговейно, и на его лице Теренций не уловил ни малейшей перемены. «Но у него в душе, — спросил себя Нерон, — как выгляжу я у Кнопса в душе?» Кнопс знал о нем много. Слишком много. Нехорошо, когда кто-

нибудь слишком много о тебе знает. Разве, например, Кнопс не позволил себе наглую шутку насчет того, что римский народ, если займется чтением стихов своего императора, совсем забросит работу? Только человек, который слишком много знает, может позволить себе такую шутку. Негодование императора по поводу ненадежности его «ореола» внезапно обратилось на ненадежного Кнопса.

Разумеется, на лице Нерона нельзя было прочесть этих мыслей. «Ореол» давно уже вернулся, перед Кнопсом снова было сытое лицо Нерона, когда тот в хорошем настроении.

— Триста семнадцать, — повторял Теренций, довольный, внимательно углубившись в список. Хороший список, — но кое-кого мы, наверное, упустили из виду. Что и говорить, — пошутил он, указывая на листы, густо исписанные даже по краям, — мы исписали немало пергамента. Места тут осталось всего ничего, посмотри-ка. Трудно вписать хотя бы еще одно имя. Впрочем, вот свободное местечко, и еще вот тут. Сюда можно вписать еще два имени. И притом коротенькие — иначе их и не прочтешь. Но тогда уже список действительно будет заполнен. Дай-ка подумать. — Он задумался, прикусив нижнюю губу. — Нашел, — сказал он весело. — Мой внутренний голос подсказал мне на ухо эти два коротеньких имени. Он редко говорит в присутствии посторонних, но на этот раз заговорил. Тебе, конечно, хочется знать, — прибавил он с лукавым видом, который встречив Кнопса, — что это за имена. Но я тебе не скажу, а сам ты, конечно, не догадаешься.

Листы лежали перед ним на одеяле, он потянулся блаженно, весело. Кнопсу стало не по себе.

— Дай мне чернила и перо, — приказал император.

Кнопс, услужливый несмотря на тревогу, исполнил приказ императора. Нерон поудобнее устроился в постели, поднял колени под одеялом, чтобы положить на них пергамент, и снова приказал:

— Достань-ка мне дощечку и подержи, чтобы я мог писать.

И он вписал два имени.

Но он так держал перо и пергамент, что Кнопс не мог разобрать самих слов, он видел только движения его руки и пальцев. Это действительно были два коро-

теньких имени. Когда он вписывал первое имя, Кнопсу удалось лишь уловить, что император писал его греческими буквами. Что касается второго, написанного латыни, он ясно видел, что оно начинается буквой «Г». Еще прежде, чем император дописал его, догадка Кнопса превратилась в уверенность: это второе имя было «Гайя».

Со вздохом Нерон снова свернул списки в тонкую трубочку, вложил один в другой, сунул их себе под подушку. Снова вытянулся и, удобно лежа, долго и витиевато болтал о том, каких многочисленных и тяжелых жертв требует «ореол» от своего носителя.

Кнопс благоговейно слушал. Но пока он стоял в смиренной позе, прислушиваясь к словам Теренция, в его душе беспорядочно, с невероятной быстротой вставали и снова исчезали тысячи образов, мыслей. «Конечно, это Гайя, — думал он. — То, что он болтает о жертвах, может относиться только к Гайе. Совершенно ясно, что он написал «Гайя». Но ведь это бессмыслица — губить ее. Ведь при теперешнем положении Варрон не может и помышлять о том, чтобы натравить на него Гайю. Чистое безумие, что он ее губит. Это только повредит ему. Она, быть может, единственный человек, который любит его, если не считать меня, дурака, который, несмотря ни на что, тоже к нему привязан». Так он думал, но сквозь эти мысли и где-то глубоко под ними вставал мучительный вопрос: а второе имя, то, что написано раньше?

— Величайший дар, — разглагольствовал между тем Нерон, — которым боги могут наделить смертного, — это «ореол». Но вместе с тем это и тягчайшее бремя. Жертвы, жертвы. «Ореол» требует жертв.

«Это все еще относится к Гайе, — думал Кнопс. — Какой вздор вбил он в свою жирную голову? Но что же это все-таки за имя, второе, греческое? Если он был так глуп, что внес в список Гайю, то кто же может быть вторым?» И хотя Кнопс в глубине души уже знал, чье это имя, все же он старался мысленно представить себе белую мясистую руку императора и восстановить в памяти все ее движения в то время, как она писала. И он видел движения этой руки. Видел, как эта рука написала букву «каппа», — вертикальный штрих и две косых палочки, — увидел и угадал простые очертания буквы «ню», пузатую, точно беременную, «омегу», за-

мысловатый крючок «пси». Как ни странно, но он не очень испугался, когда это всплыло в его сознании. «Тут не может быть «Кнопс», — думал он. — Совершенно непонятно, зачем ему вносить меня в список. Ведь именно я сделал из него то, чем он стал, и если существует человек, который может помочь ему продержаться, так это я». Но в то же время ему вспомнилась маленькая шутка, которую он позволил себе после чтения «Октавии», чтобы подогреть настроение, — глупая шутка о римском народе, который, читая поэмы императора, не сможет работать за отсутствием времени; уже тогда он почувствовал, что совершена ошибка. Вдруг ему стало ясно, как серьезна была эта ошибка, и четко встала в его воображении рука писавшего: три палочки «каппы», простые очертания «ню», пузатая, точно беременная, «омега», замысловатый крючок «пси». До боли ясно увидел он перед собой написанное почерком Нерона слово «Кнопс».

Нерон, со своей стороны, говоря о «жертвах, жертвах», действительно думал о Гайе и о том, что, в сущности, жалко уничтожать ее. «Что она любит меня, — думал он, — не подлежит сомнению. А что она слепа и глупа и не видит дальше своего носа, в этом она неповинна. Но и я в этом неповинен. Может быть, и глупо, что я приговариваю ее к смерти, может быть, когда-нибудь я в этом раскаюсь. Но нет, это не глупо. Она не видит, что я Нерон. Она этого не понимает. Она оскорбляет мой «ореол». Не ее это вина, но и не моя вина в том, что, к сожалению, я вынужден ее убрать. Меня ничто не может связывать с женщиной, которая оскорбляет мой «ореол». Кто оскорбляет мой «ореол», тому не жить на свете. И пусть эта проклятая Акте покамест от меня ускользнула, — по крайней мере, Гайя здесь. Передавить всех, как мух, передавить. В сущности, жалко мне и эту муху — Кнопса. Преданный и забавный человек. Как почтительно он стоит предо мной. Предан, как собака, и притом хитер. Но он позволил себе гнусную шутку, и боги не хотят, чтобы человек, позволивший себе такую шутку, оставался в живых. Кроме того, он очень много знает. Он знает о теперешнем Нероне столько, сколько теперешний Нерон знает о Нероне, жившем на Палатине. Это слишком много. Но все-таки мне его жалко. Надо в него хорошенько

вглядеться. Вскоре я увижу его только в образе летучей мыши. Передавить всех, как мух, передавить».

Между тем перед глазами Кнопса танцевало маленькое, но четкое и грозное словечко: «Кнопс». «Конечно, вписано имя «Кнопс», — думал он. — Но зачем он его написал? Адская получилась шутка — я попал в список, который сам же придумал. Как же это вышло? Глупость все это! На кой мне черт знать причины? Передо мной теперь единственная задача — выбраться из этого списка».

«Самое простое — это, не показывая вида, уйти, исчезнуть. Ушел — и поминай как звали. Прежде чем он успеет дать приказ Требонию, я уже улечусь. А как только выберусь из Эдессы, дам знать Иалте, чтобы она отправилась вслед за мною с маленьким Клавдием Кнопсом. Взять ли с собой Гориона? Это лишнее бремя. Но если дело обернется плохо, для маленького Клавдия Кнопса будет лучше, если хотя бы Горион будет с ним. Дело, конечно, плохо не обернется, но страховка не помешает. Что за чушь, почему Горион не выходит у меня из головы? У меня, клянусь Геркулесом, есть теперь дела поважнее. «Кариец, киликиец, каппадокиец — все хороши: три «к», от которых воротит с души». Нет, не следовало бы брать с собой Гориона.

Чушь. Просто немыслимо, чтобы он меня убрал. Нерон не убьет своего Кнопса. Он слишком его любит. Было бы идиотизмом поддаться панике и дать тягу. И ведь деньги здесь. Не могу же я бросить на произвол судьбы деньги маленького Кнопса. Это было бы преступлением. Только не терять головы. Кто у кого в руках? Нерон у Кнопса или Кнопс у Нерона? Странно, что я даже в мыслях всегда называю его Нероном. Он великий человек, несмотря на свои злые шутки. А я разве не позволяю себе злых шуток? Не будь он великим человеком, я бы теперь, конечно, не называл его мысленно Нероном. Я его люблю, а раз я его люблю, я смогу его переубедить. И я это сделаю».

— Говорил я тебе, — произнесла массивная голова, лежавшая на подушке, — что уже решил, на какую ночь все назначить? Это произойдет в ночь на пятнадцатое мая.

«Ночь на пятнадцатое мая, — думал Кнопс. — Еще четыре дня, но я не могу ждать четыре дня. Я должен

решить сейчас, сию же минуту, что делать. Самое умное — просто говорить правду. Иногда правда приносит наибольшую выгоду. Надо показать ему, что я действительно люблю его. Пусть он поймет, что ему нечего бояться, если он оставит меня в живых, и, наоборот, многого придется ему бояться, если он потеряет меня. Я буду говорить с ним совершенно искренне».

В фамильярной, лукавой и раболепной позе стоял он перед Нероном.

Итак, в ночь на пятнадцатое мая, начал он задумчиво, произойдет великая проверка. Естественно, что при такой проверке император захочет основательно прошупать людей, даже близко к нему стоящих, какого-нибудь Требония или даже самого Кнопса, — так сказать, устроить суд над ними. Он, Кнопс, сам проверил себя, не было ли хоть когда-нибудь, хотя бы где-то в самой сокровенной его глубине, какой-нибудь нечестивой мысли, не неисполненной подобающего благоговения перед императорским «ореолом». И он не мог обнаружить в себе ничего такого. Но ведь он — простой смертный, мысли его неуклюжи, взгляд, которым он смотрит в собственную душу, недостаточно зорок, не обладает той остротой, какая присуща благословенному богам взгляду императора. Он убедительно просит Нерона сказать ему, не открыл ли в нем Нерон нечто такое, что не сможет выдержать последнего испытания.

Кроткая, коварная улыбка мелькнула на пухлых губах Теренция. Его жирное, довольное лицо утопало в подушке, под которой лежали драгоценные списки. Теренций самодовольно поглаживал холеными пальцами одеяло. Сильнее обычного прищурил он близорукие глаза, потом внезапно складки вокруг них разгладились, он пристально взглянул на Кнопса и сказал тихим, самодовольным, грозным голосом:

— Ты знаешь слишком много, мой Кнопс. Одному лишь императору полагается знать так много.

Кнопс был и прежде уверен, что император включил в список его имя; однако сейчас, когда Нерон прямо и без околичностей сказал об этом, его точно громом поразило. Но он все же силился не побледнеть, не утратить способности логически мыслить. Хуже всего было то, что названная Нероном причина не зависела от воли

Кнопса и не была заложена в нем самом, — она связана была только с характером их отношений, а они были не в его власти, в них уже ничего нельзя было изменить. И все же он нашел возражение, быть может, единственное, которое могло парализовать выдвинутый Нероном аргумент.

— Разве нельзя, — спросил он смиренно, — выжечь знание любовью?

Императора, по-видимому, тронул этот ответ. Массивное лицо на подушке стало задумчивым.

— Может быть, и можно, — произнесли полные губы. — Вопрос лишь в том, стоит ли императору решать задачу: что больше — любовь знающего или его знание? Проще было бы для императора «выжечь» человека, который слишком много знает.

Ему доставляло глубокое наслаждение играть с человеком, который позволил себе ту дерзкую шутку. Но Кнопс видел, что его довод все-таки даром не пропал.

— Разве императору не нужен друг? — настойчиво продолжал он свою атаку на Теренция. — Разве друг, который верно служил еще переодетому императору, не дороже нового?

— Не задавай слишком много вопросов, — самодовольно осадил его Нерон, смакуя ревнивый намек Кнопса на Требония.

— Слушай, — сказал он вдруг возбужденно, приподнявшись на постели. — Мне пришла в голову мысль. Я задам тебе вопрос. Даю тебе право ответить три раза. Если ты в третий раз не дашь правильного ответа, значит, ты не выдержал испытания и цена тебе не больше, чем летучей мыши.

— Спрашивай, мой господин и император, — смиренно попросил Кнопс.

Нерон снова лег. Сделал вид, что зевает, и вдруг в уснор спросил:

— Кто я такой?

Кнопс с минуту размышлял.

— Ты — мой друг и вождь, — ответил он громко, убежденно.

— Плохой ответ, — зевнул Нерон, — так может ответить любой. От тебя я жду лучшего.

— Ты — император Нерон Клавдий Цезарь Ав-

густ, — на этот раз неуверенно ответил Кнопс. Это был уже второй из трех предоставленных ему ответов.

— Еще хуже, — презрительно сказал Нерон. — Это знает всякий. Дешево, как мелкая монета.

Этим он, быть может, бессознательно навел Кнопса на след. Кнопс вспомнил о золотой монете с двойным изображением и на этот раз без колебаний, с бьющимся сердцем, но уверенный в успехе, дал третий ответ:

— Ты — мой император Нерон Клавдий Теренций.

Еще не кончив, он испугался дерзости своего ответа. Но голова на подушке улыбнулась, и по этой улыбке Кнопс увидел, что дал именно тот ответ, которого ждал от него Нерон-Теренций.

И в самом деле, Нерон хоть и молчал, но улыбался все более довольной, веселой улыбкой.

«Кнопс, действительно, знает очень много, — признал он. — Кнопс понял, что родиться Нероном — это немало, но еще больше — самому из Теренция сделаться Нероном». Он потянулся, сказал:

— Подойди-ка поближе, Кнопс. Ты молодец.

Кнопс был полон ликования. Труднейшую задачу из всех, которые ставила перед ним судьба, он решил превосходно. Теперь уж он наверняка завладеет уловом: можно считать, деньги старого скряги, откупщика Гиркана, уже в руках маленького Клавдия Кнопса.

Он подошел к постели Нерона с сердцем, полным преданности императору и господину.

— Ты любишь меня больше, чем Требония? — сказал он настойчиво. — Его ты не внес в список, — заметил он с гордостью. — Он не стоит этого. Скажи, ты любишь меня больше?

Нерон вместо ответа похлопал его по руке. Затем ударил в ладоши:

— Эй, кто там, позвать Требония!

Лениво вытащил он из-под подушки список и перечеркнул имя Кнопса так, чтобы тот видел. Затем — все в присутствии Кнопса — принял ванну, подставил свое тело массажисту, весело болтая о всякой всячине.

Когда явился Требоний, он выслал всех, кроме Кнопса.

— Вот список, мой Требоний, — сказал он. — Здесь триста девятнадцать имен, но одно зачеркнуто. Зачеркнутое не в счет. Остается, значит, триста восемнадцать.

Больше ничего не прибавлять и не вычеркивать. С теми, кто включен в список, поступить, как мы договорились. Срок — ночь на пятнадцатое мая.

Он зевнул, повернулся на бок, и оба осторожно удалились, чтобы не потревожить его.

19. В НОЧЬ НА ПЯТНАДЦАТОЕ МАЯ

Ночь на 15 мая была теплая, почти душная, и «Мстители Нерона», которым было поручено ликвидировать людей, внесенных в проскрипционный список, порядком потели. Но они выполнили свою работу повосному добросовестно.

Гайя, когда ее схватили, не поняла, что происходит. Она думала, что пришел тот день, которого она все время с трепетом ждала, день, когда обман раскроется, когда Теренций и его друзья, а стало быть, и она, будут схвачены. Она плакала оттого, что в этот роковой час ей не суждено быть со своим Теренцием.

— Не губите моего Теренция, не губите моего доброго, глупого Теренция! — так кричала она, так она думала, чувствовала, когда ее убивали.

А в общем, в эту ночь на 15 мая все произошло так, как было предусмотрено. Из трехсот восемнадцати человек, внесенных в список, ускользнуло только четырнадцать, и произошло одно-единственное недоразумение. Спутали горшечника Алкада, человека, попавшего в список за то, что однажды на празднестве горшечного цеха он грубо раскритиковал распоряжения руководителя игр Теренция, с музыкантом, носившим то же имя. Это была ошибка, столь же роковая для музыканта, сколь благодетельная для горшечника. Взятому по недоразумению Алкаду не помогли никакие уверения, что он — музыкант Алкад. Люди Требония действовали, как им было приказано, и прикончили Алкада. Нерон, когда ему рассказали об этом недоразумении, громко расхохотался. Он вспомнил поэта Цинну, которого после убийства Цезаря умертвили вместо Корнелия Цинны. Неудачливость поэта вошла в поговорку: десять лет работал он над маленькой стихотворной новеллой «Смирна» и был убит по недоразумению как раз в тот момент, когда довел свое произведение до полной неудобопонят-

пости. Вспомнив о нем, Нерон рассмеялся, пришел в хорошее настроение и даровал жизнь горшечнику Алкаду.

Варрон, когда «Мстители Нерона» пришли за Гайей, напрасно пытался воспротивиться им. Он набросился на них возмущенный, властный, — ведь он умел повелевать. Напрасно. Поднятый с постели, наспех одевшись, он в гневе отправился к Теренцию. Но попасть к нему не удалось. Вежливо, решительно разъяснили ему дежурные лакеи и офицеры, что император работает над речью, которую он завтра произнесет в сенате, и что он дал строгий приказ не впускать никого — кто бы ни добивался аудиенции. С трудом сохраняя выдержку, Варрон вынужден был удалиться.

Сначала он рассердился на себя — как мог он так плохо следить за «тварью», как мог допустить, чтобы Теренций попал в руки Кнопса и Требония. Потом им овладел бешеный гнев на Теренция. Всем существом своим рвался он покончить с «тварью». Но по нелепой иронии судьбы все, чем он владел, было связано с «тварью», и, покончив с нею, он покончил бы с собой.

Много часов просидел он в одиночестве, думал, размышлял, спорил с самим собой. Но гнев его утихал, оставалось лишь ощущение пустоты и бессилия. Варрон достал из ларца расписку об уплате шести тысяч сестерциев и уставился неподвижным взглядом в графу «Убыток». Он потерял очень много: достоинство, принадлежность к западной цивилизации, друга Фронтон, в сущности — и дочь Марцию, большую часть своего состояния, почти все иллюзии. По существу, единственное, что оставалось, был он сам.

Царь Маллук, услышав о резне, встал, приказал одеть себя, прошел в покой с фонтаном. Там он уселся, скрестив ноги по-восточному; спокойно, с достоинством сидел он среди ковров. Но в душе его звучали вопли убитых, их не могли заглушить ни ковры, ни плеск фонтана. Была еще ночь, когда пришел верховный жрец Шарбиль и молча уселся рядом с ним. К утру Шарбиль осторожно сказал, что если кто-нибудь прибегает к таким средствам, как эта кровавая ночь, значит, он сам махнул на себя рукой. Шарбиль умолчал о том, какой, собственно, вывод следовало сделать из его слов: надо бы выдать человека, который сам в себе отчаялся. Маллук очень хорошо понял недоговоренное. Но он сохранял

достоинство; даже в мыслях своих не хотел он взвешивать того, что предлагал ему верховный жрец. Так, молча, сидели они, пока не настало утро. Когда Шарбиль, ничего не добившись, удалился, тоска Маллука усилилась. У него было богатое воображение; сказка, которую он в оазисе рассказывал неведомым людям, сказка о горшечнике, который стал императором, полна была причудливых эпизодов; но такого мрачного, кровавого эпизода он не предвидел. Долго сидел он, удрученный мрачными фантазиями. Он тосковал по своей пустыне, но в такую минуту он не мог покинуть страну. Ему очень хотелось сесть на коня, но в это утро он боялся смотреть в лицо жителям Эдессы. Наконец он со вздохом отправился в свой гарем.

Когда царь Филипп услышал о кровавой бане, его охватило отвращение, доходившее почти до тошноты. Он бросился в библиотеку, к своим книгам. В произведениях поэтов и философов были прекрасные стихи, возвышенные изречения, слова, звучавшие глубоко и красиво: «Восток, глубина, красочность, гуманность, мудрость, фантазия, свобода», — но слова и стихи не утешили его. В действительности ко всем этим понятиям примешивались грязь и кровь. Гордые, утешительные слова поэтов были только покровом, за которым скрывались кровь, грязь, горе. Слишком тонким покровом: взор мудрого проникал сквозь него.

20. РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЛАСТИ

Нерон созвал свой сенат — и в ту минуту, когда он в большой речи обосновывал перед ним необходимость проскрипций, он, пожалуй, ощущал еще большее блаженство, чем на башне Апамейской цитадели, когда он с высоты созерцал и воспевал гибнущий город, или чем в Риме, когда впервые читал перед сенатом послание императора.

Он говорил о тяжелых обязательствах, которые налагает власть на своего носителя.

— Как боролся я с собой, — воскликнул он, — прежде чем решился убить столько людей, в том числе и таких, которые мне были друзьями и больше, чем друзьями! Но я думал о величии империи, я совладал

со своим сердцем, принес жертву, стер с лица земли заговорщиков. — Он распалялся, пьянел от собственных слов, он верил в них, верил в свои страдания и в величие своей жертвы, с бешенством обрушивался на преступников, на ставленников узурпатора Тита, на секту бандитов-христиан. Он бушевал, неистовствовал, выворачивал себя наизнанку. Он метал громы и молнии, бесился, умолял, проливал слезы, бил себя в грудь, заклинал богов. Он закончил:

— Я не несу ответственности ни перед кем — лишь перед небом и своим внутренним голосом. Но я слишком почитаю вас, отцы сенаторы, чтобы уклониться от вашего суда. Вы знаете, что именно произошло, вы слышали, почему оно произошло. Судите. И если я не прав, повелите мне умереть.

Конечно, ему не повелели умереть, а постановили устроить празднество, дабы возблагодарить богов за спасение империи и императора от огромной опасности.

Кровавая ночь возымела на сенат и на народ именно то действие, на которое заранее рассчитывали Кнопс, и Требоний, и Нерон. Деяние Нерона, мгновенное и страшное, вызвало ужас, благоговение, удивление. «Одним махом», — сказал Кнопс, характеризуя свои и Нерона действия, и слова «одним махом» заняли отныне важное место в словаре населения Сирии.

Оправившись от первого испуга, толпа еще больше стала любить и почитать Нерона за его энергию и мрачное величие, она забывала растущую нужду, ослепленная величием своего императора. Только теперь поняла она, что значил мрачный символ Нерона — всадник на летучей мыши. Летучая мышь — отвратительное исчадие ночи — это было единственное средство, при помощи которого власть могла вознестись к небу.

Толпа это почувствовала и одобрила, и, когда 21 мая, в положенный срок, состоялось освящение барельефа на скале, она с ликованием приветствовала, полная благоговейного трепета, того человека, черты которого на вечные времена были запечатлены на скале в исполинском и весьма реалистическом виде.

Во всем мире кровавая ночь вызвала омерзение. Но не на долгий срок, — потому что, если сила на стороне тех, кто его вызывает, люди хоть и осуждают их омерзительные действия, но скоро о них забывают.

Император Тит в своем дворце на Палатине вначале не осуждал Нерона. Хотя его называли и сам он себя называл отрадой рода человеческого, но он знал, что невозможно дать людям счастье без силы. Он сам был полководцем в двух войнах, подготовил государственный переворот, приведший к власти его отца, посылал на смерть многих людей и не высоко ценил человеческую жизнь. И все же, когда он просматривал список убитых, лицо его исказила гримаса отвращения. Он нашел имя Гайи, нашел имена других, которые были убиты только из-за личного тщеславия и мстительности составителей списка. То, что этот мелкий негодяй и его сброд натворили в Междуречье, было лишь на одну десятую политической и на девять десятых — взрывом злобного безумия. Император Тит тихо, с глубоким отвращением, произнес:

— Мелкая рыбешка — и так воняет!

Секретарь Тита передал эти слова дальше. И с тех пор, если человек мелкого пошиба становится вождем широких масс и сеет вокруг себя зло, обычно говорят:

— Мелкая рыбешка — и так воняет!

Книга четвертая

ПАДЕНИЕ

1. НЕПРИСТОЙНАЯ ПЕСЕНКА

Однако не эта кровавая ночь, навзгляд современников, знаменует начало падения Нерона-Теренция, но событие, куда менее значительное, даже совершенно неприметное — появление маленькой песенки.

«Боги сразили мужа Максима Теренция, называвшего себя Нероном, его же собственным оружием, — пишет некий историк. — Искусство декламации и пения, которым он владел, вознесло его, и пал он из-за маленькой песенки».

Кто сочинил эту песенку и кто спел ее первым, неизвестно. Она появилась как-то вдруг, дерзкая песня, каких на Востоке было тысячи, меланхолические, насмешливые куплеты на арамейском языке. Их мелодия, или, точнее, напев, монотонный, как все напевы кочевников пустыни, придавала словам особое насмешливое бесстыдство. Слова эти были такие:

Горшечник некую вещь закрутил,
Одну большую вещь закрутил,
Ей только бы закрутиться.

Акте приехала. Вот беда.
Смотрят: а вещь ни туда, ни сюда,
Никуда не годится.

Горшечнику место на улице Красной.
Он господина корчит напрасно.
Это опасно.

Если горшечнику мудрость не впрок,
Он получит урок,

Хороший урок, настоящий урок.
Не знаешь, в чем дело,
Пока не влетело.

Будет, горшечник, тебе укорот!
Хвост подожми, не то попадет!
Сам император придет вот-вот,
Во многом ты грешен.

Вешь докрутилась твоя,
Звезда закатилась твоя,
Будешь повешен!¹

Под аккомпанемент кифары и барабана она звучала особенно эффектно, но и без аккомпанемента она легко лезла в уши. Ее мелодия была изысканна и вместе с тем проста — напев на арабский лад, но с крохотными двусмысленными непристойными паузами, например, перед словом «вещь» и перед заключительными словами, благодаря чему конец как-то меланхолически и нагло повисал в воздухе, и все то печальное, жалкое, обреченное на гибель, что скрывалось в заемом императорском величии, сразу проступало наружу осязатее, чем под ударом самых убедительных доказательств.

Требоний мог запретить людям обсуждать события 15 мая, мог жестоко расправиться с любым, кто порицал императора, но он не мог запретить, например, крохотную нахальную паузу перед словом «вещь» или помешать тому, чтобы мелодия меньше чем в две недели завоевала всю страну. Все, и говорившие и не говорившие по-арамейски, знали слова этой песенки. Стоило лишь промурлыкать два-три такта, и каждый уже понимал, что хочет сказать собеседник, злобно и невесело усмехался и думал о своем.

Популярность песенки объяснялась тем, что положение в Междуречье и в той части Сирии, которая управлялась Нероном, становилось все хуже. Ночь на 15 мая укрепила, правда, престиж режима, но хозяйственного положения страны она не улучшила. Хлеба стало меньше, а пироги и вовсе исчезли. Вдобавок росло озлобление, вызываемое произволом ставленников Нерона, насилиями Требония, Кнопса и их помощников, привиде-

¹ Перевод В. Микусевича.

гиями, которыми пользовалась небольшая клика за счет всего населения. «Песня о горшечнике» звучала в ушах и сердцах всего народа. Ее пели на улицах больших городов: Самосаты, Эдессы, Пальмиры, Апамеи, Лариссы. Пели ее лодочники, бороздившие Евфрат и Тигр, пели крестьяне и рабы, которые пахали, сеяли и снимали урожай, пели ремесленники и те, кто работал на мануфактурах предпринимателей, пели прачки у колодцев и дети, играющие на улицах, пели бедуины в пустыне — те, что везли на верблюдах тюки с товарами, и те, которые подстерегали караваны, чтобы напасть на них и разграбить.

Это была маленькая песенка, «Песенка о горшечнике», но было в ней что-то такое, что не на шутку подтачивало устои Неронова господства. Правда, императора восторженно встречали, где бы он ни появлялся. Но стоило прислушаться внимательнее, и можно было уловить сквозь возгласы: «О ты, всеблагой, величайший цезарь Нерон», — бесстыдные стишки:

Горшечнику место на улице Красной.
Он господина корчит напрасно.
Это опасно.

И конец, так печально, так смешно, так жалко и так злобно повисавший в воздухе:

Будешь повешен!

2. ЗАНАВЕШЕННЫЙ ЛАРЬ

Губернатор Цейоний музыкальностью не отличался. Однако в ожидании гонца, который должен был доставить ему с только что прибывшего корабля почту из Рима, он напевал без слов песенку о горшечнике. Обутый в высокие сандалии сенатора, в тяжелой, украшенной пурпурными полосами верхней одежде, он сидел за письменным столом, напряженный, прямой, и мурлыкал про себя нахальную, глупую песенку.

Цейоний был неузнаваем. Подавленность, летаргия последних месяцев исчезли. Получив сообщение о событиях 15 мая, он впервые за долгое время дернулся и выпрямился. Как и князя Востока, он усмотрел в кро-

вабой ночи жест отчаяния, на который способен лишь человек, чувствующий приближение конца.

Правда, с этих пор прошло уже довольно много времени, а во владениях мнимого Нерона все еще ничего не изменилось. Больше того, Нерон-Теренций достиг даже еще каких-то местных успехов в Сирии. И все же Цейоний был уверен, что закат Теренция наступил, и наивный текст песенки о горшечнике вполне подтверждался теми отчетами о внутреннем положении в Междуречье, которые он получал от своих экспертов.

Цейоний стал мудр, он остерегался проявлять слишком большой оптимизм. Он не думал, что власть Теренция вскоре сама собой рухнет. Он знал, что Требоний со своей прекрасно вооруженной, дисциплинированной армией еще долго мог держать в руках Междуречье. Но власть мошенника Теренция была поколеблена изнутри, и сам он созрел, нужен был лишь внешний толчок, чтобы он пал.

И толчок этот будет дан. Цейоний ждет почты из Рима, он не сомневается, что она принесет ему ответ, разрешающий все вопросы. Время подавленности, бездействия, равнодушия миновало. Цейоний очистил свою армию, он проверил насквозь каждого офицера и солдата, выкинул всех, кого можно было заподозрить в сочувствии движению так называемого Нерона. Полгода тому назад легионы Цейония представляли собой скандальное зрелище, теперь же опасность того, что среди офицеров найдутся такие, которые польстятся на обещания Варрона или Требония, устранена полностью.

Но где же гонец? Собственно, ему давно бы пора быть здесь. Цейоний взялся за документы, но читать он не мог. Если бы в военном министерстве вняли его доводам и решились отозвать Четырнадцатый легион, который заражен больше других, а взамен послали ему Девятый, тогда все обстояло бы прекрасно, тогда ему нечего было бы бояться, хотя бы даже дело дошло до войны с парфянами.

Вещь докрутилась твоя,
Звезда закатилась твоя,
Будешь повешен!

Цейоний заканчивает так, что мелодия повисает в воздухе, — не потому, что он умеет петь, нет, его голос

звучит фальшиво, по его слух и сердце улавливают верный тон.

Гонец. Наконец-то. Распечатывая письмо императора, Цейоний не мог удержать дрожи в пальцах. Он пробежал длинное послание. Налоговые вопросы, административные мероприятия, указания по поводу культа бога Митры. А где же о главном? Вот, оно здесь: «Что касается ваших предложений, мой Цейоний, относительно замены нашего Четырнадцатого Девятым, то мы, обсудив, одобрили это и отдали соответствующий приказ».

Цейоний не дочитал письма до конца. Девятый, он получит Девятый легион! Какое признание проделанной им работы, какая награда за нее! Обязанности главнокомандующего больше всего привлекали Цейония в его должности. О, чего только он не сделает, имея в своем распоряжении Девятый легион, этот чудесный материал! В голове Цейония зарождаются тысячи планов. Он бодр, как в лучшие годы юности. Пусть сколько угодно называют его Дергунчиком — и здесь, в Антиохии, и по всему Востоку. За последние месяцы прозвище это приобрело другой смысл, и сейчас, пожалуй, дело близится к тому, чего ему в свое время иронически пожелал Варрон, — чтобы имя это произносилось не с издевкой, а доброжелательно, почти ласково.

Не терять ни минуты. Порадоваться можно будет после. Цейоний перебирает полученную корреспонденцию. Вот письмо друга его Пэта, который обычно держит его в курсе римских дел. Если его друзьям в военном министерстве понадобилось столько времени на то, чтобы добиться замены Четырнадцатого легиона Девятым, писал Пэт, то виновата в этом лишь злополучная пассивность императора. Но недалеко время, когда это препятствие отпадет. По сведениям, которые Пэт почерпнул непосредственно у лейб-медика доктора Валента, — император не протянет и года. Цейоний прерывисто вздохнул, лицо его покрылось пятнами. Как это просто сказано, всего несколько небрежных каракулей: «Не протянет и года». Просто, как слова «сердечный привет». А между тем ведь это нечто грандиозное, ошеломляющее, это величайший дар богов! Если только Тит действительно умрет, если его место на престоле займет молодой, энергичный Домициан, тогда песенка о горшечнике станет реальностью, тогда его вещница докру-

тится; Цейоний, под прикрытием Палатина, перейдет Евфрат, вытащит всех этих молодчиков, вздернет их на крест.

Надо бы, в сущности, сесть за письменный стол. Цейоний работает с удовольствием, добросовестно, а теперь, после письма императора, дел целая куча. Но сейчас он не в состоянии работать. Ему хочется движения, он должен перевернуть свою удачу. Он поедет верхом за город.

Он пересек зал. Вот и задернутый тканью ларь с восковым изображением предка. Нет, сегодня он не старается поскорее проскользнуть мимо этого ларя. Он даже замедляет шаг, он выпячивает грудь, выпрямляется и, проходя мимо предка, кивает ему, улыбается. Он победит, он уничтожит этого проходимца. А победив, он испросит себе награду, — в присутствии императора и сената он сдернет с ларя завесу.

3. ЗАБОТЛИВЫЙ ОТЕЦ

Пока правительство Тита бездеятельно взирало на возвышение Нерона, никто не осмеливался громко заговорить о своих сомнениях в подлинности этого Нерона, но как только распространилась весть о том, что Десятый выступил в Сирию, языки мгновенно развязались. Даже те, кто до этой поры верил в Нерона, стали сомневаться в своем бравом императоре.

Так как правительство упорно замалчивало события по ту сторону границы и препятствовало распространению правильных сведений, то возникали слухи, которые, передаваясь тайно из уст в уста, становились все невероятнее. Причудливо сплетались предсказания святого актера Иоанна с Патмоса со слухами о военных приготовлениях в Сирии и о предстоящей карательной экспедиции, которую готовит губернатор Цейоний. Трехглавым псом ада называл Иоанн триумвират — Теренций, Требоний, Кнопс, прозвище это распространилось в народе. Теперь все говорили, что Геракл пустился в путь, чтобы изловить трехглавого пса. Деятельность противников Нерона усилилась, надписи на стенах — насмешливые, негодующие — умножились, песенка о горшечнике была у всех на устах и у всех в сердце.

Но в городах стояли войска Нерона. Они марширо-

вали по улицам, крепкие, сытые, прекрасно вооруженные, нечего было и думать о том, чтобы крестьяне и горожане, при всей своей многочисленности, неорганизованные и недисциплинированные, могли бы вступить в борьбу с такой армией. И жизнь текла по-старому. Чужестранец, попав в Самосату или Эдессу, вряд ли заметил бы признаки внутренней неурядицы в стране, наоборот, у него создалось бы впечатление, что народ доволен властью Нерона и счастлив.

Туземные князья и знать в официальных заявлениях по-прежнему выражали радость по поводу пребывания в их странах высокого гостя. Но те же князья и знатные господа плохо спали и косо смотрели на Варрона. Они знали, что среди их народов растет глухое недовольство, они видели, что хлеб, вино, пироги и деньги иссякают, а гнет Теренция, Требония, Кнопса чувствовался сильнее, чем раньше гнет огромного и безликого Рима.

Из советников Нерона Кнопс яснее других чувствовал, как пошатнулись основы нероновского режима. Он замечал это прежде всего по поведению ближайшего своего окружения. Его тесть Горион осмелился даже затянуть в его присутствии своим грубым, некрасивым голосом песенку о горшечнице, хотя она задевала его самого как владельца фабрики на Красной улице и как тестя Кнопса.

Кнопс, однако, пропускал мимо ушей эти наглые выходы. Он знал, что даже такое сильное средство, как проскрипции, подействует лишь ненадолго, и решил сразу же после кровавой ночи скрыться, он хотел лишь поместить в надежное место деньги Гиркана, точнее, деньги будущего маленького Клавдия Кнопса. Но именно эти деньги, этот чудесный, желтый, огненный металл, задерживали его. Правда, откупщик Гиркан был убит в ночь на 15 мая, но миллионы его оказались совсем не такими доступными, как думал Кнопс. Они вложены были в многочисленные, более или менее разветвленные предприятия, лежали в векселях и иных обязательствах, частью переведены были за границу, чтобы не платить с них налогов, или просто хорошенько припрятаны. Помимо этого Варрон не спускал глаз с Кнопса, а Варрон был неприятный противник, с ним нельзя было войти в сделку. Кнопсу пришлось прибегнуть к тысяче ухищрений, чтобы прикарманить золото убитого Гиркана.

Из-за этого его отъезд все оттягивался. Он чуял, что опасность уже близко, и тосковал по безопасному убежищу. Кнопс был не из храброго десятка, он знал, что, если запоздает, его ждет ужасная, мучительная смерть; когда он слышал заключительные слова песенки о горшечнике: «Будешь повешен», — страх царапал ему каждый нерв. Но он был хорошим, заботливым отцом, он не мог бросить на произвол судьбы деньги своего сыночка, он стиснул зубы и остался.

4. ПОГИБШИЙ ТОВАРИЩ

Фельдмаршал Требоний расхаживал по городу, как всегда, шумный, в хорошем настроении. Со сотысячной, хорошо организованной армией можно налить на то, что «аристократы» называют «психологическими затруднениями», и он грубо насмехался над бреднями этих господ. Не пугал его и численный перевес легионов Цейония. Втайне, правда, ему становилось не по себе при мысли о том, как обогнали его в знании теории офицеры Цейония в своих военных академиях. Если смотреть с этой точки зрения, то смерть полковника Фронтонна и лейтенанта Луция была не так уж выгодна, а фельдмаршал Требоний втайне проводил немало часов над головоломным чтением «Учебника военного искусства».

Убийство лейтенанта Луция имело неприятные последствия еще в одном отношении. Умер храбрый и заслуженный лейтенант, который столько сделал для победы Нерона, и это вызвало недовольство в армии. Офицеры и солдаты попросту отказывались верить, что их товарищ Луций изменил делу императора, за которое он боролся, не щадя жизни. Кто мог быть спокоен за себя, если этого Луция столь гнусно, без суда, уничтожили? Везде слышались ругательства и зажигательные речи, решено было не оставлять без внимания такого перегиба.

Армия послала депутацию к своему фельдмаршалу с вопросом, знал ли он об убийстве Луция, дал ли он согласие и в чем провинился их товарищ и каковы доказательства его вины; если же убийство Луция совершено было без ведома Требония, то что фельдмаршал

намерен предпринять для того, чтобы виновники убийства понесли наказание?

На мгновение у Требония мелькнула мысль, не задержать ли депутацию и не предать ли ее затем военному суду. Но он чувствовал душу солдата и быстро сообразил, что лучше не покрывать убийство Луция. Пусть солдаты любят и ненавидят кого хотят. Лейтенант Луций был любимцем армии, следовательно, он был ни в чем не виновен, убийство его есть преступление. Требоний дал промах, внеся Луция в проскрипционные списки, и вынужден теперь проглотить последствия своей ошибки. Он заявил, что осуждает убийство лейтенанта, и обещал, что армия получит удовлетворение.

Он пошел к Нерону. Тот, когда Требоний явился, лежал на тахте, ленивый, хмурый. Правда, слушая допесения своих советников о военных приготовлениях Цейония, он на вид оставался безучастным, пропускал все мимо ушей, но стоило ему остаться в одиночестве, как он тотчас мрачнел, массивное лицо его темнело, нижняя губа выпячивалась еще более капризно и раздраженно, чем обычно.

Песенка о горшечнике угнетала его. Евреи, как ему рассказывали, верят, что их бог в отместку за разрушение храма поселил в голове Тита насекомое, которое, не переставая, мучает его, — в этом и заключается болезнь императора. Песня о горшечнике жужжала в ушах Нерона, как это самое насекомое в мозгу у Тита. Нерон не мог избавиться от этой песни, она терзала его, подтачивала его «ореол».

Он обрадовался приходу Требония, это отвлекло его. — Боги не говорят со мной сегодня, — сказал он, — мой внутренний голос молчит. На такие дни не худо бы иметь какого-нибудь типа вроде горшечника Теренция: в свое время он умел неплохо развлечь меня. Но на худой конец и ты хорош.

Требоний не знал, как ему истолковать приветствие императора, — как добрый знак или дурной; обычно не трусливый, он сейчас испытывал какое-то замешательство. Нерон по-прежнему был для него императором, богом. А чтобы потребовать от Нерона того, чего собирался потребовать Требоний, во всяком случае, нужна была храбрость.

— Мои солдаты, — начал он, — беспощаднее прежнего расправляются с населением за известную бесстыдную песенку. В одной Самосате мы схватили и отдали под суд триста двадцать четыре человека. Но теперь придумали новый фортель. Они поют дурацкую «Песню о юле», песню этой шлюхи Клавдии Акте, но на новые слова.

— Что за новые слова? — спросил Нерон.

— Очень глупые слова, — неохотно ответил Требоний. — Не стоит даже повторять их.

— Говори! — приказал Нерон, не повышая голоса.

И Требоний произнес эти слова, которые гласили:

Юла уже не кружится, горшечник,
Рад ли ты, что она уже не кружится?
Рад ли ты, что всему конец?

Я рада...

Нерон внимательно слушал.

— Слова действительно дурацкие, — подтвердил он.

— Может быть, запретить эту песню? — спросил Требоний ретиво.

— Песню о юле ты запретить не можешь, — деловито возразил Нерон, — в Риме над нами будут смеяться. Неумно было запрещать даже ту непристойную песенку. Нельзя отдать под суд песню.

— Да, это затруднительно, — угрюмо согласился Требоний. — Они напевают мелодию без слов. А когда схватишь их, они заявляют, что это не та мелодия, и никак нельзя уличить их.

— В самом деле нелегко, наверно, преследовать песню, — размышлял вслух Нерон. — Есть тысячи песен на одно лицо, и никогда нельзя знать, напал ли ты на настоящую или только на похожую.

— Я, значит, не буду больше преследовать песню, — смиренно сказал Требоний.

— Вздор! — возмутился Нерон. — Ты обязан ее преследовать. Ее нужно вырвать с корнем. Но ты не способен на это. — Требоний покорно проглотил пилюлю.

— Твой слуга Требоний, о великий император, — сказал он, — верен тебе, но он прямолинеен и неуклюж. Оказалось, к сожалению, что он поступил несправедливо, когда предложил в свое время проставить в известном списке одно имя.

Нерон сдвинул брови.

— Как так несправедливо? — сказал он. — Я одобрил списки. Тем самым все в них стало справедливым.

Требоний отступил, испуганный. Но он обещал своим солдатам удовлетворение и потому был настойчив. Через некоторое время он стал опять осторожно пробираться вперед.

— Армия любила Луция, — сказал он. — И сейчас еще любит.

— Луция? — повторил Нерон. — Кто это — Луций?

— Это тот самый, о котором я говорил, — ответил Требоний, и так как император не разгневался, он собрался с духом и скороговоркой продолжал: — Армия — рука императора. Когда руке больно, когда, скажем, на ней царапина, разве не следует императору приложить к больной руке мазь?

«Если Нерон вспылит, — подумал Требоний, — если он рассердится, я не буду настаивать. Мне жаль моих людей, но я предаю их военному суду».

Нерон не рассердился. Нерон рассмеялся. Требоний поэтому продолжал:

— Император давно не устаивал речью своих солдат. Армия жаждет слова императора. Милостивое слово императора удваивает мощь армии.

— Что же случилось с твоим Луцием? — милостиво спросил Нерон.

Теперь Требонию предстояло выполнить труднейшую часть задачи.

— Было бы хорошо, — осторожно начал он, — если бы император рассказал своим солдатам об их однополчанине Луции, если бы император разъяснил своей армии, что считает этого Луция хорошим офицером и сожалеет, что его нет более в живых.

Нерон оглядывал сквозь свой смарагд Требония с ног до головы.

— Гм, — сказал он, — я, стало быть, должен хоронить твоих мертвецов. Ты знаешь, Требоний, что ты наглец?

Но слова эти прозвучали не очень грозно. Нерон погружился в раздумье, и Требоний знал, что в эти минуты принимаются решения, которые могут весьма существенно повлиять на его, Требония, популярность в армии. Он внимательно следил за лицом императора,

напряженно ожидая слов, которые слетят с уст его. Вот уста эти разомкнулись, сию минуту император заговорит, ответит ему. Требоний слушал в напряженном ожидании. Но то, что слетело с этих уст, не было ответом ему: Нерон вполголоса напевал что-то — да, он мурлыкал проклятую наглуую песенку о горшечнике. Требоний был немзыкален и часто не мог отличить одну мелодию от другой. Но на этот раз он не мог перепутать, — это, несомненно, была пресловутая песенка, и сердце у Требония сжалось от испуга.

Император же, внезапно оборвав песню, улыбнулся и сказал:

— В сущности, это не столь уж неблагодарная задача — оплакивать смерть храброго солдата, и я полагаю, что подобная траурная речь будет выглядеть совсем неплохо среди прочих моих сочинений.

И снова, видимо, уже обдумывая каждый период в своей речи, он машинально, без слов, замурлыкал песенку о горшечнике. Требоний удалился скорее угнетенный, чем ошачливленный.

Нерон созвал в свой маленький придворный театр цвет офицерства. Прежде всего он показывал офицерам героическую оперу — о том, как Александр Великий в опьянении убил Клита, человека, спасшего ему жизнь. После этого символического зрелища Нерон в большой, местами трогательной, местами патетической, речи принес извинение за убийство лейтенанта Луция. В мужественных словах он славил доблесть и военный талант лейтенанта. Но затем он заговорил о дисциплине, напомнил, что время военное, что ведется тяжелая борьба с узурпатором Титом, а на войне дисциплина — первое требование. Луций же неоднократно в присутствии заслуживающих доверия свидетелей, как римлян, так и местных жителей, произносил заговорщические речи, распространял глупые и лживые слухи о якобы низком происхождении императора и о предпочтении, оказываемом цезарем людям из низов. Свидетельские показания, скрепленные присягой, налицо. Протоколы, в которые они занесены, в любую минуту могут быть предъявлены фельдмаршалу Требонию и другим генералам. Возможно, что глупые мятежные речи лейтенанта были лишь мальчишеской болтовней, и в мирное время они были бы простительны. Но не в военное. Император все прове-

рил, взвесил — и осудил. Нелегко было вынести такой приговор, ибо император любил молодого офицера, как сына. Но как Брут осудил своих сыновей, так и ему, Нерону, пришлось подчиниться велению богов и приговорить к смерти лейтенанта. Наряду со многими другими это была тяжелая жертва в ряду жертв, принесенных императором ради блага государства и армии. Может быть, одна из самых тяжелых. Но император надеется: своими будущими подвигами армия докажет, что кровь лейтенанта пролита не напрасно, что кровь эта напичкает новыми соками дисциплину.

Он был в форме: вовремя благозвучно всхлипывал, где нужно было — гремел и сам распалялся от собственного красноречия. Этот удивительный человек, Нерон-Теренций, был и в самом деле искренне опечален смертью своего храброго солдата. Но офицеры, заполнявшие зал театра, слушали его с каким-то чувством неловкости, скорее встревоженные, чем растроганные. Многие тайне спрашивали себя, не умнее и не достойнее ли было бы стоять по ту сторону Евфрата, в рядах однополчан, против которых, вероятно, придется в ближайшее время биться, чем воевать под знаменем этого комедианта. И офицер, который по выходе из дворца резюмировал свое впечатление от речи императора, заявил: «Две оперы подряд — это уже слишком», — выразил, вероятно, мнение большинства.

Сам Требоний, который слушал эту речь из императорской ложи, должен был бы, в сущности, радоваться, ибо, убедив Нерона извиниться перед армией, он разрешил свою трудную задачу. Но и он испытывал скорее замешательство, чем удовлетворение. Сквозь высокопарные слова императора ему слышалось, как Нерон мурлычет песенку о горшечнике, песенка заглушала красивые слова, и Нерон был уже не Нероном, а всего лишь Теренцием.

5. ДЕЙСТВОВАТЬ И НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ

Варрон не присутствовал на этом спектакле. Это было оскорбительно и, следовательно, неумно, но он не в силах был превозмочь своего отвращения к Кнопсу и Требонию. Когда-то он слишком сильно презирал обоих,

чтобы ненавидеть. Теперь же в нем чувство собственной беспомощности перерастало в злобную враждебность к ним.

Он не мог сказать, что идея проскрипций была неудачной, но его отталкивала свойственная черни глупость, с какой ее осуществили. Варрон не был сентиментален, он отделял личные чувства от политики. Смешивать политику с личной местью — это, по его мнению, было в такой же мере дилетантством, как и безвкусицей. Расправа с такими людьми, как Гайя и лейтенант Луций, была, с его точки зрения, не столько даже преступлением, сколько просто идиотизмом.

Ему не следовало допускать, чтобы его собственные креатуры взяли над ним верх, этих людей необходимо было обезвредить. Сделать это не так-то просто. Требоний был скор на расправу и популярен, Кнопс был бессовестен, изобретателен, хитер. Варрон обзавелся агентами, чтобы собирать против Кнопса и Требония обличительный материал. В особых протоколах, составленных ими, на многочисленных примерах, доказывалось, что Кнопс и Требоний злоупотребляли властью во имя личной мести и наживы. Варрон сам не лишен был присущего римлянам здорового корыстолюбия, он не знал жалости к эксплуатируемым и угнетенным и сам, не задумываясь, содрал в свое время семь шкур с целой провинции. Но методы Варрона, столь изящные и энергичные, делались грубыми, попадая в неуклюжие руки Кнопса и Требония. Варрон искренне, убежденно отвергал приемы Требония и Кнопса.

Чтобы подготовить падение Кнопса и Требония, требовались время и труд. Сложное и нелегкое дело управления поглощало много сил. Надо было измышлять все новые и новые средства для борьбы с растущим среди населения недовольством, надо было изыскивать все новые и новые денежные источники, так как неизбежное увеличение армии требовало средств. И Варрон работал, работал много, работал со страстью. Неутомимым, почти неистовым трудом он пытался отогнать от себя мрачное чувство безнадежности, нередко сжимавшее ему горло.

Когда не помогала работа, он спасался в своем последнем убежище. Марция, с тех пор как Клавдия Акте побывала в Эдессе, перестала бояться отца, не чужда-

лась его, как прежде, и это сближение продолжалось и после отъезда Акте. Марция допускала его, когда он приходил к ней, и иногда даже сама приходила к нему. Он проводил с ней долгие часы, она сидела, а он ходил по комнате из угла в угол, говоря о вещах, заботивших его. Он вслух размышлял о том, как это дерзко и глупо, когда один человек мнит себя способным изменить течение мировой истории. Разве действия человека, даже самого могущественного, не определяются на девять десятых обстоятельствами? Он сам волен в своих действиях ничуть не больше, чем его Нерон. План его так удался не благодаря его государственному уму, а благодаря «конъюнктуре», счастливому стечению обстоятельств, от него не зависящих. Где вообще кроются факторы, определяющие политический успех? В большинстве случаев — очень далеко, в сфере, которую не в состоянии познать тот, кто активно действует, кто неразрывно связан с ходом реальной политики. Каким же образом можно влиять на большие политические события? От чего зависит, например, будущее его затеи, судьба Нерона и его собственная? Ведь не от настроений же народов Междуречья и не от военных приготовлений Цейония! Так могут думать только близорукие люди, не видящие дальше своего носа. Наступит ли смерть Тита сегодня или через год, выйдет ли Артабан победителем из тяжелых боев, которые он ведет на восточных границах, или потерпит поражение — от этих обстоятельств зависит его судьба и участь его Нерона, а это вещи, ход которых вряд ли кто-нибудь может затормозить или ускорить, рассчитать и учесть. Он сделал все возможное, чтобы повернуть ход событий себе на пользу, и впредь сделает для этого, что будет в его силах. Но то, что он в состоянии бросить на чашу весов, ничтожно, и он был бы дураком, если бы думал, что это имеет значение.

Эти и подобные мысли высказывал он перед молчаливо сидевшей Марцией. Глаза ее следили за ним, как он шагал из угла в угол, но он не знал, слушает ли она его, а если слушает, то понимает ли. Однажды, когда он говорил ей что-то в этом роде, она сказала ему:

— Знаешь, с кем тебе надо поговорить об этом? С нашим Фронтоном. Он умен и хорошо разбирается в этих вещах.

— С Фронтоном? — переспросил Варрон растерянно.

— Да, с Фронтоном, — ответила Марция просто.

— Где же я его найду? — осторожно спросил Варрон.

— Нужно, конечно, — задумчиво ответила она, — обладать настоящими глазами, чтобы видеть его. Многие не узнают его, принимают его за Нерона. Если бы ты, дорогой отец, отдал меня в весталки, я бы его, наверное, всегда могла видеть.

Она сказала это, однако, улыбаясь, без горечи или укоризны. Потрясенный Варрон не нашелся, что ответить, и вскоре ушел.

Некоторое время он избегал бесед с Марцией. Но ему не хватало этих бесед, — пусть даже его слова оставались без ответа, — и он посещал Марцию так часто, как только мог. В ее присутствии ему легче было уговорить самого себя, внушить себе уверенность.

— Просто удивительно, — говорил он, например, — как много мы успели за такое короткое время. Мы создали сильную, боеспособную армию, мы даже из туземных войск, с помощью римской муштры, получили хороший людской материал, мы укрепили союз с Артабаном, превратив его в надежное тыловое прикрытие. Города выглядят по-новому, в них больше порядка, в управлении нет прежней расхлябанности, оно действительно неплохо организовано. Мы научили римлян и греков, живущих здесь, смотреть на людей Востока иными глазами, чем до сих пор, лучше обращаться с ними. Еще никогда в этих краях отношения между Западом и Востоком не были так дружественны, как теперь. Было бы очень горько, если бы все это снова рухнуло; это не должно рухнуть. Недовольство, охватившее страну, идет на убыль. Дай только прогнать этот сброд, этих Кнопсов, Требониев и как их там еще зовут. То, что мы здесь делаем, хорошо и разумно и непременно увенчается успехом.

На этот раз Марция, видимо, слушала его, ее красивое, светлое лицо улыбалось, и улыбка эта, казалось ему, была улыбкой понимания и сочувствия. Но когда он кончил, Марция ничего не сказала. Она что-то напевала очень тихо. Если он не ошибался, это была песенка о горшечнике.

6. РОКОВАЯ ВАННА

Четвертого сентября цезарь Тит, как это он делал каждый год, отправился в свое поместье под Косой. Уже во время короткого переезда он жаловался на удручающую дурноту, прибыв же на место, он тотчас слег и уже больше не поднимался. 13 сентября жар угрожающе поднялся, и лейб-медик Валент прописал императору снеговую ванну. В этой ванне, в присутствии лишь врача и иудея Иосифа Флавия, император Тит скончался.

Многие говорили, что лейб-медик Валент, назначая роковую ванну, действовал против предписаний своей науки, так как был подкуплен неким лицом, заинтересованным в смене императора на престоле. Была ли доля правды в этом слухе, сказать трудно. Доктор Валент слыл ученым медиком во всей империи; определить, какова должна быть продолжительность снеговой ванны, очень трудно; здесь легко мог допустить ошибку и самый лучший врач. Как бы там ни было, по император Тит, приняв снеговую ванну, умер. С означенного 14 сентября он был богом, а императором стал брат его Домициан.

Весть об этом событии разнеслась по всему миру. С невероятной, непостижимой быстротой перелетела она море и достигла Сирии, Антиохии.

Когда явился гонец, неся знак несчастья — перо на жезле, Цейоний, прежде чем гонец открыл рот, уже знал, с какой вестью он прибыл. Непроизвольно расправил он плечи, вытянулся, с головы до пят — Дергунчик. Нетерпеливо, властно кивнул он гонцу, чтобы тот удалился. И, оставшись один, он целиком отдался своему невероятному счастью.

Ему, лояльному чиновнику Луцию Цейонию, чуть-чуть неловко, что он не испытывает ни малейшего огорчения по поводу смерти Тита — своего повелителя и императора, которому он присягал на верность. Но тут ничего не поделаешь. Он чувствует лишь огромную радость. Тит называл себя миротворцем. Мир — великое дело, но если за мир нужно платить, — теперь, когда императора нет в живых, Цейоний может позволить себе подобные мысли, — такой мерой трусости, поношений, смирения, то мир этот губит, отравляет всю вселенную.

Теперь с этими бреднями покончено. Минерва, богиня разума, снова берет землю в свои сильные, спокойные руки, он, Цейоний — наместник Минервы в этой части света, и дело свое он сделает хорошо. Армия его стоит наготове, она сильна, боеспособна, и теперь он, спаситель, с помощью армии восстановит в этой части света подлинный мир.

Он улыбнулся. Он представил себе гладкое, мясистое, иронически улыбающееся лицо Варрона. Да, теперь настал черед улыбаться ему, Цейонию. Столько месяцев казалось, что верх берет этот пропащий человек, но в конце концов победил все-таки Цейоний, а с ним — долг, дисциплина, Рим, разум.

В Междуречье весть о вступлении на престол Домициана породила зловещие слухи. Говорили, что Цейоний собирается перейти Евфрат во главе двухсоттысячной хорошо обученной армии, жестоко покарать города Месопотамии, называли даже дату, когда это произойдет, говорили об ультиматуме, срок которого истекает 10 октября.

Если раньше деяния Нерона — потопление Апамен, преследования христиан, проскрипции — «одним махом» завоевали ему поклонение черни, то теперь, когда власть его как будто пошатнулась, те же деяния «одним махом» обратились против него, сделали его вдвойне презренным и ненавистным. Нерон был Нероном, пока в него верили. С той минуты, как возникли сомнения, он стал Теренцием. То, что казалось возвышенно и благородно, поскольку было совершено Нероном, стало отвратительно и низко, коль скоро это сделал Теренций. Больше того, если до сих пор деяния его доказывали, что он был Нероном — только император способен на такие бессердечно-возвышенные поступки, — то теперь те же деяния свидетельствовали, что он не мог не быть Теренцием, только подонок, вольноотпущенник мог унижаться до таких лютых мерзостей.

По улицам Самосаты, Эдессы тянулись потоки демонстрантов, улица оглушительно, вразброд и хором пела песнь о горшечнике. Вспыхнули беспорядки. Требоний без лишних церемоний объявил осадное положение, железом и кровью восстановил авторитет Нерона. Но он не мог помешать тому, чтобы на захваченной Нероном территории Сирии многие римские гарнизоны

перешли на сторону Домициана. Солдаты убивали перных Нерону офицеров, срывали его изображения со знамен и посылали депутации к Цейонию с изъявлением раскаяния, покорности, послушания.

7. «ТВАРЬ» ВЫХОДИТ ИЗ-ПОД ОПЕКИ

Нерон возлежал за трапезой, когда ему доставили депешу с известием о смерти Тита. Хотя его окружало множество людей, ему на этот раз не удалось разыграть равнодушие. Он изорвал депешу в клочья, опрокинул стол, расшвырял кубки, грубо разогнал гостей.

Но наутро он уже обрел свое прежнее спокойствие, и, когда ему в последующие дни докладывали о политическом положении, он слушал с обычным выражением пресыщенности, скуки. Однажды, когда Требоний доложил ему, что в одной из воинских частей, которая оказалась ненадежной, он приказал казнить каждого десятого. Нерон кивнул массивной головой и сказал кротко, со вкусом:

— Ты хорошо сделал, мой Требоний. Поступай так и впредь. Передавать, передавать всех, как мух.

Ему доложили, что Сура снова перешла в руки Флавиев. Он принял этот факт с полным самообладанием. Но на следующий день он велел вызвать к себе некую Лидию, слышную в Сирии лучшей специалисткой по составлению ядов, и потребовал у нее быстро и безболезненно действующий яд. Она доставила ему отраву в золотой шкатулочке, но шкатулочка ему не понравилась, пришлось долго искать такую, какая пришлась бы ему по вкусу.

Когда он оставался один, его все больше одолевали мрачные предчувствия. Он угрюмо скандировал строки из Гомера, в которых мертвый Ахилл оплакивает в Аиде участь усопших:

Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный.
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать, мертвый.

Он погружался в бесконечное раздумье. Когда, в сущности, изменило ему счастье? Долго искать ответа не приходилось. Он сам накликнул на себя свои беды.

Он точно знал ту минуту, то мгновение, когда это произошло: когда он взял перо в руки, чтобы вписать в проскрипционный список имя Гайи. Список был отличный. Он сам испортил список, в этом была основная его ошибка, этим он прогневил богов и навлек на себя гибель. До мельчайших подробностей помнил он это злосчастное мгновение: как он согнул колени, как Кнопс подложил ему дощечку, чтобы удобнее было писать, как он брался за перо. Не боги водили тогда его рукой. Не божественный голос нашептал ему это имя — глупая, бездарная рука Теренция вписала его.

Теперь, когда злые силы все теснее обступали его, он с особой болезненностью ощущал, какое давящее одиночество окружает его с тех пор, как Гайи не стало. Он знал, что пока она есть на свете, есть и последнее убежище, куда он может спастись, когда все рухнет, и в этом знании черпал свою величавую уверенность. С той минуты, как Гайя сошла к теням, Нерон сразу стал Теренцием; но Теренцием без Гайи, бедным, беззащитным рабом, который слишком высоко занесся.

Будет, горшечник, тебе укорот!
Хвост подожми, не то попадет.

Гайя была как шерстяная одежда зимой: царапает, но греет. Как это ни смешно, но волшебную уверенность, которая позволяла ему пребывать императором, давала ему неласковая близость Гайи. И он сам, глупец, отправил Гайю к теням, сам разрушил чары.

Он отправился к своим летучим мышам. Боязливо всмотрелся в безобразные морды. Которая из мышей — Гайя? Он пытался гладить их, но они отлетали от него с противным писком. Они ненавидели его. Гайя рассказывала им обо всем, что он по глупости своей совершил, и они теперь его ненавидят. Гайя не успокоится, пока не принудит его самого сойти к ней, ибо с ней он связан неразрывно. В писке летучих мышей ему слышался пронзительный вой, с которым фурии у Эсхила гонятся за Орестом: «Лови, лови, лови, держи», — и короткий, отрывистый, резкий писк животных терзал ему нервы.

Он очень жалел себя. Гайя сама во всем виновата. Она не верила в него. Если бы она верила, он никогда бы не совершил этого безумия, этого преступления —

он никогда бы не убил ее. Почему она не верила в него? Быть может, потому, что иссякла его мужская мощь. А иссякла она потому, что сила нужна была ему для его искусства и для его народа. Он был жертвой своего искусства и своего человеколюбия.

Жертва, да, да, он жертва, и с точки зрения истории также. Не он оказался несостоятельным, — несостоятельны были другие. Ему было предначертано богами блистать, произносить речи, излучать «ореол». Давать народу хлеб, вино, деньги — это не его дело, это дело его советников. И они оказались несостоятельны; он же делал и давал все, что подобало делать и давать человеку его сана.

Одно он сделал неправильно, и за это теперь платится: не надо было вносить имя Гайи в список.

Порой, особенно по ночам, когда он лежал в постели, его посещали в высшей степени неимператорские мысли и образы. Его отец был добродушный человек, он скорее баловал его, чем держал в строгости. Но одну вещь он ему решительно запрещал. Маленькому Теренцию не дозволялось входить одному, без взрослых, на склад, где были выставлены статуи для продажи. Отец опасался, как бы мальчик не разбил чего-нибудь. Стоило ему застать ребенка одного на складе, отец, обычно такой ласковый и нежный, порол сына. Но маленький Теренций упрямо стремился проникнуть в запретное помещение; глиняные статуи притягивали его, ему хотелось поближе рассмотреть их без докучного надзора взрослых. Он ощупывал их, постукивал по ним, чтобы услышать приятный звон, издаваемый статуями, их голоса. Часто он фантазировал при этом. Несомненно, у каждой статуи был свой голос, и статуи мужских божеств звучали не так, как статуи женских. К сожалению, они стояли рядами: ряд статуй Митры, ряд статуй Тараты; поэтому нельзя было, постучав по какому-нибудь богу, сейчас же постучать по богине, чтобы сравнить звук. И вот однажды, незаметно прокрадвшись на склад, маленький Теренций собрался с духом, схватил одну из статуй Тараты и попытался перетащить ее к статуе Митры. Фигуры были довольно тяжелые, и мальчик пыхтел вовсю. Он был уже почти у цели, как вдруг, в последнюю минуту, Тарата выскользнула у него из рук, упала, ее высоко поднятая рука с бубном отло-

милась. Маленький Теренций страшно испугался. Сию минуту придет отец, накажет его, избьет его до смерти за то, что он испортил статую. На него напал дикий страх, все внутри у него обмякло, он заранее ощущал побои, которые его ожидали; они были гораздо больше, чем могли быть на самом деле.

Так и теперь, в видениях, посещавших его в полудремоте, Нерон предчувствовал несчастье, видел, как врывается во дворец толпа, видел, как люди бросаются на него, бьют, топчут ногами насмерть. И он боялся ночи, боялся больше всего тех нескольких минут дремоты, которые предшествовали сну.

Часто он уже не в состоянии был отличить, кто он: Теренций, которому не терпится принять свой подлинный облик — облик Нерона, или Нерон, которому не терпится вернуться к своему подлинному облику — облику Теренция, опекаемого Гайей. Две шкуры были у него — которая из них настоящая?

Маленький, пустяковый случай разрешил этот вопрос. Случай этот заставил его действовать по собственному почину, без совета со стороны, заставил заговорить его подлинный внутренний голос, голос Теренция, и тот, кто начал действовать, был не Нерон.

А случилось вот что. Прохожие по-прежнему почти-тельно, с легким трепетом взирали на гигантский барельеф, изображавший императора на летучей мыши. Однажды несколько молодых людей стали громко остеречь насчет монумента. Никем не останавливаемая, поощряемая сочувственным молчанием окружающих и удовлетворением, написанным на лицах, молодежь все больше и больше смелела. Наконец, кто-то бросил камень в скульптуру, за первым камнем полетел второй, третий, множество. Камни эти не могли нанести барельефу большого вреда. Но вот кто-то, уже с ломом в руках, начал взбираться на скалу с барельефом. Человек взмахнул ломом, ударил по носу императора, отколол кусок носа. За первым смельчаком полезли другие, все больше и больше людей с яростью и сладострастием принялось разрушать монумент. Сделать много им не удалось: камень был крепкий, к тому же вскоре явились солдаты Требония и положили конец бесчинству.

Во многих городах еще раньше происходили демонстрации гораздо более серьезного свойства, и император

никак не реагировал на них. Но, узнав об этой ребяческой выходке, он сразу потерял всякое самообладание. Он сник, заплакал, завыл, не стесняясь присутствием растерявшихся секретарей, камергеров, лакеев.

Наконец, все еще бурно всхлипывая, он отослал всех, лег, стал прислушиваться к своему внутреннему голосу. Голос говорил:

— Беги. Улепетывай. Вон из Эдессы. Уноси ноги. Удирай. Это последний знак. Беги. Улепетывай.

Голос говорил с ним тоном Гайи и ее словами, а он лежал, окаменев, и слушал, как Гайя неласково твердит ему:

— Беги. Улепетывай. Уноси ноги. Удирай.

Он долго лежал так, исполненный страха. Наконец с большим усилием приподнялся. Сел. Стал размышлять. Хлопнул в ладоши, позвал слуг, велел прислать Кнопса.

В ожидании Кнопса он ходил по комнате тяжелыми шагами, что-то бормоча про себя, глубоко погруженный в свои мысли, порой прислушиваясь, точно они уже пришли, его враги, чтобы схватить его. Наконец явился Кнопс. И тотчас же, без предисловий, без объяснений, Нерон предложил ему бежать, тайно, переодетыми, немедленно, этой же ночью, в Ктесифон, к Великому царю Артабану.

Кнопс слушал сбивчивые речи Нерона молча, внимательно; но у него перед глазами закружилась комната, весь мир. В глубине души он давно знал, что из любви к сыну упустил время и теперь, после вступления на престол Домициана, уже не сможет соскочить с бешено несущейся под гору колесницы Нерона. Но то, что Нерон, пребывающий всегда в блаженной уверенности сумасшедшего, сам признал, что всему конец, поразило его как громом.

Нерон между тем сыпал словами, полными страха, настаивал, предлагая бежать вместе.

— Бежим, — говорил он. — Давай улепетывать. Надо смыкаться. Надо удирать.

Кнопс слушал его в пол-уха, он презирал этого глупого человека. Бежать! Какая бессмыслица. До Артабана далеко, а как только Нерон покинет Эдессу, всюду немедленно вспыхнет открытый мятеж, и ему ни за что не добраться живым до юго-восточной границы. Здесь,

в Эдессе, у него есть, по крайней мере, его сильная, надежная гвардия.

Мозг Кнопса, пока Нерон говорил, сам собой продолжал четко работать. Один из принципов, на которых Кнопс строил свое благополучие, состоял в убеждении, что из глупости ближнего можно всегда извлечь выгоду. Какую же выгоду он может извлечь из глупости Теренция? Его острый ум работал с полной ясностью. Вот уже план возник, вот уже выход найден.

Хорошо. Он согласится на предложение Теренция, он бежит с ним. Но не к Артабану. Не только потому, что далский путь к парфянской границе лежит через мятежное Междуречье и полон опасностей. Пусть даже ему удастся добраться до Ктесифона, что ждет его там? Жалкое существование человека павшего, человека, которого терпят. Ибо большая часть его имущества находится на территории Рима и Месопотамии и недосыгаема для беглеца, скрывающегося у парфян. Нет, уж лучше игра рискованная, но сулящая лучшие виды. Он не поведет Нерона через Тигр к Артабану, а переправит его гораздо более коротким путем через Евфрат к римлянам и выдаст римским властям. Тогда у него будет хоть какая-то надежда на помилование.

Все эти мысли бурей проносились в его голове, пока Нерон говорил. Глаза Нерона, когда он кончил говорить, с тревогой уставились на Кнопса. Нерон явно почувствовал облегчение, когда Кнопс, поколебавшись всего несколько секунд, сказал «да». Мало того, с быстротой и решительностью опытного человека Кнопс взял выполнение плана в свои руки. Он сейчас же заявил, что раздобудет широкий простой плащ с капюшоном, чтобы укутать императора с ног до головы, за четверть часа до полуночи зайдет за ним и устроит так, чтобы у юго-восточных ворот их дожидались надежные слуги.

При других обстоятельствах Нерон, обычно очень чуткий, пожалуй, и заметил бы, что, при всей решительности тона, голос Кнопса звучит принужденно и как-то сдавленно. Но в паническом страхе он не учуял того, что про себя задумал Кнопс. А может быть, он не хотел этого учуять, не хотел — поскольку Гайи на свете не было — потерять еще и этого самого давнего своего друга. Он цеплялся за него. Он поблагодарил его, обрадованный.

8. ТЕРЕНЦИЙ ПОКАЗЫВАЕТ СВОЕ НУТРО

Незадолго до полуночи Кнопс, как было условлено, зашел за Теренцием; укутанные в темные плащи, они направились к дальним юго-восточным воротам. На улицах было почти пусто, лишь изредка показывались патрули, и Нерон жался, прячась от них, к стенам домов.

Светила ущербная луна, дома были залиты неверным молочным светом, на пустынной площади, которую им пришлось пересечь, спали собаки; когда они приблизились, псы зашевелились, заворчали. Нерон почувствовал страх: ведь его светилом было солнце, не луна.

Гулкие шаги. Кто это там, в конце улицы? Разве в городе еще остались солдаты? Напрасно уговаривал его Кнопс, что на гвардию можно положиться. Нерон, охваченный паникой, не слышал его слов. Им овладел такой же страх, как тогда, когда он бежал с Палатина. Если вооруженные люди его увидят, он погиб.

Вот они на бедной улочке, в квартале христиан, около маленького, запущенного, на вид нежилого домика. Нерон прижимается к двери, дверь поддается. Кнопс хочет его удержать. Нерон вырывается, оставляет плащ в руках Кнопса, вбегает в дом, захлопывает дверь, всей своей тяжестью наваливается на нее; вот большой деревянный засов, он задвигает его. Так. Здесь, по крайней мере, темно, хотя бы на короткое время он укрылся от солдат. Он доволен, что избавился от этого проклятого лунного света. Рад и тому, что избавился от Кнопса. Он забивается в угол, в желанную темноту, туда, в самый густой мрак. Застывает с бьющимся сердцем.

С улицы слышен звон оружия. Возможно, что солдаты ведут переговоры с Кнопсом. Долго, целую вечность, стоят они около дома. Наконец шаги их удаляются.

Так. Теперь можно перевести дыхание. Тишина. Но нет. Кто-то возится у двери. Дом запущенный, ветхий, деревянный засов не выдержит напора. Нет, пока что он не поддается, тот человек возится напрасно. Может быть, это Кнопс. Вот он тихонько окликает Теренция. Да, это голос Кнопса. Впустить? Нет, Кнопс слишком отчаян. Из-за него Нерон чуть было не столкнулся с вооруженными людьми — тогда все погибло бы! Он зага-

дывает. Если Кнопс откроет дверь, он доверится ему, если же нет, Нерон один пустится в путь к Великому царю. Снаружи все еще доносятся тихие, настойчивые призывы. Долго. Наконец они стихают. Все решилось. Нерон остается один.

Он притаился в своем углу. Он доволен. Но постепенно — это была одна из первых осенних ночей — ему становится холодно. Он встает, разводит руки, снова сводит их, но трещит пол, и он пугается. В углу что-то прошуршало. Возможно — крыса. Он снова забивается в свой закуток, растирает застывшие колени, клянет Кнопса за то, что тот взял его плащ. Гайя никогда бы не забрала у него плащ. Ах, если бы Гайя была с ним.

Что это еще за Гайя? Зачем ему Гайя? Ведь он Нерон. Или — нет? Ведь это он тогда читал перед сенатом послание императора, ведь это он воспевал на башне Апамейской цитадели потоп, это он оправдывал в большой речи проскрипции. Или ему все это приснилось?

Наверняка можно сказать вот что: одно время он был Нероном и одно время — Теренцием. Отчетливо, ясно вставляли в памяти картины того, как он произносил речи перед своим сенатом, перед своими войсками, перед цехом горшечников, как он величаво и блистательно шествовал перед своим народом, как он подписывал правительственные указы и торговался из-за статуи Митры. Все это было. Но этого больше нет. Кто же он теперь? Не Теренций и не Нерон.

Он ложится на пол, скрючивается в три погибели. Теперь он будет спать. Он считает до ста, до пятисот. Машинально произносит заученные наизусть стихи. И внезапно он оказывается мальчуганом, который украдкой забрался на склад статуй и разбил статую Тараты; теперь оттуда, из ночи, должен прийти отец, а когда дело касается статуи, отец не помнит себя, отец убьет его.

Нет, в этом холоде и на этом твердом полу не уснешь. Все тело затекло. Можно получить ревматизм, насморк, воспаление легких. Но на этом дело и кончится — умереть достойной смертью от этого нельзя. Он снова стал растирать тело. Неожиданно ощутил под руками что-то твердое, многогранное — коробочку с ядом? Выпить? Конечно, надо выпить. Но кто знает,

достойная ли это смерть? Он понюхал порошок — ничем не пахло. Он слышал, что людей, принимающих яд, рвет, что они умирают некрасиво, посинев и корчась в судорогах среди собственной блевотины. И он не выпил яда, он сидел в закутке и ждал своей судьбы.

И судьба его явилась. Опять у двери завожилась чья-то рука, на этот раз более умелая. То, что не удалось Кнопсу, несмотря на долгие старания, этой руке удалось тотчас же. Дверь отворилась. Послышались шаги.

Тот, кто вошел, был здесь, видимо, у себя дома. Шаги были сильные, уверенные. Человек сразу же принялся высекать огонь. Теренций забился поглубже в самый угол, затаил дыхание, чтобы не выдать своего присутствия. Брызнули искры, вспыхнуло пламя. Теренций смотрел, полумертвый от страха. Он увидел мужчину в широком изжелта-белом валяном плаще, какие носят бедуины. Затем он разглядел часть лица, изборозжденного морщинами. Сердце его замерло. Он узнал его, не увидев еще даже всего лица. Это было лицо человека, которого он теперь меньше всего хотел бы встретить, лицо Иоанна с Патмоса.

Ибо Иоанн вернулся. Ему долго пришлось довольствоваться тем, что голос его доносился сюда из далекой пустыни, но теперь исполнились сроки, царство антихриста рушится, и он, Иоанн, явился нанести ему последний удар.

Теренций не отрываясь смотрит из своего угла на это оливково-смуглое лицо. Оно еще сильнее заросло бородой, миндалевидные глаза еще грознее светятся из-под косматых бровей. Несказанный страх захлестывает Теренция, нечеловеческий ужас, до мозга костей пронизывающий его.

И вот Иоанн замечает его. На мгновение он застывает, уходит в себя. Но затем спокойно всматривается. Он видит человека. Видит Теренция, Нерона, обезьяну, антихриста, двуногое олицетворение лжи, воплощение зла. Он выпрямляется. Его изрытое резкими складками бородатое лицо кажется человеку, забившемуся в угол, огромным, гигантским. Но он не в состоянии отвернуться от этого лица, он не может не смотреть в горящие глаза под косматыми бровями, хотя он трижды умирает, заглядывая в них.

Иоанн встает. Он не маленького роста, но и не чрезмерно высок. Теренцию же он кажется гигантом. Вот он поднимает ногу, огромную ногу гиганта, он приближается к нему, приближается мучительно медленно; пока он сделает шаг, проходит вечность.

Да, Иоанн наслаждается каждым своим движением. Стало быть, ему в руки нежданно-негаданно отдан этот антихрист, его враг и враг человечества, убивший его сына. Иоанн испытывает огромное блаженное желание убить, задушить, отомстить врагу. И медленно, чтобы не расплескать этого блаженства, ступает он шаг за шагом.

Но наконец он все-таки проходит это длинное, это короткое, это чудесное расстояние и останавливается перед своим врагом. Тот, скорчившись, сидит в своем углу, его мясистое, залитое потом лицо обращено к Иоанну, бледное, обрюзгшее, — застывшая маска страха. Иоанн подымает руки, большие кисти рук, смуглые, сильные. Чудесно будет сжать ими глотку врага. Иоанн взглядом примеривается к жирной шее. Все зло мира схватит он за горло, когда стиснет глотку этого человека, и он заранее наслаждается прикосновением к шее Теренция.

Теренций между тем трижды умирает от страха в эти бесконечные секунды. Его кишки ослабели и не могут удержать своего содержимого, но он не замечает этого, он уже чувствует эти руки на своей шее, со страшным, смешанным чувством боли и наслаждения. Да, наслаждения, ибо он уже хочет испытать это трижды пережитое удушье, он не может больше вынести муки ожидания, он всей душой молит о конце. Ну вот, вот сейчас... Эти смуглые, огромные руки отделяет от его шеи расстояние не больше, чем в локоть, в следующее мгновение они стиснут ее.

Неожиданно из горла его выдавливается звук. Голос, который, как казалось Теренцию, совсем пропал, вдруг вырывается наружу. Это не обычный красивый, поставленный голос Нерона, это жалкий, запинаящийся, невнятный голос, и, помимо воли Теренция, помимо его сознания, голос произносит членораздельные слова, бормочет:

— Я ведь горшечник Теренций.

Иоанн слышит это жалкое бормотание и останавли-

вается. Он прозрел. И это — антихрист? Этот вот?.. Да здесь ничего нет, кроме несчастной, трепещущей плоти. Он благодарит бога за то, что бог вовремя ниспослал ему прозрение. Выбросить это на свалку — разве это подвиг, разве это победа? Это работа для живодера, а не для пророка, для святого актера.

Он прозрел. А теперь он почувствовал и запах. Он опустил руки, отвернулся, сел на корточки перед очагом. Взглянул на Теренция. То, что лежало в этом углу, это ничтожество, этого жалкого общипанного воробья, он принимал за великое воплощение зла, а мир принимал за орла. Иоанн замотал огромной головой. Губы его под спутанными усами искривились. Он рассмеялся. Негромко, глубоким, почти добродушным смехом — так велико было его презрение.

Перепуганный Теренций ничего не понимал. Это лицо было не только лицом Иоанна. Оно соединяло в себе лица всех людей, которые когда-либо внушали ему страх, — отца, Гайи, Нерона, Варрона. Безмерное удивление охватило его, когда это лицо отодвинулось, стало меньше, отдалилось. Лица этого давно уже не было над Теренцием, а Теренций все смотрел на него, ничего не понимая, не в силах отвести глаза.

Прошло бесконечно много времени, прежде чем он решился пошевелинуться. Лицо, видимо, оставило его в покое, оно не застилает ему больше света, он может выйти на волю из темницы, из царства теней. Он поднялся с таким чувством, будто сбросил небывало тяжелый груз, шатаясь, удивляясь тому, что стоит. Он потащился к двери, с трудом волоча ноги, не отрывая глаз от лица другого, страшного. Самое ужасное было — как пройти мимо него? Но ему удалось, он прокрался, втянув голову в плечи, с глазами, полными смертельного страха. Потом он рванулся и короткое расстояние до двери промчался бегом, гонимый ужасом, что вот сейчас, сейчас кулак Иоанна опустится ему на темя или, еще хуже, Иоанн схватит его сзади за шею, задушит.

Но ничего не было. Ни кулака, ни пальцев на горле, ни удара. Только смех, смех Иоанна, глубокий, презрительный, негромкий. И Теренций был безмерно удивлен, когда очутился за дверью, целый и невредимый, унося в ушах смех Иоанна.

9. ГОЛОС НАРОДА

Стремительное бегство Нерона из Эдессы нанесло его делу больше вреда, чем могло бы принести самое ужасное поражение. Сторонникам Нерона казалось, что над ними насмеялись, что их нагло обманули. Их воодушевление обратилось в ярость. Они валили статуи Нерона с постаментов, швыряли их наземь, разбивали вдребезги. Многотысячная толпа двинулась к скалам на берегу реки Скирт разрушать каменного всадника на летучей мыши. Злые шутки, разгульный смех сопровождали разрушение, а когда рухнувшие глыбы погребли под собой несколько человек, это скорее увеличило веселье, чем остановило его. Разрушение барельефа вылилось в настоящую оргию. Люди обнимали друг друга, праздновали освобождение от ига чужеземного деспота, пели, ликовали, напивались допьяна.

Позже, без всякого уговора, точно по чьей-то команде, толпа ринулась к дому Кнопса. Популярность его исчезла так же, как возникла, «одним махом», и народ теперь видел в нем злого духа Нерона и его дела.

Увидя собиравшуюся перед домом возбужденную, грозную толпу, Кнопс послал гонца к другу своему Требонию просить у него помощи. Но раньше, чем помощь подоспела, толпа смяла стражу, охранявшую вход. Кнопс счел за лучшее выйти к ворвавшимся. Он принял их, по-простецки подшучивая, стараясь их облагоразумить, удержать. Но сердце его прыгало от страха. Он еще ночью хотел бежать, сейчас же после того, как не удался его ход с выдачей Теренция; но Иалта, которая была уже на сносях, чувствовала себя очень плохо, и врачи ни в коем случае не советовали пускаться в путь; Кнопс медлил; и вот как раз в ту минуту, когда семейство уже собралось в дорогу, нагрянула эта чернь и помешала укрыться в безопасное место, уйти на заслуженный покой. Он вел переговоры с толпой, смотрел с благодушным безразличием на начинавшийся грабеж, раздавал вино. Спокойно, прямо-таки с довольным видом, похаживал он среди непрощенных гостей. Но на душе у него был мрак. Ах, на друга его Требония положиться нельзя. Тот, верно, не имел бы ничего против, если бы толпа вот так, добродушно, под шутки и прибаутки, разорвала Кнопса на куски.

Нет, он несправедлив к другу. Он слышит звон оружия, видит солдат, полицию. Нет, к сожалению, Кнопс справедлив к другу. Это не полиция Требония, это сомнительная помощь — солдаты царя Маллука. Правда, они вызволили его из рук толпы и поставили около него охрану, но лишь затем, чтобы самим захватить его и взять под стражу.

Кнопс правильно рассудил. Требоний не торопился посылать ему подмогу; он бы не возражал, если бы помощь пришла очень поздно или даже слишком поздно. Но то, что в дело вмешались люди Маллука, резко меняло положение. Это уж чересчур. Если туземные солдаты осмелятся поднять руку на сановников Нерона, куда это приведет? То, что с чернью будет канитель, можно было заранее предвидеть. Но чернь хлопнешь по башке — и все опять спокойно. Если же солдаты, если чиновники Маллука станут вести себя как изменники, то это уже нетерпимо, это надо немедленно пресечь. Он забыл, что сам довел до этого, он чувствовал полную солидарность с Кнопсом. В гневе, бряцая и звеня, отправился он требовать ответа у царя Маллука.

У Маллука он встретил и верховного жреца Шарбиля. Шарбиль уже несколько раз за последние недели, когда власть Нерона явно пошатнулась, разъяснял царю — не только намеками, но и в недвусмысленных словах, — что пора бы выдать Цейонию Нерона, а за это получить гарантию сохранения «статус кво». Но у Маллука, араба, были твердые взгляды на святость гостеприимства, и он теперь с таким же достойным видом, сидя столь же неподвижно, пропускал мимо ушей слова своего жреца, как в ночь на 15 мая — его намеки. В последние дни, впрочем, стало казаться, что лояльность его будет вознаграждена и в политическом отношении. Были получены достоверные вести с крайнего Востока о том, что Артабан достиг решительных успехов в войне с Пакором. А как только Великий царь получит возможность бросить на западную границу достаточное количество войск, римские генералы, даже после вступления на престол Домициана, трижды подумают, прежде чем перейти Евфрат. Следовательно, они хорошо сделали, что сохраняли верность Нерону и не предприняли никаких поспешных шагов. А теперь бессмысленное бегство Нерона сразу разрушило все надежды.

После такой стихийной вспышки народного гнева Нерона нельзя было ни на минуту оставлять в Междуречье.

Кое-что, впрочем, можно было извлечь и из этой вспышки народного гнева. То, что гнев этот прежде всего обратился против Кнопса, дало Маллуку и Шарбилю желанную возможность задержать этого человека. Он был теперь в их руках, и это было хорошо. Ибо если Артабан одержит на крайнем Востоке — на что теперь есть виды — окончательную победу, то Рим при всех обстоятельствах, прежде чем двинуть войска за Евфрат, поведет переговоры, и тогда, чтобы доказать свою добрую волю, можно будет предложить Риму на худой конец нероновского канцлера. Так как дело шло об отвратительном рабе Кнопсе, то царь Маллук, как ни тверды были его взгляды на гостеприимство, не возражал.

Все эти вопросы царь и жрец как раз и обсуждали, когда со звоном и бряцанием ввалился Требоний. После трусливого бегства мошенника Теренция царь Маллук и жрец Шарбиль чувствовали себя с его ставленниками очень уверенно и поэтому с еще большей неподвижностью и важностью, чем обычно, приняли шумливого, разгневанного капитана.

На жалобу Требония Шарбиль ответил, что офицер, арестовавший Кнопса, действовал не самочинно, а с ведома и по поручению правительства. Понятно, что население Эдессы взбунтовалось против алчности и произвола Кнопса, что оно не пожелало больше терпеть издевательств после того, как император Нерон бежал, оставив своих чиновников на произвол судьбы.

Только теперь понял Требоний, каким угрожающим стало его собственное положение после бегства Нерона. Он был человеком горячим, но в то же время и в достаточной мере солдатом, чтобы мгновенно учесть военные шансы. И тут он понял, что в уличном бою с населением Эдессы и войсками Маллука у него нет никаких видов на победу.

— Если вы так думаете, — вызываяще ответил он жрецу, в душе, впрочем, готовый на уступки, — то вы в конце концов и меня можете арестовать.

Старец промолчал и, как показалось Требонию, усмехнувшись, повернул свою птичью голову к Маллуку.

Царь же в первый раз с тех пор, как вошел Требоний, открыл рот и сказал:

— Не бойся, капитан. Мы тебя не арестуем.

Он произнес это глубоким голосом, спокойно, без насмешки. Но Требонию показалось, что его ударили по голове. Больше всего потрясло его, что царь назвал его не «маршалом», а просто «капитаном». Проще и лучше нельзя было поставить все на свое место. В ту же минуту, как царь Маллук назвал его капитаном, Требоний сразу превратился из всесильного фельдмаршала в рядового провинциального офицера, точно так же, как император Нерон, бежав, сразу стал снова рабом, каким и был по рождению; Маллук же родился царем. Требоний не дерзнул возмутиться, он чуть было даже не поблагодарил царя. Но смолчал.

После короткой паузы Шарбиль разъяснил слова Маллука. Царь Эдессы, пояснил он, предоставляет капитану Требонию возможность стянуть свои войска в цитадель и дает ему на это три часа срока. Царь не хотел бы, чтобы Требония, попавшего в руки толпы, постигла та же участь, что и Кнопса. Поэтому пусть капитан использует предоставленный ему срок.

Согнувшись, подавленный, сбитый с толку, кляня и подчиняясь, Требоний удалился.

10. ПРОЩАНИЕ С ЭДЕССОЙ

Единственный человек в Эдессе, не усмотревший в бегстве Нерона краха его режима, был Варрон. Успехи Артабана на крайнем Востоке вновь разожгли его почти угасшие надежды, и Варрон никак не хотел признать того, что дурацкая выходка «твари» уничтожила все те преимущества, которые получило его предприятие благодаря победе Артабана. Наоборот, он считал выгодным временное исчезновение Нерона, так как попутно навсегда сбрасывались со счетов Кнопс и Требоний.

Он и не думал принимать всерьез мятеж в Эдессе. Как только всем станет доподлинно известно о победе Артабана, можно будет без всякого труда убедить население, будто Нерон вовсе не бежал, а лишь отправился к Великому царю Артабану, чтобы обсудить с ним,

как использовать победу на Востоке для нанесения такого же решительного удара на Западе.

Размышляя вслух, он шагал взад и вперед перед молча сидевшей Марцией. Он подошел к ней вплотную, взял в руки ее светлую голову, бережно отогнул ее назад, сам откинул голову, чтобы лучше видеть.

— Ты не напрасно отдала себя «твари», — уверял он ее, — все, что я обещал тебе, сбудется: ты вступишь на Палатин.

Приспосабливаясь к изменившемуся положению, он мысленно уже переносил центр своего предприятия из Эдессы в Ктесифон, столицу Артабана, и оттуда, из Ктесифона, оно выглядело совсем по-новому, огромным и процветающим.

Да, излагал он Марции свои планы, он покинет теперь эту жалкую Эдессу и перенесет свою резиденцию в Ктесифон. Не потому, что он чувствует себя в Эдессе под угрозой, словно какой-нибудь Кнопс или Требоний; дело в том, что ему теперь нужно наконец связаться лично с Артабаном. В сущности, упущение, что он не устроил уж давно встречи с Артабаном, чтобы побеседовать с ним непосредственно. Ведешь переговоры с послами, с министрами, а о личности самого царя имеешь весьма смутное представление, не знаешь даже черт его лица. Варрон хочет видеть царя Артабана. Он рассчитывает открыть царю глаза на многое и дать ему несколько полезных советов.

Что касается «твари», то она, вероятно, блуждает где-нибудь в степи. Более точных сведений пока получить не удалось, но такой малый, как Теренций, не пропадет, он для этого слишком ничтожен; о таком ничтожестве боги не заботятся, а Варрон слишком уверен в своей звезде, чтобы хоть на минуту допустить возможность гибели «твари». Несомненно, наш Теренций, поскитавшись по свету, очутится целым и невредимым при дворе Великого царя. Хорошо будет, если Варрон сможет его там встретить и взять под более строгую опеку.

Да, бегство Нерона, нагнавшее панику на всех его приверженцев, Варрона лишь подстегнуло. Он немедленно принялся за сборы, готовясь переселиться ко двору Великого царя. Он не хотел только, чтобы его отъезд из Эдессы мог быть истолкован как бегство.

Потому он явился к царю Маллуку, желая перед тем, как покинуть Эдессу, поговорить с ним спокойно и начистоту.

Это было смело. Как бы оптимистически ни смотрел Варрон на все свое предприятие в целом, он все же видел, какие опасности сулит тот или иной его этап. Возможно, что царь Маллук захочет задержать его как объект для обмена при переговорах с Римом. Но на этот риск Варрон должен был пойти. Он не мог появиться при дворе Артабана как беглец. Нужно, чтобы в Эдессе после его отъезда все было ясно.

И вот они снова сидят втроем — Маллук, Шарбиль, он — в покое с журчащим фонтаном. Говорят, как полагается, о вещах безразличных, и ни Варрон, ни они не упоминают о том, что их больше всего тревожит, — о бегстве Нерона. Наконец, выждав сколько положено, Варрон начал:

— Я прошу моего двоюродного брата и могучего царя дать мне отпуск. То, что император удалился, заставляет также и меня покинуть на некоторое время Эдессу.

Последовало долгое молчание. Шарбиль смотрел на царя, ждал, пока тот заговорит. Царь наконец сказал, и ответ его прозвучал скорее печально, чем иронически:

— Ты называешь это — «удалиться», брат мой?

А Шарбиль прибавил высоким, злым старческим голосом:

— Нам было бы более по душе, чтобы он «удалился» не так скоропалительно и чтобы мы, так долго предоставлявшие императору охрану и гостеприимство, заблаговременно были оповещены о его намерениях. Нам следует позаботиться о том, чтобы в будущем нас не застигли врасплох внезапные решения западных людей.

И хитрая высохшая голова Шарбиля грозно придвинулась к Варрону.

Варрон не подался назад.

— Значит ли это, — спросил он, — что вы хотите меня задержать? — Он медленно перевел взгляд на царя.

Тот грустно и с едва уловимой насмешкой ответил:

— Ты ошибаешься, западный человек и гость мой.

И Шарбиль, которому явно хотелось услышать другие слова, вынужден был пояснить:

— Ты плохо знаешь могучего царя. То, что я тебе

сказал, не означает, что мы хотим задержать тебя. Наоборот, да будет это извинением, что мы недостаточно противимся желанию нашего гостя покинуть нас. Ибо я не хочу скрывать от тебя: мы даже до некоторой степени рады твоему отъезду. После того как Нерон «удалился», как ты это называешь, могучему царю не легко было бы поручиться, что в будущем сон твой будет спокоен. Мы далеки от того, чтобы сравнивать тебя с такими мутными звездами, как Кнопс или Требоний. Но у толпы не столь уж острый глаз, все западные люди для нас на одно лицо. Никогда бы царь не прогнал тебя от своего очага; но так как ты сам выразил желание уйти, он не удерживает тебя.

— Нет, я не удерживаю тебя, — произнес тихо, серьезно, едва ли не грустно глубокий голос царя Маллука.

Варрону после слов Маллука стало ясно, что его затея с Нероном, с точки зрения властителей Эдессы, самым жалким образом провалилась и что они были бы правы, если бы силой задержали его, втянувшего их в эту авантюру. Они же отпустили его на все четыре стороны да еще просили у него извинения за то, что были недостаточно вежливы. Где еще можно было найти такое великодушие, как не здесь, на этом непостижимом Востоке? Варрон, обычно столь несентиментальный, сейчас был тронут и поклонился глубоко и благодарно, скрестив по восточному обычаю на груди руки.

После долгого молчания Шарбиль начал снова:

— Куда же, о мой Варрон, ты пойдешь? Не много есть дорог, открытых для тебя.

— Так как мой император Нерон держит путь к Великому царю Артабану, — ответил Варрон, — то и я считаю правильным направиться на Восток.

— А разве он держит путь туда? — насмешливо спросил верховный жрец; его желтый и сухой, как пергамент, лоб сморщился больше обычного, треугольная борода, крашенная черным, безжизненно свисала, обрамляя сухие губы и позолоченные зубы. А царь Маллук сказал:

— Ты поступаешь мудро, отправляясь на Восток. Для тебя, да и для меня, пожалуй, лучше, если император Домициан обратится с требованием выдать тебя к Артабану, а не к нам; ибо столица Великого царя расположена дальше от Антиохии, чем моя, и завеса,

за которой он может спрятать тебя, гуще моей. Я предоставлю в твое распоряжение слуг и охрану, которые в целости доставят тебя ко двору Великого царя. Быть может, твоя дорога не так безопасна, как ты предполагаешь.

Слушая царя, Варрон испытал чувство, которого давно уже не знал, нечто вроде благоговения. Как величественно и достойно этот восточный царь прощался с ним, покидавшим город из холодного расчета. Люди Востока лучше римлян, человечнее, цивилизованнее. Варрон отступил на шаг и в упор взглянул на царя и жреца, на тихое лицо Маллука с кроткими глазами навывкате и горбатым мясистым носом, и на изрытое морщинами лицо Шарбиля, точно сросшееся с остроконечной шапкой священнослужителя.

— Я благодарю тебя, о мой брат и могучий царь, — сказал он искренне, сердечно, — и тебя, верховный жрец, что вы не сердитесь на меня за совет в деле Нерона.

Маллук посмотрел на него таким же прямым и открытым взглядом и сказал:

— Я не сержусь на тебя.

И почтительно, простирая обе руки с вытянутыми, повернутыми книзу ладонями, царь и Шарбиль поклонились своему гостю, западному человеку, который покидал их, — быть может, навсегда.

Варрон же, взяв ларец с документами и свою дочь Марцию, направился на юго-восток, ко двору царя Артабана.

II. ВЕЛИКИЙ ЦАРЬ

Дальше Ктесифона, западной столицы царства, парфянские власти Варрона не пустили; ему предложили дожидаться, пока Великий царь, после победоносного завершения войны, вернется в свою резиденцию.

И Варрон стал дожидаться. Он ходил от министра к министру, говорил о своем Нероне, показывал известное послание усопшего царя, великого Вологеза, в котором тот благодарил Варрона за умное содействие в деле окончания войны между Римом и парфянами. Министры, однако, при всей своей вежливости далеко не так серьезно расценивали дело Варрона, как он на это рассчитывал. Только мало-помалу он понял, что его

затея, если ее рассматривать отсюда, из Ктесифона, выглядит куда более ничтожной. Он привык к толчее народов в Риме; но в Ктесифоне мир открывался гораздо шире, парфяне сносились с народами, имена которых Варрон даже не всегда знал или никогда не выговорил бы, если бы и знал. Послы скифов, аланов, даже послы Китая дожидались возможности предстать перед Великим царем и изложить ему свои просьбы. Варрон понял, что даже подлинный Рим не был для двора Артабана центром мира, не говоря уж об искусственном Риме Нерона. Порой он чувствовал себя весьма незначительной фигурой, провинциалом, и его планы, связанные с Ктесифоном, казались ему безнадежными.

Но когда царь прибыл, Варрон получил аудиенцию неожиданно быстро.

Церемониал соблюдался неукоснительно. Часть огромного тронного зала отделялась занавесом. Вдоль стен выстроена была царская гвардия, царедворцы стояли лицом к занавесу, образуя большой полукруг. Раздался голос:

— Его величество царь царей воссел на трон.

Занавес раздвинулся, Великий царь явился миру. Он восседал на золотом, сверкающем драгоценными камнями престоле, окруженный священнослужителями; рядом горел священный огонь. Тяжело и неподвижно лежали складки царского облачения. Корона, спускавшаяся с потолка на толстых шнурах, висела над головой царя. Лицо его больше чем наполовину скрывала огромная, искусно заплетенная борода, густо осыпанная золотой пудрой.

Сановники, когда голос возвестил, что царь воссел на трон, пали ниц, прикасаясь лбом к земле; опустил на колено и Варрон. Он передал свое прошение. Артабан милостиво велел прочесть его вслух и ответил, что обдумает его содержание. Занавес сдвинулся, и золотое видение восточного владыки скрылось раньше, чем Варрон услышал его голос. Аудиенция, по-видимому, окончилась.

Но это было не так. Варрон, разочарованный тем, что царь не сказал ему лично хотя бы несколько слов, был приятно поражен, когда ему сообщили: его величество даст ему тотчас же вторую, неофициальную аудиенцию.

Царедворцы и гвардия удалились. Варрон остался один в огромном зале.

Неожиданно из-за занавеса вышел небольшого роста человек. У него была круглая голова, его безбородое лицо, оттененное очень черными волосами, казалось особенно белым. Только по облачению Варрон узнал царя.

А тот вместе с короной и бородой сбросил с себя церемонность и превратился в человека с приятными и обходительными манерами. Без долгих слов он перешел к делу, заговорил об «эксперименте», как он назвал затем Нерона. Его греческий язык хромал, ему приходилось часто искать подходящее слово, и все же он умел выразить все оттенки мысли. В неудаче «эксперимента» повинна была, по его мнению, ненадежность «ореола» Нерона.

— Этот «ореол», — пояснил он с легкой иронией, — иногда, по-видимому, перестает выполнять свое назначение. Мой главный маг, правда, утверждает, что это невозможно. Но он ошибается. Пример вашего Нерона доказывает, что он ошибается. Когда Нерон решился согласиться на ту кровавую ночь или бежать из Эдессы, несомненно, «ореол» бездействовал. Вам, мой Варрон, как опытному государственному мужу, надо было позаботиться о том, чтобы в те минуты, когда «ореол» изменял ему, Нерон не принимал никаких решений.

Варрону не очень-то приятно было слушать эти примечательные политические и теологические рассуждения; он чувствовал за ними скрытую насмешку человека, сознающего свое превосходство. С досадой увидел он, что царь, хоть и наблюдал события издалека, понял главную ошибку Варрона, которую сам он никак не хотел признать. Из-за мелочной личной ненависти к Требонию и Кнопсу он упустил из виду главное: перестал следить за «тварью», за всеми его шатаниями и побуждениями. В непонятном ослеплении он забыл о том, что, даже лишенный собственных мыслей и собственной индивидуальности, человек в ту самую минуту, когда его наделяют властью, приобретает сущность и содержание. Функция властвования меняет нутро носителя власти. Власть, кредит, слава наделяют индивидуальностью и лицом того, кого природа лишила этих свойств. Вар-

рону следовало это знать, следовало сказать себе это раньше. Но он не знал этого или не хотел с этим считаться. Как бы ни были дружелюбны и мягки речи царя Артабана, его витиеватые богословские рассуждения — они показывают, что Артабан ясно понял ошибку Варрона и его непростительное упущение.

А он-то тщеславно и заносчиво думал, что здесь, при парфянском дворе, только и ждут его поучений! Этого царя собирался он наставлять, царя, который видел людей и политическую действительность куда более остро, чем сам Варрон! Ему он намеревался «на многое открыть глаза», подать «несколько полезных советов»!

Но Варрон был, по крайней мере, человеком, который не упорствует в своих ошибках. Бессмысленно было бы прятать их за туманной болтовней, за глупыми оправданиями. И он честно, мужественно, не пытаясь обелить себя, признал:

— Вы правы, ваше величество. Ваши упреки попадают прямо в цель.

Артабану, видимо, понравилось это деловое признание. Он оставил неприятную тему и ласково спросил Варрона:

— Так, мой милый Варрон, а теперь скажите, как-вы, по-вашему, шансы Нерона в настоящий момент, после того как он смылся из Эдессы.

Он так и сказал «смылся», он употребил это простонародное слово, и в его с трудом построенной греческой фразе оно прозвучало особенно странно. Это «смылся» окончательно уничтожило Варрона. До какого идиотского положения довели его все эти ухищрения! Вот он сидит, самонадеянный, занесенный сюда случаем римлянин, и хочет что-то внушить прекрасно разбирающемуся во всем царю парфян: вашему царству угрожает серьезная опасность, если вы не пойдете на огромные материальные и человеческие жертвы, чтобы поддержать Нерона. Как сказать об этом? Это попросту глупо и совершенно безнадежно. Но — «здесь Родос, здесь прыгай».

Варрон превозмог себя и сказал Артабану кое-что из того, что подготовил и что было изложено в объемистых докладных записках, написанных для парфянского двора.

Нерон и его Рим, в противоположность Флавиям, по вполне понятным внешне- и внутреннеполитическим причинам, будут скрупулезно соблюдать договор о дружбе с парфянами. Нерон знает, что только в союзе с парфянами можно действительно отстоять цивилизацию от нашествия северных варваров.

Варрон говорил без всякого подъема, ему неприятно было произносить перед царем Артабаном такие дешевые фразы.

Артабан, впрочем, очень скоро прервал его болтовню вежливым, но очень решительным жестом.

— Мой милый Варрон, — сказал он, — все эти общие соображения мне известны. Но мне известно и другое: нет никаких резонов всаживать в ваше предприятие новые войска и деньги и после того, как ваш Нерон с его никудышным «ореолом» наделал столько глупостей. Если мне что-нибудь и неясно, то только одно: какие резоны могут заставить меня и сейчас помогать вам в вашей затее? Об этом мне бы и хотелось услышать от вас, как от представителя Нерона.

Перед такой трезвой постановкой вопроса Варрон почувствовал себя школьником, не выучившим урока, и деликатность, с которой Великий царь указывал на его ошибку, не облегчала ему ответа. Здесь могли помочь только честность, деловитость. Сухо и без прикрас признал он, что после того, как по его небрежности цезарь сумел бежать, он отказался от своего первоначального мнения, будто власть Нерона можно распространить до самого Палатина. Но он полагает еще и сегодня, что вполне возможно спаять все мелкие царства между Тигром и Евфратом, прихватив вдобавок значительную территорию по ту сторону Евфрата, в одно большое буферное государство под властью императора, который с престижем имени «Нерон» соединяет сердечную преданность Великому царю Артабану.

— Да, — ответил Артабан, — совершенно так же и я смотрю на создавшееся положение. В лучшем случае я достиг бы усиления нашего влияния в Месопотамии. А это значит, — заключил он, вежливостью тона смягчая резкий вывод, — и вы сами это признаете, что, взяв на себя жертвы и риск, связанные с активной поддержкой вашего Нерона, я добьюсь выгоды, которая ни в каком

разумном соотношении с огромными затратами на нее не находится.

Варрон не ответил. Что можно было ответить на это заключение? Оно правильно. Он проиграл игру. Он конченный человек.

— Значит, мне надо вернуться в Эдессу? — спросил он, и его померкшее лицо разительного не соответствовало спокойствию этого логического вывода.

— Не разыгрывайте предо мной героя, — почти с досадой ответил царь. — Вы ведь отлично знаете, что для вас вернуться в Эдессу — значит быть выданным Риму и погибнуть. Само собой разумеется, что мне приятно иметь при своем дворе человека, который заслужил благодарность моего великого предшественника Вологеза и который признал меня, когда я был еще слаб и ничтожен. Вы и ваш Нерон для меня — желанные гости. Но, к сожалению, я должен заранее ограничить мое гостеприимство. Если оно будет грозить миру моего государства, я вынужден буду его нарушить.

— А разве такая возможность мыслима? — оторопело спросил Варрон.

— Да, и даже весьма, — серьезно ответил Артабан. — Если Домициан будет умен, он предложит мне выгодные торговые договоры и не станет сопротивляться разумному разрешению военных вопросов в Междуречье. Если он при этом поставит условием, чтобы я отступился от вас и вашего Нерона, я не сочту себя вправе это условие отклонить. Нельзя ради благополучия одного лица ставить под угрозу мир двухсот миллионов. Такой человек, как Луций Теренций Варрон, должен это понять.

Да, Варрон это понимал. Рассуждения Великого царя были так же прямолинейны и ясны, как неровен его греческий язык. И все же этот умный, порядочный и гуманный царь, по мнению Варрона, предъявлял к его разуму слишком высокие требования. Он не только хотел выдать Варрона, он хотел, чтобы Варрон сам признал необходимость этого.

Перед молчаливой Марцией Варрон пытался разобратся в своих впечатлениях.

— Мне остается, — сказал он, печально и иронически улыбаясь, — одна надежда: что Дергунчик наделает глупостей и вынудит тем самым Артабана снова вступить за дело нашего Нерона. Но, к сожалению, я сам

многому научил Дергунчика и выбил из него охоту делать глупости.

И Варрон оглянулся на прошлое, вспомнил, как он затевал свое дело, свой «эксперимент», и осудил себя за то, что мерил все западной мерой, позабыв о Востоке. Он, например, всегда считал себя дальновиднее всех, на самом же деле он с истинно римской ограниченностью не умел взглянуть за пределы империи. В сущности, он проявил себя таким же националистом, как и все прочие, надменным и уверенным в том, что Рим осчастливит мир, если займется его устройством. Теперь, слишком поздно, он понял, как велик мир и как мал Рим.

И вот уже в этом неисправимом жизнелюбце вновь воскресает радость созерцания, радость игры.

— Сколько ни старайся, всего никогда не познаешь, — заключил он. — Я проучил Дергунчика, теперь он учит меня. Когда мы высылали из Рима писателей, вроде Музония или Диона из Прусы, слово «ссылка» было для меня пустым звуком. А теперь, став по воле Дергунчика эмигрантом, я начинаю понимать, что центр мира находится вовсе не там, где ты родился, что в мире столько же центров, сколько людей.

12. БЕГЛЕЦ

Нерон-Теренций — один из этих центров мира — между тем уходил все дальше и дальше. Он тронулся в путь еще в ночь встречи с Иоанном и уже углубился далеко в степь. Днем он прятался, следующей ночью шел опять, все время на юго-восток, и третью ночь тоже. Он был доволен, что остался один. Одиночество пустыни помогало ему восстанавливать весьма потрепанный «ореол». На третий день он сильно страдал от голода и жажды; но к этому времени его «ореол» полностью восстановился, так что Теренций чувствовал себя словно облеченным в броню. Он говорил себе, что только свет, излучаемый им, помешал неистовому Иоанну посягнуть на него и что судьба, конечно, не хочет его гибели. И действительно, на следующий день его, очень изнуренного, подобрали бедуины.

Это были угрюмые люди. Когда он сказал, что

желает попасть ко двору Великого царя, они недоверчиво спросили, что ему там нужно, и, услышав в ответ вычурные и темные речи, решили, что это проходимец, беглый раб или что-либо в этом роде, и дали ему самую унижительную и тяжелую работу. Но он, в сознании могущества своего «ореола», не удостоил их даже возражений, попросту повернулся спиной, отошел на несколько шагов и присел на корточки. Они стали его бить, он продолжал упорствовать в протестующем молчании. В конце концов спокойствие и величие, с каким он сносил побои и унижения, сыпавшиеся на него, произвели впечатление на бедуинов. Правда, когда у него вырвалось признание, что он император Нерон, они лишь презрительно усмехнулись. Но втайне, сравнив его лицо с головой, вычеканенной на монетах, испугались, не совершили ли они большой оплошности. Они продали своего неудобного пленника соседнему племени.

Нерон воспринял это с полным равнодушием. Испытания, постигшие его, как раз и доказывали, что боги признают его притязания. Чтобы полностью почувствовать, что значит быть императором, чтобы до конца стать Нероном, он должен испытать и падение Нерона, — не только его возвышение и блеск. И поэтому все то зло, что обрушилось на него, он принимал с такой же готовностью, как и благо. Без внутреннего протеста примирился он с тем, что и второе племя бедуинов обращалось с ним не лучше, чем первое. Но и на новых хозяев стало постепенно действовать его молчаливое упорство, они склонялись к мысли, что это скорее безумец, чем мошенник, и так как душевнобольные одновременно считались у них и святыми, и достойными презрения, то они в одно и то же время и потешались над Теренцием, и почитали его. Непокойно им было с этим человеком, болтающим всякий диковинный и высокопарный вздор, и они рады были при случае развязаться с ним, точнее, они бросили его в пустыне.

Так началось долгое, мучительное странствование Нерона по пустыне. Много раз он был на грани полного истощения, но именно это тяжкое скитание завершило его окончательное превращение в Нерона. Он испивал чашу крайних лишений и унижения и утверждался в вере, что стал «до мозга костей» совершеннейшим представителем человечества — императором.

После многих тяжелых и смешных приключений он попал в подземный город Гому, расположенный в пустыне. В ту пору там находились одни женщины, дети и старики: мужчины выехали в ежегодный разбойничий набег. В Гоме Нерону неплохо жилось. И здесь несовершеннолетние и женщины не знали, считать ли его проходимцем, дурачком или попавшим в беду знатным господином. Но он им нравился. Этот человек, молчаливо сидящий в пещере, излучал царственное спокойствие, кроткость и величие. Дети, женщины и старики собирались и разглядывали его с боязливым любопытством. Иногда, когда его очень просили, он начинал рассказывать. Он рассказывал великолепно, как лучшие сказочники. Жители города Гомы слушали своего удивительного гостя и охотно давали ему приют — пока вернутся мужчины и решат его дальнейшую судьбу.

Но еще до того, как вернулись мужчины, явились посланцы Великого царя. Решив пока что не отречься от Нерона, Артабан разослал своих лучших сыщиков и агентов, чтобы разыскать пропавшего без вести, и им удалось то, что не удалось людям Варрона, — они напали на след скрывшегося Теренция. И они явились сюда и, к большому удивлению города Гомы, бросились ниц перед чужестранцем и, касаясь лбом земли, приветствовали его, как повелителя западного мира.

Самого Нерона несколько не поразило то, что посланцы Великого царя приветствуют его, распростершись в прахе. В одиночестве и в нужде покинул он Эдессу. В блеске и великолепии, окруженный императорской свитой, он вступит в Ктесифон. Так ему подобало, и ничего достойного удивления в этом не было. В мире царит порядок, и все, что с Нероном произошло, полно сокровенного смысла. Боги хотели, чтобы миру явился новый, до этой поры неведомый Нерон, совершенный Нерон, и поэтому случилось то, что случилось. Теперь круг замкнут. Его душа, как полагается душе императора, защищена броней от искушающего блеска и от изнуряющих бедствий. Он в ладу со своей судьбой, он понял ее смысл, ничто более не может отнять у него уверенности.

Снисходительно и с величайшим спокойствием позволил он посланцам Артабана облачить себя в пышные одеяния и торжественно препроводить в Ктесифон. На

всем длинном пути ему оказывались величайшие почести. Народ чувствовал лучи царственного величия, исходящие от этого человека, который, гордо замкнувшись в себе, со скупающим и важным видом следовал в Ктесифон. Люди без числа падали перед ним ниц, касаясь лбом земли, как перед самим Великим царем.

Даже Варрон поразился, увидев своего Нерона. После внутренних и внешних потрясений последних месяцев Нерон этот похудел, лицо его потеряло округлость, в рыжеватые волосы вплелись первые белые нити, а на губах часто витала мягкая, усталая, божественно гордая улыбка. Трудно было устоять перед этой улыбкой. Легким безумием веяло от этого человека, оно окружало его, как панцирь, сотканный из воздуха. Это не была прежняя «тварь», и Варрон стал сомневаться, удастся ли ему, при всем напряжении воли и призвав на помощь всю свою хитрость, опять приручить этого нового Теренция.

Нерон говорил меньше, медленнее, более мудро. Очень редко подносил смарагд к глазам. Он не был более любопытен; он видел все, что мог видеть человек, и ему незачем было особенно присматриваться, чтобы кого-нибудь или что-нибудь узнать. Гордость его не была такой злобной, неприступность приобрела оттенок благожелательности. Его, измерившего все высоты и глубины, ничто больше не удивляло, ничто не могло уязвить.

Теперь его несколько не пугала и встреча с Великим царем, от которой он прежде уклонялся, как от некоей угрозы.

Правда, когда он очутился в тронном зале, его «орел» стал чуть-чуть меркнуть. Рельефный фриз с изображением подвигов древних персидских царей, украшавший стены зала, сделан был — этого Нерон не мог не признать в душе, — несмотря на огромные размеры, с таким изысканным, истинно царским вкусом, что ему ничего подобного не приходилось до сих пор видеть. Но еще сильнее поразил его купол зала с гигантской мозаичной фигурой всадника Митры, поражающего злого демона. Очутившись над этим куполом, Нерон весь съежился и с грызущим чувством собственного ничтожества вспомнил о статуях Митры, которые были специальностью фабрики керамических изделий на Красной улице.

Затем началась та обстоятельная, великолепная церемония, предназначенная для того, чтобы каждому внушить мысль о неповторимости и божественности восточного властителя. Занавес раздвинулся, корона реяла, торжественно стояли священнослужители в золотых своих бородах, пламя «ореола» светилось, пали ниц сверкающие царедворцы. Нерону нелегко было остаться на ногах среди повалившихся наземь сановников, и в ушах у него словно издалека зазвучала песенка:

Горшечнику место на улице Красной.
Он господина корчит напрасно.
Это опасно.

Но когда Артабан снизошел до него и собственными устами произнес несколько слов в ответ на приветствие своего друга, западного императора, угасло все ослепительное великолепие, перед которым даже Нерону пришлось опустить глаза. Нет, человек с таким будничным, негибким, сухим голосом лишен величия. С чувством глубокого удовлетворения увидел Нерон, что на этой земле он был единственным, кто обладал подлинным «ореолом».

13. СПРАВЕДЛИВОСТЬ — ФУНДАМЕНТ ГОСУДАРСТВА

Цейоний сиял. Теренций и Варрон бежали, Филипп и Маллук «готовы были начать переговоры», это значило, что они в туманных, цветистых выражениях заявляли о своем решении сдаться. Оставался, правда, еще победитель Артабан. Но Цейоний превозмог себя, он намерен был отменить свое прежнее решение и признать Артабана. Опираясь на свое боеспособное войско, Цейоний надеялся за это признание выжать из Великого царя побольше, и прежде всего добиться выдачи Варрона и Теренция. Его радовала возможность выкурить этих молодчиков из их последней норы. Но он подавил свое нетерпение, чтобы предварительно по возможности укрепить позиции. Лишь тогда он начнет переговоры с Артабаном, когда тот будет знать, что Цейоний облечен полномочиями в случае необходимости выступить против парфян. Со счастливым, мальчишеским нетерпением ждал он депеши из Рима.

Депеша была иного содержания, чем предполагал Цейоний. Правда, император Домициан предписывал ему держать армию в боевой готовности на случай похода в Месопотамию. Но дальше в депеше значилось: «Более никаких заданий мы для вас не предусмотрели. Мы приказываем вам: приведя армию в боевую готовность, передать знаки власти — секиры и розги — новому губернатору, которого мы назначим для управления нашей провинцией Сирией. После передачи знаков власти мы ждем вас в Рим».

Дергунчик в буквальном смысле слова лишился чувств. Был сверкающе-яркий весенний день, для него же свет померк. Если за последние несколько месяцев он помолодел на пять лет, то в эти несколько минут он постарел на десять. Безумные планы теснились в его голове. Он, сухой, добросовестный чиновник, подумал было — это длилось несколько мгновений, — не перейти ли и ему самому на сторону мятежников, Варрона и Нерона. Но, думая об этом, он уже знал, что все это пустой бред, и некоторое время сидел совершенно опустошенный. «Вертись, юла». Новый повелитель поведет армию, его армию, которую он так великолепно вымустровывал, через Евфрат и с триумфом — обратно, в Антиохию. Он же, Цейоний, будет прозябать в Риме со своим ларем, задернутым покрывалом, стареющий, никчемный человек, и все, что останется от него на Востоке, — это веселые остроты и прозвище Дергунчик.

Жизнь Цейония потеряла смысл. Но он был добросовестный чиновник и по-прежнему исполнял свой долг и свои обязанности.

Уже спустя несколько недель прибыл новый губернатор. Это был Атилий Руф, молодой еще человек, с бесстрастным лицом, очень спокойный по характеру, с безупречными манерами. Деловито и холодно признал он заслуги Цейония в организации армии и попросил не торопиться с передачей знаков власти — фасций, пока сам Атилий Руф не войдет обстоятельно и без поспешности в дела управления.

Это были мучительные недели. Цейоний еще сидел в своем дворце, облеченный знаками власти. Но распоряжения императора и сената посылались другому, более молодому, пока незаметному, но подлинному властителю, и весь свет знал, что Цейоний отставлен. Он ока-

зался не на высоте положения, он был повинен во всей этой великой кутерьме, и ему на смену пришлось послать другого, который должен выправить то, что Цейоний искривил и испортил. Он же должен пока по-прежнему представлять, устраивать приемы, подписывать приказы.

Всей душой призывал он день, когда ступит на корабль, когда очутится в море и больше не будет видеть этих насмешливых восточных лиц. Но он был воспитан в духе стоиков, он плотно сжимал губы и исполнял свой долг. Атилий Руф покровительственно сообщал в Рим, что они с Дергунчиком ладят; Дергунчик — добропорядочный чиновник.

Однажды все-таки добропорядочный чиновник неожиданно изменил своей так бережно хранимой корректности, — причем без видимой причины. Атилий Руф осведомился лишь, как лучше всего, не вызывая дипломатических осложнений, сообщить Варрону о решении сената. Цейоний покраснел и, с трудом сдерживаясь, спросил, можно ли ему знать, о чем идет речь. Конечно, ему можно знать, ответил Атилий Руф и рассказал, в чем дело. Сенат вынес решение по поводу жалобы Варрона на неправильно взысканный инспекционный налог. Сенат постановил: жалоба справедлива, двойное обложение доказано, казна обязана вернуть Варрону неправильно взысканные с него шесть тысяч сестерциев. В Риме придают большое значение тому, продолжал Атилий, чтобы Варрону вручены были по всей форме как это решение сената, так и обвинение в государственной измене.

И тут случилось невиданное. Цейоний, стоик, о котором рассказывали, что он не один удар судьбы принял с достойным удивления самообладанием, несколько раз глотнул воздух, провел, глубоко взволнованный, кончиками пальцев одной руки по ладони другой, и, когда Атилий, желая помочь ему справиться с волнением, заговорил о чем-то безразличном, Цейоний вдруг встал, выдавил: «Извините!» — и бросился вон из комнаты.

Атилий Руф покачал головой. Значит, было какое-то зерно правды в разговорах о том, что Восток доводит до расстройства нервов и лишает рассудка даже самого трезвого чиновника.

14. РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Еще не успев принять знаки власти, Атилий Руф начал переговоры с Артабаном. Сомнения в законности притязаний Артабана, писал он ему, устранены его победой, явившей смертным волю богов, и Рим в принципе готов возобновить с Артабаном, как с признанным повелителем Парфянского царства, традиционный договор о дружбе. Предварительно, однако, необходимо ликвидировать разногласия, которые в последнее время возникли между обеими державами. Рим — признанием Пакора, Артабан — признанием самозванца Теренция нарушили взаимную дружбу. Новый губернатор надеется, что Артабан так же энергично постарается избавиться от этого самозванца, как Рим от претендента Пакора. Он просит поэтому Великого царя отказать мошеннику в праве убежища, которым тот злоупотребил, и выдать его, а также бывшего сенатора Варрона, дружественному Риму.

Артабан ответил уклончиво. Он готов рассмотреть вопрос о выдаче Риму человека, которого многие признают законным императором, но пусть Рим сначала даст обязательство ни под каким видом не мстить дружественным Артабану князьям и властителям Месопотамии, которые, следуя его примеру, признали Нерона.

На основе этих посланий начался длительный торг. Руф Атилий заявил, что готов освободить от наказания месопотамских князей, но за это он требует полномочий на усиление римских гарнизонов в их княжествах. В ответ на это Артабан потребовал разрешения укрепить свои собственные стратегические позиции в Междуречье. Обе стороны знали, что ни одна из них не допустит срыва переговоров, каждая сторона всячески старалась обойти другую, ни одна не поддавалась на обман, и обе умели выжидать. Проходили недели за неделями, прежде чем договор принял окончательную форму.

Наконец все было готово, и оставалось лишь определить день для обмена грамотами.

Когда переговоры стали приближаться к концу, Артабан пригласил к себе Варрона. Варрон знал — царь предупредил его заранее, — что Артабан не пойдет на риск вызвать войну с Римом ради того, чтобы спасти Варрона

и Нерона; Варрон знал, конечно, о переговорах с Римом и о том, что их завершение означает его выдачу. Поэтому он был готов к худшему и принял для себя решение. Он любил жизнь и не очень заботился о сохранении «достоинства»; тем не менее, если договор будет подписан, ему не останется ничего другого, как проглотить золоченые пилюльки или вскрыть вены. Он понимал и одобрял позицию Великого царя; все же, переступая теперь порог покоя, где ждал его царь, он видел в нем лишь судью, палача, врага, и тяжкое ощущение дурноты подступило к горлу этого в общем не трусливого человека, а ноги у него подкашивались.

Царь с присущей ему деловитостью рассказал о ходе переговоров, протянул Варрону проект соглашения, попросил спокойно прочесть документ и сказать свое мнение о нем.

И Варрон стал читать — и увидел. Он увидел, что договор, который детально регулировал военные, политические и хозяйственные отношения между обоими государствами, составлен был людьми, убежденными, что соглашение предпочтительнее войны; они готовы были ради этого соглашения отдать больше, чем это было неизбежно, и выгадать меньше, чем они могли бы выгадать. Это был умный и достойный договор, дальновидный, не слишком прямолинейный и не слишком гибкий, на основе его между Римом и Парфянским царством можно было установить длительный мир. Конечно, в этом разумном договоре был также и пункт, гласивший, что Великий царь обязуется выдать римским властям Максима Теренция и Теренция Варрона.

Манускрипт договора был объемист, со многими приложениями. Варрон читал долго, царь молча сидел рядом и не мешал ему. Варрон брал листы, один за другим, его карие удлинненные глаза внимательно пробежали по строчкам слева направо, а затем быстро назад — справа налево, от строчки к строчке. Так сидел он в непринужденной позе, скрестив ноги, и читал. Он читал внимательно, не пропуская ни одной частности. Это удивляло его; ибо попутно он думал о многом. «Вот, значит, мой смертный приговор, — думал он, например. — Очень разумно обоснованный приговор, любая апелляция тут бессмысленна. Проглотить мне золоченые пилюльки или вскрыть вены? Сердце у меня бьется очень

сильно. Замечает ли это царь? Надо попытаться дышать ровно и спокойно, чтобы ему не было слышно, как оно бьется. Какой смысл показывать ему, что я взволнован, — это бы только повредило мне. А почему, в сущности, я взволнован? Ведь я все это предвидел».

Такие и подобные мысли мелькали у него в голове, но он умел владеть собой, и ему удалось ответить царю деловым тоном:

— Этот договор — самый умный из тех, которые когда-либо заключались между римлянами и парфянами.

— Да, — сказал Артабан, — было бы безумием и преступлением, если бы я сорвал его подписание.

— Верно. Это было бы безумием и преступлением.

Артабан взглянул на него своими выпуклыми, хитрыми, задумчивыми глазами и сказал:

— Вы нравитесь мне, Варрон, и в свое время вы немало сделали для установления мирных отношений между римлянами и парфянами. Мне очень не хотелось бы выдавать вас.

«Куда он клонит? — подумал Варрон. — Хочет подсластить мне смертный приговор, что ли? Он не из тех, кто болтает зря. Лучше всего промолчать». И он ограничился тем, что пожал плечами.

Наступило короткое молчание. Затем Артабан медленно заговорил снова:

— Вы показывали мне какое-то послание, мой Варрон, в котором мой великий предшественник Вологез выражает вам благодарность за содействие в восстановлении мира между Римом и Парфянским царством. Мне хотелось бы присоединить это письмо к моему архиву. Я предлагаю вам сделку: вы предоставите мне это письмо, а я, прежде чем подписать договор, дам вам возможность покинуть мой двор и направиться на восточную окраину моего царства.

Варрон не был тугодумом. Но на этот раз, хотя он и слушал внимательно, он не понял или боялся понять; все в нем плясало — кровь, мысли, чувства. Наконец — царь молчал каких-нибудь две секунды, ему же показалось, что прошла вечность, — он понял. Он был уже, можно сказать, мертв, и вдруг пришел человек и сказал: «Встань и живи», — человек, обладавший властью говорить такие слова.

Обладает ли он этой властью? Не раздумает ли он?

Не переменит ли свое решение? В душе Варрона поднимались то сомнения, то вера, как корма и нос корабля в бурю.

На этот раз ему не удалось заговорить спокойно; он сказал неуверенно, запинаясь:

— Простите, ваше величество, но я не вполне понял вас. Если я покину ваш двор и направлюсь на Восток, как вы милостиво мне предлагаете, разве это даст мне что-нибудь, кроме короткой отсрочки? — И он сделал робкую попытку пошутить: — Вы переоцениваете нас, западных людей. Мы очень обстоятельны и очень мстительны. Я не думаю, чтобы Рим, если вы подпишете эту бумагу, оставил в покое вас и меня, покуда я буду видеть солнце.

С едва заметной улыбкой повелитель Востока ответил на своем плохом греческом языке:

— Вы ошибаетесь, мой Варрон. Я знаю вас, западных людей. Но вы не знаете моей восточной окраины. На границах моего царства, там, где начинается Индия, есть такие паломники и монахи: лишенные потребностей, они странствуют, избрав своей участью бродяжничество. У людей этих нет имени, они приходят и уходят, неотличимые друг от друга. Если вы станете одним из этих людей, вас никто никогда не выследит, даже искуснейший западный агент.

В Варроне все заходило ходуном. Он слышал о людях, о которых говорил Великий царь. Они были одеты в желтые, цвета охры, плащи, ходили босиком, в руках носили сделанные из скорлупы чужеземного плода большие чаши, в которые собирали подаяние. Еще не успело улечься в душе Варрона волнение от внезапного поворота его судьбы, еще весь он дрожал от ликования, повторяя: «Я не умру», — но уже вспыхнуло в нем отвращение к этой жизни бедняка и попрошайки. И тут же шевельнулось и любопытство: испробовать и такую жизнь! Разве не в этом заключался смысл этих последних недель, что ему дано было обогатиться новыми познаниями, что ему дано было увидеть мир из иного центра? Если его занесет теперь еще глубже на Восток, то это будет только логично. Он так долго жил в самом водовороте жизни, так долго «действовал»! Если судьба перебрасывает его теперь на другой берег, к «созерцающим», то у него нет основания жаловаться, он может

быть только благодарен за это. Конечно, он и не помышляет покончить счеты с жизнью, как эти люди в желтом. Он не растворится в их массе, как человек, стоящий по ту сторону желаний и стремлений, он по-прежнему будет полон этих желаний и стремлений. Если так подойти к делу, то предстоящая ему жизнь вовсе не так мерзка, она даже соблазнительна. Стоять на другом берегу. Не по эту сторону — по ту. Не наверху — внизу. Ему это пойдет на пользу — стать одним из тех, кого он не знает, одним из массы, которую он всегда видел лишь сверху.

Артабан между тем продолжал:

— Среди этих бездомных вы встретите не только людей из низов. Наоборот, есть среди них и такие, которые до того, как они избрали — добровольно — бродяжничество, имели над головой прочную крышу, может быть, даже золотую; там есть бывшие префекты, князья, полководцы, и наши предания говорят, что бывали среди них и цари.

В сердце Варрона, слушавшего царя Артабана, шевельнулось и другое чувство, даже не вылившееся в мысль. Он еще не стар, ему пришлось совершить на своем пути немало крутых поворотов. Жизнь на Востоке, которую предлагает Великий царь, не будет последним этапом. Несомненно, Варрон из «бродяжничества» снова вынырнет на поверхность, вернется в стан «действующих» и будет действовать в соответствии со своими наклонностями, шире и глубже познав мир, чем до сих пор.

Артабан же, так как Варрон молчал, неправильно истолковал его молчание и стал опасаться, как бы Варрон не принял каких-либо мрачных решений, которые могли бы лечь бременем на совесть царя. И тоном, которому он хотел придать легкость, но в котором на самом деле сквозила напряженность, он продолжал:

— Я слышал, да мне и самому приходилось быть свидетелем таких случаев, что римляне, оказавшись в вашем теперешнем положении, легко отказываются от жизни и избирают добровольную смерть. Я был бы огорчен и разочарован, если бы вы поступили подобным образом. Я плохо знаю, как представляет себе римлянин потусторонний мир. Что касается меня, то я в этом смысле настроен скептически и склонен опасаться, что ждет нас лишь черное ничто.

И как человек, который хочет отговорить собеседника от невыгодного дела и посоветовать ему нечто лучшее, Артабан стал убеждать Варрона, улыбаясь и слегка вздыхая, совсем не по-царски.

— Для меня было бы удобнее всего предоставить вам действовать в соответствии с учением ваших стоиков и позволить вам умереть. Но вы заслужили иного, и вы мне нравитесь. Будьте благоразумны, Варрон.

Варрон насторожился. До чего же это забавно! Царь не только предлагает ему возможность избежать смерти, но еще упрасивает его этой возможностью воспользоваться. Разве не обернулось все, без малейшего нажима с его стороны, так, словно он сделает царю одолжение, если останется жить? Эта счастливая шутка капризной Фортуны развеселила и окрылила его. Но он старался скрыть свое состояние от царя, он хотел до конца насладиться создавшимся положением. И все вышло так, как он хотел. Артабан, помолчав немного, продолжал доверительным тоном, с чуть заметной лукавой улыбкой:

— Впрочем, и бродягой можно быть по-разному. Бродяжничать под покровом царского благоволения, бродяжничать и в то же время чуть-чуть греться в лучах «ореола» — это, например, сравнительно с другими, весьма удобный вид бродяжничества.

Варрону приходилось сдерживать себя, чтобы не закричать от счастья, не излить свою неистовую радость в ликующих возгласах, не бить себя в восторге по ляжкам. Он достиг того, что этот царь, повелитель всего Востока, не только настойчиво уговаривал его принять дар, но собирался еще еретически облегчить ему благочестивый подвиг бродяжничества. К Варрону вернулась его всегдашняя самоуверенность, и он спросил с наигранной нерешительностью и так фамильярно, как вряд ли кто-либо осмеливался за несколько последних лет говорить с Великим царем:

— А есть разве средства осведомить власти вашего величества на крайнем Востоке о том, что на меня, как вы говорите, падают лучи вашего «ореола»?

И Артабан, довольный, что его собеседник, видимо, переменял решение, с живостью ответил:

— Разумеется, я поставлю в известность тех лиц моей пограничной провинции, от которых многое зависит, и дам им понять, что некий нищенствующий монах

с Запада — не простой монах, но пользуется покровительством Великого царя.

И только теперь Варрон решился великодушно принять то, что за час до того казалось ему несбыточным счастьем, и он скромно, но тоном человека, исполняющего просьбу, проговорил:

— Я не смею противоречить желанию вашего величества.

Артабан же с той тихой, обаятельной вежливостью, которая снискала ему любовь народа, сказал сердечно:

— Благодарю вас за то, что вы решились принять мое предложение. А мне всегда доставит радость взглянуть на письмо, с которым великий Вологез обратился к вам и которое вы мне оставили. Гостеприимство для меня — долг, вдвойне приятный по отношению к вам, и мне очень не хотелось нарушить его. Но скажите сами, Варрон: разве я мог бы, если бы вы вели себя менее разумно, соблюсти законы гостеприимства, которые в этом случае угрожали бы столь высокому делу, как сохранение мира?

И Варрон, внутренне ликуя, счастливый таким исходом, великодушно подтвердил:

— И на Западе и на Востоке может быть на этот счет одно лишь мнение: было бы преступно при таких условиях блюсти гостеприимство. Я восхищен милосердной мудростью вашего величества, нашедшей выход.

Царь не старался скрыть свое удовлетворение.

— Да, — весело заключил он, — это очень приятно, что мы все же изловчились и нашли способ, как соединить законы политической мудрости с законами гостеприимства.

Он сказал: «изловчились», и это простонародное выражение странно прозвучало в его с трудом построенной греческой фразе. Варрон же ласково и радостно рассмеялся; еще немного — и он похлопал бы царя по плечу.

15. ВАРРОН ИСЧЕЗАЕТ НА ВОСТОКЕ

На следующий день после беседы с царем Варрону доставлен был с нарочным приговор сената по поводу его жалобы на двойное обложение. Тот же нарочный одновременно принес ему запечатанный мешок с шестью

тысячами сестерциев, шестьдесятю золотыми монетами. Варрона это послание развеселило до глубины души, он прочел приговор, распечатал мешок, набрал пригоршню золота, пропустил монеты между пальцами. Потом он спросил у нарочного, не возьмет ли тот письмо, чтобы на обратном пути через Антиохию доставить его Цейонию, и дал ему в награду весь мешок с шестьдесятю золотыми монетами.

И вот он пишет свое последнее письмо на Запад:

«Разве мы с вами, мой Цейоний, не поступили оба, несмотря на наши пятьдесят лет, как зеленые юнцы? Игра кончена. Это была глупая игра, мы оба проиграли. Выиграли другие.

Я исчезаю навсегда, милый Цейоний, и вы будете извавлены от человека, которому обязаны прозвищем Дергунчик. Но я солгал бы, впрочем, если бы сказал, что раскаиваюсь: да, и сейчас еще, готовый исчезнуть, я улыбаюсь, вспоминая вас и ваше прозвище.

Наша игра стоила мне дорого. В приложении к этому письму вы найдете точный подсчет, сколько именно. Вы увидите: это почти все, что у меня было. Я ничего не оставляю здесь, кроме моей дочери. В том состоянии, до которого я довел ее, Марция не столь уж приятная дама. Но Востока она никогда не любила, и я очень прошу вас, Цейоний, принять в ней участие и доставить ее в Италию. Сделав это, вы очень бы утешили меня. В конце концов игра наша велась из-за этих шести тысяч сестерциев, и формально вы проиграли.

Я никогда не питал к вам ненависти, любезный Луций, и думаю, что в глубине души и вы сохраняли ко мне немного симпатии. Примите же последнюю улыбку и искренние пожелания от вашего Варрона.

К письму он приложил расписку на шесть тысяч сестерциев со счетом прибылей и убытков на оборотной стороне. Последней статьей в графе «Убыток» значилось: «Варрон исчез».

И он стал готовиться к уходу в бродяжничество.

В последний раз он открыл душу перед западным человеком — перед Марцией. Он сказал Марции, белолицей и прямой, что она будет пользоваться у Артабана добрым и верным покровительством. Если же она хочет вернуться на Запад, в Рим, она сможет сделать и это; деньги ей обеспечены, к ней, вероятно, явятся, ее позо-

вут и отвезут. Затем он передал ей ларец с документами — содержание всей его жизни.

— По всей видимости, — продолжал он, — игра моя окончательно проиграна. Повинен в этом бедный дурачок Теренций, который единственный раз в жизни захотел действовать самостоятельно и, конечно, натворил глупостей. Но я не сержусь на него, и, если тебе придется говорить с ним до того, как они доставят его в Антиохию, передай ему, что Варрон ему кланяется и желает легкой смерти. Если тебе кто-нибудь скажет, что я затеял все из-за ссоры с Дергунчиком, промолчи. Но я надеюсь, ты понимаешь, что это вздор. Я не такой уж идеалист, но если бы мной не руководила идея, я не стал бы действовать. Вольно и в то же время невольно я служил идее. Все равно: не я — другой явился бы и попытался восстановить царство Нерона. Если бы я не создал этого Нерона, другой создал бы другого Нерона: может быть, более корыстный творец создал бы еще худшую тварь.

— В сущности, — сказал в заключение этот неисправимо легкомысленный оптимист, — хотя исход дела не говорит в мою пользу, я действовал все же правильно и разумно. Идея устранения различий между Западом и Востоком выросла и окрепла во всем мире, и в этом есть и доля моей заслуги. Вполне логично, что я теперь окончательно растворюсь в Востоке. Я не жалею об этом.

Марцию, молча слушавшую отца, охватил хаос мыслей и воспоминаний. То, что отец погружается в это нелепо пестрое море Востока, логически завершает его беспутную, необузданную жизнь. И ее бессмысленное одиночество — такая же логическая развязка ее жизни. Так должна кончить жизнь женщина, которая предназначена была стать сначала весталкой, потом супругой какого-нибудь претора, консула, губернатора и которая вместо этого провела краткие годы своей молодости среди полулюдей Востока и стала женой импотента, мошенника и раба. До этого пункта она мыслила еще четко. А дальше в мыслях и чувствах Марции начинался хаос: в запутанный клубок сплетались видения жизни и смерти, весталки и продажной девки, Нерона, Теренция и Фронтон, и все эти обрывки представлений, мыслей и чувств перемешивались с непристойными словами, которые Фронтон любил говорить в минуты страсти. Когда отец кончал говорить, Марция стала улыбаться своей

странной, безумной улыбкой и что-то тихо напевать. Варрон смолк, а она все еще продолжала что-то мурлыкать. Варрону показалось, что на мотив песенки о горшечнике она пела свои, какие-то непонятные слова. Слова эти, монотонный напев и образ загадочно улыбающейся Марции — было то последнее, что Варрон унес с собой в бродяжничество.

Несколько дней спустя царь Артабан облачился в свое тяжелое сверкающее царское одеяние, нацепил золотую бороду, уселся за занавесом на трон, велел подвесить над головой у себя корону и обменялся с послами римского губернатора грамотами, в которых изложены были условия продления договора о дружбе между его царством и Римской империей.

Цейоний, еще не дочитав до конца письмо Варрона, решил просьбу его исполнить. Но это легче было решить, чем сделать. Марция отказывалась ступить на корабль, если ей не разрешат взять с собой урну с прахом Фронтонна. Урна же эта была установлена в Эдессе и свято чтилась. Царь Маллук не хотел выдавать прах гостя, которому он чем-то был обязан. Шарбилу пришлось многократно обращать внимание царя на то, как сильно тот компрометирует себя, не отдавая прах Фронтонна; наконец Маллук уступил. И вот Цейоний и Марция сели на корабль, отплывавший в Рим, Атилий Руф хотел было из вежливости проводить на корабль эту необычную пару, но Цейоний поблагодарил и отказался.

Едва он прибыл в Рим, как император вызвал его на аудиенцию. Свидетелей на этой аудиенции не было, но известно, что молодой император любил зло поиздеваться над незащитными партнерами. Надо полагать, что эта аудиенция была не из приятных для губернатора, у которого оказалась столь несчастливая рука. Те, кто видел Цейония, когда он вышел из рабочего кабинета императора, где пробыл очень долго, рассказывали, что он шатался, как пьяный.

О дальнейшей судьбе Луция Цейония, консула и генерал-губернатора императорской провинции Сирии, и Марции Теренции, супруги Теренция Максима, некоторое время называвшего себя Нерон Клавдий Цезарь Август, ничего не известно,

За всю жизнь у Нерона-Теренция не было лучшего времени, чем это его сорок пятое лето. Великий царь предоставил в его распоряжение прекрасный загородный дворец на берегу одного из каналов Евфрата, расположенный в часе езды от Ктесифона. К его услугам был также пышный двор — казначеи, виночерпии, стольники, слуги всякого рода, и Нерон затратил много труда, чтобы соединить воедино греко-римский придворный церемониал с парфянским.

То, что он потерял свое царство, угнетало его. Но вернуть ему царство — это было не его делом, об этом следовало позаботиться Варрону и Артабану. Если царство досталось ему, когда Артабан поглощен был тяжелыми боями с соперником своим Пакором, то вернуть его теперь, когда Артабан победил, было вдвое легче.

Правда, ему не хватало иногда прежних советников, но он быстро примирился с этим. Кнопс спасовал в ту ночь, когда они покинули Эдессу, а Требоний начал в нем сомневаться — это Нерон отлично чувствовал. Впрочем, и без них можно обойтись. Варрон в первое время пребывания Нерона под Ктесифоном изредка бывал у него, но в последние недели он не появлялся больше. Нерона это беспокоило, но он ни о чем не расспрашивал. В Эдессе он нуждался в услугах такого государственного мужа, как Варрон, здесь же, в Ктесифоне, ему служит более могущественная особа, сам Великий царь. Раз в месяц повелитель Востока и повелитель Запада обменивались официальными визитами.

В общем, Нерон был доволен, что его теперь вместо прежних советников посещает царедворец Вардан. Он бывает у него примерно раз в две недели и по поручению Великого царя кратко докладывает ему о положении дел. Нерон был ленив, когда дело касалось реальных вещей, и ему было приятно, что больше его вопросами политики не утруждали.

Это веселое и мирное лето принесло Нерону-Теренцию неожиданную радость. Его постоянно грызла досада, что греческое и арамейское *th* звучит у него недостаточно чисто. Десятки лет он добивался безупречного произношения этого проклятого звука, иногда он ему удавался, но чаще всего выходил не так, как следует, и ни-

когда Нерон не владел им так же свободно, как всеми остальными звуками в обоих языках. Если могли возникнуть сомнения в его подлинности, то исключительно из-за этого неподатливого *th*. И вот наконец в это лето он овладел произношением. Надо было только приложить язык к зубам, и все получалось как надо, по всем правилам — этот сюсюкающий звук, нечто среднее между «т», «с» и «в». Теперь можно быть спокойным за те слова, которых он раньше старался избегать, — например, слова, означавшие по-гречески «море» или «смерть» — «*thalatta*» и «*thanatos*». «*Thalatta, thalatta*», — много раз повторял он, наслаждаясь звучанием слова. Десять тысяч воинов Ксенофонта, вернувшиеся из сердца Азии и увидевшие после полного опасностей пути родное море, восклицали, вероятно, с меньшим восторгом, чем он: «*Thalatta, thalatta!*»

Чудесное лето близилось к концу. И вот однажды царедворец Вардан в докладе своем сделал как бы мимоходом некое сообщение, способное нарушить покой императора. Римляне, сказал он, угрожают Великому царю Артабану войной, если он не перестанет навязывать им императора, которого они не желают. Царедворец Вардан долго думал, пока нашел эту формулировку, рассчитанную на то, что Нерон начнет расспрашивать о подробностях. Вардан намерен был в осторожных словах намекнуть Нерону, чтобы тот скрылся из Ктесифона. Артабан хотел оттянуть его выдачу и полагал, что, если Нерон скроется, ему удастся на некоторое время удерживать римлян от решительных шагов. Человеческие отношения непостоянны. Очень скоро они могут сложиться так, что иметь под руками своего Нерона окажется весьма кстати. Но царь не хотел нарушать буквы договора. Он строго-настрого наказал своему царедворцу, чтобы тот ни в коем случае не говорил о бегстве прямо. Наоборот, царедворцу Вардану предложено было выражаться туманно и деликатно, так, чтобы Нерон сам пришел к мысли о бегстве.

Вардан был для такого задания человеком подходящим. Он выбирал мягкие, туманные, почтительные выражения, но всякий, кто захотел бы проникнуть в тайный смысл этих слов, почуял бы, что положение становится угрожающим. Нерон понял, конечно, что Рим нажимает на Артабана и Артабан предлагает ему, Нерону,

бежать. Но он не пожелал серьезно отнестись к этому. Пусть Артабан ломает себе голову над тем, как выйти из затруднительного положения. У Нерона одна лишь обязанность — излучать свой «ореол», остальное его не касается. Это была дерзость со стороны Великого царя — намекнуть на то, что Нерону надо исчезнуть. Нерон даже и не помышляет о том, чтобы доставить царю это удовольствие.

Он мирно уснул в эту ночь. Во сне ему было видение. С лугов подземного царства поднялась и стала приближаться человеческая фигура; резкая, решительная, шла она по призрачным, бледным, туманным лугам, и с умилением, с нетерпением, с любопытством и радостью всматривавшийся в нее Нерон узнал свою Гайю. Она заговорила с ним так, как говорила всегда.

— Не делай глупостей, идиот! — прикрикнула она на него своим въедливым голосом. — Стоит на минуту оставить тебя одного, и ты сейчас же натворишь дел! Но теперь хватит. Вставай, дурень, и чтобы духу твоего здесь не было! Время не ждет. — Беги, улепетывай, — сказала она еще, как в свое время говорила ему в Риме и позже в Эдессе.

Говоря, она становилась все более призрачной; было странно и невероятно смешно смотреть, как эта крепкая, пышнотелая женщина истаивает в призрак, — но призрак толстый, дородный, с сочным и грубым, въедливым будничным голосом, повторяющим:

— Беги, улепетывай.

Ее речь тихо-тихо, нагло и угрожающе сопровождали звуки струнных инструментов и барабанов, и на самом деле Гайя говорила стихами:

Вещь докрутилась твоя,
Звезда закатилась твоя,
Будешь повешен!

Нерона не встревожило это видение, скорее развеселило. Она, значит, не превратилась в летучую мышь, а осталась прежней, славной Гайей, и худо ей не было оттого, что он послал ее в царство теней. Это обрадовало Нерона, и он не рассердился на Гайю за то, что она по-прежнему считает его маленьким человеком. Ума в подземном царстве, видно, людям не прибавляется. А предостережения Гайи его только рассмешили. Так

мало было сделано из того, что боги определили ему совершить; бесчисленное количество произнесенных речей, неисполненных ролей, непостроенных зданий ждало своего воплощения. Боги ни за что не допустят, чтобы погиб человек, которого они предназначили для свершения столь великих дел. Слова его Гайи: «Беги, улепетывай», — были попросту смешны.

Песня о горшечнице, вернувшаяся вместе с Гайей, была не столь забавна. В последнее время это насекомое оставило его в покое, досадно, что оно вернулось. Он вступил с песней в жестокий спор, он издевался над ней: «Звезда закатилась твоя», — какая ерунда... Много лет назад ему тоже говорили, что, мол, поздно уж теперь учиться правильно произносить «тэту»; если ребенком этого не усвоить, то выговорить как следует этот звук никогда не удастся. Ну, и что же? Выучился он произносить этот звук или нет? И, злорадствуя, звучно, чисто и красиво он бросал в ночь: «Thanatos, thanatos».

На этот раз царедворец Вардан очень сократил промежуток между посещениями, он был у Нерона уже на следующее утро. Снова заговорил о войне, которой римляне угрожают его господину и царю, если тот будет упорствовать и по-прежнему признавать Нерона. Вардан говорил вежливо, почтительно, но настойчивей вчерашнего. Нерон же не слышал того, чего не хотел слышать.

Еще через несколько дней явился посланный Великого царя и торжественно пригласил Нерона во дворец Артабана, где царь в присутствии двора желал сообщить Нерону нечто важное.

Это встревожило Нерона больше, чем донесения царедворца Вардана и предостережения Гайи. Ему вдруг стала ясна игра Артабана. Угроза войны с Римом — это лишь предлог. На самом деле Великий царь просто хочет избавиться от него, опасаясь, как бы «ореол» Нерона не затмил его собственное жалкое парфянское величие. Возможно, что Артабан предложит ему переселиться в более отдаленную резиденцию, в Сузы или еще куда-нибудь; возможно, он собирается сократить его двор или даже сплавить его в один из своих дворцов на крайнем Востоке, где он будет окружен темнокожими вместо цивилизованных людей. Когда какой-нибудь царь начинает завидовать «ореолу» другого, от него можно всего ожидать.

Нерон стал думать, как помешать Артабану осуществить свое намерение. Он нашел способ. Аудиенция произойдет в присутствии всего двора. Он произнесет перед всеми этими блестящими сановниками речь, которая заставит Артабана отказаться от своих низких планов, он напомним повелителю парфян в сдержанных и тем не менее неотразимых словах о долге гостеприимства.

Он тотчас же принялся за подготовку речи. Вернуть задумавшего злое дело царя на путь, предписываемый великим долгом гуманности. Это была трудная, но вдохновляющая задача, она по силам только Нерону. Он работал с увлечением. Писал, декламировал, отшлифовывал, делал заметки, исправлял. «Речь о гостеприимстве» становилась все совершенней. Если бы он сам решил устранить соперника и тот произнес бы такую речь, Нерон привлек бы его к себе на грудь, обнял бы и, расстроганный, попросил бы у него прощения и дружбы. В уединении своего парка, в пустом парадном зале он репетировал речь. Речь становилась все округленней, звучней, значительней, трогательней и грозней. Он чувствовал что-то вроде благодарности Артабану за то, что тот дает ему повод произнести такую речь.

И вот он стоит в тронном зале Ктесифонского дворца, празднично-возбужденный, но все же нервничая больше обычного. Древние персидские цари на фризе, опоясавшем зал, всадник Митра на мозаичном куполе будут слушать сегодня его мастерскую речь.

Занавес распахнулся, корона реяла над головой Великого царя. Речь Артабана была короткой.

Снова возникли, сказал он, сомнения в подлинности мужа, воззвавшего к его гостеприимству. Уже и раньше были поводы, которые давали пищу этим сомнениям. Боги не только допустили, чтобы муж, называвший себя Нероном, потерпел поражение, он, кроме того, бесславно удалился из Эдессы, своей резиденции. Эти аргументы, однако, были опровергнуты свидетельством Варрона, человека, который в свое время завоевал доверие и дружбу великого Вологеза. Теперь же Варрон исчез, быть может, удрученный тем, что не распознал личности мнимого Нерона, а вместе с Варроном исчезла и вера в подлинность этого Нерона. Западные люди заявляют решительно и единодушно, что они никогда не признают этого Нерона своим императором, и даже грозят Великому

царю войной, если он по-прежнему будет покровительствовать самозванцу. Все эти соображения вынуждают его препроводить человека, который называет себя Нероном, на границу своего царства. Дальнейшее он должен предоставить богам. Если этот человек действительно Нерон, боги явят тому доказательство.

Когда Нерон услышал первые слова Артабана, он обрадовался, что речь царя так суха и прозаична, — отличный фон для его собственного выступления. Но когда царь говорил, ему стало не по себе. То, что он приготовил, не есть ответ на доводы царя: его речь состоит лишь из рассуждений об этике, о гуманности. Это и был прежде всего вопрос гуманности — может ли царь отказать в защите ему, молящему о защите. Но Артабан, видимо, был глух к таким вещам. Он говорил исключительно о политике, об этой ничтожной политике, вопросы которой Нерон всегда предоставлял решать своим советникам, об этой низшего порядка дисциплине, которой царям не пристало обременять себя.

И вдруг — и сердце у Нерона замерло — ему пришло в голову: может быть, и в самом деле выдача его Риму всего лишь вопрос политики, может быть, Артабан живет в мире реальном, а он, Нерон, в мире грез. Он тотчас же отмахнулся от этой мысли. Нет, нет, этого не могло быть, это не так, не может быть, чтобы они говорили на разных языках. В конце концов, Артабан — царь по рождению, повелитель Востока, он обладает «ореолом» и не может не понять Нерона.

А если все-таки он не поймет его? Нет, Нерон не должен такими мыслями сбивать себя с толку. Поддавшись таким сомнениям, он может испортить свою речь. Он попросту не будет больше слушать того, что говорит Артабан, — всех этих «итак», «следовательно», «так как» и «потому что». Тут сплошная логика, противный, сухой рассудок, он же обратится прямо к сердцам собравшихся.

Он старался не слушать. Но против воли слух воспринимал слова Артабана, они проникали в мозг. Несколько реальных прозаических доводов ему все-таки следовало вплести в свою речь. Дион из Прусы, Квинтилиан — все они пользовались прозаическими тезисами, облекая их в пышные уборы риторики. Он досадовал, что не сделал этого. Стараясь не показать виду, он сле-

дл за лицами сановников. Царедворцы внимательно слушали речь царя, явно сочувствуя ему. Эти лица ему предстоит преобразить своей речью. Удастся ли ему?

Внезапно, точно озаренный молнией, он понял свое положение. Все эти царедворцы — сплошь недруги, а Великий царь Артабан — исконный его враг, и слова его — отравленные стрелы. Он же, Нерон, чистый и незлобивый, пришел в стан врагов, пришел без панциря, и теперь он погиб. Он сидел и внимательно слушал, но сердце его неистово билось и руки взмокли от пота.

Но тут царь кончил свою речь, слово было за Нероном.

«Я не знаю, — так строил он мысленно свою речь, — как мне обратиться к тебе, блистательный. Сказать ли мне: из праха смиренно возносится к тебе мой голос, о сын богов? Или я смею еще сказать: склони ко мне свой слух, о брат мой?»

Это было хорошее вступление, и он отлично отрепетировал смущенную улыбку, с которой следовало произнести эти первые фразы. В эффекте можно быть уверенным, нужно только сосредоточиться, и сейчас он начнет.

— Я не знаю, — произнес он. Но что это? Кто сказал эти слова? Неужели он? Из его ли горла выходит хриплый шепот, пропадающий в огромном тронном зале раньше, чем его услышит ближайший сосед? Он откашлялся, начал вторично, охваченный паническим страхом.

— Я не знаю, — сказал он. Но это было еще хуже, чем в первый раз, сплошное нечленораздельное урчание. Артабан затих на своем троне, слушая, вежливо ожидая. Царедворцы переглядывались, встревоженные. В третий раз он начал:

— Я не знаю. — Ни одного вятного звука не было, одно безобразное кудактанье.

Он стоял, как человек, вокруг которого рушится мир. В сердце и в голове звучала приготовленная несравненная речь. Он знал, что если бы удалось произнести ее, все эти сумрачные, враждебные лица вокруг засветились бы, сердце этого холодного, занятого лишь политикой царя, сердца всех парфян устремились бы к нему, весь народ парфянский взялся бы за оружие, чтобы защитить его. За все сорок пять лет его жизни всего два раза голос изменил ему, и именно сегодняшний день, именно этот решающий час избрали боги, чтобы нака-

зять его хрипотой и погубить его. В одно мгновение он из римского императора превратился в последнего, самого жалкого и смешного из смертных.

Он стоял, облаченный в царские одежды. Но под этими одеждами был бедный, преследуемый римскими властями, дрожащий за свою жизнь Теренций. И на лице человека на троне, и на лицах священнослужителей и сановников он читал то, что жужжало у него в голове, словно надоедливое насекомое:

Горшечнику место на улице Красной,
Он господина корчит напрасно.
Это опасно.

17. ТРЕХГЛАВЫЙ ПЕС

Артабан снарядил поезд, который по его приказу доставил Нерона к границе, чрезвычайно пышно, точно ехал какой-нибудь князь, а не пленник в сопровождении конвоя. Граница, где он был передан римским властям, шла по небольшому холму, и отсюда, с предпоследней в его жизни высоты, пока римские чиновники писали акт, подтверждающий его передачу, он смотрел на расстилавшийся внизу Евфрат, который недавно еще был его рекой, и на город, который меньше, чем год тому назад, восторженно встречал его.

Губернатор Атилий Руф не был жесток, но он считал необходимым как можно глубже унизить Теренция, чтобы никому не могло прийти в голову: а не Нерон ли это все-таки? Поэтому с Теренция тотчас же и на глазах у всех сорвали пышные одежды, заковали его в кандалы по рукам и по ногам, провели в грязных отрепьях самой длинной дорогой по улицам города, который забрасывал его насмешками и грязью, провожал плевками, и бросили, наконец, в подвалы крепости.

В этот день Теренций был еще довольно представителем с виду, между пятнами грязи просвечивала еще блекло-розовая кожа. Широкое лицо пока оставалось гладким и более или менее тщательно выбритым, многочисленные тумаки и шипки еще не испортили аккуратно завитых и припомаженных лучшими маслами, зачесанных на лоб локонов. Все происшедшее повергло его прежде всего в безмерное изумление и испуг. Дыра, в кото-

рую его бросили, была сырая, темная, кишмя кишела крысами. И все же он уснул после этого полного волнений дня, и, несомненно, эту первую ночь в неволе он провел лучше той, когда убили Нерона, или той, когда он лежал в храме Тараты, или той, когда он очутился в доме Иоанна.

Наутро к нему присоединили второго пленника, также в отрепьях, оборванного, худого, в рубцах и кровоподтеках — Кнопса. Маллук наконец, после долгих переговоров, выдал его, но путь Кнопса до римской границы был менее приятен, чем путь Теренция. Конвоиры со злым умыслом близко подпускали толпу, и Кнопс прибыл на римскую границу в сильно растерзанном виде. Его держали на скудном пайке, он страдал от голода, были раны; все же он не был особенно подавлен. Еще до того, как его увезли из Эдессы, он достоверно узнал, что Иалта благополучно бежала из города. Правда, это было все, что ему удалось узнать. Иалте давно уже полагалось родить, но об этом он не получил известия. Самое важное, однако, то, что она успела скрыться от этой сволочи. Маленький Клавдий Кнопс, наверно, давно уже увидел свет, и живется ему наверняка неплохо. Папаша Горион знает, куда Кнопс рассказывал свои деньги, а Горион не из тех людей, которые не сумеют эти деньги выволить. Голода и холода его сыночек, конечно, не узнает, он будет защищен надежным золотым панцирем. Его маленький Клавдий Кнопс пойдет в него, он поднимется высоко, выше креста, который будет последней вершиной в жизни самого Кнопса; сын его наплодит новых Кнопсов, людей его породы, хитрых, изворотливых, способных строить на глупости других свое благополучие. Кнопс не был храбрецом, он трепетал от страха перед тем, что ему предстояло. Но сознание, что все совершенное им и все предстоящие страдания — все это для блага его маленького наследника и сына, следовательно — для цели благородной, придавало ему силы, поддерживало в нем живость и склонность к злым остротам, проворно слетающим с языка.

В полумраке подземелья он узнал своего бывшего господина и императора раньше, чем тот его. Он дотаскился в своих цепях до Теренция, оглядел его, ощупал, насколько позволяли цепи, установил:

— Ну, Рыжебородый Малыш, с вами дело пока что

не так плохо. На вас, видимо, кое-что осталось. С тела вы еще не очень спали. Но, боюсь, надолго вам свои приятные формы сохранить не удастся. Много вам еще предстоит всякой всячины. И в конце концов ваши объемистые тела вам дорого обойдутся. Привяжут ли вас к кресту или пригвоздят — жирному труднее висеть, чем тощему. Жирному больше достается. Правда, у жирного нервы крепче.

Кнопс ткнул Теренция в живот своими цепями. Он был страшно зол на этого человека, которому так неслышанно везло и который своим идиотским бегством погубил и себя, и своих товарищей.

Теренций не ответил. Он страдал, правда, от голода, но еще больше от отсутствия ванны и парикмахера. Однако «ореол» его не покинул. Он высоко взлетел после первого своего падения, из пещер подземного города в пустыне он был снова вознесен на прежнюю высоту, переживет он и это падение. Грубая реальность близкого конца, представшая перед ним в резких, пискливых словах Кнопса, тотчас же преобразилась в его сознании в нечто более возвышенное. Он видел себя пригвожденным к кресту, но он не был обычным авантюристом, он был героем трагедии, которого сама судьба избрала своим врагом. И речи Кнопса не могли уязвить его.

Еще через день в подземелье ввели третьего гостя. Но капитан Требоний вошел иначе, чем Кнопс, — он вошел незакованный, статный, чистый, упитанный и по-прежнему полный злобного юмора. Он держал в руках Эдесскую цитадель до последней минуты. В сущности, он должен был бы, когда его взяли в плен, броситься из меч. Но капитан Требоний считал, что он не раз доказал свою храбрость и что офицер должен быть героем, а не дураком-стоиком. Он и не помышлял о том, чтобы в угоду злему гению подохнуть раньше положенного срока. Ему приходилось видеть в своей жизни удивительнейшие капризы судьбы, сражения, когда казалось, все неизбежно шло к гибели — и вдруг чудесный оборот событий в последнюю минуту приносил спасение. Тот не настоящий солдат, кто не верит в свое счастье, без этой веры ни один солдат не пошел бы в бой.

В данную минуту, однако, он был здесь, в темнице, и коротал время, оглушительно хохоча над своими товарищами по несчастью. Они лежали в цепях, жалкие, уни-

женные, он же, любимец армии, даже в неволе не потерял своей популярности, и обращение с ним было соответствующее. И правильно. Те двое, рабы, подонки, заслуживают, чтобы их вздернули на крест. Он же — свободнорожденный, у него, любимца армии, капитана Требония, есть свой дух-покровитель, и народ и армия попросту не потерпят, чтобы с ним расправились.

Сумерки подземелья наполнились громовыми раскатами его голоса, полнокровность капитана оживляла этот призрачный полумрак, его сильное дыхание, его запах побеждали близость потустороннего мира. Капитан гонял крыс и радушно, по-простецки, шутил со стражниками, переговариваясь с ними через стены. И потом снова, громко, фальшиво, жирным голосом пел песенку о горшечнике, в такт ударяя Нерона по плечу или по ляжкам или тыча его в живот. Подобно всему народу, и он попался на приманку этого поддельного императора, и, как весь народ, он мстил теперь за свое легкоеверие разоблаченному и свергнутому.

И Кнопсу он старался отплатить за то, что столько времени вынужден был относиться к нему, как к равному. У Кнопса же от присутствия бывшего приятеля и собутельника настроение поднялось. Хотя обращались с Требонием лучше, хотя Требоний мог безнаказанно дразнить и мучить его, Кнопс теперь даже больше, чем раньше, чувствовал свое превосходство. Куда этому чванливому дураку Требонию до него, он, Кнопс, видит вещи в их настоящем свете. Они оба погибнут, он и Требоний. Но от Требония, когда его распнут, ничего не останется, а Кнопс будет жить в своем маленьком сыночке. Значит, чья взяла?

Разумеется, умнее было бы чувства эти скрыть. Но Требоний уж очень большой наглец. Кнопс должен сбить с него спесь. И вот однажды, когда Требоний со всей присущей ему наглостью взялся за него, Кнопс не вытерпел.

— Не заблуждайся, старина, — начал он язвительно. — Твою фельдмаршальскую тушу точно так же выбросят на свалку, как и мою канцелярскую, и одни и те же псы будут обглаживать наши кости. Но тогда-то и обнаружится, кто из нас был умнее, — ты, который советовал мне дожидаться сенаторских дочек, приготовленных нам в Риме, или я, который уже сделал моей Иалте

сына. От тебя, капитан Требоний, ничего не останется. А я кое-что оставлю на земле: удачного сына, с крепким телом — от матери, хорошей головой — от отца и вдобавок с кучей золота.

Требоний сидел на своих нарах, слушал, соображал, ухмылялся. Он припомнил совершенно точно, что Кнопса арестовали, когда его Иалта еще не разрешилась от бремени. Требоний знал обычаи Востока, знал, что на Востоке арестованных лишают всякой возможности общения с внешним миром. И поэтому, помолчав, он коварно, со злобной мягкостью спросил Кнопса, получил ли он хорошие вести о Иалте и об их отпрыске. Кнопс промолчал, Требоний сразу понял, что у Кнопса никаких сведений нет. И он развязно и нагло стал над ним издеваться.

— Да, да, наш Кнопс — это голова. Тебе, наверное, боги во сне открыли, что вылезло из чрева твоей Иалты? Или ты по яйцу можешь сказать, что из него вылупится — петух или курица? Разве тебе не сказали, что твоя Иалта ошенилась девчонкой, жалкой, маленькой крысой, такой же щуплой, как папаша?

Кнопс убеждал себя, что капитан просто-напросто нагло врет. И все-таки его слова попали в цель. Всякий раз, когда Кнопсу приходило в голову, что Иалта может родить ему девочку, он отгонял от себя эту мысль. Он раскаивался в своей слабости, в том, что заговорил с Требонием. Надо держать язык за зубами. Не показывать этому подлому псу, как он уязвлен. Но он не в силах был сдержаться; робко, умоляюще прозвучал вопрос:

— Тебе что-нибудь точно известно, Требоний? Ты действительно что-нибудь знаешь? Скажи же, прошу тебя, Требоний.

Требоний злорадствовал. Он рассказывал стражникам о надеждах и опасениях Кнопса, и те день и ночь донимали заключенного солеными остротами насчет его потомства.

Теренций почти не замечал присутствия Кнопса и Требония. Когда его оставляли в покое, он сидел в своем углу, скорчившись, насколько позволяли цепи, и погружался в себя. Однажды, к удивлению Кнопса и Требония, он сказал очень вежливо:

— Вы оказали бы мне услугу, если бы не так шумели.

Он по-прежнему страдал от голода и еще больше от грязи; это, очевидно, входило в ту роль, которую определила ему судьба. Но уж безусловно не входила в эту роль тоска по Гайе, мучившая его день ото дня все сильнее. О, как он хотел бы, чтобы Гайя пришла к нему ночью, во сне, как он был бы благодарен ей за сердитые увещания и окрики! Он горевал по ней, призывал ее мысленно, чтобы она накормила, искупала бы его.

Проходили день за днем, не принося заключенным ничего нового. Наконец при свете факелов в камеру вошел человек, которому суждено было целиком заполнить собой последние дни заключенных, даже во сне не давая отдыха их слуху и зрению, — капитан Квадрат. На этого Квадрата губернатор Атилий, который хотел превратить закат Лже-Нерона в занятное зрелище для толпы, возложил казнь. Потому что капитан Квадрат славился своими забористыми шутками и слыл знатоком народной и солдатской души; его любили и армия и население, у него были все шансы стать преемником Требония.

Квадрат был невысокого роста, но широк в плечах и очень мускулист. Телом он был неимоверно волосат, на черепе же красовалась лысина, обведенная, словно венком, кустиками черных волос; причудливое впечатление производила эта голова с утиным носом, посаженная на короткую шею.

— Привет тебе, о всеблагой величайший император Нерон, — с такими словами капитан Квадрат предстал перед Теренцием.

Он сказал это бесцветным, флегматичным голосом, но при этом с такой силой шлепнул Теренция по задку, что тот со стоном отскочил. Кнопса и Требония капитан Квадрат приветствовал подобным же образом. По сравнению с его коварной, сухой веселостью шутки Кнопса были детской забавой, а Требоний рядом с благодушным соперником живо утратил свою бодрость.

Капитан Квадрат пожелал прежде всего получить представление, как он выразился, о физических возможностях своих «пансионеров», и с этой целью он заставил их проделать солдатские упражнения. Кнопс живо повиновался, прыгал и приседал по команде Квадрата. Нерон же, в сознании своего «ореола», и Требоний, в сознании своей силы, не слушали команды и упорно оказывали пассивное сопротивление. Флегматичного Квадрата

это радовало. У него были время и средства сломить это сопротивление. И он сломил их. Сначала — Теренция, потом — Требония. Кожа Нерона очень скоро потеряла свою гладкость, лицо заросло свалывшейся, бурой щетиной, и прозвище Рыжебородый Малыш теперь никак не подходило к нему. Требоний тоже быстро утерять свой мужественно-статный вид, и рыжие волосики, пушком покрывавшие его тело, приобрели грязный, блекло-желтый цвет. Вскоре все трое весили меньше, чем раньше двое из них.

Натешившись над заключенными в одиночку, капитан Квадрат принялся подготавливать зрелище для толпы, о котором говорил губернатор.

Однажды все трое выведены были во двор, где их дожидались люди с досками, рубанками и пилами.

— Вот, господин фельдмаршал, — сказал Квадрат, — ты и отпрыгал свое. Вы же, милейший секретарь, — обратился он к Кнопсу, — снова сможете показать свой не раз испытанный дар зажигать массы воодушевлением. А вы, ваше величество, — обратился капитан к Теренции, и голос его был все так же раздражающе медлителен и сух, — будете, несомненно, мне благодарны. Вы получите особенно приятную возможность показать своему народу ваше искусство.

И люди принялись пилить и строгать, они изготовили деревянные шейные колодки на всех троих, так что затылки забитых в колодки почти соприкасались, лица же их смотрели в разные стороны. Затем все трое пленников были посажены в повозку, прикованы к ней, на шеи им надели колодки, тела их скрывала как бы коробка из дерева и гипса, над которой возвышалась лишь трехликая голова. Обшивка имела форму туловища сидящей собаки; стенки этой коробки долго и тщательно обивали и оклеивали собачьими шкурами, пока все вместе не приняло вида фантастического и в то же время реального гигантского трехголового пса.

На эту счастливую идею Квадрата натолкнули слова о трехглавом псе ада, как называл Иоанн с Патмоса на процессе христиан триумвират Теренция, Требония и Кнопса.

Кто бы ни увидел этих троих людей, забитых в дощатую и гипсовую оболочку, всякий тотчас же понимал, что имелось здесь в виду. Стражники хлопали себя по

ляжкам, весь город шумно радовался, бурно приветствуя капитана Квадрата, которому пришла в голову эта блестящая идея.

«Трехглавый пес ада» пропутешествовал на своей повозке по всей стране — император, его маршал и его канцлер. Капитан избрал не прямой путь, он возил свою телегу с востока на запад, с севера на юг, через всю провинцию. За двадцать лет, со времени пышного проезда армянского царя Тиридата, который в сопровождении многих царей Востока направлялся с визитом к римскому императору, Сирия не видела более интересного зрелища. Огромные толпы шли за повозкой, это была невероятная потеха, многие считали, что мало посмотреть на трехглавого один раз, и отправлялись за ним в соседнее или даже более дальнее селение.

Прибытие трехглавого превращалось повсюду в народный праздник. Города предоставляли свои стадионы, цирки, самые большие площади для этого зрелища. И действительно, было на что смотреть.

Трехглавый пес капитана Квадрата очень отличался от того, каким рисовал его себе Иоанн с Патмоса, — он был гораздо потешней и гораздо страшней. Три лица, которые смотрели с туловища пса на толпу, были старческими лицами, грязными, сморщенными, жалкими, заросшими щетиной, при этом настолько затравленными, злыми и озверелыми, что многие, хотя трехглавый был скован и окружен стражниками, не отваживались приблизиться; дети испуганно цеплялись за платье матерей, женщины падали в истерике.

Разумеется, тот, кто подходил близко, не жалел об этом. Можно было не только ощупать эти лица, подергать их за бороды или дать затрещину. Капитан Квадрат позаботился о том, чтобы зрелище не надоедало своим однообразием. Он приказал просверлить в обшивке отверстия, и кто хотел, мог велеть трехглавому «дать лапку». И еще трехглавый должен был лаять, когда ему приказывали. Если он не повиновался, стражники пиками кололи его через отверстия.

— Гав-гав! — кричала толпа. — Полай, Рыжебородый Малыш! Полай, фельдмаршал! Дай лапку, водяных дел мастер. — Так называли Кнопса в память наводнения в Апамее.

Нерон почти все время молчал, его серые воспали-

ные глаза были по большей части закрыты, от него было мало толку. Самым потешным был капитан Требоний. Он обменивался крепкими словечками со своим соперником и тюремщиком Квадратом. Главной мишенью для его насмешек служили голос капитана и его утиный нос. Человек с таким трухлявым, сонным голосом, издевался Требоний, никогда в жизни не добьется настоящего авторитета у солдат, да и у баб тоже; ведь по голосу можно судить и еще кое о чем. Если вблизи находились дети, Требоний советовал им оседлать утиный нос Квадрата и покататься на нем верхом. Особенно возбуждался Требоний, когда ему, потехи ради, давали выпить. Тогда он принимался горланить, орал самым задорным и хорошеньким женщинам непристойности, предлагал переспать с трехглавым. Вокруг стояли визг и хохот.

Кнопс больше интересовался детьми. Он оглядывал их своими быстрыми глазками, очень пристально, главным образом маленьких, и с такой жадной нежностью, что матери с испугом уносили их. Он, по-видимому, не сердился на детей, даже когда они его дразнили, дергали за бороду, щипали и колотили его по лицу своими маленькими ручонками. Только однажды, когда какая-то женщина поднесла к его лицу своего смуглого трехлетнего мальчугана, чтобы тот положил ему в рот пирожок, он неожиданно укусил ребенка за палец.

Долгие часы, почти по целым дням, торчали эти трое в своей уродливой и потешной оболочке из дерева и гипса, скованные друг с другом. Если они чуть-чуть опускали напряженно вытянутые головы, колодки впивались им в шею. Веревки, цепи, обшивка из досок и гипса вынуждали их к неподвижности и больно оттягивали назад голову, шею и плечи.

Для зрителей это была единая голова, поднимающаяся над собачьим туловищем. Но у головы этой было три лица, в ней думали три мозга, и сидела она на трех телах. Три сообщника составляли одно целое с того самого мгновения, как они увидели друг друга, с этого мгновения они были и друзьями и недругами. Теперь же они были связаны тесней, чем кто-либо на свете, в постоянном соприкосновении, настолько сросшиеся, что каждый с содроганием ощущал естественные отправления остальных, и они стали друг другу невыносимы.

Один и тот же воздух вдыхали шесть ноздрей, одно

и то же проходило перед взглядами шести глаз, один и тот же шум слышали их шесть ушей. Их мозг неизбежно думал об одном и том же. «Долго ли еще?» — думали они, и: «Когда наконец мы будем в Антиохии?», и: «Проклятые скоты!» Но наряду с этим у каждого были свои мысли: «О, мой сыночек», — думал Кнопс. «О, моя Гайя», — думал Теренций. «О, мой дух-покровитель и мое счастье», — думал Требоний.

Они лаяли и давали лапки, они проклинали мир и самих себя, они плакали в бессильной ярости и утешали себя, они ненавидели друг друга, скрежетали от ненависти зубами, и все же каждый из них чувствовал, что нет в мире существ более близких ему, чем те двое, с которыми его соединяют внутреннее родство, удача, взлет, преступление, падение и грядущая гибель.

Но все это они чувствовали лишь в первые дни. Затем впали в апатию и только уколами, тумакami и подзатыльниками можно было их на время вернуть к жизни.

Они перестали также любить и ненавидеть друг друга. Они ждали лишь ночных часов, когда их освобождали от цепей.

Много недель подряд длилось это странствие по Сирии. День за днем Нерона и его сообщников высмеивали, оплевывали, забрасывали грязью. Они уже не чувствовали этого. Они не видели злорадных и ненавидящих лиц в толпе, едва ли замечали они даже лицо капитана Квадрата. Они не слышали криков и визгов сотен зрителей, вряд ли даже доходил до их слуха их собственный лай. Единственное, что они иногда еще воспринимали своим сознанием, была мелодия песенки о горшечнике, эта простая и все же изысканная мелодия с ее короткими, наглыми, циничными паузами, и однажды даже сам немзыкальный капитан Требоний, когда ему скомандовали залаять, вместо этого машинально загорланил хриплым голосом: «И ты повиснешь».

18. И ОНИ СЛУЖИЛИ РАЗУМУ

В Антиохии всех троих подкормили, чтобы во время казни они не выглядели слишком жалкими. Понадобилось две недели, пока они пришли в себя.

На рассвете дня казни их, по обычаю, выпороли в

зале суда, потом подвергли публичному осмеянию. Нерона обули в императорские котурны, его лохмотья вымазали на том месте, где полагалось быть пурпурной полосе, кровью из его ран, на шею ему повесили доску с надписью «Клавдий Нерон Цезарь Август», вместо смарагда вставили в глаз кусок стекла, вместо короны надели на голову ночной горшок и в таком виде усадили на высокий стул. Кнопсу, о тоске которого по сыночку все знали, стражники втиснули в руки соломенную куклу и посадили его в ноги у Нерона. Требонию же прикрепили к голой груди жестяные бляхи, изображавшие все его знаки отличия, и тоже посадили — по другую сторону — в ноги у Нерона. Когда все было устроено, стражники стали кричать:

— Привет тебе, о всеблагой величайший император Нерон!

Они очень веселились.

Место, где распинали преступников, расположено было в северной части города, довольно далеко от зала суда; это был голый холм, служивший свалкой; назывался он Лисья гора. Их повели по богатейшей главной улице, с ее колоннадами. Улица была унижена народом; люди стояли на всех крышах и выступах домов, стремясь увидеть Нерона и его сообщников, поглядеть, как, истерзанные бичеванием и издевательствами, вымазанные кровью, они тащат на Лисью гору доски, предназначенные для поперечин их крестов.

Был ясный день начала октября, не знойный, но все трое жестоко страдали от жары и жажды. Хорошему ходоку до Лисьей горы был добрый час пути; те же, кто должен был тащить на себе свои кресты, шли три часа. Кнопс упал еще в черте города, вслед за ним через короткое время упал Теренций; их подняли ударами и пинками и погнали дальше. Толпа вокруг ревела от восторга и пела песенку о горшечнике.

В этот час, когда «тварь» совершала свой последний путь, Варрон был под далекими восточными небесами. Было девять часов утра, но там, где он находился, солнце поднялось уже на полдень. Он присел отдохнуть на краю пыльной дороги, в тени дерева, и принялся за еду. Обед его состоял из чашки риса с кусочками жесткой баранины. Он ел с аппетитом. Он доволен был своей жизнью. Он увидел немало нового, и еще много нового

ему предстояло изведать. Дорога, на краю которой он сидел, была оживленной, и он никуда не торопился. Он не спеша поел и долго еще не трогался с места. Прохожие говорили на чужом, трудном языке, он улавливал лишь обрывки слов и понимал из услышанного лишь малую часть. Все же звуки эти давали ему материал для размышлений. Его привыкший к методическому мышлению ум систематизировал слова, размещал их по категориям. Он думал о том, как непривычное звучание слова меняет и его смысл, и ни одна его мысль не возвращалась к прошлому в этот час, когда в Антиохии под его «экспериментом» подводилась итоговая черта.

Но если бы он и знал, если бы он и задумался над тем, что вот в эти минуты его Нерона распинают на кресте, он в крайнем случае с удовлетворением констатировал бы, что судьба заставляет менее ценного и менее виновного расплачиваться за проигрыш более ценного и более виновного человека и, следовательно, судьба эта в высшем смысле справедлива.

От этой иронии игрока был далек царь Филипп, вспоминавший в этот час о Теренции в своей Самосате и глубоко потрясенный. Он бродил по красивым комнатам библиотеки: его обуревали смятенные мысли и чувства... Ему не следовало поддаваться на уговоры Варрона. Он не рожден бунтарем. Он не знает, плохо или хорошо то, что произошло; кончилось все, во всяком случае, иначе, чем Филипп ожидал. Несмотря на усилия Артабана, губернатор Атилий Руф еще больше ограничил суверенитет Коммагены. Может быть, это и хорошо для Филиппа. Действовать — это низко, благо только в созерцании. В глубине души Филипп призывал день, когда грубый, рожденный для господства Рим окончательно лишит его короны, и он сможет свободно отдаться своим мыслям и грезам, своим постройкам и книгам.

И царь Маллук думал в этот час о Теренции. Ему признание Нерона принесло больше пользы. Верховный жрец Шарбиль проявил себя в нелегких переговорах с Римом стойким и гибким государственным мужем, и Эдесса при активном содействии Артабана вышла из перестройки Месопотамии более сильной и независимой, чем прежде. Маллук слушал лепет фонтана и думал о том, какой прекрасный, умиротворяющий конец получила сказка о горшечнике, которого звездные боги на вре-

мя сделали императором. Эдесса расширяла свои владения, а этот Теренций окончил земное существование, не обременив совести царя нарушением святости гостеприимства.

Между тем Нерон и его сообщники продолжали свой нелегкий путь. У выхода из города, там, где начинался подъем на Лисью гору, стояли женщины и протягивали всем троем сосуды с болеутоляющим, наркотическим напитком. Тот, кто поил осужденных этим питьем, должен был по закону заявить о своем намерении и во всеуслышание назвать себя. Женщины же сказали:

— Этот напиток мы подаем вам от имени Марции, дочери Теренция Варрона.

Наконец они взошли на Лисью гору. По всему склону холма, от подножия до вершины, голова к голове, стояла густая толпа. Капитан Квадрат долго думал, пригвоздить ли троих к крестам или привязать. Если пригвоздить, то мученья будут сильнее, но короче: заражение крови ускоряло смерть. Если же человека привязывали к кресту, то случалось, что он жил и два и три дня. Квадрат решил в конце концов привязать своих «пансионеров». Солдаты сорвали отрепья, прикрывавшие их тела, привязали их раскинутые руки к поперечинам, а доски прибили к вертикальному столбу. Жадно вытягивали шеи тысячи людей, с щекоцущим чувством, боясь что-либо упустить; они разразились оглушительными криками, когда наконец Нерон, его канцлер и его фельдмаршал аккуратно повисли на своих крестах, как предсказывала песенка о горшечнике. Солдаты же, по обычаю, разыграли в кости платье осужденных, и многие из толпы обступили выигравших, чтобы выторговать остатки одежды Нерона, — одни из страсти к коллекционированию, другие — потехи ради или из суеверия, а может быть, и из чувства благоговения: вдруг распятый и в самом деле был императором Нероном — кто мог знать?

И вот все трое висят. С Лисьей горы открывался красивый вид. Распятые видели у своих ног реку Оронт с ее островами, многочисленные дворцы, портики, памятники, виллы и сады прекрасной Антиохии, в которую они еще так недавно надеялись вступить триумфаторами. Теперь только Требоний вспоминал об этой надежде; он и на кресте не потерял ее. Между тем как Нерон и Кнопс едва реагировали на насмешки, которыми осыпали их

солдаты и толпа, Требоний не давал спуска своему сопернику, капитану Квадрату, обмениваясь с ним солеными ругательствами. Требоний был наделен могучей волей к жизни, он попросту не хотел верить, что должен умереть. Он считал хорошим знаком, что его привязали, а не пригвоздили ко кресту: выходит, жить ему остается дольше. Насмешливая надпись, которую они прикрепили к его столбу — «фельдмаршал Требоний», — его не задесвала: он еще оправдывает эту надпись; а жестяные медали, которые они пришили ему на грудь, жгли и зудели меньше, когда он думал о том, что он и в третий раз заслужит Стенной венец. Нет, они его не одолеют. Вися на кресте, он вытягивал шею и устремлял взгляд к подножию Лисьей горы, высматривая, не спешит ли наконец вестник с приказом снять по требованию армии с креста любимого капитана.

Солнце поднялось. Наркотический напиток перестал действовать, и вскоре после того, как их повесили, все трое почувствовали оцепенение и судороги в теле, хорошо знакомые им со времени трехглавого пса. С невероятной быстротой росли их мучения. Первым закрыл глаза и уронил голову набок Нерон, затем — Кнопс, и последним — Требоний. Так висели они с белыми, пересохшими губами, отваливающимися челюстями, вымазанные кровью, бесчувственные. Мухи облепили беззащитных. Ноги посинели, все тело зудело невыносимо, мускулы сводило судорогами, разрывавшими нервы, мозг раскалывался. От жажды вспухли небо и язык. Время от времени они теряли сознание, но лишь ненадолго.

В толпе бились об заклад, кто из троих первым испустит дух и подохнут ли они еще до захода солнца. Большинство полагало, что Теренций и Кнопс не переживут и дня, не то что здоровяк Требоний. То тот, то другой из толпы то и дело пытались вызвать их на какую-нибудь реплику. Требоний еще иногда откликался, остальные же, к всеобщей досаде, оставались немые.

Солнце поднялось, и солнце стало спускаться, а трое висели, привязанные веревками, уронив набок головы с отвалившимися челюстями, становясь все недвижимее. Когда же солнце приблизилось к горизонту, по телам распятых вновь пробежал трепет, вновь затеплилась жизнь в их костенеющих телах. Опытный капитан Квадрат ожидал этого. Чтобы подбодрить их еще, он велел

протянуть распятым надетую на длинный шест, пропитанную водой с вином губку. Солдаты подносили губку сначала ко рту, чтобы умиравшие могли проглотить капли освежающей влаги, затем вытирали этой губкой лицо.

Нерон пососал губку, голова его дернулась. Эта голова объята была пламенем. Под действием живительной губки он понял, что означает это пламя. Погибнуть в нем, сохраняя ясное сознание, — в этом состоял последний высокий долг императора.

Увидев, как жадно Теренций сосет влажную губку, солдаты отняли ее, поднесли снова, отняли опять. Для них это была забава, для Нерона же это было падением от восторга к муке — новым взлетом, новым падением. Он не должен забывать о своей задаче. Он должен пройти сквозь пламя, он должен проглотить солнце. Они хотят помешать ему, но он все-таки добьется своего. Солнце опустилось уже очень низко. Он уже проглотил большую часть его, как подобало Нерону. Если они еще раз поднесут ему губку, то ему хватит сил, он проглотит все солнце.

Но они не поднесли ему губки.

«Губку», — хотел он сказать. И еще: «Я — император». Он открыл рот. Но слова выговорились другие, и он был доволен, что они другие: ибо эти другие слова он очень любил, это были его слова. Он думал, что произносит их очень громко, но стоявшие внизу ничего, кроме слабого стога, не слышали. Надо было очень близко поднести ухо к губам Нерона, чтобы услышать эти слова. Но тогда можно было бы разобрать два слова, которые очень красиво выговаривал Нерон почти в экстазе. Это были слова «*thanatos*» и «*thalatta*» — греческие слова, обозначающие «смерть» и «море», и так как мечта и ее осуществление слились для него воедино, то, вероятно, и оба слова спаялись в одно понятие. «*Thanatos*» — вздыхал он, и — «*thalatta*» — и так хорошо выучил он заданный урок, что даже в предсмертные часы выговаривал звук *th* по всем правилам.

Столь же, сколь тих был Нерон, стал шумлив капитан Требоний, когда ему ко рту поднесли влажную губку. К общей радости, он сызнова во весь голос начал проклинать все и вся, он поносил зрителей, солдат, своих сообщников, висевших рядом на крестах. Стражники

находили, что это настоящий парень, слава его в армии вполне им заслужена. Теперь уж наверняка можно сказать, что он продержится дольше всех, что он переживет ночь, и кто утверждает обратное, тот может отправляться восвояси, тот проиграл спор.

Больше всего досталось от Требония его сопернику Квадрату.

— Солдаты, — крикнул он стражникам, — если вам придется взбираться на стены осажденного города и этот Квадрат подаст вам команду своим ржавым, как старое мельничное колесо, голосом, вы же с места не сдвинетесь от хохота, верно, а?

Квадрат отозвался своим обычным сухим, бесцветным голосом:

— Валяй, валяй, старина Требоний! Выпусти побольше желчи, прежде чем подохнуть, чтобы собакам не было горько, когда они на свалке будут жрать твои потроха!

Требоний напряг волю. С большим усилием он собрал всю слюну, какую мог насосать в своем высохшем рту, нацелился и со вкусом, метко плюнул Квадрату на самую середину лысины. Толпа взвыла от восторга, забила в ладоши. Даже солдаты смеялись, глядя, как Квадрат вытирает лысину. Квадрат сам был доволен, что Требоний оживил зрелище казни, он понимал шутки, даже если их и отпустили на его счет.

Он не обозлился на Требония.

Среди общего веселья, однако, большая голова Требония неожиданно поникла, Требоний замолк, застыл в неподвижности.

Квадрат был разочарован. Неужели Требоний кончился? Капитан велел пощекотать Требония копьём. Требоний не шевелился. Он приказал переломать ему ноги; ничто не помогало — Требоний и в самом деле испустил дух. Популярный капитан, который так мощно, не зная никаких преград, шагал по земле, оказался слабее щуплого Кнопса и размазни Нерона и обманул тех, кто ставил на него в споре. Квадрат о смерти своего соперника сожалел по многим соображениям. Прежде всего Квадрат, несмотря ни на что, питал к нему товарищеские чувства и высоко ценил его, а кроме того, он надеялся получить от казни своего соперника больше удовольствия.

Наступила ночь. На небе светил лишь узкий серп луны, и тот был на закате. Капитан Квадрат приказал зажечь факелы. Его удручало, что Требоний обманул его ожидания. Может быть, удастся раззадорить Кнопса, чтобы он отпустил одно из своих знаменитых словечек. Он велел поднести еще раз ко рту Кнопса губку.

Но и Кнопс разочаровал его, и Кнопс замолк. Правда, в голове его еще копошились всякие мысли, но вряд ли мысли эти доставили бы удовольствие Квадрату и другим, если бы Кнопс даже высказал их во всеуслышание. «Уже ночь, — думал Кнопс, — а я все еще не умер. Просто гнусно, какая сила и цепкость в таком слабом теле. Но это и хорошо. Мой маленький Клавдий Кнопс будет сильным мужчиной. Где ты, сыночек мой, и существуешь ли ты вообще? Если бы я мог увидеть тебя, я тотчас же умер бы с миром».

И вдруг его охватила ненависть, гнев против Требония, который отнял у него твердую веру в существование сына и наследника. С неимоверными усилиями он попытался повернуть облепленную мухами голову в ту сторону, где висел Требоний, чтобы излить на него свою ярость, свое негодование. Но его шейные мускулы были слишком слабы, язык, зубы и губы не повиновались ему, только землисто-зеленое лицо, поросшее страшной щетиной, несколько раз дрогнуло самым жалким образом.

Неужели это конец, неужели бессильный гнев против Требония — последняя вспышка его сознания? Внезапно ночь огласилась зовом, не громким, но очень ясным и внятным:

— Мир тебе, Кнопс. Умри с миром. У тебя родился сын, который будет помнить о тебе, здоровый, живой.

Лицо Кнопса больше не дрогнуло, и никто не знал, достиг ли этот голос его сознания: ибо, когда капитан Квадрат велел переломать ему ноги, оказалось, что и он мертв. Но если существовал в мире голос, который способен был проникнуть напоследок в его сердце и сознание, то это был только этот голос, звучный, хорошо поставленный голос Иоанна с Патмоса.

Да, Иоанн с Патмоса покинул Эдессу и прибыл в Антиохию, чтобы видеть смерть Теренция и его сообщников; и вон он сидит на вершине Лисьей горы, прямо на земле, и смотрит на кресты. Весь день он просидел здесь, он все слышал и все видел. Многие узнавали его и заго-

варивали с ним, но он никому не отвечал. Он молчал все эти долгие часы; только Кнопсу он крикнул несколько живых утешительных слов.

Была ночь, и, так как споры насчет того, кто умрет первым, а кто последним, решились, большинство зрителей разошлось. Факелы угасали, луна закатилась. Квадрат и стражники расположились прямо на земле, бражничали, играли в кости и тупо смотрели, как умирает Теренций.

Иоанн, глядя, как бьется на кресте Теренций, как он призывает смерть, испытывал одновременно и радость и сострадание. Стало холодно, Иоанн продрог; он плотнее завернулся в плащ, съежился, но не ушел. Он хотел видеть конец этого жалкого Теренция, он хотел впитать в себя картину его смерти, не упустив ничего. Он чувствовал, что это поможет ему постичь мучительный, глубочайший вопрос: откуда исходит страдание и зло и зачем существует оно в мире? Если он хочет доподлинно запечатлеть в словах откровение, полученное им, благую весть, услышанную им, он должен неотступно смотреть на смерть этого Теренция.

Потому что и смерть этого жулика — часть вселенских страстей.

Не богохульство ли то, что он думает сейчас? Нет, все это тоже принадлежит откровению.

Ясно увидел Иоанн, что и он человек «Века пятой печати», проклятый и благословенный, обреченный жить и быть мертвецом в одно и то же время, и пятая печать, до сих пор закрытая для него, раскрылась ему. И эта жалкая обезьяна Нерона, — гласило откровение, — она также служила конечной победе разума, его возвышение, его падение и страсти также приближали царство добра.

Подобно тому как один человек должен испытать немало зла, чтобы стать воистину добрым, так и человечеству необходимо пройти через царство зла, чтобы подняться в царство добра. Без Сатаны, без Антихриста немислим Христос, без тысячелетнего царства греха, без кары за грехи не может осуществиться обетованное спасение. Потому и царство Нерона и его обезьяны неизбежно и полно смысла.

И открылся Иоанну смысл загадочного и жуткого завета иудейских учителей: «Да послужишь ты господу и дурными твоими помыслами». Он постиг, что и дурной

помысел существует лишь для того, чтобы помочь разуму и добру.

Те, что стояли за этим горемыкой Теренцием, хотели объединить обе половины мира ради своих низких, ничтожных целей. Но все, что осталось от них и от их жалкого орудия, — это идея объединения, не зло, но ожидание мессии. В конечном счете, если взглянуть с высоты, безумие одного служит лишь разуму, который движет времена.

Без тьмы не было бы понятия о свете. Для того чтобы свет осознал себя, он должен иметь перед собою свою противоположность — тьму.

В уме Иоанна складывались слова благой вести, которую он призван принести миру, он отыскал ее первые фразы: «В начале было Слово, Дух святой, Разум. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

Теренций жил еще всю ночь. Только когда забрезжил рассвет, умер Максим Теренций, бывший для многих миллионов людей много лет подряд императором Нероном.

За известную плату разрешалось приобрести тела казненных и похоронить их. По некоторым источникам, труп Теренция был якобы выкуплен за установленную сумму у римских властей, снят с креста, обмыт и сожжен. Урна же отправлена в Рим.

Достоверно известно, что Клавдия Акте в своем поместье на Аппиевой дороге, в Риме, где стояла урна с прахом Нерона, установила вторую урну, которую хранила с почетом до конца своей жизни, — урну с прахом неизвестного, без надписи.

Сведения о Лже-Нероне можно найти у Тацита, Светония, Диона Кассия, Зонары и Ксифилина, а кроме того, в Апокалипсисе Иоанна и в четвертой из Сивиллинских книг.

ИСПАНСКАЯ
БАЛЛАДА

Р О М А Н

Перевод
И. КЛСАТКИНОЙ и И. ТАТАРИНОВОЙ

Перевод стихов
Л Ъ В А Г И Н З Б У Р Г А

Посвящается Марте и Хильде

Часть первая

Король воспылал любовью к еврейке, прозванной Фермоза, Красавица, и забыл свою жену.

*Альфонсо Мудрый,
«Crónica general» (около 1270 года)*

И отправился в Толедо
Дон Альфонсо с королевой,
Со своей красивой, юной
Королевой. Но известно,
Что любовь сбивает с толку,
Ослепляет. И влюбился
Он в прекрасную еврейку
По прозванию Фермоза.
Да, звалась она Прекрасной,
И недаром. И вот с ней-то
Позабыл король Альфонсо
Королеву.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

рошло восемьдесят лет после смерти пророка Магомета, и созданное мусульманами государство стало мировой державой, протянувшейся от границ Индии через Азию и Африку вдоль южного берега Средиземного моря до Атлантического океана. На восьмидесятом году своего победного шествия мусульмане переправились через узкий западный пролив Средиземного моря в «Андалус», в Испанию, разорили государство, основанное триста лет тому назад христианами-вестготами, и в своем мощном движении вперед заполнили весь полуостров до самых Пиренеев.

Новые властители принесли с собой высокую культуру и превратили Испанию в самую прекрасную, благоустроенную и населенную страну в Европе. По планам, разработанным опытными зодчими и дальновидным

строительным ведомством, создавались большие великолепные города, каких эта часть света не знала со времен римлян. Кордова, резиденция испанского халифа, была признанной столицей западного мира.

Мусульмане возродили пришедшее в упадок сельское хозяйство и, создав мудрую систему орошения, добились небывалых урожаев. Они усовершенствовали горное дело, применив новую, высокоразвитую технику. Их ткачи славилась своими драгоценными коврами и тонкими сукнами, их столяры и ваятели — искусной деревянной резьбой, их скорняки — выделкой всякого рода мехов. Их кузнецы с непревзойденным мастерством изготавливали все нужное для мирного обихода и для военных целей. Мечи, шпаги, кинжалы, выкованные их мастерами, были острее и красивее, чем у немусульманских народов, доспехи — крепче, орудия — дальнобойнее, об их тайном оружии весь христианский мир говорил с опаской. Они придумали еще и другое: грозное, смертоносное взрывчатое соединение — так называемый жидкий огонь.

Их корабли под управлением испытанных математиков и астрономов ходили быстро и уверенно, и испанские мусульмане могли вести широкую торговлю и насыщать свои рынки товарами исламской мировой державы.

Искусства и науки никогда раньше не знали такого расцвета под небом Испании. В убранстве домов, отделанных на особый, величественный лад, роскошь сочеталась с изяществом. Искусно построенная система образования с широкой сетью школ давала каждому возможность получить знания. В городе Кордове было три тысячи школ, в каждом крупном городе был свой университет, такие богатые библиотеки мир знал только в эпоху расцвета эллинской Александрии. Философы расширили пределы Корана, перевели и истолковали творения знаменитых греческих мудрецов, по-своему переосмыслив их. Пестрое, яркое искусство сказочников открыло доселе неведомые просторы фантазии. Талантливые писатели довели до совершенства богатый и звучный арабский язык, и теперь на нем можно было передать тончайшие оттенки чувства.

К покоренным мусульмане были милостивы. Для своих христиан они перевели на арабский язык Еванге-

лие. Многочисленным евреям, бесправным при христианах-вестготах, они дали гражданские права. Да, под властью ислама испанским евреям жилось так привольно и хорошо, как не жилось никогда после крушения их собственного царства. Евреи поставляли халифам министров и врачей, основывали мануфактуры, вели широкую торговлю, посылали свои корабли во все семь морей. Не забывая своей еврейской письменности, они разрабатывали философские системы на арабском языке, переводили Аристотеля и сочетали его учение с учением их собственной Великой Книги и с доктринами прославленной арабской мудрости. Они создали свободную, смелую критику Библии. Они возродили еврейскую поэзию.

Больше трех столетий длилось такое процветание. Затем налетела грозная буря и разметала все.

Когда мусульмане покорили полуостров, разбитые части вестготов-христиан укрылись в северной гористой части Испании, они основали в этих малодоступных местах небольшие независимые графства и из поколения в поколение продолжали вести войну с мусульманами, разбойничью войну, герилью. Долгое время они сражались одни. Но затем папа римский объявил крестовый поход, знаменитые проповедники в пламенных речах призывали верующих изгнать мусульман из земель, отнятых у последователей Христа. И тогда отовсюду стали собираться крестоносцы, пришли они и к воинственным потомкам прежних христианских властителей Испании. Почти четыре столетия ждали эти последние вестготы, и вот наконец они устремились на юг. Изнеженные, утонченные мусульмане не могли устоять против их дикого натиска. Спустя несколько десятилетий христиане отвоевали всю северную половину полуострова до реки Тахо.

Мусульмане, все сильнее теснимые христианскими войсками, обратились за помощью к своим африканским единоверцам, диким, фанатически преданным исламу воинам, в их числе и к тем, что жили в огромной южной пустыне — Сахаре. Африканские мусульмане остановили продвижение христиан. Но они изгнали также и образованных, свободомыслящих мусульманских правителей, до тех пор царствовавших в Андалусии. Им была чужда веротерпимость. Африканский халиф Юсуф захватил власть и над Андалусией. Чтоб очистить страну от не-

верия, он призвал представителей иудейства в свою ставку в Лусену и сказал им так: «Во имя милосердного бога. Пророк обещал вашим отцам веротерпимость в землях, подвластных правоверным, но при одном условии, которое начертано в древних книгах. Если ваш мессия не явится в течение полтысячелетия, вы — на это дали согласие ваши отцы — признаете Магомета величайшим пророком среди пророков, затмившим ваших избранников божиих. Пятьсот лет истекло. Итак, выполните договор, признайте пророка, перейдите в ислам! Или покиньте мою Андалусию!»

Многие евреи ушли из Андалусии, хотя им и не было разрешено брать с собой имущество; большинство ушло в северную Испанию, ибо для восстановления разоренного войной края христиане, вновь воцарившиеся там, нуждались в евреях, в их превосходной хозяйственной сметке, в их прилежании к ремеслам, в их разнообразных знаниях. Они предоставили евреям гражданские права, отнятые у тех отцами теперешних властителей Испании, и, кроме того, даровали многие привилегии.

Но были и такие евреи, что остались в мусульманской Испании и признали Аллаха. Они рассчитывали спасти таким путем свое состояние, а позднее, при более благоприятных обстоятельствах, переселиться на чужбину и снова перейти в прежнюю веру. Но жизнь на родине была сладостна, жизнь в прекрасной стране Андалусии была сладостна, они медлили с переселением. А когда после смерти халифа Юсуфа воцарился менее суровый государь, они мало-помалу и совсем перестали думать о переселении. Правда, всем неверным по-прежнему запрещалось жить в Андалусии, но в доказательство своей приверженности к исламу достаточно было показываться время от времени в мечети и пять раз в день произносить: «Нет бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его». Отрекшиеся от веры отцов евреи могли тайно соблюдать свои обряды, и в очищенной от евреев Андалусии были скрытые еврейские молитвенные дома.

Но они, эти тайные евреи, знали: их тайна известна очень многим и, если вспыхнет новая война, ересь их станет явной. Они знали: если вспыхнет новая священная война, они погибнут. И когда они, как предписывал им их закон, ежедневно молились о сохранении мира, молитву эту творили не только их уста.

Опустившись на ступени разрушенного фонтана во внутреннем дворе, Ибрагим почувствовал, как он устал. Уже целый час он бродит по этому обветшалому дому.

А ведь ему действительно нельзя терять время. Вот уже десять дней, как он в Толедо, советники короля вправе требовать от него ответа — берет он на себя обязанности главного откупщика налогов или нет.

Купец Ибрагим из мусульманского Севильского королевства уже не раз вел дела с христианскими правителями Испании, но за такое грандиозное предприятие он еще никогда не брался. В течение многих лет финансы Кастильского королевства были в плохом состоянии, а после того, как король Альфонсо — с тех пор прошло уже пятнадцать месяцев — предпринял свой легкомысленный поход против Севильи и потерпел поражение, его казна пришла в полный упадок. Дону Альфонсо нужны были деньги, много денег, и немедленно.

Севильский купец Ибрагим был богат. У него были корабли, поместья и кредит во многих городах ислама и в торговых центрах Италии и Фландрии. Но в это кастильское предприятие, если он за него возьмется, придется вложить весь свой капитал, и даже самый дальновидный человек не может предвидеть — преодолее ли Кастилия ту разруху, которая надвинется на нее в ближайшие годы.

Король Альфонсо, со своей стороны, предлагал взамен огромные блага. Ибрагиму отдавали на откуп налоги и пошлины, а также доходы с горных рудников, и он был уверен, что раздобудь он нужные деньги, и он выговорит себе еще более благоприятные условия — в его ведении окажутся все доходы королевства. Правда, с тех пор, как христиане отвоевали страну у мусульман, торговля и ремесла пришли в упадок; но Кастилия — самое большое из испанских государств — страна плодородная, в ее недрах скрыты большие богатства, и Ибрагим верил, что сумеет снова поднять этот край на прежнюю высоту.

Но руководить таким огромным делом издалека нельзя: придется на месте следить за его выполнением, придется покинуть мусульманскую Севилью и переселиться сюда, в христианский Толедо.

Ему сейчас уже пятьдесят пять лет. Он достиг всего, чего желал. Человеку в его возрасте и столь преуспев-

шему не следует даже помышлять о таком сомнительном предприятии.

Ибрагим сидел, подперев голову, на разрушенных ступенях давно иссякшего фонтана, и вдруг он ясно почувствовал: даже если бы он наперед знал, какое это неверное предприятие, он все равно переселился бы в Толедо, сюда, в этот дом.

Его манил сюда именно этот жалкий, обветшалый дом.

Давние, необычные узы связывали его с этим домом. Он, Ибрагим, крупный делец в гордой Севилье, друг и советчик эмира, еще в юности признал пророка Магомета. Но родился он не мусульманином, а евреем, и этот дом, кастильо де Кастро, принадлежал все время, пока мусульмане царили в Толедо, его отцам и дедам, роду Ибн Эзра. Но когда — тому теперь уже сто лет — король Альфонсо, шестой этого имени, отнял город у мусульман, бароны де Кастро захватили дом Ибн Эзра. Много раз бывал Ибрагим в Толедо, каждый раз с вожделением смотрел он на мрачные наружные стены замка. Теперь, когда король изгнал баронов де Кастро из Толедо и отнял у них этот дом, он, Ибрагим, может наконец войти внутрь и решить, следует ли ему вернуть себе то, что издавна принадлежало его отцам и дедам.

Зорко вглядываясь во все жадными глазами, неторопливым шагом прошел он по многим лестницам и по многим залам, покоям, коридорам, дворам. Пустое, некрасивое здание, скорее крепость, а не дворец. Снаружи, верно, здание выглядело так же и тогда, когда в нем жили отцы и деды Ибрагима — Ибн Эзры. Но внутри они, конечно, обставили дом удобно, согласно арабскому обиходу, а дворы превратили в тенистые сады. Очень заманчиво восстановить дом отцов и сделать из неуклюжего, пришедшего в упадок кастильо де Кастро красивый, изящный кастильо Ибн Эзра.

Что за безумные планы! В Севилье он король среди купечества и желанный гость при дворе эмира наряду с поэтами, художниками, учеными из всех арабских стран. Там ему дышится так привольно, и его любимым детям — дочери Рехии и сыну Ахмету — тоже. Ведь это же грех и безумие — даже мысленно, в шутку, променять благородную, утонченную Севилью на варварский Толедо!

Нет, это не безумие и, уж конечно, не грех.

Род Ибн Эзра, самый гордый из всех иудейских родов полуострова, за последние сто лет не раз подвергался превратностям судьбы. Гонения, которые претерпели евреи после вторжения мавра в Андалусию, коснулись и Ибрагима, тогда еще мальчика, в ту пору его звали Иегуда Ибн Эзра. Семья Ибн Эзра, как и остальные евреи Севильского королевства, бежала в северную, христианскую Испанию. А он, подросток, выполняя волю семьи, остался и принял ислам; с ним дружил сын эмира Абдулла, и родители надеялись, что так им удастся спасти часть своих богатств. Когда Абдулла вступил на престол, он вернул Ибрагиму его состояние. Эмир знал, что его друг в душе привержен старой вере, и другие тоже знали, но смотрели на это сквозь пальцы. Теперь же назревала новая война христиан против правоверных, а во время священной войны эмир Абдулла не сможет защитить еретика Ибрагима. Ему придется бежать в христианскую Испанию, как бежали его отцы, нищим, бросив все нажитое. Не разумнее ли в таком случае уже сейчас, пока он богат и знатен, по доброй воле переселиться в Толедо?

Ведь если он захочет, он и здесь, в Толедо, будет пользоваться тем же почетом, что и в Севилье. Стоило ему только намекнуть, и ему сейчас же посулили должность Ибн Шошана, умершего три года назад еврея — министра финансов. Без всякого сомнения, здесь, в Толедо, он сможет получить любую должность, даже если открыто вернется к иудейской вере.

Сквозь щелку в стене подсматривал во двор управитель. Вот уже два часа, как чужеземец здесь; чего ради смотрит он на эти ветхие стены? Вот он сидит, этот неверный, словно он здесь дома, словно хочет остаться здесь навсегда. Челядь чужеземца, дожидавшаяся его в наружном дворе, рассказала, что в Севилье у него пятнадцать породистых коней и восемьдесят слуг, из них тридцать — черные. Да, неверные живут богато и широко. Но хоть прошлый раз король, наш государь, и потерпел поражение, придет пора, и милостью Святой Девы и Сант-Яго мы их побьем, побьем неверных и заберем их сокровища.

А чужеземец все еще не уходил.

Да, севильский купец Ибрагим сидел и думал свою

думу. Еще ни разу не приходилось ему принимать такое ответственное решение. Ведь тогда, когда мавры вторглись в Андалусию и он принял закон Магомета, ему шел всего тринадцатый год, он не отвечал ни перед богом, ни перед людьми, за него решила семья. Теперь он должен выбирать сам.

Севиля сияла в зените славы, великолепия, зрелости. Но, как говорит его старый друг Муса, это была уже перезрелость; солнце западного ислама перешагнуло зенит, оно склонялось к закату. Здесь, в христианской Испании, в Кастилии, подъем только начинается. Все здесь еще в первобытном состоянии. Они разрушили то, что создал ислам, и кое-как зачинили. Сельское хозяйство оскудело, землю обрабатывают по старинке, ремесла в упадке. Государство обезлюдело, а те, кто остался, привыкли к ратному делу, не к мирному труду. Он, Ибрагим, призовет сюда людей, которые умеют работать, которые умеют добыть то, что лежит без всякой пользы в земле.

Вдохнуть жизнь и дыхание в опустившуюся, разоренную Кастилию будет нелегко. Но это-то как раз и заманчиво.

Правда, потребуется немало времени, потребуются долгие, ничем не потревоженные мирные годы.

И вдруг он почувствовал: то был божий глас, его он услышал уже тогда, пятнадцать месяцев назад, когда дон Альфонсо после поражения просил эмира Севильского о перемирии. Воинственный Альфонсо шел на многие уступки — соглашался отдать некоторые области, щедро возместить военные убытки, но пойти на то, чтобы перемирие длилось восемь лет, как того требовал эмир, король никак не хотел. А он, Ибрагим, убеждал и уговаривал эмира настаивать на этом требовании и лучше постепенно уступать в другом, удовлетвориться меньшими земельными приобретениями и не столь щедрым денежным возмещением. И в конце концов он добился своего, и перемирие на восемь долгих благодетельных лет было подписано и скреплено печатью. Да, это сам бог понуждал и вразумлял его тогда: «Борись за мир! Не отступай, борись за мир!»

И тот же внутренний голос привел его сюда, в Толедо. Если начнется новая священная война — а она обязательно начнется, — задиристый дон Альфонсо почув-

ствуется большое искушение нарушить перемирие с Севильей. Но он, Ибрагим, будет тут и будет удерживать короля хитростью, угрозами и доводами рассудка, и если ему не удастся отговорить короля, он все-таки оттянет войну.

А для евреев, для его евреев, это будет благословением, ибо, когда вспыхнет война, он, Ибрагим, будет заседать в королевском совете. На евреев на первых, как это и раньше бывало, обрушатся крестоносцы, но он прострет руку и защитит их.

Потому что он им брат.

Севильский купец Ибрагим не лгал, когда называл себя приверженцем ислама. Он чтит Аллаха и его пророка, он любил арабскую литературу и науку. Обычаи мусульман были ему близки и привычны, он автоматически совершал пять раз в день предписанные омовения, пять раз падал ниц, лицом к Мекке, творя молитву, и, когда ему приходилось принимать серьезное решение или начинать крупное дело, он от всего сердца призывал Аллаха и произносил первую суру Корана. Но когда в субботу севильские евреи собирались в подвальных покоех его дома, в его тайной молельне, чтобы воздать хвалу богу Израиля и читать Великую Книгу, на сердце ему нисходило радостное спокойствие. Он знал — сейчас он исповедует свою заветную веру, и это исповедание самой истинной истины очищало его от полуистин всей недели.

Горьким, блаженным желанием вернуться в Толедо зажег его сердце Адонай, древний бог его отцов.

Однажды, в ту пору, когда на андалусских евреев обрушилось великое бедствие, один из семьи Ибн Эзра, его дядя Иегуда Ибн Эзра, уже оказал своему народу отсюда, из Кастилии, большую помощь. Этот Иегуда, военачальник царствовавшего тогда Альфонсо, Альфонсо VII, отстоял пограничную крепость Калатраву от мусульман и дал возможность тысячам, десяткам тысяч гонимых евреев спастись, укрывшись в ее стенах. Теперь для того же бог избрал его, бывшего купца Ибрагима.

Он возвратится сюда, в отчий дом.

Быстрая яркая фантазия нарисовала ему, каким станет этот дом. Уже снова бил фонтан, уже молча и таинственно расцветал двор, в отвыкших от людей покоех

кипела жизнь, нога ступала по пушистым коврам, а не по каменному негостеприимному полу, вдоль стен гирляндами вились изречения, еврейские и арабские, стихи из Великой Книги и мусульманских поэтов, и повсюду струилась прохладная, умеряющая жару вода, и под ее ритмичное журчание текли грезы и мысли.

Вот каким станет этот дом, и он войдет в него тем, кто он действительно есть: Иегудой Ибн Эзра.

Сами собой приходили на ум божественные изречения, призванные украсить его дом, стихи из Великой Книги его отцов, которая отныне заменит ему Коран. «Потому что горы сдвинутся и холмы поколеблются, но милость моя не отступит от тебя и завет мира моего будет непоколебим».

Бездумная, блаженная улыбка осветила его лицо. Внутренним оком видел он гордый стих божьего завета, черными, голубыми и золотыми письменами выющийся вдоль карниза, украшая его спальню; вечером, прежде чем заснуть, он запечатлеет этот стих в своем сердце, а утром, когда проснется, обратит к нему свой взор.

Он поднялся, потянулся. Да, он переедет на житье сюда, в Толедо, в старый, заново отделанный дом своих отцов, он вдохнет новую жизнь в бедную, нищую Кастилию, он поможет сохранить мир и даст приют гонимому Израилю.

Манрике де Лара, первый министр, изложил дону Альфонсо содержание договора с севильским купцом Ибрагимом; теперь его оставалось только подписать. Королева присутствовала при докладе. В христианской Испании супруга государя с давних пор была соправительницей мужа и пользовалась привилегией принимать участие в государственных делах.

Три документа, в которых на арабском языке были изложены соглашения, лежали на столе. Договоры были составлены обстоятельно, и дон Манрике не спеша разъяснял их пункт за пунктом.

Король слушал рассеянно. Донье Леонор и первому министру пришлось долго убеждать дона Альфонсо, прежде чем он согласился взять на королевскую службу этого неверного. Кто, как не Ибрагим, был повинен в том, что тогда, пятнадцать месяцев назад, пришлось подписать такой тяжелый мирный договор?

Ох, уж этот мирный договор! Приближенные убедили его, что договор благоприятен. Правда, ему не пришлось, как он опасался, уступить эмиру крепость Аларкос, дорогой ему город, который он отвоевал у врагов в первый поход и присоединил к своему королевству, да и контрибуция не была бессовестно высокой. Но восемь лет перемирия! Молодой, горячий король, всем сердцем солдат, не мог успокоиться: ведь восемь бесконечно долгих лет неверные будут хвалиться своей победой. И с человеком, вынудившим его подписать такой постыдный мир, он должен заключить второй чреватый последствиями договор! Должен все время терпеть его присутствие и выслушивать его сомнительные предложения! С другой стороны, ему казались убедительными доводы, которые приводили умная королева и его испытанный друг Манрике: с тех пор как умер Ибн Шошан, его добрый богатый иудей, стало гораздо труднее вытягивать деньги из крупных торговцев и банкиров всего света, и только этот самый Ибрагим из Севильи мог помочь ему в его затруднительном денежном положении.

Рассеянно слушая Манрике, он задумчиво смотрел на донью Леонор.

Она была не частой гостьей в королевской резиденции Толедо. Донья Леонор родилась в герцогстве Аквитания, в благородном краю на юге Франции. Она привыкла к изящным придворным манерам, и нравы Толедо, хотя город уже сто лет принадлежал королям Кастилии, казались ей все еще грубыми, как в военном лагере. Она понимала, что дон Альфонсо должен почти все время проводить в своей столице, вблизи от извечного врага, но сама все же предпочитала держать двор в Бургосе, в северной Кастилии, вблизи от родины.

Альфонсо отлично знал, хотя никто ему ничего не говорил, почему донья Леонор на этот раз приехала в Толедо. Конечно же, она тут по просьбе доня Манрике. Его министр и добрый друг, должно быть, думает, что без ее помощи он не убедит короля назначить неверного своим канцлером. Но он, Альфонсо, очень быстро понял, что это неизбежно, и сам, без уговоров доньи Леонор, дал бы согласие. Однако он был доволен, что так долго противился; его радовало, что донья Леонор тут.

Как тщательно она нарядилась. А ведь дело шло всего только о докладе старого друга Манрике. Она все-

гда старается быть очаровательной женщиной и вместе с тем королевой. Это казалось ему немножко смешным, но в то же время нравилось. Еще почти девочкой — ей шел пятнадцатый год — покинула она двор своего отца, Генриха Английского, и стала его невестой. Но все эти годы, проведенные в его бедной, суровой Кастилии, где из-за вечной войны было не до куртуазных ухищрений, она оставалась верна духу своей родины — пристрастию к утонченно-галантным манерам.

Хотя ей было уже двадцать девять лет, она все еще выглядела совсем девочкой в своем тяжелом, роскошном наряде. Несмотря на небольшой рост, она казалась статной. Золотой обруч сдерживал ее густые светлые волосы. Высокий лоб был благородно очерчен. Несколько холодный и, пожалуй, испытующий взгляд больших и умных зеленых глаз смягчала тихая, неопределенная улыбка, придававшая ее спокойному лицу теплоту и приветливость.

Пусть ее смеется над ним его милая донья Леонор. Бог наградил его разумом, он не хуже жены и ее отца, английского короля, понимает, что в наши дни хозяйство страны не менее важно, чем военная мощь. Но ничего не поделаешь, хитроумные окольные пути, хоть они и вернее, чем меч, ведут к цели, для него слишком медленны и нестерпимо скучны. Он солдат, а не математик, солдат и еще раз солдат. И это хорошо, особенно в такое время, когда господь бог повелел христианским государям неустанно воевать с неверными.

Донья Леонор тоже отдалась своим мыслям. Лицо ее любимого Альфонсо говорило ей, какие чувства борются в нем: он понимает и покоряется, но он злится и хочет сбросить с себя ярмо. Он не государственный муж; никто не знал этого лучше, чем она, дочь короля и королевы, за смелой, хитрой политикой которых уже несколько десятилетий, затаив дыхание, следил весь мир. Он очень умен, когда захочет, но его буйный нрав все время сокрушает стену разума. И вот за эту озорную необузданность она и любит его.

— Ты видишь, государь, и ты, донья Леонор, тоже, — закончил дон Манрике, — он не отказывается ни от одного из своих условий. Но зато он и предлагает гораздо больше, чем может дать кто-либо другой.

Дон Альфонсо сердито сказал:

— И кастильо он тоже забирает! Как альбороке!

Словом *альбороке* называли подарок, который, согласно правилам вежливости, было принято делать при заключении договора.

— Нет, государь, — ответил дон Манрике. — Прости, я позабыл тебе сказать: он не хочет получить кастильо в подарок. Он хочет его купить. За тысячу золотых мавведи.

Это была невероятная сумма, старые развалины не стоили и половины. Такая щедрость приличествовала знатному вельможе; но со стороны севильского купца Ибрагима это, пожалуй, даже дерзость! Альфонсо встал, принялся шагать из угла в угол.

Донья Леонор следила за ним. Этому Ибрагиму придется немало потрудиться, чтобы угодить ее Альфонсо. Ничего не поделаешь, он рыцарь, кастильский рыцарь. Какой он красивый — настоящий мужчина, и, несмотря на свои тридцать лет, еще совсем юноша! Леонор провела часть своего детства в замке Донфрон; там стояла большая деревянная статуя молодого, грозного святого Георгия, могучего охранителя замка, и смелое, решительное, художавое лицо ее Альфонсо каждый раз напоминало ей лик святого. Все в муже нравилось ей: золотисто-рыжие волосы, короткая окладистая борода, выбритая вокруг губ, так что резко выступал узкий рот. Но больше всего нравились ей его серые, живые глаза, которые в минуты возбуждения светлели и вспыхивали недобрым огнем. Вот и сейчас тоже они такие.

— Он просит только об *одной* милости, — продолжал дон Манрике. — Он просит о разрешении предстать пред очи твоего величества и от тебя лично получить документы и подпись. Эмир посвятил его в рыцари, и он ревниво оберегает свое достоинство, — пояснил Манрике. — Вспомни, дон Альфонсо, что у неверных купец пользуется тем же почетом, что и воин, ведь сам их пророк был купцом.

Альфонсо засмеялся, вдруг придя в хорошее настроение; когда он смеялся, лицо его по-мальчишески сняло.

— Уж не прикажешь ли ты мне разговаривать с ним по-еврейски? — весело крикнул он.

— Он хорошо владеет латынью, — деловито ответил Манрике. — Да и по-кастильски он говорит неплохо.

Дон Альфонсо опять совершенно неожиданно стал серьезным.

— Я ничего не имею против еврейского альхакима, — сказал он, — но назначить еврея моим эскривано майор... вы должны понять, что это мне претит.

Дон Манрике снова повторил то, что уже не раз излагал королю в течение последних недель:

— Мы целое столетие вынуждены были вести войну и покорять, у нас не было времени для хозяйственных забот. У мусульман это время было. Если мы хотим сравняться с ними, нам нужен изворотливый ум евреев, их красноречие, их деловые связи. Для христианских государей было счастьем, когда андалусские мусульмане изгнали своих евреев. У твоего арагонского дяди есть свой дон Хосе Ибн Эзра, а у наваррского короля свой Бен Серах.

— И у моего отца есть свой Аарон из Линкольна, — добавила донья Леонор. — Отец сажает его время от времени в тюрьму, но потом опять выпускает и награждает землями и почестями.

А дон Манрике закончил:

— Дела Кастилии шли бы лучше, если бы наш еврей Ибн Шошан не умер.

Дон Альфонсо помрачнел. Напоминание об Ибн Шошане рассердило его. Ведь он уже четыре года тому назад хотел предпринять против эмира Севильи поход, который окончился так неудачно, да только старый Ибн Шошан удерживал его. Теперь его место, по-видимому, займет этот самый Ибрагим из Севильи — так хотят донья Леонор и Манрике — и будет удерживать его, дон Альфонсо, от скоропалительных решений. Возможно, именно из-за этого, а не из-за хозяйственных дел они так настойчиво уговаривают его призвать еврея. Они считают его, Альфонсо, слишком необузданным, слишком воинственным, они не верят, что у него хватит хитрости и того жалкого терпения, которое в эту торгашескую эпоху необходимо иметь королю.

— Ко всему прочему они еще и написаны по-арабски! — сказал он сердито и развернул договоры. — Я даже не могу прочитать хорошенько то, что должен подписать.

Дон Манрике угадал его мысли: король хочет оттянуть подписание договора.

— Если ты повелишь, государь, — с готовностью ответил он, — я прикажу изготовить латинские договоры.

— Хорошо, — сказал Альфонсо. — И до среды не зови сюда твоего еврея.

Аудиенция, во время которой должна была произойти церемония подписания договора, состоялась в небольшом зале. Донья Леонор пожелала присутствовать на приеме, ей хотелось посмотреть на еврея.

Дон Манрике был при регалиях; на золотой цепи висел нагрудный знак, присвоенный *фамильярес*, тайным советникам короля, — пластина с гербом Кастилии, с тремя башнями, символом страны укрепленных замков. Донья Леонор тоже была в параде. Зато Альфонсо оделся по-домашнему, совсем не так, как того требовала церемония подписания государственного акта; он был в колете с широкими, свободными рукавами и в удобных башмаках.

Все ожидали, что Ибрагим, представ перед его величеством, преклонит, согласно обычаю, одно колено. Но пока он не подданный короля, а вельможа мусульманской мировой державы. И одет он согласно обычаю мусульманской Испании: поверх всего на нем тяжелая синяя мантия, которую носили сановные мусульмане, отправляясь в сопровождении личной свиты ко двору христианских государей. Ибрагим ограничился низким поклоном донье Леонор, дону Альфонсо и дону Манрике.

Королева заговорила первой.

— Да будет мир с тобой, Ибрагим из Севильи, — сказала она по-арабски. Образованные люди полуострова даже в христианских королевствах, кроме латыни, знали и арабский.

Долг вежливости требовал, чтобы и Альфонсо обратился к гостю на арабском языке. Так он и собирался. Но заносчивость купца, не пожелавшего преклонить колено, побудила его обратиться к нему по-латыни.

— *Salve, domine Ibrahim*¹, — сердито буркнул он слова приветствия.

¹ Приветствую тебя, господин Ибрагим (лат.).

Дон Манрике в нескольких общих фразах пояснил, с какой целью приглашен купец Ибрагим. Донья Леонор, знатная дама до кончиков ногтей, со спокойной, церемонной улыбкой рассматривала меж тем гостя. Он казался выше своего роста, так как носил башмаки на высоких каблуках и, несмотря на непринужденность манер, держался очень прямо. Матовое, смуглое лицо, обрамленное короткой окладистой бородой, спокойные мишдалевидные глаза, умные, чуть высокомерные. На плечи накинута ловко сшитая синяя мантия знатного чужестранца. Донья Леонор с завистью рассматривала дорожную ткань; в христианских королевствах трудно достать такой товар. Но когда этот еврей будет у них на службе, он, конечно, раздобудет ей такую же ткань и те чудодейственные благовония, о которых она много слышала.

Король сидел на скамье, своего рода походной кровати; он сидел, вернее, полулежал, в подчеркнуто небрежной позе.

— Я надеюсь, — сказал он после того, как Манрике кончил свою речь, — что ты в срок доставишь двадцать тысяч золотых мараведи, которые обязуешься выплатить как задаток.

— Двадцать тысяч золотых мараведи большие деньги, — ответил Ибрагим, — а пять месяцев малое время. Но деньги будут у тебя в срок, государь, если, конечно, полномочия, которые предоставляются мне договором, не останутся на пергаменте.

— Твои сомнения понятны, Ибрагим из Севильи, — сказал король. — Обусловленные тобою полномочия просто неслышанны. Мои вельможи объяснили мне, что ты хочешь наложить руку на все, что даровано мне божьей милостью, — на подати, на доходы казны, на мои пошрины, на мои железные рудники и соляные копи. Мне сдается, ты ненасытный человек, Ибрагим из Севильи.

Купец ответил спокойно:

— Насытить меня нелегко, ибо я должен насытить тебя, государь. А ты — изголодался. Я уплачу вперед двадцать тысяч золотых мараведи. Но еще вопрос, какие деньги; из которых мне причитаются небольшие проценты, я смогу выручить. Твои гранды и рикос-омбрес своевольные и грубые господа. Не посетуй на купца, государыня, — обратился он с глубоким поклоном к донье Леонор и заговорил по-арабски, — если при тебе, луно-

ликой, я говорю о таких низменных и скучных делах.

Но дон Альфонсо не сдавался:

— Я считал бы вполне достаточным, если бы ты удовольствовался званием альхакима, как мой еврей Ибн Шошан. Добрый был еврей, и я очень сожалею о нем.

— Для меня большая честь, государь, — ответил Ибрагим, — что ты доверяешь мне наследие этого умного и удачливого человека. Но если ты хочешь, чтобы я служил тебе, как я сам того горячо желаю, мне нельзя удовольствоваться полномочиями, которые были даны благородному Ибн Шошану, — да уготовает Аллах ему все радости рая!

Но король продолжал свою речь, словно не слышал возражений Ибрагима, и теперь он перешел на родной язык, на вульгарную латынь, на кастильский:

— Но твое требование быть моим хранителем печати я считаю, мягко говоря, неприличным.

— Я не соберу тебе подати, государь, если буду только твоим альхакимом, — спокойно ответил купец, медленно, с трудом выговаривая кастильские слова. — Я должен был обусловить, чтоб ты сделал меня своим эскривано. Если я не буду распоряжаться твоей печатью, гранды не послушаются меня.

— Ты говоришь смиренным голосом и слова выбираешь смиренные, как это и подобает, — ответил дон Альфонсо. — Но ты меня не обманешь. Ты выдвигаешь очень дерзкое требование, я бы сказал, что ты, — и он употребил весьма крепкое слово вульгарной латыни, — нагл.

Манрике поспешил объяснить:

— Король находит, что ты знаешь себе цену.

— Да, именно это хотел сказать король, — приветливо и на очень хорошем латинском языке подтвердила своим звонким голосом донья Леонор.

Купец опять низко склонился сперва перед доньей Леонор, затем перед Альфонсо.

— Я знаю себе цену, — сказал он, — и знаю цену королевским налогам. Не поймите меня превратно ни ты, государыня, ни ты, великий и гордый король, ни ты, благородный дон Манрике. Бог благословил прекрасную землю Кастилии многими сокровищами и безграничными возможностями. Но войны, которые пришлось вести тебе, государь, и твоим предкам, не оставляли вам до-

суга, чтобы использовать это божье благословение. Теперь, государь, ты решил даровать своей стране восемь мирных лет. Сколько богатств можно извлечь за эти восемь лет из недр твоих гор, из плодородных земель, из рек! Я знаю людей, которые могут обучить твоих подданных, как сделать поля урожайнее и умножить стада. Я вижу железо в недрах твоих гор, неиссякаемые залежи бесценного железа! Я вижу медь, ляпис-лазурь, ртуть, серебро, и я найду умелые руки, достану искусных рудокопов, кузнецов, литейщиков. Я призову сведущих людей из стран ислама, и тогда, государь, твои оружейные мастерские не уступят мастерским Севильи и Кордовы. А потом, у нас есть такой материал, о котором вы в ваших северных краях едва ли слышали, — его называют бумага, и писать на нем сподручнее, чем на пергаменте, и если только знать секрет его изготовления, он обойдется в пятнадцать раз дешевле, нежели пергамент, а на берегах твоего Тахо есть все, что требуется для изготовления этого материала. И тогда, о государь и государыня, наука, философия и поэзия станут в ваших землях еще глубже и богаче.

Он говорил вдохновенно, с убеждением, он переводил свои блестящие, вкрадчивые глаза с короля на донью Леонор, а они с интересом, даже с легким волнением внимали красноречивому еврею. Дона Альфонсо слова Ибрагима немножко смешили, он не доверял им: добро приобретается не трудом и потом, оно завоевывается мечом. Но у дона Альфонсо было богатое воображение, он видел процветание и сокровища, которые обещал ему Ибрагим. Широкая радостная улыбка озарила его лицо, он опять стал совсем молодым, и донья Леонор почувствовала, какой он для нее желанный.

И дон Альфонсо заговорил и признал:

— Ты складно говоришь, Ибрагим из Севильи, и, может статься, выполнишь часть того, что обещаешь. Сдается мне, что ты умный, сведущий в делах человек.

Но, словно раскаиваясь, что поддался на такие торгашеские речи и одобрил их, он вдруг сразу изменил тон, сказал, поддразнивая, с издевкой:

— Я слышал, ты дорого заплатил за мой кастильо, бывший кастильо де Кастро. Верно, у тебя большая семья, раз тебе понадобился такой огромный дом?

— У меня есть сын и дочь, — ответил купец. — Но

я люблю, чтобы со мной жили друзья, чтобы было с кем посоветоваться и побеседовать. Кроме того, многие обращаются ко мне за помощью, а богу угодно, чтобы мы призвали нуждающихся в крове.

— Не дешево стоит тебе быть верным слугой твоего бога, — сказал король. — Я предпочел бы даром отдать тебе в пожизненное владение кастильо в качестве альбороке.

— Этот дом не всегда назывался кастильо де Кастро, — вежливо ответил купец. — Раньше он назывался каср Ибн Эзра, и потому мне так хочется приобрести его. Твои советчики, государь, я полагаю, сообщили тебе, что хоть у меня и арабское имя, но принадлежу я к роду Ибн Эзра, а мы, Ибн Эзра, не любим жить в домах, которые принадлежат не нам. Не дерзость побудила меня, государь, — продолжал он, и теперь его голос звучал доверчиво, почтительно и дружелюбно, — испросить у тебя другое альбороке.

Донья Леонор с удивлением спросила:

— Другое альбороке?

— Господин эскривано майор попросил разрешения ежедневно брать для своего стола ягненка из королевских поместий, — объяснил дон Манрике. — И это разрешение было ему дано.

— Мне потому дорога эта привилегия, — сказал Ибрагим, обращаясь к королю, — что твой дед, августейший император Альфонсо, оказал ту же милость моему дяде. Когда я перееду в Толедо и поступлю к тебе на службу, я открыто, перед лицом всего света вернусь к вере своих отцов, откажусь от имени Ибрагим и снова стану зваться Иегуда Ибн Эзра, как тот мой дядя, что удержал для твоего деда крепость Калатраву. Да будет мне разрешено, государь и государыня, сказать безрассудно откровенное слово. Если бы я мог вернуться к вере отцов в Севилье, я не оставил бы своей прекрасной родины.

— Нас радует, что ты оценил нашу терпимость, — сказала донья Леонор. А дон Альфонсо спросил без всяких обиняков:

— А ты не думаешь, что тебе встретятся трудности, когда ты захочешь покинуть Севилью?

— Когда я ликвидирую там свои дела, — ответил Иегуда, — я, разумеется, понесу убытки. Других трудно-

стей я не боюсь. По великой своей милости бог не от-
вратил от меня сердце эмира. Он человек высокого
и свободного ума, и если бы это зависело только от
него, я мог бы открыто исповедовать веру моих отцов
и в Севилье. Эмир поймет мои побуждения и не станет
чинить мне препятствия.

Альфонсо рассматривал купца, стоявшего перед ним
в вежливо-почтительной позе и говорившего с такой дерз-
кой откровенностью. Он казался королю умным как
бес, но не менее опасным. Если он изменяет своему
другу эмиру, сохранит ли он верность ему, чужому, хри-
стианину? Иегуда, словно угадав его мысли, сказал по-
чти весело:

— Раз я покину Севилью, вернуться туда мне уже,
разумеется, будет невозможно. Ты видишь, государь,
я в твоих руках и вынужден быть тебе верным слугой.

Дон Альфонсо коротко, почти грубо буркнул:

— Ну, давай на подпись.

Прежде он ставил свое имя по-латыни: *Alfonsus rex
Castiliae*¹, или *Ego rex*², последнее время он все чаще
писал на языке своего народа, на вульгарной латыни,
на романском, на кастильском.

— Ты, надеюсь, удовлетворишься, если я поставлю
только *lo el rey*?³ — насмешливо спросил он.

Иегуда шутиливо ответил:

— Я удовлетворюсь, государь, даже если ты поста-
вишь только свои инициалы, сделаешь один росчерк
пера.

Дон Манрике подал дону Альфонсо перо. Король под-
писал все три документа, быстро, с упрямым, замкну-
тым лицом, словно решившись на неприятный, но неиз-
бежный шаг. Иегуда следил за ним. Он был доволен
достигнутым, с радостным нетерпением ожидал пред-
стоящего. Он был благодарен судьбе, своему богу Ал-
лаху и своему богу Адонаю. Он чувствовал, как умирает
в нем мусульманин, и неожиданно в памяти его всплыла
благодарственная молитва, которую его еще ребенком
учили повторять каждый раз, когда он познавал нечто
новое: «Слава тебе, Адонай, боже наш, давший мне до-
жить до сего дня, прожить и пережить его».

¹ Альфонсо, король Кастилии (лат.).

² Я, король (лат.).

³ Я, король (исп., старинное написание).

Затем он тоже подписал документы и подал их королю почтительно, но с чуть приметным лукавым ожиданием. И верно, Альфонсо очень удивился, когда посмотрел на подпись, он поднял брови и наморщил лоб — буквы были непривычные.

— Что это значит? — воскликнул он. — Это же не арабский язык!

— Государь, я позволил себе, — вежливо заметил Иегуда, — поставить свою подпись по-еврейски. — И он почтительно пояснил: — Мой дядя, которому твой августейший дед соизволил даровать княжеский титул, всегда подписывался только по-еврейски: «Иегуда Ибн Эзра га-наси, князь».

Альфонсо пожал плечами и повернулся к донье Леонор; он явно считал аудиенцию оконченной.

Меж тем Иегуда сказал:

— Прошу еще об одной милости — о перчатке.

Перчатка символизировала важное поручение, которое рыцарь давал рыцарю; после удачно выполненного поручения перчатка возвращалась владельцу.

Альфонсо счел, что за этот час скушал достаточно дерзостей, и уже хотел резко ответить, но удержался, заметив предостерегающий взгляд доньи Леонор. Он сказал:

— Ну хорошо, будь по-твоему.

И теперь Иегуда опустился на одно колено. И Альфонсо дал ему перчатку.

Но затем, словно стыдясь содеянного и желая свести свою связь с евреем к тому, чем она была в действительности, к торговому договору, сказал:

— Так, а теперь поскорей раздобудь мне обещанные двадцать тысяч мараведи.

Но донья Леонор испытующе, с чуть приметным озорством в больших зеленых глазах посмотрела на Иегуду и сказала своим звонким голосом:

— Мы рады, что узнали тебя, дон эскривано.

Раньше чем покинуть город Толедо и уехать в Севилью для завершения всех своих тамошних дел, Иегуда посетил дона Эфраима бар Абба, старейшину еврейской общины — *альхамы*.

Дон Эфраим был сухонький старичок лет шестидеся-

ти, невзрачный с виду и скромно одетый; глядя на него, никто бы не предположил, что у него в руках такая власть. Ибо старейшина толедской еврейской общины был своего рода монархом. Еврейская община, альхама, пользовалась собственной юрисдикцией, никакие власти не могли вмешиваться в ее дела, она была подвластна только своему *пárнасу* дону Эфраиму и еще королю.

Дон Эфраим, щедушный и зябкий, сидел в комнате, заставленной мебелью, заваленной книгами. Несмотря на теплую погоду, он сидел перед жаровней, закутавшись в шубу. Дон Эфраим был хорошо осведомлен о событиях в королевском замке и уже знал, что гость из Севильи согласился стать откупщиком налогов и преемником альхакима Ибн Шошана, хотя назначение купца Ибрагима должно было стать известным только после его окончательного переезда в Толедо. Дон Эфраиму тоже предлагали откуп налогов и должность Ибн Шошана, но ему это дело показалось слишком неверным, а пост альхакима слишком блестящим, и, значит, опасным. Он был посвящен в историю жизни купца Ибрагима, он знал, что тот тайно исповедует иудейство, и понимал внутренние и внешние причины, побудившие его переселиться в Кастилию. Эфраим не раз вел крупные дела вместе с Ибрагимом, не раз и против Ибрагима, и ему было не по душе, что теперь этот сомнительный сын рода Ибн Эзра избрал для своих операций Толедо.

Дон Эфраим сидел, потирая ладонь одной руки пальцами другой, и ждал, что ему скажет гость. Дон Иегуда вел разговор по-еврейски. На изысканном еврейском языке он сейчас же сообщил Эфраиму, что взял на откуп все доходы королевской казны в Толедо и в Кастилии.

— Ты, как я слышал, отказался от предложения стать откупщиком налогов, — сказал он приветливо.

— Да, — ответил дон Эфраим, — я взвесил, подсчитал и отказался. Я отказался также от предложения унаследовать должность нашего альхакима Ибн Шошана — да будет благословенна память праведника! Эта должность кажется мне слишком блестящей для скромного человека.

— Я согласился, — просто сказал дон Иегуда.

Дон Эфраим встал и отвесил глубокий поклон.

— Твой слуга желает тебе счастья, дон альхаким, —

сказал он, и так как Иегуда только молча улыбнулся, он продолжал: — Или тебя можно уже назвать дон аль-хаким майор?

— Его величество король, — сказал дон Иегуда, с трудом сдерживая свою радость, — соизволил оказать мне великую честь, сделав одним из своих фамильярес. Да, дон Эфраим, я буду одним из четырех тайных советников, буду заседать в курии. Буду управлять делами короля, нашего государя, в качестве его эскривано майор.

Дон Эфраим слушал его со смешанным чувством восхищения и антипатии, радости и недовольства. Он думал: «Как дорого, верно, заплатил за такие почести этот безумец и азартный игрок!» — и еще: «Куда приведет его, глупца, подобное честолюбие?» — и: «Да хранит нас всемогущий и да не даст этому человеку навлечь бедствия на народ Израилев!»

Дон Эфраим был очень состоятелен. О невероятном богатстве купца Ибрагима из Севильи ходило много рассказов, но дон Эфраим втайне считал, что сам он едва ли беднее этого вероотступника и гордеца. Он, Эфраим, скрывает свое богатство и старается не привлекать к себе внимания. А Ибрагим из Севильи, как истый Ибн Эзра, любит, чтобы говорили о его пышной жизни. Да, много дел может натворить в Толедо этот одаренный, ненадежный и опасный человек, когда, бросив вызов богу, дерзко подымется на такую недостижимую высоту.

Эфраим осторожно заметил:

— Альхама жила очень согласно с Ибн Шошаном.

— Ты боишься, дон Эфраим? — приветливо спросил дон Иегуда. — Не бойся! Я далек от мысли вмешиваться в дела толедской общины, а тем более притеснять ее. Я ведь сам стану одним из ее сынов. Для того чтобы сказать тебе это, я и пришел сюда. Ты знаешь, в душе я всегда считал веру сынов Агари лишь наполовину истинным ростком нашей древней веры. Как только я займу здесь мой пост, я сейчас же вернусь в лоно Авраамово и перед лицом всего мира назовусь именем моих отцов и дедов: Иегудой Ибн Эзра.

Дон Эфраим постарался изобразить на своем лице радостное удивление, но тревога его еще возросла. И он сам, и его альхама не должны привлекать к себе вни-

мание. В такое время, когда угрожает новый крестовый поход, который, несомненно, приведет к новым гонениям на евреев, вдвойне необходимо помнить мудрое правило и жить притаившись. А тут этот Ибрагим из Севильи привлечет своим переходом в иудейство внимание всего света на толедских евреев! Испокон веков все Ибн Эзры любили похвальбу. Хвастались, как ярмарочные фигляры. До сих пор они хоть довольствовались Сарагосой, Логроньо, Тулузой; в его, Эфраима, городе, в Толедо, их не было. А теперь этот вот навязался ему на шею, самый гордый и опасный из всех!

Набожный и очень умный, Эфраим не хотел быть несправедливым. Ибн Эзры с их пышностью и честолюбием были чужды его душе, но их род — это он всегда признавал — самый славный род *Сефарда*, испанского Израиля, из их семьи вышли ученые, поэты, воины, купцы, дипломаты, имена которых известны во всем мусульманском и христианском мире, — краса и гордость иудейства. А главное, в години бедствий они великодушно помогали своему народу, они выкупили тысячи евреев из языческой неволи и тысячам предоставили убежище здесь в Сефарде и в Провансе. И тот Ибн Эзра, который сидит сейчас перед ним, богато одарен богом. В трудное время стал он первым купцом в Севилье, но как бы этот человек с его честолюбием и преступно дерзкой заносчивостью не принес Израилю бедствия вместо благословения!

Все это обдумал дон Эфраим за те несколько секунд, что прошли после слов дон Иегуды. Сейчас же вслед за тем он почтительно сказал:

— Для нас большая честь, что ты приходишь к нам. Бог послал толедской альхаме в нужное время нужного человека, чтоб управлять ею. Позволь мне возложить на твои плечи еще одно бремя и передать тебе мои обязанности.

Про себя он подумал: «О всемогущий боже, не карай слишком жестоко народ Израиля. Ты обратил сердце этого *мешумада*, этого вероотступника, и теперь он возвращается к нам. Не допусти, чтобы и здесь, в твоём Толедо, он чванился своей роскошью и возносился, и не допусти, чтобы он умножил зависть и ненависть других народов к Израилю!»

Дон Иегуда меж тем ответил:

— Нет, дон Эфраим. Никто лучше тебя не может править альхамой. Но для меня будет большой честью, если вы призовете меня в одну из суббот для чтения недельной главы из торы, как это делают все добрые евреи. И позволь мне уже сегодня немного облегчить судьбу ваших бедняков. Позволь мне передать тебе свою небольшую лепту — скажем, пятьсот золотых мараведи.

Никогда еще толедская община не получала столь щедрого дара, и такая дерзкая, глупая, показная, греховная заносчивость испугала и возмутила дон Эфраима. Нет, если этот человек будет поражать Толедо своим великолепием, он, Эфраим, не сможет дольше оставаться парнасом альхамы.

— Подумай хорошенько, дон Иегуда, — попросил он. — Альхама не должна и не захочет удовольствоваться Эфраимом, когда в Толедо будет Иегуда Ибн Эзра.

— Не смейся надо мной, — спокойно ответил Иегуда. — Никто лучше тебя не знает, что альхама не захочет, чтоб ею управлял человек, который сорок лет исповедовал веру сынов Агари и пять раз на день молился Аллаху. Ты сам не захочешь, чтобы старейшиной толедской общины был мешумад. Признайся, что это так.

И снова Эфраим почувствовал неприязнь и восхищение. Он сам ни словом не обмолвился о пятне, которое лежало на Иегуде. А этот человек говорит о нем с бесстыдной откровенностью, даже с гордостью, с проклятой гордостью всех Ибн Эзра.

— Не приличествует мне судить тебя, — сказал он.

— Подумай и о том, господин мой и учитель Эфраим, — сказал дон Иегуда и посмотрел ему прямо в лицо, — что сыны Агари после того первого страшного унижения никогда не обижали меня. Мало того, они омывали тело мое теплой розовой водой и питали меня туком своей страны. Устои их жизни полюбились мне, и хоть сердце мое и возмущается, но многие их обычаи приросли ко мне, как вторая кожа. Может статься, что я, если мне надо будет принять важное решение, от всего сердца призову по старой привычке Аллаха и произнесу первые стихи Корана. Признайся, дон Эфраим, если бы это дошло до твоего слуха, разве у тебя не явилось бы искушение отлучить меня, предать анафеме?

Дону Эфраиму было обидно, что Иегуда опять уга-

дал его мысли. Несомненно, этот человек, несмотря на свое возвышенное решение, богохульник и вольнодумец, и на мгновение Эфраиму действительно показалось соблазнительным возгласить с *альмеморы*, места в синагоге, откуда читаются все извещения, возгласить под звуки *шофара*, бараньего рога, что Иегуда отлучен. Но это были пустые мечты; с таким же успехом мог бы он отлучить от синагоги великого халифа или короля, государя Кастилии.

— Ни один род не сделал так много для Израиля, как семья Ибн Эзра, — вежливо уклонился он от ответа. — Всем известно, что твой отец предназначил тебя быть отщепенцем еще раньше, чем тебе исполнилось тринадцать лет.

— Ты читал послание, в котором наш господин и учитель Моисей бен Маймун защищает тех, кто по принуждению признал пророка Магомета? — спросил Иегуда.

— Я простой человек и не вмешиваюсь в споры раввинов, — опять уклонился от ответа Эфраим.

— Верь мне, дон Эфраим, — тепло сказал Иегуда, — не было дня, чтоб я не вспоминал Писания. В подвальных покоях моего севильского дома я устроил синагогу, и в большие праздники мы собирались там, десять мужей, и молились, как то предписано законом. И когда я перееду сюда, я все равно позабочусь, чтобы моя синагога в Севилье продолжала существовать. Эмир Абдулла великодушен и друг мне: он закроет глаза.

— Когда ты намерен переселиться в Толедо? — осведомился дон Эфраим.

— Думаю, через три месяца, — ответил Иегуда.

— Хоть дом мой и скромн, могу я просить тебя быть моим гостем? — спросил Эфраим.

— Благодарю тебя, — ответил Иегуда. — Я уже позаботился о пристанище. Я приобрел у короля, нашего государя, кастильо де Кастро. Я перестрою его для меня, моих детей, моих друзей и слуг.

Дон Эфраим не мог скрыть глубокий испуг.

— Бароны де Кастро самые мстительные из всех рикос-омбрес, — предостерег он. — Когда король отобрал у них дом, они разразились страшными угрозами. Они сочтут величайшим надругательством, если там будет жить иудей. Подумай над этим, дон Иегуда. Бароны де

Кастро очень могущественны, у них много приверженцев. Они воздвигнут полкоролевства на тебя... и на весь народ Израилев.

— Благодарю тебя за предостережение, дон Эфрам, — сказал Иегуда. — Всемогуший даровал мне страшное сердце.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ибн Омар, управитель и секретарь дон Иегуды, снабженный королевской грамотой, прибыл в Толедо. С ним приехали мусульманские зодчие, художники и мастера. В кастильо де Кастро закипела работа. Быстрота и расточительность, с которой шла перестройка, вызвали много толков в городе. Затем из Севильи прибыла всякая челядь, а вслед за ней появилось множество повозок с обстановкой и утварью да еще тридцать мулов и двенадцать лошадей. Все новые, самые разнообразные слухи возникали о чужеземце, прибытия которого ожидали в Толедо.

И вот он прибыл. С дочерью Ракель, сыном Аласаром и близким другом — лекарем Мусой Ибн Даудом.

Иегуда любил своих детей и беспокоился, как свыкнутся они, выросшие в изнеженной Севилье, с суровой жизнью в Толедо.

Деятельному четырнадцатилетнему Аласару, конечно, понравится грубый, рыцарский быт; но как будет чувствовать себя Рехия, его любимица Ракель?

Ласково, с нежной заботой смотрел он на едущую рядом с ним дочь. Как это было в обычае, она переоделась для путешествия в мужскую одежду. Ее можно было принять за юношу, в седле она сидела немножко нескладно, угловато, по-детски, но смело. Пышные черные волосы с трудом умещались под шапочкой. Большими серо-голубыми глазами внимательно вглядывалась она в людей и дома города, который отныне должен был стать ее родиной.

Иегуда знал: она приложит все старания, чтобы Толедо стал ей родиной. Вернувшись домой, он сейчас же объяснил дочери, что гонит его из Севильи. Он говорил с ней, семнадцатилетней девушкой, так откровенно, словно она была одного с ним возраста и столь же опытна, как и он. Он чувствовал — его Ракель, хоть

временами она бывала очень ребячлива, сердцем понимает его. Она его дочь, она — это стало особенно ясно из их разговора — подлинная Ибн Эзра; смелая, умная, откликающаяся на все новое, с открытым сердцем и богатой фантазией.

Но будет ли ей по себе здесь, у этих христиан и воинов? Что, если она затоскует в холодном, суровом Толедо по своей Севилье? Там ее все любили. Не только ее сверстницы-подруги, но и приближенные эмира, сведущие, умные дипломаты, поэты, художники радовались непосредственным, неожиданным вопросам и замечаниям этой девушки, еще почти девочки.

Как бы то ни было, теперь они в Толедо, а в Толедо — кастильо де Кастро, и отныне замок принадлежит им и станет зваться кастильо Ибн Эзра.

Иегуда был приятно удивлен, увидя, что сделали в такой короткий срок из негостеприимного дома его испытанные помощники. Каменный пол, на котором прежде гулко отдавался каждый шаг, был устлан мягкими, пушистыми коврами. Вдоль стен шли диваны с удобными валиками и подушками. Красные и лазорево-золотые фризы окаймляли стены покоев; арабские и еврейские надписи, свивавшиеся в причудливые орнаменты, привлекали взор. Умело продуманная система труб питала небольшие фонтаны, дававшие прохладу. Обширный покой был отведен под книги Иегуды: по столам лежали книги, открытые на страницах, украшенных пестрыми, искусно выполненными инициалами и заставками.

А вот и патио, тот двор, где он тогда принял свое великое решение, вот фонтан, на краю которого он тогда сидел. Как раз так он себе все и воображал: поднимаются и падают струи, безмолвно и равномерно; под густой, темной листвой деревьев безмолвие еще ощути-мей, но сквозь листву сверкают насыщенно-желтые апельсины и матово-желтые лимоны. Деревья искусно подрезаны, пестрые цветы на клумбах умело подобраны, и повсюду тихо струится вода.

Донья Ракель вместе с остальными осматривала новый дом, широко открыв глаза, внимательно, молча, но в душе она была довольна. Потом она пошла в те два покоя, что были отведены ей. Сняла тесное, неудобное мужское платье. Захотела смыть пот и дорожную пыль.

Около ее опочивальни находилась ванная. В выложенном кафелем полу был глубокий бассейн, снабженный трубами для теплой и холодной воды. Донья Ракель купалась, а ее кормилица Саад и приставленная к ней девушка Фатима прислуживали ей. Она наслаждалась теплой водой и рассеянно слушала болтовню кормилицы и служанки.

Потом перестала слушать и отдалась потоку своих мыслей.

Все здесь как в Севилье, даже ванна, в которой она лежит, такая же. Вот только она уже не Рехия, она донья Ракель.

В пути ее отвлекали все новые впечатления, и она так и не осознала до конца, что это значит. Теперь, уже на месте, отдохнувшая, спокойно лежа в ванне, она вдруг со всей силой ощутила перемену. Будь она еще в Севилье, она побежала бы к своей подруге Лейле и все бы ей рассказала. Лейла — глупышка, она ничего не понимает и не может помочь, но она ее подруга. Здесь у нее нет подруг, здесь все чужие и всё чужое. Здесь нет мечети Асхар; крик муэдзина с минарета мечети, призывающий к омовению и молитве, звучал резко, как всякий крик, но она привыкла к нему с детства. И здесь нет *хатиба*, чтобы объяснить ей темное место из Корана; здесь мало с кем может она болтать на своем милом, привычном арабском языке; ей придется говорить на грубом смешном наречье, и окружать ее будут люди с грубыми голосами и манерами, с суровыми мыслями — кастильцы, христиане, варвары.

Она была счастлива в светлой, чудесной Севилье. Ее отец принадлежал к первым вельможам государства, и все ее любили уже по одному тому, что она дочь такого отца. Что ждет ее здесь? Поймут ли эти христиане, какой большой человек ее отец? И понравятся ли им она сама, ее нрав и манеры? Что, если христианам она покажется такой же чуждой и смешной, какими ей кажутся они?

А потом еще и то, другое, большое и новое: теперь она для всего света еврейка.

Она выросла в мусульманской вере. Но когда она была еще совсем маленькой, вскоре после смерти матери — ей было лет пять, не больше, — отец отвел ее в сторону и шепотом серьезно сказал, что она принадле-

жит к роду Ибн Эзра, и что это должно стать для нее самым заветным, великим и тайным, и что об этом нельзя говорить никому. Потом, когда она выросла, отец признался, что он хоть мусульманин, но в то же время иудей, и говорил с ней о вероучении и обычаях евреев. Но он не приказывал ей исполнять иудейские обряды. И когда она его просто спросила, во что ей верить и чему следовать, он ласково ответил, что принуждать ее не хочет; пусть сама решает, когда вырастет, возьмет ли она на себя великий, но небезопасный подвиг тайно исповедовать иудейство.

То, что отец предоставил выбор ей самой, преисполнило ее гордостью.

Однажды она не смогла удержаться и против собственной воли призналась своей подружке Лейле, что она принадлежит к роду Ибн Эзра. Но Лейла, как это ни странно, ответила: «Я знаю», — и, помолчав, прибавила: «Бедная ты моя».

Ракель никогда больше не говорила с Лейлой о своей тайне. Но когда они виделись в последний раз, Лейла, заливаясь слезами, пролепетала: «Я наперед знала, что так случится».

Откровенное глупое сожаление Лейлы еще тогда побуждало Ракель ближе узнать, кто же такие эти евреи, к которым принадлежат отец и она. Мусульмане называли их «народом Великой Книги», значит, прежде всего надо было прочесть эту книгу.

Она попросила Мусу Ибн Дауда, дядю Мусу, который жил в доме ее отца и был очень ученым и знал много языков, заниматься с ней еврейским. Наука давалась ей легко, и скоро она могла уже читать Великую Книгу.

С самого раннего детства ее влекло к дяде Мусе, но только в часы занятий она как следует узнала его. Этот ближайший друг их семьи, длинный, худой человек, был старше ее отца; иногда он казался совсем древним, а потом опять удивительно молодым. Костлявое лицо с мясистым крючковатым носом освещали большие, прекрасные глаза, взгляд которых проникал человеку в душу. Он много пережил; отец говорил, что за свои огромные знания и свободу духа он заплатил великим страданием. Но Муса не говорил об этом. Зато он рассказывал иногда девочке Ракель о далеких землях и необычных людях,

и эти рассказы были куда занимательнее сказок и историй, которые Ракель любила читать и слушать, потому что ее друг и дядя, Муса, сидел тут, рядом с ней, и он сам все это видел и пережил.

Муса был мусульманином и строго соблюдал все обряды. Но в вере он был слаб и не скрывал, что сомневается во всем, кроме науки. Раз, когда он читал с ней пророка Исаяю, он сказал:

— Это был великий поэт, пожалуй, более великий, чем пророк Магомет и пророк христиан.

Такие речи смущали. Дозволено ли ей, доброй мусульманке, читать Великую Книгу евреев? Как и все мусульмане, она ежедневно произносила первую суру Корана, а там в последнем, седьмом стихе верные просят Аллаха отворить их от пути тех, на кого он гневается. Ее друг, хатиб из мечети Асхар, объяснил ей, что под прогневившими Аллаха подразумеваются евреи: наслав на них бедствия, Аллах ясно показал, что они лишены его милости. А что, если чтение Великой Книги приведет ее на ложный путь? Она собралась с духом и спросила Мусу. Он посмотрел на нее долгим и ласковым взглядом и сказал, что на них, на Ибн Эзров, Аллаха, совершенно очевидно, не прогневался.

Это показалось Ракели убедительным. Всякому должно быть ясно, что Аллах милостив к ее отцу. Он дал ему не только мудрость и доброе сердце, он одарил его всякими благами и высокими почестями.

Ракель любила отца. В нем для нее были воплощены все герои тех ярких, причудливых сказок и историй, которые она слушала с таким удовольствием, — добрые правители, умные визири, мудрые лекари, придворные и волшебники, а также все пылающие любовью юноши, перед которыми не могут устоять женщины. И, кроме того, отец носил в сердце своем великую опасную тайну — он был из рода Ибн Эзра.

Глубоко в душу запали ей те непонятные, сказанные шепотом слова, в которых отец открыл ей, ребенку, что он принадлежит к роду Ибн Эзра. Но потом другие, более значительные слова заслонили прежние. По возвращении из своего далекого путешествия в северный Сеффард, в христианскую Испанию, отец, оставшись с ней наедине, шепотом, как и в тот раз, поведал ей, какие опасности грозят здесь, в Севилье, тайным евреям, если

на полуострове вспыхнет священная война; а потом в тоне сказочника, пожалуй даже шутливо, он добавил: «А теперь, верные Аллаху, начинается история о третьем брате, который, расставшись со спокойным сиянием дня, углубился в тускло-золотистый сумрак пещеры». Понятливая Ракель сейчас же подхватила и задала вопрос в тоне слушателей сказки: «И что же случилось с третьим братом?» — «Чтоб узнать это, я углублюсь в сумрак пещеры», — ответил отец и, пока говорил, не спускал с нее любовного испытующего взгляда. Он подождал, пока она разберется в том, что он ей поведал; потом опять заговорил: «Когда ты была ребенком, дочка, я сказал тебе, что наступит день и тебе придется сделать выбор. День наступил. Я не убеждаю тебя следовать за мной и не отговариваю. Здесь много мужчин, молодых, умных, образованных, превосходных, которые с радостью возьмут тебя в жены. Если ты хочешь, я выдам тебя за одного из них, и приданое, которое ты принесешь, не посрамит нас. Подумай хорошенько, и через неделю я спрошу, что ты решила». Но она не колеблясь ответила: «Не окажешь ли ты мне милость, отец, и не спросишь ли свою дочь уже сейчас?» — «Хорошо, я спрашиваю тебя сейчас», — ответил отец, и она сказала: «Что решил мой отец, не может быть плохо, и как решил он, так решаю и я».

Она почувствовала большую нежность, когда поняла, как тесно связана с ним, и его лицо тоже осветилось радостью.

Потом он рассказал ей о многотрудной жизни еврейского народа. Испокон веков жили они в опасности, и теперь тоже им угрожают и мусульмане и христиане, и это — великое испытание, посланное богом своему народу, народу-избраннику. А среди этого возлюбленного богом, веками испытанного народа был избран один род: Ибн Эзра. И вот бог призвал его, одного из рода Ибн Эзра. Он услышал глас божий и ответил: «Вот я!» И если до сего дня он жил где-то с краю еврейского мира, то теперь он должен собраться и переселиться в самую гущу еврейства.

То, что отец дал ей заглянуть ему в душу, что он доверился ей так же, как она доверилась ему, окончательно спаяло их воедино.

И вот, приехав на место их предназначения, отды-

хая в ванне, она снова мысленно слышала все его слова. Правда, эти слова прерывались безутешным плачем ее подружки Лейлы. Но Лейла глупая девочка, она ничего не знает и не понимает, и Ракель была благодарна судьбе, сделавшей ее Ибн Эзра, и она была счастлива и полна ожидания.

Она очнулась от грез и снова услышала болтовню своей милой, глупой старухи кормилицы Саад и хлопотливой Фатимы. Обе бегали то туда, то сюда, из ванной комнаты в опочивальню и обратно, и никак не могли освоиться в новых покоях. Это рассмешило Ракель, ей захотелось подучиться, как в детстве.

Она поднялась. Провела взглядом по своему телу до ступней ног. Значит, эта обнаженная, смуглая девочка, покрытая брызгами, уже не Рехия, это донья Ракель Ибн Эзра. И, громко смеясь, она спросила старуху:

— Что, я теперь уже не та? Ты видишь, что я не та? Ну, скажи скорей! — И так как старуха не сразу поняла, она стала приставать к ней, смеясь и требуя ответа. — Ведь теперь я кастилька, толедка, еврейка!

Озадаченная кормилица визгливо затараторила:

— Не грехи, Рехия, зеница ока моего, доченька моя. Ты правоверная, ты ведь веруешь в Аллаха и его пророка.

Ракель, задумчиво улыбаясь, сказала:

— Клянусь бородой пророка, кормилица: я не знаю, верую ли я в пророка Магомета здесь, в Толедо.

Старуха отшатнулась в испуге.

— Да хранит Аллах твой язык, Рехия, дочь моя, — сказала она. — Этим шутить негоже.

Но Ракель не унималась:

— Изволь сейчас же назвать меня Ракель! Изволь сейчас же назвать меня Ракель! — И она крикнула: — Ракель! Ракель! Повтори!

И со всего размаху опустила в воду, обдав старуху брызгами.

Дон Альфонсо принял Иегуду сейчас же, как только тот явился во дворец.

— Ну как, в чем ты успел, мой эскривано? — спросил он с холодной любезностью.

Иегуда дал подробный отчет. Его *репозитарии*, законоведы, заняты пересмотром и уточнением списка нало-

гов и податей; через несколько недель у него будут точные цифры. В Кастилию приглашены из мусульманских земель, а также из Прованса, Италии, даже из Англии сто тридцать сведущих людей, они наладят сельское хозяйство, горное дело, ремесла, улучшат сеть дорог. Иегуда приводил отдельные подробности, цифры; он говорил свободно, по памяти.

Король, казалось, слушал рассеяннo. Однако, когда Иегуда кончил, он заметил:

— Разве у нас не было речи о новом большом конном заводе? В твоём докладе я о нём ничего не слышу. Кроме того, ты обещал мне золотых дел мастеров, чтобы можно было чеканить свою золотую монету. Для этого ты что-нибудь предпринял?

В своей обширной докладной записке Иегуда единственный раз обмолвился об улучшении коннозаводства, единственный раз — о монетном дворе. Его поразила хорошая память дон Альфонсо.

— С божьей и с твоей, государь, помощью, — ответил он, — может быть, и удастся наверстать за сто месяцев упущенное за сто лет. То, что сделано за эти три месяца, кажется мне неплохим началом.

— Кое-что сделано, — согласился король. — Но я не мастер дожидаться. Я тебе откровенно говорю, дон Иегуда, мне сдаётся, что ты принесёшь мне больше вреда, чем пользы. Раньше мои бароны хоть и неохотно и с оговорками, а все же вносили свою лепту на военные нужды, и это, как мне говорят, составляло главный доход казны. Теперь, когда ты стал моим эскривано, они ссылаются на долгие годы нудного мира и ничего не вносят.

Иегуду рассердило, что король как должное принял все, что удалось сделать, да ещё выдумывает какие-то упреки. Он жалел, что донья Леонор возвратилась в Бургос; при этой любезной даме, все освещающей своим присутствием, разговор принял бы более приятный оборот. Но он подавил недовольство и ответил с почтительной иронией:

— В этом отношении твои гранды похожи на твоих непривилегированных подданных. Как только дело коснется платежей, все они стараются найти отговорку. Но соображения, которые приводят твои бароны, шатки, и мои законоведы без труда могут их опровергнуть

убедительными доводами. Вскоре я буду тебя смиренно просить подписать увещательное послание к твоим рикос-омбрес, опирающимся на эти доводы.

Хотя наглость и спесь грандов и возмущали короля, все же его злило, что еврей неуважительно о них отзывается. Его злило, что еврей ему нужен. Он не сдавался:

— Ты навязал мне эти чертовы восемь лет перемирия. Вот теперь мне и приходится изворачиваться и прибегать к разным торгашеским уловкам и отпискам.

Иегуда сдержался.

— Твои советники, — ответил он, — согласились тогда, что долгий мир выгоден не только эмиру Севильи, но и тебе. Земледелие и промыслы в запустении. Твои бароны угнетают горожан и землепашцев. Тебе нужно несколько мирных лет, чтоб изменить это.

— Да, — с горечью сказал Альфонсо, — мне придется смотреть, как другие воюют с неверными, а ты в это время будешь действовать и делать дела.

— Не о делах речь, государь, — все так же терпеливо постарался втолковать своему повелителю Иегуда. — Твои гранды стали заносчивы, потому что ты не мог обойтись без них во время войны; сейчас им надо внушить, что ты король.

Альфонсо подошел вплотную к Иегуде и посмотрел ему прямо в лицо своими серыми, вдруг посветлевшими глазами.

— Какие обходные пути придумал ты, мой хитрый дон эскривано, — спросил он, — чтобы взять твои деньги сторицею с моих баронов?

Иегуда не отступил.

— Я располагаю большим кредитом, государь, — сказал он, — а значит, располагаю и временем. Поэтому я могу одолжить твоему величеству большие суммы и не боюсь, если мне придется долго ждать, пока они будут возмещены. На этих соображениях и построены мои расчеты: мы потребуем с твоих грандов, чтоб они в принципе признали твое право взимать налоги, но скорой уплаты мы не потребуем. Мы будем все снова и снова отодвигать платежи. Зато мы потребуем с них ответных уступок, которые будут им не дорого стоить. Мы потребуем, чтобы они предоставили своим городам и селам *фуэрос*, привилегии, которые дадут этим поселениям известную независимость. Мы добьемся, что все

больше и больше городов и сел будут подвластны только тебе и не будут подчинены твоим баронам. Горожане охотнее и в более точные сроки, чем твои гранды, будут платить подати, и подати более высокие. В трудолюбии крестьян и в приверженности к ремеслам и торговле горожан твоя сила, государь. Увеличь их права — и сила твоих строптивых грандов уменьшится.

Альфонсо был слишком умен и не мог не согласиться, что только таким путем можно сломить упорство его бессовестных баронов. В других христианских королевствах Испании — в Арагоне, Наварре, Леоне — тоже пытались оказывать поддержку горожанам и землепашцам против грандов. Только делалось это очень робко. Короли сами принадлежали к грандам, не к простолюдинам, они были рыцарями и даже себе самим не хотели признаться, что объединяются с чернью против грандов, и никто еще не посмел откровенно, без обиняков предложить такое дону Альфонсо. А чужеземец, понятия не имеющий, что такое рыцарь и дворянин, посмел. Он высказал в здравых словах то здоровое, что надо было сделать. Альфонсо был ему благодарен и ненавидел его.

— Ах ты великий хитрец, — с насмешкой сказал он, — неужели ты серьезно думаешь, что предписаниями и болтовней можно заставить Нуньесов или Аренсоз отказаться от городов и сел? Мои бароны — рыцари, а не торгаши и не законники.

Иегуда снова проглотил обиду.

— Твои господа рыцари, — ответил он, — научатся понимать, что право, закон и договор столь же сильны и действительны, как их замки и мечи. Я уверен, что с твоей доброй помощью, государь, я смогу их этому научить.

Король не хотел поддаваться впечатлению, которое оказывали на него спокойствие и уверенность дона Иегуды. Он упрямо настаивал:

— В конце концов они, может быть, и предоставят свободу торговли какому-нибудь паршивому городишке, но податей мне они платить не станут, это я наперед говорю. И они правы. Во время мира они не обязаны платить налоги. Когда они поставили меня королем, я дал на том клятву и скрепил ее подписью и печатью. *Jo el rey*. А теперь по твоей милости многие годы не

будет войны. Вот на что они ссылаются и на чем крепко стоят.

— Прости, государь, что я защищаю короля против короля, — с невозмутимым спокойствием сказал дон Иегуда. — Твои бароны не правы, их довод несостоятелен. Войны — я надеюсь на это всей душой — не будет восемь лет, но потом, если ты сам не станешь другим, опять будет война. А оказывать тебе военную помощь гранды обязаны. Мне, как твоему эскривано, надлежит заблаговременно позаботиться о твоей войне, то есть уже сейчас начать накапливать для нее деньги. Было бы неразумно думать, что можно спешно наскрести нужные суммы, когда уже начнется война. Мы установим только небольшой ежегодный сбор, и пока только с твоих городов. Им мы предоставим некоторые льготы, и они охотно окажут военную помощь. Твои бароны не захотят быть менее рыцарственными и отказать тебе в том, в чем не отказывают горожане.

Дон Иегуда подождал, пока Альфонсо обдумает его слова. Затем снова заговорил, уверенный в победе:

— Кроме того, государь, проявив сам поистине рыцарское великодушие, ты принудишь твоих грандов согласиться на небольшой дополнительный взнос.

— Что ты там еще придумал? — недоверчиво спросил дон Альфонсо.

— С того несчастливого похода в руках севильского эмира все еще осталось очень много пленников, — пояснил Иегуда. — Твои бароны нехотя выполняют обязательство выкупать пленников.

Дон Альфонсо покраснел. Закон и обычай требовали, чтобы вассал выручал своего виллана, барон — своего вассала, если те попадали в плен, будучи у них на службе. Бароны признавали, что это их долг, но на этот раз выполняли его особенно неохотно. Они обвиняли короля в печальном исходе сражения, вызванном излишней поспешностью. Дон Альфонсо с радостью заявил бы: «Я беру на себя выкуп всех пленников, скареды вы!» Только сумма нужна огромная, он не может себе позволить такой красивый жест.

Но тут Иегуда Ибн Эзра сказал:

— Осмелюсь предложить тебе, государь, дать выкуп за пленников из средств твоей казны. А от грандов, которые поймут, что это им выгодно, мы потребуем вза-

мен только одно: признать в принципе, что они обязаны уже сейчас платить военные налоги.

— А казна выдержит? — вскользь спросил дон Альфонсо.

— Это уж моя забота, государь, — так же вскользь сказал Иегуда.

Лицо дона Альфонсо просияло.

— Замечательный план, — признал он. Он подошел вплотную к своему эскривано и дотронулся до его нагрудной пластины. — Ты знаешь свое дело, дон Иегуда, — признал он.

Но сейчас же чувство радостной благодарности омрачилось сознанием, что он принимает все новые и новые одолжения от умного и неприятного ему торгаша.

— Жалко, что мы не можем таким же образом пристыдить баронов де Кастро и их друзей, — сердито сказал он и прибавил: — С баронами де Кастро ты втравил меня в скверную историю.

Такое искажение фактов возмутило Иегуду. Вражда между королем и баронами де Кастро началась еще с детских лет, она обострилась, когда дон Альфонсо отнял у них их толедский замок. А теперь король хотел взвалить всю ответственность за эту вражду на него.

— Я знаю, — ответил он, — бароны де Кастро ставят тебе в вину, что обрезанный пес оскверняет их замок. Но тебе, государь, безынтересно также, что они уже много лет поносят тебя.

Дон Альфонсо проглотил это, ничего не возразив.

— Ну хорошо, — сказал он, пожимая плечами, — попробуй пустить в ход свои уловочки и ужимочки. Но мои гранды народ неуступчивый, в этом ты скоро убедишься, и с де Кастро нам еще будет немало хлопот.

— Что ты одобрил мой план, государь, — это большая милость, — ответил Иегуда.

Он опустил на одно колено и поцеловал королю руку — крепкую мужскую руку, усеянную крошечными рыжими волосками, но протянута эта рука была вяло и неохотно.

На следующий день в кастильо Ибн Эзра явился дон Манрике де Лара, первый министр короля, чтоб засвидетельствовать свое почтение новому эскривано;

министра сопровождал его сын Гарсеран, близкий друг короля.

Дон Манрике, вероятно хорошо осведомленный о вчерашней аудиенции, сказал:

— Меня поразило, что ты предложил королю взаймы такую огромную сумму для выкупа пленников. — И он шутиливо предостерег: — Смотри, не опасно ли иметь своим должником могущественного короля?

Дон Иегуда отвечал односложно. Обида на короля за его высокомерие и недоверчивость еще не прошла. Иегуда, правда, знал, что здесь, на варварском севере, уважают только воина, о людях же, которые заботятся о благосостоянии страны, говорят с глупым пренебрежением, но он не думал, что ему так трудно будет к этому привыкнуть.

Дон Манрике угадал его мысли и, словно желая оправдать грубость короля, заметил, что нельзя обижаться на молодого задорного государя, когда он предпочитает рубить трудности мечом, а не разрешать их переговорами. Ведь дон Альфонсо с малолетства жил в военном лагере, он чувствует себя дома скорее на поле брани, чем за столом, где ведутся переговоры. Но, перебил сам себя дон Манрике, он пришел не для того, чтобы говорить о делах, а для того, чтоб приветствовать дона Иегуду в Толедо, и он попросил показать ему и его сыну дом; о чудесах которого наслышан весь город.

Иегуда охотно исполнил его желание. Они прошли мимо безмолвно склонявшихся перед ними слуг по устланым коврами покоем, по переходам и лестницам. Дон Манрике хвалил со знанием дела, дон Гарсеран — с наивным восхищением.

В саду они встретились с детьми дона Иегуды.

— Дон Манрике де Лара, первый советник короля, нашего государя, — представил Иегуда, — и его достойный сын, рыцарь дон Гарсеран.

Ракель с детским любопытством глядела на гостей. Без всякого смущения приняла она участие в разговоре. Но ее латинский язык, хотя она занималась очень прилежно, еще хромал, и, смеясь над собственными ошибками, попросила она гостей перейти на арабский. Завязался оживленный разговор. И отец и сын хвалили остроумие и прелесть доньи Ракель в галантных выра-

жениях, которые на арабском звучали особенно церемонно. Донья Ракель смеялась, гости смеялись тоже.

Четырнадцатилетний, совсем не застенчивый Аласар расспрашивал дону Гарсерана про лошадей и рыцарское искусство. Молодой гранд не мог не поддаться обаянию непосредственного, живого мальчика и охотно отвечал на его вопросы. Дон Манрике по-дружески посоветовал Иегуде отдать сына в пажи в какую-нибудь родовитую семью. Дон Иегуда ответил, что сам уже думал о том же; он промолчал о своей тайной надежде, что мальчика возьмет в услужение король.

Остальные гранды, и прежде всего друзья семьи де Лара, не отстали от дон Манрике и почтили нового эскривано майор своим посещением.

Особенно охотно приходили молодые господа. Им нравилось общество доньи Ракель. Девушки из дворянских семей появлялись только на больших придворных или церковных праздниках, они никогда не выходили одни, с ними можно было вести только общие, пустые разговоры. Беседы с дочерью министра-еврея вносили приятное разнообразие; она хотя и не охранялась так строго, все же была в известной мере дама. Они говорили ей длинные преувеличенные комплименты, как того требовало куртуазное обхождение. Ракель приветливо выслушивала и в душе смеялась над их влюбленной болтовней. Но порой она догадывалась, что за галантностью кроется грубость и желание; и тогда она робела и замыкалась.

Знакомство с христианскими рыцарями было ей приятно уже потому, что, разговаривая с ними, она упражнялась в здешнем языке: в официальной латыни, принятой при дворе и в обществе, и в вульгарной будничной латыни — в кастильском.

Новые знакомые предлагали свои услуги, когда ей хотелось посмотреть город.

Она сидела в носилках, по одну сторону ехал верхом дон Гарсеран де Лара или дон Эстебан Ильян, по другую — ее брат дон Аласар. Кормилица Саад сопровождала ее, тоже в носилках. Скороходы расчищали путь, черные слуги замыкали шествие. Так следовали они по городу Толедо.

За те сто лет, что город находился в руках христиан, он утратил великолепие и роскошь времен ислама, он

был меньше Севильи, но все же в городе и за его стенами жило значительно больше ста тысяч человек, верно, около двухсот тысяч; значит, Толедо был больше других городов христианской Испании, а также больше Парижа и гораздо больше Лондона.

В эту воинственную эпоху все крупные города были крепостями, даже веселая Севилья. В Толедо же каждый квартал был еще отдельно обнесен стенами с башнями, а многие дома дворян тоже представляли собой крепости. Укреплены были все ворота, укреплены все церкви и мосты, ведущие от подножия мрачной большой крепостной горы через реку Тахо в окрестности. А внутри городских стен на тесном пространстве дома жались друг к другу, ползли вверх по склону, ползли вниз по склону; ступенчатые улицы, темные и узкие, часто очень крутые, казались донье Ракель опасными ущельями — повсюду выступы, закоулки, стены и опять тяжелые, окованные железом огромные ворота.

Большие прочные здания стояли почти неизменными еще со времен ислама и только кое-как поддерживались. Донья Ракель про себя думала, что дома были гораздо красивее, когда о них заботились мусульмане. Зато ей очень нравилась пестрая суетливая толпа, с утра дотемна заполнявшая город, особенно главную площадь Сокодовер, по-видимому в старину бывшую рыночной. Шумели люди, ржали лошади, кричали ослы, все перли друг на друга, толкались, сбивались в кучу, образовывали заторы, на улицах валялся мусор. Но Ракель почти не жалела о прекрасном порядке, царившем в Севилье, — так нравилась ей кипучая толедская жизнь.

Она обратила внимание, как робки и сдержанны здесь мусульманские женщины. Все они ходили под густой чадрой. В Севилье женщины из простонародья во время работы или когда шли на рынок откидывали мешавшую им чадру, а в домах просвещенных вельмож только замужние дамы носили вуаль — очень тонкую, дорогую, скорее украшение, а не покров. Здесь же, несомненно, для того чтобы скрыться от взоров неверных, все мусульманские женщины носили длинную густую чадру, носили постоянно.

Молодые гранды, гордившиеся своим городом, рассказали донье Ракель историю Толедо. В четвертый день творения бог создал солнце и поставил его прямо над

Толедо, поэтому их город старше остальной земли. Город древен, тому есть много доказательств. Им владели еще карфагеняне, затем шестьсот лет — римляне, триста лет — готы-христиане, четыреста лет — арабы. Теперь уже сто лет, со времени славного короля Альфонсо, им опять владеют христиане и будут владеть до Страшного суда.

Эпоху величия и расцвета, рассказывали молодые гранды, город пережил во время господства христианских, вестготских властителей, потомками коих являются они, рыцари. В ту пору Толедо был самым богатым, самым великолепным городом на свете. Король Афанегильд дал в приданое своей дочери Брунгильде сокровища стоимостью в три тысячи раз тысячу золотых мараведи. У короля Реккареда был стол иудейского царя Соломона, выточенный из гигантского цельного изумруда и вделанный в золото, а еще у короля Реккареда было волшебное зеркало, в которое можно увидеть весь мир. Все это похитили, разорили и уничтожили мусульмане, неверные собаки, варвары.

Особенно гордились молодые рыцари своими церквями.

С робким любопытством смотрела Ракель на эти тяжелые здания, настоящие крепости. Ракель представляла себе, какие они, верно, были красивые, когда в них еще помещались мечети, когда их окружали деревья, фонтаны, колоннады, медресе. Теперь все было голо и мрачно.

Во дворе церкви св. Леокадии она нашла колодец, край которого был красиво выложен камнем с арабской надписью. Гордясь тем, что знает старинные куфические письма, Ракель водила пальцем от буквы к букве, вырезанным в камне и уже наполовину стертым, и читала: «Во имя всемилосердного бога, халиф Абдар Рахман, победитель, — да продлит бог его дни! — повелел соорудить этот колодец в мечети города Толейтола — да хранит его бог — в семнадцатую неделю 323 года». Значит, прошло уже двести пятьдесят лет.

— Это было очень давно, — сказал дон Эстебан Ильян, сопровождавший ее, и засмеялся.

Молодые гранды не раз предлагали показать ей церковь внутри. В Севилье много говорили об этих «церквях» — прекрасных старых мечетях, превращенных северными варварами в мерзостные капища идолопоклон-

ников. Ракель очень тянуло посмотреть такую церковь, но в то же время она чувствовала какой-то страх и каждый раз находила вежливый предлог для отказа. В конце концов она преодолела свою робость и в сопровождении дона Гарсерана и дона Эстебана вошла в церковь св. Мартина.

В полумраке горели свечи. Стоял запах ладана. А вот и то издревле запретное, что она хотела увидеть и чего боялась: изображения, идольские изображения. Западные магометане, правда, свободно толковали тот или иной запрет пророка, смотрели сквозь пальцы, когда правоверные пили вино и женщины не закрывали лица, но они крепко держались предписания пророка — не создавать изображения Аллаха, а также всего живущего — человека или зверя; разрешалось только чуть наметить форму растения или плода. А здесь всюду стояли люди, сделанные из камня или дерева, другие люди и звери, плоские и цветные, были нарисованы на деревянных досках. Так вот они, идолы, противные Аллаху и его пророку!

Тот, кому бог по великой милости своей дал разум, чувство и нравственные устои, будь он еврей или мусульманин, должен гнушаться таких изображений. И действительно, они отвратительны, необычно застывшие и все же живые, странно неправдоподобные, полумертвые трупы, словно уснувшая рыба на рынке. Эти варвары в своей гордыне хотят уподобиться Аллаху, они создают людей по образу и подобию его и преклоняют, глупцы, колени перед каменными и деревянными истуканами, ими же созданными, и дают им нюхать ладан. Но в день Страшного суда Аллах призовет тех, кто творил этих идолов, и повелит им вдунуть в истуканов жизнь, а если они не смогут, навеки ввергнет их в геенну огненную.

И все же Ракель влекло к ним. Ее пьянила мысль, что таким образом можно удержать человека, преходящую плоть, мимолетное выражение лица, движение, которое исчезает, едва возникнув. Сознание, что это доступно смертному человеку, наполняло ее гордостью и одновременно ужасом.

Сопровождавшие ее гранды с глубоким благоговением и усердием объясняли ей изображения. Вот деревянный человек в плаще и с гусем. Это — святой Мар-

тин, которому посвящена здешняя церковь. Он был воином и сражался против вражьих полчищ, вооруженный только крестом. Раз, когда было очень холодно, он отдал свой плащ бедняку, и с неба ему на плечи упал новый плащ. В другой раз, когда император не встал при виде его, загорелся трон, и императору волей-неволей пришлось почтить святого. Все это можно видеть — это нарисовано на досках. У доньи Ракель кружилась голова — не иначе как этот человек был дервишем.

На другой картине изображена была мусульманская девушка с корзиной, полной роз, а перед девушкой в смущении стоял мавр царственного вида и в царском одеянии. Дон Гарсеран со скрытой язвительностью рассказал, что это принцесса Касильда и ее отец, король Толедо — Аль Менон. Касильда, тайно воспитанная своей кормилицей в христианской вере, бесстрашно носила пищу христианским пленникам, умиравшим от голода в подземельях ее отца. Король узнал об этом от доносчика и неожиданно предстал перед дочерью. Он строго спросил, что у нее в корзине. Там лежал хлеб, но она ответила: «Розы». В гневе поднял он крышку — и что же? Хлеб превратился в розы. Это не удивило Ракель. О том же говорили и арабские сказки.

— А-а, понимаю, — сказала она, — Касильда была колдунья.

Дон Гарсеран строго поправил ее:

— Она была святая.

Дон Эстебан Ильян поведал ей, что в эфес его шпати вделана косточка святого Ильдефонсо и эта реликвия дважды спасала ему жизнь в бою. «Сколько колдунов у этих христиан», — подумала донья Ракель и весело рассказала об одном очень верном средстве: надо, чтобы в день битвы паломник, воротившийся из Мекки, лучше всего — дервиш, плюнул тебе в утреннее питье.

— Многие наши воины прибегают к этому средству, — заявила она.

Все новое, что Ракель видела, слышала и переживала в Толедо, поразительно быстро заслонило мусульманское прошлое. Ей уже трудно было точно представить себе лицо своей подруги Лейлы или пронзительный, будоражающий крик муэдзина из мечети Асхар, призывающего верных к молитве. Но она старалась ничего не забывать, читала по-арабски и упражнялась в изящной,

но трудной арабской каллиграфии. И хотя она чувствовала себя еврейкой, она продолжала соблюдать мусульманские обряды, совершала предписанные омовения и читала молитвы. Отец не препятствовал ей.

Постоянное присутствие кормилицы Саад напоминало ей прошлое. Вечером, когда кормилица помогала ей раздеваться, они болтали о том, что видели, и сравнивали здешнюю жизнь с севильской.

— Не очень-то дружи с неверными, моя козочка, — увещевала кормилица. — Они все срамники, Рехия, и будут гореть в аду, они это знают, вот и запосятся перед другими здесь, на земле. А султанша их самая заносчивая. Эта неверная живет почти все время далеко от гарема своего мужа, султана Альфонсо, в северном городе, о котором рассказывают, будто он такой же холодный и гордый, как она.

Да, неверные заносчивы, в этом кормилица права. Донья Ракель еще ни разу не видела короля. И даже ее отец — а ведь он один из его советников — видит его не часто.

От своего управителя и секретаря Ибн Омара, палатившего хорошую осведомительную службу, дон Иегуда узнал, как враждебно относятся к нему кастильские гранды. С тех пор как умер хитроумный Ибн Шошан, они расширили свои привилегии, а после поражения дон Альфонсо присвоили себе новые права и преимущества. Их возмущало, что опять появился иудей, на этот раз еще более хитрый и алчный, чем прежний, который хочет отобрать все, что они завоевали. Они ругались, злословили, строили козни. Иегуда с невозмутимым лицом выслушал доклад. Он приказал Ибн Омару распространить слух, будто новый эскривано защищает угнетенный народ против грабителей-баронов и хочет повысить благосостояние горожан и землепашцев.

Возглавлял недовольных доном Иегудой архиепископ Толедский, воинственный дон Мартин де Кардона, близкий друг короля. С тех пор как христиане снова отвоевали Кастилию, церковь вела ожесточенную борьбу против еврейских общин. Евреи не вносили, как прочее население, церковную десятину, они выплачивали подати непосредственно королю. Не помогли ни папские эдикты,

ни постановления коллегии кардиналов. Архиепископ Мартин был в ярости, ибо предвидел, что с назначением хитрого Ибн Эзры евреи станут еще упорнее в своем наглом стремлении не подчиняться требованиям церкви. Он не гнушался никакими средствами в борьбе против нового эскривано.

Тем более странно было, что вскоре после переезда Иегуды к нему, в кастильо Ибн Эзра, явился, и при этом с явно дружественными намерениями, секретарь архиепископа, каноник дон Родриго, духовник короля.

Скромный, вежливый дон Родриго был большим любителем книг. Он говорил, читал и писал по-латыни и по-арабски, читал и по-еврейски. Ему нравилось беседовать с Иегудой, но еще больше с ученым другом Иегуды — Мусой Ибн Даудом.

Покои Мусы были удобно обставлены. Старiku дважды пришлось жить в нужде и в изгнании, и он доказал, что может безропотно сносить нищету. Именно поэтому он очень ценил удобства. Не без некоторой добродушной гордости показал он канонику множество труб тщательно разработанной системы отопления и войлочный настил на стенах, который смачивался при помощи хитро придуманного искусного устройства и обеспечивал приятную прохладу в жаркие дни. Многочисленные книги, принадлежащие Мусе, были удобно размещены, его любимый большой налой — хорошо освещен. Красивая полукруглая галерея, выходившая в сад, казалось, звала к спокойному созерцанию.

Жадный до знаний каноник не мог наглядеться на библиотеку Иегуды и Мусы. Его восхищало разнообразие книг по всем отраслям знания, их изящная каллиграфия, инициалы и пестрые заставки, мастерски сделанные, разукрашенные футляры для свитков, нарядные и в то же время прочные переплеты книг. Но особенно поразил его материал, на котором было написано большинство книг, тот материал, о котором христианский мир знал только понаслышке: бумага.

Увы, им, ученым христианского государства, приходится писать на пергаменте, на коже животных, что требует значительно больше труда, да и материал это очень дорогой и редкий. Писцам часто приходится пользоваться уже исписанным пергаментом, чтобы изложить свои мысли, приходится с большим трудом счищать и сцара-

пывать то, что с большим трудом было написано их предшественниками, и кто может поручиться, что сегодняшний писец с самыми благими намерениями не уничтожит возвышенную мудрость своего предшественника, чтобы сохранить для потомства собственные, возможно очень наивные, мысли.

Дон Иегуда объяснил канонику, как изготавливается бумага. На мельницах перемалывают беловатый растительный материал, называемый хлопком, в кашницу, которая затем вычерпывается и высушивается; все в целом обходится совсем недорого. Лучшая, крупнозернистая бумага изготавливается в Хативе и называется хатви. Дон Родриго с нежностью подержал в руках написанную на хатви книгу, наивно удивляясь, что такое огромное духовное богатство вмещается в таком малом объеме и весе. Иегуда рассказал, что начал готовить устройство бумажных мануфактур и в Толедо — воды здесь достаточно, почва для нужных растений подходящая. Дон Родриго был в восторге. Иегуда обещал уже сейчас доставить ему бумаги.

Затем дон Родриго и старый Муса сидели одни в круглой галерее и вели неспешную беседу. Дон Родриго говорил, что и в христианских странах слышаны об учености Мусы, особенно об историческом труде, над которым он работает, слышаны также и о том, что он претерпел великие преследования. Муса поблагодарил, вежливо склонив голову. Худой и длинный, он удобно сидел в мягких подушках, слегка нагнувшись вперед, большие кроткие глаза светились спокойствием и мудростью. Он не был многословен, но во всем, что он говорил, чувствовались обширные знания, богатый опыт, глубокая мысль. Его слова звучали по-новому, увлекательно, иногда, правда, возбуждали тревогу.

Многое могло тревожить в кастильи Ибн Эзра. В числе надписей, сверкавших на фризе, встречались и еврейские. Их было не легко прочесть среди замысловатых завитушек орнамента. Но каноник, гордясь своим знанием еврейского языка, разобрал, что они взяты из Священного писания, из книги Екклесиаста, или Проповедника. Да, подтвердил Муса, это так, и он взял указку и показал канонику, как сплетались в фразы слова, то теряясь среди запутанных арабесок, то снова появляясь, показал, прочитал и перевел на латинский язык. Стих

гласил: «Участь сынов человеческих и участь животных — одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одна душа у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета! Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвращается в прах. Кто знает: душа сынов человеческих восходит ли вверх и душа животных сходит ли вниз, в землю?» Дон Родриго следил глазами за еврейскими письменами на стене, видел и слышал, что Муса переводит правильно. Но ведь эти слова, которые он помнил по переводу святого Иеронима, звучали как будто иначе? В устах мудрого и кроткого Мусы даже слово божие как будто слегка отдает запахом серы?

Как бы там ни было, но человек, пекущийся о библиотеке кастильо Ибн Эзра, притягивал каноника, пожалуй, еще сильнее, чем сама превосходная библиотека. Когда он глядел на спокойно сидевшего в подушках Мусу, ему казалось, что время не властно над ним, так же как и над мудростью. Иной раз пятидесятилетнему дону Родриго казалось, что Муса одного с ним возраста, иной раз — что он древен, как мир. Блеск спокойных, чуть насмешливых глаз и привораживал и смущал его, и все же с этим человеком ему говорилось легче, чем с большинством не мудрствующих лукаво христиан.

Он рассказывал Мусе про академию, которой руководил. Разумеется, его скромная школа не может равняться с мусульманскими, но все же через нее Запад узнаёт арабскую, а также и языческую мудрость древних.

— Поверь мне, высокомудрый Муса, — горячо говорил он, — сердце мое вместительно. Я даже заказал перевод Корана на латинский. Кроме того, у меня в академии занимаются и неверные — евреи и мусульмане. Если ты позволишь, я приведу к тебе кого-нибудь из своих учеников, чтоб он тоже удостоился беседы с тобой.

— Да, высокочтимый дон Родриго, приведи мне твоих учеников, — приветливо ответил Муса. — Но посоветуй им быть осторожными. И сам будь осторожен! — И он указал на изречение, украшавшее стену, — странно, опять оно было взято из Священного писания, на этот раз из Пятой Книги Моисеевой: «Проклят, кто слепого сбивает с пути!»

Когда дон Родриго распрощался наконец с хозяином дома, гораздо позже, чем предполагал — а он действительно просидел неприлично долго, — он шутливо сказал:

— Мне следовало бы сердиться на тебя, дон Иегуда. По твоей вине я чуть не преступил десятой заповеди. Я, правда, не пожелал ни твоего дома, ни твоего осла, ни твоих слуг и служанок, но боюсь, что я пожелал твои книги.

Старейшина общины, дон Эфраим, пришел к Иегуде, чтобы поговорить с ним о делах альхамы.

— Как и следовало ожидать, — начал он, — твоя слава и блеск принесли благословение общине, но вместе с тем и новые бедствия. Твое высокое положение разожгло зависть нашего ненавистника архиепископа, этого нечестивца, этого Исава. Дон Мартин извлек на свет божий запыленный пергамент — постановление коллегии кардиналов, согласно которому они уже шесть лет назад требовали, чтобы не только сыны Эдома, но и дети Авраамовы выплачивали десятину церкви. Тогда благородный альхаким Ибн Шошан — да будет благословена его память! — отразил нападение тонзурованных. Но теперь нечестивец решил, что пришел его час. Его послание к альхаме полно угроз.

Дон Иегуда знал, что в требовании десятины дело было не только в деньгах. Победа церкви ставила под угрозу основную привилегию евреев — тогда они уже не будут непосредственно подчинены королю, тогда между ними и королем протиснется архиепископ. И дон Иегуда в душе должен был признать: дон Эфраим опасается не зря — на этот раз архиепископ, пожалуй, может добиться своего. Дон Мартин — близкий друг короля, уж конечно, он нашептывает ему, что надо искупить грех назначения на такую высокую должность еврея Ибн Эзры, принудив еврейскую общину выплачивать десятину церкви.

Но вслух Иегуда не высказал своих сомнений.

— На этот раз нечестивцу, так же как и раньше, не удастся его замысел, — сказал он. — Кроме того, ведь все налоги в моем ведении. Дозволь *мне* ответить на послание архиепископа.

Это совсем не входило в планы дона Эфраима, он не хотел уступить ни одного из своих дел Иегуде.

— Да не подумаю я возложить на твои плечи новые бремена, господин мой и учитель Иегуда. Но я хотел бы смиренно поговорить с тобой от имени альхамы о другом. Роскошь твоего дома, изобилие, которым благословил тебя господь, милость короля, которую господь обратил на тебя, для всех завистников израильского народа как сучок в глазу и вечная заноза в черном сердце архиепископа. Поэтому я снова внушил альхаме как можно меньше привлекать к себе внимание и не раздражать злодеев богатством. Будь милостив, не раздражай и ты их, дон Иегуда.

— Я понимаю твои опасения, господин мой и учитель дон Эфраим, — ответил Иегуда, — но не разделяю их. Мой опыт учит, что сила внушает страх. Если я проявлю слабость или скарденность, архиепископ осмелеет и ополчится на меня и на вас.

В ближайшую субботу дон Иегуда пошел в синагогу.

Он был поражен, какой бедной и голой выглядит внутри даже эта главная святая испанского еврейства. Дон Эфраим и здесь не допускал роскоши. Правда, когда открывался ковчег, где хранится тора, кивот завета, оттуда сияли и блестили священные эмблемы, которыми были украшены свитки Писания, дорогие тканые покровы, золотые, сверкающие драгоценными камнями пластины и венцы.

Дон Иегуда был позван читать недельную главу Библии. Там говорилось, как языческий пророк Валаам хотел призвать проклятие на народ Израилев. Но богу угодно было, чтобы он благословил избранный народ, и языческий пророк возгласил: «Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алойные деревья, насажденные Иеговой, как кедры при водах... ты пожирал народы язычников, твоих врагов, ты сокрушаешь кости твоих преследователей».

Иегуда читал стихи монотонно, нараспев, по древнему чину, он читал с трудом, его акцент, верно, казался некоторым странным, даже чуточку смешным. Но никто не смеялся. Нет, толедские евреи, и мужчины и женщины, почтительно слушали, волнение дона Иегуды захватило и их. Этот человек, по воле судьбы еще в отроче-

стве ставший мешумадом, сам, своей охотой, со смирением в сердце вернулся в лоно Авраамово, и, получив власть, он поможет, чтобы благословение божие, о котором он читал, исполнилось и на них.

Теперь, когда Ракель могла открыто исповедовать иудейскую веру, ей стало труднее, чем раньше, чувствовать себя еврейкой. Она часто читала Великую Книгу, она часами сидела, задумавшись, отдаваясь страстным грезам о деяниях отцов, царей и пророков. То сильное, возвышенное, глубоко благочестивое, о чем там говорилось, и то слабое, мелкое, глубоко порочное, о чем не было утаено, оживало в ее воображении, и она была горда и счастлива, что родилась от таких праотцев.

Но среди живых евреев, окружавших ее здесь, в Толедо, она не чувствовала себя своей, хотя твердо, честно решила, что принадлежит к ним.

Чтобы лучше узнать свой народ, она часто ходила в еврейский город, в *иудерию*.

Туда ее обычно сопровождал дон Вениамин бар Абба, молодой родственник старейшины альхамы. Его привел в кастилю Ибн Эзра каноник дон Родриго; Вениамин был его питомцем, ученым переводчиком при академии.

Он отличался острым умом и обладал глубокими знаниями, хотя ему шел всего двадцать третий год; в нем было что-то мальчишеское, лукавое, озорное, что привлекало донью Ракель. Скоро между ними установились хорошие, товарищеские отношения. Они охотно потешались над тем, что другим вряд ли показалось бы смешным, и многие вопросы, которые донья Ракель не задала бы отцу и даже дяде Мусе, она задавала своему другу Вениамину.

Он тоже чистосердечно рассказывал ей о своем самом сокровенном. Например, о том, что ему совсем не по душе его родственник, дон Эфраим, парнас; для него он слишком хитер, и не будь он, Вениамин, так беден, он не выдержал бы в доме Эфраима и одного дня. У доньи Ракель никогда еще не было бедного друга. Она смотрела на него с удивлением и любопытством.

Вениамин исполнял еврейские обряды, но только чтобы угодить дону Эфраиму, сам он не придавал им значения. Зато он восхищался арабской мудростью и охотно

говорил о великих древних умолкших народах, особенно о греках — об ионийцах, как он их называл; одного из этих ионийцев, некоего Аристотеля, он считал равным учителю Моисею. При всем том он гордился, что принадлежит к евреям, ибо они — библейский народ, через тысячелетия пронесший неизменной Библию.

Вениамин был спутником доньи Ракель по иудерии, еврейскому городу. В самом Толедо жило свыше двадцати тысяч евреев и еще пять тысяч вне стен города, и хотя никакой закон им этого не предписывал, большинство селилось в своем собственном квартале, также огражденном стенами с крепкими воротами.

Евреи с незапамятных времен осели в Толедо, рассказывал Вениамин; само название города произошло от еврейского слова *толедот* — ряд поколений. Первые евреи, пришедшие сюда, были посланы царем Соломоном, чтобы собрать дань с варваров. Почти все время жилось здесь евреям неплохо. Но при христианах-вестготах им пришлось претерпеть страшное гонение. Яростнее других преследовал их некий Юлиан, свой, выходец из их же народа, переметнувшийся к христианам и возведенный ими в архиепископы. Он издавал все более суровые указы против своих бывших братьев, а под конец добился закона, по которому тот, кто не примет крещения, будет продан в рабство. Тогда евреи призвали из-за моря мавров и помогли им покорить страну. Мавры поставили в городах еврейские гарнизоны под началом еврейских полководцев.

— Представь себе, донья Ракель, — говорил Вениамин, — что получилось: гонимые вдруг стали господами, а бывшие гонители — рабами.

Вдохновенно говорил Вениамин о книгах, созданных во время господства ислама сефардскими евреями — поэтами и учеными. Он читал ей наизусть пылкие стихи Соломона Ибн Габироля и Иегуды Галеви. Он рассказывал о трудах Авраама бар Хия по математике, астрономии, философии.

— Все, что создано великого здесь, в стране Сефард, в чем бы оно ни проявилось — в мысли человека или в камне, создано при помощи евреев, — убежденно сказал он.

Однажды Ракель поведала ему о смущении, в которое повергли ее идолы в церкви св. Мартина. Он слу-

шал. Нерешительно мялся. Затем с лукавой улыбкой вытащил книжицу и тайком показал ей. В книжке — он назвал ее своей записной книжкой — были рисунки, изображения людей. Иногда они были злыми и насмешливыми, порой человеческие лица превращались в звериные морды. Донья Ракель была поражена, испугана, заинтересована. Какое неслыханное богохульство!

В книжке доня Вениамина были не только отвлеченные рисунки человека вообще, вроде тех идольских изображений, что донья Ракель видела в церкви, в его рисунках можно было узнать определенных людей. Мало того, он задумал стать равным богу, он дерзновенно, по собственной воле изменял их; он искажал их душу. И земля не разверзнется и не поглотит нечестивца? А вдруг и сама она, Ракель, — соучастница нечестивого деяния, раз она глядит на эти рисунки? Но она не могла совладать с собой и глядела. Вот изображение животного, как будто лисы, но это совсем не лиса, с хитрой мордочки смотрят кроткие глаза доня Эфраима. И Ракель, несмотря на все свои сомнения и страхи, рассмеялась.

Ближе всего был ей Вениамин, когда он рассказывал разные истории, чудесные случаи, приключившиеся с великими иудейскими мужами в Толедо.

Вот хотя бы историю рабби Ханана бен Рабуа. Он соорудил замечательные водяные часы. Они состояли из двух водоемов, двух цистерн, устроенных с таким искусным расчетом, что одна медленно наполнялась водой, по мере того как прибавлялась луна, а другая опустошалась, и наоборот, по мере того как луна шла на ущерб, так что по ним можно было прочесть день месяца и даже час дня. Завистники обвинили рабби Ханана в колдовстве. «Знание всегда кажется подозрительным», — заявил не по годам рассудительный дон Вениамин. И алькальд заключил рабби Ханана в темницу. Цистерны меж тем уже не наполнялись водой, как полагается. Тогда подумали, что рабби испортил, до того как его заключили в темницу, искусно изготовленные водяные часы, над которыми он трудился трижды семь лет, и решили заставить его починить часы. Но он испортил их окончательно. Тогда его сожгли.

— Башня, в которой он сидел, стоит и поныне, — закончил дон Вениамин. — И цистерны ты еще можешь

увидеть в Уэрта-дель-Рей, в запущенном увеселительном замке Галиана.

Вечером Ракель рассказала кормилице Саад про бедного многоискусного ученого рабби Ханана, который умер за свое искусство и науку, замученный злыми людьми. Она образно рассказывала о водяных часах, и о темнице, и о сожжении раввина. А кормилица Саад сказала:

— Здесь, в Толедо, люди злые. Хорошо бы, Рехия, козочка моя, вернуться в Севилью, да хранит ее Аллах!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Братья Фернан и Гутьере де Кастро не ограничились пустыми угрозами против того, кто посадил в их кастильо обрезанного. Они вторглись с оружием в руках во владения дона Альфонсо, раз даже вошли в город Куэнку. Они нападали на горожан, находящихся в пути, и уводили их как пленников в свои замки. Они отнимали у кастильских крестьян скот. Захватив добычу, они уходили к себе в Альбаррасин — в неприступные горы.

Дон Альфонсо рвал и метал. С тех пор как он себя помнил, он ненавидел всех де Кастро. В трехлетнем возрасте он стал королем, и один из семьи де Кастро правил от его имени, он строго и плохо обращался с мальчиком, и Альфонсо возликовал, когда наконец Манрике де Лара свалил баронов де Кастро. Но де Кастро были по-прежнему могущественны в своем графстве, и среди грандов Кастилии у них насчитывалось много приверженцев.

Последние наглые насилия братьев де Кастро довели Альфонсо до бешенства. Так продолжаться не может. Он вторгнется в их замки и разорит их, он обреет обоих братьев наголо и заточит в монастырь; нет, он отрубит им головы.

Втайне он знал, что такой набег неизбежно приведет к опасной ссоре с его дядей, королем Арагонским.

Дело в том, что уже с давних пор Арагон, так же как и Кастилия, претендовал на сюзеренные права над графством де Кастро, над гористым Альбаррасином, расположенным между Кастилией и Арагоном. Однако после смерти последнего владетельного графа его сыновья,

Фернан и Гутьере де Кастро, отказались признать над собой чье-либо главенство. Если теперь он, Альфонсо, вторгнется в их страну, они обратятся за помощью к Арагону, и его дядя Альфонсо-Раймундес, король Арагона, не упустит случая принять их к себе в вассалы и взять под свою защиту против него, Альфонсо. А это означает войну с Арагоном.

Но Альфонсо отгонял эти опасения еще до того, как они успевали оформиться в мысли. Он выступит против графов де Кастро! Он призовет Иегуду. Пусть достает ему нужные деньги!

Весело шел Иегуда в королевский замок. Он не знал, зачем понадобился дону Альфонсо, которого давно не видел, и радовался, что может ему доложить о своих успехах; больше того: у него в руках было вещественное доказательство одного из этих успехов, доказательство совсем небольшое по размерам, но оно, несомненно, обрадует и развеселит дона Альфонсо.

Он стоял перед королем и докладывал. Несколько рикос-омбрес, чтобы быть точным — девять, затянувшие уплату податей, подписали и скрепили печатью свое заявление о том, что в случае дальнейшей просрочки они отказываются в пользу короля от своих притязаний на определенные города. Дальше Иегуда доложил, что налажено одиннадцать новых образцовых хозяйств, что неподалеку от Талаверы приступлено к пробному разведению шелковичных червей, открыты новые большие мануфактуры здесь, в Толедо, а также в Бургосе, Авиле, Сеговии, Вальядолиде.

А затем он преподнес свой большой сюрприз.

— Государь, ты выражал недовольство по поводу того, что я не призвал в страну золотых дел мастеров и чеканщиков монеты, — сказал он. — Дозволь мне сегодня почтительно передать тебе первое изделие твоих мастеров.

И с гордой улыбкой передал он дону Альфонсо то, что принес с собой.

Король взял, посмотрел и просиял. До сих пор в христианских государствах полуострова были в обращении только арабские золотые монеты. Сейчас он держал в руке первую золотую монету христианской Испании, кастильскую монету. Блестя, выделялся красновато-желтый его, короля, профиль, и сразу можно было узнать,

что это именно он, а вокруг шла латинская надпись: «Альфонсус, милостию божией король Кастилии». На другой стороне монеты был изображен покровитель Испании апостол Иаков, Сант-Яго, верхом на коне с поднятым мечом, такой, каким он не раз являлся в небесах христианским воинствам, помогая им крушить неверных.

Жадно, с детской радостью рассматривал и щупал дон Альфонсо прекрасную монету. Итак, отныне его лицо, вычеканенное на добром, полноценном золоте, узнают во всех христианских странах и в странах ислама, и всем оно будет напоминать, что у Кастилии надежные хранители — Сант-Яго и он, дон Альфонсо.

— Это ты замечательно сделал, дон Иегуда, — похвалил он, и его светлое лицо и светлые глаза сияли такой радостью, что Иегуда забыл, как несправедлив был к нему этот человек.

Но затем изображение воинственного Сант-Яго напомнило королю о его намерениях и о том, ради чего он призвал своего эскривано; весело, без всякого перехода, он сказал:

— Раз у нас есть деньги, я могу выступить против братьев де Кастро. Как ты думаешь, хватит нам на поход шести тысяч золотых мараведи?

Радость дон Иегуды сразу померкла, он объяснил, что бароны де Кастро, конечно, обратятся за помощью к королю Арагона и что король Альфонсо-Раймундес признает их своими вассалами.

— Твой августейший дядя нападет на тебя, — настойчиво убеждал Иегуда. — У него наготове значительные силы, которые он собрал для похода в Прованс, и казна его полна. Вот увидишь, дон Альфонсо, ты окажешься вовлеченным в войну с Арагоном при крайне неблагоприятных для тебя обстоятельствах.

Дон Альфонсо и слышать ничего не хотел.

— А ну тебя с твоими пустыми отговорками! — прервал он Иегуду. — Против де Кастро хватит двух сотен хороших копий, я постиг искусство быстрых нападений, все сведется к стремительному набегу, и только. Если я завладею Альбаррасином или хотя бы только Санта-Марией, мой слабодушный дядя ограничится тем, что будет грозить мне из Арагона и не выступит. Раздобудь мне шесть тысяч золотых мараведи, дон Иегуда! — настаивал он.

Иегуда знал: то, в чем король хотел убедить его и себя, — напрасные надежды. Дон Альфонсо-Раймундес, при всем своем миролюбии, пойдет войной на дону Альфонсо, если у него будет для этого удобный повод.

Дело в том, что дон Альфонсо-Раймундес питал глубокую неприязнь к своему племяннику Альфонсо, и не без основания. Кастилия, ссылаясь на стародавние грамоты, притязала на сюзеренные права над Арагоном. Эти сюзеренные права были вопросом чистого престижа. Так, например, очень могущественный английский король, будучи властелином многих франкских земель, признавал своим сюзереном короля Франции, хотя тот владел значительно меньшей частью Франции, чем он сам. В сущности, старому арагонскому королю Альфонсо-Раймундесу было довольно безразлично, будет ли у него немножко больше или немножко меньше престижа. Но в своем неистовом племяннике он видел воплощение пустого, отжившего рыцарского идеала, и его бесило, что многие, даже его собственный сын, держались за такое далекое от реальной жизни рыцарство и благоговели перед доном Альфонсо, как перед героем. Поэтому он заявил, что требование дону Альфонсо признать его сюзеренные права потеряло всякий смысл. Между тем Альфонсо при каждом удобном случае возобновлял свои притязания и хвалился, что наступит день, когда дерзкий арагонец преклонит перед ним колени, как перед своим законным сюзереном.

Значит, если Альфонсо действительно предпримет поход, Арагон обязательно вступит в войну, и дон Иегуда обдумывал, как бы это поосторожнее втолковать королю. Но Альфонсо предвидел все возражения Иегуды, он не хотел их знать и опередил своего эскривано.

— В сущности, во всем виноват ты, — гневно крикнул он, — нечего было лезть в дом баронов де Кастро!

За эти трудные месяцы дон Иегуда приобрел второе лицо — маску вежливого смирения. Но он не мог совладать со своим голосом: в минуты волнения он заикался и шепелявил. Так было и теперь, когда он ответил:

— Поход против де Кастро, государь, обойдется не в шесть тысяч золотых мараведи, а в двести тысяч. Благоволи поверить мне — Арагон ни в коем случае не допустит, чтобы ты выступил против де Кастро.

Он решил привести королю последний неопровержимый довод.

— Тебе известно, что альхакимом при арагонском дворе мой родич дон Хосе Ибн Эзра. Он посвящен в планы короля. Уже не раз твой августейший дядя хотел оказать вооруженную поддержку баронам де Кастро. Мы с братом вступили в переписку и советовались друг с другом, и дону Хосе удалось удержать своего короля. Однако он предостерегал меня. Арагон связан с баронами де Кастро обязательством вступить за них в случае твоего нападения.

Гладкий лоб дона Альфонсо прорезала глубокая морщина.

— Я вижу, ты и твой любезный братец усердно ведете переговоры за моей спиной, — сказал он.

— Я бы уже давно сообщил тебе о предостережении дона Хосе, — возразил Иегуда, — но ты не соизволил допустить меня пред свое лицо.

Король широкими шагами ходил из угла в угол. Дон Иегуда продолжал ему втолковывать:

— Я понимаю, что тебе, государь, не терпится наказать дерзких баронов. И мне — не прогневаясь на мои смиренные слова — тоже не терпится. Но будь милостив, соизволь подождать еще немного. Если спокойно взвесить, нанесенный братьями де Кастро ущерб не так уж велик.

— Мои подданные томятся у них в подземельях! — крикнул Альфонсо.

— Прикажи, и я выкуплю пленников, — предложил Иегуда. — Это мелкий люд. Весь вопрос в двух-трех сотнях мараведи.

— Замолчи! — накинулся на него Альфонсо. — Король не выкупает своих подданных у вассала! Но тебе этого не понять, торгаш!

Иегуда побледнел. Спор шел именно о том, являются ли бароны де Кастро вассалами дона Альфонсо. Но что поделаешь, эти гордецы считают грабеж и убийство единственным приличествующим им способом примирять споры. Охотнее всего он сказал бы: «Начинай свой поход, дурень ты рыцарь. Шесть тысяч золотых мараведи я тебе, так и быть, выброшу!» Но если дело дойдет до войны с Арагоном, всем его планам конец. Он должен воспрепятствовать этому походу.

— А если, — начал он, — мы найдем способ освободить пленников, не нанося ущерба твоему королевскому достоинству? Если мы добьемся, чтобы бароны де Кастро выдали пленников Арагону? Дозволь мне пачать переговоры. Может быть, если тебе угодно будет дать согласие, я сам отправлюсь в Сарагосу, чтобы посоветоваться с доном Хосе. Прошу тебя, государь, обещай мне одно: ты не начнешь военных действий против де Кастро, пока не согласишься еще раз поговорить об этом со мной.

— Ты много на себя берешь! — проворчал Альфонсо.

Но он понял все безрассудство своих намерений. К сожалению, еврей прав.

Он взял золотую монету, внимательно осмотрел ее, взвесил на ладони. Просветлел.

— Я ничего не обещаю, — сказал он. — Но я подумаю над тем, что ты сказал.

Иегуда понял, что большего ему не добиться. Он простился и уехал в Арагон.

Каноник Родриго и в отсутствие Иегуды часто заживал в кастильо Ибн Эзра. Ему нравилось общество старого Мусы.

Они сидели в небольшой галерее, глядели в безмолвный сад, слушали тихий, всегда равномерный, всегда изменчивый говор водных струй и вели неспешные беседы. Вдоль карниза тянулся красно-лазоревого, блестящий золотом фриз с мудрыми изречениями. Кудрявые буквы нового арабского письма, вплетенные одна в другую, обвитые цветочным орнаментом, переходящие в арабески, пестрой своей сетью, словно ковром, покрывали стены. Среди причудливых завитков выделялись староарабские, куфические, геометрические письмена и массивные еврейские, складывались в изречения, терялись, переходили в другие, снова появлялись, странно волнующие, смущающие.

Родриго отыскивал в зарослях орнамента и арабесок еврейское изречение, которое еще в тот раз, когда он пришел сюда впервые, перевел ему Муса: «Участь сынов человеческих и участь животных — одна... и одна душа у всех... Кто знает: душа сынов человеческих восходит ли вверх и душа животных сходит ли вниз, в землю?»

Уже в тот раз каноника тревожило, что этот стих в чтении Мусы звучит иначе, чем в привычном ему латинском переводе. Теперь он наконец решился обсудить это с Мусой. Но тот приветливо предостерег его:

— Не следует заниматься такими опасными рассуждениями, мой высокочтимый друг. Тебе известно, что, когда Иероним переводил Библию, он был вдохновлен святым духом, значит, слова, которыми бог обменялся с Моисеем, на латинском языке не менее божественны, чем еврейские. Не стремись к слишком большой мудрости, высокочтимый дон Родриго. Пес сомнения спит чутко. Он может проснуться и обляять твое убеждение, и тогда ты погиб. И так уже многие твои собратья из других христианских стран называют наш Толедо городом черной магии, а наши кудрявые арабские и еврейские письмены представляются им сатанинскими каракулями. Смотри, как бы не объявили тебя еретиком, если ты будешь так любопытствовать.

И все же дон Родриго не мог отвести свои кроткие глаза от смущающих надписей. Но еще больше, чем надписи, тревожил каноника человек, по желанию которого они были выбраны. Старый Муса — это дон Родриго понял очень скоро — был безбожником до мозга костей. Он не верил даже в своего Аллаха и Магомета, и все же этот язычник был добрым, терпимым, кротким. А сверх всего и прежде всего — настоящим ученым. Он, Родриго, изучил все, что могла дать христианская наука, тривиум и квадравиум — грамматику, диалектику и риторику, арифметику, музыку, геометрию и астрономию и, кроме того, все дозволенные арабские знания и всю христианскую премудрость; но Муса знал гораздо больше, он знал все, над всем размышлял, и одним из прекраснейших даров божиих была беседа с этим безбожником.

— Еретиком — меня? — с ласковой грустью ответил дон Родриго на предостережение старого ученого. — Боюсь, что еретик *ты*, мой милый, мудрый Муса. И боюсь, что не только еретик, но настоящий язычник, не верящий даже в истины собственной веры.

— Ты этого боишься? — спросил старый, уродливый мудрец и устремил пронизательный взгляд своих умных глаз на кроткое лицо дона Родриго.

— Я боюсь этого потому, что я тебе друг, и потому,

что мне будет жаль, если ты будешь гореть в геенне огненной, — ответил тот.

— А разве я не буду гореть в геенне огненной уже по одному тому, что я мусульманин? — осведомился Муса.

— Не обязательно, милый Муса, — наставительно сказал Родриго. — И уж во всяком случае, не на таком жарком огне.

Помолчав немного, Муса задумчиво высказал предосудительную мысль:

— Я не делаю особого различия между тремя пророками, в этом ты, пожалуй, прав. Я одинаково чту Моисея, Христа и Магомета.

— Мне такое даже слушать негоже, — сказал каноник и немножко отодвинулся. — Я должен был бы принять против тебя меры.

Муса вежливо заметил:

— В таком случае считай, что я ничего не сказал.

Во время таких бесед Муса иногда вставал, подходил к своему налою и, разговаривая, чертил круги и арабески. Родриго с завистью и укоризной смотрел, как он зря расходует драгоценную бумагу.

Каноник охотно читал Мусе отрывки из своей хроники, чтобы получить от него дополнительные или более точные сведения. В его хронике много говорилось об умерших святых. Они часто побивали неверных, сражаясь в воздухе на стороне христиан; и реликвии, взятые в бой, тоже не раз приносили победу христианам. Муса заметил, что эти святые останки не раз также были свидетелями поражения христиан; но высказал он свою мысль спокойно и деловито и счел вполне понятным, что Родриго об этом не упоминает. Вообще же он вникал в то, что читал ему каноник, и укреплял в нем веру в значительность его труда.

Когда же Муса читал дону Родриго свое собственное сочинение «Историю ислама в Испании», бедному счастливцу дону Родриго казалось безнадежно примитивным то, что писал он сам. Его бросало в жар и в холод, когда он слушал этот своеобразный, смелый исторический труд. «Государства, — говорилось там, — установлены не богом, их порождают естественные силы жизни. Объединяться в общество необходимо людям для сохранения рода человеческого и культуры, государственная власть

необходима, чтобы люди не уничтожили друг друга, ибо они от природы злы. Сила, связующая государство в единое целое, — это внутренняя волевая, историческая и кровная связь. Государствам, народам, культурам, как и всему созданному, отведен от природы определенный срок жизни; как и отдельные существа, они проходят через пять возрастов: возникновение, восход, расцвет, закат, уничтожение. Цивилизация неизбежно переходит в изнеженность, свобода в скептицизм, и государства, народности, культуры сменяют друг друга согласно строгим, извечным, раз навсегда установленным законам, все постоянно непостоянно, как летучие пески пустыни».

— Если я тебя верно понял, мой друг Муса, — заметил как-то в связи с таким чтением дон Родриго, — ты вообще не веришь в бога, ты веришь только в кадар, в судьбу.

— Бог есть судьба, — возразил Муса. — Это сумма знаний, вытекающая и из Великой Книги евреев, и из Корана.

Он поднял глаза, а за ним и Родриго проследил взглядом за выходящим по фризу стихом, в котором Соломон возвещает: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать; время насаждать и время вырывать посаженное; время убивать и время врачевать... время сетовать и время плясать... время любить и время ненавидеть; время войне и время миру. Что пользы работающему от того, над чем он трудится?» Убедившись, что каноник прочел эти слова, Муса продолжал:

— А в восемьдесят первой суре Корана, где сказано о конце мира, пророк говорит: «То, что я возвещаю, — предостережение миру для тех, которые хотят идти путем правым. Но вы не можете этого хотеть, если этого не хочет бог всемогущий». Видишь, мой высокочтимый друг, и Соломон и Магомет приходят к одному: бог и судьба одно и то же, или, на языке философии: бог сумма всех случайностей.

Такие слова приводили дону Родриго в смятение, и он решал не посещать больше кастильо Ибн Эзра. Но проходило два дня, и он снова сидел в галерее под смущающими дух надписями. Иногда он даже приводил с собой учеников, чаще всего молодого Вениамина.

Случалось, в полукруглую галерею приходила и дочь Ракель и слушала под тихий плеск водомета неспешную беседу ученых мужей.

Однажды, вспомнив благодаря присутствию Вениамина о рабби Ханане бен Рабуа, она спросила канонника, что тот знает об ученом и о его машине для измерения времени; у нее из головы не выходил рассказ дон Вениамина о том, как преследовали ученого раввина, и как ему пришлось разрушить то, что он создал, и как его потом пытали и сожгли. Дон Родриго не хотел верить, что ученых подвергали за их знания мучениям, он не включил в свою хронику историю раввина Ханана.

— Я осматривал цистерны в Галиане, — сказал он, — это самые обычные цистерны; не думаю, чтобы они когда-то служили для измерения времени. Да я и вообще не верю, что рабби Ханана пытали и замучили. Документальных данных я не нашел.

Молодой дон Вениамин, обидевшись, что каноник не придает веры его рассказу о рабби Ханане, горячо, хоть и почтительно, возразил:

— Но выдающимся ученым он был, с этим ты не можешь не согласиться, высокочтимый дон Родриго. Он не только изготовил прекрасную астролябию, он также перевел труды Галена на арабский и латинский языки и таким образом сохранил медицинскую науку древних греков для нашего времени.

Дон Родриго промолчал, но зато стал рассказывать о великих целителях поры раннего христианства. Так, во времена Галена жили святые Косма и Дамиан, между прочим, арабы по происхождению, которые врачевали не менее чудесно, чем он. Завистники донесли, что они христиане. Их приговорили к смерти и бросили в море: явились ангелы и спасли их. Их бросили в огонь: огонь не жег их. Их хотели побить камнями: камни повернули вспять и побили гонителей. И после смерти они совершали чудесные исцеления. Так, у одного человека была гангрена бедра. Он помолился перед образом обоих святых. Затем впал в глубокий сон, и ему привиделось, что святые отрезали ему больную ногу и заменили ногой мертвого араба. И действительно, когда он проснулся, у него была новая, здоровая нога, а мертвый араб тоже нашелся, тот, чью ногу святые приделали больному.

— Конечно, они были великими волшебниками, — признала донья Ракель.

А Муса сказал:

— Великие мусульманские врачи исцеляли при жизни. Кроме того, я знаю многих христиан, которые в случае серьезных заболеваний охотно обращаются за советом к еврейским или мусульманским врачам.

Дон Родриго, на этот раз настроенный менее миролюбиво, чем обычно, ответил:

— Мы, христиане, учим, что смирение—добродетель.

— Согласен, учить вы учите, мой высокочтимый друг, — приветливо подтвердил Муса.

Дон Родриго рассмеялся.

— Не обижайся, — сказал он, — доведись мне захворать, я почту себя счастливым, если ты будешь меня лечить, о мудрый Муса.

Дон Вениамин втихомолку рисовал что-то в своей записной книжке. Он показал донье Ракель, что он набросал: на дереве сидел ворон, и у ворона было лицо Мусы. Это был, несомненно, портрет, а значит, двойной грех. Но портрет веселый, дружелюбный, и Ракели понравился и рисунок, и тот, кто его сделал.

Король ничего не предпринимал против братьев де Кастро, и сторонники их осмелели. Как в свое время жители Бургоса защищали национального героя Сидо Кампеадора от Альфонсо Шестого, так и теперь мятежные бароны защищали братьев де Кастро от Восьмого: «Какие бы это были прекрасные вассалы, будь у них хороший король!» Когда король требовал недоимки, Нуњесы и Аренасы смеялись: «Милости просим, дон Альфонсо, приходи и выручай свои деньги, так же как ты выручаешь своих подданных из замков баронов де Кастро».

Дон Альфонсо рвал и метал. Если он не хочет, чтоб все его бароны восстали, он не может дольше терпеть самоуправства братьев де Кастро.

Король созвал своих ближних грандов на совет. Пришли дон Манрике де Лара с сыном Гарсераном, архиепископ дон Мартин де Кардона с каноником доном Родриго; эскривано майор дон Иегуда был еще в Арагоне.

Перед друзьями дон Альфонсо дал волю своей бес-

сильной злобе. Де Кастро наносят ему оскорбление за оскорблением, а его эскривано ведет переговоры со скользким королем Альфонсо-Раймундесом и хочет разрешить рыцарский спор на совете торгашей. А ведь виноват в этой чертовой ссоре он, еврей, — чего он влез в дом де Кастро?

— Кажется, так бы его оттуда и выставил, — упрямо закончил дон Альфонсо.

Дон Манрике постарался его успокоить.

— Будь справедлив, государь. Еврей заслужил свой кастильо. Он выполнил больше, чем обещал. Граиды платят налоги в мирное время. Семнадцать городов, раньше принадлежавших грандам, ныне подвластны тебе. Сколько-то твоих подданных, правда, взяты в плен баронами де Кастро, зато освобождено из севильского плена много сотен твоих рыцарей и солдат.

Архиепископ дон Мартин, круглолицый, краснощекий, с проседью, грубоватый и веселый, заспорил. Вид у него был воинственный — скорее рыцарь, чем духовный пастырь. Одевание, указывающее на его сан, не скрывало лат; здесь, в Толедо, в такой близости от мусульман, это все равно что в непрерывном крестовом походе, считал он.

— Ты не пожалел похвал для твоего еврея, благородный дон Манрике, — сказал он своим зычным голосом. — Не спорю, этот новый Ибн Эзра умудрился выжать из страны сотни тысяч золотых мараведди и при этом некоторую толику уделил и королю, нашему государю, но зато он нанес тем больший ущерб святой церкви. Не закрывайте глаза на это, господа! Толедские евреи были наглыми уже во времена готов, наших отцов, а после того, как ты, государь, изволил так вознести Иегуду, бесстыдство альхамы стало нетерпимо. Их старейшина Эфраим бар Абба не только отказывается платить причитающуюся мне десятину, — при этом он, к сожалению, может сослаться на тебя, государь, — мало того, он дерзает с вызывающей наглостью возглашать в синагоге пророчество Иакова: «Не оскудеет князь от Иуды и вождь от чресл его». А ведь я доказал ему на основании творений отцов церкви, что это самое пророчество Иакова имело силу только до прихода мессии и потеряло всякую цену после появления Спасителя. Но только нам, христианам, дано проникнуть в сокровенный

внутренний смысл Писания. Евреи подобны неразумным скотам и цепляются за букву.

— Может быть, не следует так строго судить толедскую альхаму, — мягко высказал свое мнение каноник. — Когда во время оно слепцы и грешники — высокомерные перусалимские евреи — поставили господа нашего Иисуса Христа перед судилищем, толедская еврейская община отправила к первосвященнику Каиафе послов и предостерегла его, чтобы он не распинал Спасителя. Это удостоверено древними книгами.

Архиепископ кинул на дона Родриго немилостивый взгляд, но подавил возражение. Между ним и его секретарем существовала необычная связь. Архиепископ был набожен и не лукавил сам с собой, он сознавал, что боевой темперамент иногда побуждает его к словам и делам, не приличествующим примасу Испании, преемнику святых Евгения и Ильдефонсо, и, дабы искупить грехи, в которые его мог ввергнуть воинственный нрав, он сам наложил на себя послушание: постоянное присутствие кроткого, как ягненок, дона Родриго на тот случай, если на Страшном суде ему поставят в вину, что подчас воин преобладал в нем над пастырем.

Итак, вместо того чтоб возразить дону Родриго, он обратился к королю:

— В свое время, когда ты, подчиняясь необходимости и твоим советникам, призвал еврея, я тебя предостерегал, дон Альфонсо, и предсказывал: настанет день, и ты пожалеешь об этом. Святейший собор не без основания запретил христианским королям приближать к себе неверных.

Дон Манрике возразил:

— Короли Англии и Наварры, а также короли Лео-на, Португалии и Арагона тоже сохранили своих министров-иудеев вопреки постановлению Латеранского собора. Они удовольствовались тем, что выразили святому отцу свое сожаление. Так же поступил и король, наш государь. Кроме того, он мог сослаться на пример своих августейших отцов и дедов. У Альфонсо Шестого было два министра-еврея, у Седьмого, испанского императора, — пять. Я не представляю себе, чтобы Кастилия могла выстроить столько церквей для своих святых и столько крепостей против мусульман без помощи евреев.

— Дозволь мне, досточтимый отец, — заметил кано-

ник, — напомнить тебе еще нашего друга, почтенного епископа Вальядолидского. Он тоже никак не мог получить причитающейся ему подати и вынужден был поручить это дело нашему Иегуде.

На этот раз дон Мартин не мог сдержать гнев в груди.

— Ты преисполнен добродетелей, дон Родриго, — проворчал он, — ты почти святой, и потому я терплю тебя. Но позволь со всем смирением сказать тебе: иногда твои кротость и долготерпение просто бессовестны.

Король не слушал их препирательств. Он думал о своем и наконец высказал то, что его занимало:

— Уже не раз задавал я себе вопрос, почему бог дает неверным такую силу, а нам отказывает в ней. Я думаю так: они прокляты им на веки веков, вот потому-то он в своей великой милости наделил их на краткое время земной их жизни умом, красноречием и даром приумножать сокровища.

Все несколько смущенно молчали. Их удивляло то, что король так чистосердечно высказывает свои заветные мысли, делать ему это, собственно, не подобало. Но король имеет право с королевской беззаботностью высказывать то, что лежит у него на сердце.

Молодой дон Гарсеран вернулся к предмету обсуждения.

— Вот что ты мог бы сделать, государь, — предложил он. — Если уж ты не выступаешь против семьи де Кастро, то поставь войско на их границу. Введи гарнизон в город Куэнку.

— Совет хорош, — громогласно одобрил архиепископ. — Поставь гарнизон в Куэнку, и не маленький, чтобы братьям де Кастро не повадно было нападать на твоих подданных.

Дон Альфонсо уже и сам думал об этом. Но ему было приятно, что эту меру предложили другие.

— Да, так я и сделаю, — заявил он. — Против этого даже наш еврей не может ничего возразить, — с мрачной веселостью добавил он.

Дон Манрике считал, что достаточно трех отрядов для защиты Куэнки от баронов де Кастро. Дон Альфонсо возразил, что разбойничьи набеги де Кастро могут пробудить аппетит эмира Валенсии и он тоже позарится на город; лучше уж он пошлет в Куэнку побольше сол-

дат, хотя бы двести копий. Архиепископ, за которым установилась слава знатока военного дела, напомнил, что какое-то количество солдат всегда должно находиться вне крепости, чтоб охранять крестьянские дворы и сопровождать отправляющихся в дорогу горожан.

— Пошли триста копий, дон Альфонсо, — предложил он.

Дон Альфонсо послал пятьсот копий.

Командование отрядом он поручил своему другу дону Эстебану Ильяну, молодому, веселому и смелому. Перед тем как дону Эстебану отправиться в Куэнку, король попросил его:

— Не допусти до новых оскорблений, дон Эстебан! Не потерпи ни малейшей обиды! Пусть даже вилланы братьев де Кастро украдут на нашей земле какую-нибудь несчастную курицу, не спускай им! Ворвись вслед за ними в их Санта-Марию и отними курицу! Даже если это будет стоить десятка солдат!

Он дал ему перчатку — знак рыцарского поручения. Дон Эстебан поцеловал королю руку и сказал:

— Тебе не придется на меня жаловаться, дон Альфонсо.

В небольшой городок Куэнку и в окрестные деревни вошли солдаты. Они не спускали глаз с плохо обозреваемой границы гористой страны Альбаррасин. Но никто из людей де Кастро не появлялся. Прошла неделя, прошла другая. Солдаты дона Эстебана ворчали на скучную службу, жители Куэнки ругались на тяжелый солдатский постой.

А Иегуда тем временем сидел в Сарагосе и совещался со своим родичем доном Хосе Ибн Эзра — образованным скептиком, обходительным, приятным, склонным к полноте человеком. Он дал Иегуде понять, что угадал его побуждения. Ему и самому хотелось сохранить мир, и он охотно пошел навстречу своему родичу. Иегуда добивался, чтобы Арагон выкупил кастильцев, взятых в плен баронами де Кастро, и вернул их дону Альфонсо, а тот взамен откажется от притязаний на город Дароку. Предложение Иегуды представлялось дону Хосе приемлемым, и он думал, что сумеет прельстить им своего повелителя. Конечно, торопиться нельзя. Король Альфонсо-Раймундес сейчас в военном лагере, все его помыслы направлены на благополучное окончание войны с гра-

фом Тулузским, и дону Хосе придется подождать подходящей минуты, чтобы побеспокоить короля столь незначительными делами. Недели через две он поедет к дону Альфонсо-Раймундесу в лагерь. А пока дону Иегуде придется потерпеть. Потом он и сам может туда явиться.

Иегуда с пользой провел эти две недели. Он поехал в Перпиньян и довел до благополучного конца одно запутанное дело. Он поехал в Тулузу, где навестил родственника, Мейра Ибн Эзра, еврейского бальи этого города. Затем он поехал в лагерь к королю Альфонсо-Раймундесу. Дон Хосе честно помогал ему, и король милостиво его выслушал. Но король был медлительным, основательным человеком, и прошла еще целая неделя, прежде чем он решился дать свое согласие.

Иегуда вздохнул с облегчением. Самое трудное из глупых препятствий, мешавших делу мира, устранилось. Он послал гонца к дону Альфонсо с известием, что желанный договор подписан и скреплен печатью и он, Иегуда, скоро сам будет в Толедо.

Но не успел еще гонец прибыть в Толедо, как дон Альфонсо получил из Куэнки от своего друга Эстебана Ильяна длинное, сбивчивое послание.

Случилось непредвиденное. Вооруженные слуги баронов де Кастро захватили на кастильской земле стадо баранов. Преследуя их, солдаты дона Эстебана вторглись во владения де Кастро. Там они натолкнулись на группу рыцарей и оруженосцев. Началась перебранка, дело дошло до стычки, во время которой был убит рыцарь, на беду оказавшийся одним из братьев де Кастро, графом Фернаном. Не могу скрыть, писал дон Эстебан, что Фернан де Кастро, пораженный кастильской стрелой, был не в боевых доспехах, он выехал на охоту, и на перчатке у него сидел его любимый сокол. Почему кастильский лучник необдуманно пустил стрелу, сейчас невозможно установить; во всяком случае, он, Эстебан, тут же велел повесить виновного.

Дон Альфонсо прочел, и сердце у него упало. Худшего конца нельзя было придумать. Простолюдин, виллан, предательски убил по его; дона Альфонсо, приказу родовитого дворянина, да к тому же еще безоружного. Теперь он, кастильский король, опозорен в глазах всей Испании.

Другой брат де Кастро, Гутьере, имеет законное рыцарское право мстить за брата. Он обратится за помощью к Арагону, и у короля Альфонсо-Раймундеса, победителя Прованса, будет желанный повод пойти войной на ненавистного племянника. Извольте радоваться, дурацкая война с Арагоном, которой он не желал, против которой все его предостерегали, теперь неизбежна.

Альфонсо было стыдно перед Иегудой. Стыдно перед своими советниками. Перед всем христианским миром. А ведь он поступил так, как поступил бы на его месте всякий рыцарь. Его королевский долг требовал оградить свой добрый город Куэнку и послать туда войско. И за приказ, данный храброму дону Эстебану Ильяну, тоже никто не может его осудить. Дон Эстебан — его друг и добрый рыцарь, и, кроме того, в его меч вделана косточка святого Ильдефонсо. Ах, святая реликвия не отвела сатаны! Ведь все это дьявольские козни, проделки сатаны, и никто не виноват, что так случилось, — ни он сам, ни дон Эстебан, ни Фернан де Кастро и ни еврей. Но весь христианский мир обвинит его, дон Альфонсо.

Да, Иегуда не принес ему счастья. А теперь, когда он, Альфонсо, так нуждается в его совете, его нет!

И хорошо, что нет. Он, Альфонсо, не мог бы его теперь видеть. Он не вынес бы его укоризненных, рассудительных речей. Ему нужен человек, который бы понял его до конца, понял, что он не виноват, что его постигло неслыханное несчастье, ему нужен очень близкий человек, свой.

Не дожидаясь Иегуды, в сопровождении небольшой свиты Альфонсо поехал в Бургос, к своей королеве, к донье Леонор.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Донья Леонор радостно встретила короля. Она сразу поняла его, ему даже не пришлось объяснять, как все случилось. Она чувствовала так же, как он. Всему причиной злой рок, ее Альфонсо ни в чем не виноват.

При этом мысль о предстоящей войне с Арагоном угнетала ее гораздо сильнее, чем короля. Она мечтала объединить обе страны, а война разрушала все ее надежды. Но она скрyla свое огорчение, была, как обыч-

но, спокойна. В ее обществе, в разговоре с ней Альфонсо, как и ожидал, почерпнул бодрость и утешение.

Вообще говоря, он предпочитал Бургосу Толедо. В Толедо он еще мальчиком совершил свой первый подвиг, оттуда он завоевал свое королевство; кроме того, Толедо находится в непосредственной близости от подлинного, извечного врага — от мусульман, а его, короля и солдата, место там, где близок враг. Но на этот раз он радовался пребыванию в старом, искони христианском Бургосе, и воспоминания, которыми был насыщен город, вливали в него силы и уверенность. От кастильского города Бургоса получила свое наименование его Кастилия, отсюда его предок Фернан Гонсалес завоевал графству Кастилии независимость, расширил его, укрепил. И здесь, в Бургосе, его прадед, Альфонсо Шестой, показал, что король не отступит даже перед самым славным мужем Испании. Тот Альфонсо изгнал из города любимого героя Испании, отважного Сиды Кампеадора, потому что был недоволен, как тот вел войну; король Кастилии не прощает ослушания, не прощает даже Сиду, что уж там говорить о каком-то де Кастро.

Но Сид Кампеадор умер, короли давно уже простили благороднейшего испанского рыцаря и воина, и город Бургос гордился воспоминаниями, связанными с этим героем. С мрачным удовольствием постоял король перед сундуком, повешенным в церкви монастыря Уэльга. Этот сундук, будто бы доверху полный сокровищ, Сид дал в залог двум еврейским банкирам; оказалось, что в сундуке был только песок, — герой считал, что ему должны верить на слово. Сундук Сиды был наглядным примером того, как следует поступать рыцарю с торгашами-евреями.

Дон Альфонсо-Раймундес Арагонский не спешил с войной, он вообще не любил торопиться. Но для доня Альфонсо ожидание было мучительно, и он поделился с доньей Леонор своей мыслью напасть первым.

Тогда донья Леонор не стала больше молчать. Без всякой утайки высказала она королю, что страна еще не простила ему севильского поражения. Новая война вызовет недовольство, даже если ее начнет Арагон. При таких обстоятельствах напасть первому, — иначе говоря, оказаться неправым, — это безумие. Дон Альфонсо терпеливо выслушал горькие слова королевы.

И вот наконец Иегуда приехал в Бургос. Услышав еще в Сарагосе о смерти графа Фернана, он сразу понял, чем это грозит. Он очень расстроился и в своем отчаянии приписывал всю вину себе. Расчет его оказался неправильным. Надо было остаться в Толедо и удерживать короля. На этот раз интуиция изменила ему.

Но все же деятельный дон Иегуда не потерял надежды предотвратить войну. Без промедления отправился он в Толедо. Узнал, что Альфонсо в Бургосе. Повернул обратно, поскакал в Бургос.

Явился к дону Альфонсо. Тот под разными предложениями отказался его принять. Но зато за ним послала донья Леонор.

При виде этой умной женщины Иегуда ощутил прилив энергии.

— Если ты, государыня, дозволишь, я поеду в Сарагосу и попробую уговорить короля, — предложил он. — Только что, когда я был у него в лагере, он милостиво склонил ко мне свой слух.

— С тех пор многое изменилось, — сказала донья Леонор.

Дон Иегуда осмотрительно заметил:

— Конечно, явиться с пустыми руками нельзя.

— А что бы ты мог ему предложить? — спросила Леонор.

— Нельзя ли уговорить дону Альфонсо отказаться от спорных сюзеренных прав, — еще осторожнее предложил Иегуда.

— Сюзеренные права Кастилии неоспоримы, — холодно ответила донья Леонор. — Уж лучше война! — заявила она и посмотрела сверху вниз на Иегуду таким далеким, презрительным взглядом, что он понял: она и король сделаны из одного теста. Она тоже ни за что на свете не откажется от этого пустого рыцарского титула и от своих смешных притязаний. Она тоже считает торгашеством разумное обсуждение и взвешивание всех обстоятельств.

Дон Альфонсо, соблаговоливший наконец допустить пред свои очи Иегуду, сказал с насмешкой:

— Ну вот, эскривано, ты усердно потрудился в Сарагосе и Тулузе, обмозговывая разные хитрые договоры. Теперь ты убедился, чего они стоят. Ты не принес мне счастья, дон Иегуда. Будь хоть чем-нибудь полезен и

достань мне денег. Я боюсь, что нам понадобится много денег.

Дон Альфонсо пригласил на совет рыцарей. Он знал военное ремесло и решил показать свое искусство Арагону. Он ясно видел, что все преимущества на стороне противника, но твердо верил в свою звезду. Как рыцарь и христианин, он вручал свою судьбу всемогущему богу, который не мог допустить, чтоб погиб кастильский король Альфонсо.

И господь вознаградил дона Альфонсо за его веру. Дон Альфонсо-Раймундес Арагонский внезапно скончался в возрасте пятидесяти семи лет, в расцвете сил, празднуя победу над Провансом. Господь поразил его в сердце и прибрал к себе, так что он не успел навредить своему племяннику.

В положении дона Альфонсо вдруг произошла счастливая перемена. Наследник арагонского престола, семнадцатилетний инфант дон Педро, не был похож на отца. Дон Альфонсо-Раймундес мудрой политикой расширил пределы своего королевства и хитростью приобрел права и земли в Провансе — военную силу он применял, только когда был уверен в победе; он не гнушался смиряться перед своими грандами, если таким образом мог вытряхнуть из них деньги или услуги. Юноша дон Педро считал, что вести такую изворотливую политику — значит кривить душой, что это недостойно рыцаря; в своем кастильском кузене он, как и многие, видел идеал христианского рыцаря. Можно было не опасаться, что он пойдет войной на Кастилию.

— Сам господь бог за меня! — торжествующе говорил дон Альфонсо своей королеве, а Иегуде хвастливо заявлял: — Ну, что, видишь!

Донья Леонор радовалась вместе с ним, со спокойной улыбкой глядя на его необузданное ликование. Ее сердцу всегда был мил крепкий союз Кастилии с Арагоном, и хотя она ни в коем случае не желала поступаться правами Кастилии на суверенитет, она все же стремилась всеми силами помешать тому, чтобы эти притязания повели к новым раздорам.

Она унаследовала политическую мудрость своих родителей и понимала, что Кастилии одной никогда не

стать такой сильной державой, как Священная Римская империя, Англия, Франция. Раньше Кастилия и Арагон были объединены и монарх, венчанный обеими коронами, с полным правом мог называть себя императором Испании. Спор королей Альфонсо-Раймундеса и Альфонсо угнетал ее все эти годы. Донья Леонор очень хотела положить конец этому спору и снова связать крепкими узами обе страны. Для этого была полная возможность. Донья Леонор не подарила королю престолонаследника, зато она родила трех инфант; таким образом, тот, кто женится на старшей, на тринадцатилетней Беренгеле, может надеяться унаследовать Кастильское королевство. Желание обручить инфанту с наследником арагонского престола было понятно — тогда бразды правления обеих стран опять соединились бы в руках одного властелина, и только глубокая взаимная антипатия обоих королей мешала до сих пор этому браку. И вот теперь это препятствие отпало, ничто не мешает обручению инфанты и молодого Педро, а его, всегда восхищавшегося королем Альфонсо, нетрудно будет убедить признать сюзеренные права тестя, престол которого он все равно унаследует.

Дон Альфонсо выслушал вежливо, хоть и с некоторым нетерпением планы королевы.

— Правильно и умно придумала, умница моя Леонор, — сказал он. — Но время терпит. Мальчишка еще не посвящен в рыцари. Дядя Альфонсо-Раймундес не мог себя заставить обратиться ко мне за этой услугой. Я думаю, давай-ка пригласим раньше дона Педро сюда, чтобы я вручил ему меч и посвятил его в рыцари. Остальное сделается само собой.

После этого решения королевская чета с помпой отбыла в Сарагосу на торжественные похороны дона Альфонсо-Раймундеса.

Молодой король дон Педро, как и следовало ожидать, выказывал Альфонсо Кастильскому почтительное обожание. И пылко восхищался доньей Леонор. Она была той прекрасной дамой, которую воспевали поэты, недоступной красавицей, которая милостиво принимает поклонение рыцаря, пылающего к ней чистой любовью.

Донья Леонор послушалась совета дона Альфонсо не торопиться. Только в общих, неопределенных словах на-

мекнула она, что они с доном Альфонсо подумывают о более тесном союзе с арагонским кузеном. Но держалась она при этом доверчиво, по-приятельски и в то же время слегка по-матерински, и молодой статный принц сразу понял и покраснел до корней волос. Не только мысль породниться со старшим, испытанным рыцарем манила его, ему уже мерещилась в будущем королевская корона объединенных испанских стран. Он поцеловал донье Леонор руку и ответил:

— Нет поэта, прекрасная дама, который мог бы воспеть мое счастье.

Вообще же о государственных делах не говорилось и об отношениях между Кастилией и Арагоном тоже. Зато много говорилось о посвящении дона Педро в рыцари. Ему исполнилось семнадцать лет, как раз самое время, и лучше, чтобы посвящение состоялось до коронавания. Альфонсо пригласил принца для этой церемонии к себе в Бургос. Там он сам посвятит его в рыцари со всей пышностью, как и приличествует двум наиболее могущественным владыкам Испании.

Дон Педро с радостью принял приглашение.

В Бургосе шли большие приготовления. Дон Альфонсо послал туда весь свой придворный штат. Донья Леонор сказала, что надо пригласить и детей эскривано; король поморщился, но согласился.

Когда герольд принес в кастилью приглашение всем троим Ибн Эзрам, Иегуда в душе возликовал. В сопровождении пышной свиты отправился он со своими в Бургос.

Дон Гарсеран и молодой придворный кавалер из свиты доньи Леонор охотно вызвались показать донье Ракель и ее брату этот древний город. Подросток Аласар, восхищавшийся всем, что касалось рыцарства, с жадностью осматривал реликвии, связанные с Сидом Кампеадором, — его могилу, доспехи, боевое снаряжение его коня.

Еще больше воодушевляли мальчика приготовления к ристалищам. Уже были вывешены гербовые щиты рыцарей, собиравшихся принять участие в большом турнире. Было объявлено также о состязании в стрельбе из арбалета. Аласар, гордившийся своим великолепным арабским арбалетом, сейчас же решил принять участие

в состязании. С детским восхищением смотрел он также на быков, предназначенных для боя и стоявших в загоне.

Пир в честь дона Педро был устроен в королевском замке, в том кастильо, от которого страна Кастилия получила свое наименование. Это было старое здание строгой архитектуры. Пол устлали коврами, лестницы усыпали розами, стены завесили гобеленами с изображениями охотничьих и военных сцен. Донья Леонор выписала их из Франции, со своей родины. Но, несмотря на все старания, суровый замок приобрел только легкий налет веселости.

В залах расставили длинные столы и маленькие столики, и во дворе замка тоже. Арагонский принц прибыл со своим альхакимом, доном Хосе Ибн Эзра, и того, так же как и Иегуду Ибн Эзра, посадили за стол во дворе. Это было не самое почетное место, но при таких торжествах размещение за столом по чинам было очень сложным делом.

Город Бургос славился своим суровым климатом; даже и сейчас, в июне, во дворе замка было неуютно и холодно. Жаровни с углем давали мало тепла, и в течение всего пира неприветливая погода напоминала обоим еврейским вельможам, что сидеть внутри замка куда приятнее. Но они скрывали обиду даже друг от друга и оживленно беседовали о благоприятных последствиях, к которым, несомненно, приведут добрососедские отношения между Кастилией и Арагоном: товарообмен станет легче, в экономике наступит оживление.

Во время разговора Иегуда поглядывал на дочь, сидевшую напротив. Его умница, верно, заметила, что можно было бы найти ей кавалера получше, чем тот арагонский дворянин из мелкопоместных, которого посадили за стол рядом с ней, но она как будто не скучает и с ним. Аласар, сидевший вместе с другими подростками за жизнерадостным столом молодежи, тоже весело болтал.

После стола все собрались в замке. Вдоль стен были сооружены возвышения. На них, за невысокими балюстрадами, разместились дамы, кавалеры разговаривали с ними, стоя внизу. Донья Ракель сидела во втором ряду, часто ее не было видно за сидевшими впереди. Дон Гарсеран обратил на нее внимание короля. Другие приближенные тоже говорили дону Альфонсо о поразительно умной дочери еврея, его любопытство было воз-

буждено. Когда дон Гарсеран показал королю донью Ракель, они стояли довольно далеко от нее, но, хотя король окинул еврейку только беглым взглядом, он хорошо рассмотрел ее своими зоркими глазами. Худое, матово-смуглое лицо с большими глазами в строгом обрамлении ширококрылого убора казалось совсем дегским, глубокий вырез лифа, опушенного мехом, открывал девичью грудь и нежную шею.

— Да, — сказал Альфонсо, — недурна.

Донья Леонор, хорошая хозяйка, заметила, что дону Иегуде не оказывают того почтения, какое приличествовало его сану. Через пажа она попросила его подойти, задала несколько обычных учтивых вопросов, — как он провел время, всем ли доволен, — и пожелала, чтоб он представил ей своих детей.

Донья Ракель с откровенным любопытством посмотрела в лицо королеве, и донью Леонор немножко рассердило, что еврейка совсем не смутилась перед своей королевой. Да и кружева на ее корсаже и зеленое атласное платье были слишком дороги для молоденькой девушки. Но донья Леонор была хозяйкой, она строго соблюдала правила вежливости, она держалась приветливо, больше того, она намекнула дону Альфонсо, чтобы он сказал несколько ласковых слов детям своего сановника.

Подросток Аласар густо покраснел, когда король говорил с ним. В доне Альфонсо он видел зеркало героической добродетели. Глядя на короля с наивным обожанием, он спросил, примет ли дон Альфонсо сам участие в рыцарских играх, и сказал, что он, Аласар, собирается принять участие в состязании арбалетчиков.

— Мой арбалет изготовил собственноручно Ибн Ихад, прославленный севильский мастер, — с гордостью поведал он. — Ты увидишь, государь, твоим рыцарям придется нелегко.

Дона Альфонсо забавлял мальчик, в котором он видел истого сына своего честолюбивого эскривано.

Разговор с доньей Ракель прошел не так гладко. Они обменялись несколькими ничего не значащими латинскими фразами. Ракель смотрела на короля своими большими серо-голубыми глазами спокойно и пытливо, и ему, как и королеве, не понравилось, что она несколько не смущается. Не зная, о чем говорить, он спросил:

— Ты понимаешь, что поют мои жонглеры?
Жонглеры, королевские музыканты, пели по-кастильски.

Донья Ракель ответила честно и прямо:

— Многое я понимаю. Но не все в их вульгарной латыни мне ясно.

«Вульгарной латынью» обычно называли народный язык, и, по всей вероятности, чужеземка не хотела сказать ничего обидного. Но Альфонсо не позволял порочить свой родной язык, он осадил ее:

— Мы называем этот язык кастильским. Сотни тысяч честных людей, почти все мои подданные, говорят на этом языке.

Не успел он это сказать, как уже подумал, что слова его излишне суровы и по-учительски педантичны, и он переменял тему:

— Страна Кастилия названа по имени этого кастильо. Отсюда, из этой крепости, ее завоевал граф Фернан Гонсалес. Нравится тебе мой замок?

И так как донья Ракель подыскивала слова для ответа, он прибавил, на этот раз по-арабски:

— Он очень стар и полон воспоминаний.

Донья Ракель, привыкшая высказывать все, что думает, ответила:

— Теперь мне понятно, почему он тебе нравится, государь.

Ответ пришелся не по вкусу дону Альфонсо. Неужто она считает, что его прославленный замок может нравиться только тем, кого связывают с ним воспоминания? Он хотел придумать колкий ответ. Но, в конце концов, донья Ракель его гостя, а обучать куртуазии дочь еврея ему не пристало. Он заговорил о другом.

Подростка-еврея дона Аласара, хоть он и был сыном эскривано, допустили до состязания в стрельбе из арбалета только после вмешательства дона Манрике. Он взял второй приз. Пряמודушие и бурная радость мальчика, его ликование, когда он получил приз, огорчение, что приз второй, а не первый, его гордость своим арбалетом, равного которому действительно не было в Бургосе, — все это невольно завоевало ему симпатии других участников турнира.

Король поздравил его. Аласар был обрадован, но его явно мучила какая-то мысль. Он колебался. Потом решительно протянул королю свой арбалет и сказал:

— Возьми его, государь, если он тебе нравится. Я дарю его тебе.

Альфонсо был изумлен. Мальчик другой, не такой, как его отец, его не прельщают деньги и вещи; он, безусловно, обладает одной из основных рыцарских добродетелей — щедростью.

— Ты молодец, дон Аласар, — похвалил он его.

Мальчик доверчиво разговорился.

— Знай, государь, победить в состязании было мне не так уж трудно. Я упражняюсь в стрельбе из арбалета с пятилетнего возраста. Плохого стрелка мусульмане не принимают в рыцарский орден.

— Этого действительно требуют? — спросил дон Альфонсо.

— Конечно, государь, — ответил Аласар и быстро перечислил по-арабски заученные им наизусть десять добродетелей мусульманского рыцаря: — Рыцарь должен быть добрым, смелым, учтивым и вежливым в общении, обладать поэтическим даром, даром красноречия, физической силой и здоровьем, способностью к верховой езде, к метанию копья, к фехтованию, к стрельбе из арбалета.

Дон Альфонсо подумал, что в таком случае он сам, мало опытный в поэзии и красноречии, вряд ли был бы принят в один из мусульманских рыцарских орденов.

На третий день был назначен бой быков. В нем принимали участие только самые знатные гранды. Прелатам, с тех пор как Евсевий, епископ Тарагонский, был тяжело ранен быком, участие в бою было запрещено, что очень огорчало архиепископа дона Мартина, который охотно показал бы свою удаль в этом виде рыцарского искусства.

Дон Альфонсо и королева, окруженные самыми знатными вельможами, смотрели с трибуны на игрища; король был в хорошем настроении; душу его веселило зрелище боя людей и быков.

На другой трибуне и на балконах соседних домов сидели разряженные дамы, среди них и донья Ракель. Она опять сидела позади, наполовину загороженная, но зоркий взгляд дона Альфонсо отыскал ее, и он заметил что

ее глаза не всегда следили за боем, иногда она переводила свой взор на него. Он вспомнил, как она, молоденькая девчонка и уже почти такая же дерзкая, как отец, сказала ему прямо в лицо, что ей не нравится его замок. И вдруг на него напала охота самому принять участие в играх. Нельзя же разочаровывать милого мальчишка, подарившего ему свой арбалет, да и доверие своего молодого родственника, который восхищается им, тоже надо оправдать. Конечно, он должен раздражить быка и выдержать с ним бой.

Дон Манрике заклинал его не рисковать зря своей священной особой. Донья Леонор умоляла отказаться от безумного намерения. Дон Родриго просил вспомнить, что, начиная с Альфонсо Шестого, испанские короли не принимали участия в бое быков. Архиепископ Мартин указывал на то, что он сам тоже обуздывает свое желание. Но дон Альфонсо отшучивался и с юношеским задором не слушал никаких доводов.

Он скинул королевскую мантию, его уже облачили в кольчугу. Затрубили трубы, и герольд возгласил: «Со следующим быком сразится дон Альфонсо, милостию божией король Толедо и Кастилии».

Он был очень хорош, когда появился на арене верхом на коне, не в тяжелых латах, а в одной гибкой кольчуге, с открытой шеей и лицом, в железном шлеме на рыжих кудрях. Он был прекрасным наездником, лошадь слушалась его малейшего движения. Но, несмотря на все его искусство, первые три удара были неудачны, и в третий раз опасность казалась даже так велика, что все вскрикнули. Но он быстро совладал с собой и с конем. «В твою честь, донья Леонор!» — громко крикнул он, и четвертый удар удался.

Вечером, принимая ванну, донья Ракель рассказывала кормилице Саад:

— Он, этот Альфонсо, очень смелый, и все было точь-в-точь как в сказке о купце Ахмеде, мореплавателе, когда тот вошел в опочивальню к чудищу. Мне бои быков не по душе, хорошо, что у нас в Севилье они отменены. Но для христиан это, может быть, как раз то, что нужно; просто дух захватывало смотреть, как их король помчался на разъяренного быка. Перед последним ударом он пошевелил губами, я это ясно видела. Купец Ахмед, раньше чем войти в опочивальню чудища, прочитал

первую суру; верно, и король прошептал молитву. Ему это тоже помогло. Он был прекрасен, как утренняя заря, и до чего же он обрадовался, когда бык упал замертво! Альфонсо герой. Но он не настоящий рыцарь. Ему недостает основных рыцарских добродетелей. Он не красноречив и не понимает поэзии. Иначе ему не нравился бы его древний, мрачный замок.

Дон Альфонсо и донья Леонор не считали возможным омрачать веселье праздничных дней улаживанием спорных вопросов, и поэтому о помолвке и вассальной присяге не было речи.

Неделя празднеств подходила к концу. Наступал знаменательный день, день «удара мечом», день, в который дону Педро предстояло принять удар мечом, посвящающий в рыцари.

Утром молодой принц подвергся церемонии очистительного омовения. Два священнослужителя облачили его. Одевание было алое, как кровь, которую рыцарь обязан проливать, защищая церковь и установленный богом порядок; башмаки были коричневыми, как земля, в которую всем предстоит сойти; пояс был белый, как чистая совесть, хранить которую он давал обет.

Звонили все колокола, когда принц шествовал по усыпанным розами улицам в церковь Сант-Яго. Там его ждал дон Альфонсо, окруженный кастильскими и арагонскими грандами и знатными дамами. Оруженосцы надели на голову взволнованному дону Педро шлем, облекли его в кольчугу, вручили треугольный щит—теперь у него были доспехи для самозащиты. Они опоясали его мечом—теперь у него были доспехи для нападения. Две благородные девицы надели ему золотые шпоры—теперь он мог выехать на бой за правду и добродетель.

И вот дон Педро опустился на колени, и архиепископ дон Мартин зычным голосом прочел молитву: «Отче наш; иже еси на небесах, ты повелел облажать на земле меч, карающий злых, и призвал христианских рыцарей защищать правых, не даждь сему рабу твоему облажать меч свой против невиноватых, но даждь ему защищать правых и установленный тобою порядок».

Дону Альфонсо припомнилось, как посвящали в рыцари его самого, еще совсем юным, после кровавого боя со смутьянами на улицах Толедо. Было это в толедском

соборе, перед статуей Сант-Яго; святой сам посвятил его в рыцари. Правда, может быть, как утверждали маловеры, ударил его мечом не святой, а его статуя при помощи искусного автоматического механизма. А может быть, все же, как уверял архиепископ, ради такой торжественной минуты статуя превратилась в святого. Почему бы Сант-Яго не явиться и не посвятить самолично в рыцари царственного кастильского отрока?

С презрительным сочувствием взирал дон Альфонсо на своего молодого родственника, смиренно преклонившего перед ним колено. Сколько подвигов уже насчитывал он, Альфонсо, в его годы! Восставшие рикос-омбрес требовали от него, не имея на то права, клятвенных заверений. Но он, милостию божией король Кастилии и Толедо, грозно прикрикнул на них еще срывающимся, мальчишеским голосом: «Нет, не бывать этому! На колени, негодные гранды!» И они угрожали ему войной и выставили против него войско, большое войско, и он не шутки шутил, а по-настоящему бился с самыми настоящими врагами. А его молодой родственник, преклонивший тут пред ним колено, просто жалкий арагонский король, он глупый молокосос и не станет упираться, когда наглые гранды потребуют от него унижительной присяги, к которой арагонские бароны принудили своих, с позволения сказать, королей: «Мы, у которых больше силы, чем у тебя, избираем тебя своим королем при условии, что ты не посягнешь на наши права и вольности, и между тобой и нами мы ставим посредника, облеченного большей властью, чем ты. Если нет, то нет. Si no, no!» С его, дона Альфонсо, стороны большая милость, что он отдает такому «королю» свою инфанту, а в дальнейшем и трон, и требует он взамен очень мало: признать, пока он, Альфонсо, жив, его сюзеренные права в Испании.

Теперь дон Педро с глубоким благочестием произнес рыцарский обет: «Обещаю никогда не обнажать меча против невиноватого и всегда защищать им право и святой порядок, установленные богом». И он склонил голову в ожидании удара, которым надлежит и смирить и возвысить посвящаемого и на веки веков закрепить его рыцарский обет.

И удар последовал. Обнаженным клинком дон Альфонсо ударил его плашмя по спине, не очень сильно, но

все же достаточно крепко, чтобы почувствовать сквозь кольчугу боль.

Дон Педро невольно передернул плечами. Поднял голову, хотел встать. Но дон Альфонсо удержал его.

— Нет, кузен, еще не время! — сказал он. — Мы свяжем посвящение в рыцари с ленной присягой. Подать мне знамя! — приказал он. В ожидании знамени он снял перчатку с правой руки. Затем, взяв кастильский стяг в левую, произнес: — По желанию твоему, брат мой дон Педро Арагонский, я принимаю тебя в свои верные вассалы и клятвенно обещаю тебя защищать, если ты меня призовешь. Да будет так, и да поможет мне бог.

Он говорил негромко, но его мужественный голос был явственно слышен в церкви.

Молодой дон Педро, все еще во власти пережитых волнений, во власти смиряющей и возвышающей дух церемонии посвящения в рыцари, сам не понимал, что происходит. Донья Леонор поманила его возможностью брака с инфантой и наследования кастильского престола. Или, может быть, не только поманила, а обещала? Для чего же тогда эта вторая клятва, клятва вассала? А что, если он, повторив эти слова, уже связал себя обязательством? Но смеет ли он вообще сомневаться и не доверять? Ведь только что он дал обет рыцарского послушания — и при первом же испытании уже хочет нарушить его?

Он, молодой рыцарь, стоит, преклонив колено, перед старшим, и тот властным громким голосом требует:

— А ты, дон Педро, обещаешь служить мне верой и правдой в страхе божием, когда у меня будет нужда в тебе и когда я тебя позову, и целуй мне на том руку! — И Альфонсо протянул коленопреклоненному юноше руку.

В заполненной людьми церкви стояла просто физически ощутимая тишина. Как громом пораженные, молчали арагонские бароны. Уже в течение более чем одного поколения Арагон не признавал тягостной вассальной зависимости. Почему их молодой властелин пошел на оскорбительную присягу? Может быть, помолвка уже решена и обе стороны обменялись грамотами?

Дон Педро все еще стоял на коленях, а дон Альфонсо все так же протягивал руку. Стоявшие сзади поднимались на цыпочки, дабы видеть, что происходит.

И вот свершилось. Молодой арагонский король поцеловал правую руку человека, державшего в левой кастильское знамя. И тот дал ему перчатку, и арагонец взял ее.

Немного погодя, выйдя из сумерек церкви на свет, на волю, дон Педро, окруженный угрюмо молчавшими арагонскими придворными, очнулся от своих грез и мечтаний и осознал, что случилось, что он сделал.

Но разве *он* это сделал? Нет, Альфонсо напал на него врасплох, нагло завлек его в западню. Он, этот боготворимый им человек, он, зеркало всего рыцарства, воспользовался святым обрядом посвящения для мошеннической проделки!

За церковной церемонией должно было последовать народное гулянье. Уже выстроилась почетная свита кастильских баронов. Но дон Педро приказал своим:

— Мы едем домой, господа, и без промедления! Вернувшись к себе в столицу, мы решим, что нам делать!

И, громко звеня мечом, молодой король вместе со своей свитой покинул город Бургос, не подарив кастильцев ни взглядом, ни словом.

На этот раз даже королеве изменило ее ровное настроение. Теперь не бывать союзу, который она лелеяла в сердце. Нет, не геройским духом, а мальчишеской заискованностью вызвано было желание силой добиться того, чего легко можно было добиться уговорами и убеждением.

Но гнев ее длился не долго. Не тот Альфонсо человек, чтобы вести длительные переговоры. Он создан летать, а не ползать. Даже на ее отца, великого короля и мудрого правителя, находили такие приступы бешенства; он не сдержался, и его гневные слова побудили рыцарей убить архиепископа Кентерберийского, хотя это могло быть чревато пагубными последствиями.

Дон Манрике и дон Иегуда попросили об аудиенции. Она приняла их.

Иегуда был взбешен. Король опять уничтожил своей глупой солдатской выходкой то, что он, Иегуда, наладил с таким трудом и терпением. Дон Манрике тоже возмущался. Но донья Леонор холодно, с королевским достоинством прекратила все жалобы на дону Альфонсо. Во

всем виноват молодой дон Педро, он слишком поспешно, нарушив все правила куртуазии, покинул Бургос, и только поэтому не удалось уладить явное недоразумение.

Дон Манрике согласился, что было бы учтивее остаться в Бургосе. Но что поделаешь, этот неучтивый юнец — король Арагона. Теперь он, конечно, примет в вассалы Гутьере де Кастро, и война, которую милостью неба удалось отвлечь от Кастилии, ныне неминуема.

Иегуда политично заметил:

— Может быть, все же попробовать уладить недоразумение?

И так как донья Леонор молчала, он прибавил:

— Только ты, государыня, можешь разубедить юного арагонского короля, доказав ему, что он ошибся и что гнев его неоснователен.

Донья Леонор подумала.

— Поможете мне сочинить к нему послание? — спросила она.

Дон Иегуда сказал еще осторожнее:

— Боюсь, что послания недостаточно.

Донья Леонор удивленно подняла брови.

— Что же, мне самой ехать в Сарагосу? — спросила она.

Дон Манрике пришел Иегуде на помощь.

— Другой возможности нет, — заметил он.

Донья Леонор молчала, надменная и замкнутая. Дон Иегуда начал опасаться, что гордость возьмет перевес над рассудком. Но, помолчав, она обещала:

— Я подумаю, что я могу сделать, не поступившись честью Кастилии.

Дону Альфонсо она ничего не сказала, ничем его не попрекнула, она ждала, пока он сам заговорит. И правда, вскоре он стал жаловаться:

— Не пойму, что со всеми случилось. Обращаются со мной, как с больным. В конце концов, я, что ли, виноват, что этот сопляк сбежал! Значит, отец недостаточно хорошо его воспитал.

— Может быть, не стоит обращать внимание на его неучтивость, он это по молодости лет, — примирительно заметила донья Леонор.

— Ты, как всегда, добра, донья Леонор, — сказал он.

— Пожалуй, и я тут немножко виновата, — опять заговорила она. — Мне следовало раньше поговорить с ним

о ленной присяге. Что, если мне попробовать исправить свою ошибку? Что, если мне поехать в Сарагосу и выяснить это недоразумение?

Альфонсо удивленно поднял брови.

— Не слишком ли много чести для такого вертопраха? — спросил он.

— Как-никак он король Арагона, — ответила Леонор, — и мы думали отдать за него нашу инфанту.

Альфонсо почувствовал небольшую досаду и очень большое облегчение. Как хорошо, что у него есть Леонор. Скромно, без громких слов пытается она уладить то, что произошло. Он сказал:

— Как раз такая королева, как ты, нужна в наше время, когда нельзя действовать напрямик и надо хитрить. Я был и есть рыцарь. У меня нет терпения. Тебе часто нелегко со мной.

Но сильнее, чем слова, о радости и благодарности говорило сияющее лицо короля, осветившееся широкой юношеской улыбкой.

Раньше чем отправиться в Арагон, донья Леонор держала совет с Иегудой и доном Манрике де Лара. Перешли на том, что Кастилия выведет свой гарнизон из Куэнки и обязуется в течение двух лет не посылать войск на границу графства де Кастро; Арагон со своей стороны должен воспрепятствовать дальнейшим враждебным действиям барона де Кастро. Если Гутьере де Кастро признает себя вассалом Арагона, Кастилия не будет возражать, но от своих притязаний не откажется. Вопрос же о суверенитете Кастилии над Арагоном остается открытым, и церемония, имевшая место в Бургосе, ничего тут не меняет, ибо обязательство оказывать помощь и защиту, взятое на себя Кастилией, юридически вступает в силу только с того момента, когда Арагон уплатит положенные за свою защиту сто золотых мараведи, а Кастилия обещает воздержаться от требования их уплаты.

В Сарагосе молодой король оказал донье Леонор в высшей степени куртуазный прием, однако не скрыл, как обидело и разочаровало его то, что произошло в Бургосе. Она не стала оправдывать дона Альфонсо, но рассказала, как он терзается долгим перемирием с Севильей, на которое его склонили чересчур осторожные министры. Он лелеет мечту искупить поражение под Севильей и одержать во славу христианства новые победы над

неверными. При счастливом союзе с Арагоном, который казался уже совсем близким, это было бы значительно легче, и в своем рыцарском нетерпении Альфонсо поторопился. Она понимает обоих монархов, и дон Альфонсо, и дон Педро. Она смотрела ему в глаза открытым, сердечным, материнским, женским взглядом.

В беседе с такой доброй, такой очаровательной дамой дон Педро с трудом сохранял холодное достоинство, как то приличествует оскорбленному рыцарю. Он сказал:

— Ты смягчаешь нанесенное мне оскорбление, прекрасная дама. За это я тебе благодарен. Пусть твои советники договорятся с моими.

Прощаясь с доном Педро, донья Леонор, как и в тот раз, в ласковых, любезных словах выразила надежду на более тесный союз царствующих домов Кастилии и Арагона.

— Я почитаю тебя, прекрасная дама, — ответил он. — И когда ты в первый раз подарила меня милостивой улыбкой, сердце мое расцвело от радости. Но сейчас наступила суровая зима, и все замерзло. — И он заставил себя прибавить: — В угодку тебе, прекрасная дама, я прикажу моим советникам принять предложения Кастилии. Я не пойду войной на дон Альфонсо. Но союз наш он разбил. Я не хочу вступать с ним в родство и не хочу вместе с ним идти на войну.

Донья Леонор возвратилась в Бургос. Дон Альфонсо согласился, что она добилась многого: война отвращена.

— Ты умница, Леонор, — похвалил он. — Ты моя королева и жена.

И в эту ночь дон Альфонсо любил жену, родившую ему трех дочерей, как в ту первую ночь, когда познал ее.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Почти полтысячелетия процарствовали мусульмане в Иерусалиме, наконец Готфрид Бульонский отвоевал город обратно и основал там христианское «Иерусалимское королевство». Но господство христиан длилось только восемьдесят восемь лет; а затем последователи Магомета снова овладели городом.

На этот раз мусульман вел на Иерусалим Юсуф, названный Саладином, «Спасением Веры», султан Сирии и

Египта, а битва, в которой он одержал решительную победу, была дана в окрестностях горы Хаттин, на запад от Тивериады. Свидетелем этой битвы был мусульманский историк по имени Имад ад-Дин. Он был в дружбе с Мусой Ибн Даудом и описал ему это событие в подробном письме.

«Вражеские латники, — писал он, — неуязвимы, пока они в седле, потому что они закованы с ног до головы в железную броню. Но стоит упасть лошади — и всадник погиб. В начале битвы они были подобны львам; когда она кончилась — это были отбившиеся от стада бараны.

Ни один из неверных не ушел. Их было сорок пять тысяч: в живых не осталось и пятнадцати тысяч, а тех, что остались, взяли в плен. Все попали к нам в руки: король иерусалимский со всеми своими графами и вельможами. Веревки от палаток не хватало. Я видел человек тридцать—сорок, связанных одной веревкой, я видел более ста человек под охраной одного. Я видел это собственными счастливыми глазами. До тридцати тысяч было убито, но все же пленников было такое множество, что наши продавали пленного рыцаря за пару сандалий. Уже целое столетие не отдавали так дешево пленников.

Какими гордыми и величественными были эти христианские рыцари несколько часов назад. А теперь графы и бароны стали добычей охотника, рыцари — снедью льва, надменных вольных людей связали, заковали в кандалы. Велик Аллах! Они называли правду ложью, Коран — обманом; и вот теперь они сидели, опустив головы, полуголые, поверженные в прах рукою истины.

Они, слепые безумцы, взяли с собой в битву свою самую большую святыню — крест, на котором умер их пророк Христос. И крест тоже теперь в наших руках.

Когда битва кончилась, я поднялся на гору Хаттин, чтоб взглянуть вокруг. А эта гора Хаттин — та самая, на которой их пророк Христос произнес свою знаменитую проповедь. Я окинул взором поле битвы. И воочию убедился, что может сделать народ, на котором почиет благословение Аллаха, с народом, над которым тяготеет его проклятие. Я видел отрубленные головы, искромсанные тела, отсеченные руки и ноги; повсюду умирающие и мертвые в крови и во прахе. И я вспомнил слова Корана: «Скажут неверные: я прах».

И много еще таких слов написал историк Имад ад-Дин, окрыленный всем виденным, и закончил он так:

«О сладостный, сладостный запах победы!»

Муса читал письмо и огорчился. Со стены глядело начертанное куфическими письменами древнее изречение и предостерегало: «Унция мира больше стоит, чем тошна победы». За это изречение многие добрые мусульмане во время священной войны были объявлены еретиками и поплатились жизнью. И все же многие мудрые люди приводили это изречение, и его друг Имад, тот, что написал ему письмо, тоже охотно его цитировал; раз даже Имада чуть не убил за это изречение какой-то фанатик дервиш. А теперь он написал такое письмо!

Да, все так, как стоит в Великой Книге: *иецерга-ра*, злое начало сильно в человеке от юности. Люди хотят гнать и разить, крушить и убивать, и даже такой мудрый человек, как его друг Имад, «опьянен вином победы».

Ах, близко, близко то время, когда многие будут опьяняться вином войны. Теперь, когда Иерусалим опять в руках мусульман, христианский первосвященник не преминет призвать к священной войне, и поле битвы, подобное тому, что с такой страшной наглядностью описал Имад, будет далеко не единственным.

И так оно и случилось.

Весть о падении Иерусалима, которым меньше чем девяносто лет назад с такими невероятными жертвами овладели крестоносцы, повергла в невыносимую скорбь весь христианский мир. Повсюду верующие предавались посту и молитве. Князья церкви отказались от роскоши, чтоб их суровое воздержание служило примером для остальных. Даже кардиналы дали обет не садиться на коня, пока землю, по которой ходил Спаситель, попирают ноги язычников; уж лучше они будут питаться милостыней, странствуя по христианским владениям и проповедуя покаяние и месть.

Святой отец призывал к новому крестовому походу, дабы освободить Иерусалим — пуп земли, второй рай. Каждому, кто возьмет крест, он обещал воздаяние и на том и на этом свете, он провозгласил на семь лет *treuga dei* — прекращение войн.

Он сам подал великодушный пример и прекратил длительную распрю с властителем Германии, с римским императором Фридрихом. Он послал легата, архиепископа

Тирского, к королям Франкскому и Английскому и заклинал их положить конец спорам. В прочувствованных посланиях он увещевал королей Португалии, Леона, Кастилии, Наварры и Арагона предать забвению все раздоры и, братски объединившись, принять участие в крестовом походе: выступить против нечестивых агарян у себя на полуострове и против антихриста — халифа Якуба Альмансура в Африке.

Когда архиепископ сообщил дону Альфонсо о папской энциклике, король собрал коронный совет — свою курию. Дон Иегуда, сославшись на нездоровье, благоразумно воздержался и не пришел.

Архиепископ в горячих словах указал на то, что у них в Испании крестовые походы начались более чем на полтысячелетие раньше, чем в прочих странах. Сейчас же вслед за тем, как мусульманская чума поразила страну, готы-христиане, отцы теперешних правителей, начали сопротивление.

— Нам надлежит продолжить великую, святую традицию! — вдохновенно воскликнул он. — *Deus vult* — так хочет бог! — закончил он боевым кличем крестоносцев.

Как охотно последовали бы гранды этому кличу, Все, даже миролюбивый дон Родриго, горели одним желанием. Но они знали, что как раз для них препятствия неодолимы. Они сидели в угрюмом молчании.

— Я помню, — сказал наконец старый дон Манрике, — как мы вторглись в Андалусию и дошли до самого моря, я был при взятии королем, нашим государем, города Куэнки и крепости Аларкос. Самое горячее мое желание — чтобы мне было дозволено, до того как я сойду в могилу, еще раз сразиться с неверными. Но у нас есть договор, договор с Севильей о перемирии, он подписан именем короля, нашего государя, и скреплен его гербовой печатью.

— Эта жалкая бумажонка теперь недействительна, — гневно возразил архиепископ, — и никто не может порицать короля, нашего государя, если он передаст ее палачу для сожжения. Ты не связан этим договором, государь! — обратился он к Альфонсо. — *Juramentum contra utilitatem ecclesiasticam prestitum non tenet* — клятва во

вред церкви недействительна. Так сказано в сборнике декреталий Грациана.

— Это так, — подтвердил каноник и почтительно склонил голову. — Но неверные не хотят с этим считаться. Они настаивают на том, что договоры должно соблюдать. Султан Саладин щадил большинство своих пленников, но когда маркиграф Шатильонский сослался на свое право нарушить перемирие, ибо его клятва была недействительна перед церковью и богом, султан — вспомните, господа! — приказал его казнить. А халиф западных неверных думает и действует совершенно так же, как Саладин. Если мы нарушим перемирие с Севильей, он переправится через море и придет из своей Африки, а солдат у него столько, сколько песка в пустыне, и тогда не помогут ни доблесть, ни отвага. Поэтому, если король, наш государь, опираясь на церковное право, объявит договор недействительным, это пойдет не на пользу церкви, а во вред ей.

Дон Мартин сердито посмотрел на своего секретаря: всегда-то этот кричкотвор что-нибудь придумает! А дон Родриго, не смущаясь, продолжал:

— Бог, читающий в сердцах, знает, как горячо все мы стремимся отомстить за поругание святого города. Но бог дал нам разум, чтобы мы слишком поспешным рвением не умножили бедствий христианского мира.

Дон Альфонсо что-то обдумывал, сердито насупясь.

— Мавры придут на помощь Севилье, это правда, — сказал он наконец. — Но и я тоже буду не один. Крестоносцы, которые высадутся здесь, на побережье, помогут, когда я ударю на мусульман. Они и прежде помогали нам.

— Крестоносцы будут прибывать отдельными кучками, — заметил Манрике, — они не смогут противостоять дисциплинированной, хорошо организованной армии халифа.

И так как король не слушал уговоров, дону Манрике пришлось объяснить ему истинную причину вынужденного бездействия Кастилии. Он посмотрел ему в лицо и сказал медленно и очень явственно:

— Виды на победу, государь, возможны только в том случае, если ты обеспечишь себе помощь твоего арагонского брата, и помощь подлинную, идущую от чистого сердца. Надо, чтобы дон Педро добровольно стал под

твое начало. Без единоначалия христианское войско нашего полуострова не сможет противостоять халифу.

В душе дон Альфонсо знал, что это так. Он ничего не ответил. Он отпустил коронный совет.

Когда он остался один, его охватила неукротимая ярость. Ему уж скоро тридцать три года, он прожил целый человеческий век, и за все это время ему не было дано свершить действительно великое деяние. Александр в его возрасте покорил мир. Теперь наконец представляется настоящий, единственный случай — крестовый поход, а они своими неопровержимыми, хитроумными доводами хотят воспрепятствовать ему завоевать славу и стать новым Сидом Кампеадором.

Но он не позволит, чтобы ему мешали. И если этот арагонский юнец и сопляк откажется стать под его знамена, он предпримет поход и без него. Сам бог предназначил его быть вождем западной части света, и он не позволит вырвать у себя из рук это священное право. Не нуждается он ни в каком Арагоне, он и так раздобудет себе помощь. Только на несколько месяцев потребуются ему крестоносцы, которые придут в его владения, а потом пусть отправляются в Святую землю. Если у него, кроме своего войска, будет еще двадцать тысяч солдат, он завоюет всю Андалусию до самого юга и вторгнется в Африку до того, как халиф успеет собрать войско. И тогда Якуб Альмансур подумает и подумает, раньше чем обнажить свою восточную границу.

Но ему нужны деньги, деньги на поход, который продлится не менее полугода, деньги, чтобы оплатить тех, кто будет ему помогать.

Он обратился к Иегуде.

Услышав о призыве к крестовому походу, Иегуда почувствовал тягостное волнение и в то же время подъем. Вот и наступила великая война, которой все боялись, границы между исламом и христианским миром снова небезопасны, на него, Иегуду, возложена небом трудная задача. Ведь эскривано кастильского короля больше, чем кто другой, может способствовать сохранению мира на полуострове.

И опять он не мог не подивиться мудрости своего друга Мусы. Всю жизнь Муса убеждал его: успокойся, не хлопочи, не взвешивай, покорись судьбе, ибо перед ней все расчеты — суета сует. Но он, Иегуда, не мог

успокоиться, не мог не взвешивать, не рассчитывать, не хлопотать. Когда король чуть не вызвал войну с Арагоном, он, Иегуда, придумывал всякие хитрости, усердствовал, проехал через всю страну на север и обратно на юг и опять на север, и хлопотал, и улаживал, и то же делал он и второй раз, и когда все его расчеты оказались напрасными, он в своем отчаянии возроптал на господ бога. Но судьбе, мудрой и лукавой, как и его друг Муса, было угодно, чтобы то, что он считал величайшим злом, породило великое благо. Как раз ссора с Арагоном, которую он усердно пытался уладить, теперь удерживала дон Альфонсо от войны. Не его, Иегуды, умные расчеты и рассуждения, но дерзкий, необдуманный шаг дон Альфонсо принес счастье и мир полуострову.

Из Севильи приехал книгопродавец и издатель Хакам. Он был самым крупным книгопродавцем западного мира, на него работали сорок писцов, в его прекрасной лавке было отведено особое место для книг по каждой отрасли науки. Он передал дону Иегуде подарок от эмира Абдуллы — оригинальную рукопись «Жизнеописания» Ибн Сины. Ибн Сина, умерший полтора года тому назад, слыл величайшим мыслителем мусульманского мира. Христианские ученые, которым он был известен под именем Авиценны, тоже очень почитали его. Из-за манускрипта, привезенного книгопродавцем Хакамом, в свое время было пролито много крови. Один кордовский халиф, чтоб получить рукопись, убил ее владельца и истребил весь его род. Иегуда не мог прийти в себя, так обрадовал его драгоценный подарок эмира, он тут же побежал к Мусе; нежно и взволнованно рассматривали оба письма, в которых этот мудрейший из смертных сохранил для потомства свою жизнь.

Вместе с подарком эмир поручил издателю Хакаму устно передать его другу Иегуде следующее: халиф Якуб Альмансур уже начал подготовку к войне и при первом же известии о нападении на Севилью переправится во главе войска на полуостров; для этой цели он даже возвратился с востока в Марокеш. Эмир Абдулла убежден, что его другу Ибрагиму так же дорого сохранить мир, как и ему самому, поэтому было бы неплохо предостеречь королей неверных.

Обо всем этом думал Иегуда, стоя перед доном Альфонсо.

— Вот наконец и ты, мой эскривано, — с язвительной вежливостью приветствовал его король. — Ну как, недужный, поправился? Жаль, что ты не мог принять участие в моем коронном совете.

— Я все равно высказал бы то же мнение, что и остальные твои приближенные гранды. В качестве твоего эскривано я должен еще рьянее, чем они, ратовать за нейтралитет. Подумай хорошенько, государь. Если ты возьмешь сейчас крест, то за тобой последуют многие, которых ты не хотел бы иметь в своих ратниках. Очень многие твои вилланы вступят в войска и воспользуются преимуществами, которые полагаются крестоносцам. Они сбросят со своих плеч бремя тяжелого каждодневного труда и будут кормиться на твой счет, вместо того чтобы кормить тебя и твоих баронов. Это вредно отзовется на хозяйстве страны.

— На хозяйстве! — иронически усмехнулся Альфонсо. — Да пойми ты, расчетливый трус, что значит хозяйство, когда надо защищать честь господ бога и кастильского короля!

Дон Иегуда не сдавался, хотя и знал, как опасен в гневе дон Альфонсо.

— Почтительнейше прошу тебя, государь, не истолкуй моих слов превратно. Я не собираюсь отговаривать тебя от войны. Напротив, я советую тебе подготовить войну. Да, я прошу тебя уже сейчас начать взимать военные налоги, те добавочные налоги, о которых пишет папа. Я работаю над меморандумом, в котором доказываю, что ты вправе повысить эти налоги, хоть и не ведешь еще войны.

Он дал королю время обдумать его предложение, а затем продолжал:

— Пока ты не участвуешь в войне, в твою казну будут поступать и другие доходы. Торговля со странами мусульманского Востока прекратилась. Крупные судовладельцы и купцы христианского мира, венецианцы, пизанцы, фландрские торговцы ничего больше не ввозят с Востока. Товары наиболее богатой половины земного шара теперь могут поступать только через твоих купцов, государь. Если кто, как и прежде, захочет получать от мусульман зерно, скот, породистых коней — ему придется обращаться к тебе, государь. Если кто, как и прежде, захочет получать искусные изделия, созданные усердными

ми мусульманскими кузнецами, — замечательные доспехи, великолепную металлическую утварь, если христиане, как и прежде, захотят получать из стран ислама шелк, меха, слоновую кость, золотой песок, кораллы и жемчуг, разнообразные травы, краски и стекло, им придется обратиться к посредничеству твоих подданных. Подумай об этом, государь. Казна других монархов оскудеет за эту войну, твоя казна приумножится. А когда остальные обессилеют, тогда ударь ты, кастильский король, и нанеси последний решающий удар.

Еврей говорил убедительно. Слова его были заманчивы. Но они только сильнее раззадорили короля.

— Достань мне денег! — приказал он Иегуде. — На первое время двести тысяч! Я хочу ударить сейчас, сейчас, сейчас! Достань мне денег под любой залог!

Побледневший Иегуда ответил:

— Не могу, государь. И никто другой не может.

Гнев дона Альфонсо на себя самого и на злую судьбу, похищавшую у него славу, обратился на Иегуду.

— Ты виновен в моем позоре, — бушевал он. — Ты придумал это постыдное перемирие и другие еврейские хитрости. Ты изменник! Ты стараешься для Севильи и для твоих обрезанных друзей, ты боишься, что я на них нападу и верну себе утраченную славу. Ты изменник!

Еще заметнее побледневший Иегуда молчал.

— Ступай! — крикнул ему король. — Ступай с глаз долой!

Специальный налог, о котором Иегуда говорил королю, был так называемой саладиновой десятиной. Дело в том, что папа предписал подданным тех христианских стран, которые не принимают участия в великом крестовом походе против султана Саладина, вносить свою лепту хотя бы деньгами, а лепта эта должна была составлять одну десятую их доходов и движимого имущества.

Эскривано кастильского короля был рад папскому указу. Он и его юристы, его законоведы, решили, что саладинову десятину надо взимать и во владениях короля Альфонсо. Ибо хотя богу угодно, чтобы король, папский государь, пока оставался нейтрален, но нейтралитет этот временный, и поэтому король обязан готовиться к свя-

щенной войне. Так в пространном меморандуме изложил дело Иегуда.

Дон Манрике передал королю меморандум. Альфонсо прочел.

— Хитро придумано, — сказал он тихо и мрачно, — хитер, собака, хитер, собака торгаш. Он, собака, если бы захотел, мог бы раздобыть мне денег. А почему он сам не пришел? — спросил король.

Дон Манрике ответил:

— Я полагаю, он не хочет снова подвергать себя твоему гневу.

— Подумаешь, какой чувствительный, — насмешливо заметил Альфонсо.

— Ты, верно, слишком резко с ним обошелся, государь, — возразил дон Манрике.

Король был достаточно умен, но понял, что еврей имел все основания обидеться, и рассердился сам на себя. Но весь христианский мир шел на священную войну, а его, Альфонсо, злой рок обрекал на бездействие. Так может же он возмущаться и срывать свой гнев даже на тех, кто не виноват! Такой умный человек, как еврей, должен бы это понять.

Он искал предлога опять повидать Иегуду. Уже давно лелеял он мысль отстроить крепость Аларкос, которую сам присоединил к королевству. Судя по всему, что говорит его эскривано Ибн Эзра, теперь на это есть деньги. Он послал за Иегудой.

Тот еще не позабыл обиды и почувствовал злобное удовлетворение, когда Альфонсо призвал его. Значит, король быстро смекнул, что без него не обойтись. Но Иегуда знал себе цену, он не хотел опять подвергаться оскорблениям. Он почтительнейше просил извинить его — ему нездоровится.

Король преодолел вспышку гнева и приказал через дона Манрике доставить ему деньги для Аларкоса, много денег, четыре тысячи золотых мараведи. Эскривано сейчас же без всяких возражений предоставил требуемую сумму и в верноподданническом писании поздравил короля с решением доказать постройкой крепости всему свету, что он готовится к войне. Король не знал, что и думать о своем еврее.

Дону Альфонсо очень хотелось поехать в Бургос и посоветоваться с королевой. Уже давно надо было побы-

вать там. Дочь Леонор понесла, вероятно, с той ночи, которую он проспал с ней после ее удачной поездки в Сарагосу. Но в Бургосе сейчас было много неподходящих гостей. Город лежал на пути у всех войск — на большой дороге, которая вела к Сант-Яго-де-Компостелла, к величайшей святыне в Европе. По этой дороге и обычно то проходило достаточно пилигримов, а теперь их было еще больше, потому что все рыцари, отправляясь на Восток, спешили заручиться благословением святого. Все они ехали через Бургос, все они шли на поклон к донье Леонор, и когда дон Альфонсо представлял себе встречу с ними, у него щемило сердце: они идут сражаться, а он отсиживается дома!

Но предаваться тоске и скуке у себя в замке он не мог. Он придумывал всякие дела. Ездил то туда, то сюда: отправился в Калатраву, к орденским рыцарям, чтоб произвести смотр своему отборному войску; поехал в Аларкос проверить, как строятся укрепления. Рассуждал с друзьями о войне и строил честолюбивые планы.

А когда не мог придумать других дел, занимался охотой.

Однажды, возвращаясь в очень знойный день с охоты, он решил отдохнуть со своими друзьями Гарсераном де Лара и Эстебаном Ильяном в поместье Уэрта-дель-Рей.

Уэрта-дель-Рей, обширное тенистое имение на берегу извилистой реки Тахо, было обнесено обвалившейся каменной стеной. Одиноко высились ворота, встречавшие гостя обычным арабским приветом: «Алафия — мир входящему», — вырезанным старинными пестрыми письменами. За оградой — кусты, небольшая рощица, разбиты всякие грядки; но там, где прежде искусные садовники выращивали редкие цветы, теперь были посажены полезные растения, овощи: капуста, репа. Стоящий в саду загородный дворец, изящный, легкий павильон, был необитаем, а у реки рассыхались лодка и купальня.

Король с приближенными сидели под деревом напротив дворца. Здание было совсем чуждое, все пропитанное мусульманским духом. Тут, в прохладе, на берегу реки, откуда открывался чудесный вид на город, с незапамятных времен стоял дом. Римляне выстроили здесь виллу, готы — загородный замок, и было достоверно известно, что дворец, который сейчас находился в полном запустении, был возведен по приказу короля мавров.

Галафре для его дочери, инфанты Галианы, и по сие время еще его называли Паласио-де-Галиана.

В этот день даже тут было жарко, над рекой и садом стояла душная тишина; король и его друзья чуть роняли слова.

— Оказывается, Уэрта больше, чем я думал, — сказал дон Альфонсо.

И вдруг у него мелькнула новая мысль. Его отцам и ему самому приходилось больше разрушать, на строительство нового у них оставалось мало времени, но любовь к созиданию они всосали с молоком матери. Его жена Леонор строила церкви, монастыри, больницы, он сам — церкви, замки, крепости. Почему бы ему не построить дворец для себя и своей семьи? Восстановить Галиану и сделать ее удобной для жилья, вероятно, не так уж трудно; а жить здесь в летнее время отлично; может быть, в жару и донья Леонор приедет сюда.

— Как вы полагаете, господа? — спросил он. — Восстановим Галиану? — И весело прибавил. — Давайте осмотрим развалины!

Они пошли к дому. Навстречу им поспешил управитель Белардо, взволнованный и почтительный. Он обратил их внимание на огород и с готовностью рассказал, сколько пользы извлек из никому не нужного сада. В доме он указывал на разные повреждения и многословно объяснял, каким здесь все, верно, было великолепным, — мозаичные полы, богато украшенные стены и потолки. Но в половодье Тахо каждый раз разливается и вода проникает в дом. У него, у Белардо, сердце болит глядеть на разрушение дворца, но один человек бессилен что-либо сделать. Он не раз обращался к господам королевским советникам, говорил, что дом надо восстановить, а на реке выстроить плотину, но его не хотят слушать — денег, мол, на это нет.

— Болтун прав, — сказал по-латыни Эстебан дону Альфонсо. — Дворец действительно был необыкновенно красив. Старый обрезанный король постарался для дочери.

Шпоры на сапогах грандов, тяжело ступавших по выщербленным мозаичным полам, громко звенели, голоса гулко отдавались в пустых покоях.

Дон Альфонсо молча осматривал дом. «Нет, нельзя ждать, пока Галиана совсем разрушится», — думал он.

— Денег и труда придется затратить немало, дон Альфонсо, — заметил дон Гарсеран. — Но я думаю, из Галианы можно сделать прекрасный дворец. Если бы ты видел, что сделал твой еврей из старого, уродливого кастильо де Кастро.

Дону Альфонсо вдруг вспомнилось, как удивил дочку еврея своей старомодной простотой его бургосский замок и как откровенно она ему это высказала прямо в лицо. А дон Эстебан подхватил слова дона Гарсерана и посоветовал:

— Если ты серьезно задумал восстановить Галиану, осмотри раньше дом твоего еврея.

«Я действительно слишком грубо обошелся с евреем, — подумал Альфонсо. — Дон Манрике тоже так полагает. Хорошо, я это исправлю и погляжу его дом».

— Тут вы, может быть, и правы, — буркнул он в ответ.

Как и предсказывал Иегуда, Кастилия расцвела за то время, что остальной христианский мир вел священную войну. Караваны и корабли доставляли товары с Востока в мусульманские страны Испании, оттуда они шли в Кастилию, а оттуда дальше, во все христианские земли.

Когда был объявлен крестовый поход, бароны ругали и поносили Иегуду: еврей-де помешал им принять участие в священной войне, еврея надо прогнать. Но скоро стало ясно, какую огромную пользу приносит стране нейтралитет; брюзжание замолкло, страх перед евреем и тайное уважение к нему возросли. Все большее число дворян заискивало перед ним. Уже один представитель рода де Гусман и один представитель рода де Лара, правда бедный родственник всемогущего дона Манрике, просили еврея эскривано взять их сыновей к себе в пажи.

Когда Иегуда мимоходом похвастался Мусе, как хорошо идут дела и Кастилии и его собственные, ученый, признававший заслуги друга, поглядел на него с насмешкой, сожалением и любопытством. «Он должен хлопотать, — подумал он. — Он должен одновременно вести тысячу дел, ему не по себе, если он не расшевелит людей, не всколыхнет всех, не задаст новой работы писцам в королевских канцеляриях, не пошлет новых кораблей во все семь морей, новых караванов в новые земли. Он хочет себя убедить, что делает это ради дела мира и ради

своего народа, и так оно и есть, но прежде всего он делает это потому, что любит деятельность и власть».

— Что изменится, если у тебя будет еще больше власти? — сказал он. — Что изменится, если у тебя будет двести пятьдесят тысяч, а не двести тысяч золотых мараведи? Ведь все равно ты даже не знаешь, — может быть, пока ты сидишь здесь и пьешь это пряное вино, в четырех неделях пути отсюда самым разметал по пустыни твои караваны или море поглотило твои корабли.

— Я не боюсь самума и моря, — ответил Иегуда. — Я боюсь другого. — И он не стал таиться перед другом, он открыл ему свои сокровенные опасения. — Я боюсь, — сказал он, — необузданных вспышек и прихотей дон Альфонсо, этого рыцаря и короля. Он опять незаслуженно оскорбил меня. И теперь, когда он пошлет за мной, я скажусь больным, и он не увидит лица моего. Правда, и это я отлично понимаю, я веду опасную игру, не желая идти на уступки.

Муса подошел к своему налою и принялся чертить круги и арабески.

— Ты, Иегуда, не идешь на уступки ради дела мира или из гордыни? — спросил он через плечо.

— Да, я человек гордый, — ответил Иегуда. — Но мне сдается, что на этот раз моя гордыня — добродетель и хороший расчет. Необузданность и рассудок поразительно сочетаются в доне Альфонсо, и никто не может предвидеть, что он в конце концов сделает.

Иегуда не шел к королю, а тот ограничивался тем, что посылал ему короткие властные распоряжения. Беспокойство Иегуды росло. Он был готов к тому, что неистовый дон Альфонсо не сегодня-завтра выгонит его из кастильо и из королевства, а может быть, даже прикажет схватить и бросить в подземелье своего замка. В другие минуты он надеялся, что Альфонсо попытается помириться с ним и перед всем светом выкажет ему благоволение. Ждать было горько. Как-то его сын Аласар с искренним огорчением спросил:

— Дон Альфонсо ни разу не справлялся обо мне? Почему не идет он к тебе в гости?

И с болью в сердце Иегуда был вынужден ответить:

— Тут, в Кастилии, это не принято, мой сын.

Какая гора свалилась у него с плеч, когда посол из

королевского замка возвестил, что дон Альфонсо придет к нему в гости!

Король пришел с Гарсераном, Эстебаном и небольшой свитой. Он старался скрыть легкое смущение под снисходительно-приветливой напускной веселостью.

Дом показался ему чуждым, почти враждебным, таким же, как и его хозяин. При этом он отлично заметил, что на свой лад этот дом — образец совершенства. Благодаря какому-то таинственному чувству меры при большом разнообразии достигалось впечатление полной гармонии. На всем лежала печать богатства, не был позабыт ни один уголок, не была упущена ни одна мелочь. Слуг не было видно — и, однако, они являлись по первому зову. Шум заглушался коврами, тишина в доме казалась еще тише от журчания воды. И такое чудо стоит среди его шумного Толедо! Такое чудо свершилось с его кастильо де Кастро! Альфонсо чувствовал себя здесь чужим, непрощеным гостем.

Он посмотрел на книги и свитки, арабские, еврейские, латинские.

— Ты успеваешь читать все это? — спросил он.

— Многое я читаю, — ответил Иегуда.

В галерее для гостей он представил королю Мусу Ибн Дауда как самого ученого врача среди верующих всех трех религий. Муса поклонился дону Альфонсо и без всякого подобострастия посмотрел ему прямо в лицо. Дон Альфонсо захотел, чтобы ему перевели какое-нибудь мудрое изречение из тех, что золотисто-пестрой гирляндой вились вдоль стен. И Муса перевел то, что уже переводил дону Родриго: «...участь сынов человеческих и участь животных — одна... Кто знает: душа сынов человеческих восходит ли наверх и душа животных сходит ли вниз, в землю?»

Дон Альфонсо задумался.

— Это еретическая мудрость, — строго сказал он.

— Она взята из Библии, — любезно вразумил его Муса. — Это слова, взятые из книги проповедника Соломона, царя Соломона.

— Я нахожу, что это совсем не царская мудрость, — прервал его дон Альфонсо. — Король не сходит вниз в землю, как животное. — Он оборвал разговор, затем сказал Иегуде: — Покажи мне оружейную залу.

— Государь, если позволишь, оружейную залу тебе

покажет мой сын Аласар, — попросил Иегуда, — и этот день он сочтет лучшим днем своей жизни.

Дон Альфонсо с удовольствием вспомнил славного подростка.

— У тебя смысленый, рыцарский сын, дон Иегуда, — сказал он. — Если тебе угодно, я хотел бы повидать и твою дочь, — прибавил он.

Он приветливо, со знанием дела поговорил с мальчиком о доспехах, конях и мулах.

Потом все пошли в сад, и, как нарочно, там оказалась и донья Ракель.

Это была та же Ракель, что и тогда, в Бургосе, та же, что так неучтиво ответила на его вопрос, и все же не та. На ней было платье чуть иноземного покроя, и сама она была сейчас хозяйкой дома, принимающей чужого знатного гостя. Если в Бургосе она нарушала общий тон, была там совсем не к месту, то здесь все — искусно разбитый сад, водометы, необычные растения — служило ей подходящей рамкой, а он, Альфонсо, казался чужим, был здесь не к месту.

Он поклонился по всем правилам куртуазного обхождения, снял перчатку, взял ее руку и поцеловал.

— Я рад, что опять вижу тебя, благородная дама. Тогда, в Бургосе, я не мог довести разговор с тобой до конца, — громко сказал он, так что все слышали.

Тут, в саду, собралось более обширное общество: к королю и его приближенным присоединились Аласар и пажы Иегуды. Во время медленной прогулки по саду Альфонсо и Ракель немного отстали от других.

— Теперь, когда я увидел этот дом, — заговорил он, и на этот раз по-кастильски, — я понимаю, что тебе, благородная дама, не понравился мой бургосский кастильо.

Она покраснела, ее смущало, что она обидела его, ей льстило, что ему запомнились ее слова, она молчала, едва уловимая неопределенная улыбка чуть тронула ее изогнутые губы.

— Ты понимаешь, когда я говорю на вульгарной латыни? — продолжал он.

Она покраснела сильнее: он запомнил каждое ее слово.

— За это время я гораздо лучше выучила кастильский язык, государь, — ответила она.

Он сказал:

— Я бы охотно поговорил с тобой по-арабски, госпожа, но в моих устах этот язык будет звучать грубо и нескладно и оскорбит твой слух.

— Не утруждай себя, говори по-кастильски, государь, раз это твой родной язык, — откровенно сказала донья Ракель.

Ее слова рассердили дона Альфонсо. Ей следовало бы сказать: «Мне этот язык приятен», — или что-нибудь в таком же роде, как требовали правила куртуазии, а она вместо того непочтительно выпаливает все, что взбредет в голову, и порочит его родной кастильский язык.

— Моя Кастилия, верно, все еще для вас чужая страна, — сказал он грубо, — и только здесь ты чувствуешь себя дома.

— Нет, — ответила Ракель. — Кастильские кавалеры внимательны к нам и стараются сделать так, чтоб Кастилия стала для нас родной.

Теперь дону Альфонсо надо было бы сказать несколько обычных любезных слов, что-нибудь вроде: «Нетрудно быть внимательным к такой даме, как ты». Но ему вдруг опротивела вымученная, надуманная модная болтовня. Да и донья Ракель, должно быть, галантная болтовня кажется смешной. Вообще, как надо с ней разговаривать? Она не принадлежит к тем дамам, которые любят выпренно любезные, ничего не говорящие комплименты, и еще меньше к тем женщинам, которым нравятся вольное солдатское обращение. Он привык, что у каждого есть свое определенное место и что он, Альфонсо, твердо знает, с кем имеет дело. Но куда отнести донью Ракель и как себя с ней держать, он не знал. Все, что было связано с его евреем, сейчас же теряло определенность и становилось неясным. Зачем ему эта донья Ракель? Чего он от нее хочет? Может быть, он хочет — и мысленно он произнес очень грубое слово на своей вульгарной латыни — переспать с ней? Он и сам не знал.

На исповеди он мог с чистой совестью говорить, что, кроме своей доньи Леонор, не любил ни одной женщины. К рыцарской любви, к любовному служению у него вкуса не было. Незамужние дочери дворян вне дома появлялись редко и только в большом обществе, и поэтому куртуазный кодекс предписывал влюбляться в замужних

дам и посвящать им высокопарные, замороженные любовные стихи. Такое ухаживание ни к чему не вело. Вот так и получалось, что он спал с обозными девками да взятыми в плен мусульманскими женщинами; с ними можно было и говорить и вести себя как бог на душу положит. Раз у него что-то было с женой одного наваррского рыцаря, но в этой любовной интриге было мало радости, и он почувствовал облегчение, когда дама вернулась на родину. Короткая связь с доньей Бланкой, фрейлиной королевы, была мучительна, и в конце концов донья Бланка не то по доброй воле, не то по принуждению приняла постриг. Нет, счастлив он был только со своей Леонор.

Хотя дон Альфонсо и не облек эти свои думы в определенные слова, все же он ясно их почувствовал, и его рассердило, что он вел такой разговор с дочерью еврея. Ведь она ему не нравится, нет в ней ни капли скромности, не похожа она на благородную даму, она слишком бойка и позволяет себе судить обо всем, хотя, в сущности, она еще девчонка. Ничем она не похожа на холодных, величественных златокудрых христианских дам, нет, рыцарь не сложит в ее честь стихов, да она и не поняла бы их.

Он не хотел продолжать разговор с ней, не хотел дольше оставаться в этом доме. Тихий сад с его монотонным плеском водных струй, с душным сладким ароматом цветущих апельсиновых деревьев раздражал его. Хватит разыгрывать из себя дурака и любезничать с этой сврейкой, ну ее совсем!

Но он услышал свой собственный голос:

— За городскими воротами у меня есть имение, его называют Галиана. Замок очень старый, его построил для себя король-мусульманин, и о нем ходит много рассказов.

Донья Ракель восторгалась. Она раньше что-то слышала про Галиану. Уж не там ли стояли водяные часы рабби Ханана?

— Я хочу восстановить дворец, — продолжал дон Альфонсо, — и так, чтобы новый не уступал старому. Твои советы, благородная дама, были бы мне очень желательны.

Донья Ракель посмотрела на него с удивлением, почти гневно. Никогда мусульманский рыцарь не осмелился

бы так неловко и грубо пригласить к себе даму. Но тут же она решила, что христианские рыцари совсем другое дело: правила куртуазии обязывают их произносить выспренние фразы, за которыми ничего не кроется. Она посмотрела исподтишка на лицо дон Альфонсо и испугалась. Лицо было напряженное, жадное. Нет, его слова продиктованы не правилами куртуазии.

Она была испугана, оскорблена и замкнулась в себе. Стала только учтивой хозяйкой дома. Вежливо ответила, на этот раз по-арабски:

— Отец будет, конечно, очень рад помочь тебе своими советами, государь.

Лоб дон Альфонсо сразу прорезала глубокая складка. Что он наделал! Он заслужил такой отпор, он должен был его ждать. С самого начала ему следовало быть осторожным: девушка была дочерью проклятого богом народа. Этот заколдованный сад, весь этот заколдованный, окаянный дом внушил ему такие речи. Он встряхнулся, пошел быстрее, через несколько шагов они нагнали остальных.

Подросток Аласар сразу обратился к нему. Он сейчас рассказывал про шлем с забралом, все части которого подвижны, так что можно по желанию поднимать и опускать железную пластину, защищающую глаза, нос, рот, а пажы короля не верят.

— Я же сам видел такие доспехи, — горячился он. — Их кует кордовский оружейник Абдулла, и отец обещал подарить мне такое вооружение, как только я буду посвящен в рыцари. У тебя же ведь есть такие доспехи, государь?

Дон Альфонсо ответил, что слышал про них.

— Но у меня их нет, — сухо заключил он.

— Так отец тебе обязательно достанет! — пылко воскликнул Аласар. — Тебе они очень понравятся, — уверял он. — Повели отцу выписать их для тебя.

Лицо Альфонсо просветлело. Не виноват же мальчик, что у него такая дерзкая и обидчивая сестра.

— Видишь, дон Иегуда, — сказал он, — мы с твоим сыном понимаем друг друга. Не отдашь ли ты мне его в пажы?

Донья Ракель казалась взволнованной. И остальные тоже с трудом скрывали свое удивление. Аласар, почти заикаясь от радости, пролепетал:

— Это правда, дон Альфонсо? Ты милостиво берешь меня к себе в услужение?

А дон Иегуда, желание которого так неожиданно осуществилось, низко склонился перед королем и сказал:

— Это большая милость, твое величество!

— Король, наш государь, кажется, милостиво беседовал с тобой, дочь моя? — спросил в тот же вечер Иегуда.

Донья Ракель откровенно ответила:

— По-моему, король был *слишком* милостив. Я боюсь его. — И она пояснила: — Он хочет восстановить свой загородный дом Галиану и предложил мне помочь ему в этом деле советами. Ведь правда, это необычное предложение, отец?

— Необычное, — согласился Иегуда.

И действительно, несколько дней спустя Иегуда и донья Ракель были приглашены участвовать в поездке короля в Галиану. На этот раз дон Альфонсо пригласил большое общество, и во время прогулки по саду он почти не говорил с доньей Ракель. Зато он предлагал много вопросов грубоватому, болтливому управителю Белардо, веселившему гостей своими ответами.

После осмотра поместья был сервирован обед на берегу Тахо. К концу обеда король, сидевший на пне, произнес выпренную речь, сам потешаясь над ее торжественностью.

— Около ста лет царствуем мы здесь, в Толедо, мы сделали его нашей столицей, отстроили, укрепили, оградил от нападений неверных. Но, радея о чести, вере и ратных подвигах, мы не имели досуга заняться другими делами, возможно и суетными, но королю подобающими, — мы пренебрегали красотой и великолепием. Наши друзья с юга, хотя бы дон эскривано и его дочь, глядящие на наши города и дома со стороны, нашли наш замок в Бургосе голым и неудобным. И вот в минуту досуга нам заблагорассудилось отстроить наш запущенный Паласио-де-Галиана и сделать его еще красивее, чем он был прежде, дабы весь свет видел, что мы уже не нищие, что мы тоже можем, ежели есть охота, строить роскошные дворцы.

Это была длинная и гордая речь, такие речи дон Альфонсо произносил разве только на торжественных засе-

даниях, и гости, сидевшие за не убранными еще столами, были поражены.

— Как ты полагаешь, мой эскривано? — уже не торжественным тоном обратился король к Иегуде. — Ты ведь сведущ в таких делах.

— Твой загородный дом Галиана, — осмотрительно начал дон Иегуда, — расположен в прекрасном месте: тут и прохлада реки, и великолепный вид на твою славную столицу. Потратить труды на восстановление такого замка, разумеется, стоит.

— Значит, мы восстанавливаем Галиану, — не задумываясь решил король.

— Тут есть одна трудность, государь, — почтительно заметил Иегуда. — Ты богат добрыми воинами и умелыми ремесленниками. Но твои мастера и ремесленники еще недостаточно искусны и не могут отстроить этот замок так, чтобы он соответствовал твоему величию и желанию.

Король помрачнел.

— А разве ты не отстроил заново роскошный большой дом в течение очень короткого времени?

— Я выписал мусульманских зодчих и мастеров, государь, — негромко, деловитым тоном сказал дон Иегуда.

Все молчали. Христианский мир вел священную войну против неверных. Подобаает ли христианскому королю призывать мусульманских мастеров? И согласятся ли мусульмане строить замок христианскому королю?

Дон Альфонсо посмотрел на лица окружающих. На них было написано ожидание, а не насмешка. И на лице еврейки не было насмешки. А что, если в душе она скрывает дерзкую мысль, что он, Альфонсо, не умеет строить ничего, кроме старых угрюмых крепостей? Неужели король Толедо и Кастилии не сумеет осуществить такой ничтожный замысел, как восстановление загородного дома?

— Ну что ж, в таком случае выпиши мне мусульманских строителей, — повелел он все так же решительно. — Я хочу восстановить Галиану, — нетерпеливо закончил он.

— Раз ты так приказываешь, государь, — ответил дон Иегуда, — я отдам распоряжение моему Ибн Омару выписать тебе нужных людей. Он человек расторопный.

— Отлично, — сказал король. — Последи, чтобы все шло без задержки. Едемте домой, господа! — сказал он.

К донье Ракель он не обращался ни за обедом, ни во время прогулки.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Дону Альфонсо все сильнее не хватало доньи Леонор, присутствие которой всегда действовало на него благотворно. Кроме того, нельзя было дольше оставлять ее одну. Она тяжело переносила беременность, роды ожидались через шесть-семь недель. Он послал к ней гонца, что скоро сам прибудет в Бургос.

Донья Леонор не была на него в обиде за длительное отсутствие. Вместе с ним она мучилась его вынужденным бездействием. Она понимала, что он не хочет встречаться у нее при дворе с рыцарями, которые отправлялись в Святую землю, и была ему очень благодарна, что он все же приехал.

Донья Леонор проявила большую чуткость. Она признала, что Кастилия не может воевать, хоть это и было ей очень больно. Ведь она сама убедилась, как глубоко засела обида в сердце дона Педро. Она знала: даже если против ожидания и удастся заключить мало-мальски прочный союз с Арагоном, чувство горькой обиды постоянно будет толкать молодого короля на пагубные споры из-за верховного командования, заранее можно предвидеть, что поражение неизбежно.

Умными словами убеждала она короля, что для победы над собой ему потребовалось не меньше мужества, чем для самого отважного военного подвига. Все отлично понимают, что только злосчастное стечение обстоятельств вынуждает его к бездействию.

— Ты по-прежнему первый рыцарь и герой Испании, мой Альфонсо, — сказала она, — и весь христианский мир это знает.

От таких ее слов у него становилось тепло на душе. Она его дама и королева. Как мог он так долго выдерживать в Толедо без ее ласковых слов, без ее совета и забот?

Альфонсо старался тоже получше понять ее. До сих пор он считал прихотью избалованной дамы то, что она предпочитала Бургос его столице, теперь он понял, что

это чувство коренится глубоко в ее натуре. Она выросла при дворах своего отца Генриха Английского и своей матери Алиеноры Аквитанской, где процветали галантность и учтивые нравы, и к его далекому Толедо ей, конечно, было трудно привыкнуть. В Бургосе, лежащем на дороге пилигримов, отправлявшихся в Сант-Яго-де-Компостелла, было легко поддерживать связь с утонченными христианскими дворами; у доньи Леонор постоянно гостили рыцари и придворные поэты ее отца и сводной сестры принцессы Марии де Труа, воплощавшей идеал дамы христианского мира.

Дон Альфонсо смотрел теперь и на Бургос иными, более понимающими глазами. Он видел суровую, гордую красоту древнего города, который не поддался мавританскому духу и стоял теперь величественный, высокомерный, недоступный, христианский. Какой он дурак, что хоть на минуту разлюбил его из-за болтовни глупой девчонки.

Его злило, что он повелел отстроить Галиану с прежней ее мусульманской роскошью, и ничего не сказал об этом донье Леонор. Вначале он думал, что сможет ее уговорить провести летом месяц-другой в Толедо, когда будет восстановлен красивый, прохладный замок. Теперь он знал, Галиана ей не понравится. Она любит добротность, крепость, суровость, а не мягкую пышность, негу, нечто зыбкое и расплывчатое.

Эти последние недели он старался во всем угодить донье Леонор. Из-за своего положения она не могла принимать участие в кавалькадах и охоте, он тоже отказался от этого удовольствия и почти все время проводил в замке. И детям своим он уделял теперь больше внимания, чем обычно, особенно инфанте Беренгеле. Это была сильно вытянувшаяся некрасивая девочка со смелым выражением лица. Она унаследовала от матери интерес к миру и людям, а также ее честолюбие, она много читала и училась. Ее явно радовало, что отец теперь больше занимается ею, однако она была молчалива и держалась замкнуто. Альфонсо не сдружился с дочерью.

Донья Леонор примирилась с тем, что не родит наследника. Не так уж это плохо, говорила она, улыбаясь, если она в четвертый раз разрешится от бремени дочерью. Тогда будущий супруг Беренгелы может с уверенностью рассчитывать на корону Кастилии и, значит, бу-

дет этому королевству верным союзником. Она не потеряла надежды склонить доня Педро на искренний союз и намеревалась сейчас же после родов поехать в Сарагосу и снова заняться сватовством. И в нынешнем, третьем крестовом походе великое продвижение на Восток идет очень медленно, христианское войско дошло только до Сицилии, значит, если удастся уладить отношения с Арагоном, можно надеяться, что Альфонсо еще успеет принять участие в священной войне.

А пока донья Леонор придумывала всякие дела, чтобы время ожидания не тянулось для короля так томительно долго.

Вот хотя бы рыцарский орден Калатравы. Это отборное кастильское войско подчинялось королю только во время войны; в мирное время великий магистр пользовался полной независимостью. Священная война давала дону Альфонсо хорошее основание настаивать на изменении такого порядка. Донья Леонор предложила королю поехать в Калатраву, пожертвовать Ордену деньги на постройку стен и на вооружение рыцарей и договориться о пересмотре правил и дисциплины Ордена с его великим магистром доном Нуньо Пересом, человеком монашеского образа жизни, однако весьма сведущим в военном деле.

Затем были пленники, во время битвы за святой город попавшие в неволю к султану Саладину. Папа призывал и увещевал весь христианский мир выкупить их. Но священная война поглощала огромные суммы, христианские властители медлили, обещали, а время уходило. Султан назначил выкуп в десять золотых крон за мужчину, в пять за женщину, в одну крону за ребенка — выкуп был высокий, но не чрезмерный. Донья Леонор посоветовала мужу выкупить как можно больше пленников. Таким образом он докажет всему свету, что не отстает от других в святом рвении.

Такие планы пришлись по душе дону Альфонсо. Но для их осуществления нужны были деньги.

Он призвал в Бургос Иегуду.

А дон Иегуда меж тем сидел в Толедо, в своем прекрасном кастильо Ибн Эзра. И в то время, как весь свет воевал, его Сефард наслаждался мирной жизнью, и торгующая страна и его собственные дела процветали.

Но новая тяжелая дума запала ему в сердце, дума о кастильских, и в частности о толедских, евреях.

Согласно весьма недвусмысленному папскому эдикту, все те, кто не принимал участия в походе, должны были вносить саладинову десятину, — следовательно, и евреи. Архиепископ дон Мартин воспользовался этим указом и потребовал, чтобы альхама выплатила ему эту подать.

Дон Эфраим принес Иегуде послание архиепископа. Оно было написано резко, в угрожающем тоне. Иегуда прочел; он уже давно ждал этого требования со стороны дона Мартина.

— Альхама обнищает, если, кроме других налогов, должна будет выплачивать еще и саладинову десятину, — тоненьким голоском сказал дон Эфраим.

— Если вы хотите увильнуть от этой повинности, на мою помощь не рассчитывайте, — без обиняков заявил Иегуда.

На лице старейшины появилось злое, возмущенное выражение. «Иегуде наплевать на то, сколько мы платим, — с горечью подумал он. — Он загребает проценты, ростовщик! А мы хоть погибай».

Дон Иегуда угадал мысли гостя.

— Не скули из-за денег, господин мой и учитель Эфраим, — одернул он его. — Вы достаточно заработали на нейтралитете Кастилии. Я уже давно должен был бы потребовать с вас саладинову десятину. Здесь дело не в деньгах. Здесь дело гораздо более серьезное.

Чудовищная сумма, которую должна была выплатить альхама, вытеснила из головы старейшины Эфраима все другие заботы; теперь, когда Иегуда так резко вернул его к действительности, он уже не мог закрывать глаза на гораздо более лихую напасть. Саладинову десятину платили церкви, не королю. Уже когда шла речь о том, чтобы повысить налоги, взимаемые с христиан, архиепископ предъявил свои права на эти взносы, и казна вынуждена была пойти на уступки. Когда дело коснется евреев, дон Мартин будет еще решительней настаивать на этой привилегии; а если он добьется своего, независимости альхамы конец.

Дон Иегуда в откровенных и резких словах объяснил это дону Эфраиму.

— Ты не хуже меня знаешь, что поставлено на карту, — сказал он. — Нельзя, чтобы между нами и королем было втиснуто еще одно звено. Мы должны остаться независимыми, как написано в древних книгах. Мы должны сохранить самоуправление и свою юрисдикцию, как и гранды. Король должен получить право взимать саладинову десятину, я должен получить это право, — не дон Мартин. К этому я приложу все старания, но только к этому. И если мне это удастся и если вы откупитесь только деньгами, славьте господа бога!

Дон Эфраим, на которого так напал Иегуда, в душе чувствовал, что тот прав. Мало того, его поразило, как быстро и верно Иегуда понял, в чем тут дело. Но он не хотел показать свое невольное восхищение. Слишком сильно печалился он о деньгах. Ему было не по себе, он зяб и, почесывая ногтями одной руки ладонь другой, продолжал дуться.

— Твой родич дон Хосе добился, чтобы сарагосские евреи платили только половину десятины.

— Возможно, что мой родич оборотистей меня, — сухо возразил Иегуда. — Во всяком случае, у него нет такого противника, как архиепископ дон Мартин. — Он разгорячился. — Неужели ты все еще слеп? Я буду рад, если на этот раз архиепископ не наденет на нас ярма. За это я охотно заплачу полную десятину королю, и десятину эта будет тучная, дон Эфраим, уж будь спокоен. Самоуправление альхамы стоит того.

Он сказал это с неожиданным волнением, он даже путался и заикался.

— Я знаю, что ты наш друг, — поспешил ответить дон Эфраим. — Но ты суровый друг.

На почтительный отказ дон Эфраима архиепископ не разразился вторым посланием. Вместо того он отправился в Бургос; несомненно, он хотел вырвать у короля полномочия для действий против евреев.

Иегуда боялся, что он добьется своего. Альфонсо и Леонор благочестивы, нейтралитет Кастилии камнем лежит у них на совести. Дон Мартин наверняка сошлется на не допускающий толкований папский эдикт и будет увещевать их не умножать своих грехов. Иегуда думал сам поехать в Бургос. Но мысль старого Мусы, что как раз «хлопотливостью» можно все погубить, удержала его.

Когда король призвал его в Бургос, он воспринял это как знамение неба.

Архиепископ действительно наседа на короля. Он ссылался на целый ряд указов священного престола и на писания высших церковных авторитетов. Разве не ответили евреи Пилату: «Кровь его на нас и на детях наших», — и разве тем самым они не осудили себя? Господь бог тогда же осудил их на вечное рабство, и обязанность христианских монархов — не давать проклятому богом народу подымать выю.

— А ты, дон Альфонсо, — взывал он к королю, — в течение всего своего царствования мирволил и потакал евреям, и в наше тяжелое время, когда гроб господень снова в руках обрезанного антихриста и папский эдикт обязывает всех безоговорочно, а значит, и иудеев, вносить саладинову десятину, ты колеблешься и не выполняешь его и потворствуешь неверным, что очень обидно твоим истинно верующим подданным.

Король не мог устоять против увещаний архиепископа.

— Хорошо, дон Мартин. Мои евреи тоже внесут саладинову десятину.

Дон Мартин возликовал:

— Сейчас же назначу налог!

Этого Альфонсо не хотел. Папа мог требовать, чтобы он, король, взыскал десятину и употребил ее на военные нужды; но взыскивать налоги и решать, на что именно их пустить, — его королевское право. Спор это был давний, он снова ожил еще при первом назначении саладиновой десятины, и хотя Альфонсо и очень ценил архиепископа, верного друга и истого рыцаря, все же он не желал уступать.

— Прости, дон Мартин, — сказал он, — это не твоего ведения дело. — И когда архиепископ возмущился, он успокоил его: — Ты не жаждешь денег, и я не жажду. Мы христианские рыцари. Мы захватываем добычу у недруга, но мы не спорим с другом из-за денежных дел. Пусть и на этот раз скажут свое слово юристы и репозитории.

— Так это означает, что ты предоставляешь твоему еврею решать, как применить эдикт святого отца? — подозрительно и задорно спросил дон Мартин.

— Очень удачно, что дон Иегуда сейчас как раз едет

сюда, — ответил Альфонсо. — Я, конечно, посоветуюсь и с ним.

Тут уж архиепископ не выдержал.

— Кого ты хочешь спрашивать — дважды неверного? Посланца дьявола? Ты думаешь, он даст тебе добрый совет во вред своему другу эмиру Севильскому? Кто поручится, что он уже сейчас не строит вместе с ним козней. Еще фараон сказал: «Если разразится война, евреи прижмут к нашим врагам».

Дон Альфонсо старался сохранять спокойствие.

— Этот мой эскривано сослужил мне большую службу, — сказал он. — Большую, чем все те, что были до него. В хозяйстве моего королевства теперь увеличился порядок и уменьшился гнет. Ты несправедлив к нему, дон Мартин.

Теплые слова, в которых король защищал еврея, испугали архиепископа.

— Вот и видно, что святой отец был прав, когда предостерегал христианских монархов от евреев-советчиков, — сказал он, не столько возмущенный, сколько озабоченный. Он процитировал послание папы: — «Берегитесь, князи христианские. Не приближайте милостиво к себе иудеев, они отблагодарят вас по пословице: *mus in pera, serpens in gremio et ignis in sinu* — как мышь в мешке, как змея за пазухой, как огниво в рукаве». — И огорченно закончил: — Ты слишком приблизил к себе этого человека, дон Альфонсо, он вполз к тебе в сердце.

Короля тронула печаль друга.

— Не думай, — сказал он, — я не хочу удержать то, что по справедливости причитается церкви. Взвешу твои и его доводы, и только если его доводы окажутся очень вескими, очень убедительными, очень бескорыстными, я послушаюсь его.

Архиепископ был мрачен и озабочен.

— Тебе, верно, мало того, что господь обрек тебя за грехи на бездействие в то время, как весь христианский мир сражается? Не прибавляй к старым грехам новых! Заклинаю тебя, не потерпи, чтобы в твоём королевстве неверные насмеялись над эдиктом святого отца!

Дон Альфонсо взял его за руку.

— Благодарю тебя за предупреждение, — сказал он. — Я буду его помнить, и Иегуде не удастся заговорить мне зубы.

Все время, пока он ждал Иегуду, слова дона Мартина не выходили у него из головы. Архиепископ был прав: он слишком разбаловал своего еврея. Он обращается с ним не как с человеком, с которым поневоле приходится вести дела, а как с другом. Он пошел к нему в гости, взял к себе в пажы его сына, любезничал с его дочерью и, раззадоренный насмешками и высокомерием этой девчонки, решил восстановить мавританский загородный дворец. Сколько ни отогревай змею на груди, она все равно ужалит. А может быть, уже ужалила.

Больше он не поддастся на обольщения еврея. Иегуда ответит за то, что не востребовал со своих единоверцев саладиновой десятины. И если он ничего не приведет в свое оправдание, Альфонсо передаст евреев дону Мартину. Пусть не задирают нос эти неверные!

Но может ли он передать церкви свое право владения евреями, свое *patrimonio real*? Его предки не позволяли никому на него посягнуть.

Он просмотрел доклады о финансовом положении государства. Оно было благоприятно, более чем благоприятно. Его эскривано служит ему верой и правдой, этого отрицать нельзя. Но он, Альфонсо, сохранит в сердце своем предостережения архиепископа; он не позволит себя одурачить.

Прежде всего он потребует от еврея огромную сумму для Калатравы и на выкуп пленников. Из ответа еврея будет ясно, чьи интересы для него важнее — казны и государства или его собственные и еврейства.

Он встретил Иегуду, полный нетерпеливого ожидания.

Иегуда тоже был в напряженном волнении. От разговора с королем зависело бесконечно многое; надо было действовать очень осторожно.

Прежде всего он сделал подробный доклад о состоянии хозяйства. Рассказал о значительных успехах, не позабыл и о более мелких удачах, которые, по его мнению, могли порадовать короля. Рассказал о большом конском заводе; шестьдесят породистых коней из мусульманской Андалусии и из Африки находятся на пути в Кастилию, приглашены три опытных коневода. Затем о кастильской монете; чеканят все большее количество

золотых мараведи, и хотя изображение дона Альфонсо, как и всякое изображение человеческого лица, ненавистно приверженцам пророка, все же золотые монеты с лицом дона Альфонсо и с его гербом, свидетельствующим о его могуществе, распространяются и в мусульманских странах. А королеву, надо думать, порадует то, что в непродолжительном времени она сможет носить ткани, изготовленные из кастильского шелка.

Король слушал внимательно и казался довольным. Но он помнил о своем намерении не давать еврею зазнаваться.

— Это звучит очень утешительно, — заметил он, но тут же прибавил с недоброй мягкостью: — Теперь наконец и деньги есть, чтобы ударить по нашим здешним мусульманам.

Дон Иегуда был разочарован — он ожидал большей благодарности, однако он спокойно ответил:

— Мы приближаемся к этой цели скорее, чем я думал. И чем дольше ты сохранишь мир, государь, тем больше будут твои возможности собрать многочисленное и сильное войско, которое обеспечит тебе победу.

Дон Альфонсо все с той же злобно-лукавой мягкостью спросил:

— Ежели ты полагаешь, что все еще не можешь дать согласие на священную войну, то, по крайней мере, дозвожь мне получить деньги, чтобы христианский мир поверил в мою добрую волю!

— Сблаговоли, государь, ясней изложить свою мысль, ибо слуга твой непонятлив, — ответил дон Иегуда.

— Мы с доньей Леонор решили выкупить пленников Саладина, — объяснил ему Альфонсо, — выкупить очень много пленников. — И он назвал еще более высокую цифру, чем собирался: — Тысячу мужчин, тысячу женщин, тысячу детей.

Иегуда, казалось, смутился, и Альфонсо уже подумал: «Вот теперь я его поймал; теперь он покажет свое истинное лицо». Но Иегуда тут же ответил:

— Шестнадцать тысяч золотых мараведи очень большие деньги. Ни один другой государь на нашем полуострове не мог бы себе позволить выбросить на благочестивое дело без всякой для себя корысти такую огромную сумму. Ты можешь это себе позволить, государь.

Альфонсо не знал, радоваться ли ему или сердиться. — Кроме того, — сказал он, — я хотел бы сделать дар Калатравскому ордену, и дар щедрый.

Теперь Иегуда действительно был озадачен. Но он тотчас же подумал: король хочет купить у неба прощение за то, что не участвует в священной войне, и лучше, если он сделает это таким путем, не уступив архиепископу саладинову десятину.

— О какой сумме ты думал, государь? — спросил он.

— Я хотел бы услышать твое мнение, — сказал Альфонсо.

Иегуда предложил:

— Что, если пожертвовать Калатраве ту же сумму, что и Аларкосу: четыре тысячи золотых мараведи?

— Ты смеешься, мой милый, — ласково сказал король. — Не могу же я отделаться от моих лучших рыцарей нищенской подачкой! Определи сумму пожертвования в восемь тысяч мараведи.

На этот раз дон Иегуда невольно поморщился. Но он не стал спорить и, склонившись перед королем, сказал:

— Государь, ты сейчас отдал на богоугодные дела двадцать четыре тысячи золотых мараведи. Будь уверен, бог вознаградит тебя. — И, уже справившись со своим волнением, он весело прибавил: — Я и так ждал, что господь будет к тебе милостив, и уже заранее все предусмотрел.

Король поглядел на него с удивлением.

— Рассчитывая, что ты заслужил перед господом и он благословит тебя наследником престола, я приказал моим репозиториям пересмотреть список подарков на крестины, — пояснил Иегуда.

Дело в том, что в старых книгах было записано право короля по случаю рождения первого сына требовать от каждого вассала добавочных взносов на предмет достойного воспитания престолонаследника, и суммы при этом определялись немалые.

Дон Альфонсо, так же как и донья Леонор, отказался от надежды на наследника престола, и то, что эскривано верил в его счастье, обрадовало короля. Оживившись, он сказал со смущенной улыбкой:

— Ты и в самом деле предусмотрительный человек.

И так как еврей без колебания предоставил в его распоряжение требуемую сумму, дон Альфонсо уже решил,

как и собирався, поручить ему, а не дону Мартину взыскание саладиновой десятины.

Но ведь еврей обошел молчанием саладинову десятину, причитающуюся с альхамы, и не обмолвился о ней ни полсловом.

— А как обстоит дело с вашей саладиновой десятиной? — без всякого перехода спросил король. — Мне сказали, что вы хотите надуть церковь. Этого я не потерплю, тут вы просчитались.

Неожиданный запальчивый наскок вывел Иегуду из равновесия. Но он рассудил, что судьба сефардских евреев зависит сейчас от его языка, он сдержался, приказал себе действовать с холодным расчетом, не терять терпения.

— Нас оклеветали, государь, — сказал он. — Я уже давно подсчитал саладинову десятину альхамы; иначе неоткуда было бы взять те деньги, которые ты сегодня потребовал. Но твои еврейские подданные, разумеется, хотят вносить эту подать не всякому, кто ее будет домогаться или уже домогается, а только тебе, государь.

Дон Альфонсо, хотя и довольный тем, что Иегуда так легко отклонил от себя обвинение дона Мартина, все же решил его осадить:

— Не забывайся, дон Иегуда! «Всякий», о котором ты говоришь, — это архиепископ Толедский.

— В статуте, данном альхаме твоими отцами и дедами и подтвержденном тобою, государь, предусмотрено, что наша община должна вносить подати только тебе и никому другому. Если ты повелишь, десятина, разумеется, будет выплачена архиепископу Толедскому. Но тогда это будет только десятина и ни на сольдо больше, тощая десятина, ибо стричь козла, который противится, очень трудно. Если же десятина пойдет тебе, государь, это будет тучная, богатая десятина, потому что тебя, государь, толедская альхама любит и уважает. — И тихим, вкрадчивым голосом он прибавил: — Может быть, было бы лучше, если бы я затаил в сердце то, что я тебе сейчас скажу. Но я честно служу тебе и не могу умолчать об этом. Мы страдали бы и мучились угрызениями совести, если бы нам пришлось внести деньги на завоевание города, который спокон веков мы почитаем святым и который господь бог определил нам в наследие. Ты, государь, потратишь наши деньги не на войну на Востоке, а на

увеличение славы и мощи твоей Кастилии, которая охраняет нас и обеспечивает нам довольство и покой. Мы знаем — ты употребишь эти деньги нам на благо. На что употребит их архиепископ — мы не знаем.

Король верил тому, что говорил еврей. Еврей, какие бы у него ни были тайные соображения, шел той же дорогой, что и он, еврей — его друг, Альфонсо это чувствовал. Но это как раз и недопустимо. «Мышь в мешке, змея за пазухой, огниво в рукаве», — звучали у него в ушах слова святого отца. Нельзя слишком приближать к себе еврея; это грех, это вдвойне грех сейчас, во время священной войны.

— Не отнимай у нас тех прав, которыми мы пользуемся уже сто лет, — заклинал его Иегуда. — Не отдавай твоих верных подданных в руки их врага. Ты, а не архиепископ наш властелин. Позволь мне взыскать салатиннову десятину, государы!

Слова Иегуды тронули короля. Но тот, кто сказал их, — неверный, а за тем, кто предостерегал, стоит церковь.

— Я обдумую твои доводы, дон Иегуда, — сказал король без особого восторга.

Взор Иегуды померк. Если он не убедил короля сейчас, значит, он никогда не сможет его убедить. Бог отвратил от него лицо свое. Он, Иегуда, потерял дар убеждения.

Король увидел страшное разочарование еврея. Никто не оказал ему таких услуг, как этот Ибн Эзра. Королю стало жаль, что он обидел еврея.

— Не думай, что я не ценю твоих услуг, — сказал он. — Ты отлично выполнил мое поручение, дон Иегуда. — И он ласково прибавил: — Я приглашу моих грандов присутствовать, когда ты будешь возвращать мне перчатку в знак выполненного поручения.

Донья Леонор тоже была не уверена, надо ли предоставить архиепископу право взыскивать с евреев салатиннову десятину. Как королева, она не хотела отказываться от этого важного права казны. Как добрая христианка, она чувствовала, что совершает грех, извлекая выгоду из спорного нейтралитета королевства, она не хотела пренебрегать увещанием архиепископа. Тяжелая

беременность усугубляла ее сомнения. Она ничего не могла посоветовать дону Альфонсо.

Он искал божьего указания. И решил подождать, пока разрешится от бремени донья Леонор. Если она родит ему сына, он увидит в этом перст божий. Тогда он возьмет саладинову десятину в королевскую казну, ибо он неправомочен уменьшать наследие сына.

А пока он, как и обещал, почтил своего эскривано. В многолюдном собрании Иегуда вернул королю перчатку рыцарского поручения, и Альфонсо взял обнаженной рукой обнаженную руку своего вассала, милостиво поблагодарил его, обнял и поцеловал в обе щеки.

Архиепископ кипел от негодования. Его пастьерское предостережение сотрясло воздух, и только, — посланец антихриста все крепче и крепче опутывает короля. Но на этот раз дон Мартин возымел твердое намерение не дать синагоге восторжествовать над церковью. Он решил не пренебрегать никакими средствами и против хитрости действовать хитростью.

Ему и в голову не приходило, уверял он короля, спорить с ним из-за денег. В доказательство этого он идет на уступку, которую ему будет очень трудно отстоять перед священным престолом. Будучи твердо уверен, что дон Альфонсо употребит саладинову десятину исключительно на вооружение, он предоставляет ему распоряжаться деньгами; за собой и за церковью он оставляет только право взыскивать эту десятину; все поступающие взносы он сейчас же передаст в королевскую казну.

По простодушно-хитрому лицу друга дон Альфонсо понял, как трудно тому идти на такую уступку. Ему самому было ясно, что здесь все дело в принципе, и он возразил:

— Я знаю, что ты хочешь мне добра. Но мне кажется, мой эскривано тоже действует из честных побуждений, когда убеждает меня не отказываться от очень важного права государя.

Дон Мартин проворчал:

— Опять тут этот неверный! Этот предатель!

— Он не предатель, — вступился Альфонсо за своего министра. — Он вытряхнет из моих евреев всю десятину до последнего сольдо. Он уже обещал мне из этой десятины огромную сумму для нашего крестового похода — двадцать четыре тысячи золотых мараведи.

Такая цифра произвела впечатление на архиепископа. Но он не хотел в этом признаться и насмешливо заметил:

— Обещать он всегда обещает.

— До сих пор он выполняет все, что обещал, — возразил дон Альфонсо.

В сердце дона Мартина звучали слова папских посланий и постановлений: евреи обречены на вечное рабство, ибо на них лежит вина за крестовые походы, они заклеены печатью Каина, они прокляты, как и он, и осуждены на вечное скитание. И что же? Дон Альфонсо, христианский монарх, славный рыцарь и герой, вместо того чтобы силой заставить их склонить наконец главу, говорит с уважением и любовью об этом дьяволе, который вполз к нему в сердце. У дона Мартина было твердое намерение действовать хитростью, обуздывать свой нрав и соблюдать христианскую кротость. Но теперь он перестал сдерживаться.

— Неужели же ты ослеплен дьяволом и не видишь, куда он тебя ведет? — вспыхнул он. — Ты говоришь, что благодаря ему твоя страна расцвела. Неужели же ты не видишь, что цветы эти ядовиты? Они возвращены грехом. Ты богатеешь от своего святотатственного бездействия. Христианские князья, чтобы освободить гроб господень, добровольно идут на лишения, опасности, смерть, а ты тем временем строишь пышный языческий загородный дворец! И отказываешь церкви в десятине, предоставленной ей святым отцом!

Альфонсо сам раскаивался в восстановлении Галианы, именно поэтому он не мог снести смелые укоры пастыря.

— Запрещаю тебе подобные речи! — оборвал его Альфонсо. С трудом заставил он себя успокоиться. — Ты почтенный князь церкви, дон Мартин, — сказал он, — добрый воин и верный друг. Если бы я не помнил этого, я должен был бы повелеть тебе целый месяц не показываться мне на глаза.

В этот же день он призвал Иегуду.

— Я не отдаю евреев церкви, — решил он. — Я оставляю их за собой. Пусть выплачивают *мне* десятину, и взыскивать ее будешь ты. И пусть это будет, как ты обещал, тучная десятина.

Несколько дней спустя донья Леонор разрешилась сыном.

Радость дон Альфонсо была беспредельна. На нем почило благословение божие. Он поступил правильно, когда, следуя внутреннему голосу, не отдал церкви ни одного из своих королевских прав. Он поступил правильно и в тот раз, когда силой принудил юношу Педро в знак своей вассальной зависимости поцеловать ему, Альфонсо, руку. Если бы он, Альфонсо, тогда этого не сделал, если бы он тогда уже обручил инфанту с молодым арагонцем, то теперь, когда ожидаемое наследие уплыло от арагонца, начались бы гораздо более злые раздоры.

В капелле своего замка счастливый отец, преклонив колена, благодарил бога за то, что у Кастилии есть наконец наследник его крови. Он, Альфонсо, вступит в великую войну всему назло и покорит во славу Божию и Севилью, и Кордову, и Гранаду. Он увеличит королевство, он отодвинет его границы далеко на юг. И если ему самому не удастся отвоевать обратно весь полуостров, то по милости Божией, это свершит его сын.

Дон Иегуда тоже был счастлив. Несмотря на внешнее спокойствие, он очень боялся, что королева опять родит дочь; в таком случае она в конце концов сместила бы дон Альфонсо, обручив с ним инфанту Беренгелу, и тогда союз с Арагоном и великая война неизбежны. Теперь эта опасность миновала.

Дон Иегуда ожидал, что радость его разделят все, и прежде всего доброжелательный, государственно мудрый дон Манрике. Но тот резко осадил его:

— Вспомни, что ты говоришь с рыцарем-христианином! Я радуюсь, что у короля, нашего государя, есть теперь наследник, но значительная часть моей радости меркнет, ибо теперь мы, возможно, так и не начнем нашу славную войну. Неужели ты думаешь, что я спокойно сойду в могилу, если не сражусь еще раз с неверными? Ты думаешь, что кастильскому рыцарю приятно глядеть, как его король отсиживается дома, когда весь христианский мир идет священной войной на неверных? Твои слова оскорбили меня, еврей.

Иегуда был посрамлен. Но он возблагодарил всемогущего, спасшего полуостров Сефард и народ Израилев, послав Кастилии инфанта.

Альфонсо устроил неслыханно пышные крестины и пригласил в Бургос весь свой придворный штат. Однако донью Ракель он не пригласил.

Зато он выказал особое внимание своему пажу дону Аласару. Он то и дело подзывал его к себе и явно выделял из числа других пажей. Раз ему пришлось в голову, как мало похож лицом свежий, красивый Аласар на сестру. Он удивился, что это произошло ему в голову, отогнал от себя такую мысль.

По случаю крестин Иегуда послал королю и донье Леонор дорогие подарки, не забыл он и инфанту Беренгелу. Он заметил, что она разочарована и озабочена. Она, видно, не отказалась от мысли обвенчаться с доном Педро, перед ней уже вставала мечта о короне Кастилии и Арагона, о короне объединенной Испании. Теперь эта надежда рухнула.

Инфант был окрещен с большой торжественностью и наречен Фернаном Энрике.

Затем дон Иегуда возвратился в Толедо.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Уже при первом крестовом походе христианское войско прежде всего напало на неверных у себя на родине — на евреев.

Вожаки движения не хотели этого; у них была одна цель: освободить Святую землю из-под ярма неверных. Но многие примкнули к крестоносцам не только из религиозных побуждений. К пламенной вере примешивалась жажда приключений и стяжательство. Рыцари, стремление которых к подвигам сдерживалось на родине законом, рассчитывали завоевать добычу и ратную славу в мусульманских землях. Вилланы брали крест, чтобы избавиться от гнета личной зависимости и податей. «Много всякого сброду примкнуло к крестовому воинству не для того, чтобы искупить грехи, а чтобы содейть новым», — повествует богобоязненный летописец того времени Альберт Аквентис.

Некий Гильом ле Карпантье, проживавший в окрестностях Труа, известный спорщик и забияка, собрал толпу воинственных пилигримов и повел их к Рейну. К ним присоединялись все новые люди — франки и гер-

манцы, скоро их собралось до ста тысяч. В прирейнских странах эту темную дружину, увязавшуюся за крестоносцами, прозвали «братья паломники».

«Поднялся беспутный, необузданный, злодейский люд, — повествует еврей-летописец того времени, — франки и германцы, и пошли в святой град, дабы изгнать оттуда сынов Измаила. Каждый из безбожников нашел себе на одежду крест, и собирались они большими толпами, мужчины, женщины и дети. И один из них, Вильгельм Плотник — да будет проклято имя злодея! — подстрекал народ и говорил: «Вот мы двинулись в путь, дабы покарать сынов Измаила. Но разве здесь, среди нас, не живут те самые иудеи, отцы которых распяли господа нашего? Покараем сначала их. Если они и дальше будут упорствовать и не признавать за мессию Иисуса, вытравим с корнем семя Иудово». И они послушались его и говорили один другому: «Поступим так, как он говорит», — и они напали на народ Святого завета».

Прежде всего шестого ияра, в субботу, они вырезали евреев в городе Шпейере. Три дня спустя — в городе Вормсе. Затем они двинулись на Кельн. Здесь епископ Герман пытался оградить своих евреев. «Но врата милосердия были закрыты, — повествует летописец, — злодеи перебили солдат и захватили евреев. Многие, дабы избежать крещения водой, привязали к себе камни и бросились в Рейн, восклицая: «Слушай, Израиль, господь бог наш, господь един».

Подобное же творилось в Трире, подобное же творилось в Майнце.

О событиях в Майнце летописец повествует: «В третий день сивана, о котором некогда сказал наш учитель Моисей: будьте готовы к третьему дню, когда я вернусь с Синая, — в этот третий день сивана, в полдень, Эмих из Лейнингена — да будет проклято имя злодея! — поступил к городу со всей своей ватагой, и горожане открыли ворота. И злодеи говорили один другому: «Теперь мы отомстим за кровь распятого». Сыны Святого завета надели доспехи, чтобы защищаться; но они не смогли противостоять врагу, так как ослабели от горя и долгого поста. Некоторое время они удерживали крепкие ворота, ведущие во внутренний двор архиепископского замка; но за многие наши прегрешения им не дано было сравнять-

ся с злодеями силой. Когда они увидели, что судьба их решена, они стали ободрять друг друга и говорили так: «Враги сейчас убьют нас, но наши души сохранятся и вступят в светлый сад Эдема. Блаженны претерпевшие смерть имени единого бога ради», — и в заключение они сказали: «Принесем жертву богу». Когда враги ворвались во двор, они увидели мужей, сидящих неподвижно в молитвенных одеждах. Злодеи подумали, что это хитрость. Они стали бросать в них камни и метать стрелы. Мужички в молитвенных одеждах не трогались с места. Тогда они зарубили их своими мечами. А те, что укрылись в крепости, закололи друг друга. Поистине в этот третий день сивана евреи города Майнца выдержали испытание, которому во время оно бог подверг праотца нашего Авраама. Как тот сказал: «Вот я», — и приготовился принести в жертву богу сына своего Исаака, так и они приносили в жертву богу своих детей и ближних. Отец приносил в жертву сына, брат — сестру, жених — невесту, сосед — соседа. Когда раньше видели столько жертв в один день? Больше одиннадцати тысяч добровольно шли на заклятие или закалывали сами себя во славу единого, высокого, страшного имени».

В Регенсбурге братья паломники убили семьсот девяносто четыре еврея, имена которых занесены в книги мучеников. Сто восемь согласилось принять крещение. Братья паломники загнали их в Дунай, спустили на воду большой крест, окунали евреев под него, и смеялись, и кричали: «Теперь вы христиане, и берегитесь, не впадайте опять в вашу иудейскую ересь». Они сожгли синагогу, и из пергамента еврейских свитков Священного писания вырезали стельки для башмаков.

В месяцы ияр, сиван и таммуз в Рейнской земле погибло двенадцать тысяч евреев и четыре тысячи — в Швабии и Баварии.

Большинство светских и церковных князей не оправдывало зверства братьев паломников и насильственное крещение. Германский император Генрих IV в торжественной речи осудил эту резню и позволил насильственно окрещенным возвратиться в иудейство. Он начал следствие против архиепископа Майнцкого за то, что тот не защитил своих евреев и обогатился их достоянием. Архиепископ должен был бежать, император наложил арест на его доходы и возместил евреям убытки.

Большая часть братьев паломников, не дойдя до Святой земли, погибла жалкой смертью. Много тысяч перебили венгры; вожак, Гильом ле Карпантье и Эмихо из Лейнингена, постыдно вернулись домой во главе жалкой кучки оборванцев. «Гильом, — повествует летописец, — перед походом спросил раввина города Труа, как кончится поход. Отвечал ему раввин: «Ты проживешь некоторое время в блеске, но потом вернешься сюда побежденный, с тремя конями». Гильом грозился: «Если я вернусь хоть с одним лишним конем, то убью тебя, а заодно и всех франкских евреев». Он вернулся в сопровождении трех конников, а значит, с четырьмя лошадьми, и он радовался, что убьет раввина. Но когда он въезжал в ворота, от стены оторвался камень и убил одного из его конников вместе с лошадью. И тогда Гильом отказался от своего намерения и ушел в монастырь».

Теперь, когда начался новый крестовый поход, евреи вспомнили муки, которые претерпели их отцы и которые записаны в книге «Долина плача», и преисполнились страха.

И вскоре их постигла прежняя участь. Но только на этот раз их притесняли главным образом государи.

Герцог Вратислав Богемский принудил своих еврейских подданных к крещению, а когда они захотели покинуть пределы Богемии, вероятно для того, чтобы вернуться к иудейству, он забрал их имущество в казну. Его камерарий, образованный человек, по поручению герцога обратился к переселенцам с латинской речью в гекзаметрах: «Не принесли вы сюда иерусалимских соковищ, нищими вы пришли, нищими вон ступайте».

Горше других пришлось евреям Франкского королевства. В прошлый крестовый поход их взяли под свою защиту Людовик VII и Алиенора Аквитанская. Но царствовавший во Франции король Филипп-Август сам стал во главе тех, кто громил и грабил «проклятое племя». «Евреи вероломством и хитростью завладели большинством домов в моей столице Париже, — заявил он. — Они ограбили нас, как их праотцы ограбили египтян». Чтобы наказать евреев за этот грабеж, он приказал солдатам в одну из суббот окружить синагоги в Париже и Орлеане и не выпускать евреев, пока не будут разграб-

лены их дома. Евреям было приказано снять субботные одежды и вернуться полуголыми в свои голые жилища. Затем он издал указ, согласно которому они должны были в трехмесячный срок покинуть пределы его государства, не унося с собой никакого имущества.

Большинство изгнанников нашло приют в соседних графствах, формально считавшихся вассальными землями короля Франкского, на самом же деле бывших самостоятельными.

Но рука короля Филиппа-Августа настигла их и там.

Так, маркграфиня Шампанская, Бланш, пожилая дама, свободомыслящая и мягкосердечная, приняла многих переселенцев. Во франкских владениях издавна существовал обычай на страстной неделе в воспоминание о страстях господних бить по щекам на городской площади представителя иудеев — старейшину их общины или раввина. Маркграфиня разрешила своим еврейским подданным заменить эту натуральную повинность денежным взносом на церковь. Король Филипп-Август, разгневанный тем, что переселенцы нашли приют у маркграфини Бланш, потребовал от нее, как от своего вассала, чтобы она взяла обратно это постановление. Он сослался на священную войну, ей пришлось уступить.

Однако судьба избавила евреев от такого поношения, правда печальным, даже трагическим образом. Еще до наступления страстной недели крестоносец, подданный короля Филиппа-Августа, убил во владениях маркграфини в городе Брэ-сюр-Сен еврея. Графиня приговорила убийцу к смерти и назначила казнь в день еврейского праздника пурим, когда евреи вспоминают гибель своего врага Амана, побежденного царицей Эсфирью и ее приемным отцом Мардохеем. Евреи, жители города Брэ, присутствовали при казни, надо полагать, не без удовлетворения. Королю Филиппу-Августу донесли, что они связали убийце, его подданному, руки и возложили на голову его терновый венец, насмехаясь над страстями господа. Царственный злодей, как его называет летописец, потребовал тогда от маркграфини, чтобы она заключила в темницу всех евреев города Брэ. Она медлила с выполнением этого приказа. Король послал в Брэ солдат, евреев схватили и предложили им на выбор — крещение или смерть. Четверо крестились, девятнадцать детей до тринадцатилетнего возраста были отправлены в мона-

стырь, все остальные евреи — сожжены на двадцати семи кострах. Маркграфине Бланш король Филипп-Август сказал: «Теперь твои евреи освободились от страстного заушения, благородная дама». Затем он отправился в крестовый поход.

Однако евреи всей Северной Франции не чувствовали себя больше спокойно и снарядили посланцев в более счастливые земли — в Прованс и Испанию — просить о помощи.

Наибольшую надежду они возлагали на могущественную толедскую общину. Туда они направили самого славного и благочестивого среди евреев Франкского королевства — рабби Товия бен Симона.

Как только Иегуда вернулся, рабби Товий пришел к нему.

Наш господин и учитель Товий бен Симон, прозванный *га-хасид*, благочестивый, *episcopus judaeorum francorum*, глава франкских иудеев, был начитан в Священном писании, славен и почитаем Израилем. Он был невзрачен с виду и скромен в поведении. Происхождение свое он вел от древней еврейской семьи, известной своей ученостью; около ста лет тому назад, спасаясь от братьев-ев паломников, она переселилась из Германии в Северную Францию.

Он говорил на тягучем, нечистом диалекте немецких евреев, *ашкенази*, который звучал не так, как привычный уху дона Иегуды благородный, классический еврейский язык. Но, слушая то, что рассказывал рабби Товий, Иегуда вскоре перестал замечать его выговор. Рабби рассказывал о бесчисленных хитрых и жестоких кознях, измышляемых королем Филиппом-Августом, и о страшных кровавых событиях в Париже, Орлеане, Брэ-сюр-Сен, Немуре и городе Сансе. Он рассказывал не красноречиво; и о мелком мучительстве, которым гонители донимали евреев, он рассказывал так же подробно и многословно, как и о кровавых бойнях, и мелкое казалось крупным, а крупное становилось звеном в бесконечной цепи. И снова и снова повторялся припев: «И они кричали: «Слушай, Израиль, господь бог наш, господь един», — и их убивали».

Странно звучал в роскошном, спокойном доме рассказ невзрачного рабби о диких событиях. Рабби Товий

говорил долго и настойчиво. Однако дон Иегуда слушал его с неослабным вниманием. Его живая фантазия в осязательных образах рисовала ему то, о чем говорил рабби. В нем пробудились собственные мрачные воспоминания. Тогда, полтора человеческих века тому назад, мусульмане в его родной Севилье творили те же дела, что сейчас творили христиане во Франции. И те тоже набросились на ближайших «неверных», на евреев, и поставили их перед выбором: либо перейти в мусульманскую веру, либо умереть. Иегуда доподлинно знал, что чувствуют те, на кого напали сейчас.

— Пока нам еще дали приют графы и бароны независимых земель, — сказал рабби Товий. — Но миропомазанный злодей теснит их, и долго упорствовать они не будут. В сердце их нет злобы, но нет и доброты, они не станут воевать с королем Франции ради справедливости и ради евреев. Недалеко то время, когда нам придется сняться с места, а это будет нелегко, ибо нам не удалось ничего спасти, кроме собственной шкуры и нескольких свитков торы.

Мир, роскошь и покой царили здесь, в прекрасном доме. Ласково плескались фонтаны; на стенах сияли золотом красно-лазоревые письма возвышенных изречений. С тонких, бледных губ странно мертвенного лица рабби Товия монотонно слетали слова. А дон Иегуда видел перед собой многих, многих евреев, как они брели, едва передвигая усталые ноги, и садились отдохнуть на обочинах дорог, пугливо озираясь, не грозит ли откуда-нибудь новая опасность, и как они снова брались за длинные посохи, вырезанные где-нибудь по пути, и брели дальше.

Забота о франкских евреях занимала дона Иегуду еще в Бургосе, и в его быстром уме мелькали разные планы помощи. Но теперь, когда он слушал повесть рабби Товия, в голове его сложился новый план, план смелый и трудный. Только он мог действительно помочь. Невзрачный рабби, который не просил, не увещевал и не требовал, самым своим видом побуждал Иегуду действовать.

Когда на следующий день в кастильо Ибн Эзра пришел Эфраим бар Абба, дон Иегуда уже принял решение. Дон Эфраим, тронутый рассказом рабби Товия, хотел собрать десять тысяч золотых мараведи в фонд помо-

щи преследуемым франкским евреям; сам он думал дать тысячу мараведи и пришел просить дона Иегуду тоже внести свою лепту.

Но тот ответил:

— Изгнанникам мало поможет, если на их насущные нужды мы дадим денег, которых им хватит на несколько месяцев или даже на год. Графы и бароны, в чьих городах они сейчас осели, не посмеют послушаться короля и выгонят их, и опять они побредут, не зная куда, и снова попадут в лапы других врагов, и в конце концов будут обречены на истребление. Им может помочь только *одно*: надо поселить их в надежном месте, откуда их не изгонят.

Парнас толедской альхамы был неприятно поражен. Если теперь, во время священной войны, страну наводнят толпы нищих евреев, это повлечет за собой дурные последствия. Архиепископ опять будет натравливать народ на нудеев, и вся страна оправдает его. Толедские евреи образованны, богаты, воспитанны, они приобрели уважение христиан; впустив в страну сотни, может быть, даже тысячи франкских евреев, нищих, не знающих местного языка и обычаев, выделяющихся среди остальных жителей одеждой и непривычными плохими манерами, изгнанникам не поможешь, а только себя подвергнешь опасности.

Но Эфраим боялся, что подобные возражения только укрепят неразумно отважного Ибн Эзру в его намерении. Он придумал другие.

— А почувствуют ли себя здесь франкские евреи дома? — сказал он. — Это мелкий люд. Они торговали вином, осторожно пускали в оборот деньги, они знают только жалкую мелочную торговлю, мысль их работает робко, в крупных торговых делах они ничего не смыслят. Я их за это не осуждаю. На их долю выпала бедная, тяжелая жизнь, многие из них — сыновья тех, что бежали из немецкой земли или даже сами пережили преследования немцев. Я не представляю себе, как освоятся эти угрюмые, запуганные люди в нашем мире.

Дон Иегуда молчал. Парнасу казалось, что он чуть усмехается. Дон Эфраим продолжал уже настойчивее:

— Наш высокий гость — человек благочестивый, пользующийся заслуженной славой ученого. И хотя в его книгах очень глубокие и значительные мысли, многое в

нем неприятно поразило меня. Я строже тебя, дон Иегуда, мыслю о нравственности и соблюдении заповедей, но наш господин и учитель Товий превращает жизнь в сплошное покаяние. Он и его приверженцы меряют не той мерой, что мы. Думаю, наши франкские братья не уживутся с нами, а мы — с ними.

Но дон Эфраим не сказал того, что ему очень хотелось напомнить дону Иегуде, мешумаду и вероотступнику: рабби Товий в самых жестоких словах осуждал ему подобных, тех, кто отпал от веры. Он не миловал даже *анусимов*, тех, кто крестился под угрозой смерти, хотя бы потом они и вернулись в иудейство. Дон Иегуда, добровольно, а не страха ради так долго служивший чужому богу, должен был бы знать, что в глазах рабби Тovia и его присных он, Иегуда, в наказание за это подлежит отлучению, чтобы душа его погибла вместе с телом. Неужели он собирается навязать альяхаме и себе самому людей, которые так о нем думают?

— Конечно, это человек святой жизни, не такой, как мы, — сказал непостижимый для дона Эфраима Иегуда. — Люди, подобные нам, чужды его душе, люди, подобные мне, возможно, даже претят ему и его последователям. Но ведь и те гонимые наши братья, которых в свое время мой дядя, дон Иегуда Ибн Эзра га-наси, князь, приютил здесь, очень отличались от здешних, и было совсем неизвестно, приживутся ли они в Кастилии. Они прижились. Они благоденствуют и процветают. Я думаю, если мы очень постараемся, мы свыкнемся с нашими франкскими братьями.

Дон Эфраим, казавшийся таким тщедушным в своей широкой одежде, был глубоко озабочен, он подсчитывал, соображал.

— Я был горд, что мы можем выбросить десять тысяч золотых мараведи на франкских изгнанников. Если мы приютим их здесь, в стране, где они не смогут заработать себе на пропитание, нам придется на многие годы, может быть навсегда, взять на себя заботу о них. Десяти тысяч золотых мараведи надолго не хватит. Нам и дальше придется выплачивать саладинову десятину. Не забудь также и капитал на выкуп пленников. Он очень истощился, а ведь сейчас к нему придется прибегать чаще, чем когда-либо. Священная война — удобный предлог для сынов Эдома и сынов Агари повсюду вверх-

гать в темницы евреев и вымогать высокие выкупы. Писание заповедует освобождать заключенных. Мне кажется, в первую очередь надо следовать этой заповеди. Приютить тысячи франкских бедняков кажется мне не столь важным. Это, конечно, было бы проявление великого милосердия, но, прости меня за откровенность, это было бы необдуманно и безответственно.

Дон Иегуда как будто не обиделся.

— Я не начитан в Писании, — ответил он, — но в ухо и в сердце мне запало веление нашего учителя Моисея: «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, возьми его и пусть живет с тобой». Впрочем, я думаю, мы можем себе позволить исполнить одну свою обязанность и не пренебречь другой. Доколе мне будет удаваться отвращать войну от кастильской земли, — и голос его звучал надменно, хотя он и говорил приветливо, — дотоле у толедской альхамы будут такие богатые прибыли, что ей не придется брать из выкупных денег для того, чтобы дать кров и пищу нескольким тысячам франкских евреев.

Страх все сильнее сжимал сердце дона Эфраима. Этот человек в своей заносчивости не хочет понять, как опасна его затея, а может быть, он и в самом деле не понимает. Эфраим не мог дольше сдерживаться, он должен был высказать свою глубоко затаенную в сердце боязнь.

— Подумал ты, брат мой и господин дон Иегуда, — сказал он, — какое сильное оружие ты даешь в руки архиепископу? Он подымет все силы ада, но не допустит твоих франкских евреев в нашу страну. Он обратится к погрязшему в грехе королю Франции. Он обратится к папе. Он будет проповедовать в церквах и натравливать на нас народ за то, что в разгар священной войны мы привлекаем в Кастилию толпы неверных и нищих. Ты взыскан милостью короля, нашего государя. Но дон Альфонсо склоняет свой слух и к архиепископу, а время, священная война, сейчас за него, не за нас. Ты, дон Иегуда, защитил от врага наши вольности и привилегии, и это останется твоей вечной заслугой. Но удастся ли тебе сделать это еще раз?

Слова Эфраима попали в цель, и перед доном Иегудой опять встали все трудности задуманного. А что, если он переоценил свои силы? Но он скрыл возникшее со-

мнение, он, как и ожидал дон Эфраим, принял высокомерный вид и сухо сказал:

— Я вижу, мое предложение тебе не нравится. Давай договоримся. Ты соберешь свои десять тысяч золотых мараведи. Я добьюсь, чтобы король допустил к нам гонимых евреев и даровал им необходимые права и привилегии. Я сделаю это втихомолку, без поддержки со стороны альхамы, без просительных молебствий в синагогах, без воплей и стонов, без торжественных делегаций к королю. Предоставь всю заботу мне, и только мне. — Иегуда видел, как огорчен его гость, этого он не хотел. Он ласково прибавил: — Но если мне это удастся, если король согласится, тогда и ты не противься, обещаю тебе это, в душе не противься и помоги мне всей силой дарованного тебе от бога разума выполнить задуманное. — И он протянул дону Эфраиму руку.

Дон Эфраим, увлеченный против собственной воли, но все еще колеблющийся, взял его руку и сказал:

— Да будет так.

А король меж тем, живя в Бургосе, в атмосфере, окружавшей донью Леонор, позабыл о Толедо и о всем, что с ним связано. Он наслаждался покоем и уверенностью, которые царили в его бургосском замке. У него был сын и наследник. Он был глубоко удовлетворен.

Но после того, как он несколько недель и даже месяцев провел вдали от столицы, его советники наконец настояли, чтобы он возвратился в Толедо.

И не успел он покинуть стены Бургоса, как его опять охватило прежнее беспокойство, он мучительно ощутил лежащее на нем проклятие: вечно надо ждать и ждать, ему не будет дано расширить пределы своего королевства. Шестой и седьмой Альфонсо носили императорскую корону, их великие деяния воспевали певцы; о том, что свершил он, лепетали два-три жалких романа.

Когда он увидел скалу, на которой расположен Толедо, им овладело яростное нетерпение, и в первый же день он призвал своего эскривано, человека, у которого ему приходилось выторговывать право выполнить свой рыцарский долг и начать войну.

Иегуда тоже с нетерпением ожидал возвращения короля. Он хотел, как только представится возможность, доложить ему свой смелый план и добиться эдикта, раз-

решающего франкским евреям доступ в Кастилию. Он придумал хорошие доводы. Вся страна охвачена оживленной деятельностью, бурно растет, нужны новые руки, нужно, как и во времена шестого и седьмого Альфонсо, призвать новых людей, переселенцев.

И вот наконец он стоял перед королем и докладывал. Он мог рассказать о новых больших успехах, об отрадно высоких поступлениях в казну, о еще трех городах, отторгнутых от упорствующих грандов и подчиненных теперь дону Альфонсо. По всей стране возникают новые, многообещающие предприятия, и в самом Толедо и в его ближайших окрестностях. И стеклянный завод, и кожевенное производство, и гончарное, и бумажная мануфактура, не говоря уже о расширении монетного двора и королевского коннозаводства.

Иегуда докладывал в кратких словах, а сам меж тем обдумывал, обратиться ли ему уже сейчас к королю со своей великой просьбой. Но дон Альфонсо молчал, и по лицу его ни о чем нельзя было догадаться.

Иегуда продолжал говорить. Почтительно осведомился, заметил ли государь на своем обратном пути огромные стада в окрестностях Авили; теперь скотоводство упорядочено и пастбища используются разумно. Нашлось ли у дон Альфонсо на обратном пути время, чтобы осмотреть новые посадки тутовых деревьев для шелкопряделен?

Наконец король разверз уста. Да, сказал он, он видел посадки тутовых деревьев, и стада тоже, и еще многое, что свидетельствует о рачительности его эскривано.

— Ну, и не докучай мне дольше всем этим, — сказал он угрюмо, сразу переходя к другому. — Твои заслуги узнаны и признаны. Меня сейчас интересует только одно: когда же наконец мне можно будет смыть с себя позор и вступить в священную войну?

Иегуда не ожидал, что милость короля так скоро опять обернется неприязнью. С горечью и тревогой увидел он, что разговор о переселении гонимых евреев приходится отложить. Но он не мог не возразить королю на его неразумный упрек.

— Время, когда ты сможешь вступить в войну, государь, — сказал он, — зависит не только от финансов твоей страны. Они в порядке. — И он вызывающе заявил: — Пусть другие испанские государи, а главное

Арагон, согласится вместе с тобой выставить против халифа войско, объединенное под одним началом, ты, государь, сможешь внести значительно большую долю, чем с тебя причитается. И если понадобится — завтра же. В этом можешь быть уверен.

Альфонсо наморщил лоб. Вечно этот дерзкий, насмешливый еврей кормит его всякими «если». Он ничего не ответил, принялся шагать из угла в угол.

Затем неожиданно бросил через плечо:

— Скажи, как обстоят дела с Галианой? Перестройка должна быть скоро закончена?

— Она закончена, — с гордостью ответил Иегуда, — и просто диву даешься, что сделал из этого ветхого дома мой Ибн Омар. Если тебе будет угодно, государь, то дней через десять, самое позднее через три недели, ты сможешь там жить.

— Может быть, мне и будет угодно, — не задумываясь, сказал Альфонсо. — Во всяком случае, я хочу поглядеть, что вы сделали. В четверг погляжу, а то и раньше. Я дам тебе знать. И ты тоже поедешь и будешь мне все показывать. И донью Ракель возьми с собой, — закончил он, словно невзначай.

Иегуда был потрясен до глубины души. На него напал страх, как и тогда, после необычного приглашения дона Альфонсо.

— Как повелишь, государь, — сказал он.

В условленный час Иегуда и Ракель ждали короля у ворот Уэрты-дель-Рей. Дон Альфонсо был точен. Он отвесил глубокий официальный поклон донье Ракель и приветливо поздоровался со своим эскривано.

— Ну, показывай, что вы сделали, — сказал он с несколько нарочитой веселостью.

Они медленно пошли по саду. Грядок с овощами уже не было, на их месте красовались декоративные растения, деревья, со вкусом разбитые рощицы. Небольшой лесок был оставлен в прежнем виде. От сонного пруда отвели канал, и теперь к Тахо струился ручей, через который во многих местах были перекинуты мостики. В саду росли апельсиновые деревья, а также неизвестные до сих пор в христианских странах искусно выращенные деревья с необычайно крупными лимонами. Не без гордости указал Иегуда королю на эти плоды: мусульмане

называли их «адамовыми плодами», ибо ради того, чтобы отвратить от этих плодов, Адам преступил заповедь господню.

По широкой, усыпанной гравием дорожке направились они к замку. И здесь с ворот глядела арабская надпись: «Алафия — мир входящему». Они осмотрели помещение внутри. Вдоль стен тянулись диваны, с небольших галереек спускались гобелены, красивые ковры устилали пол, повсюду струилась вода, обеспечивая прохладу. Мозаичные потолки и фризy еще не были закончены.

— Мы не решились без твоих указаний выбрать стихи и изречения. Мы ждем твоих распоряжений, государь.

Дон Альфонсо отвечал односложно, хотя замок явно произвел на него большое впечатление. Обычно его мало занимало, как выглядит внутри та или другая крепость, тот или другой дом. На этот раз он смотрел более понимающими глазами. Еврейка была права: его бургосский замок мрачен и угрюм, новая Галиана прекрасна и удобна. И все же бургосский замок ему больше по душе: тут, в изнеженной роскоши, ему было как-то неуютно. Он говорил требуемые вежливостью слова благодарности, мысли его блуждали где-то далеко, речь становилась все скупее. И донья Ракель говорила мало. Постепенно замолчал и дон Иегуда.

Патио походило скорее на сад, чем на двор. И тут был большой водоем с фонтаном, вокруг тянулись аркады, сад, отражаясь в матовых зеркалах, казался бесконечным. Король с недовольством и удивлением признавал, как много сделали за такой короткий срок эти люди.

— Ты не бывала здесь, благородная дама, пока шли работы? — вдруг обратился он к Ракели.

— Нет, государь, — ответила девушка.

— Это нелюбезно с твоей стороны, — заметил король, — ведь я же просил твоего совета.

— Мой отец и Ибн Омар понимают гораздо больше меня в искусстве строительства и внутреннего убранства, — возразила Ракель.

— А нравится тебе Галиана такая, как теперь? — спросил дон Альфонсо.

— Они выстроили тебе прекрасный замок, — с искренним восхищением ответила Ракель. — Совсем как волшебный дворец из наших сказок.

«Она говорит из наших сказок, — подумал король. —

Она все еще чужая здесь и все время дает мне понять, что там, где она, чужой я».

— И все здесь так, как ты себе представляла?—спросил он. — Что-нибудь тебе, верно, все же не нравится? Ты не дашь мне никакого совета, даже самого маленького?

С легким удивлением, но не смущаясь, посмотрела Ракель на нетерпеливого короля.

— Раз ты приказываешь, государь, — ответила она, — я скажу. Мне не нравятся зеркала в галереях. Мне не нравится все снова и снова видеть свое отражение, и мне даже немножко жутко, когда я вижу тебя, и отца, и деревья, и водомет по-настоящему и одновременно в отражении.

— Хорошо, уберем зеркала, — решил король.

Водворилось несколько неловкое молчание.

Они сидели на каменной скамье. Дон Альфонсо не смотрел на Ракель, но он видел ее в зеркалах галереи. Видел и разглядывал. Он видел ее в первый раз. Она была бойкой и задумчивой, знающей и наивной, гораздо моложе, чем он, и гораздо старше. Если бы его спросили, вспоминал ли он о ней две недели назад, в Бургосе, он с чистой совестью ответил бы — нет. И это было бы ложью. Она жила в его сердце.

Он продолжал разглядывать ее в зеркале. Худое лицо с большими серо-голубыми глазами под черными бровями, такое простодушное, детское, но за ее невысоким лбом, верно, бродят мудреные мысли. Нехорошо, что даже в Бургосе она продолжала жить в его душе. «Ала-фия — мир входящему», — приветствовал его новый замок, но плохо, что он перестроил этот замок. Дон Мартин был прав, порицая его: мусульманская роскошь не к лицу христианскому рыцарю, особенно теперь, во время крестового похода.

Дон Мартин как-то разъяснил ему, что спать с обозной девкой грех простительный, с мусульманской пленницей менее простительный, с благородной дамой еще менее простительный. Несомненно, самый тяжкий грех — это спать с еврейкой.

Донья Ракель заговорила, чтобы прервать тягостное молчание, и она постаралась говорить весело:

— Мне интересно, государь, какие стихи ты выберешь для фриз. Только стихи придут дому настоя-

щий смысл. И какой алфавит ты предпочтешь — арабский или латинский?

Дон Альфонсо подумал: «Ишь какая смелая, и совсем не робеет, заносчивая, гордится своим умом и вкусом. Но я ее переупрямлю. Пусть дон Мартин говорит что угодно. В конце концов я отпращиваюсь в крестовый поход, и все грехи мне простятся».

Он сказал:

— Я думаю, я не буду выбирать стихи, благородная дама, не буду решать, какие должны быть буквы: латинские, арабские или еврейские.—Он обратился к Иегуде.— Позволь мне быть с тобой столь же откровенным, эскривано, как была со мной донья Ракель в Бургосе. То, что вы сделали, очень красиво, художники и знатоки похвалят вас. Но мне это не нравится. Это не укор, избави бог. Напротив, я удивляюсь, как хорошо и быстро вы все сделали. И ты будешь прав, если скажешь: «Ты сам так повелел, я только повиновался». Я говорю все так, как оно есть: тогда, когда я это повелел, мне как раз так и хотелось. Но за это время я побывал в Бургосе, в мосм древнем, суровом замке, в котором донья Ракель показалась так неудобно. Ну а теперь мне здесь неудобно и, я думаю, даже если будут убраны зеркала, а со стен будут глядеть прекрасные стихи, мне все равно будет здесь неудобно.

— Я очень сожалею, государь, — сказал с деланным равнодушием дон Иегуда.— В перестройку замка вложено много труда и много денег, и меня огорчает, что слово, брошенное невзначай моей дочерью, побудило тебя построить дом, который тебе не по душе.

«Дон Мартин слишком много брал на себя, — подумал король, — когда хотел запретить мне выстроить мавританский дворец. Не запретит он мне и переспать с еврейкой».

— Ты очень обидчив, дон Иегуда Ибн Эзра, — сказал он, — ты человек гордый, не спорь. Когда я хотел подарить тебе в качестве альбороке кастильо де Кастро, ты отклонил мой подарок. А ведь мы заключили тогда крупную сделку, а крупная сделка требует и крупного альбороке. Ты должен кое-что исправить, эскривано. Этот замок не по мне — я уже сказал, виноват в этом только я один, — он слишком удобен для солдата. Вам он нравится. Позволь мне подарить его вам.

Иегуда побледнел, еще сильнее побледнела донья Ракель.

— Я знаю, — продолжал король, — у тебя дом, лучше которого и желать нельзя. Но, может быть, здешний дом полюбится твоей дочери. Ведь Галиана в свое время была дворцом мусульманской принцессы? Здесь твоя дочь будет чувствовать себя хорошо, этот дом как раз для нее.

Слова звучали учтиво, но произносил их король с мрачным лицом, лоб прорезали глубокие морщины, светлые сияющие глаза смотрели на донью Ракель с нескрываемой враждой.

Он отвел взгляд от нее, вплотную подошел к дону Иегуде и сказал ему в лицо, негромко, но твердо, напирая на каждое слово, так чтобы Ракель слышала:

— Пойми меня, я *хочу*, чтобы твоя дочь жила здесь.

Дон Иегуда стоял перед королем почтительный, смиренный, но он не опустил глаза, а в глазах его был гнев, гордость, ненависть. Дону Альфонсо не было дано заглядывать глубоко в чужую душу. Но теперь, стоя лицом к лицу со своим эскривано, он почувствовал, какая буря бушует у того в сердце, и на какую-то долю секунды пожалел, что бросил вызов этому человеку.

Глубокое молчание тяжким гнетом придавило всех троих, они ощущали его почти физически. Затем Иегуда с трудом вымолвил:

— Ты оказал мне очень много милостей, государь. Не погреби меня под слишком многими милостями.

— В тот раз, когда ты отверг мое альбороке, я простил тебе. Не сердь меня во второй раз. Я хочу подарить этот замок тебе и твоей дочери. *Sic volo*, — сказал он твердо, разделяя слова, и повторил по-кастильски: — Я так хочу! — И тут же с вызывающей вежливостью обратился он к девушке: — Ты не благодаришь меня, донья Ракель?

Ракель ответила:

— Здесь стоит дон Иегуда Ибн Эзра. Он твой верный слуга и мой отец. Позволь, чтобы он ответил тебе.

Рассерженный, беспомощный, нетерпеливый, король переводил взгляд с Иегуды на донью Ракель, а с доньи Ракель на Иегуду. Как они смеют! Он, Альфонсо, стоит здесь перед ними, словно какой-то надоедливый проситель!

Но тут дон Иегуда сказал:

— Дай нам время, государь, чтоб подыскать слова для подобающего ответа и почтительнейшей благодарности.

На обратном пути Ракель сидела в носилках, Иегуда ехал рядом. Она ждала, когда отец растолкует ей то, что произошло. Как он скажет и как решит, так и будет правильно.

Еще тогда, в кастильо Ибн Эзра, ее смутило необычное приглашение короля. Приглашение не имело дальнейших последствий, и это ее успокоило; правда, и разочаровало немного. Новое приглашение дона Альфонсо наполнило ее новым ожиданием, приятно стеснило грудь. Но то, что произошло сейчас, его решительное, необузданное, властное требование она ощутила как удар. Тут уж куртуазности не было и в помине. Этот мужчина хочет обнимать ее, целовать своим дерзким, жадным, оголенным ртом, спать с ней. И он не просит, он требует: *sic volo!*

В Севилье мусульманские рыцари и поэты не раз вели с ней галантные разговоры; но как только их речи становились рискованными, Ракель робела и замыкалась в себе. И когда дамы болтали между собой об искусстве любви и наслаждений, она смущалась и слушала неохотно; даже со своей подругой Лейлой она только намеками касалась таких вопросов. Совсем иное дело, когда стихи поэтов говорили о любовной страсти, лишаящей рассудка мужчин и женщин, или когда сказочники с восторгом на лице, закрыв глаза, повествовали о том же; тогда перед мысленным взором Ракели вставали жгучие, смущающие картины.

И христианские рыцари часто говорили о любви, о «любовном служении». Но это были пустые, выпренные речи, куртуазия, а их любовные стихи были какие-то застывшие, окаменелые, ненастоящие. Иногда, правда, она старалась представить себе, как бы это выглядело, если бы один из этих облаченных в латы или в тяжелую парчу господ вдруг сбросил свое одеяние и обнял ее. И от этого представления у нее захватывало дух, но тут же все опять казалось ей смешным, и смешное поглощало щекочущее и смущающее.

И вот теперь — король. Она видела его голые, выбритые губы, окруженные золотисто-рыжей бородой, она видела его светлые, жестокие глаза. Она слышала, как он сказал, не повышая голоса, но так, что слова его громом отдались в ушах и сердце: я так хочу! Она была не из пугливых, однако его голос испугал ее. Но не только испугал. Его голос проникал в самое сердце. Дон Альфонсо приказывал, и это была его манера быть куртуазным, манера не мягкая и не изысканная, зато очень мужественная и, уж во всяком случае, не смешная.

И вот он приказал ей: люби меня! И она была потрясена до глубины сердца. Она была тем третьим братом, который стоял перед пещерой и не знал, покинуть ли ему безопасный дневной свет и войти в золотисто мерцающий сумрак или нет. В пещере был повелитель добрых духов, но там же была и всеуничтожающая смерть. Кого встретит там третий брат?

Отец ехал рядом со спокойным лицом. Как хорошо, что у нее есть отец. По слову короля ей во второй раз приходится изменить свою жизнь. Окончательное решение принадлежит ее отцу. Его близость, его ласковый, внимательный взор вселяли в нее уверенность.

Но дон Иегуда, хотя он и был с виду спокоен, осаждали противоречивые мысли и чувства.

Ракель, свою Ракель, свою дочь, свою нежную, как цветок, Ракель он должен отдать этому человеку!

Дон Иегуда вырос в мусульманской стране, где закон и обычай позволяют мужчине иметь несколько жен. Наложница пользовалась многими правами, наложница знатного человека, кроме всего прочего, пользовалась еще и уважением. Но никто не мог бы и мысли допустить, что такой большой человек, как купец Ибрагим, может отдать свою дочь в наложницы кому бы то ни было, хотя бы эмиру.

Сам дон Иегуда любил только одну женщину — мать Ракели, которая погибла от несчастного случая, от глупой случайности вскоре после рождения сына Аласара. Но дон Иегуда был ненасытен, и при ее жизни у него были другие женщины, а после ее смерти их было много. Однако до Ракели и Аласара он этих женщин не допускал. Он удовлетворял свою страсть с каирскими и багдадскими танцовщицами, с кадисскими гетерами, славившимися своим искусством в любовных делах; но по-

том он часто испытывал пресыщение и всегда омывался в проточной воде, раньше чем предстать пред чистый лик дочери. Он не мог отдать свою Ракель в наложницы гробому рыжеволосому варвару.

Род Ибн Эзра славился тем, что больше всех других сефардских евреев потрудился на благо своего народа, и ради блага Израиля Ибн Эзры смиряли свою гордыню. Но одно дело — унизиться самому и совсем другое — унижить свою дочь.

Иегуда знал — Альфонсо не терпит возражений. Ему оставался выбор: отдать королю дочь или бежать. Бежать очень далеко, прочь из всех христианских стран; ибо там страсть дон Альфонсо всюду настигнет его и его дитя. Придется переселиться в далекую мусульманскую страну, на Восток, где евреям еще живется спокойно под защитой султана. Надо взять детей и бежать нищими, унося с собой только бремя долгов, ибо все, что он имел, было вложено во владения дон Альфонсо. Таким же нищим беглецом, каким рабби Товий пришел к нему, придет он в Каср-эш-Шама, к богатым и могущественным каирским евреям.

Но даже если он вырвет из сердца гордыню и, смирясь душой, готов будет принять разорение, бедность и изгнание — имеет ли он на это право? Если он убережет свою дочь от позорного совокупления, гнев дон Альфонсо обратится на евреев. Толедские евреи не смогут помочь своим франкским братьям, не смогут помочь себе самим. Альфонсо передаст право сбора саладиновой десятины архиепископу и отымет у альхамы ее права. И евреи скажут: «Иегуда, мешумад, нас погубил». И они скажут: «Один Ибн Эзра нас спас, этот Ибн Эзра нас погубил».

Как быть?

А Ракель ждала. Он просто физически ощущал, как рядом с ним ждет в своих носилках дочь. И мысленно он прочитал молитву от великой беды: «О Аллах, к тебе прибегаю в нужде и отчаянии. Помоги моей слабости и нерешительности. Огради меня от собственной трусости и неразумия. Огради от людского гнета».

Затем он сказал:

— Нам, дочка, предстоит трудное решение. Я должен сам все обдумать, раньше чем говорить с тобой.

Ракель ответила:

— Как тебе будет угодно, отец. — А мысленно сказала: «Если ты примешь решение уйти, это будет благое решение, и если ты примешь решение остаться, это тоже будет благое решение».

Поздно ночью Иегуда сидел один, у себя в библиотеке и при ласковом свете лампы читал Святое писание.

Читал историю о жертвоприношении Исаака. Бог позвал: «Авраам!» — и тот ответил: «Вот я!» — и приготовился принести в жертву богу своего единственного, возлюбленного сына.

Иегуда думал о том, как все дальше и дальше отходил от него его собственный сын. Аласара с непреодолимой силой влекла рыцарская жизнь в королевском замке, он отвернулся от иудейских и арабских обычаев и мудрости. Правда, другие пажи давали чувствовать ему, еврею, что он здесь не на месте; но казалось, их отпор только усиливал в нем желание стать таким же, как и они, а в явно благоволившем к нему короле он чувствовал поддержку.

Достаточно того, что этот человек отнял у него сына. Нельзя допустить, чтобы он отнял и дочь. Иегуда не мог себе представить, что его дом не будет скрашивать своим присутствием умная и веселая Ракель.

И он развернул другую книгу Писания и прочел про Иеффая, который был сыном блудницы и разбойником и которого сыны Израиля в беде своей поставили над собой начальником и судьей. И раньше чем выступить против врагов, против сынов Аммоновых, он дал обет господу и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, Адонай, то по возвращении моем с миром от аммонитян что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет тебе, и вознесу сие на всесожжение». И когда он победил сыновей Аммоновых, он возвратился в дом свой, и вот дочь его вышла навстречу ему с тимпанами и пляской, а кроме нее, у него не было ни сына, ни дочерей. И когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя! Ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего». И совершил над нею обет свой, который дал».

И перед Иегудой встало худое, бледное, померкшее

лицо рабби Товия, и он услышал, как тот рассказывает своим монотонным, но проникающим в душу голосом, что во франкских общинах отец имени всевышнего ради приносил в жертву сына, жених — невесту.

От него требуют другого. Это легче и это труднее — отдать дочь сластолюбивому христианскому королю.

На следующее утро дон Иегуда пошел к своему другу Мусе и сказал ему без обвиняков:

— Христианский король пожелал мою дочь, чтобы спать с ней. Он вздумал подарить ей загородный дом Галиану, который я выстроил по его повелению. Я должен бежать или отдать ему дочь. Если я убегу, он станет притеснять тех евреев, что находятся в его власти, и тогда бесчисленные евреи, которых преследуют в странах франкского короля, не смогут найти здесь приют.

Муса смотрел в лицо друга и видел, что тот в полной растерянности, ибо перед Мусой Иегуда не надевал маски. И Муса подумал: «Он прав, — если он не покорится, опасность будет угрожать не только ему и его дочери, она будет угрожать и мне, и толедским евреям, и благочестивому и мудрому и странно чудаковатому рабби Товию, и всем тем, о ком хлопочет Товий, а их очень много. И война вспыхнет скорей, если Иегуда не будет в числе королевских советников».

И Муса подумал: «Он любит дочь, и не желает давать ей совет, который не пойдет ей на благо, и, уж во всяком случае, не желает ее принуждать. Но он хочет, чтобы она осталась и покорилась мужчине. Он убеждает себя, что стоит перед тяжелым выбором, но он уже давно выбрал, он хочет остаться, он не хочет уйти отсюда в нищету, на чужбину. Если бы он не хотел остаться, он бы сразу сказал: нам надо бежать. И я тоже хотел бы остаться, и я тоже очень неохотно во второй раз решил-ся бы на нищету и изгнание».

Муса разделял взгляды мусульман на любовь и наслаждение. Утонченное, одухотворенное «любовное служение» христианских рыцарей и певцов представлялось ему выдумкой, фантазией; любовь у арабских поэтов была осязательной, реальной. И у них юноши умирали от любви, и у них девушки чахли в тоске по любимому; но в том, что мужчина переспит с чужой женщиной, большой беды не было. Любовь — область чувств, не духа. Любовные наслаждения безмерны, но это горячечные

наслаждения, не сравнимые со светлой радостью исследования и познания.

В душе его друг Иегуда, должно быть, тоже знает, что жертва, которую требуют от Ракели, не так уж огромна. Но если он, Муса, не убедит его разумными словами, Иегуда, дабы он сам и другие любовались величием его души и его миссией, все же выберет ложный путь и уйдет из Толедо ради «счастья» дочери. Но, верно, в этом не будет для нее счастья. Ибо что ждет ее, если она не станет наложницей короля? Если все обойдется благополучно, Иегуда выдаст ее за сына какого-нибудь откупщика налогов или богатого человека. Разве не лучше, чтобы она узнала большие радости и большие горести, прожила большую жизнь, а не среднюю, бледную? Со стены арабское изречение напоминало: «Не ищи приключения, но и не убегай от него». Ракель — дочь своего отца: если бы ей пришлось выбирать между добропорядочной, бледной жизнью и неверной, опасной, сияющей, она выбрала бы опасную.

Он сказал:

— Спроси ее, Иегуда. Спроси свою дочь.

Иегуда, не веря ушам, воскликнул:

— Я должен предоставить девочке самой решать? Она умная, но что она знает о жизни? И ей предоставить решать судьбы тысяч и тысяч людей!

Муса ответил ясно и деловито:

— Спроси ее, внушает ли ей этот человек отвращение. Если нет — оставайся. Ты сам сказал: если вы с ней скроетесь, злая участь постигнет многих.

Иегуда возразил мрачно и гневно:

— И я должен заплатить за благополучие многих прелюбодеянием собственной дочери?

Муса подумал: «Вот он стоит передо мной искренне разгневанный и хочет, чтоб я разубедил его в его гневе и опроверг его нравственные доводы. В душе он решил остаться. Ему необходима деятельность, его влечет деятельность, ему не по себе, если он бездеятелен. А такой размах в работе, какой нужен ему, возможен, только если в его руках будет власть. А власть у него будет, только если он останется здесь. Может быть, даже — но в этом он себе ни за что не признается, — он считает счастьем то, что король возделает к его дочери, и уже мечтает, какое извлечет великое благо и процветание

для Кастилии и для своих евреев и какую власть для себя из сладострастия короля». Муса смотрел на друга с горькой усмешкой.

— Как ты разбушевался, — сказал он. — Ты говоришь о прелюбодействе. Если бы король хотел сделать из нашей Ракели блудницу, он тайно встречался бы с ней. А вместо этого он, христианский король, хочет поселить ее в Галиане, ее, еврейку, и это теперь, во время священной войны!

Слова друга затронули Иегуду. Тогда, лицом к лицу с доном Альфонсо, он вспылал к нему гневом и ненавистью за его грубость и необузданность, но в то же время почувствовал и какое-то неприязненное уважение за его гордость и исполинскую силу желания. Муса прав: такая грозная сила желания больше, чем прихоть сластолюбца.

— В этой стране не в обычае брать себе наложниц, — возразил без особого жара Иегуда.

— Ну, тогда король введет это в обычай, — ответил Муса.

— Моя дочь не будет ничьей наложницей, даже наложницей короля, — сказал Иегуда.

Муса ответил:

— Наложницы праотцев стали родоначальницами колен Израилевых. Вспомни Агарь, наложницу Авраама: она родила сына, который стал родоначальником самого могущественного народа на земле, имя ему было Измаил. — И так как Иегуда молчал, он еще раз посоветовал ему, и очень настоятельно: — Спроси свою дочь, внушает ли ей отвращение этот человек.

Иегуда поблагодарил друга и ушел.

И пошел, и позвал дочь, и сказал:

— Спроси свое сердце, дитя, и будь со мной откровенна. Если король придет к тебе в Галиану, почувствуешь ли ты к нему отвращение? Если ты скажешь: этот человек внушает мне отвращение, — тогда я возьму тебя за руку, позову твоего брата Аласара и мы уйдем и отправимся через северные горы в землю графа Тулузского, а оттуда дальше, через многие земли, во владения султана Саладина. Пусть он здесь беснуется, и пусть его гнев поразит тысячи.

Ракель чувствовала в душе смиренную гордость и неудержимое любопытство. Она была счастлива, что

Аллах избрал ее среди многих, так же как и ее отца, и ее переполняло почти непереносимое чувство ожидания.

Она сказала:

— Король не внушает мне отвращения.

Иегуда предостерег ее:

— Подумай хорошенько, дочь моя. Может быть, много горя навлечешь ты на свою голову этими словами.

Донья Ракель повторила:

— Нет, отец, король не внушает мне отвращения.

Но, сказав эти слова, она потеряла сознание и упала.

Иегуда страшно перепугался. Он стал шептать ей на ухо стихи из Корана, он позвал кормилицу Саад и прислужницу Фатиму и велел уложить ее в постель, он позвал Мусу-лекаря.

Но когда пришел Муса, чтобы оказать ей помощь, она спала тихим, глубоким, явно здоровым сном.

После того как решение было принято, сомнения оставили Иегуду, и он почувствовал уверенность: теперь он осуществит все, что задумал. Лицо его сияло такой веселой отвагой, что рабби Товий смотрел на него взглядом, исполненным упрека и огорчения. Как может сын Израиля быть таким радостным в нынешнюю годину бедствий! Но Иегуда сказал ему:

— Укрепи свое сердце, господин мой и учитель, уже недолго ждать, скоро у меня будет радостная весть для наших братьев.

И донья Ракель то вся светилась радостью, то погружалась в задумчивость, замыкалась в себе, все время ожидая чего-то. Кормилица Саад приставала к своей питомице, просила поведать, что с ней творится, но та ничего не говорила, и старуха была обижена. Ракель спала хорошо все это время, но подолгу не могла заснуть, и, лежа без сна, она слышала голос своей подружки Лейлы: «Бедная ты моя», — и она слышала властный голос дон Альфонсо: «Я так хочу». Но Лейла глушенькая девочка, а дон Альфонсо славный рыцарь и государь.

На третий день дон Иегуда сказал:

— Теперь я доложу королю наш ответ, дочка.

— Могу я высказать одно желание, отец? — спросила Ракель.

— Говори, какое у тебя желание, — ответил дон Иегуда.

— Я хотела бы, — сказала Ракель, — чтобы, раньше чем я уйду в Галиану, там на стенах были выведены изречения, которые в нужную минуту указали бы мне правильный путь. И прошу тебя, отец, выбери сам эти изречения.

Желание Ракели тронуло Иегуду.

— Но пройдет месяц, прежде чем будет готов фриз с надписями, — заметил он.

Донья Ракель ответила с улыбкой, исполненной грустной радости:

— Именно об этом я и подумала, отец. Пожалуйста, позволь мне побыть это время еще с тобой.

Дон Иегуда обнял дочь, прижал ее лицо к своей груди, так что оно было видно ему сверху. И что же? На ее лице он прочел то напряженное и счастливое ожидание, которым был охвачен он сам.

Торжественный поезд с секретарем дона Иегуды Ибн Омаром во главе двинулся из кастильо Ибн Эзра. Слуги везли на мулах всякого рода сокровища, редкостные ковры, драгоценные вазы, мечи и кинжалы великолепной работы, благородные пряности; в караван были включены две чистокровные лошади, три кувшина, доверху наполненные золотыми мараведи. Караван пересек рыночную площадь, Сокодовер, и стал подниматься к королевскому замку. Народ глазел и говорил: это караван с подарками.

В замке дежурный камерарий доложил королю:

— Подарки прибыли.

Ничего не понимая, Альфонсо спросил:

— Какие подарки?

Почти оторопев от изумления, смотрел король, как вносили в покои сокровища. Подарки Ибн Эзры, несомненно, были ответом еврея на высказанное им желание. Ответом иносказательным, как принято у неверных. Но еврей оставался таким же загадочным, как и раньше, его иносказательный ответ был слишком тонок, дон Альфонсо не понял его.

Он призвал Ибн Эзру.

— Чего ради посылаешь ты мне всю эту раззолоченную ерунду? — напустился на Иегуду король. — Хочешь

купить меня для твоих обрезанных? Хочешь, чтоб я откупился от священной войны? Или ты считаешь, что я способен на коварное предательство? Какая дьявольская наглость!

— Прости твоего слугу, дон Альфонсо, — спокойно ответил Иегуда, — но я не понимаю, чем мог тебя прогневать. Ты предложил мне, недостойному, и моей дочери богатый подарок. У нас есть обычай отвечать на подарок подарком. Я постарался выбрать все лучшее из моих богатств, все, что может порадовать твой взор.

Альфонсо нетерпеливо ответил:

— Почему ты не говоришь напрямик? Скажи так, чтобы тебя понял христианин и рыцарь: придет твоя дочь в Галиану?

Он стоял совсем рядом с евреем и прямо в лицо бросал ему свои слова. Иегуду душил стыд. «И сказать это я еще должен, — думал он, — должен подтвердить грубыми словами, что мое дитя будет лежать в его постели, пока его королева, недостижимо высокая, живет в своем далеком холодном Бургосе. Собственными устами должен я произнести слова позора и унижения, я, Иегуда Ибн Эзра. Но он, необузданный, мне за это заплатит. Заплатит добрыми делами. Хочет он того или нет!»

А дон Альфонсо не оставляли его мысли: «Я горю, я умираю. Когда же он, собака, наконец заговорит? Как он на меня смотрит! Страшно становится, когда он так на тебя смотрит».

Но вот Иегуда склонился перед королем, склонился очень низко, коснулся одной рукой земли и сказал:

— Раз на то твоя воля, моя дочь переедет жить в Галиану, государь.

Гнева дон Альфонсо как не бывало. Огромная, мальчишеская радость озарила его широкое, вдруг просветлевшее лицо.

— Как это замечательно, дон Иегуда! — воскликнул он. — Какой сегодня чудесный день!

Его радость была такой детски искренней, что Иегуда почти примирился с ним.

Он сказал:

— Моя дочь просит только об *одном*: чтобы на фризах были подобающие изречения, когда она переступит порог Галианы.

Дон Альфонсо снова почувствовал недоверие и спросил:

— Что это опять такое? Уж не выдумываете ли вы всякие хитрые предлоги, чтоб обмануть меня?

Дон Иегуда с горечью подумал о праотце Иакове, который служил за Рахиль семь лет и еще семь, а этот человек не хочет подождать и семь недель.

Он честно сказал с болью в сердце:

— Моя дочь далека от хитростей и коварства, дон Альфонсо. Прошу тебя, сообрази понять, что донье Ракель хочется пожить еще немного под отцовским кровом, раньше чем она вступит на новый путь. Прошу тебя, сообрази понять, что ей хочется найти привычные ей мудрые слова в новом, может быть, не безопасном месте.

Альфонсо спросил хриплым голосом:

— Сколько времени потребуют надписи?

Иегуда ответил:

— Меньше чем через два месяца моя дочь будет в Галиане.

Часть вторая

*Без малого на семь лет заперся он
с той еврейкой, не помышляя ни о
себе самом, ни о своем королевстве,
не заботясь ни о чем на свете.*

Альфонсо Мудрый,
«*Crónica general*» (около 1270 года)

На семь лет король Альфонсо
Со своей еврейкой в замке
Заперся. Не расставался
Ни на миг. Ее любил он
Так, что бросил все заботы
О Кастильском королевстве
И себе самом,

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Альфонсо открыл глаза, и сна как не бывало. Никогда и нигде не требовалось ему времени для перехода от сонных грез к действительности. Вот и сейчас он сразу же освоился с непривычным мавританским покоем, куда сквозь занавешенное узкое окошко лишь слабо пробивался утренний свет.

Голый, стройный, белотелый, рыжеволосый, лежал он в ленивой истоме на роскошной постели.

Спал он один. Ракель посреди ночи отослала его прочь; так же было и в предыдущие три раза. Она хотела просыпаться одна. С вечера и утром, прежде чем показаться ему, она долго занималась собой, купалась в розовой воде и тщательно одевалась.

Он встал, потянулся и, как был, голый, принялся шагать по небольшой, устланной коврами комнате. Он тихонько напевал про себя, но так как кругом стояла тишина и каждый звук был приглушен, он начал напевать громче, запел громче, громко, во весь голос запел воинственную песню, давая волю радости, теснившей грудь.

С тех пор как он находился в Галиане, он не видел ни одной христианской души, если не считать управителя Белардо; он не пускал к себе на глаза даже своего друга Гарсерана, а тот всякое утро являлся спросить, не пожелает ли и не прикажет ли государь чего-нибудь. Прежде каждый час был заполнен людьми и делами или хотя бы суетой и разговорами; а теперь впервые Альфонсо был не занят и один. Куда-то провалились Толедо, Бургос, священная война, вся Испания целиком, ничего не существовало, кроме него и Ракели. С изумлением отдавался он этому новому, никогда не испытанному чувству. Вот это настоящая жизнь; до сих пор он не жил, а прозябал в каком-то полусне.

Он перестал петь, расправил плечи, со вкусом зевнул, беспричинно засмеялся.

Потом он и Ракель снова были вместе. Позавтракали, он — куриным супом с мясным пирогом, она — яйцом, сладями и фруктами. Он выпил пряное вино пополам с водой, она — лимонный сок с сахаром. Он гордо и радостно озирает ее. Ракель была в широком одеянии из легкого шелка, на голову наброшено небольшое покрывало, как полагалось замужней женщине. Но сколько бы она ни куталась и ни закрывалась, все равно он знал ее всю до кончиков ног.

Они оживленно болтали. Он требовал, чтобы она все рассказывала и растолковывала; ведь многое из того, что касалось ее, было ему чуждо, а он желал знать все и понимал ее, на каком бы языке она ни говорила — на арабском, латинском или кастильском. Да и самому ему без конца приходило в голову что-то новое, что, конечно, должно быть ей любопытно, и он спешил с ней этим поделиться. Всякое слово, сказанное одним из них, было очень важно, хотя бы оно и звучало бессмысленно и ребячливо, а оставшись наедине, каждый из них вспоминал слова другого и обдумывал их, улыбаясь. Какая же это радость — по намеку понимать друг друга, несмотря на то, что они такие разные. Но ведь в самых своих заветных чувствах они единоклубны, ибо оба ощущают одно и то же — беспредельное счастье.

О, блаженство слияния друг с другом! Вот оно приближается, оно все ближе. Еще короткий миг — и оно настанет, и оба жаждут его и все же медлят, ибо желание не менее сладко, чем свершение.

При Галиане был большой парк. Внутри строгих белых стен ограды столько оставалось неоткрытых уголков, и со всем — с рощицей, с беседкой, с прудом и с самым домом были связаны удивительные события и воспоминания. Например, две полуразрушенные цистерны: эти остатки древней машины рабби Ханана для измерения времени так и оставили нетронутыми. Ракель рассказала Альфонсо о жизни и кончине рабби Ханана, соорудившего машину, Альфонсо выслушал, не очень заинтересовался и промолчал.

Зато оба знали и часто обсуждали историю принцессы Галианы, чье имя носило поместье. Отец ее, король Толедский Галафре, построил для нее этот дворец. Молва о красоте принцессы привлекала много женихов, среди них был и Брадаманте, король соседней Гвадалахары, отличавшийся огромным ростом. И король Галафре обещал отдать дочь ему в жены. Но король франков, Карл Великий, тоже прослышал о красоте принцессы Галианы, он явился в Толедо, назвавшись вымышленным именем «Мэнет», поступил на службу к Галафре и победил его могущественнейшего врага, калифа Кордовы. Галиана влюбилась в доблестного Карла, и король Галафре из благодарности обещал теперь руку дочери ему. Но обманутый жених, великан Брадаманте, пошел на Толедо войной и вызвал Мэнета-Карла на поединок. Тот принял вызов, одолел и убил великана. Однако быстрое возвышение Карла породило множество завистников, те стали нашептывать королю Галафре, что Мэнет хочет отнять у него престол, и Галафре решил подослать к Мэнету убийц. Но принцесса Галиана предупредила своего возлюбленного, вместе с ним бежала в его город Аахен и стала христианкой и королевой.

Ракель согласна была поверить, что Галиана влюбилась в короля франков и бежала вместе с ним, но что Карл одолел великана, этому она не верила, а что Галиана стала христианкой, не верила и подавно.

— Все это дон Родриго вычитал в старинных книгах, а он человек очень ученый, — доказывал Альфонсо.

— Хорошо, спрошу дядю Мусу, — решила Ракель.

Альфонсо начал раздражаться.

— Дворец Галианы был разрушен, когда мой прадед завоевал Толедо, — сказал он. — Его не стали восстанавливать, потому что в ту пору Толедо находился у самой

границы. Ныне же я крепко держу в руках Калатраву и Аларкос, и Толедо в полной безопасности. Вот отчего я спокойно мог отстроить для тебя дворец Галианы.

Ракель чуть заметно улыбнулась в ответ. Незачем ему было рассказывать, какой он герой, рыцарь и великий король; все и без того знали это.

Альфонсо требовал, чтобы Ракель растолковала ему изречения, гирляндами извивавшиеся по стенам и фризам; многократно здесь повторялись старинные куфические письма, и Ракель без труда читала их. Она рассказала Альфонсо, как научилась читать и писать. Начала с обиходного нового письма «насах» и чтения стихов Корана и девяноста девяти имен Аллаха, потом стала изучать древнее куфическое письмо и, наконец, при помощи дяди Мусы — еврейское. Альфонсо прощал ей всю эту уйму ничемных знаний, потому что она была Ракель.

Среди изречений на стене было одно древнеарабское, которое особенно любил дядя Муса: «Пушинка мира ценнее, чем железный груз победы». Ракель прочла королю это изречение; вескими, туманными и величавыми казались эти диговинные слова в ее детских устах. Так как он не понял, она перевела их на более привычную латынь: «Уния мира больше стоит, чем тонна победы».

— Вздор, — отрезал Альфонсо, — это годится для крестьян и горожан, но никак не для рыцарей. — Боясь обидеть Ракель, он добавил примирительно: — Ну, в устах дамы это ничего.

— Я сам тоже сочинил как-то поучение, — рассказал он немного позднее, — это было, когда я брал Аларкос. Я захватил горный кряж к югу от Нар-эль-Абиад и оставил там крепкий заслон под началом некоего Диего, ленника моих баронов де Аро. Так вот, этот Диего заснул и проморгал неприятеля, который нахрапом захватил его солдат. Мне это чуть не стоило Аларкоса. Я велел привязать лентяя к одному из кольев палатки. И тут-то сочинил свое поучение. Дай-ка припомнить. «Пусть тот не спит, кто у врага стремится отобрать и жизнь и щит. Волк спящий остается без еды, а спящий человек не может победить...» Я приказал написать это огромными буквами, чтобы Диего читал мое поучение в первое утро, и во второе, и в третье. Только потом я велел выколоть его бесполезные глаза, а потом взял Аларкос.

В этот день Ракель была очень молчалива.

Самые знойные часы она обычно проводила в тишине и полумраке своей спальни, где пропитанная водой войлочная обшивка давала прохладу. А дон Альфонсо ложился в парке под деревом, поближе к садовнику Белардо, который даже и в жару трудился или делал вид, будто трудится. В первый раз Белардо хотел улизнуть, но Альфонсо окликнул его, он любил беседовать с низшими. Он говорил их языком, умел попасть им в тон, и потому они верили ему и при всем благоговении не стеснялись высказывать правду. Короля забавляло круглое, лоснящееся, плутоватое лицо Белардо и его простодушно-лукавые ухватки. Он часто подзывал садовника к себе и толковал с ним.

У Белардо был приятный голос. Альфонсо требовал, чтобы он пел — главным образом романсы. Среди прочих знал он романс о некоей даме Флоринде. Флоринда и ее прислужницы, говорилось в романсе, думая, что никто за ними не наблюдает, обнажили свои стройные ножки и стали желтой атласной лентой измерять их толщину. Белей и прекрасней всех оказались ножки Флоринды. Но, скрывшись за оконной занавеской, созерцал девичью забаву король Родриго, и тайный огонь воспламенил его сердце. Король позвал к себе Флоринду и так сказал ей: «Флоринда, цветущая, я ослеп и зачах от любви. Исцели мой недуг, и в благодарность я отдам тебе свой скипетр и свою корону». Она будто бы сперва не отвечала и даже разобиделась. Но под конец он настоял на своем, и Флоринда, цветущая, потеряла цвет невинности. Вскоре король понес кару за свое нечестивое сластолюбие, а с ним и вся Испания. И если спросишь, кто из них двух виновнее, ответят мужчины — Флоринда, а женщины ответят — Родриго.

Так пел Белардо, а король слушал, и на минуту у него zakралось подозрение, не с дерзким ли умыслом напомнил ему садовник о судьбе Родриго, последнего готского короля. Ибо, как поется в других романсах, граф Хулиан, отец соблазненной Флоринды, вступил в союз с маврами, дабы отомстить королю Родриго, и привел мавров в Испанию, и греховная страсть короля Родриго была тому причиной, что погибла христианская держава готов.

Однако на лице садовника Белардо было глуповато-простодушное, сокрушенное выражение; он явно не замышлял дурного.

Под вечер Ракель купалась в пруду. Она звала Альфонсо поплавать вместе. Он же стеснялся раздеваться при ней и считал, что и ей неприлично раздеваться при нем. Стародавние предрассудки одолевали его. Магомет предписывал своим последователям три, а то и пять омовений в день, да и у евреев строжайшая чистоплотность была возведена в религиозный закон, а потому церковь порицала тех, кто слишком часто мылся.

Весело вскрикивая, Ракель окунала в воду одну ногу, а потом, собравшись с духом, прыгала сама и принималась плавать. Альфонсо бросался за ней следом, ему доставляло удовольствие плавать и нырять.

Накупавшись, они сидели голые на берегу и обсыхали под лучами солнца. Воздух дрожал от зноя; от цветов и померанцевых деревьев шел пряный аромат, звенели и стрекотали цикады.

— Ты знаешь историю Флоринды и Родриго? — неожиданно спросил Альфонсо.

Да, Ракель знала.

— Но что из-за их любви пошло прахом готское королевство — это пустые басни, — тоном старого мудреца заявила она. — Дядя Муса мне все растолковал. Христианское государство одряхлело, готские короли и солдаты были чересчур изнежены, потому-то нашим и удалось так быстро, с малыми силами одолеть их.

Альфонсо поморщился оттого, что она сказала «нашим». Но толкование этого неблагонадежного старика Мусы ему понравилось.

— В кои-то веки твой старый сын Муса оказался прав, — заметил он. — Король Родриго был плохой солдат, вот его и побили. Но с тех пор мы обучились воинскому искусству, — добавил он, приосанясь, — а твоих мусульман, наоборот, изнежили ковры и стихи. Да вдобавок еще и девяносто девять имен божьих, которые они постарались тебе вдолбить. Теперь мы снесем их твердыни и башни, истребим их властителей, и города сровняем с землей и посыплем солью. Ты собственными глазами увидишь, прекрасная дама, как мы сбросим в море твоих мусульман. — Он вскочил. Нагой, задорный, веселый, стоял он на ярком солнце.

Она вся съежилась от чувства отчужденности. Удивительный человек ее Альфонсо. Как посмотришь на него сейчас, такого сильного, веселого, горделивого, мужественного, — он вполне достоин ее любви. Да и по уму он выше, чем представляется. Он великолепен, нет, просто велик, он прирожденный повелитель Кастилии, а быть может, и всей омываемой морем Андалусии. Но самое лучшее под небесами и в небесах для него недоступно. О самом главном он ничего не знает, не знает о духе. А она знает, потому что ее воспитали отец и Муса и потому что она принадлежит к тем, чье наследие — Великая Книга.

Он угадывал, что происходит в ней. Он знал, что она любит его всей душой, что в нем ей дорого все — и доблесть и переизбыток сил, пускай даже граничащий с пороком. Но лучшее в нем, его рыцарство, она понять не может, может только любить. Никто не в силах растолковать ей, что такое рыцарь и даже что такое король. «Мои псы больше смыслят в этом», — с парочитой грубостью подумал он и на минуту пожалел, что не взял с собой в Галиану своих огромных псов. И в то же время смутно ощутил, что и в душе Ракели есть закрытые для него области, таящие в себе то арабское, то еврейское, в самой основе своей чуждое ему, что он никак не мог уразуметь, мог только уничтожить. И еще неосознанней, еще мимолетней ощутил он, что так же обстояло у него со всей Испанией. Страна принадлежала ему, он владел ею, ему даровал ее господь, он был здесь королем и любил свою страну. Но в этой Испании была большая, очень большая часть того же арабского, еврейского, что было ему покорно и все-таки недоступно.

Тут вдруг он увидел, что Ракель сидит съежившись, беззащитная, всецело отданная ему во власть, увидел даму в беде и сразу же вспомнил свой рыцарский долг.

— Ну, не думай, что я собрался завтра же сбросить твоих мусульман в море, — поспешил он утешить ее, — а главное, я совсем не хотел тебя обидеть.

Прошло лишь несколько дней, а им уже казалось, что они провели здесь всю жизнь. Однако ни на пресыщение, ни на однообразие они не могли пожаловаться, им всегда не хватало дня, не хватало ночи, столько нового

нужно было рассказать, столько представлялось новых развлечений.

Ракель-сказочница сидела у фонтана во внутреннем дворике, в патио, и струи фонтана взлетали и опадали, а Ракель все рассказывала, двадцать, сто сказок, и одна переходила в другую, как надписи на фризах. Она рассказала королю про заклинателя змей и его жену, про щедрого пса, про смерть влюбленного из племени Азра и про печального учителя. Еще рассказала про однозуба и двузуба и про вельможу, который забеременел. Она рассказала сказку о яйце птицы Рок и сказку об апельсине, который раскрылся, когда поэт хотел его съесть, и апельсин вдруг оказался большим городом, где поэта ожидало множество удивительных приключений.

Она сидела на краю фонтана, подперев голову рукой, и рассказывала, и часто закрывала глаза, чтобы лучше видеть то, о чем рассказывала. Повествовала она с чисто восточной наглядностью. Например: «Но на другое утро — доброе утро, милый король и слушатель, — вдова наша отправилась к купцу...» Или же сама перебивала себя и спрашивала: «Ну а как на месте врача поступил бы ты, милый король и слушатель?»

Он слушал и, слушая о том, сколько в мире необычайного, начинал понимать, как необычайна его собственная участь, которую до этих пор он считал вполне естественной. Нет, право же, не менее фантастично, чем ее сказки, было то, что довелось пережить ему. Подумать только! Трехлетним ребенком он стал королем, и гранды ссорились между собой, кому быть его опекуном, таскали его из одного лагеря в другой, из одного города в другой, пока он в четырнадцать лет по-отрочески срывающимся голосом не воззвал с колокольни собора Сан-Роман к толедским горожанам, чтобы они постояли за своего короля и спасли его из рук строптивых баронов. А потом он, совсем еще юношей, посватался к английской принцессе, тоже юной девочке, и сколько же ей пришлось поколесить из-за войны с Леоном, пока наконец удалось отпраздновать свадьбу. Всю свою молодость он растратил на войну и только и знал, что сражался то с неверными, то с непокорными грандами, то с королем Арагонским, то с Леонским, то с Наваррским, то с Португальским и даже — при всем своем благочестии — со

святым отцом. А потом он строил церкви, и монастыри, и крепости и под конец отстроил вот этот загородный дворец Галиану. И теперь обосновался здесь и обрел истинный смысл жизни — эту женщину и ее сказки, на которые в точности была похожа его собственная жизнь.

Ракель придумывала все новые забавы. Она показала ему в одежде мальчика, в какой имела обыкновение путешествовать. Даже не забыла опоясаться мечом и так красовалась перед ним — нежная, прелестная и неловкая. Она подарила королю затканый золотом халат из тяжелого шелка и к нему расшитые жемчугом туфли. Он очень неохотно надел халат и решительно воспротивился, когда она потребовала, чтобы он сел наземь, скрестив ноги.

Желая загладить обиду за то, что он недостаточно оценил ее подарок, он предстал перед ней в рыцарских доспехах. Правда, доспехи были легкие, серебряные, которые он надевал в парадных случаях. Ракель была искренне восхищена его стройностью и мужественной грацией и призналась, что дрожала за него во время его поединка с быком. Однако когда она попросила, чтобы он показался ей в настоящих доспехах, в тех, которые носил в бою, он замялся, и когда она пожелала посмотреть его знаменитый меч *Fulmen Dei* — молнию господню, — он тоже ответил уклончиво.

Ракель стала расхваливать его перед кормилицей Саад. Та угрюмо промолчала. Тогда Ракель вспылила:

— Ты его ненавидишь, терпеть его не можешь!

— Как я могу ненавидеть то, что мило моей козочке! — запротестовала Саад, но потом призналась: — Мне обидно, что он не делает тебя своей султаншей, хоть ты и слишком хороша, чтобы стать его султаншей.

Кормилица ходила озабоченная и огорченная и однажды достала спрятанное на ее обширной груди заветное сокровище — серебряный амулет с пятью лучиками, подобными пяти пальцам. Это была «рука Фатимы», запретный, но очень действенный амулет. Кормилица стала умолять, чтобы Ракель надела его. Ракель растрогалась и взяла амулет.

Когда кормилице что-нибудь было нужно из города, ей приходилось обращаться к Белардо. Они с великим трудом понимали друг друга, и жирный нечестивец был

так же противен ей, как и она ему. Но у обоих была потребность почесать язык. И вот они садились на скамью под тенистым деревом и начинали браниться. Закрытая густой чадрой кормилица гортанной арабской скороговоркой высказывала весьма нелестные суждения о короле, нашем государе, в надежде, что Белардо не поймет ее; он же на грубом кастильском наречье хулил и оплакивал мерзкое кошунство христианского короля, который спит с еврейкой в разгар священной войны. Не понимая друг друга, оба сочувственно кивали головой.

Тем временем дон Альфонсо велел привезти своих собак, огромных псов, которые очень не нравились Ракели. А он возился с ними, во время трапез бросал им куски мяса. Это коробило Ракель, привыкшую к тишине и опрятности за едой. Он видел ее недовольство и то переставал дразнить и кормить собак, то опять принимался за старое. Иногда Альфонсо и Ракель играли в шахматы. Ракель играла хорошо, с явным интересом, долго обдумывала каждый ход. Альфонсо раздражался, просил ее ходить поскорее. Она с удивлением поднимала глаза от доски: в мусульманских странах не было принято торопить партнера. А сам он как-то заспешил, сделал необдуманный ход и собрался взять его назад. Ракель поморщилась и ласково объяснила ему правило: раз ты прикоснулся к фигуре, надо ею и ходить.

— У нас это по-другому, — возразил он и взял свой ход обратно. Она была молчалива до конца игры и старалась, чтобы он обыграл ее.

Кроме того, они удии. Катались на лодке по реке Тахо. Она просила его исправлять ее ошибки в латинском и испанском языках и со своей стороны учила его правильно говорить по-арабски. Он был способным учеником, но придавал мало значения такого рода пустякам.

В Галиане были и песочные, и солнечные, и водяные часы. Ракель даже не удостоивала их взглядом. Она узнавала время только по цветам. Например, розы Шираза распускались в полдень, тюльпаны из Конии открывали свой венчик только под вечер, а жасмин — тот начинал по-настоящему благоухать лишь к полуночи.

Однако настал день, когда Гарсеран прорвался к Альфонсо и доложил:

— Мой отец здесь.

Дон Альфонсо грозно нахмурил широкий гладкий лоб.
— Не желаю я никого видеть, — крикнул он, — слышишь, не желаю!

Гарсеран помолчал немного, прежде чем ответить:

— Мой отец, твой первый министр, велел сказать, что вестей у него не меньше, чем седых волос на голове.

Альфонсо шагал из угла в угол, шлепая комнатными туфлями. Гарсеран следил за ним взглядом и по дружбе готов был его пожалеть.

— Попроси твоего отца подождать, — сердито сказал наконец король. — Так и быть, приму его.

Дон Манрике не произнес ни слова упрека, он говорил о делах так, словно вчера лишь расстался с королем. Магистр ордена Калатравы настоятельно требует аудиенции по важному делу. Епископ Куэнкский находится в Толедо и хочет изложить королю ходатайство своего города. С такой же просьбой обращаются представители города Логроньо и выборные от Вильянуэвы. Люди волнуются, что король никого не принимает.

Альфонсо вспыхнул:

— Что ж, прикажешь мне сидеть и ждать, не вздумает ли кто-нибудь донимать меня наглыми просьбами? Двух месяцев не прошло, как куэнкский епископ выклянчил у меня тысячу мараведи. Не желаю я видеть его постную и жадную рожу.

Но дон Манрике пропустил замечание короля мимо ушей и продолжал:

— Вильянуэва ждет, чтобы данные ей обещания были выполнены. Льготы для Логроньо недействительны без твоей подписи. Пора кончать дело Лопе де Аро — с каких пор дано обещание решить его! Магистру нужно твое согласие для строительства Калатравы. Жители твоего города Куэнки томятся в подземельях барона де Кастро.

— А мне самому сколько пришлось протомиться? Уж ты-то это знаешь, дон Манрике, — угрюмо, но без прежней уверенности сказал Альфонсо и неожиданно заключил: — Хорошо, завтра буду в Толедо.

Он пошел к Ракели. От огорчения и досады не владея собой, он напрямик объявил:

— Завтра мне надо быть в Толедо.

Ракель побледнела как смерть.

— Завтра? — тупо переспросила она.

— Долго я там не пробуду, — поспешил он успокоить ее, — через два дня вернусь.

— Через два дня, — так же жалобно и тупо повторила она, словно это не дошло до ее сознания. Но тут же попросила: — Подожди, не уходи. — И еще, и еще раз: — Не уходи.

Он ускакал рано утром, и Ракель осталась одна.

Утро тянулось без конца, а ведь еще будет второе и третье утро, прежде чем он вернется.

Она пошла в сад, пошла на берег Тахо, вернулась домой, опять пошла в сад, смотрела на мрачный город Толедо, а роза Ширази все не распускалась и полдень не наступал. А после того, как роза раскрыла лепестки, часы стали ползти еще медленнее. Среди дня Ракель лежала в полумраке своей спальни; было очень жарко, а до вечера казалось бесконечно далеко. И она опять пошла в сад, но тюльпаны еще не раскрылись, тени почти не стали длиннее. Наконец стемнело, но это оказалось еще мучительнее.

После нескончаемой ночи забрезжило густо-серое утро, потом оно посветлело, белесым светом просочилось сквозь занавеси. Ракель встала, не торопила служанок, которые купали, умащали и наряжали ее, сама медлила, сколько возможно. Принесли завтрак, но плоды показались ей не сочными, а изысканные сласти — не сладкими. Внутренним взором она видела отсутствующего Альфонсо — он ел всегда рассеянно и жадно. Она говорила с ним, обращалась к его призрачному образу со словами любви, восторгалась его худошавым мужественным лицом, рыжевато-белокурыми волосами и некрупными острыми зубами, гладила его бедра и ноги, говорила бесстыдные слова, какие никогда не решилась бы сказать ему в глаза, и при этом краснела и смеялась.

Она рассказывала себе сказки. Там были великаны и чудовища, которые крушили все вокруг и рвались истребить ее врагов. Они выражали мысли Альфонсо, но доведенные до нелепицы. Один из этих головорезов был Альфонсо, но который — она не могла разобрать. Собственно, это был не он, а какой-то заколдованный, превращенный в страшилище Альфонсо, и он ждал, чтобы возлюбленная вернула ему настоящий облик. Что ж, она расколдует его.

Она вспомнила, как впервые заговорила с ним в Бургосе и сказала, что ей не нравится его мрачный замок. И как его султанша, донья Леонор, окинула ее милостиво-холодным оценивающим взглядом. Ей стало не по себе, но она поспешила стряхнуть неприятное ощущение.

Она написала Альфонсо письмо, не думая, что он когда-нибудь прочтет его, но у нее самой была потребность объяснить, за что она так сильно его любит. Она вложила в это письмо все силы своей души: «Ты прекрасен, ты — величайший рыцарь и герой во всей Испании; как и подобает рыцарю, ты то и дело готов пожертвовать жизнью ради бессмыслицы, и это нелепо и великолепно, и за это я люблю тебя. Мой милый, необузданный, воинственный, ты шумлив, порывист и самовластен, как крылатый хищник, и мне хочется прильнуть к тебе».

Перечитывая письмо, она кивала головой с суровым и страстным выражением. Как-то, изучая язык франков, она прочла книжечку франкских стихов. Одно из стихотворений особенно запало ей в душу. Она разыскала книжку и затвердила его на память: «Сказала дама: «Любой обет исполню для тебя, мой друг, воистину сердечный и желанный, *mon ami et mon vrai désir*». Сказал ей рыцарь: «Чем заслужил я, госпожа, твою любовь?» Сказала дама: «Тем, что ты таков, какого я желала, *mon ami et mon vrai désir*».

Ракель спустилась в сад. Садовник Белардо собирал персики, и она попросила его по севильскому обычаю оставить хоть два плода, чтобы дереву не было скучно. Белардо сейчас же перестал рвать персики, но за его покорностью она уловила недоброжелательство.

Сидя на берегу Тахо, она смотрела в сторону Толедо и грезилась. Ей представлялся Альфонсо в серебряных доспехах. Она подарит ему новые доспехи из вороненого железа, с шарнирами: они очень изящны и тем не менее служат лучшей защитой, чем кольчуга, какую носят христиане. Надо, чтобы отец заказал их у кордовского оружейного мастера Абдуллы.

И вдруг она вспомнила, что обещала отцу хоть изредка приходить к нему в канун субботы и весь праздничный день проводить с ним. Не он настаивал на этом, она сама вызвалась — и ни разу не исполнила обещания! Ее поразило, до какой степени отец стал ей далек.

В эту пятницу она непременно пойдет к нему. Нет, нельзя, тут как раз приедет Альфонсо. Зато в следующую пятницу ничто ее не остановит.

В Толедо ни один из советников короля не высказал ни упрека, ни даже удивления. Однако Альфонсо чувствовал, что они порицают его. Это его не трогало. Ему было бы неприятно встретиться лишь с одним человеком — с Иегудой. Но тот не появился.

С утра до вечера Альфонсо был занят делами, приемами, совещаниями, чтением бумаг. Он говорил, спорил, взвешивал доводы за и против, решал, подписывал. Он старался видеть людей и события в ярком и резком свете действительности, но взор его то и дело завораживали чары Галианы, и, говоря, работая, подписывая, он думал: «Что она делает сейчас? Где она — на мирадоре или в патио? И какое на ней платье? Должно быть, зеленое...»

По ночам он сгорал от страсти. Силился думать о плане крепости Калатравы и о раздорах с епископом Куэнским. А вместо этого ему приходили на ум строки арабских стихов, которые он слышал от Ракели, и он старался восстановить все стихотворение, но, несмотря на превосходную память, не мог подобрать все рифмы, и это раздражало его. Он явственно видел, как шевелятся губы Ракели, произносятся стихи, но не понимал ее, а она старалась ему помочь и раскрывала ему объятия и ждала его. Его бросало в жар, кровь стучала в висках, не давала лежать спокойно.

Наконец три дня, казавшиеся вечностью, миновали, и он снова был в Галиане, и прежний беспредельный неземной восторг, от которого дух захватывало, наполнял их обоих.

Она была покорна всем его желаниям, но ему всего было мало — и ласк, и поцелуев, и объятий, и слияний. Он жаждал ее все сильнее и неистовствовал оттого, что жажда его неутолима.

Он был одно с ней больше, чем с самим собой. Ей он поверял те по-королевски горделивые и по-детски наивные тайны, которые до тех пор никому, даже себе самому, не решался доверить; и когда ему казалось, что он открыл ей самое сокровенное, ее близость побуждала его признаваться в том, что было скрыто еще глубже.

Он любил, когда Ракель что-нибудь отвечала. Ее ответы почти всегда были неожиданны и вместе с тем понятны для него. Но не меньше любил он, когда она молчала — кто еще умел так красноречиво молчать, соглашаться, возражать, радоваться, сетовать, порицать?

И снова для них обоих не существовало времени, не существовало ни прошлого, ни будущего, одно только до краев наполненное настоящее.

Но Ракель неожиданным ударом рассекла это блаженство вне времени.

— Сегодня вечером я собираюсь ехать к отцу в Толедо, — объявила она.

Альфонсо в полном смятении смотрел на нее. Кто из них двух сошел с ума? Не могла она этого сказать! Верно, он ослышался или не понял ее. Он переспросил, запинаясь. Она повторила:

— Сегодня вечером я еду к отцу. Вернусь в воскресенье утром.

Ярость поднялась в нем.

— Ты меня не любишь! — вскипел он. — Мы еще как следует не узнали друг друга, а тебя уже тянет прочь. Это смертельная обида. Ты меня не любишь!

Пока он распалялся все сильнее, она думала: «Он страшно одинок, этот горделивый король. У него нет никого, кроме меня. У меня есть и он и отец».

Но это затаенное торжество не помогло ей против острой, чисто физической боли, которую она ощущала при мысли, что им придется быть врозь сегодня вечером и ночью и еще целый долгий день и целую долгую ночь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Дон Иегуда тосковал по Ракели еще сильнее, чем думал. Временами он задыхался от ревности к Альфонсо. И тут же представлял себе, что этому ненавистному сопернику вдруг взбредет на ум вернуть ему Ракель уничтоженную, растоптанную.

Аласар тоже причинял ему немало забот. Двусмысленное положение Ракели, позорная слава сестры и отца все сильнее осложняли юноше жизнь в замке. Но он не просил совета у отца, как тот надеялся и боялся; наоборот, он замкнулся в себе, очень редко появлялся дома

и в эти редкие посещения бывал молчалив и подавлен.

Наступила первая суббота после ухода Ракели.

Субботний день с давних пор, еще со времен Севильи, был торжественным днем для Иегуды. Господь подарил своему народу седьмой день, день отдохновения, дабы Израиль даже в годину бедствий чувствовал себя этот один день свободным, отмеченным среди других народов.

Деятельный Иегуда по-настоящему праздновал субботу, он забывал о делах и радовался, что его народ и сам он — избранныки божии.

Наперекор здравому смыслу он надеялся, что Ракель придет в первую же субботу. Когда она не пришла, здравый смысл взял в нем верх над разочарованием. Во вторую субботу ни здравый смысл, ни усилия воли не могли заглушить мучительную душевную боль. Он придумывал сотни причин, задержавших Ракель. Но бесплодные догадки: «Что делает мое дитя? Почему мое дитя покинуло меня?» — продолжали сверлить его мозг.

А потом в Толедо приехал Альфонсо. Иегуду очень соблазняло повидаться с ним, да и предлог был прекрасный — неотложные дела. Но он боялся, что не совладает с собой и своей обидой, и не пошел к Альфонсо. Он ждал, что Альфонсо позовет его, ждал первый день, второй, третий и радовался, что король его не позвал, и был вне себя, когда король покинул Толедо, так и не позвав его.

Настала и третья суббота без Ракели. Значит, они — этот христианин, солдат, бездушный и бессовестный человек и его собственная, некогда достойная любви и любящая дочь — объединились, сговорились, чтобы истерзать его молчанием, вырвать у него из груди сердце. Ракель потеряна для него.

Но тут пришла от нее весть. А в канун следующей субботы явилась она сама.

Иегуде претили внешние проявления чувства. Однако он почти грубо обхватил, прижал к себе Ракель и отогнул ее голову, упиваясь ее созерцанием. Она словно отдыхалась в его объятиях, закрыв глаза, и он не мог прочесть в них, каково ей пришлось. Одно было ясно: она не унижена и не жалка, это его прежняя Ракель, только еще похорошевшая.

Он попросил ее зажечь светильники, эта честь, по старинному обычаю, была предоставлена женщинам; огни светильников озарили сгущающиеся сумерки — это был

хороший праздничный вечер. Иегуда пропел субботнюю песнь Иегуды Галеви: «Приди, возлюбленный, приди, субботний день, и встретить невесту», — и, ликуя, прочитал псалом Давида: «Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит море и ликуют все деревья дубравные перед лицом господя!»

Они сели за трапезу вместе с неизменным Мусой. Ракель казалась задумчивой, но счастливой. Муса, против своего обыкновения, погладил ее руку и сказал:

— Как ты прекрасна, дочь моя.

За трапезой речь шла о многом, только не о том, что занимало их мысли.

Эту ночь Ракель спала крепко и покойно. Иегуда же все еще томился сомнениями, а может быть, и ревностью. Но те муки, какие он испытывал в последнее время, исчезли.

На следующий день Ракель вдвоем с отцом сидела в патио, возле водомета; улыбаясь, они посмотрели друг на друга сперва искоса, потом прямо, и, наконец, Ракель ответила на невысказанный вопрос:

— Все хорошо, отец, я не чувствую себя несчастной. — Потом призналась: — Я счастлива. — И совсем уж искренне: — Я очень счастлива.

Иегуда обычно не затруднялся ответом; а тут он не знал, что сказать. Конечно, с его души свалился тяжкий гнет, но был ли он рад, этого он и сам не знал.

В Галиане Ракель почти совсем вернулась к мусульманству, а тут она вспомнила о своем иудействе. Над дверями кастильо Ибн Эзра, как над входом в каждый еврейский дом, были укреплены знаки иудейской веры — небольшие трубки, в которых заключены пергаментные свитки с исповеданием веры в единого сущего бога Израилева и обетом безоговорочной преданности. Ракель решила, что такая же *мезуза* должна быть и над входом в Галиану.

Настала ночь, а с ней и *гавдала*, разделение, — трогательная и грустная церемония, которой суббота отделяется от прочих дней недели, праздник — от будней. Зажгли свечу, наполнили кубок вином, принесли пряности в драгоценном сосуде, и Иегуда, благословив вино, отпил от него и, благословив пряности, в последний раз вдохнул их субботний аромат и, благословив огонь, погасил свечу в вине.

После этого они пожелали друг другу доброй ночи с нелегким сердцем, ибо им предстояло увидеться снова лишь через неделю. Но Ракель еще не успела заснуть, как в ней не осталось иных чувств, кроме ожидания утра, когда она возвратится в Галиану.

У каноника дона Родриго было человеколюбивое сердце, каноник дон Родриго старался соблюдать христианский долг послушания, но случалось, что между его человеколюбием и заповедью послушания возникал разлад.

Святой отец возвестил крестовый поход, и долг Испании был принять в нем участие; но когда каноник думал о том, что в мире опять разгорелась великая война и люди терзают и уничтожают друг друга, он радовался, что хотя бы его полуостров до сей поры пощажен. Однако же это была греховная радость, и когда по ночам он думал о том, что стольким истинным христианам суждено претерпеть смерть и мучения во имя Святой земли, пока он со своими испанцами благоденствует, его охватывал такой жгучий стыд, что он вставал с постели и ложился спать на голой земле.

Скорьбь его о всеобщем бедствии усугублялась огорчением из-за дона Альфонсо, его духовного чада. Каноник любил Альфонсо, как младшего брата. А лучезарный рыцарь и король глубоко огорчил его. Начиная свою летопись, Родриго заранее предвкушал, что завершит ее описанием правления своего возлюбленного питомца и духовного сына; он подыскал уже слова, какими обрисует сущность Альфонсо, восьмого этого имени: *vultu vivax, memoria tenax, intellectu saxes*, ясный ликом, крепкий памятью, сильный разумом. И вдруг его Альфонсо так неслыханно и гибельно уронил себя, погряз в тяжчайшем грехе, в одном из коренных, главных грехов, третьем по счету смертном грехе!

Его, Родриго, обязанность побудить Альфонсо к раскаянию на деле, ибо оно только и может спасти короля от духовной смерти. Однако Родриго хорошо знал человеческую душу и видел, что грешник одурманен пряным запахом греха и всякое увещание будет тщетно. Канонику оставалось только молиться за Альфонсо. Когда он предавался умерщвлению плоти, ему временами каза-

лось, что он частично искупает вину Альфонсо. Правда, смертному не пристало дерзновенно уподобляться Спасителю и брать на себя грехи другого человека, каноник сознавал это, и все-таки в его самобичевание прокрадывалась такая утешительная ересь.

Хотя налагаемые на себя покаяния, по существу, не давали канонику ничего, кроме чувства исполненного долга, зато в эти благодатные часы он ощущал сладостную неземную легкость. Тело его как будто исчезало, все земное растворялось, и он вкушал чистое блаженство, сотканное из духа и бога.

Он уже совсем было потерял надежду спасти короля от духовной гибели, как вдруг в одну из минут такого восторга все его сомнения рассеялись. Он почувствовал, что его молитвы услышаны. Из самых недр души поднималась уверенность, что в нужную минуту господь вложит ему в уста нужные слова.

Это вновь обретенное упование не поколебалось и после того, как архиепископ призвал его к ответу.

— До каких пор будешь ты спокойно созерцать, что твой духовный сын Альфонсо погрязает в нечестии? — накинулся на него дон Мартин и, прежде чем он успел ответить, продолжал: — Вспомни, как Финеес, сын сына Ааронова, ополчился на человека, прелюбодействовавшего с мадианянкой.

Каноник задумчиво поднял на него взор и ответил спокойно, с едва уловимой улыбкой:

— Неужто богу угодно, чтобы я вонзил копье в чрево королю, нашему повелителю, и донье Ракель?

— Ты понимаешь, что я говорил лишь иносказательно, — гневно возразил архиепископ. — Однако же запомни: усердия у тебя не видно.

— Я уповаю на бога, — сказал дон Родриго. — В нужную минуту он внушит мне нужные слова.

Архиепископ понял, что от дон Родриго больше ничего не добьешься. Впрочем, он уже несколько недель подумывал, не следует ли ему самому поговорить с королем о его вопиющем преступлении. Дон Мартин с великой неохотой поручил эту задачу благочестивому, до святости кроткому Родриго и теперь сердился, что в ответ на свое мягкое напоминание услышал какую-то несвязную благочестивую болтовню. Он искал предлога, чтобы сорвать накипевшую досаду на своем секретаре.

Кстати, между ними шел один давний спор. В то время как весь христианский Запад, следуя примеру римского игумена Дионисия Малого, вел свое летосчисление от рождества Христова, испанские государи начинали его на тридцать восемь лет раньше, с того года, когда император Август превратил Иберийский полуостров в единое государство. Такое различие в летосчислении вызывало путаницу при переписке с границей, и потому дон Родриго делал попытки датировать письма из архиепископской канцелярии по заграничному образцу. Когда архиепископ был в хорошем расположении духа, он мирился с такими еретическими новшествами своего секретаря. В гневе же он решительно пресекал их. Вот и сегодня он ни с того ни с сего заявил строгим тоном:

— С прискорбием заметил я, любезный господин и брат мой, что ты снова принялся помечать наши письма тем же годом, что папская канцелярия. Я неоднократно высказывал тебе свою волю сохранить за испанской церковью ее своеобразие. Я отнюдь не желаю отказываться от прав, которые старше, нежели права самого папы. Недаром же мой предшественник, первый епископ Толедский, был посвящен в сан апостолом Петром.

Дон Родриго понимал, почему его начальник с таким жаром возобновляет старый спор о летосчислении. Не пускаясь в распри, он примирительно заметил:

— Поверь мне, досточтимый отец, господь непременно дарует мне милость спасти душу короля, нашего государя.

Альфонсо остановился перед мезузой, свитком с заповедями иудейской веры, который Ракель повесила на косяке двери, ведущей в ее покои в Галиане.

— И ты еще многое собираешься менять здесь? — спросил он с легкой, незлобивой насмешкой.

— Разумеется, — весело ответила Ракель. — Когда дом окончен, остается только умирать, — процитировала она арабскую поговорку.

— Ну что ж, лишний амулет не помешает, — согласился Альфонсо.

Ракель ничего не ответила. Она не рассердилась на него за то, что в заповедях ее веры он увидел всего лишь

амулет. Как мог он понять единого, незримого бога Израилева, когда сам преклонял колена перед изображениями трех богов? Он был только рыцарем и солдатом, и благоговейный трепет перед всевышним был ему чужд. Это она давно уже знала, но, как ни странно, это не унижало его в ее глазах. Как ни пагубно и безбожно было его рыцарство, оно согревало ей сердце.

Альфонсо, в свою очередь, старался осознать все то, о чем до тех пор у него было лишь смутное представление. Пусть его жизнь здесь, в Галиане, недостойна рыцаря, пусть это измена его королевскому долгу — он готов заплатить за свое счастье такой изменой. Быть с любимой стало смыслом его жизни. Он страдал, расставаясь с нею даже на несколько минут. Никогда не будет он в силах с ней расстаться; это он чувствовал, понимал, и это было ужасно, и в этом было блаженство.

Ракель, как и он, не знала ничего, кроме своего счастья. Она жила здесь не ради какой-то «высшей цели». Она жила здесь потому, что ей так хотелось, потому, что она была здесь счастлива. И Альфонсо, христианин, рыцарь, варвар, был ей мил таков, как он есть. Он был король и подчинялся одному-единственному закону — своему внутреннему королевскому голосу, и этот голос всегда был прав, даже когда повелевал ему ослепить часового, заснувшего на своем посту, или сровнять с землей и посыпать солью неприятельский город.

С ним и за него она гордилась тем, что раньше вызвало бы у нее насмешливую улыбку. Он рассказывал ей о свирепых готских и норманнских королях — своих предках, и она восхищалась ими вместе с ним. Он расхваливал грубость и сочность своей вульгарной латыни, своего кастильского, и она прилежно училась ему.

Он радовался, как ребенок, когда она употребляла слова и обороты его солдатского кастильского языка. В благодарность он согласился надевать восточный халат на те часы, когда Ракель, сидя у фонтана, рассказывала ему сказки. Но когда она вкрадчиво попросила его сбрить бороду, потому что ей хочется видеть его лицо без растительности, он грубо отказался.

— Так ходят только жонглеры, скоморохи, — возмущенно заявил он. Она не рассердилась, а только засмеялась. Между ними не могло быть отчуждения, они были одно, как и в первые дни.

Но вот настала пятница, и Ракель собралась к отцу. На этот раз Альфонсо не стал ее отговаривать; он только сидел, надувшись, как обиженное дитя.

Ракель покинула его с таким же тяжелым сердцем, как и в первый раз. Но уже по пути к кастильо Ибн Эзра ей страстно захотелось видеть отца, она почувствовала, как нуждается в том, чтобы он помог ей, вселил в нее новые силы. Близ него она и в самом деле становилась сильнее.

В Галиане она была лишь частицей Альфонсо, а не самой собой; она восторгалась цельной натурой Альфонсо и казалась себе хуже его из-за своей раздвоенности. А в присутствии отца она знала, что ее раздвоенность — это заслуга, это хоть и спорное, но все же счастье.

Альфонсо на этот раз не поехал в Толедо; ему не хотелось опять видеть вокруг себя молчаливо-укоризненные лица своих советников. Он предпочел претерпеть муку ожидания Ракели в Галиане.

В ее отсутствие ему было тягостно чуждое убранство дома. Мягкие ковры, цветистые завитушки и украшения, плещущие фонтаны угнетали его.

Он остановился перед выющимся по фризу еврейским изречением. При своей превосходной памяти он точно запомнил слова, которые Ракель перевела ему. Еврейский бог обещал в них своему избранному народу вечную милость и торжество над всеми другими народами. Альфонсо страстно тосковал о Ракели и вместе с тем, глядя на дерзкую надпись, думал: неспроста я до такой степени страдаю из-за нее, так уж созданы евреи, что с соизволения божия дьявол чаще всего избирает их своим орудием. «Змея за пазухой, огниво в рукаве», — вдруг припомнилось ему. Ракель тоже помимо собственной воли ведьма, и он околдован ею.

Альфонсо вышел в сад, бросился на траву под деревом. Позвал Белардо, чтобы поболтать с ним, и напрямик спросил его:

— Что ты, собственно, думаешь о моей жизни здесь, в Галиане?

Всем своим круглым, заплывшим жиром лицом Белардо выразил глуповатое недоумение.

— Что я думаю, государь, того мне не то что сказать, даже и думать не годится, — вымолвил он наконец.

— Все равно, говори, — нетерпеливо приказал Альфонсо.

— Раз уж мне велено говорить, — ответил Белардо, — вот что я скажу: этот великий из великих грехов можно себе позволить, только когда и сам ты великий из великих.

— Говори все! — потребовал Альфонсо.

— Жалко также, — вполне освоившись, продолжал садовник, — что из-за этого всем нам, да и тебе самому, государь, придется распрощаться с нашей сердечной услугой и главным делом нашей жизни.

— Говори, не стесняйся, — ободрил его король.

— Последние месяцы мне частенько вспоминается покойный мой дед, — тараторил Белардо. — Когда на него находило такое расположение, он все рассказывал про свой великий священный поход. Вот как оно было, государь. Попросил, значит, тогдашний византийский император Алексей святого отца о помощи для Святой земли и отписал ему, какое поношение терпит там христианство, и как у священных изображений Спасителя поотбиты руки, ноги, уши и носы, и как язычники-мухаммедане только и знают, что творят злое насилие над христианскими девами, а матерям тем временем велят петь, а потом учиняют то же над матерями и требуют, чтобы дочери распевали непотребные романсы. И еще писал византийский император, что, конечно, и война эта — священная, и вдобавок еще у язычников можно пожить золотом и всякими сокровищами, да и женщины на Востоке куда соблазнительнее, чем на Западе. Все христиане расчувствовались и распалились гневом, прочитавши это письмо, и покойник дедушка вместе со всеми. Он нашил себе на грудь крест, купил поношенный кожаный колет и кожаный шлем и с милостивого дозволения вашего блаженной памяти прадедушки пустился в дальний путь. Даже и вообразить себе не могу, как у него, у старика, сил на это хватило; правда, в те поры он был помоложе. Но покуда он туда доплелся, все уже успели расхватать добычу — и золото и женщин, ну и полегли, конечно, многие. Дедушке так и не довелось повоевать, и домой он вернулся ни с чем. А все-таки лучше этого у него ничего в жизни не было, ведь он молился у того камня, на котором сидел сам Спаситель, и пил ту воду, которую пил сам Спаситель, и окунал тело в святую реку

Иордан. Когда на деда находило такое расположение, он обо всем об этом рассказывал, и глаза у него тогда бывали, как у блаженного.

Белардо умолк, забывшись в воспоминаниях.

— Ну? — произнес Альфонсо.

— Ох, хорошо было бы и нашему брату сподобиться такой богоугодной забавы, — произнес Белардо с глуповато-мечтательной миной. — А что дурного случится с нами, если мы пойдем войной на окаянных мухаммедан? Коли повезет — захватим денег и женщин, коли не повезет — попадем прямехонько в рай.

— Словом, — заключил дон Альфонсо, — ты считаешь нечестивым, что я пребываю здесь в сладострастной неге?

— Избави меня господь от таких богомерзких мыслей против твоего величества, — запротестовал Белардо.

Как ни дурашливы были речи бойкого садовника, они задели Альфонсо за живое.

Значит, все считают, что он пренебрегает своим долгом рыцаря и короля, что он «изнежился», как Геркулес и Антоний из героев древности и как еврейский рыцарь Самсон со своей Далилой. В доме ему стало невмочь, он все время проводил в саду и даже спал под открытым небом, и сон его был тревожен.

Но как только Ракель возвратилась, прежние чары вновь овладели им. И мусульманские обычаи уже не отталкивали его. Жизнь в Галиане прекрасна, лучшей он никогда не знал. Он засмеялся по-юношески, изумляясь своему счастью. Веселый задор вселился в него. Пусть он изнежился, — значит, ему так нравится, значит, он на это идет, и нечего тут трубить ему в уши о грехе и раскаянии.

Такое высокое счастье, какое дарит ему Ракель, не может исходить от лукавого. Нет, наоборот, господь не оставляет его милостями, потому что он король, и это любовное блаженство — новая милость господня. Не зря же он дон Альфонсо, *Alfonso Rex*, восьмой этого имени. Он отвечает за свои поступки. Он взял себе в любовницы Ракель по внушению свыше и по своей королевской воле.

Когда Ракель отправилась к отцу в следующую пятницу, он сказал:

— Я не желаю, чтобы ты украдкой пробиралась в

мою столицу. Я не желаю, чтобы та, кого король Альфонсо избрал своей дамой, таилась от людей.

И Ракель отправилась в Толедо в открытых носилках. А сам Альфонсо вызвал свиту к себе в Галиану и торжественно въехал на коне в город и королевский замок.

Паж Аласар обратился к королю с просьбой. Оруженосец Санчо поднял на смех его любовное служение донье Хуане, и он хочет вызвать Санчо на поединок. А посему смиренно просит короля пожаловать его в оруженосцы, чтобы он мог послать вызов.

Притязания юноши были справедливы, он дольше положенного срока беспорочно нес свою службу и был вправе ожидать, что король дарует ему это звание. Но как же сделать еврея оруженосцем?

— Ты, милый мой Аласар, наделен всеми качествами, требуемыми для рыцаря, — приветливо ответил Альфонсо после короткого раздумья. — Однако у нас в королевстве рыцари все христиане.

Юноша покраснел.

— Я знал об этом, — промолвил он, — и, прежде чем обратиться к твоему величеству за милостью, долго пытал свою совесть, взвешивал все доводы за и против. Я готов стать рыцарем-христианином.

Альфонсо поразился и растерялся. Тысячи, десятки тысяч евреев шли на смерть, чтобы только сохранить свою религию, а тут вдруг этот юноша без понуждений и даже без уговоров хочет отречься от веры предков.

— А с отцом ты беседовал? — спросил он в замешательстве.

— Нет, — решительно ответил Аласар и упрямо добавил: — Никто меня не уговаривал, и никому я не позволю меня отговаривать.

Смущение короля рассеялось. Значит, жизнь при кастильском дворе, при его дворе, открыла этому юноше глаза. И вдруг у Альфонсо возникла мысль, которую он доселе боялся додумать, мысль, что и ненаглядную его возлюбленную может озарить свет истины. Недаром она уже оценила и прочувствовала то рыцарское и воинственное в нем, что прежде было совершенно чуждо ее душе. Одна только надежда, что ему дано будет обра-

тить Ракель в истинную веру, придает новый возвышенный смысл их связи, и страсть его перестает быть греховной. Ему стоило труда сдержать прилив бурной радости и спокойно ответить Аласару.

— Мне весьма отратно слышать твои слова, дружок, — сказал он. — Однако же я не богослов и не знаю, чего от тебя потребуют, прежде чем допустить к таинству крещения. Я поговорю с доном Родриго.

Получив такое поощрение свыше, он решил побеседовать с патером и о своих собственных делах. Прежде чем заговорить об Аласаре, он поведал дону Родриго о своей глубокой, внутренней связи с доньей Ракель.

— Не говори, досточтимый отец, — порывисто продолжал он, не давая канонику вставить слово совета или предостережения. — Не говори мне, что моя страсть греховна. Если она и греховна, то это благой и отрадный грех, и я не каюсь в нем. — И он закончил пылко: — Я люблю эту пленительную женщину больше всего на свете, и раз господь бог попустил такую любовь, значит, он простит мне ее.

Когда Альфонсо начал говорить, дон Родриго преисполнился умиленной благодарности к господу, смягчившему сердце грешника. Однако радость его мгновенно сменилась ужасом, когда он услышал, до какой степени обезумел король.

— Ты много говоришь в надежде опередить меня, чтобы я не успел высказать тебе слова сурового исправительного укора, — грустно промолвил он после того, как Альфонсо кончил. — Однако в душе ты знаешь все, что я обязан тебе сказать, знаешь раньше и лучше меня.

Альфонсо увидел его печальное лицо и чуть слышно спросил:

— Отец мой, неужто благодать покинула меня? Неужто я проклят навеки?

Скорбное молчание каноника снова раззадорило Альфонсо.

— Ну что ж, проклят так проклят, — беспечно заявил он. — А где пребывают деда моих дедов, те короли, которые не были еще обращены в веру Христову? — спросил он вызывающим тоном. — Я-то знаю, где они пребывают. Так пусть господь пошлет меня к ним!

Сдержав отчаяние, Родриго кротко остановил его:

— Сын мой, не вводи себя в новый грех такими кошунственными шутками. В тайниках своего сердца ты и сам ни на йоту не веришь этой еретической болтовне. Лучше будет, если мы смиренно поищем путь к спасению твоей души.

— Не огорчайся так, дорогой мой досточтимый отец и друг, — попросил король с юношеской улыбкой. — Господь милосерд и не готовит суровой кары мне, смиренному грешнику. Я знаю, что говорю. Господь послал мне знамение.

И он рассказал об Аласаре.

Каноник слушал с величайшим вниманием, и у него стало легче на душе. Он знал, как закалились в своей высокомерной лжемудрости обитатели кастильо Иби Эзра, и сам ни разу не попытался растопить сердце кого-нибудь из их рода, а на доне Альфонсо, видно, и впрямь почитает благодать божья — ему достаточно было взять этого отрока к себе в замок, чтобы тот обратился ко всеблагому Спасителю! Такая заслуга искупает многие святотатства.

Увидев, как умилен дон Родриго, Альфонсо с приветливой доверчивостью раскрыл ему самые заветные тайники своего гордого сердца.

— Подобно священнослужителю, король наделен от бога сокровенным знанием, недоступным простому смертному. И я знаю: господь послал мне эту удивительную женщину, дабы я разбудил и спас ее душу.

Хотя каноника и огорчало самомнение Альфонсо, однако в словах его была крупица истины. Пути господни неисповедимы. Может быть, и в самом деле нечестивая страсть короля даст не пагубные, а благодатные ростки?

Как бы то ни было, а пока что перед доном Родриго стояла сложная задача. Похвальные намерения короля спасти душу доньи Ракель не освобождали каноника от обязанности воспретить ему плотскую связь с этой женщиной. Но дон Родриго заранее знал, что король не подчинится такому запрету.

— Конечно, привести донью Ракель в лоно церкви — благое дело, — сказал он, — однако этим ты от меня не откупишься, государь и сын мой.

— Что же еще прикажешь мне делать? — с ноткой нетерпения спросил Альфонсо.

Кляня себя в душе за слабость, Родриго посоветовал:

— Отдались от мира недели на две или хотя бы на неделю. Поживи это время в какой-нибудь из духовных обителей нашей страны и там держи ответ перед своей совестью и жди, пока не услышишь глас божий.

— Многого ты требуешь от меня, — заметил Альфонсо.

— Я требую от тебя меньше, чем следовало бы, — возразил дон Родриго. — Мне трудно взыскивать полной мерой со своего любимейшего сына.

Рабби Товий, живший в доме дона Эфраима, большую часть времени проводил в отведенном ему покое, постясь, творя молитву и приобщаясь к мудрости Священного писания. Понапрасну растрачен каждый миг, учило оно, который мы проводим иначе, чем приобщаясь к творцу и его откровению.

От долгих страданий, которые пришлось претерпеть рабби и его общине, он стал суровым фанатиком. Особенно тяжек был для него последний год. Когда король Филипп-Август изгнал евреев из Парижа, рабби вместе с братьями по общине бежал в Брэ-сюр-Сен. Но вскоре маркграфиня Бланш возобновила эдикт, по которому в страстную пятницу предписывалось публично бить по щекам какого-нибудь почтенного еврея в виде возмездия за муки Христовы, и община настояла, чтобы рабби Товий поспешил скрыться, потому что для этого поношения власти, несомненно, остановили бы свой выбор на нем. Но во время его отсутствия король совершил беспримерный по своей жестокости набег на еврейскую общину в Брэ. Жена рабби Товия была сожжена, дети заточены в монастырь. Здесь, в Толедо, рабби Товий говорил лишь о страданиях всего народа, но не о своих собственных: тем, кто знал о его участии, он запретил рассказывать о ней, и толедские евреи лишь постепенно узнали обо всем, что выпало на его долю.

Правда, уединившись в своем покое, рабби часто вспоминал о событиях в Брэ, и его вновь и вновь обуревали сомнения — правильно ли он поступил, что, поддавшись настояниям общины, уехал из города. Останься он, чтобы претерпеть поношение, ему была бы дарована ми-

лость вместе с женой и детьми отдать жизнь во славу господа.

Рабби Товий с давних пор считал покаяние и умерщвление плоти божьей благодатью; мученичество, самопожертвование представлялись ему достойным венцом земного бытия. Он говорил, что смертный грех творит тот, кто, узнав о приближении крестоносцев, чертит на воротах своего дома крест и нашивает крест себе на одежду. Если разбойники потребуют от вас, чтобы вы предали им на смерть мужчину или женщину на поругание, учил он, — не уступайте, хотя бы они истребили вас всех. Будь проклят тот, кто ради спасения жизни станет идолопоклонником, и он пребудет проклят навеки, даже если вернется в лоно Израилево спустя неделю.

Самый драгоценный венец — смирение, учил он, самая достойная жертва — сокрушенное сердце, самая высокая добродетель — покорность. Когда праведника открыто осмеивают и бичуют, он благодарит всевышнего за кару и в душе своей дает клятву исправиться. Он не восстает против тех, кто причинил ему зло, но прощает своих мучителей. Он неотступно помышляет о своем смертном часе. Если у него отнимают то, что ему всего дороже — жену и детей, — он смиренно склоняется перед справедливостью провидения. Если же враги велют ему отречься от его веры, он с радостным рвением жертвует жизнью. Не ропщите, глядя на благоденствие и самодовольство язычников; пути господни милосердны, хотя бы цель их была сокрыта долгие века.

Такая покорность не всегда легко давалась рабби Товию, сердце у него было гневливое. Многие евреи изливали свою ненависть к преследователям в яростных, злобных стихах, в потоках брани против «бродяг и шакалов», против их «распятых идолов», против «сточных вод крещения». И безмерна была жалоба, и воплем звучала мольба о мщении.

«Ты справедлив, господи, — зывали эти стихи, — помни о пролитой крови. Не потерпи, чтобы она осталась под пеплом, сотвори над моими врагами суд по слову твоих пророков! Пусть твоя карающая длань низвергнет моих недругов в долину Иосафата!» Эти стихотворцы бросали обвинения самому господу: «Кто же ты, господи, что не слышно голоса твоего? Как терпишь ты вновь богохульство и торжество Эдома? Язычники вторглись в

твой храм, а ты безмолвствуешь! Исав глумится над твоими детьми, а ты остаешься нем! Явись, восстань, возвысь голос твой, не будь немее всех немых».

Когда рабби Товий читал такие стихи, у него в душе поневоле закипал гнев. Но он тотчас же раскаивался. «Как может глина говорить горшечнику: что ты творишь?» — бранил он себя и еще ревностнее предавался самоуничтожению.

Верующие смотрели на него как на пророка. И в самом деле, когда он, уединившись в своем покое, погружался в чтение Великой Книги, на него нисходили минуты чудесного прозрения и дар претворять виденное в слова. Так, созерцал он ревнителей истинной веры, сидящих в Эдемском саду и озаренных светом Божиим, и видел святотатцев, горящих в геенне огненной, и он вопрошал их, и те, что пребывали в пятом, самом страшном круге, отвечали: «Мы ввергнуты сюда за то, что в земной жизни отреклись от Адоныя и поклонялись распятому», — и они рассказывали ему, что обречены гореть двенадцать месяцев, пока душа их не уничтожится подобно телу, и тогда ад извергнет их прах, а ветер наметет его под стопы праведников. И еще видел он себя глухой ночью в синагоге, где собрались умершие за последние семь лет; а среди них смутными призраками виднелись те, кому суждено умереть в течение будущего года. И пока он, закрыв глаза, сидел над священными книгами, его дух бродил по улицам города Парижа и по улицам города Толедо и видел знакомых ему людей, и видел, что они не отбрасывают тени, а значит, им уготована близкая и страшная кончина. Не без удовлетворения видел он, что среди этих людей без тени находится и Иегуда Ибн Эзра, мешумад, отдавший свою дочь в наложницы языческому королю.

Тем временем пришли новые дурные вести от франкских евреев. Как и предвидел рабби Товий, многие могущественные графы и сеньоры последовали примеру своего короля, ограбили живших в их владениях евреев и потом прогнали прочь. Рабби Товий выслушал, прочитал — и отправился к парнасу Эфраиму.

Хотя последний не понимал и не одобрял нашего господина и учителя Товия, однако и он против воли поддавался чарам, исходившим от бледного седого человека, горящего внутренним огнем, и когда тот, против

обыкновения, пришел к нему, Эфраим почтительно и вместе с тем нетерпеливо ждал, что же скажет ему рабби.

Но рабби Товий только объявил ему обычным негромким голосом, что намерен покинуть Толедо и возвратиться к своим евреям. Беда надвигается за бедой, и ему не верится, что можно из Толедо отворотить эти бедствия. Беглецам нельзя дольше оставаться во франкских владениях, и так как сефардская граница закрыта для них, он думает вывести их в Германию, откуда пришли их предки.

Сложные, противоречивые чувства и мысли поднялись в Эфраиме. Число вызывающих о помощи все росло, и для альхамы было бы счастьем избавиться от такого рода гостей, ибо чем их становилось больше, тем это было опаснее. Но в Германии будущее беглецов было весьма туманно. Император Фридрих, должно быть, впустит их; однако по сей день евреи нигде не подвергались таким жестоким преследованиям, как в немецких землях, а сам император отправился на Восток, и одного его имени вряд ли будет достаточно, чтобы защитить их. Рабби Товий знал все это не хуже Эфраима. Но в своем неукротимом религиозном рвении он не только не страшился, а скорее жаждал мук и испытаний для своих братьев. Не следует ли ему, Эфраиму, разубедить рабби?

Пока он все это обдумывал, Товий продолжал говорить:

— Скажу тебе откровенно: меня радует, что этот самый Иегуда Ибн Эзра не спешит с обещанной помощью. Мне было тягостно думать, что помощь придет к нам от мешумада, принесшего невинность своей дочери в дар идолопоклоннику. Не нужно мне ни денег его, ни помощи. Недаром сказано: «Плату за блуд не носи в дом божий».

Оттого, что рабби Товий говорил негромким, ровным голосом, еще явственнее проступали в его словах ненависть и презрение. Дон Эфраим втайне был доволен, что его собственная неприязнь к Иегуде подтверждалась порицанием праведника, но, как человек справедливый, он выступил на защиту Ибн Эзры.

— Изю всех наших братьев в западном мире одному лишь дону Иегуде дано помочь нам, — отвечал он, — а в его доброй воле сомнений быть не может. Повремени немного, господин мой и учитель. Нетерпением и сурово-

стью не закрывая гонимым братьям доступ в благодатную Кастилию.

Рабби Товий сам уже раскаивался, что позволил гневу взять верх над собой. Он согласился подождать еще некоторое время.

Дон Иегуда был удручен. Его мучила мысль, как отнесутся толедские евреи к нему и к его дочери. Должно быть, с омерзением?

Горевал он и об Аласаре. Хотя юноша и не сказал ему о своем намерении перейти в христианство, Иегуда сознавал, что для сына потерян путь к истинам еврейского учения и арабской мудрости. И в этом повинен он. Вместо того чтобы не пускать сына ко двору рыцаря и солдата Альфонсо, он сам погнал его туда.

Да, повинен! Тяжкую, тяжкую вину взвалил он на себя.

Он оправдывался своим высоким назначением. Уверял себя, что пожертвовал дочерью во славу Божию. Но господь бог отринул его жертву, это становилось яснее день ото дня. Он надеялся, что благодаря близости Ракели с Альфонсо ему будет легче поселить франкских беженцев в Кастилии, а вместо этого их связь задерживала дело спасения и грозила совсем загубить его. Король избегал Иегуды, давным-давно не призывал его к себе, и Иегуда не мог даже сказать о том, что жгло ему душу.

В таком состоянии духа застал его парнас Эфраим, когда пришел к нему. Он считал своим долгом осведомить Иегуду о намерении рабби Тovia.

Дон Иегуда был глубоко потрясен. Этот самый Эфраим бар Абба всегда не доверял ему, а теперь он имел право торжествовать и напрямик заявить ему, что и рабби Товий считает пустой болтовней его обещание приютить в Кастилии гонимых детей Израиля. Чем понапрасну ждать его, рабби предпочитал вывести франкских евреев в Германию. И даже не пришел сам сказать ему об этом. Праведник избегал его, как зачумленного.

— Я знаю, что рабби Товий презирает меня всей своей суровой, праведной и бесхитростной душой, — сказал он с горечью и жгучим стыдом.

— Слишком долго ты заставляешь ждать нашего

господина и учителя Товия, — ответил дон Эфраим. — Не мудрено, что он хочет поискать спасения в другом месте. Я знаю, ты не лукавил, давая обещание, но боюсь, что господь не благословил это твое намерение.

Дон Иегуда вышел из себя, оттого что Эфраим так откровенно укорял его за гордыню. Но гнев сделал его находчивым.

— Чтобы добиться разрешения, мне потребовалось больше времени, чем я ожидал, и я не удивляюсь, что ты пал духом, — сказал он. — Но не забывай, как стремительно все изменилось к худшему. Когда я предложил свою помощь, речь шла о полутора, самое большее о двух тысячах гонимых. Теперь же их тысяч пять или шесть. Мне понятны твои сомнения — разве можно впускать в страну такое множество нищих? — Он умолк на мгновение, поглядел Эфраиму прямо в глаза и продолжал: — Но я как будто нашел выход. Нельзя допустить, чтобы беглецы нищими переступили границу. Надо сразу же снабдить их деньгами. Мне кажется, четырех золотых мараведи на каждого будет достаточно.

Эфраим растерянно уставился на него.

— Ты сам говоришь, что беженцев шесть тысяч человек! — тоненьким голосом закричал он. — Откуда же взять столько денег?

— Конечно, одному мне их не собрать, — приветливо ответил Иегуда. — Я могу предоставить половину всей суммы — около двенадцати тысяч золотых мараведи. А для остального мне нужна твоя помощь, господин мой и учитель Эфраим.

Эфраим сидел, весь съежившись, и казался совсем щупленьким в своих многочисленных теплых одеяниях. Дерзкие мечты и затеи Иегуды наполняли его невольным восхищением, ему льстило, что этот гордец просит его содействия. Но как он может помочь? Двенадцать тысяч мараведи! После того как альхама уже потратила огромные суммы на поддержку гонимых, откуда наскрести такие деньги? Значит, рабби Товию придется совершить благочестивое безумство и повести своих франкских беженцев в Германию навстречу гибели.

Нет, это не годится! Этого дон Эфраим не может допустить! У него тогда не будет ни минуты покоя. Он *обязан* помочь Ибн Эзре. Обязан выжать деньги из альхамы!

А вдруг, — греховная надежда закопошилась в душе Эфраима, — вдруг план Иегуды не выгорит? Этот фигляр, преступник и пророк воображает, будто он всего может добиться от короля-язычника, потому что отдал дочь на потребу его похоти. Плохо же он знает христиан! Видно, самомнение затуманило ему голову.

Деловито, с чуть заметной насмешкой дон Эфраим уточнил:

— Итак, если альхама обязуется восполнить требуемую сумму, ты берешься добиться права жительства для шести тысяч франкских евреев? Верно я тебя понял?

Иегуда так же деловито пояснил:

— Надо собрать такую сумму, чтобы на каждого из франкских беженцев пришлось по четыре золотых мараведи. Я, со своей стороны, внесу двенадцать тысяч мараведи. Если альхама обеспечит остальные, то я обещаю испросить королевский указ, по которому беженцы получат право жительства в Кастилии.

— А в какой срок ты, господин мой и учитель дон Иегуда, обязуешься испросить указ? — продолжал грубо и неутомимо допрашивать дон Эфраим.

Иегуда метнул на него яростный взгляд. Ну и наглец же этот Эфраим бар Абба. Стоило Иегуде впервые в жизни потерпеть неудачу, как люди уже обнаглели. Но он тут же спохватился — альхама вправе смотреть на него как на неисправного должника; он не выполнил того, что обещал.

Однако он еще не банкрот. Ему надо собрать все силы для последней, отчаянной попытки, и тогда, быть может, господь примет его жертву и сломит злую волю короля.

Он поднялся с внезапной решимостью, кивком попросил Эфраима подождать, пошел в библиотеку, достал из ларя свиток Священного писания, развернул его, поискал нужный стих и, положив на него руку, сказал тихо, но страстно:

— Здесь, в твоём присутствии, господин мой и учитель Эфраим бар Абба, торжественно клянусь: до того как минует праздник кушей, я испрошу у короля Альфонсо, восьмого этого имени, право для шести тысяч франкских евреев поселиться здесь, на земле сефардской.

Потрясенный Эфраим встал. А Иегуда с той же страстью в голосе потребовал:

— А теперь, почтенный свидетель, исполни свою обязанность и прочти слова Писания, на которых я поклялся.

И Эфраим наклонился над свитком и стал читать, второя вслух побелевшими губами:

— «Если клятву даешь, должен исполнить ее не мешкая; ибо господь бог твой спросит с тебя и грех падет на тебя. Что сошло с твоих губ, то ты должен исполнить и сделать так, как поклялся».

— Аминь, да будет так, — сказал Иегуда. — И если я не добьюсь того, в чем поклялся, ты должен во всеуслышание предать меня анафеме.

— Аминь, да будет так, — повторил Эфраим.

Время, положенное на размышление, Альфонсо проводил в обители для кающихся в Калатраве. Он пытался убедить себя, как предосудительно его поведение в Галиане, пытался каяться. Но он не каялся, он радовался тому, что было, и знал, что все начнет сначала. За мирные дни монастырского уединения в нем лишь окреп тот юношеский веселый задор, который он противопоставлял сокрушению дон Родриго. Жгучая тоска по Ракели была не адским пламенем, а божьей благодатью. И теперь он не сомневался, что спасет душу любимой.

В таком состоянии духа он возвратился в Толедо. Однако в каком-то непонятном покаянном порыве, словно желая наверстать упущенное в монастыре, он заставил себя пробыть весь этот день в Толедо и лишь на завтра к вечеру вернуться в Галиану.

Он накинудся на дела, радуясь, что они требуют безраздельного внимания.

Дон Педро Арагонский собрал внушительное войско, намереваясь незамедлительно вторгнуться в валенсийские мусульманские владения. Об этом дону Альфонсо сообщил архиепископ. Дон Мартин с удовлетворением узнал, что канонику удалось склонить короля к монастырскому уединению, к пребыванию наедине со всевышним, и теперь дон Альфонсо, конечно, охотно приклонит слух к духовным наизиданиям. А потому архиепископ в резких словах высказал ему, какой это будет несмыслаемый позор перед всем христианским миром, если ныне и Арагон вступит в священную войну и только величайший

из королей полуострова по-прежнему останется безучастным.

И тут же, к великому изумлению дон Альфонсо, принялся восхвалять жонглера Хуана Веласкеса.

Обычно у церкви находились только слова осуждения для исполненного соблазна искусства народных певцов. Но Хуан Веласкес до такой степени пленил сердце дон Мартин, что тот позвал его петь и играть в архиепископском дворце. Архиепископ полагал, что и дону Альфонсо приятно будет послушать, как Хуан Веласкес на своем сочном кастильском языке воспевает деяния Роланда и Сиды, не говоря уж об акробатической сноровке странствующего музыканта.

Дон Альфонсо велел привести жонглера. Да, дон Мартин был прав: незамысловатые и выразительные слова романсов проникли ему прямо в душу.

Нельзя, чтобы меч его ржавел в бездействии. Он заявил своему старому прямодушному советнику дону Манрике, что теперь уж непременно ринется в бой.

Дон Манрике ответил, что сам так же нетерпеливо жаждет этого, как и его государь. Но когда сеньор эскривано по его просьбе подсчитал, сколько это будет стоить, он понял, что на войну надежды плохи. Дон Иегуда пользовался арабскими цифрами, а он, Манрике, привык к римским и в арабских разбирается слабо, — кстати, и церковь не признает их. Но, к сожалению, суммы, с которыми тут приходится иметь дело, столь велики, что без арабских цифр не обойтись.

— Лучше тебе самому, государь, обсудить с твоим эскривано, во что станет поход против халифа, — посоветовал дон Манрике.

Все это время Альфонсо испытывал и страх, и какое-то щекочущее любопытство перед встречей с отцом Ракели. Но после того, как дон Манрике прямо назвал Иегуду, король решил пригласить его.

Послав герольда в кастилью Ибн Эзра, он отправил восточку в Галиану, коротенькую восточку, написанную по-арабски, по-латыни и на кастильском языке:

«До завтра, до завтра, до завтра».

Услышав, что король призывает его, Иегуда вздохнул с облегчением. Чем бы ни кончилась встреча, все лучше ожидания.

И вот они стояли лицом к лицу, и каждый усматри-

вал в другом перемены. Иегуда искал и находил в чертах варвара то, что могло привлечь его Ракель, а король с чувством неловкости видел в чертах старого еврея сходство с любимой.

— Сдается мне, друг эскривано, — с несколько натянутой игривостью начал дон Альфонсо, — что благодаря твоей рачительности мы теперь убоготорены так, что лучше и не надо. Я намерен наконец-то начать войну. Ты высчитал, что на это потребуется двести тысяч мараведи. Могу я получить их?

Иегуда приготовился к тому, чтобы выслушать и опровергнуть всякую нелепицу, прежде чем приступить к своему главному делу. Поэтому он спокойно ответил:

— Ты можешь их получить, государь. Но ведь в тот раз речь шла о походе против Арагона, а не против халифа.

Быть может, сам себе в этом не сознаваясь, король обрадовался возражению своего министра, однако продолжал настаивать:

— Если уж Арагон отваживается выступить в поход, неужто мне это заказано?

— Твой августейший родственник не заключал перемирия с валенсийским эмиром, — отпарировал Иегуда.

— Человеку, который навязал мне это окаянное перемирие, лучше было бы не напоминать о нем, — хмуро ответил Альфонсо.

Лицо Иегуды было по-прежнему невозмутимо.

— Что есть, то и останется, все равно, назовем ли мы свершившееся его именем или нет, — сказал он. — Кстати, я считаю маловероятным, чтобы дон Педро ввязался в войну. У моего родича дона Хосе Ибн Эзра хватает мужества говорить своему королю и неприятные истины. Надо полагать, он напомнит ему, что халиф возвращается с Востока в свою столицу и что он, по всей вероятности, направится в Андалусию, если Арагон начнет войну. В одиночку Арагон воевать не может. И Кастилия также.

Дон Альфонсо сидел, сжав губы, нахмутив лоб. Каждый раз он упирался в один и тот же довод. Нельзя затевать войну, не примирившись с арагонским вертопрахом.

— Я знаю, государь, как дорога твоему сердцу

мысль о походе, — проникновенным голосом продолжал Иегуда. — Верь мне, что мы с моим родичем доном Хосе неустанно помышляем, как установить истинный мир между нашими августейшими монархами.

Король насупился еще сильнее. Не во власти каких-то Ибн Эзра добиться примирения с Арагоном. Еврею это известно не хуже, чем ему самому. Уж не смеется ли тот над ним?

Иегуда видел недовольство короля. Самое неподходящее время, чтобы просить о допущении беженцев. Но ведь он дал клятву и перед ним грозным призраком маячило всенародное проклятие, а срок приходил к концу. И кто знает, когда он опять увидится с королем? Надо говорить. Он заговорил.

Альфонсо слушал и злился. Вот когда хитрец показал свое настоящее лицо.

— Ты же только что уверял меня, что хочешь помочь мне начать священную войну, — сказал он. — А теперь требуешь, чтобы я впустил к себе в страну твоих евреев. Так вот, скажу тебе напрямик в твоё лисье лицо, — ты хочешь помешать моей войне. Ты все делаешь, чтобы ей помешать. Ты хочешь помешать мне сговориться с арагонским вертопрахом. Ты разжигаешь во мне вражду против Арагона, а твой почтенный родич разжигает вражду Арагона против меня. Вы шныряете, подзуживаете, лжете, как истые еврейские торгаши и ростовщики.

Король не повышал голоса, он говорил тихо, отчего его слова звучали еще более грозно.

«Мне все-таки не следовало говорить, — думал Иегуда, — но мне надо было заговорить. Я дал клятву небесам, ее нельзя взять назад».

— Ты несправедливо оскорбляешь меня и моего родича, государь, — храбро сказал он вслух. — Мы делаем все, что в наших силах. Правда, силы-то наши невелики. — И еще смелее добавил: — Я знаю, кто может достичь большего: королева, твоя супруга. Она умнее нас всех. Пойди к ней. Попроси ее склонить августейшего дона Педро к примирению.

Король шагал из угла в угол.

— Ты очень дерзок, сеньор эскривано, — бросил он Иегуде; сквозь приглушенный голос явно прорывалась ярость.

А Иегуда очертя голову продолжал свою дерзкую речь:

— Но даже твоей августейшей супруге потребуется несколько месяцев, чтобы добиться примирения. Не гневайся на меня, но мне по моему низкому купеческому разумению невдомек, почему бы не воспользоваться этими месяцами и не привлечь к нам франкских беженцев. У них у всех есть головы и руки, которые могут принести большую пользу. Земли твои, государь, все еще опустошены нескончаемыми войнами. Так обеспечь же за собой этих ценных поселенцев. Прошу тебя, государь, не отмахивайся так легко от моих разумных доводов. Обдумай. Взвесь их.

Дону Альфонсо очень хотелось покончить с этим неприятным разговором. Возможно, что еврей прав, даже наверняка он прав, и король уже готов был согласиться, но тут же спохватился: смелость придают еврею не веские основания, а нечто совсем иное.

— Может, твои доводы и верны, — сердито сказал он, — но на них найдутся и не менее верные возражения, ты знаешь какие.

Иегуда попытался противоречить, но Альфонсо не дал ему слова вымолвить.

— Не желаю больше ничего об этом слышать, — яростно выкрикнул он.

Однако, увидев бледное, страдальческое лицо еврея и вспомнив, кто дочь человека с таким лицом, он торопливо добавил:

— Не обижайся, я обдумаю все: не только возражения, но и твои доводы, — и с той же натянутой веселостью закончил: — И как ты меня убоготворил, я тоже не забуду.

На этом они расстались — король весьма милостиво, еврей с притворным смирением и притворным спокойствием, оба с затаенным недоверием.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ракель все это время ломала голову, чем объяснить, что Альфонсо оставил ее одну на целую долгую неделю и даже дольше. Смутные страхи терзали ее. Она дога-

дывалась, что тут не обошлось без вмешательства его бога.

Но вот пришло письмо, где он на трех языках своей страны радостно возвещал ей: завтра, завтра, завтра. А вот явился и он сам.

Едва они увиделись, как разлуки словно не бывало. Всю эту нескончаемую неделю они не жили, а прозябали. Теперь они снова начали жить. Вне Галианы для них не было жизни. Они придумали собственный язык, помесь латыни и арабского, со своими особыми неписаными правилами, и ни в каком ином языке не нуждались; но, пожалуй, еще лучше они понимали друг друга, когда молчали.

И тем не менее многое изменилось для них. Они ближе узнали друг друга. Альфонсо порой улавливал в Ракели то непонятное и сомнительное, что роднило ее с ее народом, который был проклят богом, и тогда он с благочестивой и коварной радостью думал о своем намерении искоренить в ней эти черты. Она же открыто показывала, как ей неприятна привязанность Альфонсо к его огромным псам. Однажды они добродушно кинулись к ней, а она с отвращением отшатнулась от их неуклюжих ласк.

Тогда Альфонсо весело и злобно рассказал ей в назидание:

— Мы, испанские монархи, любим наших животных. Мои предки, древние готские короли, не сомневались, что встретятся в раю со своими псами. Иначе рай был бы им не в рай. Очевидно, они веровали в учение твоего ненаглядного Мусы, который говорит, что душа животного попадает туда же, куда и душа человека.

Он увидел, как огорчила ее эта шутка, и тут же проявил бурное раскаяние.

— Прости, любимая! Раз тебе не нравятся мои псы, раз они тебя пугают, я отошлю их прочь.

Ей стоило большого труда отговорить его.

Временами он мучился мыслью, что надо наконец, приступить к обращению ее в истинную веру. Но здесь, близ нее, он понял, что эта задача много щекотливее, чем казалось ему на расстоянии. Ведь она до сих пор не поняла даже, что такое рыцарь, что такое он сам. Значит, сперва надо ей показать рыцарство во всем его блеске.

Он вызвал в Галиану жонглера Хуана Веласкеса.

Услышав незамысловатое бречание христианской гитары, Ракель вспомнила нежные звуки арабских арф, лютен и флейт, их мисмар, шахруд и барбут. Но тонкий слух и быстрый, ясный ум делали ее восприимчивой к тому, что жило в незамысловатых стихах и музыке жонглера. Пусть ей не всегда был понятен точный смысл его вульгарной латыни, зато ее захватывала рыцарски радостная героика его песни.

А пел Хуан Веласкес о подвигах и кончине маркграфа Роланда из Бретани, о том, как он с безнадежно малой горсткой воинов отражал в Ронсевальской долине несметные полчища язычников и как друг его Оливье посоветовал ему протрубить в свой могучий рог Олифант и призвать обратно войско короля Карла, великого императора. Как Роланд не послушался друга и как рыцари его свершали подвиги несказанной храбрости и полегли один за другим. И как Роланд, сам раненный, идет по полю и собирает мертвых своих паладинов, чтобы отнести их к архиепископу Турпину для последнего благословения. И как Роланд все-таки, хоть и поздно, трубит в свой чудесный рог — и горы и долины откликаются окрест. И как его ранят второй раз еще тяжелее, и он, очнувшись от долгого забытья, видит, что, кроме него, нет живых на поле, усеянном мертвыми телами. Он чувствует, что приближается смерть, от головы подступает к сердцу. Тогда он через силу торопится поползти до высокой сосны, ложится на зеленую мураву, обратив лицо к югу, к Испании, навстречу врагу, и поднимает правую перчатку ввысь, к небесам. И святой архангел Гавриил берет перчатку у него из руки.

Ракель слушала, затаив дыхание, по-детски дивясь. Потом подумала и заметила, что ей непонятно одно: почему доблестный Роланд отказался вовремя протрубить в рог; ведь тогда его рыцари остались бы целы и невредимы и одолели бы врага. Короля покорило от этого чересчур трезвого довода. Но тут Ракель попросила певца повторить стихи о кончине Роланда, глаза ее сияли при этом умилением и восторгом, и Альфонсо решил, что величие рыцарства нашло наконец отклик в ее душе.

Это упование подтвердилось, когда она преподнесла ему подарок, о котором уже говорила намеками, — арабские рыцарские доспехи.

Они были сделаны из великолепной вороненой стали

и благодаря подвижности многих частей казались на диво легкими и изящными. Светлые глаза Альфонсо заблестели. Ракель помогла ему надеть доспехи. Это было мужское дело, и королю не нравилось, что она ему помогает. Но у него не хватило духа отстранить ее.

Итак, она наряжала его, отпуская шуточные замечания, но с явным воодушевлением. Он стоял перед ней рыцарственный, в иссиня-черных латах, гибкие звенья кольчуги мягко обхватывали могучую, вздымающуюся грудь, светлые глаза сверкали сквозь щели забрала. Ракель с детским восхищением захлопала в ладоши:

— Любимый мой, ты самое большое чудо из божьих чудес!

Она ходила по комнате, обходила вокруг него, приплясывая и нараспев приговаривая арабские стихи:

— О гордые герои! В руках у вас разящий меч, и стройным вы потрясаете копьем. На врагов вы налетаете, как буря, как ураган. Какая радость воодушевлять вас песней.

Он слушал ее с улыбкой, он был в восторге. Еще ни разу она не пела ему воинственных стихов. Но теперь он добился своего. Теперь она поняла, что значит воин. Теперь он может заговорить о том высоком и священном, что свяжет их навсегда.

Не долго думая, он напрямик спросил ее, согласна ли она вместе с ним слушать мессу.

Она подняла на него взгляд. И явно не поняла. Должно быть, это одна из его сумасбродных шуток. Она нерешительно улыбнулась. Эта улыбка рассердила его. Но он взял себя в руки и пояснил с ребяческой серьезностью:

— Вот видишь ли, любимая, если ты будешь крещена, ты не только свою душу спасешь, но и меня избавишь от тяжкого греха, и тогда мы без греха и без раскаяния останемся вместе навсегда.

При этом на лице его была написана такая простодушная вера, что это невольно тронуло Ракель.

Но тут же до ее сознания дошел жестокий смысл его слов, и она ощутила жгучую обиду. Значит, он не довольствуется тем, что она отдала ему, с ненасытной воинственной тупостью он хочет отнять у нее и последнее, непреходящее достояние, завещанное ей от предков. Разве ему мало того, что она говорит, ест, купается и

спит с неверным, навлекая на себя гнев божий? На ее подвижном лице ясно отразилась вся боль и вся обида.

Альфонсо сделал неумелую попытку убедить ее. Но она тихо, немногословно и решительно дала ему отпор.

Однако она знала, что он упрям в борьбе и не отстанет от нее, и хотя не сомневалась в стойкости своей веры, все же бросилась искать поддержки у своих — у отца и у Мусы.

Она рассказала отцу, что Альфонсо настойчиво убеждает ее креститься. Дон Иегуда смертельно побледнел.

— Прошу тебя, отец, не оскорбляй меня страхом, — тихо промолвила Ракель. — Не ты ли сам учил меня, что я из рода Ибн Эзра и, значит, причастна Великой Книге. Твои слова запали мне в душу.

С Мусой она говорила, не таясь. Ему она откровенно призналась, что боится предстоящей упорной борьбы.

Держа ее руку, Муса рассказал ей о пророке Магомете и его женах-еврейках. Сперва пророк пытался добром приобщить евреев к своему откровению. Так как они противились, он ополчился на них с мечом и убил многих. В один из его походов к нему в лагерь попала еврейская девушка по имени Зайнаб, — ее отец и братья были убиты мусульманскими воинами. Зайнаб признала, что нет бога, кроме Аллаха, она ластилась к пророку и льстила ему, притворялась влюбленной в него, и он пленился ею, и спал с ней, и привез ее в свой гарем, и оказывал ей предпочтение перед другими женами. И Зайнаб спросила его, какую пищу он предпочитает, и он ответил: «Грудинку молочного барашка». Тогда она зажарила барашка для него и для его друзей, и они лакомились им; она же натерла грудинку ядовитым соком. Один из друзей поел от нее и умер. А сам Магомет хоть и выплюнул первый же кусок, но все-таки захворал. Еврейка Зайнаб сказала, что хотела предоставить пророку случай доказать, как он любим Аллахом. Ибо над любимцем Аллаха яд не имеет силы; если же это не так, то он достоин смерти. Одни говорят, что пророк простил ее, другие — что он предал ее казни.

Город Кайбар, где обитали почти одни евреи, особенно упорно сопротивлялся Магомету. Большинство мужчин из этого города пало в бою; остальных же, числом около шестисот, пророк повелел обезглавить, после того как занял город. Среди взятых в плен женщин была

одна по имени Сафия; муж ее был убит, отец казнен. Сафия еще не достигла семнадцати лет и была так красива лицом, что Магомет взял ее в свой гарем, хотя ее уже познал другой мужчина. Он любил ее всем сердцем, он преклонял колена, дабы ей легче было взойти на верблюда, он осыпал ее дарами и не пресытился ею до самой своей смерти; она же пережила его на сорок пять лет.

Так рассказывал Муса.

— Значит, эти женщины отреклись от истинного бога? — спросила Ракель.

— Если бы еврейку Зайнаб и в самом деле покорило учение Магомета, вряд ли она попыталась бы отравить его, — ответил Муса. — Что же касается Сафии, то все накопленные богатства она завещала своим родственникам, которые остались иудеями.

— Ты зачастую без должного почтения говоришь о пророке. Почему же ты остаешься мусульманином? — немного погодя спросила Ракель.

— Я исповедую все три религии, — отвечал Муса, — в каждой есть зерно истины, но в каждой есть и такое, чему разум противится верить.

Он подошел к своему налою и принялся чертить круги и арабески, говоря через плечо:

— Покуда я убежден, что вера моего народа не хуже других верований, я стал бы мерзок самому себе, если бы покинул общину, в которой взращен.

Говорил он спокойно, не повышая голоса, и слова его проникали Ракели в самое сердце.

Оставшись один, Муса собрался поработать над своей «Историей ислама». Но, вспомнив сказанное им Ракели, он сам удивился, что употребил такие суровые слова, и не мог сосредоточиться на своем труде.

Вместо этого он написал стихи:

«Так полон наш век мечами и воителями, звоном железа и шумом битвы, что и речи мудреца ныне бряцают, а не шелестят чуть слышно, точно вечерний ветерок в купах деревьев».

Дон Родриго избегал говорить о благодати, нисходившей на него, о минутах экстаза — плодах умерщвления плоти. Он предпочитал выдавать себя за ученого,

за исследователя. И не кривил душой. Ибо при всем своем благочестии он был одержим тягой к беспощадному, чреватому сомнениями мышлению. Его пленяла чудесная игра ума, и для него было высокой услугой в споре с самим собой и с другими взвешивать доводы в пользу или против какого-нибудь положения. Из современных ему богословов он больше всего чтит Абельяра. Ему не давало покоя утверждение ученого, что от философии великих язычников короче путь к Евангелию, чем от Ветхого завета, и он все вновь и вновь возвращался к смелому труду Абельяра: «Sic et non — да и нет», где приведены взаимно противоречащие слова Священного писания; читателю же предоставлено право самому разрешать эти противоречия.

Дон Родриго знал, что ему не страшно доходить до самых крайних пределов этой опасной сферы. Недаром в его душе был заповедный приют, куда не проникали сомнения дерзновенного разума; там искал он прибежища от всяких соблазнов.

Это затаенное убеждение в несокрушимости его веры позволяло ему по-прежнему захаживать в кастильо Ибн Эзра и вступать в дружеские споры с еретиком Мусой.

Муса тоже знал, что с каноником можно без страха обсуждать самые щекотливые вопросы, и он не стеснялся говорить с ним даже о таких обстоятельствах, как любовная связь короля.

— Наш друг Иегуда надеялся, — заметил он, — что сдержанность и ласковый обычай Ракели смирят необузданную воинственность дон Альфонсо. А вместо этого она явно очарована его ратной доблестью. Боюсь, что жизнь в Галиане скорее превратит нашу Ракель в поборницу рыцарства, чем короля — в миротворца.

— Трудно требовать, чтобы в самый разгар крестового похода дон Альфонсо тяготел к славословиям мира, — возразил Родриго.

Уютно усевшись в уголке и слегка нагибаясь вперед, Муса как бы размышлял вслух:

— Уж эти мне крестовые походы! Хоть убей, а не укладывается у меня в голове, как вы можете называть своего Спасителя князем мира и его именем истово и благочестиво разжигать войну.

— А кто, как не *вы*, принес в мир священную войну, мой дорогой и высокочтимый Муса? — кротко спросил

каноник. — Ведь именно Магомету принадлежит учение о джихаде. Наша *bellum sacrum*¹ была провозглашена в защиту от вашего джихада.

— Однако же пророк предписывает вести войну лишь тем, кто уверен в победе, — задумчиво промолвил Муса.

Он заметил, что этот довод огорчил его гостя, и деликатно перевел разговор.

— Судьба отыскивает удивительные лазейки, чтобы избавить наш полуостров от войны, — заметил он. — Все мы опасались, что безрассудная любовная страсть короля, нашего государя, приведет к беде. А она обернулась благом. Ибо пока наша Ракель будет удерживать короля, вряд ли он пойдет войной на халифа. Как же самовластна, как по-детски прихотлива та сила, которую я зову кадаром, а ты, достойнейший друг мой, именуешь провидением!

В ответ на этот прямой вызов каноник одернул кощунствующего старца:

— Если ты braniшь божество за слепоту и бессмысленное своеобразие, скажи на милость, зачем же ты стремишься к познанию? Какая польза от всякого знания?

— Великая польза, — с готовностью отозвался Муса, — ибо оно помогает увидеть двусмысленность происходящего и его внутреннюю противоречивость. Но мне-то дорого познание само по себе. Не отрекайся, досточтимый друг, тебе оно тоже дает радость.

Правда, после таких бесед дон Родриго корил себя за то, что ему приятно общение со старым безбожником, и давал себе слово прекратить или, уж во всяком случае, ограничить посещения кастильо Ибн Эзра.

Но тут канонику было дано указание свыше. Король, поняв, что одному ему никак не растопить лед неверия, сковавший сердце Ракели, обратился за поддержкой к дону Родриго. Не мог же он отклонить такую благочестивую просьбу, а значит, не мог и прекратить посещения дома Ибн Эзра.

И вот в полукруглой галерее снова, как прежде, собрались Муса, Ракель, каноник, а также молодой дон Вениамин. Родриго привел его с собой, чтобы скрыть главную свою цель — обращение Ракели.

¹ Священная война (лат.).

Дону Вениамину нелегко было держаться непринужденно с доньей Ракель. Все эти недели он неотступно думал о выпавшем на ее долю трудном и опасном счастье. Лишь после ее переселения в Галиану он понял, как она ему дорога, и вожделение, смешанное с горькой покорностью, придавало новую окраску и глубину его дружбе.

Он думал, что найдет большую перемену в девушке. Но перед ним сидела прежняя Ракель. Молодой человек был и разочарован и обрадован и при всех своих ученых навыках не мог собраться с мыслями. Он то и дело украдкой поглядывал на нее, рассеянно слушал то, что говорили другие, и молчал.

А дон Родриго ждал удобного повода, чтобы приступить к своей главной задаче. Он не был ярым фанатиком, ему претило лезть напролом, и теперь он ждал подходящего слова, за которое можно зацепиться. Муса сыграл ему на руку, заговорив на свою излюбленную тему, а именно, что всем народам самой судьбой уготована пора расцвета и пора увядания.

Это верно, подтвердил каноник, но лишь немногие народы соглашаются признать, что их время миновало.

— Возьмем хотя бы еврейскую нацию, — настаивательно продолжал он. — Вполне понятно, что одно-два столетия после появления Спасителя евреи еще могли тешиться самообманом, будто откровения их Великой Книги остаются в силе и царство их воздвигнется вновь. Но вот уже тысяча лет, как они терпят бедствия и все не хотят признать, что пришествие Спасителя и было тем благословением, которое возвестил Исайя. Они хотят перехитрить время и упорствуют в своем заблуждении.

Каноник при этом не смотрел ни на Ракель, ни на Вениамина, он отнюдь не проповедовал, он попросту беседовал с Мусой, как философ с философом. Но Вениамин понимал, куда он метит, с каким невинно-жестоким благочестием пытается опорочить в глазах Ракели ее иудейство, и тут Вениамин стряхнул с себя мечтательное раздумье и стал красноречиво защищать веру свою и Ракели:

— Мы отнюдь не хотим перехитрить время, досточтимый отец, но мы знаем совсем другое: время не против нас, оно за нас. И ту победу, которая обещана нам нашей Книгой, мы толкуем не грубо дословно. Не мечом

должны мы побеждать, по слову наших пророков, и не о таких победах мы печемся. Нас не прельщают рыцари и оруженосцы и осадные машины. Их победы преходящи. Наше же наследие — Великая Книга. Два тысячелетия изучали мы ее, она служила нам опорой в несчастье и в изгнании, так же как и в славе. Мы одни умеем верно толковать ее. И она обещает нам победы духовные, их же не отнимут у нас ни крестовые походы, ни джихады.

— Да, *eritis sicut dii, scientes bonum et malum*¹, — с грустной усмешкой сказал дон Родриго, — вы все еще верите словам змия-искусителя. И потому, что вы щедрее других одарены разумом, вы почитаете себя всеведущими. Но именно это самомнение ослепляет вас и мешает понять то, что очевидно. Мессия явился уже давно, сроки исполнились, благословение снизошло на мир. Все это видят, не видите вы одни.

— Где же оно, царствие мессии? — с горечью возразил дон Вениамин. — Я его не вижу. Не вижу, чтобы вы персковали меч на орало и копы на серп. Не вижу, чтобы Альфонсо миловался с халифом. Наш мессия принесет миру настоящий мир. Что вы знаете о мире! Мир — шалом. Даже самое слово вам непонятно! Вы даже самое слово не умеете перевести на ваши убогие языки!

— Ты слишком воинственно ратуешь за мир, милый мой дон Вениамин, — попытался успокоить его Муса.

Но Вениамин его не слушал. Воодушевленный близостью доньи Ракель, он не знал удержу:

— Чего стоит ваш жалкий рах, ваша *treuga dei*, ваша жалкая *eigene!* Шалом — вот он венец, вот оно блаженство, а все, что не шалом, есть зло. Нашему царю Давиду не дано было построить храм, потому что он был всего лишь завоевателем и великим государем. Только Соломону, царю-миротворцу, даровано было построить его, потому что при нем каждый жил спокойно под своей лозой и своей смоковницей. Осквернен и недостойн господа тот алтарь, над которым занесен меч, так учит наша премудрость. Вы же чтите своего мессию, предавая огню и мечу его город Иерусалим, город мира. Мы нищи и наги, зато вы глупцы, при всем вашем великолепии и блеске оружия. Это *наша* обетованная земля,

¹ И будете вы, словно боги, ведать добро и зло (лат.).

и *нам* она принадлежит. И потому, что так написано в Книге, вы воюете за нее, вы и мусульмане. Это было бы смешно, если бы не было так прискорбно.

Чем больше горячился юноша, тем миролюбивее становился каноник.

— Ты говоришь о блаженстве, сын мой, — сказал он, — и зовешь его шалом, и утверждаешь, что оно — ваше наследие. Но и нам ведомо блаженство. Мы по-иному его называем, однако не все ли равно, какое мы даем ему имя? Вы именуете его шалом, мы именуем его вера, именуем его благодать. — Тут он принудил себя побороть стыдливость и высказать то заветное, что таил в душе. — Благодать, сын мой, — это не посулы на далекое будущее, она существует и ныне. Я не столь красноречив, как ты, и не могу объяснить, что такое благодать. Ее нельзя достигнуть или хотя бы узреть усилиями разума. Она — высший дар божий. Мы можем лишь молить о ней. — И с силой, с глубочайшим убеждением произнес он заключительные слова: — Я знаю, что благодать существует. Я счастлив своей верой. И я молю господя, чтобы он и других приобщил благодати.

Весь Запад вел подобные беседы о преимуществах той или другой веры. Война шла во имя этого спора, во имя возобладания христианства. И страсти разгорались во время диспутов.

В тихой галерее у Мусы каноник и дон Вениамин еще не раз возвращались к спору о вере.

Но теперь дон Вениамин старался сдерживаться; он не хотел второй раз оскорбить своего глубокочтимого наставника Родриго резкими нападками. А донья Ракель и без того была крепка в вере; во время своего первого бурного выпада Вениамин с радостью заметил, как сочувственно она его слушает. И потому в дальнейших диспутах он довольствовался указаниями на внутреннюю осмысленность веры иудеев, чей бог не требует от верующих сделок с разумом. С чисто научным беспристрастием приводил он стихи из прекрасной книги поэта Иегуды Галеви «В защиту униженной веры» или ссылаясь на доводы из трудов великого мудреца Моисея бен Маймуна, ныне процветающего в Каире.

А каноник с тем же беспристрастием выставлял в ответ аргументы из трудов Августина или Абеяра. Ракель редко вступала в разговор и редко задавала вопросы,

по слушала внимательно и запоминала все, что говорил Вениамин. Они с Вениамином снова очень сблизились.

Вспиамин не таил от себя, что любит ее. Но ничем не выдавал своего чувства и держался как друг. В обществе этих пожилых мужчин Ракель и он чувствовали себя совсем юными добрыми приятелями.

Но Муса, оставшись как-то наедине с Родриго, спросил его, почему, собственно, он стремится разочаровать Ракель в ее вере; ведь столь почитаемый каноником Абеляр учит, что надо терпимо относиться к чужой вере, поелику она не противоречит естественным законам разума и нравственности.

— А разве я не проявляю достаточной терпимости в отношении тебя, мой уважаемый друг Муса? — спросил каноник. — Даже выразить не могу, какую глубокую радость я бы испытал, если бы твой *mens regalis*, твой царственный разум, был осенен благодатью. Но я не настолько самонадеян, чтобы допустить, что мне будет дано наставить тебя на путь истинный. Не в моей природе с фанатическим пылом идти напрямик — ты это знаешь. Однако же, когда я смотрю в кроткое, чуткое, невинное лицо нашей Ракели, внутренний голос повелевает мне порадовать о спасении ее души. Мне введома благая весть, и я совершил бы грех, утаив ее.

Король начал терять терпение, видя, что их с Родриго совместные усилия спасти душу Ракели остаются тщетными.

Как-то раз он остановился вместе с ней перед одним из ее еврейских изречений. С тех пор как она прочитала и перевела ему этот стих, прошло немало времени, но у него была хорошая память, и теперь он почти дословно повторил его: «Я вымощу твою дорогу драгоценными камнями и построю тебе жилища из хрусталя. Бессилен будет поднятый против тебя меч и проклят тот язык, что произнесет тебе хулу».

В его голосе звучало насмешливое недоумение, а тонкие губы кривились в злобной усмешке.

— Понять не могу, почему ты выбрала сюда именно это изречение, — сказал он. — Значит, ты тоже заведомо хочешь быть ко всему слепой? Где же ваши дороги, вымощенные драгоценными камнями? Уже больше тысячи лет вы нищи и бессильны и живете нашим милосер-

дием. До каких же пор будете вы украшать свою жалкую наготу такими цветистыми, но, по всему видимому, пустыми обещаниями? Мне обидно, что и ты упорствуешь в этом.

В первый раз он в такой грубой форме высказал ей все, что у него накипело. Ах, как метко могла бы она отразить этот несправедливый и злобный выпад; но ей не хотелось ссориться, и она спокойно ответила:

— Ваш великий философ Абельяр учит, что христианину подобает проявлять терпимость ко всякому разумному верованию.

— А ваша вера неразумная, — злобно выкрикнул король, — в том-то вся суть.

Ракели было больно, что любимый человек порочит самое дорогое ее достояние. Она припоминала, как Вениамин, защищая иудейскую веру, в качестве главного довода приводил именно ее разумность. Но если ученому, красноречивому Вениамину не удалось убедить кроткого Родриго, под силу ли ей внушить вспыльчивому Альфонсо правильное понимание Великой Книги?

Да вдобавок еще на его скудной латыни.

Своими большими, серо-голубыми глазами она задумчиво вглядывалась в его лицо. Да, он искренне верит в то, что пересказывает с чужих слов. Много тысяч рыцарей и солдат послали христиане на завоевание Святой земли, но безуспешно. И все никак не могли уразуметь, что не им уготована эта земля. Вот и он, ее Альфонсо, осмеивает благие пророчества тех, кому принадлежит эта земля.

И, глядя на него, она вдруг расхохоталась — до чего слепы могут быть люди, а в особенности ее Альфонсо.

Его и так уж раздражали ее молчаливые взгляды, а этот смех окончательно вывел его из себя. Под насупленными бровями зловеще посветлели глаза.

— Перестань смеяться! — приказал он. — Не смей кошунствовать против нашей священной войны, еретичка.

Она молча покинула комнату. Через два часа он разыскивал ее по всему дому и саду, и она тоже искала его. Когда они нашли друг друга, он улыбнулся застенчиво, как мальчик, она тоже улыбнулась, и они поцеловались.

Целуя его, она говорила:

— «Когда вы гневаетесь на кого, не избегайте его

близости. Пойдите к нему и поклонитесь ему и выскажите спокойно, без шипов злоречия все, все, что причиняет вам досаду в нем. И заново забьет ключ любви. И лучшим будет тот из вас двоих, кто первым придет с поклоном». Так сказано в Коране. Мы пришли оба. Значит, никто не оказался лучшим.

Иегуда уже много месяцев был свидетелем постепенного сближения своего сына с христианами, но, узнав, что над Аласаром совершен обряд крещения, он ужаснулся так, словно произошло нечто неожиданное.

Только теперь он постиг всю меру своей вины. Он недостаточно любил Аласара, любил его меньше, чем Раксель. Все свое детство Аласар провел мусульманином среди мусульман. Прежде чем мальчик осознал, что такое иудейство, сам он, отец, отослал его к исполненному соблазнов двору христианского короля. А теперь сын стал изменником, продал свою принадлежность к избранному народу за чечевичную похлебку рыцарства, погиб, пропал, навеки выкорчеван, вычеркнут из числа тех, что восстанут по трубному гласу Страшного суда.

Иегуда оплакивал сына, как покойника. Семь дней просидел на земле в разодранных одеждах.

Дон Эфраим бар Абба пришел утешить его. Парнасу становилось жутко при мысли о доне Иегуде и его жестокой судьбе. Его постигла самая страшная кара — отступничество единственного сына. Вероотступники всегда бывали самыми ярыми врагами евреев, а теперь этот отрок, сын Иегуды, стал одним из их числа. Но так как долг повелевал утешать скорбящего, дон Эфраим пересилил омерзение и ужас, он пришел, он наклонился к Иегуде и произнес, как положено:

— Слава тебе, Адонай, господь наш, судья праведный, — и прислал десять достойнейших мужей альхамы, чтобы они прочли положенные молитвы.

Иегуду угнетала не только скорбь о сыне, но и дерзновенный обет открыть франкским беглецам границы Кастилии. Срок, который он поставил себе под страхом всенародного проклятия, близился к концу. А ему все не удавалось увидаться с королем. Теперь же, отняв у него обоих детей, сперва дочь, а затем сына, тот, конечно, еще старательнее будет избегать встречи с ним.

Настали дни нового года, сумрачно-торжественные дни, назначенные для покаянного размышления.

Ракель провела праздник у отца. Он не упоминал о вероотступничестве Аласара, но она видела, как тяжело он страдает от этого. Ее глубоко потрясло крещение брата и лишь сильнее укрепило в благочестивом намерении сохранить верность богу.

Иегуда пригласил к себе в дом назначенного для этой цели члена общины, чтобы тот протрубил в бараний рог — шофар, чей предостерегающий зов надлежит слышать каждому иудею в праздник покаяния. Ибо в этот день бог обращается мыслью ко всему сотворенному им, вершит суд и решает судьбы людей. Пронзительный, скрежещущий звук рога вселял в Ракель благоговейный трепет, и при своей тяге к сверхъестественному она словно воочию видела, как незримая рука вписывает в книгу жизни и благоденствия имена праведников и стирает имена злодеев. Решение же о судьбе тех, кто не добр и не зол, а значит, о большинстве, откладывалось до праздника очищения, чтобы они за эти десять дней успели раскаяться.

Под вечер Иегуда и Ракель отправились, как того требовал обычай, к проточной воде. Пошли они за город на берег Тахо. Они бросали в воду крошки хлеба, бросали в воду свои грехи, чтобы река унесла их в море, и при этом повторяли слова пророка: «Нет второго бога, подобного тебе, который отпускал бы грех и прощал измену, который не упорствовал бы во гневе, ибо для него радость — быть милосердным. Он смиростивится над нами, он предаст забвению нашу вину, он потопит на дне морском наш грех».

Уже совсем смеркалось, когда они вернулись домой. Слуга внес светильник. Но Иегуда знаком приказал ему унести светильник, и Ракель лишь смутно видела отцовское лицо, когда Иегуда заговорил:

— Надгробные камни наших предков свидетельствуют о том, что Ибн Эзры происходят из дома Давидова. Но сын мой и твой брат Аласар продал и предал свое царственное наследие. И моя вина есть в том страшном, что свершилось. Тяжкая вина, я казню себя за нее, и пусть милосердие господне глубоко, как море, — мой грех не снят с меня.

В первый раз отец заговорил с ней о вине, раскаянии

и искуплении, и жалость душила Ракель. Вот в расплату за все грехи, продолжал Иегуда, он сам наложил на себя повинность, нелегкую повинность, и он рассказал ей о своем плане поселить франкских евреев в Кастилии.

Ракель внимательно выслушала, но ничего не ответила и не стала расспрашивать. Поэтому он, сделав над собою усилие, продолжал говорить:

— Я доложил королю, нашему государю, о своем плане, он не сказал ни да, ни нет. А я дал обет, и время не ждет.

Впервые с тех пор, как она поселилась в Галиане, заговорил он об Альфонсо, и Ракель больно поразило то, что он назвал ее любимого «королем, нашим государем». Да и от всего, что сказал отец, ее словно обдало ледяной водой — таким это было страшным и волнующим. Она почувствовала в его словах требование и воспротивилась всей душой. Нехорошо взвалить на нее то, что он сам взял на себя.

Он больше ничего не добавил, не стал настаивать. Он велел принести огонь, и непонятная, зловещая жуть развевалась. Он увидел ее лицо в мягком сиянии свечей и масляных светильников. Впервые улыбнувшись за весь этот день, он сказал:

— Поистине, ты царица из дома Давидова, дитя мое.

Утром, прежде чем вернуться в Галиану, она сказала отцу:

— Я поговорю с королем, нашим государем, о франкских евреях.

Когда Ракель объявила королю, что намерена провести новогодний праздник в кастильо Ибн Эзра, он постарался скрыть свое недовольство. Сам он пробыл все эти дни в Галиане. Ему было нестерпимо находиться в Толедо — так близко от Ракели и так беспредельно далеко. Он злился на Ракель, на Иегуду, на бога Иегуды и его праздники.

Стояли на диво ясные осенние дни, но его они не радовали. Он охотился, но ни охота, ни любимые псы не радовали его. Перед ним в грозном великолепии маячил вдали его город Толедо, но это зрелище не радовало его. Не радовали его ни река Тахо, ни болтовня с его

верноподданным Белардо. Мыслями он все возвращался к тому, что рассказала ему Ракель о своем новогоднем празднике; верно, она сейчас молится там своему богу и клянчит, чтобы он простил ей любовную связь с ее гусдарем.

Она вернулась, и злую тоску как рукой сняло. Однако, хотя и она искренне обрадовалась встрече, он вскоре заметил, что Ракель точно подменили; на ее лице теперь лежала печать какого-то необычайного, вдумчивого умиротворения. Альфонсо не удержался и с ласковым ехидством спросил, свела ли она, как собиралась, счеты со своим богом. Она как будто не рассердилась на него за насмешку, а может статься, и не заметила ее, она только молча посмотрела на Альфонсо, всецело погруженная в свои думы. Ее молчание взорвало его больше, чем любое возражение. Он, Альфонсо, даже помыслить не смел об исповеди, ни один священник не дал бы ему отпущения; а вот она примирилась со своим богом. Он стал придумывать, что бы сказать ей позже и пообиднее.

Но тут неожиданно заговорила она сама. Да, сказала она как-то удивительно строго и вместе с тем просто, сейчас наступили благословенные дни, когда воистину раскаявшийся грешник может обрести спасение. В день поминовения, в день нового года господь хоть и вносит в книгу судеб приговор, однако печать он налагает лишь десять дней спустя, в день очищения, и молитвой, добрыми делами и непритворным раскаянием можно этот приговор изменить. Внезапно решившись, она добавила:

— Если бы ты пожелал, Альфонсо, любимый, в твоей власти было бы помочь мне вымолить у господа полное прощение. Ты знаешь, какие бедствия терпит мой народ в стране франков. Почему бы тебе не открыть границы этим моим братьям?

Волна ярости захлестнула Альфонсо. Вот оно, покаяние, которое их священнослужители наложили на нее. Ей велено заставить его в самый разгар священной войны наводнить свое государство неверными, ей велено внести рознь между его народом, его богом и им самим, — а за это их Адонай очистит ее от скверны. Все они в заговоре — она, ее отец и их священнослужители. Такой гадкой, грязной сделки никто еще не осмеливался ему навязывать.

Его хотели провести, как глупейшего из глупцов, хо-

тели, чтобы за ее любовь и за ее тело он продал душу. Но он не попадется на удочку этим обманщикам, он не позволит себя надуть, не поддастся на вымогательства, нет, он не из таких.

Неистовым усилием воли он сдержал площадную брань, так и рвавшуюся у него с губ. А вместо этого с перекошенным от злобы лицом, звонким, повелительным голосом, словно обращаясь к сборищу строптивых грандов, отчеканил по-латыни:

— Мне не угодно обсуждать государственные дела в Галиане. Мне не угодно обсуждать государственные дела с тобой.

И, круто повернувшись к ней спиной, удалился.

Когда он попытался ночью прийти к ней, она заявила, что по еврейскому обычаю в эту покаянную пору женщинам полагается спать одним. Тут уж гнев его вырвался наружу. Ах, он должен считаться с ее дурацкими суевериями? Или она думает этой новой уловкой выманить у него указ для своих евреев? Значит, из-за них она отказывает ему?

Вперив в нее бешеный взгляд, он угрожающе тихо произнес:

— Ты смеешь ставить мне условия, да? Чтобы я впустил твоих паршивых евреев в свою страну, а ты за это впустишь меня сегодня ночью к себе, да? Этого я не потерплю. Я хозяин здесь в доме, здесь в стране!

Она смотрела на него широко раскрытыми серыми глазами, полными жалобы, укора, ужаса, но не страха. Это окончательно взорвало его. Он набросился на нее, швырнул на ложе, схватил, как хватают врага. Она сопротивлялась, задыхаясь. Он снова насильно бросил ее на ложе и, не выпуская, сам тяжело дыша, в клочья разорвал на ней одежду и молча, яростно, грубо, без наслаждения овладел ею.

В ту же ночь Ракель покинула Галиану. Она ушла в кастильо Ибн Эзра.

Альфонсо слышал, как она уходила вместе с кормилицей Саад. Дорога вверх на скалистый Толедский холм была короткая, но небезопасная в темноте. Поколебавшись, он послал за ней следом вооруженного провожато-го. Тот не догнал ее.

«Так ей и надо, — злорадно подумал Альфонсо. — Сама меня до этого довела. Все к лучшему. Значит, так угодно небесам. Теперь ничто меня не удержит. Теперь уж я пойду войной на неверных. Она одна виновата, что я так долго и постыдно мешкал. Арагонский вертопрах просчитался. Провидению неужгодно, чтобы я предавался сладострастию, пока он будет бить неверных».

К утру он принял решение показать великодушие и еще один день пробыть в Галиане. На случай, если она вернется. Несмотря на свой справедливый гнев, он хотел расстаться с ней по-дружески. Ведь много прекрасного пережито здесь, и нельзя, чтобы все это оборвалось так нелепо и некрасиво.

Он слонялся по дому и парку, судорожно стараясь быть веселым. Далила, видите ли, желала предать его филистимлянам, но он не такой дурак, как Самсон, у него не похитишь его силу. Оказалось, что прекрасная жизнь в Галиане — попросту *эспехисмо*, мираж пустыни. Ну вот, свежий ветер развеял это наваждение, и теперь его окружает здоровая действительность.

Он остановился перед мезузой, которую Ракель велела прибить над дверьми. Это была трубка из драгоценного металла, а в застекленном отверстии угрожающе чернели слова заповедей Шаддаи. Ему очень хотелось сорвать эту языческую дребедень, но он побоялся навлечь на себя гнев ее бога и удовольствовался тем, что кулаком разбил стекло. Осколки поранили ему руку, потекла кровь, он стер ее, но кровь все текла; злобно смеясь, смотрел он на кровоточащую руку. Пусть теперь подивятся все, кто думал, что он разнежился здесь. Нет, теперь он ринется в бой. Он будет разить и крушить своим славным мечом *Fulmen Dei*. В угодном богу честном мужском бою выбьет он из души все эти глупые помыслы и очистит свою кровь от грехов, от сомнений, от гнетущей, расслабляющей языческой дури.

— Может статься, любезный, твои надежды сбудутся скорее, чем ты думаешь, — с наигранной веселостью сказал он садовнику Белардо. — Доставай-ка дедовский кожаный колет и шлем. Я дам тебе случай проветрить их.

Белардо, казалось, скорее удивился, чем обрадовался.

— Я готов служить твоему величеству всем, что

у меня есть, в том числе и дедушкиным кожаным колетом. Но кому-то надо остаться здесь и орудовать лопатой. Ведь ты, государь, не захочешь, чтобы твой сад пришел в запустение?

Уклончивость садовника озадачила Альфонсо.

— Да я не завтра собираюсь выступать, — сердито буркнул он. И так как разговор происходил возле полуразвалившихся цистерн, остатков изобретенной рабби Хананом машины для измерения времени, словно невзначай приказал: — Пока что надо засыпать вот это. А то еще свалится туда кто-нибудь в темноте.

Ракель не вернулась и на следующий день. Тогда он поскакал в Толедо. В замке, по-видимому, уже знали, что он рассорился с еврейкой. Все явно повеселели и вздохнули свободнее.

Он окупился в дела.

Все было так, как предсказывал еврей. Страна процветала, кастильская казна была полна. Впрочем, Иегуда, пожалуй, был прав и в том, что для войны против халифа денег еще не доставало. Но пусть еврей не думает, что такими доводами ему и впредь удастся удержать его, Альфонсо, от исполнения своего священного долга. Довольно евреям жиреть за счет его страны; захочет он, так может по примеру своего франкского кузена Филиппа-Августа отнять у них накопленные денежки, вот у него и будет золото, чтобы воевать с халифом.

— Мне больше невоюет быть *eques ad fornasem*, рыцарем-лежебокой, когда весь христианский мир воюет, — заявил он дону Манрике. — Я все рассчитал и обдумал и полагаю, что можно начинать.

— А твой эскривано, который понаторел в счете, полагает иначе, — возразил Манрике.

— Наш еврей в своих подсчетах упустил из виду одну статью — честь, — высокомерно отвечал Альфонсо. — В чести он смыслит не больше, чем я в Талмуде.

Манрике встревожился.

— В конце концов, ты сам поставил его надзирать за твоей казной, — сказал он, — значит, его обязанность беречь ее. Не поддавайся на уговоры дона Мартина, дон Альфонсо, — взмолился он, — велик соблазн военного похода, тем более что это соблазн, угодный богу. Но если у нас не хватит денег, чтобы продержаться год-два, тогда такой поход может погубить государство.

В душе Альфонсо не доверял мнению Ибн Эзры. Тот искал всяких поводов помешать священной войне, потому что впустить своих евреев в Кастилию он мог только в мирное время. Но такая наглая затея даже в голову бы не пришла этому Ибн Эзре, если бы не его, короля, нечестивая страсть, а потому Альфонсо стыдился признаться старому другу Манрике в своих подозрениях и вместо этого лишь проворчал:

— Вы тут сидите да каркаете, а кому достается от всего христианского мира? Понятно, мне.

— Тогда вступи в переговоры с Арагоном, дон Альфонсо, — сухо и обиженно посоветовал Манрике. — Столкуйся с доном Педро. Заключи честный союз.

Король в досаде поспешил отпустить своего друга и советчика. Всякий раз он натывается на то же препятствие. Разумеется, Манрике прав, разумеется, начать войну можно, только выяснив отношения с Арагоном. Надо точно договориться обо всем и заключить союз, но достичь этого способен только один человек на свете — донья Леонор.

Что ж, он поедет в Бургос.

Сколько времени он не виделся с Леонор? Целую вечность. Она посылала ему короткие учтивые письма, он через большие промежутки отвечал так же коротко и учтиво. Он ясно представлял себе их встречу. Он будет разыгрывать весельчака, она будет отвечать приветливой, несколько принужденной улыбкой. Нерадостное это выйдет свидание.

Он постарается объяснить ей все происшедшее. Но где найти слова, чтобы другой человек понял, как это страшно и прекрасно, когда на тебя накатывает такая огромная волна, и швыряет в бездну, и возносит ввысь, и снова вниз, и снова ввысь?

В разговоре с Родриго он заносчиво и упрямо отстаивал свое право на Ракель и на страсть к ней, и священник при всем своем благочестии понял его. Но Леонор, сдержанная, благосклонная, истая знатная дама, не может его понять. Перед ней он потеряет дар речи, и что он ни скажет, все будет звучать, как жалкая попытка глупого мальчугана во что бы то ни стало оправдаться. Это будет самое жестокое унижение в его жизни.

Король не имеет права так унижаться ни перед кем

на свете, и нет ничего на свете, что стоило бы такого унижения.

Неправда. Есть, есть такое блаженство, которое стоит любого унижения и в придачу вечных мук.

И сразу вновь всплывает Галиана в ее нечестивом ореоле. Он чувствует вновь, как прижимается к нему Ракель, чувствует ее нежное, упоительное прикосновение, чувствует, как пульсирует ее кровь и бьется сердце. Он запускает пальцы в ее волосы, теребит их, пока она не скажет, смеясь: «Не надо, Альфонсо, мне больно, Альфонсо». Кто еще умсет так забавно, по-своему и так убедительно сказать «Альфонсо», что от одного этого слова и смеяться хочется, и пробирает дрожь? Он видит ее глаза цвета голубинового крыла, видит, как они меркнут, как медленно опускаются на них тяжелые веки и поднимаются снова.

Ему вспомнились арабские стихи, которые она однажды дала ему прочесть:

«Часто слышал я свист стрел над моей головой и не дрогнул ни разу; но когда я слышу шелест ее платья, трепет проходит у меня по всему телу. Часто слышал я трубы наступающего врага, но оставался холоден телом и душой; когда же я слышу ее голос, всего меня обдаёт жаром».

Тогда эти стихи вызвали у него досаду; не смеет рыцарь доходить до такого раболепства. Но они были истинны, эти нежные и раболепные стихи, истинны, как само Евангелие. Его обдавало жаром, едва он представлял себе Ракель. Как мог он даже помыслить о том, чтобы покинуть Ракель, свою Ракель, блаженный и греховный смысл своей жизни?

Он должен вернуть себе Ракель, должен помириться с ней. А это возможно только *одним* путем. Он тяжело перевел дух. Ничего не поделаешь. Другого пути нет.

Он послал за Иегудой.

Дон Иегуда был не из трусливых, но его охватил страх, когда глубокой ночью к нему в полном смятении прибежала Ракель.

— Он оскорбил меня так, как никогда не оскорбляли женщину, — сказала она.

Иегуде не терпелось узнать, что случилось. Но он

сдержался. Разбудил Мусу, попросил его приготовить сильнодействующее успокоительное питье и сказал:

— Ляг, усни, дочь моя, завтра проснешься здоровой.

Оставшись один, он лихорадочно пытался представить себе, что же такое могло произойти. Должно быть, она попросила приюта для франкских евреев. А Иегуда по опыту знал, как жестоко и вероломно умеет этот человек оскорблять, когда бывает раздражен. Ракель не стерпела обиды, она убежала, а человек этот мстителен, он сорвет свою злобу и на нем, Иегуде, и на всех евреях. И Ракель, и он сам напрасно принесли такую жертву.

Он старался успокоиться, но уснуть не мог. Нельзя допустить, чтобы все пошло прахом, надо найти лазейку для надежды. Он ломал себе голову, отыскивая, за что бы ухватиться. Этот христианский король вечно толкует о чести, но о собственном достоинстве понятия не имеет. Уже два раза, обругав и оплевав Иегуду, он вдруг понимал, что нуждается в нем, и спешил опять к нему подладиться. Ракель он любит, жить без нее не может, значит, и к ней будет опять подлаживаться, будет кланяться, чтобы она вернулась.

Это было утро пятого *тишири*. Меньше чем через три недели истекал срок, назначенный Иегудой для исполнения обета. В эту первую бессонную ночь он понял, что много у него еще будет бессонных ночей, много раз будет он падать в бездну отчаяния и выбираться из нее, цепляясь за надежды и хитроумные домыслы.

Так обстояло дело с Иегудой Ибн Эзра. А с тобой-то что, Ракель? Ты бродишь бледная, молчаливая, тщетно ждешь весточки. Ты видишь озабоченные, нежные взгляды отца, но они не греют и не утешают тебя. Ты слышишь слезливые причитания кормилицы — увы, ее ладанка, «рука Фатимы», ничему не помогла, — и все ее уговоры скользят мимо тебя. Ты воскрешаешь в памяти его лицо, осанку и повадку в те лучшие часы знойной страсти, когда сливались воедино души и тела. Но этот образ вытесняется другим, и ты видишь перед собой изуродованные похотью черты насильника. Вот, значит, каков лик рыцарства, столь пленительный для него! Но, несмотря ни на что, ты тоскуешь о нем и знаешь твердо — стоит ему только позвать, и ты пойдешь, побежишь к нему.

Проходили дни. Дон Альфонсо был в Толедо, но не посылал ни за ней, ни за Иегудой. Только дон Манрике являлся с вопросами, необходимыми для ведения государственных дел.

Наступил священнейший для евреев день — день очищения, *йом кипур*. Иегуда, удивительный, многоликий Иегуда, словно переродился в этот день. Он отбросил всякое мелочное тщеславие, признался себе, что его «высокое назначение» было лишь личиной властолюбия, и воистину стал сокрушенным, жалким, грешным человеком перед лицом Божиим; чем вышемернее был он раньше, тем приниженнее стал теперь. Он бил себя в грудь и с жгучим стыдом взывал к богу:

— Я согрешил головой своей, надменно и дерзко поднимая ее. Я согрешил глазами своими, глядевшими нагло и заносчиво. Я согрешил сердцем своим, преисполненным гордыни. Я признаю, и сознаю, и каюсь. Помилуй меня, господи, дай мне искупить мой грех.

Теперь он не только разумом, но всем существом своим готов был принять любую кару.

Когда два дня спустя король призвал его к себе, он ни на что не надеялся и ничего не страшился. Добро ли, зло ли — будь благословенно, — так мысленно твердил он по дороге в замок и так думал на самом деле.

Альфонсо держался надменно и смущенно. Он долго распространялся о малозначущих делах, как-то: о преюнах, чинимых баронами де Арена, и о том, что он не намерен терпеть это далее. Пускай Иегуда вдвое против прежнего сократит им срок, и если они не соизволят уплатить, он, Альфонсо, силой займет спорное селение.

— Я в точности исполню приказ твоего величества, — с поклоном ответил Иегуда.

Альфонсо лег на свою походную кровать, скрестил руки под головой и спросил:

— А как обстоит дело с моими военными планами? Ты все еще не нагреб достаточно денег?

— Договорись с Арагоном, государь, а тогда можешь выступать, — деловым тоном ответил Иегуда.

— Заладил одно и то же, — проворчал Альфонсо и, привстав, без всякого перехода, спросил:

— А что слышно о евреях, которых ты хочешь навязать мне? Постарайся говорить по-честному, не как их брат, а как мой советник. Будут у моих подданных осно-

вания упрекать меня: что, мол, делает этот король — в самый разгар священной войны впускает в страну тысячи нищих евреев?

Скорбная самоотверженная покорность Иегуды мигом сменилась буйным ликованием.

— Никто не скажет ничего подобного, государь, — ответил он, снова став прежним Иегудой, почтительным, уверенным в себе и в своем превосходстве. — Я бы не осмелился просить тебя, чтобы ты допустил к себе в страну *нищих*. Наоборот, я думал всеподданнейше предложить тебе, чтобы через границу пускали только тех беженцев, у которых окажется в наличности, скажем, не менее четырех золотых мараведи. Новые поселенцы будут не жалкими бедняками, а людьми положительными, сведущими в торговле и ремеслах, и обогатят казну немалыми налогами.

Альфонсо только того и ждал, чтобы его уговорили, а потому спросил:

— Как по-твоему, можно это втолковать моим грандам и моему народу?

— Не знаю, как грандам, а народу, безусловно, можно. Твои кастильцы на деле почувствуют приток средств, им привольнее станет жить, — ответил Иегуда.

Король рассмеялся.

— Ты, по своему обыкновению, преувеличиваешь. Ну, да я к этому привык, — заметил он и будто вскользь бросил: — Так вели изготавить указ. — Иегуда низко поклонился, коснувшись рукой земли.

Он не успел еще выпрямиться, как король добавил:

— Бумаги пришли мне в Галиану. Я сегодня вернусь туда. Да скажи, пожалуйста, своей дочери: мне будет приятно, если она пожелает присутствовать при подписании указа.

За пять дней до назначенного им самим срока дон Иегуда сообщил парнасу Эфраиму, что король, наш государь, выразил согласие на поселение шести тысяч франкских евреев.

— Тем самым я избавляю тебя от труда предавать меня анафеме, — с лукавой и горделивой скромностью продолжал он. — Правда, от внесения двенадцати тысяч мараведи для франкских евреев я тебя избавить не

могу. — И великодушно добавил: — Зато в том, что они получают доступ к нам в страну, будет большая доля твоей заслуги. Не согласишься ты оказать мне помощь, я бы этого не добился.

Дон Эфраим побелевшими губами произнес слова благословения, которые положено говорить, когда получаешь радостную весть:

— Хвала тебе, Адонай, господь бог наш, ибо ты благ и даруешь нам благое.

Тут Иегуда не сдержался и дал волю своему торжеству:

— *Naphtule elohim niphtalti* — божьи победы — мои победы! — ликующе воскликнул он.

Он ходил сияющий, окрыленный, не чувствуя под собой земли. Куда девался человек, который всего лишь две недели тому назад был раздавлен сознанием своего ничтожества? Гордыня его не знала пределов. Грудь его распирали смех над глупцами идолопоклонниками, что затеяли свою священную войну ради страны, которая никогда не будет принадлежать им. Истинную священную войну, войну божью, ведет он, Иегуда. Пока те сеют смерть и опустошение, он мирно расселяет шесть тысяч спасенных. Он мысленно видел уже, как работают их смысленные головы и ловкие руки, как они устраивают мастерские, возделывают виноградники, производят и выменивают полезные предметы.

Он праздновал свое торжество с верным другом Мусой. Его, ценителя лакомств и тонких вин, позвал он сотрапезником на дунуновский пир, достойный братьев Дунун, непревзойденных чревоугодников мусульманского мира. Перед Мусой он не скрывал своей радости. Видно, он и в самом деле любимое чадо божие. Если бог и посылает ему порой несчастье, то лишь затем, чтобы он лучше прочувствовал свое счастье.

— Знаю, знаю, мой друг, — с ласковой насмешкой подтвердил Муса. — Ты потомок царя Давида, и господь на ладони своей проносит тебя над всеми житейскими бурями. Потому-то тебе незачем прислушиваться к голому рассудку и можно «творить» и крушить напропалую, теща свое необузданное сердце, точь-в-точь как те рыцари, к которым ты питаешь такое безграничное презрение. Разумом ты их видишь насквозь, но в делах своих руководишься их основным правилом: «Лишь бы не

сидеть сложа руки, лишь бы что-нибудь делать, и лучше даже не то, что надо, чем вовсе ничего».

Они пили изысканные вина, и Иегуда, в свою очередь, поддразнивал друга:

— Ну конечно, мудрец не должен терять хладнокровие при любых обстоятельствах: он скорее согласится, чтобы его убили, чем ударит сам. Могу засвидетельствовать, что ты так и поступал. И если бы не я, ты по меньшей мере три раза был бы уже убит и не мог бы сейчас пить это вино с берегов Роны.

Они выпили.

— Я рад, — заговорил Муса, — что твой Ибн Омар хоть сегодня не будет требовать от тебя, чтобы ты вмиг составил договор с другим государством или отправил в плавание целый торговый флот. Мне ведь так редко доводится мирно наслаждаться твоей дружбой. Ты без конца превозносишь мир, а самому себе отказываешь в нем.

— Если бы я не отказывал себе в мире, другие и вовсе не знали бы его, — ответил Иегуда.

Муса кротким, улыбчивым, испытующим взглядом посмотрел на друга.

— Резво бегаешь, друг Иегуда, — промолвил он, — и не знаешь передышки. Боюсь, что ты убегаешь от своей души и она не может догнать тебя. Нередко ты, правда, добегал до цели, но не забудь, что порой тебе не хватало дыхания. — И немного погодя добавил: — Мало кто понимает, что не мы идем по жизни, а нас ведут по ней. Мне-то давно уже ясно: я не рука, бросающая игральные кости, а лишь одна из костей. Боюсь, что ты этого никогда не постигнешь. Но именно за это я тебя люблю и дружу с тобой.

Долго сидели они так — ели, беседовали, пили. А потом с наслаждением смотрели на танцовщиц, которых позвал Иегуда.

Вспоминая в последующие недели речи своего друга Мусы, Иегуда лишь посмеивался с ласковым превосходством. Все складывалось, как он задумал. Два огромных каравана с товарами, которые он наудачу приказал доставить с дальнего Востока, благополучно миновали превратности морей и войны и достигли надежной пристани.

В самый разгар священной войны был подписан хитроумный договор с наместниками султана Саладина на пользу Иегуде и Кастильскому королевству. Иегуда с глубоким изумлением убеждался, что толедская жизнь претворяла в явь те грезы, которые грезились ему когда-то у полуразрушенного фонтана. Гордость окутывала его мерцающим облаком.

Он заказал себе рисунок герба и просил короля утвердить его. Посредине была изображена *менора*, семисвечник из храма Иеговы, а кругом еврейскими письменами были начертаны имя и должность Иегуды. Он заказал себе печать с этим гербом и носил ее на груди по обычаю своих праотцев, тех мужей, о которых повествует Великая Книга.

Альхама выплачивала очень большую саладинову десятину, и такой же большой процент получал с нее Иегуда. Он решил впредь не оставлять себе этих денег. А тут как раз оказалось, что парижским евреям, когда их изгоняли, удалось спасти свиток торы, который считался древнейшим из уцелевших списков Моисеева Пятикнижия. Это был так называемый *сефер хиллали*. Иегуда купил книгу за три тысячи мараведи; никто, кроме него, не был способен пожертвовать беженцам такую огромную сумму таким красивым жестом.

И теперь он сидел вместе с Мусой перед драгоценным и ломким пергаментным свитком, сохранявшим из поколения в поколение слово божие и возвышенное, благородное творение еврейского народа.

Жадно и благоговейно созерцали они чудесную книгу и бережно прикасались к ней.

Иегуда собирался было отдать пергаментный свиток в дар альхаме, но его с первых же дней удручал невзрачный вид толедских синагог. Нет, сперва он построит подобающее хранилище для своей чудесной книги, храм, достойный этой драгоценной рукописи, достойный народа Израилева, древней толедской альхамы и его самого, Иегуды Ибн Эзра.

— А ты не думаешь, что этим еще пуще разожжешь ненависть архиепископа и баронов? — предостерег его Муса.

Иегуда только пренебрежительно усмехнулся в ответ.

— Я построю богу Израиля достойный его дом, — сказал он.

Муса все так же ласково, но, пожалуй, настойчивее, чем обычно, постарался образумить его.

— Иегуда, друг мой, не обременяй коня чересчур пышной сбруей. Смотри, как бы под конец не остаться с упряжью и чепраком, но без коня.

Иегуда дружески похлопал его по плечу и пошел дальше своим дерзновенным путем.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Донья Леонор у себя в Бургосе сперва не приняла всерьез слухи о любовных похождениях Альфонсо. И даже когда оказалось, что Альфонсо по целым неделям живет в Галиане насдине с еврейкой, она постаралась убедить себя, что это — мимолетное увлечение. Правда, за пятнадцать лет супружества Альфонсо время от времени позволял себе любовные прихоти, но всегда очень скоро возвращался к ней, по-мальчишески смущенный. У нее в голове не укладывалось, что он мог не на шутку влюбиться, да еще в эту еврейку! Когда они встретились впервые, он почти не обратил на нее внимания, и самой Леонор пришлось просить его, чтобы он сказал этой девушке несколько учтивых слов. К тому же она, еврейка, слишком бойка и одевается как-то подчеркнуто своеобразно, а все это может только оттолкнуть Альфонсо.

Нет, донья Леонор не ревновала. Грозным предостережением вставала перед ней жизнь ее матери Алиепоры Аквитанской, которая мучила мужа, Генриха Английского, дикой ревностью, за что все последние годы он держит ее в заточении. Нет, Леонор не последует материнскому примеру. Увлечение еврейкой пройдет у Альфонсо так же скоро, как все его прошлые прихоти.

Шли недели, месяцы, а Альфонсо был по-прежнему влюблен в эту донью Ракель. И вдруг доводы разума и самообольщения потеряли силу. Леонор всегда считала чистым вымыслом увлекательные романы в стихах, которые посылала ей из Труа сестра и пели перед ней франкские рыцари и труверы. Она и сама порой воображала себя одной из тех прекрасных, сверкающих умом женщин, Джиневрой или Изольдой, ради которых блистательные рыцари, Ланселот или Тристан, жертвовали честью и жизнью. Но вот эти нелепые, безумные рассказы

ни обернулись не выдумкой стихоплетов, а подлинной, окружающей ее жизнью. Оказались страшной действительностью, которой жил ее супруг, ее рыцарь, ее возлюбленный, ее Альфонсо!

Гнев закипел в ней против него, против Альфонсо, который так отблагодарил ее за любовь, за ровный и веселый нрав, подобающий знатной даме, за рождение инфанта; ее охватила безграничная ненависть к этой женщине, к еврейке, распутнице, подлым образом оболъстившей, укравшей у нее мужа, который принадлежал ей по праву пятнадцатилетнего супружества, освященного церковью.

Но нельзя, подобно матери, терять над собой власть. Надо быть мудрой и помнить, что ей предстоит выдерживать борьбу с умнейшим человеком в королевстве, с Ибн Эзрой, которого сама она, безумица, на свою погибель призвала сюда.

Она и повела себя мудро. Подавила гнев. Не желала слышать о происходящем, все отрицала даже перед своими приближенными. Пришел архиепископ Бургосский, искренний и верный друг, и с сокрушением заговорил о приключившейся беде. Она тотчас придала лицу самое царственное выражение и посмотрела на благодетельного гостя так холодно и недоуменно, что он умолк.

Нет, дочь Леопор знать не знала про Галиану, ничего не предпринимала ни против Альфонсо, ни против его любовницы, никому не жаловалась.

Она сделала одно — резко изменила свою политику. К величайшему изумлению придворных, она внезапно заявила, что нейтралитет Кастилии — дело нечестивое и неразумное. Все видят, что у государства теперь достаточно денег для участия в священной войне. Так пора наконец выступить в поход.

Она знала: стоит Альфонсо выступить в поход, и злые чары развеются, точно дым; это было непреложно, как «Отче наш».

И она сделает так, что он выступит в поход. Она добьется союза с Арагоном. Умная, злая усмешка тронула ее губы. Из нелепой страсти Альфонсо можно извлечь хоть какую-нибудь пользу: можно смягчить дону Педро, показав ему, что Альфонсо вообще подвержен припадкам умопомешательства, что он был невменяем, когда нанес ту злополучную обиду, а значит, ее следует простить и забыть.

Она написала дону Педро дружественное послание, где в приличествующих знатной даме, но все же нежных выражениях дала ему понять, что желает видеть его у себя. Письмо должен был доставить дон Луис, секретарь ее друга, архиепископа Бургосского.

Воображение молодого короля было поражено любовной связью дона Альфонсо. Несмотря на всю свою ненависть, он по-прежнему видел в доне Альфонсо зеркало рыцарства, и необузданная страсть кастильского короля была лишь подтверждением его рыцарских качеств. Подобно тому как Тристан и Ланселот жертвовали всем для своей дамы, Альфонсо тоже ставил на карту свою рыцарскую и королевскую честь ради женщины, к которой воспылал любовью. А то, что эта женщина была еврейкой, придавало приключению ореол особой таинственности. Много ходило фантастических историй о рыцарях, которые пленялись на Востоке мусульманскими женщинами. Дон Педро не мог без содрогания думать о царственном родственнике, отрекавшемся от христианской веры и губившем свою душу, и вместе с тем невольно восхищался его бесстрашием.

С такими противоречивыми чувствами читал он письмо доньи Леонор. Он мысленно слышал ее голос, видел перед собой милый облик благородной дамы, от души жалел эту превосходную женщину, которую узы брака приковали к страдающему помешательством, одержимому дьяволом Альфонсо. И раз эта благородная дама оказалась в беде, его долг — помочь ей.

Вдобавок и он с начала крестового похода жестоко страдал от бездействия. Он совсем уже снарядился, чтобы напасть на Валенсию, где владовали мусульмане, успел даже отправить к валенсийскому эмиру послов, и те, ссылаясь на старые договоры, в дерзкой форме потребовали с него дань, так что дону Хосе Ибн Эзра стоило немалых трудов вновь наладить отношения с эмиром. Министру приходилось измышлять все новые и новые хитрости, лишь бы его строптивый повелитель не парушил этого «постыдного» мира.

Таким образом, послание доньи Леонор встретило у дона Педро живейший отклик, но он не мог переломить себя, отправиться в Бургос и первым искать примирения. В Бургосе это предвидели, и посланный доньи Леонор, богомольный и изворотливый секретарь дон

Луис, предложил удачный выход. В такое трудное время каждому христианскому монарху не худо совершить па-ломничество в Сант-Яго-де-Компостелла. И если по пути в святую обитель дон Педро заедет в Бургос, он доставит большую радость донье Леонор.

Педро заехал в Бургос.

Донье Леонор было приятно, что юный государь смотрит на нее с таким же рыцарским восхищением, как и раньше. Он довольно неловко заговорил о ее несчастье. Она сделала вид, что не поняла его слов, но не скрыла, как ей тяжело. Выразительно глядя на него, она сказала, что, заключив союз с Кастилией и тем самым дав испанским государствам возможность выступить в крестовый поход, он окажет услугу не только всему христианскому миру, но и лично ей, Леонор, ибо таким путем он избавит от когтей злых духов великого государя и полководца, с которым она связана тесными узами, и поможет ему обрести свою подлинную благородную сущность. Педро смущенно теребил свою перчатку и не знал, что ответить. Ей понятно, продолжала она, что дону Педро неуместно делать первые шаги к заключению союза с человеком, якобы обидевшим его. Но, быть может, удастся подвигнуть Альфонсо на дела, которыми он рассеет недоверие дона Педро.

Как она и ожидала, дон Педро спросил, что это за дела. Но Леонор все обдумала заранее. Надо полагать, Альфонсо не откажется, ответила она, признать за Арагоном сюзеренные права над бароном де Кастро и, дабы загладить свою вину, уплатить ныне правящему барону Гутьере де Кастро крупную сумму в возмещение за убитого брата; может быть, Альфонсо согласится даже вернуть барону Гутьере толедский кастильо.

Ее расчет был построен на том, что Альфонсо обязательно согласится на такое возмещение, раз от этого будет зависеть возможность крестового похода. Если же он отнимет кастильо у Иегуды, заносчивый еврей не стерпит такой обиды, и разрыв с семейством Ибн Эзра будет неизбежен.

Дон Педро растерялся. Такого рода уступка, конечно, многое бы загладила. Он чувствовал на себе молящий взгляд благородной женщины. И ему глубоко запал в душу ее намек, что это будет воистину рыцарским служением даме сердца, если он вырвет Альфонсо из ког-

тей дьяволицы. Его искренне растрогала скорбная кротость нежной и печальной королевы. Он поцеловал ей руку и сказал, что обдумает ее слова с самым дружеским расположением; он не мечтает о лучшей участи, как идти воевать во имя Христа и во имя ее, доньи Леонор.

После того как Ракель возвратилась в Галиану, дон Альфонсо почувствовал, что никогда еще так ее не любил. Когда он смотрел на ее тонкое лицо, ему становилось стыдно своей грубости; ведь она была дама, дама его сердца, а он учинил ей такое бесчестие и насилие. Но в другие разы именно воспоминание о том, как он сломил ее отчаянное сопротивление, наполняло его жестоким сладострастием. В нем поднималось неистовое желание опять унижить ее, и когда она самозабвеннее, чем он, отдавалась объятиям, он испытывал злое торжество.

При этом он был ей благодарен за то, что она ни единым словом, ни малейшим жестом не напоминала о тех тягостных минутах. Едва вернувшись, она испуганно спросила его, чем он поранил руку, потому что царапины и порезы от осколков мезузы заживали очень медленно. Он ответил уклончиво и был доволен, что она не стала расспрашивать дальше; не спросила она и о том, почему засыпаны землей цистерны рабби Ханана.

На самом деле она вовсе не забыла тех минут. Но все случилось так, как она и желала и боялась: в его присутствии оскорбление уже не было оскорбительно, грубость уже не казалась грубостью. И даже порой, лежа в его объятиях, она мечтала вновь увидеть лицо дикаря, какое было у Альфонсо в те безумные мгновения.

Ее надежды изменить его, из рыцаря превратить в человека, оказались так же тщетны, как тщетно волны бьются о скалу. Да она и не жалела об этом: ей был люб и рыцарь. Его худое, костлявое, словно выточенное грубым резцом, мужественное лицо, присущее ему сочетание грации и угловатости не переставали волновать ее кровь.

Всем остальным книгам Библии она теперь предпочитала Песнь Песней и велела повесить на стене своей опочивальни взятый из нее стих:

«Ибо крепка, как смерть, любовь... стрелы ее — стрелы

огненные. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее».

Она перевела этот стих Альфонсо, он выслушал очень внимательно. Попросил повторить, прочесть стих по-еврейски.

— Неплохо звучит, — заметил он, — даже очень хорошо.

С тех пор как она подарила ему арабские доспехи, он знал, что она любит и Альфонсо-воина. Но он не зря ревновал ее к отцу и старику Мусе, ибо чувствовал, что разум ее отвергает в нем все по-настоящему хорошее и героическое. С жаром и даже со страстью старался он раскрыть ей себя. Война — это божья заповедь, а воинская слава для мужчины — самая высокая цель. Лишь в войне обнаруживается лучшее в отдельном человеке и в целом народе.

Ведь и у евреев были Самсон и Геден, Давид и Иуда Маккавей. И как может король править, не воюя? Королю нужны верные соратники, и они ждут от него заслуженной платы. Значит, ему необходимы все новые земли, чтобы раздавать им в награду за верную службу, а где же взять земли, как не у врага? На то король и поставлен от бога, чтобы брать добычу и приумножать свои владения. Он-то, Альфонсо, знает меру, он не такой алчный, как его тесть Генрих Английский или же римский император Фридрих, он не собирается завоевывать весь мир. Все, что по ту сторону Пиренеев, ему не надобно. Он желает владеть одной лишь Испанией, но ее он желает иметь всю полностью, как христианскую, так и мусульманскую.

Дерзновенным и страшным, как рок, казался он Ракели. Неотразимый и грозный соблазн исходил от этого отпрыска франкских и готских варваров, убежденного, что ему, одному ему, господь судил владеть всем полуостровом.

Он рассказывал ей о высоком и благородном ратном искусстве, которое он изучил до основания, до тонкостей. И пусть он и сейчас не стал еще ни Александром, ни Цезарем, все равно он родился полководцем. Врожденным чутьем он знал, когда пускать в дело легкую конницу, а когда тяжелую, с первого взгляда мог определить достоинства поля битвы и, как никто другой, умел отыскать такое место для засады, откуда лучше

всего врасплох застигнуть врага. И если он не всегда выходил победителем, то лишь оттого, что ему недоставало *одной-единственной* скучной добродетели, потребной для полководца, — терпения.

Выслушав его рассказы о том, сколько он выиграл кровавых битв, сколько поверг врагов, она почти всегда говорила не то, что он ожидал.

Например, она спрашивала:

— Сколько, ты сказал? Три тысячи с вражеской стороны и две тысячи с твоей?

И в ее вопросе слышался не упрек, а скорее тягостное недоумение.

А то просто уходила в себя, замыкалась в упрямом одиночестве, из которого он не мог ее вырвать. Хуже всего бывало, когда она только молча смотрела на него. Это было красноречивое молчание, язвившее больнее, чем гневный укор.

Однажды ее молчание вызвало у него злобную вспышку:

— Знаешь, кто разбил стекло на твоей священной мезузе? Я. Вот этой самой рукой. И цистерны твоего рабби Ханана тоже я велел засыпать. Так и знай.

Она ничего не ответила. Тяжело дыша, он встал, прошел несколько шагов, вернулся, снова сел рядом с ней и заговорил о чем-то другом. Остановился и хотел попросить прощения. Она ласково закрыла ему рот рукой.

Хотя Альфонсо страстно ненавидел то, что было в ней чуждого, он знал, что обречен ей, обречен навеки.

«Et nunc et semper et in saecula saeculorum, amen»¹, — кощунственно пробормотал он про себя. Он сам обрек свою душу на погибель, ибо теперь ясно видел, что Ракель ему никогда не обратит в христианскую веру. Пожалуй, так и лучше. Все равно он не вырвется из заколдованного круга, в который сам заключил себя; и он, ожесточившись, упорствовал в своем грехе.

Каноник дон Родриго больше не заговаривал с ним о Галиане. Это не имело никакого смысла. Они высказали все, что может в таком вопросе один человек сказать другому. Однако, хотя Альфонсо и считал свой грех королевской привилегией, которую не смеет у него оспаривать никакой священнослужитель, его все-таки мучи-

¹ И ныне, и присно, и во веки веков, аминь (лат.).

ла молчаливая скорбь каноника, искреннего его друга, и он ломал себе голову, чем бы доказать тому свою любовь и признательность.

Не посчитавшись с архиепископом, он издал указ, по которому в его владениях взамен испанского летосчисления вводилось римское, принятое во всех прочих западных государствах.

Радость и благодарность пересилили в доне Родриго укоризненную печаль.

— Ты правильно поступил, дон Альфонсо, — признал он.

Архиепископ, не осмелившийся порицать короля за его нечестие, с особым жаром ополчился теперь против нового закона. Он упрекал Альфонсо, что тот без особой необходимости, единственно ради удобства каких-то иноземцев, отбросил одну из важнейших привилегий испанской церкви. Никто из его предков с такой легкостью не отмахнулся бы от этого ценного преимущества. Альфонсо понимал, что не в законе дело, что архиепископ горячится так из-за Галианы, и потому очень сурово одернул хулителя. И так уже он, Альфонсо, отклонил немало куда более каверзных папских притязаний, и теперь ему только приятно в таком маловажном деле ублажить святого отца. К тому же Рим и прав. Испанцы проявляют поистине нехристианскую гордыню, ведя летосчисление от величайшего события в своей собственной истории; конечно, очень важно, что император Август даровал им права гражданства, но как-никак рождество Христово было для всего мира, а значит, и для их полуострова, еще более значительным событием.

Однако удовлетворение, доставленное скорбящему Родриго, недолго радовало короля. Загнанный внутрь грех не переставал жечь его. Как-то утром, после ранней обедни, он огорошил капеллана королевского замка вопросом:

— Объясни мне, досточтимый брат, что это, собственно, такое — грех?

Священник, человек еще не старый, был польщен удивительным вопросом дона Альфонсо.

— Дозволь мне, государь, привести суждение святого Августина, — ответил капеллан. — Грех, говорит он, это совершение таких поступков, о коих человеку известно, что они запрещены, и от коих он волен воздержаться.

— Благодарю тебя, досточтимый брат, — промолвил король.

Он долго думал над изречением великого отца церкви, потом пожал плечами и успокоился на том, что крестовым походом избавит себя от греха, если допустить, что он творит грех.

Хотя громко никто не решался поносить короля, все же кругом слышалось немало злых шепотков. Садовник Белардо рассказал Альфонсо, что дурные люди обзывают нашу госпожу донью Ракель дьяволицей и уверяют, будто она околдовала государя.

Эти шепотки только укрепляли Альфонсо в решимости защищать свою любовь к Ракели. Так, например, он настаивал, чтобы короткий путь из Галианы до кастильо Ибн Эзра она совершала в открытых носилках. Случалось, что озорники дерзко смеялись при этом ей в лицо, а другие и просто кричали:

— У-у, ведьма, дьяволица! — Но Ракель никак не была похожа на посланца преисподней; в ней почти ничто уже не напоминало мальчика, она обрела новую, мудрую, значительную красоту, и весь народ видел это. Хулителей было немного, в большинстве же своем люди не удивлялись, что король избрал себе в подруги такую необыкновенную красавицу, и даже одобряли его.

— Ах ты, красавица! — кричали они ей, и радовались, глядя на нее, и называли ее не иначе, как Фермоза, красавица, и распевали чувствительные, восторженные, задушевные романсы про взаимную любовь ее и короля.

Альфонсо не отказывал себе в удовольствии время от времени сопутствовать ей. Он ехал верхом рядом с ее носилками, и в толпе кричали вперемежку: «Да здравствует Альфонсо благородный!», «Да здравствует красавица!»

Именно эти возгласы ясно показывали Ракели, что она *баррагана*, королевская наложница. Но она не стыдилась этого.

Альфонсо все больше осваивался с жизнью в Галиане. Он был глубоко убежден, что пользуется особым покровительством божьим и поэтому все окольные пути, на которые он сбивается по воле providения, в конце концов приведут к правой цели.

Теперь уже он без стеснения занимался в Галиане государственными делами. И его гранды в большинстве

своим считали знаком королевской милости, особенным отличием, если он призывал их в Галиану. Случалось, правда, что кто-нибудь из них с неприязненным недоумением останавливался перед мезузой. Тогда Альфонсо, улыбаясь, пояснял:

— Это полезный амулет. Он хранит от дурного глаза и мешает водить меня за нос.

Но кое-кто из грандов под прозрачными предложениями уклонялся от посещения Галианы. Альфонсо про себя запоминал их имена.

В послании, написанном деловым и приветливым тоном, донья Леонор сообщила королю, что ее посетил дон Педро и она полагает, что наперекор всем препятствиям союз с Арагоном и поход против неверных вполне осуществимое дело. Она охотно сама бы приехала в Толедо и обсудила все это с Альфонсо; но болезнь инфанта Энрике не позволяет ей отлучиться из Бургоса. А потому она просит Альфонсо незамедлительно приехать к ней.

Король сразу понял, что теперь уж не избежать свидания с доньей Леонор. Однако он успокаивал себя тем, что ввиду таких важных государственных дел личные несогласия теряют свое значение и встреча с Леонор будет менее тягостна.

Он сообщил дону Иегуде, что через два дня отправится в Бургос.

Теперь он часто видался со своим эскривано, сложные отношения связывали их. Король нуждался в сметке хитроумного еврея. Он жаждал начать свою войну, но не хотел, поддавшись на уговоры, опять сделать какой-нибудь опрометчивый шаг, а потому охотно прислушивался к доводам еврея. Иегуда же знал короля лучше, чем тот знал себя сам. Он понимал, что Альфонсо не в силах вырваться из Галианы и в глубине души, сам от себя таясь, радуется, что Иегуда затягивает союз с Арагоном и военный поход. После того как ему, Иегуде, удалось добиться от Альфонсо разрешения открыть границу франкским беженцам, он не сомневался в своей власти над этим варварским властителем и гордился, что может по своему произволу вдыхать в него жизнь и разум, как бог в Адама.

Он не удивился, услышав о предстоящем отъезде

Альфонсо. От своего родича дона Хосе он знал о переговорах между королевой и Арагоном. Она была женщиной умная, но Иегуда считал себя не глупее ее и приготовил встречные ходы.

Он ответил Альфонсо, что опасается, как бы ее величество, принимая желаемое за возможное, не преуменьшила препятствия на пути к союзу с Арагоном. А посему пусть его величество соблаговолит взять с собой в Бургос почтенного дона Манрике и его самого, дабы они в меру своих скромных сил могли споспешествовать усилиям доньи Леонор.

Альфонсо растерялся. Ему приятнее было ехать в сопровождении своих советников. Если он въедет в Бургос с целой свитой, свидание с доньей Леонор окончательно утратит характер супружеского объяснения; кроме того, он не прочь был сопоставить ее мнение с доводами своих советников. Но как Леонор отнесется к тому, что он привезет с собой отца своей возлюбленной?

— Разве можно оставить донью Ракель одну? — не решительно спросил он. Такая заботливость обрадовала Иегуду, и король стал ему ближе. Донья Ракель, ответил он с родственной почтительностью, может пробыть это время в кастильи Ибн Эзра. Там у нее будет мудрый собеседник — Муса Ибн Дауд; да и достопочтенный дон Родриго не откажется навещать ее.

Донья Леонор встретила короля так приветливо и непринужденно, будто он лишь вчера расстался с ней. Он обнял и поцеловал ее, как того требовала учтивость. Потечески поздоровался с детьми. Погладил по голове бледненького, маленького инфанта, в болезнь которого не верил ни минуты. Весело и ласково обратился к хмурой принцессе Беренгеле, которая явно знала о жизни отца в Галиане и порицала его. Она держалась надменно и церемонно. Посещение дона Педро подогрело ее надежды, хотя она и понимала, что без права на кастильскую корону она будет не очень-то желанной королевой для Арагона.

Донья Леонор не преминула пригласить в Бургос и дона Педро. Но молодой король не мог побороть в себе злобу на Альфонсо — вместо себя он послал своего министра дона Хосе Ибн Эзра.

Оба Ибн Эзра встретились перед коронным советом, который должен был состояться у доньи Леонор. Неприязнь доня Хосе к чересчур самоуверенному родственнику только возросла. Он огорчился и возмущился, когда этот самый дон Иегуда принес в жертву собственную дочь, лишь бы еще больше подчинить короля своему влиянию. Сам он, как человек богобоязненный и добросердечный, исхлопотал для небольшого числа франкских евреев доступ в Арагон; но массовое их поселение в сепардских землях, которого добился дон Иегуда, он считал делом сомнительным по тем же причинам, какие высказывал и дон Эфраим, а то, что Иегуда пользовался благосклонностью короля к своей дочери как средством вершить судьбы страны и еврейского народа, представлялось ему дерзновенной и кощунственной игрой. Но их с Иегудой по-прежнему объединяло стремление уберечь от войны весь полуостров и своих подопечных евреев. Потому-то он и предупредил родича о происках доньи Леонор и поспешил встретиться с ним.

— Позволь мне, дон Хосе, еще раз, устно поблагодарить тебя за твои письма, — начал Иегуда. — Я усмотрел из них, что вы на чем-то столковались и нашли пути к заключению союза и единоначалию.

— Да, — сухо ответил дон Хосе, — угроза войны с мусульманами надвинулась вплотную. Твоя донья Леонор пустила в ход все возможные ухищрения, словом, поусердствовала на диво, чтобы склонить моего молодого государя к примирению. — Он бросил суровый взгляд на своего собеседника и многозначительно добавил: — Надо полагать, не одна только страсть к войне делает твою королеву такой сговорчивой и щедрой. — И тут с затаенным злорадством сообщил Иегуде то, о чем воздержался говорить в письме: — Донья Леонор хочет вернуть Гутьере де Кастро твой замок в возмещение за убийство брата.

Иегуда побледнел, несмотря на все самообладание. У него сердце оборвалось при мысли о том, что ему вновь придется покинуть дом своих предков. Но гордость тотчас подсказала ему утешение: он воздвиг себе в Толедо иную твердыню, хоть и незримую, но куда более прекрасную и неприступную, чем любое, самое великолепное сооружение из камня.

— По известным тебе, дон Хосе, причинам, мне не-

легко будет отказаться от этого дома, — спокойно ответил он. — Но если моя королева пообещала его королю Арагонскому, я не буду перечить ни единым словом, дабы не помешать заключению союза.

Дон Хосе был поражен; очевидно, Иегуда не сомневался, что ему не придется отдать кастилью, иначе он не говорил бы так хладнокровно.

К Иегуде и в самом деле вернулась вся та самоуверенность, то дерзкое сознание своей силы, которое наполняло его в последние дни. Именно во время этого разговора у него возник план, как перехитрить донью Леонор. Пока все это только смутно брезжило в его сознании, но Иегуда был уверен, что в нужную минуту его затея примет вполне определенные очертания.

Сейчас он поспешил подготовить для нее почву.

— Надеюсь, что выработанные вами условия выдержат самую строгую проверку, которой нам с тобой придется их подвергнуть, — вдумчиво и озабоченно, как подобает деловому человеку, промолвил он. — Говоря откровенно, я предвижу немало трудностей. — И он перечислил ряд вопросов хозяйственного порядка, по поводу которых Арагон и Кастилия десятки лет не могли столковаться. Тут были и спорные права на обложение налогом некоторых городов, спорные ввозные и вывозные пошлины, спорные рынки сбыта. — Если мне придется уступить тебе по всем этим пунктам, дон Хосе, — с веселым лукавством заметил он, — тогда твой Арагон не замедлит обогнать мою Кастилию.

Дон Хосе сразу же понял, куда клонит Иегуда. Таким спорным хозяйственным вопросам не было конца; с их помощью ловкому человеку ничего не стоило похоронить мысль о союзе. Отдав про себя должное изворотливости Иегуды, дон Хосе ответил ему в тон с той же двусмысленной игривой деловитостью:

— Раз уж мой король согласен позабыть оскорбление, которое вы нанесли ему, не мешало бы, чтобы и вы пошли нам навстречу в некоторых хозяйственных вопросах.

— Значит, ты будешь настаивать на всех ваших требованиях? — напрямик спросил Иегуда.

— Так мне полагается, — ответил дон Хосе и добавил с притворной решительностью: — Так я и буду.

А дон Иегуда подхватил серьезно и сокрушенно:

— Без сомнения, мой король не менее искренне, чем твой, жаждет начать войну против мусульман. Но если вы будете так несговорчивы, боюсь, что из союза ничего не выйдет.

— Я был бы очень огорчен, если бы нам не удалось столковаться, — сказал Хосе. И оба министра переглянулись без улыбки.

Курия, на которой должен был обсуждаться вопрос о союзе с Арагоном, происходила в большой приемной зале Бургосского замка. Зала была украшена флагами Кастилии и Арагона, у входа стояла стража, на возвышении были приготовлены кресла для дон Альфонсо и доньи Леонор. Архиепископ не преминул пожаловать из Толедо. Все члены курии были налицо, кроме дон Родриго.

Царственная в своем тяжелом, сверкающем парадном наряде и вместе с тем женственная, восседала на возвышении донья Леонор. Благоклонно и невозмутимо, как причлещивает знатной даме, озирала она круг придворных. В душе она ликовала. Все сидевшие здесь были полны решимости вывести дон Альфонсо из зачумленной Галианы на очистительный простор священной войны. И сам Альфонсо желал этого. Единственным противником был еврей. Со свойственной ему наглостью он навязался сопровождать Альфонсо, но она, Леонор, приняла меры, ему не удастся воспротивиться ей.

Докладывал дон Манрике. Переговоры близки к успешному завершению, даже святой отец осведомлен об этом и уже послал своего легата, кардинала Григорио Сант-Анджело, дабы тот положил конец распри двух королей.

— А кто сообщил папе о переговорах? — сердито спросил дон Альфонсо. — Верно, дон Педро?

— Нет, я осведомила его, — приветливо ответила донья Леонор.

Дон Манрике изложил условия будущего договора. Командование войсками обоих государств должно быть объединено. Кастильские рыцари должны быть введены в штаб арагонского войска, арагонские — в штаб кастильского.

Дон Педро обязуется прислушиваться к советам дона Альфонсо со всем вниманием, какое подобает младшему рыцарю в отношении старшего.

— Прислушиваться? — переспросил дон Альфонсо.

— Прислушиваться, — подтвердил дон Манрике.

— Более точного определения вам не удалось добиться? — спросил Альфонсо.

— Нет, — ответила донья Леонор.

Все молчали.

— Еще какие условия предусмотрены в договоре? — спросил король.

Дон Манрике пояснил, что Арагон настаивает главным образом на трех пунктах: во-первых, Кастилия должна отказаться от сюзеренных прав на Арагон. Хотя Альфонсо уже знал об этом условии, он не мог сдержать недовольный взглас.

— Во-вторых, — продолжал Манрике, — Арагон настаивает, чтобы его вассал Гутьере де Кастро получил то возмещение, на какое он притязает.

Об этом требовании королю ничего не сказали. Он слегка приподнялся и перевел взгляд с дона Манрике на Леонор.

— Чтобы я уплатил барону де Кастро виру? — тихо и угрожающе вымолвил он.

— О вине нет и речи, — поспешил его успокоить Манрике, — это слово не упоминается.

— Умеет же этот вертопрах Педро извлечь выгоду из моего трудного положения, — с горечью заметил король. — Он хочет унижить меня и для этого прячется за барона де Кастро. А Рим спешит прислать кардинала, чтобы тот был свидетелем моего позора.

— Как можно назвать позором жертву во имя священной войны? — звонким голосом приветливо возразила донья Леонор. — Отослать кардинала ни с чем — вот это было бы позорно. Тогда весь христианский мир с полным правом мог бы стыдить дона Альфонсо за бездеятельность.

Члены совета застыли в испуге. Знамена Кастилии и Арагона поникли на своих древках. Бледный от ярости, смотрел Альфонсо на донью Леонор. Пока они были вдвоем, она ни единым словом не упрекнула его за Галиану; с холодным расчетом она дождалась коронного совета, чтобы здесь, перед его советниками, перед его

ближайшими друзьями, перед знаменами его королевства прямо ему в лицо высказать все то оскорбительное, что она о нем думала, именно сейчас и здесь пустила она в ход эту хитроумную месть, как достойная дочь своей неистовой матери.

Но донья Леонор не отвела своих больших зеленых глаз, хотя его глаза метали молнии, и даже легкая, неопределенная улыбка не сошла с ее спокойного лица. Альфонсо усилием воли подавил гнев. Не мог же он в присутствии приближенных ссориться с женой, а вдобавок он чувствовал, что все они, включая и еврея, считали его неправым.

— Какое же возмещение желает получить Кастро? — хриплым голосом спросил он.

Вместо дона Манрике ответила донья Леонор:

— Требования у него жесткие, но, по правде говоря, справедливые. Мы должны уплатить выкуп за куэнкских пленников и вернуть ему толедский кастильо.

Снова настало глубокое молчание, только слышно было, как тяжело дышит Альфонсо. Хотя это шло в разрез с приличиями, все бесцеремонно и даже жадно уставились на дона Иегуду.

Архиепископ уселся как можно дальше от еврея и не поклонился ему. Теперь он взял слово, голос его гулко отдавался в высоком покое.

— Это чувствительно задевает твою честь, государь, — сказал он, — однако священная война смоем многие унижения.

Донья Леонор благосклонно обратилась к Иегуде:

— Каков будет твой совет, сеньор эскривано?

— На мой взгляд, непокорный барон своими дерзкими требованиями посягает на королевское величие, — ответил Иегуда. — Впрочем, я малосведущ в вопросах чести, а досточтимый сеньор архиепископ утверждает, что высокая цель священной войны оправдывает такое унижение. Для меня же очень тягостно утратить усладу моего сердца, дом моих отцов, который мне удалось вернуть по милости господа бога и нашего государя, уплатив за него немалые деньги. Однако же чего стоят мои собственные честолюбивые желания и мое достоинство по сравнению с высокими целями короля, нашего государя и повелителя! Если это откроет путь к заключению союза и крестовому походу, я охотно от-

дам в твои руки, государь, и кастильо Ибн Эзра, и все, что мной к нему пристроено и в нем устроено, и притом за половину той цены, которую я внес в твою казну.

Он заранее подготовил эту речь, но все же слегка пришепetyвал от волнения. Никто не ожидал, что Иегуда так легко отступится от такого богатого поместья. Альфонсо с изумлением смотрел на своего эскривано, даже донье Леонор трудно было сохранить подобающее знатной даме невозмутимое выражение. Какие козни скрываются за его покорностью?

Первым опомнился юный Гарсеран де Лара.

— Так, значит, послезавтра можно выступать в поход! — весело воскликнул он.

— Но ты, благородный дон Манрике, как будто говорил, что Арагон поставил еще какое-то третье условие? — скромно спросил Иегуда.

— Да, — ответил Манрике, — но оно имеет меньшее значение. Арагон требует новых уступок в давнем споре о пошлинах, рынках сбыта, отданных в залог городах и прочей малости.

Иегуда с затаенным ликованием отметил, какое сильное впечатление произвел его немедленный отказ от кастильо. Вот они сидят вокруг него, эти враги, которые во что бы то ни стало хотят добиться своей войны и превратить в прах все, что он воздвигал с такой мудростью и с помощью божьей. Но они, эти тупоголовые вояки, не добьются своей войны, а он сохранит родовой кастильо. Он успел досконально, во всех подробностях разработать свой план и был уверен в удаче, ибо счастье — это врожденное качество и ему оно даровано от бога. Он чувствовал свое превосходство и старался их раздражить, как охотник свору собак.

— Есть у тебя перечень требуемых уступок, дон Манрике? — спросил он. Манрике протянул ему бумагу. Иегуда пробежал ее глазами.

— Эти девятнадцать пунктов не так уж безобидны, как может показаться на первый взгляд, — заметил он. — Вот, к примеру, нам надо отказаться от доходов с города Логроньо. А Логроньо стал у нас средоточием всей торговли вином; чтобы поощрить эту торговлю, мы на три года освободили от налогов город Логроньо и местность Риоху.

— Если я верно понял еврея, — презрительно заметил архиепископ, — он говорит о том, что доходы казначейства поубавятся во время священной войны. Может статься, он в этом и прав. Но кто хочет завоевать землю обетованную, тому не подобает страшиться долгого пути по пустыне и горевать о котлах с мясом в земле Египетской.

Иегуда не ответил ни слова и обратился к королю:

— За последние годы, государь, твое хозяйство достигло такого же расцвета, как хозяйство Арагона. Многие из предприятий, основанных нами за это время, обещают преуспеть в будущем. Но коварное условие, придуманное советниками августейшего дона Педро, направлено к тому, чтобы доходами с этих предприятий пользовалось королевство Арагон. Опасную сделку предлагают тебе, государь. Стоит согласиться на эти двенадцать пунктов, и через несколько лет Арагон значительно опередит Кастилию. У короля Педро весьма сметливый казначей. Мы долго еще будем во многом уступать Арагону, если ты примешь эти условия.

Никто не находил нужного ответа.

— Что ж нам, Христа предавать ради логронской торговли вином? — проворчал дон Мартин.

— Дон Педро не жаден на деньги, — подхватила донья Леонор. — Раз мы согласились на те требования, которые были ему особенно важны, он не станет торговаться из-за мелкой выгоды.

— Прости меня, государыня, — почтительно возразил дон Иегуда, — дело тут идет не о мелкой выгоде, а о главенстве на всем полуострове. Ведь не из любви к ссорам обе наши страны десятки лет оспаривали друг у друга эти права. Боюсь, что нам не так-то скоро удастся поладить с Арагоном.

Члены совета сидели как потерянные. Спорные вопросы, о которых шла речь, были до крайности туманны; может быть, Кастилию и в самом деле хотели лишить существенных преимуществ; а скорее всего оба министра-еврея строили козни против благотельной войны.

Альфонсо был не менее огорошен и смущен, чем все остальные. Его радовало, что нашлись веские причины избежать унижения, которому хотели его подвергнуть донья Леонор и вертопрах Педро. И он был счастлив,

что можно еще долго не разлучаться с Ракель. Да, надо полагать, еврей прав: если он, Альфонсо, уступит вертопраху Педро всякие там пошлости и прочую ерунду, он тем самым пожертвует главенством в Испании, законным наследием своего сына. Но в тайниках души он, как и все остальные, подозревал, что Иегуда попросту хочет отнять у него возможность выступить в поход.

Раздраженный борьбой противоречивых чувств — радости и раскаяния, — он сердито рявкнул Иегуде:

— Что же, по-твоему, мы должны договариваться еще месяцы или даже годы, потому что вы с твоим родичем не можете столкнуться? — И напрямик спросил: — А что ты предлагаешь?

Иегуда, успевший продумать ответ на такой вопрос, сказал:

— Это дело сложное, и вынести правильное решение не так-то просто. Что, если бы поручить его беспристрастному, всеми одинаково почитаемому третьейскому судье?

Никто не понимал, куда клонит еврей.

— Отлично! Обратимся к святому отцу, — внезапно воодушевившись, крикнул архиепископ. — Кстати, кардинал-легат уже едет к нам.

— В таких сугубо мирских делах, пожалуй, легче было бы разобраться сведущему мирянину, — смиренно возразил еврей. — Монархи могли бы попросить августейшего отца нашей государыни, чтобы он благоволил вынести приговор. Задача щекотливая, но, так как от этого зависит священная война и мир господень, король Англии вряд ли откажется взять ее на себя.

Предложение Иегуды как будто было вполне разумно. Король Генрих состоял в родстве и с Арагонской династией и с Кастильской, он хорошо знал все обстоятельства и слыл мудрейшим государственным мужем: от него можно было ожидать справедливого приговора. Но так как предложение исходило от Иегуды, все насторожились.

Донье Леонор было ясно одно: то, что еврей предложил, и его истинные хитроумные и коварные замыслы так же несходны между собой, как волнующаяся поверхность моря и от века спокойное морское дно. Она торопилась разгадать настоящие намерения Иегуды. Ее отец

Генрих сам отнюдь не спешит принять участие в крестовом походе и, уж конечно, понимает, какие выгоды приносит Испании соблюдение нейтралитета. Кроме того, он не сомневается, что испанские монархи, начав войну против неверных на своем полуострове, не преминут попросить у него военной помощи, а он не из тех, кто любит давать. Следовательно, королю Генриху незачем торопить примирение Кастилии с Арагоном. Он будет без конца думать и передумывать и в итоге вынесет такой приговор, который никого не удовлетворит. Еврей хитер — это была предательская уловка. С лихорадочной поспешностью обдумывала она, как бы расстроить его замыслы. Придется поехать в Сарагосу и уговорить дону Педро, чтобы он не поддавался нашептываниям своего еврея. Придется в конфиденциальном письме поверить отцу свои обиды и умолять его, чтобы он поскорее вынес приговор. Но, увы, английский монарх и сам не раз питал и вкушал нечестивую страсть, и уж кто-то, а отец ее Генрих посочувствует любовным утехам и заботам ее супруга. С горечью сознавала Леонор, что ей не сравниться в лукавстве с Ибн Эзрой.

И Альфонсо своим быстрым умом разгадал умысел дона Иегуды. Как он подозревал с самого начала, так оно и вышло: еврей хочет помешать священной войне, в первую очередь из-за беженцев, которых он впустил в страну. Но он просчитался, про себя решил Альфонсо, я и не подумаю торговаться с Педро из-за всякой ерунды. Я и не подумаю обращаться к папаше Генриху, чтобы он снисходительно подмигнул мне: пусть, мол, мальчишка позабавится и понежится на ложе сладострастия. Нет, я не позволю еврею водить меня за нос. Я не стану платить за любовь Ракели подлыми сделками и проволочками.

Вот что продумал и прочувствовал Альфонсо за короткое молчание, наступившее после речи еврея.

И вдруг, ужасаясь самого себя, он услышал свои слова:

— Каково твое мнение, донья Леонор, и ваше, господа советники? На мой взгляд, наш эскривано нашел удачный выход. Пожалуй, во всем христианском мире не найти лучшего судьи в таком хитром деле, нежели мудрый и августейший отец нашей королевы. По-моему, мы должны послушаться твоего совета, дон Иегуда.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Чтобы действовать наверняка, Иегуда послал доверительное письмо советнику по финансовым делам при английском короле Генрихе, Аарону из Линкольна; в этом послании он объяснял сущность спора между обоими испанскими монархами и просил собрата о помощи.

А перед отъездом в Толедо он, как требовала учтивость, послал королеве подарки. Непозволительно дорогие подарки — ценные ароматы, большой ларец слоновой кости с гребнями, пряжками для волос и притираниями, а к нему искусной работы шкатулку с брошами, перстнями, аграфами, самоцветными камнями и еще туфли, в которые были вделаны зеркальца, чтобы дама в любую минуту могла поглядеться в них. Донью Леонор возмутила беззастенчивость наглеца, который этими драгоценными безделками думает утешить ее в подстроенном им поражении; ей хотелось отослать обратно его подарки; но до сих пор она вела себя, как подобает даме, — она и впредь останется настоящей дамой. Кроме того, подарки ей понравились. Она приняла их и написала благодарственное письмо.

Тем временем в Кастилию прибыли первые франкские беженцы-евреи; как и предвидел дон Эфраим, это послужило для архиепископа и враждебно настроенных грандов желанным поводом к возобновлению травли.

Еврей тратит саладинову десятину не на снаряжение священной войны, твердили они, а на то, чтобы разместить в стране новые оравы неверных и мошенников.

Эти подстрекательства не достигали цели. Слишком очевидны были успехи, достигнутые с помощью нового управления. Страна богатела, а с ней богатели и все ее обитатели. Возрастал приток денег и доселе невиданных товаров, появлялись новые насаждения, мастерские, лавки. Чего бы ни коснулся Иегуда, все процветало.

В ту пору к нему явился ученый из наваррского города Тудела, некий рабби Вениамин, весьма уважаемый человек. Вениамин всю свою жизнь посвятил науке, изучению и описанию земли; он только что закончил второе свое путешествие, предпринятое с научной целью: отсюда, с Запада, проехал до самой восточной окраины земли — вплоть до Китая и Тибета.

Прежде всего ему хотелось узнать, как живет еврейям после их рассеяния по всему свету, но и помимо этого он собрал всякого рода полезные сведения, повсюду встречался с людьми, стоящими у власти, включая султана Саладина и папу римского. Теперь он намеревался изложить в книге все, что почерпнул из своих странствий.

«Путешествия Вениамина» — так должна была называться книга, и многие молодые ученые из академии дона Родриго обещали перевести ее на латинский и арабский языки.

И вот этот самый Вениамин из Туделы явился засвидетельствовать свое почтение господину и учителю нашему Иегуде Ибн Эзра; он во что бы то ни стало желал познакомиться с человеком, который за годы его отсутствия так благотворно изменил облик полуострова. Иегуда принял знаменитого ученого с великими почестями. Он показал ему хранилище ценнейших книг и свитков, показал строящуюся синагогу, водил по основанным им мануфактурам. Рабби Вениамин смотрел и слушал с вниманием знатока.

За трапезой, в присутствии Мусы, рабби Вениамин рассказывал о своих путешествиях. По просьбе Иегуды он описал жизнь евреев на Востоке. В Византийской империи и Святой земле евреи терпят великие бедствия от крестовых походов, но в Каире и в Багдаде они живут спокойно и богато. Он рассказал о *реш-галуте* — эксилархе, главе восточного иудейства. Резиденция его находится в Багдаде, и халиф признал его вождем евреев. Ему даны полномочия управлять своими единоверцами с помощью «палки и бича», он имел право взимать налоги, творить суд и осуществлять всяческую власть над евреями Вавилона, Персии, Йемена, Армении, а также над евреями Междуречья и Кавказа; до границ Тибета и Индии простирается его власть. После того как халиф возвел в этот сан ныне правящего *реш-галуту* господина и учителя нашего Даниэля бен Хасдан, он громогласно возвестил перед всем народом: «Я — преемник пророка Магомета, а Даниэль бен Хасдан друг мне и преемник царя Давида». Реш-галута пользуется величайшим уважением у мусульман. Когда он совершает выезд, впереди бегут скороходы и кричат:

«Дорогу господину нашему, сыну Давидову!» — и весь народ падает ниц, как перед самым халифом.

Этот живописный рассказ произвел сильное впечатление на Иегуду.

— Кстати, реш-галута говорил о тебе, — сказал тут Вениамин. — И до Востока дошли вести, что ты отказался от высокого положения, какое занимал в Севилье, и переселился в Толедо, дабы отсюда помогать своим братьям. Вот я тринадцать лет странствовал по всему свету, а самое примечательное увидел здесь, у себя дома, — заключил он.

От этих слов рабби Вениамина, человека независимого, у которого не было надобности льстить ему, у Иегуды стало тепло на душе, особенно же обрадовало его то, что они были сказаны в присутствии его друга Мусы.

Он чувствовал себя, как настоящий *окер харим*, как человек, который может двигать горы и не боится, когда надо и не надо, показывать свое могущество. Так как король задержался в Бургосе дольше, чем предполагалось, Иегуда самовластно принял весьма рискованные решения. Назло враждебным прелатам и баронам он роздал доходные должности многим из франкских беглецов: некоего Натана из Немура, бывавшего раньше в Кастилии, он назначил правителем Суриты.

Настал пурим, праздник, в который евреи поминают, как царица Эсфирь спасла их от беды. Злодей Аман, любимец царя Артаксеркса, вознамерился истребить всех евреев в городе Сузах и во всем Персидском царстве за то, что еврей Мардохей оскорбил его тщеславие. Но племянница и питомица Мардохея, девушка Гадасса, она же Эсфирь, снискала благоволение в глазах царя, и он сделал ее своей царицей, и, наставляемая дядей своим Мардохеем, она решила помешать замыслам Амана. Хотя никто под страхом смерти не смел без зова предстать пред очи повелителя, она пришла к Артаксерксу и стала просить за свой народ. Тронутый ее красотой и мудростью, простер царь золотой скипетр к Эсфири и помиловал Эсфирь и ее народ, а злодея Амана предал в руки евреев. Они же повесили его на том самом дереве, которое он приготовил для Мардохея, и еще повесили его десятирех сыновей и убили всех своих врагов в ста двадцати семи странах, подвластных царю Артаксерксу.

В календаре еврейских праздников немало дней, напоминающих о больших событиях, но ни один из них правоверные евреи не отмечают таким буйным весельем, как этот памятный день. От праздничных яств ломятся столы, евреи обмениваются подарками, раздают щедрые пожертвования беднякам, устраивают представления, игрища и пляски. А главное, с торжествующими жестами и веселыми возгласами читают книгу, где рассказано об этом чудесном спасении, — Книгу Эсфирь.

И дон Иегуда, охотник до празднеств, в эти дни собирал у себя в кастильо много гостей, чтобы с ними вместе слушать красочное повествование в Книге Эсфирь, есть и пить вместе с ними, смотреть на игрища и развлекаться умными и дурашливыми речами.

Пусть те сказочные события, о которых повествует Книга Эсфирь, произошли около трех тысяч четырехсот лет по сотворении мира, а теперь шел год четыре тысячи девятьсот пятидесятый, однако из года в год десятки, сотни тысяч евреев радовались и веселились, слушая этот рассказ. Но во все времена вряд ли кто внимал ему с таким гордым торжеством, какое ныне ощущал дон Иегуда.

Испытания и победы Мардохея и Эсфири были испытаниями и победами его и его Ракели. Кому, как не ему, было понять мужество и смертный страх Эсфири, предстоящей перед царем? Кто, как он, мог прочувствовать все ликование Мардохея, когда враг его Аман принужден вывезти его на коне на городскую площадь и провозгласить перед ним: «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». И когда в конце книги царь назначает Мардохея хранителем печати, Иегуда с торжеством ощутил у себя на груди гербовую печать и бросил самодовольный взгляд на трех франкских беженцев, которых он позвал на праздник к себе в дом.

А потом ученики *иешивы*, школы, где изучают Библию и Талмуд, в том числе и дон Вениамин бар Абба, подражали, как полагается в этот день, своим наставникам и задавали друг другу разные каверзные вопросы.

Молодой дон Вениамин утверждал, что Мардохей и Эсфирь, при всех своих заслугах, повинны в двух грехах. Во-первых, они не знали жалости.

— На праздник пасхи, — говорил он, — мы, памятуя о муках наших врагов, отливаем десять капель из кубка радости. А Мардохей и Эсфирь без колебаний повесили Амана и его десятирех сыновей, истребили всех своих врагов, что ничуть не омрачило их торжества.

Остальные принялись горячо возражать Вениамину. Аман был такой отпетый злодей, что любой праведник мог только от души радоваться, сметая его с лица земли, вместе со всеми присными. Предание гласит, что Мардохей раньше спас его от смерти, Аман же отплатил за это черной неблагодарностью. Он был наделен такой дьявольской злобой, что невинные деревья, произрастающие на земле, оспаривали перед божьим престолом честь послужить ему виселицей. Но выбор пал на дерево, из которого был построен Ноев ковчег; оно с сотворения мира предназначалось для этой цели.

Дон Иегуда мысленно задавал себе вопрос, жесток ли он сам. Да, жесток, и он гордился этим. Он отдал бы все двадцать два судна своей флотилии за удовольствие видеть, как архиепископ болтается на ветке высокого дерева. Он отдал бы свою долю с предприятий в Провансе и Фландрии, лишь бы посмотреть, как бичуют и четвертуют барона де Кастро, назвавшего его грязным псом. Человеку так и полагается чувствовать, если только он не пророк или не мудрец вроде Мусы. Он, Иегуда, не то и не другое и не хочет быть таким.

Голос дон Вениамина отвлек его от этих раздумий и рассуждений. Тот говорил теперь о втором грехе Мардохея, о его гордыне.

— Взгляните, как высокомерно восседает он на коне, которого Аман ведет по улицам Суз, — с горячностью восклицал юноша. — И раз таков был царский приказ, почему он не падал ниц перед Аманом? Законы страны — ваши законы, учат мудрецы. И именно нежелание Мардохея покориться, его гордыня навлекла на евреев беду. Так прямо и сказано в книге. Мардохей знал людей, знал Амана и понимал, какими последствиями грозит его непокорность, почему же он не сломил свою гордыню и не избавил свой народ от опасности?

Иегуде нелегко было сохранять невозмутимое выражение. Он знал, что и его считают высокомерным, да и ни от кого из гостей не могло ускользнуть знаменательное подобие между судьбой его с доньей Ракель

и Мардохея с Эсфирью. Без сомнения, его уподобляют Мардохею. И, в то время как дон Вениамин порицал Мардохея за гордыню, у Иегуды возникло обидное подозрение. Ему была дарована милость облагодетельствовать толедских евреев. Но, может быть, они тем не менее смотрят на него глазами рабби Товия — с ненавистью и омерзением? Мардохея никто не осуждал за то, что он послал приемную дочь во дворец и на ложе к языческому царю. Но Мардохей жил много столетий тому назад в отдаленном городе Сузах. Он же, Иегуда, живет теперь, и до Галианы расстояние не больше двух миль. Подозрительным взглядом всматривался он в лица гостей и подозрительнее всего поглядывал на дону Вениамина. Его он вообще сильно недолюбливал; в холодном и вдумчивом взоре юноши не было того благоговения, на какое вправе был рассчитывать такой человек, как Иегуда Ибн Эзра.

Но нет, у его гостей не было недоброжелательных мыслей. С каким жаром они опровергали дону Вениамина. Защищая Мардохея, они защищали его, Иегуду. И он с удовлетворением увидел: они не злобствуют на него за то, что он облагодетельствовал их.

В самом деле, они нашли страстные доводы в защиту милого их сердцу Мардохея. Будь Мардохей гордецом, разве стал бы он скрывать, что царица — его племянница и приемная дочь? И разве гордец стал бы смиренно, точно нищий, сидеть у ворот царских? И Эсфирь он воспитал в духе смирения. С великим смирением, а не с ложной самоуверенностью отважилась она совершить тяжкий путь к царю, который мог стать для нее путем к смерти. В изустном предании сохранилась ее молитва: «Тебе ведомо, господи, что я не льстила на великолепия царского дворца. Нет, воистину нет. Подобно тому как женщине противны одежды, которые она носит в те дни, когда бывает нечистой, так и мне претит носить пышное царское платье и золотой венец. С тех пор как я здесь, у меня нет иных радостей, как только в тебе, господи. И ныне, господи боже мой, утешитель обремененных, помоги мне в горести моей, дай мне умилистить языческого царя, перед которым я трепещу, как агнец перед волком».

Недоверие Иегуды рассеялось. Нет, толедские евреи не желают ему зла. Они видят в нем человека, подоб-

ного Мардохею, человека, который велик среди свреев и отличен от всех своих братьев, который желает добра своему народу и печется о благе для всего своего племени.

— Уж не возвеличился ли ты думой, любезный Иегуда? — спросил его Муса. — Не возомнил ли себя Мардохеем?

— Ты сказал, — не то в шутку, не то всерьез ответил Иегуда.

Он лег спать счастливый и утомленный.

Но ум его не переставал работать и во сне. Когда он проснулся на следующее утро, из впечатлений и ощущений минувшего дня у этого удивительного, многогранного человека вырос замысел, полезный для его дела.

Аман бросил жребий, чтобы узнать, на какой день придется избиение евреев, но жребий показал день их спасения и возвышения; день, на который пал жребий, праздник пурим, евреи называли днем Эсфири.

Люди любят метать жребий, бросать вызов счастью, допытываться, к кому милостив господь, а к кому нет. Почему бы ему, Иегуде, не сыграть на этой людской склонности? Именем короля он объявит крупную игру, выставит огромную урну с билетиками, и каждому за ничтожные деньги будет дозволено попытать счастья. Правда, каждый отдельный взнос мало что прибавит к королевской казне, зато оборот такого размаха принесет огромную выгоду.

В тот же день Иегуда занялся подсчетами для грандиозной кастильской лотереи.

После того как на коронном совете выяснилось, что переговоры с Арагоном — вопрос долгих месяцев, дону Альфонсо не терпелось вернуться в Толедо. Но он понимал, что донья Леонор разгадала его нечестную игру. Хотя она по-прежнему держала себя ровно и приветливо, он помнит и никогда не забудет, как она бросила ему прямо в лицо — весь христианский мир будет стыдиться тебя. На ее ясном челе он читал откровенное презрение и не хотел бежать от него.

Итак, он проводил в Бургосе долгие мучительные дни, томился по Ракели и Галиане. Но не спешил уехать.

На третий месяц он решил, что принес достаточную жертву долгу, и стал готовиться к отъезду.

Печальное обстоятельство задержало его.

Донья Леонор в свое время написала ему правду: маленький инфант Энрике прихварывал. А тут внезапно болезнь приняла плохой оборот. Врачи признали себя бессильными.

Альфонсо впал в отчаяние и считал это несчастье божьей карой. Он вспомнил, как, желая подразнить Родриго, говорил тогда, что бог, по-видимому, доволен им, Альфонсо; за что бы он ни взялся, все, божьим соизволением, кончается благополучно. Родриго же ответил, что тем страшнее бывает наказание, постигающее грешников на том свете, и надо почитать милостью божьей, если господь карает грешника еще в земной его жизни. Но если это и милость, то милость жестокая. Однако Альфонсо заслужил любую кару. Он слукавил на коронном совете, признал правильными хитрые, лживые доводы еврея и трусливо увильнул от священной своей обязанности — от войны. И раз господь поверг его наследника, значит, он, король, сотворил страшный грех.

И донья Леонор донимала себя суеверными упреками. Она выдала недомогание инфанта за настоящую болезнь, лишь бы отвлечь Альфонсо от еврейки и заманить в Бургос. А теперь мстительное провидение превращает ее своекорыстную ложь в правду. В бессильном отчаянии сидела она подле горящего в жару, задыхающегося ребенка.

На помощь бургосским врачам из Толедо приехал старый мудрец Муса Ибн Дауд.

Дон Иегуда смертельно испугался, услышав о болезни ребенка. Если с инфантом что-нибудь случится, тогда уж донья Леонор непременно добьется обручения принцессы Беренгелы с доном Педро и никакие, самые хитроумные замыслы не помешают заключению союза, а значит — войне. Дон Иегуда немедленно потребовал, чтобы альхама заказала молебствия об исцелении инфанта; толедские евреи молились очень ревностно, они понимали, как это важно для них. Одновременно же Иегуда попросил Мусу отправиться в Бургос. Старый врач сперва воспротивился. Он хотел подождать, пока его позовет король. Но Иегуда настоял на его немедленном отъезде.

И вот он прибыл. При всей своей неприязни к старому сычу, король вздохнул с облегчением и радостно

сообщил донье Леонор, что здесь теперь Муса Ибн Дауд, лучший врач на всем полуострове, и он уж непременно спасет мальчика.

Но тут вдруг ясное, спокойное лицо доньи Леонор ужасающе исказилось, она стала не похожа на себя, и вся ее ненависть прорвалась наружу.

— Мало вы с твоей еврейкой натворили бед? Вам еще и моего сына понадобилось извести? — накинулась она на него, и ее обычно мелодичный голос стал визгливым и неприятным. Она заговорила на своем родном французском языке. — Клянусь оком господним! — припомнила она излюбленную божбу своего отца. — Скорее я собственными руками убью этого человека, чем подпущу его к моему ребенку!

Альфонсо отшатнулся. Это была совсем другая Леонор, не та, которую он знал целых пятнадцать лет. Даже на коронном совете, нанося ему такое жестокое оскорбление, она постаралась сохранить обычный голос и манеры; а сейчас впервые она дала волю той страсти, которая толкала ее родителей на самые чудовищные поступки. И он, Альфонсо, был виноват в этом, он сделал из благородной дамы и королевы бесноватую.

Инфант Энрике скончался в страшных мучениях.

Донья Леонор сидела, замкнувшись в ожесточенном молчании. Но сквозь беспредельную скорбь пробивалась горькая и злобно-радостная уверенность, что именно эта утрата привела ее к цели. После смерти инфанта наследницей кастильского престола снова становится Беренгела, и теперь ее обручение с доном Педро превращается в долг перед всем христианским миром. Теперь уж никакой еврей, ни даже сам дьявол не помешают войне. Теперь дону Альфонсо придется выступить в поход и разлучиться с еврейкой. Но в то время, как она с жестокой издевкой над собой прикидывала выгоды, за которые заплатила такой страшной ценой, ей вдруг представился Альфонсо в доспехах, готовый к бою; вот он наклоняется к ней с коня, веселый, порыцарски уверенный в себе. Все эти месяцы она не ощущала ничего, кроме безудержного желания наказать его, а тут вся прежняя любовь разом нахлынула на нее.

Альфонсо и сам был потрясен. Он сидел, уставясь в одну точку померкшим взглядом, лицо у него посерело, и волосы висели космами. Жестокое раскаяние терзало его. Зачем он лукавил перед самим собой, уговаривая себя, будто ему удастся обратить Ракель в христианство? Ведь он с самого начала знал, что не удастся. Эта женщина поразила его, точно тяжкий недуг, он и это знал, но не желал знать. Он на все закрывал глаза и притворялся слепым. Но теперь господь открыл ему глаза, и перед ним вспыхнул беспощадно яркий свет.

В эту ночь, пока маленький инфант покоился на катафалке в капелле замка, а вокруг курились волны ладана, горели огни свечей и жужжали молитвы священнослужителей, во время долгого ночного бдения Альфонсо и Леонор объяснились начистоту. Он без околичностей спросил ее, сколько времени ей потребуется, чтобы устроить обручение Беренгелы с доном Педро. Она ответила, что все условия можно будет подписать уже через несколько недель.

— Тогда, значит, я месяца через два могу выступить в поход, — заключил Альфонсо. — Так оно и лучше, — вырвалось у него.

Донья Леонор сидела покорная, кроткая, печальная, исполненная достоинства. Она думала о том, сколько горя пришлось им обоим претерпеть, прежде чем он выбрался из этой тины. В памяти у нее прозвучали слова, которые ее мать написала из заточения святому отцу: «Божьим гневом королева Английская». Она вела рассудительный, бесстрастный разговор с Альфонсо, а в душе у нее звучали слова: «*In ira dei regina Castiliae*»¹.

Обычным своим звонким голосом она как бы вскользь сказала, что, перед тем как выступить в поход, ему следовало бы очиститься от всякой скверны. Он сразу же все понял. Его жгло воспоминание о том, как она унизила его перед посторонними и как еще два дня назад ее ненависть прорвалась в проклятиях и поношениях. Сейчас же и лицо и голос у нее были невозмутимы, казалось, ей жаль его и обращается к нему не гневная, карающая, а любящая женщина.

— Я отошлю ее прочь! — с жаром пообещал он.

¹ Гневом божьим королева Кастилии (лат.).

Подъезжая к воротам Галианы и читая начертанное на них приветствие: «Алафия — мир входящему», — а затем увидев мезузу, в которой он выбил стекло, король злорадно предвкушал, как он скажет Ракели: «Я отправляюсь на войну, мы расстаемся, так угодно богу». А сказав это, он тотчас же вернется в Толедо.

Но вот она предстала перед ним, ее серо-голубые глаза светились, все лицо ее светилось, и решимости его как не бывало. Правда, он еще силился не выпустить из виду свое обещание. Да он и сдержит это обещание, он скажет ей, что им надо расстаться. Только не сейчас, не сегодня.

Он обнял ее, пообедал с ней, поболтал с ней, они вместе прошли по саду. Она, эта женщина, была совсем иная, чем в его воспоминании, много прекраснее, и как это он мог вообразить, будто в ней есть что-то от ведьмы?

Когда спустились сумерки, были забыты и смерть инфанта, и священная война. Настала ночь, и это была блаженная ночь.

Утром они позавтракали вместе, как бывало. Но тут он стал неразговорчив. Он чувствовал, что надо высказаться. Что каждая минута промедления бессмысленна, преступна.

Она непринужденно щебетала, рассказывая о мелких событиях, происшедших за это время. Дядя Муса тут без конца расписывал бургосские строения. Ему самому, объяснял он, приятнее мусульманские города и жилища; однако он не может отрицать своеобразие строгой, устремленной ввысь простоты христианских замков и городов: в них есть величие.

Альфонсо раздражало и то, что говорила Ракель, и как она об этом говорила. Она тем самым напоминала ему о Бургосе, о болезни мальчика и о бешеной вспышке доньи Леонор; да и первую их беседу припомнил он, когда Ракель так дурно отзывалась о его бургосском замке.

И опять, как в ту минуту, когда он подъезжал к Галиане, им овладело злое настроение.

— Видно, твой дядюшка не дурак, — сердито и грубо сказал он. — Мусульманская роскошь быстро надоедает. Мне вот тоже приелась Галиана. Через несколько

недель я выступлю в поход. А в Галиану не вернусь больше никогда.

Она посмотрела на него так, словно не поняла его. А потом без чувств упала навзничь. От неожиданности он замер на месте. Он приготовился отклонить ее жалобы и в резких, решительных выражениях объяснить ей, что иначе нельзя. Но сейчас он казался себе не рыцарем, а грубияном. Ему случалось видеть, как умирают друзья, и, прочитав над ними «Отче наш», сражаться дальше. А перед этой лежащей без чувств женщиной он стоял как потерянный. Он взял ее на руки, гладил, бережно прижимал к себе, смачивал ей лоб водой.

Казалось, прошла вечность, прежде чем она открыла глаза. Сперва она не могла сообразить, что с ней. Потом сообразила, сказала:

— Прости мою слабость. Ведь я понимала, что это не может продолжаться вечно. Я знаю, что случилось в Бургосе, мне сказала кормилица Саад, и мне надо было об этом помнить и не заговаривать с тобой о Бургосе. Прости, что это меня подкосило. Теперь я стала особенно чувствительной, потому что я беременна.

Он устался на нее, от растерянности открыв рот. Потом расхохотался громовым, оглушительным, счастливым смехом.

— Да это же великолепно! — воскликнул он. — Поистине я баловень счастья.

Он, топоча, приплясывая, бегал по комнате, потом схватил Ракель в объятия, неистово стиснул ее.

— Хорошо, что я не в доспехах, — сказал он, — иначе я бы изранил тебе грудь, бедняжка.

А про себя думал: «И на такую пленительную женщину я накричал, как неотесанный мужлан! И когда говорил, ведь сам знал, что говорю неправду. Разве можно ее покинуть!»

Вслух он повторил то же самое. А потом прижимал ее к себе, успокаивал, убеждал, мешая кастильский и арабский языки, страстно обвинял себя, бормотал какой-то несвязный влюбленный вздор.

Он думал: «Поистине я любимейшее дитя у господ. Он играет со мной, как отец со своим малым сыном. Дразнит меня с притворной злобой, чтобы еще щедрее одарить потом. В тот раз он навязал мне на шею дурацкую войну и тут же поразил в сердце дядюшку Альфон-

со-Раймундеса. Он отнял у меня маленького Энрике, а теперь дарует мне сына от самой любимой, единственно любимой женщины. Я считал, что это кара, а это оказалось милостью».

Он с трудом удержался, чтобы и это не сказать Ракели. У короля могут быть такие радостно-горделивые мысли, но высказывать их вслух не смеет даже король.

Он вспомнил обещание, данное донье Леонор. Оно больше не действительно. При таких обстоятельствах оно не действительно. Раз Ракель должна родить ему сына, значит, господь прощает и одобряет его. Он думал: «Король обязан прислушиваться только к своему внутреннему голосу. Богу не угодно, чтобы я сейчас уже выступал в поход. Внутренний голос меня не обманывает. И я не выступлю в поход, а буду дожидаться, пока господь укажет мне урочное время».

Он думал: «Разве можно ее покинуть! Да лучше претерпеть тысячу смертей!» Он был несказанно счастлив. И несказанно счастлива была она.

И жизнь в Галиане потекла по-прежнему.

Чрезвычайный посол, кардинал Грегорио ди Сант-Анджело, вручил королю собственноручное послание святого отца. Папа спешил напомнить своему возлюбленному сыну, королю Кастильскому, о решении Латеранского собора, по которому христианским государям воспрещалось давать евреям власть над христианами, и с отеческой строгостью требовал, чтобы он наконец-то отрешил от должности этого пресловутого Ибн Эзру. Если бы сатана, пользуясь происками министров-евреев, так писал папа, не разжигал рознь между августейшими испанскими монархами, они давно бы уже были единокорольными.

Альфонсо заподозрил, что письмо было составлено стараниями доньи Леонор или архиепископа. Но он даже не рассердился — настолько чувствовал свою независимость и превосходство. Им руководил внутренний голос, повелевавший: «Не отсылай еврея прочь. Во всяком случае, не теперь, а потом, когда-нибудь».

Он почтительнейше ответил кардиналу, что ему очень тягостно столько лет пользоваться услугами советчика,

неугодного святому отцу. Однако лишь с помощью Ибн Эзры ему удастся снарядить крестовый поход против неверных. Как только он одержит победу и, значит, не будет более нуждаться в советах сметливого еврея, он, как и подобает преданному сыну, не замедлит исполнить волю святого отца.

Кардинал Грегорио, известный златоуст, произнес проповедь в соборе. Много веков тому назад, так вещал он, задолго до других христиан обитатели Иберийского полуострова подняли меч против неверных. Но сатана посеял рознь между монархами, и они обратили мечи свои друг против друга, а не против общего врага всех христиан. Ныне же всемогущий растопил их сердца, и вся Испания с неостывшим жаром готова возобновить свою давнюю борьбу против неверных. Такова воля божия!

После смерти маленького инфанта кастильцы только и мечтали, чтобы началась долгожданная война, а потому проповедь кардинала проняла их до самого нутра. Вездесущая, возвышающаяся над мирской юдолью церковь с самого детства внедряла в них сознание, что земное бытие преходяще; теперь же здешний мир окончательно потерял для них ценность ввиду очевидной близости вечного блаженства. Ибо всякий, кто идет воевать, получает отпущение грехов; он либо воротится домой непорочным, как дитя, либо, если ему суждено пленение или смерть, его ждет верная награда на небесах. Даже те, кому довелось вкушать изобилие и покой последних счастливых лет, не печалились об утрате этих благ, а лишь старались приукрасить неизбежное, рисуя себе более возвышенные радости, которые ждут их в раю.

Мужчины, способные носить оружие, спешили избавиться от собственности; мелкие усадьбы, мастерские и тому подобное имущество можно было приобрести за дешево; зато возросло в цене все, что потребно для войны; у оружейных мастеров, торговцев кожами и торговцев ладанками отбою не было от заказов. Садовник Белардо извлек дедовский колет и шлем и смазал кожу маслом и жиром.

Архиепископ дон Мартин оживился, почуяв, что война по-настоящему недалеко. Теперь у него всегда из-под духовного одеяния виднелись воинские доспехи. Он за-

был свой гнев на Альфонсо и Галиану и не устал славить господа, властной рукой обратившего грешника на стезю рыцарской добродетели.

Увидев, что его помощник Родриго не разделяет общего воодушевления, он принялся ласково увещевать каноника. Тот признался, что к радости по поводу благочестивого предприятия у него, точно капля крови в кубке вина, все время примешивается мысль о множестве жертв, которых война потребует теперь и от Испании. На то люди и созданы господом, возразил дон Мартин, чтобы участвовать в бранных схватках и битвах.

— Хотя господь и даровал им власть над всеми животными, однако же волей божией им сперва надлежало завоевать эту власть, — заключил он. — Уж не думаешь ли ты, что дикий бык без борьбы впрягся в плуг? Без сомнения, господь и ныне благоволит к тому рыцарю, который одолевает быка. Сознаюсь тебе без стыда, из всех истин, изреченных Спасителем, мне всего дороже та, которую передает Матфей: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю; не мир пришел я принести, но меч». — Он повторил этот стих в подлиннике. — «*Allà màchairan!*»¹ — торжествуяще выкрикнул он, и греческие слова Евангелия прозвучали куда звонче и воинственнее, чем привычные латинские *sed gladium*².

Это громогласное напоминание о мече до самого сердца пронзило дону Родриго, уязвленного еще и тем, что не бог весть какой ученый архиепископ из всего греческого подлинника запомнил только эти слова. Дону Родриго ничего бы не стоило противопоставить этому единственному евангельскому речению, где восхваляется война, множество других, благостно и величаво славящих мир.

Однако господу угодно было облечь сердце архиепископа в железную броню, так что он внимал лишь тому, чему ему хотелось внять. Каноник сокрушенно промолчал.

А дон Мартин продолжал его вразумлять:

— Когда настанет весна, цари выступят в поход. Так написано во второй книге пророка Самуила. Так

¹ Но меч (греч.).

² Но меч (лат.).

тому и назначено быть. Прочти это место, возлюбленный брат! Прочти также о войнах властителей в Книге Судей и в Книгах Царств! Не гляди так жалостно и лучше почитай, как господь сам помогает воевать и как война объединяет верующих, объединяет государство и истребляет язычников. Правоверные иудеи древности шли на битву с воинственными возгласами и повергали врагов! У них был свой боевой клич: *хедад*. Я услышал его от тебя. Хедад, — как это звучно и хорошо! Но наш *deus vult*, так хочет бог, тоже звучит неплохо, он помогает крушить направо и налево. Подхвати его, возлюбленный брат! Откинь от себя уныние и возвеселись сердцем!

Но каноник упорствовал в своем скорбном молчании, и тогда архиепископ закончил доверительным тоном:

— И не забудь, что война принесет нам и другое благо — она наконец прекратит мирное прозябание нашего отважного Альфонсо и вырвет его из этого смрадного болота.

Однако дон Родриго видел все отнюдь не в таком радужном свете, как архиепископ. Где-то в глубине души у него копошилось сомнение, действительно ли кончина ребенка пробудила короля от греховного сна, а также затаенный страх, что Альфонсо и впредь будет лавировать между грехом и долгом.

Взяв себя в руки, он сурово приступил к своему духовному сыну.

— Ты, сын мой и государь, отправляешься в поход, но помни одно, — предостерег он, — мало крушить мечом, отпущение грехов даже и на войне будет даровано тебе, только если ты покаешься чистосердечно, и не на словах, а на деле. Выслушай меня, сын мой Альфонсо, и перестань лгать, как ты до сих пор лгал себе, мне и всем остальным людям. Ты сам знаешь, что нам не суждено спасти душу этой женщины. Усердным молениям твоих любящих уст не удалось тронуть ее сердце, да и моим словам господь не дал убедительной силы. Тебе не дозволено жить с ней. Вырви грех из своего сердца. Не иди на войну во грехе. Господь умертвил твоего сына, как он умертвил сына фараонова, когда фараон не захотел отречься от греха. Внемли предостережению. Расстанься с этой женщиной. Сейчас же. Немедленно.

Альфонсо не прерывал каноника. Он ощущал такую легкость, словно парил надо всем, и злые речи не могли разгневать его.

— Мне надо кое-что сказать тебе, отец и друг мой, — почти весело ответил он, — пожалуй, мне следовало давно сказать тебе об этом: Ракель беременна. — Он подождал, пока тот прочувствует его слова, и продолжал радостно и доверчиво: — Да, господь вновь благословил меня. Правда, он до сих пор не дал мне спасти душу Ракели, но это снова была благодетельная уловка, чтобы привести меня к цели окольными путями. Нет, я *не одну* душу подарю христианству, — ликующе выкрикнул он, — у меня будет дитя от Ракели, и, можешь не сомневаться, когда я окрещу младенца, мать поспешит креститься вслед за ним. Я очень счастлив, отец и друг мой дон Родриго.

Каноник был глубоко потрясен. В то время как он, сделав над собой усилие, сурово отчитывал своего возлюбленного сына, тот и сам уже узрел свет. «Помыслы мои неисповедимы для вас, и неисповедимы пути мои», — сказал господь; и Альфонсо понял это лучше него.

— Теперь ты не станешь требовать, чтобы я расстался с ней, — говорил между тем Альфонсо, улыбаясь и сияя. — Пусть все остается по-прежнему, пока я не выступлю в поход, — вкрадчиво попросил он. — Неужто ты пожелаешь, чтобы я отослал мать моего ребенка? Господь отпустил мне уже не одну вину. И раз я пойду сражаться за него, он посмотрит сквозь пальцы, если я не слишком жестоко обойдусь с этой пленительнейшей из женщин.

Впоследствии Родриго укорял себя за свое согласие. Но, увы, он так понимал дону Альфонсо! Альфонсо любил Ракель, и даром же Вергилий, благочестивейший из язычников, самый близкий христианству, пел о чарах любви, о том, как она завораживает чувства и душу, отнимает свободу воли и нечеловеческой властью подчиняет себе человека. А донья Ракель была достойна любви, она была прекрасна, прав был народ, называя ее Фермоза, ее красота трогала и его, Родриго, и будила в нем благоговейные чувства. Он не думал оправдывать короля даже перед самим собой. Но, быть может, господь поставил эту женщину на пути этого муж-

чины, дабы сильнее было искушение и лучезарное торжество.

Вспоминая разговор со своим духовным наставником, Альфонсо испытывал стыд и раскаяние. В то время как священнослужитель из отеческой любви и дружбы вел свои лживые речи, сам он постарался перещеголять его во лжи. Он сделал вид, будто война предстоит очень скоро, и на этом основании выговорил себе право погрешить оставшийся короткий срок. А в действительности знал, что война предстоит вовсе не так скоро. Ведь и он всячески старался отсрочить ее.

Те же самые спорные вопросы, которые препятствовали заключению союза, мешали теперь договориться о приданом инфанты Беренгелы, а значит, и заключить союз. У дон Хосе в Сарагосе возникали все новые и новые вопросы, у короля Генриха Английского тоже, и стоило прояснить одно, как становилось неясным другое.

Альфонсо отлично понимал, что все эти препятствия чинит Иегуда, но разыгрывал недовольство и нетерпение, а сам хотел, чтобы Иегуда выдвигал все новые возражения, и сам подстрекал к ним. Они видели друг друга насквозь, и каждый понимал тайные желания другого, но ни один не сознавался в этом, они играли в нескончаемую и хитрую игру, между ними был безмолвный сговор, они, король и его эскривано, стали сообщниками.

При этом дон Альфонсо ревновал к еврею, потому что Ракель была привязана к отцу, а Иегуда ревновал к Альфонсо, потому что Ракель любила короля. И Иегуда, всматриваясь в лицо Ракели, радовался, находя сходство с собой, а Альфонсо, всматриваясь в лицо Ракели, досадовал, находя у нее общие черты с отцом. Но оба старательно и не без злорадства продолжали вести свою хитроумную игру. Даже с глазу на глаз оба притворялись, будто деятельно стремятся к союзу с Арагоном и обручению, и оба непрерывно сводили на нет то, о чем так усердно хлопотали.

Когда дону Мартину стало ясно, что король по-прежнему большую часть времени проводит в Галиане и с помощью недостойных уловок продолжает оттягивать священную войну, архиепископ дал волю своему возмущению. В проповедях он теперь громил короля, кото-

рый внимает советам обманщиков-евреев и подчиняет христиан усмотрению и произволу обрезанных, тем самым угнетая церковь Божию и поощряя дьяволу синагогу.

Славный своими добродетелями великий писатель древности говорил так: «*Sicut titulis primi fuere, sic et vitiis* — первые в почестях, первые и в пороках». То же самое происходит ныне в злосчастной Кастилии. И он поминал царя Соломона, которого распутные наложницы совратили в язычество.

По всей стране священнослужители следовали примеру архиепископа. Они открыто заявляли, что еврей, как истый посланец ада, построил на саладинову десятину волшебный замок Галиану и посадил в него свою дочь, дабы она околдовала короля. Ракель они именovali не иначе, как вестницей сатаны.

Кастильцы увидели, что они обмануты. Их собственный король отнял у них все благодетели священно войны. Студенты высмеивали дону Альфонсо в сатирических песенках, называли его рыцарем-лежебокой, спрашивали, когда он подвергнется обрезанию. Вся страна была ошеломлена и возмущена.

Но при всем благочестивом негодовании многие радовались, что с войной можно повременить, и приводили старинную пословицу: «Лучше вареное яйцо в мирную пору, чем жареный бык в войну». Однако Кастилия была страна богобоязненная, а длительный мир неугоден господу, и даже те, кому такое положение было по душе, высказывали свои истинные чувства, лишь замкнувшись у себя в четырех стенах. А на улицах и в кабаках все по-прежнему дружно жаждали священной войны и уповали на то, что господь вразумит заблудшего дону Альфонсо. Вся страна участвовала в лицемерной игре короля и его еврея.

К дону Родриго пришел за советом священник из какого-то небольшого местечка. Один из его прихожан, канатных дел мастер, человек набожный и трудолюбивый, задал ему вопрос:

— За последний год господь благословил прибылью мои труды и мне удалось отложить два золотых мараведи; почему же он посылает меня воевать с неверными и губит мое дело именно теперь, когда оно так хорошо наладилось?

Каноник сразу же разгадал увертки дона Альфонсо. Но, возмущаясь, он вместе с тем радовался сохранению мира; следовательно, он сам грешил не меньше, чем канатных дел мастер. Осознав это, он потерял равновесие и дал священнику столь легкомысленный ответ, что сам Муса мог бы позавидовать его беспечному остро словию. Он попросту привел случай из жизни святого Августина. Кто-то однажды спросил святого: «Чем занимался господь бог до того, как создал небо и землю?» На что Августин ответил: «Создал ад, чтобы отправлять туда людей, задающих подобные вопросы».

Весть о том, что Ракель беременна, еще пуще разожгла ярость враждебно настроенных грандов и прелатов. Народ же очень доброжелательно принял эту новость. Простые люди свыклись с мыслью, что можно еще какой-то срок пожить в мире, и были довольны, что до разрешения от бремени барраганы, королевской наложницы, войны, во всяком случае, не будет и не придется снова ломать свою мирную жизнь. Они ласково и умиленно говорили о беременной Ракели и снисходительной усмешкой выражали сочувствие человеческим слабостям дона Альфонсо. Они не возражали против того, чтобы у их рыцарственного короля был сын от красавицы еврейки, и в беременности Ракели усматривали знак благоволения божия. Не зря же господь как раз перед военным походом даровал своему помазаннику новое дитя взамен умершего сына.

Как тут не похвалить красавицу! Видно, в амулете, который она велела повесить над входом в Галиану, была большая чародейная сила. И многие старались добыть себе этот амулет — мезузу.

Прелатов и баронов приводило в ярость такое греховное тупоумие. Откуда-то пошли слухи о дурных предзнаменованиях. Говорили, что Ракель, когда вместе с королем удила рыбу в Тахо, выловила человеческий череп; об этом будто бы рассказывал садовник из Галианы.

Но и эти слухи не возымели действия и не отразились на умиленном сочувствии кастильцев к благословленной богом любовной связи короля-рыцаря и Фермозы. Наперекор всем стараниям архиепископа кличка «Вестница Сатаны» не пристала к донье Ракель, ее по-прежнему называли только Фермоза.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Чтобы осуществлять свою головоломную задачу — одновременно способствовать и препятствовать заключению союза, — дону Альфонсо приходилось подолгу бывать в Толедо, и донья Ракель часто оставалась одна. Но она догадывалась, что Альфонсо у себя в замке, сообщая с ее отцом, строит какие-то хитроумные планы для ее же блага, и в своем одиночестве не терзалась, как бывало раньше, жгучей тоской. Она часто навещала кастильо Ибн Эзра. Придя туда, она забивалась в угол рабочей комнаты Мусы, просила, чтобы он не обращал на нее внимания, и следила за тем, как он шагал из угла в угол, обдумывая что-то, или писал за высоким столом, или рылся в книгах.

Каноник в это последнее время избегал встречаться с доньей Ракель, зато молодой дон Вениамин появлялся очень часто. Он был глубоко взволнован и озадачен тем, что любимая им женщина, принадлежащая к роду Ибн Эзра, царевна из дома Давидова, должна родить младенца кастильскому королю. Он боялся за любимую, предвидел, какая борьба возгорится вокруг нее и ее ребенка, и ему хотелось придать ей силы для этой борьбы.

Но, говоря о величии иудейской веры, он уже не принуждал себя, как в тот раз, в присутствии каноника, быть по-научному бесстрастным; нет, теперь он согревал собственным чувством те слова, которыми еврейские ученые и поэты старались доказать превосходство иудейского мировоззрения над языческой философией и над тем, что проповедовал Иисус из Назарета. Ведь учение великого язычника Аристотеля питает лишь ум, меж тем как мудрость иудеев удовлетворяет потребности не только разума, но и чувства, она направляет на путь истинный не только мысли, но и поступки человека. И если основатель христианства возвестил, что страдание — высшая добродетель и священнейшее назначение человека, то ни один из народов в такой степени, как народ Израиля, не претворил в действительность это учение. В назидание человечеству народ Израиля уже многие столетия носит благородный венец страдания.

Дон Вениамин вдохновенно рассказывал Ракели о человеке, который всего лишь полвека назад переложил это учение в прекрасные стихи, — о последнем

великом пророке Израиля, Иегуде Галеви. Он подробно изложил ей его апологию иудейства и прочел одну из «Сионид» Иегуды: «О Сион, царственный приют! Будь у меня крылья, я полетел бы к тебе. Благоговейно и смиренно лобызал бы твой прах, ибо даже прах твой благоухает, точно бальзам. Могу ли я жить, когда псы терзают твоих мертвых львов? О лучезарная обитель господня, как чернь и рабы бесчинствуют ныне на твоём престоле!» И вот этот самый Иегуда Галеви немощным старцем с превеликим трудом совершил путь до Святой земли и у самых стен святого города Иерусалима был убит мусульманским рыцарем.

Но, дав волю душевному порыву, Вениамин уже стыдился своей восторженности и шутливым замечанием пытался перейти на обычный, будничныи тон. Или же доставал тетрадь и просил у Ракели разрешения нарисовать ее. «Какой же ты праведник и... какой еретик!» — с улыбкой говорила она. Он сделал с нее три наброска. Она попросила, чтобы он отдал ей эти рисунки; она боялась, что тот, у кого есть ее изображение, приобретет власть над ней самой.

Как-то раз, особенно ясно ощущая их взаимную духовную близость, он признался ей в своем последнем, сокровенном убеждении.

— Мы тоскуем о Святой земле, — так начал он, — мы молимся о пришествии мессии, однако, — тут он так понизил голос, что она почти не слышала его, — однако на самом деле мы вовсе не хотим, чтобы пришел мессия. Он помешал бы нашему непосредственному общению с богом, отнял бы у нас какую-то долю божества. У других есть и государство, и родина, и бог, и они чтут все это, и все это смешано в их сознании, и бог — лишь часть того, что они чтут. У нас же, у евреев, есть только бог, и потому мы обладаем им в целостной чистоте. Мы отнюдь не нищие духом и не нуждаемся в посреднике между богом и нами — ни в Христе, ни в Магомете. Мы осмеливаемся без посредников созерцать и чтить бога. Уповать на Сион лучше, это делает жизнь богаче, чем обладать Сионом. Ожидание пришествия мессии побуждает нас делать землю достойной его, это мечта, а не действительность, и пусть оно так и будет. Зачем нам быть косными и нерадивыми обладателями добра, куда лучше стремиться к добру и бороться за него.

Хотя Ракель глубоко уважала ум и душу доня Вениамина, его слова о мессии не понравились ей. Нельзя доходить в ереси до такой крайности. Она не хотела и не могла верить, что мессии вообще не существует, что он придет не так уж скоро или даже вовсе не придет.

Об этом она знала лучше, чем он.

Относительно времени пришествия мессии было множество пророчеств. Тысячу лет, так гласили они, продлятся бедствия народа Израилева, тысячу лет проведет он в изгнании, рассеянный по всему свету. Но тысяча лет давно истекла. И враги снова ополчились против Иерусалима, и настало время, когда, по слову пророка Исайи, молодая женщина родит сына, и то будет Иммануил, мессия. Потому-то в последние десятилетия особенное почтение внушали еврейские женщины в пору беременности; ибо мудрецы учили, что каждая может оказаться избранницей и родить Иммануила.

Ее собственная необыкновенная судьба подсказывала Ракели мысль, что именно она носит во чреве мессию. Он должен быть из дома Давидова, а разве она, дочь Ибн Эзров, не царевна из дома Давидова? И разве великое и опасное счастье быть избранницей и подругой христианского короля не свидетельствует о ее особом предназначении? Она ощупывала свой живот, прислушивалась к тому, что свершается у нее внутри, улыбалась углубленной в себя улыбкой, и в ней все крепла вера, что она вынашивает князя мира, мессию. Но она никому не говорила об этом.

Кормилица опекала ее, указывала, что ей можно есть, а чего нельзя, когда ей надо почивать и когда гулять. Ракель притворялась покорной, но почти не слушала ее. Она заметила, что раболепно-угодливый Белардо бросает ей вслед злобные взгляды, но она не боялась его злого глаза. Счастье ограждало ее от всего и вселяло в нее покой. Она звонко смеялась, вспоминая, как ее севильская подружка Лейла сказала ей: «Бедная ты моя».

Она читала псалмы, один из них особенно запал ей в душу. Не понимая смысла величавых и давно отзвучавших слов, она по-своему толковала их.

«И возжелает царь красоты твоей, — говорилось там, — ибо он господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять

лице твое; вся слава дщери царя внутри; одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю. Приводится с веселием и ликованием, входит в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род; посему народы будут славить тебя во веки и веки».

И Ракель гордилась не менее своего отца.

Нередко, глядя на Ракель, Альфонсо ощущал нежность, доходящую до боли. Ее личико осунулось, оно казалось ему еще более детским и вместе с тем умудренным, движения ее стали необыкновенно плавными; свободные одежды скрадывали округлившийся живот. Она явно ничего не боялась, порой ему чудилось, будто она вся лучится безудержным счастьем.

Он очень жалел, что из-за дел принужден постоянно разлучаться с ней. Как-то раз он сказал ей, что оставляет ее так часто одну не от недостатка любви. Совсем наоборот, уверял он.

По пути в королевский замок он постарался сам понять, что подразумевал под этим «наоборот». И тут ему стало совершенно ясно, что он, потворствуя своему греху, втайне непрестанно разрушает то святое дело, о котором ратует перед лицом всего света. Он отчетливо увидел, какие гадкие козни плетет вместе с Иегудой. Папа прав. Он заключил союз с сатаной, дабы чинить препоны священной войне. Он чувствовал, что губит свою душу.

Но он знал и средство спасти ее. Надо обратить Ракель в истинную веру. Хотя бы даже употребив силу. И сейчас, немедленно, до того, как она разрешится от бремени. Пусть она христианкой родит ему сына. Так ему угодно.

Однако, воротясь в Галиану, он увидел, какой хрупкой сделала ее беременность, увидел, что только уверенность в своем счастье придает ей силы, и у него не достало духу начать разговор, который мог повредить ей.

Ничего не предприняв, он безвольно отдался счастью.

Как и прежде, они по целым дням ничего не делали и были очень заняты. Ракель снова рассказывала ему сказки, а он дивился, как складно льются у нее слова,

как одна сказка вытекает из другой, как она выдумывает их, и сама верит своим выдумкам, и его заставляет верить им.

Да, Ракель была красноречива, она находила нужные выражения для всего, что ее волновало.

Впрочем, не для всего. Она не умела высказать Альфонсо, как любит его, да и нигде, кроме древних песен в Великой Книге, не нашлись бы для этого подходящие слова. И вот она рассказывала ему о звучных, ликующих, страстных стихах Песни Песней. Она пыталась перевести эти стихи для него на свой арабский язык, и на его вульгарную латынь, и на им одним понятную помесь этих двух языков. Только так могла она высказать ему всю свою любовь.

Она прочла ему и туманные стихи того псалма, где в чересчур пышных словах превозносится блеск и слава царя и краса его невесты. Он был несказанно удивлен, что древние иудейские цари были еще горделивее христианских королей-рыцарей.

Но вот однажды утром он, по внезапному наитию, собрался с духом и попросил ее сломать наконец последнюю преграду, разделяющую их, и перейти в истинную веру, дабы она уже христианкой родила ему сына-христианина. Ракель посмотрела на него скорее с изумлением, нежели с укором или гневом.

— Этого я не сделаю, и не заговаривай больше об этом, Альфонсо, — тихо, но решительно сказала она.

На следующий день она показала Альфонсо те три наброска, которые сделал с нее дон Вениамин. Он долго и старательно вглядывался в рисунки. Как объяснила ему Ракель, дону Вениамину потребовалось немало мужества, чтобы нарисовать ее; рисовать чье-либо изображение запрещается и законом Моисея, и законом Магомета. Дону Альфонсо не понравилось, что Ракель знает с этим доном Вениамином; надо полагать, Вениамин поддерживает в ней ее злостное упорство.

— Раз ему не дозволено рисовать, так пусть и не рисует, — сердито буркнул он, — я не терплю еретиков. Мои подданные должны подчиняться законам своей религии.

Ракель была ошеломлена. Как же он от нее требует самой тяжкой ереси — отречения от веры предков?

Альфонсо заметил ее смятение.

— На свете должны быть люди, короли и священнослужители, которые предписывают законы, — принялся он втолковывать ей, — а низшим не полагается умничать над законами. Пусть следуют им беспрекословно, вот и все.

Но когда она собралась унести рисунки, он попросил: — Оставь мне их, пусть побудут у меня.

Когда она ушла, он снова долго всматривался в ее изображения и при этом покачивал головой. Перед ним была его Ракель и все-таки не совсем она. Он открывал в ней совершенно незнакомые ему черты. Но ведь он-то знает ее лучше, чем кто бы то ни было. Видно, красота ее неисчерпаема, а душа многолика, как облака в небе и волны на реке Тахо.

В Толедо прибыли музыканты-мусульмане. Их думали было не пускать в Кастилию, сочтя это неуместным ввиду войны, но Альфонсо легкомысленно заявил, что не мешает напоследок, перед тем как разразится настоящая война, насладиться искусством мусульманских певцов. Итак, они очутились тут, и те из толедцев, которые претендовали на просвещенность и утонченный вкус, приглашали их к себе в дом попеть и поиграть.

Альфонсо вытребовал их в Галиану. Их было четверо — двое мужчин и две девушки; мужчины, как большинство музыкантов, были слепые, потому что женщины жаждут рассеять музыкой гаремную скуку, но нельзя, чтобы мужчины смотрели на них в гареме. Музыканты принесли с собой гитару, флейту, лютню и кáнун — нечто вроде клавикордов. Они играли и пели медлительные, монотонные и все же волнующие мелодии. Сперва они исполнили эпические песни, и среди них знаменитую старинную — о Сиде Кампеадоре; проживавший в мусульманской Андалусии еврей Абен-Алфанке сочинил ее во славу неприятельского рыцаря. Затем они стали петь новые песни, которые были теперь в ходу в Гранаде, Кордове и Севилье. Они пели о красоте этих городов, об их садах, водоемах, об их девушках и рыцарях. Кормилица Саад не могла сдержать слезы. И Ракель тоже ощутила тоску по Севилье. Но тоска была не мучительная, она не омрачала счастья Галианы, а лишь углубляла его.

Под конец слепцы спели романсы и баллады о событиях недавнего прошлого и настоящего, но только

принявшие сказочный оттенок, лишенные временных пределов, — все это могло точно так же происходить и сейчас, и пятьсот лет назад. Между прочим спели они и романс о неверном короле-христианине; он влюбился тоже в неверную, только в еврейку, и жил с ней у себя в замке долгие дни, месяцы, годы, упорствуя в своем неверии, а она в своем, и неужто же Аллах попустит, чтобы это сошло благополучно? Слепцы пели с чувством, одна из девушек перебирала струны лютни, другая ударяла по клавишам кануна. Ракель слушала и улыбалась, она была уверена, что Аллах все приведет к счастливому концу, Королю стало не по себе, но он смехом разогнал неприятное чувство.

Почти все шесть тысяч франкских евреев-беженцев осели в Кастилии и понемногу свыкались с жизнью и делами страны. Веселый шум всеобщего благоденствия заглушал злобные речи прелатов и баронов.

Из-за всеобщего благоденствия и затея Иегуды, почерпнутая из Книги Эсфирь, — пресловутый «счастливый горшок», иначе говоря, лотерея, — имела баснословный успех. Купив билет за несколько сольдо, можно было выиграть десять золотых мараведи. Играли все — гранды, горожане, зависимые крестьяне. Они радовались выигрышу и считали его своей личной заслугой; а если был проигрыш — все равно они целые недели жили в счастливом ожидании и теперь надеялись на следующий раз.

Торговые дела Иегуды с иноземными государствами шли как нельзя лучше, и его имя пользовалось известностью от Лондона до Багдада.

Хотя Иегуда и себе, и всему свету представлялся окер харимом, человеком, способным двигать горы, все же иногда по ночам на него нападал страх: «Сколько времени продлится мое счастье?» Он не забыл, в какую бездну отчаяния повергло его известие о смерти инфанта. Тогда он не сомневался, что Альфонсо, не медля ни минуты, выступит в поход, а его и Ракели счастьем придет конец. Но потом ему довелось увидеть, как береженность Ракели еще крепче привязала к ней короля, и ему стало стыдно, что он усомнился в своем счастье. И тем не менее он не мог полностью избавиться от воспоминания о пережитых часах отчаяния, и, главным

образом по ночам, пылкое воображение рисовало перед ним страшные картины. Рано или поздно, наперекор всем его ухищрениям, начнется война, длительная, суровая война, в ней будут и успехи и неудачи, и вину за первое же поражение припишут ему, Иегуде, и толедской альхаме. Великое бедствие постигнет кастильских евреев, и вся ярость Эдома обрушится на него и на его дочь.

Даже и ближайшее будущее представлялось ему неверным. Что будет, когда Рабель произведет на свет младенца? Временами Иегудой овладевали дерзкие, безумные мечты о том блеске, каким будет окружен его внук. И в христианском мире баррагана, королевская наложница, пользовалась большими правами, и рожденное ею дитя в правовом отношении стояло немногим ниже законных детей. Испанские короли делали из своих бастардов знатных вельмож. Перед Иегудой маячила мечта, что его внук, чего доброго, станет кастильским принцем.

Однако его трезвый рассудок не замедлил развеять дерзостную мечту и показать, какими опасностями для него и для Рабели чревато рождение этого внука. Дон Альфонсо, разумеется, пожелает, чтобы его сын был крещен; чистое безумие требовать от короля Кастилии, чтобы он растил родного сына «в ереси». И все-таки Иегуда должен решиться на это безумие.

Господь посмеялся над ним. Адонай посмеялся над ним. Господь не простил ему, что он столько времени оставался мешумадом. Господь захотел его испытать, а он не выдержал испытания и лишился сына Аласара. Теперь же господь вторично испытывает его.

Не только узколобый и непреклонный рабби Товий, но самый свободомыслящий из всех ныне здравствующих еврейских мудрецов, господин и учитель наш Мойсей бен Маймун, наистрожайше требовал от евреев, чтобы они оставались тверды, невзирая ни на какие испытания, и не допускали своих детей до такого падения, как переход в христианство. В десятый раз перечитывал Иегуда «Послание о вероотступничестве». Кто под страхом смерти признает себя последователем пророка Магомета, так учил в этом послании бен Маймун, тот еще не погиб. Погибшим должен считаться тот, кто подставляет голову под воды крещения, ибо признание триединства — это ни более ни менее, как идолопоклон-

ство, нарушение второй заповеди. И бен Маймун приводил стих из Священного писания:

«Кто дает из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. И если народ земли не обратит очей своих на человека того и не умертвит его, то я обращаю лице мое на человека того и на род его и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его».

Иегуда доверился надежному другу Мусе. Мусе было понятно, что Иегуда даже слышать не желает о крещении своего внука.

— Но как можешь ты воспретить королю Толедо и Кастилии, чтобы он воспитывал свое дитя в христианской вере? — спросил Муса. Иегуда нерешительно заметил, что он и Ракель могли бы бежать до того, как младенец народится на свет. Муса отверг этот план.

— Пойми же меня, — взмолился Иегуда. — Ведь ты при всем своем бесстрастии не желаешь отступить от ислама. Ты знаешь, что я проявил слабость и не удержал сына моего Аласара и что я сам повинен в его духовном падении. Не могу я потерпеть, чтобы этот король окрестил моего внука во имя своих идолов.

— Ты все говоришь о «внуке», — сдерживая улыбку, заметил Муса, — и тем самым проговариваешься, что ждешь только внука. А вдруг младенец окажется девочкой? И если Альфонсо вздумает воспитывать в христианской вере не сына, а дочь, ты так же будешь скорбеть душой и почитать это грехом?

— Я не отдам ему младенца, — гневно выкрикнул Иегуда, — ни при каких обстоятельствах не отдам!

Однако втихомолку согласился, что совершит не такой уж великий грех, если не станет жертвовать собой, дабы спасти душу девочки.

А пока, желая заглушить внутреннюю тревогу, он вел с королем все более дерзновенную игру. С тайным злорадством испытывал он свою власть над Альфонсо.

Синагога, которую он построил в дар альхаме, была готова. Иегуда решил торжественно освятить ее. Дон Эфраим отговаривал его; он считал, что это празднество может быть воспринято в такое время как вызов. Иегуда стоял на своем.

— Не бойся, господин мой и учитель Эфраим, — сказал он и пообещал: — Я уж сумею заткнуть рот нашим врагам, окаянными богохульникам.

И на следующий же день приступил к выполнению этого обещания. Он попросил короля почтить своим посещением новую молельню. Дон Альфонсо был ошеломлен такой наглостью. Весь полуостров осуждал его за то, что он медлит вступить в священную войну; а если он вдобавок посетит святилище еврейского бога, прелаты, без сомнения, сочтут это предумышленной дерзостью. Он обдумывал, ответить ли ему на просьбу эскривано гневным отказом или же высокомерной насмешкой. Иегуда стоял перед ним со смиренным и нагло-фамильярным видом.

— Твои предки не раз устаивали посещением храмы своих евреев, — напомнил он.

— Но не в то время, когда христианство ведет священную войну, — возразил Альфонсо и, так как Иегуда молчал, добавил: — Это непременно вызовет раздражение.

— У тебя есть такие подданные, которые порочат все, что бы ни благоугодно было сделать твоему величеству, — ответил Иегуда.

Король пришел.

Мастер Мейр Абдели, ученик знаменитых мусульманских и греческих зодчих, выдержал здание в благородных пропорциях, с тонким умением, расчленив пространство аркадами и балконами, так что искусство византийских и мавританских мастеров органически сливалось здесь воедино. И все вело к кивоту, ибо весь дом был построен для того, чтобы хранить и обрамлять его, к святому кивоту, где находились свитки торы. Он был выкован из серебра, сиявшего матовым блеском.

Когда его открывали, перед глазами вставала тяжелая парчовая завеса, а когда откидывали ее, навстречу сверкали драгоценностями священные свитки, свитки торы. Не много их хранилось в кивоте, но среди них была та древняя рукопись Пятикнижия, знаменитая сефер хиллали, что считалась старейшей из всех сохранившихся на свете. Окутанный покровом из великолепной ткани, стоял ветхий пергаментный свиток; украшен он был золотой пластиной, осыпанной драгоценными камнями, а на его деревянных ручках было по золотому венцу.

По стенам синагоги тянулись фризy, где надписи переплетались с орнаментом и арабесками. В орнаменте

без конца повторялась шишка пинии — эмблема вечного плодородия и бессмертия, а также щит с тремя башнями — то ли герб Кастилии, то ли печать дона Иегуды. Но больше всего на стенах было еврейских изречений. Тут были изречения, прославлявшие бога, народ Израилев, Кастилию, короля и Иегуду Ибн Эзра; молодые ученые и поэты с тонкой изобретательностью подобрали и расположили их. Рифмованная проза перемежалась с библейскими стихами, так что порой трудно было разобрать, кого восхваляет изречение — короля или его министра.

Например, там говорилось о фараоне, который возвысил Иосифа, и были приведены слова Священного писания:

«И сказал фараон Иосифу: без тебя никто не двинет руки своей, ни ноги своей во всей земле Египетской. И нарек фараон Иосифа своим ближним советником».

И вот в этот дом, возведенный Иегудой, дабы прославить господа и себя самого, пожаловал дон Альфонсо, король Толедо и Кастилии.

У входа его смиренно приветствовали парнас Эфраим и почтеннейшие мужи альхамы. Потом повели его внутрь храма. Выпрямившись, с покрытыми головами встали еврейские мужи и произнесли слова благословения, которые закон предписывает произносить перед лицом земного владыки.

«Хвала тебе, Адонай, господь бог наш, ибо вот плоть и кровь, которой ты даровал частицу твоей славы».

С волнением и гордостью выслушал эти слова дон Иегуда. С волнением и трепетом выслушал их дон Альфонсо. Смысл был ему непонятен, но звучание стало привычным, немало им подобных слышал он из уст своей ненаглядной возлюбленной.

По учению мусульман, растущий в материнской утробе плод принимает человеческий облик на сто тридцатый день после зачатия. Когда минул этот срок, Ракель спросила Мусу, стал ли уже плод в ее утробе настоящим человеком.

— На подобные вопросы мой великий учитель Гипократ имел обыкновение давать такой ответ: «Это истинно или недалеко от истины», — сказал Муса.

По мере того как приближались роды, множились советы и хлопоты тех, кто опекал Ракель. Кормилица Саад требовала, чтобы в течение всего последнего месяца опочивальню Ракели окуривали ладаном, дабы очистить ее от злых духов-джиннов, и была очень обижена, когда Муса воспротивился этому. Иегуда велел перенести в опочивальню дочери свиток торы, а на стенах развесить особые амулеты — «послания к роженице», которые должны преградить доступ в дом колдунье и соблазнительнице Лилит, первой жене Адама, и ее злокозненной свите.

Дон Альфонсо не одобрял всего этого, но, в свою очередь, по совету Белардо, велел привезти в Галиану чудотворные образа и реликвии. И, поборов легкое смущение, попросил капеллана королевского замка поминать донью Ракель в своих молитвах.

А дон Иегуда позаботился, чтобы десять мужей ежедневно читали молитвы о благополучном разрешении от бремени его дочери. Он не переступал порога Галианы с тех пор, как там жила Ракель. И теперь, в решительный час, хотя ему очень хотелось быть подле Ракели, он тоже отказывал себе в этом. Правда, он посылал к ней Мусу, и Альфонсо был доволен, что Ракель находится на попечении старика врача.

Схватки длились долго, и между Мусой и кормилицей Саад возникли разногласия относительно того, какие меры следует принять. Но вот младенец благополучно появился на свет. Кормилица тотчас же завладела им, в правое ухо крикнула ему призыв к молитве, в левое — традиционную формулу: «Нет бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его», — и успокоилась на том, что теперь младенец исповедует ислам.

Иегуда провел все эти часы ожидания в своем кастильо и сам не знал, чего ему желать и чего бояться: того ли, чтобы младенец оказался мальчиком или чтобы он оказался девочкой. В нем снова поднялись сомнения: не отравило ли ему душу длительное исповедание ложной веры и достанет ли у него силы поступить, как должно, сделался ли он истинным иудеем или остался где-то в заповедных тайниках души мешумадом?

Моисей бен Маймун изложил символ веры иудеев в тринадцати догматах. Иегуда с пристрастием пытал

себя, воистину ли всем своим существом верует он в эти догматы. В том тексте, который лежал перед ним, каждый член символа веры начинался так: «Верую безраздельной верой». Медленно повторял он про себя: «Верую безраздельной верой, что праведно поклоняться творцу, да будет благословенно его имя, и неправедно поклоняться кому бы то ни было другому. Верую безраздельной верой, что откровение учителя нашего Моисея, да будет мир с ним, есть непреложная истина и что он отец всех пророков, бывших до него и грядущих за ним». Да, он верил в это, он знал, что это так и есть, и никакие учения, будь то Христа или Магомета, не могли затмить откровение Моисея. С молитвенным рвением произнес Иегуда заключительные слова символа веры: «На помощь твою уповаю, Адонай. Уповаю, Адонай, на твою помощь. Адонай, уповаю на помощь твою». Он молился, он веровал, он готов был принять смерть за свою веру и за свое откровение.

Но как ни предавал он себя воле божьей, как ни старался сосредоточиться на молитве, мысли его непрестанно возвращались в Галиану. Он ждал, колебался, боялся, надеялся.

И вот прибыл гонец и, даже не поздоровавшись, в традиционной форме поспешил сообщить Иегуде радостную весть: «Мальчик пришел в мир, благословение снизошло на мир».

Безграничный восторг охватил Иегуду. Господь смилостивился над ним, господь послал ему утешение взамен Аласара. На свет родился мальчик, новый Ибн Эзра, потомок царя Давида и его, Иегуды, внук.

Но в тот же миг тревога омрачила ликование. Потомок царя Давида — да, но и потомок герцогов Бургундских и графов Кастильских! У дон Альфонсо были такие же права, что и у него самого, и дон Альфонсо мог постоять за них всей мощью христианства, а он, Иегуда, был одинок. Но: «Я верую безраздельной верой», — с верой повторил он, и: «Такова моя непреложная воля», — в волевом порыве подтвердил он, и: «Не быть по воле неверного короля, — решил он. — Я настою на своем с помощью господ бога и собственного моего разума».

В Галиане тем временем донья Ракель нежно оглядывала и ощупывала своего сына. Беззвучно шептала

ему хвалы, ласкала его и называла именем мессии — Иммануил.

Альфонсо же — по велению рыцарского этикета и собственного сердца — опустился перед доньей Ракель на одно колено и поцеловал у нее, ослабевшей, обессиленной, руку.

С ужасом наблюдала за этим кормилица Саад. Ведь Ракель стала нечистой, родильница долгое время считается нечистой, а этот мужчина, этот глупец, повелитель неверных, прикасается к ней и накликает на нее, и на себя, и на младенца всех злых духов. И она поспешила положить младенца в колыбельку, срезала у него с головы несколько волосков, собираясь принести их в жертву, и поставила вокруг колыбели сахар, чтобы младенцу жилось сладко, золото, чтобы он жил богато, и хлеб, чтобы он жил долго.

Альфонсо был счастлив. Господь заранее наградил его за ратные подвиги и подарил ему взамен умершего другого сына. Он решил, что крестить его будут на третий день и нарекут именем Санчо; Санчо, долгожданный, — так звали его собственного отца. Он хотел сказать об этом Ракели, но она была слишком слаба, и он отложил этот разговор на завтра или послезавтра.

Ему хотелось поделиться с кем-нибудь своей радостью. Он поскакал в Толедо, созвал своих советников и тех баронов, которых считал друзьями. Он сиял и расточал награды.

Дона Иегуду он тоже позвал в замок и задержал его, когда остальные попросили разрешения удалиться.

— Я назову мальчика Санчо в честь моего отца, — невозмутимо объявил он. — Крестины будут в четверг. Я знаю, ты недолюбливаешь мою Галиану; но уж как-нибудь превозмоги себя и доставь мне удовольствие: будь там моим гостем в этот день.

Теперь, когда настал решительный миг, на Иегуду снизошло спокойствие. Он предпочел бы перед объяснением с доном Альфонсо повидать Ракель. Ведь она любит этого человека, и ей будет трудно все время давать отпор его грубым настояниям. Но он знал, что она крепка в своей вере, недаром она его дочь, и у нее достанет на это сил.

— По моему разумению, государь, лучше будет, если ты повременишь с этим, — почтительно начал он. —

По моему разумению, дочь моя Ракель пожелает, чтобы ее сын рос в законе Израилевом и воспитывался в нравах и обычаях рода Ибн Эзра.

Королю ни разу не пришло в голову, что Ракель или даже старик могут помыслить нечто подобное. Ему и теперь не верилось, что еврей говорит всерьез, это просто глупая и весьма неуместная шутка. Он подошел вплотную к Иегуде и поиграл его нагрудной пластиной.

— На что это было бы похоже? — сказал он. — Я сражаюсь с мусульманами, а мой сын растет обрезанным! — Он расхохотался.

— Покорно прошу тебя, государь, не смейся, — тихо сказал Иегуда. — Или ты уже договорился с доньей Ракель?

Альфонсо нетерпеливо передернул плечами. Шутка зашла слишком далеко. Но он не хотел портить себе кровь в такой день и снова громко захохотал.

— Смиренно, второй раз прошу тебя — не смейся, — сказал Иегуда. — Если ты будешь осмеивать нас, ты можешь досмеяться до того, что мы покинем твоё королевство.

Альфонсо начал раздражаться.

— Ты с ума спятил! — прикрикнул он.

А Иегуда продолжал говорить мягким, вкрадчивым голосом:

— Тебе известно, что я не был в Галиане и не говорил с моей дочерью, да и в ближайшие дни вряд ли буду говорить с ней. Но слушай меня и знай: как солнце неотвратно склонится нынче вечером к закату, так и Ракель скорее покинет Галиану и твоё королевство, чем позволит окропить голову своего сына водами крещения. — И так же тихо, но с неистовой силой заключил: — Многие из нас убивали своих детей, лишь бы не дать окрестить их в неправую веру. — Он пришепetyвал от волнения.

Альфонсо искал какого-нибудь гордого, презрительного ответа. Но в комнате еще звучали негромкие, исполненные ярости слова Иегуды, в комнате царила воля Иегуды, не менее сильная, чем его собственная воля. Альфонсо понял: Иегуда говорит правду. Если он окрестит сына, то утратит Ракель. Перед ним был выбор: кем пожертвовать — ею или ребенком?

В бессильной злобе он язвительно бросил Иегуде:

— А твой сын Аласар?

Иегуда ответил, смертельно побледнев:

— Ребенок не должен последовать примеру твоего оруженосца Аласара.

Король промолчал. А в голове у него мелькало: «Змея за пазухой, огниво в рукаве». Он испугался, что не совладает с собой и убьет еврея. Круто повернувшись, он вышел из комнаты.

Иегуда прождал долго. Король не возвращался. В конце концов Иегуда покинул замок.

Так как у короля больше не было тайных причин оттягивать крестовый поход, он решил отправиться в Бургос и заключить союз, но сперва, разумеется, окрестить младенца. Только он еще колебался, ехать ли ему через неделю или через две — или самое большее через три недели.

Но тут к нему пришла весть, разом положившая конец его перешителности: король Английский Генрих скончался у себя в укрепленном замке Шинон всего пятидесяти шести лет от роду.

Альфонсо как живого видел перед собой отца своей доньи Леонор, невысокого, приземистого, тучного человека, видел его бычьей шеей, широкими плечами, по-кавалерийски кривые ноги. Пышущий силой, держащий на оголенной руке сокола, который впился когтями ему в мясо, — таким запечатлелся он в памяти Альфонсо. Все, чего он вождедел — женщин и государства, — хватал этот Генрих своими голыми, красными, могучими руками.

«Клянусь оком божьим, сын мой, — смеясь, говаривал он Альфонсо, — для государя с крепкой головой и крепкими кулаками целый мир недостаточно велик». У кого была крепкая голова и крепкие кулаки, у кого, как не у этого короля Английского, герцога Нормандского, герцога Аквитанского, графа Анжуйского, графа Пуату, графа Турского, графа Беррийского, могущественнейшего из государей Западной Европы. Альфонсо искренне скорбел о нем, когда снимал перчатку, чтобы перекреститься.

Но, надевая перчатку, он своим быстрым умом уже успел прикинуть, какие последствия кончина этого человека будет иметь для него самого и для его государства. Лишь благодаря мудрому содействию усопшего удавалось до сих пор оттягивать заключение союза и во-

енный поход. Ричард, сын и наследник Генриха, не был государственным мужем, он был рыцарем и солдатом и только и жаждал схватиться с любым противником. Он не станет по примеру отца отыскивать предлоги, чтобы не участвовать в крестовом походе. Он сейчас же соберет войско и двинется в Святую землю, да еще будет требовать, чтобы испанские государи, его родичи, перестали наконец мешкать и немедленно пошли разить неверных на своем полуострове. Война надвинулась вплотную.

Это было по душе дону Альфонсо. Он выпрямился, улыбнулся, засмеялся.

— Ave, bellum, привет тебе, война! — громко и весело произнес он вслух в пустом зале.

Он продиктовал письмо донье Леонор. Высказал ей свою скорбь по поводу кончины ее отца. Сообщил, что незамедлительно прибудет в Бургос, и, набравшись наглости, самым невинным образом добавил, что теперь, когда запрет короля Генриха отпадает, можно без проволок подписать и скрепить печатью брачный договор Беренгелы и союз с доном Педро.

Но прежде чем уехать, ему надо было покончить еще с одним делом. Хотя он был уверен, что господь особо бережет его, он все-таки считал нужным сделать распоряжения на случай своей кончины. Он щедро обеспечит донью Ракель, а младенца Санчо, своего милого маленького бастарда, пожалует подобающими титулами и званиями.

Он призвал к себе в замок Иегуду.

— Так тебе и надо, приятель, — приветствовал он его с веселой насмешкой, — теперь конец твоим козням и проискам. Теперь я могу идти воевать!

— Толедская альхама будет молить небеса о ниспослании тебе всяческого благоденствия. И постарается предоставить тебе такое войско, которого тебе не придется стыдиться перед христианским миром, — сказал Иегуда.

— Не позднее чем через три дня я отправлюсь в Бургос, — заявил Альфонсо. — Там у меня будет очень мало времени, а на возвратном пути и того меньше. Я намерен уже сейчас сделать распоряжения на тот случай, если, вопреки вашим молитвам и вашим воинам, господь попустит меня принять христианскую

кончину на ратном поле. Приготовь нужные бумаги, так чтобы мне осталось только подписать их.

— Слушаю тебя, государь, — сказал Иегуда.

— Мне угодно, — начал король, — записать на имя доньи Ракель поместья, которые приносили бы ей в год не менее трех тысяч золотых мараведи дохода. А нашему маленькому Санчо я хочу передать все права на освобожденные ныне графство и город Ольмедо вместе с графским титулом.

Иегуда сжал губы, стараясь дышать спокойно. Это был по-королевски широкий и смелый жест. Иегуда представил себе, как его внук растет графом Ольмедским, как король дарует ему еще новые звания и владения, вплоть до титула инфанта Кастильского. Перед взором Иегуды возникла безумная, сказочная мечта, что его внук, царевич из рода Ибн Эзра, станет королем Кастилии.

Мечта улетучилась. Ведь знал же он, с той минуты, как получилось известие о смерти короля Генриха, знал, что теперь-то ему предстоит самая жестокая борьба.

— Твое великодушие поистине достойно короля, — сказал он. — Но закон воспрещает делать некрещеного ленным владельцем графства.

Альфонсо ответил невозмутимо:

— Неужто ты думал, что я буду ждать с крестинами своего сына до возвращения с войны? Я назначаю крестины Санчо на завтра.

Иегуда вспомнил повеление рабби Товия: «Все вы должны принять смерть прежде, нежели отдать в жертву хотя бы одного». Он вспомнил стих из Священного писания: «Кто даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти».

— Ты говорил об этом с доньей Ракель, государь? — спросил он.

— Я собирался сегодня сказать ей об этом, — ответил Альфонсо, — но если хочешь, скажи сам.

Про себя Иегуда молился: «На помощь твою уповаю я, Адонай. Я уповаю, Адонай, на твою помощь». Вслух он сказал:

— Ты, дон Альфонсо, потомок бургундских рыцарей и готских королей, но донья Ракель — из дома Ибн Эзра и ведет свой род от царя Давида.

Альфонсо топнул ногой.

— Прекрати эту дурацкую болтовню! — выкрикнул он. — Ты не хуже меня понимаешь, что не может мой сын быть евреем.

— Христос тоже был евреем, государь, — тихо, с застенчивой злобой ответил Иегуда.

Альфонсо смолчал. К чему спорить о вере с Иегудой? Лучше он самой Ракели скажет, что завтра крестины младенца. Но она еще очень слаба, и, хотя Иегуда преувеличивает ее внутреннее противодействие, крестины мальчика могут взволновать ее и, чего доброго, повредить ей.

— Пускай изготовят акты по моему указанию, — повелительно обратился он к Иегуде, — и знай: я окрещу сына прежде, чем отправлюсь в поход. Мой тебе совет — употреби весь свой разум на то, чтобы уговорить донью Ракель.

С облегчением вздохнул Иегуда. Пока что король отправляется в Бургос. Значит, выиграно какое-то время, быть может несколько недель. Мучительное это будет время. Теперь Иегуда понял, что для короля это очень важно, что он не уйдет на войну, не окрестив сына. Но так или иначе, время выиграно, и господь, даровавший ему многие милости, на сей раз тоже укажет ему выход.

Словно угадав его мысли, Альфонсо сказал:

— Только не вздумай строить здесь свои черные козни, пока я буду в Бургосе. Я не хочу тревожить Ракель, потому что она еще очень слаба. Но и ты не докучай ей уговорами, угрозами и обещаниями. Пусть мой сын остается до моего возвращения тем, что он есть: еще не христианином, но никак не евреем.

— Будь по-твоему, государь, — ответил Иегуда.

Они стояли лицом к лицу и мерили друг друга недоверчивыми, враждебными взглядами.

— Я тебе не верю, мой эскривано, — напрямик заявил Альфонсо, — поклянись мне.

— Я готов поклясться, государь, — сказал Иегуда.

— Но это должна быть грозная клятва, иначе ты не побоишься нарушить ее, — добавил дон Альфонсо.

Ему пришла коварная мысль. Он вспомнил старинную клятву, которую в пору его детства заставляли произносить евреев, это была нелепая и жестокая формула, накликавшая на них всякие беды в случае, если они нарушат слово. Позднее, по просьбе евреев и по

настоянию дон Манрике, он отменил эту клятву. Он забыл точный ее смысл, помнил только, что это была гнусная, устрашающая и вместе с тем глупая клятва.

— Я знаю, есть такая грозная клятва, какой вас часто заставляли клясться в прежнее время, — принялся он объяснять Иегуде. — Пожалуй, я был чересчур милостив, избавив вас от нее, но тебя я от нее не избавлю.

Иегуда побледнел. Он слышал, какую жестокую борьбу пришлось в свое время выдержать альхаме, чтобы освободиться от этой унижительной церемонии; и денег это стоило ей немало.

Ему было нестерпимо обидно, что именно он должен подвергнуться такому унижению.

— Освободи меня от этой клятвы, государь, — попросил он.

Сопrotивление еврея наглядно показало королю, что он нашел верный способ по рукам и ногам связать хитреца.

— Ты опять думаешь увильнуть и sluкавить, — крикнул он на Иегуду. — Либо ты поклянешься мне той клятвой, либо я сегодня же окрещу младенца.

Где-то раскопали отмененную клятву. Нелегким делом оказалось найти кого-нибудь, кто мог бы принять ее от Иегуды, кто знал бы еврейский язык и был бы человеком надежным, умеющим молчать. Альфонсо обратился к капеллану замка, к тому патеру, которого он некогда спросил: «Что это, собственно, такое — грех?»

Молодой священнослужитель, осласмливленный королевским доверием, но смущенный этой нелепой и жуткой церемонией, принял в присутствии Альфонсо присягу из уст министра.

Дон Иегуда Ибн Эзра должен был поклясться, что до возвращения государя оставит младенца дочери своей, доньи Ракель, в теперешнем его состоянии — ни верующим, ни неверным, ни христианином, ни иудеем.

В свидетели своей клятвы Иегуда должен был призвать того бога, который собственными перстами начертал на каменных скрижалях свои законы, который некогда обратил во прах Содом и Гоморру, повелел земле поглотить всех людей Кореевых, потопил фараона с воинами, конями и колесницами. И священнослужитель потребовал от него во исполнение предписания: «А теперь воззови ко господу, дабы он, если ты нарушишь клятву,

наслал на тебя все казни, поразившие египтян, и все проклятия, коими господь карает презревших имя его и заповеди его».

И когда Иегуда положил руку на Священное писание, раскрытое на двадцать восьмой главе Пятой Книги Моисея, христианский священнослужитель прочитал ему все проклятия. Стих за стихом читал он их по-еврейски, и Иегуда должен был повторять их, стих за стихом, а король сладострастно и жадно следил по латинскому тексту стих за стихом.

И Иегуда призвал на свою голову все самые страшные проклятия. А король и священник сказали: аминь.

Часть третья

Тогда порешили гранды убить еврейку.

Они отправились туда, где она жила, и на возвышении в ее покои умертвили ее и всех, кто был с ней.

*Альфонсо Мудрый,
«Crónica general» (около 1270 года)*

И тогда решили гранды
Положить предел кошунству,
Недостойному монарха.
Пробрались они в тот замок,
Где жила его еврейка,
И ее на возвышенья
Умертвили. И погибли
Также все, что были с нею.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ссевера по направлению к Пиренеям, через свои обширные франкские земли ехала с большой свитой старая королева Алиенора.

В тот же день, когда по Англии распространилось известие о кончине ее супруга, короля Генриха, она вышла из ворот Сольсберийской башни, где была заточена, проявив ту же несломленную властность, которой никто не посмел перечить, и взяла в руки бразды правления за своего любимого сына Ричарда, ныне ставшего королем. И тот, рьяный воитель, охотно передал государственные дела в руки умной и деятельной матери, а сам вскоре после коронации сел на корабль и поплыл воевать на Восток.

Она же объехала все свое королевство, включавшее Англию и огромные франкские владения, уладила строптивых баронов, взыскала большую дань с непокорных графов, прелатов и городов, созвала, где надо,

окружные и судебные собрания, решительно наладила пришедшие в упадок дела.

Покинув северные графства и герцогства, доставшиеся ей по браку с Генрихом, она вступила в свои наследственные земли — в Пуату, Гиень, Гасконь. Услышала знакомые с детства звуки звонкого провансальского языка, вдохнула мягкий воздух родины. На Севере к раболепным приветствиям примешивалась немалая доля страха; здесь же люди, стоявшие по краям дорог, с неподдельной радостью встречали старую монархиню. Для них она была не только прославленной королевой Севера и первой дамой христианского мира, для них она была Алиенорой Аквитанской, прирожденной государыней их страны, законной наследницей ее короны.

Ей шел уже шестьдесят девятый год, и последние пятнадцать лет она провела в заточении; но она держалась прямо в седле, была тщательно одета, искусно нарумянена, волосы умело покрашены и причесаны. Быть может, ей и нелегко было проделать верхом весь долгий, трудный и рискованный путь через еще заснеженные горы и перевалы, но, хоть она и была в преклонных летах, ее не отпугивали тяготы и опасности. Она чувствовала, что пятнадцатилетнее заточение не сломило ее, а силы только прибывали от сознания, что она, еще так недавно в бессильной злобе томившаяся в Сольсберийской башне, способна твердой и умелой рукой направлять и коня и государство. Светлым взглядом озирали родную страну ее голубые, холодные глаза. Она рвалась вперед, она приказывала делать длинные переходы и даже под вечер, когда всем уже было не вмоготу, отказывалась сменить коня на портшез или носилки.

Она направлялась в Кастилию, в Бургос, чтобы повидаться с дочерью, доньей Леонор, присутствовать на бракосочетании внучки Беренгелы и выдать замуж одну из младших внучек.

Чем дальше продвигалась она на юг, тем многочисленнее становилась ее свита. Когда кавалькада углубилась в Пиренеи, она состояла из пятисот рыцарей, двухсот дам и девиц, *preux chevaliers et dames choisies*, доблестных рыцарей и достойнейших дам, из прелатов и баронов со всех подвластных королеве земель; сопровождал ее также и отряд телохранителей, куда были отобраны самые надежные проводники, преданные

наемники-брабантцы, и при них свора хорошо обученных и зорких сторожевых собак. Позади следовал обоз из тысячи с лишним повозок с поклажей, необходимой в дороге утварью и провиантом, а также с дарами для населения. Стремянные и псары вели лошадей и охотничьих собак, принадлежащих королеве и приближенным вельможам, сокольничьи несли их любимых соколов. Так извивался медлительный и пестрый поезд по горам, местами еще покрытым снегом.

На кастильской границе старую королеву ожидали Альфонсо и Леонор, дон Педро Арагонский и инфанта Беренгела. У ворот Бургоса ей навстречу вышли знатнейшие прелаты и придворные обоих королей. Она совершила торжественный въезд в Бургос, повсюду развевались знамена, с балконов и окон свисали гобелены и ковры, звонили все колокола богатого церквами города, улицы были устланы зелеными ветками и цветами, источавшими аромат под копытами лошадей и башмаками пешеходов.

В течение целых десятилетий ее, необузданную и блистательную Алиенору, восхваляли и поносили, как ни одну женщину в Европе, и вот теперь, когда она во всем былом великолепии совершала торжественный въезд, вновь ожили бесчисленные рассказы о ее похождениях на войне, на поприще государственном и любовном, о том, что она была вдохновительницей и душой второго крестового похода и сама ехала на коне во главе крестоносцев, воинственная и горделивая, подобно Пентесилее, предводительнице амазонок, о том, как в славном городе Антиохии ее молодой дядя король Раймонд воспылал к ней беспредельной любовью. Как он и ее супруг, король франков Людовик Седьмой, спорили из-за нее, пока супруг в конце концов силой не вырвал ее у соперника и не увез за море. Как она, не стерпев такого насилия, умолила папу расторгнуть ее брак с королем франков. Как тотчас же явился молодой граф Анжуйский, впоследствии король Генрих Английский, и стал домогаться ее руки. Как они сообща выковали могущественное государство. Как она привлекала к своему двору докторов и магистров всех семи наук и искусств, а также трубадуров, труверов и рассказчиков без числа. Как она не одному из этих певцов дарила свое благоволение и, в частности, Бернару Вента-

дорну, хотя он был всего лишь сыном истопника. Как и король в свой черед изменял королеве со многими, особенно же с одной, и как Алиенора умертвила эту его возлюбленную красавицу Розамунду. И как он после этого заточил Алиенору, и как сыновья поднялись против отца на ее защиту. И снова зазвучали франкские, провансальские и каталонские песни, прославлявшие ее двор, приют высокого стихотворного искусства и уточенных нравов. И запел поэт Филипп фон Тайн:

Младая королева,
Прославься на веки веков,
Влечешь ты сердца неизменно,
Подобно тому, как сирена
Безумных влечет рыбаков.

И запел Бенуа де Сент-Мор:

Высокорожденная, гордая, смелая —
Опора монархов в суровой судьбе.
Тебе рукоплещет вселенная целая,
Нет в мире владычиц, равных тебе.

И даже некий суровый германец сочинил следующие стихи:

Была бы вся земля моей,
От скал прирейнских до морей, —
Все отдал бы без гнева,
Когда бы мог прильнуть к устам
Английской королевы.

Такие песни, легенды и романсы почитателей в соединении с яростными, полными проклятий стихами и рассказами врагов превратили Алиенору Аквитанскую в сказочный образ из чуждых и дальних краев или давно прошедших веков, и даже сейчас, когда она самолично, во плоти, совершала торжественный въезд в город Бургос, окруженная рыцарями, дамами, наемниками, конями, собаками, соколами и сокровищами, многим кастильским и арагонским вельможам мерещилось, будто она окутана золотым облаком. Каким убогим и ничтожным представлялось им нынешнее их бытие по сравнению со вчерашним днем, воплощенным в этой величественной женщине. При виде ее перед ними в ярком свете вставало то, что они слышали о втором крестовом походе, который поистине был крестовым походом коро-

левы Алиеноры. В те времена короли и рыцари не были мелкими душонками и не возлагали своих надежд на превосходство сил, за борьбой не скрывалось стяжательства и хитрого расчета, нет, тогда каждый следовал точным и благородным правилам борьбы и боролся из чистой любви к искусству боя, и бой был тем же турниром, благородной игрой на жизнь или смерть.

Сорок дней вассал был обязан служить своему сеньору и сражался сорок дней, а если на сороковой день не удавалось взять вражескую крепость, рыцарь отправлялся восвояси, пусть даже было известно, что на сорок первый она падет. Тогда не было бродячих солдат, наемных вонтелей из числа черни, которые не знают изысканных навыков и сражаются только ради победы. Тогда и к врагу проявляли куртуазность, хотя бы он и был привержен другому богу. Халиф, ведя осаду, учтиво посылал осажденной христианской королеве Ураке своего лейб-медика, дабы он облегчил ее недуг. А воевали только с понедельника до четверга. На пятницу, субботу и воскресенье объявлялось перемирие, чтобы каждый — мусульманин, еврей и христианин — без помехи мог отпраздновать свой день отдохновения.

Теперь снова, думали арагонские и кастильские вельможи, наступает такая же славная пора. По внушению благородной дамы Алиеноры был в свое время осуществлен второй крестовый поход, и по ее же внушению здесь, на полуострове, будет ныне начата священная война, и им, испанским дворянам, представится случай показать себя на деле достойными преемниками рыцарей короля Артура и Карла Великого.

Молодой король дон Педро не помнил себя от счастья. Как милостив к нему господь, давая ему в королевы внучку этой прославленной монархини! Теперь он отправится в поход, как подобает христианскому рыцарю — с умилением в душе вместо злобы и мстительной обиды на дону Альфонсо.

Чарам знаменитой старой королевы подпал и оруженосец Аласар. В Толедо он не раз чувствовал у себя за спиной злобные взгляды, и когда король взял его с собой в Бургос, он боялся, что донья Леонор не простит ему столь предосудительного родства. Но она была к нему очень благосклонна и даже ласкова, король обращался с ним, как с младшим братом, а в присутствии

великой королевы Алиеноры рассеялись последние его опасения. Благородные дамы нашли его достойным быть оруженосцем короля дона Альфонсо, он был принят как свой в мире христианского рыцарства.

Весь город Бургос праздновал прибытие старой королевы; тысячные толпы стекались отовсюду, чтобы принять участие в празднестве или извлечь пользу из такого скопления народа. Трактирщики раскидывали временные кабачки, торговцы предлагали ценные вина и пряности. Открытые своды и аркады, под которыми купцы раскладывали свои товары, блистали всем великолепием Фландрии, Леванта и мусульманских стран. Лошадиные барышники и оружейные мастера загребали денежки. Банкиры и менялы только и ждали, чтобы приобрести или взять в залог поместья отправляющихся на войну рыцарей. Тут же было целое скопище фокусников, торговцев ладанками, продажных девок, карманных воришек. Все это галдело, торговалось, блудило, любило, бегало по церквам и кабачкам, держало себя благочестиво, нагло, учтиво, грубо, щеголяло яркими праздничными нарядами, издавало зловоние, зачинало детей, распевало псалмы и кабацкие песни, радовалось жизни, кляло халифа и султана и восхваляло достославную королеву Алиенору.

Да и при дворе камерариям выпала нелегкая задача подобающим образом размещать и потчевать гостей, прибывших со всей Кастилии и из Арагона, чтобы присутствовать на бракосочетании дона Педро и инфанты и оказать почести старой королеве. Многие из этих прелатов, баронов, высших сановников явились со слугами, егерями, конюшими. К ним прибавились неизбежные участники подобных празднеств: искатели приключений, бедные дворянчики, чаявшие добыть себе на турнирах славу и деньги. Не было недостатка и в трубадурах, в труверах и рассказчиках; они знали, что у доньи Леонор и у благородной дамы Алиеноры они всегда желанные гости.

Старая королева не долго отдыхала от тягот путешествия, уже на второй день она устроила прием в большой зале королевского замка. Окруженная огнями множества свечей, восседала она в креслах на возвышении, держась очень прямо, как полагается благородной даме. Правда, она несколько обрюзгла и страдала одышкой,

так что временами с трудом удерживала кашель, а из-под постепенно осыпавшихся румян проступало старческое лицо; но ярко-голубые светлые глаза смотрели холодно и ясно, и она неумоимо принимала участие в общей беседе, вставляя веские, продуманные, благосклонные слова.

Старый араговец граф Рамон Барбастро, один из участников крестового похода королевы Алиеноры, с тоской вспоминал те блистательные годы и сетовал на убожество нынешнего времени. Война утратила все свое благородство, теперь ее готовят в совете и ведут не мечом, а пером. Не доблесть рыцарей решает исход боя, а количество наемников.

И в те времена, когда они с благородным доном Рамоном были молоды, война тоже не всегда бывала великопепной, блистательной игрой, возразила ему Алиенора.

— Как подумаешь хорошенько,— продолжала она,— так и окажется, что грандиозные, дух захватывающие битвы и пиры были исключением, а правилом надо считать мелкие тяготы: нескончаемые опасные переходы по бездорожной незнакомой местности, израненные ноги, несносный жар в крови, ужасную жажду, ночи без сна из-за ядовитых мошек и причиняющих зуд блох и вшей. Но страшнее всего этого — *аседиа*, нестерпимая скука, бесконечное морское путешествие, многонедельный путь в неведомое, мучительное ожидание подкреплений, которые должны прибыть завтра или послезавтра, но не являются и через неделю.

Она увидела разочарование на лицах слушателей и с улыбкой умело подправила мрачную картину.

— Правда, тем ценнее была награда,— добавила она.— Дикий разгул сражения, празднество в завоеванном городе.

И она принялась рассказывать о пирах на Востоке, где христианская пышность сочеталась с мусульманской, а песни трубадуров сменялись плясками арабских танцовщиц. Слова легко лились из ее уст, но еще красноречивее были ее глаза. С улыбкой вспоминал старый граф о тех двух рыцарях, что боролись тогда в Антиохии за ее благосклонность, о христианском короле Раймонде и о принце Саладине, который был племянником султана и его послом.

— Но особенно веселы эти пиры были потому, что мы справляли их между двумя битвами, — со вздохом сожаления о былом добавила старая королева. — Лишь вчера каждый из нас избег праведной смерти, а завтра, быть может, кому-то суждено принять ее.

Архиепископ дон Мартин упивался созерцанием и речами благородной дамы Алиеноры. Все долгие месяцы ожидания он был мрачен и втайне злобствовал, теперь же, когда эта Дебора, эта Иаиль смела последние преграды, стоявшие на пути к угодной богу войне, он сиял благочестивым восторгом. Он ходил окрыленный; и латы, которые он теперь постоянно носил под священническим одеянием, ничуть не стесняли его. Стараясь попасть в общий куртуазный тон, он возгласил с неуклюжей угодливостью:

— Святая земля узрела великие деяния, когда ты, достопочтенная дама, явилась туда поправить язычников, и ныне опять для нее начинается счастливая пора, раз твой лучезарный сын держит туда путь. Предшествуя ему, слава твоего возлюбленного Ричарда примешивается к твоей собственной и вселяет ужас в мусульман. Я получил достоверные известия от моего друга епископа Тирского. Матери-аравитянки уже грозят своим детям, когда те не слушаются их: «Замолчи, пострел, не то король Ричард — Мелек Рик — придет и заберет тебя».

Алиенора не могла скрыть, какую радость доставила ей похвала ее любимцу Ричарду.

— Да, он славный воин, — подтвердила она, — истинный *miles christianus*. Но нелегко ему придется на Востоке, — продолжала королева с той откровенностью, какую только она могла позволить себе. — Я имею в виду не врага, не султана, я говорю о союзнике моего Ричарда, о нашем любезном родственнике — христианнейшем короле франков. Блеск и торжество битвы не его дело, наш добрый Филипп-Август хотел бы выиграть войну с наименьшими затратами. Говоря откровенно, он немного прижимист. Теперь вот он пытается лишить крестовое воинство общества дам и трубадуров. Но у моего Ричарда он сочувствия не встретит. Ричард любит веселье и шум, это он унаследовал от своего отца, да, пожалуй, и от матери. Какой же может быть крестовый поход без дам и трубадуров? У вас здесь, на полуострове, есть одно преимущество перед нами, — обратилась

она к Альфонсо и Педро, — вам не нужно, как нам, одолеть скуку долгого морского путешествия, прежде чем встретиться с врагом, и не надо сотни раз изворачиваться, чтобы столкнуться с вероломными греками и прочим христианским сбродом. Вы можете руками дотянуться до врага и добычи — они рядом: в Кордове, Севилье, Гранаде.

Перед мысленным взором присутствующих встали заманчивые видения чудесных городов и богатой добычи. А в голове у архиепископа дона Мартина торжествующе прозвучали названия мусульманских городов: Кордова, Севилья, Гранада, слитые со словами Евангелия: «Не мир вам несусь, но меч. *Allà machairan*».

Донья Леонор ото всей души благодарила небеса за приезд Алиеноры. Отцом она восхищалась за государственный ум, за воинский гений и немного завидовала той беспечности, с какой он потворствовал своим страстям. Но матерью она не только восхищалась, ее она искренне любила, и мысль, что эта живая, жаждущая деятельности женщина изнывает в темнице, была ей мучительна. Когда же на Альфонсо нашло пагубное любовное помрачение, она страстно желала поведать свое горе Алиеноре, как дочь — матери, королева — королеве, одна оскорбленная жена — другой оскорбленной жене, пожаловаться ей и попросить у нее совета! Правда, теперь Альфонсо вернулся к ней, воодушевленный предстоящим походом, и как будто совсем забыл еврейку. Но хотя донья Леонор искренне старалась простить мужу обман и измену, ей не верилось, что порванная между ними связь может восстановиться, слишком глубоко въелись ей в душу горький опыт, обида и разочарование, и она была счастлива поговорить с матерью о своих надеждах и опасениях.

Когда Алиенора сошла с лошади, когда Леонор поцеловала материнскую руку, когда старческие губы матери коснулись ее молодых губ, она всем существом ощутила их общность. И сразу же в ярком и резком свете перед ней предстало все давно ушедшее, люди и события из времен ее детства в Донфроне, или при пышном дворе ее матери в Пуатье, или же в монастыре Фонтевро, где жила она очень весело и получила вполне светское воспитание. Вспомнилась ей, например, ее гувернантка Агнеса де Фронзак. Леонор приставала к

благородной даме, чтобы та рассказала о возлюбленной ее отца Генриха, и госпожа Агнеса наконец сдалась; а после этого юная Леонор потребовала, чтобы госпожу Агнесу прогнали, ибо она проявила недостаточное почтение к ней, принцессе Леонор. Но особенно ясно представилась ей деревянная статуя святого Георгия в замке Донфрон. Он казался очень грозным в лучах заходящего солнца, и Леонор иногда его боялась. Но еще сильнее любила его; приятно сознавать, что находишься под охраной такого внушительного святого, особенно если отец редко-редко бывает дома. Она оживила для себя этого святого Георгия и живым пронесла сквозь годы детства и юности, и вот он стоит возле нее и зовется Альфонсо. Его хотели у нее похитить не то евреи, не то сам сатана, но она не отдала его. Еще она не вполне спокойна, враги еще строят козни, но все-таки он здесь, с ней рядом, и мать тоже здесь, и с ее помощью она навсегда избавится от еврейки.

Однако ей не сразу удалось поговорить с матерью. Суэта приезда и устроительства, торжественные приемы и представительство полностью заняли два первых дня. Наконец на третий день королева Алиенора неожиданно сказала посреди шумного сборища, что ей хочется побыть вдвоем с дочерью, и бесцеремонно выпроводила всех остальных.

Когда они остались наедине, она приказала донье Леонор сесть напротив нее, на свету, и пристально посмотрела в лицо дочери, погрузив спокойный взгляд своих холодных голубых глаз в зеленые вопрошающие глаза Леонор. При солнечном свете донья Леонор увидела, что мать постарела, черты стали еще резче, но вместе с тем и величественнее, это была настоящая родоначальница королевской династии. Дочь мысленно склонилась перед ней с любовью и благоговением и решила слепо слушаться ее.

Немного погодя старуха одобрительно сказала молодой:

— Ты хорошо сохранилась.

Потом сразу же заговорила о государственных и семейных делах. Она приехала сюда не только повидаться с дочерью, но главным образом для того, чтобы выдать замуж еще одну внучку-инфанту.

— Надо думать, тебя удовлетворит то положение, которое я обеспечила ей, — сказала она. — Наследник

пресловутого Филиппа-Августа — славный юноша, он, по счастью, ничуть не похож на отца. Могу сказать, нелегкое было дело сторговаться с франкским королем насчет брачного договора. Он мнит себя великим монархом, спит и видит стать вторым Карлом Великим, но величия в нем нет ни на йоту, он только и умеет, что заниматься крючкотворством, а таким путем государства не сколотишь. Тем не менее он причинил мне немало хлопот, он хитер и увертлив, как еврей. В конце концов мне пришлось уступить ему графство Эврё и Вексэн, лакомый кусок моей Нормандии, да еще добавить тридцать тысяч дукатов. Все это я оплачу из собственного кармана, тебе, доченька, ничего давать не надобно, на твою долю придутся только выгоды. Ты станешь тещей будущего франкского короля, а брат твой Ричард владычествует над теми странами, что расположены между Испанией, которая принадлежит тебе, и Францией, которая будет принадлежать твоей дочери. Наступит время, когда ты, если пожелаешь, сможешь держать в руках добрую половину мира.

Затаив дыхание, донья Леонор слушала, как ее мать обыденными словами излагает ей такие широкие замыслы, уходящие в такое далекое будущее. Донья Леонор было ясно, что, уступая нормандские графства, мать прежде всего стремилась обезопасить свои собственные владения от посягательств коварного Филиппа-Августа на то время, пока ее любимец Ричард будет воевать за морями. Но какие бы побуждения ни скрывались за этим брачным договором, в одном мать была права: ей, Леонор, он сулил только выгоды, ибо супружество дочери открывало перед ней заманчивый путь к власти.

До сих пор она считала себя куда более сведущей в государственных делах, чем Альфонсо, на том основании, что она упорно добивалась объединения Кастилии и Арагона. Но за Пиренеи ее честолюбивые мечты не перелетали никогда. Какими же скудными и убогими показались ей теперь ее устремления рядом с крупной политической игрой матери! Та, как пешками, играла целыми странами, от западной окраины мира вплоть до отдаленного востока — Ирландией и Шотландией, Наваррой и Сицилией и Иерусалимским королевством. Ей шахматной доской служил весь мир.

— Я присмотрелась к твоим дочкам, голубушка, — вновь заговорила Алиенора. — Обе они уродились красивыми, и старшая — только имя у нее нескладное — Урака, что ли? — да и младшая тоже. Я еще не решила, на которой остановить свой выбор. В ближайшие дни ты должна представить мне обеих на торжественной аудиенции. Придется пригласить для этого случая бовэского епископа — он как-никак представитель особы Филиппа-Августа и его сына; но это чистая формальность.

Все, что говорила мать, живо затрагивало Леонор. Но с еще большим волнением ждала она, что скажет мать об Альфонсо и его еврейке.

И вот наконец она сказала:

— Ко мне, в Сольсберийскую башню, долетали разные слухи о том, что тебе пришлось вытерпеть из-за твоего Альфонсо. Все это было очень неопределенно, один слух противоречил другому, но я кое-как расставила все по местам. Недаром у меня самой немалый опыт в таких делах.

Она обеими руками взяла руку Леонор и тут впервые высказала свои истинные чувства.

— Тебе-то я могу сказать правду, — призналась она дочери. — Разумеется, я рада, что мой Генрих успокоился под надгробной плитой с пышной надписью. — И она просмаковала эпитафию:

Я — Генрих — лежу под сей плитой.
Был прежде весь мир под моей пятой.
Постой, прохожий! Склони свой лик!
Смотри, как ничтожен, кто был велик.
Когда-то земель не хватало мне —
Трех ярдов теперь достает вполне.

— Три ярда — надежное ложе. И все-таки я желаю, чтобы земля была ему пухом. Мне жаль его. Много раз я посягала на его жизнь. Однажды мне чуть было не удалось покончить с ним. Он был прав, что заточил меня; я бы на его месте поступила точно так же. Я очень его любила. Он был единственный мужчина, которого я любила. Кроме одного, нет, кроме двух. Он был умнейший человек христианского мира. И понимал, что временами надо дать волю своим страстям. А как же прожить иначе? — с мудрой терпимостью заметила она. — Впрочем, права и моя подруга, аббатиса Констанция: по ее словам, любовь — это слизывание меда с шипов.

Донья Леонор неожиданно спросила:

— Мама, что мне делать с еврейкой?

Старая королева встрепелулась.

— Подожди, доченька, пока приспееет время убрать ее с дороги, — с благодушной улыбкой посоветовала она. — Я много настрадалась оттого, что не умела ждать. Надо полагать, на войне он и так забудет ее.

— У него от нее есть ребенок, сын, — тихо и беспомощно промолвила донья Леонор.

— Ребенка я бы на твоём месте не стала трогать, — деловито решила старая королева. — Они обычно больше привязаны к своим бастардам, чем к их матерям. Возьми хотя бы моего Ричарда. Бабами он не бог весть как дорожит, а вот бастардов своих любит. У Генриха их, надо полагать, была тьма. Двоих я знаю, Вильяма и Джюффри. Джюффри честолюбив и зарится на корону. В отсутствие Ричарда мне приходится держать его на привязи. Но человек он приятный и дельный. Я сделала его епископом Йоркским.

— Я много выстрадала, — сказала Леонор. — Надеюсь, ты окажешься права, война окончательно вытравит еврейку у него из крови. Но кто может присягнуть в этом? Он клялся мне спасением души, что бросит ее, а только уехал из Бургоса — сейчас же опять побежал к ней.

— Ни один враг не причинил мне столько горя, как твой отец Генрих, — сказала Алиенора, — а ведь он любил меня, и я любила его. И сыновей своих твой отец любил, а они его ненавидели, потому что он был выше их, он баловал их, а они принесли ему больше огорчений, чем он мне и, уж конечно, чем твой Альфонсо тебе. Он каждый раз прощал их, а они смеялись над ним и снова восставали против него. Когда мы еще жили вместе, он приказал расписать фресками три стены нашей опочивальни в Манчестере, четвертая осталась пустой. Когда я теперь побывала в Манчестере, четвертая стена тоже оказалась расписанной. На ней изображен огромный старый орел с четырьмя орлятами. Двое раздирают клювами его крылья, третий впился ему в грудь когтями, а четвертый сидит у него на шее и выклевывает ему глаза.

Она закашлялась, при дочери она не старалась сдерживать кашель, мучивший ее в последние годы. Она

закрыла глаза и сразу стала старухой. Не открывая глаз, она продолжала задумчиво и удивительно монотонно, будто читала псалтырь:

— С Людовиком я прижила только дочерей и считала это несчастьем. С Генрихом я прижила и сыновей, но было ли это счастьем — не знаю. От сыновей, все равно хороших или дурных, много огорчений. Ни одна мать не захочет иметь кроткого сына, я бы, например, праведника не взяла в сыновья, но когда они уродятся героями, тогда они разят направо и налево и их тоже норовят сразить. Так уж, верно, положено, что матерям надо терять их. Двух первых я потеряла, и за третьего моего птенчика, за твоего брата Ричарда, у меня болит душа. Он любящий сын, но удержу он не знает, и я каждую ночь лежу без сна в тревоге о нем. — Она спохватилась. — Подойди поближе, — сказала она, — еще, еще ближе! — И с жестокостью, звериной откровенностью шепотом приказала: — Не смей ничего делать, пока война не поглотит Альфонсо целиком. Как только он выступит в поход, займись неотложными делами. Поезжай в Толедо, прими на себя регентство. Мусульмане — упорные противники, твоему Альфонсо предстоят не только победы. В каждом несчастье есть и счастливая сторона, каждое поражение открывает благоприятные возможности. Военачальник начинает винить министра, епископ — военачальника, христианин — еврея, каждый считает каждого изменником, и твоего еврейского эскривано многие сочтут виновником неудач и изменником. Ты, понятно, будешь защищать его. Ты позаботишься, чтобы отвести от себя подозрение и в глазах Альфонсо, и в глазах всего мира. Ты постарайся сдерживать гнев народа. Но кто властен над ним? В такие дни насилие неизбежно берет верх над законом и те, на кого пало подозрение, гибнут вместе с теми, кто близок им.

Донья Леонор впивала каждое из сказанных шепотом жестоких слов.

— Ждать, — пробормотала она, — ждать. — И непонятно было, то ли она жалуется, то ли сама приказывает себе.

— Да, ждаты! — сурово приказала старая королева. — Поезжай в Толедо! — приказала она. — Это славный город, там знают, как надо обходиться с врагами. Еще в давние времена толедские властители умели

дождаться подходящей ночи, когда можно снести неугодные головы. *Una noche toledana*, толедская ночь — недаром так говорят даже и у нас. Итак, жди и, главное, по-лучше отведи от себя подозрение.

Она закашлялась, ей трудно было говорить так тихо и с таким нажимом. Она улыбнулась и переменяла тон, холодная ярость старой фурии сменилась светскостью знатной дамы; раньше она говорила на провансальском языке, а теперь перешла на латынь.

— Почему бы тебе не посмотреть по-иному на любовную канитель твоего Альфонсо? — непринужденно начала она. — На мой взгляд, в ней есть и хорошая сторона. Конечно, твой *Alfonsus rex Castiliae* — прославленный рыцарь, подлинный *miles christianus*¹, но в любви у него, по-моему, не в обиду тебе будет сказано, маловато пыла. Так для тебя же лучше, чтобы его растормошили, пока он еще в самой мужской поре. Я не без удовольствия заметила, что в тебе-то есть огонек. И мне кажется, все пережитое не скоро даст ему затухнуть.

Дону Альфонсо было хорошо в столице своих предков, в суровом старинном замке с множеством переходов и закоулков. Ему было хорошо чувствовать свое согласие с доньей Леонор, а о том, что между ними когда-то была рознь, он совсем позабыл. Он стал прежним Альфонсо, любезным, великодушным, дышащим молодостью.

Галиана отодвинулась в туманную даль. Он сам не понимал, как мог так долго терпеть расслабляющую мирную жизнь в роскоши и неге. Теперь у него не было других мыслей, кроме предстоящей, богом благословенной войны. Как хочется искупаться в жаркий день на охоте, так стремился он к этой войне. Он рожден для войны, война — его кровное дело. А теперь его еще подхлестывала слава шурина, короля Ричарда, знаменитого Мелек Рика. Он, Альфонсо, успел прославиться даже и в мелких походах, которые до сих пор выпадали на его долю; ныне же, в настоящей большой войне, молодые, нежные побеги его славы разрастутся в мощное дерево.

¹ Христианский воин, рыцарь (лат.).

Перед архиепископом он восторженно строил планы своей войны. Они с доном Мартином снова стали закадычными друзьями. Неужто между ними когда-то были разногласия?

Он призвал на совет сведущих в ратном деле баронов Вивара и Гомаса и заразил их своим воодушевлением. И гонцы неустанно сновали между ним и Нуньо Пересом, великим магистром Калатравы, его лучшим военачальником.

Обидно было только, что он не мог все свое время отдавать военным приготовлениям, а вынужден был по целым часам выслушивать всякий вздор о хозяйстве, мастерских, горожанах, крестьянах, податях, займах, правах городов, кредитах. Оба Ибн Эзры, к несчастью, оказались правы: в деловых отношениях между Кастилией и Арагоном царила прямо-таки безнадежная путаница. Конечно, насчет приданого инфанты Беренгелы столковались очень скоро, и бракосочетанию помех не было; но соглашения, предшествующие заключению союза, никак не удавалось довести до конца.

Поэтому Альфонсо очень обрадовался приезду королевы Алиеноры. Он надеялся, что опытная в государственных делах, наделенная такой политической мудростью и деятельная монархиня не замедлит разрешить все спорные вопросы.

Правда, кой-чем ее присутствие было ему неприятно. Его раздражала ее свита — весь этот вертлявый придворный сброд. У дам он еще кое-как оправдывал такое жеманство, зато мужчины были ему в высшей степени противны; для него было непостижимо, как могут рыцари, отправляясь в крестовый поход, рядиться по последней моде, следуя всем ее ухищрениям, да вдобавок брить лицо наподобие жонглеров и канатных плясуннов.

Однако он прощал королеве Алиеноре все, что ему не нравилось в ней, за ту рассудительность, с какой она устраняла препятствия на пути к союзу с Арагоном. Своим государственным умом она охватывала и разрешала как все вопросы в целом, так и отдельные мелочи. Она права, что и сейчас еще притязает считаться главой семьи.

Поэтому Альфонсо не слишком удивился, когда она его однажды спросила без обиняков:

— А ну-ка, сын мой, Расскажи мне, чем тебя, собственно, пленила эта твоя красавица еврейка?

Конечно, король Кастилии смело мог пресечь такого рода любопытство даже со стороны благородной дамы Алиеноры. Однако же она была вправе задать такой вопрос. А так как Галиана стала для него прошлым, он мог откровенно, спокойно и беспристрастно рассказать о Ракели.

Но, собираясь приступить к рассказу, он с изумлением понял: ему, в сущности, не ясно, что собой представляет Ракель; все, что он знал, было расплывчато, неопределенно, скудно и не давало полной картины. Он ведь так гордился хорошей памятью, а теперь лишь очень смутно мог припомнить свою возлюбленную.

— Она и в самом деле красивая, — наконец выговорил он. — Люди не льстят, называя ее красавицей. Она чарующе хороша и долгое время держала меня во власти своих чар, — признался он. — Но теперь с этим покончено, — продолжал он. — Abest, она перестала для меня существовать. Перестала волновать мою кровь, — заключил он решительно и бесповоротно.

— Я надеялась, что ты более подробно опишешь мне ее, — ласково сказала Алиенора. — Любовные дела с давних пор занимали меня! Но ты явно не годишься ни в трубадуры, ни в рассказчики. Ответь мне вразумительно хотя бы на *один* вопрос: сыном своим ты доволен? Миленький у тебя уродился бастард?

— Да, за него я могу быть благодарен и ей и небесам. Сына она мне родила хоть куда — красивого, крепкого, рослого, хотя сама она хрупкая и скорее маленькая. Да и разумный, видно, малыш: с первого дня глазки у него были живые, смысленные.

— Удивляться тут нечему, — заметила Алиенора, — недаром мать у него еврейка. Кстати, как ты назвал своего бастарда?

— Санчо, — ответил дон Альфонсо, — и я собираюсь пожаловать ему графство Ольмедо. — Он совершенно забыл о том, что сынок у него еще некрещеный. — Как потвоему, благородная дама и высокочтимая матушка, правильно я поступаю, жалуя ему графство? — спросил он.

— А земли в этом графстве много? — осведомилась Алиенора. — Или только красивый замок да несколько сот крестьян?

— Насколько мне известно, это очень богатое графство, — ответил Альфонсо.

— А то ведь в наше время не многобашенный замок, а доходное поместье придает человеку силы, — пояснила Алиенора. — Я многие свои замки выменяла на поместья. К тому времени, когда твой бастард подрастет, замки совсем потеряют цену, а поместья будут цениться еще выше.

— Значит, ты не осуждаешь меня, благородная дама и государыня, — настаивал Альфонсо, — за то, что я хочу сделать своего сыночка графом Ольмедским?

— Раз твой бастард Санчо уродился тебе на радость, значит, надо как следует обеспечить его, — веско и решительно ответила королева Алиенора.

Через два дня старой монархии на торжественной аудиенции были представлены обе принцессы, из коих одной предстояло сделаться королевой франков.

Общество собралось большое и блестящее. На приеме присутствовали гранды и прелаты Кастилии и Арагона, а сверх того, бароны королевы Алиеноры и чрезвычайный посол короля франкского Филиппа-Августа епископ Бовэский.

Ловкие руки много недель сряду ткали, шили и расшивали платья для обеих инфант. Поэтому они представили перед высокопоставленным и разборчивым собранием в весьма авантажном виде; это были миловидные девушки с белыми и румяными пухлыми детскими личиками, скромные и безупречно воспитанные. Они держали себя с изящной непринужденностью, чего требовал от знатной дамы хороший тон и что далось им не без труда. В душе они были очень смущены, сознавая всю значительность своей роли; ибо от этого показа зависела не только их собственная судьба, но и судьба сотен и тысяч христиан во многих странах.

Беренгела, инфанта Кастильская, королева Арагонская, занимавшая почетное место на возвышении, снисходительно взирала на сестер. Итак, одной из них предстоит стать королевой франков. Подумаешь, какая важность! Сама она, Беренгела, когда-нибудь объединит Кастилию со своим Арагоном, а может быть, и даже наверняка, ей посчастливится присоединить сюда и Леон,

возможно, и Наварру, возможно даже, что ее дон Педро, если ей удастся разжечь его, отвоюет себе у неверных порядочную долю Андалусии.

А франкскому королю некуда расширять свои владения; повсюду у его границ расположился ее прославленный дядя Ричард, который владеет не только своей Англией, но и куда большей частью франкских земель, нежели сам злополучный король франков. Нет, ее сестрице, франкской королеве, нечем будет кичиться перед ней.

Дон Альфонсо радовался, глядя на своих хорошеньких дочек. Он был признателен старой королеве Алиеноре, что она открыла ему возможность породниться с франкской династией; в пору великой войны полезно упрочить связи между христианскими монархами. Он смотрел на некрасивое, но выразительное и умное лицо старшей своей дочери, Беренгелы, и с легкой усмешкой, но и не без досады видел на нем выражение неукротимой гордыни. Она держалась с ним теперь еще замкнутее, чем прежде. Она осуждала его за то, что он «изнежилась»; без сомнения, она уже вошла в роль королевы Арагонской и в отце видела человека, который преступно нерадиво управляет ее будущей собственностью.

На донье Леонор было одеяние из тяжелого красного узорчатого атласа с серебряной каймой, на которой были вытканы львы; она знала, что этот наряд ей не к лицу, но сегодня ей важнее было не затмить своих дочерей. Она гордилась ими, тем более что двум из них предстояло взойти чуть ли не на самые высокие европейские престолы. Если отнять те страны, над которыми владывает она, ее мать, ее брат и ее дочери, от мира почти ничего не останется.

Старая королева Алиенора разглядывала своих внушек холодными светлыми глазами, от которых не укроется никакой изъян. Про себя она уже лелеяла новый замысел. Ту из двух, которую она не выдаст за франкского наследника, можно посадить на португальский престол; Англия была заинтересована в португальских гаванях. Старая королева взвешивала: которая из инфант больше подходит для Парижа, а которая для Лиссабона? Она изучала обеих девушек до невежливости обстоятельно. Задавала им бесцеремонные вопросы,

приказывала подойти поближе, чтобы увидеть их походку, приказывала спеть что-нибудь, заговаривала с ними по-провансальски и по-латыни.

-- Миленькие девушки, — сказала она в конце концов, обращаясь к донье Леонор, но так громко, что каждый мог ее слышать, — сердце радуется, глядя на таких принцесс. Кое-что они унаследовали от кастильских предков Альфонсо, немного больше от моих предков из Пуату и ровно ничего от Плантагенетов. — Затем она снова обратилась к инфантам и спросила старшую: — Как же тебя зовут, принцесса?

— Урака, глубокочтимая бабушка и королева, — ответила она, а вторая сказала:

— Меня, глубокочтимая королева, зовут донья Бланка.

Позднее Алиенора, Альфонсо и Леонор совещались наедине с епископом Бовэским, чрезвычайным послом короля франков.

— Которая тебе больше понравилась, досточтимый отец? — спросила Алиенора епископа.

— Каждая достойна стать королевой, — учтиво и уклончиво ответил прелат.

— Я тоже это нахожу, — сказала Алиенора, — однако вот что надо принять в соображение: франкам трудно будет произносить имя Урака. Из-за этого инфанту будут меньше любить в народе. Мне думается, лучше выдать за твоего наследного принца Людовика нашу донью Бланку.

Так и было решено.

Дня не проходило, чтобы при бургосском дворе не устраивали празднества в честь королевы Алиеноры и новобрачных. Старая королева одевалась с большим вкусом и лучше умела себя прикрасить, чем иные дамы, которые провели последние годы не в заточении, а в том кругу, где всерьез изучали и обсуждали достоинства тканей, нарядов, уборов и притираний.

В танце она выступала уверенно и грациозно, точно молодая. Как знаток, смаковала кушанья и вина. Крепко сидела в седле и не раз отличилась на охоте. И, глядя с трибуны на турнир, проявляла недюжинные познания в единоборстве. Когда же дамам предлагалось оценить

творения трубадуров и труверов, ее суждения были всегда неоспоримы.

Сколько бы сил она ни расходовала на охоту, танцы, пиры и песни, ее участие в заключении союза от этого ничуть не становилось менее деятельным. Она неуклонно шла к цели. Прежде всего дону Альфонсо и дону Педро пришлось дать торжественное обещание, скрепленное подписью и печатью, что они беспрекословно подчинятся ей, Алиеноры Аквитанской, приговору; такое же обязательство она потребовала с доньи Леонор и даже, предосторожности ради, с доньи Беренгелы. Далее она призвала к себе знатнейших советников того и другого короля, сперва порознь, каждому задала ряд кратких, метких вопросов, затем устроила очную ставку тем министрам, чьи ответы и суждения не совпадали между собой, и таким образом получила нужные сведения.

После этого она собрала на коронный совет всех министров Арагона и Кастилии; недоставало лишь дона Иегуды и дона Родриго, дела управления государством удерживали их в Толедо.

— Я хочу обнародовать мое решение, — заявила Алиенора. Она взяла древний манускрипт, утверждавший за Кастилией суверенные права над Арагоном, и развернула потрескавшийся, пожелтевший пергамент, с которого свисали две большие печати; все сразу же узнали этот важный документ.

— Прежде всего, — провозгласила королева, — объявляю то, что здесь написано, недействительным. *Non valet, deleatur*¹, — и решительным движением разорвала пергамент надвое. — *Deletum est*², — подтвердила она.

Когда в свое время Иегуда предложил в третейские судьи короля Генриха, дон Альфонсо скрепя сердце попросил его вынести приговор. Зато Алиенора казалась ему посланной от бога, чтобы быть судьей в его споре. Но вот он увидел, как уничтожают драгоценный пергамент, дававший ему власть над арагонским вертопрахом, как разрывают этот знаменитый и роковой документ, во имя которого пало столько рыцарей и коней, и ему показалось, будто старческие руки рвут на части его собственную живую плоть.

¹ Не имеет силы и должен быть уничтожен (лат.).

² Уничтожен (лат.).

Тем временем Алиенора приступила к рассмотрению тех девятнадцати спорных хозяйственных вопросов, от решения которых, по словам Иегуды, зависело, какому из двух государств быть верховным владыкой на полуострове. С точностью до одного сольдо разграничивала она права и обязанности Кастилии и Арагона. Кастилия и Арагон слушали то с удовлетворением, то с досадой.

Под конец старая монархиня объявила свое решение насчет притязаний Гутьере де Кастро. Дону Альфонсо надлежит выплатить ему две тысячи золотых мараведи во искупление своей вины, — Алиенора не постеснялась произнести эти жестокие слова. Цифра была неслыханно высока, слушатели с трудом подавили волнение.

— Однако же, — невозмутимо продолжала старая королева, — тот кастильо в Толедо, на который Кастро заявляет свои права, остается собственностью дона Альфонсо или же человека, законным путем приобретшего его. Он остается кастильо Ибн Эзра.

Как ни старалась донья Леонор сдержаться, она побледнела от досады. Зато Альфонсо, который не смел и надеяться на такое решение, теперь облегченно перевел дух; для него было бы очень неприятной повинностью именно сейчас отнять кастильо у еврея.

— Пожалуй, на этом можно кончить, — сказала старая королева, — я приказала изготовить документы по отдельным вопросам и прошу причастных к сему должностных лиц представить их на подпись своим государям. Но скрепленный мною как третейским судьей приговор придает отныне силу закона всему, что в них постановлено.

Она отлично заметила гневное изумление доньи Леонор и, оставшись с ней наедине, сказала:

— Когда же ты наконец поумнеешь, дочка? Ревность по-прежнему затуманивает тебе разум. Пойми же, какой неслыханной глупостью с нашей стороны было бы объявлять войну еврею. И неужто тебе хотелось бы умиротворить барона де Кастро? Разве не лучше, чтобы он и впредь рвался снести голову этому выскочке?

Она подождала, чтобы ее слова поглубже проникли в сознание Леонор.

— Поставь себе за правило, дочь Кастилии, — наставительно сказала она затем, — никогда не давать просящему всего, чего он домогается. Эту премудрость впустила

мне мать моего Генриха, в бозе почившая императрица Матильда. «Кто желает от своего сокола хорошей службы, — говорила она, — пусть не кормит его, а дразнит кормом». Не худо, донья Леонор, раздражить барона де Кастро видом кастильо.

Немного погода она добавила:

— Не обижайся на то, что я иногда круто обхожусь с тобой и браню тебя. Не думай, я знаю все, что ты сделала хорошего, сколько препятствий ты устранила, чтобы добиться брака дочери и союза с Арагоном. У тебя есть политический дар. Должно быть, мы видимся с тобой последний раз, и мне бы хотелось подогреть в тебе любовь к политике. Властолюбие — надежнейшая из страстей. — Она закрыла глаза и заговорила, высказывая самое заветное: — Нет увлекательней забавы, как помыкать людьми, возводить города, сковывать государства воедино и вновь разметывать в разные стороны. Созидать — радость и разрушать — тоже радость; в настоящей победе — большая радость, но и поражений своих я ни за что не отдам. Не говори никому: даже отлучение от церкви было мне в забаву. Когда тебя предадут анафеме с Библией, свечами и колоколами и тут же гасят в алтаре свечи, заवेशивают образа и останавливают колокольный звон, тогда в тебе растет буйная воля вновь возжечь свечи и зазвонить в колокола, неукротимая воля, обостряющая разум. Ты прикидываешь все средства и выходы: держаться ли нынешнего папы и хитростью умаслить его? Или посадить на престол антипапу, который погасит у первого свечи и остановит звон колокола?

Донья Леонор благоговейно впитывала каждое сказанное шепотом слово. Она была признательна за то, что мать впускает ее к себе в душу, и давала себе слово оправдать такое доверие.

Алиенора открыла глаза и посмотрела на дочь в упор.

— В большом сердце всегда бывает много пустого места. И там легко может угнездиться скука, меланхолия, коварный враг — аседиа. Нужна немалая толика страстности, чтобы заполнить пустые места. Погоня за властью, все новой властью, — это великий, живительный и стойкий огонь. Поверь мне, дочка, политика не меньше горячит кровь, нежели самая прекрасная ночь любви.

При дворе в Бургосе оказался и клирик Годфруа де Ланьи, чтобы в качестве представителя принцессы Марии де Труа присутствовать на бракосочетании инфанты Беренгелы. Годфруа был ближайшим другом незадолго до того скончавшегося Кретьена де Труа, знаменитейшего из труверов, и, где бы Годфруа ни появился, рыцари и дамы неотступно требовали, чтобы он прочитал им поэмы своего друга.

Великий поэт Кретьен де Труа написал множество прекрасных, причудливых и глубокомысленных романов в стихах. Он рассказал о сложном, сказочно-чудесном и все же назидательном житии Гвильгельма Английского, о роковых и блаженных любовных чарах, околдовавших Тристана и Изольду, о необычайных похождениях рыцаря Иваэна в таинственных замках, о странствиях и мечтаниях чистого сердцем и светлого разумом юноши Парсифаля. Но охотнее всего дамы и кавалеры слушали отрывки из рассказа Кретьена о рыцаре Ланселоте в тележке. Тщетно доказывал Годфруа, что Кретьен считал эту поэму не из удачных и даже не закончил ее; все равно «Ланселот» был самым излюбленным из его творений, и рыцари и дамы требовали, чтобы Годфруа читал именно «Ланселота».

Вот что происходит в рассказе о Ланселоте в тележке: Ланселот, славнейший из христианских рыцарей, любит благородную даму Джиневру и, когда она попадает в беду, отправляется в путь, чтобы освободить ее. Он теряет коня и уже отчаивается догнать похитителя Джиневры. Но тут мимо едет тележка живодера, и хозяин ее, омерзительный карлик, с почтительными и смехотворными поклонами приглашает Ланселота сесть в тележку, но для рыцаря нет хуже позора, чем показаться в такой повозке. Ланселот колеблется два мгновения, затем садится в тележку и едет дальше под насмешки горожан. Он освобождает свою даму. Она же не позволяет ему предстать пред ее очи, а приказывает на ближайшем турнире скрыть свою силу и ловкость и позволить победить себя. Он повинуетя и принимает на себя еще немало позора, потому что такова воля его дамы. Но она не смягчается и под конец велит объявить ему причину своей немилости: он не знает, что такое истин-

ная любовь, — прежде чем сесть в тележку, он колебался целых два мгновения.

Так как королева Алиенора и донья Леонор по большей части вместе со всем двором слушали трубадуров и труверов, учтивость требовала, чтобы и дон Альфонсо хоть изредка появлялся на этих собраниях. И вот однажды он слушал, как клирик Годфруа читал из «Ланселота».

Обычно романы в стихах нагоняли на Альфонсо скуку. Приключения вымышленных рыцарей представлялись ему бессмыслицей, их любовное воркование и стенания — притворством. Но этот рассказ невольно увлек его. Как ни безрассудно было поведение Ланселота, оно непосредственно его задевало, беспокоило, заставляло призадуматься, что-то для себя уяснить.

Лежа поздно ночью в постели, он думал все о том же. Он лежал с закрытыми глазами, слишком утомленный, чтобы бодрствовать, слишком возбужденный, чтобы уснуть, и видел перед собой рыцаря Ланселота в тележке. Но вдруг Ланселот очутился уже не в тележке, а у него на постели.

«Что тебе здесь надобно? — сердито спросил Альфонсо. — Может, ты хочешь сказать, что мы с тобой одного поля ягоды? — Ланселот утвердительно закивал. — Нет, уж это оставь, — прикрикнул на него Альфонсо. — Я тебе не брат и не товарищ». Ланселот ничего не отвечал, только неотступно смотрел на Альфонсо, и тому было понятно, что именно он говорил своим молчанием. «Конечно же, ты мне брат и товарищ, — говорил он, — рыцарь-лежебока». Альфонсо собрался было дать внушительный ответ, привести веские военные и политические причины, столько времени мешавшие ему принять участие в крестовом походе. Но вдруг он с мучительной ясностью увидел: все это обман и ложь. Есть только одна истинная причина, по которой он не шел воевать, — ему хотелось остаться подле Ракели. Да, он *воистину* брат и товарищ Ланселоту, да, он *принял* на себя бремя позора, да, он *в самом деле* «изнежил»ся. Жгучий стыд поднялся в нем.

Но вскоре он с блаженным испугом ощутил, как огонь стыда сменился другим, таким знакомым, окающим и желанным жаром; откуда-то явственно донеслось душное благоухание садов Галианы, кровь застучала

в жилах, заструилась обжигающим током, милым сердцу, сладостным и тонким ядом вливалась ему в кровь Ракель.

Он попытался высвободиться. Тяжело дыша, с детской злобой отшвырнул голой ногой одеяло. Скоро этот Ланселот перестанет потешаться над ним. Война на пороге, и едва лишь он выйдет на поле брани, Ракель навсегда отодвинется в далекое прошлое.

— Absit! Absit! — твердил он себе. Окончательно порвать с ней! Возвратясь в Толедо, он прежде всего велит окрестить сыночка, а затем отправится к южной оконечности своего королевства, в Калатраву и Аларкос, и с ней, с доньей Ракель, будет покончено навсегда.

«Тогда у меня ничего не будет общего с тобой, жалкий ты бабий угодник, — запальчиво объявил он Ланселоту, — и вообще ты смешон в своей раболепной любви». Но Ланселот успел испариться.

Дон Альфонсо не очень жаловал трубадуров и труверов, но ему все-таки нравился один из них, некий барон из Лимузена, Бертран де Борн.

Бертран этот хоть и называл себя графом Отефора, был не очень большой сеньор, в его подчинении находилось всего несколько сот человек. Но он прославился своими неистовыми стихами, с самой ранней юности он зачаровывал людей и вихрем врвался в их жизнь. Говорили, что в свое время, совсем еще отроком, он пользовался благосклонностью королевы Алиеноры, бывшей тогда во цвете лет. Позднее в качестве владельца двух замков он участвовал стихом и мечом в каждой междоусобице, не очень-то разбираясь, чье дело правое, а чье нет, но при этом всегда умел привлечь к себе сторонников. Нрав у него был воинственный и вспыльчивый. Не поделив с братом отцовского наследства, он начал с ним борьбу словом и оружием, хотя требования брата были весьма умеренны. Их сеньор, король Генрих, вступился за брата и помог ему отстоять свои права. Тогда Бертран стихами втравил молодого короля Генриха в борьбу с отцом, пока молодой король не пал от стрелы под стенами Бертранова замка. Но Бертран не унимался, подстрекая лимузенских баронов воевать со своим королем, старшим Генрихом, и

друг с другом; он восставал против всех, и все восставали против него. В конце концов молодой король Ричард сжег замки Бертрана, а его самого взял в плен. Но вскоре они снова помирились, и теперь Бертран держал путь в Сицилию, чтобы примкнуть к крестовому воинству Ричарда.

Слава Бертрана де Борна проникла и через Пиренеи. В Испании получили известность главным образом его политические песни, сирвенты. Где бы ни начиналась распря или война, там звучали его неистовые стихи. Девиз его: «Мне миром сердца не зажечь, одно лишь право знаю — меч» — был знаком всем не хуже, чем «Отче наш».

Теперь Бертрану было уже лет под шестьдесят, но никто по-прежнему не мог соперничать с ним в рыцарственности и придворной куртуазности. Дону Альфонсо он понравился с первого взгляда, и хотя король не без труда понимал провансальский язык, он почувствовал, что необузданно воинственные песни Бертрана ничего не имеют общего с нескладными виршами испанских певцов; они были изящно отточены и остры, как кордовские клинки.

Дон Альфонсо открыто выказывал Бертрану свое расположение, посылал ему щедрые подарки и всячески поощрял его, брал в своей свите на охоту, по-дружески беседовал с ним.

У Бертрана был дар так выпукло и ярко изображать людей и события, что они оживали для слушателей.

Так, например, рассказывая о старом короле Генрихе, он словом своим живописал покойного короля, его серые, налитые кровью глаза, выступающие скулы, тяжелый подбородок с остrokонечной бородкой, необузданно алчный рот. Конечно, он, король Генрих, был герой, но герой не до конца. Ему недоставало широты, щедрости, он был скуповат. Под конец Бертран пленником предстал перед королем, не имея иного оружия, кроме слова, но словом своим он победил победителя, и тот отпустил его на волю и заново отстроил его сгоревший замок. Но и тут показал себя скрягой. Что поде-лаешь — он не был настоящим королем, как ни старался показать, что он великий король. И завоевывал он не из любви к завоеваниям, а чтобы захватить и удержать. Мелкими штрихами характера и поступками он то и дело обнаруживал свою жадность и скопидомство. Так, его выдавали пальцы — они ни минуты не могли побыть

в покое: либо они жадно вытягивались и сгибались, уличая его в притворном величии, либо он что-нибудь чертил и рисовал. Он много сулил — правда, и выполнял, но всегда лишь наполовину. «Да и нет» — прозвал его Бертран, и это прозвище останется за ним.

Слушая рассказы Бертрана, дон Альфонсо видел перед собой своего тестя, видел явственнее, чем когда смотрел на него собственными глазами.

— Не таков был мой молодой король Генрих, — продолжал рассказывать Бертран. — *Rassa* — величал я его, он и в самом деле был *Rassa*. Он жил полной жизнью, расточал, не жалея, все, что имел: сокровища Шинона, своих рыцарей и наемников, себя самого. Он был великолепен, истый *Rassa*, и потому со стороны старого короля было вдвойне подло так урезать его. Зачем же он сделал его королем, если не давал ему жить по-королевски? Да, верно, я его восстанавливал против отца, а когда они мирились, восстанавливал снова. Люди говорят, он из-за этого голову сложил. Я никогда не думал, что человек может испытывать такую адскую боль, какую испытал я, когда умер мой молодой король. Может статься, что мои стихи повинны в его смерти. И все-таки я не раскаиваюсь ни в чем.

Он продолжал говорить тихо и страстно, должно быть, обращаясь уже к самому себе:

— Я любил многих женщин и многих терял, и мне случалось горевать, теряя ту или другую. Но по-настоящему скорбел я лишь о молодом короле. Лишь его я любил по-настоящему. — И Бертран нараспев, словно про себя, начал читать те стихи, которые сочинил на смерть молодого короля, ту жалобу, прекрасней которой никто не посвящал герою с тех пор, как Давид оплакивал Ионафана. — *Si tuit li dol e'lh plor e'lh marrimen*, — пел он, —

Когда собрать могли бы воедино
Со всей земли и слезы и печаль,
Утраты горечь, смертную кручину, —
Они сумели б выразить едва ль
Ту скорбь, что принесла с собой кончина
Младого повелителя британцев.

Дон Альфонсо смотрел, как страстно, словно прислушиваясь к внутреннему голосу, говорит Бертран. Над тонким, горбатым, поистине ястребиным носом буйным блеском сверкали большие серые глаза.

Поэт читал эти скорбные стихи с такой глубокой искренностью, что дону Альфонсо казалось, будто они возникают только сейчас, и король был растроган, что Бертран выворачивает перед ним всю душу. Ему захотелось ответить доверием на доверие. Бертран, этот безупречный рыцарь, обладает даром высказывать словами те невыраженные и невыразимые чувства, которые беспорядочно теснятся в груди; кто же, как не он, поймет и то смутное и темное, что томит Альфонсо.

— Ты говоришь, что по-настоящему не любил ни одной женщины? — с непривычной робостью спросил он.

Бертран удивленно взглянул на короля.

— Так уж решительно я не стал бы это утверждать, — ответил он, улыбнувшись. — Однако доля истины есть в твоих словах.

— Но ты ведь воспевал женщин прекрасными стихами, — возразил Альфонсо.

— Не отрицаю, — сказал Бертран, — мужчина должен говорить женщине приятное, этого требует учтивость, а порой и сердце. Я клялся женщинам невесть в чем. Но клятвы, которые даешь в ночь любви, теряют силу к утру. Нарушение их — грех простительный, это признал даже мой духовник. Ведь яблоком нас соблазнила как-никак женщина!

Альфонсо рассмеялся, но продолжал выпрашивать:

— И тебе всегда удавалось превозмочь любовь? Превозмочь любовь ко всем женщинам без изъятия?

Старый рыцарь заметил, как лихорадочно Альфонсо ждет ответа, понял, что он думает о своей любовной связи с еврейкой, и почувствовал почти отеческую нежность к молодому королю, который, скрываясь за такой по-детски простодушной хитростью, на самом деле просит у него утешения.

— Да, мне это удавалось, — ответил Бертран. — Что женщины! — с беспечно-пренебрежительным жестом продолжал он, весело и ласково посмотрев на Альфонсо. — Как бы они ни волновали нам кровь, душу они не затрагивают. Послушай, что я тебе скажу, Альфонсо: жизнь рыцаря — это стремительный поток, он бежит и бежит, стирая и перемалывая все непрочное, все, что не вошло в душу. И давно уже стерты те женщины, которых я воспел в стихах, они стали пустым воспоминанием, расплылись в тумане. Другое дело — добрая битва. Ее след

сохраняется надолго, воспоминание о ней согревает и придает силы. Дух мой остался молод из-за тех битв, в которых я сражался.

Он засмеялся лукаво и задорно.

— Да и тело тоже. Сейчас сам увидишь, что я хочу этим сказать, — шутиливо и таинственно пообещал он.

Он подозревал своего оруженосца Папиоля, который был, пожалуй, не моложе его, но держался так же прямо, и, весело сверкнув на короля своими пылками, глаубоко посаженными глазами, приказал:

— А ну-ка, друг, Папиоль! Спой нам песню о том, кто стар и кто молод!

И Папиоль, аккомпанируя себе на маленькой арфе, пропел дерзкую и бойкую песню: «*Loves es om que lo seu be engatge*».

Молод тот, кто все добро заложит
И помчится, гордый, на турнир,
Молод тот, кто, без гроша в кармане,
Царские подарки раздает.
Кто, гоним толпою кредиторов,
Весело садится за игру,
Ставит на кон жизнь. И трижды молод,
Кто себя в любви не бережет!
Стар и дряхл, кто копит хлеб в амбаре,
Прячет под пол сладкое вино,
Кто, поев, страшится пресыщенья
И весною кутается в плащ,
Кто не смеет отложить работу
И бросает в изможденье карты,
Сладостного куша не сорвав.

Бурная жизнь как-никак потрепала Бертрана, и хотя он держался bravо и вызывающе и почти всегда бряцал доспехами, однако же ему трудно было скрыть, что эти доспехи скрывают довольно хлипкое тело, а потому стареющий рыцарь со своим стареющим оруженосцем, быть может, кой у кого вызвал бы улыбку. Но Альфонсо не улыбался. Он слушал и улавливал в стихах юный и мощный порыв, вызов, брошенный быстротекущему времени, неустанный бег жизни.

— Благодарю тебя, Бертран, — восторженно воскликнул он, — вот это по-рыцарски, это искусство!

Старику Бертрону приятно было восхищение молодого короля. Посмей кто-нибудь взглядом или жестом вы-

разить сомнение в его силе, он вызвал бы наглеца на поединок. Но Альфонсо он считал другом и братом, и ему он признался:

— Увы, даже самые дерзновенные стихи не защитят тело от одряхления. Тебе, государь, я могу сказать: это будет мой последний военный поход. Я не хочу себя обманывать: еще год, еще два — и глупое старое тело откажется мне служить, а немощный рыцарь — это посмешище для детей. Я уже сговорился с настоятелем Далонской обители: если я вернусь с войны цел и невредим, то уйду в монастырь.

Король был горд тем, что Бертран раскрывает перед ним душу, и тут же по наитию решил: «Незачем этому славному рыцарю и поэту свершать свои последние ратные подвиги под водительством короля Ричарда. Я не позволю моему шурину Ричарду отнять у меня и его. Пусть Бертран сражается бок о бок со мной и воспекает мои битвы».

В Бургос приехал каноник дон Родриго.

Он был полон тоски и тревоги. Дон Альфонсо, по-видимому, не желает, чтобы его сыночек был крещен и принят в христианскую общину, и тем самым берет на душу смертный грех; неспроста он, уезжая из Толедо, уклонился от объяснений. Сам он, Родриго, тогда обрадовался этому, он испытывал постыдный страх перед объяснением и увильнул от своего долга. Лишь сейчас, спустя несколько недель, он взял себя в руки и явился к королю.

Но и здесь, в Бургосе, Альфонсо явно избегал беседы с глазу на глаз. А он снова примирился с этим.

Чтобы рассеяться от забот, раскаяния и стыда, каноник принял участие в бургосской придворной суете. С любопытством наблюдал, насколько утонченнее стали придворные нравы северян. Дамы и кавалеры ревностно изучали правила куртуазного обхождения, спорили о прихотливых законах рыцарственной любви и, как знатоки, судили об искусстве поэтов.

Однако он вскоре убедился, что этот жеманный придворный обиход — всего лишь пустая и лживая видимость. На самом деле и дам и кавалеров занимала и всецело поглощала только предстоящая война. Они ожи-

дали ее со сладострастным и самозабвенным нетерпением.

Сокрушенно наблюдал это дон Родриго и сам корил себя за свою печаль. Ведь война, которой они жаждут, священна, их воодушевление благочестиво; долг каждого — участвовать в этой войне, и грех ее осуждать.

Но он никак не мог приобщиться к благочестивому ликованию. Слишком живы были в нем прекрасные слова в похвалу мира из пророка Исайи и из Евангелия и речи его ученика, дона Вениамина, страстного поборника мира. Со скорбью и содроганием представлял он себе, сколько горя принесет война всему полуострову. Он чувствовал себя страшно одиноким посреди шумной и радостной суеты, кровожадный восторг этих холеных, просвещенных людей претил ему и приводил на память рассуждения его друга Мусы о злом начале.

Всех ненавистнее был ему человек, которому бог судил быть выразителем их дикой и жестокой радости, — этот самый Бертран де Борн. На первый взгляд он мало чем отличался от других пожилых мужчин. Но дон Родриго был хорошо осведомлен о его стихах, делах и стремлениях, и, всматриваясь в лицо этого рыцаря, можно было по его буйным глазам под густыми нависшими бровями понять, что он поистине воплощение войны. Пожалуй, он мог даже показаться смешным, когда с подчеркнутой молодцеватостью шагал, скакал, выступал; но ужас, исходивший от этого человека, отбивал у каноника охоту иронизировать. Да и ничего тут не было смешного. Это был сам страшный бог Марс во всей своей жестокости. Такими, верно, предстали евангелисту Иоанну всадники в откровении Страшного суда.

При этом и сам дон Родриго невольно подпадал под обаяние яростных стихов Бертрана и как знаток вынужден был признать, что его военные песни великолепны, пленительны и грациозны при всем своем неистовстве. С грустью и гневом видел Родриго, каким высоким искусством одарил господь этого беспутного человека. И гнев его возрастал по мере того, как он убеждался, что его возлюбленный Альфонсо с ним, с Родриго, избегает говорить, а этого богопротивного, необузданного рыцаря не отпускает от себя. Ревнивец Родриго с болью наблюдал внутреннее родство этих двух

людей, и надежда вернуть короля на стезю добродетели угасала с каждым днем.

Среди всех его скорбей у каноника осталась *одна-единственная* отрада: общение с клириком Годфруа. Дон Родриго высоко ценил романы Кретьена де Труа, а весь облик Годфруа, казалось, служил отображением того удивительного непритворного благочестия, которым Кретьен умел одушевлять свое повествование. Поэтому Годфруа в угоду канонику выбирал из романов Кретьена главным образом те отступления и тихие раздумья, где особенно ясно сказывалась необычайная, неповторимая способность Кретьена отрешаться от земной пошлости.

Так, однажды он перед многими слушателями прочел приключения рыцаря Иваэна с *rauvres pucelles*, с бедными девицами.

Вот однажды рыцарь Иваэн попал в жилище *des raucres pucelles*, и вот он видит их, этих бедных девиц. Они шьют и вплетают в наряды золотые и шелковые нити; сами же они весьма жалки на вид: корсаж и платье в дырах и лохмотьях, рубахи пропотели и загрязнились, шея загрубела, лицо бледно от голода и горя.

Иваэн видит их, а они видят его и от стыда опускают головы долу и плачут. И начинают жаловаться:

Мы ткем парчу, мы плетем кружева,
А сами одеты и сыты едва.
В чем дело? Доход у нас, знать, таков:
Ни мяса не купишь, ни башмаков.
Ложимся поздно, встаем чуть свет,
Но в доме хлеба ни крошки нет.
Работа сгубила младую красу.
Кто выжмет в неделю пятнадцать су,
Себя герцогиней, богачкой мнит.
На эти деньги не будешь сыт!
Зато мы работою кормим своей
Работодателей-богачей.
Они пируют — мы спину гнем,
Не знаем покоя ни ночью, ни днем.
А коль устанешь, собьешься с ног,
Тотчас подбодрит хозяйский пинок.
Живем, как в аду, как в угрюмой келье,
Мы бедные девушки, *rauvres pucelles*.

Дону Родриго утешительно было слышать, что блистательный ореол рыцарей и дам не затмил для поэта Кретьена де Труа горести тех, что надрываются в труде

где-то там, внизу. Однако остальные слушатели, все эти *preux chevaliers* и *dames choisies*, носившие наряды, изготовленные теми самыми *rauvres pucelles*, были изумлены и раздосадованы. Что за глупая причуда пришла на ум почившему труверу? Как может человек, так сладостно и благородно воспевавший рыцарственную любовь и героические деяния, до такой степени опоганить свои уста? Откуда взялись у него стихи и рифмы для каких-то ничтожных швей? Одни шьют наряды, другие их носят; одни куют мечи, другие разят ими; одни строят замки, другие живут в них — так уже повелось, так тому господь в премудрости своей рассудил быть. Если же эти ничтожные создания, *rauvres pucelles*, восстают против такого порядка, тогда господин их должен, не долго думая, перебить им руки и ноги.

И на сей раз общие чувства выразил Бертран де Борн. Северное наречье, на коем писал этот Кретьен, и без того уже казалось ему, Бертрану, несвязным лепетом, а та слащавая рифмованная трескотня, которую ему пришлось сейчас выслушать, была, на его взгляд, чистой нелепицей.

Он уж и во время чтения не мог удержаться от смеха, а когда Годфруа кончил, он прямо заявил ему:

— Удивительно, до чего вы, северяне, тяготеете к черни и ее зловонию. Хочешь знать, почтенный Годфруа, что мы здесь, на Юге, думаем на этот счет?

Дамы и кавалеры, предвкушая мужественный отпор, который Бертран, без сомнения, даст слезливой болтовне покойного Кретьена, хором закричали:

— Скажи, благородный Бертран! — И еще: — Не томи нас, скажи! — настаивали они.

И тогда:

— Спокойно нам сирвент о виллане, друг Папиоль, — злобно смеясь, приказал своему жонглеру Бертран.

Папиоль задорно и молодежато выступил вперед и, перебирая струны маленькой арфы, запел песню о виллане, о подлом горожанине и мужике. Он пел:

Сброд торгашей, мужицкий сброд,
Зловонный городской народ —
Восставшие из грязи
Тупые, жадные скоты!
Противны мне до тошноты
Повадки этой мрази.

Едва такой ничтожный пес
Добудет денег — кверху нос,
На все глядит без страха.
Так батогами бейте их,
Стригите их, срывайте с них
Последнюю рубаху!

Пускай крестьянин с торгашом
Зимой походят нагишом.
Друзья! Забудем жалость,
Чтоб чернь не размножалась.
Теперь закон у нас таков:
Плетьми лупите мужиков!
Плетьми — займодавцев!
Убейте их, мерзавцев!
Мольбам их не внимайте вы!
Топите их, кидайте в рвы!
Навек свиней проклятых
Сажайте в казематы!
Бесчинства их и похвальбу
Давно пресечь пора нам!
Смерть мужикам и торгашам!
Погибель горожанам!

Слушатели приветствовали рыцаря восторженными возгласами.

Сброд там, внизу, что-то уж очень осмелел. Господа, собиравшиеся в крестовый поход, вспомнили о торгашах и банкирах, которые предлагали им за поместья куда меньше настоящей цены; и они вынуждены были соглашаться, потому что им не удалось достаточно выколотить из своих крестьян. Каждый, кто крепким словом клеймил эту мразь, выражал их заветные чувства.

Дон Родриго видел, как греховные, высокомерные стихи Бертрана еще сильнее разожгли в *preux chevaliers* нечестивый пыл. То, что в богопротивной заносчивости пропел этот фигляр, наполнило кроткого каноника жгучей скорбью. Но при всем своем благочестивом сокрушении он, как ученый, не преминул отметить, до чего угодливо подлаживается язык к дурным наклонностям говорящего, постепенно превращая беспристрастное определение виллана как городского и сельского жителя в кличку проходимца и бездельника.

Лицо дона Альфонсо сияло радостным возбуждением — кичливые и звонкие стихи вполне отвечали его чувствам. В этих стихах слышалась ненависть настоящего рыцаря к своре торгашей и банкиров, та ярость,

которую сам он, Альфонсо, испытывал не раз, когда ему приходилось торговаться со своим Иегудой и понапрасну растрачивать драгоценное королевское время. Бертран воистину ему брат по духу.

— Послушай, благородный Бертран, — сказал он, — не хочешь ли ты идти на войну вместе со мной? Я дам тебе перчатку, и ты получишь немалую долю моей добычи.

Бертран рассмеялся своим веселым и злым смехом.

— Ты показал себя великодушным государем, щедро наградив меня за ничтожные стихи, сочиненные в твою честь, — ответил он. — Я намеревался посвятить тебе настоящий сирвент.

— Значит, ты согласен идти со мной?

— Я ленник короля Ричарда и обязался служить ему. Впрочем, я спрошу благородную даму Алиенору.

Так он и сделал.

— Опять ты собрался менять господина? — сказала Алиенора.

Старая государыня и старый рыцарь обменялись веселым взглядом, и она сказала:

— Так и быть, оставайся с Альфонсо. Я походатайствую за тебя перед Ричардом.

Алиенора не хотела уезжать из Бургоса, пока не будут разработаны подробные военные планы, точно разграничены права и обязанности обоих королей.

Не раз Альфонсо и Педро приступали к ней с просьбой отдать им несколько отрядов ее испытанных наемников — брабантцев. Но Алиенора даже слышать об этом не желала.

— У вас и своих довольно, сынки мои, — отговаривалась она, — а я разве стала бы так дорого платить наемникам, если бы действительно не нуждалась в них, чтобы держать в страхе моих непокорных баронов? Случается, я заснуть не могу, не зная, чем заплатить им.

— Почему же весь христианский мир говорит: «Где и дублоны, как не в Шиноне?» — возразил Альфонсо.

— Эту глупую поговорку пустили в оборот евреи моего покойного Генриха, чтобы поднять его кредит, — отрезала Алиенора. — Я, во всяком случае, никаких денег в Шиноне не нашла. Мне даже трудно было опла-

тить счет по похоронам моего Генриха. Как ни просите, голубчики, уж горстку солдат вам придется оставить старухе, чтобы она могла защитить свою школу.

Военные планы строили в расчете на то, что халиф Якуб Альмансур не будет вовлечен в войну. На восточной границе его владений взбунтовались вожди могущественных племен; да и здоровье его, по слухам, было ненадежно. Следовало предполагать, что он воспользуется любым мало-мальски сносным предлогом и предоставит своих андалусских эмиров самим себе. Но тут было другое: халиф, как и султан Саладин, ни при каких обстоятельствах не мирился с нарушением договора, а срок злополучного перемирия дон Альфонсо с Севильей еще не истек. Следовательно, Кастилии пришлось на первых порах соблюдать нейтралитет. Зато Арагон, не связанный договорами, должен был в самое ближайшее время вторгнуться в принадлежавшую мусульманам Валенсию и вскоре попросить Кастилию о военной помощи. Если после этого война даже и перекинется на Кордову и Севилью, то, может быть, удастся убедить халифа, что злонамеренного нарушения перемирия тут не было.

Альфонсо пороптал было на то, что честь первого натиска достанется молокососу дону Педро, однако уступил разумным доводам старой королевы и дал обещание ни при каких обстоятельствах не выступать против Кордовы и Севильи, пока Арагон не запросит у него военной помощи. Дон Педро в свой черед обязался обратиться за помощью не позже, чем через полгода, а затем отдать свои значительные военные силы под начало дна Альфонсо.

Королева Алиенора на этом не успокоилась. Она опасалась, что зависть или ложно понятый рыцарский долг побудят Альфонсо или Педро пренебречь договором. Ведь что такое договор? Чернильные знаки на звериной коже. Кровь, омывающая человеческое сердце, имеет куда больше силы. Поэтому старая королева призвала к себе обоих королей с женами и, опираясь на досконально разработанный план военных операций, кратко, но внушительно указала, что надо делать Альфонсо, а что Педро и чего им делать не следует. Затем с торжественного тона перешла на добродушный и, грозя пальцем, лукаво заметила:

— Меня вы не проведете, я знаю, вы все еще взваливаете друг на друга всяческие вины. Но в такой большой и трудной войне вам эти глупости надо бросить. Когда она окончится, можете донимать друг друга, сколько вашей душе угодно. А пока не мешает вам доносить неверных.

И заключила по-королевски величаво:

— Молю вас, с корнем вырвите из сердца всякую досаду, как бык с корнем вырывает траву.

Альфонсо стоял смущенный и хмурый, дону Педро тоже было не по себе. Но вдруг тишину нарушил по-детски резковатый голос Беренгелы:

— Мы тебя поняли, высокочтимая бабушка и королева. Либо оба монарха, мой родитель и мой супруг, будут полностью, без оговорок единодушны, либо язычники одолеют их. *Tertium pop datur*, третьего выхода нет.

— Да, ты меня верно поняла, внученька, — сказала Алиенора. — А теперь, — обратилась она к обоим королям, — при нас, трех женщинах, поцелуйтесь по-братски и поклянитесь на Евангелии не отступать от того, что подписали и скрепили печатью.

Накануне того, как собравшимся предстояло расстаться и каждому идти своим путем, в бургосском замке было устроено прощальное празднество.

И здесь Бертран де Борн исполнил ту просьбу, которую все время умышленно пропускал мимо ушей. Он сам пропел свою песнь во славу войны, песнь о смерти на поле брани, знаменитую песнь «*Be'm platz lo gais temps de Pascor*».

Он пел:

Люблю красавицу весну,
Люблю лугов цветной убор,
Люблю в проснувшихся лесах
Услышать звонких птичек хор.
Но мне дороже втрое,
Чем птицы, нивы и сады,
Палаток белые ряды,
Когда, готовы к бою,
Плечом к плечу, за рядом ряд
Стрелки и всадники стоят.
О, как мне весело, когда
Штурмуют вражеский редут
И в страхе люди и стада
При виде воинов бегут!

Старая королева Алиенора, которая в свое время была близка с Бертраном, весело и взволнованно слушала, как старый рыцарь пел свои буйные, жестокие и радостные стихи. Еще в ту пору, когда он зеленым юнцом напористо добивался ее взаимности, он почти в одинаковой мере веселил и волновал ее. И он остался прежним, этот несравненный Бертран, сочетавший в себе отвагу, дерзость и дар поэта. Всю свою жизнь он не знал поражений и еще ныне был явно полон решимости воевать, петь и не сдаваться, пока смерть не хлопнет его по плечу. Так и она сама, королева Алиенора, не думает сдаваться.

Бертран пел:

О, дивная картина,
Когда, войною сметена,
Трещит и рушится стена:
Полки штурмуют бастион!
И в поле с четырех сторон
Врывается лавина.
Ручьи кровавые кипят,
Кругом бушует пламя,
И кони яростно храпят
Над мертвыми телами.
О, сколько павших! Груды тел!
Но сладостен такой удел.
Ведь лучше пасть героем,
Чем струсить перед боем!

Багровое лицо архиепископа дона Мартина побагровело еще сильнее, он пыхтел и шевелил губами, шепотом повторяя стихи за Бертраном. Юный Аласар восторженно смотрел на певца, ловя с его уст каждое слово. До селе Аласар лишь грезил о чудесах войны; теперь он видел, слышал, ощущал их всем своим существом. Рыцарь Бертран высказывал то, что бурлило в груди Аласара с тех пор, как он жил в Кастилии. В речах этого человека слышался лязг мечей. Бертран пел о том, ради чего жил он сам, Аласар.

Бертран пел:

Ни пир веселый, ни любовь
Мне так не растревожат кровь,
Как гул военной выюги.
А lo! А lo! Руби! Коли!
Пусть падают на грудь земли
И рыцари и слуги!
Ржут кони, сбросив седоков.

«Сюда! На помощи!» — слышен зов.
Кровь обагрят зелень трав.
Со всех концов, со всех сторон
Предсмертный раздается стон.
Хрипит израненный, упав,
Заря победы — впереди!
А у поверженных в груди,
Насквозь пробив надежный щит,
Копье безжалостно торчит.

У слушателей дух захватывало от восторга. А *¡oi! Aidatz! Руби! Сюда! На помощи!* Весь старый замок гудел кроважадным вдохновением рыцаря Бертрана, сладострастием убийства.

Каноник дон Родриго лучше остальных мог оценить воодушевляющую силу звучных провансальских стихов. Но не восхищение, а ужас возбуждали они в нем.

Содрогаясь, смотрел он на лицо короля, которого любил, как родного сына. Да, *vultu vivax* — Родриго метко обрисовал дону Альфонсо, его лицо с ужасающей ясностью отражало движения души. И сейчас оно отражало неприкрытую жажду убийства, разрушения, то злое начало, о котором постоянно толковал Муса.

Дон Родриго закрыл глаза, чтобы не смотреть больше на лица этих рыцарей и дам. И тут к нему пришло ошеломляющее сознание, что лучше бы его духовному сыну Альфонсо еще месяцы и годы пребывать в грехонном союзе с упорствующей в своей ереси еврейкой, нежели быть заодно с благочестиво алчущим крови воинством божьим.

Каноник хотел было вернуться в Толедо в королевской свите. Он твердо намеревался дорогой наконец-то исполнить свой долг и усовестить короля. Теперь он отказался от этого намерения.

Этой же ночью он торопливо собрался в путь и поскакал назад, в Толедо, еще более удрученный, чем приехал оттуда, преступно *infectis rebus*, не свершив должного.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Как только дон Иегуда Ибн Эзра получил известие о смерти короля Генриха, для него стало ясно: в ближайшие недели, а может быть, даже в ближайшие дни, разразится та страшная война с мусульманами, для

предотвращения которой он бросил Севилью и прежнюю свою жизнь. Чудовищное колесо приближается, и остановить его разгон невозможно. Халиф поведет свои полчища на Андалусию, дон Альфонсо ждут неизбежные поражения, и вину за них жители Толедо припишут не королю, а ему, Иегуде, и остальным евреям. То, чему он подростком был свидетелем в Севилье, повторится здесь. И весь гнев Эдома обрушится на те шесть тысяч франкских беженцев, которых он впустил в Кастилию. Как он торжествовал, хитростью добившись для них доступа; сам себе представлялся окер харимом, человеком, который движет горы. А теперь на долю его поселенцев выпадут такие испытания, каких они не знали бы даже в Германии. Ему казалось, что на него с презрением устремлены горящие фанатическим огнем глаза рабби Товия.

Сведения из Англии усиливали его страх. По случаю коронации Ричарда делегация от евреев, во главе с Аароном из Линкольна и Борухом из Йорка, в числе прочих вознамерилась вручить королю подарки в Вестминстерском аббатстве и просить, чтобы он подтвердил прежние их привилегии. Однако евреев в собор не пустили, и откуда-то пошел слух, будто король отдает их жизнь и добро во власть славных лондонских горожан. Толпы черни под водительством крестоносцев разгромили жилища евреев, их самих избили, многих поволокли в церкви, чтобы насильственно окрестить, а кто сопротивлялся, тех прикончили. То же самое произошло в Норвиче, в Линне и Стамфорде, в Линкольне и Йорке. Аарон из Линкольна благополучно покинул Лондон, но вскоре погиб во время резни в Линкольне. Борух из Йорка согласился принять крещение. На следующий день король Ричард спросил его, стал ли он и в сердце своем христианином. Борух ответил на это, что подчинился ради спасения жизни, а сердцем он по-прежнему еврей.

— Как нам поступить с ним? — спросил Ричард архиепископа Кентерберийского.

— Коли он не хочет служить богу, — ворчливо ответил прелат, — так и быть, пусть остается слугой диавола.

И Борух воротился евреем в Йорк, где был убит вместе со своей семьей.

«Если нечто подобное могло произойти в рассудительной Англии, — подумал Иегуда, — что же будет здесь,

в Кастилии, когда после поражения народ постараются патравить на евреев?»

К Иегуде явился дон Эфраим. Сообщил, что граф де Алкалá обратился к нему с просьбой о ссуде под залог графских поместий, но он отказал наотрез.

— Граф весь в долгах, — пояснил Эфраим, — но не перестает транжирить. Война, надо полагать, окончательно разорит его, и поместья задешево достанутся кредитору. Тем не менее я не согласился ссудить графа деньгами, ибо, извлекая выгоду из бедственного положения крестоносца, еврей усугубляет вражду к себе и всей еврейской общине. Весьма вероятно, что граф обратится теперь к тебе.

— Благодарю тебя за предуведомление и совет, — неопределенно ответил Иегуда.

Но у дона Эфраима была еще одна, более важная новость. Альхама решила предоставить королю вспомогательный отряд числом в три тысячи человек.

Иегуда был глубоко уязвлен. Значит, он настолько уже наг и беспомощен, что альхама в такие тяжкие минуты принимает решения, не спрашивая у него совета.

— Думаешь, это вас спасет? — насмешливо спросил он. — Вспомни о том, что случилось в Англии.

— Мы помним и скорбим об этом, — ответил дон Эфраим. — Именно потому мы и хотим сделать все, что в нашей власти, дабы способствовать победе короля Альфонсо, да хранит его бог. Впрочем, мы всегда предполагали выставить вспомогательный отряд, и ты сам обещал это королю.

— Будь я на вашем месте, — возразил Иегуда, — я бы просто дал денег на оплату наемников. В крайнем случае, чтобы показать особое усердие, вы могли бы выставить двести — триста человек из своей общины. Но большинство крепких, умеющих владеть оружием мужчин лучше оставить при себе. Боюсь, что они понадобятся альхаме, — с горечью закончил он.

— Ты иначе и не можешь рассуждать, — спокойно возразил Эфраим. — Но твое положение, дон Иегуда, сильно отличается от нашего, и даже такому умному человеку, как ты, при этих обстоятельствах трудно беспристрастно советовать другим. — Увидев, что его слова больно задели Иегуду, он продолжал гораздо мягче: —

Я тебе не враг, дон Иегуда. Я помню все, что ты по своему великодушию сделал для нас. Если наступят такие дни, что тебе понадобится наша помощь, верь мне, мы всегда будем наготове.

— Благодарю вас, — угрюмо и сухо ответил Иегуда.

После ухода Эфраима он принялся бродить по своему дому, пытливо и пристально вглядываясь в ценную утварь, книги, рукописи, доставал наугад одну, другую, потрогал подлинник жизнеописания Авиценны. Зашел в помещение, где трудились писцы. Взял кое-какие письма, перечитал их. В почтительнейших выражениях ему предлагали торговые договоры, просили совета; в нем явно все еще видели могущественнейшего человека на всем полуострове. Он просмотрел доклады своих законоведов, чтобы прикинуть, как велико его состояние. От военных приготовлений, от продаж и ссуд, от прибылей с выпущенных новых денег богатство его приумножилось. Он считал, проверял, считал снова. Всего у него было около трехсот пятидесяти тысяч золотых мараведи. Он вполголоса, медленно, словно не веря сам себе, по-арабски выговорил чудовищную цифру. Из большого ларца для драгоценностей вынул нагрудную пластину фамильяра и потрогал ее. Улыбаясь, покачал головой. Вот он стоит, захлебываясь от богатства, почестей, могущества, а на самом деле он — точно гроб повапленный.

Резким движением он отмахнулся от мрачных дум. Нет, дон Эфраим его не запугает.

Он дал графу Алкала ссуду под имения. Однако слова парнаса запали ему в душу. Дон Эфраим трезво оценил положение: ему, Иегуде Ибн Эзра, хуже придется, чем кому бы то ни было. Благоразумие требовало, чтобы он как можно скорее убрался прочь, бежал вместе с дочерью и внуком на мусульманский Восток, во владения султана Саладина, милостивого к евреям.

Ракель воспротивится, захочет остаться с Альфонсо. А если даже ему удастся ее уговорить, Альфонсо пошлет за ними погоню. И разве смогут такие приметные беглецы пробиться на Восток через весь враждебный христианский мир?

Да и смеет ли он даже сделать попытку спасти себя и свою семью? Смеет ли перед лицом опасности оставить беззащитными франкских переселенцев? Правда, помочь он им не в силах; наоборот, его присутствие на-

влекает еще большую угрозу и на них, и на всех евреев. Но они этого не поймут. Если он убежит, они покроют позором его имя. Хорош благодетель Израиля, которому назначено свершить великое, хорош Иегуда Ибн Эзра, будут издеваться они, — удрал, как раз когда пришло время постоять за свое слово и дело. И он на все грядущие века останется трусом и предателем.

Ему вспомнилось изречение Моисея бен Маймуна: в каждом еврее есть что-то от пророка, и долг каждого — поощрять в себе это пророческое начало. В нем крепко засели лестные слова Эфраима о том, как много он по великодушию своему сделал для евреев. Нет, он не станет глушить в душе пророческое начало, он не убежит от своего назначения. Он останется в Толедо.

Он постарался самому себе дать искренний ответ, что же наперекор разуму удерживает его в том месте, где ему грозит беда. Страх перед опасностями пути? Или любовь к дочери, которая не переживет разлуки с Альфонсо? Или честолюбие и гордыня, не позволяющие ему запятнать имя Ибн Эзра? Или верность своему высокому назначению? Скорее, все это вместе переплелось в нем, и он не мог разделить одно от другого.

Из колебаний и тревог постепенно выросло решение. Ни себе, ни дочери он ничем помочь не может. Но внуку может.

Он поклялся не делать из него еврея, и он сдержит эту дикую, гнусную клятву. Но ничто не обязывает его оставлять ребенка здесь, в Толедо. Перед тем как выступить в поход, Альфонсо непременно пожелает совершить обряд крещения над мальчиком, не боясь больше огорчить этим Ракель. Значит, ему, Иегуде, надо увести ребенка до того, как король возвратится в Толедо.

Ракель почти все время проводила в Галиане.

Она знала, что грозная и жестокая война разразится в ближайшие недели, но ей не было страшно. С тех пор как бог подарил ей ее счастье, ее Иммануила, она чувствовала себя удивительно спокойной, согретой и укрытой в руке Адоная, или, как говорил дядя Муса, под покровом судьбы.

Она тосковала по Альфонсо, но не прежней лихорадочной, переходящей от упоения к отчаянию тоской. Те-

перь в ней жила глубокая уверенность, что он неизменно будет возвращаться к ней из своего рыцарского мира. Теперь его притягивает уже не безграничное наслаждение, которое они дарили друг другу, а нечто иное: он любит мать своего сына; Санчо и для него становится Иммануилом, ибо они, Ракель и Альфонсо, прочно прилепились душою друг к другу.

Часто она подолгу, не отрываясь, в блаженном самозабвении смотрела на нежное продолговатое личико своего сына, своего Иммануила, мессии. Она очень смутно представляла себе мессию, ей только чудилось нечто светлое, величавое, и о том, каким путем ее сынок принесет миру спасение, она понятия не имела; знала лишь, что принесет. Но знание свое таила в душе; ей казалось кощунством говорить об этом. Даже дону Вениамину она ничего не сказала, хотя дружба их пускала все более глубокие корни. Но это была дружба немногословная. Он что-нибудь читал ей, или они молча бродили по дорожкам сада.

Субботний день Ракель по-прежнему проводила у отца в кастильо.

Однажды на исходе субботнего дня, когда в воздухе еще стоял запах пряностей и погашенной в кубке с вином свечи, Иегуда спросил дочь:

— Как поживает твой сын, а мой внук?

Он ни разу не видел внука и не переступал порога Галианы. Ракель знала, как ему хочется посмотреть на мальчика, но боялась вынести Иммануила из Галианы. Правда, он принадлежал ей, но она рассердила бы Альфонсо, если бы хоть на час унесла младенца без его разрешения.

Тихо, робко, но с горделивым торжеством, желая, чтобы отец спросил о ее заветном знании, и страшась его вопроса, она ответила:

— Иммануил здоров и милостью божьей растет на славу.

Собрав все силы для предстоящего тягостного разговора, Иегуда с трудом вымолвил:

— В ближайшее время твой сын, а мой внук будет очень нуждаться в милости божьей. — И так как Ракель удивленно подняла брови, он пояснил: — Будь он только сыном Альфонсо, ему ничего бы не грозило, как ничего не грозило бы, будь он только твоим сыном. Но,

как сын твой и Альфонсо, он под угрозой. Как сына Альфонсо, его ждет высокий удел; это знают все и мирятся с этим. Но многим не нравится, что твоему сыну назначен высокий удел. В бургосском замке сейчас во множестве собрались те, кому это не нравится. Нам же нечего противопоставить сильным мира сего, кроме упования на бога.

Ракель ничего не поняла из отцовских слов. Правда, отец что-то говорил о намерении Альфонсо окрестить мальчика и полагал, что Альфонсо больше не станет считаться с ее возражениями, прежде всего для того, чтобы оградить ребенка от происков недругов. На какой-то миг она даже пожелала этого. Но тут же поняла, сколь греховно такое желание; можно ли допустить, чтобы Иммануил был осквернен водами идолопоклоннического крещения? А отец не знает ее Альфонсо. Альфонсо ее любит, Альфонсо душою прилепился к ней и никогда не нанесет ей такой кровной обиды.

— Альфонсо один-единственный раз говорил мне, что хочет крестить нашего Иммануила, — жалобно сказала она. — И больше не упоминал об этом. Я уверена, что он передумал.

Иегуд не хотел ее разочаровывать и заговорил о другом:

— Дон Альфонсо велел изготовить документы, по которым твой сын становится графом Ольмедским. Вряд ли дама, родившая королю одних только дочерей, помирится с этим. Дон Альфонсо — человек смелый, чуждый недоверия и оглядки. Ему и в голову не придет, что такая высокая и близкая ему особа способна на преступление. Боюсь, что он заблуждается.

Ракель побледнела. Ей вспомнились всякие рассказы про злых, ревнивых жен, которые мучили и убивали любимых рабынь своих мужей. Куда же дальше, если прародительница Сара, благочестивая, святая женщина, из зависти и ревности прогнала в пустыню служанку Агарь с младенцем Измаилом, чтобы они умерли от жажды. Ракель молчала долго, целую минуту.

— Что же ты посоветуешь, отец? — спросила она затем.

— Мы с тобой и ребенком могли бы попытаться бежать, — ответил он, — но это опасно. На нас всякий обратит внимание, нам трудно пробраться незамеченными.

а народ возбужден, у него все помыслы — о войне, и в каждом чужеземце он видит врага.

— Мне бежать от Альфонсо? — побелевшими губами выговорила Ракель.

— Да нет же, — успокоил ее Иегуда, — я ведь сказал, что это опасно. Лучше будет укрыть в надежном месте только ребенка.

Ракель воспротивилась этому всем нутром.

— Значит, я должна спрятать ребенка от Альфонсо? — спросила она.

— Твой Альфонсо сам не понимает, что не в его власти защитить мальчика, — бережно, умиротворяюще ответил Иегуда. — Мальчику ничего не грозит только в присутствии Альфонсо. А он отправляется на войну и не может взять младенца с собой. Здесь же, в Кастилии, никто не защитит его. Ты спасешь жизнь нашему Иммануилу, если на время войны расстанешься с ним. — Так как она молчала, он продолжал: — Я мог бы, не спросив тебя, устроить, чтобы ребенка увезли, а потом уж объяснить тебе, почему это было нужно. И я знаю, ты поняла бы и простила меня. Но ты из рода Ибн Эзра. Я не хочу ничего от тебя скрывать, снимать с тебя ответственность. Обдумай все как следует, а потом скажи мне: пусть будет так или пусть так не будет.

— Ты хочешь увезти мальчика из Кастилии? — с неизъяснимой мукой спросила Ракель. — Ты хочешь увезти Иммануила из Кастилии? — повторила она.

Иегуда видел ее муку, жалость сдавила ему грудь.

— Не бойся, Ракель, доченька моя, — с нежностью, пришепывая от волнения, сказал он, — доверься мне. Я поручу увезти ребенка ловкому и надежному человеку, самому надежному и преданному из всех, кого я знаю. Никто, кроме этого верного человека, не должен знать, где находится ребенок, нужно, чтобы никто в Толедо не мог сказать королю, где находится ребенок. Пусть он тебе грозит, требуя ответа, а ты говори одно: «Не знаю», и пусть это будет правда. — Видя, что Ракель сидит бледная, поникшая, он добавил: — Таким образом, и ребенку и тебе, моя Ракель, ничего не будет грозить. Под угрозой буду я один. Я же хочу спасти этого младенца, твоего сына, а моего внука. Когда кончится война и все успокоится в стране и успокоится сам Альфонсо, тогда

мы привезем Иммануила обратно. — Не дождавшись ответа, он сказал еще: — Я не хочу, дочь моя, чтобы ты хоть как-нибудь участвовала в этом. Ты даже знать не должна, как это произойдет. Об одном молю тебя: не говори — нет. Все остальное падет на мою голову.

На одно мгновение Ракель представила себе, как же грозно должно быть то, ради чего отец готов навлечь на себя гнев Альфонсо. Она знала, что Альфонсо страшен в гневе; может статься, он в ярости своей убьет отца. И отец на все это идет, лишь бы спасти Иммануила. При этом из каких-то таинственных побуждений он отказывает себе в радости даже взглянуть на мальчика. Он человек мужественный. Свои чувства он всегда подчиняет высокому уму, дарованному ему от бога. Она на это не способна. Она даже чувствам своим не может довериться. Ведь еще полчаса назад она была спокойна за свое счастье, ограждена от всего под покровом судьбы. А сейчас она дрожит и за ребенка, и за любимого человека. Если она не отдаст Иммануила, она, может быть, поставит под угрозу его жизнь. А если отдаст, она может утратить любовь Альфонсо. И вдруг громко, как будто кто-то здесь, сейчас произнес их, прозвучали слова ее подружки Лейлы: «Бедная ты моя».

Она попыталась собрать осколки недавнего блаженного спокойствия. Разлука с Иммануилом будет недолгой. Альфонсо поймет ее, Альфонсо душою прилепился к ней.

После нескончаемой минуты молчания она сказала:

— Пусть будет так, как ты считаешь правильным, отец.

И тут же упала без сознания. Приводя ее в чувство, отец думал:

«В тот раз, когда я уговаривал ее пойти к королю-христианину, она точно так же упала без сознания». Он несказанно жалел лежавшую без чувств дочь и завидовал ей. Ему не дозволено было спастись в бесчувствии, он должен был в полном сознании до конца прочувствовать свою беду.

Альфонсо ехал из Бургоса в Толедо. В числе прочих его сопровождали архиепископ дон Мартин, рыцарь Бертран де Борн и оруженосец Аласар.

Вся страна на их пути снаряжалась в поход. Молодые люди спешили по всем дорогам в замки своих сеньоров, повсюду по направлению к югу двигались кучки вооруженных людей. Альфонсо и его спутники окидывали их опытным глазом, обменивались молодецкими окликаками и шутками со своими будущими солдатами.

Король был весел, как жеребенок. Он радовался войне, радовался, что скоро увидит сыночка, милого бастарда Санчо, графчика Ольмедского. Он любил сыночка радостной, крепкой отцовской любовью, которую собирался доказать на деле. Сам он рос без отца; трехлетним ребенком стал королем, и никто не осмеливался как следует вразумлять мальчугана, который был королем. Он не допустит, чтобы мальчик превратился в маменькиного сынка, пусть почувствует отцовскую руку. Сейчас же по возвращении он возьмет сына в свои руки. В первый же день велит окрестить Санчо. Ракель не станет противиться. Он и ее приобщит благодати, прибегнув, если понадобится, к строгости, и она будет ему благодарна.

Приехав в Толедо, он умылся, переоделся и поспешил к Ракели.

«Алафия — мир входящему!» — приветствовала его надпись на воротах поместья. У входа в дом стояла Ракель. Пылко, с гордостью и нежностью привлек он к себе любимую. Она все забыла, ее захлестнула волна счастья оттого, что он снова здесь. Он обвил рукой ее плечи, и они вошли в дом. Тут он отпустил ее, поставил прямо перед собой, оглядел с головы до ног, смеясь от счастья.

Потом сказал:

— А теперь идем к Санчо.

Ракель ответила:

— Его нет.

Альфонсо отступил на шаг, ничего не понимая, и уставился на нее, опешив от неожиданности. Спросил:

— Где же он?

Недоброе подозрение закралось ему в душу. Неужто мальчик в кастиль?

Ракель собрала все свое мужество и храбро ответила правду:

— Не знаю.

Его глаза посветлели от хорошо знакомого ей гнева.
— Не знаешь, где мой ребенок? — прорычал он тихо и яростно.

— В безопасности, — ответила Ракель. — Наш сын в безопасности, это все, что я знаю. Отец отправил его в безопасное место.

Альфонсо схватил ее за руку с такой силой, что она невольно вскрикнула. Потом схватил за плечи и стал трясти. Приблизив лицо вплотную к ее лицу, забросал ее гневными вопросами:

— Моего сына, моего, моего Санчо ты отдала отцу? А он, старый пес, нарушил клятву, и ты это потерпела? Верно, помогала ему, да?

— Не помогала и не отдавала. Но я знаю сама и тебе говорю: отец прав.

В голове у Альфонсо теснились поносительные и злопыхательские слова из папских энциклик против евреев, из подстрекательских проповедей духовенства: исчадия ада, вестники сатаны. Рука сама сжалась в кулак и поднялась для удара.

И тут он увидел Ракель.

Она откинулась назад и протянула руку для защиты, но без страха. С бледного смуглого лица на него смотрели огромные серо-голубые глаза. В них было изумление, испуг, разочарование, смятение, гнев, скорбь, любовь; все то, чего не говорили, а быть может, не могли выговорить уста, с такой силой выражали глаза и вся поза, что он, взглядом постигавший мир и людей, сразу, против собственной воли, все почувствовал и понял.

Он опустил руку. Презрительно и злобно фыркнул.

— Итак, вы, евреи, украли у меня сына, — сказал он, — этого и надо было ожидать. — Он засмеялся резким, судорожным, неприятным смехом, точно нож, вонзившимся в мозг Ракели.

Потом он круто повернулся, вышел и поскакал назад, в Толедо.

Вызвал Иегуду в замок.

— Итак, ты нарушил клятву, — деловым тоном констатировал он.

— Нет, государь, не нарушил, — возразил Иегуда, — нелегко мне было сдержать жестокую клятву, но я сдержал ее. Я не сделал своего внука евреем, да простит мне господь это прегрешение.

Ярость Альфонсо прорвалась наружу.

— Ты украл моего сына, собака! Ты держишь его заложником. Ты не желаешь, чтобы я шел воевать и бить твоих мусульман. Собака! Изменник! Я велю тебя повесить!

— Никто не держит твоего сына заложником, государь, — тихо ответил Иегуда. — Ребенок надежно укрыт от войны, от христиан и от мусульман, вот и все. Здесь, в Толедо, без твоего величества он будет под угрозой. Обдумай это спокойно, государь, и ты согласишься со мной. Сейчас мальчик в верных руках. Ракель не знает, где он. Ей это нелегко. Да и я точно не знаю, где он, и мне это тоже нелегко. — С прежним сознанием своего превосходства и со смиренной дерзостью он добавил: — Я понимаю, что тебе хочется меня повесить. Но тем самым навеки онемеют уста, которые могут, когда приспеет время, рассказать тебе о твоём сыне, — и с почтительной фамильярностью заключил: — Когда окончится война и минует опасность, я привезу мальчика обратно. В этом ты можешь быть уверен, государь. Я никогда не видел своего внука и хочу перед смертью увидеть его. Да и Ракель вряд ли перенесла бы утрату ребенка.

Сознание собственного бессилия сдавило грудь дон Альфонсо. Неразрывные путы связывают его с евреем. Еврей крепко держит его в руках.

Молча, повелительным жестом приказал он Иегуде удалиться.

Немного успокоившись, он должен был признать, что Иегуда украл у него сына не только по злобе. Ракель не солгала: очевидно, она и в самом деле не знала, куда спрятали ребенка и, без сомнения, не с легким сердцем отдала его Иегуде.

Перед ним неотступно стоял образ Ракели, безмолвно, но красноречиво выражавший гнев, скорбь, жалобу, любовь. Он старался с ребяческой злостью отмахнуться от этого образа. Как можно подробнее, ехидно смакуя их, представлял себе слова и поступки Ракели, которые когда-либо не понравились ему. Как она оробела, когда он посадил ее перед собой на седло и пустил лошадь вскачь! К его собакам и соколам она тоже всегда относилась неприязненно. Не зря же говорят: «Нет благодати на том, кому животные не любы и кто животным не люб». Она была глуха и слепа к его рыцарским добро-

детелям и королевским доблестям и даже, наоборот, косо смотрела на них. Она ненавидела войну. Она была из тех слабодушных, тех трусов, что мешают храбрецам следовать по начертанному им господом пути. По самой сути своей она принадлежала к вилланам, она была еврейкой до мозга костей. Она лишила его сына крещения, божьей благодати, спасения души.

Он окунулся в дела, устроил смотр солдатам, начал переговоры с баронами, с военачальниками. Ел и пил с архиепископом и Бертраном.

Наступил вечер, ночь. Он тосковал по Ракели. Но не по ее объятиям, нет, он жаждал объясниться. Высказать ей прямо в ее чистое, невинное, лживое лицо, что он думает о ней, кто она такая. Но, томясь и терзаясь, он из ребяческого упрямства продолжал сидеть в своем замке.

Так прошел и следующий день. Но когда настала вторая ночь, он поскакал в Галиану. Бросил поводья конюху, не велел ничего говорить и пошел через сад. Похвалил себя за то, что приказал засыпать цистерны раб-би Ханана. Злорадно отметил, что в мезузе по-прежнему нет стекла. Вошел в комнату Ракели. Она просияла. Он приготовил целую гневную речь по-латыни и частично по-арабски, чтобы она наверняка поняла его. Но ничего этого не сказал, а был молчалив и хмур.

Позднее, в постели, он с яростным вожделием накинулся на нее. В нем перемешались ненависть, любовь, похоть. Он хотел, чтобы она это почувствовала. Она и почувствовала, к его удовольствию.

В Толедо прибыло мусульманское посольство, чтобы вручить королю Кастилии послание от халифа. По слухам, послы явились затем, чтобы напомнить королю о договоре с Севильей. Значит, предположения, высказанные в Бургосе, были правильны: халиф не намерен вмешиваться в войну, если только дон Альфонсо открыто не нарушит перемирия с Севильей.

Дон Манрике де Лара и почти все остальные королевские советники от души радовались, что Кастилии и Арагону не придется мериться силами с полчищами самого халифа. Для дона Родриго прибытие посольства было ярким просветом среди окутавшего его душу мрака. Лишь бы только дон Альфонсо обуздал свой прав

и деликатно обошелся с послами, тогда война ограничится схватками и стычками с кордовским и севильским эмиром, вместо того чтобы потопить в крови и слезах весь полуостров.

Королю прибытие посольства отнюдь не было желанно. В гневе и нетерпении он рвался прочь из Толедо, прочь от мира. Рвался прочь от Галианы. Рвался начать долгожданную войну. А тут являются эти обрезанные, чтобы опять затеять болтовню и переговоры. Но он сделал уже достаточно уступок в Бургосе и не намерен уболагодворять унижительными заверениями еще и Якуба Альмансура. Он собиpался круто обойтись с послами или даже вовсе не принять их.

Архиепископ и Бертран подогревали его ожесточение. Зато дон Манрике вместе с каноником старались показать, какие светлые возможности открывает прибытие посланцев халифа, и всеми силами убеждали дона Альфонсо во имя блага его королевства и всего христианства пойти навстречу пожеланиям халифа и ответить на его предостережение твердым обещанием. Если же он будет упорствовать, если бросит вызов халифу, оскорбит его, вместо того чтобы умиротворить, тем самым он привлечет в Андалусию военную мощь всего западного ислама, заранее сведет на нет все военные планы и нарушит договор, соблюдать который торжественно поклялся в Бургосе. Альфонсо долго перечил, упрямылся и только после настойчивых уговоров дона Манрике нехотя назначил час, когда он согласен принять послов.

Появление мусульманских вельмож во главе с принцем Абуль Асбагом, родственником халифа, было обставлено весьма пышно. Альфонсо, окруженный своими советниками и грандами, ожидал их в большом аудиенцзале, увешанном коврами и знаменами.

Во исполнение церемониала обеими сторонами были произнесены обстоятельные вступительные речи. Альфонсо, восседая на возвышении, по-королевски небрежно слушал всю эту высокопарную официальную болтовню. Он видел хмурое лицо архиепископа, насмешливое — Бертрана, озабоченное — дона Родриго. Взгляд его то и дело обращался к Иегуде, который скромно стоял в заднем ряду. Еврей виноват в том, что он, Альфонсо, прежде первый рыцарь христианского мира, теперь пла-

чевно отстают от Ричарда Английского. Им, Мелек Ричардом, мусульманские матери пугают детей; а к нему, к Альфонсо, надо полагать, по проискам того же Иегуды, мусульмане шлют посла, чтобы пригрозить ему. Его советники жалкими доводами разума склонили его претерпеть длинные разглагольствования обрезанного. Но пусть все они, и еврей и осторожные старички советники, не очень-то полагаются на него. Они не могут заглушить его внутренний голос. А только этого внутреннего голоса он и намерен слушаться.

Принц Абуль Асбаг, глава посольства, выступил вперед, низко поклонился и начал излагать то, что было ему поручено. Принц был холеный, пожилой вельможа, синяя посольская мантия очень шла к нему, и арабские слова плавно и звучно лились с его уст.

Повелитель правоверных на Западе, так гласила его речь, был весьма озабочен, услышав об обширных военных приготовлениях его величества короля Кастилии. Халиф предполагает, что эти приготовления не могут быть направлены против Севильского эмира, его вассала, ибо он огражден договором о перемирии. Однако же за последнее время в христианских странах стало распространяться порочное и безрассудное учение, будто договор, противоречащий целям христианских священнослужителей, для христиан не обязателен. Христианские государи восточных стран бессовестно воспользовались этими домыслами, и султан Саладин принужден был провозгласить священную войну. Аллах увенчал праведные труды повелителя правоверных на Востоке, вернув в его власть город Иерусалим, а христианские государи за нарушение клятвы поплатились властью и жизнью.

Дон Альфонсо, сидя в небрежной, по-королевски величавой позе, слушал строгую, суровую речь посла. Его худошавое, словно выточенное из дерева лицо оставалось так невозмутимо, что можно было усомниться, доходит ли до него смысл арабских слов. Пожалуй, только чуть кривился узкий, длинный рот, обрамленный короткой рыжеватой бородой, и глубже врезались глубокие борозды на лбу. Но взгляд светлых глаз переходил от говорящего посла к собранию и все искал дону Родриго, и все искал дону Иегуду. «Болтай себе на здоровье, обрезанный, выговорись до конца, — думал он. —

Лай, собака, лай сколько душе угодно, все равно вы со своим повелителем не посмеете укусить, вы будете отсиживаться у себя за морем, в Африке. Я решил набраться терпения, и я не выйду из себя, хотя твоя спесивая рожа так и просит пощечины. Но как только ты вернешься восвояси, я нападу на Кордову и Севилью, и сколько тогда ни лай, а кость достанется мне».

Посол продолжал говорить. Повелитель правоверных на Западе, заявил он, считает нужным только напомнить его величеству королю Кастилии, известному своим благоразумием, что он, халиф, многое может простить, но никак не нарушение договора. Его величество король Кастилии вынес достаточно горький опыт из столкновения с одним лишь севильским войском; если же он вторично нападет на Севилью, ему придется иметь дело со всеми военными силами самого халифа. Если Кастилия разожжет огонь, ей потребуется пролить много слез, дабы загасить его.

По-прежнему внимательно слушая каждое слово, дон Альфонсо замечал все, что происходит в зале, он видел, как те оба, Родриго и Иегуда, все с большей тревогой, почти что с мольбой смотрят на него. Он видел нагрудный знак Иегуды, пластину с тремя башнями, и, удивляясь, что ему понятно каждое слово в изысканном арабском языке неверного, одновременно вспоминал золотые монеты, которые были отчеканены Иегудой ему, Альфонсо, на радость и внедрили его облик в самые дальние владения халифа. С первой же встречи был он связан с евреем, иногда на радость, иногда на горе. Но теперь эти пути ему опостытели, ему не терпится сбросить их. Он видел глаза Иегуды, выразительные, молящие глаза, они напоминали глаза Ракели. «Все равно, это тебе не поможет,— думал он,— ты больше не будешь держать меня на привязи. Я не позволю твоему принцу Абуль Асбагу измываться надо мной, я сорвусь с привязи».

Когда принц кончил, наступила глубокая тишина. Тишину нарушил звучный голос Бертрана де Борна.

— Нечестивец осмеливается дерзить? — спросил он по-латыни.

Секретарь-кастилец почтительно приблизился к трону, чтобы перевести речь. Но Альфонсо отмахнулся от него.

— Переводить нет надобности, — сказал он. — Я понял все и постараюсь дать такой ответ, чтобы господину послу тоже было все понятно.

Медленно выговаривая арабские слова и со злой насмешкой представляя себе, как удивится дон Родриго, что пребывание в Галиане помогло ему усовершенствоваться в арабском языке, он начал:

— Скажи своему повелителю халифу вот что: по заключению моих ученых советников, договор мой с Севильей перестал быть действительным с тех пор, как султан надругался над гробом нашего Спасителя и вынудил святого отца провозгласить священную войну. Тем не менее я соблюдал перемирие. Ныне же дерзкие слова твоего повелителя окончательно сломали скреплявшие договор печати. — Он встал и, стоя во весь рост, молодой, полный отваги и величия, заговорил звенящим удалью голосом: — Передай халифу, пусть только переправится на своих кораблях, со своими солдатами в Андалусию! На нашем полуострове ему придется сражаться не с дикими ордами мятежников, как там у себя, на восточной окраине. Здесь ему будут противостоять умудренные опытом воины божьей рати. *Deus vult!* — возгласил он, и архиепископ со всеми остальными зычно подхватили его возглас.

Светлые серые глаза Альфонсо метали молнии, что обычно устрашало многих и восхищало донью Леонор.

— А теперь убирайся прочь! — громовым голосом крикнул он принцу Абуль Асбагу. — Посольские права оградят тебя только два дня. Если до тех пор ты не переберешься через границу, пеняй на себя. И благодари бога, что за твои дерзкие речи я не велю вырвать тебе язык.

Посол побледнел, но быстро овладел собой. В сдержанных, исполненных достоинства выражениях он попросил, чтобы его величество соблаговолил изложить свой ответ письменно. Иначе повелитель правоверных может решить, что Аллах затмил у него, у посла, рассудок.

— Это одолжение я могу тебе сделать, — по-мальчишески смеясь, ответил Альфонсо.

Когда собравшиеся стали расходиться, он удержал дона Иегуду и приказал ему:

— Письмо напишешь ты, на самом чистом арабском языке. Только смотри, ничего не смягчай. Все равно я

поймаю тебя с поличным. Ты, верно, заметил, что я и сам теперь неплохо говорю по-арабски. А рядом с моей печатью пусть будет твоя.

Дон Родриго лежал на своей жесткой кровати, измученный и удрученный скорбью, высосавшей из его тела последние силы. Его вина в том, что Альфонсо, точно расшалившийся ребенок, вдребезги разбил все, что с таким трудом было слажено в Бургосе. Если теперь халиф всей своей неимоверной военной мощью обрушится на Испанию, он, Родриго, будет повинен в этом. Ему не следовало полагаться на Манрике, он сам в нужную минуту должен был напрячь все силы и внушить королю благоразумие.

И помешали ему только слабование и трусость. С самого начала любовной связи Альфонсо и Ракели архиепископ неоднократно упрекал его за то, что он чужд того яростного негодования, которое столь часто звучит в словах пророков и отцов церкви. Дон Мартин корил его справедливо. На его, Родриго, сердце неотразимо действовало рыцарское, юношеское, царственное обаяние Альфонсо; он был снисходителен там, где не могло быть снисхождения и прощения. А последние недели он взвалил на себя бремя еще более тяжелой вины. В тайниках души он обрадовался, что король возобновил греховную жизнь в Галиане, понадеявшись, что этим будет еще отсрочено начало войны.

С горячим рвением молился он, чтобы на него снизошел благочестивый экстаз, бывший для него когда-то лучшим прибежищем. Он постился, предавался умерщвлению плоти. Запрещал себе ходить в кастильо Ибн Эзра, отказывал себе в беседах со своим мудрым другом Мусой. Однако господь не судил ему прощения. Благодать не осеняла его. Последняя услада была для него закрыта.

А теперь он из слабости позволил ввергнуть государство в бессмысленное кровопролитие. Ибо только из трусости не постарался он склонить короля к рассудительному ответу на обращение халифа. В беседе ему пришлось бы снова заговорить о том, что пора положить конец нечестивой любви к Ракели, а на это у него не хватало мужества.

Ни разу в жизни так жестоко не терзало каноника сознание вины. В голове у него звучали слова Абеляра: «То были дни, когда я познал, что значит — страдать; что значит — стыдиться; что значит — отчаяться».

Он поднялся весь разбитый. Попытался отвлечься. Достал свою летопись, чтобы поработать над ней. Это была целая груда исписанного пергамента. Он наугад перечитывал один, другой лист. Увы, все, что он запечатлел здесь так усердно и любовно, казалось ему пустым и ненужным; он не видел никакого смысла в тех событиях, которые с таким трудом расставил по своим местам. Каким в корне ложным было его описание дона Альфонсо! И как же человек, неспособный познать даже то, что находится вблизи от него, дерзает обнаруживать перст божий в великих исторических событиях!

Он достал книгу, только что присланную ему из Франции и вызвавшую там много толков. Называлась она «Древо сражений», сочинил ее Оноре Бонэ, настоятель монастыря в Селлонэ, и речь там шла о смысле войны, о ее законах и обычаях.

Родриго читал. Да, настоятель из Селлонэ был честный, благомыслящий человек, твердый в вере. Опираясь на Священное писание, он подробно обсуждал и решительно определял, дозволено ли сражаться по пятницам, в каких случаях следует прикончить врага, в каких можно ограничиться его пленением, а также какой выкуп не зазорно христианину потребовать с другого доброго христианина.

Приор Бонэ на все давал ответ. Он храбро расправлялся с самыми каверзными задачами, решая их просто, прямолинейно и трезво.

Вот, например, что он отвечает на вопросы тех, кто сомневается, не наложен ли законом божьим раз и навсегда запрет на войну. «Многие простые люди, — пишет настоятель из Селлонэ, — почитают войну дурным делом, потому что во время войны по необходимости творится много зла, а господь возбраняет творить зло. А я говорю вам, что это вздор. Война не зло, а доброе и праведное дело; ибо война ищет обратить неправое в правое и замирить немирное, это же предписывает и Священное писание. Если же на войне совершается много зла, то исходит оно не от самого существа войны, а от нерадивости главенствующего, отчего бывает, к при-

меру, что воин творит насилие над женщиной или поджигает церковь. Причина тому отнюдь не в существе войны, а в нерадивости главенствующего. То же, например, относится и к правосудию, по существу коего судьям надлежит править суд с толком, в меру своего разумения. Если же судья вынесет неправый приговор, можем ли мы из-за этого сказать: правосудие само по себе — зло? Конечно же, нет. Зло исходит не от существа правосудия, а от неверного его применения, от дурного истолкования и от дурного судьи».

Каноник вздохнул. Для него, для настоятеля Бонэ, задача очень проста. Но Родриго, как ученый, знал, что не все так легко справились с ней. Например, в пору раннего христианства секта монтанистов объявила военную службу несовместимой с христианским учением. Каноник раскрыл сочинения монтаниста Тертуллиана: «Христианин не должен становиться солдатом, — было сказано там, — а если солдат становится христианином, ему следует покинуть военную службу». Таких примеров было немало.

Когда юношу Максимилиана хотели завербовать в солдаты, он заявил проконсулу: «Я не могу служить, я не могу причинять зло, я христианин». Храбрый, испытанный во многих битвах воин Типазий после обращения в христианство не пожелал продолжать военную службу. Он сказал своему центуриону: «Я христианин, впредь я не могу сражаться под твоим началом». Да и здесь, в Испании, центурион Марцеллий перед значками своего легиона бросил наземь меч со словами: «Я более не служу императору. Отныне я служу Иисусу Христу, царю предвечному». И церковь сопричислила Максимилиана и Марцеллия к лику святых.

Правда, позднее, при императоре Константине, Арльский собор отлучал от церкви тех, кто противился идти на военную службу.

Хитроумный, исполненный опасного соблазна Абеляр в своем «Да и нет» сопоставляет все, что говорится в Писании за и против войны, а выводы предоставляет сделать читателю. Но у кого хватит мудрости разобраться в этих противоречиях? Как можно следовать заветам Нагорной проповеди, как можно противостоять злу — и тем не менее идти воевать? Как можно возлюбить врага — и убить его? Как согласуется призыв к крестовому

походу с учением Спасителя: «Взявшие меч мечом погибнут»?

Мысли Родриго стали путаться, страницы книг, которые он читал, становились все больше, больше, буквы расплывались. Они превратились в лицо дон Альфонсо. Да, верно, — *vultu vivax*. Едва только мусульманский принц начал свою речь, Родриго увидел, как из-за величаво-бесстрастной маски Альфонсо вспыхнуло бешеное пламя, как искры стали пробиваться сквозь маску, как под конец наружу вырвалось все пламя и превратило лицо в зверский образ необузданного властолюбца, жаждущего наносить обиды, крушить и разрушать. При одном воспоминании об этом лице каноника охватывал ужас.

Но из ужаса выросло самооправдание. Во все решительные минуты в этом человеке всегда верх берет необузданность, властность. Никто не в силах побороть ее. Господь возложил на Родриго невыполнимую задачу, повелев ему наставлять на путь истинный этого короля.

Однако он не смеет прикрашивать собственную слабость и вину подобными софизмами. Не смеет и убеждать себя, даже сейчас, что все потеряно. Ему раз и навсегда поручено вразумлять Альфонсо, а уж воля божья — даровать ли ему на этом поприще успех или нет. Он должен повидать Альфонсо сегодня же, сейчас; ибо, бросив такой вызов халифу, король, без сомнения, немедленно двинется на юг.

Дон Родриго пошел в замок.

Своего подопечного каноник застал веселым, благодушным. С тех пор как Альфонсо таким королевским жестом выпроводил мусульманского принца, он ощущал необычайную легкость и свободу. Он послушался своего внутреннего голоса, проволочкам пришел конец, война на пороге; его наполняла царственно-радостная уверенность.

Правда, его немного стеснял озабоченный вид ближних советников: такой вид бывал у его воспитателей, когда те порицали поведение мальчика Альфонсо, но не смели его одернуть. Вот пришел и друг Родриго, тоже явно недовольный ответом халифу.

Быть может, даже хорошо, что Родриго пришел именно сейчас. Уклониться от разговора невозможно; да и

о том, что произошло в Галиане, он, Альфонсо, давно должен был поговорить с другом, заменившим ему отца, а лучшей минуты для объяснения и оправдания не найдешь, чем сейчас, когда он словно вырвался на волю.

Мигом решившись, он, без дальних вступлений и прикрас, рассказал, что произошло между ним, доньей Ракель и ее отцом, а именно: что еврей увез ребенка прежде, нежели его успели окрестить.

— Вина за это — на мне одном, — сказал он, — но, сознаюсь тебе откровенно, отец мой и друг, она не гнетет меня. Завтра я отправляюсь в крестовый поход и вскоре возвращусь очищенным от греха. А тогда я не только велю окрестить сыночка, но и Ракель обращаю на путь благодати. Я знаю, после победы у меня на это достаточно сил.

Родриго боялся, что ребенок находится в Галиане близ отца, все еще лишаящего его благодати крещения. Узнав, что это не так, каноник вздохнул с облегчением. Кстати, король даже не сознает, сколь велика его вина, и Родриго вспомнил мудрые и полные соблазна слова Абеяра: «Non est peccatum nisi contra conscientiam, грешен лишь тот, кто сознает свой грех». Снова против собственной воли он вошел в положение короля и оправдал его.

Итак, рассказ Альфонсо несколько умерил сокрушение каноника по поводу творимого в Галиане нечестия, но тем пуще разожгло его гнев легкомыслие, с каким Альфонсо говорил о близкой войне. Бог одарил этого короля светлым разумом, а он прикидывается слепым, делает вид, будто не сомневается в скорой и верной победе, и не желает признать, какую чудовищную опасность навлек на страну. Каноник оборвал его с непристойной резкостью и суровостью:

— Ты сам себя обманываешь, король Альфонсо. Такая война не может смыть с тебя грех. Это не священная война. Ты с самого начала запятнал ее запальчивостью и высокомерием.

Альфонсо посмотрел на хилое тело священнослужителя; на его белые, женственные руки, которые никогда не вынимали из ножен меча и не натягивали тетивы, но, закованный в броню самодержавной веры в себя, он скорее был удивлен, чем рассержен, выслушав взволнованного Родриго.

— Дела военные и рыцарские от тебя далеки, отец мой, — приветливо ответил он и добавил с наставительно благосклонным превосходством: — Видишь ли, я не мог допустить, чтобы этот обрезанный издевался надо мной в моем собственном замке. Внутренний голос повелел мне поставить его на место.

— Внутренний голос! — негромко, но возмущенно возразил каноник; дерзкая самоуверенность короля наконец-то пробудила в нем то яростное негодование, за недостаток которого так часто корил его дон Мартин. — Внутренний голос! Всякий раз, как ты даешь волю преступному высокомерию, ты ссылаешься на свой внутренний голос! Открой глаза и посмотри, что ты наделал. Халиф сам намекнул тебе, что не собирается вмешиваться в войну. Он протянул тебе руку, а ты плюнул в нее. Из чистого тщеславия и самомнения ты накликать на свою страну африканские полчища, неисчислимые, как морской песок. Ты накликать на свою страну четырех всадников Апокалипсиса. Ты поступил так, словно крестовый поход не что иное, как рыцарское состязание и турнир. Ты нарушил договор с Арагоном, едва успев заключить его. Ты бросил на край бездны всю Испанию.

Тощий, шуплый каноник стоял, грозно выпрямившись, кроткие глаза яростно и умоляюще смотрели на Альфонсо.

Короля смутил было его священный гнев. Но спустя мгновение он вновь, как щитом, прикрылся своей уверенностью. Ясный взор его невозмутимо встретил гневный взгляд каноника.

Он усмехнулся, засмеялся громким неприятным смехом.

— Куда же делось твое упование на господа, слуга божий? — издевательски спросил он. — Сотни лет неверные превосходили нас мощью, и тем не менее господь пядь за пядью отдавал нам нашу землю. Послушать тебя, так мы стадо баранов. А между тем у меня на юге хорошие крепости, у меня мои верные рыцари ордена Калатравы. Даже без Арагона у меня около сорока тысяч рыцарей. Ты требуешь, чтобы я уступал в отваге моим предкам? Ты требуешь, чтобы я прятался за хитрости и уловки, а не полагался на свой добрый меч?

Дерзкий, неукротимый, рыцарственный, стоял он перед каноником, и тому казалось, что из-за его лица про-

глядывает лик Бертрана, распевающего свои неистовые песни.

— Не кощунствуй! — одернул его каноник. — Ты не искатель приключений, ты — король Кастилии. Чего стбят твои крепости! Думаешь, они выдержат натиск осадных машин халифа? А твои сорок тысяч рыцарей! Помяни мое слово, ббольшая их часть будет истреблена ордами неверных. Пожары и резня опустошат твою страну. Великое бедствие постигнет ее. И вина падет на тебя. Благодари господа, если он оставит тебе Толедо.

Пророческое неистовство священнослужителя смутило Альфонсо. Он замолчал. А Родриго продолжал говорить:

— Твой добрый меч! Не забудь, что меч вручает королям господь бог. По-твоему, ты владыка над миром и войной. Не забывай, что война эта может быть провозглашена и дозволена только как война божия. И ты в этой войне то же, что и последний из твоих конюхов: раб божий.

Альфонсо успел подавить чувство жути. С прежним холодным и беспечным высокомерием он ответил:

— А ты, священник, не забывай, что господь отдал мне в лен Кастилию и Толедо. Господь — мой сюзерен. И я у него не раб, а вассал.

Королю не сиделось в Толедо. Озабоченные лица приближенных вельмож и гневно-благочестивые речи дона Родриго портили ему всю радость от его рыцарственного поведения с послом халифа. Он решил на следующий же день тронуться в путь на юг.

Орденские рыцари в крепостях Калатрава и Аларкос скорее поймут и одобряют его.

Последнюю ночь перед отъездом он провел в Галнане. Он был очень весел и милостив, ни в чем не упрекал Ракель. Кичливо прохаживаясь перед ней, он похвалялся своим ответом халифу.

— Я долго бездельничал, но не заплесневел, о нет! — потягиваясь и потрясая кулаками, объявил он. — Вот теперь ты увидишь, каков твой Альфонсо. Поход будет короткий и победоносный, в этом я уверен. Только не уезжай в Толедо, Ракель, дорогая моя. Оставайся здесь, в

Галиане, обещай мне, что останешься. Тебе недолго придется ждать меня.

Полулежа на подушках и подперев голову рукой, Ракель смотрела и слушала, как Альфонсо бежит перед ней по комнате и разглагольствует о своих будущих действиях.

— Впрочем, я, по всей вероятности, еще до возвращения попрошу тебя приехать ко мне в Севилью,— говорил он,— ты покажешь мне свой родной город и выберешь из моей добычи все, что тебе приглянется.

Она уронила руку, на которую опиралась, и приподнялась — ей стало больно от его речей. Сам того не понимая, он рисует перед ней картину ее родного города, сожженного и растоптанного им, и предлагает ей прогуляться по развалинам.

— Кстати, моя победа покажет тебе, чей бог настоящий, — весело продолжал он. — Только, пожалуйста, ничего не отвечай, не спорь со мной сегодня. Это праздничный день, мы должны провести его вместе, чтобы ты разделила мою радость.

Теперь она в упор смотрела на него своими большими серо-голубыми глазами; ее подвижное лицо и вся поза выражали изумление, отпор, отчужденность.

Он остановился, почувствовав, как что-то встало между ними. В молчании Ракели ему издали прозвучала обвиняющая речь каноника. Из беспощадно разящего полководца он превратился в великодушно милующего.

— Только не подумай, что твой Альфонсо будет жесток к побежденным, — принялся он успокаивать ее. — Мои новые подданные получают милостивого повелителя. Я не стану их притеснять. Пусть себе молятся своему Аллаху и своему Магомету. — Новая великодушная мысль осенила его. — А из пленных мусульманских рыцарей я тысячу отпущу без выкупа. Я предоставлю Аласару выбрать их, это будет ему приятно. И я приглашу их со всем почетом принять участие в грандиозном турнире, который я устрою в честь победы.

Ракель невольно поддавалась его необузданному самолюбованию. Уж таков он есть — полон безрассудной отваги, всеми помыслами обращен к победам, а не к опасности, молод душой, с головы до ног рыцарь, воин, король. И она любит его. Она благодарна ему за то, что последнюю ночь перед походом он проводит с ней.

Все было как прежде. Они весело поужинали. Он, такой воздержанный, пил больше обычного. И пел, что обычно позволял себе только наедине. Пел воинственные песни и, между прочим, знаменитую песнь Бертрана: «Осада замков укрепленных — отрада сердца моего».

— Жаль, что ты не захотела познакомиться с моим другом, Бертраном, — заметил он, — это славный рыцарь, лучший из всех, кого я знаю.

После трапезы она, по своему обыкновению, удалилась. Она по-прежнему не хотела раздеваться перед ним. Потом он пришел к ней, и все было так же, как в первое время, — страстное стремление, слияние, блаженство.

Позднее, усталые и счастливые, они вновь принялись болтать. Он, на сей раз тоном не приказа, а скорее просьбы, повторил:

— Останься в Галиане на время моего отсутствия. Навещай своего отца когда вздумается, но не переезжай к нему в кастилью. Живи здесь. Здесь твой дом, наш дом. *Hodie et cras et in saecula saeculorum*, — кощунственно добавил он.

Она с улыбкой, в полудреме повторила:

— Здесь мой дом, наш дом. *In saecula saeculorum*. — И при этом думала: «Если я усну, он уйдет. Жаль, что я завела такой обычай. Но утром мы вместе позавтракаем. А потом он ускачет на свою войну. И с коня еще раз нагнется ко мне, а на повороте дороги оглянется на меня». Она лежала, закрыв глаза, и ни о чем больше не думала — она заснула.

Увидев, что она спит, Альфонсо полежал некоторое время, потом встал, потянулся, зевнул. Накинул халат. Взглянул на женщину, лежавшую с закрытыми глазами и легкой улыбкой в уголках губ. Вгляделся в нее, как в нечто чуждое, дерево или животное. Недоуменно покачал головой. Ведь всего несколько минут назад она дарила его таким счастьем, какого он не знал ни с одной женщиной. А теперь у него осталось только чувство неловкости, даже смущения оттого, что он здесь, у нее в комнате, и подглядывает за ней, спящей, нагой. Всеми помыслами он был уже в Калатраве со своими рыцарями.

До того как он провел с ней эту ночь, он предполагал, что на рассвете ускачет в Толедо, наденет доспехи, не эти, а настоящие, боевые, вернется в Галиану и, за-

кованный в латы, опоясанный своим добрым мечом Fulmen Dei, скажет Ракели последнее прости. Теперь он передумал.

На следующее утро Ракель ждала, чтобы он пришел проститься. Она была настроена радостно и полна уверенности, что все будет хорошо.

Она представляла себе, как пройдет это утро. Позавтракает он с ней в халате. Потом наденет доспехи. А потом ускачет прочь, и она испытает те великие, те блаженные минуты, о которых говорится в песнях; отправляясь в поход, возлюбленный нагнется с коня, поцелует ее и кивнет ей.

Она ждала сперва радостно, потом с легкой тревогой, потом все тревожнее.

Наконец спросила, где дон Альфонсо.

— Король, наш государь, давно уже ускакал прочь, — ответил садовник Белардо.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Халиф Якуб Альмансур был уже немолод, он прихварывал и охотно дожил бы свой век в мире; к тому же он считал своим долгом напомнить королю Кастилии о договоре. Однако он был хорошо осведомлен о нраве короля и с самого начала не надеялся на успех своего посольства. Но такого глупого и дерзкого ответа он не ожидал. В наглости необрезанного он, человек глубоко верующий, усмотрел веление Аллаха еще раз перед смертью обнажить меч, покарать неверных и распространить ислам.

Он приказал снять с письма короля Альфонсо десять тысяч копий и обнародовать его во всем своем обширном государстве. Моады, арабы, кабилы — все подвластные ему народы должны узнать, как грубо оскорбил христианский король повелителя правоверных. Глашатаи читали письмо на базарах и заканчивали чтение словами Корана: «Так говорит Аллах всемогущий: я восстану на них, и воинства мои, подобных которым еще никогда не видели, обратят их в пыль и прах. Я сброшу их на дно бездны и истреблю».

Во всех западных странах ислама разгорелся религиозный фанатизм. Даже непокорные племена Триполи-

тании позабыли свою распрю с халифом и тоже приняли участие в священной войне.

В мусульманской Андалусии, уверенной теперь в помощи халифа, царило ликование. К тому же военачальником над всем мусульманским войском был назначен андалусец — испытанный в боях полководец Абдулла бен Сенанид.

В девятнадцатую неделю 591 года после бегства пророка Якуб Альмансур выступил из своего лагеря в Феце и присоединился к войскам, стянутым на южном побережье пролива. Его сопровождали наследник престола Сид Магомет и два других его сына, великий визирь и четыре его тайных советника, кроме того, два придворных лекаря, а также летописец Ибн Яхья.

На двадцатый день месяца *редшеда* халиф назначил переправу. Первыми переплыли через пролив арабы, за ними последовали себеты, масамуды, гомары, кабилы, за ними последовали лучники — моады; арьергард составляли полки личной охраны халифа. Милостью Аллаха переправа завершилась в течение трех дней, и огромное войско расположилось необозримым станом по всей Альхадре, от Кадиса до Тарифы.

И вот теперь, когда халиф был на андалусской земле, войска стали свидетелями небывалого зрелища. С незапамятных времен в западной части пролива, прямо перед Кадисом, из воды вздымалась исполинская колонна. Венчала ее огромная золотая статуя, сверкавшая далеко над морем и видная за много миль. Она изображала человека, простершего правую руку к проливу, в руке он держал ключ. Римляне и готы называли это сооружение «Геркулесовыми столпами», мусульмане — «Кадисским идолом», и те и другие в течение тысячелетий боялись и не трогали его — грозного и сверкающего. Теперь халиф приказал свергнуть истукана. Робко, затаив дыхание, следили десятки тысяч людей за первыми ударами. И что же? Золотой и грозный, он не оказал сопротивления. Он пал, и толпа закричала в необузданной радости: «Велик Аллах, и Магомет пророк его!»

Халиф поехал в Севилью. Чтоб воздать честь городу, которому, несмотря на договор о перемирии, угрожал бесстыдный король неверных, Якуб Альмансур решил построить минарет для главной мечети. Проект был поручен прославленному зодчему Джабиру. Минарет должен

был аллегорически изображать победу ислама над ложной верой. Халиф приказал вделать в башню все статуи и барельефы, которые еще сохранились от римских и готских времен. Золото с поверженного кадисского кумира, а также всю золотую и серебряную церковную утварь, которая будет захвачена в этой войне, халиф предназначил для минарета.

Якуб Альмансур собственноручно заложил основание. И как тогда, при падении золотого человека, ликовали неисчислимые тысячи, так и теперь, когда было заложено основание башни, которая должна была вознестись во славу Аллаха высоко в небо в невиданной доселе красе, — так и теперь ликовали неисчислимые тысячи.

В Калатраве дон Альфонсо чувствовал себя счастливым. Здесь все торжествовали, что король утер нос наглomu халифу, и необузданно радовались войне. Рыцарское начало Ордена взяло верх над его духовным началом. Рыцари славили Бертрана де Борна, их великого брата и товарища. «А loг, а loг, вперед, на бой!» — громко звучало в их мечтах.

Между доном Альфонсо и архиепископом установилась прежняя, веселая дружба. Отважного священнослужителя очень огорчало, что до сих пор он не мог высказать дону Альфонсо свое справедливое, христианское, рыцарское мнение о его блуде с еврейкой. Теперь он заявил ему с прежней откровенностью:

— Твой тесть, король Английский, умер как раз вовремя. Потому что, должен тебе сказать, мой дорогой сын и друг, дольше я бы не мог сносить твое непотребство в Галиане. Я просил бы у святого отца отлучить тебя от церкви, пусть бы даже потом я и умер с горя. Я уже сочинял к нему письмо. Теперь это все так же далеко отошло от нас, как языческое прошлое наших предков. Просто воочию видишь, как война вытесняет остатки любовного дурмана из твоего сердца.

Он громко расхохотался; Альфонсо вторил ему, звонко, молодо, добродушно.

Лазутчики донесли о размерах мусульманского войска. По их словам, в нем было пятьсот раз по тысяче воинов. Кроме того, ходило много рассказов о страшном новом оружии, будто бы привезенном халифом, о гигантских осадных башнях, об орудиях, которые выбрасывают огромные каменные глыбы, о пагубном греческом огне.

Уверенность рыцарей не была поколеблена. Они надеялись на свои неприступные крепости, на своего Сант-Яго, на своего короля.

Альфонсо задумал смелый план. Казалось, само собой понятно, что ввиду превосходных сил халифа надо ограничиться обороной крепости. Но так ли это? Почему не дать бой врагу в открытом поле? Такая затея представляется безрассудно смелой, но именно поэтому она может окончиться удачей. И ведь как раз на юг от Аларкоса лежит та местность, Долина арройос, преимущества и скрытые недостатки которой известны ему лучше, чем кому другому. А вдруг он выиграет второе сражение под Аларкосом?

Он рассказал о своем плане Бертрану и архиепископу. Дон Мартин, который обычно не задумывался над ответом, от удивления разинул рот. Потом он пришел в восторг.

— Древний Израиль, — сказал он, — был небольшой кучкой по сравнению с бесчисленными ордами ханаанеев, мадианитян, филистимлян, и все же он побил и уничтожил их. Верно, господь указал ему место для битвы, столь же благоприятное, как Долина арройос.

Бертран, со своей стороны, сказал весело и со знанием дела:

— В этом сражении ты потеряешь многих людей, государь, но неверные потеряют еще больше.

Молодые рыцари, когда Альфонсо поведал им о своем замысле, сначала были удивлены, даже озадачены, затем его план воодушевил их. Посвящать более пожилых военачальников в свои намерения король не стал.

Донья Леонор прожила в Бургосе дольше, чем собиралась. Отсюда было легче воздействовать на грандов Северной Кастилии и на арагонских королевских советников и торопить их с посылкой войска в помощь дону Альфонсо. Ей не терпелось, чтобы он поскорее выступил в поход. С той минуты, как она поняла, сколь сильно захватила его сластолюбивая горячка—страсть к еврейке,—ревность ее не засыпала. Только война принесет дону Альфонсо исцеление от насланного адом недуга.

Затем она узнала—Альфонсо сам радостно сообщил ей об этом,— как смело он отправил обратно к ха-

лифу наглого мусульманского принца. Первым ее чувством была безумная радость: теперь война неизбежна. Вслед за тем она поняла всю опасность, которую не может не породить смелость дона Альфонсо. «Поражение, — подумала она. — Да, это будет поражение. Может быть, не то поражение, но все же поражение». Это дало ей, несмотря на гнев и заботы, мрачную радость. В ее мозгу крепко засели слова матери о благотельных последствиях поражения. Поражение умножает силу, пробуждает энергию, поражение открывает сотни новых возможностей; при мысли о поражении у нее как-то странно замирало сердце.

Она сейчас же отправилась в Толедо. «Поезжай в Толедо», — приказала ей мать. Преступное легкомыслие, с которым Альфонсо бросил вызов мусульманскому послу, только увеличило любовь доньи Леонор. И все время к ее горячей тоске по Альфонсо примешивалось смутное, мрачное злорадство: теперь наступит поражение. Теперь с той, другой, будет покончено. *Actum est de ea*, ей теперь конец.

Не застав уже короля в Толедо, она под каким-то предлогом поехала вслед за ним на юг. Дон Педро, который, как и было предусмотрено, вторгся в Валенсийские владения, не желал отказаться от наступления на столицу Валенсии и не спешил с посылкой войска на помощь дону Альфонсо до установленного по уговору срока. Но ей удалось связать дона Педро обещанием: самое позднее через полтора месяца он поставит десять тысяч солдат, а восемьсот солдат, чтобы доказать свою готовность, даст уже сейчас. Она отправилась в Калатраву, чтобы лично сообщить королю эту отрадную весть.

Он выехал ей навстречу. Она не скрывала радости, охватившей ее при виде короля. Здесь, среди своих рыцарей, в суровой атмосфере крепости Калатравы, он был как раз тем Альфонсо, которого она любила.

Сияя, рассказала она, как ей удалось побудить строптивого дона Педро уже в ближайшие недели послать подкрепление. Альфонсо поблагодарил ее от всего сердца. Он утаил от нее, что эта весть ему совсем не по душе. Его намерение встретиться с халифом в открытом поле еще укрепилось. Если теперь станет известно, что подкрепления из Арагона надо ждать уже в ближайшем

будущем, его советники и полководцы станут еще яростнее сопротивляться его замыслу.

Уже немолодой великий магистр Нуньо Перес и дон Манрике де Лара пришли к королеве. Хотя король молчал, его планы стали известны, и те из его друзей, которые отличались осмотрительностью, заволновались. Оба пожилых рыцаря разъяснили королеве, как опасна затея короля и как важно дожидаться подкрепления из Арагона. Они просили королеву уговорить дона Альфонсо отказаться от своего намерения.

Донья Леонор испугалась. Она ничего не понимала в стратегии, ничего не хотела слушать. Между ней и доном Альфонсо установилось молчаливое соглашение: она принимает участие в государственных делах, но не вмешивается в военные. Однако сейчас — это она поняла — на карту ставится существование Кастильского королевства. Она помнила, как Альфонсо напал тогда, вопреки предостережениям своих советников, на Севилю; она чувствовала, она знала, что теперешний безумно смелый замысел ему дорог. Разум говорил ей, что надо обсудить с ним все. Но как раз сейчас ей не хотелось раздражать его, не хотелось приставать с непрошеными советами. Кроме того, глубоко внутри злорадный голос нашептывал ей: поражение!

Любезно, но с королевским достоинством ответила донья Леонор озабоченным вельможам: она ничего не смыслит в вопросах стратегии, за все эти годы она ни разу не говорила с доном Альфонсо о подобных вопросах. Она восхищается его военным гением, и ей, королеве Кастилии, не пристало смущать трусливыми сомнениями гордую отвагу и благочестивую веру в свои силы короля, ее супруга.

Два дня и две ночи провела она в крепости. Для нее было спешно приготовлено роскошное помещение, ибо не приличествовало ей спать в одном доме с Альфонсо. Обычай предписывал крестоносцам воздерживаться от общения с женщинами. Однако мало кто из рыцарей считался с этим запретом, и донья Леонор ожидала, что Альфонсо после ужина останется у нее. Но он ласково попрощался с ней на ночь, поцеловал в лоб и ушел. То же повторилось и во второй вечер.

В обратный путь донья Леонор отправилась верхом, и Альфонсо добрый час сопровождал ее.

Расставшись с ним, она погрузилась в задумчивость и односложно отзывалась на речи свиты. Вскоре она приказала подать носилки, хотя и была отличной наездницей.

Закрыв глаза, сидела она в носилках. Альфонсо весь захвачен войной, да и не в его натуре любить наспех. Не надо думать, что он пренебрег ею. И, уж конечно, не воспоминание о еврейке удержало его.

В Толедо ее мысли были заняты той, еврейкой. Там еврейка была очень близко, нельзя было не думать о ней. Какая глупая смелость жить тут же под боком, где она, как и город, как и все вокруг, в ее, Леонориной, власти. Стоит только ей протянуть руку... Раньше это было скорее ощущением, чем осознанной мыслью, а сейчас, в носилках, по дороге в Толедо, она это осознала. Сейчас, в носилках, она против собственной воли старалась вызвать в памяти образ той, еврейки: ее лицо, движения, весь облик. Мысленно представляла себе Ракель обнаженной. Сравнивала с собой. Она, Леонор, хорошо сохранилась; это признала даже благородная дама Алиенора, строгий и придирчивый судья. Уж конечно, еврейка привлекла Альфонсо не тем, что она лет на десять, на двенадцать позднее ее, Леонор, вылезла на свет божий из материнской утробы. Он околдован, во власти горячки, на него напущена злая порча. И когда Альфонсо опять станет прежним, настоящим Альфонсо после задуманной им великой битвы — все равно, принесет ли она победу или поражение, — он позабудет еврейку. Если бы она, Леонор, поддавалась на убеждения двух старых грандов и постаралась отговорить Альфонсо от его битвы, она была бы душой.

Но она не дура. Нет, она умная, молодая, красивая, она уверена в себе.

Лазутчики донесли, что мусульманское войско тремя колоннами подвигается на северо-восток. Альфонсо не мог дольше ждать, он должен был посвятить в свои планы советников и полководцев.

Он созвал военный совет. С увлечением изложил свой план. Он хочет выступить и встретить неверных в Долине арройос, изрезанной глубокими руслами высохших горных потоков. Там он дал сражение, которое принесло

ему его первую большую победу и подарило крепость Аларкос. Никто в Испании не знает эту местность лучше, чем он. Смело и убежденно объяснял он, как принудит халифа занять более низкую часть полого спускающейся долины, как оттеснит крупные части вражеских сил к лесу, а затем загонит их в лес. Он не сомневается в победе. А тогда перед ними будет открыта вся Южная Андалусия: Кордова, Севилья, Гранада — и война окончится, едва начавшись.

Молодые гранды с воодушевлением одобрили его план.

Старый дон Манрике почтительно, однако настойчиво предостерегал короля. Вступать в бой в открытом поле с противником, располагающим такими превосходными силами, более чем рискованно. Если не будет одержана решительная победа, Толедо потерян. Искусный в ратном деле барон Вивар поддержал дона Манрике.

— Ты, государь, — сказал он, — много потрудишься, чтобы сделать крепости Калатраву и Аларкос самыми надежными на полуострове. Под защитой их стен мы можем спокойно выждать, пока придут союзники. Мусульманское войско очень многочисленно, и его трудно прокормить. За время осады оно сильно поредеет. А тем временем подойдут арагонцы, и тогда силы халифа уже не будут так непомерно превосходить наши. Вот тут, государь, если на то будет воля божия, ударь на врага.

Морщины на челе дона Альфонсо стали еще глубже. Умом он понимал: доводы Манрике и Вивара основательны. Но томиться в бездействии за стенами крепости и ждать, пока на выручку придет этот молокосос и вертопрах, просто невыносимо. Он ни с кем не хочет делить победу.

— Мне небезызвестно, — ответил он, — что осторожный полководец предпочитает не вступать в бой с противником, силы которого в три, в четыре раза превосходят его собственные. Но я не могу спокойно смотреть, как враг занимает страну. Во мне закипает кровь. Истинная война не игра в шахматы, война — это турнир, и решающий удар наносит не благоразумный рассудок, а смелое, благочестивое сердце. Истинный полководец чутьем угадывает, где дать сражение. Я дам сражение в Долине арройос.

Рыцари выказали бурный восторг.

Теперь сам магистр Ордена почтенный Нуньо Перес постарался удержать короля:

— Если войско неверных так многочисленно, как о том доносят лазутчики, то кастильцам без поддержки союзников не устоять против него. Подожди, пока придет арагонцы, государь!

Альфонсо надоело слушать поучения своих старых полководцев. Они еще трусливее Родриго.

— Я не хочу ждать, дон Нуньо, — заявил он. — Поймите меня! Я не потерплю, чтобы обрезанные осадили Аларкос, крепость, которую я присоединил к своему государству. Я справлюсь с ними и без Арагона.

Но дон Манрике не сдавался.

— Пошли хотя бы гонца к дону Педро! — настаивал он. — Если строго придерживаться буквы договора, ты обязан ждать.

— Буквоедство не в моей натуре, — вспылил дон Альфонсо, — и не в натуре короля Арагона. Он христианский рыцарь. Мне незачем спрашиваться у него. — И, успокоившись, прибавил: — Я понимаю ваши опасения, но они не должны меня смущать. Пусть даже у халифа будет в три, в четыре раза больше людей, на нашей стороне правда и всемогущий бог. Мы дадим бой в Долине арройос!

Теперь, когда король принял твердое решение, все, даже те, кто раньше колебался, рьяно и горячо принялись за приготовления. Лагерь был разбит на выбранном доном Альфонсо месте. Палатки растянулись по отлогому склону, огражденные с тыла все более круто вздымающейся вершиной, с флангов защищенные арройосами, которые и дали название этой местности, — глубокими оврагами, проложенными бурными горными потоками, в это время года высохшими; их сплошь покрывали белые и красные олеандры.

Мусульманское войско меж тем подходило в полном порядке, короткими равномерными маршами. Когда оно приблизилось на расстояние двух дней пути, не трудно было высчитать, что решительный бой произойдет 19 июля, по мусульманскому исчислению 9 *шавана*.

А девятый день шавана приходился на субботу.

Это повергло в большое уныние еврейских солдат дона Альфонсо. Не без угрызений совести стали три тысячи евреев под его знамена. Они знали, на военной службе они будут вынуждены вкушать запрещенную пищу и в субботний день выполнять запрещенную работу; во времена героической древности иудейские солдаты предпочитали умирать от руки греков или римлян, но не сражаться в субботу. Правда, уже несколько столетий назад синедрион установил торжественную формулу *мутар лах* — «да будет тебе разрешено», которой учителя альхамы освобождали иудеев-добровольцев от соблюдения законов, воспрещающих работать в субботу и есть недозволенную пищу. Однако освобождение давалось только на случай крайней нужды. Был ли сейчас именно такой случай? Вынужден ли король сражаться обязательно в субботу?

Евреи отрядили к дону Альфонсо людей во главе с доном Симеоном бар Абба, родственником Эфраима. Если солдаты-иудеи, объяснил он королю, преступят священный запрет не в случае крайней нужды, они навлекут на себя гнев божий и поставят под угрозу поражения себя и своих христианских соратников. Посланцы евреев почтительнейше спросили короля: нельзя ли выбрать для битвы другой день?

Альфонсо похлопал дона Симеона по плечу и весело сказал:

— Я знаю, что вы, евреи, храбрые воины, и охотно пошел бы вам навстречу. Но, видите ли, оттянуть битву больше чем на день я не могу. И тогда мне придется сражаться в воскресенье. Это вызвало бы недовольство ваших христианских соратников, а их гораздо больше. Придется остановиться на субботе, зато мы все будем молиться, чтобы ваш бог отпустил вам этот грех.

Благочестие евреев навело короля на размышления, и он решил посоветоваться с доном Мартином, что предпринять, дабы обеспечить себе и своему войску милость всевышнего. Архиепископ читал «Древо сражений» приора Бонэ. Там рекомендовалось в день битвы воздерживаться от пищи, ибо славный рыцарь царь Саул, перед тем как вступить в бой, грозил покарать смертью всякого, кто до захода солнца утолит голод или жажду. Архиепископ предложил христианским солдатам в день битвы воздержаться от еды, а чтобы они не ослабели,

король может накануне вечером устроить им обильное пиршество. Дон Альфонсо так и распорядился.

Дон Мартин, со своей стороны, разослал гонцов, с тем чтобы утром в день битвы звонили в колокола на всем протяжении от Аларкоса до Толедо и в самом Толедо.

Вечером 18 июля король, стоя на возвышенности, с которой он собирался на следующий день руководить боем, обозревал свой и вражеский лагери. Там, где долина понижалась, расположилось станом войско халифа. Бесконечными рядами тесно стояли одна к другой палатки, и Альфонсо и его военачальники, хоть из-за леса им и не было видно, знали: вражеский лагерь загибается и уходит далеко на запад. Король долго молча смотрел, прикрыв ладонью глаза, как спускается вечер на лагерь халифа.

Рыцари отправились назад, в лагерь, и повсюду их приветствовали радостными почтительными криками. Солдаты радовались обильной еде.

Затем рыцари сели за стол в походном шатре короля. Он сиял золотом и пурпуром стягов; и внутри шатер был богато украшен коврами и шаями в честь войны, благороднейшего занятия рыцарей и королей. Настрое-ние было приподнятое, все ели и пили в свое удовольствие; Бертран пел воинственные песни.

Но разошлись рано, чтобы выспаться и набраться сил к предстоящему дню.

В сон короля врывались сладостные образы и мысли. Он видел Ракель и подробно развивал ей свой план сражения. Доказывал, что можно так расставить полки, что победа над значительно более многочисленным войском противника будет все равно обеспечена. Объяснил, как он представляет себе дальнейший ход войны. Разбив войско халифа, он дойдет до самого моря. И тогда заключит мир. Побережье и Гранаду он оставит халифу; но Кордову и Севилью обрезанный должен будет отдать ему. Севилью он сделает графством, самым большим графством Кастилии, а титулом графа Севильского пожалует своего любимого сыночка, бастарда Санчо.

Сквозь сон он слышал негромкие окрики стражи. Внутренний голос шептал ему: завтрашний день, 19 июля, будет великим днем — он старался вспомнить, какой сейчас год, но испанское летосчисление перепуталось у него в голове с летосчислениями других христианских

стран, он не мог вспомнить год и злился, что принял сторону дона Родриго, а не своего дорогого друга дона Мартина. Но тут в его дрему ворвался перезвон колоколов и торжественное, радостное пение, колокола пели *tedeum*, славя его победу, и он крепко заснул под победный звон.

Он проснулся под колокольный звон. Как приказал архиепископ, еще до восхода солнца по всей стране — от Аларкоса до Толедо — ударили в колокола.

Как только взошло солнце, для солдат отслужили мессу. Многие приобщились святых тайн. Затем полкам были торжественно вручены реликвии, которые должны были сопровождать их в бой. Самая драгоценная, самая надежная реликвия принадлежала калатравским рыцарям — *крус де лос анхелес* — крест, который таинственным образом был доставлен Альфонсо Третьему двумя неземными пилигримами. В каждом полку рыцари и солдаты преклоняли колени и целовали свою реликвию.

В стране мусульман тоже возносились молитвы. Там священнослужители и военачальники подбадривали солдат стихами Корана: «Укрепите сердца ваши, верные! Возвеселитесь духом! Не бойтесь никого, кроме Аллаха! Он ваша опора. Он даст силу вашим ногам, да стоят они крепко. Он пошлет вам победу». И мусульманские солдаты простирались ниц, сотни тысяч мусульманских солдат, лицом к Мекке, и громко читали семь молитв первой суры Корана: «Во имя Аллаха милосердного и милостивого; хвала Аллаху, господу вселенной, милосердному, милостивому; царю дня воздаяния; ты един бог, к тебе мы прибегаем; направь нас на путь правый; на путь тех, к кому ты милостив; но не на путь тех, кто прогневил тебя и кто заблуждается».

Бой начался.

Калатравским рыцарям было дано приказание напасть первыми и прорвать центр противника. В боевом порядке, сверкая доспехами, выстроились они, восемь тысяч всадников на отборных конях. Они громко пели свою молитву перед боем, пятьдесят девятый псалом Давида: «Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? С богом мы окажем силу: он низложит врагов наших».

Они ударили в центр врага.

«Окаянные с такой яростью ринулись в бой, — повествует летописец Ибн Яхья, — что кони их налетели на мусульманские копья, а неверные были отброшены, но они снова ринулись вперед. Опять были отброшены. В третий раз поскакали в устрашающую безумную атаку. «Держитесь, друзья! — крикнул Абу Хафас, военачальник, командующий центром. — Укрепите сердца ваши, правоверные! Аллах, восседающий на высоком престоле, помогает вам». Но окаянные нападали с такой безумной яростью, что ряды отважных мусульман дрогнули. Сам военачальник Абу Хафас сражался как лев, пал в бою и заслужил венец мученика. Окаянные учинили страшное побоище, врезавшись в центр; все мусульманские воины, сражавшиеся там, были избраны Аллахом для венца мученичества и девятого шавана этого года вкусили десять тысяч райских радостей».

Альфонсо наблюдал за ходом сражения со своей возвышенности. Он видел, как пошли в атаку калатравские рыцари, как были отброшены, вторично пошли в атаку, вторично отступили и как затем сломили ряды врагов. И вот они устремились вперед, его калатравские рыцари неудержимо устремились вперед, теперь они уже скоро достигнут красного боевого шатра халифа и пришлют вестника победы; тогда Альфонсо тоже ринется в бой и окончательно сокрушит врага.

Итак, король и его приближенные смотрели, ждали и наслаждались зрелищем. Внизу, в Долине арройос, воплощалась в жизнь мечта певца Бертрана де Борна; вот они, нападающие, сражающиеся и сраженные, вот воинственный клич «А loг, а loг!» и врывающиеся в него крики «Аллах!» и «Магомет!» и ржание раненных — смерть коней, потерявших всадников. Сердце Аласара распирала радость. Всем своим существом впитывал он смерть, славу, победу, венец мученичества, сплетшиеся в чудесный клубок. И об одном только жалел: о том, что поднятое облако пыли скрывает от глаз поле битвы. Но он видел вокруг себя безумные, разгоряченные, ликующие лица короля и его рыцарей, и его лицо было тоже ликующее, как и у них, и он вытирал слезившиеся глаза, чихал от пыли, щекотавшей в носу, и смеялся.

И вдруг случилось нечто неожиданное. Поднятая пыль стояла облаком, и различить, что происходит,

стало почти невозможно. Но одно было ясно: бой приближается к их возвышенности, а значит, сражение идет в тылу у рыцарей Калатравского ордена. Всадники в турбанах внезапно появлялись то тут, то там, в непосредственной близости от стана кастильцев. Они напали на еврейские легионы, несшие охрану лагеря. Да, евреи вступили в бой, храбро дерутся, ясно слышен древний иудейский боевой клич: «Хедад, хедад!» — они не отступают, держатся крепко. Но их всего три тысячи, силы врага значительно больше. И на мгновение в мозгу дона Альфонсо смутно вспыхнуло предсказание дона Симеона: сражение в субботний день навлечет несчастье.

Но как же могло случиться, что мусульманские всадники прорвались настолько вперед? И в каком количестве? Где же калатравские рыцари?

Король догадывался о том, что случилось, но гнал от себя эту мысль. Войско халифа, доносили лазутчики, насчитывает пятьсот раз по тысяче воинов, но Альфонсо смеялся. И вот теперь оно надвигается, и не видно ему конца. Из завесы пыли возникают все новые и новые воины в турбанах, пешие и конные. Теперь Альфонсо уже не смеялся.

Произошло же следующее. Опьяненные победой калатравские рыцари врзались в самую гущу боя. Они не замечали жары и пыли, от которых спирало дыхание. Сквозь шум битвы они слышали только собственные крики и крики тех, кого разили. Как в дурмане, обезумев, охмелев от боя, яростно рубя направо и налево, продвигались они все дальше в облаке пыли, затмившем солнце.

Военачальник мусульман Абдулла бен Сенанид, андалусец, опытный в ратном деле, предвидел, что так случится. Он ждал, чтобы рыцари прорвались вперед, и оказывал им только слабое сопротивление. Но он двинул с обоих флангов моадские полки и привел в готовность страшные, дальнобойные метательные орудия. Моадские лучники, известные своей меткостью, незаметно соединились в тылу калатравских рыцарей и отрезали их от главных сил и лагеря христиан. И теперь перед Аларкосом произошло то же, что в битве при Аль-Хиттине. Мусульманские лучники пустили стрелы в коней христианских рыцарей, а как только падала лошадь, всадник в тяжелых латах становился беспомощ-

ным. Теперь начали действовать метательные орудия халифа, и в ряды христиан полетели огромные камни.

«Началось ужасающее побоище, — повествует летописец Ибн Яхья. — Все неверные были в железных латах, и кони их тоже, и были они цветом рыцарства, но это их не спасло. Перед битвой они молились своим трем богам и клялись на своих крестах, что в этом бою не повернут вспять, пока хоть один из них останется в живых. И на благо правоверным Аллах допустил, чтобы их клятва исполнилась в точности».

Для окончательного истребления врага мусульманский военачальник, воспользовавшись огромным численным превосходством своих полков, бросил на лагерь христиан свою личную отборную андалусскую конницу, зашедшую в тыл сражающимся рыцарям.

Эту атаку на лагерь и увидел Альфонсо со своей возвышенности.

— Вот и наш черед наступил, — заявил он с мрачной радостью.

Они во весь опор поскакали к стану. Их было много, но все же недостаточно. Нахлынувшие толпы мусульман поглотили их, им пришлось повернуть обратно в гору, не достигнув лагеря. Но они отступали сомкнутым строем и не позволяли мусульманам обойти их с флангов. Все снова и снова удавалось им расчистить вокруг себя небольшое пространство и передохнуть.

Дон Альфонсо сражался в самой гуще. Он думал уже не о ходе боя, а только о том, что творилось в непосредственной близости. Он задыхался от жары и пыли, в глазах рябило от тускло мерцавшей туманной завесы. Он слушал резкий звук рогов, барабанную дробь, дикие выкрики мусульман и возгласы друзей: «Руби! На помощь! Сюда!» И все покрывал непрерывный, сливающийся в общий грохот гул битвы. Сердце дона Альфонсо кипело глухой и в то же время блаженной яростью. Он радовался, когда разил его добрый меч *Fulmen Dei*; он радовался, когда падал враг, и даже когда падал друг, он ощущал какое-то веселье.

Постепенно мусульмане оттеснили кастильцев до середины горы. Король снова приказал идти в атаку. Уцелевшие — их осталось сотен восемь, не больше — врзались в неприятельскую пехоту. Мусульманский солдат, совсем около дона Альфонсо, нацелился в

короля копьем. Но Аласар сразил его раньше, чем он успел метнуть копье. Юноша громко рассмеялся.

— Ему не повезло; государь, — крикнул он в грохот битвы. Но мгновение спустя свалился, раненный, с седла, запутался ногой в стремени, лошадь протащила его несколько шагов.

Остальные прорвались вперед, они гнали вниз по склону пехоту противника. Вокруг короля и тех, что сражались бок о бок с ним, очистилось небольшое пространство.

Дон Альфонсо сошел с коня в каком-то дурмане, все еще ослепленный яростью боя. Он нагнулся к Аласару. Поднял забрало, сам не зная зачем, снял с мальчика шлем, тоже не зная зачем, даже не зная, видит ли его Аласар. Он с огорчением подумал, что Аласар должен был выбрать тысячу рыцарей, которых он, Альфонсо, хотел отпустить на волю без выкупа. Мальчик тяжело дышал, его обычно матово-смуглое лицо покраснело и опухло и здесь, в жаре, грязи и крови, несмотря на искажившую его мучительную боль, казалось совсем юным. Альфонсо ниже наклонился над ним, смотрел на него, не видел, опять смотрел, сказал голосом, охрипшим от крика:

— Аласар, мой мальчик, мой верный друг!

Аласар с трудом поднял руку, Альфонсо не понял зачем; позднее он додумался, что Аласар хотел вернуть ему перчатку, и пожалел, что сразу не понял. Аласар пошевелил губами, Альфонсо не был уверен, что он говорит. Ему послышалось, будто мальчик сказал: «Передай моему отцу...» — но только значительно позже он вспомнил, что как будто слышал эти слова; не мог бы он также сказать, на каком языке они были произнесены.

Но пока он стоял, нагнувшись над Аласаром, в нем всплыла, впервые за этот день, да и то очень смутно, заглушенная криками и грохотом боя мысль о Ракели и одновременно мысль о доне Манрике и магистре Нуньо Пересе, которые убеждали его укрыться за стенами крепости, и мысль о гневном доне Родриго. Но он не задержался на этих мыслях, не было времени. Не было также времени заниматься дольше Аласаром; он успел только наскоро перекрестить его.

Уже шли в облаке пыли новые орды и гнали их в гору. Тупо, в мрачной ярости смотрел дон Альфонсо на

бурно хлынувшие полчища. Когда же конец? Пятьсот раз по тысяче, — донесли лазутчики. И они не солгали.

— До сих пор мы имели дело с авангардом, теперь подходят главные силы, — сумрачно усмехнулся архиепископ.

— Ну что ж, — отозвался Бертран, — тем больше матерей и жен будут лить о них слезы.

Рыцари сгрудились.

— Медленно, с боем назад!

Бертран запел одну из своих песен.

Не в теплых постелях наши отцы
Глаза навек закрывали.
Умремте же с радостью, как бойцы,
От вражеской холодной стали!

Так, шаг за шагом, сдерживая приплясывающих коней, лицом к врагу, отступали они в гору.

Куда ни глянешь, всюду кипит бой. Но когда они добрались до последнего предела, до отвесно вздымающейся крутизны, они на время отбились от врага, здесь никто не мог зайти им в тыл. Они перевели дух, огляделись, отыскиали друзей, подсчитали потери. В живых осталось не больше двухсот воинов.

— Где дон Мартин? — спросил Альфонсо.

— Он ранен, — ответил Гарсеран. — По-видимому, тяжело. Его хотят переправить по ту сторону горы, в дубовую рощу. Сейчас перетаскивают его через овраг. Ты бы тоже ушел, государь, пока неверные еще не узнали дороги через овраг, — настоятельно попросил он короля.

Дело в том, что по ту сторону горы была скрытая тропа, ведущая в дубовый лес и к переходу через северную часть оврага.

— После следующей атаки, — сказал дон Альфонсо, ибо враг, уже очень близкий, готовился к нападению. И, обращаясь к Бертрану, спросил: — Что с тобой, друг Бертран? Ты ранен?

— Так, не все пальцы целы, — ответил Бертран, стараясь говорить естественным тоном. — Вероятно, я не смогу вернуть тебе всю перчатку, — пошутил он.

И опять схватились враги.

Здесь, у подножия последней вершины, бой перешел в ожесточенное единоборство. Каждый дрался сам за

себя, в беспамятстве, яростно разя направо и налево, чувство локтя было утрачено.

«И Альфонсо, окаянный, — повествует летописец Ибн Яхья, — отвел взор от побоища и увидел белый стяг повелителя правоверных — Аллах да хранит его — в непосредственной близости и увидел золотые письма на нем: «Нет бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его». Тогда на окаянного напал страх, и сердце его содрогнулось, и он бежал. И бежали все, кто был вместе с ним, и мусульмане преследовали их. Сам окаянный ушел через гору, но мусульмане перебили великое множество из его народа и не отнимали копий от бедер бегущих и мечей от их выи, пока не напоили досыта свое оружие кровью неверных и не принудили их испытать до дна чашу смерти».

Достигнув вершины, Альфонсо на один-единственный миг обернулся к Долине арройос, к избранному им полю битвы. Облако пыли затянуло долину, в пыли был он сам и все, кто с ним, пыль надела на шлемы и доспехи. Пыль затянула поле битвы густой завесой, поглощавшей яростный шум схватки — звон мечей, крики воинов, топот и ржанье коней, рев труб. В этом жарком, дымном, пыльном мареве даже зоркий глаз короля Кастилии не мог разобрать, что происходит. Однако Альфонсо знал: здесь в пыли и криках гибнет его слава, гибнет Кастилия. Но не успел подумать или хотя бы ощутить это в ясных словах — его рыцари увлекли его за собой.

А мусульмане меж тем громили лагерь кастильцев. Они захватили оружие, сокровища, доспехи, всяческие припасы, и много сотен благородных охотничьих соколов, и церковную утварь, и сверх того парадные одежды, в которые калатравские рыцари собирались облечься в день победы. «Я не могу назвать число христиан, павших от руки правоверных, — повествует летописец. — Сосчитать их не мог никто. Убитых было столько, что лишь Аллаху, создавшему и христиан, ведомо их число».

Уже сто двенадцать лет, со дня битвы при Салаке, не одерживали мусульмане на полуострове такой победы. Страх, охвативший христиан, был так велик, что даже у защитников Аларкоса дрогнуло сердце. После короткой осады они сдали самую сильную кастильскую крепость. Завоеватели, распространяя вокруг себя ужас,

разрушили своими боевыми машинами стены и дома города и крепости Аларкос, сровняли их с землей и посыпали землю солью.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Незадолго до битвы при Аларкосе прибыли в Толедо первые восемьсот латников из тех арагонских войск, что дон Педро обещал в помощь кастильцам. Их предводитель велел доложить о себе королеве. Это был Гутьере де Кастро.

Да, де Кастро настойчиво просил, чтобы его первого послали в Толедо. Бароны де Кастро, говорил он в подкрепление своей просьбы, отличились при завоевании Толедо, о чем до сего дня еще свидетельствует их кастильо в этом городе, он хочет принять участие и в завоевании Кордовы и Севильи. Нерешительный дон Педро не мог отказать своему могущественному вассалу в его настойчивой просьбе. Итак, де Кастро прибыл в Толедо с восемью сотнями отборных латников и пришел на поклон к донье Леонор.

Она была радостно и глубоко удивлена. С каким-то суеверным восхищением думала она о своей мудрой матери, которая, не присудив де Кастро его кастильо, раздражила и взманила его. Донья Леонор встретила Гутьере де Кастро, сияя приветливой улыбкой.

— Меня радует, что первым из наших арагонских друзей приехал в Толедо ты, дон Гутьере.

Одетый в латы, дон Гутьере стоял перед ней в позе, освященной обычаем, — широко расставив ноги, обеими руками опершись на рукоять меча. Коренастый барон гордился своей родословной, которую вел от тех готских князей, что сохранили независимость, уйдя в Астурийские и Кантабрийские горы, когда мусульмане захватили весь полуостров. И верно: у него, как и у многих горцев, жителей тех мест, были широченные плечи, круглая голова, горбатый нос и глубоко запавшие глаза. Он стоял перед сидящей королевой и сверху смело смотрел ей в лицо, раздумывая, что могут означать ее слова.

— Я надеюсь, — продолжала донья Леонор, — что ты удовлетворен решением, принятым королями в твоём споре с Кастилией.

Она подняла на него взгляд, оба внимательно, почти неподобающе долго, посмотрели друг другу в глаза. Наконец дон Гутьере сказал своим скрипучим голосом, взвешивая каждое слово:

— Мой брат Фернан де Кастро был славным рыцарем и героем, я любил его всей душой. Ничто не возместит мне его утрату, и, уж конечно, не возместит та вира, что была мне выплачена. Когда я взял крест, я поклялся вырвать ненависть из своего сердца, и я сдержу свою клятву и буду послушен королю Кастилии, как приказал мне мой арагонский сюзерен. Но скажу тебе откровенно, государыня, мне это нелегко. Мне обидно, что среди ближайших слуг дона Альфонсо находится человек, которому я хотел бы плюнуть в лицо и который недостойн этого моего плевка, и он чванится тем, что живет в моем родовом замке.

Донья Леонор, все еще не спуская с него своих зеленых глаз, ответила мягким, вкрадчивым голосом:

— Только по зрелом размышлении короли решили оставить ему кастильо. — И она пояснила: — Сейчас, благородный дон Гутьере, нельзя вести войну так, как вели ее во времена наших отцов. Для войны надо много денег. Чтоб раздобыть их, надо хитрить, подчас даже лукавить, а тот, о ком ты говоришь, умеет хитрить и лукавить. Поверь мне, любезный моему сердцу благородный дон Гутьере, я разделяю твои чувства, я понимаю, как тебе обидно, что этот человек живет в твоём замке. — Она видела, каким внимательным, выжидающим взглядом смотрит он на нее. «Теперь я поманю сокола добычей», — подумала она и медленно закончила: — Когда война разгорится, ни этот человек, ни его хитрость не будут больше нужны.

Дон Гутьере спросил, каковы ее распоряжения.

— Пока было бы хорошо, если бы ты остался со своими людьми здесь, в Толедо. Я сообщу королю о том, что ты прибыл, и получу от него указания. Будь на то моя воля, я оставила бы вас здесь. Войска отозваны из города, и мне было бы спокойнее, если бы я знала, что в Толедо хорошие воины, которым я доверяю.

Дон Гутьере поклонился ниже обычного.

— Спасибо на ласковом слове, благородная дама, — сказал он.

Он простился, исполненный благоговения и отваги. Донья Леонор поистине великая королева.

Ликуя, ехал он по узким, крутым улицам Толедо, он, герой и желанный гость в городе, из которого был изгнан; и не раз за эту жаркую летнюю неделю проезжал он мимо кастильо де Кастро и глядел на него с непамятостью и надеждой.

И настал день, когда с самого раннего утра зазвонили в Толедо во все колокола, — день великой битвы. И настала ночь, и уже ночью пошли темные, смутные слухи, что битва проиграна. И опять настало утро, и с ним вместе появились испуганные беженцы с юга, их приходило все больше и больше, и жители из предместий Толедо, расположенных вне городских стен, толпами шли в переполненный город, а страшные вести все множились. Великий магистр ордена Калатравы убит, архиепископ тяжело ранен, восемь тысяч рыцарей ордена Калатравы полегли на поле брани, убито свыше десяти тысяч других рыцарей и бесчисленное множество пеших солдат.

Донья Леонор сохраняла спокойствие. Просто вздорные слухи. Не может, не должно этого быть. Такого поражения она не представляла себе.

Дон Родриго, единственный из королевских советников, оставшийся в Толедо, пришел к ней, его худое лицо было искажено горем и гневом. Она постаралась сохранить спокойствие.

— Мне сообщают, — сказала она, — что король, наш государь, понес тяжелые потери при вылазке из крепости Аларкос. Пришел ли ты с более верными вестями, досточтимый отец?

— Пробудись, государыня! — гневно воскликнул дон Родриго. — Дон Альфонсо потерпел крупное поражение. Война проиграна, едва начавшись. Цвет кастильского рыцарства погиб. Великий магистр ордена Калатравы убит, архиепископ Толедский тяжело ранен, большинство баронов и рыцарей полегло в Долине арройос. Все, что в течение столетия морем пота и крови завоевали христианские короли нашего полуострова, пошло прахом в один-единственный день в угоду рыцарскому капризу.

Королева побледнела. Ей вдруг стало ясно: это правда. Но перед ним она не хотела в этом признаться; она

снова была неприступной королевой и холодно указала канонику его место.

— Ты забываешься, дон Родриго, — сказала она, — но я понимаю твою горе и не хочу спорить с тобой. Лучше скажи мне: что я должна, что я могу сделать?

Родриго ответил:

— Сведущие в ратном деле люди предполагают, что дон Альфонсо продержится некоторое время в Калатраве. Возьми на себя заботу, государыня, подготовить за это время Толедо к обороне. Ты умна и испытана в делах государственных. Сохрани спокойствие в городе. Он переполнен беженцами и насмерть испуганными людьми. Их обуяла жажда крушить, убивать. Они грозят крещеным арабам, они грозят евреям.

Втайне донья Леонор ожидала, что услышит подобные речи; возможно, она даже хотела их услышать. Она ответила:

— Я сделаю, что могу, чтоб сохранить в Толедо спокойствие.

Дона Эфраима, парнаса альхамы, снадали тяжелые думы. Взятие Аларкоса открывало халифу дорогу к Толедо. Город мог стать добычей мусульман, прогнавших евреев из Кордовы и Севильи. Со времен готских королей не было на евреев Сефарда такой напасти.

А что принесет ближайшее будущее? В Толедо ходили страшные слухи. Никогда не одолеть бы неверным отличное христианское воинство, если бы не предательство и козни. Еврей, друг севильского эмира, сговорился с мусульманами, выдал им военные планы христиан, численность отдельных отрядов, их расположение. Король не освободился еще из сетей еврейки, посланницы дьявола, и вот божья кара постигла его, его и всю страну.

В иудерии люди еще теснее, чем обычно, жались друг к другу. Евреи, жившие вне ее крепких стен, шли под их защиту. Над альхамой навис тягостный страх.

Дон Эфраим почтительно попросил королеву принять его. Горожане, способные носить оружие, призывались защищать стены города. Дон Эфраим просил, что-

бы альхаме было разрешено оставить на защиту иудеи те пятнадцать сотен боеспособных мужчин, которые еще были в ее распоряжении. Он говорил, что огромное число еврейских солдат, павших в битве под Аларкосом, свидетельствует о готовности толедских евреев пожертвовать жизнью за короля. Но сейчас евреям угрожают люди, подстрекаемые бессмысленными слухами, и альхаме очень нужны ее воины и их оружие.

В голове доньи Леонор быстро мелькали мысли. Вот он, единственный, желанный день; теперь надо быть осторожнее, намекнуть, но не выдать себя.

Толедский народ, ответила она, видит в печальном исходе битвы кару Божию и ищет виновного. Никто не может заподозрить евреев альхамы, ибо все знают их как преданных слуг короля. Но вот о чужаках, о тех франкских евреях, которым король, наш государь, по своему бесконечному милосердию разрешил поселиться здесь, ничего не известно, и недобрый оком смотрит народ на того, кто подал королю такой плохой совет, — на эскривано дона Иегуду Ибн Эзра. Кроме того, дон Иегуда, при всех своих заслугах, горд, чтобы не сказать заносчив, а роскошь, в которой он живет во время священной войны, возбуждает гнев многих простых горожан. Такой умный человек, как старейшина альхамы, должен это понять.

Парнаса возмутило, что королева отрекается от человека, который был призван ею и принес стране благоденствие.

— Ты советуешь нам, государыня, отказаться от дон Иегуды Ибн Эзра? — осторожно спросил он.

— Да нет же, — быстро ответила донья Леонор. — Я просто стараюсь установить, против кого из евреев растет недовольство народа.

— Прости, государыня, что я докучаю тебе вопросами, — настаивал дон Эфраим, — но я не хочу в столь важном деле понять тебя превратно. Ты полагаешь, что нам надо отъединиться от дон Иегуды?

Королева ответила холодно, неприветливо:

— Мне кажется, что вам не грозит никакая серьезная опасность, а не было бы дон Иегуды, не было бы и тени опасности. — И после томительного молчания она закончила раздраженно: — Так или иначе, дон Эфраим, поставь твоих боеспособных мужей на защиту иудеи.

или на защиту Толедо, выбор я оставляю на твое усмотрение.

Эфраим низко поклонился и вышел.

Он пошел к Иегуде.

— Мне жаль, дон Иегуда, — начал он, — что ты все еще здесь, в кастильо Ибн Эзра. Сейчас трудно найти более ненадежное место для тебя.

«Они хотят, чтоб я покинул их пределы, — с горечью подумал Иегуда. — Они хотят отделаться от меня». И он ответил с насмешливой вежливостью:

— С тех пор как ты в первый раз заботливо предостерегал меня, я не раз думал, не покинуть ли мне вместе с дочерью и верным другом Мусой эти края. Но король, наш государь, выслал бы за мною погоню. Скажи, разве ты этого не думаешь, дон Эфраим? Я не вижу возможности благополучно пробиться через огромные владения христиан в пределы султана. Придется уж вам, тебе и альхаме, примириться с моим пребыванием в Толедо.

Эфраим сказал:

— Иудерию защищают крепкие стены и пятнадцать сотен боеспособных молодых мужей. Мне кажется, дон Иегуда, что сегодня иудерия — самое подходящее для тебя место.

Иегуда не скрыл, как он поражен, и сразу признал все великодушие этого предложения.

— Прости мне глупую насмешку, — сказал он неприлично тепло. — За свою жизнь я приобрел не много друзей, я не ожидал такого человеколюбия. — И он, обычно хорошо владевший собой, взволнованно зашагал по комнате. Затем остановился перед Эфраимом и заговорил с ним, на этот раз по-еврейски: — Но обдумал ли ты, господин мой и учитель дон Эфраим, насколько менее надежной станет иудерия, если даст мне приют?

Эфраим ответил:

— Да не помыслим мы в дни бедствия закрыть наши ворота перед человеком, сотворившим нам столько блага.

Иегуда, раздираемый противоречивыми чувствами, спросил:

— Твое приглашение относится и к донье Ракель?

Эфраим после минутного колебания ответил:

— Оно относится и к твоей дочери. — Он настаивал: — Дело идет о твоей жизни, дон Иегуда, ты умеи и знаешь это не хуже меня. Может быть, мы заплатим кровью за твое спасение; ты это сказал, и я не спорю с тобой. Но мы убеждены, что эта жертва будет угодна богу. Ты по доброй воле, поставив все на карту, вернулся к нашей вере. Прошу тебя, забудь сейчас свою гордыню. Дай нам возможность воздать тебе добром за добро.

Иегуда сказал:

— Вы готовы идти на жертвы, и я чувствую соблазн принять ваше предложение. Ибо сердце мое исполнено страха, я не отрицаю. Но что-то внутри удерживает меня. Я мог бы солгать себе и вам, сказав, что не хочу подвергать вас опасности; но не в этом дело. И не в моей гордыне. Прошу тебя, верь мне. Это гораздо глубже. Видишь ли, совсем недавно король принудил меня поставить мою печать рядом со своей под тем дерзким посланием к халифу. И тогда я снова понял: моя судьба навеки связана с царем Эдома. Я играл крупную игру и не хочу бежать в день расплаты.

— Обдумай еще раз, — заклинал его Эфраим. — Скрыться в гуще народа, веру которого ты принял, хотя это стоило тебе жертв, не значит убежать от Адо-ная. Время не терпит, дон Иегуда. Может быть, завтра ты уже не успеешь покинуть этот дом. Идем со мной. Возьми твою дочь и идем со мной.

— Ты мужественный и добрый человек, дон Эфраим, — сказал Иегуда, — и я благодарен тебе, да умножит господь твою силу. Но сейчас я не могу решиться. Я знаю, время не ждет. Но я должен слушаться только собственного сердца, сейчас я не могу уйти с тобой.

Эфраим был глубоко опечален.

— Позднее я еще раз пришлю за тобой посланца, — сказал он, — и, надеюсь, ты передумаешь и придешь к нам, ты и твоя дочь. Да склонит всемогущий твое сердце к правильному решению.

— Пока ты не ушел, господин мой и учитель Эфраим, позволь мне попросить тебя об одном, — сказал Иегуда, сделав над собой усилие. — Мой внук в надежном убежище, но я не знаю, долго ли оно будет надежным. Я даже не знаю точно, где сейчас ребенок. Единственный, кто это знает, — знакомый тебе Ибн Омар. Ты

разыщешь его, когда страсти улягутся. Ибн Омар человек разумный, ему известны мои намерения и моя воля, он даст тебе во всем отчет. Царь Эдома хочет сделать своего сына, моего внука, графом Ольмедским. Не допусти, чтоб король отыскал мальчика. Не допусти, чтоб он сделал из него мешумада. Пусть мальчик не знает, какого отца он сын. Береги его от Эдома и от веры эдомской.

— Я выполню это, — обещал дон Эфраим, — а когда придет нужное время, я скажу мальчику, что он Ибн Эзра. — Он повернулся, чтобы идти. — Храни тебя бог, Иегуда, — сказал он. — Я тебе верный друг. Если нам опять доведется поспорить, вспомни об этих минутах, и я тоже вспомню. А если нам не суждено свидеться, знай, что тысячи из твоего народа благословят твою память. Мир да будет с тобою, Иегуда.

— Да будет мир с тобою, Эфраим, — ответил Иегуда.

После ухода Эфраима Иегуда долго сидел с опустошенной душой. Он не раскаивался, что отклонил предложение, он был мужественным человеком. Но он много раз видел, как умирают, и хорошо знал, что ему грозит. Он знал: арабское слово, называющее смерть погубительницей всего сущего, не пустой звук, и не стыдился, что его охватывает дрожь при мысли о черной бездне, которая ожидает его.

Для него было облегчением, что Эфраим не счел его ответ окончательным. Его одолевали все новые тревожные думы. Ведь он увлекает к гибели и дочь. Он должен спросить ее, раньше чем окончательно решать. Он подчинится ее выбору.

Ничего не смягчая, сказал он ей, что здесь, в Толедо, их на каждом шагу поджидает смерть и что Эфраим предложил им убежище в иудерии.

Ракель знала о поражении дон Альфонсо, но только теперь, из слов отца, она поняла, как огромно это несчастье. Она испытывала безумный страх за себя и отца, но еще сильнее была в ней жалость к дону Альфонсо. Как переживет поражение этот рыцарь, этот король — лучезарное воплощение победы? Она думала с ласковой усмешкой: «Не придется ему, бедному, неудачливому,

показать мне мою Севилью». И перед ее мысленным взором вставало его лицо — упрямое, гневное, исполненное горькой скорби. И в то же время все внутри нее ликовало: «Теперь он скоро, очень скоро вернется в Галиану. Он обещал. И не будет на нем железной кольчуги, и слова мои проникнут к нему в самое сердце».

Не колеблясь, сразу как Иегуда окончил свою речь, она сказала:

— Мне нельзя уйти в иудерию, отец. Дон Альфонсо приказал мне ждать его в Галиане.

Иегуду больно задело, что она не думает ни о чем, кроме желания дона Альфонсо. Он сказал:

— Раз такова твоя воля, дочка, я тоже не пойду в иудерию.

Но сказал он это не так решительно, как раньше, и при этом он не спускал испытующего взгляда с ее кроткого лица. В нем еще теплилась надежда, что она возразит: «Нет, отец, я не хочу, чтоб ты умер. Я хочу, чтоб ты жил. Я повинуюсь тому, что ты решишь». Но она не сказала ничего, и он с горечью думал: «Я сам отдал ее этому человеку. Я толкнул ее в объятия этого человека. Я не смею жаловаться на то, что сейчас она не противится его желанию, пусть даже это грозит мне смертью».

И вдруг, вся просветлев, она попросила:

— Лучше ты приходи жить ко мне, отец. Приходи жить в Галиану.

Иегуда догадывался, что творится в душе дочери, все отражалось на ее подвижном лице. Она поняла, какая опасность грозит им обоим, но вопреки всему считала Галиану надежным приютом; иначе Альфонсо не велел бы ей ждать его там. Он, Иегуда, знал: это пустая мечта и заблуждение; он знал: она навлекает опасность на него, он на нее, она бессильна помочь ему, он — ей, но какое утешение быть вместе в смертный час! И он не стал разрушать ее мечту.

Он согласился сегодня же, как стемнеет, уйти к ней в Галиану.

Он позвал с собой Мусу. Тот считал вполне понятным, что Ракель хочет остаться в Галиане, а Иегуда — быть вместе с дочерью. Но для него лично, сказал он, пожалуй, нет смысла при существующих обстоятельствах менять место.

— Оставь меня здесь, при книгах, — попросил он. — Не годится оставлять их без охранителя. Пожалуй, было бы хорошо, — подумав, сказал он, и лицо его оживилось, — отправить две-три наиболее ценные рукописи в иудею. Как хорошо, что сефер хиллалли уже там.

После раннего ужина Иегуда и Муса сидели вместе, пили, вели беседу. Они вдыхали аромат многих лет, проведенных вместе. Они говорили о своем бедственном положении с деловитостью многоопытных людей. Они говорили с мягкой, насмешливой почтительностью о смерти.

Муса стоял за своим налом, чертил круги и арабески и говорил:

— Нет, не созвездие, под которым родился дон Альфонсо, привело его и нас к такому печальному исходу, а его природа, его рыцарство. Рыцарство и чума — самые страшные бичи, которыми бог карает свои создания.

Иегуда не мог удержаться, он должен был рассказать другу, в каких теплых словах отзывался дон Эфраим о его, Иегудиных, заслугах.

— Теперь наконец евреи поняли, — сказал он со сдержанной гордостью, — что я помогал им не ради славы, богатства и почета.

Муса добродушно прибавил:

— Я все это видел и знаю, что часто ты действовал не только из честолюбия, но также из побуждений великодушного сердца. — И он пояснил со свойственной ему приветливой назидательностью: — Действия людей, говорит Гиппократ, так же как их болезни, редко проистекают от одной причины, более того — у каждого отдельного действия есть много корней.

Иегуда с улыбкой ответил:

— Ты не щедр на похвалы, друг мой Муса.

Беседа их чуть сочилась. Обычно слова легко лились из их уст, теперь, по мере того как приближалось время расставаться, слова падали все реже. Когда Иегуда встал, друзья окончательно замолкли и только пожали друг другу руки.

Но затем Муса невольно и неловко обнял Иегуду; никогда раньше он этого не делал. А когда Иегуда ушел, он еще долго стоял все на том же месте, опустив руки, и упорно глядел в землю.

Когда Иегуда на следующее утро проснулся в Галиане, он в первое мгновение ничего не мог понять. Потом сообразил, где он и что угрожает этому дому. Однако теперь страх его прошел, душу его охватил огромный покой, он чувствовал ту покорность судьбе, которую так часто восхвалял Муса.

Он закрыл глаза и еще немного полежал совсем тихо. Из патио доносился щебет птиц, два тоненьких лучика пробрались сквозь щели в ставнях и скользнули по его лицу. Он лежал, наслаждался тишиной. До этого дня он всегда думал, что должен высчитывать и соображать и за себя и за других; и вот наконец он отдыхал и чувствовал, что такое покой, чувствовал всеми порами своего существа, нежился в нем.

Он встал, искупался, начал одеваться, не спеша, тщательно. Бесшумно обошел дом и сад. Увидел еврейские и арабские изречения на стенах. Увидел, что кто-то разбил стекло мезузы и засыпал цистерны рабби Ханана. На мгновение в нем вспыхнула дикая, злобная ревность. Но он тут же покачал головой, сам себя осуждая, и его недовольство превратилось в умудренную радость, что в эти последние дни Ракель принадлежит ему, а не тому, другому.

Он сидел на берегу прудика в усталой позе, как сидел тогда на ступенях водомета. Наслаждался тем, что ему не нужно больше думать о будущем, принимать решения. Взвешивал то, что было пережито, и в воспоминании все казалось хорошим, и радость и горе. Он вспомнил богобоязненный, фанатичный, презрительный взгляд рабби Товия и не почувствовал ни гнева, ни стыда.

Думал он и о своем сыне Аласаре. До сих пор он силой воли запрещал себе вспоминать его. Ни один мускул не дрогнул в его лице, когда он услышал, что оруженосец короля убит в бою под Аларкосом, он не стал спрашивать, для него сын умер уже давно. Сейчас, сидя на берегу пруда в Галиане, он думал о сыне с печалью, не с ненавистью.

Пришел слуга и позвал его к дочери. За завтраком они вели приятную неспешную беседу. Ни одним словом не обмолвились об опасности. Сюда, в Галиану, не доходило смятение, охватившее Толедо. Их окружали мир и тишина. В доме и в саду царил порядок, для них

были приготовлены разнообразные яства, безмолвные слуги ждали приказаний.

Не прошло и нескольких часов, а им казалось, что они уже не одну неделю прожили здесь вместе. Они гуляли по саду или наслаждались прохладой покоев, искали общества друг друга и снова расставались.

Жить им осталось еще три дня, но они этого не знали. Они видели, как солнечные часы отсчитывают минуты, как подвигается тень от стрелки, и в глубине души Иегуда знал: отсчитываются их последние минуты; но он не допускал, чтобы это сознание смущало их мудрый покой.

Ракель, со своей стороны, упорно и не раз думала о своем разговоре с отцом и знала, что им грозит. Но она не хотела этому верить. Альфонсо сказал: жди меня. Альфонсо придет. Не может быть, чтобы смерть, погубительница всего сущего, коснулась ее до того, как придет Альфонсо. Она поднималась на вышку, откуда видна была дорога, спускавшаяся из Толедо. Она ждала с горячей верой.

На второй день в Галиану с опасностью для жизни пришел посланцем от дон Эфраима дон Вениамин. В горячих словах заклинал он Иегуду и Ракель укрыться за надежными стенами иудерии. Иегуда испытывал мучительную радость от этого последнего искушения. Но Ракель сказала кротко и решительно:

— Дон Альфонсо повелел мне остаться здесь. Я останусь. Ты, мой друг дон Вениамин, поймешь меня.

Хотя ее слова ранили Вениамина в самое сердце, он понял Ракель. Она прилепилась душою к этому рыцарю, царю Эдома, мужу брани по самой своей природе. Его блеск не потускнел для нее, несмотря на беды, которые его нечестивое, зря растраченное геройство навлекло на полуостров. Она по-прежнему любила его, по-прежнему в него верила, она отказалась от предложенного иудерией убежища, потому что он властно сказал ей несколько ласковых слов. Мало того: Вениамин не мог себе представить среди обитателей иудерии донью Ракель, ту Ракель, что стояла сейчас перед ним, кроткая и гордая. Ей не было бы проходу от зависти, вражды, неприязненного восхищения, злословия, любопытства. Нет, нельзя себе представить ее среди этого мелочного злопыхательства.

Он сказал:

— Я не буду дольше убеждать тебя, донья Ракель, и тебя, дон Иегуда. Но позвольте мне остаться здесь до ночи. Потом я возвращусь в иудерию без вас.

Он остался, он был ненавязчивым, деликатным гостем. Он угадывал, когда Иегуда хотел побыть с дочерью наедине, и опять появлялся в нужную минуту. Они то сидели все трое вместе, то Иегуда удалялся с доньей Ракель в ее покой, то Вениамин гулял с ней по усыпанным гравием дорожкам сада.

Ракель была молчалива, но ее молчание казалось Вениамину красноречивее слов. Он попытался ее нарисовать. Отказался от этой мысли. Состязаться с богом, сотворившим такое совершенство, слишком самонадеянно. Кто дерзнул бы помыслить, будь он даже архинискусным мастером, передать внутреннюю гармонию доньи Ракель, глубокую созвучность тела, лица, движений? На ней раскрывалось учение Платона: «Прекрасное не выше других идей, но оно светится через глаза, самый светлый орган наших чувств, светится ярче, чем все остальные идеи через телесную оболочку». Ракель — это символ, символ того, что возвышает человека и делает его счастливым. Каждый, мимо кого она проходит, должен стать лучше. Один этот грубый рыцарь, король, не стал лучше, и потому одного его Вениамин ненавидел в этот день. Он болезненно ощущал, что Ракель все еще надеется очеловечить этого бесчеловечного человека, и за эту ее детскую, нерушимую веру Вениамин любил ее еще сильнее.

Днем Иегуда и Вениамин сидели на берегу пруда. Было очень жарко, но здесь жара была как будто менее тягостна; они опустили ноги в воду и наслаждались прохладой. И было это в предпоследний день перед смертью Иегуды.

И Иегуда попросил:

— Скажи мне, мой молодой, начитанный в Писании и сведущий в науках дон Вениамин, как думают твои учителя и как думаешь ты сам, есть ли загробная жизнь?

Дон Вениамин следил за хороводами комаров над прудом, видел, как упал в воду лист, поплыл, закрутился. Он обдумал ответ. Сказал:

— Наш господин и учитель Моисей бен Маймун учит: бессмертие дано только «познающей части» чело-

века. Только «приобретенный разум» переживает тело, только та благороднейшая частица человеческой души, которая честно и успешно трудилась над познанием истины. Так учит Моисей бен Маймун.

Минутку он помолчал, потом прибавил:

— А в Талмуде сказано: «Ради мира можно пожертвовать даже истиной».

Наступил вечер. Вениамин медлил и не уходил. Но вот уже бледный тонкий месяц стал ярче, пора уходить! Иегуда и Ракель проводили его до ворот.

— Мир да будет с вами, — сказал он.

На повороте полого идущей в гору дороги он обернулся. В смутном свете мерцала надпись: «Алафия — мир входящему!» Иегуды и Ракели уже не было у ворот.

Все яростнее разгорались страсти толедского народа, жаждавшего покарать виновников поражения под Аларкосом. Только немногие не поддавались дикой вспышке фанатизма, которым был насыщен воздух. Евреев, появлявшихся вне крепких стен иудеи, избивали, несколько человек было убито. Пострадали и крещеные арабы. Принимались строгие меры к охране населения.

Королева призвала дону Гутьере де Кастро.

Она сомневается, сказала она с вкрадчивой мягкостью, можно ли и дальше поручать охрану жителей, которым грозит опасность, кастильским солдатам. Они обозлены, так как потеряли братьев и сыновей, и не склонны защищать тех, кого народ, правда, несправедливо, считает виновниками несчастья. Поэтому арагонец скорее водворит в городе порядок.

— Окажи ты мне эту услугу, дон Гутьере! — попросила она. Она смотрела ему прямо в глаза своими зелеными глазами и теребила при этом перчатку. — Я знаю, — продолжала она, — это задача не легкая и, возможно, нельзя будет охранить всех, ведь их много тысяч, я представляю, что могут быть случаи, когда лучше пожертвовать одним ради спасения многих.

Барон де Кастро задумался. Потом со свойственной ему медлительностью ответил:

— Мне кажется, я понял тебя, государыня. Я постараюсь оправдать твое доверие.

Он поклонился глубоко и почтительно и чуть ли не с нежностью взял перчатку.

Не успел барон де Кастро уйти, как королеве доложили о приходе каноника. Дон Родриго все еще был под властью того неукротимого негодования, которое уже раз привело его к ней. С гневом и болью убеждался он в своей беспомощности перед лицом того мрачного безумия, которое вспыхнуло в городе. Он пришел, чтобы снова увещевать королеву, чтобы побудить ее принять меры.

В настойчивых словах требовал он, чтобы она оградила невинных. Она ответила ему полным величия любезным упреком:

— Неужели, высокочтимый отец и друг, ты и вправду думаешь, что бог посадил на кастильский престол такую бездарную королеву, которая нуждается в указаниях? Что можно было сделать, сделано. Я не потребовала от альхамы ни одного человека для охраны городских стен, евреям оставлены для самозащиты их вооруженные люди. Кроме того, из разумной предосторожности я поручила охрану всех, кто находится под угрозой, арагонцам, ибо опасаясь, что тот или другой кастильский рыцарь не захочет принять быстрых и решительных мер против нарушителей порядка. Ты удовлетворен, дон Родриго?

Каноник знал, что гнев толедского населения прежде всего грозит дону Иегуде, и охотно спросил бы и о нем. Больше всего ему хотелось пойти в кастилью, и не только из дружеских чувств к Иегуде; все сильнее росло в нем желание обсудить с мудрым Мусой то страшное, что творилось вокруг. Но разве не наложил он на себя епитимью за то человеколюбие, которое в теперешнее время было ему запрещено, и не дал обещания не ходить в кастилью? И то, что он сейчас беспокоится о Иегуде, может быть, это только предлог, чтобы пойти в кастилью? Кто-кто, а многоопытный дон Иегуда сумеет защитить себя. Кроме того, совершенно невероятно, чтобы кастилец мог покуситься на жизнь и достоинство члена королевского коронного совета. В присутствии доньи Леонор, смотревшей на него надменным, чуть насмешливым взглядом, ему показались особенно нелепыми его опасения по поводу эскривано. Он поблагодарил королеву за ее предусмотрительность и удалился.

Дон Гутьере де Кастро, ревностно и усердно исполняя данное ему поручение, прежде всего проверил, как обстоит дело с крещеными арабами. Они жили в своих обособленных кварталах, расположенных вокруг их трех церквей, по большей части это был мелкий люд. Вряд ли для черни представляла какой-нибудь интерес возня с ними, их скоро оставили в покое. Все же стены и ворота их кварталов были недостаточно крепки, и барон де Кастро предоставил им два небольших отряда. Затем он удостоверился в прочности стен и ворот иудеирии. И то и другое было прочно, беспорядочная толпа едва ли могла бы ворваться внутрь. Все же де Кастро спросил парнаса, не дать ли ему вооруженных людей. Дон Эфраим вежливо поблагодарил и отказался.

Еврейские кварталы, расположенные вне стен иудеирии, опустелы, осталось несколько стариков и детей. Во многих пустых домах поселились беглецы-христиане. Дома, в которых было чем поживиться, были разграблены. В синагоге все было разбито вдребезги. На *альме-море*, возвышении, с которого по субботам читалась тора, какой-то шутник водрузил куклу — чучело старого еврея; де Кастро расхохотался от всего сердца.

Здесь ему было мало работы, зато выполнить взятое им на себя поручение казалось ему гораздо труднее, когда он стоял перед кастильо.

Он часто стоял там. Многие стояли там часто. Препикнуть в иудеирию они не могли, а марать руки о жалкую подозрительную мразь, что осталась за ее стенами, не стоило, поэтому толедских жителей все сильнее тянуло обрушить свой священный кастильский гнев на пышный, полный сказочных сокровищ дом еврея. Надо разгромить дерзостно-вызывающий в своем великолепии кастильо Ибн Эзра. Надо поймать обманщика и предателя, засевшего там, и раздавить этого ядовитого паука вместе с его дочкой, колдуньей, околдовавшей короля. Это — угодное богу дело, истинная услада для сердца и души в нынешнее безвременье. Итак, когда бы барон де Кастро ни проходил мимо дома Иегуды, всегда там толпились люди, с завистью и вожделением глядевшие на его стены.

Медленно и неуклюже ворочались мысли в мозгу барона де Кастро. Неужели у еврея хватит наглости и сейчас жить здесь, в этом доме? Еврей, конечно, трус, но он

много мнит о себе и любит чваниться, очень возможно, что он еще здесь. Дом принадлежит ему, Гутьере де Кастро, этот кастильо де Кастро, его предки отвоевали его сто лет назад у мусульман. Это и теперь его, Гутьере де Кастро, дом, так сказала и донья Леонор. Когда война разгорится, сказала она, тогда еврея вышвырнут вон. Едва ли война может разгореться сильнее, а что битва проиграна, в этом, конечно, виноват злокозненный еврей, и просто непереносимо, чтоб он и дальше нагло роскошествовал в кастильо. Всем другим евреям, многим тысячам, грозит расправа из-за этого одного негодяя и архипредателя. Не то чтоб ему, Гутьере де Кастро, было их жаль, но он взял на себя их охрану, и донья Леонор настойчиво приказывала ему лучше пожертвовать одним, чем подвергать опасности тысячи.

Проходя мимо дома, барон де Кастро, как и другие, останавливался и ждал. Все ждали, угрожающе ждали. Никто не хотел быть первым, первым поднять руку на дом всемогущего эскривано.

Все чаще проходил барон де Кастро мимо дома. Дом притягивал его. Всегда он видел ту же картину: люди стояли перед домом, глухо роптали, ждали.

Но как-то он еще издали услышал громкие, беспорядочные крики. Он ускорил шаг. И что же? Кучка смельчаков, и довольно большая, стучала в крепкие ворота. Они колотили по железу тяжелыми дубинами, и резкий звук властно прорывался сквозь крики. Но привратник не приходил. В конце концов кто-то подставил плечи, кто-то вскарабкался на них и полез на стену. Быстро под громкие ликующие крики очутился он наверху. Исчез за стеной. И тут же открылась калитка в воротах, в ней появился хохочущий, торжествующий непрошенный гость и с вежливыми ужимками, паясничая, пригласил войти остальных.

Де Кастро стоял и раздумывал. С ним было несколько его солдат, он без большого труда мог защитить ворота и удержать толпу, пока не подоспеет подкрепление. Но ведь ему было приказано пожертвовать одним ради спасения многих? Он смотрел и ничего не предпринимал, и все больше народу протискивалось сквозь узенькую калиточку внутрь.

В конце концов и он пошел за остальными. Крикуны, очутившись во внешнем дворе, приумолкли. Никого

из обитателей не было видно, никого из многочисленной челяди, ни писцов, ни прочих служащих. Вошедшие смущенно пробрались вдоль стен, робко открыли вторые ворота, ведущие во внутренние покои. Они остановились ошеломленные, тупо смеясь, в изумлении глядя на окружающее их безмолвное великолепие. Пробрались дальше. Нечаянно опрокинули вазу, другую. Они разбились. Кто-то взял из ниши бокал дорогого стекла, швырнул об пол, бокал не разбился на мягком ковре. В ярости человек сорвал ковер, увидел каменный пол, грохнул бокал о камень, стекло разбилось с громким звоном.

Появился испуганный слуга, мусульманин. Он хотел что-то сказать, успокоить, урезонить толпу, может быть, он хотел сказать, что хозяина нет дома. Его не услышали в общем гвалте, не захотели услышать, ударили по лицу, пихнули — сначала робко, потом со злобой. И вмиг он уже лежал на полу весь в крови, задыхаясь. Чернь ликовала. Она бесновалась. Кромсала, колотила, крушила все, что можно было раскромсать и расколотить.

Де Кастро словно оцепенел. Это его дом. Война в разгаре, и донья Леонор сказала, что это его дом. Еврея, засевшего здесь, кажется, нет, а может быть, он притаился где-нибудь в укромном углу. Там видно будет! Наконец-то это опять его дом, дом барона де Кастро. И это очень богатый дом. Это нечестивый, языческий дом. До чего обнаглел еврей! До чего изгадил его хороший, рыцарский, христианский кастильо!

Барон де Кастро медленно, твердо ступая, гремя оружием, прошел через зал, поднялся на маленькое возвышение, остановился в открытой дверце балюстрады, отделявшей его от остального зала. Широкоплечий и коренастый, стоял он там в позе, освященной традицией: расставив ноги, опершись обеими руками на меч, твердо, прочно. Своими глубоко запавшими глазами он с наслаждением смотрел на людей, что освобождали его дом от той мерзости, которой запакостил его еврей.

Тем временем в ограду устремились новые толпы, теперь ворота были распахнуты настежь. Обширный тихий дом, его залы и небольшие покои, его дворы и спальни вдруг наполнились орущими, разъяренными людьми. Некоторые совали в карман то, что казалось им ценным. Но большинству было не до того: их обуряло жела-

ние все разбить, все разрушить. Они искали еврея, но его не было, трус скрылся. Нашли только двух перепуганных слуг, на которых можно было сорвать злобу. Но зато в доме осталось еврейское добро, драгоценные богомерзкие вещи, ради которых еврей ограбил и предал страну. Все с озлоблением набросились на вещи. Кромсали, крушили, колотили, колошматили, остервенело, иступленно, не помня себя от радости.

Их безумие захватило и барона де Кастро. В нем тоже все бушевало: «Не оставить тут камня на камне! Разорить все дотла! Истребить эту изнеженную, пышную, еврейскую, женственную, языческую роскошь!» И, не вынимая меча из ножен, он принялся крушить хрупкие очаровательные предметы и с криком «А lo! А lo!» накинута на изречения на стенах, выламывая изящные пестрые изразцы.

К нему молча подошел худошавый человек в одежде священнослужителя, тронул за локоть; это был дон Родриго.

Обычно каноник предпочитал сделать крюк, только бы не пройти мимо кастильо: он боялся соблазна. Но сегодня он услышал громкие, дикие вопли, страх привел его сюда. Он увидел распахнутые настежь ворота, увидел, как ломилась в них с яростным криком толпа. Пошел за ней. Она расступилась перед священнослужителем, и теперь он схватил за руку человека в полном вооружении, который, хоть и был явно рыцарем, принимал участие в погроме.

Когда рыцарь обернулся и каноник увидел его иступленное, злое лицо, он сказал:

— Я дон Родриго, член коронного совета.

Барон де Кастро вызывающе усмехнулся:

— А я, досточтимый отец, дон Гутьере де Кастро, глава рода, по имени которого называется этот дом.

Дон Родриго вспомнил об охранительных мерах, принятых королевой. Смутное подозрение шевельнулось у него в душе.

— Ты позволяешь им громить и грабить? — спросил он.

— Неужели добрым кастильцам церемониться, когда они ищут предателей? Раз погиб цвет христианского рыцарства, что уж тут сокрушаться о каких-то еврейских коврах и пергаментных свитках!

Родриго спросил:

— Это тебе дан приказ охранять тех, кому грозит опасность?

Гутьере спокойно посмотрел в лицо канонику.

— Да, — ответил он, — и я с чистой совестью могу вернуть королеве перчатку. Я точно выполнил ее приказ: предоставил народу сорвать свой гнев на одном, виновном и спас огромную массу тех, кого подозревают понапрасну.

Родриго был потрясен, не верил своим ушам:

— Ты говоришь, тебе был дан такой приказ?

— Так повелела королева, — ответил Гутьере де Кастро.

— Что с доном Иегудой? С эскривано ничего не случилось? — спросил, охваченный внезапным страхом, Родриго.

Барон де Кастро с презрением выразительно пожал плечами.

— Здесь, во всяком случае, нет, — ответил он. — Обрезанный пес, кажется, сбежал.

У Родриго отлегло от сердца. Как он думал, так и вышло: дон Иегуда укрылся в надежном месте.

Он собрался с духом.

— Ты крестоносец, — сказал он. — Как служитель церкви увещаю тебя: положи конец позорному бесчинству.

Барон де Кастро огляделся и увидел, что почти ничего не осталось в целости.

— Священнослужителю пристала кротость, — сказал он с учтивой насмешкой и приказал своим людям выводить из дома незваных гостей. Приказание было исполнено.

Дон Гутьере вежливо попрощался с каноником, еще раз посмотрел на содеянное и удалился, преисполненный радостной надежды снова превратить это место языческой роскоши в кастильо де Кастро.

Родриго остался в разгромленном доме. Он слышал, как уходили последние, как закрылись с глухим шумом большие ворота. Вдруг наступившая тишина мучительно отзывалась в его сердце. Он почувствовал болезненную, тяжелую усталость и сел на пол тут же, среди

осколков и обломков. Просидел долго. Встал; с трудом волооча ноги, прошел по знакомым покоем. Отовсюду на него глядели дыры, трещины, обломки. Он обошел опустелый дом; не отдавая себе отчета — почему, он старался ступать как можно тише. Он подбирал с полу осколки, обломки мебели, обрывки тканей, смотрел на них, качал головой. На полу валялась книга, грязная, разорванная. Он поднял ее, попробовал расправить листы, сложить разорванные страницы, машинально прочитал название — это была «Этика» Аристотеля.

Он дошел до полукруглой галереи. Здесь так часто сживал его друг Муса, удобно откинувшись на подушки, и беседовал с ним. Что случилось теперь с Мусой? Вот здесь был налой, стоя за которым он так охотно бросал через плечо умные, кроткие, насмешливые слова. Налой был разрублен. Кто-то постарался разрубить топором крепкое, ценное дерево. Многие цветные буквы в изречениях были разбиты и попадали на пол. Машинально прочитал он слова: «Человек не лучше скота». Заметил, что из слова *хабахемах* — «скот» выбиты буквы *бет и мем*, три буквы *хе* каким-то чудом уцелели.

Родриго опять присел на пол, закрыл глаза. Содохра доносились равномерно журчание водометов.

Показалось ему или действительно в саду слышались осторожные, крадущиеся шаги? Он не ошибся. И вдруг перед ним возникло милое, уродливое, умное, хорошо знакомое лицо, слегка насмешливое, несмотря на все горе, и слышался спокойный, монотонный голос Мусы:

— Как хорошо, что после стольких шумных гостей остался только ты, мой тихий, высокочтимый друг.

От волнения счастливый Родриго не мог говорить; он взял руку друга и погладил.

— Я пришел слишком поздно, — сказал он наконец. — Да я, верно, и не сумел бы унять смутьянов. Но ты жив! — сказал он.

Муса никогда бы не подумал, что голос донна Родриго мог звучать так тепло. Родриго все еще держал Мусу за руку, они посмотрели друг на друга, улыбнулись, рассмеялись.

Потом каноник спросил о Иегуде. Когда Муса сказал ему, что тот в Галиане, у дочери, Родриго вздохнул с облегчением.

— В доме, принадлежащем королю, он в безопасности, — заметил он. — Но все же предосторожности ради я сегодня же пойду к донье Леонор и потребую, чтобы в Галиану была послана надежная стража. А теперь, друг мой Муса, — сказал он необычным для него властным тоном, — идем со мной, и пока в городе не наступит спокойствие, ты будешь жить в моем доме.

— Мне уже раньше следовало прийти к тебе, — ответил Муса, — но я думал: в нынешние времена старый еретик-мусульманин неудобный гость.

— Прости, мой мудрый друг, — возразил Родриго, — это первые неразумные слова, которые я от тебя слышу. Пойдем, — позвал он его.

Но Муса попросил немного подождать.

— Мне надо взять мою летопись и несколько книг, — объяснил он.

С торжествующе хитрой улыбкой сообщил он другу, что две самые ценные рукописи — «Жизнеописание» Авиценны и афинскую рукопись «Республики» Платона — он отправил в иудерию. Затем он шмыгнул в подвал и вернулся, радостно улыбаясь во весь рот, с рукописью своей исторической хроники под мышкой.

Те, кто бесчинствовал в кастильях, не расходились. Они были разочарованы, что не удалось заодно уничтожить предателя и ведьму. Они двинулись к иудерии и потребовали, чтобы им выдали Иегуду и Ракель, но люди, на слова которых можно было положиться, сказали, что в иудерии их нет.

Досада на то, что они ускользнули, росла. Пока они живы, они отравляют Кастилию своим дыханием; долг каждого доброго кастильца отправить их на тот свет. Бог уже возвестил им свою кару, им обоим. Ведь сын, которого еврейка родила королю, нашему государю, таинственным образом исчез — об этом рассказывал садовник из Галианы, некий Белардо. Верно, бог прибрал его в наказание за смертный грех. А кроме того, говорят, будто еврейка еще несколько месяцев тому назад выудила из Тахо череп.

Кто-то вспомнил, что тот же садовник Белардо рассказывал, будто ведьма по-прежнему живет как ни в чем не бывало у себя в Галиане; мало того, она еще и отца к себе взяла. Многие не хотели верить в такую сатанинскую наглость. А что, если пойти поглядеть, предложил

кто-то. Это было и соблазнительно и страшно. Толпа колебалась. Кастильо принадлежал еврею, Галиана принадлежит королю. Пожалуй, пойти в Галиану можно, а там на месте посмотрим, — согласились некоторые. Предложение понравилось.

Первые уже стали спускаться к мосту. Они шли не спеша, к ним присоединялись все новые и новые, уже их было несколько сотен, может быть тысяча.

Медленно, распарившись от жары, перешли они главную площадь, Сокодовер. Их спрашивали, куда это они собрались, они отвечали; вокруг смеялись, шутили. У главных городских ворот стража спросила:

— Куда идете?

Они ответили:

— Идем посмотреть, где они, сами знаете кто.

И стража тоже засмеялась. С башен большого моста солдаты спросили, куда они, и когда им объяснили, они тоже засмеялись.

Итак, тысячная толпа спустилась под палящим солнцем с горы. К ней приставало все больше и больше народа, теперь их было, верно, уже около двух тысяч.

Гутьере де Кастро узнал о происходящем. С несколькими людьми поскакал следом за толпой, перегнал ее, опять пропустил вперед, опять перегнал, еще раз пропустил вперед. Медленно шевелились смутные мысли в его мозгу. «Я должен охранять королевское достояние, — думал он, — но если готова свершиться божья кара, христианский рыцарь не должен становиться на ее пути». И еще: «Я буду действовать, как мне приказано. Не буду охранять изменника и ведьму, подвергая опасности сотни тысяч толедских евреев. Но королевское достояние охранять буду, — решил он, — это мой долг».

После ухода Вениамина Ракель и Иегуда продолжали ту же празднично-радостную жизнь. Они тщательно одевались, долго просиживали за столом, после захода солнца гуляли в саду, вели неспешные беседы.

Кормилица Саад с искаженным от страха лицом первая принесла весть, что идут неверные — да покарает их Аллах, — что теперь делать? Иегуда сказал:

— Молчать и покориться судьбе.

Они ушли во внутренние апартаменты, к Ракели, в небольшую комнату с возвышением, как полагалось в покое у знатной дамы. Иегуда надел свою нагрудную пластину — знак занимаемой им высокой должности. В комнате стоял сумрак, и от сырого войлока, которым были обиты стены, исходила прохлада. Здесь они сидели и ждали тех, что приближались к их дому.

Толпа подошла к белым стенам, опоясывавшим владение. Из калитки в воротах выглянул привратник, у него на камзоле был выткан королевский герб — три башни. Толпа заколебалась, не знала, что делать. Все глядели на барона де Кастро. Он подошел, как всегда, большими шагами, тяжело ступая, сказал:

— Мы хотим посмотреть. Только этого мы и хотим. Мы не нанесем ущерба тому, что принадлежит королю. Со мной моя стража, и я никому не позволю нанести ущерб достоянию его королевского величества и никому не позволю топтать клумбы в саду.

Привратник был в нерешительности. А тем временем кое-кто перелез через невысокую стену; не причинив привратнику вреда, его оттащили от ворот, де Кастро прошел в ворота, за ним его стража, за ней вся толпа.

Люди шли осторожно, дивясь на сад, на посыпанные гравием дорожки, на замок. И вдруг как из земли вырос Белардо. Он был в кожаном колете, в кожаном шлеме и с дедовской алебардой.

— Вам, благородный рыцарь, угодно видеть донью Ракель? — услужливо спросил он. — Наша госпожа в своих покоях, на возвышении. О вас, благородный рыцарь, уже доложено? Прикажете мне доложить? — не умолкал он.

— Веди нас к ней, — сказал де Кастро.

Они пошли за Белардо в дом — де Кастро, его солдаты, кое-кто из толпы, очень немногие. Вошли в комнату Ракели. И вдруг почувствовали, что знойный сад, ослепительно-белые стены, пыльная дорога, по которой они шли, пот и крики остались далеко позади, — в покое, убранном на чужеземный лад, стояли тишина, прохлада, сумрак. Вошедшие жались в дверях, отрезвев.

Возвышение, на котором сидели Иегуда и Ракель, отделялось от остального покоя низкой балюстрадой

с широким проходом посередине. При их появлении Иегуда медленно поднялся; он стоял, слегка опершись одной рукой на балюстраду, и смотрел на незваных гостей равнодушно, почти насмешливо — так, по крайней мере, показалось де Кастро. Ракель не встала. Она сидела на диване и из-под вуали, наполовину прикрывавшей ее лоб, спокойно смотрела на де Кастро и его стражу. Со двора доносилось тихое журчанье фонтана, слышался отдаленный, глухой рокот толпы. Те, что остались в саду, повторяли все время одно и то же, но понять их слова было невозможно. Де Кастро понял, он знал — они кричат: «Так хочет бог!» и «*Matad, matad!* Убей их!»

Иегуда видел грубые лица солдат и их начальника, он видел хитрого, трусливого, угодливого, глупого садовника Белардо и даже жажду убийства, написанную у него на лице, он догадывался, что означают крики за стеной дома, он знал — ему осталось жить несколько минут. Его душил страх. Он попробовал прогнать страх силою мысли. Ко всем приходит губительница всего сущего, он сам захотел, чтобы она пришла к нему здесь и сейчас. Он покончил счеты с жизнью уже несколько дней назад. Много суетного было в том, что он делал, а хорошее он делал часто потому, что хотел возвыситься среди людей. Но ему это было позволено. Он *был* выше других людей. Иегуда видел изречения на стенах, они восхваляли мир. Он в течение долгих лет охранял мир и процветание полуострова. И даже смерть его будет во спасение многим. Жалкие убийцы скоро раскаются в содеянном; они не осмелятся погубить других, он умрет ради спасения франкских беженцев. Леденящий страх опять подавил в нем мысль. Но на лице его сохранялась все та же спокойная, слегка насмешливая маска.

И лицо доньи Ракель тоже не отражало волнения. Ей повелел остаться здесь Альфонсо, здесь распоряжается Альфонсо, что может ей сделать этот чужой человек? Она приказывала себе не бояться, быть достойной Альфонсо; он хотел, чтобы женщина, которую он любит, не боялась. И он обещал ей прийти. Она не шевельнулась. Но всем существом своим чувствовала приближение смерти, и страх сжимал ей сердце.

Вошедшие все еще жались к стене и не знали, что делать. Полминуты — целую вечность — никто не открывал рта.

И вдруг Белардо выпалил:

— Благородный рыцарь не пожелал, чтоб о нем докладывали, госпожа.

Теперь заговорил и де Кастро.

— Почему ты не встаешь, еврейка, ведь к тебе пришел рыцарь? — сказал он своим резким, скрипучим голосом.

Ракель не ответила. На него вдруг напало сомнение.

— Или ты, может быть, христианка? — спросил он.

Если так, ему не следовало сюда врываться. Но Белардо успокоил его:

— Госпожа наша донья Ракель не христианка, — сказал он.

Де Кастро покраснел. Он досадовал, что она разыграла из себя знатную даму, а он попался на эту удочку. Ракель видела, что он свирепеет, и вдруг ей показалось, будто перед ней стоит гневный Альфонсо, — да, это было лицо Альфонсо, искаженное страшным гневом. Но оно тут же расплылось, и она увидела того Альфонсо, что сражался с быком, его лучезарное, прекрасное лицо. Нет, она не опозорит Альфонсо в этот последний свой час. Когда ему расскажут, как остервенелый злодей напал на нее, ему должны будут также сказать: но Ракель не испугалась.

Она медленно встала, каким-то детским и в то же время величественным движением.

Но встала она не перед остервенелым рыцарем, а перед смертью.

Вот ты стоишь, донья Ракель Ибн Эзра, Фермоза, вестница сатаны, наложница Альфонсо Кастильского; ты из рода Давидова, ты мать Иммануила. На твое пленительное лицо легла печать мудрости, и если с него и сбежал от страха румянец, при твоей матово-смуглой коже это незаметно. Твои серо-голубые глаза стали еще больше и смотрят вдаль, кто знает, может быть, в страшную пустоту, может быть, в светлое, высокое, желанное будущее.

Де Кастро сосредоточенно думал. Все оказалось совсем не так, как он себе представлял, это был дом короля, и женщина, хоть и еврейка, была наложницей короля и родила ему бастарда.

Но вот наконец Иегуда заговорил. Он спокойно спросил по-латыни:

— Кто ты? И что тебе нужно?

Де Кастро смотрел на него, на еврея, на того, кто отнял у него дом и сам там водворился, на того, кто виноват в смерти его брата, и кто носит на груди пластину с гербом Кастилии, и кто сейчас дерзает говорить с ним учтиво, надменно и по-латыни, словно рыцарь с рыцарем. Он гордо поднял голову и ответил, мешая арагонское и кастильское наречья:

— Я Гутьере де Кастро, и этим все сказано, еврей.

Иегуда посмотрел на него с чуть заметной насмешкой, как, бывало, смотрел в пору своего величия и блеска, и любезно сказал:

— Таким ты и представлялся мне.

Затем он отвернулся от барона де Кастро и тут же забыл о нем. Он смотрел на дочь, упивался ее созерцанием, думал о внуке, о маленьком Иммануиле. Аласара он потерял, еще несколько минут — и сам он умрет. Но мальчик Иммануил Ибн Эзра живет, недостижимый для врагов.

И Ракель тоже думала о сыне. Она не смогла переделать дона Альфонсо, но то хорошее, что было в нем, продолжало жить. Опять смутно, не в словах, всплыло перед ней представление о мессии, который победит зверя, быка, и принесет мир на землю. Она поймала взгляд отца и тоже ответила ему взглядом и сказала:

— Ты хорошо сделал, отец, что спас Иммануила. Наш Иммануил будет жить. Вся душа моя переполнена благодарностью к тебе.

Волна нежности, удовлетворения, гордости захлестнула Иегуду. Но тут же схлынула. И снова сжал его леденящий страх. Он нашел еще силы повернуться к востоку. Затем опустил голову, не противился более и покорно ждал удара; томился и ждал.

Де Кастро не понял еврейскую речь доньи Ракель, но почувствовал: они его не боятся, они издеваются над ним, и ярость сломила последние сомнения.

— Что же, никто не хочет покончить с этой сволочьей? — крикнул он. — Разве мы для того пришли, чтобы рассуждать с ними? — Он вытащил меч из ножен, но тотчас же вложил обратно. — Не хочу марать свой меч собачьей кровью, — сказал он с величайшим презрением.

Он примерился и плашмя, мечом в ножнах, ударил по голове отвернувшегося от него Иегуду.

Ракель все это время знала, что они с отцом должны умереть; она это знала умом, знала плотью, ее живая фантазия собрала из сотни сказок сотни картин смерти и связала их воедино. Но в самой глубине души она не верила, что умрет. Даже когда де Кастро стоял перед ними, не верила. Только теперь почувствовала она всем своим существом, что Альфонсо не придет, чтоб спасти ее, что еще несколько мгновений — и она умрет, и ее охватил ужас, ужаснее которого нет. Жизнь в ней угасла. Осталась одна оболочка, и не было в ней ничего, кроме страха. Рот ее открылся, но из сдавленной груди не вырвался крик.

Все, что произошло в покое с возвышением, было сделано без шума, сумрачно и удивительно глухо. Угрюмые спутники барона де Кастро, когда он подступил к еврею, невольно попятились, прижались к стене. Иегуда умирал беззвучно. Слышно было тяжелое дыхание пришедших, и плеск фонтана, и отдаленный рокот толпы у белой ограды.

И вдруг закричала кормилица Саад пронзительным, безумным криком. Тут садовник Белардо неожиданно поднял руку и в иступлении, не помня себя, ударил священной дедовской алебардой Ракель. За ним устремились и остальные, они били, кололи Ракель, кормилицу, Иегуду, били, задыхаясь, хотя те уже давно лежали неподвижно, топтали их.

— Довольно! — вдруг приказал де Кастро.

Они вышли из комнаты, не оглянувшись назад. Шатаясь, как пьяные, с тупым смехом покинули они дом. Один из солдат барона де Кастро не без труда снял мезузу, висевшую над дверью, и проткнул ее. Он еще не знал, что лучше — растоптать амулет или взять себе, чтобы он охранял его. Тронуть еще что-нибудь в доме короля никто не посмел.

Те, что не вошли в дом, ждали на ослепительном, палящем солнце. И вот де Кастро объявил:

— Кончено. Убиты. Ведьма и предатель убиты.

Вероятно, его выслушали с удовлетворением. Но они не выказали удовлетворения, они не кричали, не ликovali. Они тоже были подавлены.

— Так, теперь, значит, Фермоза убита, — бормотали они.

Пока они поднимались по знойной, пыльной дороге в Толедо, испарились окончательно и радость, и слепая злоба. Стража у ворот спросила:

— Ну, что, видели? Они там? Вы их нашли?

И они ответили:

— Да, мы их нашли. Они убиты.

— Правильно сделали, — сказала стража.

Но радость их длилась недолго, их слепая ярость тоже скоро развеялась, весь остаток дня они были задумчивы и угрюмы.

Теперь уж никто не думал обижать евреев. Добродушно подсмеивался народ над теми, кто укрылся в иудеи:

— Чего вы заперли все ворота? Нас боитесь? Все же знают, как хорошо сражались ваши под Аларкосом. Нас с вами связала общая беда.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Дон Альфонсо удерживал крепость Калатраву неожиданно долго. Он был ранен в плечо, рана была не опасная, но болезненная и часто вызывала лихорадку. Все же он объезжал и обходил сам посты, в полном вооружении лез по крутым лестницам на стены и снова спускался, сам вникал во все мелочи обороны. Рыцари заклинали его сделать попытку пробиться к столице; мусульмане уже проникли далеко на север, и дороги, ведущие в Толедо, были перерезаны. Но только в последнюю минуту, когда уже нечего было ждать, он оставил крепость, чтобы с большей частью гарнизона пробиться к Толедо.

Такое предприятие требовало осмотрительности и мужества. Из ближайших друзей при нем находился только Эстебан Ильян; архиепископ дон Мартин и Бертран де Борн, оба раненные, были отправлены в Толедо. Альфонсо не показывал вида, как тяжело переживает он поражение; он был быстр, находчив, решителен. Но ночью, оставшись один с Эстебаном, он бушевал и давал волю отчаянию.

— Видел, как они все разорили? Теперь я чувствую: они предали огню и мечу меня самого; это же часть меня, все равно как моя рука или нога.

Он представлял себе возвращение в Толедо. Думал о спокойном, надменном лице доньи Леонор. Сколько презрения и недовольства будет скрывать ее ясное чело, когда он, выехавший из Толедо во главе гордого воинства, теперь предстанет перед ней жалкий, покрытый позором. Он думал с беспомощной злобой о тихой, насмешливо-почтительной улыбке Иегуды. Он думал о выразительном лице Ракели. Ведь он обещал подарить ей Севилью! Где же Севилья? Она не спросит; она встретит его с нежной покорностью, ни словом не упрекнет, но со стен будут глядеть, насмешливо мерцая, ее любимые изречения о мире.

Неожиданно на него напала бессмысленная ярость. Дон Мартин был прав, Ракель *действительно* ведьма, она уговорила его повременить с крещением сына, она превратила в ложь его внутренний голос. Но больше он не поддастся ее колдовству. Пусть молча извивается, вертится, пусть ломает руки — он принудит Иегуду вернуть ему сына, он окрестит мальчика, и если Ракель не захочет оставаться дольше в Галиане — двери открыты, алафна — пусть уходит с миром.

Так Альфонсо мысленно разделялся с еврейкой, а дон Родриго тем временем уже был в пути, уже вез ему черную весть.

После гибели Иегуды и доньи Ракель на Родриго напала странная вялость. Все, что привязывало его к этому миру, погибло. Кастильское королевство разваливается, добрые друзья зверски убиты, и вина за все это лежит и на нем, он слишком долго терпел, он не вернул короля на путь истины. Чувство собственного ничтожества и беспомощности угнетало его.

В душе он горько порицал дону Альфонсо, легкомыслие которого навлекло невзгоды на всю страну и на всех, кто был близок к нему. Он не хотел его видеть, не хотел иметь с ним никакого дела. Но он все еще любил этого незадачливого государя, долг и жалость побуждали его отправиться к дону Альфонсо со страшной вестью. Может быть, такое огромное несчастье покажет ему, что такое раскаяние, и Родриго не хотел оставлять его одного в минуты горя.

Дона Родриго встретил исхудавший, больной Альфонсо. Нетерпеливо оборвал его, когда он осведомился о ране. Стоял перед ним злой, мрачный, насмешливый и вызывающий.

— Ты был прав, мой мудрый отец и друг, — сказал он. — Войско мое уничтожено, королевство погибло. Да, я *призвал* четырех всадников Апокалипсиса на страну, все в точности, как ты мне предсказывал. Тебе хотелось это услышать? Ну что ж, признаю, ты был прав. Теперь ты доволен?

Родриго против воли почувствовал жгучую жалость к стоявшему перед ним человеку, больному, издерганному, замученному и душевно и телесно. Но он не имеет права поддаться слабости, он должен достучаться до души дона Альфонсо, строптивого, непокорного господнего вассала, все еще не понявшего, что такое вина и что такое раскаяние. Родриго сказал:

— В Толедо свершилось злое дело. Твой народ обвинил в поражении невинных, и не было никого, чтобы за них заступиться. — Король смотрел на Родриго непонимающим взглядом, и тогда тот сказал без обиняков: — Они убили донью Ракель и дону Иегуду.

То, чего не могли сделать несчастье, предательство, чего не могло сделать тяжелое поражение, сделала эта весть: дон Альфонсо закричал. Он вскрикнул коротко и дико. И потерял сознание.

Огромная волна любви к другу смыла все остальные соображения дона Родриго, он любил его, как никогда. Испуганный каноник хлопотал около короля, он послал за лекарем.

Прошло некоторое время, и Альфонсо опаматовался, он поглядел по сторонам, взял себя в руки, сказал:

— Пустяки, все из-за этой дурацкой раны.

Король с утра ничего не ел. Жадными глотками выпил он принесенный бульон и стал торопить врача, менявшего ему повязку. Потом отослал всех, задержал только дону Родриго.

— Прости мне, отец и друг, — сказал он. — Мне стыдно, что я поддался слабости. — И сердито прибавил: — После того как я разорил королевство, какое значение может иметь для меня смерть еще одного мужчины и еще одной женщины? Все равно я расстался бы с обоими, — сказал он угрюмо. Но тут же отрекся от своих слов: — Никогда, никогда не расстался бы я с моей любимой! И ничуть мне не стыдно! — Он стонал, бился головой о стену, скрежетал зубами: — Какая невыносимая мука! Тебе, Родриго, мой друг, я могу сказать: я любил

ее. Ты не можешь понять, ты не знаешь, что это, никто не знает. Я сам не знал, пока она не встала на моем пути. Я любил ее больше, чем донью Леонор, больше, чем детей, больше, чем свое королевство, больше, чем Христа, больше всего на свете. Забудь то, что я скажу, пастырь, забудь сейчас же, но я должен это высказать: я любил ее больше, чем свою бессмертную душу.

Он сжал зубы, чтобы удержать яростные слова, рвавшиеся у него из груди. Опустился в полном изнеможении. Дона Родриго поразило, как изменилось его лицо: худое, осунувшееся, с блуждающей улыбкой, с торчащими скулами, с двумя узкими полосами вместо губ. Глаза казались меньше и беспокойно блестели.

Наконец Альфонсо попытался разгладить морщины на лице. Попросил дону Родриго рассказать, что он знает. Тот знал очень немного. Толпа, тщетно искавшая Иегуду в кастильо Ибн Эзра, направилась в Галиану. Кто убил донью Ракель — неизвестно. Дону Иегуде нанес собственной рукой смертельный удар де Кастро.

— Де Кастро? — заикаясь, переспросил король.

— Де Кастро, — ответил дон Родриго. — Ему был дан приказ охранять тех, кому угрожает опасность. Ибо народ обезумел и многие могли пострадать. Ему был дан приказ лучше пожертвовать одним, чем подвергать опасности всех.

Король погрузился в долгое и мучительное раздумье.

— Кто дал де Кастро такой приказ? — спросил он хриплым голосом.

Дон Родриго ответил медленно и отчетливо:

— Донья Леонор.

Альфонсо зарычал, как раненый зверь.

— Псы и коршуны набросились на меня, словно я уже падал, — простонал он.

Дон Родриго сказал деловито, честно, с чуть заметной иронией:

— Нужно было принять меры. Убили много крещеных арабов и евреев, тех, что жили вне стен иудерии. Говорят, убили около ста человек.

— Не защищай ее! — вспыхнул Альфонсо, свирепея. — Не защищай Леонор. Не защищай никого и себя не защищай! И ты виноват, вы все виноваты. Может быть, не в такой степени, как я, но виноваты. И я покараю. Я вас

накажу. Вы думаете, я бессилен, раз я проиграл сражение? Нет, пока я еще король. Я разберусь, я учиню суд, я учиню страшную расправу!

Он вдруг замолчал, застонал, весь сжался, в нетерпении махнул рукой, чтобы Родриго оставил его одного.

Не прошло и часа, как он приказал выступать. И здесь, на последнем отрезке пути, он сам всем распоряжался с большим вниманием и осторожностью. Только когда все его войско было в стенах города, он въехал в Толедо.

Поднялся на гору в замок. Прибежали слуги, камерарии, испугались его вида, спросили, не хочет ли он переодеться, помыться, не позвать ли врача. Он сердито отстранил их, отдал строгий приказ никого не допускать к нему, даже королеву.

Сел на походную кровать, не сняв лат, потный, грязный, больной, в неудобной позе, один. Он угрюмо думал. Он не понимал, как все вышло. Как при всей своей хитрости мог попасть в Галиану Иегуда, издали чувший опасность? И почему они не скрылись за крепкими стенами иудеи, раз они так фанатично держались за свое иудейство?

Да, умерли, убиты. И погубили их Леонор и де Кастро — Леонор своим языком, де Кастро своей рукой. А он даже не попрощался с любимой; уехал отчужденный, слепой, сердитый. И Леонор убила ее, да еще и сына, его Санчо, украла, ведь теперь он никогда не узнает, что случилось с ребенком.

Его охватила слепая ярость. Леонор возненавидела его с той самой минуты, как бог послал ему Ракель. Она втравила его в войну, чтобы развязать себе руки, чтобы она могла убить Ракель. Все предостерегали его, отговаривали дать бой в открытом поле, а она, обычно столь щедрая на предостережения, молчала. Знала, что он будет разбит, и не удержала только ради того, чтоб погубить соперницу. Не Ракель — Леонор ведьма. Она подлинная дочь своей матери, внучка той прабабки, которую дьявол уволок из церкви прямо в ад.

Он радовался своему гневу, радовался, что ноет его рана. Он побежал по коридорам на половину Леонор, как был, в запыленных латах, немывтый, не сменив по-

вязки. Отстранил перепуганных статс-дам. Ворвался в комнату Леонор.

Она сидела на возвышении, вымытая, выхоленная, истая знатная дама. Она встала не слишком быстро и не слишком медленно, улыбаясь, сделала несколько шагов ему навстречу. Он поднял руку, чтоб остановить ее, и, не дав ей поздороваться, сказал тихо и свирепо:

— Вот и я. Не очаровываю своим видом. И пахну не очень приятно. От меня разит войной, трудом, поражением. Все во мне противно законам куртуазии. Но и ты, как мне кажется, вела себя не по правилам, предписанным куртуазией, донья Леонор, моя королева, возлюбленная моя. — И вдруг он закричал в безумной ярости: — Проклятая, ты разбила мне жизнь! Ты не родила мне сына, а тот, которого ты родила, был чахл и еще в твоей утробе отмечен перстом божьим. А когда женщина, которую я любил, родила мне сына, ты убила ее. Ее отец, мой самый умный, самый верный советник, добрыми и мудрыми речами убеждал меня подождать, не начинать войны. А ты все время подстрекала. Ты прямо в лицо порицала меня и своими насмешками втрапливала в войну. А потом ты, обычно такая красноречивая, молчала и не возражала против моего безумного плана и не удержала меня от битвы, обреченной на провал, и все это для того, чтобы убить посланную мне богом, любимую женщину. Ты погубила меня, а со мной и Кастилию. Вот ты тут, передо мной, чистая, приветливая, царственная, а внутри — чернота и фальшь. Тебя, как и твою мать, разъедает злоба, погубительница!

Донья Леонор подготовилась к взрыву гнева; но что Альфонсо будет так бесноваться, так бессмысленно выходить из себя, этого она не ожидала. Он может схватить ее своими грязными руками, голыми, без перчаток, сжать ей горло, задушить. Но то, что он так грубо, свирепо грозил и ругался — настоящий виллан! — зажгло ей кровь. Он был опасен, и таким она любила его.

Донья Леонор легкой походкой отступила на несколько шагов, взошла на возвышение, села, не спуская с него испытующего взгляда своих больших зеленых глаз, спокойно сказала:

— Позволь мне напомнить тебе, что мы, моя мать и я, предложили тебе договор в Бургосе, договор с твоим

зятем доном Педро. Согласно этому договору ты обязался не начинать войны, пока не придет арагонское войско. Мы сделали все, чтобы удержать тебя от твоего не ко времени поспешного геройства. Моя мать уговаривала тебя, как упрямого ребенка. Никто тебя не подстрекал, кроме тебя самого. Сказать, кто виноват во всем, что случилось? Ты хотел блеснуть передо мной, перед твоими друзьями, а главное, перед твоей еврейкой! Вот почему ты, вопреки нашему договору и вопреки здравому смыслу и разуму, дерзко ответил халифу. Вот почему ты пошел в отчаянно смелый бой. Вот почему ты толкнул в пропасть нашу страну и всю христианскую Испанию!

Дон Альфонсо стоял перед ней у возвышения. Он смотрел в ее белое лицо с высоким, ясным челом, смотрел на ее густые белокурые волосы и остро ненавидел ее за злые рассудочные мысли, которые таились за этим челом.

— Теперь я понимаю, почему Генрих заточил твою мать и не выпускал на волю, несмотря на папские увещевания, — проскрежетал он тихо и горько. — Не думай, что я слабее его. Я не могу тебя убить, потому что ты женщина. Но безнаказанной ты не останешься за то, что погубила мою любимую. Я буду судить, чинить допрос за допросом, я выведу на чистую воду твои хитрые, тонко придуманные повеления и злодейские мысли, скрытые за ними, и тогда пусть весь крещеный мир укажет на тебя как на убийцу. И твои кровавые приспешники, де Кастро и остальные, тоже не уйдут от меня безнаказанными. Ты еще увидишь, возлюбленная моя, как я с ними расправлюсь. Они поедут на Сокодовер в позорной повозке. А ты, моя королева, будешь сидеть рядом со мной на трибуне и любоваться, как болтаются на веревке твои верные рыцари, твои Ланселоты.

Леонор твердо смотрела на мужа. На лбу у него проступил пот, лицо исказилось. Короткая рыжеватая борода слиплась, в нем уже не было ничего юношеского, лучезарного, теперь его не сравнишь со святым Георгием в Донфроне. Но хорошо, что прорвалась наконец та бурная энергия, что жила в нем; теперь никто не скажет, что в нем мало пыла, никто, даже ее мать.

Она сказала:

— Ты говоришь бессмысленные слова, дон Альфонсо, потому что твоя наложница умерла. Я не причастна к гибели женщины, что жила в Галиане. Ни один судья не обвинит меня, даже если он разберется во всем до мелочей — и в том, что я делала, и в том, чего не делала.

Но вдруг ей надоели величественная осанка и достойный тон. Она спустилась с возвышения, подошла к нему почти вплотную, вдохнула его терпкий запах и сказала ему прямо в лицо:

— Но тебе я скажу, скажу сейчас и никогда больше не повторю: да, это сделала я. Я доставила себе это удовольствие, свою *posche toledana*. Я прочла кровавые помыслы в голове де Кастро и не удержала его, я помамила его кастильо. И бог помог мне. Богу было угодно, чтобы они погибли. Почему твоя наложница и ее отец не укрылись за стенами иудеирии вместе с другими евреями? Бог поразил их слепотой. И я говорю тебе прямо в лицо, в твое яростное, жаждущее крови лицо: сердце мое исполнилось ликования, когда она умерла.

Альфонсо застонал, отвернулся от нее, отступил на шаг; теперь в его лице было больше муки, чем ярости.

Леонор сполна насладились своим торжеством. Она почувствовала жалость к дону Альфонсо. Пошла за ним, опять стала совсем близко.

— Не будем ссориться, дон Альфонсо, — сказала она, и голос ее звучал необычно мягко. — Ты ранен, измучен. Позволь мне поухаживать за тобой, я пошлю тебе моего Рейнеро, он сведущей твоих лекарей. И позволь мне сказать тебе еще одно: я сделала это ради себя, но также и ради тебя. Я люблю тебя, Альфонсо, ты это знаешь. Все эти годы я была вернее стен твоей крепости, я была верна тебе и тогда, когда убрала с твоего пути ее. Я не могла дольше видеть, как король Кастилии, отец моих детей, тонет в грязи. Ты можешь опозорить меня перед всем миром, ты можешь меня убить, но это правда.

Альфонсо знал — это правда, но он заставил себя не верить. Он мог понять донью Леонор, но только умом. Все в нем восставало против нее. Он не хотел ее любви; любовь злодейки была ему ненавистна.

Он отвернулся, бросился вон из комнаты.

Альфонсо был смертельно утомлен разговором, рана болела сильнее, чем раньше. Он позволил вымыть себя, перевязать рану, уложить в постель. Он спал долго, глубоко, без сновидений.

Затем поехал в Галиану.

Он ехал по узким, крутым улицам вниз, к Тахо, один, без свиты. Жители узнавали его, сторонились, испуганно смотрели в худое, окаменевшее лицо, обнажали головы и низко кланялись, многие падали на колени. Он не видел, не слышал, ехал дальше, медленно, уставившись в землю; машинально, не глядя, отвечал на поклоны.

Он подъехал к белым стенам. Было очень знойно, над Галианой стояло тяжелое, дрожащее на солнце марево, все было тихо, как заколдовано.

Садовник Белардо осторожно приблизился к королю. Робко поцеловал руку.

— Я очень несчастен, государь, — сказал он. — Я не мог заступиться за госпожу. Их было очень много, верно, больше двух тысяч, и привел их знатный рыцарь, а у меня была только священная дедовская алебарда. Что мог я сделать против такой толпы? Они кричали: «Так хочет бог!» — и тогда свершилось. Но больше они ничего не испортили. Все в порядке, государь, и в доме и в саду.

Альфонсо спросил:

— Вы похоронили ее здесь, в Галиане? Сведи меня на могилу.

Могила ничем не была отмечена. Голое место со вспаанным дерном возле цистерн рабби Ханана.

— Мы не знали, как быть, — оправдывался Белардо. — Ведь наша госпожа донья Ракель была некрещеная, я не посмел поставить крест.

Король махнул ему рукой, чтоб он ушел.

А сам тяжело опустился на землю, весь во власти жаркого, душного, мутного марева. Дерн был положен кое-как, могила казалась заброшенной, он бы и собаку так не похоронил.

Альфонсо старался вспомнить, как гулял здесь с доньей Ракель, как они голые сидели на берегу пруда, старался вызвать в памяти ее лицо, походку, голос, тело. Но вспоминал только отдельные черты; она же, Ракель, оставалась далекой, неуловимой, каким-то смут-

но мерцающим видением. Если ее дух где-нибудь бродит, то бродит именно здесь, но он не умеет его вызвать, верно, духи появляются, только когда сами хотят. А может быть, Бертран прав: женщина волнует кровь мужчины, не его душу.

Здесь, под ним, лежит та, что давала ему безбрежное счастье и страстное волнение, а что она теперь? Тлен и пища червей. Но странно, это оставляло его равнодушным. Что искал он здесь, на этой жалкой, неубранной могиле? Он ни в чем перед ними обоими, перед теми, что лежат в ней, не виноват. Они виноваты пред ним. Виноваты за сына. Теперь он никогда не узнает, что случилось с его Санчо. Все равно как если бы мальчик был зарыт вместе с ними, как если бы зарыто было и тлело в земле его, Альфонсо, будущее. Не надо было ему приходить сюда. Во рту у него был плохой вкус, губы пересохли.

Он с трудом перебрался в тень ближайшего дерева. Растянулся под ним. Он лежал там, закрыв глаза, солнечные блики играли на его лице. И опять он старался представить себе Ракель. Но опять он видел только покровы, сама она оставалась смутной. Он видел ее в длинном одеянии, похожем на рубашку, такой, как она ждала его у себя в опочивальне. Видел ее в том зеленом платье, в котором она предстала перед ним в первый раз в Бургосе, когда насмеялась над замком его предков. Да, в тот раз, когда она заставила его построить ей Галиану, она прибегла к колдовству и черной магии, хотя сама и не была при этом. И сейчас еще она заманивает его сюда, в Галиану, а его ждут ратные и государственные дела.

Правда, у него есть одно дело, выполнить которое он может только здесь: он должен передать Иегуде слова сына. Он наморщил лоб, стараясь припомнить, что же такое сказал перед смертью Аласар. Он отчетливо слышал: «Скажи отцу...» — но что он должен был сказать, Альфонсо так и не мог припомнить.

Он заснул. Вокруг все было в дымке, все расплывалось, ничего нельзя было удержать. И вдруг перед ним появилась Ракель. Она вышла из дымки совсем как живая — это ее матово-смуглое лицо, ее серо-голубые, цвета голубиноного крыла глаза — и стала перед ним. Совсем так же она смотрела, молча, но очень красноре-

чиво, когда не хотела его, а он взял ее силой, так смотрела, когда он кричал на нее, что она украла у него сына, и молчание ее было громче всяких укоров.

Он лежал с закрытыми глазами. Он знал, это эспехисмо — наваждение, горячечный бред; он знал, Ракель умерла. Но в мертвой Ракели было больше жаркой жизни, чем в живой. И пока она смотрела на него, не сводя глаз, ему вдруг стало ясно: душой он всегда понимал ее немое красноречие, он только нарочно ожесточал себя, замыкался и не хотел понимать ее настойчивых слов, ее правды.

Теперь он открыл свою душу для ее правды. Теперь он понял то, что Ракель тщетно старалась ему объяснить: он понял, что такое долг, что такое вина. У него в руках была огромная власть, и он злоупотребил ею; он, как мальчишка, безбожно, беспечно ею играл. Он превратил свое вино в уксус.

Образ Ракели затуманился.

— Не уходи, не уходи еще! — молил он, но удержать ее он не мог, видение развеялось.

Альфонсо был обессилен и вдруг почувствовал голод. Он с трудом поднялся, пошел в дом. Приказал принести поесть. Он сидел за столом, за которым часто завтракал с нею, сидел и ел. Машинально, жадно, как волк. Не думал ни о чем, кроме еды.

Силы вернулись к нему. Он встал. Велел позвать кормилицу Саад; он хотел, чтобы она показала ему кое-какие вещи, оставшиеся после Ракели. Наступило смущенное молчание, потом ему наконец сказали, что Саад убита. Он вздохнул. Захотел узнать подробности.

— Она ужасно кричала, — сказал Белардо. — А наша госпожа донья Ракель не испугалась. Стояла спокойно, как настоящая знатная дама.

Альфонсо обошел дом. Остановился перед тем изречением, написанным буквами древнеарабского алфавита, которые он не умел прочитать и Ракель перевела ему: «Унция мира больше стоит, чем тонна победы». Пошел дальше. Он открывал шкафы, лари. Касался платьев. Вот в этом светлом платье она была в тот раз, когда они играли в шахматы, а вот эта совсем нежная ткань, которая, кажется, вот-вот разорвется от прикосновения его пальцев, облекала ее в тот раз, когда вокруг нее прыгали собаки. Из ларя повеяло ароматом ее

платьев, ее ароматом. Он захлопнул крышку. Нет, он не Ланселот.

Он нашел ее письма к нему, написанные, но не отправленные: «Ты рискуешь жизнью ради безумств, потому что так должен поступать рыцарь, это безрассудно и увлекательно, и за это я люблю тебя». Нашел рисунки, сделанные Вениамином. Он внимательно рассматривал их, заметил черты, которых не видел в живой Ракели. И все же Вениамин видел не всю Ракель, длинную Ракель видел только он, Альфонсо, и только теперь, когда ее уже нет на земле.

Но она не ушла из мира. В нем, в Альфонсо, продолжало жить то полное знание, которое сейчас открыл ему ее немой лик. Слова дона Родриго сказали ему, что такое вина и раскаяние, но не дошли до сердца. И его внутренний голос тоже только сказал. Лишь ее немой лик врзал ему в сердце, что значат слова: долг, вина, раскаяние.

Он собрался с силами. Прочел молитву, кощунственную молитву. Он молился умершей, прося ее являться ему в решительные минуты, дабы ее молчание говорило ему, что делать и чего не делать.

Гутьере де Кастро стоял перед королем, широко расставив ноги, опершись на рукоять меча, в традиционной позе.

— Что тебе угодно, государь? — спросил он своим скрипучим голосом.

Альфонсо смотрел в его широкое, грубое лицо. Де Кастро спокойно выдерживал его взгляд. Он не боялся, это было ясно. Ярость короля улетучилась, он сам не понимал, почему с таким угрюмым сладострастием мечтал увидеть, как будет болтаться на виселице де Кастро. Он сказал:

— На тебя было возложено охранять население моей столицы Толедо. Почему ты этого не сделал?

Де Кастро ответил с холодной дерзостью:

— Народ был возбужден из-за проигранной тобой битвы, дон Альфонсо, его обуяла жажда разрушения, жажда крови. Они хотели убить виновных, а виновными они считали очень многих. Но пострадали только очень немногие, не будет и ста человек. Я мог с чистой

совестью вернуть перчатку королеве, и я уверен, что уго-
дил ей и заслужил ее благодарность.

Дон Альфонсо сказал:

— Ты отправился в Галиану вместе с толпой черни
и убил моего эскривано и мать моего сына.

Он говорил твердо и ясно и вместе с тем очень спо-
койно. Де Кастро ответил:

— Народ требовал наказания предателя. Того же
требовала и церковь. Мой долг был защитить невинных.
А он был виновен.

Король ждал, что де Кастро сошлется теперь на хит-
рое и кровавое указание королевы и переложит на нее
всю вину. Де Кастро этого не сделал. Мало того, он про-
должал:

— Я тебе открыто скажу: я бы его уничтожил, даже
если бы он не был предателем. Я — Гутьере де Кастро,
и уже много лет, как я дал слово себе и всему испан-
скому рыцарству наказать обрезанного пса, запоганив-
шего мой кастильо.

Король сказал:

— Распря между тобой и Кастильским государством
была улажена, вира за твоего брата уплачена. Договор
был подписан и скреплен печатью, твои требования
удовлетворены.

— Я не хочу спорить с тобой, король Кастилии, — от-
ветил де Кастро. — Если ты считаешь, что можешь на
меня жаловаться, то жалуйся моему сеньору, королю
Арагона, пусть он, равный мне, созовет суд равных. Но
одно я должен сказать тебе, как рыцарь рыцарю. Из-за
тебя погиб мой брат, славный ратными подвигами и
победами на турнирах, ты это знаешь, и ты уплатил мне
виру, и я не спорил, потому что сейчас священная вой-
на. Теперь случилось, что я убил человека, который на-
нес мне оскорбление. Кто этот человек? Твой банкир и
старый еврей — и только. Я думаю, ты не прогадаешь,
если на этом мы покончим наши счета.

Король не согласился. Он приказал:

— Расскажи, как все было.

Де Кастро ответил:

— Я не осквернил свой меч поганой кровью. Я убил
его ножнами.

Альфонсо с трудом, делая паузы между отдельными
словами, спросил:

— А как погибла она?

— Этого я сказать не могу, — ответил де Кастро. — Мой взгляд был устремлен на еврея, когда прикончили ее. — Он говорил спокойно, слова его звучали правдиво. И грубо, откровенно, почти добродушно он прибавил: — Сейчас священная война, и я подавил ненависть и приехал сюда, чтобы сражаться под твоим началом. Примирись со случившимся, государь. Нам предстоит еще много тяжелой работы. Негоже рыцарю тратить слова из-за вырванных плевел. Позаботься о твоём городе и его стенах.

Альфонсо с удивлением заметил, что наглость барона де Кастро не вызвала в нём гнева. Де Кастро ни словом не упомянул о двусмысленном поручении доньи Леонор, он не возлагал вины на даму, он сам держал ответ за все, что случилось. «Ишь ты, Гутьере-то, оказывается, рыцарь», — подумал Альфонсо.

Обычно неутомимый, деятельный, каноник дон Родриго нехотя занимался теперь своими обязанностями, редко читал и писал. Грустно, сиротливо сидел он где-нибудь в углу.

Муса не часто беседовал с ним. В Толедо было много раненых и больных, спокойная решительность Мусы внушала доверие, и, несмотря на злобу против мусульман, многие обращались к его прославленному искусству.

Родриго завидовал другу, которого отвлекала от мучительных дум непрестанная деятельность; его самого все сильнее одолевали печальные размышления о бренности всего сущего, он был внутренне скован.

Из Италии ему прислали рукопись, которая в словах выражала его собственное отчаяние. Написана она была молодым прелатом Лотарио Конти и называлась: «О свойствах человека». Одно место произвело на него особенно сильное впечатление: «Как ничтожен ты, о человек! Как мерзостно твое тело. Посмотри на растения и деревья. Они порождают цветы, листья и плоды. Горе тебе, ты порождаешь вшей, червей и прочую нечисть. Они выделяют масло, вино, бальзам; ты выделяешь мочу, харкотину, кал. Они испаряют благоухание; ты смердишь». Родриго не мог отделаться от этих слов, они преследовали его даже во сне.

Он не жаждал уже того умиленного экстаза, в котором прежде искал прибежища в минуты отчаяния. Та ревностная, непоколебимая вера теперь казалась ему не благодатью, а дешевым самоопьянением, трусливым бегством от действительности.

Отраду приносили ему только редкие посещения донна Вениамина. Юноша, невзирая на собственное горе и на горе окружающих, упорно и терпеливо продолжал работу в академии. Каноника поражала сила воли Вениамина, его посещения прогоняли жгучую тоску.

Однажды он попросил своего ученика:

— Если это не растравит твою рану, Расскажи мне, что вы делали и о чем говорили, когда ты в последний раз был в Галиане.

Вениамин молчал. Молчал долго, дон Родриго уже думал, что он не ответит. Но затем юноша в горячих словах стал восхищаться доньей Ракель, как прекрасна была она в этот последний день. И он откровенно рассказал, что она только потому не захотела укрыться за стенами иудеи, что король повелел ей ждать его в Галиане. В его словах звучало недовольство той страстной преданностью, с которой она верила в своего рыцаря и возлюбленного.

Каноник был потрясен. «Ты не знаешь, что такое любовь», — сказал ему король. Но он сам этого не знал. Альфонсо «любил» Ракель бурно, сильно, неистово, но он остался замкнут в себе, он не чувствовал согласно с ней. И вот этот злосчастный человек, этот рыцарь до мозга костей бросил необдуманное слово; вероятно, едва сказав, он уже забыл о нем, и это случайное слово толкнуло донью Ракель в объятия смерти. Его легкомысленная отвага всегда приводит к беде.

Дня два-три спустя несколько смущенный Вениамин показал каноннику рисунок. Он как-то видел короля вблизи, был поражен переменой в нем. Желая вникнуть в эту перемену, он нарисовал короля и теперь, робея, показал портрет каноннику, с нетерпением ожидая, что тот скажет.

Тот долго его рассматривал. Перед ним было лицо человека, который много пережил и много выстрадал, но все же это было лицо рыцаря, лицо необузданного, более того, твердого и жестокого человека. Он подумал о портрете короля, нарисованном словами в его лето-

писи, он подумал об изображении короля, вычеканенном на Иегудиных золотых монетах. Он отложил рисунок. Принялся шагать из угла в угол. Снова взял портрет и стал рассматривать. И сказал, необычно взволнованный:

— Так, значит, вот какой король Альфонсо Кастильский!

Вениамин был поражен действием, которое оказал его рисунок.

— Я не знаю, таков ли Альфонсо. В моем представлении он именно такой. — И, помолчав, прибавил: — Теперь я думаю, что лучше было бы жить, если бы миром управляли мудрецы, а не воины.

Каноник попросил его оставить ему рисунок и долго, после того как ушел Вениамин, задумчиво его разглядывал.

Его дружба с Вениамином все крепла. Он так сблизился с ним, что даже не скрыл от него собственного малодушия.

— Несмотря на молодость, ты уже не раз видел, — сказал он, — как глупость и необузданный гнев все снова и снова сметают то, что создавали столетиями знания и труд. И все-таки ты продолжаешь думать, искать, мучиться. Тебе все еще кажется, что стоит трудиться? Кому пужен твой труд?

Лицо Вениамина светилось тем веселым лукавством, от которого прежде оно становилось таким молодым и обаятельным.

— Ты хочешь испытать меня, досточтимый отец, — сказал он, — но ты наперед знаешь мой ответ. Ну, конечно, тьма обычна, а свет — исключение. Но как раз в этой огромной тьме особенно радостен луч света. Я человек маленький, но я не был бы человеком, если бы не мог почувствовать эту радость. Я твердо верю, что свет не погаснет и разгорится. И мой долг — способствовать этому своей малой лептой.

Каноник был пристыжен твердой верой Вениамина. Он достал свою летопись, заставил себя сосредоточиться, попытался работать. Но сейчас же почувствовал, как тщетны его усилия. Он хотел наглядно показать, что во всем виден промысл божий, он ретиво и наивно изображал бессмысленное так, словно оно было осмысленным. Но он только обдумывал и излагал события, объяснять их он не объяснял.

Как он завидовал Мусе! Мусе легко работать над своей летописью. Он исходит из формулы, под которую подводит все события, и формула эта гласит: все народы рождаются и умирают, переживают молодость и старость, и подтверждение своей формулы он находит у Аллаха и его пророка Магомета. В Коране сказано: «И каждому народу положен свой срок, и когда этот срок приходит, никто не властен ни на единый час отодвинуть или приблизить его».

Ему, Родриго, не посчастливилось найти смысл и порядок в истории. Ему казалось, что истинная вера запрящает даже искать его. Разве апостол Павел не пишет в Послании к коринфянам: «Немудрое божие премудрее человеков — *Quod stultum est dei, sapientius est hominibus*?» И разве не учит Тертуллиан, что величайшее событие в истории, смерть сына божия, требует веры, ибо оно противно разуму? Итак, если пути господни неисповедимы, если человеческому зрению и человеческому разуму они представляются нецелесообразными, тогда, значит, даже само стремление говорить человеческими словами о божественном промысле — грех.

Целое столетие христианский мир воевал за Святую землю, сотни тысяч рыцарей нашли смерть в крестовых походах, а отвоевано ничтожно мало. Того, за что пролито столько крови, могли бы достигнуть в течение одной недели путем деловых переговоров трое послов. Понять это отказывался человеческий разум, и слова апостола Павла «немудрое божие премудрее человеков» приобретали иронический смысл.

Родриго, склонившись над своей рукописью, сквозь зубы злобно сказал:

— Все суета. В том, что происходит, нет смысла, Промысла божия нет.

Он испугался собственных слов.

— *Absit, absit!* Прочь, прочь от меня! Да не помыслию я так! — приказывал он себе.

Но если его сомнения в промысле божием — ересь, то в признании им тщетности своих трудов он прав. Вот так он стоял за высоким налогом и что-то писал и царапал целыми днями, а часто и ночами, и хотел видеть перст божий в событиях, целесообразность которых нельзя понять. Он дерзнул оживить великих мужей испанского полуострова, отошедших в вечность: святого

Ильдефонсо и святого Юлиана, готских королей и мусульманских халифов, и астурийских и кастильских графов, и императора Альфонсо, и Сида Кампеадора. Он вообразил себя вторым пророком Иезекиилем, избранником Божиим, по слову которого они восстанут из гроба: «Я обложу вас жилами и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей и введу в вас дух — и оживете». Но останки, которые он заклинал, не соединились опять воедино. Люди в его летописи не ожили; это не люди, а скелеты, которые, стуча костями, отплясывают танец мертвецов.

«Не сбивай слепого с пути», — учит Писание. А он как раз это и сделал. Его летопись сбивает слепых с пути и вводит в еще более черную тьму.

Он поднялся с громким стоном. Принес поленья, сложил в очаг, запалил. Собрал бесчисленные листы летописи и записок. Бросил в огонь, молча, крепко сжав губы. Смотрел, как они горели, лист за листом. Мешал обуглившиеся бумаги и пергамент, пока они не превратились в пепел, так что уже ничего нельзя было прочитать.

Бертран де Борн, которому рана не позволяла принимать участие в войне, стремился из Толедо на родину. Он хотел закончить жизнь монахом в Далонской обители.

Но его жестоко рассеченная кисть вспухла, опухоль пошла выше. В таком состоянии нельзя было и думать пробиться сквозь мусульманские полчища, которые проникли далеко на север и заняли все дороги.

Рана горела, мучительно ныла. Король упросил его посоветоваться с Мусой. Тот заявил, что осталось одно — отнять кисть руки. Бертран не хотел. Пробовал отделаться шуткой:

— В бою вы, мусульмане, не смогли отнять у меня руку, так теперь вы обратились за помощью к хитрости и науке!

— Не отдавай руки, господин Бертран, — хладнокровно ответил Муса. — Но тогда через неделю от тебя ничего не останется, кроме твоих стихов.

Смеясь и ругаясь, Бертран покорился.

Его крепко привязали к скамье. Перчатка, олицетворяющая возложенное на него доном Альфонсо поруче-

ние, лежала в некотором отдалении на маленьком столике, у него на виду, а около столика стоял его старый оруженосец, певец Папиоль. Муса и лекарь Рейнеро дали выпить Бертрону крепкое, притупляющее боль снадобье и, вооружившись железом и огнем, приступили к операции. А Бертран, пока они возились с ним, диктовал Папиолю стихотворение к дону Альфонсо — «Сирвент о перчатке».

Муса многое перевидал на своем веку, но такое страшное и величественное зрелище ему вряд ли доводилось видеть раньше. В комнате, где стоял смрад от жженого мяса, лежал старый рыцарь, крепко привязанный к скамье, и, то теряя сознание, то снова приходя в себя, скрежеща зубами от боли, подавляя крики, снова впадая в забытие и снова приходя в себя, диктовал свои мрачно-веселые стихи. Иногда удававшиеся ему, иногда нет.

— Повторяй за мной, Папиоль, дурья башка! — приказал Бертран. — Ты понял? Запомнишь? Мелодию слышишь? — спрашивал он.

Старый Папиоль видел, как жадно его господин ждет, что он скажет, и старался как можно явственнее выразить бурный восторг. Он с восхищением повторял стихи, смеялся до слез, не мог остановить смех, который переходил в плач и рыдания.

День спустя Альфонсо навестил Бертрана. Спросил о здоровье. Бертран хотел махнуть рукой, но кисти не было.

— Я и забыл... — усмехнулся он и сказал: — Врач думает, недели через две я настолько поправлюсь, что смогу сесть на коня и уехать. Итак, государь, я покину тебя и удалюсь в Далонскую обитель. Моему верному Папиолю тоже не под силу тяготы войны. Он настаивает, чтобы мы ушли от мирской суеты.

Альфонсо расхваливал и превозносил «Сирвент о перчатке» и обещал послать крупный вклад в монастырь.

— Я тебя все-таки попрошу об одном одолжении, — сказал он. — Спой мне сам «Сирвент о перчатке».

И Бертран запел:

Тебе перчатку отдаю.
Я долг исполнил свой.
Хоть мы разгромлены в бою,
Я горд своей судьбой
И не ропшу на бога.

Пускай потеряна рука —
Потеря эта мне легка,
Твой скипетр — мне подмога.
И ты не думай много
О том, как враг на этот раз
В недобрый час
Осилил нас.
Еще иной настанет срок!
Мне руку отсекли,
Ты потерял кусок
Возлюбленной земли,
Но час расплаты недалек!
Пускай отрублена рука —
Я дрался ей наверняка,
С врагом вступая в схватку,
Опа в неистовом огне
На славу послужила мне,
Одетая в перчатку.
Теперь, вдали от дел мирских,
Хочу остаток дней моих
В монастыре прожить я.
Но средь обрядов и молитв
Гимн в честь грядущих славных битв
Еще могу сложить я!
Чтоб воинство Христово
Мои слыхало зовы,
Чтобы вокруг гремело,
Врагу наперекор:
Друзья! Рубите смело!
Вперед! А lo! A lo!

Альфонсо внимательно слушал; он чувствовал размах стихов, они будоражили ему кровь. Но они не заглушали голоса рассудка, который говорил, что старый рыцарь отжил свое и немножко смешон.

Повсюду вокруг Толедо рыскали отряды мусульман, они перерезали все дороги. Но дальновидный халиф не спешил, он подготавливался к серьезной и мощной осаде. С этой целью он продвинулся далеко на север и подчинил себе большую часть Кастилии. Покорил Талаверу, покорил Македу, Эскалону, Санта-Крус, Трухилью, покорил Мадрид. Кастильцы держались стойко. Особенно мужественно оборонялись духовные князья, в боях пали епископы городов Авилы, Сеговии, Сигуэнцы. Но всякое сопротивление разбивалось о превосходные силы противника. Стойкость отпора только разжигала ярость мусульман. Они опустошили страну, вытоптали посевы, уничтожили виноградные лозы, угнали скот.

Мусульмане покорили и большую часть королевства Леон. Дошли до реки Дуэро. Разорили старую славную столицу Саламанку. Заняли много португальской земли. Захватили святой, пользующийся широкой известностью Алькобасский монастырь. Разграбили его, перебили почти всех монахов. В христианской Испании воцарились голод, мор, нищета. Еще ни разу с тех пор, как началось отвоевывание страны у мусульман, не было на Испанию такой напасти, как после поражения под Аларкосом.

Христианские короли во всем винили Альфонсо. Леон и Наварра начали переговоры с мусульманами. Наваррский король дошел до того, что предложил халифу союз против других христианских государей. Предполагалось, что наследный принц женится на дочери Якуба Альмансура, сам король соглашался признать себя ленником халифа и в качестве его вассала управлять всеми землями, отторгнутыми мусульманами у христиан.

И вот, обеспечив себя с севера, халиф приступил к осаде Толедо. Со стен своего замка Альфонсо видел, как медленно, все грознее надвигаются тараны и осадные башни.

Де Кастро потребовал, чтоб его отпустили защищать свои собственные владения — маркграфство Альбаррасин. Альфонсо не удерживал его.

— А как же благодарность, государь? — спросил де Кастро.

— За что? — в свою очередь, спросил Альфонсо.

Донья Леонор все это время оставалась в Толедо. Она думала, что гнев доня Альфонсо нашел исход в той ужасной вспышке и что теперь, когда все его помыслы заняты войной, память о еврейке скоро изгладится. Правда, он избегал всякого разговора с ней и ограничивался холодной учтивостью, однако Леонор была уверена, что он к ней вернется, надо только выждать. Но теперь, когда враг осадил Толедо, ждать было нельзя. Здесь она мешает, в Бургосе она нужна.

В душе она надеялась, что Альфонсо попросит ее остаться.

Она прошла к нему. Взяла себя в руки и приложила все старания к тому, чтобы выглядеть молодой и красивой. Она знала — ее дальнейшая жизнь зависит от этой встречи.

Альфонсо, согласно требованиям куртуазного обхождения, подвел ее к креслу, сам сел напротив, вежливо и выжидательно смотрел он в ее белое, красивое лицо. Она глядела на него испытующим взглядом спокойных зеленых глаз. В нем не осталось ничего от мальчишеского задора, который так увлекал ее, теперь перед ней было жесткое лицо зрелого мужа, черты заострились, на лбу залегли глубокие морщины, — лицо мужа, который перенес много горя и вряд ли побоится причинить горе другому. Но и к этому Альфонсо она стремилась всем своим существом.

Здесь, в Толедо, начала она, она не может уже быть ему полезна. Пожалуй, ей лучше, пока это еще возможно, вернуться в Бургос, где она возьмет на себя заботы о дочерях, подождет окончания войны. Кроме того, оттуда она может вести переговоры с колеблющимися королями Леона и Наварры.

Альфонсо многому научился. Он смотрел в ее душу, ее внутренний мир лежал перед ним, словно поле, на котором ему предстоит вести бой. Он мог бы сказать ей ее собственными словами все, что она думает и на что рассчитывает. Она, несомненно, думает, что с полным правом убрала со своей дороги соперницу, для его и для государства пользы, и он должен это понять и быть ей благодарен. Она молода, красива, он примет ее обратно на свое ложе, бог смилуется, и она еще родит ему наследника. Конечно, Леонор так думает и ждет, что он попросит ее остаться. Но она ошиблась в расчетах. Он никогда не коснется убийцы своей Ракели, даже если бы то, что она родит ему сына, было так же непреложно, как аминь в церкви.

Она сидела прямая и строгая, но все же манящая и податливая. Она ждала.

— Меня радует твое решение, донья Леонор, — ответил он с любезной улыбкой на тонких губах. — Ты окажешь мне и всему христианскому миру большую услугу, если отправишься в Бургос и со свойственным тебе и не раз испытанным умом поведешь переговоры с трусливыми королями-отступниками. Кроме того, я рад, что наши дочери будут под твоим надзором. Я охотно дам тебе сильный конвой.

Леонор выслушала, взвесила его слова. Страсть к Ракели как будто утихла. Если он все же так холодно и

с насмешкой говорит с ней, то, верно, только потому, что считает это своим рыцарским долгом по отношению к умершей. Леонор чувствовала себя достаточно сильной, чтоб сразиться за него с мертвой еврейкой.

Она сказала:

— Мне передали, что ты не сделал попытки удержать барона де Кастро.

Глаза Альфонсо опасно посветлели. Как осмелела! Не к добру завела она снова этот разговор. Но он сдержался.

— Тебе правильно передали, — ответил он. — Я не думал уговаривать человека, который удирает от меня в минуту опасности.

Леонор ответила тоже равнодушным тоном:

— Мне кажется, ты слишком строг к нему, дон Альфонсо. Его маркграфству действительно угрожает эмир Валенсии. Я пообещала ему награду, а ты заставил его слишком долго ждать. Он был прав, ибо его лишили обещанного.

Альфонсо страшно побледнел, на осунувшемся лице сильней выступили скулы. Но ему удалось сохранить маску вежливости.

— С божьей помощью, — сказал он, — я защищу Толедо и без де Кастро.

— Ты сам знаешь, что дело не в этом, — возразила Леонор. — Нам надо удержать его, чтобы он не поступил так же, как наши братья — короли Леона и Наварры, и не договорился с мусульманами. Или попросту не перешел на их сторону, как сделал Сид Кампеадор, когда твой прадед Альфонсо недостаточно щедро наградил его. Мы ущемляем его уже не первый раз, а он обидчив. Мне кажется, что толкать его в объятия мусульман нам невыгодно. Ты не собираешься отдать ему кастильо, дон Альфонсо?

И снова дон Альфонсо понял, что творится в ее душе, и на этот раз он почувствовал злобное торжество. Ракель умерла, она, Леонор, жива и стоит перед ним, холодная, царственная, и все-таки она искушает его, она хочет, чтобы он отрекся от мертвой, и тогда все пойдет по-старому. Но она ошибается, дочь благородной дамы Алиеноры ошибается. Ракель жива.

— Не можешь же ты серьезно думать, донья Леонор, — сказал он, — что я еще награжу предателя, кото-

рый оставляет меня в беде. Я покупаю себе латников, но не рыцарей. Кроме того, мне кажется неразумным раздражать толедских евреев в нынешнее тяжелое время; а если бы я оказал такой почет убийце лучшего среди них, я бы вызвал их недовольство. Я уверен, что при твоём государственном уме, возлюбленная моя Леонор, ты это, конечно, поймешь.

В его звонком голосе была чуть слышна насмешка. Но эта чуть слышная насмешка лишила донью Леонор рассудка.

— Я обещала ему кастильо, — резко сказала она. — Ты хочешь сделать меня обманщицей? Ты хочешь выставить на посмешище королеву, чтобы подольститься к евреям?

Альфонсо в душе ликовал: «Слышишь, Рагель, как она беснуется? Но я не поставлю свою печать под тем, что она сделала. Я не оправдаю содеянное ею убийство. Я не отдам дом твоему убийце». Он сказал:

— На твоём месте, Леонор, я бы не поминал этого обещания.

Только теперь призналась себе Леонор, что она ничего не достигла, убрав со своего пути Рагель. Как ее мать, убив ту женщину, любовницу Генриха, только разрушила собственную жизнь, так и она безвозвратно побеждена мертвой еврейкой. Леденящим страхом повеяло на нее при мысли, что она обречена влачить бесплодную, одинокую жизнь. Перед ней расстилалась серая пустыня, о которой ей говорила мать, щемящая сердце тоска, бесконечное, ничем не заполненное время.

Она не решалась поверить такой страшной перспективе. Она смотрела на дону Альфонсо: она любит его, у нее нет никого, кроме Альфонсо. Она должна его удерживать.

— Я унижаюсь, как еще не унижалась ни одна женщина из нашего рода, — сказала она с мольбой, со смирением отчаяния. — Позволь мне остаться в Толедо, Альфонсо! Не будем больше говорить о бароне де Кастро, только позволь мне остаться с тобой! Позволь мне быть вместе с тобою в такое тяжелое время!

Альфонсо заговорил, и каждое слово отчетливо и холодно падало из его уст:

— Незачем, Леонор. Я говорю тебе то, что есть: мое сердце ожесточилось после того, как ты убила ее.

Старый грустный латинский стих звучал в сердце доньи Леонор, он принадлежал одной греческой поэтессе: «Луна взошла, и Плеяда тоже, уже полночь, время уходит, а ложе мое одиноко».

Она взяла себя в руки. Выпрямилась, сказала:

— Ты говоришь, и от твоих слов я цепенею. И все же я поступила правильно, и поступила так ради тебя, и опять поступила бы так же.

На следующий день она уехала в Бургос.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Муса кротко попенял канонику, узнав, что тот сжег свою летопись. Он говорил, что закрепленная в летописи мировая история — это память человечества. В древнем мире чтили богиню истории, иудеи, христиане и мусульмане справедливо считают труд летописца угодным богу.

— Мой труд не был угоден богу, — угрюмо возразил каноник. — Моему разуму не дано было узреть в событиях истории перст божий. Я не понял происходящего; все, что я запечатлел в своей летописи, — ложь. Я не имел права продолжать свой труд, я не имел права сохранять его. Я сам слеп и не имею права сбивать с пути слепых. Тебе легко, друг мой Муса, — с горечью, печально продолжал он. — У тебя есть путеводные нити, ты еще считаешь их правильными, ты можешь со спокойной совестью продолжать свой труд.

Муса попытался его утешить:

— Ты тоже еще установишь новые законы истории, мой высокочтимый и достойный друг, и в течение нескольких лет они будут казаться тебе правильными.

Ученый старец не бывал дома целыми днями. В осажденном городе свирепствовали голод и моровая язва; к его искусству и помощи прибегало все больше и больше больных.

Сам он, правда, сознавал, сколь ограниченны его познания. Мусульманская наука врачевания, объяснял он канонику, уже давно топчется на одном месте. С тех пор как Альгацали в своей нетерпимости объявил всю науку, не почерпнутую из Корана, ересью, лекарское искусство мусульман пошло на убыль, теперь передовое место в медицине окончательно заняли евреи.

— Султан поступил правильно, — сказал он, — взяв себе в личные лекари еврея Моисея бен Маймуна. У нас, мусульман, нет никого, кто бы мог с ним сравняться. Расцвет нашей культуры окончился. А впрочем, — заключил он, — искусству врачевания поставлен предел самой природой, и даже архиумелый лекарь не многое может. Правильно сказал Гиппократ: «Медицина часто утешает, иногда облегчает, редко исцеляет».

Архиепископу дону Мартину, во всяком случае, не мог помочь ни один врач: его рана была смертельной. Все это знали, он сам это знал. Но среди царящего вокруг разгула смерти он цепко держался за жизнь. Проводил работу. Требовал, чтобы дон Родриго ежедневно навещал его и держал в курсе дел.

Однако у архиепископа была другая, более глубокая причина так настойчиво добиваться общества своего секретаря. Он хотел употребить оставшееся ему время жизни на покаяние и наложил на себя епитимию — терпеть частые посещения дона Родриго, который своей бесконечной кротостью раздражал архиепископа. Дон Мартин лежал, нюхал лимон и то и дело вызывал на споры своего собеседника. Например, высказывал удовлетворение по поводу того, что еврей Ибн Эзра и его дочь погибли злой смертью, ибо они ее заслужили. Как он и ожидал, каноник указывал ему, что такая радость противна духу христианства. Это давало дону Мартину повод упрекнуть дона Родриго в слишком большом милосердии, неуместном во время священной войны.

В другой раз он произносил яростную строку из воинственного песнопения Моисея: «*Dominus vir pugnatur*, господь — бог воинств» — и с ласковым лукавством просил:

— Скажи мне, как это звучит по-еврейски, мой дорогой и многоученый брат. — И когда каноник не мог припомнить, как это звучит по-еврейски, он кротко выговаривал ему: — Такие слова, мой мягкосердечный друг, ты, конечно, не можешь припомнить. Но ведь эти слова звучат великолепно и по-латыни, не так ли? — И: — *Dominus vir pugnatur*, — со вкусом повторял он несколько раз, вызывая каноника на спор. Но у того не хватало духу возражать своему неукротимому умирающему другу, приводя миролюбивые стихи из Писания. Он молчал.

Больше всего заботило дон Мартин, кого король назначит ему в преемники. Дело в том, что архиепископ Толедский, примас Испании, был самым могущественным человеком в Кастилии после короля. Его доходы превышали королевские, влияние его было огромно. И дон Мартин неотступно просил короля выбрать ему достойного заместителя.

— Внемли словам умирающего, сын мой, — заклинал он его. — Любезный нашему сердцу дон Родриго человек ученый и богобоязненный, можно сказать праведник, лучшего советчика в твоих делах с господом богом не найти, но для земных дел, для ратных дел он не годится, и если он будет архиепископом Толедским, он не даст тебе денег на войско, а если даст, то очень мало. Вот я и прошу тебя, любезный сын и король, не сажай на престол святого Ильдефонсо мямлю, посади истого христианского рыцаря, каким, скажу без ложной скромности, при всех моих недостатках был я.

Еще в тот же день дон Мартин пожалел, что нанес канонику удар в спину. Он послал за ним. Покаялся. Стал сетовать:

— Ах, зачем господь бог сделал меня пресвитером, а не полководцем!

Не легко было дону Родриго утешить его.

Неожиданно на долю умирающего выпала мрачная радость: в Толедо окольными путями, тайком от рыскающих повсюду мусульман, пробрался с опозданием на много недель папский гонец. Папа строго-настрого приказывал королю расстаться со своим еврейским эскривано, с злокозненным Ибн Эзрой. Как может дон Альфонсо довести до благополучного конца священную войну, раз в ближайших советниках у него неверный?

— Теперь ты видишь, любезный моему сердцу достойный брат мой, — здорадствовал дон Мартин, обращаясь к канонику. — Наши благочестивые и храбрые кастильцы, покарав еврея, действовали в духе наместника Христова. Теперь ты не скажешь, что только по моему жестокосердию это принесло мне утеху!

Радостное волнение окончательно подорвало силы архиепископа. Началась агония, долгая и мучительная. Душою дон Мартин был на поле брани, с трудом лепетал он: «А loг, а loг!» — хрипел, бился, выбивался из сил.

Муса полагал, что из человеколюбия надо было бы дать страждущему одурманивающее питье.

— Сокращать жизнь — нечеловеколюбивый поступок, — отклонил его предложение каноник, и архиепископ промучился еще два часа.

В окрестностях Триполи опять подняли голову мятежные племена, и халифу пришлось отозвать часть войск из Испании, чтобы восстановить порядок на своей восточной границе в Африке. Он отказался от завоеваний на севере полуострова. Отступил, не завершив победы.

Дон Альфонсо вздохнул полной грудью. С каждым днем приобретал он опять свой прежний рыцарский и королевский облик. Перед каноником король давал волю своему ликованию. Теперь он искупит аларкосский позор. Соберет остатки войска. Отбросит врага. Двинется на юг, захватит Кордову и Севилью, чего бы это ни стоило!

Каноник был в ужасе. Речи короля представлялись ему преступным безумием. С тех пор как Альфонсо привести об убийстве Ракели лишился чувств, в душе отчаявшегося было дон Родриго зародилась надежда: после таких тяжелых ударов Альфонсо укротит свой необузданно пылкий рыцарский нрав. Да, каноник принимал очень близко к сердцу такое самоукрошение короля. Если после столь тяжкого наказания Альфонсо станет другим человеком, значит, в конечном счете то злое и нехорошее, что свершилось, все же было не бесцельно. И вот Альфонсо не выдержал даже первого испытания.

Родриго не хотел сдаться без борьбы. Ведь мусульманский Юг не истощен, он процветает. Ведь войско халифа все еще намного сильнее христианского! Если Кастилия, будучи полной сил, потерпела такое тяжкое поражение, как же теперь, когда она обескровлена, может Альфонсо надеяться на успешный исход?

— Не предпринимай второй битвы под Аларкосом! — увещевал он. — Смиренно возблаговари господ за спасение. Халиф, я уверен, готов начать переговоры. Заключи мир, если условия окажутся хоть мало-мальски приемлемыми!

В глубине души Альфонсо с самого начала знал, что это единственно правильный путь. Но когда Родриго упомянул об Аларкосе, в нем разыгралась его прежняя королевская гордость. Неужели ему опустить крылья теперь, когда бог так неожиданно посылает ему попутный ветер! Неужели он должен принудить к молчанию свой внутренний голос, который побуждает его: возьмись, возьмись за оружие!

Весело, с прежним задором, приветливо, но с чувством своего превосходства он ответил:

— В тебе, отец мой и друг, говорит сейчас духовный пастырь и праведник, от советов которого предостерегал меня дон Мартин. Ты напомнил мне об Аларкосе. Но сейчас все складывается иначе. Халиф уходит, а старое, доброе правило полководцев гласит, что отступающего врага надо преследовать. Согласен, мусульмане все еще сильнее нас и, чтобы напасть на них, требуется отвага. Неужели же ты хочешь воспретить мне быть отважным!

Vultu vivax. С возмущением и болью в сердце видел Родриго, как в лице Альфонсо проступают черты неукротимого Бертрана.

— Неужто ты слеп? — воскликнул он. — Неужто не уразумел еще знамения божия? Неужто хочешь во второй раз испытывать его долготерпение?

— Придется тебе примириться с тем, что король Кастилии толкует небесные знамения не так, как ты, — все с той же уверенной улыбкой ответил Альфонсо. — Я был самонадеян, когда начал бой под Аларкосом. Согласен, я заслужил наказание, и бог наказал меня. Он осудил меня на тяжкое поражение, он послал мне четырех всадников Апокалипсиса, и кара эта справедлива, я смиренно принял ее. Но затем он убил мою Ракель, и ты утверждаешь, что ее смерть тоже послана мне в наказание за Аларкос и за мою отвагу? Нет, бог так жестоко покарал меня потому, что возлюбил меня больше, чем других. Покарав, бог восхотел явить мне свою милость. И теперь он явил мне свою милость, и поэтому халиф отошел, и поэтому я одержу победу.

Дона Родриго охватил великий гнев. Этот несправимый рыцарь закрывает глаза, чтобы оставаться слепым. Но он, Родриго, откроет ему глаза. Сейчас он обязан быть жестоким, в жестокости его — милосердие.

Памятуя о том впечатлении, которое произвел на него самого рассказ Вениамина, Родриго сказал строго и торжественно:

— Смерть Ракели тоже послана тебе в наказание. Ты в своей гордыне споришь против правды. Ракель умерла из-за твоего рыцарского легкомыслия.

И он рассказал ему то, что слышал от Вениамина: Ракель и ее отец отказались укрыться в иудерии только потому, что Альфонсо велел ей ждать его в Галиане.

Словно огромная волна нахлынула на Альфонсо, он сразу вспомнил и понял. Гнев пастыря справедлив: это его вина. «Почему они не укрылись в иудерии?» — с издевкой задала ему вопрос Леонор. И тот же вопрос он сам задавал себе. Тогда он не помнил, что наказывал Ракели, позабыл, начисто позабыл. Сейчас он вспомнил, ясно и отчетливо. Дважды обмолвился он об этом, так, ненароком сболтнул. В ту последнюю ночь он много говорил, хвастался, а она серьезно отнеслась к его болтовне и похвальбам, и брошенные им вскользь слова запали ей в сердце. И это сгубило ее. А он даже не попросился с ней, ускакал, пылая своим легкомысленным геройством, он забыл о Ракели и ринулся очертя голову в бессмысленный бой. И что же — пали его калатравские рыцари, и был убит ее брат Аласар, и он потерял половину своего королевства, и погибли она и ее отец.

И вот он уже опять готов идти в бессмысленный бой!

Он тупо уставился в пространство. Но он видел. Видел то лицо, что возникло перед ним на заброшенной могиле в Галиане, немое, красноречивое лицо Ракели.

Голос дон Родриго вывел его из оцепенения.

— Не зазнавайся, дон Альфонсо, — говорил каноник. — Не воображай, будто господь бог возлюбил тебя больше, нежели других. Не ради тебя отвел он от Испании войско халифа. Ты только орудие в руках господя бога. Не возомни о себе, что ты центр вселенной. Ты, дон Альфонсо, еще не вся Кастилия. Ты один из тысячи тысяч кастильцев. Научись смирению.

Альфонсо смотрел в пространство с отсутствующим видом, но он слышал. Он сказал:

— Я подумаю над твоими словами, друг Родриго. Я сделаю по слову твоему.

Альфонсо дал знать халифу, что согласен начать мирные переговоры. Однако халиф был победителем, он ставил много условий еще до переговоров. Между прочим, он требовал, чтобы Альфонсо отрядил посла в Севилью; весь свет должен знать, что Альфонсо — нарушитель перемирия с Севильей и зачинщик войны — побежден и просит мира у того, на кого напал первый. Альфонсо долго и упорно не соглашался. Халиф стоял на своем. Альфонсо покорился.

Но кого послать для переговоров в Севилью? Кто обладает рассудительностью, быстрой сметкой, гибкостью и хитрым умом, кто сумеет сохранить внешнее и внутреннее достоинство в таком щекотливом и унижительном деле? Манрике слишком стар. Посылать к неверным священнослужителя Родриго не годится.

Родриго предложил доверить переговоры дону Эфраиму бар Абба, старейшине альхамы.

Альфонсо сам уже думал об этом. Эфраим не раз проявлял свой ум в весьма затруднительных делах; кроме того, он еврей, ему легче, чем грандам и рыцарям, снести унижения, которым может подвергнуться в Севилье посланец Кастилии. Но Альфонсо думал об Эфраиме с неприязнью. Он все это время избегал встречи с ним, хотя и надо было обсудить вместе некоторые дела. Из тех трех тысяч ратных людей, которых выставила альхама, большинство убиты. Не будут ли евреи злобствовать на него за это? Не будут ли они злобствовать на него за смерть их Ибн Эзры?

Когда Родриго предложил в посланцы Эфраима, король не скрыл от него своих чувств. Медленно разжигал он в себе гнев и теперь громко высказал свои тайные помыслы.

— Все они, эти евреи, заодно, — проворчал он. — Уж конечно, Иегуда сговорился с Эфраимом. Я уверен, что они знают, где мой сын, где мой любимый Санчо. И если они не отдадут его по доброй воле, я возьму его силой. В конце концов, король я, а евреи — моя собственность. Я могу сделать с ними, что хочу, это сказал мне сам Иегуда. Я не потерплю, чтобы они перенесли свою месть на моего сына.

Родриго, испуганный этой вспышкой, не настаивал на назначении дона Эфраима.

Меж тем Альфонсо чувствовал все большее и боль-

шее искушение поговорить с Эфраимом. Однако он сам не знал, потребует ли он, чтобы тот отдал ему сына, или попросит поехать послом в Севилью. Он призвал дон Эфраима.

— Ты, конечно, слышал, дон Эфраим, — повел он речь, — что халиф хочет начать переговоры о мире. — И когда Эфраим молча наклонил голову, он вызывающе продолжал. — Тебе должно быть известно больше, чем мне, и ты уже знаешь его требования.

Дон Эфраим стоял перед ним, сухонький, старый, тщедушный. Его тревожило, что после поражения под Аларкосом и после убийства Иегуды дон Альфонсо ни разу не призывал его; очень возможно, что король, чувствуя собственную вину, сорвет досаду на евреях. Эфраим знал, что надо быть осторожным.

— Мы отслужили благодарственные молебны, когда враг снял осаду с Толедо, и просили господи и впредь не лишать тебя своей благодати.

Дон Альфонсо продолжал все так же язвительно:

— Тебе не кажется несправедливым, что господь бог и дальше не оставляет меня своей милостью? Вы, конечно, считаете меня виновным в гибели наших воинов и в убийстве вашего Ибн Эзры.

— Мы печалуемся и молимся, — ответил дон Эфраим.

Альфонсо спросил его без всяких обиняков:

— Итак, что известно тебе об условиях мира?

— Точно нам известно так же мало, как и тебе, — ответил Эфраим. — Мы полагаем, что халиф пожелает удержать всю местность к югу от Гвадианы. Он, несомненно, потребует, чтобы ты ежегодно вносил в его казну крупную сумму и выплатил большую контрибуцию севильскому эмиру. Кроме того, он, вероятно, потребует, чтобы новый мирный договор был заключен на очень длительный срок.

Альфонсо мрачно сказал:

— Может быть, лучше не идти на такие условия и продолжать войну? Или вы считаете эти требования уместными? — задал он коварный вопрос.

Эфраим медлил с ответом. Возможно, если он выскажется за переговоры и мир, король сорвет свою бессильную злобу на альхаме и на нем, на Эфраиме. Велик был соблазн уклониться от прямого ответа, отделаться почитательной, ничего не говорящей фразой. Но Альфонсо

примет это за согласие, он ведь только и ждет, чтобы его одобрили, и при малейшей поддержке будет продолжать свою бессмысленную войну. Но бог не сотворит второго чуда, Толедо погибнет, а вместе с ним и альхама. Покойный Иегуда, когда перед ним вставали подобные сомнения и трудности, не раз и не два советовал этому христианскому королю быть рассудительным и не нарушать мира. В течение целого столетия еврейские советники убеждали своих христианских монархов быть рассудительными.

— Если тебе, государь, угодно услышать откровенное мнение старого человека, — сказал он наконец своим слабым голосом, — то мой совет: заключай мир. Ты проиграл эту войну. Если ты будешь продолжать ее, мусульмане скорее дойдут до Пиренеев, чем ты до южного моря. Какие бы требования ни выдвинул халиф, если он удовольствуется границей к югу от Толедо, заключай мир.

Альфонсо шагал по комнате из угла в угол, глаза его опасно посветлели, на лбу залегли глубокие морщины. Еврей ведет дерзкие речи. Он, Альфонсо, прикажет схватить его и держать в самом глубоком подземелье замка до тех пор, пока старик не научится покорности и не отдаст ему Санчо. А сам соберет всех воинов и коней, которые еще уцелели, неожиданно нападет на мусульман и прорвет их ряды. Он знал, что это бессмысленные мечты, ему надо вести переговоры о мире, и посредником должен быть именно этот самый Эфраим. Но нет, нет, только не мир! Он покажет и Родриго и этому еврею, что дон Альфонсо еще жив! Но он — побежденный Альфонсо, и еврей прав, и он, Альфонсо, не безумец и не преступник, он отправит послов в Севилью и будет молить о мире. Король в нетерпении заметался по комнате, и за эту короткую минуту, за эту бесконечно долгую минуту он три раза менял свое решение.

Дон Эфраим стоял молча, в почтительной позе, в лице его не было страха, но сердце боязливо сжималось. Он следил глазами за королем. Он видел тяжелую борьбу, написанную на его лице.

Неожиданно Альфонсо подошел к нему почти вплотную, остановился, сказал сердито и вызывающе:

— Слушай! Ты так горячо ратуешь за мир, согла-

сишься ты отправиться в качестве моего посредника в Севилью?

Эфраим ждал всего что угодно от этого непонятного человека, ждал и плохого и хорошего, но только не того, что тот ему сейчас предложил. Он не скрыл своего изумления, отступил вопреки всякому придворному этикету на несколько шагов и, как бы защищаясь, поднял дрожащую старческую руку. Но раньше, чем он успел вымолвить слово, Альфонсо попросил неожиданно мягко:

— Пожалуйста, не говори сразу «нет». Сядь и подумай!

И вот они сидели друг против друга. Эфраим потирал пальцами одной руки ладонь другой. Всю свою жизнь старался он не быть на виду. Как настойчиво он отговаривал Иегуду от блестящих постов — и вдруг теперь должен взять на себя эту миссию, на которую будут устремлены глаза всех. И что бы он ни сделал, глупые, неблагодарные толедцы будут вопить об измене, и если король назначит его послом, явятся тысячи завистников. А между тем, наладив длительный мир, он окажет стране и еврейскому народу такую услугу, равную которой вряд ли кто оказывал раньше. Он, обычно холодный и расчетливый, пришел в смятение, разволновался. Сказать «нет» было очень заманчиво, но он подумал об Иегуде и понял, что его долг сказать «да».

— Халиф не жалуется евреям, — заметил он наконец.

— Он не очень-то жалуется и христиан, — возразил Альфонсо.

— Переговоры будут длительны, а я стар и немощен. Король пересилил себя.

— Не потому, что ты стар, и не потому, что ты немощен, говоришь ты «нет», — сказал он. — Ты боишься, что я слишком несговорчив и горд. Но это не так. Я понял, что человеку, которому судьбой нанесен такой удар, нельзя медлить и торговаться. Я не буду чинить тебе препятствия, я дам тебе широкие полномочия. Я готов выплатить большую контрибуцию севильскому эмиру, а также ежегодно вносить деньги халифу. Платить ему дань, — угрюмо закончил он.

— Я думаю, твой посредник мог бы договориться по этим вопросам, — осторожно, нащупывая почву, ответил Эфраим. — Но позволь мне узнать, государь, как ты

мыслишь о другом весьма важном пункте: о сроке перемирия. Я думаю, что халиф не согласится меньше чем на двенадцать лет перемирия. Подпишешь ли ты такой договор? И согласен ли ты соблюдать его?

Альфонсо опять чуть не вспылал. Уж не вообразил ли еврей, что он — его королевский духовник! И опять король разумом обуздал свой гнев. Когда он в тот раз допустил в Севильский договор условие «in octo annos — на восемь лет», оно с самого начала значило для него не больше, чем пустые слова, начертанные на пергаменте. Но эти три слова навлекли на страну полчища халифа, они убили его калатравских рыцарей. Дон Эфраим прав, напоминая ему, что теперь, заключив мир на двенадцать лет, он действительно должен будет соблюдать его все двенадцать долгих лет.

— Я вижу, ты хорошо вник в интересы халифа, — сказал он негромко и горько.

Эфраим ждал более гневной вспышки, он вздохнул с облегчением.

— Так поступил бы всякий, кто принимает близко к сердцу общее дело.

Альфонсо молчал, думал.

— Долгий мир тебе нужнее, чем мусульманам, — убеждал его Эфраим. — Ты еще не скоро сможешь вести войну, как бы пламенно ты того ни желал. Тебе нужен срок, всей жестоко разоренной христианской Испании нужен срок, чтобы оправиться.

Альфонсо сказал:

— Двенадцать лет. Ты требуешь многого, старик.

Эфраим ответил с обидой, даже резко:

— Прошу тебя, государь, не посылай меня в Севилью.

Альфонсо сказал:

— Согласен, пусть будет двенадцать лет.

Он встал, снова забегал по комнате.

— Я желаю, чтобы ты как можно скорей отправлялся в Севилью, — сказал он. — Сообщи, какие полномочия тебе нужны, и выбери сопровождающих лиц.

— Раз такова твоя воля, я приму участие в посольстве, — сказал Эфраим, — но только в качестве финансового советника или секретаря. Сдоблаговоли поставить во главу посольства одного из твоих грандов. Иначе ты уже с самого начала вызовешь недовольство мусульман.

Альфонсо ответил:

— Я включу в посольство двух моих баронов, а возможно, даже трех. Но все полномочия дам только тебе.

Эфраим низко склонился перед королем.

— С божьей помощью постараюсь привезти тебе не слишком тяжелый мирный договор, — сказал он и хотел идти.

Но дон Альфонсо не отпустил его. Он нерешительно сказал:

— Я собирался попросить твоего совета еще в одном деле. Мой покойный друг и эскривано дон Иегуда, должно быть, оставил очень богатое наследство. Я не думаю, что у него есть родственники, которые могли бы по праву претендовать на это наследство. Или, может быть, ты знаешь таких его родичей?

Дон Эфраим снова насторожился.

— В Сарагосе проживает дон Хосе Ибн Эзра, — сказал он, — родич дона Иегуды — будь благословенна память праведника! По нашим законам он имеет право на десятую часть наследства. Мой тебе совет, государь, отдай дону Хосе его долю. Он может оказать тебе немалые услуги в трудном деле — помочь получить по счетам на дебиторов, которые у дона Иегуды были по всему свету.

Альфонсо ответил:

— Пусть будет так, как ты сказал. Я думал также отдать часть наследства толедской альхаме.

— Ты очень щедр, государь, — сказал дон Эфраим. — Знаешь ли ты, что наследство очень велико? Архиепископ Толедский и дон Иегуда были самыми богатыми людьми в стране.

Король продолжал несколько смущенно:

— Всем остальным имуществом я прикажу управлять моим казначеям, пока не отыщется прямой наследник — сын доньи Ракель. Между прочим, уже изготовлены грамоты, — сказал он, собственно без особой связи с предыдущим, — согласно которым сыну доньи Ракель дарованы все права на титул графа Ольмедского. Они изготовлены еще при жизни дона Иегуды и с его ведома.

Эфраим сухо ответил:

— Твое полное право, государь, взять в казну все, что тебе будет угодно, из наследства, оставшегося после дона Иегуды, и никто не посмеет осудить тебя.

Альфонсо настойчиво, немного хриплым голосом сказал:

— Мой покойный друг Иегуда часто бывал с тобой; вероятно, тебе известно многое. Я не хочу настаивать и выспрашивать тебя, старик, что именно тебе известно. Но меня гнетет мысль, что мой сын живет среди вас и я не знаю его. Ты должен это понять. Неужели ты не поможешь мне?

Тон его голоса был просительный, ласковый, это и льстило Эфраиму, и настораживало его. Опасную задачу возложил на него его покойный друг-недруг.

Эфраим сказал:

— Никому, государь, не ведомо и теперь уже никто не может разведать, причастен ли дон Иегуда Ибн Эзра к исчезновению своего внука. Ежели он и был причастен, то, конечно, привлек к такому щекотливому делу только одного помощника, и помощника надежного, не болтливого.

Альфонсо почувствовал себя униженным, уничтоженным. Но против собственной воли он продолжал разговор:

— Я верю и не верю тебе. Я боюсь, что вы мне все равно не скажете, если даже вам что-нибудь известно. Меня мучает мысль, тебе я признаюсь, что мой сын вырастет среди вас, примет ваш закон. Я должен бы вас ненавидеть за это, и порой я вас ненавижу.

Эфраим сказал:

— Еще раз спрашиваю я тебя, государь, тебе действительно угодно, чтобы человек, о котором ты так думаешь, улаживал в Севилье дела твои и твоего государства?

Король сказал:

— Бывало, я питал злобу и против дона Иегуды, и все же я знал, что он мне друг. Ты стар и многоопытен, ты знаешь людей и понимаешь толк в делах. Я хочу, чтобы ты отправился моим представителем в Севилью. Я знаю, что лучше тебя мне никого не найти.

Эфраим почувствовал жалость, смешанную с удовлетворением. Он сказал:

— Возможно, наступит время, когда объявится тот или другой и назовется твоим исчезнувшим сыном. Мой совет, государь, не утруждай себя зря. Вероятно, это будет самозванец. Предоставь нам разузнать правду и ко

всем прочим твоим заботам не прибавляй еще и эту. Смирись, дон Альфонсо. У тебя хорошие дочери, благородные инфанты, которые в свое время станут великими монархинями. Твои внуки сядут на испанские престолы и с божьей помощью объединят государства нашего полуострова. — И он закончил свою речь неясными словами, но король понял его. — Дон Иегуда Ибн Эзра умер, его сын и дочь умерли. Если кто из его рода и уцелел — так это его внук. А дон Иегуда отрекся от ислама и возвратился в иудейство, в веру своих отцов, и это его завещание.

Дон Альфонсо понимал все значение того, что он предоставил улаживать последствия войны, которую проиграл, Эфраиму, еврею и купцу. Он отказался от опрометчивого рыцарского геройства, расстался с Бертраном, сказал прости своему прошлому, своей юности. Он не раскаивался, но почти физически ощущал отречение, пустоту.

Путь, на который он ныне вступил, не манил уводящими в сторону таинственными тропами, не вел в туманно-голубую мерцающую даль; трезвый и прямой, он неуклонно вел к честной и явной цели. Но раз уж он, Альфонсо, вступил на этот путь, он пройдет его до конца. Он сам наложит на себя цепи; ради сладостных его сердцу геройских подвигов не поставит он под угрозу горький мир, который взял на себя.

Он не спал всю ночь. Взвешивал, отбрасывал, снова взвешивал, решался, отбрасывал.

Решился.

С чуть приметной улыбкой сказал дону Родриго, что хочет восстановить епископства в Авиле, Сеговии и Сигуэнце и епископом Сигуэнцским надумал назначить его, дона Родриго.

Неприятно удивленный, Родриго спросил:

— Хочешь отделаться от докучливого пастыря?

Альфонсо улыбнулся, на лице его появилось прежнее мальчишески очаровательное, лукавое выражение.

— На этот раз ты несправедливо заподозрил меня, досточтимый отец, — сказал он. — Я хочу не отдалить, а приблизить тебя к себе. Но, если я не ошибаюсь, по церковным законам нельзя, чтобы каноник непосредствен-

но, без промежуточной ступени, был возведен на престол архиепископа Толедского.

Противоречивые мысли обуяли каноника. Его, дон Родриго, король хочет сделать примасом Испании! Да, он мог подать добрый совет, но о таком возвышении он, скромный человек, никогда и не мечтал; его очень удивило, что дон Мартин тогда опасался этого. Значит, отныне ему придется не только советовать и высказывать свое мнение, он должен будет распоряжаться самыми крупными денежными поступлениями, должен будет сказать свое веское слово, когда дело коснется войны или мира. Он был ошеломлен. Ему ниспосланы благодать и милость, но вместе с тем и тяжелое бремя.

Альфонсо видел, как взволнован дон Родриго, и полусуто, полусерьезно сказал:

— Правда, на несколько месяцев тебе придется уехать в Сигуэнцу, и я не буду видеться с тобой. Святой отец любит поторговаться. Не так-то скоро удастся мне убедить его, чтобы он дал тебе архиепископский паллий. Но я к этому готов и в конце концов добьюсь своего. Я хочу, чтобы ты был в королевстве первым после меня, — продолжал он с мальчишеским упрямством. — Ты принудил меня отменить испанское летосчисление, и все же я хочу, чтоб ты был примасом Испании.

Муса был потрясен новостью. Родриго уедет в Сигуэнцу! Как-то будет житья во враждебном Толедо без защиты каноника ему, мусульманину? Опять станет он бесприютным, одиноким скитальцем. Голым и неприветливым лежал перед ним последний отрезок его жизненного пути.

Однако собственная печаль не заслонила для мудрого, знающего людей Мусы то хорошее, что принесет эта перемена канонику, и он нашел слова теплого участия.

— Многочисленные обязанности на новом месте быстро положат конец твоей аседии, угрюмому раздумью последних месяцев. Ты будешь принимать решения и вершить делами, от которых зависят судьбы многих. А эта работа, — продолжал он взволнованно, — я надеюсь, побудит тебя снова взяться за твою летопись. Да, достойный мой друг, — с задумчивой улыбкой закончил

он, — тот, кто творит историю, испытывает соблазн писать ее.

И действительно, как только король предложил дону Родриго архиепископство, в душе каноника шевельнулся такой соблазн. Сперва король согласился на тяжелое бремя — на осторожного советчика Эфраима, а теперь по доброй воле ставит себя в зависимость от него, Родриго, невоинственного, миролюбивого человека. Только внутренне переродившийся Альфонсо мог сам навязать себе такую двойную обузу. А это сознание породило в душе дона Родриго слабый росток новой надежды и блаженное предчувствие, что вопреки его унылому мудрствованию в том страшном, что свершилось за этот год, был свой смысл. Но он запрещал себе давать волю этим ощущениям, он не позволял им складываться в ясные мысли, он не хотел пережить новое разочарование.

— Я даже не подумаю опять взяться за свою летопись, — запальчиво ответил он Мусе. — Я уничтожил весь собранный мной материал, ты это знаешь.

— Твоя академия может в короткий срок снова собрать нужный тебе материал, — спокойно ответил Муса. — Из моих материалов многое тоже может тебе пригодиться. Я охотно подберу их для тебя. Правда, сохранить с тобой связь будет нелегко, — продолжал он с померкшим лицом. — Кто знает, в каком уголке земли придется мне искать приюта, когда я лишусь твоей защиты.

Сначала Родриго не понял. Затем он поспешил успокоить друга.

— Что это ты придумал? Само собой разумеется, ты тоже поедешь со мной в Сигуэнцу.

Муса просиял. Однако правила мусульманской вежливости предписывали ему не соглашаться сразу.

— Не сочтут ли мое пребывание в сигуэнцском епископском дворце неуместным? Обрезанный домочадец вызовет немалое осуждение твоей паствы.

— Пускай, — коротко и угрюмо ответил Родриго.

Широкая счастливая улыбка все еще освещала не красивое лицо продолжавшего говорить Мусы.

— Позволь обратить твое внимание еще и на то, что теперь тебе особенно туго придется со мной. Ведь я не отступлю от тебя, пока ты снова не сядешь за свою летопись.

Уже сейчас, в Толедо, Муса подзадоривал друга и все время втягивал его в длительные историко-философские споры. Он стоял перед налом, что-то царапал и бросал через плечо:

— Не случайно то, что нам, мусульманам, пришлось отказаться от Толедо, когда город был, можно сказать, уже у нас в руках. Наше время, золотое время нашего могущества, к сожалению, прошло, и внутренние раздоры, которые отозвали халифа накануне полной победы, еще не раз повторятся. Это так же непреложно, как математические законы Альхорезма. Мусульманская мировая держава, при всей ее внешней мощи, одряхла. Она не прочна.

Как Муса и ожидал, Родриго пошел на эту приманку.

— Ты решаешься сказать, что ваше время прошло! — возразил он. — Но ведь вы победили! Наше войско уничтожено, ваша граница подошла к самому Толедо, наш гордый дон Альфонсо платит вам дань. — Он разгорячился: — Господство мусульман идет на убыль! Золотое время мусульман прошло! Три раза за последнее столетие выступали мы против вас с таким войском, какого не видел еще мир. Пятьсот тысяч христианских рыцарей погибли в этих крестовых походах и тысячи тысяч прочего христианского люда, не говоря уже о моровой язве, болезнях и нищете на родине у христиан. А святой град и посейчас еще, как и сто лет назад, в ваших руках. И ты жалуешься, что ваше царство приходит в упадок!

Муса вежливо возразил:

— Ты притворяешься менее мудрым, чем ты есть на самом деле, мой высокочтимый друг. Ты втискиваешь историю нескольких десятилетий или одного столетия в тесные рамки и рассуждаешь так, словно это замкнутый период. Но ведь не собираемся же мы, и ты и я, описывать только сегодняшний день и чуточку вчерашнего, ведь мы же стремимся установить смысл событий, мы хотим уяснить себе ведущую линию происходящего и, как истые божьи разведчики, указать ее будущим поколениям. И вот, к сожалению, выясняется, что ваши крестовые походы не были неудачными. Конечно, те земли, что вы завоевали за это последнее столетие, не стоили таких жертв. Но зато вы в избытке приобрели хозяйственный опыт, ты знаешь это не хуже меня, а также

бесценные политические и научные знания. Мы охотно, с самодовольством водили вас по своим мануфактурам, мы показывали вам, как мы воспитываем свою молодежь, как управляем городами, как творим суд. Вы были прилежными учениками и переняли у нас то, что у нас есть хорошего. Вы поняли, что в наш век важнее не рыцари, а ученые и сведущие люди, зодчие, и оружейники, и строители, и мастера, искусные в разных ремеслах, и опытные сельские хозяева. Вы молоды, вы растете, скоро вы догоните и перегоните нас. Вы потеряли пятьсот тысяч рыцарей, и все же побежденные — не вы.

Его слабый голос зазвучал громче. Кроткими, умными, чуть насмешливыми глазами смотрел он на друга. Тот молчал, не без удовлетворения признавая себя побитым.

Не раз вели они такие же разговоры, разговоры и споры, во время которых Родриго, к собственному удивлению, доказывал, что победили неверные, а Муса сомневался в конечной победе мусульман.

Однако чем дольше раздумывал Родриго над доводами друга, тем убедительнее казались они ему, тем большую внушали уверенность в своих силах. Он чувствовал себя молодым и обновленным. Его уже не мучили слова апостола Павла в Послании к коринфянам, в которых апостол противопоставляет немудрое божие премудрости мудрых. Вместо того в нем радостно звучали другие слова апостола: «Старое прошло, все обновилось». Вместо слепой веры, разрешавшейся блаженным экстазом, теперь в нем жила смутная уверенность, день ото дня крепнувшее ощущение: что бы там ни было, но происходящее в мире полно смысла. Он еще не мог облечь это ощущение в логически последовательные фразы. Да он и не стремился к ясности. Ему было достаточно знать о смысле истории столько, сколько святой Августин знал о смысле событий: «Когда ты меня не спрашиваешь, я знаю; когда ты меня спрашиваешь, я не знаю».

Меж тем слова Мусы все глубже проникали в сознание дона Родриго, и все горячее ощущал он желание стать разведчиком божьим и нащупать разумные пути в происходящем.

И все же он не решался снова взяться за свою летопись. Его удерживало новое сомнение.

— Я боюсь, — заявил он другу, — что влечет меня к моему труду не столько желание служить господу, сколько писательское тщеславие.

Муса лукаво посмотрел на него. Он притащил фолиант — «Житие блаженного Августина» и прочитал канонику, что написал о последних днях жизни святого его ученик Посидий. Августин был в ту пору архиепископом в осажденном вандалами городе Гиппоне. Из окон его дворца было видно, как пылает карфагенская земля. Августину было семьдесят шесть лет, он был очень хил и знал, что скоро умрет. Его заботила судьба осажденного города и всей захваченной врагом провинции. Но все же он перечитывал еще раз свои многочисленные писания, исправлял и изменял, желая, чтобы в библиотеке Гиппоны остался свободный от ошибок экземпляр каждого из его творений. Кроме того, он стремился закончить еще одну книгу, назначение которой было опровергнуть писания Юлиана Отступника. «Августин, праведнейший из всех епископов, — повествует Посидий, — умер в пятый день сентября месяца, на смертном одре он прилагал все усилия к тому, чтобы были отбиты натиски вандалов, и работал над своим великим полемическим трудом, направленным против Юлиана Отступника».

Муса поднял глаза от книги и лукаво спросил:

— Не хочешь же ты быть более святым, чем святой Августин, мой достойный друг? Прислушайся к голосу собственного сердца и подумай, — может быть, твои сомнения только благочестивое высокомерие?

Вечером того же дня Родриго приготовил большую стопу драгоценной белой бумаги и медленно, с наслаждением написал: «Начинается История Испании. Incipit chronicon regum Hispanarum».

Муса же, улыбаясь, заметил:

— Ни один порок не пускает столь глубоких корней, как порок сочинительства.

Мир, который привез дон Эфраим, был лучше, чем можно было ожидать. Но Эфраим не добился, — да, верно, и не очень добивался, — чтобы перемирие было установлено меньше чем на двенадцать лет.

Выслушав его подробный отчет, дон Альфонсо сказал:

— Я понимаю, что должен быть тебе благодарен. Я и благодарен. Я созову своих грандов, чтобы ты при них возвратил мне перчатку — знак возложенного на тебя поручения.

— Такая пышность совсем не пристала мне, — чуть не с испугом возразил дон Эфраим. — Да и альхаме от этого прибавится не друзей, а завистников.

Прищурившись, Альфонсо спросил, в самом ли деле Эфраим считает, что для восстановления хозяйства потребуется целых двенадцать лет.

Эфраим возмутился в душе. В свое время он настойчиво убеждал этого человека смириться и приготовиться к длительному миру. Только на таком условии он, Эфраим, и согласился взять на себя столь тяжкое поручение, а дон Альфонсо, едва успев заключить договор, уже помышляет, как бы его нарушить.

— Королевство твое, государь, находится в таком состоянии, что тебе, пожалуй, придется потерпеть даже больше, нежели двенадцать лет, — сухо ответил он. — Я не доживу до нового твоего похода, да и ты к тому времени будешь уже немолод.

И так как дон Альфонсо в досаде молчал, Эфраим утешил его:

— Примирись с этим, государь. Дон Иегуда хорошо потрудился тебе на благо. Он завязал деловые отношения, которые сохранились даже и после постигшего страну бедствия. Он всему миру доказал, какие богатства таятся в Кастилии, он упрочил твой кредит. Но чтобы извлечь пользу из его стараний, ты должен следовать намеченному им плану, он же трудился ради мира. В ближайшие годы не думай о своих рыцарях и баронах, которые только разоряют страну, думай о своих ремесленниках и хлебопашцах, думай о своих городах. И льготы давай им, давай им фуэрос, чтобы они могли противостоять твоим грандам.

Дон Альфонсо слушал с внутренним протестом, но со вниманием. Что поделаешь — ему раз и навсегда ближе мир рыцарства. У короля своя правда, а у старого еврея-банкира — своя. Философия его, Альфонсо, изложена в песнях Бертрана. Однако этот Эфраим, надо полагать, прав, и если он, Альфонсо, хочет через двенадцать лет начать победоносную войну, ему надо пока что ублажить низших. Надо дать горожанину и земле-

пашцу, словом виллану, место у себя в совете и взыскивать с рыцаря всякий раз, как тот избыт своего крестьянина или силой отберет у горожанина мошну. Какой это будет затхлый, скучный мирок, над какой жалкой Кастилией придется ему царствовать.

Тем временем дон Эфраим перешел к плачевному хозяйственному положению страны. Разработка копей в полном упадке, суконные мануфактуры, процветавшие стараниями дона Иегуды, разрушены или приведены в негодность, стада угнаны, овцеводство, бывшее до войны одним из важнейших источников дохода, совершенно запущено. Кастильский мараведи обесценен; за один арагонский мараведи требуют шесть кастильских. Чтобы спасти земледелие и ремесла от окончательной разрухи, нужно ослабить поборы и даровать много новых льгот. Эфраим пустился в подробности. Точно указал, какие налоги и пошлины надо снизить, а какие и вовсе упразднить. Приводил цифры, бесконечные цифры.

Когда дон Иегуда начинал подобные разговоры, ему удавалось хоть на короткий срок увлечь Альфонсо; но затем в короле закипала досада против этой скучной канители, недостойной его сана, и случалось, он грубо прерывал беседу. Теперь же, хотя Эфраим отнюдь не обладал блестящим красноречием Иегуды, дон Альфонсо все внимательнее вникал в нескончаемые цифры, вытекавшие одна из другой, — уж очень четко и убедительно умел считать этот старый еврей. Альфонсо не хотел признаться самому себе, что ему это даже нравится. Раз уж наступают такие безотрадные времена, не к чему закрывать на них глаза, а лучше как-нибудь приспособиться к ним. И до него такой же удел выпадал другим, великим и могучим монархам, например, королю Генриху, а ему, Альфонсо, уже и так дорого обошлась его слепота.

— Счастье еще, что ты, государь, в свое время разрешил Иегуде поселить в твоём королевстве шесть тысяч франкских беженцев, — рассуждал Эфраим, — среди них найдутся толковые люди, которыми ты сможешь заменить многих мастеров своего дела, павших в бою или сгинувших иным путем. Надо отдать должное дону Иегуде — да будет благословенна память праведника, — он-то...

Тут король прервал Эфраима.

— Я уже однажды предлагал тебе ведать мсей казней,— начал он. — Ты отказался. Должно быть, ты поступил разумно; в ту пору там и ведать-то было почти нечем и со мной моим советникам приходилось несладко. Казны теперь, пожалуй, еще меньше, зато я успел помнеть, что ты, надо полагать, заметил. Второй раз прошу тебя: будь моим альхакимом или — еще лучше — альхакимом майор.

Эфраим ожидал и боялся этого приглашения и восставал против него всей душой. Государственные должности всегда отпугивали его, а теперь он был стар, ему хотелось провести остаток дней у домашнего очага, на попечении близких и спокойно уйти из жизни. В нем поднялась вся его обида и ненависть к дону Альфонсо. Из бессмысленной рыцарской удали этот человек погнал на смерть те три тысячи воинов, которых предоставила ему альхама. У своего верного слуги Ибн Эзры он отнял и дочь и сына и самого его не выручил из беды. А теперь этот человек хочет впрячь в свой воз его, Эфраима, чтобы он помог ему осилить лежащий впереди крутой и тяжкий путь.

— Ты оказываешь мне высокую честь,— ответил он. — Но переговоры в Севилье были очень утомительны. А теперь меня ждут дела альхамы. Я очень стар, уволь меня от этого, государь.

По-мальчишески капризно Альфонсо возразил:

— А я хочу, чтобы у меня альхакимом был еврей.

Это было сказано нескладно и даже нелепо, но в этом прозвучала сердечность прежнего Альфонсо. Эфраим как бы заглянул ему в душу. Он понял, что этот человек хочет искупить свою вину перед покойным эскривано и, переломив себя, пойти намеченным Иегудой путем. Но он немного робеет и ищет, на кого бы вновь опереться. Если Эфраим примет эту должность и будет продолжать то, что начал Иегуда, он заведомо сократит себе жизнь. Но он увидел перед собой блестящие, настойчивые, насмешливые глаза Иегуды, услышал его гибкий, благозвучный голос, вспомнил их последнюю встречу. Кто-то ведь должен взять протянутую этим христианским королем жесткую, неопрятную руку и с тяжким трудом тащить его дальше по узкой и суровой тропе мира.

Эфраима знобило, несмотря на теплые одежды, и он в самом деле казался очень дряхлым и хилым. С усилием выдавливая из себя каждое слово, он сказал:

— Раз ты приказываешь, государь, я попытаюсь наладить хозяйство твоей страны.

— Благодарю тебя, — ответил Альфонсо и добавил, запинаясь: — Мне бы хотелось еще кое-что обсудить с тобой, дон Эфраим бар Абба. Я не всегда выказывал моему покойному эскривано такую благодарность, как следовало бы и какой награждал мой дед своего Ибн Эзру. Меня мучает, что и похоронили-то усопших наскоро, точно бедняков. Я не раз подумывал устроить им погребение на свой лад, сообразно их высокому званию. Но по зрелом размышлении я решил, что лучше будет *вам*, по вашим обычаям и с вашими почестями, похоронить моего покойного эскривано, а также донью Ракель, его дочь, которая была мне очень близка. Душой оба они оставались с вами, с вами до самого конца, и я буду тебе признателен, если ты устроишь им такое погребение, какое бы они сами пожелали себе.

— Ты предвосхитил мою просьбу, государь, — ответил дон Эфраим, — я позабочусь обо всем. Но окажи мне милость, позволь подождать с погребением, пока о нем не будут оповещены все те, кому захочется воздать последние почести дону Иегуде Ибн Эзра.

Вскоре после заключения мира донья Беренгела родила мальчика. Этот будущий король Арагона и Кастилии получил при крещении имя Фернан. Крестины были отпразднованы с большой пышностью. Для участия в празднестве в Сарагосу съехались все пять христианских монархов полуострова.

За пиршественным столом Альфонсо и Леонор сидели рядом, на возвышении. Донья Леонор была по-прежнему хороша собой, благосклонна и надменна, как подобает знатной даме, и, следуя куртуазным правилам, они с супругом обменялись множеством учтивых слов.

В этот день Альфонсо с полным правом мог чувствовать себя владыкой из владык, да он и был преисполнен сознанием своих заслуг и своего достоинства. Всего год назад страна была завоевана врагом, а сам он осажден

в своей столице. Как жестоко страдал он в ту пору от стыда, вспоминая Ричарда Английского. Тот на деле показал себя *miles christianus*, грозой мусульман, Мелек Риком. Он штурмом взял неприступную твердыню Акку и в открытом бою одержал блистательную победу над войском султана Саладина. И как же все переменилось сейчас! Огромные потери крестового воинства оказались почти что напрасными, после заключения незавидного перемирия святой град остался в руках неверных, а сам Ричард рассорился со своими союзниками, был заточен в австрийскую темницу и, беспомощный, томился там. Он же, Альфонсо, восседает здесь и снова, как прежде, считается могущественнейшим королем на полуострове. А его внук, которого сегодня приняли от купели, этот крепенький малыш Фернан, почти наверняка объединит Арагон и Кастилию и, быть может, по примеру своего прадеда Альфонсо Седьмого, возложит на себя императорский венец.

Но посреди этого блеска и процветания Альфонсо только сильнее ощущал, как все выжжено у него в душе. Он смотрел на донью Леонор и видел ее внутреннее опустошение. Он смотрел на свою дочь Беренгелу и в ее глазах, материнских больших зеленых глазах, видел необузданную гордыню, жажду все большей власти и почта. Он не сомневался, что она укоряет своего мужа в слабости за то, что после поражения Альфонсо тот не присвоил себе главенство на полуострове. Он не сомневался, что вся ее жизнь, все помыслы отныне отданы сыну, будущему императору Фернану, а что к нему, к отцу, у нее в сердце нет ничего, кроме неприязни и пренебрежительного равнодушия. Он стоит поперек дороги ее сыну и ее властолюбию, он ради утех сладострастия забыл свой королевский долг, он уже однажды чуть не погубил государство, принадлежащее ей и ее сыну, и, может быть, окончательно загубит его, прежде чем ее сынок Фернан успеет возложить на себя императорский венец.

Пажи, подносявшие королю кушанья, вина, утиральник, растерянно стояли и ждали. Он не замечал их. Ему вдруг стало ясно, как он обездолен посреди своих пяти миллионов кастильцев со всем их поклонением. Бесконечно одинокий, смотрел он невидящим взором в пустынный мир.

Дон Родриго с грустью заметил, что за своей благо-склонно-царственной маской Альфонсо застыл в глубоком и гордом раздумии. Каноник был исполнен горячей жалости и вместе с тем одержим фанатической любознательностью летописца и с рвением ученого наблюдал за Альфонсо. Верно, что дон Альфонсо *memoria tenax intellectu sарax, vultu vivax*. Он прочно хранит в памяти все события, он схватывает их своим острым умом, запоминает их, и они отражаются у него на лице. Да, на челе дона Альфонсо запечатлелось все им пережитое — буйные страсти, трудные, стремительные победы, горькие поражения, борьба с собой и познание. Глубоко залегли на лбу морщины, и складки прорезали щеки. Лицо стало летописью его жизни. Уже сейчас сквозь облик сорокалетнего мужчины проглядывают черты старца, каким он будет со временем.

На севере королевства, близ наваррской границы, во владениях баронов де Аро жил отшельник, налагавший на себя тягчайшие епитимии. Жил он в пещере, высоко на обрывистой круче Сиерры-де-Нейла. Только чудом мог он существовать там. Ибо он был слеп и не иначе как милость провидения хранила его, не давала ему оступиться над пропастями и оберегала от диких зверей. Молва гласила, что волки ползали перед ним и лизали ему руки.

Кающиеся грешники взбирались к нему наверх с приношениями, могущими удовлетворить его скудные потребности. Они просили, чтобы он наложил на них руки; ибо от рук его исходила благодать. По одному прикосновению к челу грешника мог он сказать, полностью ли отмолил тот свои грехи или нет. Слава об отшельнике и творимых им чудесах распространилась по всему полуострову.

А был этот пустынный тем самым Дьего, которого Альфонсо перед первой своей победоносной битвой при Аларкосе велел ослепить за то, что он заснул на часах.

Сеньоры же Дьего, бароны де Аро, были строптивыми вассалами, непокорными королю. Они объявили, что вследствие беспутства и нечестия последних лет город Толедо погряз в грехах, а потому нужно, чтобы Дьего отправился туда — посещение праведника пробудит

совесть толедцев. Про себя де Аро надеялись, что пребывание Дьего в столице причинит неприятности королю.

Жители Толедо толпами сбегались взглянуть на божьего человека и поклониться ему и все громче подымали голос, требуя, чтобы и король извлек для себя пользу из присутствия чудотворца.

Раньше, когда сияющий дон Альфонсо ехал рядом с носилками, где сидела Фермоза, они радовались его недозволенной радостью, от которой теплее становилось на сердце, и приветствовали его, и тот день, когда они встречались с ним, бывал для них праздничным днем.

Теперь же они испытывали благоговейную жалость, робость и затаенный ужас при виде человека, которого отметило и покарало провидение. Они желали ему полностью очиститься от греха и считали, что праведник сумеет помочь ему в этом.

Родриго видел в суете, поднятой вокруг Дьего, одно только непотребство и суеверие и чуял злой умысел баронов де Аро, а потому посоветовал королю не обращать внимания на Дьего.

Да и самому Альфонсо отшельник был в тягость. Его жег запоздалый стыд, когда он думал, с каким самохвальством рассказывал Ракели об ослеплении нерадивого часового и о сочиненном им, Альфонсо, по этому случаю изречении. Он вспоминал, каким замкнутым сделалось вдруг лицо Ракели, и знал теперь почему.

Но он заметил, что люди с ужасом смотрят на него, и понимал их, понимал, для чего они хотят его встречи с чудотворцем. И, кроме того, его разбирало любопытство поглядеть, каким стал этот пресловутый Дьего. Неужто он, Альфонсо, невольно превратил его в святого?

Когда он увидел слепца, ему ясно представился прежний Дьего. То был грубоватый малый, напористый, самодовольный, немного похожий на Гутьере де Кастро; неужели же перед ним действительно тот Дьего, которого он приказал ослепить? Дону Альфонсо было не по себе, он пожалел, что позвал слепца, и не знал, что ему сказать. Тот молчал тоже.

Наконец король, сам не вполне сознавая, что говорит, неуклюже пошутил:

— Как видно, истина, которую я в тебя вколотил так крепко, пошла на пользу.

— Кто это — я? — спросил Дьего.

Досадливое изумление короля все возрастало. Неужто слепцу не сказали, к кому его ведут? А он даже и не спросил?

— Я — король, — ответил Альфонсо.

— Я не узнал твоего голоса, — не удивившись и не смущаясь, ответил слепец, — и не чую ничего такого, что мог бы в тебе узнать.

— Я поступил с тобой несправедливо, Дьего? — спросил король.

— Бог повелел тебе сделать то, что ты сделал, — спокойно сказал слепец. — Но и сон, одолевший меня тогда, был ниспослан богом. Аларкос послужил местом сурового испытания для тебя не менее, чем для меня. Тогдашняя победа под Аларкосом ввела в соблазн дерзновенно отважиться на второе сражение. Для меня горе обернулось благословением. Я обрел мир. — И без видимой связи с предыдущим добавил: — Я слышал, Аларкос больше не существует.

Альфонсо подумал было сперва, что слепец, прикрываясь своей святостью, хочет посмеяться над ним, но слова эти были сказаны удивительно бесстрастно, словно их произнес кто-то третий, взиравший на обоих с недостижимой высоты, они не имели целью уязвить Альфонсо.

— Я молил бога, — сказал Дьего, — чтобы и тебе, государь, несчастье оказалось во благо. Дай посмотреть на тебя, — потребовал он и протянул руки. Альфонсо понял, чего он хочет, подошел ближе, и слепец ощупал его лицо. Королю было неприятно чувствовать костлявые пальцы у себя на лбу и на щеках. Все в этом человеке отталкивало его: наружность, речь, запах. Он поистине добровольно подвергал себя испытанию. А что, если это попросту фигляр, ярмарочный фокусник?

— Утешься, — сказал Дьего. — Господь даровал тебе силу смиренно ждать. *Quien po sae, se po lleva* — кто не падает, тот не может подняться. Сколько бы тебе ни пришлось ждать, у тебя на это достанет сил.

Альфонсо проводил слепца до порога и сдал на руки тем, кто его привел.

Наконец настал день, когда единоверцы вырыли тела Иегуды Ибн Эзра и его дочери, чтобы перевезти на кладбище в иудеи.

Это был теплый и пасмурный день ранней осени; скалу, на которой расположен Толедо, окутывала густая, зеленовато-серая мгла.

Иегуду и Ракель обернули в белые саваны. Положили, как предписывал обычай, в простые дощатые гробы, а внутрь насыпали горстку тучной, черной, рыхлой земли, земли Сиона. На Сионской земле покоилась теперь голова Иегуды, радевшего о возвеличении своего народа, и голова Ракели, мечтавшей о мессии.

Еврейские общины со всей Испании прислали своих представителей, многие прибыли из Прованса и из Франции, а некоторые даже из Германии.

Восемь почтеннейших мужей толедской альхамы подняли гробы на плечи и между деревьями и цветами, по усыпанном гравием дорожкам Галианы понесли к воротам. Там, где входящих приветствовала надпись «ала-фия», ждали другие, чтобы сменить их. А эти, пронеся гробы короткое расстояние, передали их стоящим наготове; ибо не было числа тем, кто домогался чести донести усопших до могилы.

Так, с плеча на плечо, подвигались гробы по знойной дороге к Алькантаре, к мосту, переброшенному через Тахо.

И молодой дон Вениамин нес короткое расстояние один из гробов, второй, гроб доньи Ракель. Ноша была легкая, но молодой человек еле волочил ноги — тяжким, гнетущим бременем придавило его горе.

Он пытался думами облегчить гнет. Думал о том, что те шесть тысяч беглецов из Франции, которых Иегуда, наперекор неистовому сопротивлению, впустил в страну, из докучливых пришельцев превратились в желанных сограждан. Все вышло не так, как ожидал он, Вениамин, а гораздо лучше. Не веря своим глазам, смотрел он, как отправился посланцем в Севилью его дядя Эфраим, как добился мира, а теперь всячески старался закрепить этот мир. Дело Иегуды не погибло, оно идет дальше. И король не только терпит это, он этому способствует. Но сколько смертей и горя потребовалось для того, чтобы вразумить строптивого рыцаря. И надолго ли?

Нельзя, чтобы личная неприязнь к королю толкала его на несправедливое суждение. Король *и в самом деле* изменился. Ракель добилась своего. Все вышло так, как в ее любимой сказке. Волшебник вдохнул жизнь в ком глины, но заплатил за это собственной жизнью.

Медленно шагал дон Вениамин с легкой ношей, с телом Ракели на плече, и, углубившись в свои думы, сбивался с шага, мешая и другим нести гроб.

Шесть тысяч поселенцев могут теперь жить полезной жизнью. Это ничтожно по сравнению с бесполезной смертью тысяч и тысяч, погибших в войнах за последние десятилетия. И все достигнутое ничтожно: крупица мира, привезенная Эфраимом, крупица разума, зародившаяся в короле. Это лишь крошечная искорка света в непроглядном мраке. Но эта искорка нового света светит, и если на него, на Вениамина, нападет страх, искорка своим светом разгонит страх. Тут ему и тем, кто шел вместе с ним, приспело время передать гроб другим, ожидавшим своей очереди. Теперь, когда он освободился от ноши и не должен был равнять шаг по другим, ноги его совсем отяжелели. Но он собрался с силами, выпрямился, продолжал думать. Горькую, упорную, неотвязную думу: нам дано двигать дело, но завершить его нам не дано.

Погребальное шествие достигло границы города — моста через Тахо. Широко распахнулись огромные ворота, дабы впустить усопших.

Дон Альфонсо приказал, чтобы его министру, которого так плохо отблагодарил Толедо, были оказаны самые высокие почести. Жители Толедо охотно повиновались приказу. На всех домах висели черные полотнища. Тесными и темными рядами стоял народ вдоль обычно столь пестрых улиц; вместо громкого гомона — приглушенный скорбный гул. По всему пути были выстроены королевские солдаты, и знамена с кастильским гербом склонялись, когда мимо проносили гробы. Люди обнажали головы, многие падали на колени, женщины и девушки громко оплакивали судьбу Фермозы.

Гробы несли крутыми улицами вверх, к внутреннему городу, и путь выбрали не самый короткий, шествие завершило и на Базарную площадь, на Сокодовер, дабы как можно больше народу могло поклониться усопшим.

У самого верхнего окна королевского замка, чтобы дольше следить за погребальным шествием, стоял Альфонсо, совсем один.

Он думал:

«Я даже не горюю. Я успокоился. Мне теперь чужды бурные страсти. Я стал лучшим королем. Мне бы надо радоваться этому. Но я не радуюсь.

Надо полагать, я доживу до своего победоносного похода и совершу его во главе объединенной Испании. Но и в тот миг, когда победа будет в моих руках, вместо горячей радости я почувствую только, что наконец-то исполнил свой долг, в крайнем случае я испытаю облегчение, но не счастье. Все счастье, какое было мне отмерено, осталось позади. Я обладал им, держал его в своих объятиях, оно льнуло ко мне, такое нежное, упоительно сладостное, но я по легкомыслию ушел от него прочь. А теперь они там внизу проносят мимо все то счастье, какое было мне суждено.

Двенадцать лет должен я ждать своего похода. Я никогда не умел ждать; жизнь для меня неслась вскачь, как резвый конь. А теперь она ползет, как улитка. Тянется год, тянется день. А я терплю, я даже не выхожу из себя. Хуже всего, что я научился ждать.

И в походе своем я постараюсь быть рассудительным. Ничего в нем не будет от прежней буйной, блаженной отваги. Кругом будут кричать: «А log, a log!» — а я не подхватчу этот крик».

Он постарался думать о том, ради кого пойдет воевать, о маленьком Фернанде; но образ внука был расплывчат, и от него не веяло теплом. Все вокруг Альфонсо было теперь удивительно смутно, туманно, нерезально.

Он думал:

«Мне сорок лет, но вся моя жизнь уже позади. Настоящему живо для меня только прошедшее. А настоящее заволокло чадом и пылью, точно поле в разгар битвы. И если когда-нибудь я одержу победу, ничего от этого не останется, кроме чада и тоски. Вот если бы я мог побеждать для моего сына, для моего Санчо, для моего милого бастарда! Но кто знает, где в то время будет мой Санчо? Должно быть, среди тех, кому мир важнее даже, чем победа».

Тем временем погребальное шествие достигло своей цели.

У толедских евреев было три кладбища — два за пределами городских стен, одно в самой иудее. На этом маленьком древнем кладбище находились усыпальницы самых знатных семей, и в том числе Ибн Эзров. Среди умерших Ибн Эзров здесь покоились такие, что вели свой род от потомка царя Давида, пришедшего на Ибе-

рийский полуостров вместе с Адонирамом, сборщиком податей у царя Соломона, о чем свидетельствовали надписи на их надгробных камнях. Еще покоились здесь среди умерших Ибн Эзров такие, что были купцами во времена римлян, банкирами, сборщиками податей, и еще такие, что жили в Толедо при готских королях и подвергались преследованиям и гонениям, и такие, что были при мусульманах визирями, знаменитыми врачами и поэтами. Покоился здесь и тот Ибн Эзра, который некогда построил кастильо, носивший их имя, и тот, который отстоял для императора Альфонсо Калатраву, — дядя Иегуды.

На это именно кладбище и принесли тела усопших.

Тесной скорбной толпой стояли провожающие, такой тесной, говорит летописец, что по их плечам можно было бы пробежать, как по земле.

На месте погребения Ибн Эзров были вырыты две новые могилы. В эти могилы положили Иегуду Ибн Эзра и дочь его Ракель, чтобы они упокоились рядом со своими предками.

Потом омыли себе руки и произнесли слова благословения.

И дон Хосе Ибн Эзра, как ближайший родственник, прочитал заупокойную молитву, которая начинается так: «Да будет провозглашаемо могущество и святость великого имени его...» А кончается: «Кто действует миротворно в высотах своих, тот да учинит мир нам и всему Израилю. Скажите: аминь!»

И тридцать дней во всех еврейских общинах на полуострове, а также в Провансе и во Франции творили эту молитву в память дона Иегуды Ибн Эзра, нашего господина и учителя, и доньи Ракель.

А по всей Кастилии, где бы ни собирались люди, на базарах и в харчевнях, жонглеры и бродячие певцы пели баллады о короле Альфонсо и его пылкой роковой любви к еврейке Фермозе. Глубоко в народную гущу проникали эти песни, и, будь то в праздник или в будний день, за едой или за работой и даже сквозь сон, каждый в Кастилии пел и напевал:

Так любовь, что ослепляет,
Сбила с толку дон Альфонсо,
И влюбился он в еврейку
По прозванию Фермоза,

Да, звалась она Прекрасной,
И не даром. И вот с ней-то
Позабыл король Альфонсо
Королеву.

Сам же дон Альфонсо больше ни разу не вступал в пределы Уэрта-дель-Рей.

Медленно дичали сады и разрушалась Галиана. Искрошилась и белая стена, окружавшая обширное владение. Дольше всего держались главные ворота, в которые вломились Гутьере де Кастро с приспешниками, чтобы убить Ракель и ее отца.

Я сам стоял перед этими воротами и читал полустертую арабскую надпись, которой Галиана приветствовала гостя: «Алафия — мир входящему!»

ПРИМЕЧАНИЯ

ЛЖЕ-НЕРОН

В 1935 г., выступая на Международном конгрессе писателей в защиту культуры, Лион Фейхтвангер говорил о романе, над которым работал в то время: «Мне все же легче изобразить людей, которые жили тысячу восемьсот семьдесят лет тому назад и подожгли при Нероне несколько общественных зданий в Риме, и я могу изобразить эти жалкие, тупые орудия реакционеров и милитаристов того времени с меньшим отвращением и большей убедительностью, чем тех, которые два года назад подожгли рейхстаг в Берлине, — жалкие, тупые орудия в руках реакционеров и милитаристов нашего времени».

Несколько позже, в письме переводчице своих произведений В. С. Вальдман, Фейхтвангер высказывается еще более определенно: «В данное время я работаю над историческим романом «Лже-Нерон». Действие происходит в 80-м году после рождения Христова и рисует судьбу человека, который тринадцать лет спустя после смерти Нерона подлинного с успехом выдает себя за умершего цезаря Нерона; это дает мне возможность нарисовать жизнь и судьбу Гитлера, что было бы невозможно без исторической маскировки, из опасения натолкнуться на цензурные затруднения» (письмо от 10 мая 1936 г., архив В. С. Вальдман).

Таким образом, писатель отчетливо сознавал актуальный и даже злободневный характер своей книги, намеренно стремился написать антифашистский памфлет на историческом материале. Может быть, именно то, что роман является мнимоисторическим, и заставило Фейхтвангера закончить его «списком первоисточников» — несколько иронически, если учесть, что в него включены считавшиеся у римлян священными и пророческими так называемые Сивиллины книги. И все же знакомство с этими первоисточниками, как и с исторической обстановкой в Римской империи изображаемой эпохи, может быть очень плодотворным для понимания романа.

Действие «Лже-Нерона» датируется совершенно точно: оно разворачивается в 80—81 гг. н. э. В прошлое отошли для римлян гражданские войны конца I в. до н. э., когда претенденты на еди-

ноличную власть вели кровавую борьбу с приверженцами старой республики и друг с другом. Как счастливое время вспоминалось правление первого императора, Октавиана Августа, стремившегося сохранить видимость республиканского режима. Но все еще вызывали боль и гнев воспоминания о кровавом царствовании Гая Калигулы (37—41 гг. н. э.), о развале государства и произволе временщиков при безвольном Клавдии (41—54 гг. н. э.), о терроре и беззаконии, царивших при Нероне (54—68 гг.). Последние императоры из дома Юлиев-Клавдиев (потомков Юлия Цезаря и Августа) уничтожили даже видимость республиканских свобод и открыто опирались на армию.

Еще при жизни Нерона недовольные полководцы стоявших в провинциях войск начали войну за власть. Изгнанный из Рима император кончает с собой на вилле своего вольноотпущенника. В это время всем стало ясно, что «солдаты получили власть убивать и создавать цезарей», как писал историк Дион Кассий. За два года после смерти Нерона царствуют три императора, провозглашенных в провинциях и в Риме и молниеносно свергающих друг друга; рядом с ними всплывают претенденты помельче, в их числе — несколько Лже-Неронов. Наконец, после двухлетней войны со сторонниками правившего в Риме Вителлия, садится на престол грубоватый, умный Веспасиан, сын провинциального сборщика податей. Суровой экономией и нещадными поборами, рациональным упорядочением администрации и жестокими расправами с непокорными народами удастся императорам новой династии Флавиев — Веспасиану и его сыну Титу — вывести Римское государство из кризиса, в который ввергло его самодержавное правление Юлиев-Клавдиев и новая гражданская война. Однако полного спокойствия империя не знала: продолжались военные столкновения на северных и восточных границах, появился новый Лже-Нерон.

Этот эпизод и использовал для фабулы своего романа Фейхтвангер.

Если мы просмотрим названные самим писателем исторические источники — произведения римских историков Тацита (ок. 55—120 гг.), Светония (ок. 75—160 гг.), Диона Кассия (ок. 160—235 гг.), а также византийцев Зонары и Ксифилина, составивших краткие изложения труда Диона Кассия, — то ни в одном из них мы не обнаружим подробностей о горшечнике Теренции, объявившем себя Нероном. В сохранившейся части «Истории» Тацита говорится о каком-то человеке, выдавшем себя за спасшегося от гибели императора и собравшем значительные силы на острове Китнос в Эгейском море; однако командиры римских кораблей, на которых самозванец хотел переправиться в Азию, передали его вла-

стям, и он был уничтожен. Правда, далее Тацит пишет, что это был лишь первый из Лже-Неронов, и обещает рассказать об остальных, но эти части его труда до нас не дошли. Дион Кассий совсем кратко сообщает о появлении мнимого Нерона, который был вскоре схвачен и подвергнут пыткам. Светоний, автор жизнеописаний двенадцати римских императоров, упоминает в конце биографии Нерона о самозванце, нашедшем убежище у парфян и с неохотой выданном ими Риму. И только Иоанн Зонара, византийский историк XI—XII вв., говорит несколько более подробно: «При нем (Тите. — С. О.) появился Лже-Нерон родом из Азии, по имени Теренций Máксим, похожий на Нерона и видом и голосом, к тому же умевший играть на кифаре. Он привлек на свою сторону кое-кого в Азии и дошел до Евфрата; вскоре он приобрел широкую популярность, но в конце концов бежал к Артабану, царю парфян. Тот, гневаясь на Тита, принял Лже-Нерона и собирался вернуть его в Рим». Конца этой истории Зонара не сообщает.

От этих скудных сведений отталкивался Фейхтвангер. Но, видимо, их скудость устраивала писателя, потому что давала ему возможность свободно развешивать фабулу и наделять героев, — не только вымышленных, как Варрон, Требоний, Филипп, но и исторических, известных нам лишь по имени, как сам Теренций или Цейоний, — необходимыми для его замысла характеристиками.

А замысел этот был продиктован не только ненавистью писателя к фашизму, но и теми взглядами на историю, которые выработались у Фейхтвангера еще в первых его романах. Мировая история для него есть непрерывная борьба сил разума и неразумия, варварства. Их победы и поражения временны, между ними царит вечное равновесие. И «лже-нероновщина» и гитлеризм — взрывы разрушительной стихии неразумия. Эта сила, одинаковая во все века, выдвигает во все века одинаковых «исторических деятелей». Поэтому писатель вправе наделять Теренция чертами Гитлера: позерством, лживостью, чудовищной жестокостью, а главное — несоответствием внутренней человеческой неполноценности и маниакальной уверенности в собственном величии, в своей мнимой «исторической миссии». Поэтому он может придать «фельдмаршалу» Требонию черты рейхсмаршала Геринга, а Кнопсу — черты Геббельса. Мало того: в цепи событий, сопутствующих возвышению Лже-Нерона, многое является отражением основных событий первых лет власти Гитлера. Наводнение в Апамее и обвинение в нем христиан — это провокационный поджог рейхстага и последовавшее за ним обвинение коммунистов. Процесс против христиан, моральная победа Иоанна с Патмоса — это Лейпцигский процесс и моральная победа Димитрова (хотя, конечно, последнего никак нельзя увидеть в

христианском пророке и великом актере). «Неделя ножей и книжало» — это не только кровавая «Кепениккерская неделя» в Берлине, последовавшая за поджогом рейхстага неделя убийств и погромов; даже такими частностями, как уничтожение классических произведений литературы, воспроизводит она обычную «методику» гитлеровского террора. Наконец, резня среди собственных приверженцев, учиненная Теренцием в ночь на 15 мая, это массовое убийство недовольных штурмовиков во главе с Ремом, проведенное Гитлером 30 июня 1934 г. Во время этой расправы чуть не погиб числившийся приверженцем Рема Геббельс (вспомним историю внесения Кнопса в проскрипционный список). Даже рознь между окружающими Теренция подонками и аристократами перенесена в Эдессу и Самосату из фашистского Берлина; а вызванное этой враждой убийство лейтенанта Луция намекает на устранение гитлеровцами популярного в немецкой армии генерала Шлейхера.

Не маскируя злободневности содержания своего романа, Фейхтвангер куда более смело, чем в трилогии об Иосифе Флавии, нарушает «римский колорит» повествования, модернизируя детали римского быта, давая современные наименования римским понятиям, вводя современные политические термины. Однако писатель умеет найти такую меру, что ощущение исторической достоверности у читателя все же не теряется. И только в одном можно увидеть серьезное искажение исторической правды в угоду антиисторической концепции.

И в «Лже-Нероне» Фейхтвангер не отказывается от своей идеи о вечном антагонизме Запада — мира целеустремленной деятельности, и Востока — мира мудрого отказа от деяния, пассивности, всего того, что писатель назвал «индийским мировоззрением». Идеал писателя — слияние Запада и Востока, тот идеал, который воодушевляет сенатора Варрона, которым якобы руководствовался в своей политике истинный Нерон. И вот, приписав Нерону эту высшую цель, писатель как бы проводит в романе реабилитацию «подлинного» императора — не имея на то никаких исторических оснований. Да, Нерон пытался упрочить империю — но дело кончилось тем, что несколько второстепенных зависимых царств было превращено в провинции. Нерон мечтал, в угоду своей мании величия, повторить походы Александра Великого на Восток — но дело кончилось набором легиона из рекрутов выше шести футов ростом, то есть опять-таки обычной для императора-актера «показухой». Наконец, мнивший себя артистом и покровителем искусств цезарь «вернул независимость» Греции — провинции Ахайе — ради ее славного прошлого (сделано это было во время «концертного турне» Нерона по городам Греции); однако этот жест не имел ни

малейших политических последствий. По сути дела, Нерон не имел политической программы по отношению к провинциям, так же как не имел ее и в Риме: все определялось произволом всевластного цезаря, который довел до последнего предела террористический режим единоличной власти.

Наоборот, «трезвые, бескрылые Флавии» в своей политике последовательно опирались на провинции, прежде всего — на провинциальную знать, которую они допустили в сенат. Именно при них быстрыми темпами пошел процесс экономической консолидации империи, превращения ее из суммы покоренных земель в единый политический и экономический организм. В эпоху Флавиев и их преемников окончательно вырабатывается та единая греко-римская культура, которая восприняла и множество восточных влияний; наиболее последовательным выражением заложенных в ней космополитических тенденций явилось христианство, провозгласившее, что «нет ни эллина, ни иудея». Увидеть эту сторону исторической действительности Фейхтвангеру мешает предвзятая концепция, от которой он сумел уйти лишь в поздних романах, в те дни, когда для него многое прояснил опыт победы над фашизмом и когда писатель ясно увидел, что является на самом деле прогрессивной силой истории.

«Лже-Нерон» впервые опубликован в 1936 г. в амстердамском издательстве «Керидо». На русском языке печатался в 1937 г. параллельно в двух журналах: «Интернациональная литература» и «Октябрь». В том же году вышел отдельными изданиями в Журнално-газетном объединении и в Гослитиздате.

Стр. 9. *Сирия* — римская провинция, охватывавшая всю территорию Переднего Востока от Евфрата на востоке до Средиземного моря на западе и от Синайского перешейка на юге до Армении на севере. Ею управлял наместник в ранге консула, обладавший высшей судебной, административной и военной властью.

Стр. 10. *Палатин* — один из семи холмов Рима, на котором находился императорский дворец.

...исключили из сенатских списков... — Право исключения из сената за недостойное поведение принадлежало при Республике особому должностному лицу — цензору, при Империи — императору, присвоившему полномочия цензора. В 73—74 гг. н. э. Веспасиан и Тит в должности цензоров провели пересмотр сенатских списков, исключив недостойных и включив многих италиков и провинциалов.

Арминий — вождь германского племени херусков, разбивший в 9 г. н. э. легионы римского полководца Вара.

Стр. 15. *Сатурналии* — декабрьские празднества в честь бога Сатурна, сопровождавшиеся многими забавами и пирами.

Стоики — греко-римская философская школа; во главу угла своей этики стоики ставили идеал мудреца, пренебрегающего земными благами и земными невзгодами, презиравшего жизнь и всегда готового к смерти. Это учение стоиков во многом повлияло на христианство. В императорском Риме стоицизм был широко распространен среди сенатской знати, оппозиционного режиму.

Стр. 20. *Клиент* — зависимое от знатного римлянина лицо, обязанное оказывать своему патрону мелкие услуги, ежеутренне приветствовать его, сопровождать при передвижении по городу, и получавшее от патрона финансовую поддержку и покровительство. Клиентами становились неимущие свободные граждане и вольноотпущенники.

Стр. 24. *...претенциозное имя Максим.* — По латыни «*maximus*» — величайший.

Стр. 28. *...Помпей, Красс ... сломали себе зубы на... Востоке.* — Неточность Фейхтвангера. Гней Помпей в 66—62 гг. до н. э. одержал блестящие победы на Востоке и присоединил к Риму новые провинции (Вифиния, Понт). Марк Лициний Красс был разбит парфянами в 53 г. н. э. и сам погиб в походе.

Стр. 33. *...большую речь Эдипа...* — монолог из последней сцены трагедии Софокла «Эдип-царь».

Стр. 34. *Мирон* (первая половина V в. до н. э.) — знаменитый греческий скульптор, автор прославленного «Дискобола». В эпоху поздней античности ему приписывали множество произведений прикладного искусства.

Вологез I — царь парфян, вел войну с Римом при Нероне и потерпел ряд поражений от римского полководца Гнея Домиция Корбулона. Однако Нерон, завидовавший славе Корбулона, отозвал его, и Корбулон покончил с собой, не дожидаясь приказа императора (67 г. н. э.).

Стр. 41. *...Великого царя Артабана...* — Великий царь — титул персидских монархов и парфянских властителей, унаследовавших восточную часть их державы. Артабан IV — царь из парфянской династии Аршакидов, преемник Вологеза, не признавший соправителя и брата своего предшественника, царя Мидии Пакора, и боровшийся с ним за парфянский престол.

Стр. 50. «*Демон*». — У Платона так называются духи-посредники между богами и людьми. Учитель Платона Сократ называл своим «демоном» внутренний голос, удерживавший его от дурных и неразумных поступков.

Стр. 51. *«Будет некогда день»* — цитата из «Илиады», IV, 165:

Будет некогда день, как погибнет высокая Троя,
Древний погибнет Приам и народ копьеносца Приама.

(Перевод Н. Гнедича)

Стр. 57. *...доспехами, украшенными головой Медузы.* — По мифологическим представлениям; голова чудовища — Горгоны Медузы — украшала панцирь богини Минервы или Юпитера. Однако в императорскую эпоху в доспехах с головой Горгоны нередко изображали обожествленных цезарей.

Стр. 59. *Богиня Рома* (Рома — по-латыни Рим) — официальное божество, олицетворение Рима. Его обязаны были почитать все римские провинции, посвящая храмы богине Роме и обожествленному императору.

Стр. 63. *Сенека* Луций Анней (4 г. до н. э. — 65 г. н. э.) — римский философ-стоик, драматург, политический деятель, воспитатель Нерона, впоследствии казненный им по обвинению в участии в заговоре против императора. Речь идет о приписываемой Сенеке, по в действительности ему не принадлежащей трагедии «Октавия».

Октавия — дочь императора Клавдия, выданная им замуж за его пасынка Нерона. Желая жениться вторично, Нерон сослал Октавию на пустынный остров, а потом приказал убить ее.

Сивиллины книги — «пророческие книги», в которых мифическая прорицательница — Кумская сивилла — якобы запечатлела все грядущие судьбы Рима. Сивиллины книги были предметом официального культа в Риме.

Стр. 64. *«Нет ничего могущественнее человека»* — неточная цитата из «Антигоны» Софокла (начало первой песни хора).

Стр. 65. *...прочеть перед публикой...* — Публичные чтения (так называемые «рецитации») художественных произведений были чрезвычайно популярны в Риме в I в. н. э. Чаше произведения читал сам автор, реже — актеры.

...слова Сенеки... — В трагедии «Октавия» Сенека выступает как одно из действующих лиц, так же как и вторая жена Нерона *Попнея*, и тень убитой им матери *Агриппины*.

Стр. 69. *«Учебник военного искусства»* — вымысел Фейхтвангера. Однако реальным прообразом этой книги послужило сочинение «Военные хитрости», написанное военным теоретиком Фронтинном (I в. н. э.).

Стр. 74. *...правом убежища, даруемым святилищем богини.* — По всему древнему миру преступник, укрывшийся на священной земле храма и тем более припадающий к алтарю, считался неприкосновенным.

Стр. 75. *...венец с зубцами и башнями...* — атрибут Кибелы, Великой Матери Богов, культ которой пришел в Грецию и в Рим с Востока.

Стр. 77. *...его колоссальной статуи, которой они в Риме отбили голову...* — На колоссальной статуе Нерона в Риме при Веспасиане была заменена голова, и статуя вновь воздвигнута в честь бога солнца (а не Веспасиана, как указывает Фейхтвангер).

Стр. 93. *...слова излетели из ограды ... зубов...* — цитата из Гомера, формула, многократно повторяющаяся в «Илиаде» и «Одиссее».

Стр. 99. *«Золотой дом»* — дворец, воздвигнутый Нероном в Риме и занявший огромную часть городской территории (свыше 270 га).

Стр. 101. *...около восьмьсот восемнадцатого года от основания Города...* — Римляне вели летосчисление от мифической даты основания города Рима — 753 г. до н. э. Таким образом, восьмьсот восемнадцатый год — 65 г. н. э.

Стр. 105. *Весталки* — хранительницы неугасимого огня богини домашнего очага Весты. Весталками становились в детском возрасте девочки из знатных семей, которые затем обязаны были тридцать лет служить богине и хранить чистоту.

Священная дорога — одна из главных улиц в Риме.

...поднималась бы на Капитолий рядом с императором... — Раз в год старшая весталка вместе с верховным жрецом (в годы Империи эту должность занимал обычно император) поднималась на Капитолий в храм Юпитера для торжественного моления о благе государства.

Стр. 114. *...сладостно и почетно умереть за отечество...* — цитата из Горация («Оды», книга III, ода 2).

Стр. 119. *«Отступление десяти тысяч»*. — В 401 г. войско греческих наемников приняло участие в походе претендента на персидский престол Кира против царя Артаксеркса. После поражения Кира десять тысяч греческих воинов под началом историка Ксенофонта в течение шести месяцев отступали через горы Курдистана и Армении, зимой, под ударами врагов, к Черному морю.

Стр. 122. *«Нерон» означает «Муж»*. — По сведениям античных авторов, слово «нерон» на языке италийского племени сабинян, слившихся с римлянами, означало «отважный», «мужественный».

Стр. 130. *«Рыжебородый Малыш»*. — Рыжебородый — буквальный перевод родового имени Нерона Агенобарб.

Акте — вольноотпущенница и первая любовница Нерона, связь с которой продолжалась до смерти императора. После самоубийства Нерона Акте похоронила его в родовом склепе его родного отца Домиция (а не у себя в имени, как указывает Фейхтвангер).

Стр. 132. *Коммагена* — полузависимое княжество на севере провинции Сирия.

Стр. 139. *...офицером — носителем орла Четырнадцатого легиона.* — Знаменем римского легиона служил увенчанный серебряным орлом шест с медальонами, изображавшими императора. Обычное название такого знамени — «боевой значок легиона». Носителем орла был «примипиларий» — командир подразделения самых опытных солдат.

...во время Армянской и Иудейской войн... — Армянская война — поход римских войск во главе с Корбулоном на Армению в 54—60 гг. н. э. Иудейская война — покорение восставшей Иудеи войсками Веспасиана и Тита в 66—70 гг. н. э.

...получил пурпурный флажок... — Фейхтвангер точно перечисляет римские военные награды: пурпурный флажок, бляхи, надевавшиеся на руку и на грудь либо украшавшие сбрую коня, и разного рода венки.

Стр. 145. *...волчицей — Римом?* — Волчица, вскормившая, по преданию, основателей города — Ромула и Рема, стала символом Рима.

Стр. 155. *...когда он начал войну с Вителлием...* — Веспасиан, провозглашенный своими войсками в Иудее императором, начал войну против сидевшего в Риме императора Вителлия и победил его.

Стр. 158. *...широкую пурпурную кайму — знак высшей власти...* — Тунику с широкой пурпурной каймой носили сенаторы и высшие должностные лица.

Стр. 169. *...христиане ... подожгли ... город Рим?* — Версия, будто виновниками знаменитого пожара в Риме в 64 г. н. э. были христиане, приводится уже древними авторами — Светонием и Тацитом.

Стр. 171. *Апамея.* — Ошибка Фейхтвангера: город Апамея находился не на Евфрате, а близ реки Оронта, западнее Евфрата.

Стр. 176. *«Черепаша»* — тактический прием римлян, применявшийся для приступа крепостей: воины поднимали над головами щиты и смыкали их, образуя сплошную кровлю, на которую иногда взбирались новые ряды штурмующих.

Стр. 178. *...покажет свое искусство ... коринфянам, афинянам...* — В 66 г. н. э. Нерон совершил «концертное турне» по Греции и выступил как актер и чтец в Коринфе и Афинах.

...своего гения... — По верованиям римлян, гений — дух-покровитель, сопутствующий человеку с рождения. День рождения человека есть праздник его гения.

Стр. 179. *Башия Мецената* — находилась в бывших садах Мецената, видного политического деятеля эпохи Августа, завещанных им

цезарям. Нерон, расширив свой дворец до садов Мецената, очевидно, соединил ее переходом с «Золотым домом».

Стр. 190. *...обвиняется в оскорблении величества.* — Закон об оскорблении величества, установленный Тиберием и каравший всякого за непочтительное слово или действие, затрагивавшее императора или государство, допускал самые произвольные толкования. Это давало широкий простор деятельности доносчиков, обильно распространившихся в Риме, и произволу императоров.

Стр. 191. *Когелет* — еврейское имя мнимого автора той книги Библии, которая по-гречески именуется Екклезиаст. Оба эти слова означают «проповедник».

Стр. 207. *Ниоба* — мифическая царица Фив, мать четырнадцати детей, возмнившая себя счастливее Латоны — матери Аполлона и Артемиды. За гордыню Аполлон и Артемида истребили всех детей Ниобы.

Поликрат — тиран острова Самоса; убоявшись своего чрезмерного счастья, выбросил в море свой любимый перстень, но боги не приняли его жертвы, и рыбак вернул Поликрату кольцо, найденное в желудке рыбы. Вскоре Поликрат был предательски убит в Персии.

Стр. 212. *Рецитация* — см. прим. к стр. 65.

Стр. 215. *Путолы* — приморский городок близ Неаполя.

Велитры — городок в Лации, у подножья Альбанской горы.

Стр. 216. *Гермы* — четырехгранные колонны, увенчанные головой бога Гермеса, а позднее и других божеств.

Стр. 221. *...поэт по имени Италик.* — Имеется в виду Силий Италик (ок. 35—101 гг. н. э.), второстепенный поэт, автор эпической поэмы «Пуническая война», приближенный Нерона, Вителлия, при Веспасиане — проконсул провинции Азия.

Стр. 228. *...слово «идея»... в платоновском смысле...* — Имеется в виду учение философа Платона (427—347 гг. до н. э.) об идеях — нематериальных, постигаемых лишь разумом образах всех предметов, существующих до этих предметов и независимо от них.

Стр. 244. *Гречанка, отдавшая жизнь за то, чтобы похоронить тело брата...* — Антигона, дочь Эдипа, нарушила запрет и похоронила брата, пришедшего завоевывать родные Фивы и погибшего в поединке. За это Антигона была погребена заживо. Судьба ее — сюжет одной из лучших трагедий Софокла.

Стр. 245. *...кораблекрушении, с помощью которого Нерон пытался убрать с пути свою мать.* — Нерон, желая погубить свою мать Агриппину, придумал особый рассыпающийся корабль и послал на нем мать в море. Когда ставленники Нерона попытались совершить преступление, Агриппина спаслась вплавь. Вскоре, однако, она была зарезана по приказу сына.

Стр. 246. *...как мыши летучие...* — «Одиссея», XXIV, 6.

Стр. 259. *...стиль и навоощенные дощечки...* — Римляне писали на покрытых воском дощечках остроконечной металлической палочкой — стилем — или же тростниковым пером на пергаменте либо папирусе.

Стр. 262. *Проскрипционный список* — одно из террористических средств борьбы за власть, использовавшихся во время гражданских войн в Риме в I в. до н. э. Всякого внесенного в проскрипционный список мог убить любой человек, получавший за это долю имущества убитого.

Стр. 272. *Цинна* Гельвий — поэт, народный трибун 44 г. н. э., сторонник Цезаря. О его поэме «Смирна» известно из стихотворения друга Цинны, поэта Катулла. *Цинна* Корнелий — политический деятель, один из активных участников заговора против Цезаря. После погребения убитого Цезаря «народ, встретив по пути Гельвия Цинну, убил его, спутав по имени с Корнелием Цинной, которого искали за его произнесенную накануне в собрании речь против Цезаря; голову Цинны вздели на колья и носили по улицам» (Светоний, Божественный Юлий, 85).

Стр. 282. *Геракл пустился в путь, чтобы изловить трехглавого пса.* — По мифу, Геракл спустился в царство мертвых и вывел оттуда трехглавого пса — стража подземного царства, Цербера (двенадцатый подвиг Геракла).

Стр. 288. *Клит* — один из приближенных полководцев Александра, спасший ему жизнь в битве на реке Граник (334 г. до н. э.) во время похода против персов. Когда Александр, завоевав Персию, повел себя как восточный деспот, среди его македонских приближенных возникла оппозиция. Очевидно, следствием этих разногласий и было убийство Клита Александром (328 г. до н. э.) на пиру в Мараканде (ныне Самарканд).

Стр. 289. *...Брут осудил своих сыновей...* — Сыновья Луция Юния Брута, первого римского консула (509 г. до н. э.), освободившего Рим из-под власти царей, приняли участие в заговоре с целью вернуть в Рим изгнанного царя Тарквиния и за это были приговорены к смерти отцом.

Стр. 295. *«Лучше б хотел я живой...»* — «Одиссея», XI, 489—491.

Стр. 296. *...фурии у Эсхила гонятся за Орестом...* — Фурии (греч. Эринии) — чудовищные богини мести. В трагедии Эсхила «Эвмениды» хор фурий преследует матереубийцу Ореста, сына Агамемнона, отомстившего матери своей Клитемнестре за убийство отца.

Стр. 314. *Послы скифов, аланов...* — Неточность Фейхтвангера. Аланы — одно из племен сарматов, вытеснивших скифов с территории на юге европейской части нашей страны. Аланы жили на Северном Кавказе и в междуречье Волги и Дона.

Стр. 316. *«Здесь Родос, здесь прыгай»* — пословица, смысл которой: докажи свои слова на деле. Фразу эту будто бы произнес некий спартанец, чтобы сбить спесь с хвастуна, похвалявшегося, как далеко он сумел прыгнуть на острове Родос.

Стр. 319. *...мы выслали из Рима писателей, вроде Музония или Диона из Прусы...* — Музоний Руф — философ-стоик, изгнанный из Рима при Нероне в 65 г. н. э. и затем вернувшийся в столицу. Дион из Прусы — выдающийся греческий оратор и философ. Был изгнан из Рима при Домициане в 87 г. н. э., после описываемых в романе событий.

Стр. 341. *Квинтилиан* Марк Фабий (ок. 35—95 гг. н. э.) — знаменитый римский преподаватель и теоретик красноречия, автор капитального труда «Воспитание оратора».

С. Ошеров

ИСПАНСКАЯ БАЛЛАДА

«Испанская баллада» (в подлиннике книга называется «Еврейка из Толедо») — предпоследний роман Л. Фейхтвангера. Он написан в 1954 и вышел в свет в 1955 г. в ФРГ (Гамбург) под названием «Испанская баллада» — «Spanische Ballade», Hamburg, 1955, а через год — в ГДР (Берлин) — «Judin von Toledo», Aufbau-Verlag, Berlin, 1956.

Сюжет книги, заимствованный из испанской средневековой хроники, не раз использовался в произведениях художественной литературы. Фейхтвангер был знаком со многими из них, а некоторые, например, драмы Лопе де Вега и Грильпарцера, оценивал довольно высоко. Что же побудило его самого обратиться к старинной истории о любви кастильского короля и прекрасной еврейки?

Общезвестен взгляд Фейхтвангера на исторический роман, в котором он видел возможность отразить насущные проблемы своего времени. Историческая аллегория, по словам Фейхтвангера, помогает «как можно правдивее передать собственное мироощущение, собственную эпоху, собственную картину мира». А картина современного мира к 1954 г., году написания романа, то есть спустя почти десять лет после разгрома фашистов во второй мировой войне, внушала писателю глубокую тревогу.

Даже в годы, когда мир торжествовал победу над фашизмом, вновь прозвучала проповедь войны и расовой ненависти. Фейхтвангер считал своим долгом разоблачить доступными ему средствами разрушительные идеи милитаризма и расовой нетерпимости. В истории короля Альфонсо он увидел пример того, как губительно без-

удержное стремление к войне, воплощенное в средневековом рыцарстве. Осуждая рыцарство, Фейхтвангер направлял удар против идеологии и мертвых и живых фашистов, видевших в рыцарском культе войны идеал и образец для подражания. В послесловии к берлинскому изданию романа Л. Фейхтвангер так объяснил свое обращение к этому эпизоду испанской истории: «...Пока идея рыцарства увлекает и хранит гибельную живучесть, история Альфонсо и Ракели касается и нас. Ученые того времени спорили, позволительно ли нападать на врага, чтобы предупредить его нападение; они пытались выяснить, постыдно ли платить за мир дорогой ценой. Мне хотелось попытаться вновь вдохнуть жизнь в людей, которые бились над этими вопросами. Я говорил себе, что тот, кто запово расскажет об этих людях, напишет не только историю, он освежит и наполнит смыслом проблемы нашего времени».

Фейхтвангер тщательно изучал события, о которых писал. Даже самый текст его исторических романов носит следы этой работы: писатель постоянно цитирует старинные документы, свидетельства современников и проч. Однако, стремясь передать дух и идеи своего времени, писатель не старается во всем следовать букве истории. Именно этим совершенно сознательным отношением к исторической основе романа объясняются некоторые отклонения от фактов и терминологические анахронизмы у Фейхтвангера, в том числе и в его «Испанской балладе».

Каковы же факты истории и как они преломляются в этом романе?

История Альфонсо и Ракели относится ко второй половине XII в. Король Альфонсо VIII, сын кастильского короля Санчо III, вступил на престол малолетним в 1158 г. и правил более полувека — до 1214 г. Однако события, легшие в основу сюжета, едва занимают одно десятилетие этого царствования и относятся в целом к 80-м годам XII в.

Эпоха раннего средневековья была для Испании одной из самых бурных страниц ее истории. Эта бывшая римская провинция сначала подверглась нападению варваров, а в конце V в. была почти целиком завоевана пришедшими с севера Европы вестготами и около трехсот лет просуществовала как вестготское христианское королевство. К тому времени в Аравии образовался могущественный Арабский халифат, постепенно распространявший свою власть на соседние области, в том числе и на страны древней культуры — Персию, Вавилон, Византию. Стремление к завоеванию новых земель привело арабов в северную Африку, где вскоре образовался халифат, фактически независимый от Азиатского (центр последнего к тому времени переместился в Багдад). Вторжение арабов в 711 г.

на Пиренейский полуостров положило начало длительному господству их в Испании. Войска халифата нанесли несколько крупных поражений вестготскому королю. Испанцы были оттеснены к северу и в труднодоступных местах (например, в Стране Басков и Астурии) образовали небольшие христианские княжества, впоследствии превратившиеся в очаги реконкисты — обратного завоевания испанцами Пиренейского полуострова.

К началу реконкисты, то есть к середине VIII в., Испания фактически не существовала как единое государство. В то время как северо-западные области — Астурия, Галисия — в своих гражданских и политических институтах наследовали вестготскую традицию, северо-восток — Каталония и Наварра, составлявшие часть созданной Карлом Великим Испанской марки, — более тяготели к южным франкским землям, чем к своим соседям на полуострове. Тем не менее в ходе реконкисты испанским графствам и королевствам удалось преодолеть эту разобщенность и создать сильные государственные объединения, оказавшиеся способными в течение нескольких веков отвоевать у арабов захваченную ими Испанию и к XV в. окончательно освободить Пиренейский полуостров. В то время как в ходе реконкисты шло, хотя и далеко не гладко, объединение испанских земель, арабские государства в Испании после трехвекового периода яркого расцвета пришли в упадок и обнаружили устойчивую тенденцию к дроблению. В результате мелкие арабские государства не смогли сопротивляться натиску объединенных сил испанцев, и арабскому господству на Пиренейском полуострове в XV в. был положен конец.

Роман Фейхтвангера относится к тому периоду реконкисты, когда в руках христианских королей находилось уже примерно две трети территории полуострова. Время расцвета испанского арабского государства миновало, однако отвоевание страны было для испанцев делом далеко не легким и потребовало еще несколько веков объединенных усилий. Обе стороны к этому времени проделали длительный и сложный путь развития. Некогда могущественная арабская держава на Пиренейском полуострове значительно ослабела, но временами еще способна была давать отпор стремительному натиску испанцев. Завоевание Испании арабами, или маврами¹, оказало огромное влияние на дальнейший ход испанской

¹ Арабов, завоевавших Испанию, часто называют маврами, потому что они пришли из Северной Африки, покорив там территорию, называемую Мавританией, страной мавров. Мавры — берберские племена, которые также вошли в арабское войско, двинувшееся в Европу.

истории. Хотя арабы, оставили нетронутыми существовавшие при вестготах социальные отношения и крестьяне так же, как и раньше, были закабалены, во многом арабские завоеватели были на голову выше своих вестготских предшественников. Завоевав до Испании области высокой культуры, арабы стали посредниками между древней цивилизацией и средневековой Европой. Арабы создали на Пиренейском полуострове Кордовский эмират, который в X в. достиг замечательного расцвета и при эмире Абд ар-Рахмане III был превращен в халифат, то есть самостоятельное независимое исламское государство. Арабы творчески переработали культурное наследие завоеванных народов. В IX—XII вв. выдвинули из своей среды выдающихся философов, математиков, врачей. Нуждаясь в войнах и средствах для защиты своих завоеваний, арабы Кордовского халифата долгое время проявляли расовую и религиозную терпимость по отношению к завоеванному населению. На территории халифата оказались живущими бок о бок совершенно различные этнические и религиозные группы. Здесь были и романизированные жители римской провинции, и вестготы — западная ветвь готов, — пришедшие в Испанию с берегов Балтики, и евреи, и арабы, и берберы — потомки завоевателей. Были среди испанцев арабы, принявшие христианство, и христиане, принявшие ислам. Арабская администрация не препятствовала общению этих групп друг с другом и извлекала из своей терпимости экономические выгоды, взимая налоги с немусульман. Для некоторых из них, например, для евреев, гибель вестготского государства и приход арабов были спасением, ибо при вестготах, особенно к моменту арабского завоевания, евреи были лишены всех прав, обобранны, насильно обращались в христианство и фактически были низведены до положения рабов. В Кордовском халифате евреи вновь получили те же права, что и другое немусульманское население. Относительная свобода дала евреям мусульманской Испании возможность укрепить экономически и сыграть значительную роль в испанской средневековой истории. Это время выдвинуло из среды испанских евреев крупнейших философов, поэтов и ученых. При дворах эмиров и халифов евреи часто занимали высокие посты.

Религиозная и расовая терпимость, характерная для первых веков Кордовского халифата, сказалась и на других группах населения. Свободно заключались браки между мусульманами и христианами, при этом от супруга или супруги не требовалось перехода в ислам. Такие категории, как *мосарабы* — христиане, постепенно утратившие свой язык и говорившие по-арабски, и *мува́ллады* — мусульмане испанского (т. е. римско-вестготского) происхождения, также чувствовали себя свободно и могли открыто исповедовать

христианскую веру или пользоваться латинским языком. Только для поступления на службу арабы требовали безупречного владения арабским языком.

Через арабов и евреев и остальная Европа познакомилась с трудами великих ученых древности и достижениями современной ученой мысли. Арабы развивали ремесла, население испанских городов, находившихся под властью халифата, бурно росло. Так, центр халифата Кордова насчитывал в X—XI вв. около полумиллиона жителей. Однако удержать централизованную власть в халифате арабским халифам не удалось, центробежные тенденции формирующегося феодального общества одержали верх, и в 1031 г. Кордовский халифат окончательно рассыпался на мелкие государства — эмираты с центрами в Севилье, Гранаде, Кордове и других городах Испании. Тем временем на севере Испании шло объединение испанских земель, хотя и оно сопровождалось феодальными распрями. В XI в. при помощи военных завоеваний и династических браков было создано королевство Наварра, объединившее территории Кастилии, Леона, Арагона, Наварры и баскские земли. Такое объединение могло собрать против арабов значительные силы. У испанцев было много причин стремиться к реконкисте. Хотя важную роль в реконкисте играло рыцарство, основную массу войска составляли крестьяне. Для них отвоевание новых территорий означало полное или частичное освобождение от крепостной и полурабской зависимости. Крестьяне селились на опустошенных войной землях вольными общинами, с которыми короли, нуждаясь в солдатах, должны были считаться. Большую роль играла в реконкисте и церковь, также заинтересованная в расширении своих и без того немалых владений. Церковь стремилась придать войне против мусульман религиозный характер, тем более что в Европе началось в то же время мощное движение на восток под предлогом отвоевания христианских святынь в Палестине у «неверных», названное крестовыми походами. Короли и феодальные сеньоры северных областей Испании, стремясь к расширению своих владений, в начале XI в. добились кое-каких успехов, но междоусобная борьба значительно сдерживала их продвижение на юг. И все же с распадом халифата в 1031 г. христианские королевства стали преобладающей силой в Испании, несмотря на то что северо-африканский альморавидский халиф Юсуф (альморавиды — фанатичные последователи ислама, которые захватили власть в Северной Африке и создали альморавидскую династию) в 1086 г. нанес Альфонсо VI тяжелое поражение, а через несколько лет вновь явился в Испанию и подчинил себе испанские эмираты. Альморавидов сменили мавры из Северной Африки, называвшие себя альмохадами.

Именно с альмохадами и столкнулся герой романа Фейхтвангера Альфонсо VIII, когда во главе кастильского войска продолжил отвоевание испанских земель.

Альфонсо VIII был достаточно дальновидным, хитрым и энергичным политиком, но не относился к числу выдающихся монархов Испании. Фейхтвангер, однако, не раз выбирал своих героев среди второстепенных деятелей истории, считая, что это помогает ему выразить идеи своего времени. Альфонсо VIII досталась тяжелая молодость. Дед его Альфонсо VII разделил свое королевство между двумя сыновьями, хотя всю жизнь лелеял мечту о создании сильного централизованного испанского государства. Непоследовательность деда стоила внуку немалых неприятностей. Оставшись в трехлетнем возрасте сиротой и королем Кастилии (1158 г.), Альфонсо VIII оказался игрушкой в руках двух знатнейших родов Кастилии — де Кастро и де Лара, боровшихся между собой за регентство. Едва вступив в юношеский возраст, Альфонсо VIII начал отвоевывать территории, отобранные до этого у Кастилии наваррским королем. Война с соседями дополнялась внутренними беспорядками. Высшая кастильская знать обладала почти неограниченными правами и могла переходить вместе со своими вассалами (и, разумеется, с землями) в другие королевства и графства. Поэтому границы королевства часто менялись, и увеличение территории было одним из сильнейших стимулов борьбы с маврами. Столица Кастилии Толедо была, по сути дела, пограничным городом, и естественно, что Альфонсо не оставляла мысль о войне с маврами. Вначале он предпринял поход на Куэнку и, поддержанный Арагоном, захватил город. Пытаясь укрепить и расширить свои завоевания, Альфонсо VIII искал союза с Леоном и Наваррой. Но в битве при Аларкосе в 1195 г., которую Альфонсо затеял в надежде на обещанную помощь, его войска потерпели поражение, так как эта помощь не пришла. Более того — Леон и Наварра, объединившись, выступили против Кастилии. В этих условиях Альфонсо проявил все свои государственные и дипломатические способности. Он заключил перемирие с маврами и три года воевал с Леоном, получив поддержку арагонского короля. Завершилась эта война брачным союзом (впоследствии расторгнутым) дочери Альфонсо VIII Беренгелы с леонским королем Альфонсо IX. Это развязало Альфонсо VIII руки для похода на Наварру, и к началу XIII в. во владение кастильского короля попали новые земли на северо-востоке, в том числе и северное, так называемое Кантабрийское побережье Испании. Следующее десятилетие прошло в набегах на владения мавров, поскольку срок перемирия с ними истек в 1198 г. Мавры собрали крупные силы, а Альфонсо, в свою очередь, обратился к союзным королев-

ствам и папе. Был объявлен крестовый поход, и в 1212 г. в решающей битве при Лас-Навас-де-Толоса союзные войска, главной силой которых были кастильцы, нанесли сокрушительное поражение маврам. После поражения при Лас-Навас-де-Толоса мавры уже не могли оправиться.

Альфонсо VIII умер спустя два года после этой битвы, в 1214 г. Ему было пятьдесят девять лет. Среди испанских королей этого времени Альфонсо VIII был наиболее деятельным и дальновидным государем. Кастилия при нем приобрела значительно больший вес, чем соседние христианские королевства, и сыграла решающую роль в центральном моменте реконксты. Брачные узы Альфонсо и его детей связывали его двор с крупнейшими европейскими дворами, придавая ему известный вес среди средневековых держав Европы.

Фейхтвангера в основном интересовали лишь внешние события истории Альфонсо VIII. Трагический и романтический ореол, который создала вокруг короля его любовь к женщине другого класса, другой веры, чуждой его среде и его идеалам, дал писателю возможность создать художественный образ, но не помешал ему вложить в этот образ свои идеи, написать роман о современности. Фейхтвангер поставил во главу угла эпизоды, которые в целом не определяют деятельности Альфонсо VIII. Но писатель меньше всего стремился к этому. В жизни Альфонсо VIII Фейхтвангер нашел материал для осуждения самого духа войны и человеконенавистничества. Это и было его целью.

Стр. 365. *Альфонсо Мудрый* — король Кастилии и Леона Альфонсо X, правивший с 1252 по 1282 г. Политическая деятельность его была малоудачной, но широкая образованность и склонность к занятиям науками снискали ему славу. Альфонсо Мудрому приписывается, — возможно, с полным основанием, — составление или редакция испанской летописи, так называемой «*Crónica general*» — «Всеобщей хроники».

Прошло восемьдесят лет после смерти пророка Магомета... — Основатель ислама Магомет умер в 632 г., а в 711 г. арабы начали завоевание Пиренейского полуострова.

Стр. 366 *...об их тайном оружии весь христианский мир говорил с опаской.* — Речь идет о модфе — арабском огнестрельном оружии, появившемся в XII в.

Для своих христиан они перевели на арабский язык Евангелие. — Поскольку среди арабизированного населения мусульманской Испании было много христиан, Иоанн Гиспалензис перевел в XI в. на арабский язык Библию (Ветхий завет) и Евангелие.

Стр. 367. *...после крушения их собственного царства.* — Израиль-

ское царство было разорено нововавилонским царем Навуходоносором II в 719 г. до н. э. Несколько сотен тысяч евреев было уведено в Вавилон. Впоследствии, при персидском царе Кире, захватившем Вавилон (VI в. до н. э.), часть евреев вернулась в Палестину и основала там Иудейское государство, в 70 г. н. э. разрушенное римлянами.

...они... переводили Аристотеля и сочетали его учение с учением их собственной Великой Книги... — Аристотель оказал большое влияние на развитие еврейской научной мысли. Некоторые ученые, например Моисей Маймонид, пытались установить гармонию между различными сторонами учения Аристотеля и иудаизмом, то есть религиозной философией, выраженной в Библии (biblos по-гречески — книга, отсюда название Библии — Великая Книга). Сочинения Аристотеля в IX в. были переведены с греческого языка на арабский и таким образом стали доступны евреям, жившим на территории арабского халифата.

Они создали свободную, смелую критику Библии. — Имеются в виду труды еврейских ученых (Авраама Ибн Эзра, Маймонида и др.), еще в VIII—XII вв. критиковавших различные стороны Библии — предписываемый ею религиозный ритуал, святость заповедей, некоторые противоречия и даже положение о божественном сотворении мира.

Стр. 369. *Мусульманское Севильское королевство* — эмират, возникший в XI в. после крушения Кордовского халифата. Эмирам Севильи некоторое время удавалось обеспечить своему эмирату главенствующее положение среди других арабских эмиратов Испании. Первое время Севильский эмират был республикой.

Стр. 370. *...когда... король Альфонсо, шестой этого имени, отнял город у мусульман...* — Толедо был отвоеван у мусульман в 1085 г. при леонском короле Альфонсо VI, принявшем после объединения Леона и Кастилии титул короля кастильского Альфонсо VI.

Теперь, когда король изгнал баронов де Кастро из Толедо... — За малолетнего Альфонсо VIII, провозглашенного королем в трехлетнем возрасте, правили сеньоры де Кастро, стремясь присвоить себе всю фактическую власть в королевстве. В 1166 г. партия, поддерживавшая юного короля, изгнала Фернана де Кастро из Толедо.

Кастильо — замок (castillo — и с п.). От этого слова происходит и название Кастилии.

Стр. 371. *...назревала новая война христиан против правоверных...* — Имеется в виду третий крестовый поход (1189—1192).

Сант-Яго — то есть святой Иаков, патрон Испании.

Стр. 373. *Сура* — глава Корана, священной книги мусульман.

Адонай. — Адонай буквально означает: господь (еврейск.).

В иудейской религии это слово употребляется вместо имени бога, произносить которое запрещено.

Стр. 373. *Альфонсо VII* — король Леона и Кастилии с 1126 по 1157 г., дед Альфонсо VIII. В 1135 г. после присоединения к своему королевству обширных территорий получил титул императора.

Стр. 375. *Аларкос* — крепость на южной границе христианской Испании, неоднократно переходившая от арабов к христианам. Во время битвы при Аларкосе в 1195 г. Альфонсо VIII потерпел поражение от арабов, а крепость и селение вокруг нее были полностью разрушены.

Стр. 376. *Генрих Английский*. — Имеется в виду английский король Генрих II Плантагенет, правивший с 1154 по 1189 г.

...за смелой, хитрой политикой... уже несколько десятилетий, застав дыхание, следил весь мир. — Правление Генриха II оказало значительное влияние на дальнейшее развитие английского государства. Ведя борьбу против феодалов и церкви за централизацию власти, Генрих II осуществил реформу судопроизводства, значительно урезав вольности феодалов. Генрих II был женат на Алиеноре Аквитанской, которой принадлежали обширные территории в южной Франции. За обладание ими между Францией и Англией завязалась длительная борьба.

Стр. 377. *Мараведи* — первоначально серебряная, а затем золотая монета, пущенная в обращение в Испании после завоевания ее арабами.

...и по-кастильски он говорит неплохо. — Кастильский, то есть испанский, язык в ту пору только формировался на основе латинского разговорного языка (так называемой вульгарной латыни), который был повсеместно распространен в Испании — бывшей римской провинции. Этот новый язык иногда называют романсе.

Стр. 378. *Альхаким* (или хаким) — судья, правитель (арабск.), здесь: управляющий.

Эскривано майор — здесь: должность, примерно соответствующая должности министра финансов.

Стр. 379. *Колет* — здесь: род мундира.

Стр. 380. *Рикос-омбрес* (букв. — богатые люди) — графы и другая знать высшего ранга. Название это укоренилось в Испании в XI—XII вв.

Стр. 383. *Каср* — крепость, замок (арабск.). Слово это с артиклем «аль» сохранилось в названии укрепленных замков, служивших королевскими дворцами, — алькасар Севильи, алькасар Толедо, алькасар Сеговии.

Калатрава — кастильская крепость, находившаяся в XI—XII вв. на границе с владениями эмирата. В 1158 г. за успешную оборону

в борьбе против мавров король подарил крепость и окрестные земли монахам, и в 1164 г. там образовался военно-духовный орден Калáтравы.

Стр. 386. *Парнас* — старейшина и представитель еврейской общины.

Стр. 387. *...веру сынов Агари...* — Имеется в виду мусульманство. По библейскому преданию, рабыня патриарха Авраама египтянка Агарь родила от него сына Измаила, с которым удалилась в Аравию. Там от Измаила пошло новое племя, и Агарь стала, таким образом, родоначальницей агарян, или измаильтян, то есть арабов. Этим рассказом утверждается родство арабов и евреев.

...вернусь в лоно Авраамово... — то есть в иудейскую веру. По библейской традиции, Авраам считается родоначальником евреев.

Стр. 388. *Сефард* — еврейское название Испании.

Стр. 389. *...призовете меня...* для чтения недельной главы из торы... — Тора — то же, что Пятикнижие, — часть Библии, называемая также Моисеевым законом. В ней излагаются заповеди и законы, которые, по библейскому преданию, пророк и законоучитель Моисей дал евреям от имени бога. По обряду каждую неделю в синагоге полагается читать одну из глав торы.

Стр. 390. *...твой отец предназначил тебя быть отщепенцем еще раньше, чем тебе исполнилось тринадцать лет.* — Речь идет о совершеннолетии, которое по еврейским религиозным законам наступает у мальчиков в тринадцать лет. С этого возраста мальчик — полноправный член религиозной общины.

Моисей бен Маймун, или Маймон, Маймонид (1135—1204) — выдающийся еврейский философ и врач. Ему принадлежит критика некоторых положений Библии. Учение его оказало существенное влияние на европейских философов.

Стр. 393. *Хатиб* — мусульманский проповедник, знаток Корана.

Стр. 399. *Фуэрос* — права и привилегии короля или сеньора, а также вольности, предоставляемые королем различным группам своих подданных. В разных городах и королевствах Испании существовали свои фуэрос.

Стр. 406. *...лотомками коих являются они, рыцари.* — После завоевания Испании в V в. вестготы составили феодальную знать страны, поэтому вести свой род от готов считалось у испанского дворянства признаком знатного происхождения.

...какие они, верно, были красивые, когда в них еще помещались мечети... — По мере освобождения Испании от арабов многие мечети стали использоваться как католические церкви.

Куфические письма — знаки раннего арабского письма, воз-

никшего примерно в VII в. и позднее замененного менее сложным письмом несхи. Коран написан куфическим письмом.

Стр. 406. *Толаетола* — арабское и еврейское название Толедо.

Стр. 407. *Святой Мартин* — Мартин Турский, христианский поповедник IV в., епископ Тура и патрон Франции. Праздник, посвященный святому Мартину, приходится на осень и сопровождается обрядами языческого происхождения, связанными со сбором урожая — так называемыми мартиновскими пирами и мартиновским гусем.

Стр. 413. *Десятая заповедь* — последнее из десяти предписаний, данных богом евреям через посредство Моисея и упоминаемых в разных книгах Библии: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» («Исход», гл. 20).

Исав — по библейской легенде, старший из двух близнецов, сыновей патриарха Исаака, по прозвищу Эдом — «красный». См. также прим. к стр. 566.

Сыны Эдома — то же, что идумеяне, племя, по преданию, основанное Исавом. В I в. до н. э. идумеяне захватили иудейский престол, основав династию, наиболее известным представителем которой был царь Ирод.

...отразил нападения тонзурованных. — Под тонзурованными имеются в виду католические монахи, носящие на голове тонзуру (выбритый кружок на макушке).

Стр. 415. *Иудерия*. — Иудерия, или худерия (от и с п. *judío* — худю — еврей) — специальный еврейский квартал в испанских городах. Такие кварталы появились в Испании в начале XV в.; до этого евреи иногда селились обособленно, но такое расселение не носило официального характера.

Стр. 416. *Соломон Ибн Габироль* — известный еврейский поэт и философ, находившийся под влиянием Аристотеля; жил в Испании в XI в.

Иегуда Галеви — еврейский поэт и философ Испании XI—XII вв., поэтическое творчество которого оказало сильное влияние на испанскую поэзию. Отрицал учение Аристотеля и отстаивал преимущество веры перед знанием.

Стр. 419. *...он держал в руке первую золотую монету христианской Испании...* — До этого в Испании имели хождение серебряные деньги, однако на золотой монете, которую стали чеканить при дворе Альфонсо VIII, не было королевского изображения (такую монету в XII в. чеканили арагонские короли).

Стр. 420. *Санта-Мария* — крепость Альбаррасина. Альбарра-

син — город и принадлежавшие ему владения поблизости от Саргосы. Владельцы Альбаррасина в XII в. пытались утвердить свою независимость от соседних Арагона и Кастилии и называли себя «вассалами святой девы Марии», отчего альбаррасинский замок называли также Санта-Марией, т. е. «святой Марией».

Стр. 421. *...очень могущественный английский король... признавал своим сюзереном короля Франции...* — Генрих II Плантагенет владел не только землями в Англии, но и значительными территориями юго-западной Франции, принадлежавшими ему как графу Анжуйскому, а также доставшимися ему в результате брака с Алиенорой Аквитанской. Однако формально он по-прежнему считался вассалом французского короля.

Стр. 424. *...когда Иероним переводил Библию...* — Библия, переведенная до того на греческий язык, в IV в. была переведена на латинский богословом Иеронимом, за что он был причислен церковью к лику святых.

...тривиум и квадривиум... — Тривиум — совокупность трех наук — грамматики, риторики и диалектики, составлявшая в средние века первую ступень образования. Квадривиум — следующая ступень, представленная четырьмя науками — арифметикой, геометрией, астрономией и музыкальной теорией. Вместе они составляли семь свободных искусств, которым обучали в европейских школах почти до XVII в.

Стр. 426. *Кадар* — способность, возможность (арабск.). От этого слова произошло название религиозно-философского учения кадаритов (VII—VIII вв.), суть которого состояла в признании свободной воли человека и его ответственности перед аллахом за свои поступки.

Стр. 428. *Сид Кампеадор* — (Сид — от арабск. сеид, что означает «господин», Кампеадор — по-испански «боец») прозвище графа Родриго Диаса де Вивар, вассала кастильских королей Санчо II и Альфонсо XI (XI в.), с которыми у него не было согласия; подвиги Сиды в борьбе против мавров прославлены в народной «Поэме о Сиде».

Стр. 430. *Каиафа* — иудейский первосвященник I в. н. э., отличавшийся уступчивостью по отношению к римлянам, чьей провинцией была в то время Иудея.

Примас — высшее духовное лицо в государстве.

Святой Евгений — Евгений III, епископ Толедский (VII в.). После его смерти архиепископом Толедо стал Ильдефонсо, оставивший свидетельство о жизни своего предшественника. Оба причислены церковью к лику святых.

Святейший собор... запретил христианским королям приближать

к себе неверных. — Речь идет об одном из съездов католического духовенства, постановления которых были обязательны для всех католических монархов (а до разделения церквей на западную и восточную и для византийцев). Эти съезды, происходившие с IV в. в Латеранской церкви в Риме, носят также название Латеранских соборов; с XII в. постановления Латеранских соборов касаются в основном борьбы с «врагами христианства».

Стр. 433. *Бальй* — чиновник при короле, ведавший финансами, административным аппаратом, судопроизводством, военными делами. Должность эта введена была в XII в. во Франции королем Филиппом II Августом.

Стр. 434. *Бургос* — старинная столица Старой Кастилии, родина Сиды Кампеадора.

Стр. 435. *Фернан Гонсалес* — кастильский граф, живший в X в. и оставивший по себе память борьбой с маврами. Гонсалес положил начало выделению Кастилии в королевство.

Стр. 438. *Раньше Кастилия и Арагон были объединены...* — Фейхтвангер в интересах своего художественного замысла последовательно допускает некоторое отклонение от исторических фактов. Поэтому он говорит о союзе Кастилии и Арагона, в то время как в действительности Кастилия более тяготела к союзу с Леоном, а Арагон — с Каталонией. Так, в XI в. Арагон отделился от Наварры, а в XII в. объединился с Каталонией. Кастилия в XI в. выделилась из Леонского королевства, а в XIII в. вновь объединилась с ним.

Желание обручить инфанту с наследником арагонского престола... — На самом деле инфанта Беренгела была обручена с леонским королем Альфонсо IX.

Стр. 439. *Гербовые щиты рыцарей...* — в средние века в Западной Европе щиты было принято украшать личной эмблемой рыцаря, превратившейся позднее в герб.

Стр. 448. *...убить архиепископа Кентерберийского...* — Генрих II, борясь за ограничение прав церкви, встретил яростное сопротивление архиепископа Кентерберийского Томаса Бекета. Борьба эта окончилась убийством Бекета в конце 1170 г. Поводом к убийству послужил вопрос короля, взбешенного сопротивлением архиепископа, найдется ли среди его вассалов хоть один, способный отомстить Бекету. Вопрос короля был понят как приказ, и Бекета убили.

Стр. 451. *...христианское «Иерусалимское королевство».* — Иерусалимское королевство было основано в Палестине и Сирии европейскими рыцарями, участниками первого крестового похода (1096—1099). Первым государем Иерусалимского королевства стал

один из предводителей этого похода французский герцог Готфрид Бульонский.

...Юсуф, названный Саладином... — Вернее, Салах-ад-дином (1138—1193); египетский султан с 1171 по 1193 г., войска которого разгромили крестоносцев у Тивериадского озера в Палестине близ Хиттина (или Аль-Хиттина) в 1187 г. и взяли Иерусалим.

Стр. 453. *Tregua dei* — латинское выражение, обозначающее временное перемирие. Буквально переводится как передышка по воле бога. Понятие *tregua dei* введено в XI в. католической церковью для прекращения различных междоусобиц под угрозой отлучения от церкви.

...прекратил длительную распрю с властителем Германии, с римским императором Фридрихом. — Имеется в виду германский король Фридрих I Барбаросса, получивший от папы титул императора Священной Римской империи (1152—1190).

Стр. 454. ...выступить против нечестивых агарян у себя на полуострове и против антихриста — халифа Якуба Альмансура в Африке. — Речь идет о борьбе с арабами (агарянами) в Испании и державой последнего крупного властелина мусульманской Испании — альмохадского халифа, правившего с 1184 по 1199 г. Якуб Альмансур нанес поражение Альфонсо VIII при Аларкосе.

Стр. 455. *Декреталии Грациана*, или «Декрет Грациана» — сборник постановлений римского папы Грациана (XII в.), легший в основу свода законов католической церкви.

Стр. 457. *Ибн Сина* — знаменитый философ и врач, известный также под латинизированным именем Авиценна (980—1037). Жил в Бухаре и Иране. Способствовал распространению в европейских странах учения Аристотеля и развитию естественных наук. Ибн Сина утверждал вечность материи (наряду с вечностью бога).

Стр. 473. *Сант-Яго-де-Компостелла* — город в Испании, где находится храм, посвященный патрону Испании святому Иакову. По преданию, храм выстроен на том месте, где были найдены останки святого Иакова, в середине I в. н. э. основавшего в Испании католическую церковь.

Стр. 477. «*Кровь его на нас и на детях наших*»... — Здесь приводятся строки из Евангелия от Матфея (гл. 27, 25), описывающие суд над Христом, когда народ требовал его распять.

Стр. 478. *Еще фараон сказал...* — Слова фараона приводятся в Библии («Исход», гл. I, 10).

Стр. 479. *Patrimonio real* (и с п.) — королевское имущество, а также все, что находится непосредственно в ведении короля.

Стр. 487. *Инфант был окрещен... и наречен Фернаном Энрике.* — В действительности у Альфонсо VIII было два сына: Фернан и Эн-

рике. Старший умер еще при жизни отца, а младший, Энрике, после смерти Альфонсо VIII в 1214 г. мальчиком вступил на престол, но царствовал всего три года. Таким образом, Фернан Энрике — вымысел Фейхтвангера, в какой-то мере отражающий судьбу обоих сыновей Альфонсо VIII.

Стр. 488. *Сыны Измаила* — арабы (см. прим. к стр. 387).

Ияр — второй осенний месяц еврейского религиозного календаря.

Сиван — третий месяц еврейского религиозного календаря.

Синай — гора в Синайской пустыне, куда, по библейскому преданию, сходил бог, призывая к себе Моисея, чтобы через него дать указания народу.

Стр. 489. *Эдем* — земной рай. По библейскому преданию, страна в Междуречье, в верховьях Тигра и Евфрата, откуда были изгнаны Адам и Ева.

Таммуз — четвертый месяц еврейского религиозного календаря.

Генрих IV — германский император, с 1056 по 1106 г. безуспешно боровшийся с папой Григорием VII за право распоряжаться не только светскими, но и церковными делами в Европе.

Стр. 490. *Герцог Вратислав Богемский* — правитель Богемии (Чехии), герцог с 1061 г. и король с 1086 по 1092 г.

Людовик VII — французский король с 1137 по 1180 г. из династии Капетингов, первый супруг Алиеноры Аквитанской, впоследствии вышедшей замуж за Генриха II Плантагенета.

Король Филипп-Август — французский король из династии Капетингов, правивший с 1180 по 1223 г. Несколько раз изгонял евреев из своих владений и впускал их обратно, регулируя таким образом свои экономические дела.

«...как их праотцы ограбили египтян». — Речь идет о том месте в Библии («Исход», гл. 4, 22), где сказано, что бог повелел евреям, покидая Египет, взять у египтян «вещей серебряных, и вещей золотых, и одежд».

Стр. 491. *...насмехаясь над страстями господа*. — В Евангелии рассказывается, как, распиная Христа и называя его с издевкой царем Иудейским, римские легионеры надели ему на голову колючий венец из терна.

Стр. 492. *Израиль* — здесь: весь еврейский народ.

...ашкенази, который звучал не так, как... классический еврейский язык. — Речь идет о двух вариантах древнееврейского языка. Ашкенази, то есть немецкий вариант, отличается произношением от западного, испанского варианта.

Стр. 500. *...Адам преступил заповедь господню*. — Имеется в виду запрет вкушать плоды с древа познания добра и зла, кото-

рый нарушил Адам. Здесь дается одна из мусульманских версий этого мифа.

Патио — внутренний дворик.

Стр. 514. *...подумал о праотце Иакове...* — Библейское предание гласит, что Иаков, чтобы жениться на Рахили, отработал за нее семь лет, но получил обманом в жены ее сестру Лию и работал у отца их Лавана еще семь лет, чтобы стать мужем Рахили.

Стр. 518. *...девяноста девяти имен Аллаха...* — Мусульмане называют аллаха девяноста девятью именами, которым надлежит отразить девяноста девять его качеств.

Тонна — здесь: мера объема, определявшаяся в старину емкостью бочки.

Стр. 523. *«Рука Фатимы»* — талисман, связанный с именем дочери пророка Магомета Фатимы, которой приписывалась сверхъестественная сила.

Стр. 525. *Лопе де Аро* — сеньор Бискайи, поддерживавший антикоролевские выступления. Однако в истории Испании его имя связано не с королем Альфонсо VIII, а с королем Альфонсо X, жившим на столетие позже.

Стр. 528. *Мирадор* — вышка, балкон или галерея, с которой открывается широкий вид.

Стр. 530. *...седьмой день, день отдохновения...* — По библейскому преданию, бог, сотворивший мир в течение шести дней, отдыхал на седьмой день, в субботу, предписав евреям праздновать этот день как день полного отдохновения.

Стр. 532. *...погряз в... третьем по счету смертном грехе!* — Основными грехами, по Библии, считаются идолопоклонство, разврат и кровопролитие. Здесь, очевидно, имеется в виду разврат.

Стр. 533. *...прелюбодействовавшего с мadianитяжкой.* — Имеется в виду рассказ из библейской «Книги Чисел», где упоминается о Финеесе, отвратившем гнев господний от народа израилева тем, что он пронзил копье израильтянина, прелюбодействовавшего с Хазвой, дочерью военачальника враждебного израильтянам племени мadianитян («Числа», гл. 25).

Стр. 535. *...преклонял колена перед изображениями трех богов?* — Имеется в виду троица, которая, по христианскому представлению, воплощает три стороны единого бога; Ракели же это кажется свидетельством языческого многобожия.

Стр. 537. *Язычники-мухаммедане* — то же, что мусульмане, от имени пророка Мухаммеда (Магомета). Однако Белардо лишь по невежеству называет мусульман язычниками, поскольку они, так же как христиане и евреи, исповедуют веру в единого бога.

...блаженной памяти прадедушки... — Имеется в виду король

Леона и Кастилии Фернандо I Великий (1037—1065), положивший начало освобождению Пиренейского полуострова от мавров.

Стр. 538. *...Геркулес и Антоний... Самсон со своей Далилой.*— Здесь названы исторические и мифические герои древности, которых женщины отвлекли от ратных и государственных дел. Геркулес, согласно греческому мифу, провел много времени у царицы Омфалы и выполнял по ее приказанию женские работы. Антоний, римский политический деятель и полководец I в. н. э., во время одного из своих походов надолго остался в Египте, женившись там на царице Клеопатре. Самсон, по Библии, — один из израильских судей, прославленный своей силой, которая находилась у него в волосах. По преданию, Далила, усыпив своими чарами бдительность Самсона, предала его врагам, отрезав ему волосы.

Стр. 540. *...короли, которые не были еще обращены в веру Христову?* — Вестготы, потомком которых считает себя Альфонсо VIII, приняли христианство в IV в. н. э.

Стр. 543. *Долина Иосафата* — долина близ Иерусалима, где якобы находится гробница иудейского царя Иосафата. По библейской традиции, долина Иосафата считается местом Страшного суда.

Стр. 545. *...вывести их в Германию, откуда пришли их предки.*— Германия стала одной из стран расселения евреев в первых веках нашей эры. Первоначально евреи, платившие королям богатые налоги и потому пользовавшиеся их покровительством, создали процветающие общины. Однако с XI в., когда начались крестовые походы, евреи подверглись жестокому преследованиям, были частично изгнаны или бежали в другие страны, главным образом на Восток.

Стр. 548. *Праздник кущей* — еврейский осенний праздник, священный, по библейской легенде, с исходом евреев из Египта, где они были в рабстве. В праздник кущей строятся шалаши (кущи) и совершаются другие обряды, ведущие свое происхождение, очевидно, от праздника урожая.

Стр. 555. *Маркграф Роланд из Бретани* — известный участник похода Карла Великого в Испанию (778 г.). Смерть Роланда, прикрывшего отход французских войск в Ронсевальском ущелье, послужила темой героического французского эпоса — «Песни о Роланде».

Стр. 559. *Абеляр* (1079—1142) — французский религиозный философ, отстаивавший зависимость веры от разума и на этом основании критиковал противоречия в суждениях известных богословов. Основной его критический труд — «Да и нет».

Стр. 561. *...тем благословением, которое возвестил Исайя.* — В библейской книге пророка Исайи провозглашается вера в будущее торжество праведных и мир на земле.

Стр. 562. *Мессия явился уже давно...* — Христианские богословы старались приспособить еврейское учение о пришествии спасителя-мессии к нуждам своей религии, убеждая верующих, что пророчество о приходе мессии осуществилось в образе Христа.

...самое слово вам непонятно! — Древнееврейское слово «шлом» — мир — означает также благодать, блаженство, то есть включает значения, не содержащиеся в латинских словах и выражениях: *пакс* — мир, *tregua dei* — перемирие по воле бога, и в греческом слове *εἰρήνη* — мир.

Царь Давид — второй израильский царь (XI в. до н. э.). Его имя связано в предании со множеством военных подвигов; ему также приписывается сочинение псалмов и песен. Давид, сделавший Иерусалим своей столицей, собирался построить в нем храм, однако был отвлечен личными делами. Он убил своего военачальника Урию и отнял его жену.

Стр. 563. *Августин* (354—430) — христианский философ, мистик и фаталист, епископ города Гиппона в Северной Африке. В главном его философском сочинении «О граде божьем» история трактуется как борьба божественного и сатанинского (земного) начал.

Стр. 566. ...*продал... за чечевичную похлебку...* — намек на библейский рассказ о том, как старший сын патриарха Исаака, нечестивый Исав, вернувшись голодным с охоты, продал младшему брату Иакову свое первородство за миску чечевичной похлебки. См. также прим. к стр. 413.

Семь дней просидел на земле в разодранных одеждах. — Иудейская религия предписывает верующим оплакивать покойника, сидя на земле, раздирая на себе одежды и посыпая голову пеплом.

Стр. 575. *Тишри* — первый месяц еврейского гражданского календаря и седьмой — религиозного.

Стр. 576. *Йом кипур* — буквально: день очищения (еврейск.), торжественный праздник отпущения грехов, в который принято приносить покаяние.

Стр. 580. *В самый разгар священной войны был подписан хитроумный договор с наместниками султана Саладина...* — В 1192 г. во время третьего крестового похода английский король Ричард I Львиное Сердце заключил мир с египетским султаном Саладином, по которому территория Иерусалимского королевства была значительно сокращена, но за крестоносцами осталось Антиохийское княжество и Триполи.

Стр. 581. ...*он держит ее в заточении.* — Жена Генриха II имела достаточно оснований мучить мужа «дикой ревностью», однако ее почетное заточение было вызвано скорее тем, что Алнепора была

вдохновительницей мятежа, который ее сыновья подняли против отца.

Стр. 581. *Труверы* — эпические и лирические поэты, творчество которых характерно главным образом для Франции XI—XIV вв.

Стр. 583. *...жертвовали всем для своей дамы...* — Речь идет о популярных героях средневековых рыцарских романов из знаменитого цикла «Рыцари круглого стола».

Стр. 585. *Песнь Песней* — любовная поэма, входящая в книги Ветхого завета. Авторство ее приписывается царю Соломону (X в. до н. э.).

Стр. 586. *...Самсон и Геден, Давид и Иуда Маккавей.* — Самсон — см. прим. к стр. 538. Геден — легендарный еврейский полководец, которому за победы над врагами народ предложил стать израильским царем. Однако, по библейскому преданию, Геден отказался и скромно прожил жизнь в кругу своей многочисленной семьи. Давид — см. прим. к стр. 562. Иуда Маккавей — руководитель крупнейшего восстания в Иудее во II в. до н. э. против эллинистической династии Селевкидов. Одержав ряд побед, его войска вступили в Иерусалим. В 165 г. до н. э. был вновь торжественно открыт Иерусалимский храм, а день этот отмечается как праздник освящения (ханукка). В одном из сражений Иуда Маккавей был убит (161 г.), но семеро его братьев продолжали борьбу, которая закончилась образованием Иудейского царства (128 г. до н. э.).

...не стал еще ни Александром, ни Цезарем... — то есть не превратился в великого полководца, каким были Александр Македонский и Гай Юлий Цезарь.

Стр. 589. *...распевали...* романсы про взаимную любовь ее и короля. — Романсы как особый жанр испанской народной поэзии появились несколько позднее — примерно в XV в. Известны два романа о любви Ракели и короля, один из которых, написанный Сепульведой в XVI в., приводится в романе.

Стр. 594. *Курия* — здесь: совет феодальных сеньюров под председательством короля.

Стр. 595. *Вира* — штраф за убийство.

Стр. 598. *...горевать о котлах с мясом в земле Египетской.* — Намек на библейский рассказ о том, как евреи, выведенные Моисеем из Египта, оказавшись в бесплодной пустыне, стали роптать и вспоминать сытную пищу земли Египетской («Исход», гл. 16).

Стр. 602. *Рассеяние* — расселение евреев по различным странам Европы, Азии и Африки после гибели еврейского государства в Палестине. Началом массового рассеяния, или диаспоры, можно считать VI в. до н. э., когда еврейское государство было разрушено

новоавиловонским царем Навуходоносором, а население уведено в Вавилон. Следующая волна рассеяния приходится на I в. н. э.

Стр. 604. *...шел год четыре тысячи девятьсот пятидесятый...* — Еврейское летосчисление начинается с мифической даты сотворения мира, от которой до начала христианской эры считается три тысячи семьсот шестьдесят лет. Таким образом, год четыре тысячи девятьсот пятидесятый приходится на 1190 г. по христианскому календарю.

Стр. 615. *Матфей* — один из четырех легендарных авторов Евангелий.

...повторил этот стих в подлиннике... — Имеется в виду не древнееврейский текст Библии, а греческий перевод, с которого был сделан перевод на латинский язык.

Книга пророка Самуила, Книга Судей и Книги Царств — книги, входящие в Ветхий завет Библии.

Стр. 616. *...умертил сына фараонова...* — Имеется в виду библейский рассказ о том, как бог умертил всех первенцев земли Египетской, в том числе и фараонова сына, за то, что фараон «не отпустил сынов Израилевых из земли своей» («Исход», гл. 11).

Стр. 617. *...Вергилий, благочестивейший из язычников...* — Римский поэт Вергилий (70—19 гг. до н. э.) высоко почитался в средние века, когда гонение на языческую культуру Рима и Греции было повсеместным. Христианские толкователи Вергилия ценили его стихи, и особенно поэму «Энеида», за благочестие ее главного героя.

Стр. 619. *...царя Соломона... совратили в язычество.* — По преданию, царь Соломон, прославленный своей мудростью, завел гарем, где было тысяча женщин, и его жены-язычницы отвратили его от веры отцов.

Стр. 622. *Сиониды* — лирические еврейские песни времен рассеяния (см. прим. к стр. 602), в которых оплакивается гибель Сиона, страны предков. Первоначально сиониды были народного происхождения; позднее эту форму избрали многие поэты средневековья, в том числе Иегуда Галеви, Соломон Габироль и другие.

Стр. 629. *Молох* — кроважадное финикийское божество, которому приносились человеческие жертвы. Культ Молоха одно время существовал в Иудее.

Стр. 631. *...с покрытыми головами...* — По еврейскому религиозному обычаю, мужчинам не разрешается ходить с непокрытой головой.

Стр. 632. *...соблазнительнице Лилит, первой жене Адама...* — Такое толкование имени Лилит, встречающегося в Библии, традиционно, однако не находит безусловного подтверждения в тексте Библии. Возможно, под Лилит подразумеваются демоны ночи.

В Библии есть указание, что эти демоны принимали женский облик, встречались с мужчинами и имели от них детей.

Стр. 633. *...потомок царя Давида...* — С именем царя Давида связана в иудейской религии вера в мессию, поскольку считается, что мессия должен принадлежать к потомкам царя Давида.

Стр. 636. *Замок Шинон* — одно из родовых имений Генриха II во Франции, в котором он умер.

Стр. 637. *Ричард, сын и наследник Генриха...* — Имеется в виду будущий английский король Ричард I Львиное Сердце (правил с 1189 по 1199 г.), почти всю жизнь проведенный в походах. Участвовал в третьем крестовом походе, на обратном пути из которого попал в плен. Вместе с братьями неоднократно выступал против отца.

Стр. 640. *...начертал... свои законы... обратил в прах Содом и Гоморру, повелел земле поглотить всех людей Кореевых, потопил фараона с воинами, конями и колесницами.* — Здесь перечислено несколько библейских рассказов о проявлении могущества бога («Исход», гл. 31; «Бытие», гл. 19; «Числа», гл. 16; «Исход» гл. 14).

Стр. 643. *Ей шел уже шестьдесят девятый год...* — Алиенора Аквитанская родилась в 1122 г.

Стр. 644. *Наемники-брабанты.* — В средние века герцогство Брабант (современная Бельгия) было основным поставщиком наемных солдат для стран Западной Европы, главным образом для Англии и Франции.

...подобно Пентесилее, предводительнице амазонок... — Согласно греческому мифу, легендарное женское племя амазонок во главе с царицей Пентесилеей принимало участие в Троянской войне на стороне царя Приама.

...всех семи наук и искусств... — См. прим. к стр. 424.

Стр. 645. *Розамунда* — Розамунда Клиффорд, возлюбленная английского короля Генриха II. В народной балладе рассказывается, что Розамунда была отравлена Алиенорой Аквитанской.

Стр. 646. *...преемниками рыцарей короля Артура и Карла Великого.* — Артур — легендарный король бриттов, олицетворение рыцарского идеала, ставший персонажем множества средневековых сказаний. Артур обычно изображается в окружении своих лучших двенадцати рыцарей — «рыцарей круглого стола». Карл Великий — основатель франкской династии Каролингов (правил с 771 по 814 г.), в 800 г. получивший титул императора Западной Римской империи. Владел огромной территорией, включавшей большую часть Западной Европы; олицетворение мужественного рыцаря.

Стр. 647. *Левант* — общее название стран, расположенных в восточной части Средиземного моря, применявшееся чаще всего

к Сирии и Ливану. Однако испанцы обычно именовали Левантом средиземноморское побережье Испании.

Стр. 649. ...эта Дебора, эта Иаиль... — Дебора — пророчица и судья, о которой рассказывается в библейской «Книге Судей». По преданию, она возглавила борьбу евреев против ханаанского полководца Сисары. В честь победы Дебора сложила песню, особенно прославляя в ней Иаиль, которая убила Сисару, спрятавшегося в шатре ее мужа.

Стр. 651. *Наследник... Филиппа Августа.* — Французскому королю Филиппу-Августу наследовал его сын Людовик VIII, правивший с 1223 по 1226 г.

Стр. 652. ...упорно добивалась объединения Кастилии и Арагона. — Дед Альфонсо VIII Альфонсо VII разделил между своими сыновьями Кастильско-Леонское королевство, Арагон же вел борьбу с Кастилией и вынужден был признать себя ее вассалом. Выделившийся из испанской марки, Арагон был экономически наиболее отсталой областью Испании, и в XII в. кастильские короли искали союза не с ним, а с Леоном.

Стр. 655. *С Людовиком я прижила только дочерей...* — От первого брака с Людовиком VII Алиенора Аквитанская имела двух дочерей.

Стр. 656. *Толедская ночь* — выражение, означающее неприятную неожиданность, коварно подстроенную ловушку. Происхождение его связано с историей гибели жителей Толедо, поднявших в IX в. мятеж против арабского эмира. Сделав вид, что согласен на переговоры, эмир заманил знатных граждан Толедо в крепость под предлогом дружеского пира и перебил всех по одному.

Стр. 661. ...выдать за... наследного принца Людовика... донью Бланку. — См. прим. к стр. 652.

Стр. 665. *Клирик Годфруа де Ланьи* — французский поэт XII в., ученик и последователь Кретьена де Труа (см. след. прим.).

Кретьен де Труа — французский писатель XII в., один из наиболее известных представителей куртуазной литературы. Его рыцарские романы в стихах отличались увлекательностью и психологизмом и были переведены на многие языки.

Стр. 667. *Бертран де Борн* (ок. 1140—1215 г.) — провансальский трубадур, автор так называемых сирвент, песен, воспевавших феодальные войны.

Стр. 669. ...Давид оплакивал Ионафана. — По библейскому преданию, Ионафан, сын царя Саула, друг Давида, погиб в битве с филистимлянами. Давид оплакал его смерть в «плачевной песне» («Вторая Книга Царств», гл. I, 19—27).

Стр. 673. *...предстали евангелисту Иоанну всадники в откровении Страшного суда.* — Речь идет об одной из книг Нового завета, так называемом Апокалипсисе Иоанна (или «Откровении Иоанна» — в переводе с греческого). В Апокалипсисе даются грозные пророчества о Страшном суде, конце мира и наступлении «тысячелетнего царствования Христова». Книга представляет собой послание евангелиста Иоанна христианским общинам на Востоке. Всадники, явившиеся автору послания, символизируют победу, войну, правосудие и смерть (конь белый, конь рыжий, конь вороной, конь бледный).

Стр. 675. *Северное наречие...* — то есть французский язык, в отличие от родственного ему провансальского, сформировавшегося на юге Франции.

Стр. 676. *...превращая беспристрастное определение виллана как городского и сельского жителя в кличку проходимца и бездельника.* — Имеется в виду постепенное изменение значения французского слова *villain* (виллан), обозначавшего сначала представителя низшей социальной категории общества и получившего впоследствии значение «грубый», «невежественный», «подлый». То же произошло и в испанском языке со словом *villano*.

Стр. 700. *Секта монтанистов* — христианская секта, возникшая во Фригии в II в. н. э. и названная по имени ее основателя Монтана. Монтанисты проповедовали аскетический образ жизни и вели ожесточенную борьбу против церковной иерархии. Учение монтанистов было популярно среди неимущих.

Тертуллиан (ок. 150—222 гг.) — христианский писатель и богослов Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан. Прославился фанатичной защитой идеи о бессилии разума перед религиозной истиной, в которую можно только верить. Свои воззрения Тертуллиан выразил в знаменитой формуле: «Верю, потому что абсурдно».

Император Константин — римский император с 306 по 334 г., при котором христианство получило официальное признание (по Миланскому эдикту 313 г.), а затем превратилось в государственную религию. Сам Константин под конец жизни принял христианство и погребен в соборе основанного им города Константинополя.

Арльский собор. — В Арле на юге Франции состоялось несколько католических соборов, обычно называемых Арелатскими — по латинскому названию Арля. Здесь, очевидно, имеется в виду собор 314 г., состоявшийся в правление императора Константина.

Стр. 707. *...непокорные племена Триполитании...* — В Триполитании, как и в других частях Северной Африки, откуда пришли в Испанию арабские завоеватели, к X—XII вв. восстания местного населения следовали одно за другим, что способствовало упадку Арабского халифата.

Стр. 708. *В девятнадцатую неделю 591 года после бегства пророка...* — Мусульманское летосчисление ведется от 622 г. — года переезда пророка Магомета (Мухаммеда) из Мекки в Медину. Этот год, а по нему и вся мусульманская эра называются хиджрой, 591 г. хиджры равняется, таким образом, 1213 г. григорианского календаря.

Фец — город в Северной Африке, древняя столица Мавритании.

...из воды вздымалась исполинская колонна. — По греческому мифу, Геракл (или Геркулес) должен был по приказанию царя Эврисфея совершить двенадцать подвигов. Один из них (десятый) — похищение коров Герiona. Для этого Геракл двинулся на запад и достиг пределов земли. В честь этого события он соорудил по сторонам пролива два гигантских каменных столпа, которые и называются Геркулесовыми столпами (имеются в виду скалы по берегам Гибралтарского пролива).

Стр. 718. *Tedeum* — название (по начальным словам) католического гимна «Тебя, бога, хвалим».

...неземными пилигримами. — Имеются в виду ангелы; «круг де лос анхелес» по-испански означает «крест ангелов».

Стр. 720. *Битва при Аль-Хиттине* — см. прим. к стр. 451.

Стр. 724. *Битва при Салаке* — сражение между арабами и христианами, в котором эмир Юсуф разбил короля Альфонсо VI в 1086 г.

Стр. 732. *...при мысли о черной бездне, которая ожидает его.* — Имеется в виду то обстоятельство, что иудейская религия не содержит веры в загробную жизнь.

Стр. 770. *Ильдефонсо* — см. прим. к стр. 430.

Он вообразил себя вторым пророком Иезекиилем... — Далее приводится библейское пророчество о воскрешении мертвых, которое бог велит изречь пророку Иезекиилю в поле, усеянном костями (Библия, «Книга Пророка Иезекииля», гл. 37, 6).

Стр. 777. *...он принадлежал одной греческой поэтессе...* — Имеется в виду стихотворение знаменитой греческой поэтессы Сафо (VII в. до н. э.).

Альгацали (1058—1111) — арабский философ, отстаивал преимущества веры перед разумом.

Стр. 779. *...действовали в духе наместника Христова* — то есть в угоду папе, наместнику бога на земле.

Стр. 791. *...уехать в Сигуэнцу...* — Каноник Родриго Хименес де Рада, один из крупнейших испанских хронистов, действительно стал в 1208 г. архиепископом Толедским. Однако до этого он был назначен епископом не в Сигуэнцу, а в Осуну.

Архиепископский паллий — белый шерстяной воротник, который надевается поверх облачения архиепископа и других князей

церкви во время торжественных богослужений; символизирует агнца, то есть Христа как искупительную жертву, на шее доброго пастыря.

Стр. 793. *Альхорезм* (Мухаммед ибн Муса Альхорезми) — выдающийся арабский математик IX в., родом из Хорезма.

Стр. 795. *...опровергнуть писания Юлиана Отступника.* — Флавий Клавдий Юлиан, римский император с 361 по 363 г., стремился возродить языческий культ на основе учения неоплатоников. Попытки Юлиана ввести различные суровые ограничения для христиан встретили ожесточенное сопротивление христианской церкви и не смогли остановить распространения христианства.

Стр. 799. *Этот будущий король...* — В действительности сыном Беренгелы был Фернандо III, по прозвищу «Святой», с 1230 по 1252 г. король Кастилии и Леона, отец Альфонсо Мудрого.

Стр. 800. *Акка* — укрепленный город в Палестине, взятый крестоносцами в 1104 г.

Стр. 804. *Алькантара* — каменный мост, построенный в IX в. арабами через реку Тахо и сохранивший поныне название Алькантарского моста по имени соседнего с Толедо города Алькантара.

Г. Полонская

СОДЕРЖАНИЕ

Л Ж Е - Н Е Р О Н

Перевод И. Горкиной и Р. Розенталя

Книга первая

В О З В Ы Ш Е Н И Е

1. Два политика . . .	9
2. Город Эдесса . . .	18
3. Горшечник Теренций .	20
4. Дергунчик выпрямляется .	28
5. Варрон обдумывает план .	31
6. Перевоплощение Теренция .	35
7. Варрон решается сыграть шутку .	38
8. Восточный царь	41
9. Беспристрастный совет	45
10. Надо запастись терпением	48
11. Иногда окольный путь оказывается кратчай- шим	54
12. Теренций перевоплощается вторично	56
13. Переодетый государь	59
14. Два актера	63
15. Солдат — и к тому же храбрый .	68
16. Гость богини Тараты	74
17. Дергунчик и Восток	79

18. От игры Варрона расходятся круги .	89
19. Романтика и право на пенсию . .	94
20. Варрон испытывает свою куклу . .	98

Книга вторая ВЕРШИНА

1. О власти	104
2. Римская верность	110
3. Сомнения и шансы Фронтонa .	116
4. Теренций осваивается . .	120
5. Бракосочетание Нерона . .	125
6. Хитрость	131
7. Рассудок и страсть . . .	133
8. Еще один римский офицер .	139
9. Война на Востоке	144
10. Награда за терпение . . .	149
11. Искушение Фронтонa	152
12. Родственные души обретают друг друга . .	157
13. Большая политика	160
14. Как фабрикуются императоры .	166
15. Великое преступление . .	172
16. Певец великого потопа . . .	177
17. Неделя ножей и кинжалов .	180
18. Смирение и гордость . . .	183
19. Соперники	188
20. Откровение Иоанна . . .	190
21. Суета сует	193
22. Итог	195

Книга третья ПОД ГОРУ

1. Разум и военное счастье	197
2. Неверующая	205
3. Выходцы из низов	207
4. Какой великий артист...	210
5. Клавдия Акте	214
6. Цейоний перед лицом непредвиденного . .	217
7. Кружись, юла!	223
8. Безумие	225
9. Двое разочарованных	229
10. Воскресший из мертвых	231

11. Лабиринт	235
12. Прах Нерона	239
13. «Тварь» восстает против творца .	241
14. Ореол	250
15. Бог на летучей мыши	252
16. Радикальное решение . .	256
17. Три руки	259
18. Император и его друг .	264
19. В ночь на 15 мая . . .	272
20. Размышления о власти . .	274

Книга четвертая

ПАДЕНИЕ

1. Непристойная песенка ,	277
2. Занавешенный ларь . . .	279
3. Заботливый отец	282
4. Погибший товарищ	284
5. Действовать и не отчаиваться .	289
6. Роковая ванна	293
7. «Тварь» выходит из-под опеки .	295
8. Теренций показывает свое нутро .	301
9. Голос народа	306
10. Прощание с Эдессой .	309
11. Великий царь	313
12. Беглец	319
13. Справедливость — фундамент государства	323
14. Реальная политика	326
15. Варрон исчезает на Востоке	332
16. Зависть богов	336
17. Трехглавый пес	343
18. И они служили разуму . .	352

ИСПАНСКАЯ БАЛЛАДА

Перевод Н. Касаткиной и И. Татариновой

Часть первая

Глава первая . .	365
Глава вторая . .	391
Глава третья . .	418
Глава четвертая	434

Глава пятая . . .	451
Глава шестая . . .	472
Глава седьмая . . .	487

Часть вторая

Глава первая . . .	515
Глава вторая . . .	529
Глава третья . . .	553
Глава четвертая . . .	581
Глава пятая . . .	601
Глава шестая . . .	621

Часть третья

Глава первая . . .	642
Глава вторая . . .	665
Глава третья . . .	681
Глава четвертая . . .	707
Глава пятая . . .	725
Глава шестая . . .	753
Глава седьмая . . .	777

Примечания С. Ошерова и Г. Полонской	809
--	-----

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

Лже-Нерон
Испанская баллада

Редакторы С. Ошеров и Б. Вайсман
Художественный редактор Д. Ермоленко
Технический редактор Л. Гитова
Корректоры Т. Михеева и Д. Эткина

Сдано в набор 6/VIII 1969 г. Подписано в печать 12/XI 1969 г.
Бумага № 1. 84×108¹/₃₂. 26,5 печ. л. 44,52 усл. печ. л. 45,24 уч.-
изд. л. Тираж 150 000. Цена 2 р. 60 к. Заказ № 901.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Отпечатано в Ордена Трудового Красного Знамени Ленинград-
ской типографии № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького
Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров
СССР, г. Ленинград, Гатчинская ул., 26 с матриц типографии
им. Володарского Лениздата, Фонтанка, 57

